



Людмила  
ПЕТРУШЕВСКАЯ

---

КАК МНОГО  
ЗНАЮТ  
ЖЕНЩИНЫ

---

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СКАЗКИ, ПЬЕСЫ

Людмила  
**ПЕТРУШЕВСКАЯ**

---



**КАК МНОГО  
ЗНАЮТ  
ЖЕНЩИНЫ**

---



повести, рассказы, сказки, пьесы

Москва  
«АСТ»

 АСТРЕЛЬ СПб

Автор фотопортрета Л. С. Петрушевской — *Анастасия Казакова*  
(<http://lazyant.ru/About-Lazy-Ant>)

Дизайн обложки: *Юлия Межова*

В настоящем издании сохранена авторская пунктуация

Издательство выражает благодарность  
литературному агентству «Goumen & Smirnova»  
за содействие в приобретении прав

Макет подготовлен редакцией  АСТРЕЛЬ СПб

### **Петрушевская, Людмила**

ПЗ1 Как много знают женщины: Повести, рассказы, сказки, пьесы / Людмила Петрушевская. — Москва: АСТ, 2013 — 890, [6] с.

ISBN 978-5-17-079952-7

Людмила Петрушевская (р. 1938) — прозаик, поэт, драматург, эссеист, автор сказок. Ее печатали миллионными тиражами, переводили в разных странах, она награждена десятком премий, литературных, театральных и даже музыкальных (начиная с Государственной и «Триумфа» и заканчивая американской «World Fantasy Award», Всемирной премией фэнтези, кстати, единственной в России).

Книга «Как много знают женщины» — особенная. Это первое — и юбилейное — Собрание сочинений писательницы в одном томе. Здесь и давние, ставшие уже классикой, вещи (ранние рассказы и роман «Время ночь»), и новая проза, пьесы и сказки. В книге читатель обнаружит и самые скандально известные тексты Петрушевской «Пуськи бятые» (которые изучают и в младших классах, и в университетах), а с ними соседствуют волшебные сказки и новеллы о любви. Бытовая драма перемежается здесь с леденящим душу хоррором, а мистика господствует над реальностью, проза иногда звучит как верлибр, и при этом читатель найдет по-настоящему смешные тексты. И это, конечно, не Полное собрание сочинений — но нельзя было выпустить однотомник в несколько тысяч страниц... В общем, читателя ждут неожиданности.

Произведения Л. Петрушевской включены в список из 100 книг, рекомендованных для внешкольного чтения.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос = Рус)6

© Людмила Петрушевская, 2013  
© ООО «Издательство АСТ», 2013

# 1. РАССКАЗЫ

### Такая девочка, совесть мира

Теперь она как бы для меня умерла, а может быть, она и на самом деле умерла, хотя за этот месяц никого в нашем доме не хоронили. Наш дом обыкновенный — пять этажей без лифта, четыре подъезда, напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то.

Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка, контакт. Это она, Раиса, Равиля, ударение на последнем слоге, татарка. Ничего не видать на этом контакте, лицо волосами завешено, две ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена.

Она всегда так сидит, даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее в первый раз наблюдала в отношениях с другими людьми, до этого времени мы общались только между собой, двое на двое — она со своим Севкой, и мы с моим Петровым.

Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой.

Да, танцевать она не умеет, но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказал, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбегала из дому, попала к каким-то мальчишкам в пустую квартиру, и они ее несколько месяцев не выпускали, и как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается.

Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей обед оставляет — приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего — плачет четыре часа подряд. И конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет — бегите спасайте Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом,

с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое — и не просто так, без повода, — что хоть ложись и помирай. Но что у меня в душе творится, какие тяжести мне приходится выносить — никто не знает. Я не кричу, не катаюсь на неубранной кровати. Только когда меня мой Петров в первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив и Сашу моего хотели усыновить, — только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась.

У Петрова моего это по три-четыре раза в год бывает, такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Шашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Шаши не было, и я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете — даже забыла про Сашу, а помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму.

А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней — его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно, так что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент, но она уцепилась за мои ноги как собака и все твердила: «Давай вместе, давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь, что у тебя за печаль, — и даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась, меня бросил муж, бросил с ребенком и ребенка этого хочет отнять — а ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в

глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались.

И осталось у меня после этого случая только одно — холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что же мне равняться с Раисой?

И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает, а уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие, я даже многих по имени и не знала и плевать на них хотела, а не то чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойдди полечись».

Но, по правде сказать, у него было безвыходное положение: выпиться из его комнаты, он знал, я не выпихнусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно: когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется, потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающих, тут ему, одному, да еще разведенному, не дадут ничего. А уже когда получим двухкомнатную квартиру — тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело, и он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, если Петрову настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было.

И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей — даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» — и доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разницей, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги в нашей жизни придавали ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная.

А Раиса — она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело — нельзя сказать, что спали, потому что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома, и достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться, — ребята говорили, что с ней неинтересно и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, — ведь люди не только животные, но и мыслящие существа, им интересно знать, чем живет тот человек, который с ним рядом, кто этот человек вообще. Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной, а мне все было мало — я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебивали у Раисы. И все нам о ней рассказывали.

Вот, например, такой мальчик Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он придет и нас не будет дома — ключ хранится в соседней квартире у Раисы, она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы, — так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей.

Когда мы оба вернулись с работы — Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сислея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы всё сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю: «Что, Раиса раскололась?» А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил: «Что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь». А она отскочила в угол. Она была в одном халате, она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась.

Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки, и танцевать-то она не умеет, и когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати, и вытащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдия. И все наши ребята на это попадают, у всех просыпается охотничий инстинкт, все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит. И уходит домой.

Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалеению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух.

Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла, она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит — и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней, я ее спрашиваю: «А где ваш Сева?» А она опухшими губами отвечает: «В командировке». Просидели мы с ней долго, я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Сапа во сне раскрылся, пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь — она опять скрючилась на табуретке — плачет. «Что вы? — спрашиваю. — Наверное, по мужу скучаете?» Она подняла голову и говорит: «Я боюсь атомной бомбы». Не смерти она боится, а бомбы, представляешь? И видно, что ни капельки она не играет — вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного — у нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранения. И это сразу чувствовалось.

Перед уходом, в дверях, она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать — уже начиналось утро, мне к девяти было на работу. И потом, на работе, я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею начала.

И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с Севкой у нас торчали, или мы у них. Пойдешь за сигаретой — она просит: посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа сидим, мировые проблемы обсуждаем — о жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка, у меня уже с утра все сделано, уже и обед готов, и сразу после обеда я в институт сматываюсь, когда у меня вторая смена. А она и не работает, и ничего у ней не сделано — как будто она и не жена Севке. Он и на работу, и в магазин, и домой летит как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет — хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала. Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковородке второе — она даже и не взглянет, даже ложкой не поболтает.

Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ.

Она купила себе шприц — и вот вам развлечение, колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку — тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты, сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет: «Отвернитесь», — и такой тихий цедающий звук раздается, такое сипение. Я прямо внутренне содрогалась, смотрю на Севку — он белый стоит, о притолоку опирается. А она говорит: «Всё, дураки», — а сама еще шприц не вынула, еще следит, как последний осадок из шприца выходит.

Так мы дружили, она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила: «Ты настоящая сука, понял?» Наверное, так в колонии ругались.

Петров тут недавно одной девушкой занялся, у нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь домой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать», — и идет напрямиком к той в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор, и уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят, просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет.

И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала: эта или та? У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости — мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе, приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда — колбасу из печени с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на песни под гитару и танцы, несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно.

И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами — красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо

бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь.

Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности — ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения.

И потом вот он пригласил в гости эту полную, рыхлую Надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка: каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана и та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается, — а сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю.

Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостинной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка — ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала, всей своей кожей, тепло и доброту и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше.

Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и еще бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров

осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь.

Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним: как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность — вот она, вспухла у меня под боком, и это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки — «совесть мира, такая девочка», а тут — пустое место.

Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала: в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы мог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был не чем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы — в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при Севке с Раисой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно, до красноты, смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи.

Так вот я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно и на этот раз, не обращала внимания ни на что — ни на поздние возвращения, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома — мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна.

Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы, мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне — пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно

развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым.

Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит.

Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой, и похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой — за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то.

Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел, а он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незадаанные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернешь.

И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлена на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все так же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены.

Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я, и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны — просто родные.

Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми валяешься вместе три дня в роддоме после аборта. Но Раиса я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши,

о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской, хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты, хотел расписать холодильник. Это все были мечты, хотя мой Петров неплохо рисует перышком, срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетки и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе, несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного сопровождения участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета — рояль, гитара, контрабас, ударник — английскую песню «Шейкохэм» — так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос, его безупречный английский выговор. Он пел не так как говорил, в этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно, но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, незащитности. Он пел весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер, молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех дольчках, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот наконец он со своими ребятами вышел на сцену, они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом наконец «Шейкохэм».

Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его, но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал, — я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали.

Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира — мечта моя — рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины, а это самая худшая рана

для меня, и, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой, Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любимыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению, он пойдет и в шайку и в колонию.

Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная в своей позе на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула.

Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не Надежду и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора, — ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама — это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шальная мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой, а что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова — и чтобы она подобра ушла от него? Она меня даже не поймет.

Но главное было не это — главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову — ведь сам он на это не пойдет, и по моей просьбе тоже.

Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили — такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания.

Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала, а потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад.

Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка.

Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это уже было лучше, чем полное отсутствие.

За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди.

Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно, смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского.

Он сказал:

— Выпьешь со мной?

И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла.

Мы чокнулись. Я шутливо сказала:

— За Раису. За нашего доброго гения.

А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили, она действительно стенка стенкой.

Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала.

И она перестала для меня существовать, как будто она умерла.

## История Клариссы

История Клариссы в своей начальной стадии как две капли воды похожа на историю Гадкого утенка или Золушки. В самом деле, до семнадцати лет Кларисса, школьница в очках, не вызывала ни в ком не то что восхищения, но и малейшего интереса — и это касалось как мальчиков в классе, так и девочек, особенно чувствительных к красоте, выискивающих ее повсюду, где им приходилось бывать, и подталкивающих друг друга локтями в таких случаях. Кларисса не отличалась чувствительностью к красоте, она была достаточно примитивным созданием, не обращающим внимания, как казалось, ни на кого и меньше всего на самое себя. Чем были заняты ее мысли по целым дням, неизвестно. На уроках она была невнимательной, и ее взор постоянно обращался на пустяки. Она с раскрытым ртом следила, как вытирают мел с доски, это ее повергало в задумчивость, и бог весть о чем она вспоминала, глядя в такой момент на доску.

Однажды у нее случилась, уже во взрослом состоянии, в последнем классе, драка с мальчиком, однако эта драка была лишена каких бы то ни было иных мотивов, кроме того мотива, что Кларисса по закону чести дала пощечину однокласснику за слово, показавшееся ей оскорбительным, а на самом деле сказанное просто никуда, в воздух, случайно. Одноклассник тут же дал сдачи, вместо того чтобы долго объяснять, что Кларисса тут ни при чем, что она не имеет никакого отношения ни к оскорблению, ни вообще к чему бы то ни было и напрасно суетится.

Это событие говорит о том, что как раз в этот период в душе у Клариссы происходил некий перелом в сторону повышенной чувствительности к своему положению в мире, к положению девушки, которой придется в дальнейшем самой за себя стоять и одиноко идти среди враждебного мира, принимая на свой счет все его проявления.

Однако, как мы увидим, это направление затем исчерпало себя, хотя могло и развиваться при других обстоятельствах. Но обстоятельства повер-

нули так, что буквально через полгода после окончания школы Кларисса жила уже иной жизнью и на зимних студенческих каникулах, поехав на экскурсию в другой город, во мгновение ока вышла замуж и вернулась уже в ином качестве, в качестве жены иногороднего мужа, что налагало на нее определенные обязательства.

Что произошло в душе Клариссы за эти полгода, неизвестно, налицо были только внешние проявления внутренних перемен: Кларисса свою прежнюю, едва проклевывавшуюся ориентацию на враждебность внешнего мира сменила иной ориентацией, ориентацией девушки глупой, мягкотелой, как будто не понимающей, куда ее ведут внешние обстоятельства, и без тени мысли следующей этим обстоятельствам. Вместе с тем Кларисса, оставаясь все той же девушкой в очках, превратилась в полную красавицу с золотистыми кудрями и тонко вылепленными пальцами рук.

Как и следовало ожидать, Кларисса, со своей мягкотелостью и неумением рассчитывать хотя бы на два пальца вперед, не удержалась в роли жены мужа, находящегося в другом городе, и, когда ее спрашивали о муже, она отвечала, что не имеет представления ни о чем и ей все это надоело.

Следующий брак не заставил себя долго ждать, и Кларисса вышла за врача «скорой помощи», крупного мужчину, пропахшего табаком, с налитой грудью и толстыми руками. Этот брак стал настоящей житейской трагедией Клариссы, потому что муж ее сразу после рождения их общего ребенка стал гулять, много пил и иногда дрался.

В новый период жизни, который наступил в результате новых взаимоотношений Клариссы с мужем, произошли и заметные изменения в ее облике. Она, можно сказать, непрерывно продолжала свой спор с мужем, продолжала доказывать свою правоту и свою точку зрения даже тогда, когда находилась далеко от него, к примеру на службе, в гостях у подруг, в самых неподходящих обстоятельствах. Она вела свой монолог на одной и той же ноте протеста, с горящими щеками, с позывами к плачу. Она оказалась не в силах достойно вынести свалившееся на нее презрение и равнодушие мужа, и даже прежняя ее, школьная ориентация защищаться пощечиной от оскорбления не вернулась к ней. Можно сказать, что она в эти годы жила без руля и без ветрил, от толчка до толчка, чувствительная, как амеба, которая перемещается с места на место с примитивной целью уйти от прикосновений. Кларисса в тот период своей жизни никак не могла успеть определить свою роль, свыкнуться с этой ролью и принять наиболее достойное решение. Она еле успевала принимать удары судьбы, которую олицетворял собой ее невоздержанный, не стесняющий себя ни в чем муж, ведущий свою грубую, тяжеловесную жизнь в одной комнате с Клариссой и ребенком.

Наконец это завершилось самым большим ударом — муж ушел от Клариссы и одновременно забрал с собой, к своим родителям, мальчи-

ка. Кларисса сделала единственное, на что ее толкало помутившееся сознание,— она стала биться о дверь родительской квартиры мужа, и биться напрасно, так как старики уехали, сняли дачу в неизвестной местности, о чем Клариссе сказал их сосед, выглянувший на лестничную площадку.

Клариссе оставалось вернуться в свое разоренное гнездо несолоно хлебавши. Все дальнейшие действия, которые она предприняла, были нелогичными и бесперспективными. К примеру, она раза три ездила на электричках за город и там бродила вдоль дачных участков, надеясь увидеть желтую соломенную кепочку сына. Кларисса звонила также друзьям своего мужа, мужчинам, занятым своей работой, серьезным людям, с просьбой помочь ей выкрасть обратно ребенка. Все это не принесло никаких результатов, и единственным результатом был только тот факт, что к ней домой вечером приехал врач с сестрой, которого она совершенно не вызывала, и врач участливо расспрашивал ее о том, как она спит, и нет ли у нее врагов и преследователей, и не хочет ли она лечь в санаторное отделение больницы, где ей дадут возможность спать хоть неделю подряд. Кларисса сказала, что кто же ей даст бюллетень, но врач и сестра в один голос заверили ее, что об этом ей, во всяком случае, думать не надо. «Это все он вас прислал,— ответила Кларисса,— я давно поняла». Врач и сестра стали собираться и уходить и в дверях еще раз напомнили Клариссе о возможности отдохнуть, но Кларисса их уже не слушала. Она с горящими щеками сидела задумавшись у стола.

На этом занавес опускается, потому что Кларисса втихомолку вновь начала перестройку, и опять-таки никто не скажет, каким образом она спустя полгода снова выплыла на поверхность жизни уже в качестве разведенной жены, оставшейся с ребенком на руках, алиментами раз в месяц и вечной проблемой, куда девать ребенка. В этом новом качестве Кларисса была совершенно банальна и по-своему умна каким-то коротким умом. Она не заглядывала особенно далеко, поскольку существовала еще одна сложность, а именно то, что мальчик страшно привязался к отцу и его родителям, которые давали ему уход, ласку и воспитание, какого не могла дать Кларисса, оставшись в единственном числе. Поэтому Кларисса не заглядывала далеко, не планировала надолго свою совместную жизнь с сыном, понимая всю скоротечность своих прав, а все внимание сосредоточила на сиюминутных проблемах, встающих перед ней одна за другой.

Кларисса кропотливо рассчитывала время на дорогу от детского сада до работы, бегала в обеденный перерыв по магазинам и относилась к своим служебным обязанностям как к чему-то второстепенному в жизни, что было, несомненно, вполне понятно в ее положении.

Поэтому огромным событием для Клариссы стал спустя год отпуск, который она впервые провела на юге в полном одиночестве, оставив

ребенка в детском саду за городом. Очутившись на юге, Кларисса первое время сохраняла еще свою недалекую озабоченность женщины-матери, относилась к морю, загару и фруктам совестливо, вспоминая своего ребенка, оставленного на севере, где лил дождь. Можно сказать, что в этот период отпуска ей кусок не лез в горло и она простаивала по полдня в длинных очередях на междугородные переговоры, чтобы дозвониться в детский сад и узнать, как там мальчик и там ли еще мальчик. Она страстно мечтала водить его с собой к морю, как это делали все мамы вокруг нее, но дело уже было сделано, и так прошла половина отпуска.

Тут море, загар и южные фрукты, которые Кларисса покупала из-за их дешевизны, оказали свое влияние, и произошла вторичная метаморфоза во внешности Клариссы. Теперь она была зрелой женщиной двадцати пяти лет, глядящей сквозь очки с кроткой отчужденностью, и в этом качестве ее сильно полюбил летчик гражданской авиации, проводивший день между рейсами на городском пляже. Летчик стеснялся подойти поближе к Клариссе, поскольку он был на пляже не в подходящих купальных плавках, а в обычных сатиновых трусах. Он только смотрел на Клариссу издали, как она по-куриному копошилась в сумке, чтобы наконец достать оттуда трогательно маленький носовой платок и начать протирать им стекла очков.

Через день летчик снова был на пляже, ближе к вечеру. Он уже приготовился к пребыванию у моря, был соответственно одет и смог расположиться поближе к своей Клариссе. Кларисса неприятно испугалась, стала мучиться, искать предлог уйти и наконец с бьющимся сердцем, с отвращением раньше времени сбежала, провожаемая изумленным взглядом летчика.

Все, однако, шло к лучшему, через день в беседе с летчиком Кларисса уже могла выдавить из себя несколько фраз, хотя следующее утро она провела на междугородной и получила известие, что мальчик здоров и бегаёт и что погода хорошая.

Все это кончилось тем, что через три месяца после отпуска Кларисса переехала к своему новому мужу, Валерию Петровичу, в его трехкомнатную квартиру, и началась новая полоса в жизни нашей героини. Мальчик в свое время пошел в школу, родилась еще девочка, и можно считать, что все стабилизировалось и поплыло к естественной, здоровой зрелости, к череде зим и отпусков, к покупкам, к ощущению полноты жизни, если не учитывать того факта, что в дни полетов Кларисса, оставшись одна, способна часами звонить на аэродром и выбивать сведения о рейсе, и Валерий Петрович по возвращении выслушивает замечания о звонках своей жены. Только это туманит светлые горизонты жизни Валерия Петровича и Клариссы, только это.

## Отец и мать

Где ты живешь, веселая, легкая Таня, не знающая сомнений и колебаний, не ведающая того, что такое ночные страхи и ужас перед тем, что может свершиться? Где ты теперь, в какой квартире с легкими занавесочками свила ты свое гнездо, так что дети окружают тебя и ты, быстрая и легкая, успеваешь сделать все и даже более того?

Самое главное, в каком черном отчаянии вылезло на свет, выросло и воспиталось это сияние утра, эта девушка, подвижная, как умеют быть подвижными старшие дочери в многодетной семье, а именно в такой семье была старшей та самая Таня, о которой идет речь.

Младше ее были многочисленные девочки и самый последний, мальчик, которого мать так и носила у груди все самое последнее время своей супружеской жизни и бегала со своим сыном на руках вслед за мужем, направляющимся на службу,— бежала, чтобы не дать ему уйти на эту проклятую службу, где он только занимается сплошным развратом. Мать бегала за ним чуть ли не каждое утро, почти каждое утро ее брало отчаяние, что опять-таки она дает своему супругу возможность уйти из рук, уйти к ненавистному, свободному и легкому времяпрепровождению у себя на службе, и она бежала из последних сил с мальчиком на руках по улице, чтобы догнать мужа и свободной рукой хотя бы сорвать фуражку с головы у него, опрометью убегающего,— да, такие сцены были не в новинку для их улицы, сплошь заселенной военнослужащими. Мать Тани болела острой ненавистью к своему мужу, ненавистью труженицы и страдательницы к трутню, к моту и предателю интересов семьи, хотя отец каждый вечер возвращался в лоно этой семьи и брал на руки очередного маленького, но мать и этот жест трактовала как уловку, как подлый финт провинившегося кобеля, и они чуть не раздирали маленького пополам — отец, чтобы не дать его взбешенной матери, а мать, чтобы не дать отцу выставляться и поиграть в бесчестную игру, в отца семейства, при полном отсутствии к тому оснований. Могло показаться даже, что мать видит в своих детях только целый ряд вещественных доказательств своих усилий в жизни, своего нечеловеческого труда и своей неоспоримой, но ежечасно оспариваемой ценности перед лицом мужа-кобеля, который дрожит и трясется, как студень, каждый раз, когда она подымает голос,— из страха перед соседями, что они всё узнают, но они всё узнавали и так, она сама всем всё везде рассказывала, и бабы ее утешали, называли Петровой и советовали сходить к замполиту, раз такое безобразие.

Отец, несмотря на это, все-таки как-то еще удерживался в семье, и трудно сказать, на каком основании этот человек пытался каждый вечер возвращаться домой в миролюбивом состоянии духа, со смущен-

ным или деланно равнодушным или еще каким придется видом, каждый раз не его собственным, а каким-то наживным, приготовленным только что, а не с тем естественно мрачным и ненавидящим лицом, какого только и можно было ожидать от него в этой ситуации,— но нет, не в его силах было прийти озлобленным, он все примеривался, что бы лучше изобразить, возвращаясь каждый раз домой к одиннадцати часам. Он не хотел возвращаться домой раньше, никогда в жизни не хотел, и это было основой основ, и каждый раз с деланным тем или иным видом он являлся домой в одиннадцать часов и заставлял дома каждый раз ту картину, что дети ни один не спали, а жена в слезах сидела с маленьким на кровати. Если же отец пытался по собственной инициативе, в свойственной ему мягкой манере, уложить девочек спать, то мать начинала вырывать у него детей и кричать, что никто пусть не спит, раз так, и все пусть смотрят на потасканного отца, который свеженький вылез из чьей-то постели с румянцем на щеках, который только что своим поганым ртищем, этой воронкой, целовал бог знает кого, а теперь лезет мокрыми губами к чистым девочкам, с которыми он тоже готов уже переспать,— и так далее.

Вместе с тем бедность в семье не поддавалась описанию, так как мать не работала и все делала спустя рукава, в ожидании одиннадцати, а затем двенадцати и позже часов, так что дети часто засыпали в ожидании главного момента, кульминационного пункта дня, и утром их невозможно было добудиться. Мать заходила все дальше и дальше в своем справедливом гневе, она вдруг могла встретить мужа у дверей офицерской столовой и начать бить его ногами, держа на руках маленького: мать словно бы протестовала против общепринятого мнения, что так с мужиком ничего не добьешься, а только его отпугнешь и отворишь навеки,— мать словно бы бросала каждый раз вызов судьбе и окружающим, бросая детей голодными и уходя с мальчиком в окружающую поселок степь или крича самые страшные слова о том, что у Таньки был выкидыш от отца — в стене, в пазу, оказались окровавленные тряпки.

Неизвестно, правда, к чему стремилась Танькина мать, возможно, это была потребность разрушения того обмана, той ложной картины, которую пытался своим смягчающим видом и лживыми выражениями лица создать отец прежде всего у детей, ему прежде всего перед ними важно было создать картину якобы мирной семейной жизни. Мать как бы чувствовала себя в западне, окруженная всеобщим неуважением и брезгливостью, и чувствовала в то же время, что ее мужа все жалеют и стараются оградить,— так, например, когда она однажды подошла к магазину перед Восьмым марта, где, как она знала, ее муж покупал маленькие подарки ей и дочерям,— кто-то раньше ее пробрался в магазин, и мужа увели через служебные помещения, прежде чем она успела подойти сквозь толпу к прилавку.

Однако среди всего этого безобразия все-таки чуть ли не ежегодно рождались девочки, и мальчик, последыш, родился всего за полгода до того, как отец ушел из семьи. Как это происходило, следствием чего были эти супружеские соития, как подготавливались и на какой почве становились возможными их взаимные объятия — никто не знал, и не видела этого никогда и сама Танька, наиболее светлый разум в семье, зорко приглядывающаяся к матери и к отцу.

А мать с каждым шагом все глубже погружалась в позор, пытаясь опозорить своего мужа, и этому не было конца и края, поскольку муж упорно старался сохранить видимость семьи и не дать повода к выставлению его именно в том виде, в каком хотела его выставить жена, — но наконец эти два упорных человека довели дело до таких границ, когда уже ничего не нужно и не дорого по крайней мере одному партнеру, когда ему становится плевать на все, — и именно этот момент подстерегает более упорный, более настойчивый противник, который в ответ на жест равнодушия издает крик победы, столь же равнодушно встречаемый уходящим вдаль партнером, — он уходит вдаль, но крик победы силен и слышен в окрестностях, так что окрестности волей-неволей должны ответить эхом.

Итак, свершилось, и Танькин отец отбыл прочь из семьи да и из гарнизона: его перевели в другую часть, и это дело для него даром не прошло, так что отец имел в дальнейшем все основания больше и носу не показывать в свою многострадальную семью, а тихо должен был жить со своей какой-то там новой женщиной, про которую сообщили, что она простая и много проще Петровны.

Танька, впрочем, тоже недолго прожила в семье после ухода отца, а именно год, до своих семнадцати лет, когда ее заметил командирочный Виктор, электромонтажник. Виктор был намного старше и опытной Таньки и сразу понял, какое сокровище встретилось ему в поселковом клубе в лице этой легкой в обращении, зоркой девицы, и сразу взял дело в свои опытные двадцатичетырехлетние руки. Танька в тот же вечер на обратном пути из клуба согласилась уехать с ним и наутро уехала, не смотря на то, что мать совершенно откровенно сказала, что не справится без нее и детям будет плохо. «Хватит, — будто бы сказала Танька, — с меня хватит», — и вильнула хвостом, и была в дальнейшем счастлива в жизни со своим цепким и знающим Виктором, и ничто ее не смущало: и что негде жить, а старуха хозяйка каждый раз в марте вешается, так что на март приезжает в отпуск ее сын и то и дело прячет веревки; и что есть одна ложка и две вилки, а нож перочинный, потому что у старухи в хозяйстве ничего нет, она питается круглый год одним кефиром. Все, все, что в дальнейшем ни встречала Танька, — все она принимала легко, со счастьем, всюду она семеняла своей аккуратной походочкой, и никогда даже тень отчаяния и сомнения не посещала ее — никогда.

## Бессмертная любовь

Какова же дальнейшая судьба героев нашего романа? Надо отметить, что после отъезда Иванова все осталось на своих местах, как было, ведь не может же из-за отъезда одного человека переместиться с места на место жизнь, как не может обрушиться из-за отъезда одного человека крыша над головой у многих, у целого учреждения. Так что то, что у Лены, фигурально выражаясь, обрушилась крыша над головой и жизнь переместилась с одного места на другое, в то же самое время ничего не значило для всех остальных, для того мира, который каким был при Иванове, таким и остался, не принимая в расчет, что Иванов исчез, что вместо него зияет пустое место.

Таким образом, Лена вынуждена была ходить на работу в то место, в котором зияла пустота вместо Иванова и в котором всего еще неделю назад сама Лена стояла на коленях перед столом Иванова, как бы шутя. Она встала на колени и молитвенно стояла, сложив руки и закрыв глаза, примерно в двух метрах от сидевшего за столом Иванова, который, в свою очередь, спокойно приводил в порядок бумаги, добродушно посмеиваясь, словно не видя, в какое состояние впала Лена. Видимо, она до самого последнего момента, до того, как Иванов начал приводить в порядок свой стол, все еще надеялась, что что-то произойдет, какое-то помилование, что ведь не может даром пройти, окончиться все это дело, и когда Иванов начал приводить перед уходом в порядок свое рабочее место, она, как бы горя безумием, встала на колени. Она стояла на коленях десять минут по часам, и в эти десять минут все вели себя хоть и стесненно, но как обычно, нисколько не растерявшись, не изменив выражение лиц и принимая все как должное, как будто им на жизненном пути часто встречалась подобная ситуация; все восприняли это всё как некую истерику, которую не следует замечать, которую не следует гасить, чтобы не показать, что веришь в истинное существование того горя и отчаяния, которое обыкновенно изображают, впадая в истерику.

И сама Лена также спокойно стояла, не подымая излишнего шума относительно своих чувств; и потом люди, присутствовавшие при этом в комнате, два или три человека, должны были сознаться, что единственное, что остается человеку в такой ситуации, — это его право стать на колени, и что это сладостно — стать на колени.

Наконец Иванов уехал, а Лена осталась, и не было никакого сомнения в том, что Лена тем или иным путем последует за Ивановым, несмотря на то что в родимом городе у нее были обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Лена никому не говорила о своих планах на будущее и работала как обычно, однако сдружилась с библиотекаршей, что было признаком

будущего бегства. Дело в том, что эта библиотекарь Тоня, очень милая и печальная блондинка, на самом деле представляла из себя вечную странницу, авантюристку и беглого каторжника. У нее тоже, как и у Лены, был некий дом, в котором она жила с ребенком, с девочкой, однако Тоня время от времени уклонялась от своих материнских обязанностей и, как-то уговорившись на работе и подкинув ребенка родителям, ехала в тот город, где жил избранный ею человек, ее предмет, причем ехала нежеланной, неожиданной, спала на вокзале, пряталась по каким-то лестницам, ожидая, пока ее любимый человек выйдет, и так далее.

Лена сдружилась с Тоней и вместе с ней проводила обеденный перерыв в разных кафе и пирожковых, и после работы они шли до остановки, чтобы разъехаться затем на разных трамваях — Тоне в детский сад за дочерью, а Лене — в свою квартиру, где ее ждали обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Однако, как потом выяснилось, все это были не обязательно требующие выполнения обязательства, потому что в конце концов Лена все же уехала в тот город, где теперь работал Иванов, и вернулась обратно только через много лет, а именно через семь лет, вернулась с помутненным сознанием, с манией преследования, вернулась потому, что ее привело обратно ее муж Альберт.

Здесь следует пояснить все-таки, какие обязательства были у Лены перед матерью, сыном и мужем.

Все началось с рождения сына, которого Лена родила в невероятных муках, но не крикнув ни разу. Ребенок тоже, очевидно, вынес большие страдания, потому что родился с кровоизлиянием в мозг, и спустя три месяца врач сказал Лене, что ни говорить, ни тем более ходить ее сынок не сможет, видимо, никогда.

Лена год провела с ребенком, а затем ей настало время идти на работу, и она вышла на работу, найдя ребенку сиделку. Мать ей была в этом деле не помощница, потому что сошла с ума через три месяца после рождения ребенка, очевидно от отчаяния при виде неподвижного малютки, а впрочем, как сказала врач-психиатр больницы, причины безумия следует искать не вне, а внутри, и таким же толчком к болезни могли бы быть какие угодно другие обстоятельства, самые незначительные; однако, без сомнения, толчок был.

В ту весну, когда Иванов уехал, Лена была занята сугубо материальными делами: снимала дачу, на которой должен был жить ее уже выросший семилетний мальчик с сиделкой, а также она с Альбертом. Затем наступил переезд на дачу и два месяца жизни на даче, после чего, в июле, Лена снялась с места и покинула и дачу, и городскую квартиру, и свою приятельницу, беглую каторжанку Тоню: Лена уехала под видом поступления в институт, уехала якобы ненадолго, а на самом деле на семь лет.

Она действительно поступила в новый институт, во второй институт в своей жизни, из общежития которого три года спустя и была увезена в карете «скорой помощи» в психиатрическую больницу в самом мрачном расположении духа, но какой толчок сыграл здесь свою роль, никто нам теперь больше не укажет.

Теперь проследим путь Иванова. Как ни странно, несмотря на блистательное начало, он также, хотя и не столь скоро, как Лена, оказался во мраке и запустении.

Однако в его случае все было не так сложно, все было проще и грубей, чем в случае Лены, и объяснялось исключительно пристрастием к спиртным напиткам; Иванов сам себе в течение долгих лет рыл яму и в конце концов в результате огромного скандала оказался на крошечной должности, крошечной по сравнению с предыдущими масштабами, должности заведующего отделом в два человека — должности, с которой обычно начинают.

Вот так кончился на самом деле этот роман, который, как всем казалось, кончился отъездом Иванова, — но неизвестно и теперь, кончился ли он на самом деле.

Теперь во весь свой гигантский рост встает фигура мужа Лены, Альберта, который все эти годы выносил все то, чего не могла вынести Лена, и даже больше; и ведь именно он спустя семь лет после исчезновения Лены отправился за ней, обо всем зная, и привез ее домой, то ли неизвестно зачем в ней нуждаясь, то ли из сострадания к ней, сидящей на своей больничной койке в отдаленном районе чужого города, лишенной абсолютно всего, кроме этой койки, погребенной в своей яме, подобно тому, как Иванов был погребен в своей.

Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая, будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным, несбывшимся желанием продолжения рода, несбывшимся в разных случаях по разным причинам, а в нашем случае по той простой причине, что Лена уже родила однажды неподвижного ребенка и поэтому вставал вопрос, может ли она вообще рожать здоровых детей. Но как бы то ни было, какова бы ни была истинная причина того, что Иванов бросил Лену, факт остается фактом: инстинкт продолжения рода был не утолен, и в этом, возможно, все дело.

Но Альберт, вот кто должен возбудить всеобщее удивление в этой истории, теперь до конца прояснившейся, Альберт, приехавший спустя семь лет за женой, с которой давно потерял всякую связь. Какие чувства им руководили, вот что интересно. Тут все можно объяснить все той же бессмертной любовью, однако так просто это все не объяснить, и фигура Альберта остается стоять во весь свой гигантский рост посреди этой простой житейской истории.

## Скрипка

Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что говорила вчера, и так далее. Это был типичный, легко распознаваемый случай вранья, напускания на себя важности и преподнесения всех своих действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате чего должно было что-то произойти, но ничего не происходило; а она все с тем же своим важным видом тащилась через всю палату, неся немного на отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не бог весть какое послание, но она несла его с чудовищной важностью, всем своим видом демонстрируя высшую необходимость послать письмо. То, что содержалось в ее письме, приблизительно было знакомо всем присутствующим в больничной палате, — но, очевидно, было знакомо только намерение, с которым посылалось письмо, а не то, в какие слова она облекла это свое явное намерение, в какую форму все эти свои жалкие, всем очевидные желания упрятала и как на этот раз наврала избраннику своего сердца, некоему инженеру Валерию, живущему в другом городе.

Из этого, однако, никак не следует, что она, эта самая Лена, была болтлива или охотно вступала в объяснения по поводу своего теперешнего положения. Напротив, она была немногословна и излишне церемонна, в особенности эта церемонность выступала на сцену во время обхода главного врача, который любил с Леной беседовать, обходя по понедельникам больных. Главный врач, отечески нахмурившись, говорил, что все идет как надо, и если все так и в дальнейшем пойдет, то наша студенточка поправится и выйдет еще немного погулять, прежде чем наступит самое главное; и что бояться выходить на улицу не надо, перебивал он затем Лену, надо, надо перед родами подышать свежим воздухом, прогуляться по парку, набраться сил. «Ну а как руки? — спрашивал он у Лены. — Как руки скрипачки, не отвыкнули они от струн и смычка, ведь, как известно, музыканты, да еще консерваторцы, должны заниматься в день по сколько часов?» — «По четыре, иногда по пять, — отвечала Лена, нимало не краснея, — а перед экзаменом по специальности столько, чтобы только не растянуть сухожилия, — а уж это дело выносливости».

Профессор шел дальше и наконец исчезал из палаты, и каждый продолжал заниматься своими делами, а Лена, трудолюбивая Лена, снова садилась за письмо и писала, писала, писала, пока не подходила пора запечатывать всю эту писанину и торжественно нести ее через всю палату к выходу. Или еще она шла звонить и с кем-то вела тихие переговоры, очевидно, сугубо делового характера — по ее лицу было видно, что она что-то хочет выяснить чрезвычайно важное и решающее для себя, и так происходило каждый день с этими телефонными разговора-

ми — всякий раз было все то же озабоченное лицо, тот же тишайший голос, те же неопределенные, непонятные вопросы.

Несмотря на эти сугубо деловые телефонные разговоры, а значит, и наличие кого-то, кто что-то делал для Лены, — к ней никто никогда не приходил, и соответственно ничего на ее тумбочке не стояло, кроме пу-стого стакана, накрытого бумажной салфеткой.

Лена после первых дней молчаливого лежания в постели — ей не разрешили ходить, как вообще в этой больнице было принято не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие намеки на осложнения, — так вот, после первых дней обязательного вылеживания ей наконец разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным письмом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и вперед, у нее завелись какие-то тихие многозначительные знакомства с нянечками и сестрами — однако ради чего Лена предпринимала эти свои секретные переговоры с нянечками и сестрами, было неизвестно, потому что никаких реальных результатов они не давали: к Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустотой ее чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Еще Лена занималась тем, что трудилась над письмами, или шла причесываться в коридор к зеркалу, или скромно ела свой больничный обед. И всему этому, следует отметить, она придавала какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл.

И единственным каналом, по которому просачивались хоть какие-то сведения о Лене, были ее разговоры с профессором по понедельникам, во время обхода, когда она, раздумываясь, лежала на своих высоких подушках и отвечала тихим голосом на вопросы профессора, хотя тот все мог знать по истории болезни.

Однако профессор спрашивал, а Лена ему отвечала, и из этих тихих, кратких ответов замершая палата узнавала, например, что Лена упала в обморок на улице и что подруга вызвала «скорую помощь». Далее на вопросы профессора Лена отвечала, что чувствует сейчас сильную слабость, головокружение, иногда боли в пояснице. «Полежите, полежите у нас», — говорил профессор после этих разговоров, переходя к следующей кровати.

Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время которых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость, — а анализы у нее были, как выяснилось тут же, прекрасные, и с сердцем дела обстояли прекрасно, — и вот в один прекрасный день, в один из понедельников, профессор назначил Лену на выписку, рекомендовав ей при этом как можно больше двигаться, чтобы снять слабость, образовавшуюся от лежания в больнице, и хорошенько заняться гимнастикой и подготовиться к родам, чтобы быть крепкой и сильной и все хорошо перенести. Профессор шутливо пригласил Лену приходить рожать в его дежурство, спросил в который раз, будет ли

она присылать ему билеты на свои сольные концерты, — и удалился восвояси.

К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инженере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать. Лена рассказывала также, что была под Новый год у него дома и что родители прекрасно ее встретили и так далее.

Она все так же трудолюбиво писала письма и своей торжественной походкой шествовала через всю палату к дверям, и вела все те же секретные переговоры с нянечками, и так же тихо беседовала со своей подругой по телефону — и все понапрасну.

Однако следует сказать, что в это время ее тумбочка уже не пустовала, она была заполнена всякими фруктами и овощами и вообще едой. Это заполнение произошло довольно скоро, сразу же, как только женщины догадались о действительном положении вещей. Они сначала робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку Лены свои припасы, и Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более свободно стала распоряжаться этими дарами: она без конца ела, грызла, тащилась к умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана сырой капусты, которую как-то передали в палату для одной женщины с большим желудком.

Нянечки теперь приносили Лене увеличенные порции и даже иногда, когда не было ничего другого, предлагали ей вторую тарелку супа — уже после компота. И Лена соглашалась, торжественно кивая головой, и спокойно съедала вторую тарелку супа, а затем шла причесываться или садилась за очередное письмо. Кстати, конверты у нее тоже теперь были не свои, поскольку, как выяснилось, муж задержал перевод денег, а подруга не может прийти. Эта подруга, надо сказать, все не шла и не шла, и весь этот месяц, который Лена провела в больнице, эта подруга не показывалась и явилась только в самый кульминационный момент, когда Лена покидала больницу.

Правда, прежде чем Лена ушла, женщины из ее палаты вели переговоры с врачами о том, чтобы оставить Лену в больнице еще на два месяца, до самых родов, но, очевидно, этого сделать было нельзя, и наступил понедельник, когда профессор в очередной раз побеседовал с Леной о трудностях обучения в консерватории, уже зная о том, что никакой консерватории нет и никакой скрипки и в помине нет. Однако эта беседа на самом высшем уровне состоялась, и Лена вскоре удалась из палаты насовсем со своей желтой расческой, которая так примелькалась всем за этот месяц.

Лена удалась из палаты, можно сказать, полностью развенчанной, однако не потерявшей своей торжественности и таинственности, — и

все это после того, как вся палата серьезно обсуждала при Лене, как ей быть с будущим ребенком, обсуждала также, можно ли рассчитывать на помощь того инженера, про которого Лена говорила, что он ее муж,— все эти проблемы мгновенно всплыли на поверхность, как только Лена начала прощаться. Палата хором советовала Лене пока отдать ребенка в дом ребенка хотя бы на год, и за этот год как-то встать на ноги, найти работу и жилье и затем забрать ребенка к себе насовсем. Лена торжественно кивала, сидя на своей кровати, а затем все-таки попрощалась со всеми снова и пошла со своим вздутым животом, и потом ее еще раз можно было видеть спустя полчаса в окно, когда она торжественно удалялась в каком-то мятом желтом плаще, держа под руку свою знаменитую подругу, и всем было ясно, что обморок на улице был подстроен и что спустя какое-то время они опять что-нибудь инсценируют с подругой на улице, если только Лена не упадет в обморок еще до того, как они успеют обо всем договориться.

### Сети и ловушки

Вот что произошло со мной, когда мне было двадцать лет. Собственно, мои двадцать лет не играют тут никакой роли — могло быть и семнадцать, и тридцать: важно то, что я впервые выступила в такой роли, впервые оказалась в этой ситуации. Второй раз в той же ситуации я не оказывалась больше никогда; можно сказать, что я нюхом чувствовала возможность снова оказаться в той же роли — и тут же уваливала, ускользала из расставленных сетей. Впрочем, расставленных сетей никогда и не было, никто никогда — даже в тот первый и единственный раз — и не помышлял меня загонять в какие-либо сети; честно говоря, никаких злых помыслов и ловушек с чьей-то стороны не было ни в первый, ни в последующие разы, не было даже простого, минимального интереса к моей особе; я была интересна и нужна в этой ситуации не сама лично, а как жена своего мужа, не больше.

Итак, не было совершенно никаких расставленных сетей в тот момент, когда мой муж, будущий аспирант, находился все еще по месту своей работы, а я, его жена, пребывающая в интересном положении, приехала к его маме в другой город.

Вскоре и мой муж также должен был приехать вслед за мной, с тем чтобы устроить меня на новом месте, расписаться со мной, отпраздновать наконец нашу свадьбу, сдать экзамены в аспирантуру и зажечь новой жизнью.

Таким образом, ближайшее будущее было ясным и безоблачным, остальное должно было уладиться в дальнейшем, и так оно и случилось.

То положение, в котором я находилась, было абсолютно простым, чистым и ясным; то есть оно было бы простым, чистым и ясным, если бы у меня на руках был документ, подтверждающий, что я жена Георгия. Во всем остальном все было нормально: я жена Георгия, еду пока что одна к его маме рожать, поскольку ему самому пока невозможно вырваться; он хочет, чтобы я родила ребенка в его доме, потому что рожать ребенка надо в спокойной обстановке, а не в атмосфере того угла, где мы жили с Георгием. Мне можно было, правда, ехать рожать к моим родителям, которые находились довольно далеко; однако мне хотелось как можно тесней связать свою судьбу с судьбой Георгия, его семьи, его мамы, которой я никогда еще не видела и которая знала о моем существовании только из писем сына.

Таким образом, все выглядело совершенно нормально, если не считать того факта, что я еще не была женой Георгия. А не была я женой Георгия по той простой причине, что он до меня уже был женат, имел ребенка пяти лет и его первая жена жила как раз в том же городе, где жила мама Георгия и где сам он провел большую часть своей жизни. Георгий разошелся с женой уже давно, и это не было просто результатом затянувшейся разлуки, когда муж работает в одном городе, а жена с ребенком живет в другом и постепенно связи распадаются, все друг от друга отвыкают и больше не ездят друг к другу, хотя прямых поводов ни к формальному разводу, ни к решительному объяснению нет. В случае Георгия все было гораздо убедительней: он платил своей жене алименты на сына, разошлись они, еще когда жили в одном городе, жена Георгия забрала ребенка и ушла к своим родителям, а Георгия спустя некоторое время распределили в другой город, куда и я приехала учиться с Дальнего Востока.

Вот вам и история нашего знакомства с Георгием и одновременно история того, почему я спустя три года после начала своей учебы жарким летом ехала к маме своего мужа в чужой город с чемоданом, плащом и сумкой, в которой лежало письмо Георгия к матери.

Если говорить правду, Георгий не слишком был рад, что я еду рожать к его маме. Однако мне удалось настоять на своем, вернее, я просто сделала все по-своему, поскольку у меня были свойственные моему положению страхи: если я еду на Дальний Восток к моим родителям, а Георгий поедет в аспирантуру, мы не сможем скоро соединиться и зажить своей семьей. На Дальнем Востоке я буду хорошо устроена, мой ребенок получит прекрасный уход, я пойду вскоре работать или учиться, и весь уклад моей жизни уже будет таков, что все устроится и без Георгия. Именно этого я и боялась больше всего: покоя и устроенности без Георгия, потому что знала его совестливую, благородную натуру, которая не позволила бы ему оставить меня с ребенком в непрочном положении. Я знала, что в такой ситуации, если она сложится, он придет мне на помощь. Это означало, что он просто приедет и все устроит как надо.

Неустроенность должна была автоматически повлечь за собой стремление к устроенности, в то время как любая устроенность — на Дальнем Востоке у мамы или в том городе, где мы с Георгием жили и где я могла бы в случае чего просить места в студенческом общежитии, — любая устроенность такого рода повлекла бы за собой задержку настоящей устроенности, поскольку душа Георгия с самого начала была бы спокойной за меня и ребенка, и он с легким сердцем начал бы новую жизнь в институте, и заставить его что-нибудь сделать — подать на развод, забрать меня с ребенком к себе — было бы практически невозможно.

Однако все вышеизложенное никак не объясняет тогдашнего состояния слепой восторженности, с которым я кинулась в объятия чужой семьи, а именно матери Георгия, Нины Николаевны. Она жила в старом, большом, благоустроенном доме, и каким наслаждением для меня было после пыльной летней улицы войти в ванную комнату, где раковина была старинной, фаянсовой, с синим узором и трещиной, а в ванне эмаль на дне уже протерлась до чугуна!

Наша первая встреча прошла тем не менее без излишних восторгов. Надо сказать, что Нина Николаевна не скрывала своих сомнений. Она внимательно прочла письмо, а я в это время наготове стояла в прихожей, решившись, если что, сразу же уйти. Чемодан я оставила в камере хранения и даже полдня (я приехала утром) потратила на то, чтобы найти себе где-нибудь возле вокзала койку переночевать.

Здесь надо сказать, что я рассчитывала на то, что со мной не слишком будут считаться в доме Георгия. Я все предусмотрела в этом смысле, потому что Георгий, который был старше меня на десять лет и многое в жизни видел, ясно обрисовал мне обстановку своего дома и свою мать. Он сказал мне о том, что все будет зависеть от меня и только от меня, от того, насколько я окажусь умной и самостоятельной, именно самостоятельной. Он повторял это слово на разные лады, объясняя мне его значение: самостоятельный — это тот, кто стоит сам, ни на кого не опираясь, не требуя ни от кого ничего. Только такой человек, учил Георгий, мог рассчитывать на успех у его мамы, только такой, а никак не слабый, радующийся любому сочувствию, готовый всем уступить, помочь, чтобы показать свою доброту и порядочность. Георгий потому так учил меня, что ему не нравилась во мне жажда всем угодить, всем понравиться, сразу и безоговорочно войти ко всем в доверие, не нравилось стремление открыть свою душу навстречу любой другой душе с тем, чтобы встретить понимание. Георгий хотел от меня большей твердости и внутренне весь каменел, когда я пыталась принимать гостей в нашей комнатке, где мы с ним жили после моего ухода из общежития. Георгию не нравилось мое угодничество, готовность смеяться любой шутке и принимать любые знаки внимания за чистую монету, за стремление к дружбе и только к дружбе. Когда друзья Георгия

уходили, Георгий по несколько дней мог не разговаривать со мной, недовольный тем, что все его воспитание идет насмарку, что из меня не получается тот стойкий, самостоятельный человек, который только и мог достойным образом реагировать на грубые шутки и поверхностные разговоры. И даже в том, как я относилась к этому молчанию Георгия, как я плакала и добивалась его расположения, — даже в этом он чувствовал явное отступление от нормы, от нормы поведения гордого, самостоятельного человека. «А ты будь хоть на минуту гордой», — говорил мне в результате Георгий и снова замолчал.

Последний месяц нашей совместной жизни вообще нельзя было добиться от Георгия толку: он где-то пропадал, ничего не говорил о своих планах, не говорил также о том, каким образом идет у него подготовка к экзаменам, как будто я стремилась у него что-то выведать и о таком пустяковом факте, как подготовка к экзаменам, как будто мне были нужны эти подробности. Однако он защищал их от моего вторжения так, как если бы эти сведения были мне нужны и я не могла жить без того, чтобы не нападать на него с вопросами, как прошел день и что сегодня было.

Он рьяно оберегал от меня свои тетради, книги, свою папку, свои мелкие покупки.

Вместе с тем он с величайшей простотой сел и написал своей матери письмо, когда я сказала, что поеду рожать к ней, потому что на Дальний Восток ехать нет денег. Он написал это письмо не только потому, что я встала перед ним на колени, но и потому, как мне показалось, что ему самому было нужно, чтобы я поскорей уехала, куда угодно, как угодно, но чтобы уехала. И в этом смысле я, конечно, поспешила со своим ползанием на коленях, с этими поклонами, поскольку таким способом ни одного человека еще не заставили ничего сделать, как сказал мне Георгий, принимаясь опять за нравоучения. Он начал мне выговаривать, что я не понимаю настроения момента и вообще не вижу дальше своего носа, что я — человек без самостоятельности и что моя поездка к его матери все равно ничего не даст, поскольку я не самостоятельный человек. Тут он прочел мне свою обычную лекцию на тему о том, какой бы он хотел меня видеть, и это было редкостное событие, явление номер один в последний месяц, поскольку он вообще почти перестал обращать на меня внимание и только оберегал свой внутренний мир, ограничивал мое вторжение в него как мог и постепенно расширял границы запретной зоны, так что я почти все время сидела на кухне. Было лето, а я сидела и сидела на кухне, поскольку не хотела проворонить тот момент, когда Георгий уедет сдавать экзамены. При всем прочем он просто самым обыденным образом мог не оставить мне ключа, и пришлось бы ехать к хозяйке за город, а хозяйка не очень-то меня приветствовала, поскольку быстро распознала особенности моего положения и частенько говаривала, что сдавала комнату одинокому инженеру, а живет в ней целое кодро.

Итак, Георгий сел и написал письмо, и я не сказала ему в ответ ничего, просто взяла этот листок и ушла к себе на кухню. Это я начала приводить в действие решение о кардинальной перестройке наших взаимоотношений, о воспитании в себе гордости. Итак, я, ни слова не говоря, взяла письмо, дождалась, пока Георгий ушел, тихо собрала вещи и уехала, не оставив даже записки.

Я размышляла над тем, почему Георгий так беспрекословно отпустил меня к своей матери, и так и не пришла ни к какому выводу. Я знала, что отношения у него с матерью сложные, что первая жена не сошлась характером прежде всего именно с матерью и уж потом с Георгием. Однако почему-то меня это не пугало, я подумала-подумала об этом и перестала, а поезд шел и шел и в конце концов доставил меня после суток пути на вокзал в город, где была родина Георгия, где жила его законная жена с сыном, где стоял дом, в котором он провел детство, и так далее, — все эти соображения меня чрезвычайно взволновали, и я не сразу по приезде начала осуществлять задуманное, то есть искать себе ночлег.

Таким образом, если прием, оказанный мне матерью Георгия, был не слишком любезным, то ведь я и не рассчитывала ни на что. Нина Николаевна прочла письмо в прихожей, не впуская меня в квартиру. Выглядела я, правда, вполне прилично, я умылась у той хозяйки, у которой сняла койку на ночь. Там же я пришла к платью белый воротничок, поскольку прелесть беременных состоит прежде всего в чистоте и опрятности, в особом обаянии гигиены, а вовсе не в следовании моде.

Прочтя письмо, Нина Николаевна не стала вести себя более сердечно, но пригласила меня войти.

Ее комната была огромной, темноватой, с красивой старинной мебелью, с почти черным паркетом. Я сразу всем сердцем полюбила эту комнату, моя душа наполнилась безотчетным восторгом и жадной тут остаться жить навсегда.

Однако на вопрос, где я остановилась, я ответила, что остановилась у знакомых и с этим все в порядке. На вопрос, есть ли деньги, я ответила, что есть и что я, собственно, пришла просто познакомиться, раз уж я приехала сюда. На вопрос, зачем я сюда приехала, я ответила, что буду здесь ждать Георгия вместе с ребенком. «А скоро ли будет ребенок?» — спросила Нина Николаевна, и я ответила, что точно не знаю, так как врачи говорят одно, а я знаю другое. Нина Николаевна спросила, что я знаю по этому поводу, я ответила, что считать надо с ноябрьских праздников. Затем Нина Николаевна спросила, от Георгия ли этот ребенок, и я ответила, что да, заплакала.

Я не могла удержать этот страшный плач, в который у меня, очевидно, выливались все переживания прошедших месяцев, когда я не плакала, а, скорее, смеялась в ответ на Георгиевы замечания о моей несамостоятельности. Этот идиотский, беспричинный смех, кстати сказать,

больше всего выводил из себя Георгия, но я ничего не могла поделать с этим смехом, он вырывался у меня непроизвольно, так же как совершенно непроизвольно я начала плакать после вопроса Нины Николаевны о том, от Георгия ли этот ребенок.

Мой плач произвел впечатление на Нину Николаевну. Похоже было, что она поняла, с кем имеет дело, поскольку в дальнейшем она обращалась со мной так, что все ее действия вызывали у меня чувство чудовищной, ни с чем не сравнимой благодарности и такого счастья, как если бы я попала в желанный, родной дом — с той только разницей, что я не желала бы попасть в мой родной дом. В том-то и был весь ужас, что никуда, ни в один дом на свете, даже впоследствии в нашу с Георгием новую квартиру, меня не тянуло так, как в дом к Нине Николаевне, в этот прекрасный, милый дом, где ничего не было для меня предназначенного, где каждая вещь существовала как бы выше меня уровнем, была благородней, прекрасней меня — и в то же время все это для меня было полно надеждой на счастье. С каким благоговением я рассматривала картины в тяжелых рамах, прекрасные подушки на диване, ковер на полу, столовые часы в углу!

Больше того, у меня вызывали умиление даже всякие безвкусные вещицы, какие-то шкатулки и башмачки, облепленные ракушками, сорокалетней давности, какие-то пустые флаконы из-под духов. Я бы с любовью все это обтерла тряпочкой и расставила под зеркалом. В дальнейшем я и пыталась это делать, но каждый раз такие попытки Нина Николаевна пресекала в корне, не разрешая даже дотронуться до чего бы то ни было в ее комнате.

В сущности, не такой уж красивой была эта комната, и не так уж тщательно она была убрана. Однако особое обаяние прожитой здесь долгой жизни, обаяние прочных, старых вещей сообщилось мне сразу же, бросилось в глаза, как всегда голодному бросается в глаза еда, а бродяге — тихая пристань.

Я повторяю, что никаких сетей, расставленных с надеждой поймать и уничтожить меня, не было. Более того, я сама слепо шла вперед безо всякой надежды на то, что когда-нибудь какие-нибудь сети на меня будут расставлены. Ведь нельзя же было считать ловушкой ту растроганность и материнское (не материнское — лучше, выше) покровительство, которое я чувствовала в Нине Николаевне! Я неверно выразилась — не материнское, лучше, выше, потому что мать не оказывает покровительства. Вместе с тем я так была размягчена, что однажды из комнаты крикнула Нине Николаевне в ванную, что хотела бы для краткости называть ее мамой. Она не расслышала, переспросила, но шум воды перекрыл все мои слова, и я больше не пыталась делать таких далеко идущих предложений.

Я была как в раю. Если первое время я еще порывалась сходить к той привокзальной тетке и на всякий случай договориться с ней о койке на будущее, то впоследствии я даже не заикалась об этом Нине

Николаевне (я очень быстро раскрыла ей свои секреты относительно снятой заблаговременно койки).

Нина Николаевна никуда меня не отпустила в первый же день и с каждым днем привязывалась ко мне все больше. Она буквально не давала пылинке на меня упасть, до работы успевала сходить на базар за овощами и терла мне на утро морковь.

Нина Николаевна, как я уже говорила, не разрешала мне ни до чего дотрагиваться — она сама варила еду на целый день, мне оставалось только разогреть обед. Вечером я не ужинала, ждала ее, сидя у окна. Она приходила, мы ели и шли гулять перед сном. Спала я на широчайшем диване, на полотняных простынях.

То и дело Нина Николаевна делала мне подарки: мы сходили с ней в магазин и купили два ситцевых платья с запасом на будущую полноту; она купила мне также ночные рубашки, босоножки на мои распухающие с каждым днем ноги и так далее.

Решительно никогда — ни до, ни после — я не чувствовала себя такой счастливой. Полное единение душ еще довершалось тем, что она любила анекдоты, и я тоже любила посмеяться, и мы всегда искренне и долго хохотали, радуясь любому поводу для этого.

Нина Николаевна признавалась, что без меня ей было бы скучно, что мой звонкий голосок оживляет ее тихую одинокую жизнь. Иногда мы с ней пели на два голоса, вечер обычно заканчивался просмотром телевизионной программы, а затем я растягивалась на полотняных простынях, под шелковым зеленым одеялом.

От Георгия между тем не было никаких вестей, мы не знали, как идет у него подготовка к экзаменам и где он вообще. Я написала ему в присутствии Нины Николаевны несколько писем, но не получила ни ответа, ни своих писем обратно с припиской «адресат выбыл».

Не имея никаких новых данных, мы с Ниной Николаевной проводили целые часы в пережевывании старых сведений о Георгии — мы рассказывали друг другу о его детстве, причем я знала не меньше, если не больше. Я рассказывала Нине Николаевне то, чего она не знала, — о падении Георгия с крыши в десятилетнем возрасте (он тогда это скрыл), о его первой любви, затем о более поздних временах, о работе Георгия, о его друзьях, о привычках его, о взаимоотношениях с начальством. Нина Николаевна очень клевала на такие разговоры, быстро загоралась, требовала все новых и новых подробностей о нашей совместной жизни, о распределении обязанностей внутри нашей семьи, о том, как принял Георгий известие о будущем ребенке. Я рассказывала Нине Николаевне, как мы познакомились с Георгием на вечере в нашем институте, причем провожали меня двое — он и мой знакомый («Какой это знакомый?») до самого общежития («А где этот знакомый теперь?»). Я все понимала, я понимала, что она сопоставляет даты — она требовала дат, — и имена и

события, чтобы удостовериться, что я действительно ношу под сердцем сына Георгия, ее внука, а не ребенка какого-нибудь другого моего поклонника, который также провожал меня темной ночью, а потом исчез, и расхлебывать придется Георгию. Меня, вправду сказать, даже умиляли такие бесхитростные допросы, такие ничем не прикрытые сомнения — ведь это еще яснее показывало мне тогда, насколько она боится обмануться в своих надеждах, как она лелеет и бережет мечту о своем будущем внуке!

К тому, первому своему внуку Нина Николаевна раз в неделю ходила с гостинцами, ездила к нему на дачу, и мне нравился этот обычай, это незабывание, это соблюдение долга перед ребенком, который ни в чем не виноват. Я даже несколько раз просилась поехать вместе с ней, но она становилась непривычно суровой и в единый миг ставила меня на место какими-то простыми, но беспощадными словами: видно было, что у нее есть тоже свой, особый мир, отличный от мира взаимоотношений со мною, — опять свой мир, как у Георгия; этот свой мир, в который я не имела доступа, постепенно, незаметно, но и неуклонно образовался у нее, и она начала его ревностно оберегать от моего вторжения, а я опять-таки, выложившись вся, оставалась ни с чем. Она вела с кем-то междугородные телефонные переговоры и не говорила с кем. Она теперь уходила на целые вечера, не оставив мне ключа. Наши вечерние разговоры теперь были неравноправными, теперь я спрашивала, я рассказывала, я хвалила фигуру Нины Николаевны, я подливала ей сметаны, а она говорила: «Я хозяйка, я варила, я сама возьму, а вот ты угощайся».

Каким образом произошла эта метаморфоза, мне неизвестно. У меня внезапно создалось впечатление, что она вознеслась высоко надо мною, что она нависает надо мной, как гора, утяжеляя все мои движения. Я теперь с трудом двигалась в ее комнате, с трудом говорила с ней. Все ее раздражало, иногда она даже не отвечала мне на вопросы.

Однако эта ситуация, уже однажды испытанная мной, была для меня уже знакомой ловушкой, известной сетью — хотя, повторяю, она не была ни ловушкой, ни сетью, но это была неизменно погибельная для меня ситуация, погибельная в данном случае еще больше, нежели прежде, поскольку в истории с Георгием мне еще светила впереди надежда на его мать, на ее благородство, в случае, если я окажусь в безвыходном положении.

Я продолжала влачить свое двусмысленное существование в доме Нины Николаевны, поскольку идти мне было некуда. Привокзальная тетка, к которой я наведальась, посоветовала мне держаться за то, что есть, поскольку комнату мне с ребенком никто не сдаст.

Я стала ходить на так называемую «биржу» — туда, где собирались квартировладельцы и наниматели. Лето клонилось к осени, Георгий давно уже приехал, это я чувствовала, физически чувствовала, что он

здесь, хотя он не показывался у своей матери, и она все более ожесточалась. Вдруг, словно сняв с себя какие бы то ни было обязательства, она стала говорить о какой-то подруге с дочерьми, которые приедут погостить, а потом она к ним поедет, и квартира будет заперта — соседей в городе нет, они ей доверили квартиру, и никто не допустит, чтобы в квартире жил посторонний человек, ни к чему не причастный.

Я предложила ей поговорить как следует, откровенно. Она сказала, что все и так достаточно, до противности откровенно и что не следует чужого ребенка приписывать человеку, который не повинен в том ни телом, ни духом, раз были всякие хождения на танцы и провожания до ворот.

Я начала смеяться, и на этом разговор завершился. Мои вещи были вынесены в коридор, Нина Николаевна заперлась у себя в комнате, и я провела ночь на кухне. Утром Нина Николаевна вынесла мои вещи на лестницу.

Так закончилось мое приключение. Далее уже все неинтересно — далее я жила у привокзальной тетки и ходила на «биржу», прикрывая расплывшую талию плащом, и в конце концов какой-то шальной мужик, завербованный на Север, сдал мне свою комнату буквально за гроши. Можно не упоминать, что в комнате была совершенно голая кровать с панцирной сеткой, и я спала свою первую ночь на новом месте, постелив на сетку свой плащ, счастливая и безмятежная, пока не пришла пора наутро идти в родильный дом.

На этом заканчивается тот период моей жизни, период, который никогда больше не повторится благодаря усвоенным мною нехитрым приемам. Никогда не повторится тот период моей жизни, когда я так верила в счастье, так сильно любила и так всем безоговорочно отдавала в руки всю себя, до самых последних потрохов, как нечто не имеющее никакой цены. Никогда не повторится этот период, дальше пошли совершенно другие периоды и другие люди, дальше уже идет жизнь моей дочери, нашей дочери, которую мы с Георгием воспитываем кое-как и которую Георгий любит так преданно, как никогда не любил меня. Но меня это мало заботит, ведь идет другой период моей жизни, совсем иной, совсем иной.

## Али-Баба

Они познакомились — так бывает — в очереди в пивбар. Она оглянулась и увидела синеглазого в финском костюме и с черными ресницами и решила: он будет мой. Поскольку она и не догадывалась, насколько легка будет ее пожива, некоторое время ушло на верчение головой, уходы («Я перед вами буду, хорошо?»), а он терпеливо стоял и ждал разрухи своей судьбы, бедный принц в единственном, что еще у него оста-

лось, в сером финском костюме. В отличие от Али-Бабы он знал, что ни одна женщина в здравом уме на него не покусится, у них есть нюх. Ухаживание Али-Бабы он воспринял с легким интересом, собравши все остатки своей души и вспомнив то время, когда женщины и девушки в трамваях и метро еще вызывали в нем мысли типа «а что, если...». Последние несколько лет, прежде чем так подумать, он уже махал рукой. Именно: увидев девушку посимпатичней, он с озлоблением махал рукой. Али-Баба не вызвала в нем абсолютно никакого волнения, махать рукой тут было совершенно не на что, обыкновенная приличная еврейская женщина с большими черными глазками. Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждым большими глазами стоит личность со своим космосом, и каждый этот космос живет один раз и что ни день, то говорит себе: теперь или никогда. Тем более что Али-Баба, как и он, стояла в очереди в пивбар. Правда, для него поход в пивбар был возвышением до остальных нормальных и приличных людей, как эта Али-Баба. Для нее же, он мог подозревать, поход в пивбар был, возможно, падением: что делать приличной женщине в пивбаре среди матерящихся мужиков, пусть даже пивбар и на Пушкинской улице, где много милиции и где на стенах светильники, но где, однако, между столиками снует уборщица лет двадцати и уносит к себе в подсобку якобы порожнюю посуду из-под водки, а на самом деле клиент долго поражается, шаря у себя в ногах в полных потемках: где тут была недопитая поллитровка? Шасть в подсобку, а Нинка уже нюхает корочку, и из-за этого было много скандалов с руководством бара, минуя милицию.

Однако он не знал Али-Бабы, как и она, впрочем, не раскусила его. Оба они подозревали друг в друге порядочных людей и шли навстречу друг другу с самыми лучшими намерениями: поговорить с хорошими человеком.

Они говорили о том, как долго здесь стоять и что в других местах тоже долго стоять, причем оба обнаружили полное знание всех возможных мест, до «Сайгона» включительно. Он подумал: «Молодец баба, всюду бывала» — и почувствовал к ней уважение, она подумала, что синеглазый, кажется, не избалован вниманием, как это могло показаться с первого полуоборота в очереди, и почувствовала к нему щемящую жалость и нежность, как к уличному котенку прекрасной породы, которого вот-вот хватятся хозяева.

Потом она прочла ему свои стихи, написанные предыдущему товарищу жизни, который проклял Али-Бабу за то, что она умело прятала не допитые им бутылки неизвестно где в его же собственной, небогатой на мебель квартире, мотивируя это тем, что не хочет, чтобы он спивался. Он и не подозревал, что Али-Баба все выливала внутрь себя, а что значит одной пустой бутылкой больше на том балконе, где они хранили обменный фонд. Предыдущий товарищ, однако, просек ее хитроумные ходы и

перевалил Али-Бабу через перила того же балкона, куда она тихо, как можно тише, выставила пустую бутылку, но звяка не избежала по причине неточности рук. Али-Баба, будучи переваленной через перила, зацепилась пальцами за железную поперечину в оградке балкона и повисла, как гимнастка, на высоте четырех этажей. Проходящий народ быстро вычислил, откуда ветер дует, и стал взламывать квартиру, поскольку испуганный товарищ жизни Али-Бабы не открыл на звонок, а сидел на кухне и придумывал, какие показания он даст в милиции: то ли самоубийство, если никто не видел, то ли что она хотела его скинуть вниз, а он защищал свою жизнь. Вид у него был злобный, когда ворвавшиеся два шофера привели к нему Али-Бабу с совершенно скрюченными пальцами рук. Шофера хотели сбежать за водкой, видя, как расплакался мужик, но в квартиру набегали еще бабы, поднят был большой крик, вызвана «скорая» неизвестно зачем, хотя Али-Баба умоляла этого не делать. Наконец все разошлись, не «скорая» же лечит скрюченные пальцы, все это в амбулаторном порядке, а версию Али-Баба придумала такую, что мыла балкон снаружи. Врачи не следователи, не стали проверять, где ведра и тряпки, сделали успокоительный укол Али-Бабе и мужику и уехали. А мужик в секунду выставил Али-Бабу из дому, в бешенстве собрал все ее тряпки в свой рюкзак и бросил с того же балкона. А у нее там все было — и мохеровая кофта, и рейтузы, и мало ли еще что. Косметику она оставила в ванной, неверным шагом спустилась за рюкзаком и ушла к себе домой к маме, где очень долго так и жила со скрюченными пальцами рук, не в силах начать устраиваться на работу. И поход в пивбар был для нее началом новой эры.

А финский костюм оказался в этом пивбаре после недолгой внутренней борьбы, поскольку, не заставши нужного человека в конторе, куда он был послан начальством (в результате разных перипетий финский костюм в свое время был понижен до старшего лаборанта и использовался на разных работах, в том числе и как курьер), он решил пообедать (у каждого человека может быть обеденный перерыв) в пивбаре жидким хлебом, как он называл пиво.

- Жидкий хлеб,— сказал этот Виктор, осушивши кружку.
- Солнце,— ответила Али-Баба.
- Понимаю,— сказал Виктор,— все от фотонов.
- Я люблю солнце,— ответила Али-Баба.
- Возьму еще? — предложил Виктор, а она запротестовала, что теперь ее очередь, он уже брал шесть раз.

И Витя опять подумал, что баба понимающая, так как денег у него теперь было только еще на две кружки, и это вплоть до полочки, то есть на будущую всю неделю.

А у Али-Бабы деньги были, она взяла у матери восьмой том Блока, с конца, чтобы мать не хватилась. Бунин у них уже стоял в четырех

томах вместо девяти. Анатолий Франс в трех, а двухтомник Есенина отсутствовал целиком. Половина нажитого имущества, считала Али-Баба, принадлежит ей, не ждать же смерти мамы. Кстати, мать лежала в больнице и не знала, что Али-Баба вернулась, а то бы она прекратила врачебные исследования и в тот же момент Али-Баба оказалась бы на принудительном лечении от алкоголизма, как уже дважды было. Почему Али-Баба и опасалась возвращаться домой, жила у подруг и друзей уже давно, только подруг у нее уже почти не было, одна Лошадь, да и та завела себе мужика Ванечку, который бил смертным боем и самое Лошадь и всех, кто к ней приходил, так что быстро отвалил круг друзей, а привадил грузчиков из гастронома, и в доме всегда было что выпить и чем закусить, пошла веселая жизнь. Что касается Али-Бабиных друзей мужского пола, то у нее с этим проблем не было, вставал только вопрос, где ночевать. У всех друзей были жены или матери; а как раз сегодня мамаша Али-Бабы на арапа позвонила из больницы, и застывшая Али-Баба ответила «але», и мамаша тут же сказала: «Ты что, дома?», но Али-Баба сразу положила трубку и больше уже не отвечала на звонки, а под неумолкающий трезвон собралась, печально взяла том Блока, остатки косметики, материны нераспечатанные колготки, флакон успокоительных таблеток и оказалась в очереди в пивбар.

Когда пивбар закрыли, они пошли домой к Виктору, благо он жил один. Это было большое открытие для Али-Бабы, узнать, что Виктор, во-первых, не женат, а во-вторых, живет без мамы. То есть у него есть давно вымечтанная хата. И хотя он не слишком горячо воспринял предложение Али-Бабы пойти к нему, но все-таки они на ночь глядя пошли именно к нему, он открыл ключом дверь и еще дверь, и там, в комнате, было темно и тепло, хотя и отдаленно смердело. Он включил настольную лампу, нашел и постелил чистое белье, и наступила ночь любви. Али-Баба была довольна, что обрела пристанище, Виктор был доволен, что не сплеховал и нашел чистые простыни, когда к нему пришла порядочная женщина, и на сон грядущий Али-Баба по собственной инициативе почитала ему еще раз свое стихотворение «И нелегкой дорогой иду я к тебе... Никому не подвластны мы в нашей судьбе». Не дождавшись конца длинного стихотворения, Виктор заснул, то есть стал громко и мерно храпеть. Али-Баба замолчала и с нежным, материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился. Али-Баба тут же поняла, почему Виктор жил бесхозный и ничей и почему его бросила сука жена, разменявшая трехкомнатную квартиру на квартиру себе и девять метров ему, а он безропотно согласился. Али-Баба заплакала, вскочила, переделась, села к столу и в полной темноте, при храпе и зловонии задумалась еще раз над своей судьбой, после чего приняла давно уже приготовленный флакончик успокоительного. Виктор очнулся к утру,

увидел лежащую лицом в стол Али-Бабу, прочел ее записку и вызвал «скорую». Когда Али-Бабе сделали промывание желудка, она пришла в себя, и ее увезли в психбольницу уже в полном сознании и вместе с ее сумкой. Виктор, дрожа с похмелья, кое-как оделся и пошел на работу дожидаться, когда откроют винный отдел, а Али-Баба в это время уже лежала в чистой постели в палате для психически больных женщин сроком не меньше чем на месяц, ее ждал горячий завтрак, беседа врача, рассказы соседок об их бедствиях, и ей было о чем им всем рассказать, в особенности то, что когда она в первый раз приняла таблетки, то ослепла на сутки, во второй раз проспала тридцать шесть часов, а на шестой раз встала в восемь утра ни в одном глазу.

## Мильгром

Молодая девушка в первый раз в жизни сама шьет себе платье, куплено три метра дешевого, по рублю с чем-то метр, но удивительно красивого штапеля, черного с пестрыми кружочками, как какой-то ночной карнавал.

Девушка эта бедная студентка, это раз. Второе, что она только что вылупилась из школьной скорлупы в прямом смысле слова: на развалинах старого коричневого форменного платья сделана юбка, получилась коряво, криво и косо, но платью конец.

И не для весны такая юбка, на дворе стоит май тысяча девятьсот лохматого года, жаркая весна и нечего надеть.

Третье, что студенточка, пыхтя над страницей «Шьем сами» из женского журнала (объем груди, какая-то половина переда и т. д.), попыталась скроить себе платье и потерпела полный крах. Пропало платье, труд и три р. с копейками денег, а стипендия двадцать три рубля. Тут мама вступает в ход событий мощной поступью, мама всю жизнь шила все у портнихи, пока не настали тяжелые времена, девице восемнадцать лет и кончились алименты. Портниха, таким образом, отпала, мама сама думает, что делать, но вот проблема: денег нет.

Денег нет, девушке восемнадцать, на дворе жаркий май, какие случаются раз в сто лет, экзамены, а дочь лежит буквально за шкафом (там у нее топчан) и плачет, скулит.

Мама звонит своей мудрой старшей подруге Регине, еврейской польке из племени московских (новых) жен Третьего Интернационала, весь этот коммунистический Интернационал в тридцатых годах тайно сбежал из своих стран, из подполья, горами и морями в СССР, переженился в Москве, будучи в эмиграции, и затем ушел с лагерной пылью в небеса, а Регина, отбыв ссылку в Караганде, вернулась с победой, получила прежнюю квартиру на улице Горького, и мать студентки,

тоже много повидавшая на веку, прилепилась к ней учиться уму-разуму, как к бывшей подруге еще своей, в свою очередь, матери, которую тоже ждут из далеких мест в эту весну.

Регина всегда одевалась с варшавским шиком, у нее бывали кавалеры в ее шестьдесят, и она выслушивает растерявшуюся мамашу студентки с пониманием.

У Регины есть постоянная помощница Рива Мильгром, Регина европейская дама, белые пухлые руки как у царицы, в доме жесткий порядок и приходит Мильгром.

Так ее зовут, Мильгром, по партийной привычке только фамилия. Так вот, Мильгром имеет швейную машинку «Зингер», и девушка со свертком идет к Мильгром по жаре в рыжей шерстяной юбке известного происхождения (мама носила платье, выносила до желтых полумесяцев подмышками, дочь вынуждена была таскать это дело в школу, не имея возможности поднять руку, всегда локти по швам, муки ада, наконец верх с отпотевшими подмышками отрезан и выкинут, хотя мама возражала, может выйти жилетка, но ребенок помчался к мусоропроводу и выкинул, зато осталась корявая юбка, в чем и идем косо и криво по майской жаре).

Поверх юбки, чтобы скрыть неудачное место отреза, кое-как подшитое, нитки не те, да и руки не из того места растут,— поверх юбки надета материна кофточка, тоже с темными подмышками, опять держи локти по швам.

Студентка идет как новобранец, опустив голову и наблюдая за своими зелеными зимними туфлями на толстой подошве, руки по швам, а кругом уже Патриаршие пруды, вернее, дома над прудом, пахнет нежной майской зеленью, мимо шмыгают молодые люди и идут гордые девушки в летних платьях.

Мильгром встречает заказчицу в своей комнатке где-то наверху, под палящими московскими небесами, где-то чуть ли не на чердаке, тихая Мильгром, большие влажные глаза, очень белая кожа и полное отсутствие зубов, нос висит, зато подбородок вперед, как кошелек, на вид Мильгром уже старуха.

Раскрыта швейная машинка, мелькает сантиметр, и тихая Мильгром начинает длинный рассказ (а сама записывает тот самый объем груди) о своем сыночке, о красавце Сашеньке.

Оказывается, Сашенька был такой красивый, что люди на улицах останавливались, и однажды даже фотографировали его для конфетной коробки.

Девушка видит на стене указанную перстом Мильгром фотокарточку, ничего особенного, маленький мальчик в матроске, большие черные глаза, тонкий изящный нос, верхняя губа выступает козырьком над нижней. Трогательный кудряш, но не более того. Губы тонковаты для ангелочка, рот у него мильгромовский.

В данное время у девушки не то что мыслей о ребенке, еще и другая нет, ухажера, кавалера, несмотря на солидные восемнадцать лет.

Все наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли и коричневое шерстяное платье с вылинявшими мамиными подмышками, страх сказать.

Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо, на паспорт, ибо с уголком, портрет тшедушного офицера в большущей фуражке.

Это он же, Сашенька, уже вырос, пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные вкривь и вкось куски материи за рубль двадцать, и Сашенька уже женился и есть внучка Ася Мильгром.

Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не одна она такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась: жизнь научила.

На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра.

Через три дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить, ни пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается наконец идти к Мильгром и говорит матери: иду к Мильгром.

— Она несчастная, — откликается мать, — такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром! Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешал с ним встречаться, то есть как бросил: он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни, она была необыкновенной красоты, шестнадцати лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски, а потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода, пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину, а Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было восемнадцать лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив на улице под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка, а Регина ее нашла, Мильгром уже лежала на бульваре вся черная, Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей, Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию и вот комнатку дали.

Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит все ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре.

Все плавится в лучах жаркого заката, Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих.

Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыночке Сашеньке, сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят две фотографии, причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии?

Сашенька-взрослый смотрит со стены замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ, фуражка торчит как седло над большими черными глазами, здесь-то он уже очень похож на мать.

Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки?

Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асеньки уже выпал первый зубик: все как у всех есть и у Мильгром.

Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку.

Девушка в самом начале пути, движется в новом платье, на нее уже смотрят и т. д., через пять лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал — а Мильгром явно в конце, но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе, будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке на Патриарших, а позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда.

Черное платье мелькает на светлой, майской Малой Бронной, при полном закатном свете, и вот все, день догорел, Мильгром, вечная Мильгром в старческой комнатке среди старых шерстяных вещей сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви.

## Случай Богородицы

Мать и сын одновременно переживали романы, и однажды, за воскресным завтраком, сын сказал, как зовут его девушку: Наташа Кандаурова. Мать засмеялась, потому что фамилия ее моряка тоже начиналась с «Кан», и мать сказала эту фамилию. Но сын ничего не запомнил. Он никак не мог понять, почему он вдруг сказал вслух «Наташа Кандаурова», он старался смеяться вместе с матерью над совпадением, но на самом деле был сильно испуган. И когда мать стала со смехом говорить ему что-то про своего моряка, он встал и пошел на кухню. Мать продолжала говорить из комнаты, улыбаясь содержанию своего рассказа, но он ничего не понимал, а стоял над раковиной, помертвев. Наконец мать замолчала, как бы ожидая и от него такого же рассказа о

Наташе Кандауровой. И чувствовалось, что она молчит как-то сытно, как будто она получила что хотела и теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим опытом и, в свою очередь, получить у него утешение. И смех ее был какой-то дурацкий, женский, возбужденный, в предчувствии их маленького семейного союза против двух «Кан». Она как будто была счастлива своей неожиданной победой, счастлива от того, что он тоже наконец вырос и понял ее жизнь и даст ей понять свою жизнь.

Сын стоял на двух кирпичках над раковиной и чистил зубы, часто останавливаясь, глядя в одну точку, а потом стащил с шеи полотенце, повесил его на гвоздь и осторожно ступил на доску, которая была проложена к выходной двери по только что выкрашенному полу. Доска прогибалась, и он в задумчивости начал на ней покачиваться. Он понял сам для себя, что выдал Наташу Кандаурову просто из-за желания сказать вслух: «Наташа Кандаурова». Он все время мысленно говорил с Наташей, но ему этого было мало, оказывается. Оказывается, ему еще нужно было произнести это имя вслух, в каком-то слепом бахвальстве, в забытьи. «Кандаурова», — сказал он снова вслух, проверяя себя, может ли он еще сильнее раздавить себя. Слово «Кандаурова» он не договорил, а вместо этого запел: «Ка...а», — и вышел на лестницу напевая. Мать, наверное, поняла это «Ка-а», но ничего не крикнула ему вслед, а так и сидела в комнате, затихнув над грязными тарелками и чашками.

Он уже много раз мучился так от матери, когда она в детстве рассказывала ему, моя его в тазу, что некоторые мальчики балуются глупостями и что это очень нехорошо и могут положить в больницу и делать уколы. А когда он еще немного подросток, она вдруг начала ему рассказывать, какие тяжелые у нее были роды — ей было всего восемнадцать лет и у нее был один случай на сто, случай Богородицы, смеялась она, что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем и женщиной ее сделал сын... Она рассказывала ему это в темноте, когда он уже лежал на своей раскладушке, подоткнутый со всех сторон одеялом, а она переодевалась на ночь и залезала коленями к себе на кровать, обтирая с сухим звуком ступню о ступню. Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. Эти слова — девственница, роды — он только еще начинал искать в словарях и энциклопедии, в этих словах было что-то невыносимо запретное, тайное, нужное, чего нельзя нарушать и что должно было накапливаться в нем постепенно, чтобы он в конце концов мог с этим смириться. Но мать не щадила его. Она как будто стосковалась по родной семье, которой у нее давно не было, и только ждала, когда немного вырастет сын, чтобы приблизить себя к нему еще больше, объяснив ему, насколько он принадлежит ей, насколько он ее. И от этого он не выносил даже безобидных воспоминаний, как он был маленьким, как приходилось ей в общежитии только на ночь вешать пеленки в общей кухне, а днем ей не разрешали; и как она,

еще беременная, вязала кружевца, чтобы сделать уголки пеленок кружевными, чтобы можно было накрывать ему лицо от мух, но чтобы он все же мог дышать. И как она ненавидела запах тела своего мужа Степанова — он пах, ей казалось, почему-то едким волосом, — и как она этого Степанова не подпускала к себе, и все девочки в общежитии охраняли ее, когда она лежала и ее рвало при одной мысли о том, что Степанов может подойти к ней на пушечный выстрел.

И он был вынужден все это помнить и носить в себе и стыдиться слов «роды», «девственница», потому что для ребят в классе это было совсем не то, что для него. Он был не такой, как все. И когда ребята на переменке где-нибудь за школой, на старых партах, рассказывали друг другу всякие случаи и что чего значит, он вынуждал себя смеяться вместе с ними, чтобы никто не заметил, потому что у него была ужасная тайна — слова «девственница» и «роды», это касалось его, он принимал в этом стыдное участие.

И у него совсем не было близкого друга, с которым бы он мог все обсудить, все выяснить и которому он наконец мог бы признаться, что во время родов он сделал свою мать женщиной.

А потом, когда он вырос и стал снисходительно относиться к своей матери — в этом он почувствовал неожиданную опору для себя, для своего проявляющегося достоинства, — он перестал вспоминать о причинах своего детского стыда, хотя иногда безо всякой причины ему становилось ужасно грустно. Но он быстро подавлял в себе эту тоску. А мать теперь не знала, как к нему подступиться, и боялась себя снова ранить и растравить тоску по нему, спокойно каждый раз отстранявшемуся. Иногда, правда, он понемногу с ней разговаривал о всяких мелочах, чаще всего о прочитанных книгах. И она каждый раз так покупалась на эти разговоры, так радостно шла ему навстречу и так ловила каждое его слово, что ему становилось тесно, неудобно в этой роли обожаемого сына и он снова отстранялся и уходил, оставляя ее недоумевать и бояться самой себя.

Однажды, правда, она перестала обращать внимание на то, как он к ней относится, и прямо сказала ему, что ее надо проводить в больницу. Она была рассеянна с утра, когда он собирался в школу, и не встала ему сделать яичницу, а лежала кое-как и глядела в окно слипшимися глазами. Когда он вернулся из школы, он был немного подавлен, потому что почувствовал, что она уже не тяготится его превосходством, что у нее есть какие-то взрослые дела, до которых он еще не дорос. И что вообще он очень мало знает о ней и у нее есть другое содержание жизни, кроме него.

Он покорно пошел рядом с ней, он, правда, не хотел, чтобы она на него опиралась, потому что увидел в этом притворство; если бы его не было, она бы пошла ни на кого не опираясь. Но она не почувствовала его мыслей, несмотря на то, что она обычно все чувствовала, что он чувствует. Она оперлась на его плечо, и он довел ее до автобуса. Был пустынный

летний вечер, никого вокруг не было. И вокруг больницы никого не было. Когда они поднялись на каменное крыльцо, мать нажала на кнопку и стала ждать, не оборачиваясь. Потом она обернулась и торопливо, как занятая, поцеловала его в лоб. Ее встречала в дверях толстая нянечка.

Он остался один и стал ходить по каменному крыльцу, стал читать объявление, прилепленное с той стороны стеклянной двери: «Прием рожениц со двора». Ему стало страшно неприятно от слова «рожениц», но он постарался усмехнуться, чтобы подавить в себе детскую грусть. Вскоре дверь стала отпираться, с той стороны нянечка трудилась, подергивая к себе ручку, и не смотрела на него. Так же, не смотря, она просунула в щель авоську с пухлым газетным свертком. Он повернулся уходить с этой нелепой авоськой, полной белья матери, а нянечка быстро закрыла дверь и опять начала подергивать ручку, запирать.

Он остался совсем один с деньгами, которые оставила ему мать. Класс скоро распускали, и на уроках многие, кому уже были выставлены четвертные и даже годовые отметки, баловались и шумели. Он читал на всех уроках, он чувствовал небывалую легкость и свободу. На последнем уроке черчения, когда он ждал со своей форматкой, что учитель Никола назовет его фамилию, в класс вдруг просунулась секретарша директора Зоя Алексеевна и громко назвала его фамилию. Он неприятно испугался чего-то, встал и пошел за секретаршей. На столе, на первом этаже, лежала телефонная трубка. «Это тебя,— значительно сказала Зоя Алексеевна,— от матери из больницы». Он взял трубку, солидно сказал: «У телефона», но в ответ ничего не услышал, только шуршало что-то. Потом мамин голос крикнул издалека: «Ты меня слышишь?» — «У телефона!» — опять значительно сказал он. Он не очень хорошо знал, как говорить по телефону. «Как ты там?» — спросила мать. Зоя Алексеевна стоя перебирала какие-то бумаги на столе. Видно было, что она недовольна, что ученик так долго занимает директорский телефон. «Ты там ешь что-нибудь?» — сдавленно спросила мать. «Да-да!» — сказал он и как бы отвечая матери, и в то же время как бы опять не расслышав ничего в трубке. Мать крикнула издалека: «Может быть, зашел бы ко мне. Здесь ко всем...» — она не докричала, а как бы задохнулась. «Да-да, конечно, конечно!» — отозвался он немного погодя. «Ну пока, до свидания, а то четвертную... годовые отметки выставляют», — добавил он. «Мне уже сделали операцию,— заторопилась она.— Я много тут крови потеряла, понимаешь, но все в порядке! Все в порядке!» — закричала она, и тут в нем словно лопнула какая-то сухота в горле, и он весь напрягся, чтобы не заплакать. «Все будет хорошо!» — сказал он. «Все в порядке!» — повторил он горячо, прощая свою мать.— Я за тобой приду и заберу тебя к чертовой матери оттуда!» Он положил трубку и быстро повернулся уходить, чтобы не видеть Зою Алексеевну. Что-то его потрясло, может быть, собственная доброта. Он

долго после этого чувствовал легкость и умиление, он не разрешал матери вставать и сам однажды ходил в аптеку за ватой, а за продуктами он ходил каждый день. Она не приставала к нему с нежностями и откровенностями, то время уже прошло, она уже была научена. Она лежала тихо, на животе или на спине, повернув голову к нему. Она водила за ним глазами, что бы он ни делал в комнате, и только изредка поднимала руку и заправляла волосы за уши.

Потом она поправилась и стала ходить, чтобы отправить его хотя бы на вторую смену в пионерский лагерь, но он сказал, что не поедет ни в коем случае. Она перестала хлопотать, а по вечерам тихо уходила из дому, щелкнув перед дверью сумочкой. Она всегда перед выходом проверяла, есть ли у нее ключи.

Она теперь не разговаривала, как обычно, просто по пустякам. Но иногда она забывала обо всем, ее вечное напряжение куда-то улетучивалось, она напевала в кухне своим носовым, коротеньким голосом: «И лишь той... стороной... на свида...нье с другой...»

Это бывало обычно в хорошую погоду, при солнце, утром в воскресенье. Она сдирала с окон занавески, с постелей простыни и наволочки и с целым ворохом, отвертывая лицо, шла стирать. А он в это время, подчиняясь тому новому, что в нем родилось недавно, мыл босиком пол, неумело выкручивая тряпку.

Но в это воскресенье он не стал мыть пол, потому что пол только покрасили, а до этого они с матерью его скребли и отмывали после ремонта целый божий день. Но он не стал мыть пол не потому. Даже если бы пол был грязный и некрашенный, он все равно бы в это проклятое воскресенье, когда он растоптал себя, произнеся вслух имя Наташи Кандауровой, мыть пол не стал, а выскочил бы на лестницу с раззявленным ртом, чтобы, напевая: «На-а...», а на самом деле продолжая тянуть «Ка...а...»...

\* \* \*

Мать осталась сидеть над немытой посудой не потому, что была сильно взволнована или ее огорчило признание сына, что у него есть девушка по имени Наташа Кандаурова. Само по себе имя ничего не значило; еще когда он был в детском саду, на шестидневке, она, приезжая за ним каждую субботу, спрашивала: с кем ты дружишь, и он серьезно отвечал, что со Светланой Ягодининой и с Леной Перовой; она до сих пор помнила эти имена и фамилии, которые повторялись каждую субботу. И они ровно ничего не значили для нее. Она просто радовалась, что у сына есть дружба, что он не один, одинокий, ложится спать в спальне на двадцать шесть человек или идет в столовую. И она каждый раз проверяла, дружит ли еще ее сын со Светой и с Леной.

Но он все-таки цеплялся за нее каждый раз, когда она уходила из детского сада, оставляя его одного. Иногда ей удавалось уйти от него незаметно, и воспитательницы говорили ей потом, а то и забывали говорить, ведь все-таки неделя проходила, что он искал ее за шкафами и в воспитательском туалете, потому что она при нем как-то ходила в воспитательский туалет и закрывалась там на крючок, а он испугался и стал отчаянно дергать дверку за выступающий гвоздь — до ручки он не дотягивался. И он потом много раз терпеливо стоял под воспитательским туалетом и ждал, пока там откинут крючок. Или ей рассказывали ночные няни, что он ночью опять стоял около кровати и плакал и ни за что не хотел ложиться.

Но однажды, во время родительского дня, летом, когда она особенно его ошеломила своим голубым платьем и коробкой трехслойного мармелада, он потерял всякую власть над собой и стал просто держать ее за край голубого платья, хотя даже сидел у нее на коленях. Он показался ей особенно вялым и бледным в этот день, он ел бутерброд с колбасой еле-еле и вдруг сказал, обернувшись к ней с ее колен: «Мама, а я о тебе вспоминал». Другой рукой он держался за ее платье, а рот у него блестел от масла.

И когда зазвенел звонок на обед и все родители столпились у лестницы, на которую поднимались дети со своими подарочными кулками, он понял, что это значит, и его стало рвать бутербродом. Она его успокоила, прижала к себе и стала качать на коленях, и он ей поверил, что она не уйдет. Но воспитательница уже собрала всех детей у умывальной, мимо беседки пронесли ведро со вторым, накрытое стираной марлей, родители посылали в окно умывальни воздушные поцелуи и торопливо уходили мимо беседки, и тогда она пошла на хитрость. Она сказала: «Ты давно не собирал цветов для мамы». Он кивнул, отпустил ее платье и пошел из беседки. «Сажные цветы не рви, а только которые сами растут», — крикнула она ему вслед. Она не упускала никогда малейшей возможности повоспитать его, жалко только, что они слишком редко бывали вместе, и он ее не очень слушал, он тратил это короткое время на то, чтобы находиться рядом с ней. Он и ночью вставал, нерешительно стоял около своей раскладушки, а потом быстро добегал до ее кровати, карабкался по одеялу вверх и робко дышал, пока она говорила ему, чтобы он уходил. Но он все-таки залезал к ней, и она укутывала его одеялом и всю ночь оберегала его, так что сна ей не было, и часто утром она оказывалась у него в ногах, скорчившись в три погибели, чтобы ему было удобней. Во сне она не рассуждала, а просто устраивала, как ему было лучше. А наяву она все же понимала, что надо делать не как ему удобней, а как полагается. И вот он сошел на траву и пропал за кустом, а она быстро поднялась с лавочки, добежала до ворот и тяжело пошла на вокзал. Она не стала стоять за забором и слушать, как он вернется в

беседку, будет молча ступать по деревянному полу, а потом кинется в дом и будет стоять под воспитательским туалетом и дергать за гвоздь...

А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насосем, в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами, и он, наверное, за был. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала, щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать, глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки.

Но что ей было делать! Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то фазу выветрился из памяти, как будто его и не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала ему его, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя.

## Бедное сердце Пани

Я родила своего ребенка довольно-таки поздно, перед этим долго лежала в так называемой патологии, среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения, и, кстати, я оказалась не самой старородящей, там была уже совсем пожилая женщина сорока семи лет, ее все звали баба Паня и слегка над ней потешались, над ее манерой говорить по-научному «пойду выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по семь месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кричали навещающие, мы лежали на втором этаже и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось, в какой уже раз, ее увели, все думали, что вдруг обойдется, но под окнами вечером раздался пьяный крик: «Сволочь, сука... паразитка... Ты мне загубила жизнь, ах ты сука, что я с тобой связался...» Это кричал ее несчастный муж, который узнал, узнали и мы, что она опять родила мертвого.

Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом

и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась — уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом, он плотник на строительстве, что-то поднял. У них трое детей, и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность — второй группы. Что же ты тянула, воскликнули бы все, но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз — опухоль, и опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками, тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить троих детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все рос, уже набиралось что-то шесть месяцев или около того, и наконец ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через две минуты после рождения закричал — такие легенды ходили о Володе, и везде его бегала-искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Володя поклялся, что будет врачом-акушером, и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожихой и инвалидом, и на какие деньги все эти люди жили, неизвестно.

Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединили с ребенком, которого

я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрывшей и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился: все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти и выкарабкивалась с трудом, а родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах.

Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умываться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки, раза три сестра мне приносила ватки, а потом бросила, спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками, у нее были собственные дела для размышлений, у нее была высокая температура, которая не снижалась, и наконец пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед: у тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка, в этом и была причина температуры.

Наконец настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделаться, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал.

А убийца тетя Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее шла речь о выписке. Она объяснила, что тренируется, от станции до стройки пешком двенадцать километров, но ее выписали через два дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал.

А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через два дня мы должны были выходить на Божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку — высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и заявила, что туда, где больной человек, нельзя приносить ребенка и т. д. Хорошо, приносить перестали, но

теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стояла под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате, каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью.

И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с четырьмя отделениями, в каждом из которых стояло по кровати, по числу коек во взрослой палате.

Все кровати пустовали — у новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня.

Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо величиной с некрупное яблоко — мальчишки рождаются аляповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде.

У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» — и она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет».

Я вернулась в палату, пошли часы кормлений, на следующий день мы с ребенком вымелись из этой больницы прочь, на волю, а меня все мучает вопрос: а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней — уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до семи месяцев, до правильного развития?

Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируется, чтобы идти домой, и все видится мне доктор Володя, положивший ей руку на лоб, но как не вяжется тетя Паня с тем существом, которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожихи и инвалида.

## Милая дама

История была весьма и весьма плачевной как с точки зрения того, каков был состав действующих в этой истории лиц, так и с точки зрения того, насколько эта история была банальна, и оттого странным могло бы показаться, что она все-таки повторилась и разыгралась как по нотам, от

смехотворного ловушечного, ничем не подозрительного начала и до конца, в котором было буквально все как бы заранее предусмотрено — и отчаянные взгляды, и как будто бы невинные рукопожатия, с той только особенностью, что последний отчаянный взгляд послал не кто иной, как человек шестидесяти с лишком лет, и послал он его из окошка такси, широко улыбаясь и помахивая рукой в адрес остающихся, а среди остающихся находилась молодая женщина, двадцати с чем-то лет, и именно ей и была послана отчаянная, оскаленная улыбка откуда-то снизу, с сиденья машины, уже наглухо запертой и готовой отъехать.

Таким образом, оба героя нашей истории уже внешне очерчены, и этого достаточно, поскольку ничто не играло в этой истории такой роли, как именно разница в возрасте, тем более что по всем другим статьям они подходили друг другу как нельзя лучше, и в иных обстоятельствах, при других возрастных соотношениях, у них мог бы получиться классический роман с участием многих действующих лиц — ее мужа, например, или немолодой жены нашего героя, и, возможно, получилась бы трагедия и мало ли что еще. Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться, то есть Земля и звезды повернулись неоправимое число раз, прежде чем она соизволила явиться на свет, а он уже давно тут пребывал. Никакими другими, никакими другими причинами, кроме этих нескольких оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в такси и готовясь отбыть навсегда, навеки, и повторяя, что зачем же так прощаться, если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут, на даче, всякие дела.

Впрочем, возможно, что и он строил какие-то свои радужные планы и что-то вымерял и высчитывал, выкраивал какое-то время на дальнейшее, чтобы продолжать вести эти беспредметные разговоры со своей избранницей, со своей милой дамой, которая теперь оставалась на даче доживать неделю ради маленького ребенка — и несколько раз кивнула головой в ответ на его слова о скором возвращении, кивнула головой в беспечной уверенности, что так оно и будет.

Возможно, что и он в этом был уверен, когда уезжал, наглухо запертый в машине, — и возможно, что этому его возвращению помешали отнюдь не высшие соображения о бесплодных круговращениях Земли и звезд в те времена, когда он жил без нее, без своей милой дамы, поскольку ее даже не было на свете, и отнюдь не соображения, что теперь все карты спутаны этим ее поздним приходом на Землю, излишне, чрезмерно поздним. Возможно, что он о таких материях даже не помышлял и думал только о своих запутанных делах, которые ему предстояли в городе, где начиналась суровая повседневная жизнь, отличная от беспечных каникул на даче, от всех этих бесед при свете солнца и прогулок при ночных туманах. И весьма возможно, что городские дела поглотили его без остатка, когда он после сладкого дачного воздуха

нырнул в атмосферу города, сидя на заднем сиденье обшарпанного низкого такси.

Однако может быть и так, что и высшие соображения обрушились на него, как только он сел, погрузился на низкое сиденье такси и оттуда, снизу, из-под крыши, стал делать приветственные знаки рукой и улыбаться своей милой даме.

Вместе с ним уезжала и его жена, и она тоже улыбалась, отчаянно оскандившись при этом, и это у них с мужем оказалась совершенно одинаковая улыбка, которая, в частности, возникла на лице жены сразу же, как только муж представил ей свою милую даму, соседку по даче и спутницу прогулок. Жена, правда, приехала внезапно, нагрянула как снег на голову, хотя ей ничто не угрожало, но она приехала, совершенно ни за чем, взяла отгул на работе и приехала без повода и причины. Они провели вместе, втроем, десять-пятнадцать минут, причем, разумеется, вначале наступило некоторое замешательство, поскольку жена с отчаянной улыбкой смотрела на милую даму и наконец сказала, что прикидывает в уме разницу в возрасте. «Небольшая», — пошутила милая дама, и разговор потек дальше, безумный разговор о каких-то супах, которые муж вынужден был здесь есть, и о синтетических супах вообще. Жена, вероятно, чрезвычайно волновалась во время этого разговора, и вдруг в разговоре наступила пауза, однако присутствовавшая тут же хозяйка дома повела с этой женой отдельную беседу, и наконец те другие двое получили возможность поговорить еще раз, в последний раз, на сей раз в таком опасном окружении. И они стали говорить о каких-то пустяках, буквально перебивая друг друга и действительно забыв обо всем на свете.

А затем пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его — и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было.

## Темная судьба

Вот кто она была: незамужняя женщина тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела, что называется, домой мужика. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой, то жил, то не жил, то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал, что будет, как ты думаешь, завлабом. Как ты думаешь, буду я завлабом? Так восклицал он, наивный мальчик сорока двух лет, конченный человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в четырна-

дцать лет и довольна собой, в то время как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня, и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито, по дороге они остановились и купили торт, он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреодолимая жажда еды и жидкости, все то, что и мешало и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и всё. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: «Да, да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и посматривал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, облизал щепоть языком, как собака.

Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистый и ухоженный толстый ребенок, он сидел в майке и трусиках на краю тахты, снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки наконец. Лег рядом с ней на чистую, белую постель, сделал свое дело, потом они поговорили, и он стал прощаться, опять твердил: как ты думаешь, будет он завлабом? На пороге, уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок.

Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил, приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан от ворот поворот на веки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего ему больше тут не выгорит. Он этого не понял, ссыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком.

По счастью, они работали не вместе, в разных корпусах, она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью, вечером начиналась опять та, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахалю?» — «Нет», — ответила эта сослуживица стес-

ненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку: никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет, а ты?» — спросила сослуживица. «Я — да», — ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попала бесповоротно, на те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить, жене или матери или на службу: у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало, и ее ожидал еще позор как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону все одним и тем же голосом в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользящему человеку, наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегающему ото всех и, наверное, всех спрашивающему все одно и то же все в тех же ситуациях: будет ли он завлабом?

Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья.

## По дороге бога Эроса

Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж, — так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту, — или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка», и всё.

Вечно молодая сослуживица праздновала день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию (как они на работе называли ее по имени гоголевского персонажа, верной пожилой жены своего мужа), а могли бы ее называть также и Бавкидой по заложенным в нее природой данным быть верной, бессловесной, твердой как камень и преданной женой, но Господь Бог судил иначе, и Пульхерия осталась очень рано в единственном числе с двумя дочерьми. Она-то была верной, но этого для жизни мало, как выяснилось, и у ее мужа завелась после санатория знакомая, были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, а затем Пульхерия, как известно, осталась одна и мгновенно, как только младшая дочь вышла замуж и забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием, ушла в себя, спряталась в свое пухлое маленькое тело, в щеки, спрятала глаза, когда-то большие и, судя по фотографиям, прекрасные (одну из таких фотографий Пульхе-

рия как-то нашла на своем пороге с выколотыми зрачками, понятно чьи дела),— но прежде всего Пульхерия спрятала душу, бессмертную душу юного гения, каким его рисуют — с крыльями, бесплотного, с кудрями и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро спрятала, быстро обросла брэнной плотью, кудри обвисли. Но этот гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, подобно озарению. На работе она так болела за свое маленькое порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу, злобную и ничемную, которая уничтожала все предыдущее и накопленное со злорадством беса, перекроила уже приготовленную к отправке выставку, заставила писать новые тексты, и вот тут Пульхерия и ее молодая еще ровесница Оля спелись и сдружились.

Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает. Так вышло и в нашем случае. Сухая и самолюбивая Оля возненавидела начальницу люто, вся жизнь Оли была в работе, поскольку дома у нее происходили какие-то неурядицы и проживал тяжелобольной муж, поэтому были регулярные поездки к нему в больницу и мучения с ним дома, затем имелся сын, который быстро женился и хотел привести прямо в дом к маме какую-то ловкую бабу старше себя, и Оля потемнела лицом на глазах у сослуживцев, но потом все-таки она поселила парочку у новоявленной жены в тесной комнатке плюс родился ребенок, а у Оли с мужем были хоромы.

Вот в эти хоромы Пульхерия и поплыла по житейскому морю, предварительно поручив на один вечер все дела дочери, но болея душой за нее, как она справится с малышом одна, оставшись со своим суровым, но безтолковым юным мужем.

Пульхерия, таким образом, оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Все произошло так мгновенно и все так переменялось, что уже назавтра Пульхерия не помнила ни себя, ни, страшно сказать, свою семью, она как бы впала в сон, а некоторые считали, что она слегка повредилась в разуме, например та же Оля.

Итак, приехав на место, Пульхерия сразу затерялась, засунула свое брэнное пухлое тельце в какой-то угол и там затихла, наблюдая утомленными, заплывшими глазами за хлопотами и приготовлениями Оли, не такой скорбно-значительной, как всегда на работе, а простой и домашней, в кружевном старинном фартучке. Оля была очень мила, ей помогали какие-то женщины-подруги с прическами, а в большой комнате (сколько комнат было вообще, Пульхерия не посмотрела) курили у телевизора мужчины — для Пульхерии этот высший свет, этот шикарный мир людей со свободным временем не существовал, и Пульхе-

рия даже и не подумала предложить свою помощь, она просто сидела и отдыхала в кои-то веки.

Пульхерия очень хорошо и с некоторой неловкостью всегда понимала истинные побуждения людей, и в этом случае она тоже понимала, что Оля хочет окончательно подавить ее, Пульхерию, своим великолепием и затем с ней, подавленной, выступить единым фронтом, три человека в отделе, пойти в наступление на начальницу, скинуть ее и затем заступить на это место самой.

Пульхерия с досадой думала о своей всегдашней мягкотелости и уступчивости, что поехала в эти гости, где все чужое и малоинтересное, но у маленькой Пульхерии тоже весьма накопело на душе против начальницы, которая плевать хотела на огромную многолетнюю работу по обработке фондов и хотела все перевести на другие рельсы, на рельсы самоокупаемости, в том числе в русло пикантных разоблачений кто с кем жил и какие есть письма и доносы.

Начальницу быстро назвали «Шахиня» и поняли, что она хочет на чужих плечах сделать докторскую, для того она и въехала сюда на плечах мужа, замдиректора родственного НИИ, а он взял на работу кого-то из детей их директора, тоже порядочного проходимца, похожего на артиста в роли архиерея. Всё всем было известно и всех брала тоска, но что делать!

Таким образом, Пульхерия сидела в гостях тихо и безучастно, выключившись полностью, отдыхая от своих бесконечных трудов, уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки — притом что Пульхерия была старше Оли всего на два месяца. Однако заметим, для будущего это важно, — Пульхерия расценивала свою внешность как несуществующую и знала про себя, что настанет момент, и она из куколки, из кокона обратится обратно в бабочку. Она как бы играла сама с собой в старость в том возрасте, когда другие еще очень и очень возрождаются и поддерживают в себе тонус, — и сама не знала, что оттуда уже нет выхода таким как она. Оле был выход, а ей — нет.

Тем не менее Пульхерия иронически приглядывалась к Олиной вечной молодости и расценивала все ее гимнастики, диеты, корты и лыжи как легкий сдвиг. Пульхерия к себе относилась легкомысленно, а Оля даже сделала небольшую косметическую операцию за ушами и стала еще моложе, а во рту у нее польхал голубоватый фарфор, но Пульхерия стеснялась смотреть на Олю в ее затянутое лицо выше уровня рта. Она, что называется, смотрела Оле «в рот», что Оля принимала за ее приниженность.

Оля вся была как на ладони, а Пульхерия носила в своей душе маленького, но крепкого и иронического ангела-спасителя, который всё про всех понимал, и Пульхерия в ответ на все иронические замечания Камиллы, третьей сотрудницы, молодой женщины богемного типа из художественной среды, вечно в свитере, джинсах, кольцах и браслетах, — в ответ на ее иронию в адрес молодящейся Оли Пульхерия только вздыхала. А Оля

решила полностью опереться на приниженную Пульхерию и именно ее пригласила в гости в дом на день рождения, а Камиллу инстинктивно оставила без внимания, поскольку Камилла на работе томилась, начальнице грубила и просто так бы поддержала любое деструктивное, то есть разрушительное, начинание в адрес существующего положения вещей. Камилла могла бы, кстати, и не пойти в гости к старому бабью, да и Оля могла опасаться ее подлинной без натяжки юности. Так что оставалась безопасная Пульхерия, а у Камиллы были другие мечты и другие дела, и на этом мы ее оставим. Камилла тоже была не просто так с улицы взята на работу, у нее имелись непростые родственники.

Пульхерия сидела сиднем, потом стронулась с места как все, будучи приглашенной к столу, села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже, вела скромную и тихую, как обычно, жизнь, что-то попивала, ела салаты, пока вдруг не поняла, что рядом спрашивают, как ее зовут. Это был мужчина, сидевший справа. Пульхерия ответила, завязался разговор, речь шла о том ученом, архивом которого много лет занималась Пульхерия. Ученый был уже разоблачен, свергнут, забыт и упоминался только в юмористическом и разоблачительном плане, а Пульхерия знала всю его жизнь и все его взаимоотношения с великими мира сего, любила его, как энтомолог любит особую разновидность, допустим, мелкого жучка, признанного вредоносным, но открытого собственноручно. Поэтому она возражала, как ей казалось, обывательскому тону в вопросах этого соседа и тихо и немногословно отвергла общепринятую точку зрения. У вредного старца была надежная защита в лице кроткой Пульхерии!

Сосед начал ниспровергать и горячиться, а она не стала продолжать разговор, снисходительно помалкивая. Сосед приводил общепринятые и истасканные факты, давно обнародованные, а Пульхерия знала многое другое, но, как специалист, не снисходила до спора с невеждой, а только вздыхала. Один раз она поправила его, и он с изумлением посмотрел на Пульхерию, настолько изящным и точным было ее возражение. Пульхерия тоже впервые посмотрела на своего соседа и увидела как в тумане красноватое худое лицо, седые всклокоченные волосы, недостаток одного зуба впереди и воспаленные, часто моргающие, очень светлые глаза. Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей.

Сосед глядел на Пульхерию и мягко улыбался. Он, видимо, вообще улыбался всегда, есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет. Сосед, однако, улыбался Пульхерии как восхищенный ее разумом, покоренный собеседник, и Пульхерия тут же полюбила его жалостливой, щемящей любовью, такой получился результат.

То есть она сама еще не знала этого, а просто как бы освободилась, расцвела, и ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа, и дело было завершено. Пульхерия тихо и со вздохами, но твердо и обоснованно рассказала о предмете своих исследований — то, чего она никому бы не рассказывала, но важен был не предмет, а сущность разговора. Сущность же была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись, сказала соседу Пульхерии что-то громко на ухо. Громко и на ухо в основном говорят обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на оскорбление адресата, но Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжалась. Сосед затем проводил засобиравшуюся Пульхерию до двери и вдруг заторопился, надел зимние сапоги (он был почему-то в домашних тапках), оделся и пошел провожать Пульхерию вон из дому. Они отправились по морозцу пешком до метро, и Пульхерия не стеснялась ни своего легкого старого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости. Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскрылись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовый к старости.

Пульхерия была доведена до метро, затем до вагона, затем провожаемый влез вместе с ней в поезд и еще долго вел Пульхерию до самого ее дома, до подъезда, где прощание было церемонным и галантным, так как Пульхерии была поцелована ее пухлая маленькая рука, кстати, очень красивая. Ни о каком номере телефона и речи не было, Пульхерия даже не узнала имени своего любимого человека и так, согбенно и скромно, скрылась во тьме подъезда, ни о чем не думая.

Однако червь отчаяния начал глодать ее уже ночью. Пульхерия знала себя и знала, что не спросит никакую Олю о том, кто это был этот сосед справа. На работе Оля вела себя обычно, все силы занял у нее очередной конфликт с начальницей, которая, сидя в той же комнате что и Оля, попросила Олю достать ей из шкафа нужную папку. Оля вспыхнула и предложила начальнице самой прогуляться до шкафа, и завязался свистящий разговор о перечне служебных обязанностей.

Пульхерия из соседней проходной комнатухи, где она обреталась в архивной пыли и не спеша обрабатывала очередную папку писем, слышала всю беседу соперниц, но — удивительно — она настолько была занята своими мечтаниями и мыслями о Неизвестном, что все это пролетело мимо нее. И на обеденном перерыве, стоя в очереди, она слышала, как Оля, вся кипя, с мнимым юмором рассказывала кому-то инцидент, поправляя его довольно грубо в свою пользу, но Пульхерия,

опять-таки равнодушно, пропустила это мимо ушей. Оля тоже как бы сторонилась Пульхерии, не пригласила ее как обычно идти в столовую вместе, а пролетела словно фурия, не глядя по сторонам. То ли она не одобряла все, что произошло вчера, то ли равнодушие Пульхерии дало о себе знать — ведь иногда, Пульхерия это давно заметила, ты думаешь, что к тебе начали относиться плохо, а на самом деле просто это ты уже плохо начал думать о человеке. Все люди внутри остались животными и без слов чувствуют всё, что происходит, ни одно душевное движение не остается без ответа, и более всего равнодушие.

Равнодушная Пульхерия, однако, отстояв очередь до кассы, к своему удивлению, двинулась с подносом к столику, за которым уже сидела взбешенная Оля совершенно одна. Пульхерия твердо решила ни о чем не спрашивать Олю и спросила:

— Ну как вы вчера?

— Что вчера? — резко ответила Оля.

— Я ушла раньше...

— А, какое кому дело до мытья посуды, — едко ответила Оля. — Нет, вы видели эту хамку, она меня просила написать объяснительную записку. Кто она? Жена она, и всё! Она же жена этого идиота, друга нашего идиота! А знаешь какая у нее была диссертация? Особенности морфологии суффиксов ачк-ячк и ушк-юшк! Ушки-юшки! И идет после этого без стыда работать к нам!

Оля еще долго говорила, что у нее тоже есть связи со времен института, такие связи, что боже мой. В президиуме, сказала Оля своим свистящим голосом, так что за соседними столами явно слышали. И что ей стоит только позвонить. Что ее мужа тоже ценят и уважают как математика, и неважно, чей муж где работает и что один болен, а другой здоров как бугай, но полное ничто как ученый. Важно как кого уважают! И когда муж болен, слышали бы вы, какие люди звонят и спрашивают, как он чувствует!

— А что с ним? — неожиданно для себя спросила Пульхерия, чтобы только перевести разговор поближе к своей теме, к событиям в доме Оли, к своему Неизвестному.

— Не спрашивай, — ответила Оля. — Шизофрения. Вот так!

Пульхерия должна была бы страшно пожалеть бедную Олю, от всей души, с содрогнувшимся сердцем, но она почему-то осталась вполне спокойной.

— Я этим диагнозам не доверяю, — сказала Пульхерия.

— И он старше меня на десяток добрый лет, я не знала и вышла замуж.

— А ты не верь.

— И выяснилось недавно, что это уже давно. Все желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую.

— И что же в этом ненормального? — спокойно сказала Пульхерия. — Это обычно.

— Он так бил кулаком в больнице по стене, все думали от боли, а потом стали спрашивать меня, я все рассказала. Говорят: как хорошо, что вы пришли, он все звал вас, пусть придет Аня. Аня, представляешь?

— Аня? — спросила сбитая с толку Пульхерия. Она еще не понимала, что вся ее последующая жизнь обрисована была Олей в этом разговоре. Пульхерия ничего не понимала, но слушала прилежно, с бьющимся сердцем. Оля явно что-то ей хотела сообщить, что-то внушить.

— Сказали: он все звал вас, позовите Аню, позовите Аню!

— Аню?..

— А сам никому не нужен, кроме меня. Хорошо у нас в отделе я не дала ему телефон, а на той работе звонил по десять раз в день. Ревнует. Сумасшедший.

— А как же ты? — сказала Пульхерия вполне бессмысленно.

— А вот так. Хорошо еще, что он в постели пока слава богу, а то бы я вообще повесилась. Ты рассмотрела, какие у меня гости были мужики?

Пульхерия не ответила, только воззрилась на Олю, ничего не понимая.

Оля сказала:

— Какие мужики, и все мои любовники, я их всех собрала с женами, жены тоже все мои подруги. Что-то же надо делать с начальницей!

Ошеломленная Пульхерия заткнулась на этом, вопросов больше не задавала, Оля отвлеклась на новый рассказ о событии, а Пульхерия пила компот, неожиданно для себя ощущая жар в щеках.

Мыслей о разговоре с Олей хватило Пульхерии на всю вторую половину рабочего дня, Пульхерия должна была честно признать, что есть какая-то область жизни, совершенно непонятная, но именно там на пороге могут лежать фотографии с проколотыми глазами. Эти соображения перемежались у Пульхерии волнами страшной тоски. Внешне же это выглядело так, что Пульхерия углубилась в чтение все одно-го и того же пыльного старинного письма.

Тем же вечером, возвращаясь с работы с тяжелыми сумками, Пульхерия увидела у подъезда в сумерках фигуру с непокрытой седой головой. Как само собой разумеющееся, возникло перед ней то, о чем она тосковала все последние сутки, и теперь душа Пульхерии успокоилась. Она повела гостя к себе в квартиру, где на кухне сушились пеленки, в большой комнате у молодых была тишина, то ли они гуляли с ребенком, то ли спали все втроем перед бессонной ночью: ребенок часто плакал между тремя и пятью утра. Пульхерия завела гостя к себе в маленькую комнату, где было чисто и просто, диванчик (Пульхерия смотрела на все новыми глазами, как бы со стороны), круглый столик еще бабушки, кресло — все рухлядь и старье, но старье старинное, в том числе два маленьких книжных шкафа и старые книги в них. Гость сразу

стал рыться в книгах, Пульхерия принесла чай и жареную картошку с кухни, поели в молчании, потому что гость весь ушел в книгу, потом он сказал, что ему пора, и удалился. Пульхерия, не прикоснувшись к нему рукой в этом тесном пространстве, после его ухода взяла книгу, которую он смотрел, и прижала ее к груди, закрывши глаза. Так она сидела в полной прострации, пока не загрело на лестнице, это молодые, везя коляску, ворвались в квартиру с шумом, громко разговаривая, забегали, затопали, полилась вода в ванной, закричал ребенок, а Пульхерия сидела, не в силах выйти из комнаты, и думала, что хорошо, что их не было дома, — и думала, что же это с ней происходит!

Теперь каждый вечер она семенила домой, на работе сидела как во сне и как во сне пребывала дома, делала все то же, то есть стирала, убирала, готовила, бегала по магазинам, но все в полной отключке, потому что каждый вечер приходил Он — то на час, то на пятнадцать минут, сидел, что-то говорил, приносил все время одни и те же пирожные «картошка», они ели, пили чай, он читал ей иногда вслух, иногда писал в тетрадке цифры типа формул, потом исчезал. Пульхерия сильно похудела, все вещички с нее сваливались, она почти ничего не ела, с работы старалась улепетнуть как можно быстрее и незаметней. Еще большую роль играло то, что Пульхерия жила сравнительно недалеко от работы — она как будто придавала огромное значение тому, что именно в назначенное время, минута в минуту он должен был появиться, и пропустить это время было нельзя. Молодежь очень быстро привыкла к гостю, его не стеснялись, хотя и никаких бесед не происходило, только здоровались и прощались, если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был именно целеустремленный, такой же как у Пульхерии, когда она торопилась домой.

На работе Пульхерия очень много трудилась, почти не поднимая головы, и Оля к ней быстро охладела, тем более что она внезапно как бы набралась сил (какие-то результаты закулисных переговоров), объединилась вдруг с начальницей, и они обе совместно стали выживать с работы молодую Камиллу, которая действительно и опаздывала, и брала часто бюллетень, и грубила, хотя работа ее продвигалась, статью она написала, и очень дельную. Но все разрешилось на том, что Камилла, как выяснилось, уйти с работы не имела права, она, это выяснилось, ждала ребенка, муж привозил ее на машине и раньше времени увозил. Результат был такой, что начальница и Оля еще при наличии Камиллы начали активно искать ей замену прямо в ее присутствии, и Камилла грубила им обоим еще с большим чувством, но пухла и увеличивалась на глазах и уже с трудом таскала ноги. Кто-то им всегда был нужен как предмет борьбы, и хорошо, что это была Камилла, однако Пульхерия чувствовала, что недалек и ее час. По институту прошел слух, что у Пульхерии не все в порядке с головой: Пульхерия явно опаздывала со сдачей в срок ежегодного листажа, на обед не ходила, а бегала по магазинам. Никто не

знал, что все ее время занимает Он, каждый вечер к ней приходил ее Каменный гость и неслышно сидел как камень, и не могла же она при нем писать свои труды! Она и делала это по ночам, а утром тащилась на работу, ничего не успевая, и там сидела сиднем и что-то корябала на своих карточках, не видя в своих занятиях смысла.

Дело разрешилось на том, что спустя два месяца такой жизни ее гость пропал. Проживши три ужасных дня, Пульхерия опять пошла обедать в институтскую столовую и села за столик, где восседали начальница и Оля. Они-то встретили ее радушно, посоветовали обратиться к хорошему врачу (Оля вызвалась даже устроить консультацию), начальница похвалила статью Пульхерии, наконец-то сданную, Оля похвалила Пульхерину фигурку («у тебя что, диета»), и затем они продолжили свой разговор, от которого Пульхерия оцепенела.

— Значит, завтра до обеда меня не будет, — сказала Оля значительно.

— Как скажет ваша милость, — сказала начальница шутливо. — Можешь быть уверена.

— Положили в беспокойное отделение, — сказала Оля. — Это буйное отделение. Там его убить запросто могут. Да те же санитары. Надо переводить его во второе, как обычно. Там его знают, там его любят. А то в этом беспокойном его заколют совсем, вообще больным придет дебилом или импотентом.

Начальница при этом сделала рот как для поцелуя и пошлепала сочувственно губами:

— В буйном да, сделают.

— А очень просто, — сказала Оля. — Я когда вызвала психоперевозку, он начал скандалить, не шел, а от этого зависит. На улице кричал громко «помогите!» и извивался. Санитары прямым ходом отвезли в беспокойное.

— Это кто? — спросила Пульхерия.

— Мой, — ответила Оля. Щеки у нее были сизо-алые. — Ведь что кричал? Что я его враг, додумался! Типичный бред. Кидался в окно, разбил стекло головой, весь порезался, все было залито кровью, еще кошка эта поганая пришла, я его держу, как Иван Грозный, а она лижет с пола... Веником выгнала, нализалась человеческой крови, как людоед!

— А с чего это началось? — спросила Пульхерия участливо. Сердце ее стучало.

— Опять начал пропадать из дома на сутки, на двое, возвращался ободранный... Голодный, грязный...

«Врет», — подумала лихорадочно Пульхерия.

— Еще что: ну как это у них, не спал, ни с кем не разговаривал, одичал... На работу, слава тебе господи, он вообще раз в неделю ходит... Одну статью в год пишет, они и рады... Одну статью, а они после этой статьи диссертации защищают... А он до сих пор кандидат... Конечно, он гений. Доморощенный. Я на работу, обратите на странности поведе-

ния, они отвечают, директор, спасибо, ему надо отдохнуть, дадим путевку... А он тут же бросается из окна головой в стекло... Я одна, я одна только знаю... Присосались к нему какие-то пиявки опять.

— Ну ты подумай,— вставила начальница.

— Не работал, ни одной формулы, я смотрела, обычно он исписывает пачками бумагу...

Пульхерия вспомнила, что Он иногда писал что-то в тетрадке. «Опять врет»,— подумала она.

Оля вытирала со щек щедрые слезы, не обращая ни на кого внимания.

Пульхерия теперь все знала. Оставалось выяснить, в какой больнице он лежит.

Как-то все сразу соединилось, встало на свои места. Огонь горел в Пульхерии чуть выше желудка, как будто зажгли лампочку и именно на том месте, где обычно ухаает, когда человек проваливается или видит чужую рану.

— Ничего, пройдет,— сказала она.— У меня брат лежал в Кащенко, ничего, выпустили.

— В Кащенко мы не лежали,— ответила Оля задумчиво.— Мы лежали в своей, там его знают с первого раза, с этой Ани начиная. Чуть не кирпич из стены выпал, так он бил по стене кулаком.

— Ничего, выйдет и опять все путем,— сказала начальница.

— Но сколько можно на одного человека! — воскликнула Оля.— Сколько можно! Эта его девушка, я имею в виду сына, опять она его подсылает разменять квартиру! Настрополила сына подавать в суд! Ему же говорят языком: она получит квартиру, которую мы тебе дадим, сами останемся на бобах с психически больным отцом, и она тебя сразу же погонит. Отдай сыну квартиру, не будет ни сына, ни квартиры!

И дальше потекла ее речь одинокого в своей огромной квартире человека, всех раскидавшего, безудержного, страстного и непобедимого.

Пульхерия сидела окаменев за этим столом над пустыми грязными тарелками.

— Главное,— продолжала Оля,— всегда находятся бабы, которые на него клюют. Вечно навешают его в больнице, носят ему домашние пирожки с капустой, передают бульоны, черта-дьявола. Я говорю нянечке: никаких передач, кроме меня, мало ли они ему намешают в тот бульон. Чтобы не тревожили его, не беспокоили. Слава богу, сейчас в больницах карантин, вообще никого не пускают из-за гриппа. Так только, передачи принимают или письма. Он ведь там, где его держат, он ничего не ест.

— Как моего брата,— сказала Пульхерия задумчиво.— Но его брали как диссидента, он голодовку объявил. Кормили через зонд.

— Уж не знаю,— раздраженно сказала Оля,— через что его там кормят. Врач сказала, что у шизофреников это такая форма самоизлечения, все эти голодовки. И не надо вмешиваться в организм. Но голо-

довка именно в буйном — это страшно. Они там не церемонятся, сразу пускают электрошок. Как через электрический стул проводят, только электрический стул это раз и навсегда, а тут повторяют.

Пульхерия держалась изо всех сил, она понимала, что Оля вызывает ее на реакцию, что Оля за ней наблюдает, как за подопытным животным.

На этом обед завершился, Пульхерия вернулась за свой стол в проходную комнату, теперь кончились, как ни странно, ее страдания на протяжении всех этих трех суток, проведенных абсолютно без сна, теперь начались только его страдания, его жизнь там, в тюрьме, его одиночество в толпе буйных зверей. Страдания брошенной женщины превратились в страдания насильно разлученной женщины, а это разные вещи, как разные вещи горе вдовы и горе покинутой, подумала Пульхерия, наблюдая за собой. Лихорадка, знакомое еще со времен проколотых фотографий чувство, оставила ее. Пульхерия даже с некоторым торжеством думала о покинутой Оле, о победительнице, не нужной никому.

— И если бы не мои любовники, я бы вообще повесилась, — сказала Оля, входя последней в отдел.

— Ой, не говори, — откликнулась из комнаты начальница Шахиня. — Иной раз любой хорош.

— Нет, я этим брезгую, у меня люди преданные, семейные, я всех собираю на день рождения и на всех смотрю.

Так сказала Оля, задерживаясь за стулом Пульхерии.

Так она пыталась уменьшить победу Пульхерии, и Пульхерия все поняла и осталась спокойна.

Она размышляла. Тоска еще не захлестнула ее, не накрыла с головой, Пульхерия отдыхала после смертельного ужаса, и волны любви и преданности носили ее над этим грязным полом, над стулом, над столом, голова кружилась, Пульхерия как бы шептала что-то о своей любви над пыльными письмами, старалась послать всеми силами Ему поддержку.

Когда-то Его страдания должны будут кончиться, надо будет Ему помочь, надо будет действовать с предельной осторожностью, передать восточку: надо будет жить, все рассчитав, до полной победы, до освобождения, до свободы, хотя опыт Пульхерии с ее братом-диссидентом подсказывал, что все очень непросто, и яростным усилием освободить человека это еще не все. И дело не в формальностях, не в правах человека, грубо нарушенных и потому легко восстановимых. Стронуть человека с его места, даже с такого места, это большой риск, думала пока что спокойно, как шахматист в начале партии, Пульхерия. Нельзя трогать человека, думала Пульхерия, нельзя, нельзя, он все должен сделать сам. Все, кто до сих пор его освобождали, все эти переносчицы пирожков и бульонов, ушли в тень, исчезли, а Пульхерия знала, что должна остаться в его жизни — остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой.

Пульхерия за одну секунду превратилась в какого-то полководца, знающего силу отступления, ухода в тень, силу молчания. Надо будет ждать. Он вернется, думала Пульхерия. Он сам прорвет эти цепи. Он сильный. И слишком велико беззаконие, ему помогут. Ему поможет сын. Победа придет, но без меня. О ужас, ужас, подумала Пульхерия, не видеть его, ничего не знать.

— Ты не желаешь поехать со мной в больницу? — подошла сбоку к ней Оля. — Ты ведь за столом, помнишь, с ним сидела, вы так мило толковали, забыв прямо обо всех!

— Это был твой муж? — ровным голосом спросила Пульхерия.

— Ты что! Он ведь тебя поехал домой провожать, я ведь его попросила, помнишь? Перед чаем.

— Он проводил, да, до автобуса, — сказала Пульхерия, — я ведь откуда знала, что он больной. Я их боюсь после брата, я и брату в Америку редко пишу.

— Интересно, — сказала Оля и вся как-то затуманилась, выпрямилась, взор ее обратился вдаль, упершись в грязные обои над Пульхериным столом. — Интересно, какие бывают суки, приманивают больного человека.

— Я не приманивала, — холодно ответила Пульхерия, — он сам меня пошел провожать. Там пять минут ходьбы, автобус сразу подъехал, у меня и никаких подозрений не было, что он больной.

— Ну, поехали со мной? Лидочка нас отпустит. Мне одной страшно.

— Ты извини, у меня ведь внук...

— Так это в рабочее время!

— Ты извини, мне как-то неудобно, кто я такая.

— Да он меньше на меня орать будет при постороннем человеке, — сказала Оля.

— Ой, да я боюсь, — ответила Пульхерия и достала из ящика очередной пакет писем.

— Слушай, — как-то медленно заговорила Оля. — Ты не видела, в какую он потом сторону пошел?

— Откуда я видела, я не смотрела. И потом в автобусе стекла замерзли. И буду я проверять, зачем мне это!

— С кем-то он все это время жил. Со мной лично он не спал, — так же задумчиво сказала Оля.

— Ну, — отвечала на это Пульхерия довольно холодно, — это от меня не зависит. Он мне такого наговорил про деда, — Пульхерия показала на портрет объекта своих исследований, находящийся под стеклом в виде то ли Ворошилова, то ли Гитлера, с пучком волос под носом и в пенсне, как у Берии, такая была мода у руководителей той эпохи. — Он сказал, что я вообще работаю напрасно, гну спину.

— Это он умеет, оскорбить, унижить, задеть, — сказала Оля. — Это у него главное в личности. Он сам гений, все же остальные сляпки. Это

квартира, где проживает гений, все ему принадлежит, а нет! Вот нет! Это его инициатива разменять квартиру, а ее дали на нас всех! Мне сын сам проболтался, что он хотел сыну двухкомнатную квартиру, себе квартиру, а мне, как последней спице в колеснице, что останется. Но не вышло! Он психически больной и вообще недееспособный. А как сын-то разорвался кричал! Наследственность. Надо его показать психиатру. Отец, видите ли, всё ему подписал, все бумаги на обмен квартиры! А я оформляю над отцом опеку, он ненормальный и недееспособный! И всё! Квартиру ему! Да не ему, а этой! (Она добавила еще слова.)

Неожиданно Пульхерия покраснела, но она сидела читала, и такая же раскрасневшаяся Оля стояла и не видела ее лица, не вглядывалась, ее несло как на крыльях, она проклинала, угрожала, сулила чертей, и все напрасно.

— А ты возьми с собой Лиду, Шахиню, — сказала Пульхерия.

— Да хорошо, хорошо, никто мне не нужен, первый раз, что ли, — сказала выдохшись Оля и удалилась к себе.

Пульхерия, прошедшая с честью проверку Оли, продолжала корпеть над своими пыльными бумажками в тесноватой проходной комнате без окна, дело шло к марту, и Пульхерия работала в большой тоске. Она знала, что теперь надо только положиться на судьбу, набраться мужества и ждать терпеливо, скрываясь...

Ибо одно было то, что ничего не стоило вспугнуть Олю. Узнав правду, она способна была бы поджечь квартиру Пульхерии, убить мужа каким-нибудь легким способом — санитары в буйном отделении тоже люди, и сколько ни надейся, там могут найтись преступники и взяточники.

И второе было то, что Он, Каменный гость, мог уже забыть свою Бавкиду, свою Пульхерию, ибо любовь — это игра и ничего больше, она боится взаимности, привязчивости, преданности, боится платить долги и любит загадку и ложные пути.

Гость ценил недоговоренность, внезапность, свободу и нападал только из-за угла.

Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже не до игры. Возможно, он и обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку.

И Пульхерия залегла на дно, и единственно что с ней произошло — она побарахталась и тихо перебралась в другой отдел и на этом пути похудела, осунулась и каждый день, возвращаясь домой, чуть не теряла сознание.

И только в конце июня Пульхерия, поздно идя домой из библиотеки, увидела у подъезда на скамейке знакомую фигуру, сидящую в свободной позе нога на ногу, фигуру в сером, с седыми волосами.

Гость медленно встал, открыл перед ней дверь, Пульхерия прошла, позорно споткнувшись, — он поддержал ее под локоть, как даму, и повел к лифту.

## Мост Ватерлоо

Ее уже все называли кто «бабуля», кто «мамаша», в транспорте и на улице.

В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье (неравный брак курортного происхождения),— муж этот то приходил, а то и не являлся.

Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все, имущество, костюмы, обувь и книги по кино; все осталось бабе Оле неизвестно зачем.

Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться.

Папаша, видно, и сам не хотел, было, видимо, неудобно — счастливым молодоженом, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка.

Может быть, считала баба Оля, ТА его жена сказала: плюнь на все, что надо утром купим.

Может быть, она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного: из-за шишек.

Облезлая была баба Оля, кроткий выпученный взгляд из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога.

Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездила приводить в порядок, причем одна.

Дочь ее географ в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь.

Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевой рыбешки, а дочь-географ, малоподвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики.

Муж географа обычно отсутствовал, этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование при красном свете в фотолаборатории, и мало ли что у него там происходило, сама дочь-географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта в обалделом виде, юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фотоработника (к тому же алиментщика и без жилья) к порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру, дура.

Дело прошлое, много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате (фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца, так называемый кабинет, раньше они с детьми жили в запроходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла), она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страховые полисы, вечно с пухлым портфелем, добрая; нос потный, зоб как у гуся-матери.

Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие (но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу) — такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забывая голову чужими делами и попутно тут же при знакомстве рассказывая свою историю блестящей певицы из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник Тьмутаракань, он там делал диссертацию, а она родила и т. д., в доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый и томный», хочоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби.

Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили бабы Олиного пения, поскольку из бабы Оли в консерватории растили оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическое сопрано.

Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням и вдруг заваялась в кино лично для себя: там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками.

Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе, купила себе билет и вошла в чужое теплое фойе.

У буфета толпились люди, была и молодежь парочками, и баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги, гулять так гулять, а затем, утершись клетчатый платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, расстегнула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться, — и тут погас свет и возник рай.

Баба Оля увидела на экране все свои мечты, себя молоденькую, тоненькую как тростинка в заповеднике, с чистым личиком, а также увидела своего мужа, каким он должен быть, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила.

Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах.

В конце баба Оля плакала, и все вокруг сморкались, и потом, еле перебирая ногами, баба Оля отправилась снова собирать дань как трудовая пчела, опять поцеловала две запертые двери и, словавшись на профессиональном поприще, поползла домой.

Автобус со слезящимися стеклами, парное метро, одна остановка пешком, третий этаж, густой домашний запах, детские голосишки в кухне, родное, любимое, знакомое — стоп.

И вдруг баба Оля, как наяву, увидела перед собой полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора.

Назавтра она опять мчалась в тот район пораньше с утра, застала клиентов на дому, собрала с них деньги, завязала еще несколько знакомств на кухнях в тех же коммуналках, приглашая людей выгодно застраховать жизнь и еще по дороге в качестве приза получить компенсацию за все ушибы, переломы и операции, что самое заманчивое, и люди охотно ее слушали, задумывались о судьбе, дело продвигалось, и затем баба Оля опрометью кинулась в знакомый кинотеатр на утренний сеанс.

Там, однако, шел уже другой фильм, детский.

Тем не менее у кассы баба Оля застала одно полузнакомое лицо, вечерашнюю бабульку в каракулевой папаше, еще довольно молодую, бабулька тоже прилетела в этот кинотеатр с утра пораньше и теперь, обездоленная, спрашивала, где висит киноафиша, явно чтобы пробраться в другое кино, где демонстрируется любимая картина.

Баба Оля насторожила ушки, переспросила, поняла суть вопроса и назавтра — только назавтра — в одиночестве засеменяла на свидание с любимым и опять вернулась в тот волшебный мир своей другой жизни.

При этом она уже меньше стеснялась других бабулек и в том числе себя и на выходе видела счастливые заплаканные лица и сама утиралась большим мужским носовым платком, оставшимся ей на память, как осталось ей на память мужское шерстяное белье, так называемое егерское

белье, и она поддевала это белье в морозы, а также и кальсоны на ночь, а дочь носила в школу папины клетчатые рубашки под сарафан: надо жить!

— О господи,— думала честная и чистая как горный хрусталь баба Оля,— что со мной, какое-то наваждение. И главное, эти старухи бегают с сеанса на сеанс, кошмар...

Сама она себя старухой не чувствовала, у нее еще многое было впереди, мало ли: бабу Олю ценили на работе, уважали клиенты, она содержала теперь семью и даже купила детям аквариум и ездила с ними на птичий рынок за рыбками, надеясь забыть ТО, главное (баба Оля умела управлять своими страстями, умела жертвовать собой, в Тьмутаракани например).

Однако ни фига не вышло, говорила себе баба Оля после очередного посещения клиентов на дому: о чем бы ни говорили, она обязательно снова и снова вворачивала любимое имя, Роберт, название фильма («Мост Ватерлоо») и подробности жизни актеров.

Люди пытались рассказывать ей о своем, а баба Оля опять упоминала, допустим, позавчерашний сеанс и в каком кинотеатре дальше пойдет картина.

Она уже сама чувствовала, что скатывается куда-то вниз, особенно в глазах клиентов, что она уже не так прилежно внимает всем этим историям, не так заинтересованно, как раньше, обсуждает их квартирные интриги, суды, измены, планы, а что она уже слушает все это как бы машинально, кивая и хлюпая носом в поисках носового платка, но что сквозь всю эту дребедень, накипь, пену жизни просвечивает то, главное, муки ЕГО. И, попутно, муки ЕЕ.

И наконец баба Оля окончательно определилась в жизни.

Она плюнула на все условности.

И главной своей задачей баба Оля почитала теперь не страхование и не сбор взносов, а внушение погруженным в персть земную клиентам, именно что внушение мысли, что есть иная жизнь, другая, неземная, высшая, сеансы, допустим, девятнадцать и двадцать один, кинотеатр «Экран жизни», Садово-Каретная.

Глаза ее при этом сияли сквозь толстые очки.

Зачем и почему она это делает, баба Оля не знала, но ей было необходимо теперь нести людям счастье, новое счастье, нужно было вербовать еще и еще сторонников «Робика», и она испытывала к редким новобранцам (новобранкам) нежность матери — но, с другой стороны, и строгость матери, была их проводником в том мире и охранителем от них правил и традиций. У нее уже имелась толстая тетрадка с переписанными из газет статьями о Роберте Тейлоре и Вивьен Ли.

Там же были вклеены портреты и кадры из фильма, тут поработал куда не годный зять под красным фонарем в своей сомнительной фотолаборатории: с паршивой овцы!

Худо было то, что орды теток и бабок слетались на священнодействие, это уже был какой-то содом и гоморра, рыдания, истерики, ходили по рукам поэмы.

Был установлен день рождения «Робика», и они отмечали это свое рождество в фойе кинотеатров, пили кагор и беленькую, шумели перед сеансом, а баба Оля, как строгий жрец, праздновала одна дома на кухне.

Встречаясь, они рассказывали друг другу как *было*, баба Оля же не допускала до себя эти их пустяки, хранила свою тайну, но в тиши ночей сама писала стихи и потом неудержимо поверяла их своим клиентам, выбрав момент.

Не бабулькам же декламировать, им прочтешь, они тут же читают тебе в отместку доморощенные глупости типа «И много девушек так сладко перещупал», тьфу!

Баба Оля проборматывала свои возвышенные стихи особо избранным клиентам. Она торопилась, шмурыгала носом, очки заплывали слезой.

Слушатели маялись, глядели в сторону, как тогда, когда она, расчувствовавшись, пела в полную мощь, и баба Оля понимала всю неловкость своего положения, но ничего не могла с собой поделать.

Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия, а радостно подчиняется, наконец найдя свой путь, каким бы он ни был.

«Это безобидно,— твердила себе баба Оля, счастливо засыпая,— я умная женщина, а это никого не касается, это, наконец, только мое дело».

И она врывалась в сновидения, где один раз даже проехала с Робертом Тейлором на открытой машине, оба они сидели на заднем сиденье, больше в ЛАНДО никого не было, даже шофера, и ОН полуобнимал плечи бабы Оли и преданно сидел рядом.

Вот кому расскажешь такое!

Однажды только был позорный момент, потому что не шляйся ночами (как сказала дочь-географ)!

Баба Оля шла развинченной походкой после сеанса где-то у черта на куличках, чуть ли не у Заставы Ильича — охота пуще неволи,— и ее обогнал молодой мужчина, высокий, полный, в шапке-ушанке с опущенными ушами (а баба Оля шла по-молодому, кубанка набекрень, и чуть ли не пела в мороз, напевала «Растворил я окно»), и этот молодой человек на ходу, обогнав бабу Олю, заметил:

— Какая у вас маленькая нога!

— Шшто? — переспросила баба Оля.

Он приостановился и задал вопрос:

— Размер ноги какой?

— Тридцать девять,— удивленно ответила баба Оля.

— Маленькая,— печально откликнулся молодой человек, и тут баба Оля ринулась мимо него домой, домой, к трамваю, хлопая портфелем.

Но затем, ночью, уже по трезвом размышлении, жалкий и больной вид молодого человека, его шаркающие подошвы, небритый, запущенный облик и тем более темные усики смутили бедную бабу Олю: кто это был?

Она пыталась сочинять о нем известные истории типа мама умерла, нервное потрясение, уволился, сестра с семьей не заботится и гонит и так далее, но что-то тут не совпадало.

Баба Оля, несмотря на упреждающие крики дочери, следующим вечером опять поехала на фильм туда же, на тот же сеанс.

И она начала понимать, посмотрев еще раз на Тейлора, кто встретил ее на темной улице после кино, кто это шел больной и запущенный, тоскующий, небритый, но с усиками.

И действительно, если подумать, кто еще мог таскаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом мире, кто мог бродить по такому месту, как Застава Ильича в 1954 году, какой бедный и больной призрак в маловатом пальто, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ватерлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, используемой как тряпка или половик, да еще и на буквально последнем шагу жизни, на отлете...

## В детстве

Что же это было? Мальчик перестал ходить в школу, то есть он ходил, уезжал, ехал на метро, потом на маршрутном такси и дальше две остановки на троллейбусе (трудный путь). А потом, оказывается, проливал.

Возвращаться надо было тем же образом, три вида транспорта и десять минут пешком — такова была цена перехода в новую хорошую школу. Туда пошел учиться обожаемый старший друг мальчика, еще с детского садика. И ребенок возроптал, что тоже пойдет туда же. Плакал всю весну.

Родители похлопотали, особенно мать. Она написала письмо просвещенному директору этой школы, все по-честному.

В прежней школе что-то не заладилось, начали придираться, класная руководительница звонила, новая математичка вообще стала сеять двойки, как пахарь в поле, широким жестом. И дорога была только в новую школу с гуманитарным уклоном.

Мальчик, кроме того, ездил в музыкальную школу на метро плюс две остановки на автобусе и две на троллейбусе. Дважды в неделю. Вот там было все хорошо, красивая и любимая учительница по сольфеджио, которая собралась сочинять с детьми оперу. И там мальчик получил роль и написал две арии Козла, они с мамой планировали сделать шапочку с рогами и приделать бороду на резинке! Репетиции были

веселые, смешные, дети просто бесились от радости. Все думали о декорациях, о костюмах.

И мальчик, легко возбудимая натура, невыносимо был счастлив на этих уроках, больше всех прыгал и кричал, как-то даже забывая про основной предмет, про сольфеджио, и настолько не схватывал материал (довольно сложный), не мог усидеть и понять, что в результате писал музыкальные диктанты кое-как. И у учительницы терпение лопнуло. Она просто взяла и выгнала ребенка из своего класса. Всё.

Его взяла другая преподавательница, умная, без этих наполеоновских планов прославиться на весь район. Спокойная, средняя, не слишком красивая (та, предыдущая, была просто прелестна, с чувством юмора, педагогический талант).

Новая учительница не требовала от детей сверхнапряжения. Обычные диктанты, небыстрый темп (той было всегда некогда, основное — опера). Пение, двухголосие по учебнику.

Мальчик плакал, ночами начал кричать. Он очень любил их оперу и свою партию, которую сочинял в муках и получал всегда похвалы.

Теперь ничего этого не было.

Утром его долго будил отец, уговаривал. Мальчик выходил из дому, чтобы ехать в зимней темноте на трех видах транспорта в новую школу, где был как бы гуманитарный уклон и где теперь учился друг с детского садика.

Мальчик все перемены проводил с классом этого друга — а они были на год старше, серьезные восьмиклассники. Мальчик строил горячие планы перескочить год, сдать экзамены и учиться вместе с ними. Он их обожал!

Но этот друг стал как-то холодновато к нему относиться, стеснялся посещения младшеклассника. И даже один раз высмеял его при всех. И в коридоре стукнул. Вообще стал гнать. Че опять пришел. Вали отсюда, ты.

Тем более что собственный класс мальчика, седьмой, был еще безо всякого гуманитарного уклона, так, сборная окрестных дворов, ребята неграмотные и не понимающие алгебры. Спорт, драки, вино. Плевки, тумачи, мат. Тугие соображения насчет химии и физики.

Мальчика живо начали бить, унижать, смеялись над ним. Новенький всегда проходит этот путь. Он должен за себя постоять. Это дорога настоящего мужчины.

Мальчик не умел и не хотел драться. Они сразу это поняли.

Они отнимали у него все деньги. В туалет на перемене нечего было и соваться.

Мальчик ничего не говорил никому, маме и тем более отцу.

Утром он выходил из дому, потом исчезал на целый день, возвращался вечером из музыкальной школы. Ужинал. Садился за уроки. Ложился спать. В одиннадцать начинал страшно кричать во сне.

И вот что: перед сном он несколько раз предупреждал маму: «Мне очень трудно ходить». — «Болят ноги?» — «Нет». Ему, видите ли, трудно ходить, сказала мама отцу. Что это значит? Ну трудно и всё, говорит. Глупости.

Затем поступил звонок из музыкальной школы — ребенок пропустил уже неделю, что, заболел? Звонила педагог по фортепьяно, заботливая и милая женщина.

И из той, продвинутой и почти гуманитарной школки тоже позвонили: заболел? Не посещает.

Мальчик ответил:

— Я же тебе говорил, что мне трудно ходить. Я не могу ходить.

— Ноги болят?

— Нет. Не могу ходить.

Мама немного была раздражена такой новостью.

— Что это значит, не могу ходить? Ты же ходишь по квартире? Ты просто не хочешь ходить в школу?

— Нет. Просто не могу ходить.

Был поздний вечер, мальчик лежал в кровати, вымытый, в пижамке. Его небольшие глаза блестели. Зрачки были огромные.

Маме какой-то холод заполз под кожу, предчувствие чего-то ужасного. Сознание грядущих перемен, тяжелых, нелогичных, беспричинных изменений.

Но здравый смысл — он всегда бдит и не верит неоспоримому и неожиданному, только что свалившемуся на голову несчастью.

— Ты что, не хочешь больше ходить в эту школу? Там же твой Костик! Ты же рвался туда! Я письмо писала, унижалась! Просила!

— Мне трудно ходить, — прошелестел ответ.

— Погоди. Не притворяйся.

Еще была какая-то надежда, что это простая лень. Усталость, которую можно перебороть.

— Все люди устают!

Огромные черные зрачки блестели во тьме. Рот у ребенка был сухой, и из него просочились слова:

— Я больше не могу ходить.

— Глупости! Что значит «не могу»? Ноги не болят, так что же?

Опять шелест:

— Не знаю. Ты понимаешь, я не могу.

Он не плакал.

Два черных пятнышка блестели, как блестят глаза животного, оленя, допустим. Оленя, который страшно боится, но не может скакнуть в сторону и убежать.

Окаменевшее лицо было обращено к матери.

Мать все еще пыталась логически бороться с подступающим будущим:

— Да глупости! Что это такое? У тебя ноги-то ходят! Ты же, в конце концов, явился сегодня домой?

— Я шел четыре часа.

— Как четыре?

— Я шел четыре часа.

— Но ты же отсутствовал двенадцать часов! И ты не был ни в одной школе! Мне звонили! И Наталья Петровна, и та новая классная руководительница! Что ты врешь-то?

Застывшее лицо.

— Я шел два часа до метро.

— До метро? Не смей меня. Там пятнадцать минут!

— Я шел два часа до метро.

— И что?

— Там я катался.

— Ну.

— И потом два часа шел домой.

— Так. От метро, не притворяйся, тихим шагом пятнадцать минут. Километр! Два часа шел один километр? Что ты врешь?

— Шел.

— И он, видите ли, катался! Хорошенькое дело. Все бы так, на работу не ходить, не учиться, а вместо того кататься. Восемь часов подряд, это что?

Блестят глаза. Молчание. Ни шепота, ни единого слова. Оправдываться нечем, никакой логики.

— Вот что. Завтра ты пойдешь в школу. Хватит. Завтра у тебя что, алгебра? Нельзя пропускать, ты что! Алгебра! Мне алгебра после школы много лет снилась, что я пропускаю. Что три месяца пропустила. Это же такой ужас охватывал (засмеялась). Потом еще у тебя физика небось. Стихи учить. Как догонишь? Нет, дорогой. Каждый день это шесть-семь уроков! Нельзя, нельзя.

На это никаких возражений.

— Так что вот. Всё, спи.

Опять то же самое:

— Я не могу ходить.

— Завтра встанешь и пойдешь как миленький. Не надо мне тут притворяться. Такие пропуски будут, что потом не разгребемся. В твоих же интересах, пойми.

Молчание. Лицо худело прямо на глазах, обтянулось.

— Ну что с тобой? Ну что? Ну надо, надо, понимаешь?

Девочка в углу в своей кровати молчала, притаилась. Явно тоже не спала. А ей в детский сад завтра.

— Мы с тобой Лизе мешаем. Она же тоже с утра должна на работу, да, Лиза? Все ведь встают и идут. Надо.

Ни звука из угла.

— Ну что, ну что? Что ты? Ну, спокойной вам ночи, приятного сна.

Не откликнулись. Обычно хором продолжали: «Желаем вам видеть осла и козла».

Поцеловала их. Холодный влажный лоб у него и теплый, потный у девочки.

Влажный холодный лоб. Ледяной.

Опять присела к нему на тахту.

— Завтра кататься на метро не будешь, хорошо?

Молчит.

Только бы не ответил это свое: «Я не могу ходить».

— Знаешь, вот. Завтра встанем и вместе поедем в школу. Ты увидишь, что все нормально, что ты все придумал. Я прослежу. Тебе, скажи, просто не нравится эта школа?

— Не знаю,— тихо просвистело в ответ.

— Ну там же твой Костик! Ты же так хотел туда! Слушай, давай пригласим его в гости, как раньше! Или сходите куда-нибудь вместе!

Он шевельнулся, как помотал головой едва-едва.

— Ну хорошо, сейчас ты устал. Завтра все будет нормально, вот ты увидишь.

Опять то же движение.

— Тебе что, там плохо?

Он открыл рот, потек его шелест:

— Сснаешьшь... Я когда опаздываю, там в две-ряххх... Дежурные стоят ребята... Они меня не пускают, иди откуда пришел... Потом вызывают других дежурных...

— Что, бьют?

— Иногда.

— Часто?

— Каждый день.

Так. Не давать ходу этому ужасу. Не воспринимать его! Как будто ничего нет.

Лучшая защита ребенка — это нападение на него.

— А ты почему опаздываешь? Ты же вовремя выходишь! У нас с тобой было все рассчитано! Ты сам виноват! Нечего на ребят сваливать! Они, конечно, будут издеваться, если каждый день ты опаздываешь!

— Я... Я говорил. Я больше не могу ходить.

— Выдумал. Чтобы оправдать опоздание. Я все поняла!

— Не могу.

— Всё, всё. Завтра мы поедем с тобой, я прослежу, как ты идешь. Спи.

Он взял ее руку и беспомощно поцеловал. Губы сухие, как корка.

Она вышла, оставив дверь приоткрытой. В коридоре по заведенному порядку горел свет (чтобы им не было страшно).

Через час он начал страшно орать, не просыпаясь. Какой-то ледяной душу звериной вой.

Она его разбудила, дала попить воды, прижала к себе.

Лиза лежала тихо.

Что-то случилось ужасное.

Мальчик был средним ребенком в семье. Существовал уже печальный опыт со старшим мальчиком в школах. Приходилось ходить на родительские собрания и отвечать учительницам. Ребенка ненавидели. Его старались сбавить, и дело докатилось до рабочего района и самой отпетый школы. Нигде не было спасу. Били, обижали, обвиняли (так виделось матери). Но он безропотно таскался туда, где его ожидали эти муки. Драться так и не научился. Не умел отметелить. Учителя обвиняли его, как ни странно, в том, что он слишком умный, видите ли. Старший тоже ходил в музыкальную школу, только по классу виолончели. Вот там его очень любили и прочили ему блестящее будущее. Туда он ездил охотно со своей бандурой, в толпе на троллейбусе. Справлялся сам. В конце концов как-то научился ладить с одноклассниками. Похоже было, что школьные бандиты его не очень терзали. Как-то он даже похвастался, что по чужим дворам может ходить безнаказанно, он знает таких людей, только назови имя, и т. д.

Но на это ушли годы. Чужак, чужак он был.

Была надежда, что и этот справится.

Младшего ведь тоже очень любили в музыкалке, у него тоже был абсолютный слух, артистизм и тэ дэ. Только лень. И этот конфликт с сольфеджио...

Маленькая брякала на пианино, пребывая пока в нулевке.

Утром (а уже была почти что весна, так что рассвело) все поднялись, старший уехал сам, маленькую повез отец, а мать с ребенком поехала забывать его маршрут.

Прошли полтора км до метро более-менее сносно. Спустились в метро. Вышли на Лубянке. Подождали маршрутку. Сели. Она все время хотела сказать: «Вот видишь? Все ты можешь. Но не хочешь же ты, чтобы я тебя как маленького возила?» Но она молчала.

— Ну вот. Успеваем. Видишь? — воскликнула она, когда они вышли из маршрутного такси. Надо было немного пройти и сесть на троллейбус.

— Ну и вот. Видишь? — повторила она, оборачиваясь к ребенку. Она уже немного ушла вперед.

Остановилась, застыла.

Мальчик стоял на месте, как-то тайно, про себя, легкомысленно и преступно улыбаясь. Как пойманный вор. Встречные прохожие внимательно на него смотрели, проходили, потом оглядывались.

Он стоял как на эшафоте.

Вернее, он не стоял, а шел на одном месте. Он перебирал ногами, не отрывая носков от земли, странно улыбаясь, с видом осужденного, который без слов убеждает всех, что совершенно невиновен.

Он улыбался как человек, над которым все издеваются.

Мать, похолодев, вернулась к нему:

— А ну давай возьми меня под руку!

Зацепился за нее своей скрюченной конечностью.

Пошли кое-как.

Он низко опустил голову, внимательно изучая асфальт. Он высоко, как цапля, поднимал каждую ногу, прежде чем ее поставить. Он как будто чего-то опасался и то тормозил, застывал, а то скакал вперед одним прыжком. И снова застывал.

Извиняющаяся улыбка, дрожащая рука, цепляющаяся за мать.

Опять огромные зрачки.

— Ой, ну пошли. Ну ведь опоздаем же! Совсем немного! Вот троллейбус идет!

Неровные шаги, торможение, полный ступор, потом прыжок.

— Ну опять встали. Ну сколько можно, — твердила она, похолодев. — Ну давай.

Он полностью застыл, глядя вниз. Она тоже посмотрела:

— Ну что, ну что...

Оказалось, он стоит над трещиной в асфальте. В асфальте змеилась большая трещина, опутанная сетью мелких. Он не знал, куда ступить. Он не хотел ошибиться.

Мать догадалась. С ней в детстве было то же самое.

— Ты не можешь наступать на трещины? Да? Да?

Он, дрожа, кивнул.

Он стоял, мелко дрожа, не двигаясь. Вернее, он слегка покачивался.

— Ну и ничего! Не страшно! Мы сейчас перепрыгнем ее. Вон, смотри, целенькое место.

Прыгнули вдвоем.

Опять прыжок.

Переступили еще несколько.

Асфальт был буквально весь в трещинах. Как сухая глина.

На цыпочках, мелко переступая, ходом коня, оглядываясь, прыжками и перескоками они достигли троллейбусной остановки.

Сели в транспорт.

Надо было ехать две остановки.

— Ой, у меня тоже в детстве так было, — оживленно говорила мама, — я тебе расскажу про это. Я читала книжку. Это один польский врач написал. Она называется «Ритм жизни». Кемпиньски его фамилия.

Он слушал невнимательно.

— Понимаешь, он много страдал. Он все испытал, он сидел в немецком концлагере. Потом он руководил клиникой. А потом он начал умирать от почек. Лежал в своей больнице и писал последние два года своей жизни книги. Одна называется «Страх». Вот та, о которой я говорю, это «Ритм жизни».

Мальчик смотрел себе под ноги и иронически улыбался. Он как бы говорил: «Вот сейчас смотрите, что будет».

— Вот я сейчас разгадаю, о чем ты думаешь, когда не хочешь наступать на трещины.

Он взглянул на нее своими маленькими больными глазами.

— Ты думаешь что? Что если ты попадешь ногой на трещину, то мама умрет.

Он подумал и кивнул. Он не смутился, хотя это была его тайна. Сейчас он был занят своим ближайшим будущим.

— Знаешь,— продолжала она,— я тоже всегда так думала, что мама умрет, если я буду наступать на трещины. Я тоже в детстве была такая! И очень многие дети так думают!

Он отвернулся. Ничто не могло его утешить.

Сошли с троллейбуса, попрыгали по асфальту, испещренному зигзагами, молниями, ущельями и провалами. Семенили, делали широкие шаги.

Собственно, это было нарушением всех законов — ведь тайна требовала, чтобы никто не знал, почему нельзя наступать на трещины. А тут мама сама, живая, и она тоже прыгает. Мальчик был сбит с толку. Цель ритуала ускользала, становилась пустой игрой. Посторонний не имел права вмешиваться в порядок действий!

Мама это делала, как бы соглашаясь с ребенком: хочешь так — будем делать так.

И попирала все основы жизни! Это было не ее дело.

Прыгать через трещины — это серьезное занятие, это единственное спасение, но смысл его уходил, если посторонний тоже принимал в нем участие. А уж тем более мама, которой было все посвящено.

Мальчик чувствовал себя обманутым. Он прыгал как по принуждению. Как взрослый, который вынужден играть с маленькими и повторять их движения. Ему уже это начинало надоедать.

— Опоздаем,— вдруг сказал он, остановившись.

— Ну и ничего! Дошли же! Наша главная задача — оказаться в школе и не пропускать уроков, так? И мы добрались почти что. Давай прыгай.

Он не двигался. Он покачивал головой, как бы сомневаясь, есть ли смысл в этих прыжках.

— Вон туда. Прыгай!

Он шагнул.

Впереди были школьные двери. Возможно, что в окно могли его увидеть. Он шагнул еще раз, еще.

— Ты иди вперед, иди. Ну пока. Опоздал не страшно, на пять минут. Она остановилась, повернула и зашла за киоск.

Когда мальчик добрал до дверей, открыл их и исчез, она помчалась на помощь.

Тихо вошла.

Он уже миновал холл и стоял у дверей. Путь ему преградила толпа возбужденных ребят. На рукавах у них были красные повязки.

Мама спряталась, но они ее и не заметили. Все их внимание было приковано к мальчику.

Они загоготали. Несколько кулаков ткнуло в лицо.

Он терпел, прятал голову, согнувшись, как больное животное. Заслонялся сумкой.

Двинули ногой, целясь в пах.

Он увернулся, прикрыл сумкой живот.

Стали отнимать сумку. Били по голове. Пыхтели, матерились.

— Вот тебе ща... Вот тебе ща покажем... как опаздывать.

Смеялись сдавленным смехом.

Мама подскочила к дверям.

Рожи, улыбающиеся, красные, не успели трансформироваться и так и застыли ослабившись.

— Так,— сказала она.— Избиваете? Я свидетель. В милицию захотели?

Они не отвечали, часто дыша.

Их прервали на самом интересном месте.

— А сейчас я иду к директору. Ты сможешь их опознать? — спросила она у ребенка.— Их выстроят, ты узнаешь?

Он отвернулся.

— Да я тоже вас опознаю,— сказала она в бешенстве и показала кулак ближайшей роже.

Рожа отпрянула и загудела: «А че!»

— А то! Я вас найду и вычислю в любой толпе! Вас пятеро.

Из клубка кто-то тихо исчез.

— Ты ушел, но я тебя вычислю! Отвалите все. Иду к директору. Пойдем.

Дежурные распались, отпрянули.

Мама с сыном вошли в школу.

Он двигался опять как осужденный на казнь.

Все было понятно. Ему это припомнят. Он уже не просто боялся, его душа обмерла.

Мама вошла в директорский предбанник, со словами «избили мальчика» оставила его около секретарши (та привстала) и ринулась к директору.

Она накричала на него. Она употребила слова «дедовщина» и «зона». Она также упомянула о ежедневном грабеже денег.

Директор (а именно его она просила принять ребенка год назад и тоже в этом же кабинете) пытался контратаковать («Регулярные опозда-

ния». — «А, вы в курсе! Но за это не бьют по лицу!» — «Никто не бьет!» — «Я свидетель, я специально спряталась!» — «Вы не можете быть свидетелем! Вы заинтересованы». — «Тут что, судебный процесс?» — «Я повторяю, он опаздывает каждый день! Срывает уроки мне, понимаешь!» — «А он боится приходить!» — «Я вас предупреждал, моя школа не панацея от ваших проблем! Это у вас проблемы!» — «Ваша школа? Это государственная школа!»).

И так далее.

— Это вы, вы должны его отучать от опозданий!

— В школе должна быть другая атмосфера! Тогда ребенок не будет опаздывать.

— Мои методы к этому направлены именно! Педагогические.

— И вы видите, к чему приводят ваши методы. К воровству и избитию! Я запомнила лица этих садистов, которые били ногами в пах! Какой класс сегодня дежурит?

— Ой, я за такими пустяками должен следить? Я не этим занимаюсь.

— А, вы их выгораживаете сами. Вы на их стороне! Они вам классово близкие, да?

— А что я могу? Я вас предупреждал, что седьмые классы у меня дворовые, мне их навязали! Это не мой гуманитарный уклон. Половина из них сядет! Уже сейчас они на учете. Их и дежурить ставят, чтобы как-то дисциплинировать самих! Это моя головная боль. Ну вы пойдете в милицию, и что? Они все там давно в детской комнате в списках. Им не страшно. Они считают, что через зону прошедший — он как герой.

— Господи, ребята едут сюда со всех концов как в лучшую школу, издалека! В лучшую!

— Да вас не держат тут, в конце концов. Вы меня сами умоляли.

— Едут в школу! А школа — это не директор. Не вы тут священная корова!

Директор, опытный руководитель, усмехнулся:

— Ну-ну. Жаловаться будете. Знаете, сколько таких жалоб? На меня именно. У меня два уже микроинфаркта. Да.

И тут директор, быстрый разумом человек, нажал кнопку громкой связи:

— Галина Петровна. Принесите нам чаю с сушками... Вы с лимоном?

Мама ответила:

— Да. Да.

— С утра ни глотка во рту не было. Эти ребята, один еще ходит в школу, но его уже будут судить. Подписка о невыезде. В колонию будут отправлять. Ограбление квартиры. Ходит вот, сидит на уроках. Надеется, что малолетку не осудят. Старается. Матери нет, отец пьет с бабкой. Есть нечего. Оформили бесплатное питание. Двенадцать лет ему. Вы добавьте, его сразу улечат.

— Слушайте, они все такие здоровенные!

— Да показалось вам.

— А что тогда творится в уборных? — спохватилась мама.

— А что? Все то же. Они и в туалетах господствуют. Мы уже разрешаем детям выходить во время уроков. В буфете они никому не дают пройти, вырывают деньги у младших... Ну что, милицию ставить? А мне этих ребят навязывают. Должны получать образование.

Они поговорили, выпили чаю.

Все это время мальчик простоял за дверью, секретарь его удалила.

Затем его повели в класс — мама и директор. В коридорах было пусто. Он вошел с директором. Прозвучали какие-то слова, типа «дежурные зайдут ко мне после уроков».

Зайдут, да. Но не те.

Мама решила встретить ребенка после школы.

Она долго гуляла по улицам, надо же, солнышко. Купила сдобу в булочной.

А мальчика в школе ждали обычные неприятности.

На него сыпались оплеухи, щелчки, у него обшарили карманы, отобрали сумку (он нашел ее на другом этаже в конце уроков).

Ему поставили тройку и двойку.

В туалет он отпросился во время урока.

Тут же поднялась рука самого страшного, Дудина:

— Можно выйти?'

Хохот.

— И мне!

Рев. Стучали ногами.

Но он, уже ученый, зайцем помчался в учительский туалет на первый этаж.

Мама караулила его у выхода, где уже стояла небольшая группа парней постарше, видимо бывших учеников.

Мальчик вышел, сопровождаемый чьим-то пинком.

— Пить хочешь? Булочку дать?

Он сказал, что нет. Не хочет. Отправились в обратный путь. Тронулись медленно. На глазах у детей он шел спотыкаясь, опустив голову. До остановки дотащились за полчаса.

Когда вылезли из троллейбуса, чтобы пересесть на маршрутку, дела уже были совсем плохи.

Перед ними расстился чистый, солнечный, весенний проспект. Асфальт, исчерченный, исполосованный линиями.

Мальчик долго перебирался к стене дома и встал там, понурившись. Дом был огромный, ухоженный. Явно тут квартировали иностранцы. За углом располагалась их автостоянка со сторожкой в виде стеклянной будки.

Машин за шлагбаумом было не так много.

Сын не мог больше двигаться. Он опирался о стену возле телефона-автомата. Почти падал. Причем со все той же растерянной улыбкой.

Мама как окаменела сама. Странное, вязкое, ледяное чувство стояло поперек груди, постепенно распространяясь на руки. В ногах как будто бегали пузырьки газированной воды. Лопались, перемещались.

Больше уже не будет прежней жизни.

Неожиданно для себя она засмеялась:

— А я — это ты! Я теперь — это ты! Я тоже никуда не могу уехать!

Не могу никуда уехать отсюда!

Он поднял голову. Это и было нужно.

Она в полном оцепении стала поворачиваться на месте.

— Я кружусь и не могу остановиться!

Мальчик, как пятно, маячил в отдалении. Неподвижный, прижавшийся к стене.

Она закричала:

— А! Я знаю! Мне надо потрогать всё!

И она пляшущим шагом подошла к дому, тронула его одним касанием, потом подкружилась к телефонной будке, ударила ее легкой рукой (в голове было пусто-пусто!), следующим пунктом был шлагбаум, она подлетела к нему в три прыжка, постучала в нескольких местах, каждый раз поворачиваясь вокруг своей оси, и все это с окаменевшей, вынужденной улыбкой на лице.

(Он отклеился от стены, сделал шаг.)

Из стеклянной будки за ней наблюдал посерьезневший охранник. Стукнула дверь.

Мальчик громко заплакал.

Мама кружилась как безумная, с легкомысленным видом и застывшей на каменном лице усмешкой, подпрыгивала, а туловище давно уже одеревенело, только дергалось в разные стороны.

Она собой не владела, на нее с небес, с солнечного свода, сошло какое-то очень важное состояние, она без передышки бормотала, трогала машины, причем должна была одолеть все четыре колеса с разных сторон, а по дороге попались еще и урна для мусора, ограда из цепей (каждое звено, каждое!).

Охранник вышел из своей будки. На руке его висела крепко схваченная дубинка.

Она ускользнула за машину, присела, потрогала резину, обод.

Второе колесо.

Раздался тонкий детский крик.

Охранник оглянулся и тронулся к ней издали.

Но и мальчик оторвался от стены, рыдая и приговаривая: «Мамочка, ну что ты, мамочка!»

И он сначала замедленно, а потом все быстрее начал перебирать ногами (охранник приближался).

Мальчик с трудом двигался вдоль дома, шел, шел, передвигаясь, как опутанный веревкой. Всклипывал.

Охранник мелькнул среди машин.

Мальчик ускорил свое движение, закричал:

— Мамочка!

Он захлебнулся слезами, потому что мама вскочила от колес и кинулась к соседней машине, кружась на месте, приговаривая:

— А вот еще! Вот еще тронуть надо!

Охранник шел, все оглядываясь по сторонам, как будто думал найти свидетелей или помощников, что-то надо было делать, он потрясал дубинкой. Но и мальчик неуклонно продвигался вперед, почти бежал, хотя дело происходило как в замедленном фильме или в воде.

Тем не менее он рванулся и добежал первым, схватил маму за локоть (она вырвала рукав с каменно-шаловливым выражением лица), но он опять зацепился за плащ и стал умолять, плача:

— Мамочка, ну пойдем, мамочка, ну пойдем! Пойдем отсюда!

Она побежала еще к одной машине, бормоча «Все надо потрогать», и тут сын ее крепко обнял и повел назад, повторяя «Ну мамочка, ну успокойся!».

Он плакал, шмыгая носом, и волок маму на улицу.

Не стал вести ее к троллейбусу, почему-то ему было неудобно перед людьми на остановке, а повел подальше, причем как можно быстрее (охранник остался на стоянке).

У нее было совершенно каменное, негибкое туловище. Она переби-рала ногами. Несколько раз она пыталась вырваться, но он вел ее, вцепившись, как клещами, в рукава.

Бормотал все время, как заклинание: «Мамочка, мамочка».

Дошли пешком до метро. Спустились. Молчали оба.

Когда сели в вагон, мама забеспокоилась и заплакала.

— Что ты, что ты, перестань! — пряча лицо, повторял он. — Что ты!

— Лиза, — наконец выговорила она. — Надо ехать за Лизой. Она одна осталась в группе! Что делать, что делать!

Она покумекал, посмотрел на схему, вывел ее через две остановки, перешли на другую станцию, поехали. Поднялись на поверхность, сели в троллейбус. Доехали до Лизы, взяли ее (ребенок действительно сидел один, только уборщица грохотала в туалете ведром).

Лиза не плакала, но каждый ребенок боится и ждет, что его бросят. Лиза сидела и боялась.

Дома девочка капризничала, расплакалась наконец, потянулась к маме на ручки.

Но мама готовила обед. Лиза стала приставать к брату. Он на нее рявкнул. Лиза заныла.

Поели.

Сын сел делать уроки. Но он что-то не успел записать, звонил какой-то девочке из класса, болтал, узнавал задание.

Лизу удалось усадить за пианино. Она побрякала.

Все вернулись, тихо поужинали.

Потом младший мальчик пошел в душ.

Мама выкупала Лизу.

Дети легли.

Папа почитал им детскую Библию, клюя носом. Поставил, как всегда, пластинку Моцарта, открыл дверь в коридор, включил там свет.

Мама пришла, все дружно произнесли: «Спокойной вам ночи, приятного сна». Перецеловались.

В эту ночь мальчик не кричал.

\* \* \*

Через год был день рождения у его друга. Ребята хохотали, гомонили за детским столом в отдельной комнате. Мама из-за двери, машинально разговаривая с соседями по застолью, прислушивалась к тому, как ее сын весело рассказывает, что с ним было в прошлом году. Что он не мог переступить через трещины!

И вдруг все дети загалдели, обрадовавшись, и начали рассказывать, что с ними происходило то же самое! Мама же сидела и никому не говорила о том, как в детстве она должна была, покружившись, всё потрогать — стены, асфальт, каждую скамейку, мусорную урну, перила, всё — только чтобы мама осталась жива. Чтобы все были живы.

## Музыка ада

Как это бывает: неудачная любовь — тогда сел в поезд и поехал. Кроме неудачной любви: никуда не устроилась работать, буквально последние деньги в кармане, и, как это тоже бывает: двадцать три года, рубеж, ощущение конца.

Итак, девушка, которая закончила учебу в университете, истфак, безработная, одинокая, потерпевшая полный крах во всем: плюс отношения с матерью (тоже, глядите, молодая женщина номер два и покупает два платья, одинаковых, но разных: розовое хорошенькое с незабудками по полю себе и коричневое в полоску мешковатое дочери, почему: потому что эта мать выходит замуж). Таким образом, взаимоотношения с матерью, в результате чего двадцатитрехлетняя дочь решает уйти. Уйти. Уйти можно к кому-то или куда-то. Можно уйти ночью, рыдая на улице, и поехать к подруге, встать заплаканной на

пороге, без слов лечь на раскладушку и переночевать, и утром за кофе выдавить из себя несколько слов; но не жить же у подруги: у нее ребенок, теснота, муж, у нее полно других подруг, кстати. Мало ли кто захочет ночевать. Дружбу надо беречь.

И вот эта двадцатитрехлетняя бездомная садится в поезд.

Надо особо сказать и о поезде: вагоны, в которых возили арестантов или телят, тридцать человек или семь лошадей. Пустой вагон, в начале и конце нары, посередине раздвижные двери как ворота. На нарах вещи и матрацы: университет едет работать в степи Казахстана на три месяца, такой трудовой семестр. Так называемые стройотряды, причем явка студентов обязательна, на дворе шестидесятые годы двадцатого столетия. Кто не едет, идет на исключение из комсомола и т. д.

Чем не выход из положения, даром что наша девушка уже закончила университет только что, две недели назад. Чем не выход, бросить все, забыть, уехать, отодвинуть на три месяца: мама, мамин кавалер с чемоданчиком как у слесаря, позор. Ужас. Жених, познакомились — сошлись. Познакомились, можно догадаться, в парке Горького, а что мама? Ей сорок три, но она как первоклассница: дядя сказал пошли, дам конфетку, у меня спрятано в сарае. Ни страха, ни стыда, только видно, что нравится, когда гладят по голове и целуют, и вообще обратили внимание на сиротку. Первый попавшийся, головенка кувалдой, рост как полагается у слесаря и наружность тоже, чемоданчик в руке, так и ходит по женщинам с чемоданчиком, слесарь с инструментом чинить прохудившиеся краны.

У мамы прохудился кран, и дочь, плача, съехала вон. Мама стала какая-то ненормальная, кидается на каждый телефонный звонок, похудела, глаза какие-то фальшивые, без конца поет, а смотря в зеркало, ощеривает зубы (дочь наблюдает со стороны) и делает постороннее лицо, как-то выпятив нижнюю губу, ей кажется, так красивой. Противно разговаривает по телефону, тихо и в нос, тайно. Часто смеется по телефону же.

Таким образом, дочь пришла на сборный пункт к университету, села в автобус ехать на вокзал и с тем же коллективом автобуса села в вагон. Даже сдала последние деньги на питание руководителю, полный крах! Прощай, любимый город, прощай, любимый ОН, прощай, невеста мать-слесариха, прощай жених матери, взятый с улицы, прощай развал и позор, начинается новая жизнь без любви.

Так она думала, а между тем продолжение той же темы не заставило себя долго ждать, и первым проявлением данного полового вопроса было то, что когда укладывались на нарах ночевать (девочки в конце, мальчики в голове вагона), то под боком у Нины (наша дочь матери-невесты) оказалась девушка в очках, которая, вздохнув, прижалась головой к Нинину плечу, как дядька-слесарь к своей невесте, которой он был ниже ровно на ту же голову. Прижалась наивно, совершенно по-

детски, поскольку младшие школьницы вообще склонны обожать выпускниц (подумала Нина, поворачиваясь на другой бок), а я для нее как десятиклассница для пятого класса. Нина перекадилась подальше, матрацы были постланы по всем нарам, полная свобода, вагон трясло, и старые неотвязные мысли посетили бедную голову Нины, вопрос как возвращаться встал над ней в бледных сумерках вагона.

Как возвращаться домой к слесарю-папе и слесарихе-маме, которая совершенно потеряла всякую самостоятельность и резко хохочет у них в комнате за закрытой дверью в компании своей кувалды и бутылки водки. Мама огрубела явно, опростилась, бросила свою дочь, в отсутствие жениха тревожилась, бросалась к телефону как тигр к добыче, боясь, что дочь нагубит и вообще не позовет.

Так прошла ночь и еще двое суток, за раздвижными воротами вагона проехала целая страна, а затем поезд стали разгружать в городке, который сверкал почти непрерывными лужами, и повсюду, как в первый день творения, лежала жирная грязь. Дул прохладный сильный ветер, перепадали дожди, городок был олицетворение беспробудной тоски, такой местный ад, какой устраивают себе русские люди на пустом месте.

Открылось перед всеми, как вывороченное, огромное степное небо с идушими лохматыми, драными тучами, было прохладно до озноба, сыро, ветрено, изредка сверкало в лужах солнце, студентов погрузили на автобус и повезли по ухабистой дороге куда-то еще дальше, в степь. Коллектив курса пел студенческие песни каким-то скачущим, плавающим звуком (мешали рытвины), а Нина глядела в окно, где степь проваливалась и возникала, кочковатая степь, и Нина закрыла глаза, все исчезло, осталась только огромная скука, пространная как небеса, скука ветра в поле.

Ночь переночевали в общежитии дальнего совхоза под дивной картиной с моряком и девушкой в лодке, на картине стоял уютный розовый закат, за рекой черной полосой лежал какой-то лесной массив, и весь глупый студенческий народ приходил смеяться над этой картиной, а Нине было так хорошо под ней, даже хотелось украсть ее. На картине был вечерний покой и царил гармония, а вокруг в голых окнах виднелась грязь до горизонта со вкраплениями проржавевшей техники и каких-то прошлогодних не-запаханных кустов репейника. Жить в этом общежитии было нельзя, среди металлических кроватей и стен, выкрашенных серо-зеленой масляной краской, частично облупившейся как раз над картиной. Наивный пейзаж наивно прикрывал протечку на стене, в этом был первый след разумной деятельности человека по украшению безобразия.

Здесь даже грустить было неуместно, здесь все было ни к чему, и только воспоминание о последнем разговоре с любимым человеком, а также о чемоданчике слесаря и о резком смехе матери заставляло девушку Нину говорить себе: нет. Нет возврата к прошлому. Детство оказалось пору-

гано и предано, юность тоже, все совместные с мамой тихие мечты об отдельной квартире без соседки-хулиганки, вся счастливая история с получением этой квартиры, с украшением ее, все страшные сны о смерти мамы, после которых просыпаешься в слезах и с облегчением, что мама тут, теплая, родная, любимая, живая — все это было помято и оборвато, народное выражение. Кстати, Нина находилась в положении как раз Гамлета в связи с замужеством Гертруды, и это не сулило ничего хорошего, думала девушка, глядя в пустое грязное окно на рассвете.

Что касается мыслей о собственной любви, то тут надо оговориться, что Нина любила разбитного молодого художника, хулигана с губами как у вампира, который (художник) рисовать Ниночку рисовал, водил ее по всяким теплым компаниям и мастерским и гулял с нею в парке того же Горького, только в более уединенных кустах — это когда родители сидели по домам, как куры в гнезде. Когда же куры уходили на работу, тут начинался полный дебош, любовь и разврат, валялись то у Нины, то у художника по кроватям, делали что хотели. Художник-то был еще студент, жениться он явно не собирался и брал, видимо, Нину во временное пользование, имея обширные планы на жизнь. Уезжая в телятнике, Нина позвонила другу и простилась с ним «навсегда», на что он ей ответил «приедешь, звони». С улыбкой, кстати. Ответил как рабу на веревке, явно усмехаясь.

Далее, глава вторая нашего повествования трактует о том, что и в этом общежитии данных студентов не оставили, среди цивилизации, грязи и кустов репейника, а запузарили отряд вместе с казенными тюфяками и консервами в дальнейшую степь, в абсолютную пустоту среди травянистой земли, где в центре мира стояло три вагончика жилые и четвертый вагончик кухня, и единственное, что напоминало о современности, были столбы с проводами, уходившие за край земли в виде разнообразно торчащих спичек.

Эта земля, покрытая после дождей травкой, как-то звенела, звенели птички, провода, дул постоянный теплый ветер, небо разверзлось до бесконечности, светило солнце. В виду всего этого Нина ушла, легла навзничь в траву и стала смотреть в пустые небеса, с тоской любви вспоминая о своем художнике: все-таки это счастье у нее было, вспоминать и любить.

Тем не менее вскоре стало не до тоски и не до мыслей вообще: началась великая местная стройка коммунизма, возведение зернохранилища, уже был всажен в почву фундамент (по легенде, года три назад руками армян-шарашников), были завезены горы бута (крупных камней) и насыпи щебенки, затем на заре заскрежетала бетономешалка, похожая на вращающуюся ржавую бочку, и дело пошло.

Всех рассортировал начальник отряда, аспирант Витя, и отныне, повязавшись белыми платками, девочки стали грузчицами, а мальчики

каменщиками. Девочки таскали на носилках камни, цемент и щебенку, а мальчики возводили стены.

Воцарилась египетская рабовладельческая жара, воды не было вообще, ее возил к ним, солоноватую в бочке, казах на кривоногой местной кобыле. Работа начиналась в шесть утра по холодку и кончалась в шесть вечера с перерывом на макароны, украшенные крупными кусками бараньего жира. Каторга с ее законами, с жесткой дисциплиной перебивала все мысли, всяческие печали, ревности и воспоминания. Нина быстро стала как вьючное животное и засыпала за секунду, завалившись рядом с носилками, когда другие девочки их загружали. Сна было полминуты.

Вечерами, однако, как все молодые щенята, студенты заводили костры, ночь впереди казалась бесконечной, раздавались песни под гитару. Возбужденные мнимой ночной свободой, рабы не спали, пили чай, угощали друг дружку консервами и пряниками, завезенными из Москвы (Нина ничего не взяла с собой), воровали с кухни толстые теплые огурцы, гуляли по черной степи под огромными звездами и дышали дивным ароматом ночных трав, и вот тут начались разнообразные тонкости каторги.

Собственно говоря, странный народ были эти юные студенты какого-то там факультета точных наук. Между мальчиками и девочками не образовалось никаких отношений, как это бывает на воздухе по ночам. Особенности были мальчики и особенности тоже девочки. Мальчики почему-то сторонились девочек, Нина это увидела сразу. Правда, девочки были неказистые математические чувырлы в очках или тети Моти с толстыми плечами, будущие училки. Мальчикам же и полагалось в этом возрасте быть цыплячьим молодняком, в семнадцать-то лет, но все это, Нина заметила, был какой-то брак природы, умнейшие из умных, но без сил, без воли к воспроизведению себе подобных. Из них не перла бугром страсть, не взбухала сперма — как сомнамбулы, оставшись без своих книг и приборов, они торчали на стройке, ворочая камни, укладывая их наиболее рационально.

Стройка уже напоминала руины вконец разрушенного Колизея благодаря стараниям мальчиков-каменщиков, которые иронически встречали каждый раз очередных двух верблюдов-девочек, несущих им глыбы. Ирония царила в стане мальчиков и в стане девочек. Девочки тоже сторонились мальчиков. Странные, даже не платонические взаимоотношения полов царили на этой каторге, но Нине было не до наблюдений: кое-как привыкнув к труду, она снова затосковала и начала мысленно писать письма далекому рабовладельцу, никогда ни строчки матери!

Но в целом Нина, видимо, тяжело переживала свое преобразование в каторжанку, болела, слабела, затем началась спасительная температура, и месяц спустя Нина блаженно завалилась на тюфяк за железной

печкой в углу вагончика, в жару и полубреду в раскаленной духоте. На воле, в степи, было еще горячее.

Внимание, глава третья начинается с того, что начальник Витя съездил на центральную усадьбу совхоза и купил кому что: зубной пасты, конфет-подушечек, сигарет, конвертов и школьных тетрадок в клеточку и в зеленых обложках, как раз писать письма.

Денег все еще не выдавали, царил настоящий коммунизм, Витя сказал, что цену купленного потом вычтут из какой-то неизвестно какой зарплаты, ладно. Плюс к тому всем привезли рабочую одежду, подарок морского флота, списанные тельняшки и белые матросские клеши из ткани, близкой к брезенту. Все радостно переоделись в одинаковое, работа кипела, а Нина слонялась еле-еле, держась в вагончике за нары, и все ее существо (вот парадокс природы) было охвачено любовью к далекому обороту, живому, красивому и теплomu, хотя и закоренелому эгоисту, скуповатому и себе на умишке.

Однако на фоне тех цыплячьих теней, которые возводили Колизей, тех сугубых интеллигентов в очках, которые торчали как пугала во всем матросском на крепостных стенах, Нине ее милый казался чудом природы. Реальное, грубое и плотское здесь, на этой каторге математиков, выглядело как нечто недостижимое, как идеал и элегическая мечта.

Опять-таки тетрадка в клеточку, наконец-то обретенная, манила писать неотправляемые письма, в которых Нина тоже давала волю иронии и самоиронии, описывая с большим юмором весь этот балет невылупившихся цыплят и свою болезнь среди этого довольно жизнеспособного, не заболевшего ничем народца.

Нина вообще-то в прежние времена, на воле, слышала со всех сторон о том, что она красотка (пришел со своей красоткой, говорили друзья художнику), она была, что называется, в стиле времени, маленькое тело фордиком, длинные ноги, общая хрупкая конструкция, но на каторге именно изящные красотки быстро иссыхают даже в юном возрасте, и Нина, махнув на себя рукой, худела, чернела, превращалась в скелетик, носила белую, как все, бабью косынку от солнца — на всех девочек разделили три простыни — и в болезни стала выкарабкиваться на божий свет в виде старушки матросского происхождения, в платочке, тельняшке и грязно-белых штанах. Маленькое зеркальце на стене вагончика отражало запавшие черные глазищи и, отдельно, потрескавшиеся губы, когда-то пухлые.

Куреву-то было, это освещало всю обстановку, вносило хоть какую-то долю плотского удовольствия, и, задумчиво дымя, сидя в короткой тени вагончика и глядя на раскаленную степь, Нина вспоминала далекого коварного друга и этим держалась.

Тут ее однажды, придя с обеда, застала одна из девочек, чудовище в очках, та, восхищенные взгляды которой ловила на себе наша героиня еще с первой ночи в вагоне на тюфяке.

Чудовище звали как-то сложно, типа Глюмдальклич, что-то азиатское, и откуда она вынырнула, Нине было неизвестно. Эта Г. видала виды, о чем уважительно говорили девочки в вагончике. Сама Г. ночевала на воздухе в палатке среди особо доверенных подруг и в компании туберкулезной Маши. Насчет Машиного туберкулеза все знали, Маша сама, блестя зубами, тугими красными щеками и маленькими черными глазами, рассказывала: обманула комиссию, взяв чистый бланк у медсестры, и заполнила его как выписку из истории болезни — Маша была ветеран туберкулезного движения, она знала все термины не хуже любого медработника. Маша все время радостно хохотала, вид у нее был цветущий и румяный, торчащие щечки, тугая черная коса и кожа как молоко. Однако Машу командир отряда Витя поставил не на погрузку, а к поварихе на кухню подальше от камней и носилок. Результат был такой, что Маша вставала раньше всех, в четыре утра, а еще долго после ужина драила котлы как ненормальная, выскребая сало, иногда и до одиннадцати: ребенок оказался энтузиаст, а может, она так натосковалась по больницам, что жизнь в труде казалась ей раем, все может быть. Так что она сверкала темным румянцем и спала на земляном полу в палатке, пока командир Витя, бледный ученый стебелек, аспирант без права отцовства (студенты говорили, что он ищет вдову с двумя детьми, именно вдову по неким причинам, и обязательно уже с готовыми мальчиком и девочкой, чтобы решить вопрос раз и навсегда, студенты все знали) — так вот, бездетный, бессемянный и бесплодный Витя как-то раз днем заставил Машу померить температуру, и Маша тут же уехала в Москву на попутке, все так же смеясь и блестя багровым румянцем: родители семнадцатилетней сбежавшей Маши предъявили на факультет подлинные анализы, и Маше теперь лежала дорога напрямую в больницу.

И, поскольку таких добровольцев среди каторжан было всего-то двое, Маша и Нина-в-депрессии, то теперь Нина осталась в одиночестве как энтузиаст далекой стройки.

Глава следующая, что в палатке единственно кто остался — это Глюмдальклич и ее подруги, которые, кстати, звали ее Гуля. И теперь в связи с отъездом единственного постороннего лица и освободившимся тюфяком начались крупные интриги. Палатка и девичий вагончик кипели. Туда шли, туда рвались, оттуда возвращались как побитые, и вечерами Глюмдальклич пела у костра песни под гитару, а все девочки в полном упоении подпевали, окрашенные в ярко-розовый цвет отблесками костра, уставившись в огонь красными глазами, в которых мигало пламя.

Нина оставалась в стороне от событий, печальная особа с потрескавшимися губами и в низко повязанном белом платочке, и один Витя поглядывал в ее сторону с явной любовью и тревогой. Правда, он так смотрел на всех своих детей, и Нине даже не приходило в голову тряхнуть стариной и оживиться при виде заинтересованного мужчины.

Она все носилась со своей печалью о далеком возлюбленном, изменчивом коте с вкрадчивой походкой и неприлично темным ртом. Горе, горе.

И вот тут-то Гуля, слегка похожая на очкастого лягушонка, настигла грустную Нину в тени вагончика, когда та писала в зеленой тетрадке очередное неотправленное письмо. Глюмдальклич сразу приступила к делу. Она сказала уверенно:

— Ты можешь меня любить?

Нина ответила, как учительница, что шла бы ты подалее со своими шуточками. И без тебя тошно. «Ну-у,— протянула эта Гуля, подсмывнув очки указательным пальцем,— а если я хочу, чтобы ты меня полюбила?»

— Выходи за меня замуж,— затем сказала Глюмдальклич, глядя в степь своими выпуклыми очками. Вылитый лягушонок.

— Я тебе не пятиклассница, играть в эти игрушки,— ответила Нина.

При этом у нее что-то вдруг ухнуло в области желудка. Нина испугалась, как люди пугаются сумасшедших.

— Нет, почему в пятом,— активно возразила Гуля.— И напрасно ты меня не любишь.

С этими словами она встала и пошла вон, т. е. за угол вагончика, грязненькая, в обвислых парусиновых штанцах, на тонких кривых ногах, держа окурки большим и указательным пальцем.

— Да откуда ты взяла,— вяло ответила Нина, подумав, что эта психоблнная недаром там в вагоне подваливалась ей под бочок.

Нина продолжала писать свое бесконечное письмо, в котором ни единого слова не было о любви. Она вдруг вспомнила этот теплый московский мирок, мастерские, пьянки, гулянки по паркам, все эти дни рождения друзей на затхлых подмосковных дачах, все эти поздние такси, вечерний мятый снежок на бульварах под фонарями, яблочно-зеленые небеса по ночам, уличные поцелуи до головокружения, когда не было места приткнуться, бездомность, грязные лавки, на которых они сидели, приткнувшись сверху, как воробы на жердочках.

Несколько дней спустя Нина вдруг с ужасом обнаружила, что потеряла свою зеленую тетрадку в клеточку, в которой писала письма. Планомерно и лихорадочно, с трясущимися руками (а вдруг они прочли), Нина обшаривала вагончик, пока все были на работе — у Нины держалась температура, и Витя не пускал ее на стройку.

Итак, обшарив свое отделение вагончика, Нина перебралась в соседнее и там, прямо на подоконнике, обнаружила наконец свою тетрадку, охнула, схватила ее и метнулась к себе. И только там она уже раскрыла тетрадь и тут же, на первой странице, прочла нечто не свое и невообразимое, полстраницы непристойного вопля о любви, скрежета и воя: она меня не любит, она меня забыла, меня, свою Таню, теперь у нее Валентина и т. д. О Гуля, Гуля и т. д.

Нина вернула тетрадь на то же место на подоконник, легла обратно за холодную печку и все обдумала. Да, палатка — теперь понятно, что это гарем Глюмдальклич. Да, они плачут и ссорятся, эти девочки. Теперь Нина припомнила, что одна студенточка, единственная хорошенькая здесь, типичный младенец в кудрях, вылитая головка Грёза, у костра рассказывала, как Глюмдальклич выселяли из ее комнаты в общежитии и, когда их подняли с ее, младенца, постели, она, младенец, демонстративно тоже ушла в ночь вместе с Гулькой и сидела с ней вдвоем за компанию всю ночь где-то у запертого подъезда на ступенях, и потом пришлось лечь в больницу из-за воспаления придатков, простудилась сидя зимой на каменных ступенях, доверчиво рассказывал младенец.

Все они, думала Нина, все они как одна такие, кроме разве что рыжей девочки, которая что ни ночь покидала вагончик и проваливалась во тьму, чтобы встречаться, Нина это знала не хуже других, со своим мальчиком, с единственным Казановой в отряде, который имел внешность молодого аиста, ходил вечно в черных очках, задравши нос к небу, и носил всем напоказ бледное поэтическое лицо, которое, правда, скоро почернело и обветрилось от степного солнца, но осталось надменным, он тоже жил как бы в стороне от всех мальчиков, не играл с ними в шахматы и в китайскую игру «го», не говорил как все одними презрительными шуточками в адрес недостижимых девочек: у него девочка была, эта самая рыженькая, и каждую ночь он встречался с ней в крошечной ночной степи.

Ненависть и презрение рисовались на лицах мальчиков, никаких контактов с девочками, никаких диалогов за кухней, с глазу на глаз.

Нина все поняла.

Поняла-то она поняла, а вот Гуля каждый вечер бросала свой гарем и подсаживалась к одинокой Нине, заводила с ней разговоры о любви как таковой, дарила ей огурцы и сигареты, говорила о желании умереть, говорила, что ничего ей в этом мире не дорого, я одна, одна, из общаги поперли, снимать комнату денег нет, ушла от матери, учиться надо из последних сил, это единственный шанс, а работать где? Не цемент разгружать же, как ребята ходят на Москву-товарную, сил таких нет.

Нина слушала все это, не гнала Гулю, не обижала, боялась как тогда, а теперь еще боялась обидеть ненормального человека, хотя Гуля вела себя нормально. Не приставала, не хамила, не трогала, сидела грустная, взъерошенная, нищая, сильная как скала, убежденная в своем праве любить кого хочется. Один вечер Нина просидела одна, Гуля не явилась за вагончик, прошли и растаяли во тьме Казанова и рыженькая, вдали горели стога, над горизонтом стояло зарево. Каждую ночь табунщики жгли солому, чтобы дать лошадям отдохнуть от слепней.

Писать письмо было темно, в вагончиках уже устраивались на ночь, в фанерную стенку за спиной Нины все время стучали, ударялись, видимо, коленями и локтями, стеля постели и ворочаясь на узких нарах.

Было как-то особенно пусто и печально, и Нина пошла в свой вагончик. По дороге она увидела палатку, там горела, видимо, копилка, палатка светилась изнутри уютным розовым светом, и там тихо смеялись, что-то брякало, посуда, наверно: собирались пить чай. Голос Гули произнес негромко «А иди ты, пятачок», и у Нины вдруг оборвалось сердце. Оно так вздрагивало, только когда в телефонной трубке появлялся голос Кота. «Ничего себе как я к ней привыкла, — подумала Нина, — ничего себе!»

Как будто пришло к ней то, что невозможно контролировать, нельзя задавить, нечто не зависящее от воли — что же, скажете вы, обычная каторжная, лагерная привязанность, тяготение людей друг к другу, скажете вы.

Есть вещи, скажете вы, неконтролируемые, такие как страх потерять, обида, такие как ревность и тоска, такие как дружеское расположение, жалость и страсть.

Нина, растерянная, подавленная, лежала за печкой и слушала раздающиеся в ночной тишине приглушенные восклицания и довольный смех девочек в палатке, потом все замолчали, только кто-то специально покашлял, как бы подавая какой-то знак.

Нина поняла, что с ней играют точную игру, что здесь великолепно разработанная психологическая ловушка, сначала шок, потом плавный переход к нормальным человеческим отношениям, успокойтесь, никому вы не нужны, потом идет приручение, теплая дружба, доверие несмотря ни на что, все же люди, мало ли что у кого, а затем безжалостная быстрая разлука, смех с другими, дружба с другими — и готово, зайчик попался! У зайчика бьется сердце от одного звука привычного голоса.

Нина заснула с трудом.

Все, однако, разрешилось на следующий день после обеда: приехал вызванный добряком Витей доктор отряда. Все отсутствовали, Колизей рос и рос вдалеке, а врач, молодой университетский болван из поликлиники, небрежно осмотрел Нину, затем задумался, как бы уцепился за что-то, стал прослушивать и простукивать, уложил на топчан, мля живот, побарабанил по ключицам и сказал «мда».

Нина лежала, слегка задыхаясь, и думала, как это приятно, когда тебя трогают такие независимые, профессиональные мужские руки, так внимательно доискиваются, где же причина, так заботятся вообще, без всякой собственной цели.

Доктор сказал «полежите пока», ушел, уехал на своем вездеходе, а потом явился Витя, проводивший врача. Нина догадалась, о чем он думает, потому что Витя заговорил о Маше, что ей плохо, у нее в больнице в Москве открылось легочное кровотечение. Видно было, что Витя уже готовый отец, он уже приспособлен для того, чтобы быть отцом чужим детям, любить их, хлопотать о них. Он хлопотал вокруг Нины, принес из своих запасов витамины и антибиотики, а потом побежал на

стройку. Когда вечером приползли с работы девочки, они уже всё знали и сообщили Нине, что ее забирают в больницу в Булаево, у нее или плеврит, или пневмония.

Затем явилась Глюмдальклич со своими пустыми словесами, пустая, как шелуха, себялюбивая, корыстная, ненужная как нелюбимый мужчина, который пристаёт, потому что у него нужда, — разряд людей, ненавистный для молодой дамы, которой теперь являлась Нина. Глюмдальклич говорила, говорила, сидя на нарах, опять все те же пустые фразы, одиночество, ночество.

Нина собирала свои вещички, нашла под тюфяком пропавшую тетрадку, которую явно читали посторонние глаза — тетрадка пахла как-то иначе, и иначе, более свободно, разворачивалась, почти разваливалась.

Глюмдальклич, не моргнувши глазом, одиноко и значительно, как мужчина, закурила, помолчала и ушла к себе в палатку, и до глубокой ночи там звенела гитара, и известный голос страстно и плачевно зывал к ушедшей любви, а девочки дружно подхватывали припев: «Скажи ты мне, что любишь меня!» — весь гарем хором. Уже и Виктор что-то бубнил в палатку, и ему задорно отвечал голос Глюмдальклич, а Нина лежала, задыхаясь, и терпеливо ждала утра, только бы убраться отсюда, не видеть и не слышать.

Девочки из вагончика утром, уходя на стройку, попрощались с Ниной чуть ли не как с покойницей, то есть мрачно, по очереди. Они, физически окрепшие на каторге, оставались, их впереди ждала зарплата, банный день обещали, даже выходной или с поездкой на озеро, или с походом в кино на центральную усадьбу, и мало ли еще что. Часть девочек уже перестала работать грузчицами, их кинули на саман — лепить из глины, соломы и коровьего дерьма кирпичи, и все их разговоры и мечты были о бане. Кроме того, они любили свою Гулю, вокруг была раздольная степь и ничто не мешало маленьким страстям гарема кипеть и разрешаться. А за самовольный отъезд со стройки полагалось заключение, выгоняли отовсюду — из комсомола и университета сразу, всё.

А Нина отправлялась в собственное странствие, сначала на грузовике, потом ее посадили в маленький местный поезд, она повторяла, видимо, Машин путь, поскольку ее приняли в районной больнице, где Машу помнили, и одна сестра даже сказала: «Шустрая была ваша Маша, дитя помирает, а чести своей не теряет. Смеялась все».

Потом, оказавшись дома, привезенная испуганной, умоляющей матерью, которая пришла забирать ее к поезду, и дома даже и тени не было ни сантехника, ни его чемоданчика — оказавшись дома, Нина зывала к постели своего милого художника, он явился раз и другой, был заботлив, а потом слинял как обычно. Кот есть Кот.

И вот тут, в октябре, как из преисподней, раздался голос по телефону, голос Глюмдальклич. Пьяная Гуля, не в силах, видимо, забыть, умоляла

разрешить приехать, такое одиночество... ночество... Никто не люуубит... уубиит... Как из преисподней, сообщила, что ее выгнали из университета, прямо сказали, что за совращение несовершеннолетних, да, и теперь она работает укладывает асфальт... Живет опять в женском общежитии (она невольно хохотнула). Никого у нее нет, никто ее не любит.

Тут же в опровержение вышесказанного в телефонный разговор вмешался посторонний голос, женский, пьяный, лихой, предложивший послать всех на хел, площу площения. Играла дешевая музыка там, как в аду, заунывная, из подполья. Нина лепетала что-то фальшиво, чтобы окончательно не убить эту несчастную, «болею, болею», на что Глюмдальклич с мужской прямоотой браво отвечала, что это ничего, я не боюсь заразы, зараза к заразе не липнет. И вылечим тебя, бутылка есть — есть, прямо в трубку задудел другой женский голос — плиедем и все, а иди ты к челту (это она адресовалась к Глюмдальклич, сопровождая, видимо, слова локтем). Далее повела свою партию Гуля, она по-мужски откровенно пожаловалась, что переспать-то есть с кем, но — и пьяный голос придвинулся и сказал «есть, есть, плиезжай», — но одиночество, ночество — как всегда, уверенная в своих силах и крепкая как скала, она вела осаду планомерно, несгибаемо.

Нина тихо возражала, что приезжать не надо, нет, а в ответ в телефонной трубке гремела дешевая плавающая музыка, там, наверно, шел свой вечный праздник с огнем и дымом, гулянье ничем не хуже других гуляний, однако Глюмдальклич настойчиво твердила об одиночестве и тоске, что нет никого и ничего, что не с кем даже поговорить, и пьяный голос подтвердил вдали, да, не с кем.

Нине тоже не с кем было поговорить, так получилось, совпадение, к подружке ехать не хотелось, полный дом родни — но с Гулей она говорить не хотела совершенно. «Пока», — сказала Нина, когда Глюмдальклич начала бормотать что-то совсем уже кошмарное типа «сделай мне ребенка», хлопнула трубка, ад отключился, все умерло, однако ад не умирает и не сдастся, и долгие месяцы потом Нина вынуждена была разговаривать по телефону с Глюмдальклич, все еще стараясь ее не обижать, и выслушивала от нее фразы типа «давай поженимся» и т. д., терпела, чтобы не убить человека, потому что и об этом страшная Гуля уже вела разговор, о том, чтобы уйти, раз я всем мешаю.

Г звонила отовсюду, с любого увиденного ею телефона, всегда вооруженная монеткой для телефона-автомата, она регулярно покидала свой асфальтоукладчик и мчалась, едва завидев будку (видимо), поскольку звонила по шесть-семь раз за смену. Т. е. ее агрегат полз со скоростью шесть-семь телефонных будок за смену. Она, как было понятно, упорствовала, надеясь на случай и на отчаяние. Она говорила о нищете и о том, что пьяные ремонтники ее изнасиловали в обед в вагончике (решили проверить, сообщила она с усмешкой), Г. сама часто бывала пьяной,

дай я тебе заплачу, у меня аванс на руках, только выйди, спустись ко мне, выйди, я тебя повидаю, скажи ты мне, что любишь меня.

Следующая глава у нас могла бы начаться с предположения, каково могло быть Нинино будущее. Молодые умирают гораздо чаще чем мы думаем, больницы полны юными смертниками, которые сидят за двойными стеклами и не могут выбраться на волю, только во двор погулять, иногда во внешний мир парочками, как это проделывала смешливая Маша, прежде чем Нина узнала от Глюмдальклич, что Машу-то схоронили. Весь курс был, все пришли. Все ее уважали. Г. по этому поводу была пьяна и говорила, что Машка-то... Машка-то... маленький малыш, я ее не трогала... она больная была, все знали. Она обманула врачей, думала, что земля ее излечит, тяжелый труд на воздухе, спала на земле, чуть ли не ела эту землю... Боролась Маша, да. Витя тоже был на похоронах, аспирант, куратор курса, он, оказывается, женился, нашел разведенную женщину-врача с тремя маленькими детьми. Гудки, конец связи.

Нина свободно могла бы быть на месте Маши, могла бы и попасть в санаторное отделение психбольницы им. Соловьева, как советовала маме мамина подруга, глядя, что здоровая девка сидит и держит телефон на коленях, ожидая (бесплодно) звонка, подошел и ее черед, она не спит, не ест и не устраивается на работу, хотя денег у матери не хватает даже на еду; Нина, затем, могла бы свободно оказаться в положении Глюмдальклич, если бы сбежала от материнских наставлений работать на завод с предоставлением общежития; но судьба распорядилась иначе, спустя год мы уже застаем Нину на службе (редактор многотиражки одного из институтов), вокруг полно мальчиков вполне земного вида, в том числе и один Николай, выпускник, младше Нины на три года, но это незаметно, поскольку она-то худенькая, а он крупнее и выше, ходит как тень за Ниной, дежурит в редакции, провожает ее домой, пригласил на день рождения домой к папе и маме, все, планка падает, рубеж взят. Нина невеста, мама вся прямо поникла, когда Нина ей это сказала, восприняла как удар судьбы: почему, спрашивается? И покраснела. То ли вспомнила, как сама была невестой? Короче, они расстаются, мама с дочкой. Нина будет жить у мужа. Мамино розовое в незабудках платье висит в шкафу, она его бережет на случай появления Кого-то (с большой буквы). Вопрос типа «у тебя Кто-то?» она задавала этой своей подруге по телефону однажды, когда та не хотела с ней говорить.

Нина — продолжение нашего разговора — как-то возвращалась из города Балашихи домой, дымным зимним вечером, вскочила в автобус, и вдруг сердце у нее дрогнуло от ужаса: ей послышался совершенно явно голос Глюмдальклич. Источник голоса, по виду небольшой мужчина в замасленной кроличьей шапке, стоял впереди, спиной к Нине. Речь у Глюмдальклич шла о том, что почему ты (имелась в виду ее собеседница, молоденькая женщина тоже в кроличьей шапке, но поно-

вей) — почему ты вышла замуж тогда и ни разу не зашла ко мне, а эта собеседница, милое личико под шапкой, светлые честные глазки, плюс к тому нечистые, спутанные кудряшки из-под меха — она радостно возражала, что уже все, уже развод, все, я от него ушла. — «Но ты меня бросила, — приглушенно гудела Глюмдальклич, — меня выселили из общаги, я голодала прямо». — «Все, все, — горячо и убежденно твердили светлые глазки и кудряшки, — теперь все, ты увидишь!» — «Увижу, — упрямо и обиженно тянет Глюмдальклич. — Предала, теперь все».

Они внезапно стали пробиваться к выходу вперед и сошли, обе небольшие, худые, и Глюмдальклич, в костюме рабочего и в промасленной ушанке, мелькнула в проеме и пропала.

Это тоже была Нинина остановка, и она осторожно выглянула из задней двери. Путь оказался свободен, можно было выбираться из автобуса. Далеко впереди Глюмдальклич шла широким шагом, сцепившись об руку с подругой в тесный нищенский узел.

Нина шла за ними, как преследуемый за охотником, то есть замедляя шаги.

Парочка провалилась в подземелье метро и пропала.

— Скажи ты мне, что любишь меня, — тихо запела на морозе Нина (люди иногда поют для себя на улице) — и вдруг она заплакала, вспомнив своего милого Кота и эту пору безумной любви, когда она сидела у телефона в ожидании, а вместо Кота звонила надоедая Глюмдальклич в сопровождении хора под гитару, все звонила и звонила, сквозь дым костра своего ада.

— Скажи ты мне... Что любишь меня... — пела, захлебываясь слезами, Нина.

## Донна Анна, печной горшок

Она была все время как бы тайно занята (секрет без разгадки: никакого знака наружу не поступало). Огонь, желтый, землистый, пробивался с ее лица, выдавал себя то в зенице глаза, то в цвете щек, то в запекшихся губах.

Она знала, что за ней все время неустанно наблюдают многие, выдававшие себя (тоже было заметно) как-то особенно вывороченными белками глаз. Мелькало это белое и то темно-желтое, белое охотилось за желтым, желтое пряталось, темно-желтое, повторяю, цвета желтой глины.

Как печной горшок, осторожно передвигала она свою голову, охраняя тайны этого горшка, заключающиеся (очень просто) в том, что надо было этот горшок налить до краев водкой. Причем владелица горшка все время, двигая свой горшок в том или ином направлении, жила не в углу под лестницей, не в каморке, а в огромной квартире среди соб-

ственной семьи, среди детей, при наличии мужа и кучи знакомых, подруг и друзей: приходящие усаживались за стол, выставлялись бутылки, какая-никакая закуска, добрые лица выставлялись над столом как пустые бутылки, и печной горшок сиял добротой и своей тайной, целеустремленный темно-желтый горшок; пели песни, курили, спорили об искусстве (оба, и муж и жена, были художники), эти споры были не об искусстве, что как положить какой цвет рядом с каким, не любители сидели тут, а профессионалы, которым смешно обсуждать ремесло; о деньгах шла речь, о выставках, о заграничных идиотах кураторах и галерейщиках, об эмигрантах, которые на многое надеялись и получали вдесятеро больше подлинной цены, а потом гонорары и авторы завяли, поникли — за столом не говорились слова типа «без родной почвы», само собой разумеется. Само собой разумелось, что эмигранты завядали не от предательства, их предавала родная почва, отсылала, уже не держа корешки.

Сидящих за столом родная почва не отсылала, редко отпускала в командировки зарабатывать какие-то деньжонки в марках, франках или фунтах, причем сидящие со смехом обменивались историями, как кого обманули там и там, и печной горшок (звали ее донна Анна неизвестно почему) не отзывался, горя своим теперь уже медным огнем, медью отсвечивали глаза и рот и даже светлые кудри, Анна хорошела на втором стакане — такая стадия — хорошела неотразимо, все вокруг теснее сбились, пели, кричали, чувствуя свое братство, а потом донна Анна падала. Стукалась медным горшком об стол.

Анну утаскивали, компания продолжала гудеть, ведь оставался еще и муж, добрый и мягкий, хороший брат-товарищ, вечно устраивал выставки, вернисажи со стаканчиками и бутылками, крутились проекты, Шорош давал деньги, знаменитый компьютерщик давал деньги, у мужа Анны они перетекали через руки, унавоживали почву для произрастания кураторов, постмодернистов, концептуалистов и неомилиитаристов, кого угодно.

Простой народ входил в темные галереи, где с тарелки на тарелку под светом верхних направленных источников света лилась, допустим, загадочная лента слов, которые надо было бы прочесть, дойдя до конца. Темнота, мрак, светящиеся белизной тарелки и т. д.

Веселые проекты с хохотом представлялись Леопольду (прозвище мужа), за каждым проектом немедленно выстраивался ряд рабочих рук, протянутых за деньгами, затем выстраивался ряд столов на вернисаже, ряд бутылок на столах, ряды стендов, ламп, рам под стеклом, редкие фигуры посетителей, затем проект гас, залы пустовали, а за обеденным столом в доме донны Анны опять шли беседы под звон посуды, Леопольд собирался доставать деньги, и что-то опять начинало закручиваться, а печной горшок заполнялся.

Нельзя сказать, что при этом дом был под паутиной, посуда немытая, а дети голодные, нет. Печной горшок молча действовал по утрам, приходили вереницы подруг, кто-то что-то делал, где много людей, там всегда найдется неприкаянная душа, за ночевку готовая мыть и драить, а уж послать за продуктами было легче легкого, и при этом Леопольдова мать, горемыка (которая не ходила к нему в гости и не могла залучить его к себе, обихаживала сама свой собственный угол, и то слава богу), так вот, эта мать, жалея внучков, засылала к сыну в дом якобы нянь, свою агентуру, няни уживались неподолгу, но дети все-таки реально были обстираны, помыты и накормлены, младшие отведены и приведены, старшие наглажены и снабжены завтраками в рюкзак: такова была установка несчастной высланной бабушки, которая, разумеется, так и не смогла понять смысла этого брака.

Детей было восемь. Старшие двое от первого брака печного горшка, затем остальные через пень-колоду, кто от Леопольда, кто от промежуточного человека, когда Леопольд ушел вон, а этот пришел и сел на гнездо, и вывел своих, за год один родился, второй наметился, но как-то сам собой пришелец умер, донна Анна осталась лежать не вставая, денег не оказалось совсем, и Леопольд вернулся на царство, и деньги потекли.

Анна встала, родила, потом опять родила, стоп.

Итого оказалось их восемь: четверо вроде Леопольдовы, четверо точно от других.

Печной горшок все так же хоронился, чураясь чужих людей, выходил к гостям только к своим, новых не признавал, а уж тем более в те поры, когда Леопольд на зимние каникулы выпроваживал весь сброд в дом отдыха на Клязьму, там они отдыхали много лет, и уж тут горшок вовсю прятался от посторонних лежа в номере, редко просверкивая по аллеям парка среди детей, и уж тем более выворачивались глазные белки встречных, провозжая донну Анну, выедаая взорами ее пламенеющее желтым печным загаром лицо, темные, цвета пива, гляделки и темный же запекшийся рот, буквально цвета бурой крови, и прекрасные светлые кудри на фоне снега, и всю ее фигурку, теперь уже точно похожую на таковую же тряпичную куколку старой вокзальной шлюхи, т. е. тонкая нога, слегка отвислый живот, руки жилистые как кленовые листья, общая вогнутость стана и всегдашняя улыбка на устах, какое-то извинение типа реверанса, что я еще живу.

Они оба еще жили, хотя ряд громких скандалов прогремел над головой Леопольдика, какая-то ушедшая за границу и никогда не вернувшаяся ни в каком виде выставка (ни вещей обратно, ни денег за эти вещи), а выставка была не хухры-мухры неопределенной ценности проект типа «коммуналка сороковых», альманах хлама, канализационных труб и старых унитазных седел, проводов с кляксами побелки и с лампочками на конце, кухонных столиков из тонкой засаленной фанерки, крашен-

ных хозяйской лапой вдоль и поперек, чем аляпистой, тем выразительней образ, т. е. собрание того, что еще можно было найти вокруг домов во время капремонта, и за граница этим любовалась, как если бы ей представляли добычу археологов Помпеи, но все это стоило столько, сколько стоила рекламная кампания.

Что же касается описываемого позорного случая, то за границу ушли самоценные вещи, книжная иллюстрация тридцатых годов, гордость нации не хуже золота исчезнувшей Трои.

Бедные частные лица, какие-то старушечки — приемницы прав, какие-то нищие внуки требовали сатисфакции в долларах со многими нулями, Леопольд не мог представить никаких документов, пропали важные бумаги, у него вообще все в доме исчезало, как в Бермудском треугольнике.

Печной горшок долго пребывала в одиночестве, гости как-то повывелись, тень тюремной решетки повисла над домом, старшие дети, женившись, ушли, кто-то учился за границей, двух посторонних средних детей забрали те дед и бабушка, осталась какая-то последняя дочка, еще небольшая, для которой не стояло вопроса как поднять мать с полу, донна Анна оставалась лежать где пала. Но появившийся Леопольд опять нашел деньги под какой-то проект, дал еще двум десяткам шелкографов, соорудил еще одну и еще одну экспозицию с участием короля и королевы какой-то малой монархии, но тоже был остановлен на полдороге, Шорош не стал финансировать, стоп.

Поехали с младшей девочкой в тот дом отдыха на Клязьму на лето, опять печной горшок прошелся с ребенком по аллее, а потом лег и не встал. Уже девочка бегала в свои четырнадцать лет что-то устраивала, поскольку папу нашли на дороге рано утром, сердце. А кто говорил доза.

Печной же горшок Анна не поднялась даже на похороны, все валялась и валялась, что было странно, уже ведь и водки не было никакой, никто не привозил. Но потом выяснилось, что донну Анну все это время снабжали уборщицы в обмен на одежонку, в том числе и на дочкину.

Т. е. это была догадка подруг и друзей, которые по старой памяти приехали за Анной на машине и не обнаружили чемодана, куда складывать вещи, однако и вещей не нашли.

Донна Анна вышла к машине на закате дня, пламенея под лучами низкого солнца, темная как старая картина, только с копной совершенно седых волос, кутаясь в вязаное пальто художественных расцветок, на ногах дивные мягкие сандалии, местное население не все хватало в обмен на водку, уборщицы не оценили, не взяли.

На этом вроде история кончилась.

Друзья говорили, правда, что все эти годы Леопольд жил с одной женщиной вполне открыто, с прекрасной женщиной, которая ему во

всем помогала, и это длилось много лет, она осталась бездетной ради Леопольда, а вся безобразная жизнь донны Анны, бывшей красавицы, протекала на этом позорном фоне. Чуть ли она не пила ли с горя, но пьют всегда находя повод, говорили другие, причем сама Анна никогда ни звука не проронила насчет мужа, терпела свой позор как могла, ни слова обвинения, улыбка треснутого горшка. И не ее вина, что она, как ни торопилась, не поспела первая и осталась вдовой, донна Анна.

## Два бога

Как ни странно, но любой подвиг, святое самопожертвование или счастливое совпадение на том же месте не кончаются, как роман или пьеса заканчиваются свадьбой. Жизнь продолжается и после того счастливого совпадения, когда, к примеру, человек опоздал на корабль под названием «Титаник», или после того — в нашем случае — когда женщина родила ребенка одна, без мужа, без семьи, совершенно отчаянно решив спасти тот сгусточек жизни, о котором ей сказала врачиха, да. Тридцать пять лет, полное одиночество, даже крушение, случайная связь с парнишкой двадцати лет, он после армии, и видимо, вся жизнь впереди, веселая пирушка, метро еще работало, но уже без пересадки — а парнишка обитал чуть ли не в пригороде, это раз; второе, что они танцевали, дурачились все вместе, маленький отдел в пять душ, общим хороводом, и наша Евгения Константиновна тоже взялась плясать, девушка в очках, старший редактор, а Дима-то был курьер. И третье — что Дима по-детски ошарашенно глядел на часы. До дому, до тьмутаракани, на метро и автобусе уже не доехать. Он сказал — ладно, идите, я как-то придумаю. А была ледяная ноябрьская ночь, и вот ее-то Евгения Константиновна (Геня) и Дима провели вместе, то есть вынужденно вместе. Она повела его с собой, да ладно, Дима.

Здесь была предыстория, что квартиру Гене (Евгении Константиновне) построила бабушка, дала денег, ликвидировав свой дом в пригороде. Бабушка вырастила Геню. Спасибо, но на этом дело не кончилось. Бабушка приезжала к Гене когда хотела ее увидеть, всегда неожиданно, у нее были ключи, и оставалась ночевать, если внучка приходила поздно.

И вот, добравшись до своего домашнего очага, Евгения Константиновна (в сопровождении скованного Димы) с ужасом обнаружила в уголку прихожей, за дверью, бабушкину палочку. Приехала!

Они оба засели в кухне. Тихо и аккуратно, чтобы не разбудить бабу, Евгения Константиновна постелила Димке на узком диванчике что нашлось в окрестностях — чистое банное полотенце и скатерть вместо пододеяльника. Красненькую подушечку, которая почему-то валялась на диване в кухне, Е. К. положила ему под голову. Дала еще одно полотенце, послала в душ. Потом пошла в ванну сама. Вернулась. Дима лежал

смущенно, подозревая, видимо, нехорошее. Как многие девушки боятся мужчин, так парнишки опасаются взрослых женщин, это правило. То есть Дима скованно лежал на боку, скрюченный как знак доллара, накрывшись желтой льняной скатертью до ушей. Е. К. села в его ногах, потом молча заплакала, опустив голову на обеденный стол. Она ничего не сказала Диме о бабушке. Он мог этого не понять, у него у самого дома жили две бабушки, мама и тетка, он их любил, это все в отделе знали.

Дима привстал, начал утешать Е. К., гладил ее по голове, по плечам. Обычное дело, мальчик рос, видимо, в любви (те две бабушки), его гладили и утешали, и он знал, как посочувствовать, проще простого. Она прижалась к его ладони мокрой щекой. Он ее обнял, как ребенка, заговорил «ну что ты, ну что ты». Дальше гладил по спине, поворачивал к себе, склонял. Сказал священную фразу «ну иди ко мне». Как-то они уместились на диванчике, Дима даже не посмел раздеть Е. К., просто задрал на ней халат. Первый раз все прошло в суматохе, второй раз более торжественно. Дима был недавний дембель и многое знал в теории. Бабка не выходила. Заснули. Рано утром (была суббота) Дима в ужасе вскочил ехать на подготовительные курсы, сонная Е. К. даже не успела напоить его чаем, исчез. Е. К. его не провожала, он нагнулся и поцеловал ее на прощанье легким детским поцелуем, как тетю или маму, всё. Хлопнула дверь. Через восемь с половиной месяцев Е. К. родила сына, причем случай с Димой больше не повторился.

Почему она оставила ребенка, не сделала аборт: во-первых, в тот день, выпавшись, вся разбитая, она отворила дверь в комнату, желая поговорить с бабкой, но никого там не было. Однако палочка в прихожей стояла, и бабушкина большая сума находилась на обычном месте, на стуле. Е. К. пошла к соседке, и та ей выложила, что вчера вечером, возвращаясь из театра, она увидела на пороге ее квартиры лежащую без сознания бабушку. Вызвали «скорую», пока она ехала час, старенькая совсем уже была плоха, но все-таки увезли ее в больницу живую. Хорошо что выползла на порог. Думали разыскать Е. К., но телефонов никаких не было. «Я ей под голову красненькую подушку положила, из комнаты», — сказала с укором соседка.

Через две недели, уже после похорон бабушки, Е. К. в ее честь решила сохранить ребенка. Для себя, как единственно близкое существо.

Но это всё слова и девизы, а ежедневная жизнь оставляет их без употребления. Дима вскоре ушел из отдела в другой отдел, этажом ниже, и не курьером, а мл. редактором, учился, каждая минута на счету, пробегал мимо, радостно здоровался с Геней как с человеком, который приятен и мил. Как с первой учительницей, которая (ясно) хочет спросить многое, но некогда!

Правда, это выражение на его лице к весне сменилось каким-то преувеличенно-приветливым видом, ибо Е. К. была уже сильно тяжела,

шел месяц май. В тот год стояла страшная жара, и Е. К. ходила вот именно что тяжело, даже грузно, но вид имела опрятный, аккуратный, волосы пышные, как всегда, только рот оттопыривался как у негритянки, и в руке всегда был большой, скомканный носовой платок, которым она постоянно вытирала губы.

Итак, Дима, хотя совершенно отстранился от Е. К., но все так же мило ей улыбался, не обращая внимания на ее преображенную внешность. Он вроде бы не понимал, от каких причин что происходит и сколько месяцев (недель) надо считать назад. Он был мальчиком из пригорода, возможно, там, в деревне, у него имелась девочка, однако в отделе этажом выше (где курьером теперь работал другой парнишка, теперь уже шестнадцати лет) — там-то всё все знали и считать умели. У Е. К. не было манеры что-либо скрывать. Ее любили в отделе за что-то, неведомо за что. Так просто, любили и всё, вечно у ее стола толкали кроссворды после обеда, у нее же дома собирались на всякие мелкие сабантуи, короче: Диму известил Артем Михайлович, Тема, солидный дядя, обожавший Е. К. не совсем платонически. То-то и то-то, Дима, знай. У тебя (от тебя) будет ребенок. Дима улыбался как всегда (так рассказывал А. М.), совершенное дитя! Дитя, у тебя будет дитя.

Дима все так же здоровался с Е. К., радостно, и пробегал мимо, а Е. К. уже последний раз мелькнула в буфете как пузатая шхуна под парусами, белое с синим, лицо белое, бледное, синие тени под глазами, платье с белым воротничком. И растаяла. Диме было ни до чего, он сдавал экзамены на курсах и сдал! Весь май его не было, потом он вернулся на работу и опять ушел, кажется, поступать в институт.

В середине августа он появился, и вскоре его остановил в коридоре Артем Михайлович и поневоле укоризненно сказал: «У тебя, между прочим, сын родился. Запиши адрес роддома».

Дима все так же радостно, как debil, закивал, достал ручку и записал все на каком-то клочке.

Отдел в составе троих (заведующая, Тема и некто Даша) с цветами прибыли встречать Геню из роддома. Заведующая, Светлана, выступала с георгинами, тортом и бутылкой (для медсестер). Тема волок большой пакет детского приданого, Даша принесла одежду Е. К., все было как полагается. Наша не хуже других. Сдали имущество нянечке. Расположились покурить на лавочке.

Тут же была небольшая толчае из двух девушек и молодого парня, а также маленькой толпы деревенских родственников — две теткы, бабка в платке, какая-то мятая личность типа «дядя Вася», из водопроводчиков, и — вот так финт — посреди всего этого сиял своей светлой личностью Дима с букетом гладиолусов! Это его родня, возможно, все эти люди!

— Привет, Димочка! — завопила Светлана Аркадьевна и замахала георгинами. Дима, сияя, склонил свою светлую голову. Похудел как цыпленок, видимо, из-за экзаменов.

Затем вышла смущенная Геня, ее встретил у дверей Дима и взял ребенка из рук нянечки. Все честь по чести. Тетки и бабка затолпились, взглянули, дружно сказали «Димкин», заплакали, дядя Вася вытащил из тряпочной сумочки бугылку, пластмассовые стаканчики, всех обнесли, а Геня, расцеловавшись со своей новой родней, приняла дитя на руки и отъехала с какой-то приехавшей в такси подругой, только сказала «я очень рада, всем позвоню». Дима почему-то сиял. Светлана Аркадьевна, Даша и Тема задумчиво пошли к метро, вслед за растерянными Димиными родственниками (сам Дима шел как бы тайно улыбаясь, и на вежливый вопрос Светланы, как экзамены, ответил, что все в порядке).

Затем пролетел год. Евгения Константиновна вышла на работу. Настали трудные времена. Она нашла няню, и все деньги уходили на это. Геня пополнела, как полнеют необеспеченные женщины с детьми, от хлеба и картошки, носила, видимо, чьи-то старые вещички, зашитые колготки, стоптанные туфли. В буфет она теперь не ходила, питалась взятыми из дому кусками хлеба с чем-нибудь дешевым. Стала более суровой. Торопилась уйти пораньше.

Дима пасся где-то этажом ниже, сам худой как палочка, при встречах освещался своей детской улыбкой. Он работал и учился по вечерам. Тем не менее (в отделе это знали) Дима раз в неделю посещал Егорушку, приходил по субботам поздно вечером, после занятий в институте, и просто сидел у кровати, неотрывно глядя на ребеночка. Сидел и смотрел. Ночевал на кухне. Денег у него не было совсем, бедная оказалась его семья, дядя Вася пил, брат тоже. Затем дядя Вася за три месяца сгорел, а к моменту, когда Дима закончил свой шестилетний институтский марафон и получил диплом, его брат отравился чем-то, какой-то дрянью, и тоже ушел. Таяла Димкина большая семья, мать уже находилась на исходе дней, бабки не было давно, и вскоре у парня в живых осталась только тетка. Он жил с ней в двухкомнатной квартире в Москве, уже полноправный редактор, работа с высшим образованием.

К тому времени Геня давно рассталась с финансово неспособной няней и отдала ребеночка в сад на пятидневку. И Дима каждую пятницу приходил к садику и забирал Егорушку, вел его домой к Гене и оставался с ними до понедельника, а в понедельник вел ребеночка рано утром в сад.

Егорушка звал Диму «папа». У мальчика были папа и мама, все как положено. А затем, когда ему уже надо было идти в школу, Дима перевез свое семейство в собственную двухкомнатную квартиру, где еще стоял в уголку костылик тетки, где мирно росли цветы, даже огромная пальма, где полы были старательно помыты, а на них радостно пестрели чистые домотканые половики; где икона висела в красном углу, а стол в кухне красовался под белой скатертью: с праздничком! Только кастрюли оказались гнутые, да посуда разномастная, да и запах стоял

соответственный, запах бережливой нищеты, сладкого шерстяного тлена из битком набитых шкафов.

Егорушке понравился его новый дом, его собственная комнатка (там Дима и Геня поклеили новые обои). Папа даже где-то нашел и подколотил, подклеил ему маленькую одноместную парту для уроков, то есть жизнь потекла. Е. К. вскоре стала работать на крытом рынке, торговала цветами в горшках, Дима устроился в аспирантуру в тот институт, который он закончил, начал преподавать, а также нашел себе частные уроки для поступающих. Остался еще домик, домишко в пригороде, семейное гнездо, куда выезжали на выходные и летом и где Геня выращивала цветы и рассаду. Да и свою однокомнатную квартиру Геня сдала.

Все шло тихо, мирно в семье Егорушки, родители никогда не ссорились и дружно вопили на сына, когда он пытался капризничать. Иногда только Дима напивался до бесчувствия, поколения алкоголиков делали свое дело, однако Геня умела выводить мужа из запоя, и — умная женщина — она как-то изловчилась, накопила денег и приобрела для Димы подержанную машину синего цвета, ездить за город. Дима ошалел от счастья, все свободное время возился с этой машиной, доводил ее до кондиции, и они теперь ездили на дачу на своем транспорте, не в электричке и не в битком набитых автобусах с рюкзаками, с сумками на колесиках, с ящиками упакованных цветов в руках, нет, о нет!

Всё? Нет, не всё. Первое: Е. К. так и не вышла замуж за Диму. Второе: суровая жизнь закалила Диму и Геню до состояния стали, а Егорушка рос мягкий, ласковый, как бы безвольный, и уже виделся за горами призрак его возможного будущего, будущего всех мужчин Диминой семьи, и история зарождения Егорушки сулила также и со стороны матери легкомыслие и случайные связи.

Крепко думали отец с матерью, оценивая внезапно протрезвевшими сердцами свое прошлое и тот грешный момент, когда они сплелись на диванчике полуголые, похотливые, страстные, и ребенок зародился в этот нечестивый, незаконный миг... Светлым, страшным заревом вставала прошлая жизнь их племен и родов, установивших строгие правила совокупления, нужные для воспитания таких же твердых устоев у детей, чтобы все шло без стыда и сомнений, да.

Что из него выйдет, что, трепетали родители и тем суровой относились к своему простенькому, добродушному, вечно сияющему Егорушке, который всем все отдавал, все терял в школе, вечно жаждал друзей, любви, поцелуев и часто плакал, наказанный, в своей комнатке, и опять совался с поцелуями к мамочке и папочке, своим единственным на земле, рыдал и прощал, и тянулся всем существом к двум суровым богам, Диме и Евгении Константиновне, а они всё замирали в предчувствии...

## Рай, рай

Так весело жили, сдали большую родительскую квартиру, сняли поменьше, трехкомнатную, раз. Два: тут же начали строить и достроили (на месте дачной развалюшки, курятника с садом, путано-перепутанные кусты и вишни с грушами) — построили на зависть (добрую) соседушек двухэтажный гигант, виллу со всем что надо: холл так холл, во весь почти этаж, с камином, переходящий в кухню, терраса на теплые дни вокруг дома, наверху спальни, ванна. Далее, внимание, небольшой бассейн и — о чудо — теннисный корт! Всё, ребята. Приехали в лучшую жизнь. Деньги должны не лежать, а вкладываться. Закаты, рассветы, здоровье, вот во что вложены должны быть деньги! Цветы высших сортов аккуратно, группами на изумрудном газоне. Кусты остались только повдоль забора, по периметру, в них мощно лазают, проридается чудо-собака, громадный дог, еще щенок. Добрый, участливый, во все ломится грудью, корм ли ему выносят или соседи явились, но так может налететь с приветом, что пошатнется пришелец. Что и требовалось. Не каждый решится, кстати.

Соседи, чтобы посетить, жались за забором пока кто-нибудь не выйдет на звоночек — старуха или другая старуха — и не выпустит, держа сумасшедшего за ошейник на манер скульптурного персонажа, как древнегреческий герой своего коня. Дог на двух ногах, передними болтает, гарцует в воздухе, красота, группа имени Клодта.

В результате старух на даче оказалось действительно две, одна неприспособленная, интеллигентка под восемьдесят, сухая, высокая когда-то, вечно гостеприимная, но растерянная, ибо пса не способна удерживать ни за какие пряники, даже в виду подруг, жмущихся за калиткой. Бормочет «ща-ща» и оглядывается. Явно боится этого милого исполонна. Как явно боится и вторую старуху, которая должна явиться, крепкую женщину-няню, нанятую специально (экономка), чтобы готовить и вести хозяйство: изволите видеть, вдова полковника. Какое там хозяйство! — восклицала Елизавета Федоровна (неприспособленная), что, не обойдусь кашей? Что, не подмету? Как всегда подметала? Не постираю после НИХ в машине? И развешу на веревках, да, помаленьку. Я ли не растила Сережу, не держала на себе дом? («Но как, — мысленно возражает невестка, женщина милая, крепкая, деловая и тоже уже около пятидесяти молодка. — Но как, это же вечные легенды про сгоревший уют и будильник в холодильнике!»)

Сами молодые и их дети, девушка старшая и мальчик помоложе, приезжают на выходные, Ксюша и Алик, но тут же ночью, прибывши, хохочут и пьют с гостями внизу в холле, днем у них сон до вечера. Как говорит невестка, они тоже устают, у Алика сессия (к примеру), у Ксюши шеф зверь.

Но проходит бледный июнь, и уже ни у кого из молодежи, видимо, нет сил погружаться в машину и пилить два часа до фазенды в пробках, гари и жаре. Построились бы поближе! Как люди! Надо было к бабушке в деревню громоздиться на даровой участок. Пожалели денег как всегда.

Это то, что в лицах изображает невестка, забежав к добрым соседям в очередные выходные, а соседи передают Елизавете Федоровне, пройдя сквозь пограничный контроль. Сквозь скульптурную древнегреческую группу «отрок укрощает коня», в ролях — буйный дог и вдова полковника. Елизавета Федоровна молча кивает, стараясь не вспоминать свой домик, перепутанные стежки-дорожки, грушу-вишню, вишневый сад, короче.

Итак, корт пустует, бассейн сухой, две старухи ведут дачную партизанскую войну. Одна другой всовывает свои макароны с сардельками (тьфу!), с кетчупом из сельпо. Утром вчерашнее, днем недоеденное, вечером чаю похлебать.

— И чем она кормила там, в своем полку? — кротко роняет старшая старуха, когда соблюден пограничный контроль, гости рассаживаются около камина, а младшая старуха уже отпустила своего клодтовского коня и рысью побежала досматривать гремящий в зимнем саду сериал.

Затем, перекрывая искусственную речь дубляжа, раздается короткий женский рык из зимнего сада, у стекла которого прыгает разочарованный дог.

Доклад: младшая старшина орет на собаку как с цепи съехав (кротко отмечает старшая, неприспособленная).

Собака царапает стекла, роет землю копытом и гавкает с присвистом, младшая старуха гавкает тоже, параллельно из ящика журчит дубляж, неестественные интонации актеров. На этом фоне идет ответ, раздраженный хор четырех такс слева из фазенды и домовитый лай дворняжки Рекса за забором напротив, спасенной щенком от занесенного топорика. Хозяева ее как раз сидят у Елизаветы Федоровны, сцену у камина.

— Не могу слышать этот дубляж, так наигрывают, так наигрывают! (Елизавета.)

— Там нанимают одну и одного, она проговаривает все женские роли на разные голоса, он все мужские, так дешевле, — поддерживают ее соседи.

Это их вечная тема, они люди театра.

Еще тема — собаки. Там, за забором, собаки любимые — четыре таксы слева и дворняжка напротив. А дог всем оказался посторонний, его побаиваются, хоть и жалеют. Он, простая душа, в своей тоске свалит с ног любого!

Кстати, говорят соседи, лучшей охраны и не найти, слава идет по всему поселку. Мы-то еле пробираемся.

Но все-таки визиты продолжают, к Елизавете Федоровне не зара-стает тропа, люди проторили сюда дорожку еще в былые годы и, как старые кони, все сворачивали к ее бедному домику, к ее вишням и грушам, ныне на виллу. Ходят: хозяйева четырех такс — мама с дочкой и внучкой — и две сестры с той стороны улицы. Все они сослуживцы, ветераны со старой работы, из погорелого театра, Елизавета была женой зав. музыкальной частью, сама сидела в литчасти, сын тоже актер без ангажемента, театральный ребенок, частично сломанная судьба, поскольку их коллектив ликвидировали, всех разогнали, набрали новых на ту же сцену с новым режиссером. Таксина старшая хозяйка и две сестры из оформительского цеха, художники по костюмам, все трое на глубокой пенсии. Молодая таксина хозяйка певица. Всё. Таков состав группы. Все происходит на фоне огромных денег, которые ежемесячно получает невестка за сданную внаем иностранцам квартиру Елизаветы.

Собственно, участники бесед живут тут по четыре месяца в году как в раю. И Елизавета так жила, пока не срубили ее вишневый сад и не приставили к ней старшину (темную силу со сковородкой в одной руке и кетчупом в другой). А четверо Елизаветиных друзей именно живут в раю, ходят по вечерам друг к дружке в гости, когда закончен круг дневных забот, полив-прополка-сбор урожая-готовка-стирка-мытьё посуды, все тоже устают как собаки. Они потихоньку выпивают, закусывают, сплетничают по поводу других участков, отвлекают прекрасную Елизавету от горьких воспоминаний о вишневом саде и от вечно-го ожидания сына Сережи, который все не едет, вместо него регулярно является невестка.

Соседушки звонят у калитки, рык дога, переходящий затем в сдавленный визг, поскольку — не проходит и пяти минут — он уже висит на поводьях в руках у почти клодтовской вдовы, чему ответом дикий ближний лай четверни такс, также заливистый ответ дворняжки Рекса напротив.

Соседушки ведут с собой своих постоянно меняющихся гостей полюбоваться достижением театрального поселка, виллой; а также Елизаветой, которая может говорить на трех языках. Елизавета угощает невесткиными передачками — печеньем, конфетами, что осталось от прожорливой старшины.

Вилла как маяк над морем возвышается башенкой поверх кудрявых зарослей поселка, но только вблизи ее можно рассмотреть в полном великолепии, со стороны сухого бассейна и теннисного корта. Монолитное стекло, балясины, обзорная площадка наверху.

За всем этим — постоянное кап-кап, текут денежки в ручки невестки, ежемесячно сколько-то тысяч долларов, ибо это шесть комнат в центре! Евроремонт она тоже сделала в паузе между двумя заездами съемщиков — и оправдала его, сдав жилье за цену вдвое! Собствен-

ность должна работать! Даже если это три в месяц (с горящими глазами считают соседи), то это тридцать шесть тысяч в год! Мыслимое ли дело! А если три пятьсот в месяц?! Что же это за суммы такие, мечтают нищие пенсионерки, на эти доллары можно и роту солдат нанять охранять Елизавету! Или тот же полк!

Считается (среди невесткиной семьи), что младшая старуха идеально подходит на роль пажки рассеянной Елизаветы. А: жена полковника, т. е. дисциплину знает и режим поэтому будет блюсти. Б: дом в порядке, и что еще нужно (для сына с невесткой).

Но маленький комитет солидарности, горстка живых душ, толкует вечерами, что Елизавету затравила эта армейская вдова. Что Елизавета тайно сосет размоченные сухарики и питается консервами «горбуша в собственном соку», запивая кипятком, только чтобы не глодать макароны из холодильника, которые она выносит (тоже конспиративно) Тиму, догу, благодаря чему Тим раза два ее чуть не забодал от благодарности. Далее, завидев свою старшину, Елизавета во все лопатки ковыляет к себе наверх. Далее: что старшина все дни проводит глядя сериалы в зимнем саду под пальмами, восьмичасовой график, четыре утром, четыре вечером; что она грубит Елизавете, если та о чем-то попросит, а в свободное от сериалов время висит на телефоне, не давая возможности сыну Сереже дозвониться до матери и наоборот. И: к старшине повадился ходить поселковый сторож Андрей, алкоголик, который зимой пьет и грабит дома под видом нападения со стороны. Андрей занят на разных работах у вдов и старушек, берет гонорар водкой, а старшина его поит в прозрачно видимых целях, так рассуждает веселая компания, состоящая из владелиц такс и хозяев спасенного щенком Рекса, спасенного как раз от топорика пьяного Андрея-сторожа. Андрей объяснял свое дикое намерение тем, что кормил два месяца щенка на сало, вот те раз. Собачье сало, оказывается, применяется от туберкулеза, которым болен в лагере брат Андрея Валерка, убийца двух старух в их собственной деревне за линией, которые не дали ему самогона. Валерка тоже ошивался при дачном поселке, тоже на разных работах, и воровал что мог, теперь умирает. «Гарсиа Маркес!» — восклицает Елизавета.

Круг замкнулся: собакоубийца Андрей с убийцей братом Валеркой, и при них террористка вдова полковника по кличке Старшина.

Ох и недаром зачастил Андрей к старшине, он приучает к себе дога! — такая догадка озаряет лица комитета. — Вот-то они ночью обворуют дом!

Затем следующее явление: Елизавета в одиночестве семенит встречать своих гостей к калитке, и напрасно оглядывается, старшина не выходит.

Здрасьте, вдова занята с Андреем, решает квартет по ту сторону забора, а Елизавета еще стоит, уклоняясь от наскоков дога, который в

вертикальном виде может общаться с ней на одном уровне, причем кладет копыта ей на хрупкие ключицы. Одной рукой держась за его ошейник и подвергаясь облизыванию, Елизавета другой рукой, шатаясь, отпирает щеколду, и тут же подруги уводят дога вперед, и он счастлив, что с ним разговаривают как обычно разговаривают с собаками, притворно строго и на бранном диалекте.

Елизавета, отдышавшись и обтеревшись, докладывает комитету о новых подвигах своей надзирательницы. На обед та сварганила суп из макарон с жиром от говяжьей тушенки (которую сама слопала!). На второе — запеканку из вчерашних же макарон с творогом, завалившимися в холодильнике! А себе она принесла помидор, огурчиков и куру! И слив и яблоч!

— Ну сволочь,— не удивляются друзья.

И в первый же приезд (через две недели) невестка Елизаветы обретает в лице Большой Четверки движение сопротивления по полной программе.

Невестка, хорошая женщина, полная сил, хотя и изнуренная долгой дорогой, когда приходит навещать двух сестер, хозяйек спасенной дворняжки, то приносит гостинчик, конфет и пряников, и тут же щебечет, что так соскучилась по свежему воздуху, и что Елизавета Федоровна живет просто в раю, в раю, и получает в ответ напряженное молчание. Такой дом, такой чистый кислород! А они все, вся семья, торчат в условиях Москвы, с утра на работу, вечером с работы, да жара (а то дожди), и так дико, дико устают, что в выходные только спят, царство сонных сурков! А квартирка тесная, населенная (четверо в трех комнатухах), вещей немыслимо старья, собранного из шести комнат, и не выбросишь чужое (тут кивок головой вбок и слегка назад, в сторону воображаемой Елизаветы Федоровны). Короче, ад и ад. А тут рай, рай и рай. Только вышла из машины — тихо, аромат, воздух, рай! И на всем готовом (опять легкий выброс головы в сторону). И тихо, одна в доме, тарарам, тиририм, одна и та же песня про вампира Елизавету, которая сосет все соки из семьи. Ей и домработница, и порт с бассейном! Всё для нея!

Тут следующий куплет начинает сторонняя солистка, гостя сестер, пожилая активистка театра, помрежка Лида. Горячая душа. Она гостит у сестер, обсуждая с ними проект письма в инстанции о спасении старого коллектива.

— А у нас другие сведения,— медленно начинает Лида, разворачивая свои пушки для залпа. И залп гремит! Лида выкладывает все что наблюдала за два дня.

— Ой да что вы, да не слушайте вы маму,— (невестка простонародно зовет свекровь мамой) — мама и в раю будет недовольна! Ей всегда нужен конфликт и быть несчастной! Сухарики, чаек, знаем-знаем! Хорошо, я заберу ее в Москву, будет жить (где только?) в жаре и в духоте, и

будет опять же недовольна. Это же мама! Это же ее театральное амплуа! Взять Сережу на ручки и быть несчастной! Жалобы турка!

(Елизавета, кстати, так и озаглавливает свои ежедневные донесения: «жалобы турка». Это у них семейное, невестка подхватила.)

— А Сережа не приезжает — он уже сам старый, плохо себя чувствует, что-то с сердцем, он не может ездить так далеко, устает, — добавляет невестка. — Того гляди загремит в больницу.

Потом, через год, вся компания вспомнила эти роковые слова, но тогда им было не до того.

— Нет, — дает следующий залп Лида, цепко глядя на румяную от удовольствия невестку, нет. Елизавета живет как в тюрьме с надсмотрщиком! А ей не надо никого! Она вас просит. Мы ей что, не сварим, не принесем из магазина?

Тут вступают члены Большой Четверки, что Елизавета в старом домике прекрасно справлялась и жила одна безо всяких нянь и без удобств, кран во дворе и всё. С керосинкой и сыном одна и справлялась!

— Молодая была, — полыхая щеками и все еще улыбаясь, говорит прижатая к стене невестка. — Это же было сорок лет тому!

— Оставили бы старый дом Елизавете, ничего бы этого не было, жалоб, — гремит Лида.

— Были жалобы! — сохраняя улыбку, отвечает невестка, бесстрашная, опытная, умелая, — были бы жалобы! Ну извините!

Тут она уходит, виляя попой, а члены Большой Четверки вкупе с Лидой долго рассуждают на тему о том, что живет вся та семья на деньги от Елизаветиной жилплощади, ее самое выселивши из Москвы, чтобы не мучиться со старухой летние четыре месяца, а полковница...

— Полковница, — режет Лида, — она не Лизу кормит, а дом сторожит, понятно?

Большая Четверка изумлена, но не слишком.

— Сдалась им Елизавета! Они боятся, что она старая, дом ограбят, все вынесут! И эта собака Баскервилей для охраны!

— Нет, Тим добрый, — возражает Большая Четверка.

— Да любой вор побережется войти к такому Тиму за забор! Его, кстати, когда-нибудь берут в дом? Ну в дождь, или на ночь?

Ответ отрицательный.

Полковница исчезает ближе к осени, на даче появляется какая-то дальняя родня, услужливая женщина-секретарь главного врача в отпуске, которая немедленно начинает дружить со всеми, однако лето кончилось, и холодный золотой сентябрь Елизавета доживает в нетерпении, считая дни, когда кончится ее ссылка.

Печаль поселяется в дачном поселке, редуют плодовые заросли, лег туман, зарядили дожди, топятся печки, Большая Четверка парится в

бане Елизаветиной родни, а на корте вдруг вырастает пучками растительность, как под мышкой у взрослого мужчины.

Елизавета на глазах чахнет, за ней все не едут, вместо того является (причем на электричке якобы) веселая невестка и плетет небылицы о том, что семья работает как воли и всем некогда.

Елизавета больше не жалуется, она молчит так, как будто все кончилось, все надежды, и правда взглянула на нее своими ужасными глазами, и больше уже старушка не шелестит, что никому не нужна и брошена, не поет все эти песни балованных людей. По-настоящему ненужные хорохорятся и обвиняют весь мир, сочиняют травлю, преследования, то есть доказывают свою тесную якобы связь с человечеством. Елизавета на пути к тому.

Она уже помадквиает, сидит румяная и почти не реагирует на аргументы невестки. Копит материал. Потом все будет обдуманно.

Однако это последнее лето в деревне у Елизаветы, на собственной вилле, на другой год ситуация изменилась, квартиру (ту, шестикомнатную) уже не сумели сдать, внуки требуют отдельного жилья, семья разъезжается, и на этом фоне умирает Елизаветин единственный сын — Сережа, ее герой и опора, не старый еще человек.

Вилла пуста на следующее лето, зарос корт, вылезает трава и в бассейне, кто-то приезжает туда, видимо, невестка сдала теперь уже этот дом, и где-то длится Елизаветина жизнь, как-то она еще существует, и Большая Четверка все вспоминает свою победу над полковницей и то счастливое лето, когда всё буйно цвело и давало плоды, и все были живы, когда такс было четверо (теперь их пять, щенка пришлось оставить из-за прикуса) и когда, как оказывается, все складывалось в тихое счастье и действительно рай, рай.

## Колыбельная птичьей родины

У юных дев есть такая манера — влюбиться издалека, найти в толпе лицо и облик и смотреть, смотреть. И, допустим, дело происходит на факультетском вечере где-то ближе к Новому году, и все старшекурсники тоже тут. Гомон, тьма, музыка, и, к примеру, вдруг старый джаз, почти цирковой номер, музыканты настроились на лирику: колыбельная птичьей родины, *Луллабай оф бёдленд, луллабай, луллабай*.

У выбранного предмета лицо принца, светлые волосы, он давно уже отмечен в коридорах факультета, где шмыгает юная дева, он герой, звезда, немного плейбой.

Их, этих порочных красавцев, на факультете примерно по одному на курс. На пятом некто Игорь, на четвертом этот, на нашем Олег, кстати, совершенно некрасивый, но характерная черта: в дружбе с первыми

девушками курса, это Лина, Алка и Таня. Он с ними в дружбе, а бегаёт за Ниночкой, белым барашком, она удивительная дура. Дура настоящая, без примеси, как в третьем классе, и всем рассказывает про своего мужа Изю, Изюма. Это мама выдала ее замуж за Изюма, в скобках Исаак, он гинеколог мамы, старик лысый, бе, ему тридцать шесть лет. Нинка еще рассказала подружкам (а те всему курсу), что у нее был спазм! Изюм не знал, что поделать! Встал и метался. Он объяснял это тем (а Ниночка объяснила курсу), что недавно умер Нинкин отец от тяжелого продолжительного рака легких, мама Нинки взяла его к себе, хотя они находились давно в разводе. Мама взяла его к себе умирать из больницы, одинокого, и он на высоких подушках лежа кричал. А Изюм настаивал на свадьбе, и вот, когда Ниночка вышла за него замуж сразу после папы, только схоронили, то так все и не получилось ничего, спазм! Нервное потрясение, объяснял Изюм всему курсу. И Изюму пришлось отвезти молодую жену к другому врачу-гинекологу, к коллеге, сделать небольшой надрез, чтобы Нинке не было больно при акции дефлорации. Все люди на курсе это широко обсуждали. Ниночка была дурочка, всего семнадцать лет, не очень красивая, не Линка с Алкой, но все мужики от нее падали. Что они в ней находили? Постороннего лектора привезли на факультет, писателя с двумя женщинами (жены?), так он сам вопросы задавал, и всё Нинке: вот вы, молодежь. Ответьте, вы, вот вы. Я? Вы, вы, да. Жены-старухи, каждой лет по тридцать пять, сидели у него по бокам и тоже опупело смотрели на Ниночку. Она буквально сияла своими светлыми кудряшками посреди аудитории, как ангел, на нее падало солнце из окна сверху. Все были в нее влюблены, лекторы, студенты, прохожие. А Лина, Алка и Таня, три громадные, широкоплечие красавицы, они занимались в секции плавания, и они диктовали моду на факультете: курили на галерке в аудитории, резались в карты и ржали, и все вскоре разошлись с мужьями, в начале второго курса. А девицей считалось быть у них позор. К третьему курсу Олег ходил за Нинкой упорно, как больной, хотя ничего ему перепасть не могло, Ниночка вообще не понимала, зачем он все время рядом как сиамский близнец, норовит слиться с ней руками и боками. Терпела, и всё, как лошадь терпит жокея. При этом рассказывала подружкам (всем то есть), что пришлось делать аборт. Изюм занес сперму рукой, вот! (Изюм, оправдываясь, всячески ей объяснял, видимо, все свои действия. Сделает и объяснит. Изюм ей, а она народам.)

Тоже больной на голову, плешивый Исаак встречал каждый день после лекций Ниночку на машине. А в аудитории он заходить не имел права, и там царил Олег и те, Игорь и Владик, с пятого и четвертого курса, похаживали в коридорах со своими свитами, властвовали, оживленные и опасные, сердце уходило в пятки. Наиболее красивым был как раз Владик. Тот самый принц, и наша дева и думать не могла даже

близко когда-нибудь к нему подойти, но в тот предновогодний факультетский вечер так было шумно, прекрасно, полутемно, и тут этот старый джаз, «спи, птичий край». Все затопали, зашумели, радость и печаль пронзили бедную душу девушки, она вроде бы увидела чужого принца, он-не-он, скорей почувствовала по общему облику, что это именно Владик, он стоял метрах в пяти, выделяясь в полутьме своими светлыми волосами. Дева начала на него смотреть во все глаза (попробую, подумала она). Смотрела-то она в туман, ничего не видя, светлое пятно, и всё, она всегда стеснялась надевать очки. Пялилась, целясь в самый центр этого пятна. Подобрала себе подходящий объект и ну глядеть простодушно, просто так, Владик-не-Владик, но как будто бы он. Близорукость снимала все преграды, дева и сама не ведала, что так прямо заглядывает человеку в глаза, так откровенно тарашится, не стесняясь ничего. Глядела-то в пятно! И что был у самой девушки за вид при этом, улыбалась ли она или просто так растопыривала свои большие черные глаза из-под черной челки — она не думала об этом, о своих громадных черных глазах, чернеющих просто как две чернильные кляксы! (Видимо.) Ей многие говорили, что у нее за глаза буквально как бездонные колодцы, черные звезды, но не те говорили, неважно кто. Дураки с первого курса.

То есть она смотрела как баран на новые ворота на этого еле видного Владика, и вдруг оно, это пятно, как-то повиновалось неморгающему взгляду, встрепенулось, склонило голову (пятно смазлось) и пошло как по веревке по этому черному лучу.

Она (Маша) не отводила взора от приближающегося белого лица, Владик или нет? Или, не дай бог, какое-нибудь фуфло с первого курса? (Идиоты.)

«Луллабай оф бёдленд» хорошо катилась вперед как смазанный паровоз, тяжело разворачивался джаз, набирая ход.

Лицо подплыло, оказалось Владиком и подхватило Машу в свои совершенно обычные на данный момент объятия, только немного заколело в горле и онемело все тело.

Тем не менее музыка закачала Машу, повела, обволокла, понесла в руках Владика, он приблизил свое (совершенно новое и простое) лицо к Машинуму лицу, щеку к щеке, так надо танцевать блюз, свинг, а Маша-то была маленькой девочкой, а Владик был высокий, длинноногий принц, но щеку он понизил свою, чтобы достичь Машинной бледной щеки, ее челки и огромных черных глаз, которые стояли неподвижно как у куклы, буквально торчали (Маша ничего не могла поделать), и Владик именно этим, видимо, и заинтересовался и посмотрел Маше прямо в лицо, как иногда поворачивался и смотрел на Машу с ее колен собственный Машин кот, обернется и поглядит, как бы сам себе не веря.

Владик по ходу разбирательства даже слегка отстранился, издалека заглянул ей в глаза и увидел, вероятно, нечто такое, после чего прихо-

дилось только бежать, как видно, — или остаться рядом с такими глазами навеки.

Владик выбрал первое, не желая ничего вечного, серьезного, ему, наверно, хотелось плыть по жизни легко, срывая цветы встречных-поперечных лилий и кувшинок. Вечно скользить в стране птичьих снов. Все ведь еще впереди! То есть Владик отошел, как только закончился этот блюз, знаменитый «край птиц», и дальше мелькал своим крепким кудрявым затылком, широченными плечами, своей мордочкой ребенка где-то там, в стране снов, среди цветущих лужаек, подалее.

Маша провожала взглядом все его передвижения, каждый танец, но уже тихо, не светила своими лучами, не напрягалась, не вела его. Мало того, она была озадачена: как это так, когда они танцевали, не было никакого счастья.

Обыкновенные руки, какой-то серый пиджак с определенным запахом нагретой, потной шерсти, какой-то кадык над распахнутым воротником, глянцевиная щека, светлые глазки, румянец. Подойдя, чудо стало неизвестным простым человеком, и всё. Отошло — опять превратилось в любовь.

Это была, видимо, модель, которая потом не раз повторится в жизни, — то, что уходит в страну птичьих снов, что покидает, не дается, то становится наваждением. Но как только из легкого тумана высовывается простая, крепкая морда, выступает кадык, пиджак, воротник, приближается эта проза, желваки жизни, так мечта довольно быстро упархивает, прощай, страна птиц. И (думала Маша) если мечту так и удерживать на расстоянии, сколько будет слез, какие чувства, каждое движение Владика станет событием, о любовь (думала трезвая Маша). А вот полюбить живое лицо очень трудно, у юной девы в запасе уже было несколько таких историй, когда симпатяги появлялись, попавшись на свет черных глаз, а затем несли какую-то чепуху, оказывались дураками в конце концов. А раскапывать дальше, искать за банальностями, ерундой чью-то душу, доброту, щедрость, верность — это еще ей предстояло, да и не часто такие вещи попадают в жизни. Доброта! Ее поискать.

Вон проскакал легконогий Олег вслед за тройкой прекрасных пловчих, а Ниночка не ходит на такие вечера, ее Изюм не пускает. Они с лысым Изюмом шляются в гости к таким же чернобровым красавцам вроде Изи, где сидят эти врачи и их жены и расспрашивают!

Маша уже не расходует огонь своих глаз, и так вокруг нее ходят разведчики, желающие стать сиамскими близнецами, но она тихо следует взглядом, как подсолнух за солнцем, за Владиком, поскольку опять попала в страну птичьих снов, опять колыбельная укачивает ее, Владик далеко и намеревается остаться там, вдали, больше он не подойдет никогда, а Маша спустя два года устроится в тот же институт, где он уже работает, и через несколько лет грянет гром: Владик объявлен сума-

шешедшим. Он как-то присвоил (вроде бы) важные данные и угрожал своему начальнику с глазу на глаз, что если его не сделают руководителем группы, то он уничтожит эти данные! Но с ним поступили как полагается, обещали, начали оформлять, а потом взяли с поличным.

И пошли слухи, все всё узнали, как в случае с Ниночкиным Изюмом, человек стал прозрачным и ничтожным (такова роль слухов), и два месяца сумасшедшего дома дали Владу возможность избежать судебного процесса за шантаж. Потом он уволился, принц со своими мужскими безумными мечтами.

Серьезные дела, а тут сны в птичьем краю о каком-то новом танце вдвоем в душном, темном зале среди праздничной толпы, когда щека к щеке, сердце к сердцу, одно склоняется, другое подымается на цыпочки, и светлые глаза утопают в черных, губы что-то говорят совсем близко... Колыбельная предполагает младенчика, но уже пролетели птицы над детским сном, спи, птичий край, спи, нет той лунной лужайки для красивых детей Маши и Владика, дети не родились, всё, баю-бай.

## Детский праздник

Разгар событий наблюдался на так называемом детском празднике, где собрались как раз взрослые участники события, а именно трое — дед и фальшивые дед и баба. Остальные были статисты, и как раз статисты говорили, разговаривали, ели-пили, встречали и выпроваживали детей к их играм в их комнату, потому что во взрослой комнате шел финал конкурса сказок, дети насочиняли, и жюри (взрослые) должны были распределить призы главным образом так, чтобы никого не забыть. Выписывались почетные грамоты, с шутками и смехом. Подлинный дед молчал. Фальшивые дед и баба тоже.

Но молчание это было разное. Тот, одинокий настоящий дед, молчал как бы присвистывал. Легкомысленно он молчал, несерьезно, как бы скучая в ожидании чего-то подлинного, потягивал водочку, хлебнет, опять хлебнет, как воду, нехотя. Настоящий этот дед был красавец-кудряш, молодец, темные веки, сизые подглазья, очи горячие, брови вразлет: театр, молчал, скучал.

Двое фальшивых, супруги дед с бабой, тоже были довольно молодые, тоже горячие, особенно она: опять-таки глазки с искрой, коричневые веки, блестящие, чуть ли не цыганские, а у ее мужа представительность гусарская, стоял навтыжку у стула своей жены весь вечер, молча пил вино, и она молча пила. Их детей-то не было тут, на празднике, они выросли. Семнадцать лет и восемнадцать лет, о них речь впереди.

Кругом в меру весело читали детские сочинения, темы были заданы с образовательным смыслом, детям дали заранее купленные фломастеры

и альбомы, и конкурсанты должны были сказкой ответить на вопросы. Сказкой и картинкой. Чтобы окончательно не взбесились эти дети, наевшиеся, напившиеся как щенки. Дальше должны были быть крики, беготня по диванам, безумие, ломаная мебель и побитые чашки, плач в результате, чей-то вой, по животу пробежались, именинник бьет детской скамеечкой от плеча. Щенки-то грызутся!

Нет, ничего такого взрослые, воспитатели и руководители своих детей, допустить не желали, уже имелся опыт, и квартира была выбрана для праздника бабушкина, бабушка как раз сидела, наоборот, в квартире своих взрослых детей (без права визита в собственную квартирнку и последующего крика на детей, тех и тех, больших и маленьких), бабушке заткнули рот обещанием, что все будет в порядке, чистота и молчание, чтобы соседи в будущем не вывалили бабушке в лицо свои претензии где-нибудь в лифте неделю спустя, типа «а я вами недовольна».

Уже давно была придумана и введена для детских праздников разумная система призов, поощрительных подарков и т. д., ибо призы были тайной, и вот за эти засекреченные премии дети боролись с бумагой и фломастерами каждый в своем укромном месте, даже загораясь локтями. В ход, таким образом, пошел принцип конкуренции и материального, шкурного интереса. То есть, наевшись до тошноты, дети не заорали, не взбесились под лозунгом «хороши животные, сивые и потные» (подлинный текст одного стихотворения конкурсанта в прошлый раз). Они не стали проливать кока-колу на скатерть неверными движениями, не начали ползать под столом и затем лезть руками в торт, а смиренно приняли из рук взрослых по пачке фломастеров и по альбому и принялись тупо водить глазами по потолку, т. е. творить. Творчество — это тихое, одинокое дело, особенно творчество на конкурс.

Все было сделано ОК, о'кей. И даже теперь, когда работы обсуждались в комнате взрослых, дети не пошли в загул, не заорали, не задрались, поскольку им погасили верхний свет, включили музыку после небольшого скандала, и они мерно, по объявленному распорядку, стали танцевать у себя в комнате в полутьме, причем некоторые детки просто сели по сторонам, отчужденные и принципиальные (это была не их музыка, и они-то и поорали в знак протеста). Однако и те, за кем осталась победа, танцевали без охоты, не было кайфа, что ли, и они то и дело лезли мордашками в дверь жюри, паслись поблизости. И не прыгали, не дрались, не ревели: ждали.

Ждущее за дверью дитя печально, приятно для глаза, надежда его манит, внимание собрано в кулачок, ребенок тяготеет в такие моменты к источнику своих надежд и не склонен биться детской табуреткой и совать напропалую по морде.

Тем более что взрослые объявили, что будут снимать баллы любым способом, придираются к мелочам в поведении (причем не уточнили,

что имеется в виду, то ли крики, то ли прыжки, то ли мелкие доносы). Это тоже был метод воспитания: озадачить, сбить со следа.

В данном элитарном кругу детьми дорожили как несусветным богатством, с ними занимались, им читали, играли им на гитаре и рисовали рядом (без принуждения заняться музыкой или изо, это важно). Ребенок обучится сам! Если возжаждет. Читка вслух, однако, была обязательной, по вечерам, после ужина. Поневоле дети что-то запомнят. Диким смехом сопровождалось, в частности, чтение (с выражением) «Мертвых душ». Также важно было обучение языкам, тут приходили педагоги. Детей учили по особенной программе летом и косо смотрели в сторону школы зимой.

Плоды этой системы образования сейчас вяло проплывали во тьме соседней комнаты, мелькая в полосе света как сытые рыбки, под какую-то их детскую музыку, о которой они все еще громким шепотом дискутировали. Та-та-та без передышки барабанчик, но энтузиазма в танцах не было даже у победивших.

Как уже отмечалось, все эти прекрасные, бледные от обжорства лица были обращены в сторону взрослой комнаты. Из-за та-та-та им не было слышно работы жюри. Явственно, может быть, раздавался только звонкий, как бы злорадный взрослый смех, смех судей, и судимые беспокоились, проплывая под барабанчик та-та-та в темноте детской.

По трое больших не принимали участия в этом празднике педагогики, в апофеозе родительской мудрости. Они напряженно молчали, не вмешиваясь в разговоры. Жюри искало формулировки, соревновалось в остроумии, а эти деды и бабка как бы были взрослее, их души коснулись подлинного, настоящего горя.

Только молодая бабка время от времени, блестя черными полуприкрытыми веками, вставляла свое очень веское мнение. Она-то была ближе всех тем детям в комнате, она всегда собирала их вокруг себя там, на отдыхе. Она их знала и была к ним равнодушна, и она-то и была тут царицей, главным арбитром во всем, в том числе и в распре между двумя дедами — безмолвно обвиняющим фальшивым и легкомысленно скучающим подлинным.

Поэтому ее муж, ненастоящий дедушка, стоял на страже жены, так весь вечер и простоял, и ничего не было сказано, и говорить было нечего, такая уж создалась тяжелая ситуация, раз хозяева детского праздника пригласили всех друзей по летнему отдыху. Там-то всё, на море, прошлым летом, в августе, и завязалось, но об этом ниже. Ныне шел ноябрь, отметим.

Кругом все всё знали, и совершенно не нарочно были созваны обе стороны, та и другая, просто нельзя никого винить! Все друзья! Все отдыхали, жили по четыре месяца в тех блаженных местах, на берегу моря, и многие годы подряд снимали в одном дворе сарайчики-мазанки,

под жилье и мастерские. Ели-пили рядом, писали свои холсты (все подряд художники), пекли керамику, низали бисер, пели-сочиняли песни, а вечером сбывали плоды своих трудов, стоя на путях продвижения шумной денежной толпы отдыханцев. Картинки продавались днем, а бижу вечерами. Все платили дань хозяевам курорта, бандитам, все ели хорошо, купались и загорали, ходили в дорогую баню, дети росли на море сильные как рыбки, красивые и свободные, но дисциплинированные, на ночь чтение, после обеда за общим столом изучение языков, вечерами торговля, помощь родителям в деле продажи художественных изделий. Это деткам дико нравилось, такая игра в магазин. Родители с трудом уводили их домой.

И правильно, пусть малые идут тем же путем что большие, пусть все знают! Пусть ведают, как художник добывает денежки, денежки на еду, жилье и образование, на уехать-приехать, на все соблазны, мороженое, катера, такси, кепки и надувные матрасы, на ночные шашлыки и маскарады в холмах под звездами, у костра, с фейерверками (там-то, в холмах, все и произошло, но об этом позже).

Правильное воспитание давало правильные плоды, дети помогали родителям и постоянно обретались на виду. Ничто не проходило мимо внимания взрослых, ни один их роман, ни танцы на дискотеке, где все девочки поголовно влюбились в одного таинственного взрослого незнакомца лет четырнадцати и рыскали как разведчицы, узнать как зовут, передать письмо без подписи, затем пригласить на вечерний маскарад! И результатом было то, что незнакомец прямо велел сказать настырным девкам (десять и двенадцать лет): «Только о ширинке думают!» Фразу передал свой мальчик, специально посланный. Плач стоял великий. Родители смеялись смущенно. Пусть девочки пройдут все пути, лишь бы на глазах и искренне все рассказать. Но не рассказали, плакали. Правда выяснилась нелегким путем доноса (тот, свой мальчик) и неназойливого допроса у кровати на ночь. «Боже, сколько еще будет у вас таких, и каждый раз плакать?» — «Потому что я дура, — сказала, рыдая, младшая, — каждый раз плачу!» Старшая же пошла якобы в туалет и сбежала, ее искали до утра все, с фонариками в холмах, на пустых пляжах, искали хоть одежонку, хоть сандалики. Мать то и дело, отойдя в сторону, подвывала как собака. Девочка нашлась уже днем, ночевала у знакомых на окраине села, наврала им, что родители внезапно уехали. Был великий бум, но быстро-быстро все замаяли.

Родители надеялись, что детям с ними интересно жить. Причем семьи торговали дорого, производство было налажено, необработанные камни поступали из дешевого Заира булыжниками, их пилили на пластины, стоял специальный станочек. В ходу были: кожа, самоцветы, серебро, керамика, перламутр. На заработанное семьи жили всю суровую зиму, начиналась школа, автобусы, уроки, и то иногда женщины

шли (под праздники) к известным торговым точкам продавать бижутерию, и дети опять-таки помогали.

Но зато летом был кайф! Под звездами, под солнцем, на побережье, среди выжженных холмов, в запахах диких трав и таковых же выгребных ям, среди пестрой толпы, где попадались бандиты с внешностью охранников и наоборот, где из каждого ларька и забегаловки раздавалась своя музыка, и местные подростки в трусах, а также продавщицы пирогов в халатах замедленно проходили сквозь лежбище невинных нудистов, — там, там, на песчаных пляжах, гнездилась жизнь.

Семьи устраивали ночные карнавалы в холмах, под большим секретом делая маски и костюмы, лунная дорожка стояла столбом в черном, тихо кипящем море, веяли ветры, а луна! А крупные звезды! А ночное плавание нагишом! О счастливейшее детство, о радость родителей, чьи дети хороши, умны, послушны, чувствительны, трудолюбивы и практичны, всем приходят на помощь и способны на преданную дружбу!

И не без романов, как же.

И вот под морскими звездами, в степных холмах, старшие дети и совокупились, не без этого.

Сын бабки и деда затем собрался привести девушку в мазанку к матери, семнадцатилетний привел шестнадцатилетнюю. Мама, я полюбил человека (пауза, мать кивает, подозревая бог весть что). Мама, этот человек беременный (мать кивает чуть ли не с облегчением), мама, у нас будет ребенок — хорошо, хорошо, сынок, воспитаем.

Теперь догадаемся, что тот, скучающий, одинокий, кудрявый дед на детском празднике, который все потягивает водочку, — он и есть отец бывшей шестнадцатилетней девушки.

А те двое, она сидит, а он стоит — это родители бывшего семнадцатилетнего мальчика. То есть к описываемому моменту прошло больше двенадцати месяцев, дети выросли на год и уже родился ребеночек.

Этих дедов и бабок общий внук.

То есть они сначала думали, что внук обций, после того лета взяли юную чету в поезд, привезли нового беременного члена семьи к себе в квартиру и поселили мальчика (своего) и девочку (чужую) вместе как семью. Всё. Ничему не сопротивлялись, пусть будет как сын хочет. Ребенок — и тот и другой — святое дело.

Итак, кудрявый мужик, кто пьет водочку и скучает, — тот отец девушки и настоящий дед.

Те же, которые помалкивают, муж (стоит) и его жена (сидит), те дед и бабка, как оказалось, фальшивые. Они всего только родители мальчика. А с девочками бывает всякое, и она предупредила мальчика как раз, что ее изнасиловали. И показала кто, и сказала, что преследует опять. Мальчик восемнадцати лет, взрослый, из незнакомой семьи. Такие вещи происходят в холмах, летом. Под звездами.

И девочка (16 лет) как раз и была защищена и отбита у этого насильника, с ним хорошо поговорили. (Это мальчик семнадцати лет рассказывал матери, потому что все ей рассказывал с детства.)

И мальчик (17 лет) защитил и отбил девочку, спас, привлек и уволок как свою добычу, уволок опять-таки в холмы, потому что в мазанку к маме некуда, а девочка жила в мастерской своего кудрявого отца, там тоже все на виду.

Они, таким образом, оставшуюся часть августа уходили на ночь опять-таки в холмы.

Теперь: от кого она беременна? Такой у взрослых встал вопрос. И девочка не скрывала, что не знает.

Они жили дома у его родителей, жили, наконец родился ребенок, и семья сразу поняла (мать): все правильно, все верно, ребенок не наш, народная поговорка.

Младенец был привезен из роддома, заранее купили приданое, но мальчик (несостоявшийся, неуспевший отец) проявлял себя в дальнейшем беззаботно. Он, во-первых, учился в серьезном университете, все дни до ночи заняты, во-вторых, у него тоже имелись друзья и случались всякие встречи и дни рождения! Дома он бывал редко, а девочка никуда не ходила, сидела с сыном, кто же будет с ним сидеть. Девочка влачила и влачила свое фальшивое существование в квартире посторонних людей, неизвестно кто будучи им, взятая из милосердия бездомная беременная.

Ибо — теперь уже речь о ее родителях: у ее папы (того, молодого с кудрями) пятая — двадцать пятая жена, тоже молодая. А у мамы той бывшей беременной, у нее вообще нищенское положение, тридцать семь лет, однокомнатная квартирка в провинции плюс сама родила без мужа, пошла по стопам дочери почти синхронно. Разница в две недели, что ли. И жить ей не на что.

А эти, фальшивые дед с бабкой, ни секунды не сомневаются в правильности своих действий, что взяли домой беременную девочку, но вот их сын приходит и уходит так, что его почти не видно (тем временем ему уже восемнадцать).

И встает такое предположение — а что если сделать генетический анализ крови и тому ребенку (18 лет) и этому (0,5 года). И если уж так случится, что дитя родное, то безотносительно к поведению юного отца взять на себя тяжесть бремени воспитания родного семени своего племени.

И вот так они сидят в одной комнате на детском празднике, дед и дед с бабкой, настоящий и фальшивые. И настоящий, подлинный предок совершенно не интересуется ни дочерью ни внуком, богема! Пятая — двадцать пятая жена, еще один новый ребенок, видимо, просится наружу.

А эти двое, порядочные люди, вложившие души и свои жизни в жизнь сына, он вырос отзывчивым к чужой беде, к изнасилованной девушке, и спас ее от того навязчивого парня, спас и привез, но дальше,

что дальше? Спасти мало, это один порыв и момент, а спасенную куда теперь девать?

Грамоты уже все подписаны, призы предназначены, детей приглашают как на елку, дети аккуратно входят, моргая после полутьмы, красные, потные юные животные, грациозные, умные, породистые, еще небольшие, но пролетит мгновение — и все, под звездами моря раскроются бутоны, падет семя, завяжутся плоды, начнется судьбина.

Вот они сидят, трое вокруг тех незримых, отсутствующих детей, тоже благородных и прекрасных (18, 17 и 0,5 лет), причем уже всем известно, что 17 и 0,5 исчезли из дому!

Общее молчание.

Девочка 17 лет ушла с ребенком 0,5 года на руках. Ничего не взяла, ни коляски, ни вещичек.

Фальшивые дед с бабкой каменно сидят, кудрявому же деду, может быть, что-нибудь известно?

Но никто ничего не спрашивает. Это же детский праздник!

Все выяснится позже, потом, им позвонят. Им скажут, что девушку (17 лет) забрал тот, первый, тот насильник, признающий ребеночка своим, тоже спас их, сгреб свое достояние в охапку, свистнул машину и увез домой, к другим деду с бабкой.

Не успели ни генетически проверить шестимесячного, ни решить неразрешимую задачу, куда девать этих двух, 17 и 0,5 лет, и что поделить с мальчиком (18 лет).

Но всё в мире куда-нибудь девается с глаз долой, всё, всё в этом мире, и иногда не найдешь следов, да и кто будет искать. 17 и 0,5 лет, 18 и 19, 12 и 14...

## Йоко Оно

И если есть на свете справедливость, то вот она, налицо: сидит девочка, вылитая Йоко Оно, бровки вразлет и лицо в тех же очках, явно косит под Йоко Оно, во всех смыслах косит, выглядит как японка; она и есть хазарка из старинного народа хазар, ее бабка, короче, была хазарка и мать была рождена таковой же от хазарина, а теперь ее нет, этой матери, у девочки Йоко. В семнадцать лет эта мать бросилась с балкона, не бросилась, а перелезла через перила и повисла, медленная смерть через повешение через перила. Мать и сестра прибежали и схватили ее за руки, но тут она решительно выскользнула из их рук, потные у всех были ладони, не удержалось это их тройное сцепление; а ее дочь, девочка Йоко, валялась еще в коляске, так была мала.

Почему она ускользнула из их рук, ясно, обиделась. Она пила со своих четырнадцати лет, а хазарам пить нельзя. Там где русский выжи-

вет, остановится, хазарин продолжит до гибели, такое было мнение у пьющих русских, у крепкого окружающего хазар народа, крепкого на выпивку. То есть как (объясняла матери этой погибшей девушки-матери ее взрослая подруга Оля, сама полукровка), то есть как: покоренные сибирские и степные народы как огня должны бояться водки, водка есть истребитель слабого, старинного, древнейшего генофонда, водка это генетический СПИД, посмотри — Африку и Азию косит СПИД, а наши древние народы валит с корня водка.

Погибшую мать нашей Йоко Оно звали Ира (Земфира), и ее как раз скосила водка, а также мать и сестра, мать-то была красавица, умница и талант из элиты этого древнейшего царства, мать занималась искусством и ездила в экспедиции по сбору образцов народного творчества, у нее были то поездки, то конференции, то выставки, то гости ночь за полночь, то переговоры, то стажировки на месяцы в Москву, а муж-хазарин пил и погиб еще раньше, талантливый режиссер; девочки, Ира и Зоря (Зарема), тоже талантливые, рисовали и пели. Но в результате жили одни, в свои одиннадцать и десять, потом четырнадцать и тринадцать лет, и тут начались дворовые компании, на девочек сильно повлияла детская элита микрорайона, самые физически развитые подростки, которые быстро подхватывают образ жизни окружающей среды, т. е. не образ жизни родителей, а общепринятый, общенациональный, общегородской, то есть общий ритм и движение. А ритм такой, что надо веселиться, пока мы молоды, тут гремит музыка, танцуют по телевизору без ничего, в винном отделе ритмично гремят бутылки, все собираются в группы и весело курят и пьют, сочетаются браками здесь же, и только отщепенцы из детей, ботаники, ботаны, ботва, учат уроки, согнувшись над учебниками, а вот умные дети веселятся.

Эти девочки, Ира и Зоря, так и веселились, мать приезжала каждый раз, а дочки дикие, домой ночевать не приходят, и старшая пятнадцатилетняя Ира в одно из таких возвращений матери после первого же ее слова «А почему» вывернулась и уехала в Москву, якобы на зимние каникулы явилась к маминной подруге («Можно к вам, тетя Оля, мама уехала в экспедицию» — «Разумеется, можно, Ирочка») и Ирочка живет, тихо сидит смотрит телевизор, готовит суп, убирает, встречает с работы тетю Олю в фартучке, клеенка накрыта салфеткой, ужин готов, а потом проходит пять-семь дней, и юная Ира просится погулять («Можно я пойду погуляю» — «Конечно, Ирочка, пройдишь по воздуху, в четырех стенах просидела, у тебя каникулы») — и Ира уходит на трое суток и возвращается пьяная, внизу стучит счетчиком такси («Я приехала на такси, тетя Оля, дайте, пожалуйста, столько-то») — а по белому сапогу течет кровь, порезала ногу (и срочно вернулась на такси). Тетя Оля позвонила на всякий случай по межгороду домой матери Иры, и обман и самозванство вскрылись, разгневанная мать по-

требовала дочь домой. Тетя Оля отвезла обманщицу на вокзал и на свои деньги купила ей билет и проследила, чтобы поезд отошел.

Там, в тот приезд, в Москве, Ира и забеременела и, пребывая на родине, в сентябре родила. Мать Иры, хазарка Катя, после скандала с младшей дочерью, которая в честь рождения племянницы лежала дома пьяная, эта Катя пошла в роддом с запиской «иди куда знаешь», грех, конечно, но теперь дела не поправишь. Катя имела в виду, что пьянство младшей дочери не есть ли результат влияния старшей, которая достучалась до родов в шестнадцать лет.

Ира же, наоборот, не бросила своего младенчика, но и не вышла из роддома, мотивируя это тем, что мать не принимает. Был позор на весь город. Ира самочинно переговорила с юристкой роддома, составила какое-то заявление и сдала через месяц месячную девочку в дом ребенка, сама устроилась в этот же дом санитаркой и вернулась к матери с победой. То есть теперь она работала, ребенка домой не внесла, но и от ребенка не отказалась.

Ира изменилась, стала серьезной, берегла молоко в свободные от дежурства выходные все равно два раза в сутки бегала кормить дочку, а как же. И в питье знала меру.

Тут каким-то образом она позвонила, видимо, в Москву тете Оле все той же, дала один адрес и имя, с кем поговорить и что сказать. Тетя Оля, добрейшее существо, выполнила поручение, и на горизонте хазарской семьи возник московский мальчик двадцати лет, сначала в виде голоса по телефону, а затем и сам приехал жить, ребенка наконец принесли домой, и счастливая, хотя и пьющая молодая семья поселилась у хазарки-матери Кати и даже расписалась.

Катя была рада такому исходу, хотя новый зять нигде не работал, и иметь четверых детей на руках вместо двоих оказалось довольно трудно. Она как-то изворачивалась, все время ездила в командировки, в доме стоял дым коромыслом, дворовые друзья Иры и Зори то и дело сидели в кухне и пили, и вдруг младшая дочь тоже оказалась с пузом, когда младенцу новобрачных исполнилось семь месяцев, то есть катастрофа: тоже будет ребенок и тоже в шестнадцать лет.

Подруга Оля, к которой несчастная Катя, почти дважды бабушка, в очередной раз приехала в командировку и с жалобой на судьбу, эта подруга Оля даже начала сплетать в утешение какую-то хитроумную сеть доказательств, что хазарки выходили замуж-то, то есть воспринимали генофонд, очень рано раньше — но и русские тоже, вспомним того же Пушкина Евгения Онегина няню Татьяны — она вышла замуж в тринадцать лет, а муж был и того моложе, «мой Ваня».

Вспомнили Пушкина, поплакали за рюмочкой, хотя никакой Пушкин тут ни в какие ворота не лез, объясняй не объясняй разврат хоть старыми обычаями, хоть хазарской наследственностью: еще бы вспо-

мнить слова того же Пушкина о «неразумных хазарах»! Оля и сама признала, что у нее у самой внизу, во дворе, каждый вечер пьют представители русской национальности тоже до упора, молодые в подъезде, старшие у стола где играют в домино. А совсем маленькие, как говорят данные газет, вообще пьют по чердакам и подвалам спрятавшись, хотя, к примеру, сама Оля, музейный работник по этнографии, пила мало в своем хорошем уже возрасте, ссылаясь на головную боль по утрам, у нее туго шло это дело, и семью она так и не завела. То ли дело Катя, которая пить умела и имела вон какую семью.

Кстати, продолжали беседу подруги, и с Пушкиным не все тут совпадало, если взять возраст няни из «Онегина» и ее русскую национальность; т. е. не все русские рожали в тринадцать и не все хазары должны быть неразумными. Катя-то родила в двадцать и в двадцать один, как полагается, причем будучи замужем, и все историко-литературные, а также этнографические оправдания поведения и судьбы не играют никакой роли в каждом отдельном случае, примеры есть и в одну, и в другую сторону.

Так они поговорили над своими рюмочками, а живот Зори рос и рос, и когда мать Катя вернулась домой, то Зоря при всех, плача, закричала, что живет (сожительствует) с Ириным мужем Ильей и ребенок будет от него. По виду это была истерика беременной после очередного вопля матери насчет нестиранного белья во всех углах, логики не прослеживалось никакой от восклицания до ответа, но сквозь интонации крика Зори прослушивалось еле заметное самодовольство. Тут разразился всеобщий стон, Илья сразу же ушел и уехал в Москву, обиженный до глубины души (а пропадите вы все тут вместе взятые), ушел навеки, муж двоих и отец двоих, и в полной, теперь уже не хазарской, а греческой традиции произошли трагедийные преждевременные роды, т. е. Зоря родила недоношенную девочку, причем с волчьей пастью. Звучит страшно, но суть простая, ребенок не может сосать молоко, у него не заросло что-то во рту, небо. В довершение всего дитя было слепое. Зоря оставила дочь в роддоме, и дальнейшая судьба этого младенца канула как капля дождя, безмянно и сразу в почву, в ничто, растворившись среди других судеб брошенных детей-калек; тайна милосердно укрыла как могильным дерном все мысли, питание и прогулки слепого ребенка с волчьей пастью, а вот Ирочка не выдержала, бросилась с пятого этажа, перелезла в рыданиях через перила балкона, сначала размышляла, но когда прибежали сестра и мать, тут она и повисла. Руки у всех были потные, стояла хазарская жара, такое объяснение, и Ира ушла из их рук.

Что касается ее дочери-сиротки, то она взрастала у бабушки Кати, для чего эта молодая бабка перебралась в холодную Россию, в Подмосковье, устроилась работать через подругу Олю в музей, там Катю знали и ценили, и там она и умерла спустя тринадцать лет, то есть не на рабочем месте, а у себя в Подмосковье, какой-то странной смертью на

глазах у внучки, от какого-то гриппа, причем в несколько часов, запретив девочке даже близко подходить (боялась, видимо, заразить).

И внучка послушно не подходила, сидела на кухне, пока в сумерках не затихло хриплое дыхание бабушки Кати, мамы Кати, как звала ее девочка.

Только тогда послушная (или инертная) Йоко Оно испугалась и пошла к соседям.

Эта Йоко Оно теперь живет буквально нигде, у той же тети Оли в однокомнатной квартире, тетя Оля слегка состарилась на своих музейных сквозняках, питается одуванчиками, буквально ничем, тронулась в сторону обожаемого буддизма и лечит все болезни тибетским средством из лошадиной мочи.

Они с Йоко прохлопали квартиру, эту жилплощадь по праву наследования первой очереди заняла пьющая Зоря; она вышла замуж как-то лет в семнадцать, разошлась, пропила комнату, жила еще с кем-то и еще с кем-то, в результате приехала за наследством не откуда-нибудь, а из деревни из-под Рязани, вот как. Предъявила свои права.

Маленькой хазарке Йоко Оно почти четырнадцать лет, и если есть справедливость, то вот она: девочка рисует, прекрасно поет, откуда-то знает английский и ходит на работу к тете Оле сидит за компьютером вечерами, играет. Хочет составить свою игру, новую. Тетя Оля с робостью ползает по инстанциям, хочет куда-то пристроить талантливое дитя, в детдом для одаренных сирот, например, хотя девочка наотрез отказывается. Девочка сложная, замкнутая, инертная, всего стесняется, сама для себя чашки воды согреть не может; но ест, слава богу, хорошо, и вот с этим у нищей тети Оли проблемы.

А где-то сидит и пьет в унаследованной квартире молодая тридцатилетняя Зоря, и где-то бродит в вечной тьме ее слепая детдомовская дочь, а еще дальше, в неведомых далях, вернее, в мыслях Оли, витает образ хазарки Кати, которая задает Оле сложный вопрос о судьбах народов и пятнадцатилетних дочерей этих народов, то есть чего ждать для Йоко Оно и существует ли общенациональная судьба, общенациональный путь и некая гибель нации через поведение ее, нации, подростков — или же нет, и можно еще на что-то надеяться.

## Шопен и Мендельсон

Одна женщина все жаловалась, каждый вечер за стеной та же музыка, то есть после ужина старики соседи, муж с женой, как по расписанию, как поезд, прибывают к пианино, и жена играет одно и то же, сначала печальное, потом вальс. Каждый вечер шурум-бурум, татати-татата. Эта женщина, соседка стариков, смеясь, всем своим знакомым и на работе

рассказывала об этом, а самой ей было не до смеха. Всяко ведь бывает, и голова болит, и просто хочется отдохнуть, невозможно ведь каждый вечер затыкать уши телевизором — а у стариков все одна и та же шарманка, шурум-бурум, татати-татата.

Они, старики, и выходили всегда только вместе, чинно и благородно семенили в магазинчик, тоже по расписанию, раненько утром, когда взрослые, сильные и пьяные находятся на работе или спят, и никто не обидит.

Короче, со временем эта соседка даже узнала их репертуар, спросила довольно грубо, в своем шутовском стиле, столкнувшись с ними (они как раз шли в магазинчик во всем светлом и выглаженном, как на бал, она в поношенной панамке, он в белой кепочке, глазики у обоих радужные, ручки сморщенные) — че это вы все играете, здравствуйте, не пойму — то есть она-то хотела сказать «зачем вы все играете мешаете», а они поняли ровно наоборот, всполошились, заулыбались всеми своими ровными пластмассовыми зубками и сказали, она сказала, старушка: «Песня без слов из цикла Мендельсона и вальс какая-то фантазия Шопена» («тьфу ты», подумала соседка).

Но все на свете кончается, и музыка вдруг кончилась. Соседка вздохнула свободно, запела и завеселилась, она-то была одинокая брошка, то есть брошенная жена, вернее, даже не жена, а так, получила по разъезду однокомнатную квартиру, и кто-то у нее поселился, жил, приколачивал полку на кухне, даже кое-что купил для снаряжения уборной как настоящий хозяин, пришел с седлом в упаковке и поставил его на болты, приговаривая, что что же это за сиденье, сидеть нельзя. А потом вернулся обратно к себе к матери. И тут эта музыка каждый вечер за довольно тонкой, как оказалось, стеной, вальс Шопена и с ошибочкой в одном и том же месте, с запинкой, как у застарелого патефона, можно убиться. Телевизор же стоял у другой стены, а здесь был диван, как раз патефон оказывался каждый вечер под ухом. То есть слух у этой соседки обострился как у летучей мыши, как у слепого, сквозь весь грохот телевизора она различала проклятых Мендельсона и Шопена.

Короче, внезапно все кончилось, два дня музыка молчала, и спокойным образом можно было смотреть телевизор, петь или плясать, правда, кто-то отдаленно как бы плакал, как ребенок пищит выше этажами, но это тоже кончилось. «Ну и слух у меня», — потом сказала на работе эта соседка стариков, когда все выяснилось, то есть что этот писк был писк мужа старушкипианистки, она была найдена не где-нибудь, а под мужем на полу, он уже, оказывается, давно лежал парализованный в кровати («а я-то думала нет, я вроде их встречала, но это было ведь давно?») — сама с собой продолжала этот рассказ молодая соседка), он лежал парализованный, а жена каждый вечер, видимо, играла ему свой репертуар под ухом у соседки, чтобы его, видимо, развеселить, а потом

она как-то упала, умерла у его кровати, и он стал сползать, видно, к телефону и в конце концов рухнул на свою жену, и из этого положения все-таки позвонил как-то, квартиру вскрыли, оба они уже были неживые, быстрый исход.

«Ну и слух у меня», — жаловалась их молодая соседка всем подряд по телефону, вспоминая тот отдаленный писк или плач и рассчитывая то время, которое понадобилось (вечер и вся ночь и весь следующий день), чтобы старик дотянулся до телефона, это он пищал, старичок, видимо.

«Ну и слух у меня, — с тревогой думала соседка о будущих соседях и вспоминая про себя с любовью и жалостью Шопена и Мендельсона, — вот это были люди, образованные, тихие, пятнадцать минут в день шумели, и все, кто придет им на смену? И умерли с разницей в день, как в сказке, жили долго и умерли с разницей в день», — примерно так она думает, оглушенная тишиной, Шопен, Шопен и Мендельсон.

## Жизнь это театр

Саша жила осторожно, то есть как осторожно: ни во что не вмешивалась, будучи женщиной без квартиры, — и в тех местах, где приходилось ночевать, даже не подымала голоса, присутствуя, к примеру, при семейных сценах с битьем посуды и угрозами вызвать милицию: затаивалась на своем матрасике, не выказывала признаков жизни, бог знает о чем думая, боясь, вероятно, что все затеяно с целью показать кто тут хозяин и кого сейчас отсюда выгонят — меня, думала, вероятно, Саша (а хозяйева стыдились перед нею именно, хотя сдержать себя не могли, позорная несдержанность, увы, при посторонних), но сдержать себя никто не может, если, к примеру, сын хозяев привел ночевать подозрительного парнишку, а хозяйка, к примеру, оставила ночевать вот эту самую Сашу. Тут и скандал, долой парнишку, а про Сашу ни словечка, ты, Саша, лежи.

Короче, Саша передвигалась по городу от квартиры к квартире, от комнаты к комнате, от матраца на полу к раскладушке, и каждое утро, осторожно выбираясь из очередного чужого гнезда, вероятно, хитроумно планировала следующий пункт своего кочевья, пока не откочевала навеки, сунувшись в петлю: но об этом после.

Так она кочевала, все нося с собой аккуратно в сумке, неизвестно где подстирывала, неведомо как наглаживала, но выглядела аккуратно и аккуратнейшим образом жила, никому не надоедая, ни во что не ввязываясь. Жила несвободно, так, как диктовала действительность, локти держала при себе, жесты только кистями и то осторожные, плавные; походочка плавная, хотя слегка утиная, ну да ладно, это прощалось ради одного, что Саша была режиссер. Саша была режиссер с дипломом, ставила спектакля то в одном кружке, то в другом, в малых студиях,

никогда в театре, в театр было не пробиться с аккуратной жизнью, с тихим голосом, с этими красивыми очками, специально красивыми, подобранными тщательно — ни за чем так Саша не гонялась как за красивой оправой — и за этой красивой оправой сверкали жидкой голубизной всегда чуть-чуть расширенные глаза, какие бывают у рыженьких: розовые веки, розовые брови, редкие длинные реснички, большие такие голубоватые глаза, но отнюдь не прекрасные, нет. Хотя Саша тщательно и аккуратно красила в парикмахерской бровки и реснички, тоненькие-претоненькие черные на розоватом месте.

Саша-то была некрасива, хотя складная и аккуратистка, осторожная молодая женщина в очках, которая, кстати, совершенно не смущалась своей некрасотой и жила как женщина свободная и желанная, ценная, сама осторожно выбирала кого хотела, иногда любила даже двоих — но нигде не зацеплялась надолго, что-то ее не устраивало там или там, короче, бродила по жизни, имея, видимо, цель изучать жизнь, откуда таинственность и вечные недомолвки. Изучала, вероятно, все эти свои явки-ночевки, их хозяев, копила в копилочку, собирала своими жидковато блестящими глазами тихо и незаметно: коллекционировала всех, спала с мужиками всякого пошиба, не брезгуя и депутатами из народа в гостиницах, когда брала у них интервью (Саша подрабатывала журналисткой).

Один смешной дядя, какой-то гигант лесопилки из Сибири, даже продиктовал ей наутро свой адресок до востребования, поскольку жена ревнивая: т. е. отнесся серьезно. Саша, тихо посмеиваясь, рассказывала своим подругам о такого рода приключениях, но только как о сборе материала, об изучении жизни во всех проявлениях, — она-то сама давно и прочно была замужем. Но была замужем не в Москве, а где-то в одном из городов Подмосковья, и ездила туда на выходные, а работа у ней была в Москве, вот вся отгадка.

В первый раз именно тогда прозвучала у нее эта формула, я изучаю жизнь.

Так она и жила, мужу своему однажды, правда, сказала, что уходит к любимому человеку (образовался и такой), на что этот несчастный муж ответил, что уходить не надо, (буквально) «люби нас двоих». Саша осталась с мужем по выходным. Он ее всегда поражал своей добротой и порядочностью, он был еврей на заводе, мастер цеха грязного производства, принципиально не хотел делать карьеру, соответствующую его уму и таланту, считал, что черная работа самая важная; работы его ценили, начальники еще как, ему все время предлагали место главного инженера, а то и директора этого заводика, но Наум не шел ни на какие игры в начальство и оставался там где сидел.

Саша молчаливо поддерживала эту его порядочность и долготерпение, пока не получила в Москве постоянную работу, должность художе-

ственного руководителя студии в каком-то профсоюзном клубе, выжила, вытоптала себе все-таки свою маленькую карьеру, еженедельно навещаясь в управление художественной самодеятельности, где сидела подружка, которая заведовала как раз профсоюзными театральными студиями. Причем Саша не специально подружилась с этой полезной подругой, а случайно, на фестивале самодеятельных театров. Сдружились, так как сидели за одним столиком в столовой, вместе садились на обсуждениях и т. д. У подруги была сложная семейная ситуация, любила женатого режиссера, да еще и у которого была любовница, его постоянная актриса, а собственный муж у этой Сашиной подруги криком кричал за недомытую тарелку и по всем вопросам и т. д.

Так что когда встал вопрос что делать, репетиции на новом месте работы вечерние и по выходным, не говоря о буднях, т. е. в свой подмосковный городок к мужу дорога Саше была уже закрыта.

А жить без нее Наум тоже не хотел, и опять он пожертвовал собой, своими убеждениями, и принял предложение работать в Москве на среднем управленческом посту, и сразу давали комнату.

Дали комнату в маленькой квартире с одной соседкой, аккуратной тихой женщиной, у которой муж и сын сидели в тюрьме по разным поводам и не в первый раз, а она сама работала на заводе на вредном производстве, хорошо получала, эмалируя кастрюли, худая, тихая, аккуратная, тощая и нищая до последней степени, ибо ее муж и сын, вероятно, активно пропивали все ее заработки, уносили из дома даже мебель, — но теперь, без них, у соседей на глазах, она начала что-то покупать, о чем-то мечтать, притаскивала плюшевые коврики на стенки, какие-то подержанные фанерные шкафчики со стеклянной дверцей, за которой мгновенно оказывалось что-то вроде дешевого хрусталя, рюмки и вазочки.

И каждый раз она вызывала Сашу полюбоваться своим растущим уютом, пока муж и сын в лагерях.

Саша и ее изучала, иначе было не прожить, соседка буквально не давала проходу, приходила, садилась, глаза ее наливались слезами, и, отворачиваясь, она показывала очередное письмо (матом) из мест заключения, а через два дня она опять приволакивала то подушку, то пластмассовые цветы, и прямо в комнату Саши, чтобы она оценила и одобрила.

Вот так изучать жизнь было у Саши, видимо, девизом, жизнь это театр, только этот театр совершенно не годился для переноса на сцену, подруга из управления ни за что бы не разрешила такие дела, зритель бы плевался, во-первых, зачем мне это, я такой театр и дома каждый день вижу. Так что эти наблюдения годились бы только псу под хвост, но Саша благодаря такой позиции наблюдателя аккуратно двигалась по этой жизни, ни на что особенно не реагируя, как внутри предложенной темы.

Однако же и у Саши было одно слабое место, мечта иметь ребеночка, это уже нельзя было наблюдать за собой как бы со стороны, это мучило; Сашу кидало ко всем младенцам, инстинкт явно брал верх над методом наблюдения, и Саша стала ходить по врачам, принимала ванны, подвергалась процедурам и уколам.

Тут немного погодя ее настигло следующее событие: в груди явно образовалась опухоль вместо желаемого молока для ребеночка. Кстати, это Саша восприняла спокойнейшим образом и стала тихо двигаться навстречу смерти, ничего не предпринимая, бросила ходить на процедуры, к врачу не пошла. Месячные ее тоже прекратились, временами бедную женщину мучило, уже и вторая грудь раздулась. Саша никак не реагировала и никому ничего не сообщала, только глаза ее стали еще более водянистыми и сверкали по каждому поводу, и еще более порозовели брови и веки; Саша в те поры наблюдала за собой с ледяным спокойствием, за поведением своего подпорченного агрегата, и работала как паровой молот, безостановочно. Это была как бы гонка со смертью — кто кого обойдет: Саша ставила в своем профсоюзном клубике спектакль для детей «Приключения деревянного человечка». Это должен был быть жизнеутверждающий и веселый театр, играли любители, взятые с улицы по объявлению, пришли, правда, одни девушки и женщины. И лиса Алиса была (по замыслу) шлюхой, а кот Базилио ветераном войны с костылем и в гимнастерке, под которой волновались груди исполнительницы.

Саша к генеральной репетиции ходила уже с трудом, видимо, началась водянка, ноги и живот раздуло, однако спектакль двигался полным ходом. И тут близорукий, заваленный работой Наум наконец-то заметил, что вторится с Сашей, ноги распухшие, лицо мучнистое и глаза навывкате.

Наум взял отгулы, взял управленческого шофера и повез Сашу в свою министерскую поликлинику, и там хирург сразу направил беднягу Сашу к гинекологу, и Саша вышла оттуда спустя четверть часа со странным выражением на лице. Щеки у нее были мокрые, глаза прикрытые. Наум хмуро встал ей навстречу, и Саша сказала: у меня беременность сроком шесть месяцев.

Тут уж для нее кончились все изучения жизни и пошла сама жизнь, последние репетиции, сдача спектакля накануне родов, победа на московском смотре самодеятельных студий, затем театр пригласили за рубеж в Германию, и там вышла тоже победа.

С ребеночком неделю просидела мать Наума, приехавшая из Белоруссии.

Подруги были в экстазе, театрик, вернувшись, ликовал, профсоюзники выделили всем денежную премию, Саша добавила, и актеры закатали себе и друзьям открытый стол в репетиционном помещении, ура.

А дальше Саше предложили дальнейший путь и место в профессиональном театре, где она и погибла десять лет спустя, не вытерпев этой жизни, как говорится. Но она никому опять-таки ничего не говорила, даже своему Науму, не хотела бередить его честное сердце; перед доченькой она чувствовала себя виноватой, но, видимо, все унижения прошлых лет все-таки не удавалось так просто перевести в разряд жизненных явлений, за которыми можно наблюдать и которые просто надо копить для творчества. Творчества в нормальном театре у Саши не вышло, поставленный ею спектакль прикрыли, никто не защитил. Другого спектакля сделать не дали, Саша стала мелкой помрежкой (помощником режиссера), иногда выходила как актриса в массовке, и дома все было так себе, мама Наума так и осталась проживать вместе с ними, Науму дали квартиру, дочку надо было водить в садик и затем в школу, Саша ходила за продуктами, готовила и стирала и выслушивала замечания свекрови, что Науму ничего не достается из пищи, исхудал, все съедают в этом доме посторонние, имелась в виду, видимо, Саша с ее жалкой зарплатой и дочка. Наум орал на мамашу, не в силах вынести ее старческий маразм, затем орал на Сашу и на дочь и скрывался у себя на работе как в крепости, уже, как видно, не любил их.

И хотя Саша, как было сказано, молчала и молчала, но ответить она должна была, безответно прожить не удалось.

Кому она хотела возразить — театру, как утверждал Наум, или самому Науму, теперь никто не скажет, всё, приехала «скорая», врач прошел в ванную, уже вскрытую соседом, свекровь туда даже не взглянула.

А ведь был выход, был: отнестись ко всему как к мимопроходящему, как к театру (как Шекспир), но что-то, видимо, не дало Саше так легко отнестись к своей жизни, что-то помешало не страдать, не плакать. Что-то толкнуло ответить раз и навсегда, покончить с этим.

## Невинные глаза

Вот молодой человек, милый нежный мальчик-девочка, румянец, почти пух на щеках, затем светлые, даже прозрачные большие глаза — т. е. розы и кристаллы — и вдруг этот молодой человек небольшого роста, добрый и верный, он говорит: «А мои дети, Тиша и Тоша, всюду вместе, один еще ползает, а другой уже ходит». Сколько им? «Восемь месяцев и год десять месяцев», — говорит их отец. Потом, сколько-то времени спустя, он рассказывает, что младший уже ходит, но молчит, а Тиша комментирует: «Тося хочет катету» (Тоша хочет конфету). И они встают перед чужим взором как наяву, два сыночка молоденького отца, оба в колготочках, ножки крошечные как у принцев, лица румянькие

и глаза прозрачные как слезинки. И старший, «Тися», все понимает, чего добивается младший, «Тося».

И вот уже им два и три с чем-то, но Тоша, умный крошка, все молчит, а Тиша не прекращает свои комментарии и ходатайства, и, глядя глазами-слезами, прозрачными и блестящими, он объясняет: «Тося пинц». Тоша как раз надел на головушку уголок детского пододеяльника и так расхаживает, а за спиной остальной пододеяльник как мантия.

— Тося пинц (Тоша принц), — объясняет гостям старшее дитя.

То есть у Тоши на голове корона, а на плечах мантия. Откуда, скажите, у этого ангела знание, как одеваются принцы? Тем не менее, когда к гостям из детской поздно вечером является эта парочка — впереди из тьмы выступают босые ножки, белая маечка (на полагающемся месте трусишки), а на голову нахлобучен углом пододеяльник, — то есть когда малюсенький Тоша проявляется в свете ламп, то сзади заботливый Тиша идет и объясняет:

— Тося пинц.

Это, видимо, он сам и нарядил меньшого в костюм. Напялил на него с большими трудами этот пододеяльник, сволок с кровати, подвел к закрытой двери и — раз! Они вышли к гостям. Которые обернулись от стола, ласково глядя и улыбаясь, и предлагают конфету.

— Тося пинц! — повторяет «Тися».

Это он объясняет все сразу, и что Тошу нарядили, и во что, и зачем: показать его красоту гостям.

Гости знают, что бедный Тишка не сын молодого отца, они с папой неродные, вот отсюда у сироты Тиши такая жажда быть рядышком с младшим любимейшим ребенком, жажда украшать его, защищать его еще неокрепшую речь, все за него объяснять: Тося хочет катету! Один раз у них получилось, дали обоим по конфете, теперь всё, они выступают. И сам Тиша тоже становится Тошей, немного выравниваясь из своего положения старшего ребенка (обо всем остальном он не знает).

Тиша понимает мало, но его горячая любовь, суета вокруг принца Тоши, жажда похвал (чтобы все Тошу любили) — все это выдает его нежную, ранимую душу. Он даже становится похожим на Тошу, его большие хрустальные глазки под копной белых кудрей так и кажутся посторонним абсолютной копией глаз Толи (отца Тоши).

И все гости и родные это подмечают: «Надо же, как старший похож на Толечку!» Они все это не раз провозглашают, как бы желая сравнять, нивелировать разницу, обидную для старшего, безотцовского Тоши.

И кто-то уже объясняет, что да, женщина инстинктивно выбирает одного и того же мужчину всю жизнь.

То есть тут уже все смотрят на незаметную мать, серую утицу, она несколько старше ангела-мужа, но благодарна ему до святости. Эти двое друг друга любят, зацепились, он не посмотрел, что у нее ребенок от дру-

гого (кого-то), раз — и женился! И тут же зародилось это чудо, Антоша, Тоша, «Гося-пинц». И всеобщая любовь повисла над этим гнездом, друзья приходят, серая утица носит еду, тихий и красивый Толя бегаёт по делам, кормит семью, как-то работает, служит администратором каким-то телегруппам, ни ночи ни дня, а друзья передают друг другу фразы, которые старший, «Тися», переводит с немого языка младшего, и Топтаны фокусы: младший крошка на своих коротких ножках такой оказался умник, что всюду носит с собой маленький детский стульчик: Тиша стоит, куда-то смотрит, а низенький Тоша разом хоп — и встал там же на стульчик и смотрит туда же, уравнившись в росте с большим братом.

Так гром по квартире и перекатывается через все комнаты, стул волочится за Тошей. Какой умный Тоша!

Затем первый стон доносится из того угла, из теплого семейного угла, где все сбиты в плотный комок и откуда две пары глаз, светлых, прозрачных как слеза, наблюдают за миром, а внутри таятся еще два почти черных кружочка, это глаза Толиной жены Екатерины. Раздаётся стон такого рода: ты возьми меня с собой.

Он, Толя, разумеется, не берет с собой жену, его самого с трудом взяли (та телегруппа) и много работы там, хоть и на море, и летом. Но всего на пять дней! Нет: ты возьми меня с собой, ты всюду, а я нигде, не вижу света белого, не отдыхаю никогда.

Такие речи вдруг раздаются от двух идеальных колыбелек, от гнезда голубей, и просьба обращена в светлые очи молодого отца, безумная просьба, жалоба на жизнь.

Все смущены. Толя отлетает к морю как и предполагалось, там нечто вроде съемок, работа, но пляж, море, солнце, счастье, если посмотреть со стороны.

Он ведь тоже устал. Он рассказывает по секрету приятелям: Катерина требует!

Немедленно среди друзей семьи разносится и этот маленький скандал, и то, как Катерина ставит вопрос: или ты меня берешь, или я ухожу с детьми.

Друзья слегка смущены, поскольку Катерина всегда выступает в их узком кругу как пример благодарной самоотверженности, ночь-полночь, приходи кто хочешь, накормит и положит спать. Не жена, а чудо.

Однако же опыт показывает, что такой внезапно распространяющийся слух о чьей-то сверхдобrote и самоотдаче быстро опровергается большим скандалом в тот же адрес, и данная семья здесь не исключение.

Катерина, потерпев еще лето (Толя отъезжал с группой в Берлин) и собрав вещички, вдруг покидает семейное гнездо, квартиру мужа в центре Москвы, и исчезает на окраину, где жила раньше и где у нее маленькая однокомнатная квартира, и теперь уже оба крошки, оба ангела оказываются в одинаково полу сиротском виде, однако еще перед отъ-

ездом, еще в Толиной квартире, они начали буянить, орать неземными голосами, драться. Двое мальчиков, два бойца.

Кончился «Тося пинц», заволокло слезами ясные глазные хрустали, больше не выступают из тьмы крошечные босые ножки, наивные ходатаи за конфетой.

И тут уже крик и драки, плач, оба активные нормальные парни трех и четырех с гаком лет, дети одинокой матери, дети печальной, тоскующей матери. Теперь, говорят, она ходит сама по гостям, дети то ли с подружкой сидят, то ли одни бесятся, она же ходит в гости, не отказывается, танцует и беседует по углам, такие доходят вести. Но кто ее осудит?

Да, должна была терпеть, тихо сидеть над колыбелями, раз уж любила и берегла мужа от всего, и колыбели должны были тихо качаться под вечную сказку про «Тосю-пинца» и сиять хрусталами из тьмы, пока вокруг идет активная жизнь, гульба, поездки, фестивали, съемки.

Но всё. Эти трое тихих убралась в глушь как милостыню просить, гордо канули как в воду, никому ничем не обязанные, не хочешь не надо, ушли в песок туда, в однокомнатную квартиренку на окраине, переселились из просторных комнат в тесноту и бедность, в одиночество.

Над колыбелями просто, бедно и шумно. Сидит ни вдова ни замужняя, надомный редактор детективов за копейки, переписывает сверху донизу эти идиотские тексты, а рядом ее вопрошают прозрачные глаза — где та жизнь, где мальчик-принц и его верный режиссер-постановщик, переводчик одной, постоянно звучащей, немой песни насчет конфетки, где это? Вообще — где счастье?

Толя-отец, нежный молодой человек, ездит на окраину, гуляет там с деточками-бандитиками, погуляет и возвращается к себе домой, к новой жене, а дети к себе, и мать накормит их, вымоет, уложит, расскажет сказочку, и из тьмы светят ей прозрачные, невинные глаза, совершенно не повинные ни в чем.

## Тайна дома

Я никогда не забуду, как я приехала с детьми в забытый властями городок с целью как-то просуществовать летний месяц. Это был, однако, старинный западный городок с дорогами хоть и частично грунтовыми, но зато не без моря в тридцати километрах, не без старинного замка, объекта съемок всех киностудий, находящихся к востоку, а к западу от городка шумело только море, откатываясь к Финляндии. Время было самое летнее, народ в городок понаехал, и нас поселили в дом, предназначенный на снос. То есть там все было: и вода во дворе, и газовая плитка от небольшого баллона, но уже что-то навестило этот дом, какое-то запустение или забытье. Нам показали комнату в четыре параллельно

стоящие койки, а солнышко грело в окна, вечернее, заглядывающее глупо в комнату,— в общем, мы, как всякие беженцы, были рады. Какой-то торопливый лоск был наведен: и занавески висели, и пол оказался помыт недели две назад, так что его покрывала тонкая патина времени, но ни соринки, ни лишней бумажки не нашлось. Мы не знали, сколько в доме чего, сколько комнат и так далее, в нашей комнате было три двери, из кухни в какие-то глубины тоже вела лишняя дверь, и еще лестница наверх тоже присутствовала. Какие-то тайны скрывал этот дом, как скрывал бы любой старый дом,— отзвуки голосов, чьи-то смерти, чье-то одиночество. Дом заканчивал свое существование, это было ясно по общему трагическому запустению, несмотря на попытки как-то замять это обстоятельство, подклеить, прибить, заслонить. Штук двадцать деревянных плечиков висело на гвоздях скелетообразной гроздью, как бы ворох пустых ключиц, след от исчезнувших платяев и шкафов.

Мы бросили вещи и отправились, разумеется, к замку, куда и прибыли на торжественном закате. Незаходящее, стоячее солнце встретило нас и проводило все в том же виде, это были остатки белых ночей, но дети ничего не понимали и бушевали как днем, кричали, устроили концерт на открытой пустынной эстраде; совершенно сбитые с толку, улеглись при полном свете вечерней зари в свои новые ложа, на старинные проваленные панцирные койки, и только перед сном пожаловались, что муха жужжит. Я ответила первое попавшееся, что это муха попала в паутину. Действительно, такое и было впечатление: энергичное, даже мощное жужжание перемежалось небольшими паузами.

Городок отошел ко сну, тишина стала полной, я лежала, вперившись в абсолютно светлые окна, и слушала этот жуткий с паузами мушиный зов: бззз! — молчание — тжжбззз! — ззз! — молчание.

Потом я не выдержала и полезла буквально на стенку, искать паутину. Нашла в углу даже тяжелую мухобойку с резиновой, здоровенной, как коровий язык, боевой частью. Все напрасно.

Ззз — тжж — вззз! Бззз!!! — и ничего, пусто.

После детального осмотра потолка, пола, стен и щелей, после обслуживания обоев ухом я шлепнулась на свою панцирную сетку и стала соображать, что же это такое зундит, верезжит или сверенчит, поскольку звук-то был неясный, только отдельные прорывы слышались как бы над самым ухом: вззз! вззз! — и молчание.

Потом оказалось, что это не молчание. После явственного дребезжания (как будто звук с помехами, что-то вроде трещавшего радио, которое говорить-то говорит, но на некоторых высотах дает как бы дребезжающий звон) — так вот, после «взз» или «скрр» я услышала отголоски, вроде бы торопливый разговор вдали, на улице. Какие-то женщины взволнованно и монотонно гудели, бегенили, зудели все одно и то же, убеждая кого-то. Мне даже представилась уличная сцена, как будто бы

много баб что-то доказывают молчащему милиционеру, причем все это передается по плохому радио. Я стала различать голоса. Потом опять пошли помехи, радио затрещало и сделало «вззз! вззз!».

Я начала понимать, что где-то в соседних комнатах работает радиоточка, и стала терпеливо ждать двенадцати часов, когда наконец все стихнет в ожидании боя часов и еженощного мощного гимна. Но что же это за радиопередача? Что за новости, какой такой радиоспектакль с полным единством места, времени и действия, когда идет буквальная трансляция какого-то общественного скандала, связанного явно с женским движением?

Время перевалило за час ночи, а это плохое радио все митинговало. И вряд ли это могла быть какая-то западная радиостанция, я сама когда-то работала на радио и знаю, что столько эфирного времени на одно событие не дадут, тем более что это все-таки была явно муха. Но болтовня? Назойливая человеческая, женская болтовня не утихала, а ведь стояла глубокая ночь. Мухи-то ночью спят. Меня не обманешь! Я встала и пошла по дому искать радиоточку. Как в замке Синей Бороды, я робко отворила неизвестно куда ведущую дверь и из кухни ступила в запыленное пространство, где находился колесами вверх велосипед, где стоял пустой стеллаж и письменный стол с какой-то дребеденью. В окнах устойчиво стояла заря. В этой комнате было тихо. Отсюда вела еще одна дверь, загороженная всем чем только можно. Надо было плюнуть и уйти, но воспоминание о сумасшедшем радио, среди ночи трещащем у меня и у детей над головами, придало мне сил. В полном забвении я начала перетаскивать тазы, велосипед, мебель и наконец рванула на себя заветную дверь. Прямо под дверью я увидела кровать, и головой ко мне, смежив веки, в этой кровати спал седенький маленький старик, и, как я поняла, с ним было что-то не в порядке. Он был просто крошечный. Совершенно белая головка его была в изнеможении откинута, и весь он излучал усталость. Я затряслась и быстро прихлопнула страшную дверочку, однако по проществу нескольких секунд сообразила, что это спит мой сильно утомленный сынок Федя, который перед тем еще не спал целую ночь в поезде (втерся в доверие к проводнице и почти всю дорогу продежурил с ней вместе. Какие-то у них там были дела с флажками, плюс к тому еще и я упала с верхней полки, желая прикрыть одеялом дочку, спавшую, разумеется, глубоко внизу, и не заметила перепада высот, просто шагнула к ней, и все. Дети проснулись, разумеется. И в довершение всего к нам в купе спустя час, под утро, пришел селиться молодой военный и предупредил, что уйдет рано. Так что сна не было, и бедный сынок показался мне старичком в болезни. Тьфу, тьфу!)

О, хлопоты и суета матерей!

Я вернулась, посрамленная, к своей митингующей мухе, поправила на детях одеяла и прослушала лежа еще множество выступлений, жа-

люб, всхлипов и злобного ропота. Может быть, пчелы? Но пчелы-то, как мы знаем, ночью-то спят! Я стала опять склоняться к мысли о радио, но там тоже есть все-таки перерывы, музыка и голос диктора.

Утром дочка, прежде чем проснуться, стала просить вынуть муху из паутины, потому что жалко всех, комаров, и мух, и всех. Пятилетнему ребенку всех жалко.

А муха все бунчала и дзыкала.

Днем к нам пришли две милые женщины, видимо, хозяйка и уборщица, или уборщица с подругой, я так в этом и не разобралась, поскольку здесь, в этих западных краях, все и одеваются и держатся скромно и с чувством собственного достоинства, то есть благожелательно. Я вообще ни в чем тут не разбиралась, ни чей это дом, ни кто кому кем здесь приходится, и в особенности в том, кому принадлежит роскошный белый двухэтажный, почти трехэтажный дом, с гаражом в подвальной части, с длинным балконом и чисто вымытыми окнами в большом количестве, а дом этот возвышался в двух шагах от нашего брошенного, от его выгребной ямы с покосившейся трубой, от его колодца со ржавой подозрительной водой, от его запахов и, наконец, от его чердака, который мы, три женщины, дружно посетили и не обнаружили там ни включенного радио, ни пчел, а обнаружили подкладное судно, которое появляется в доме при известных обстоятельствах, после чего уже все выносят и выбрасывают — матрас и все остальное.

Мы дружно посетили чердак, две не понимающие ничего по-русски женщины и я, суетливая мать своего временного гнезда. Мы с детьми на все лады изображали, как «дзз» и «взз» всю ночь, и тыкали пальцами в угол комнаты, и прислонялись ушами к обоям, но почти ничего не было слышно. Городок проснулся, а городок-то был механизирован, несмотря на свое местоположение на краю земли, и все ездили на машинах, зундела циркулярная пила, бзыкали мотоциклы молодежи, верещали под окнами бегающие дети и так далее. Женщины, воспитанные и улыбающиеся, ничего не услышали. Мы обошли весь дом, а в нем и было-то всего три комнаты, просто в каждой комнате находилось по три двери, отсюда и впечатление замка Синей Бороды.

Мы дружной толпой вышли на улицу, обогнули дом, и тут обнаружилось, что в щель влетают шершни. Они деловито гундели, тихо по дневному времени, они были толстые и мохнатенькие, и все мы издали охотничий клич типа «вижу цель!».

Дальше все решилось очень просто, обе женщины объяснили, что хозяин придет вечером в шесть часов. Я предположила, что немного прыснуть на них хлорофосом — и они улетят. «Нет», — сказали улыбающиеся женщины, они сомневались, что хлорофос повлияет на шершней, это было видно по их улыбкам.

Мы с детьми долго мыкались по городку, ища автобус, как немые калки переходные, нам никто не мог толком ничего объяснить. Тяжело без языка! Чувствуешь себя виноватым и лишним рядом с чужим куском хлеба. Наконец мы приехали на автовокзал, купили билет на пять часов на автобус, я встала в очередь в буфет, а детей посадила в очень милую залу ожидания, где было прохладно и царил приятный полутьма. Потом прибежала дочь, ей надо было кое-куда, мы нашли в подвале это заведение, соответствующее средне-восточным стандартам (увы, некому работать), и затем поднялись опять на запад, опять я усадила их на скамейку и знакомым путем помаршировала в буфет, в тихую, степенную духоту, где стояла длинная, терпеливая западная очередь, сохраняя дистанции все до одной от человека к человеку.

Мы с детьми попили, поели, завернули с собой два пирожных в бумажку, к вечеру оба пирожных были у меня в сумке всмятку и крошечку. Это уже происходило в тридцати километрах пути, на берегу моря, на пляже, на белом песке среди сосенок и отдыхающих, которые (отдыхающие) перекивались на непонятном языке и выглядели очень прилично.

Мы попили водички из купленной бутылки, поделили крошки и мятые кусочки пирожных, дети купались в мелком море, солнце все стояло и стояло, грело и грело, вода была просто как кипяченая, но я забеспокоилась, когда же уходит последний автобус. Путем опроса, испытав законное чувство лишнего здесь человека, я все-таки выгребла из обломков информации «семь тридцать», мы собрались и потащились на остановку, где ждали еще полчаса. По малолетству дочери ей уступили место, и мы даже с шиком примчались к месту ночлега, в наш старый дом, где и обнаружили следы побоища. В нашей комнате зверски пахло хлорофосом, как будто бы его щедрой рукой прыскали повсюду и потом распахнули настежь все окна. Если бы хозяин прыскал только в гнездо, он не стал бы открывать окон в нашей комнате, верно? Гнездо же со стороны улицы, верно? Но хозяин, опрыскав теперь уже наше гнездо, выкурил нас, таким образом, тоже, и мы расположились всем гнездовьем в соседней комнате, где все было приготовлено к приезду отдыхающих и стояли две заправленные коврики. Я хлопотливо перетаскала постели — немятые в нашу комнату, а наши лежанные — в новую, сама легла на полу, и наконец мы успокоились на третью ночь зыбким, жарким сном, и весь этот сон я защищала и горячо выгораживала приснившегося мне великого писателя, ставшего вдруг таковым из полного ничтожества. Почему мне вдруг приснилось такое его будущее — непонятно, наяву это было полное, злобное ничто, парализованное вечным страхом — за свою жизнь, за свои легкие, за свое будущее, он частенько говаривал, загораясь, что проживет недолго, и под этим лозунгом довел до рака груди молодую красавицу жену, так, по

крайней мере, говорили люди — она умерла после пяти аборт, и все ушло в песок, вся ее жизнь, он ее бросил, не любил и бросил — а она была ссыльное дитя, лагерное, и жизнь в ней, видимо, и так еле теплилась, а потом ушла в песок — а у него тем более. Что же мне приснилось, что он гений и я его защищаю? Свою дочку он тоже покинул, ее воспитывала далекая тетюшка, алиментов, по разговорам, знать не знал, в общем, гиблое дело, опять-таки жизнь без единого знака порядка, совести, долга. А впрочем, по отношению к нелюбимой женщине и многие великие вели себя как попало и губили, как все сильные губят мешающее им слабое, как я погубила несчастный мушиный рой, помешавший мне спать.

На следующую же ночь я убедилась в этом. Мы перекочевали обратно, все наладилось, дети уснули, в окнах стоял немеркнувший свет, и вдруг раздался живой стон издалека, из преисподней. Тот, кто стонал, стонал изредка, мучительно, горестно. Он был абсолютно один и всеми покинут, это была она, мушиная мать. Там, где раньше кипела трудовая, озлобленно-хлопотливая, сварливая живая жизнь, там теперь все отжило. Улетели, испугавшись хлорофоса, все трудовые пчелы, а она, матка, осталась одна, ибо до последнего, видимо, вентилировала, проветривала крылышками свое еще спящее в сотах потомство, молодых, чтобы они не задохнулись. Кто мог летать — улетел, а она осталась и проветривала. Ее стон был не стон, а гудение еще живых крылышек на предмет проветривания, только проветривания помещения. Выхода у нее не было, она должна была проветривать.

Вечером следующего дня мы познакомились с хозяином обоих домов. Он был, как и ожидалось, очень крепким загорелым мужчиной, крестьянином западного образца, а на данный момент — шофером грузовика. Он повел нас осматривать новый, роскошный, в семь комнат и две мастерские дом, дом на трех уровнях с гаражом, сауной, чердаком для сушки белья! Еще и во дворе стоял такой же белый хозблок, и теплицы имелись, и клубничная поляна, и два садовых кресла на лужайке, и заросли малины — всё.

— О, такой дом, для него нужно иметь много детей! — выпалила я и попала точно в самое сердце хозяина. — У вас много?

— У меня трое мальчиков, — сказал хозяин без большой помпы и стал перечислять: восемнадцать лет, тринадцать, семь лет.

— О! — сказала я. — Когда нам давали квартиру на троих детей и на нас, тетенька дает ордер, а сама смотрит и говорит: у вас старшему восемнадцать, скоро и ему надо квартиру, женится, и всё. И точно... — и не успела я договорить, имея в виду очередную бестактную житейскую мысль, что сын скоро приведет жену, та детей, и надо будет опять что-то думать насчет них, — как хозяин прервал меня на самом интересном месте. Было видно, что не эти заботы гнетут его.

— ...вот.

Он меня привел в гостиную, где уже все было обклеено обоями, и все пятьдесят метров сияли на две стороны — на юг и на север — плюс широкий проем вел на кухню, а там открывались новые перспективы на запад, где цвел ранний закат, а там еще видна была лестница, и так далее, и так далее.

— Но это еще долго делать,— сказал хозяин.

— Ничего,— ответила я на это.— Говорят, что надо всегда что-нибудь не доделывать в доме; когда дом полностью закончен, жильцы умирают,— вдруг ляпнула я.

— Нет,— ответил он.— Здесь еще много работ. Когда начинают отделывать снизу, то много оставляют наверху, и так остается. Я начал отделывать сверху,— сказал он, и глаза его блеснули умом.

— А тот дом, старый, вы куда?

— Придется разрушать,— ответил хозяин,— полагается так. Мешает новому дому.

— А ему сколько лет?

— Девяносто три. Я его купил у двух старых... женщин, да. Одна умирала, девяносто три лет. Она была в блокаде, Ленинград, да. Потом приехала к сестре и тут умирала.

О, тени, тени, о, чердак с подкладным судном, о, привидения и стоны умирающих! Но посмотрим, как повернулись события тут же, через секунду.

— А вы долго строили этот дом? — задала я еще один, как оказалось, больной вопрос. Здесь все вопросы были неуместны, как оказалось. Хотя этими вопросами я старалась похвалить, я старалась укрепить этого человека, который разрушался на моих глазах, сказав вот что:

— Прошлый год весь пропал, да. Я разводился с женой.

— С женой? — глупо спросила я.

— Да, так.

— Тяжело,— вымолвила я, но он не дал обстоятельствам совсем уже подавить его.

— Женился еще раз.

— Еще раз?

— Да, так,— сказал этот несломленный человек, построивший дом неизвестно кому, живущий не здесь, без своих милых детей, которых он перечислял, как Гомер корабли.

— Ну что, больше не жужжит? — весело спросил он меня.

— Нет, одна только ночью стонала тут.

— Не будет. Я им прямо так вниз: пш, пш,— показал он процесс пшиканья.

А он, видимо, понял, что они живут не со стороны улицы, а внутри, они забрались подальше и побезопасней, почти к самым обоям, и он пшикал у нас в комнате над детскими кроватями вполне простодушно,

как людоед. Тем более что влетали они с улицы и могли укусить, если пшикать оттуда, со стороны входа, а в комнату еще ни одна не проникла. Это было безопасней во всех смыслах для него.

Дальше он вдруг сказал, что это у его новой жены трое детей.

— Ваши?

— Да, так.

Я стала быстро просчитывать в уме эту ситуацию, как это так, всю жизнь он копил детей на стороне, будучи женат на другой? И потом раз, бросил эту, женился на той? Восемнадцать, тринадцать и семь лет назад родил детей и теперь их только признал?

Однако тут же я поняла, что его плохой русский язык плюс естественное мужское и человеческое желание подправить ситуацию хоть на миг, хоть на секунду, на сейчас, а потом будем разбираться — что все это вкупе взятое ввело меня в заблуждение. Все-таки развод у него был с тремя его детьми, они и не показывались ни разу за ту неделю, пока мы тут жили, пока он после работы возился с полами в своей огромной гостиной, где можно было бы собрать сто гостей, но ему этих гостей не собрать было, потому что человек наживает за свою жизнь только одних гостей на всю семью, и, когда семья распадается, распадаются и гости. Новая жизнь начиналась у моего хозяина, без половины родни, без гостей и без своих милых детей, что самое главное.

Но: если он строил дом, еще будучи женатым, то полдома принадлежит жене, а детям? Им тоже что-то принадлежит?

Тут уже я потерялась мыслями в деньгах, перепутала смерть с разводом, алименты с наследством, заживо похоронила хозяина и стала делить этот огромный красавец дом: так, так... и так. И шиш в ответе.

А он, хозяин, был живой и тихо копошился, дружно и тихо копошился с той, кого я приняла за домработницу, потому что на вопрос «это ваш дом?» — она ответила «нет»... но она-то имела в виду, что это дом мужа.

Они были вдвоем, тихая, молчаливая, трудовая и согласная парочка, они то возились в доме, то на чердаке над нами, и вытащили оттуда шерсть и прислали мне с детьми на пробу, куплю ли я ее. Вили, вили гнездо, отлетевший рой, бросивший матку с молодыми где-то там, в неизвестности.

На следующую ночь моя муха уже умерла.

## О, счастье

Две маленькие женщины думали про себя, что они уже старухи (двадцать два года), и одна была как Брижит Бардо, русский смуглый вариант, все в большом порядке и мальчишки смотрят со значением, а другая была пришей кобыле хвост подруга, преданная и любящая под-

колодная змея, которая обожала свою Марусю до такой степени, что заодно влюбилась и в ее мальчика Боба, и иногда они втроем ходили куда-нибудь в гости, к Боба знакомым художникам и поэтам, черненькая Маруся, высокая как трость, глаза прожекторы, посмотрит — осветит, а рядом ее ядовито-вежливый Боб, тоже худой и высокий, мечта многих девушек: руки плетью, глаза запавшие, зубы волчьи когда ухмыляется, большие, белые и острые.

И тут же впритирку всегда эта малозаметная, как она думает про себя, хотя тоже не лыком шита в любом другом месте, но не рядом с ними, тут все идет в тартарары, смотрит на свою Марусю и думает: все зоры только на нее, и правильно.

И что прикажешь делать в такой ситуации, когда вот они, мечты, сбылись: ее взяли с собой в гости в такой дом, народ отмечает Первомай, бренчит гитара (скоро ее грохнут об угол), поэты читают в темной спальне при свече, бродят бородатые в свитерах Хемингуэи, художники и писатели, но ни один не нужен, вообще ничего не нужно этой бедняге, стоит она с бокалом сухаря в руке у книжных полок нервничает, а Маруся и Боб пошли покурить на балкон, там далеко видно ночную Москву: идут ранние шестидесятые годы, скоро многих посадят, многих из тех, кто тут пирует, начнутся лагеря, ссылки, обыски, эмиграция, подполье в виде кочегарок, диспетчерских при больницах и сторожевых комнатух с телефоном и топчанчиком — короче, все разлетится.

Возможно, это вершина их молодой жизни, пик радости: возможно, каждый потом, сидя где-нибудь в Париже или работая в лагерных мастерских по пошиву брезентовых рукавиц или по вязанию картофельных сеток, — они все будут вспоминать этот странный первомайский праздник в квартире Литвиновых, сломанную гитару (так никто и не спел) и сломанный же хула-хуп, эта зарубежная диковина была сведена на нет, в восьмерку, одним пьяным орлом по скручиванию подков: опа!

Полное одиночество в этой квартире, полной народу, можно закурить, можно взять журнал «Kobieta i zycie», (Польша), но тоска смертельная по Марусе и Бобу, которые о ней забыли и тихо смеются на балконе, овеваемые майским ночным ветерком а толпе других курящих.

Специально не пошла, осталась тут, избавиться от этого наваждения, может, кто-нибудь подхилнет и можно будет отвлечься, поговорить, но никто не подходит, все слоняются с ошалелым видом, тут же сидят на полу, в кухне все забито, в спальне опять-таки не протолкнуться, там Сапфир, Холин и Сева Некрасов, поэты, там младший Кропивницкий.

И наша девушка, беленькая, большеглазая, бледная как смерть (понятно почему), старуха двадцати двух лет, остановившимся взором смотрит мимо балкона, к ней и приближаться-то незачем, все написано на лице, любовь, ревность, обида: уйти, уйти, думает эта беленькая сама про себя, надо уйти раз и навсегда, но она не уходит. Любимая

подруга возвращается с балкона, тихо смеется над нашей бедняжкой, говорит: «Скукотища какая тут», говорит «ты сегодня клево выглядишь, все на тебя смотрят, обрати внимание», и мученица теплеет, безумная ее любовь к этим двоим (а Боб остановился с каким-то диким в бороде и дает ему сигарету и прикурить, это художник Зверев, сколько ему жить-то осталось, но поживет еще у своей старухи Асеевой, которую, все это знают, он ласково называет как-то вроде «биздюля»), безумная любовь к Бобу и такое чувство, что без Маруси невозможно существовать. Маруся красавица и запоминает английский словарь столбцами, даже сама пугается и швыряет словарь под кровать.

Но не это важно, Маруся всеобщая мать, пригревает, снисходительна ко всем, Маруся сама себе шьет и вяжет, у нее мама тоже просто мечта, тоже жалеет всех вокруг — как блондиночка любит Марусину маму, как любит!

Маруся стоит у книжных полок и не ведает, что мама ее умрет через два года, и Маруся сразу же после похорон мамы родит недоношенно-го сыночка, но не от Боба.

Боба уже не будет на ее горизонте, давно его нет, он бросил Марусю как только она забеременела, хотя проявил заботу, сам достал ампулу и вколол ей укол, был страшный вечер при настольной лампе, обошлось без больницы, без аборта, никто ничего так и не узнал ни дома, ни на филфаке, но все это будет иметь далеко идущие последствия для Марусеньки, опухоль, операцию, трудные роды и т. д.

Когда он сказал Марусе, пришел в очередной раз и сказал со своей знаменитой улыбкой, что очень сожалеет, но больше ничего у них не будет — она чуть не покончила с собой, пошла проводила Боба до его подъезда и на обратном пути шагнула под машину, закрыв глаза, но он, как выяснилось, шел следом за ней и спас, обхватил руками, привел ее к ней же домой, трахнул, но через час все-таки удалился со своей волчьей ухмылкой: жизнь его, видимо, протекала уже в иных мирах, он шел навстречу своей гибели, как потом оказалось.

Как потом оказалось, он незадолго до того лихо украл с международной полиграфической выставки монографию Босха, такой вид спорта; в результате был выгнан из своего архитектурного института, и это как раз и была эпоха укола при настольной лампе и прощания — а затем Боб, проще простого, никому не сказав ни слова и никого собой не обременяя, даже специально порвав с друзьями, был взят в армию с третьего курса и там, в далеких семипалатинских степях, облучился на полигоне и вернулся домой уже списанным инвалидом, правда, без диагноза «белокровие», такие диагнозы вслух не произносились.

Так что, когда он через два года пришел домой к матери и отчиму умирать от лейкоза с копеечной пенсией, Марусенька уже была замужем, бегала к матери в онкологию, держалась молодцом и готовилась к родам.

Боб и Маруся перезванивались.

Наша вторая героиня, беленькая, тоже родила в тот год, на три месяца раньше Марусеньки, была неожиданно для себя счастлива и любила своего мужа и сына, забыв обо всем на свете.

Она знала от Маруси обо всех перипетиях, но позвонить Бобу не решалась — наверно, многие не решались ему позвонить в те поры, такова человеческая психология, неудобно както звонить приговоренному: ну как ты, что ты, а он в ответ что должен говорить, спрашивается.

Дело кончится тем, что они обе, обнявшись, будут плакать на похоронах Боба, когда гроб с его немислимо исхудавшим телом пойдет вниз под траурную фисгармонию Донского крематория.

А сейчас Маруся стоит в литвиновской квартире и не знает, что в конце концов все ее раны зарастут, все затянется теплым покровом жизни, деточки оклемаются, а ее собственная красота так и останется при ней, никому не нужная, мужу тем более, опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождения и приключений в командировках и домах отдыха.

А та, которая так страдала и так любила прекрасных своих друзей, Марусеньку и Боба, на всю жизнь запомнит эту теплую первомайскую ночь, когда они втроем шли, торопились к закрытию метро, Боб с Марусей и она сбоку, и как они облегченно хохотали, уйдя из скучного дома, а майская ночь плыла всеми своими звездами над Москвой-рекой, вверх и вниз тоже мерцали теплые огни, и очень хотелось плакать — от счастья, видимо, от счастья.

## Нюра Прекрасная

Такой красивой как эта Нюра в гробу, во-первых, она никогда не была при жизни — может быть, если представить себе выпускной бал и ее прежние шестнадцать лет, но печать трагедии на лице!

Люди смущенно толпились вокруг гроба, было чему смутиться — лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая: во что не верилось.

Брови взлет, нежный припухший (как от слез, ведь она умирала семь дней) рот, господи! Но и имелось нечто другое, от чего люди мялись: это все была работа оператора с мертвыми, оператора в том смысле, что он (вроде бы), увидев ее, сказал, присвистнув (мысленно, видимо, присвистнув), оставьте нас одних.

Материал был божественный, хотя, повторяю, семь дней попыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль, все это Нюра вынесла и умерла, исхудав как ребенок.

Так что пример-оператор со своей гробовой косметикой, видимо, создал произведение искусства, запомнившееся всем на оставшуюся жизнь.

Намерение заказчиков было не смущать публику видом страшного после страданий личика молодой Нюры, а смутили другим: как такое отдавать сырой земле?

Земля была действительно сырая в тот день, но дождик, слава тебе господи, не шел, а то бы растаяло творение классика-гримера. Толпа взирала изумленно, смущенно, муж, совершенно потеряв голову, ополоумев, говорил что-то типа «вот лежит моя Нюра» и какую-то даже прощальную речь, что прощай, моя красавица, растерялся.

Мать Нюры выглядела просто раздавленной, никакой, полиняла в толпе, а статная, рослая была красавица тоже в свои пятьдесят лет, но истаяла, слезы растворили ее лицо, месиво было какое-то, а не лицо.

Муж с красным, она с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно-загорелая, чтобы он провалился, этот оператор, с его ящиком красок. Толпа была смущена еще и потому, что все хорошо знали, какой темно-обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорелая после отпуска (только приехали с мужем с юга), однако же именно как головешка, тревожные, горящие сухие глаза, сухой, спекшийся рот, тоска снесла эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подружкой, и уже был ребенок, а Нюра не смогла родить ребеночка и всюду ходила со своей собакой.

Кстати, после автокатастрофы, когда Нюру отвезли с развороченной спиной в больницу (удар пьяного водителя пришелся на заднее сиденье машины, где Нюра сидела с собакой, потом Нюра умерла, а песик, находившийся у нее на коленях под ее защитой, остался жив, и после похорон, во время поминок, его отнесли к соседям, он ничего не мог понять, искал и искал, видимо, сошел с ума. Его защитило бедное Нюрино тело).

Стало быть, Нюра ушла красавицей, которой она, возможно, никогда не видела себя,— спокойные брови вразлет, так называемые «ласточкины крылья», и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под тяжелыми веками. Все были еще смущены и потому, что тут явно прослеживался какой-то слишком уж простой, даже примитивный сюжет: ненужное, бросовое и лишнее, скандальное и плачущее погибло в муках, а спокойное, терпеливо ждущее с ребенком на руках, живет и скоро свадьба.

В этом смысле гробовой художник как бы показал миру, какое со-кровище ушло, да что толку-то, думали все с досадой.

А некоторые (видимо) мялись оттого, что подозревали нехорошие дела, что судьба способствовала мечтам небрачной пары, хотя именно о таком ужасном развороте событий, о развороченной спине, они никогда не думали даже в самых страшных снах, которые, как известно,

(страшные сны), являются именно мечтами, но вот вам пример: мечтали — получили, да еще вдесятеро больше.

Нет, нет, но да, да и еще раз да.

Слишком простой сюжет, слишком простой и ничего никому не давший, ничему не научивший, ибо никто, в мечтах разоряющийся на смерть ненужного человека, никто, повторим, ничему не научится, не содрогнется в ужасе над собой, жизнь идет вперед и вперед, и нет сомнений ни у кого, что мечты напрасны, мечтай сколько угодно.

Но ведь не напрасны эти мечты, в конце концов они так или иначе сбываются, как в случае с несчастной Нюрой, и Нюра не просто так умерла, по-видимому, раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой, раскрашенное, обиженное лицо.

### Как цветок на заре

Прошлая любовь привязывает к месту больше, чем к человеку. Давно забыт человек, первая любовь, где-то живет (действительно живет где-то, а нам все равно, появишься он, будет неловко, особенно ежели с признанием в любви — любил тебя одну — и, по телефону, с явным перегаром как всегда). Долой первую любовь, но место: блаженные темнеющие улочки вдоль моря, сосны, тротуары из каменных плит, виллы, сумерки, фонари сквозь ветки, соленый йодистый воздух, песок в босоножках, идут вдвоем, он и она, зрелые люди, ему двадцать один, ей восемнадцать, он местный, она по путевке в доме отдыха. Она студентка, он просто так, охотник за скальпами, курортный молодой человек с большой практикой. Не работает. Слушайте, кому это интересно? Он учился в консерватории по классу валторны, на военном факультете, вот что важно. С детства музыкальная школа, мама оперная певица, солистка хора. Валторну ненавидит, но когда встал вопрос — армия или консерватория — мама все-таки посоветовала пойти на этот военный факультет.

Все это студентка (первый курс, не умеет краситься, носит мамин сарафан, постоянные ангины, отсюда путевка к морю в августе) — эта студентка слушает затаив дыхание. Она тоже по музыкальной части, по классу вокала, такое совпадение, но в училище. У нее меццо-сопрано с перспективой (А. Е. говорил) на драматическое сопрано, к тридцати пяти годам такие голоса только набирают силу для Вагнера! Вагнера поют к сорока годам. Пока что нам восемнадцать. Сегодня утром мы распевались после завтрака, соседка тетка отчалила на море, а мы (при распростертых окнах, в окна хвоя, морской ветерок, не очень тепло) — мы распеваемся: «Милая мама, милая ма-ма». И затем ария Далилы, никого нет, голос несется в окна, к морю.

Вдруг внизу человеческая речь:

— Эт-то кто там поет, а? Кто так у нас поет тут?

Мужской ласковый баритон.

— Да, кто поет-то?

Второй голос, повыше (драматический тенор) в шутку подыгрывает.

— Кто это поет?

Она, прячась за тюлевой занавеской, смотрит вниз. Два молодых человека. Сердце бьется. Она молчит, замолчала. Внизу опять беседа:

— Да, ничего.

— Годится.

Молчание сверху встречается с молчанием снизу, сталкивается, сплетается в воздухе, густеет, разрастается. Затыкает горло. Минуту, две. Мысли: спуститься? Или не надо. Спуститься — это значит изменить судьбу. Изменится судьба. Не спускаться — судьба останется такой как была: мама, училище, хор, ми-бемоль ваша нота, ангины. А. Е. говорил: надо беречь горло, а то что же за певцы с хроническим тонзиллитом. Ария Далилы: «Открылась душа — как цветок на заре-е... для лобзаний Авроры». Только что пела: «Далиле повтори, что ты мой навсегда! Что все — забыты муки...»

Муки одиночества (молчание длится), восемнадцать лет, и, как мама говорит по телефону подруге, да, она торчит дома. Никого. Имеется в виду дочь. Дочь сидит дома. Да, да (они по телефону перебивают косточки своим детям, любимое занятие у мамы и ее подруги Марьи Филипповны, страхового агента). На день рождения девушки пришла в качестве гостей именно Марья Филипповна выпить чаю с тортом и винца, но торопилась как обычно, ушла. Восемнадцать лет — и день рождения с мамой и ее подругой, затем М. Ф. убралась, всё. Восемнадцать лет! Убрали со стола.

— Что все забыты муки!

Повтори — те слова!

Что любила так я.....а.....а...

Пела в полный голос первый раз после тяжелейшей ангины. Ангина была как смерть. Ты бледна как смерть (мамины слова).

Дальше пела (согласные неважны):

А...хнее... тси... л-сне — стии-ира-злу...

кууууужгу — чи-ихла...скласктово...и-хожи-да-ю.

Пела в полный голос при открытых окнах, но в безопасности, на втором этаже, за занавесками. Как бы из тени, из тайника звала кого-то в виде Далилы. Так и надо петь (А. Е. говорил), вживаясь в образ, но успокоившись, это следующий этап, пока еще надо учиться певческому призыву, когда пиано сквозь все тутти. Летит звук, а пламя свечи не колышется (!),

а не драматизму. Драматизм у всех есть в природе (А. Е.), что ни поете, все у вас драма, а вот дыхание не оперто. Как дерево на корнях. Дохни всем животом! Где язык? Где твое зеркальце? У того же Шляпина было все свободно в гортани, язык вот так (показывает ладонь плоско). Рот как грот (!), ничего не загромождено. Освобождай простор! Смотри на язык!

Прижала язык, зеркальца нет. Призвук появился (?)

Призывала кого-то как Далила. Вот на зов и шли мимо двое, остановились под окном. Только на сей раз серенаду поет девушка наверху (бледная как смерть), отчаянно поет, прижав язык, звук льется свободно, дыхание опять не оперто. Ладонью отгороди ухо (А. Е. говорил), слушай сама себя, слышишь?

— От счастья зам-мираю!

Отща-стязам-ми-раю...

А-А... ааа-аа (и т. д. пела).

Спуститься значит изменить судьбу. Спускались ли испанки к тем, кто пел серенады —

На экзамене была серенада: «Гаснут дальной Альпухарры! золотистые края (Зоя Джафаровна проигрыш, и): напризы-внийзво-онгитары! (Зоя Джафаровна барабанит) выйди милая моя!!» (А. Е., комментарий: вообще четыре с минусом!, но четыре тебе поставили я был против).

Спускались ли испанки.

Она все еще стоит не шелохнувшись, боится за занавеской изменения своей судьбы. Внизу тихо, уже никого нет. Судьба удалилась. Ни с кем так и не познакомилась. Ходила туда, где площадка за решеткой, танцы и музыка, там качались пары. Но тихо удалилась, бледная как смерть. Все входили, а она не вошла, удалилась. Далиле повтори, что ты мой навсегда.

Как вспугнутый заяц, на неслышных лапках спустилась во двор, обогнула корпус, вышла на плиточный тротуар. Стоп! Они стоят, охотники, замерли. Она стоит смотрит, говорит:

— Вот и я.

Смелое высказывание, изменяющее судьбу, вот и я. Сказала и перевернула свою жизнь и жизнь вон того, умного, в очках, стройного, прекрасного, лысоватого. Опрокинула все.

— Вот и я.

Пауза, они как-то изменили позу. Стояли так, а встрепенулись. Как будто услышали сигнал:

— Вот и я.

Дальше:

— Это вы пели? (Говорит второй, лицо круглое, сам высокий, загорелый.)

— Я.

— Видите ли,— говорит опять второй, а первый, главный, в очках, он расслабляется, закуривает, ибо смуглый второй явно играет всегда у них первую скрипку.— Видите ли, мы собираем концерт силами отдыхающих. Не согласились ли бы вы —

Дальше они уже идут втроем по плитам переулка (куда-то), в бо-соножки набрался опять песок, но времени у второго, смуглого, мало. Он явно спешит и вскоре оставляет Далилу и Самсона одних. Самсон учился в консерватории, Далила учится в училище. Самсон со смехом рассказывает, как в музыкалке они пели «Я помню чудное мгновенье» в виде джаза, под umpa-umpa-umpa, барабаня на стульях, и когда одна дева на экзамене забыла романс Глинки, он (Самсон) тихо показал ей, как бы барабаня, «умпа-умпа», и она вспомнила! Хохочут.

Затем они гуляют весь вечер вдвоем, заходят к Алику (тот смуглый) в его комнату при клубе, он массовик-затейник в доме отдыха, а Самсон его друг, приехал на взморье в гости, уезжает сегодня. Далила с ужасом думает: сегодня.

В комнате Алика плакаты, мячи и сетки, шахматы, спортивный инвентарь, одна боксерская перчатка, старые кресла, два дивана, кое-какой быт, чайник, стаканы, тумбочка, стол со стульями. Никаких денег ни у кого (быстрый безадресный вопрос Алика «у кого есть деньги» пал в тишину). Но сидит, надувши губы, девушка, это девушка Алика явно. У нее такая надутая мордочка всегда. Постоянное свойство: чрезмерно пухлый рот, как бы слегка недовольный вид. Кто-то заглядывает с улицы, Алик убегает, забегает опять, хватается за ключи, наконец Самсон выводит Далилу на волю, у Далилы в семь ужин.

Идут рядом, Самсон рассказывает, что Пухлая Мордочка — это, оказывается, дочь какого-то большого начальника, она здесь отдыхает с родителями, ей семнадцать, они с Аликом уже решили пожениться, но родители еще не знают, а узнают — увезут Мордочку в столицу. Как раз у Аллочки этой кончается срок в санатории, она уговаривает родителей продлить путевку и оставить ее здесь одну лечиться, раз им надо на работу, а Аллочке в школу только в конце августа, две недели свободны. Школьница замуж?

Так Самсон с Далилой беседуют и расстаются у столовой, и тут самое главное — это как ДОГОВОРИТЬСЯ. Далила молчит, ей мучительно страшно, тоска ее душит. Только обрела — и тут же потерять. Они стоят у подножия лестницы, наверху уже почти все отужинали, сытые выходят, выносят кошкам и собакам котлеты. Далила ждет как собака или кошка, молчит, не мяукает. Вечереет, прохладно, Далила не может удержаться, дрожит. Самсон, усмехнувшись, снимает с себя пиджак и надевает на плечи Далилы.

Далиле повтори, что ты мой навсегда,  
что все забыты муки...

Далила трясется и под теплым, нагретым пиджаком. Стоит молчит, ждет. Самсон закуривает и наконец говорит, почему-то усмехаясь:

— Ты завтра будь у себя наверху, я приеду перед обедом, утром у меня дела.

— Второй корпус, — откликается Далила немедленно, у нее этот адрес так и вертелся в мозгу. — Второй корпус, второй этаж, седьмая комната. Дом отдыха «Волна».

А то он может уйти и по дороге забыть, и всё. Это ведь километрами тянутся дома отдыха вдоль моря.

— Ну? — вопрошает она. — Пока?

Она снимает с себя пиджак и одновременно как-то неловко протягивает ему свою длинную белую руку для прощания (не загорела еще).

Он берет ее ладонь, держит в своей теплой и сухой руке. Пожатие как землетрясение.

— «Волна», два-семь, — она так беззаботно говорит и идет вверх по ступеням, стесняясь своего сарафана, босоножек, белых ног и рук. Как это выглядит со спины? Не оглядывайся. Оглянулась уже в дверях. С невыразимо нежной, ободряющей улыбкой он смотрит снизу.

На рассвете Далила проснулась от счастья. Все уже состоялось в жизни, все что нужно. Пустая грудь заполнилась изнутри, так что стало тесно (как говорится, сердцу тесно в груди, вон оно что). Все мигом заполнилось, получился смысл жизни. На вопрос «в чем смысл жизни» Далила сейчас, на рассвете, могла бы дать ответ: «В Самсоне».

Она лежала наполненная смыслом, с громадным спокойствием. Птички начали щебетать, временами орали вороны. Все было уже устроено в ее жизни, все цвело, был порядок, образовалось главное: всегда вместе с Самсоном.

Через много часов он приехал под окно и просвистал «Ах, нет сил снести разлуку», умница. Она тут же высунулась и замахала ему своей длинной белой рукой. Они пошли по делу, к Алику в клуб, там просидели до обеда, Алик был один, у него имелись сложности, родители не выпускают Аллочку из рук, водят с собой, что-то почувствовали. Алик двигался как во сне, тоже полный до краев, уже взрослый мужчина двадцати трех лет, массовик-организатор на курорте, нежелательная перспектива для таких родителей, ясно. Наконец пришла та, кого ждали, Аллочка, вырвалась на пять минут, сбежала с процедуры из поликлиники, и тут же с порога предложила уехать к Алику в Донецк к маме. Он поцеловал Аллочку (при Самсоне и Далиле), прижал к себе, к своему телу, крошечное тело Аллочки к своему огромному и взросло-

му, спрятал ее надутую мордочку и мокрые черные глаза на уровне желудка, только видна была грива ее черных волос, все скрылось под руками Алика, скорбными руками ненужного человека.

— Надо подумать, — сказал он в результате медленно.

Она тоже медленно, как в воде, вышла из его рук и пошла, мелькнула потом в окошке, маленькая, пряменькая, на каблуках, копна черных волос, и всё.

Утешали Алика, пили у него чай с единственным что было, с сушками. Потом Алика вызвали к директору. Самсон и Далила, как бы сделав все что нужно, встали и пошли. Отправились к морю, куда же еще. Сели в песок, Самсон привычно разделся до плавок, а Далила смертельно испугалась, что сейчас увидит его тело. Увидела с отвращением. Волосы на ногах, ноги жилистые, немолодые (21 год), до плавок она почти не поднялась взглядом, там была куча всего. Далила не разделась, сидела скрестив руки (хрон. тонзиллит). Он пошел в море, уходил, двигал ягодицами, совершенно чужими, у него были икры, широкая спина с волосами. Потом вышел из моря, пошел лицом вперед, была очень хорошо видна волосатая грудь и мохнатый живот, туго набитые плавки. К этому надо привыкать, решила она, панически плясь в сторону. Когда он сел рядом, у него оказалось такое выражение лица, как будто ему было смешно. Как будто он наблюдал за любопытным случаем.

Вздохнув, она вдруг сказала:

— Я больше ни с кем не буду знакомиться.

И он опустил голову.

О пении больше не было и речи. О том, чтобы распеваться в спальном корпусе, тоже. Времени не хватало. День за днем они проводили вместе, переживая за Алика и Аллочку, Аллочка уже без пяти минут уехала, доживала, видимо, последние моменты, и один раз Самсон с Далилой пришли к Алику, а его комната, всегда открытая, оказалась запертой наглухо. Постучали, подергали. Ни шороха. Самсон посмотрел в замочную скважину и вдруг дал сигнал смываться, дернул Далилу за руку и потащил вон. Быстро ушли.

— Что ты?

— Они прощаются, ключ в замке.

— Как прощаются?

— Прощаются, — повторил он.

Затем Далила узнала всю историю его долгой жизни, что Самсон не мог вынести учебы на военном факультете с перспективой потом играть всю жизнь в духовом оркестре и наконец стать его дирижером. Тогда Самсона в казарме научил опытный старшекурсник, ты лежи под лестницей, а я тебя как бы найду, что ты упал и потерял сознание.

Потом вообще не ешь, а если будешь есть, то сунь два пальца в рот и все дела, сблюнешь. Недельку так пролежишь в санчасти, и тебя комиссуют. Неделю: Самсон пролежал три месяца в госпитале, в отделении нейрохирургии, и уже действительно не мог есть, даже пить, его рвало сразу же после приема пищи, а армия все не хотела с ним расставаться, ставила капельницы, настойчиво лечила, назначала все более тонкие обследования, пункции из позвоночника и страшное поддувание (какое-то), чего боялись все симулянты и от чего человека корежило как от смертной казни. Затем его отпустили. Он потерял половину веса, шесть зубов и почти все волосы на голове, однако выжил, вышел на волю и стал страшно пить. Не мог ни работать, ничего. И мама.

— И мама, представляешь, ни слова. Каждое утро на репетицию, и каждое утро оставляет мне деньги под блюдечком. Зарплата при этом маленькая. И я все понимал, но ежедневно с ранья бежал, покупал бутылку.

— Да?!

(Далиле повтори, что ты мой навсегда, что все забыты муки.)

— И я, понимаешь, в один прекрасный день сказал себе: всё. Хватит. И всё!

— Да?!

— И не пью больше. Ну как все, рюмочку-другую. И всё.

(Открылась душа,  
Как цветок на заре,  
Для лобзаний Авроры...  
Так трепещет грудь моя!)

И вот однажды вечером он ее поцеловал. Грубо вечером на берегу, в дюнах. Смял ей весь рот, Далила стала задыхаться, она же не умела дышать в таких условиях, когда рот заткнут! Губы мгновенно распухли, и Далила ясно, тут же (как осветили), увидела надутый рот Аллочки, уже увезенной насильно в такси, и в панике все поняла (они прощались! «Прощались!»). И стала вырываться, забилась, чтобы освободиться и вздохнуть, но этого мало, Самсон вообще надвинулся, навис, заслонил собою все и стал терзать бедную грудь Далилы. Какое-то животное навалилось, хлопотало, умело расстегивало, мяло, не отрывалось ото рта, фу! Далила сильно оттолкнула это животное и вскочила на ноги. Отвернулась и долго застегивала под плащом, кофточкой и сарафаном лифчик. Оглянулась. Самсон сидел курил, сам тоже растерзанный. Постепенно разговорились. Почему-то она чувствовала себя виноватой. Погладила его по рукаву пиджака. Выяснилось (не сразу), что в такие моменты у мужчин сильная боль. Они собой не владеют. Неутолимая боль.

— Да?!

Была уже темная ночь, Самсон опоздал на электричку и собирался теперь идти будить Алика, ночевать у него на диване. Самсон проводил Далилу в корпус, мягко и нежно поцеловал ее и долго потом стоял под окном, насвистывая «Ах, нет сил снести разлуку». Зачем-то стоял, хотя договорились на завтрашнее утро. И — новости — утром выяснилось, что белый плащ на спине у Далилы испачкан!

Она уже оделась выходить, а соседка ее остановила:

— Ты обзеленилась,— деловито сказала соседка.— Где-то обзеленилась, лежала.

Белый плащ на спине был в зеленых полосах и пятнах.

— Это от травы, на траве лежала. Надо горячей водой с солью.

В глазах соседки тетки ясно читался весь непроизнесенный текст и собственный печальный опыт. Эх, ох, обзеленилась как тысячи других безымянных.

Перестала носить плащ. Спрятала в чемодан.

Днем Самсон у Далилы в груди, распирает грудную клетку, все наполнено, битком набито им. Он же идет рядом, держа ее за руку, и он же сидит внутри, потеснив дыхание. Рука в руке, через его ладонь проходит в Далилу как бы ток, щекочет в ребрах, уходит в пятки, если встретишься с ним взглядом. Как хорошо! Голова кружится, а разговор течет спокойный. Они просто так болтают. Алик ошалел как олень в лесу и бегаёт на переговорный пункт к телефону. Его вызывает Москва. Аллочка ему звонит ежедневно и плачет в трубку, стонет, не может вынести разлуку.

Ах, нет сил снести разлуку!  
Жгучих ласк, ласк твоих ожидаю,  
От страсти зам-мираю!

Аллочка плачет, а мы вместе.

Через неделю Далила ему позволила ЭТО, то есть целоваться (раз у него боли, он явно стискивал зубы, сидя рядом). Научилась дышать носом, если целуют. Терпела. Рот наутро распух.

А Аллочка сообщила по телефону Алику, что у нее задержка (что это такое, думает Далила, то есть она не будет больше звонить?!)

— Какая-то задержка со звонками,— вслух заключает Далила.

Безудержно, но негромко смеясь, Самсон продолжает, что Алик сходит с ума.

— Уехать ему нельзя, денег нет,— хохочет Самсон как идиот.

— Ты чего,— спрашивает Далила. Она подозревает, что смеются над ней. Каждый так будет думать, если смеются непонятно над чем.

Самсон постепенно успокаивается и объясняет, что у Алика нет денег съездить в Москву, на выходной бы было можно (ночь в поезде

туда и ночь обратно), но не на что, поскольку Алик посылает деньги матери в Донецк, там младший брат учится. Алик сходит с ума. Аллочка собирается приехать к Алику сама, честно оставить записку родителям. Жить в его комнате. Питаться с ним в рабочей столовой. Алик ее отговаривает, тогда его вообще посадят за соращение малолетней. Всю милицию на ноги поставят. Они всё могут. А он ничего. И нет денег.

И у Далилы и Самсона нет ничего. Они печально танцуют бесплатно на Аликовых вечерах, уже идет осень, пахнет желтыми листьями, бессмертная луна сияет с темных холодноватых небес, песок в дюнах ледяной. У Самсона мать на гастролях, он исхудал, Далила кормит его своими котлетами с хлебом, как люди кормят кошек и собак. Жадно смотрит, как он ест: деликатно и как бы нехотя. У него металлическая коронка в глубине рта, след страшных месяцев в госпитале.

Однако у Самсона все впереди, громадные планы, он поступает (не сейчас, а на будущий год) в консерваторию на два факультета, дирижерско-хоровой и на композицию, будет готовиться. Надо работать и учиться.

Они сидят в дюнах на Аликовом одеяле, под луной, целуются до потери сознания, но печаль уже поселилась в сердце Далилы, она часто плачет (как Аллочка).

Глупая Далила с остервенением целуется, научилась, Самсон скрежет зубами от своих болей.

И как-то вечером она уезжает домой, в Москву, Самсон везет ее на электричке в город, они стоят обнявшись в тамбуре последнего вагона и смотрят в заднее окно, как убегающие рельсы сплетаются и расплетаются огненными змеями на черной земле, уходя в печальный желтый закат, и как горят тоской зеленые и красные огни светофоров, можно-нельзя, можно-нельзя.

И на перроне городского вокзала Самсон на прощание снимает с себя свой единственный красный свитер и отдает его Далиле, потому что она мерзнет без плаща, который засунут в мусорную урну дома отдыха. И всю ночь Далила плачет, укрывшись свитером, слышит запах Самсона, табак, его кожа, одеколон, плачет и будет плакать еще полгода, будет писать письма каждый день, потом через день, потом реже. К весне этот поток иссякнет, и обратный поток, от Самсона, закончится двумя письмами без ответа, и в одном из них далекая новость, что Алик женился, они с Аллой ждут ребенка, и Алик поступает на заочный в театральное училище на режиссуру и уже нашел работу худрука в доме культуры завода. Алик — кто это.

Открылась душа, как цветок на заре.

Много лет спустя Самсон позвонит и мягким, нетрезвым голосом скажет — а, да что там, одну тебя и любил всю жизнь. И положит трубку.

## Найди меня, сон

Довольно смешная и трагическая история произошла в пансионате издательства, где за одним столом посадили троих, что сближает. Но трое разнополых, что настораживает, так как возможен треугольник.

Он и произошел, возник. Молодая женщина отдельно и те двое людей сильно постарше, — он экономист, она историк, оба с большим стажем. Двое пишат книги, третья, помоложе, считчица, корректор. Тоже треугольник, поскольку молодая женщина оказалась много проще тех двоих, профессуры. Целую рабочую смену она бубнит вдвоем с напарницей, считывает текст и вносит правку.

Но, поскольку память у этой молодой превосходная, то в голове сидят отрывки из обрывков, каша, цитата на цитате, авторы, названия. Что делать с такой памятью, спрашивается, бедная считчица запоминает все.

А те двое — профессор и профессор — вдруг дико заинтересовываются таким феноменом, что молодая считчица знает, например, наизусть тысячи стихов (зачем только). Феноменальная память со слуха. Раз услышав, запоминает, и зовут это существо Софа.

Ради смеха заставили ее (она долго отнекивалась) прочесть первые строфы «Божественной комедии». От восторга переглядывались.

Профессор Михаил возбудился, глаза его разгорелись: какой редчайший дар! Профессор Гюзель, однако, быстро перевела разговор на книгу, которую ей дали еще в Москве почитать. Михаил да, переключился, пошел с Гюзелькой посмотреть ее книгу, однако к ужину явился переодетый, в галстуке, праздничный, и пригласил Гюзель и считчицу Софочку в бар выпить кофе и что захотим.

Считчица, маленькая пухлая особа с неизвестно каким прошлым, пошла как бы сопротивляясь, хотя пошла, поддалась на уговоры (ей надо было вроде бы звонить домой, а почта открыта до восьми) — но ничего, автоматы работают всю ночь, и я вас провожу и научу как бесплатно долго говорить (это Михаил). И мне надо звонить, я тоже (это Гюзелька). Треугольник!

Пошли в бар, играла музыка прошлого, Михаил был в превосходном состоянии, Гюзель разругалась. Старшие всё беседовали о книге, Гюзель рассказывала (какие-то обряды славян, ели ритуально стариков, детей и тэ дэ). Гюзелька говорила без умолку как ненормальная, у считчицы был отрешенный вид. Михаил расплатился за кофе, пирожные и вино, и все трое поднялись как стая галок, вылетели вон и устремились на почту, держа в центре считчицу. Считчица, как ее научил Михаил, набрала номер (Михаил стоял над плечом диктовал способ) и действительно предупредила кого-то, что позвонит и будет говорить не

ожидая ответа, бесплатно. А потом перезвонит и спросит, как дошло сообщение, и получит ответ. Причем оба старшие слушали (явно), что говорит, вбирая голову в плечи, считчица. Она сообщала одни пустяки и очень коротко, как доехала, где поселили, погода, море. Голос ее звучал механически, без интонаций, как будто она по привычке считывала текст, не ожидая никакого интереса в партнере. Но потом она опустила монету и сказала: «Это я, говори» — и долго слушала кого-то, они не поняли кого.

Домой шли долго, перекапывал редкий теплый дождик, пахло пылью и тополиными листиками, неурочное время для отпуска, начало мая, самое томительное время.

Оказалось, что Гюзель работает над книгой, Михаил тоже, а считчица взяла горящую путевку за тридцать процентов, никто не шел в отпуск в такое глупое время, земля еще холодная, добавила она почему-то.

Ничего они не узнали о Софочке, она как-то не отвечала на вопросы, отделялась шутками, и это при ее феноменальной памяти, и тогда эти двое начали буквально гадеть, перебивая друг друга, болтали и болтали.

Был явный треугольник, но неизвестно какого характера. Во всяком случае, Софа была в центре.

— Вы запоминаете все что мы говорим? — вдруг спросила Гюзель.

— Нет, что вы, — отвечала считчица. — Я не запоминаю.

— А почему не запоминаете? — заинтересовалась Гюзель. — Неинтересно?

— Не знаю, — совершенно искренне сказала считчица.

— Да, — откликнулся Михаил, — а я-то запомню этот вечер. На всю жизнь.

— Нет, я нет, — повторила Софа.

— Сама естественность, — вдруг воскликнул Михаил.

— Да! (Это Гюзелька.)

И они опять заболтали друг с другом, вспоминая какие-то фамилии, старые анекдоты из мира науки, смерти, романы, аресты, предательства и ошибки.

— Он перевел, помните, слово «дантист» как «специалист по Данте»! — кричала Гюзель.

— Он сказал, они все тут ходят на симпозиуме такие гордые, потому что дома бегают на четвереньках! — вторил ей Михаил.

— Она сказала, эта пара олицетворяет, к сожалению, советскую науку, жена хромая на правую ногу, он на левую!

Оба были в ударе. Михаил вдруг сообщил, что вычислил, куда похитители спрятали знаменитого итальянского министра, и по этому поводу он уже звонил в Москву.

Гюзель спросила, его найдут?

— Вряд ли, покачал головой Михаил, я передал адрес, но кому передал! Они дальше себя это не пустят, в этом загвоздка.

Софа про себя отметила этот факт, подумав:

он что, медиум?

— Вот загадка так загадка, телефон, — внезапно сказал Михаил неизвестно кому. — Где взять телефон итальянской полиции. И как им сообщить по-итальянски адрес.

И он странно посмотрел искоса на Софу.

— То есть как, — не отставала Гюзель, — как это, вы знаете адрес?

— Адрес да, но его сейчас уже убили, несут в багажник автомобиля и бросят машину на улице.

— Ну допустим, — Гюзель даже засмеялась, — допустим, вы сообщите им адрес.

— Да, — как бы нехотя отвечал Михаил.

— И, —

— И толку что. Я сообщил уже. Они даже не передадут в Италию. А я не знаю телефонов, надо было посмотреть хотя бы телефон «Коррьере».

— Коррьере делла серра, — автоматически откликнулась считчица, впервые самостоятельно вступив в разговор.

— Вот именно. Там должны быть контактные телефоны. Вы говорите по-итальянски, считчик?

Софа ответила:

— Нет еще.

Это прозвучало значительно.

— Гм! — Гюзель даже подавилась от волнения. — А почему?

— Я не знаю грамматики.

— Парла итальяно? — спросил М. торжественно.

Софа ответила довольно тихо:

— Поко-поко.

— Не понимаю, — искренне и восторженно засмеялся Михаил. — Аллегро мо нон троппо и анданте кантабиле, это все. Из музыки.

— А что вы, Софа, сказали? — поинтересовалась Гюзель.

— Да ничего особенного, — ответила Софа после длинной паузы.

— Миша, а вы что-нибудь еще предвидели?

— Кое-что.

— А именно, — настаивала Гюзель.

— Ну что вас интересует? Какая область?

— Ну... к примеру, как будет с моей книгой? Это можно узнать?

— С вашей книгой все будет в порядке, но позже.

— На сколько позже, это важно.

— Лет на... на несколько.

— Лет? — изумилась Гюзель. — Лет? Да она у них в плане на этот год, понимаете? В плане стоит. Они поставили, потому что это сенсация, сказали.

— Ну вот и хорошо, — мирно ответил Михаил. И они опять заболтали о казусах издательского дела. Какие-то патологические балаболки. Тем не менее, дойдя до дома и подступив к лифту, они оба какими-то остановившимися глазами стали смотреть на считчицу. Гюзель деловито, как бы взвешивая в уме варианты использования ее феноменальной памяти, а Михаил (уже) туманно и растроганно.

«Этого еще не хватало», — подумала считчица.

Тем не менее она спокойно вышла на своем этаже, сказавши «ну пока».

За завтраком вся тройка собралась снова. Гюзель без умолку трещала о прочитанной книге, Михаил просил ее на денек, но Гюзель собиралась вернуться к особо важным местам, которые она промахнула в азарте, не подозревая, насколько они важны. Михаил весь трепетал от страсти якобы к книге. Гюзель грелась в лучах мужского интереса, сама будучи женщиной обделенной (явно), отсюда была живость, нервозность, покусывание и облизывание губ, многоглаголение, ерзанье на стуле, она все время жестикулировала, трогала Михаила, касалась его плеча и зырила ему прямо в глаза своими черными глазками. Михаил тоже жарился на медленном огне и посматривал на считчицу, как бы смазывая ее на ходу продолжительными взорами. «Упаси господи», — думала считчица.

После завтрака они все втроем опять оказались у лифта.

— Погуляем вместе перед работой? — предложила Гюзель.

— Как вы? — обратился Михаил к считчице.

— Не могу, — быстро ответила та.

— Что так?

Но считчица не реагировала, она молчала, проклиная судьбу.

— Ну я тогда жду вас, Миша, пройдемся у моря, — сказала Гюзель. — Возьмите зонтик, будет дождь.

— Софа, ну что же, — занял Михаил. Считчица отрицательно покачала головой.

— Полчаса вам полезно, — продолжал умолять Михаил.

— Нет.

Тут подошел лифт, и Софа благополучно вышла на своем этаже.

К обеду она не появилась. Ее телефон начал трезвонить через час и звонил без передышки. Софа сначала хотела перевести регулятор громкости, а затем нашла за письменным столом розетку и отогнула один проводок. Аппарат умолк.

К вечеру постучались в дверь.

— Софа! — приглушенно прокричала Гюзель из-за притолоки. — Софа, что с вами? У вас ключ в замке, — забубнила она после паузы (видимо, проконтролировала замочную скважину). — Софа! Вы живы?

— Я заболела, — наконец крикнула Софа. В коридоре начались переговоры. Видимо, они оба приволоклись под дверь.

— Но нельзя же не есть, — глухо завопила Гюзель. — Врача надо! Врача!

— Можно! — крикнула Софа.

— Принесу вам ужин? — вопросительно провизжали в коридоре.

Софа с ненавистью смотрела на дверь.

— А телефон, вы не подходите к телефону! Миша что-то важное хотел вам сказать!

— Нет! — рывкнула Софа. — Сломан телефон!

Они посоветовались.

— Мастера надо, мастера завтра! — издали зарокотал Михаил. — Телефонщика!

— Простите! — вдруг сказала Гюзель в самую дверную щель. — Я вас заговорила, наверное, теперь я молчу! Молчу! Вы отдыхать приехали? А? Тяжелая работа, — сказала она в сторону.

Потом они еще разок постучали и удалились. Утром, после завтрака, опять забарабанили в дверь.

— Врач, откройте.

Софа ответила:

— Не надо! Спасибо!

— Не надо ей, — кому-то объясняя, сказал голос.

Затем закричала Гюзель:

— Софа, это просто врач! Вы что! Врач!

— Спасибо, я в порядке! Опять переговоры.

— Вам тут завтрак! Оладушки со сметаной! Поставили у двери!

Молчание. Удалились наконец.

Тем не менее надо было как-то функционировать. Софа собралась и встала у окна. Если все будет как обычно, горизонт расчистится.

Так и произошло. Отбрасывая тень, выполз Михаил. За ним выскочила Гюзелька. Они повернулись лицом к фасаду и начали считать этажи, добираясь глазами до ее окна.

Софа быстро вышла. Заперла номер и пулей сбежала по лестнице в столовую, съела то, что осталось на столе, — яйцо, холодную кашу и хлеб с сыром. Официантки собирали посуду. Фу, пронесло.

Затем Софа проверила, чист ли горизонт, выкатилась в город, побегала на электричку, проехала одну станцию и там села у реки, подстелив казенное покрывало с кровати. Почва действительно еще не прогрелась, хотя был теплый солнечный денек.

Река пахла тиной, открылись какие-то дальние леса, редкие облачка стояли над миром. Орала чайки. Тишина, покой.

В голове у Софы проносились монологи, черт бы ее побрал, Гюзельки. «В двенадцатых годах единичные случаи каннибализма, апрель-

ских санных подледных погребений в овраг, то есть аналог палеообрядов, сатыы былгыт, куйаас, внурук, урбэлээх, бляа», — думала Софа.

— Да! (встревал Михаил) — аналоги-аналоги. Я вычислил адрес по карте Рима, но невозможно передать! Скоро обнаружат, тогда!

— Уус, чыгыгч милк шамсан. (Это Гюзелька проклятая.)

— Явки их не обнаружены, хотя работают карабинеры всех провинций!

— Поговорка в словаре Даля насчет саней, послушайте (визжит Гюзель). Встал не так и запряг не так, сел не так и поехал не так! Заехал в овраг, не выедет никак! (Захохотала.) Похороны, похороны!

Софа разделась, сняла с себя лифчик и подставила свое зимнее тело теплomu солнышку, хотя иногда поддувал ветерок. Затем подошел человек в полужимней темной куртке, сел рядом, поговорили, он пригнал лодку, поехали на недалекий остров, зашли в кусты, он постелил куртку, легли, совокупились, после чего он высадил Софу с лодки на то же место. Опять поговорили, Софа дала рыбаку ошибочное название дома отдыха, не тот номер комнаты и не то имя (Марфа). А затем (дело шло к послеобеденному времени) они зашли в бар при станции, выпили по бокалу вина, он купил и поставил перед Софой малиновое желе преотвратного вкуса. Софа для приличия съела. Рыбак явно не хотел покидать Софу, все договаривался о встрече сегодня вечером. Он собирался взять ключ у друга от лодочного сарая. На всю ночь не смогу, жена ревнивая. Свой адрес он не дал. Затем они расстались на улице, он все не мог отлипнуть. Софа пошла прочь, тут же подвалил следующий, в пиджаке, навязался провожать, пригласил в тот же бар. Опять сели, ели, пили, все это тянулось, затем на вечерней заре, при негаснущем закате пошли в дюны, теперь уже на покрывало.

Слегка потрепанная, с грязноватым покрывалом в пляжной сумке, Софа поехала в электричке домой, изо всех сил стараясь не привлекать ничего внимания, однако вслед за ней кто-то вышел из вагона и стал говорить «девушка, девушка». Софа пошла быстрее, он тоже. Хорошо, что еще было светло, и преследователь не посмел решиться на грубое насилие, отстал у ворот, выругавшись.

Перед входом, зайдя за угол, Софа сняла с себя пиджак, причесалась, попудрилась, осмотрела пиджак, почистила его, повернула юбку и осмотрела и ее, затем вытерла ботинки о траву, проследовала в корпус и — нате! В холле дежурил Михаил с безумным взором. Он захохотал и загородил Софе дорогу.

— Как! Что вы! Где вы! Вы не ели! Весь день! Идемте, я специально ходил на станцию и купил вам малиновое желе! Здесь очень вкусно делают! Я вас жду-жду!

— Я ездила в город, — выговорила Софа слегка занемевшим ртом. — Я там обедала.

Еще не хватало Гюзели тут.

— Идемте, идемте ко мне,— лихорадочно бубнил Михаил,— желе, кофе, коньяк. Вы замерзли, укроем. Сон! Я вас так буду называть. Я смотрю, какая усталая, бледная, мой сон. Французский коньяк, мне присылают настоящий, для давления.

Он поволок Софу к лифту, они стали ждать, лифт наконец опустился. Разъехалась дверь, и из нее, как кукушка из часов, высунулась Гюзель! (Небось глядела из окна.)

Гюзель, как бы там ни было, спасла положение, и до поздней ночи они сидели у Михаила в номере, пили его коньяк (выдоили бутылку до дна) и болтали (Софа молчала). Затем они довели ее под конвоем до номера, зорко следя друг за другом, и позволили ей ускользнуть.

Однако уже через пять минут Михаил скребся о Софину дверь, бормоча что-то неприличное типа «зиронька, сон, сон, лапочка, рыбонька».

Софа тут же, при первых словах, врубила телевизор на полный звук.

Дело кончилось плачевно, так как после недели такой жизни Михаил обезумел, исхудал, рассказывал Софе всякие сексуальные истории, в том числе и о том, что в любом доме отдыха он не голодает, вся администрация, даже повара, они регулярно проверяются на венеру, они его обслуживают в любом плане, носят ему ужин под салфеткой и т. д.

Затем он заболел, подскочило давление. Софа, которая была в курсе всех событий, подговорила одну поэтессу Тамарку, лихую машинистку и практикующую алкоголичку, и наслала ее на беднягу Михаила, посулив ей бутылку коньяку (стало известно, что у него есть еще одна, НЗ). Тамарка, выставив свой нос башмаком, вполне спокойно подошла к нему на пляже, познакомилась с видным экономистом и напросилась в гости. Репутация у нее была известная, и текст требовался простой, типа «угости-те коньяком, мужчина». Договорились на после ужина. Михаил смотрелся в этот вечер орлом, покровительственно глядел на Софу и ляпнул вдруг: «Нецелованный жосу». Гюзель от неожиданности засмеялась.

Поздно вечером Софа, как это ни странно, вышла в парк и бродила вокруг дома. Посматривала на окно Михаила, погаснет свет или нет. Лампа у него горела настольная, да и то сквозь занавеску. Тьма мать интима.

Затем Софа, непонятно почему печальная, вернулась к себе и включила телевизор.

На следующий день Михаил не вышел к завтраку. Тамарка в ответ на вопрос заявила:

— Ну ты что, я у него только коньяк выпила, бутылку водки. Ну ты что, я с ним спать не занималась. А он: «У вас такой большой красивый рот, рот». Нудила. Я сплю только с теми,— значительно сказала Тамарка, на что-то намекая,— кого сама хочю.

Поэтесса без переднего зуба, который ей здесь же, в пансионате, сломал один редактор случайно локтем, когда она вошла и тихо подкралась

поцеловать невинного, сидящего спиной к ней, а объект резко обернулся.

Михаила не было и на обеде. Встревоженная Гюзель стучала к нему в номер, а потом обратилась в администрацию, и ей сказали, что Михаила увезли в аэропорт домой в Москву, стало плохо.

Закончились эти беседы за столом, Софа свободно ходила куда хотела, народ загорал, в ее постели перебивали все желающие, вечерами у нее собирались выпить поэты, чьи стихи она запоминала, сама того не желая, и известный аттракцион заключался в том, что она читала им их же бредни, и была очень популярна этим талантом. Так прошел этот отпуск, пролетел.

Спустя год они встретились с Михаилом в издательстве на лестнице. Софа спускалась в буфет именно с Тамаркой (нос сапогом, щеки вздутые блестят, волосы сальные, чаровница, бездна свободы).

Михаил шел снизу, длинный, взъерошенный, он увидел Софу, и голова его непроизвольно дернулась. Он остановился.

— Привет,— певуче воскликнула Тамарка.— Привет, бля.

Ей, как поэтессе, полагалось пить, буйствовать и ругаться. Ее уже не пускали в ресторан, где собирались все свои. Это тоже был ритуал. Потом пускали, что делать.

Софа растерялась.

— Ну что, дашь пройти или нет,— не спеша, волнуящим голосом произнесла Тамарка.

И тут он спохватился. Собрался и пошел на нее вверх как на амбразуру, загородил ей дорогу, потеснил к стене и т. д. То есть повел себя вполне на манер дееспособного гуляки.

Софа продолжала свое движение вниз, в буфет.

Сзади, нараспев ругаясь, отбивалась Тамарка, Михаил суматошно говорил и вдруг воскликнул, немного слишком громко: «Найдите меня, сон мой».

Все понятно.

Немного времени спустя в газете появился некролог с портретом Михаила, внезапная смерть. В издательстве говорили, что никто ничего не ожидал, криз. Очень любил свою новую жену-переводчицу и маленькую дочку, недавно переехали, а теперь они остались одни. И еще два сына постарше у другой жены.

Софа не плакала, но в ее проклятой памяти полностью прошли все его монологи, восторженные восклицания, его жизнь, воспоминания о детстве и т. д., все его нежности и слова, которые ей никто никогда больше не говорил, его будущие письма, которые он при ней же сочинял вслух, его безумная любовь, неприличная, жалкая, как и полагается любви. Запряг не так и поехал не так, заехал в овраг, не выедет никак...

## Подснежник

Я ходила за Говоровой, это было в четвертом классе.

Говорова играла на пианино «Подснежник» Чайковского. Говорова являла собой мою воплощенную мечту, она умела играть, училась музыке. Я, как хищная рыбка, всюду следовала за толстой прекрасной рыбиной Говоровой, девочкой с пшеничными косами и ясными, хоть и небольшими, голубыми глазами.

Это был как бы психоз, причем заразительный. Следом за мной с Говоровой захотела дружить Ленка, существо тоже толстое, но с буйными черными волосами. Ленка сидела позади Говоровой, я на две парты впереди. Ленка все время отвлекала Говорову. Честно говоря, Говорова не была готова к такому обожанию, она являла собой тип девочки-мамы, отличницы-старосты, спокойное розовое, бело-розовое как зефир существо с этими косами, которые она плавным движением забрасывала то одну, то другую за спину. Это была особая такая манера сосуществования девочки и ее толстых желтых кос. Обхватив пухлыми пальцами эту пшеничную плеть, Говорова слегка подавалась одним плечом вперед и очень спокойно заводила за него свою косу. И все девочки тоже так ходили и покачивались взад-вперед, то одним плечом, то другим, и голову гордо отворачивали то в одну, то в другую сторону. У Ленки косы были тоже (у меня тоже), но они у нее как-то все время топорщились: черные жесткие волосы лезли во все стороны. У меня были простые косички, тонкие беленькие плетенки, собранные корзиночкой за ушами. Я была еще мала. А Ленка уже выросла. Рот у Ленки являл собой пещеру огненную, такой особый инструмент, окруженный толстыми губами, вечно они у нее трескались, пересыхали до корок, горели, вечно рот у нее был открыт, нижняя челюсть отвисала.

Ленка дышала ртом как тоже рыба, как какая-нибудь вуалехвостка, и водила глазами за Говоровой, где бы та ни оказывалась.

У меня к Говоровой была тоже жуткая тяга, при том что имелась всего одна практическая цель: усадить ее за рояль на четвертом этаже в зале, чтобы она играла «Подснежник»! Я сходила с ума по Чайковскому, по этому «Подснежнику», и еще мне очень нравилось «На тройке», из тех же «Времен года». Говорова играла своими пухлыми, не очень длинными пальчиками, перебирала клавиши. А я, стоя рядом, замирала как охотничья собака, глядя в ноты. Ноты для меня были тогда филькиной грамотой, но там был напечатан еще и текст, и я пыталась его петь, «Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый последний снежок», то есть я считала это словами к данной песне, а Говорова справедливо отбреживалась, что нет, не слова. Я говорила «Да ты смотри» и пела, но Говорова саркастически кривила свое на

удивление спокойное лицо и вообще прекращала играть. Тут начинались самые муки. Я беспомощно смотрела, как она аккуратно закрывает крышку, встает, забрасывает косы одну за одно плечо, другую за другое, а затем проводит тылом пухлой ладони пониже спины, проверяя, в порядке ли сзади платье (у нее была такая привычка) и уходит со своими нотами.

Весь мой план спеть «Подснежник» был замешан на слове «репетиция». У нас, как обычно, планировался к концу года какой-то концерт силами класса, и Говорова как самая сильная пианистка обязана была играть. Я же должна была петь, и фокус заключался в том, чтобы и пение, и аккомпанемент происходили одновременно. Поэтому я имела право на репетицию и таскала Говорову наверх, в актальный зал, к роялю. Моя подруга Наташка Коровина с остальными спортсменками класса под команду «Де-лай!» показывала так называемую «пирамиду» т. е. забиралась по коленям и плечам стоящих внизу и громоздилась наверху, и все это скопище рук и ног замирало на мгновение в каком-то кривобоком апофеозе. Лариска Морева читала с завыванием «Знаете ли вы украинскую ночь» Гоголя, я исполняла на французском языке басню Лафонтена «Ворона и лисица». А еще мы хором и полностью вразной орали революционный гимн «Марсельезу», тоже по-французски («Исполняет весь класс!» — провозглашала ведущая Лариска, тоже с завыванием. Она занималась художественным чтением во Дворце пионеров, и я ее презирала за такую манеру выть).

Благодаря чему я на всю жизнь выучила оба французских текста и однажды неожиданно для себя расшифровала строчку из тайного дневника Пушкина, много позже, в Коктебеле. Она была написана сокращенно и по-французски, и в ней встречалось одно слово, которое я хорошо помнила со своего двоечного детства. Ну да ладно, это тайна Пушкина, и я ее сохраняю.

Но в те времена я была ушиблена Чайковским, видимо, потому что он для меня оказался совершенно недостижимым — я не училась музыке, и у нас не было дома пианино. Какое там пианино! Ничего у нас не было с матерью, кроме матраца. Но я упорно хотела спеть «Подснежник» со словами — дикое мероприятие, кстати.

Говорова, девочка практическая и в табели о рангах стоящая далеко в верхах (отличница и дочь работника Центрального комитета коммунистической партии, да и староста к тому же) реагировала на мои просьбы отрицательно. Она, кстати, сидела в классе в самом центре рядом с другой отличницей, Милочкой. То была справедливая позиция, и центральная лампа освещала две эти работающие башки — у Говоровой лоб был как у теленка, выпуклый, с двумя буграми, а Милочка имела ясный, как бы светящийся купол над бровями — сейчас я бы сказала, что с легкими залысынами.

Я сидела впереди у учительского стола на первой парте как человек, за которым нужен постоянный контроль, а рядом со мной находилась тихая, бесцветная, со льняными косами девочка Валя. Валя была бледной, недокормленной копией Говоровой, в их семье было множество детей. Они жили в каких-то невысказанной красоты палатах дворца, то есть это и был настоящий дворец, перегороженный на комнаты. Валино семейство обитало в одной комнате, в выгороженном куске огромного двухсветного зала. Высота потолков достигала метров десяти, что ли, и тут остроумный отец семейства построил лестницу и какие-то деревянные полаты наверху, и оттуда всегда гроздьями рук и ног свешивались дети, глядя вниз, как в деревне с печки (дети вроде кошек, обожают забираться наверх и сидеть там, или вниз, под стол, и тоже затаиваться).

Сейчас это опять дворец в начале Петровки, справа, если спускаться от Петровских ворот от бульвара.

Мне с Валею говорить было не о чем. Она была очень тихая. Она не умела играть на рояле. Она не представляла для меня никакой ценности. Троечница с волосами цвета льна и с синими как подснежники глазами. Косы у Вали были, но тоже блеклые, льняные, бесцветные, настоящие светлорусые, не такие толстые пшеничные как у Говоровой.

Все мои помыслы были сосредоточены на этой проклятой пианистке, на нашей старосте, которая никак не хотела мне аккомпанировать.

Поэтому я часто оборачивалась и смотрела на Светлану Говорову угрожающе. Я посылала ей записки «На большой перемене репетируем». Она тихо склоняла свой выпуклый, как у теленка, ясный лоб над тетрадами и в ответ никогда не морщилась, не шурилась. Не реагировала. У нее вообще на лице бывало или безбрежное спокойствие, или расцветала скромная, тихая, ясная улыбка. Больше никакой мимики не наблюдалось: странное существо! Кроме того, она была отличница. То есть для нее трудностей не существовало.

Я была двоечница и уроков не учила никогда. По арифметике двойки, по истории двойки.

Мы с мамой иногда не спали ночами, а то и просто вместо сна уходили на улицу, когда дед особенно кричал.

В школе все было чисто, сияющие натертые красные полы, цветы на окнах, девочки в чистых фартучках. Дома мы спали под столом, в компании с толпами хищных клопов, которые, как только человек засыпал, выходили из-за книг... Но, если у человека есть цель, все остальное для него не существует. Я бредила Чайковским. Однако проклятая Светлана играла только «Подснежник», даже «Тройку» не хотела.

Наша учительница, красавица Елизавета Георгиевна Орлова, похожая на актрису Веру Марецкую, всегда зорко следила за классом, держала всех в строгости и лично меня муштровала, чтобы хоть как-то сдержать. Я сидела у нее под носом. Когда все писали, то же самое

вынуждена была делать и я: Елизавета Георгиевна живо возвращала мое внимание к тетрадке.

Я любила ее преданно. Я ее обожала. Иногда мне снилось, что мы уже кончили четвертый класс и она от нас уходит. Я просыпалась в слезах.

Мне кажется, что она меня тоже по-своему любила. Но никогда этого не показывала.

Так бывает, что строгие учителя оставляют в душе гораздо более важный след, чем мягкие и добрые.

К декабрю репетиции участились. Наша выдающаяся школа готовилась к Новому году.

Нам предстояло отчитаться классным концертом. Все силы были брошены на это. Мне теперь аккомпанировала наша учительница пения, толстая красавица с косой вокруг головы и в белой кружевной шали. Она была такая же полная и медлительная как Говорова, но гораздо ее горделивее. Ольга Михайловна спросила меня, запевалу классного хора, что я буду петь. Я назвала «Родина слышит», хотя хотела сказать «Подснежник». Хорошо.

Рродина слышит. Рродина знает,  
Где в облаках ее сын пролетает,—

заливалась я на репетициях.

После уроков я шла не домой, на улицу Чехова, а в Столешников переулок, где мама после нескольких бессонных ночей (дед бушевал) сняла койку у приличного и трезвого мужского портного.

У него была отдельная жилплощадь: кухня и комната с огромным, во всю квартиру, витражным окном.

Видимо, до революции это было что-то вроде студии для художника, как я потом поняла, неоднократно и много лет спустя проходя под этим проклятым местом.

А сейчас на большой кровати, как раз против окна, спал портной с женой и сыном, в маленькой детской кроватке справа от окна и ближе к двери спала портновская дочка, у которой была трахома, заразная болезнь глаз, все веки были в гное и как бы порублены, посечены. Ей поэтому купили отдельную кровать.

А мы с мамой ночевали на узкой койке вдоль стены напротив девочки, ногами к портновской семье. Все, что там происходило, было мне прекрасно видно. Жена портного по утрам иногда ворчала, что «сам мне все сбередил», доставала из штанов и рассматривала какие-то кровавые тряпочки. В гости к ней частенько ходила старая Лидка, соседская проститутка, маленькая, сухая пьяница. Она, когда я появлялась на кухне, заботливо произносила почему-то всегда одно и то же, «четырнадцать

тысяч». Лидка и портновская жена о чем-то шептались на этой кухне за мутным и прекрасным витражом, освещаемые цветными узорами дореволюционного окна, прятали некие невесомые, хотя и плотные свертки, вообще вели тайный для меня образ жизни.

Сам портной занимался тем, что принимал клиента, обмерял его совершенно профессионально, все записывал, брал аванс и «отрез» на «тройку», то есть ткань на костюм с жилеткой и, как только клиент уходил, уносил этот отрез куда-то, продавал,пил первые дни до потери сознания, а затем на протрезвевшую голову прятался. Его жена привычно плакала. Клиенты страшно, чуть ли не топорами, колотились в дверь. Нам было велено не открывать.

А деньги за койку у нас брала всегда портновская жена.

Столешников веками был гнездом разврата. Здесь потаенно, как наши клопы, в задних дворах гроздьями ютились проститутские семьи, в которых все — от бабок до девочек — зарабатывали, выползая на ночь. Никакая советская власть ничего не могла с этим поделаться. За проституцию не было статьи, так как по статистике у нас ее не имелось.

Мама до вечера пропадала на работе. Я приходила из школы в квартиру портного. Вот тут начинались разные неприятности.

Мальчик портного был старше меня, маленький и юркий, и в уме у него, видимо, возникали различные комбинации. Девочка была еще мала и тихо возилась с куклой, временами высоко поднимая голову и глядя сквозь слипшиеся рубцы глаз. Мать ее бегала по делам, притаскивала все те же свертки, которые никогда не разворачивала. Анаша, думаю, там была. Иногда, гремя сапогами, к нам на третий этаж поднималась милиция, что-то получала от портновской жены и, грохоча по нисходящей, исчезала. Портной же, видимо, предупрежденный ими, переходил в следующую стадию жизни и ударялся в бега, скрываясь от клиентов в других местах. Часто заходила пьяненькая Лидка, ласково со мной разговаривала. Мне было лет одиннадцать.

Однажды почему-то никого не было дома. И вдруг пришли две девочки и куча ребят вместе с Юркой, маленьким хозяином. Весело разговаривали и вдруг предложили мне пойти с ними в соседний дом, на что-то поглядеть.

— Увидишь, — говорили старшие девочки, — че увидишь! Там знаешь, там птицы!

Я была польщена, что такие взрослые ребята меня пригласили.

Мы шли дружной большой компанией, девочки держали меня за руки с двух сторон, как мои лучшие подруги. Я никогда так не ходила, за руки. Мы смеялись.

Это была какая-то совершенно другая, новая жизнь. Я их в первый раз видела. Но я думала, что мне предстоит с ними подружиться, мы бы всюду вместе ходили... Никогда еще никто так обо мне не заботился:

— Сюда! Сюда идемте! Ее тоже ведите! Пусть она посмотрит! Иди, иди! — говорили, оглядываясь, взрослые мальчишки, среди которых мелькал малорослый Юрка в тубетейке.

Я им была нужна!

Мы вышли на Петровку и тут же свернули направо, в первый угловой подъезд за рестораном «Красный мак».

Это была темноватая, тесная лестница.

Они гурьбой поднимались впереди, почти не оглядываясь, но глухо пересмеивались. Как-то сдавленно и невольно прыская. За ними следовали мы с девочками. Одна девочка вела меня за руку, другая замыкала шествие.

Тем временем передние поднялись к последнему этажу и пошли еще выше, на площадку перед чердаком.

Я начала потихоньку выдирать руку.

— Сюда, сюда, — успокоительно сказала девочка передо мной. — Сейчас, сейчас.

— Ты! Давай! — Свесился через перила пацан, обращаясь неизвестно к кому. Может быть, к той, которая шла сзади.

Я ей кивнула, освободила дорогу, она поднялась выше меня на ступеньку. Было темно. Свет шел только снизу, с площадки.

Наверху грубо хохотнули.

Верхняя девочка все еще держала меня за руку. Тут я как-то засомневалась, мне стало душно и тесно, даже как-то затошнило, я вывернулась из потной руки девчонки и шмыгнула вниз.

Они почему-то не погнались за мной, видимо, это у них еще было не отработано, что делать в таких случаях, и я свободно выскочила на улицу.

Уже темнело.

Возвращаться к портному было нельзя до прихода мамы.

Я ползла на улицу Станиславского, вошла направо в проходной двор, свернула в высоченное парадное.

Поднялась на второй этаж широкой мраморной лестницы.

И под дверью села на ступеньку.

Это была квартира, где жила моя любимая Елизавета Георгиевна Орлова, моя учительница, с мужем-офицером и двумя сыновьями.

Там я пряталась долго. Из квартиры, слава тебе господи, никто не выходил.

Я пришла к портному уже ближе к ночи. Мама сидела на кухне, ждала. Мы поели и пробрались в комнату, когда все хозяева уже лежали. Юрка, как всегда, у стены. Он затаился и головы не поднял.

Я, как все маленькие дети, боялась рассказывать маме о своих тайных страхах. Но всю ночь я плакала и уговаривала маму вернуться обратно на улицу Чехова.

Я знала, эти меня в покое не оставят.

Теперь я понимаю, что их племя росло за счет приучения все новых и новых маленьких самок к ремеслу. Те две девочки тоже недаром шли наверх, на чердак.

Кто там ждал нас на чердаке, неизвестно. Кто заплатил, тот и ждал. Лидка тоже не просто так к нам ходила и, завидев меня, твердила хозяйке про четырнадцать тысяч. Это были огромные по тем временам деньги.

Мы с мамой ушли обратно со своими простынями и одеялом, с чемоданом, сели в троллейбус как беженцы. Приехали, позвонили. После долгой тишины дядя Миша Шиллинг, наш сосед, выйдя на звонок, скинул деревянный брус с двери. Мы поздоровались с ним, тихо проследовали по коридору, боясь соседей, бесшумно открыли свою собственную дверь и вошли в комнату, заполненную дымом «Беломора». Дед курил, отплеивался и молчал. Тлеет огонек в темноте.

Его совсем недавно уволили отовсюду. Он был профессором. Он стал бешено кричать по ночам, бил кулаком по стене. Ему не на что было жить, некуда ходить.

Тихо-тихо мы шмыгнули к себе под стол, и там, скрючившись, постелили простыни и легли... Хорошо дома.

А к Новому году у нас в школе был концерт, и я в коричневых бантах (ленты выстирать и намотать на горячую трубу батареи) вышла на сцену актового зала перед всеми четвертыми классами. И нимало не волновалась.

— Рродина слышит — Рродина знает!.. Как высоко ее сын пролетает!

Потом Говорова играла «Подснежник», а я упорно, хоть и тихо, но все-таки пела свою главную песню, стоя сбоку за кулисами:

— Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый весенний снежок... Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье другом...

В этом все и дело. Первые грезы. О том и речь. Я не могла совладать с собой, я давилась слезами, глотая сопли. Первые грезы. Наша нищая жизнь.

### Из учебника жизни

Некое начало жизни сопровождается формулировкой «это добром не кончится» — и, как всякое предсказание, оно означает в какой-то степени приговор; или, мягче говоря, пример — со своим началом и закономерным будущим финалом — из некоего учебника жизни.

К примеру, поздний, от поздней любви родившийся, последний ребенок, ибо в пятьдесят рожденный отцом (а матерью в тридцать) — это дитя, гласит приговор, у данных родителей будет разбаловано до

неприличия, но защитники возражают — нет, не разбаловано, родители не всё спускают. Может быть, только в раннем детстве, когда невинное очарование малыша, ум, золотые кудри, синие глаза и ямочки на щечках сводили папу с мамой с ума, они снисходительно относились к излишней проказливости, шаловливости ребенка, восхищаясь его остроумными ответами.

Но уж потом нет. Они его потом учат, они пытаются поставить его на ноги, они не все ему прощают. И они даже его ругают! Отец особенно возмущается. Но они ничего не могут поделать со своей безумной любовью, с единственным настоящим смыслом своей жизни.

Как будто все предыдущее не стоило этих драгоценных нескольких лет, лет счастья рядом с малышом. Особенно мать опьянена.

Ибо: ни одна плотская любовь, никакая страсть не может сравниться со взаимным притяжением поздней матери и ее последнего младенца. Все заполнено им, а он весь заполнен ею.

Далее вот что: мать даже восстает против отца в своей любви к ребенку. И что же — люди наблюдают и опять произносят свое предсказание «это добром не кончится».

Как бы они, мудрецы, много видевшие рассветов и закатов, по рассвету готовы предсказать закат.

Но мальчик — какой там закат! — так хорош, умен и красив, хотя задирист, уже в семь лет с мужской атлетической фигуркой и дерется как лев! Его не любят в школе и бьют, он вынужден защищаться. У него нет друзей. Лучший друг твоя мать, говорит мать.

Затем некоторые умные взрослые, увидев его у берега реки, прочат ему спортивную карьеру, чтобы унять эту неукротимую натуру на будущее хотя бы отрочество, опять народная мудрость, что физкультура умеряет юношескую распушенность, хотя история спорта показывает как раз все наоборот.

Но родители прислушиваются.

И мать возит его в бассейн, как смеется отец, смена караула. Туда-сюда разводящая.

Но сын как-то не проявляет энтузиазма, не хочет повторять телодвижения, которым его обучают, не слушается тренера, его критики и окриков, а бегаёт специально как малыш и с хохотом плюхается в воду, когда нельзя, в воде шалит, топит, нападая со смехом. Какой смех, тут дети плавать не умеют! А после занятий и вовсе заявляет маме, придя из душа, что не будет больше туда ходить, они дерутся.

Дерутся, видимо, коллективно, да еще и там, куда матери нет ходу, в мужском душе. На скуле почти синяк.

Она повела его к тренеру сразу. Вот такие дела творятся в вашем бассейне! Избили ребенка! Вы не следили! Вы! Вы обязаны! Это теперь ваша обязанность, да, охранять его!

Ну хорошо, прошел тот маленький момент, это был дурной педагог, не рассмотревший будущего чемпиона, злой и мстительный человек.

Мать все поняла (поговорив с ним и увидев его уклончивые глазенки), что тренер не обошелся без того чтобы сказать своим пацанам избить новенького, пришедшего затем к маме в фойе с синяком на скуле. Причем парень герой, никого не выдал: якобы упал в душе, поскользнулся.

«Это не в луже в деревне плескаться, — отвечал тренер на обвинения, — я за них шкуркой отвечаю, вы что. Будут еще у меня топить ребят».

Ну все понятно стало после этой фразы.

Быстро кончились и занятия музыкой, тоже прервалось на плохой учительнице. Парню было скучно играть белиберду.

Надо было его заинтересовать, но не нашлось на него талантливого педагога. Они слышали об учителях с большой буквы, которые не заставляют играть гаммы, а сразу музыку! Чтобы привить любовь, да.

Детство его быстро проскочило, наступила юность (а у папы старость, что тут говорить). На немощные годы отца пришлось самый тяжелый отроческий период, вся эта грубость, резкость, нарочитое кривляние, сон под утро после ночи, проведенной бессмысленно у телевизора, вялые длительные разговоры по телефону ни о чем! И вдруг парень взял и продал свой велосипед, который ему купили. Подбил какой-то школьный друг, причем с условием, что тогда он ему продаст свой якобы почти новый. Если твои родители добавят. То есть спекуляция на дружбе в чистом виде! Ты продай и деньги мне отдай, да? Да еще родители твои доложат сумму, да?

Мать быстро всё вычислила, все хитромудрости этого якобы друга, который твердо знал свою прибыль. Но мальчик стоял на своем: я продал, это мой был велосипед. Не твой! Как не мой, на день рождения мне ведь подарили? Но это не значит, что надо все из дому выносить и продавать! Так ты и книги свои продашь? И матрас с подушкой? И ковер со стены? Кто, кто этот якобы твой друг, назови фамилию, я позвоню его родителям!

То есть опять-таки не выдал товарища. С одной стороны молодец. Но тебя же все лапошат, все!

И тут произошел переворот, мальчик вдруг оторвался от семьи, ушел. Завел себе компанию друзей и подруг. Кто, кто такие?

Звонки в ночь-полночь, как на вокзальной справочной!

Теперь уже речи не было об одиночестве, затравленности.

Теперь уже родители были одинокие и затравленные, заброшенные. Всё, всё коту под хвост, всё этим друзьям, куртку, сумку, книги, фотоаппарат кому-то понадобился, где, где камера твоя? Но она же моя! А куртка? Он обменялся, видите ли, ему за куртку дали какого-то... Как-как фамилия? А это что? Музыка? А без куртки как будешь ходить? Понятно, у тебя есть еще одна.

Ах мы бестолочи, накупили всего, теперь он в этом как в сору роется, раздает. Надо было как отец — одни брюки и две рубашки, и пиджак от дяди. И день и ночь в библиотеках!

Мальчик быстро при такой щедрости, конечно, стал центром притяжения. При том, нет слов, хорош, умен, красив, девочки вешаются гроздьями, причем отец знаменитый ученый, печатается в газетах, приглашают на телевидение, и деньги в семье в тот момент завелись, как итог многолетней работы отца, специалиста по мировой экономике, и, кроме того, как итог того, что он перестал содержать дочь, она наконец закончила аспирантуру в свои тридцать лет.

И теперь уже младшенький начал учиться в институте с полным правом. Поскольку нашлись влиятельные и просто добрые друзья, помогли с поступлением, и парня приняли на хороший факультет международного права, с перспективой, за него были сказаны все слова по телефону, отцу даже не надо было ходить щеголять своим профессорским званием.

Смотрите, мальчик въезжает в институт только что не на белом коне, занимается с хорошими педагогами, прекрасно сдает все вступительные экзамены, он забалтывает экзаменаторов, говорит, говорит, его останавливают, одобряют.

Говорит он прекрасно. И дома рассказывает мельком о каждом испытании. Но дома, вот горе, отец тоже говорит, произносит речи, что он-де сам в институт не нанимал профессуру, а часами сидел в библиотеке! Мать машет рукой и, трепеща, слушает сына одна, отдельно, отец ушел работать.

И дальше продолжается все то же самое, те же роли: отец поучает, выводит сына на чистую воду, что почему это студент не ходит по утрам в институт, не встает в семь пятнадцать по звонку? «А он лег в шесть тридцать! А ты дрых, да!» — восклицает мать, и пошло-поехало, семейная драма, вопросы типа а с какой это стати ему ложиться в шесть тридцать, приезжать на такси, да еще с девушкой, и ночевать с ней до пяти вечера, что за ночевки днем.

Действительно, дневной бивак, сон до пяти-шести вечера, а потом вылезают вместе на кухню, пухлые, заспанные милые рожицы, а там озабоченное, трагическое и даже презирающее лицо отца.

Мать его уводит, машет рукой, мать ему тихо возражает, вспомни себя, все были молодые. «Я! — заглушено кричит прикрытый дверью старик, — я! Я!» (И так далее, известная биография героя из бедной семьи, проложившего свой путь в экономику через собственный талант ученого, популяризатора, педагога.) Причем всё — чистая правда.

Сын быстро и хмуро уводит девушку вон, ничего не поел в результате за сутки, мать бежит за ним в прихожую и сует ему деньги на еду и на такси на всякий случай, питаться-то надо!

Затем следующие акты трагедии, ибо это уже трагедия, именно для родителей, они уже в ссоре. Мать, кроткая, любящая, нежная, пытается объяснить старику, что наскоком тут не возьмешь, надо всегда быть на стороне ребенка против всего остального мира, «как вот мама моя была».

Нежность и кротость жены уступают, однако, холодной твердости и презрению. Старик близок к слезам. Похоже, что тут Эдипов комплекс наоборот, старец ревнует молодого к жене! Еще бы. Мать, красавица под пятьдесят (отцу за семьдесят), обращает свое нежное, пушистое как персик лицо к сыну, словно бы подсолнух к солнцу, а отца загораживает спиной, потому что неровен час отец бессильно поднимет свою старческую, поросшую мхом длань, а за сыном не пропадет, он стукнет, молодой молотобоец (любил во младенчестве заколачивать гвозди куда попало).

После всех событий он шипит матом и убегает.

О чем крик?

Всё, как всегда, в конечном счете сводится к деньгам, сын кричит, ты скупердай, ты меня еще должен по закону содержать, вон телевизор у вас испортился, сами же смотрите все в синем киселе плавает, даже на себя жалко! (Почему разгорелся спор — а все дело в том, что отец получил денежку за книгу, изданную за рубежом, и мама радостно поделилась удачей с сыном, отсюда следующий акт трагедии — скупой рыцарь и его нищий сын!)

Затем мать все уравнивает, гири брошены на протянутую пустую чашу весов, кучка долларов, и сын с дружкой уже принес новый телевизор и новый радиотелефон, так как телевизор куплен настолько дешево, что телефон достался практически бесплатно! Удача!

Ну, тут мать сияет, отец растроган и простодушен, как бывает с обманутыми людьми, когда их убедили. Ибо сын его наколол. Давши предварительно в руки каталог с ценами, с очень высокими ценами. И прикупивши устарелое, позапрошлогоднее со скидкой.

Это был бы путь сына, его настоящий путь, путь закупок на складах у друзей просроченной аппаратуры и затем продажи ее дуракам за полную стоимость. Но сын не пошел по этой дороге, было не к чему.

Родители тут же преувеличенно радостно уселись смотреть новый телевизор, но уже опять без сына: унося с собой новый радиотелефон, он ушел с дружкой к себе в комнату, а затем, как всегда к ночи, исчез вон из дому, обычная история, опять позвали. С полным правом получив от мамы в карман. Кормилец растет!

Она вернулась к телевизору счастливая, растроганная.

Сын настолько нужен всем, что его зовут повсюду, (а это добром не кончится, гласит молва, и то же самое гласит отец), его приглашают, он популярен в своих кругах, остроумен, изящен, образован, пьет не пья-

нея. Девушки от него в восторге, он всегда приводит под утро кого-то, кто следующим вечером просачивается вместе с ним на кухню поесть, а мать и отец сидят у себя как стреноженные кони, не имея возможности выйти даже в коридор, чтобы не нарваться на девушку, а то и двух.

«Да ты понимаешь, они просто ночуют у него, когда ехать далеко», — объяснила звенящим голосом мать, идя с супругом глубоким вечером на уже освободившуюся кухню поужинать, то есть посмотреть, что осталось после гостей.

Сын иногда с доброй усмешкой извиняется: «Ма, мы там поиграли в саранчу». То есть холодильник пуст!

Еще одна закавыка — радиотелефон занят постоянно, кроме ночной поры, когда он не нужен профессору. Сонный сын и по утрам, в полубреду, не выпускает из рук связь с внешним миром. «Это добром не кончится», — вещает ослабевшим голосом отец, он никак не прорвется в этот внешний мир, его уволили по старости, проводивши в семьдесят на пенсию, оставили только преподавание раз в неделю, и он теперь полностью зависит именно от телефона.

Так же напрасно ему звонят дети от предыдущих браков и первая умирающая жена, которая осталась одна в пяти комнатах, после того как старший сын женился третьим браком и ушел к супруге, тому уже пятнадцать лет назад.

Первой жене старика профессора стало нечего есть. Ей уже восемьдесят, в свое время кандидат наук соблазнила студента и родила от него, и у нашего профессора-старца есть старший сын под пятьдесят. Как патриарх выражается, «старинный» сын.

Профессор красавец, до сих пор соблазнял и бывал соблазняем, пока не встретил любовь своей жизни, вот эту самую Ольгу, свою супругу, которая раньше всё поднимала бокал среди знакомых с тостом «За последних жен!», и все гости хлопали и смеялись, пока не вырос сын и не начались ссоры. Теперь уже было не до праздников.

Отец беспокоится, ходит мимо своего занятого телефона как тигр мимо запертого выхода, мать начеку, чтобы снова не завели скандала.

Сын сонно ведет переговоры.

— Это плохо кончится, — кричит в исступлении старый профессор, классик в своем роде, которого ценят повсюду в мире кроме собственного дома. Его ценят, ему вручили премию, которую бравая научная молодежь назвала «посмертной», намекая на то, что ученого уже нет на горизонте.

Но нужда его гонит, гонит, гонит, он пишет талантливые воспоминания, он делает книгу собственных шахматных композиций, он, наконец, ездит с лекциями в университеты мира, где еще остались сидеть его бывшие аспирантки, теперь уже пожилые профессорши. Они-то, находясь в пенсионном состоянии, и приглашают его, подозревая старого красавца в нищете. Платят ему грошики, но он живет у них в до-

мах, выходит подтянутый к обеду, за ним ухаживают, он оживляется, забывает все на свете, он блистает как молния внезапными озарениями мысли, его всегда и везде обожают, точка.

И дома его ждут не дождутся взволнованная жена и занятой сын-беглец. Нужны деньги. Профессор не тратит на себя ничего, все приносит в клюве домой своей голубке и голубю-турману, который на лету выхватывает свою долю и, кувыряясь, растворяется в вечернем тумане.

И ему звонят из дома на университетские телефоны (раз в неделю он в условленное время прибывает на кафедру и отзванивает за границу за счет приглашающей стороны).

— Они беспокоятся! Как вы им нужны! — замечают с легкой ревностью немолодые ученицы-профессорши.

Итак, все рады и оживлены, когда профессор выезжает, в том числе и он сам. Так же все рады в момент, когда он приезжает, сын встречает его на машине друга.

То есть когда его нет, все хорошо и там где он, и там где его нет, где сидят и ждут они. Но все меняется, когда семья в сборе. Жизнь становится буквально невыносима, ни дня ни ночи. Хорошо еще, что сын, получивши порцию, исчезает с приварком надолго, прилетает же за следующим кормом варварски, хищно, мотивируя свои отлучки (мать чего-то стонет) тем, что не хочет жить на шее у родителей, желает самостоятельности.

Мать выкликает сына по разным телефонам, пользуясь поводом — то у папы день рождения, то папа попал в больницу, то — внимание — купили у соседей снизу кухню в хорошем состоянии, надо прийти перенести с этажа на этаж.

Но сын не клюет на эти приманки и вызовы, он не меняет образа жизни и является в свою пору, к пяти утра.

Однако мать ему и тут рада и гасит все крики отца своими слезами.

Мать, как наиболее живучее существо, вынесет в дальнейшем все, будет ходить на кладбище еще долго, будет ездить в больницу к сыну, продавать вещички, будет писать письма в разные инстанции, в благотворительные фонды, семья великого ученого-экономиста в беде, он погиб, а больной сын остался без средств, люди, люди!

Тонкий ручеек бесед журчит по вечерам, подруги слушают, уже не ужасаясь, наркомания приучает окружающих жить смиренно, не падать в обморок от диагнозов, от сообщаемых все новых и новых эпизодов, что мальчик просит у знакомых отца какой-нибудь легкой работы, сидеть где-нибудь, просто сидеть — только иногда абонентка, вызванная Ольгой на разговор, отведет трубку от уха и положит ее рядом на диван, но монолог шелестит и без поддержки, в сухих рыданиях.

Ольга говорит без пауз и вопросов, ей не нужны чужие истории, она заполнена своей, как беременные на сносях бывают заполнены плодом, и

иногда кажется, что там, в недрах ее жизни, расположился в позе эмбриона молодой скелет, вот-вот готовый родиться вон, наружу, в вечность.

Однако же, странно, несмотря на плохие прогнозы, эта жизнь продолжается, тлеет, вспыхивает, вот в доме появилась (Ольга в панике звонит) некая иногородняя девушка, почти невестка, что ей надо? Потом, вот неожиданность-то, эта девушка вселяется как жена, новые дела!

В общем, проигрышная ситуация не так уж и проиграна, она то и дело дает ответвления, и — внимание — новые поводы для панических монологов о стремлении некоторых шахидок захватить квартиру и что мальчик грубит. Народ же вздыхает с облегчением: тут мы в родной стихии, это ничего, вытерпим, Олечка, мужайся. У нас тут произошло и того лучше, добавляют некоторые женские Гомеры и, набравши воздуха, цитируют из учебника жизни.

### За медом

Вот он такой и живет, Сергей, не урод, иногда просто высокий красавец, когда в шляпе и плаще, но живет он очень странной жизнью. Как будто бы последнее время сон вмешивается, приходит на ум, и непонятно, то ли это вправду было, то ли во сне, всю дорогу какие-то вставки, боковые воспоминания полощутся в мозгу, он даже думал одно время обратиться. Но потом заработался, дальше попал в аварию, не поуродовался, зато побил машину тестя, а это дело уже оказалось серьезное.

Причем по их же просьбе он поехал с братом жены за медом в Можайск. Он старался угождать семье жены, потому что в дальнейшем как-то на них рассчитывал в денежном плане, как всегда человек надеется на родню — но и тут оказалось, что родне он насолил. Опять плохой. Сел за руль, для них же в выходной поехал, а перед тем не поспал, потому что пришлось полночи работать. А выезжать надо было с ранья. Потому и послали с ним брата жены, на подмену и проследить, не калымит ли зять на отцовской бурбухайке. Ага. Брат жены потом всем сказал, что Сергей типа за рулем решил поспать. А сам спал сзади, тоже изматерив всё на свете, все эти требования семьи, что поднимают ни свет ни заря, зарылся в свою куртку и продрых до аварии.

Этот брат, Аркашка, как бы специально всегда был злой на Сергея, якобы после того что Сережа женился на его сестре, которая родила потом в пятнадцать лет: что Сергей стал спать с несовершеннолетним человеком, с его сестрой. Типа педофил. А девочка была уже опытная, надо сказать, когда с Сергеем сошлась, он это сразу понял, она на него прямо лезла летом в деревне, и Сергей после первого случая ее даже спрашивал, кто ее научил, она в ответ смеялась, но потом эта дура, пьяная после свадьбы, нарочно сказала тоже со смехом, что не беспокойся,

никого не было, с братом играли еще давно. Что можешь спросить, даже старшая сестра, Маринка, поднимала крик перед матерью, что Аркашка берет маленькую Надьку в постель, когда все вечером уходят и их оставляют. Маринка вообще дико ревновала, якобы мать любит только младших, а ее не любит. И назвала Аркашку «педофил». С Маринкой после этого никто из них не общается уже давно. Она вышла замуж, мать с отцом пришли на свадьбу, а Аркашка не ходил. Не простил из принципа. А на свадьбу Сергея с Надькой пошел и сам все время как бы смеясь шутил «педофил наш, педофил».

Не жениться Сергей не мог, Надя забеременела сразу. В четырнадцать лет. А на ней не было написано, полненькая смелая такая девушка, пьет и курит, хохочет и дает сразу. Тульские девки такие. Но эта отдыхала в деревне у бабки с дедом и была из Москвы. Все это выяснилось потом.

Самое-то главное, что у Сергея в Москве уже была девушка, Светлана. С ней всё и оказалось связано, все сны потом, когда она умерла.

Не то что она явилась ему, когда он вел эти покоцанные дедовы «жигули», но то и дело как будто в мозгу отслонялась какая-то занавеска, а там сидела картинка, вроде бы память о том, чего не было. Так бывает, когда днем приходит на ум забытый сон.

Перед тем он пришел после работы усталый, среди ночи осторожно так лег, а Надька нет, она тут же проснулась, стала действовать и вскочила на него. Сама кончила, отвалилась и заснула, а Сергей долго еще не спал. И здесь и будильник на шесть утра зазвонил. Надька опять тут как тут, ведь на целые сутки мужик уезжает. И сразу Мишка стал плакать, но Надя сначала все закончила, а потом только встала к ребенку. Танюшка спала как убитая. Вот такая была ночь.

Сергей, когда с ней познакомился семь лет назад, он, как честный человек, тут же перестал жить с той своей девушкой Светланой, потому что всю жизнь с этим чертом, с Надей. После Нади вообще никто ему как мужчине не был нужен. Она забирала все силы. День и ночь, день и ночь. Да еще и беременная. То есть можно было не ограничивать себя, а со Светланой фокус не проходил. Светлана требовала, чтобы ее берегли, она придерживалась гигиены пола. Надьке было до фонаря, кто в нее сливает — судя по всему, она была готова спать с каждым. Еще надо подумать, чья получилась Танюшка. Мать Сергея сразу сказала, что дочка не ихняя. Отсюда у мамы с Надей пошли скандалы, тут же как только Сергей привез жену и дочь из роддома. А у них две комнаты: одна большая пятнадцать метров, проходная, в ней мама большая живет, а вторая почти семь метров, в нее Сергей и поселил свою Надю и дочь Танюшку. И все их вещи там поместились, мать не разрешала захламлять свою комнату. Образовалась свалка! И в общей кухне соседи не дают вешать детские пеленки на просушку, и я у себя не дам, мать сказала. Надька, такая суперстар из Чертаново, королева дискотек, не

задержалась с ответом, а девушка была с матерком как с ветерком, но не это главное; один раз даже случилось то, что она сковородой заехала матери Сергея в глаз. Был синяк. Когда Сергей пришел с вопросом, Надя задрала майку и показала, что у самой тоже синяк на груди. Баш на баш. Твоя мамаша ущипнула с вывертом! Если она пойдет в травмпункт, я предъявлю грудь, и меня не посадят, я кормящая мать, жертва вообще изнасилования в четырнадцать лет! Ты на мне (плакала она) женился только потому, что тебя посадить хотели! Потому и твоя мать меня не-на-видит! Пе-до-фил, вопила его девочка.

Но бедная Светлана в начале этой истории никак не хотела поверить, что Сергей ее покинул, а он ей подробности новой жизни не сообщал, просто уклонялся. Тем более что родители Надьки действительно хотели на него подать в суд и с трудом ей поверили, что она сама хочет за него выйти. Дали все-таки разрешение на брак, хотя Аркашка желал полного следствия и тюрьмы.

На ночь Надька всегда звонила своему Сергею и плакала в трубку. Они встречались на улице, целовались и тоже плакали. И Светлана не переставала настаивать на встрече и все время по телефону уговаривала его. Что она ему что-то должна сказать. Что? Что тоже беременна? Сергей отнекивался и боялся войти в подъезд, вдруг она караулит. А один раз она позвонила, что едет на дачу на машине, а после выходов им необходимо увидеться обязательно. Сергей согласился нехотя, чтобы закончить это дело раз и навсегда. Они уже готовились с Надькой к своей бедной свадьбе.

А в ночь с воскресенья на понедельник Светлана начала ему сниться. Ему снилось, как будто она к нему идет, пробивается через какой-то туман и никак не может прорваться. Все было видно как сквозь дымку, лица не разобрать, но Сергей точно знал, что это она идет к нему как обещала. А утром в понедельник ему позвонил брат Светланы и сказал, что она заставила везти ее по гололеду и погибла в автокатастрофе именно в эту ночь. И он знает, кто виноват, ради кого Светлана шла на смерть. Вернее, всю ночь она еще была жива, а к утру умерла в больнице.

— Так вот почему она мне все время старалась сниться и пробивалась ко мне сквозь туман! — сказал тогда про себя Сергей, не обращая внимания на это новое обвинение. — Она шла ко мне, надеялась встретиться, но уже была почти что мертвая и не смогла дойти, потому что я этого не хотел.

Потом прошло время, только родилась дочка, Надька кровила, ей было не до секса, и тут ночью Сергею опять приснилась Светлана, она пришла к нему и спала с ним как его жена. Сергей во сне как-то ее жалел, какие-то даже были почти что слезы. Он думал, что хорошо, что Светлана осталась жива. У него в душе сохранилась печаль о ней (не то чтобы угрызения совести). Он видел ее на похоронах, она лежала со

свечой в руках. Лицо ее осталось почти невредимым, да и лоб ей накрыли молитвой. Только глаза ввалились, хотя их сильно накрасили гримом. Видно, перед смертью она очень страдала, рвалась к нему, но не попала. Все кончилось. Она как свою жизнь проиграла, думал Сергей. Но, несмотря на это, вид в гробу был у нее успокоенный. Она даже как бы улыбалась, хотя знакомый санитар сказал, что у всех покойников такое выражение покоя, просто у них расслабляются мускулы.

И вот Сергей в своем сне спал со Светой по полной программе, вроде бы жалея ее и с какими-то чувствами — и, понимая (во сне), что ей это все равно, он кончил в нее. Свою жену он уже должен был беречь, хватит детей от пятнадцатилетних. А тут он вполне мог себе позволить все. Но через год опять Светлана пришла к нему во сне, и теперь уже с каким-то ребенком на руках. Сергей, что делать, реагировал спокойно — и, подозревая, что это сон, он опять не стал соблюдать осторожность и опять в нее кончил, думая, сейчас-то мне можно. Она при этом ему говорила, что у них родился сын, и даже сказала, как его зовут: министерство внушней торговли! Светлана вздыхала как всегда: «Ах ты Сережка-Сережка!», и он знал во сне, как она переживает, что живым в этом слышится что-то неприятное, зловещее. Это же две разные вещи, тот и этот свет! Там ждут живущих, а здесь тех боятся.

Он проснулся опять мокрый и в большой досаде на себя. И он стал думать, как же так! Надо больше во сне не кончать! Он даже чувствовал страх: она там мертвая живет только ради этих ночей и его ждет. Она сумела там, на небесах, продлить свою жизнь как его сон. И она счастлива этим, родила ребенка с таким дурацким именем. Такие имена не дают живым детям. И, может быть, она родит еще девочку, еще одно министерство. Что делать, думал он. Во сне хочется пожалеть ее, да он и рад искупить свою вину, хотя никакой вины нет. И что, если так и будут продолжаться эти тайные встречи? Выходит, что на том свете у него, что ли, жена и дети? И они ждут его там?

А как же свои, любимые?

И опять растворяются в его уме некие пространства, как это потом произошло по дороге за медом, когда он вдруг почувствовал, что на память приходит то, чего не было.

## Богиня Парка

Есть люди, которых не хотят. Никто не хочет. Вот это дело, как таким выжить.

Собственно говоря, не бывает так, что не хотят все и повсюду, — просто надо найти тот пункт, где есть человек, который не то чтобы хочет с тобой водиться, но он вообще ни о чем пока что не подозревает. Допу-

стим, новый человек. И как-то оказывается, что около него можно угнездиться, можно что-то построить, как-то быть.

И уж если такой покладистый человек найден, то всё, дело сделано, ради него и будет нелюбимый жить и землю рыть, чтобы никто не выгнал.

Вот и угнездился такой нелюбимый, звать его было А. А., он появляется в нашем рассказе в дешевом камуфляжном костюме и в не особенно молодом возрасте, откуда-то приехал, откуда его достала судьбина, из близлежащей провинции учитель (нелюбимый учитель).

Куда он приехал?

Это и есть история знакомства.

Он приехал отдыхать за город (жил неподалеку) и оказался в деревне, куда однажды тоже завезлась одна запыленная московская тетка.

То есть он-то, А. А., как раз и снимал верандочку в избушке у родни этой тетки, так сказать, летнюю дачу, тут тебе пруд, тут тебе лесок наискосок, вечером тихо и хорошо, комары, но он света не зажигает, тихо живет себе человек, уходит спозаранку с рюкзаком на целый день, сам в камуфляже, на ногах старые кеды. В рюкзаке непонятное. Уходит на день, где-то шляется, что-то ест (а у него на верандочке даже электроплитки нет, и света учитель не жмет вообще, лампочку вывернул и хозяйке отдал. Бреется врукопашную).

Экономит?

Ничего не просит и вежливо отказывается, даже если хозяйка приносит на шербатом блюдце лишний вчерашний пирожок (сегодня опять пекут): нет, спасибо.

— Да что же вы едите-то? — в шутовой досаде восклицает хозяйка, у которой раньше на уме было кормить учителя и брать с него за это или, если не выгорит, тогда за электроплитку. Но он специально даже предупредил, что пользоваться электричеством не будет, дни длинные.

Дни ему длинные, видали? Специально подгадал от жадности.

Ох и не полюбила его хозяйка!

На вопросы он отвечает не сразу, и отвечает так, что больше спрашивать не захочется: «А какая, собственно, разница», — вопросом на вопрос.

Даже невежливо.

Но на каждую хитрую гайку найдется свой болт, и приехала эта тетка из Москвы, развеселая, деловая-деловая, далекая двоюродная жена брата разведенного мужа что ли хозяйки.

Но эта тетка издавна на две летние недели привыкла заезжать сюда, на полотпуска, любила, видите ли, среднюю русскую возвышенность, варила варенье, солила-мариновала что под руку попало, чуть ли не крыжовник! Уезжала с хорошим грузовичком банок-пакетов-мешочков.

И кипела, кипела у нее работа в саду возле сарая в тенечке и под навесом, а там, в сарае, она и жила бесплатно, еще года три назад где до-

сками подбила-подколотила, где перегородку поставила, и однажды даже пришла радостная с какой-то предыдущей дверочкой от хлева, на которой было написано известкой «коза».

Чужеродная соседка, которая нанимала мужиков порушить старый двор, видно, и отдала ей дверочку специально назло, чтобы москвичка не снимала угол во вражеской избе, не приносила доходов!

Причем на дверочке все было как полагается, две петли, щеколда, даже замок имелся, тоже прежний.

И выделила себе москвичка в сарае как бы комнатушку, чтобы жить бесплатно.

Свет, правда, у ней был, и телевизорчик работал, и холодильник небольшой имелся. И она платила за электроэнергию по своему счетчику, который аккуратно и оставляла вместе со всем скарбом у хозяйки в хламовнице.

Так что именно хозяйке-сродственнице ничего не перепадало, одни хлопоты.

Правда, внуки хозяйки, Машенька и Юра, все ж таки ездили к тете Алевтине в Москву на зимние каникулы, как же, Кремль повидали.

А в своей сарайной комнатке тетя Аля навела красоту, обоями обклеила, на крыше все позалатала, занавесочку повесила на ту дырку со стеклышком, которая заменяла окно. Даже какие-то нары ей сделали, на них мешок с сеном, ура! Сельская жизнь.

У хозяйки поместья, правда, масса претензий, жалоб на здоровье и на бедность, язык так и работает. Но все это не по адресу, Алевтина не желает поддерживать такой унылый разговор.

Вечерком она затевает самовар на еловых шишках вскипяченный, и хозяйка со смехом, дуя на воду (московская карамель за щекой), сплетничает Алевтине:

— У меня жилец неженатый. Жад-ный!

— О.

— Да. Неженатый холостой учитель. Тридцать пять лет.

— У! (Смех.)

— Ни копейки не хочет потратить, утром мешок за спину и ушел, а вечером явится, вымоется из ведра и спать.

— Ну!

— Что ест? Крошки хлеба на веранде нет.

— В столовую ездит?

— Нет. Ну не знаю. В столовую не наездишься, автобус всегда битком набитый с лишним... и у нас то и дело мимо проезжает, не останавливается.

— Бывает, да.

— Так что где он только шастает?

Москвичка вопросительно хохочет.

Да, приехала она только днем, только разгреблась, расставила всё, расстелила.

Завтра будем решать все вопросы.

— Смородину брать будешь?

— А сладкая?

— Седни сладкая уродилась, — поет в беспокойстве хозяйка, — дождей мало было. Поливала я ее.

— А крупная?

— Похвала продать, — раздражается хозяйка, — а хуля купить.

— Да где же я хулила? — смеется тетка Алевтина.

Хозяйка подозревает у нее большие богатства там, в Москве (дети говорили), и тоже начинает хвастать собою, причем тут же похвальба неудержимо перетекает в горькие жалобы — какие две трехкомнатные квартиры она уступила дочерям, когда собственный дом в городе у нее ломали, а сама сидит зимой в однушке, и что у старшей муж капитан милиции, а у другой вообще пожарник на заводе, сутки спит на работе, двое спит дома.

— И покрыть крышу не допросишься, смотрит сериалы не оторвешь его. Буду нанимать. А детей на лето ко мне! Три раза в день баба кушаты! Всё я, всё я (и т. д.).

Обычные разговоры хозяек, героинь труда и ненаписанных комедий. Самовосхваление в форме справедливого гнева.

Тем временем постоялец, тень в пыльном камуфляжном обмундировании с горбом за спиной, бесшумно открыл калитку (Тишка затыкал), пробрался по дорожке к дому, да и шмыг на свою верандочку и там закопошился. Вышел с ведрами, что-то буркнул издали и двинул по воду. Вернулся, помылся под рукомойником до пояса.

Такая вот мирная картина.

Две Пенелопы дуют чай и смотрят на вернувшегося из странствий человека, который сам себе льет на спину.

— Алексейч, — величаво, но не без трусости восклицает хозяйка, — падалицы вон сколь яблок нападало, у меня кости ноют подбирать, наклади себе.

— Простите? — фыркая, как конь в овсе, отвечает постоялец.

Хозяйка машет рукой и почти открыто сообщает тетке Алевтине:

— Нелюбимой он какой-то, Валентина (она не может, видимо, произнести слово «нелюдимый»). И «Алевтина» у нее не получается).

Новый Одиссей убирается к себе.

Тетка Алевтина же похотывает довольно. Причем совершенно нестати. Смех у нее низкий, трубный. Несущийся в сторону терраски.

Но там тихо, темно. Ничто не шебуршнется.

— Чуден Днепр при тихой погоде, — ни к селу ни к городу замечает тетка Алевтина и опять изрыгает свой утробный хохот.

Как бы намекая на профессию учителя.

Хозяйка тем временем талдычит свое:

— Тридцать пять лет ему, и никого.

— В смысле?

— Что же человек гуляет. Добро пропадает. Вхолостую живя.

— Какое... добро? — хохочет московская тетка, уже давно сама напряженно размышлявшая на эту тему.

У тетки Алевтины много-много есть на примете девочек и женщин, тоскующих в перенаселенной Москве, но не для них, не для девушек, перенаселенной. Для них-то Москва безлюдная пустыня с волками. Утром на работу, вечером с работы в опасениях, на выходные надо куда-то сходить в гости или с подругой по магазинам, тоска.

А тут вот он, здоровый. При всем своем организме, не кривой не хромой, не заика, не псих, наверное.

Как это он ловко ответил «простите», чтобы ничего не отвечать. И пресек ненужный разговор.

А яблоч-падалицы полно по окрестным брошенным деревьям, вон сколько вокруг тоже вхолостую стоящих, одичавших садов с малиной, смородиной мелкой, сливами, дикими грушами!

— Он не в Комаровку ли бегает? — вопрошает задумчивая Алевтина.

— Хер яво знает, — зевает хозяйка.

— Ну иди, я чашки помою.

— И то пойду, Валь. Ребята поздно прибегут. У меня аллергия на солнце, я в четыре встаю, я така мочунья, — важно заявляет страдалница и уползает к себе на ведро. Из приоткрытого окна слышен далекий звон струи, как в подойник.

Попили чайку, так сказать. Так-то хозяйка поднимает юбку под деревьями, считая это полезным для сада, но когда тут вечером постояльцев полон двор!

Частые звезды проклевываются на небесах, проступают как знаки судьбы, создают рисунок будущего.

Тетка Алевтина вздыхает, глядя в сторону ушедшего заката.

Нина, вот кто ему подойдет, нелюдима тоже, фармацевт в аптеке, ее мать недавно умерла, Нина. Ей тридцать семь лет. Однокомнатная квартира в далеком каком-то Дегунино, на краю Москвы. Как они там уживались? Мать спроваживала редких женихов вон. А куда их всунуть было? Тихая Нина, глаза водянистые, большие как буркалы, молчит (на работе готовит микстуры и мазилки и тоже, наверно, молчит).

Ее мать была тоже дальней родней Алевтиноного бывшего мужа. Их там родни было как песку. Сага о Форсайтах, клянусь. Все перли в Москву, женились, выдавали замуж дочерей. Невесты, невесты. Свадьбы, обиды.

Прекрасно, думает тетка Алевтина, как думала бы древняя богиня Парка, плетя нити человеческих судеб — и так и сяк их перекрещивая и связывая будущими детьми.

Та тонкая нить судьбы, на которой привязана была эта лупоглазая корова Нина, вдруг затрепетала, забренчала и натянулась золотым лучом, как от небольшого маломощного прожектора, шарящего в глухой тьме.

Что же, другая нить судьбы пока еще провисала как ленивая веревка между лодкой и причалом на берегу.

Но луч сверкнул, шаря и пронзая тьму, заволновалась вода, лодка тяжело заворочалась, плеснула туда-сюда, отошла от мостков — и нате, веревка тоже натянулась и запела. И тут же луч прожектора полоснул по ней, зажег нестерпимым золотом эту мокрую невзрачную бечеву. Она загорелась, распушилась, показала каждую свою ворсинку, как на хорошей художественной фотографии в каком-нибудь лаковом журнале.

Тетка Алевтина затаилась и ждала.

Будущий ребенок тоже затаился там, в прозреваемом далеке.

Тихо было во дворе и в мире, громоздились полные ягод кусты, стояли стеной старые яблони. Сладко пахли вечерние флоксы и табаки.

И тут тень А. А. мигом просквозила сквозь мглу в сторону сортира. Ни скрипа, ни стука не послышалось при этом. Не прошелестела задетая на ходу штанина. Как он так мог дунуть?

Это понравилось старой Алевтине.

Она продолжала выжидать и среагировала на возвращение смутной тени из ада деревенского сортира следующим воплем:

— Доброй ночи!

(Как «руки вверх!», между прочим.)

— Доброй, — растерявшись, ответила тень и на секунду застыла.

— Вы что же как поступаете? — сухо спросила Алевтина.

— Простите?

— Ну так я и знала. Ну вы подумайте! И как же теперь быть? — спросила тетка Алевтина. — И не просите прощения, не прощаю. Никаких ваших «простите».

А он опять чуть не вякнул свое слово-выручалочку, свое «простите», которым прерывал все бабские вопросы.

И А. А. замер на полушаге, как замирает петух, втянув, отшатнувшись, головушку и занеся лапу — но еще не ступив ею.

— Вы сколько должны-то? — строго, даже недоброжелательно продолжала Алевтина.

По силуэту было видно, что петух обомлел, — видимо, А. А. подумал, что тетка обозналась, приняла его за кого-то другого.

— Кто? — брякнул этот половозрелый самец и влип, потому что на самом деле ему надо было бежать на верандочку, накинуть дверной крючок и мигом на топчан, мигом! И с головой одеялом накрыться!

А он как дурак остановился и спросил это свое «кто».

Может быть, у него была совесть где-то там нечиста, что-то он надедал в родных местах и теперь боялся погони?

Испугался мужик, испугался.

Алевтина тихо сказала:

— Я не буду орать на всю деревню.

Петух подумал, протянул лапу в пятнистой штанине и с грохотом поставил ее впереди себя. То есть сделал первый шаг навстречу своей судьбе. Потом поднял вторую жилистую ножку и занес ее над землей в намерении сделать следующий шаг. Сердце петуха сильно билось.

Но он неуклонно ступал и ступал вперед, гремя доспехами, тряся сережками и качая тряпчочкой красной бороды. Глаза его в сухих оранжевых ободках торчали как блестящие пуговицы. Гребень налился клюквенным соком и тяжело нависал. Полная картина!

«В суп, в суп зовут», — билось в петушиной голове неоформленное сознание, однако мозолистые, набитые в бегах лапы вращали суставами, как паровозные рычаги, делали обороты, и А. А. приближался к дощатому столику с самоваром, за которым сидела грузная старая Алевтина в прическе типа «полубокс», сделанной ради летних работ.

В сумерках как-то скрадывались ее женские черты, два мешка впереди, грудь и брюхо, сливались в одно монументальное целое с крутыми плечами, и выглядела Алевтина как какой-нибудь римский император с чубчиком на лоб. Суровый, тонкий рот и выдающийся нос все отчетливей проступали в полумраке.

Тетка Алевтина повела себя как начальство.

— Ну, что вы можете сказать в оправдание?

Петух даже крикнул и неожиданно охотно заклокотал, что ничего не должен, электричества вообще не жжет, ведра мои, а вот вода из колодца как решить проблему? Хотя хозяйка почему-то говорит, что рыли его складчину и она лично внесла 350 тогдашних когдатюшних рублей! Но только, так сказать, за себя, а не за своих дачников, чем ей и угрожают якобы, спрашивают вроде бы, по какому праву в сухое лето колодец весь к вечеру растасканный? А ведь я беру не для полива, а только 20 литров в сутки, в то время как другие по 200!

— Это мы решим, — отвечала тетка Алевтина. — Это дело решаемое. Не сунутся. Как величать вас?

— В смысле? — выдал домашнюю заготовку А. А. У него их было несколько. Он тренирован был на учениках не отвечать сразу. Вообще не отвечать на вопросы.

— Ну Андрей?

— Предположим.

— Андрей Алексеевич, чаю без заварки и сахара выпьешь? Все равно выливать кипятком буду.

— Нет — спасибо, — отвечал петух задиристо. — Я Александрович.

Так и заварилась эта безумная, несусветная каша, куда А. А. попал и увяз там — осмотрительный, осторожный, закаленный, боевой и злобный, всегда неудержимо и неуклонно попадающий в суп петух.

А дело происходило в золотейшее время, в самую сердцевину лета, был конец июля — начало августа. Когда плодам уже нужно зреть и падать.

В августе тетка Алевтина отбыла, нанявши микроавтобус, в Москву, уместившись среди банок, мешков и пакетов. Все это дело грузил ей А. А., а местный водитель хмуро смотрел от переднего колеса и не помогал, так как не было уговора на погрузочные работы (мужики этой деревни и всех окрестных поселений профессионально пили и не занимались ни к кому из дачников работать, ничего не делали, боясь продешевить по сравнению с ценами в Москве, о которых ходили умопомрачительные, волнующие слухи. Мужики сидели на этих слухах, как скупые рыцари на мешках с золотом, зная свои возможности и торжественно не шевеля пальцем).

Хозяйка наблюдала из окна эвакуацию и тоже не шевелилась. Пушай сами волокут.

Затем она вдруг всколыхнулась — учитель взял два рюкзака с веранды, две здоровенные брезентовые сумки, отволоч их в машину, сказал: «Спасибо — до свидания» (хозяйка в ответ только моргнула) и, дверь на терраску за собой не закрывши как надо, сел туда же, в микроавтобус, к мешкам.

Собственно, хозяйка именно о таком зяте мечтала бы для своей бы дочери, чем этот пожарник.

Алевтина же, находясь на переднем сиденье лицом к А. А. в тесном пространстве микроавтобуса и глядя, как тот мирно покоится, заботливо глядя на свои, в свою очередь, мешки, думала о том же самом: что такого бы мужа собственной дочери, если бы она была, а вместо того имелся пьющий сын и холера невестка, а вот внучок и был настоящим любимым сыном Алевтины, но в данное время он проходил тяжелый возрастной кризис (14 лет), ни на что не соглашался, хрипел, курил, глаза имел не в фокусе, дикие, врастопыр, был явно опозорен прыщами и с бабкой не разговаривал даже по телефону, а только сопел. Даже «здравствуй» от него было не дожидаться. Только «але». Для него-то Алевтина и делала запасы варенья и всего остального. Внук любил поест бабиного. За это приходилось кормить и невестку, поскольку собственный сын, наоборот, ничего не ел, щипал у пирога корочку, а норovil выпить всю наливку. Ела же невестка да похваливала, молола своими жерновами, наша невестка все стрескат, убить ее мало. Курит, пьет как слесарь, да поворовывает. Как бы все равно нам достанется, так чего же вашей смерти ждать! Серебряную ложечку унесла, больше

некому. В документах явно рылась. Намекала, «мы должны с вами поговорить о будущем». Потом поговорим.

Так А. А. в компании банок, мешков и пакетов въехал в тихую отпускную августовскую столицу на закате золотого дня, в безлюдное воскресенье.

Машина катила по широким красивым улицам предместья Подушкино, затем свернула во двор, тоже красивый как парк, и все богатства Алевтины посредством лифта были доставлены в ее хорошую двухкомнатную квартиру, где имелась стенка во всю стенку, диван под ковром, хрустальная люстра и все что сердцу надо.

Попозже ночью он уже сидел в обратном поезде и мечтал.

Он мечтал о просторной собственной квартире в таком же микрорайоне как у Алевтины, о хорошей жене, похожей на одну киноактрису, о сыне, тихом ученом ребенке, которому можно вложить в память всю сумму отцовских мыслей. О том, что больше не надо будет ходить на работу в эту школу, где дети массово лужагут семечки даже на уроке, причем норовят сидеть в наушниках.

(Так все и произошло, но много лет спустя.)

С Ниной он познакомился, будучи приглашен на день рождения Алевтины.

Видимо, об эту пору Алевтина поссорилась окончательно с невесткой, поскольку никого из семьи на празднике не было.

А. А. купил билеты туда и обратно на деньги, которые ему прислала Алевтина, и выгадал аж три дня — поменялся с кем мог. Сказал, что тетька заболела.

Нина ничем не поразила А. А.

Неказистая немолодая девушка, глаза водянистые, большие, сама полная, молчит и стесняется. Щурится, но иногда таращится.

Правда, про самого А. А. мать его тоже говорила: «Че глаза-то вытараскал?»

Поэтому он еще раньше выработал привычку щуриться и теперь понимал Нину как никто. Видел насквозь. Даже усмехался.

Короче, Нина совсем ему не понравилась, однако по тому, как Алевтина обращалась к Нине, с каким уважением, можно было составить мнение о Нине как о человеке и специалисте. (Алевтина в самом начале праздника вытатила какие-то ветхие рецепты и дала Нине, Нина их взяла неохотно и равнодушно, как большой специалист.)

Это поразило А. А.

В следующий раз они встретились в больнице, где Алевтина и умерла через месяц. Все это время Нина за ней ухаживала, возила ей соки и бульоны, всякие перетертые котлетки. Это выяснилось потом, когда А. А. женился на Нине.

А. А. приехал за свой счет на одно воскресенье, это был для него, небогатого, подвиг. Он повидал свою дорогую Алевтину, она с ним тор-

жественно поговорила, хотя и с трудом, и дала ему денег, довольно много, со словами «купи себе книг каких хочешь». При том она мужественно ничего не добавила типа «будешь меня вспоминать». А. А. не плакал, но в этот момент, видимо, сидел вытаращившись, потому что Нина взглянула на него с невыразимой добротой и участием. А. А. тут же сощурился.

Нина же дала ему последнюю телеграмму, и он приехал прямо в морг, тут же с поезда, поезд еще и опоздал, проклятый, и А. А. мчался по метро как буря. Дорогу знал, ведь уже был разок в больнице. Топографическая память у него, слава богу, блестящая. Но вышел не в ту сторону. Ничего не узнавал. На улице впопыхах опрашивал московских, ему показали дорогу.

Какая-то женщина с собакой в безлюдном месте (все-таки заблудился) сердобольно, подробно указала путь к моргу. Видимо, сама знала не понаслышке, перестрадала этот адрес.

Ужасные были места, глухие.

Нашел больницу, нашел морг, кучками стояли неизвестные люди, он спросил, где такую-то хоронят, ему ответили с диким любопытством. Нашел Нину, присоединился, кивнул. Она кивнула. Все на него открыто смотрели, пялились.

Все это время он простоял рядом с ней. Потом его попросили помочь нести гроб. Поехали на автобусе в крематорий, опять он в числе четверых мужчин нес гроб. Стал как бы своим.

Все там до конца рядом с Ниной вытерпел. Нина не плакала, а только дрожала.

У Алевтины Николаевны было какое-то очень молодое и спокойное лицо, похудела сильно. Ее накрыли крышкой, забили гвоздиками.

Из крематория поехали опять на том же автобусе в город. Где-то всех высадили. Небольшая орава помятой родни образовалась на тротуаре. Какой-то пьяненький сказал: «Просим помянуть всех родных и близких» (но на А. А. специально не взглянул. Они вообще его избегали. Как все и всегда).

— А кто это, — вдруг произнесла женщина, тоже пьяная.

— А им выпить надо, вот они и присусеживаются, — отвечала бабка.

Толстый сын Алевтины Виктор покинул свою тощую жену Марину и подобрался к Нине.

— Ну как ты? Как в смысле жизнь? Замуж не вышла? — (Произошла некоторая заминка.) — Все одна да одна? — (Хохотнул.) — Пойдем к нам, мы тебя покормим. Выпьешь с нами. На все праздники приходи. А то будешь сидеть как собака одна. С сестрами не контактишь?

Нина ответила:

— Спасибо на добром слове.

— А это кто? (Он так небрежно кивнул на А. А., как будто тот был далеко и не слышал.)

— Это наш друг,— сказала, помолчав, Нина.

— Все ясно,— неуместно весело для таких обстоятельств отвечал Виктор и вдруг как бы в сторону добавил: — Квартиру на меня запиши. А то ты одинокая, возраст уже... Знаешь, разный народ бывает иногородние. Убьют.

— Правда? — удивилась Нина.— У меня же сестры.

— Так муж будет наследник! Убьет и унаследует!

Тут Виктор поглядел на свою тощую Марину, которая смотрела на него пьяно и выразительно, как на идиота.

Вдруг А. А. подал голос (с учительской интонацией):

— Нина, мы опаздываем.

Нина почему-то оглянулась, опустила голову, поворотила оглобли, фигурально выражаясь, и пошла прочь.

Виктор остался стоять со словами «А помянуть?».

А. А., делать нечего, бросился следом за Ниной. Надо было спросить ее как идти до метро. Да она ведь точно пойдет на метро.

Билет у него был на ночной поезд.

При всем прочем надо сказать, что А. А. был исключительно трусливый и стеснительный мужчина.

На его уроках поэтому творилось полное безобразие, допризывники пулялись пережеванными бумажками, стоял шум как на вокзале.

Таким образом, А. А. пошел следом за Ниной — как-нибудь она доведет его до чего-нибудь. Спросить что-либо он побоялся.

Полная фигура его будущей жены двигалась машинально, автоматически. При поникшей голове вполне можно было представить ее в виде ожившей статуи скорби и обиды, если сделать скульптуру на шарнирах и с мотором.

Даже какое-то нечеловеческое величие угадывалось в этой немолодой девушке.

Оскорбление иногда придает человеку силы, как бывало с А. А. после бесед в кабинете директорши.

И здесь произошло следующее: на тротуар перед А. А. въехал грузовичок и загордил собой всю перспективу. Тут же его начали разгружать с кормы какие-то люди.

А. А. кинулся в обход, а другие навстречу ему тоже кинулись в обход, москвичи же, все как один рвутся вперед, колотырный народ, и не дали быстро пройти.

Когда он оказался по ту сторону полосы препятствий, Нины уже не было.

Ни адреса у него, ни фамилии. Алевтина всё, спустилась, уехала вниз.

Сколько она рассказывала про Нину, про ее жизнь, что Нина как святая. Никогда ни слова матери поперек. Две других дочери бросили старуху, рассорились с ней, а Нина так с ней до конца и просидела. И не видела никакой жизни. Ни в кино, ни к знакомым. Самоотверженность.

А. А. мудро внутренне улыбался в ответ на такие рассказы. Сватовство майора!

И понимал, зачем Алевтина его вызвала в Москву, к себе в больницу. Затем и вызвала.

Он спросил где метро и шел автоматически. Сердце его ныло. Чувствовалась полнейшая пустота во всем теле. Как будто что-то вынули изнутри. Какое-то наполнение. Он раньше сопротивлялся Нине, а тут стало некому. Оставили жить без смысла.

До поезда десять часов.

Голодный, замерзший, с невыплаканными слезами, на ледяном ветру.

Так и остался один.

Перед метро он остановился, огляделся.

Повернул назад, побегал вокруг.

Добрался до того киоска, в который все еще разгружали товары с грузовичка.

Прошло несколько минут, и прошла жизнь.

Надо было идти в метро.

И тут он увидел Нину! Она быстро двигалась навстречу ему и плакала! Смотрела на него во все свои огромные глаза! Она тоже искала его!

Как они кинулись друг к другу!

Он чуть ее не поцеловал, как после долгой разлуки, но тут же крепко взял ее под руку со словами «ну где ты ходишь, ну как так можно, успокойся», и он взял у нее из этой бесчувственной руки ее сумку, как делают все мужья.

## Порыв

Гордый, гордый, измученный борец за свою любовь, чего она только не вытворяла!

(На все имея, как она думала, свои права.)

И через что только эта любящая ни прошла, в том числе родной муж на прощанье погнул ей передний зуб ударом кулака (зуб удалось отогнуть обратно).

Дети! Дети от нее чуть ли не сбегали, дочь не хотела ее видеть, не отвечала по телефону, слышав плачущий голос матери.

Сын-то что, сын остался с матерью, она его отвезла на дачу, где теперь прозябала, зимняя полусгнившая дачка с печкой, школа в дерев-

не и магазин сельпо, где чипсы, мороженое, пицца, шоколадки, постное масло, хлеб и мыло, а сыр бывает не всегда.

Вот там она с этим сыночком и проводила все то время, когда не охотилась за своим любимым, за светом всей своей жизни, — а это был обыкновеннейший человек, каких тысячи, не очень молодой, среднего вида, умеренно щедрый, но ведь зацепит, понесет — и не знаешь что с этим делать.

Огонь в крови, что называется, цепь химических реакций, буквально в преддверии атомного взрыва!

Еще и побрилась налысо.

Но ей все было к лицу — и эта истощенность, и эти огромные сверкающие бриллианты в виде глаз, и большой спекшийся рот, всё.

Тут бедняга объект не знал что поделывать, у него уже имелась порядочная иностранка жена и сын студент, хорошая квартира, все налажено, европейский быт, иногда легкие романы без обязательств, дача (бывший хутор) в Литве, случайный секс в командировках (это и было, кстати, началом данной истории, секс в чужом городе, в гостинице, поскольку и он, и та, о которой идет речь, были теперь жителями разных стран).

Затем дело повернулось так, что он специально приехал на длительную побывку в Москву, все умно устроил, и ему его фирма даже сняла квартиру.

И эта Даша, о которой идет речь, бывала у него неоднократно наездами с дачи — дело происходило уже летом, сын пасся на воле, у него были закадычные дружки в поселке, а еда — насчет еды он был спокоен, покупал себе в магазинчике мороженое, чипсы, кока-колу и заледевшую пиццу, и они с друзьями пировали, даже жгли костер в заброшенном мангале, который еще давно, о прошлом годе, приобрел ныне оставленный отец.

Даше это было на руку, сын самостоятельный человек, мангал — здорово придумал, молодец, вон еще картошка есть, пеките!

При этом она могла уезжать в город, где ее любимый свил для нее гнездышко и где их ожидала постель.

К ночи Дарья, взвившись как цунами из койки в полный голый рост, выметалась к сыну, иногда с последней электричкой, что делать!

Стон стоял в душах разлучавшихся влюбленных, еженощные вопли прощания.

Но это только распаяло взаимную тягу, это постоянное слово «нельзя» и «надо».

Что-то, правда, маячило в скором будущем, Даша устроила сына в молодежный лагерь, все шло к желанному результату — и, выкупив путевку, Дарья с торжеством кинулась к своему гражданскому супругу.

Она незапланированно, без звонка, бежала ему сообщить, что на ближайшие двадцать четыре дня они свободны. Поскольку трубку он не брал ни там ни тут.

Может, у них совещание. Белый же день на дворе!

Очень быстро, схватив тачку, Даша оказалась у знакомого дома.

Мысль была такая, что все быстренько приготовлю, дождусь любимого человека, ура!

Однако, порывшись в сумке перед дверью, она обнаружила, что у нее нет ключа! Куда-то он запропастился. Потеряла? Но как? Он же был на связке!

Совершенно обалдев от такого открытия, Даша спустилась вниз и встала у подъезда, глядя вверх.

Квартира дорогого находилась на втором этаже, как раз над балконом первого этажа, а именно на этом балконе имелась решетка, крепко сваренная тюремная решетка, и они с Алешенькой всегда даже весело недоумевали, как же эти люди живут как в камере, небо в клеточку!

Далее они догадались, что эта клетка вполне может быть использована как лестничка: раз — и ты на балконе второго этажа!

То есть защита от воров на первом этаже есть путь как раз для этих же воров к соседям!

И надо тоже загораживать свой балкон, и это будет цепная реакция, распространение тюремных решеток вверх.

Так они весело рассуждали, возвращаясь домой, беззаботные владельцы не своего имущества, ничего не имеющие, ничего в этом городе, кроме гнилой дачки с печкой (правда, в очень хорошем поселке).

Здесь надо сказать, что Дарья была не просто так себе бедная женщина, беглянка с ребенком, она к описываемому времени очень хорошо зарабатывала своим ремеслом, гораздо больше, скажем, чем ее заброшенный муж или этот новейший кандидат Алешенька.

О, Дарья только внешне выглядела бедолагой, а на самом-то деле она уже начала вить новое гнездо, заказала архитектору проект загородного дома в два этажа и даже сделала великий первый шаг, насыпала из щебня дорогу для строительной техники от шоссе и напрямик к домику, то есть заложила основу новой жизни.

Так! Однако же теперь она стояла под окном недоступной квартиры, Алешенька еще не пришел, а ждать на лавочке это дитя порыва не могло.

Быстро и аккуратно, не оглянувшись, она цап-цап и взвился на балкон второго этажа по балконной решетке первого — напрямик до заветной цели, перевалила за перила очень бодро и радостно — и оказалась у входа в квартиру, у стеклянной приотворенной балконной двери.

Она вошла, восторгаясь собой и готовясь (впоследствии, когда Алешенька явится), к веселому рассказу о своем подвиге, тронулась было на кухню выпить воды, но у двери оглянулась — и оцепенела.

Стоял аккуратный приоткрытый чужой чемодан, на тумбочке лежала дамская сумочка, но постель! Постель являла собой полуостывшее поле битвы, да. Следы сексуального побоища были налицо, к тому же имелось маленькое как бы засморканное полотенце...

Итак, у Алешеньки только что была женщина. И он дома.

С кухни, вдобавок, доносилось постукивание, как бы лязг ножики по той самой фарфоровой дощечке, которую Даша купила месяц назад! Явно готовилась какая-то пища, слышался голос женщины с вопросительными интимными интонациями, то есть чужая баба вела себя как в собственной квартире!

Алешенька что-то утвердительное вякнул в ответ. Согласился. Его голос!

Они не в первый раз вместе тут!

Не помня себя от гнева, полная отвращения и страдания, наша Дарья, забыв обо всем, ринулась на эту кухню и закатила Алешеньке истерику, не больше и не меньше.

Она кричала, захлебываясь слезами и соплями, чуть ли не душила себя сама. Она зачем-то обращалась за утешением к своему любимому мужу, который ей только что изменил с другой!

Она не видела ничего вокруг, ее не интересовала эта вежливая окаменевшая тетка, которая замерла с занесенным ножиком, и даже Алешенька, бледно улыбающийся, сидящий в углу, сейчас ушел на задний план и там маячил в неразличимом виде, как белое пятно.

Даша протягивала к нему руки и все бормотала, плача.

Однако же, как оказалось, Даша выдала в этот момент свое самое гениальное произведение. Ни раньше, ни позже ни один текст такой силы не производила ее мятежная душа.

Затем она повернулась, застонала и ринулась вон. Она бежала сломя голову, не различая сквозь слезы ступенек, она выскочила на дорогу чуть ли не под автобус, раздался визг тормозов, но она промчалась дальше как вихрь, спасаясь, понеслась среди домов напрямик, вылетела на магистраль и стала ловить машину, тряся рукой и подпрыгивая.

Там ее, остановившуюся в своем порыве, и настиг Алешенька, обнял, стопанул тачку и поехал с ней в ее дачный домик — навсегда.

Он сразу ей сказал, что это неожиданно приехала жена.

Добавочным призом в этой трагедии было не только то, что он отключил свои телефоны, но и то, что дверь в квартиру была защелкнута на дополнительную кнопочку, про которую они шутили в свое время, что вор не вылезет, не зная секрета.

Эта кнопочка блокировала возможность входа-выхода, эта шальная кнопочка, но Дашу на вылете из квартиры как свет озарил, она даже как-то засмеялась, рыдая, и легким нажатием освободила замок.

Она поняла, что Алешенька предусмотрительно запер дверь изнутри, его жена не могла знать этого секретика! Алешенька запер дверь, боясь, что придет она, Дарья!

Да: и куда делся ключ, кто снял его со связки? Когда?

Но об этом она никогда не спрашивала своего мужа, никогда в жизни.

## Как много знают женщины

Вот вам история об идеальной девушке, воспитанной идеальной матерью и утонченной, идеальной бабкой-пианисткой. Интеллигенция, причем еврейская интеллигенция.

Все три — красавицы. Причем бывают такие лица без национальности, и у них были именно эти лица, и с годами их красота не меркла.

Бабка была из тех прелестных старушек, перед которыми расплываются в улыбке даже самые отпетые прохожие, пассажиры в городском транспорте и продавщицы. Как удачный, добрый и красивый, да еще и трогательный младенец она была. Разум свой удачно скрывала. Руки берегла, даже летом ходила в шерстяных митэнках, ударение на «э», в таких перчаточках с отрезанными кончиками. Бывшая знаменитая консерваторская красавица.

Мать удалась попроще, к старости располнела, работала врачом в клинике, в серьезной, страшной клинике, среди неотступных трагедий, в мире сумасшедших.

Они, больные, ее любили. При ней становились здоровыми, не помнили ни преследований, ни врагов, ни раздающихся в пространстве ушей четких приказов, ни излучений с потолка, от чего одна защита, привязать сверху на макушку резиновую грелку.

Трудно сказать, что она их любила. Она им помогала жить в условиях клиники, держала в отделении таких же, под стать себе, врачей и безусловно героический, пожилой и преданный младший медперсонал. Даже пьющие санитарки ее боготворили.

В ее тайных пациентах ходили и великие музыканты, и баснословно знаменитые поэты и писатели, художники всего что Бог послал, убудки человеческого рода, хромые как бесы, кривые, припадочные, бессонные, с тягой к наркотикам и азартным играм, к суициду как результат. Патологически ревнивые извращенцы, убийцы, страдающие как простые инвалиды, тревожные крикуны, невыносимые для своих жен, детей и разнополых любовников.

Она никогда не произносила их имен, но на верхних полках стояли улики, подписанные книжки и пластинки.

У нее у самой была одна слабость, как у многих великих женщин (она была великий врач). Марья Иосифовна любила свою дочь, безмолвно и ненавязчиво. Она вытирала за взрослой девочкой пол в ванной, приносила ей чашечку чая по утрам в постель, никогда не делала замечаний — никогда.

У девочки и так было много проблем в школе, учителя не желали принимать ее врожденного чувства превосходства, которое выражалось в полном смирении и великой вежливости.

Училки воспринимали все это как издевку, и они были недалеко от истины. Срывались на крик.

Дети — те перед ней преклонялись, девочки вечно клубились вокруг Кати, мальчики пристально, уперто смотрели с разных концов класса.

Проблемы были, как водится, с физкультурой.

Пришел новый жесткий учитель, нагнал на всех панику, что будет ставить двойки.

Катя была диванный ребенок, ленивый и грациозный, ей не полагалось бегать кругами, высунув язык, или сигать через козла, растопырившись. Не та природа. Тем более лазить по канату как мартышка или по-мужички швырять диски куда попало — а эти виды спорта входили в обязательный набор упражнений, за которые ставились оценки.

Даже вообразить себе это было невозможно: Катя бегаёт как угорелая.

Она, правда, пыталась, и потом подруги ласково над ней хихикали, изображая эту семенящую походку и озабоченный вид.

Катя забастовала, перестала ходить в школу, ничего не объясняя матери.

Дело было, разумеется, в мальчиках, которые толкали друг друга локтями и укромно, зайдя за чужую спину, гоготали, кивая подбородками на Катю.

Мама ей, как врач, легко достала освобождение, диагноз был какой-то сложный и нечитаемый, но речь шла о больных ногах.

Что оказалось пророчеством.

Теперь на всех уроках физкультуры Катя сидела на низкой скамеечке в спортивном зале и читала, и все мальчики шеголяли выправкой и сноровкой. Были настоящие состязания в виду такой маленькой прекрасной дамы! С выкриками, хеканьями, о-па! Чтобы она оторвалась от книги и посмотрела своими прекрасными синими глазами из-под пшеничной челки.

Еще в детстве она была похожа на розовую ренуаровскую девушку.

Катя легко, но с большими сомнениями поступила в один институт, занялась почему-то математикой. Потом перебазировалась в другое заведение, изучать языки (она и так знала два).

То есть пошла по линии наименьшего сопротивления. Это уже была ее знаменитая инертность.

Другие зубрили, старались, занимали столы в лингафонном кабинете, а она жила задумчиво, не спеша, не проявляясь. Скрывала себя. Таилась.

Многие из мужской молодежи, наоборот, заинтересовались ею, причем в основном самые энергичные, спортивные, дурачье, одним словом.

Не находилось для нее ровни, тем более в ее институте, где ребята были уже после армии. Взрослые, грубоватые, целенаправленные дрова. Низшая раса.

Катя закончила институт, пошла работать в библиотеку, в иностранную периодику, очень посещаемый зал, отборная интеллигенция, в том числе и богема.

И тут Катя влипла, влюбилась в игрока, картежника, преферансиста (еще и бридж с бильярдом) и завсегдатая бегов.

Она привела его домой, старше себя на добрых семь лет, в анамнезе два сотрясения мозга, сотрясы и черепа на жаргоне травматологов (он работал в больнице санитаром).

При мужчине был чемодан.

Мария Иосифовна диагностировала (молча) психопатию, эпилептоидность и многое другое. Напрасный труд было бы просить его провериться на Вассермана и т. д. К жениху таких требований не предъявляют.

Гром грянул, когда Катя заболела и скрывала симптомы от матери, пока не пришлось идти на аборт (явно по наущению подследственно-го). Аборт был, разумеется, на его условиях, т. е. не в больнице, а через знакомых Антона, дорожка уже была для него проторенная, видимо. Не в первый раз отводил девушек.

Мать обо всем догадывалась (чего стоила утренняя Катина тошнота!), безропотно давала деньги. Вынуждена была вести нескольких больных на дому за гонорар, чего раньше себе не позволяла (книжки и пластинки, и только!).

Рассеянная Катя, однако, по своей привычке все разбрасывать выкинула ампулу мимо мусорного ведерка.

Мама подметала, мыла и убирала, в том числе и полезла со своей седой головой в шкафчик для этого ведерка, она всегда все вылизывала как простая санитарка (бабка к тому времени уже почти не ходила, сидела в своих митэнках у телевизора и кротко высказывала всегдашнее недовольство уровнем музыкальных программ).

Мать поднесла ампулу к своим близоруким глазам.

Разговор у нее был только с Антоном, она его вызвала во двор. Антон, улыбаясь своей заманчивой улыбкой, обвинил во всем Катю. Как и полагается. Дескать, она заболела еще до него, добрачные связи и что вообще творится в библиотеках.

Психиатр, блестящий диагност, да еще и владеющий всеми техниками какие полагаются, Мария Иосифовна сделала невозможное — Антон убрался вон и навеки.

Может быть, и из жизни, кто знает — дар убеждения у Марии Иосифовны был выдающийся.

Собственного жилья у него вроде бы не было, какой-то жене с ребенком все оставил, перекасти-поле от бабы к бабе, даже три года зоны имелось в досье, как он в порыве откровенности признался Марии Иосифовне.

— Вас срочно вызвали в командировку, — посоветовала ему она.

Катя тем же днем потащила на анализы, а когда вернулась, на столе лежала записка от ушедшего. Мария Иосифовна ее не читала принципиально, сидела в кухне, пока Антон собирался и калякал, улыбаясь как игрок, свое последнее «прости», вышла только в прихожую взять у него ключи. Он сбежал прочь по лестнице даже мимо лифта. Она сползла следом за ним, почти мертвая. Хотела удостовериться, что ушел.

Катя прочла, легла. Не умерла, но застыла.

Мать выписывала ей бюллетени в своей клинике, а что делать, только там дают освобождение на месяцы. Через сто двадцать дней надо было или увольняться с работы, или брать инвалидность по шизофрении.

Катя лежала. Мать сходила, снесла ее заявление об уходе, написанное собственноручно.

Катя лежала, даже не читая. Лежала в обнимку с телефоном. Услышав не тот голос, просто клала трубку. Не ела.

Мать начала ставить ей капельницу с глюкозой и витаминами. И, видимо, расходовала все свои силы, поддерживая дочь при жизни. Почернела, хотя сохраняла ровное, благожелательное отношение к окружающим, особенно у себя в клинике.

Дела шли все хуже.

Для такого случая восстала из пепла бабушка, Анна Ионовна. Она села сиделкой при Кате. Поддерживала ее, когда ей надо было выйти. Обе были одинаково истощены.

Катя была неглупой девушкой и в конце концов соединила концы с концами — то ли Антон все-таки подал ей знак из своего небытия. Нет, скорее она сама догадалась, почему ему пришлось исчезнуть.

И внезапно Катя перестала разговаривать с матерью.

Через некоторое время бабка пошла за газетой к почтовому ящику и принесла ей конверт без обратного адреса.

Это был пустой заклеенный конверт!

Но почерк, почерк был Антона!

Катя вдруг ожила, даже начала вставать и выходить из комнаты. Чуть ли не была предпринята целая экспедиция «на воздух». Катя к чему-то тайно готовилась.

Катя не знала, что почерк Антона был скопирован Марией Иосифовной со старого пустого конверта, аферист оставил его впопыхах на полу под письменным столом. М. И., вылизывая комнату дочери после ухода самозванца, конверт этот нашла и припрятала. Письмо было написано с зоны, адресок присутствовал, то есть пациент не соврал. Только дата на нем была свежая: едва ли полгода прошло после отсидки, а добрый молодец уже нашел себе Катю, девушку с квартирой.

Письмо было адресовано тоже девушке, видимо, но без адреса: на Центральный телеграф до востребования, Худайбердыевой Е. Г.

Причем письмо явно дошло и было затем отдано автору при встрече. А возвращение писем обычно свидетельствует о гневном и нарочито демонстрируемом разрыве. Любящие обычно берегут адресованные им письма, это очевидно. А равнодушные их просто выкидывают.

Насолил Антоша, насолил этой Е. Г. Но она его тоже любила. Специально пришла бросить ему письмо в лицо.

Теперь: Катя собралась выходить из дому!

Причем бабушка Анна Ионовна видела, что Катя роется в справочнике, явно ищет какой-то номер телефона — что само по себе огромный прогресс по сравнению с предыдущей апатией. Она нашла что ей было надо, далее попросила атлас Москвы. Искала определенную улицу, сообщила Анна Ионовна своей измученной старой дочери.

Мария Иосифовна поняла, что девочка ищет то отделение связи, куда в почтовый ящик было опущено поддельное письмо.

Но сил встать и пойти у Кати не было.

Между матерью и дочерью опять пошли разговоры. Короткие, только по делу. М. И. предложила Кате ставить ей капельницы, чтобы возобновить прежний уровень и поправить цвет лица. Была вызвана лаборантка, взяла анализ крови.

Катя была, что называется, уже здорова «по венере», но слаба как выкинутый на помойку недельный котенок.

В капельницу М. И., разумеется, стала добавлять нужные препараты. Очень осторожно.

С течением времени Катя окрепла, встала, исчезала из дому, затем даже дело дошло до того, что она, совершив огромное усилие, вернулась на свою прежнюю работу (именно там она и встретила впервые своего Антона).

Она была взята в тот же самый зал, но теперь на полставки, вместо одной сослуживицы, ушедшей в декрет.

Видимо, Кате было важно встать на тех путях, по которым предположительно может еще раз пройти Антон.

Вместо Антона (велика сила женской красоты!) появился Глеб, ему нужны были на дом журналы по специальности. Катя вынесла ему эти журналы. Он их с благодарностью вернул. Затем долго пахал твердую почву, чтобы залучить Катю в кафе (все переговоры велись по телефону, домашние слышали).

Дальше больше — осмелился и пригласил Катю в свою компанию на дачу, как раз на Новый год.

М. И. поставила Кате капельницу с долей очень важного препарата под предлогом дозы витаминов для поддержки сил, и Катя вернулась домой утром явно после ночи любви, с синевой под своими синими глазами и с явно набухшими губами. Так что ожидаемоестряслось.

Глеб, небольшой, настырный, некрасивый, но вылитый головастый сперматозоид, одолел сопротивление Кати, и она теперь ходила с ним куда он хотел совершенно безголовая, воплощенный секс-символ, глаза сонные, губы набрякшие как с мороза. Они, не стесняясь, запирались в Катиной комнате на какую-то новую щеколду, после чего следовали скрипы, бурные сотрясения и напоследок ритмичные быстрые удары.

Всё! Сыграли свадьбу.

На пиру Катя, вдруг как бы опомнившись, ушла на лестницу плакать. Мать Кати и бабка уже откочевали домой сразу же, как только позволили приличия.

Родители Глеба, широкогрудый подполковник Иван Петрович какой-то, и мама, Эмма Яковлевна такая же, были люди простые, даже нарочито какие-то простецкие. Они тут же за столом, как только новая кума с матерью ушли, буквально минут за пять безобразно поругались с сыном и практически выгнали его вон из дому (а до этого Глеб хлопотливо планировал привести жену к себе в комнату, отциклевал и покрыл лаком пол и т. д., и родители не протестовали — но поссорились с сыном, что делать!).

Глеб оделся, затем, по его словам, сгрел одежду жены, подхватил плачущую Катю на лестнице, одел ее, поймал машину и отвез молодую к ней домой обратно.

Там он все рассказал Марии Иосифовне и старушке Анне (Марии Иосифовне всегда все окружающие рассказывали абсолютно всю подноготную, причем она этого вовсе могла и не хотеть) и остался жить, что делать, в чужом доме.

Хорошо еще, что пресловутый Антон так и не женился на Кате в свое время, она это объясняла тем, что милый не хочет травмировать своего ребенка разводом.

Катя проплакала до утра.

Мать к ней не заглянула ни разу.

Через восемь месяцев у Кати родилась девочка, которую Глеб все ночи носил на руках, чтобы хоть она не плакала. У ребеночка была грыжица.

Второй ребенок, сын, родился через два года и был, что удивительно, вылитый Антон!

О чем сразу же сказала сынуле Глебу его многоопытная мамаша Эмма Яковлевна: «Сын не твой, не наш».

Тем не менее и этого ребенка Глеб носил ночами на руках.

А Катя меркла, гасла, погибала, вместе с ней умирала и ее бабушка и умерла.

М. И. держалась как всегда — приветливая, ровная, скромная как английская королева.

Зять Глеб ненавидел ее люто, со временем он стал близко к сердцу принимать тщетно скрываемое превосходство тещиной семьи над собственной, материнско-отцовской, простодырой.

Свою мать, практичную, говорливую Эмму Яковлевну, он ставил много выше.

В свое время молодая Эмма так опутала, обротала Ивана, этот громокипящий кубок, гениального военного инженера, самородка из мордовского села, что увела его от жены и сына, и больше о них не было ни слуху ни духу до тех пор, пока та жена не умерла, оставив сына-подростка в одиночестве. Второй сигнал пришел, когда того Ивановича по молодости посадили, и он отправил отцу из зоны весточку, чтобы ему, видите ли, присылать посылки.

Эмма все это пресекала мигом.

Тот сын возник еще один раз, был спроважен и, по слухам, погиб.

Эмма была в прошлом училка чего-то типа географии. Маленькая, подвижная, не скрывающая ни одной из своих мыслей, грубая как сама жизнь. Муж был ею зачарован.

Она знала свое дело и подтачивала, пилила самые основы жизни своего сына, истончалась его доброта, широта души, щедрость, его жалость к вечно больной жене, его любовь к деточкам, которые оба страдали пупочной грыжей и не должны были плакать, надрывая свои и без того слабые животики. Всего этого лазарета та мамаша не переносила, ревновала к таким сердечным порывам Глеба, окорачивала его, ехидно раскрывая ему глаза, поскольку эти чувства направлены были на чужих! Не в семью, а вон из семьи! Не ей, матери, а посторонним!

Она эти монологи произносила прямо в квартире Марии Иосифовны.

Она предполагала, что у Кати гонорея последняя стадия, сделай, сделай ей анализ!

Видимо, Катя рассказала Глебу в минуту особенного доверия свою предыдущую историю, а он, не моргнувши глазом, тоже под влиянием хорошей минуты раскрыл тайну мамаше.

Она также утверждала, что дети (оба) не его, что им как дураком пользуются! Женился на путане!

В конце концов Глеб остановился между матерью и женой как бы в безвоздушном, пустом и выжженном поле нелюбви. Он презирал мать и верил ей, он любил Катю и подозревал ее.

Стал пить.

С матерью расплевался. Она звонила М. И. и стеклянным звонким голосом говорила ей несусветные гадости о ее проститутке-дочери и о ее сожителе из зоны (тоже, оказывается, все было ей известно).

Домой к жене Глеб вваливался с руганью. От него смердело. Часто валился в прихожей и там засыпал, приклеившись к полу. Его диссертация застряла.

---

И Мария Иосифовна внезапно умерла.

Странная это была смерть, на дежурстве в клинике.

Причиной смерти была сердечная недостаточность, как это обычно пишут. Неизвестно отчего все произошло. Буквально на пустом месте. Просто остановилось сердце, когда она сидела у себя в кабинете за письменным столом.

Ее врачи на похоронах стояли буквально черные, ненавидящие. Они подозревали нехорошие дела. Почему, непонятно. М. И. ни единой душе, совершенно никому не рассказывала о том, что у нее творится в доме.

Но от людей ничто не спрячется.

Глебовы родители тоже присутствовали на похоронах, демонстрируя губы скобочкой и непроизнесенные опасные слова.

Тем не менее семья Кати сохранилась.

Глеб бросил пить после похорон, как отрезало. Даже за упокой не выпил. Родителей попросил не ходить на поминки, мать просто не пустил, когда она нахально позвонила в дверь (отец прятался на лестнице).

— Мы что, не родня? — закричала она.

\* \* \*

Катя работает в библиотеке, стала заведующей залом.

Материнская душа как будто поселилась в ней.

Спокойная, благожелательная, она почти не может ходить и всегда окружена кольцом любящих сотрудниц.

Муж приезжает за ней на машине и несет ее на руках вниз по лестнице, усаживает, а потом и дома несет вверх до лифта.

Все утряслось, отстоялось, пришло в свои берега, дети растут и приезжают делать уроки, торчат в библиотеке у мамы, а Эмма сидит дома и пророчествует, выводит на чистую воду, звонит сыну и попрекает его, что он ее бросил, и в том числе прорицает, что в детях Кати дурная, плохая кровь, раз их бабка покончила с собой.

Откуда-то она это взяла, может быть, витало на похоронах, кто-то обмолвился — или она словила из воздуха страшную догадку врачей.

Во всяком случае, Эмма твердит, что Марья остановила себе сердце ради дочери, без таблеток, а одной своей силой. Почуяла, что из-за нее, из-за ее собственной дурной гордости зять бросит семью.

— Но куда, ты их не бросишь, ты не в этого идьота, ты в меня! — звонко вопит она в трубку.

Сын терпит и не отключает мать, хотя слушать эти речи переносимо.

Как много знают женщины, как много.

## Сон и пробуждение

Первое, что приходит на ум, когда слышишь, что о нем говорит одна красавица: «Я бы им увлеклась, если бы он не был женат и с четырьмя детьми», — так вот, первое, что приходит на ум, это то, что и он, о ком идет речь, — тоже красавец. Так и видят: он красавец, она красавица, но между ними его семья, его дети, его долг. Такой замечательный пример на тему «любовь и долг», и в голове у человека, который ничего не знает, только факты, возникает как бы фильм: красавец читает лекции по всей стране, а она, красавица, слышала и видела его, мужчину-звезду, многодетного, но чистого и честного, с женой вкупе, и возникает образ жены, обычно не слишком симпатичной, то есть всегда усталая и вечно изможденная матрона, но о ней позже. Вторая сторона, которая говорит, что не смеет увлечься им, — она тоже красавица, она работает как раз в лектории по распространению таких или иных знаний. Он приходит туда, захаживает, ну как, девочки, вот я привез отчет, отработал пять деньков в Сибири при температуре минус сорок девять по Цельсию, сапоги к почве примерзали, в области вырубилось отопление, как они говорят, «разморозилось», то есть наоборот, но на лекции народ валил. «Как всегда», допустим, говорят девочки, милое оживление, чай, шоколад (они угощают его, а он принес дорогой торт и очень доволен), милый, приветливый, религиозный кандидат наук, красавец с бородой, ничего не скажешь.

Так, теперь она, вторая сторона двойного портрета: лицо скульптуры, из тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине, — брови вразлет, нос короткий и тупой, рот полный и классически вылепленный, подбородок крутой и круглый, просто какая-нибудь Минерва. Все красиво и гармонично, все дышит классической печалью, только зачем все это, когда нет жилья, снимает комнату и дешево идет в любые руки, просто от тоски. Мама на Украине где-то в городке врач, а тут, в Москве, у Минервы фиктивный брак и комната, где она живет ради дешевизны с аскетически суровой подругой мужского склада. Каждый вечер лихорадочные приготовления, каждый вечер надежды на несбыточное, вроде найти принца, бросить курить и т. д., и каждое утро стремление завтра начать новую жизнь, а вчерашнее — сон, кошмар, ошибка. Пустые бутылки под кроватью. Окурки везде. Но что ни вечер, то снова ошибки. И одни и те же лица в этом хороводе, какие-то страшные недомужчины и полуженщины, которым тоже надо выпить. Где ты, неземная классическая украинская красота, где все то, что должно сопровождать элегию печальных карих очей под широко разлетевшимися «чорними» бровями, элегию этого спокойного выпуклого лба, где то, что вознесет эту красоту, где оценивающие, где стражи, где паж,

где? Пьет, что принесут, курит чужие, сидя по-турецки на тахте, да еще в короткой юбке, тяжелые волосы пушатся на висках и ореолом сверкают вокруг головы. Весь быт тут. Здесь чашка ложка тарелка заварка в стакане. Чайник сковородка чемодан вешалка на гвозде, закутанная плахтой, присланной из дома, тонким покрывалом. Лампочка в абажуре из обложки журнала просвечивает сквозь красное, на окне кефир и банка с остатками сметаны, как будто со старыми белилами. За окном висит в авоське нечто в бумаге. Всё.

Зима, морозы, прекрасная Минерва с трудом после вчерашнего встает, реанимируется к новой жизни, подруга-аспирантка давно пьет чай, собранная, в уродском свитере, пальцы желтые от курева, сигарета дымит, милая, уютная картина.

Сборы на службу, и на службе появление внезапного сокровища, Он в бороде пришел получить командировочные бумаги и деньги уже перед самолетом, какой-то национальный герой вроде статуи Минина и Пожарского. Бегают, ставят чайник, Минин уже собран, с сумкой, с коробкой, он готов, но есть еще полчаса, он дарит им свое время! Рассказывает с большим юмором о детях, об их религиозности, мальчики один весь в аквариумах и кошках, другой пишет музыку, и умер его педагог по скрипке, ужас. И о том, что одна девочка другой, маленькой, на ночь рассказывает обязательные молитвы. И о том, как живут летом в своем домике на хуторе и за шесть километров посылают мальчишек на велосипедах за молоком и яйцами в деревню, а огород свой...

Тишина, тишина, рай! Рай!

Минерва чувствует, что предназначена именно для такой жизни, она знает это, она сидит усталая и тихая, лицо озарено, голова вся в крупных кудрях, мечтательно шурясь, невидяще смотрит вдаль. «Это я, это обо мне!» — как бы молит она и знает, что Он тоже знает это, но не судьба. Ей бы хотелось, чтобы именно у нее были эти дети, чтобы она (дети гурьбой) ходила бы с ними в лес, и в храм, и по улице. А Он бы приехал с деньгами на жизнь, как Он сейчас приезжает...

Конторские девочки разливают чай. Он видит перед собой трогательно-женскую, классически чистую и ясную красоту, как, с каких высот спустилась эта богиня? Целует ей с видимым чувством руку: благоговейя богомольно и т. д. и чуть ли не руки дрожат. Чуть ли не готов все бросить, но не бросает ничего, а уходит, и все его при нем, сумка и коробка. Также красавец, они предназначены друг другу, думает она.

Он уходит, а в аэропорт он едет не один, а с одной старшеклассницей из своего юношеского лектория, такие пироги, она навязалась его провозить, чудо на ножках, рот пухлый и сонные глаза, детская походка волооча ноги в «луноходах», папа с мамой заставляют носить из-за мороза. Ребенок есть ребенок, хотя ей уже пятнадцать, могла бы и повзрослеть, но она знает толк в эротике и не хочет быть девушкой, оста-

ется ребенком для своего мужчины. Сон во всем, лень, волочит свои «луноходы», шаркает, держась за карман пальто своего учителя, рот надутый, не хочет, чтобы он уезжал. Мужчины по дороге делают стойку, принимая ее за дочь папы, не то чтобы провожают взглядами, но скорее прячут свои нескромные глаза и образуют почетный караул плюс две секунды спустя. Девочка из хорошего дома, родители эмигрируют вот-вот, ждут разрешения, а она то ли убежала уже из дому, то ли хочет дожить до шестнадцати, получить паспорт, прописку и гражданство, остаться здесь, чтобы только не упустить его, его, свое главное достижение в жизни.

Как-то прошлым летом она к нему заявила, улизнув с дачи, где ее стерегла бабушка, позвонила в дверь, лениво вошла, он сделал вид, что озадачен: шутливо подняв брови, смотрел (а незадолго до того он кое-кого проводил, выпроводил одну иностранку, которая ему устроила зарубежное турне по университетам и которую он в результате угостил анекдотом, что любовник — это спонсор мужа, а эта иностранка, со знанием русского переводчица и с большими сумками через плечо, где находились ее подарки русским, — эта иностранка печально хмурилась, задумывалась и была готова уже увезти «бойфренда» в багажнике своего автомобиля в ее пустынную безоблачную жизнь, где она жила все еще одна, но он-то что-то сомневался, кивал на семью, поскольку уже переспал с настырной бабой и затосковал от этого насилия) — а вот теперь он серьезно смотрел на свою ученицу, затем проговорил «ну заходи», она зашла, прошла, куда он ее пригласил, а именно на кухню, и без памяти прижалась к нему, первая любовь, вот что. Четырнадцать лет ей было, а затем она плакала и не хотела уходить, вся была прямо в горячке, Лолита-инициатор, маленькая кокотка с добрым сердечком, в сущности, ребенок.

И вот вам красавец, и вот вам красавица, и финал такой, что красавец выгнан из дома женой с битьем морды, причем это он бил и сломал жене зуб, а произошло это потому, что жена узнала об аборте юной ученицы, ученица сама звонила с целью отбить и бесстрашно встречалась с матроной. А матроне это было на руку, у нее оказался школьный друг, который потом тут же сразу вошел в семью, надстроил над домом в деревне второй этаж, художник и золотые руки, в свою очередь жена которого с тремя детьми долго жила, это все знали, с одним еще художником-халтурщиком и богачом, и в конце концов художник-бедняк был сманен бывшей школьной любовью (женой нашего красавца) и стал строить себе мастерскую в деревне уже на основе ее семейного дома, такие дела. Все устроилось, таким образом.

Красавица же наша Минерва после одного ночного бдения оказалась тоже на грани аборта, но стойко выдержала искушение, родила девочку без мужа, и подруга встречала ее из роддома и первый месяц еще жила с ней, поддерживала после кесарева сечения, таскала ей с рынка

клюкву, но потом съехала заканчивать свою личную диссертацию, не все жить чужой жизнью. Минерва же выписала тоже красавицу-мать пенсионерку из южных садов, старуха засела с девочкой, а Минерва пришла на работу слегка выдохшая, классическая мраморная статуя, но теперь уже точно мраморная, ибо бескровная, известковая, зажигает одну сигарету о другую — и встречает изредка классического Минина и Пожарского с бородой, слегка с прибитой прической, который все хлопочет и судится насчет деточек, отобранных у него лихой женой (вот тебе и усталая матрона), особенно насчет младшей, все кружит вокруг родного пепелища, и в частных беседах все выступает с уклоном в воспитание детей, в супружескую верность и с уклоном в образ женщины-матери и хранительницы очага, как выступают многие сильно погулявшие мужчины и таковые же женщины в возрасте, которые наконец поняли что почем, а то раньше не понимали и развлекались кто во что горазд, жили как во сне, а теперь раз — и проснулись.

### Я люблю тебя

С течением времени все его мечты могли исполниться и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его был долг и ни к чему не привел. Единственно, что сопровождало его весь этот долгий и бесплодный путь, была журнальная картинка с фотографией любимой женщины, причем только у него на работе некоторые были в курсе того, кто сфотографирован там: ноги и ноги, и всё, довольно пухлые, босые, в босоножках на высоких каблуках: она сама сразу признала себя, и сумочку свою, и подол своего платья. Откуда она могла угадать, что фотографируют именно ее нижнюю половину, фотограф выскочил на улице и щелкнул раз и другой, а опубликовали только юбку и ноги. Он, тот человек, о котором идет речь, держал эту фотографию у себя дома над столом на кнопках, и жена ни в чем ему не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем домом, даже матерью, а затем и детьми, не говоря уже о дальних родственниках и своих учениках. Однако, с другой стороны, она была добрая, хлебосольная, щедрая хозяйка, только что детям не давала спуска, и мать при ней жила смиренно, лежала на койке, читала внучатам, пока могла, наслаждалась теплом, покоем, телевизором, да и потом смиренно и долго умирала, уже почти не кивая, но затем тихо убралась.

Он же, схоронив тещу, теперь терпеливо дожидался, пока умрет жена. Почему-то он знал, что она умрет и освободит его, и готовился к этому очень активно: вел здоровый спортивный образ жизни, занимался по утрам бегом, баловался даже гириями, ел все только по системе и при этом успевал много работать и дослужился до завождеделом, ездил

по заграницам — и все ждал. Его избранница, хорошенькая пухлая блондинка, мечта каждого мужчины и чуть ли не Мэрилин Монро, работала у него прямо под боком и иногда выезжала с ним в командировки, и там-то и начиналась настоящая жизнь: рестораны, гостиницы, прогулки и покупки, симпозиумы и экскурсии. Как он тосковал по ночам, вернувшись из рая в ад, в теплое, небогатое гнездо, где клубилась громоздкая, неповоротливая семейная жизнь, где болели, сходили с ума и бесновались дети, мешая сосредоточиться, и их надо было усмирять, и дело доходило до ремня, после чего отец чувствовал себя еще более униженным и оскорбленным; жена сама кричала на детей, жена не успевала ничего, еле поворачивалась, в доме, как полагается в каждом порядочном семействе, жили еще кошка и собака, и кошка хрипло вопила по ночам, когда приходило ее время, а маленькая собака лаяла на каждое пришествие лифта, и именно ночами отцу этой семьи приходилось особенно несладко: он лежал в своей постели и, погружаясь в тоскливые мечты, жаждал тепла, покоя, прелести, исходящих от его незаконной подруги в период командировок, — в остальное время блондинку тоже доставала жизнь, муж и свекровь буквально садились ей на шею, свекровь заставляла по субботам скрести всю квартиру вплоть до протирки кафеля в ванной аммиачным спиртом! Муж напивался и не пускал бедную на служебные вечеринки, на дни рождения и т. п., всегда скандалил перед командировками, подозревал, они вдвоем со свекровью сжимали ее, как Сцилла и Харибда, и, кроме этого, они еще и скандалили между собой, муж и его мать. Свекровь донимала бедную блондинку, почему ее муж никогда не закусывает и вообще мало ест, даже это ей ставилось в вину! Блондинка на работе жаловалась вскользь, была потаенная и ничего не вываливала ему прямо в морду, как это делала жена. Бывают же такие женщины, думал, разметавшись на постели, одинокий муж, а за стенкой приплакивали и вскрикивали во сне его дети, мальчик и девочка, и храпела его жена-сердечница, все более старая и все более любящая. Вот уж уму непостижимо, как она, старая старуха сорока с таким лет, его любила и ему угождала! Она-то, похоже, и вообще никогда не верила в то, что он ее любит, что этот шикарный, с седыми висками мужчина — ее муж, и вечно тушевалась и отказывалась с ним ходить куда-либо вдвоем. Шила себе платья сама по единому незатейливому фасону, длинные и мешковатые, чтобы скрыть полноту и латанные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось «одеваться скромно и со вкусом», гости приваливали толпами на все праздники, обожали ее пироги, пышки и салаты — это были всё ее гости, ее однокашники, сверстники, родственники — они помнили ее молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой и не замечали, что она уже не та, уже погасла.

Действительно, она давно уже плюнула на свою косу и ямочки, ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданно бегала для хозяина своей жизни на базар, никуда не успевала, но приходила всюду каким-то чудом вовремя, так старалась жить по порядку — и естественным образом ночами просиживала на кухне за книгами, уложив всю семью, или прирабатывала теми же ночами на той же кухне, или готовилась к занятиям. Придя с работы, она рассказывала байки о своих студентах и иногда готовила ведро котлет и ведро каши, и к ней приходили ее ученики, приносили цветы, робко галдели, съедали абсолютно всё и тешили свою преподавательницу пением несурзных коллективных песен. Но это бывало, если господин уезжал в командировки, только так.

Когда родились дети, мальчик и девочка, то и тут первая ее мысль была о муже: его проводить с завтраком на работу, его встретить горячим обедом с работы, выслушать все, что он хочет рассказать. Был только один перерыв, когда начала умирать и в течение трех лет умирала ее мать, тут было все брошено и кое-как шло, неизвестно как, и отец семьи завтракал один тем, что ему было поставлено, и обедал тоже один, сам себе накладывал и уходил в свою комнату туча-тучей, но все же гроб нес первым, в ногах покойной, и был неотличим в своей непритворной тоске от остальных. После похорон мамашина комната стояла пустая, закрытая, не было сил, да и хозяйка тихо сопротивлялась, спала в большой комнате с детьми, вернее, сидела все так же на кухне, сон от нее ушел.

У мужа тоже, одновременно, это был тяжелый период, его любовь стала капризничать и требовать полной, независимой семейной жизни, отказывалась с ним ходить под ключ в пустую квартиру к знакомым, как он уже наловчился ее водить в обеденный перерыв, и даже пошла дальше: кокетничала с соседними комнатами и в буфете, и мужички, почуяв, что она «ослабла на передок», по выражению коллег, проторили в ее комнату тропу, и телефон звонил, и кто-то заезжал за дамой на машине и т. д. Наш муж принял муки ада, любовь и долг прогрызали его насквозь, он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя и иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось. Что было делать! Жена при всем своем отчаянии все-таки заметила, что муж как-то подсох, что глаза его нехорошо остановились и он весь как бы улетает. Жена очнулась, быстро сделала ремонтик в материнской комнате и поселилась там с детьми, а большая комната снова стала местом встреч, бесед и малых праздников, и муж выходил к гостям как отец чудных детей и глава дома (а не бездомная брошенная собака) и любимый, почитаемый в виде божества муж (а не третий с конца претендент на собачьей свадьбе). Теперь завтрак подавался ему прежде всех, было даже вдруг сшито несколько новых платьев из штапеля, по воскресеньям жена стала уводить детей в долгие походы, то в

парк, то в цирк, то в планетарий. А в комнате мужа все висели над столом пухлые босые ножки под юбкой и на каблуках: он не сдавался.

Наконец грянул гром, и тот муж блондинки, наш муж, как его звала между собой незаконная парочка, совсем разошелся, разбушевался, погнался за блондинкой с топором, та заперлась в ванной до вечера, а вечером как-то ушмыгнула из дому, звонила нашему герою из автомата, он срочно убежал к ней, вернулся чуть ли не под утро, утром его опять снял с постели страшный, как все известия на рассвете, звонок: того мужа его родная мать обнаружила в петле на двери. Разумеется, следующий месяц бедная новая вдова провела в какой-то сердобольной семье друзей, к себе ее наш герой пригласить все-таки не решился, да и там, в той дружеской семье, хозяйка как-то собралась с силами и проводила вон из дому к другим людям печальную блондинку, слишком хорошенькую в своей траурной бледности, что было невыносимо наблюдать со стороны, тем более что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь, попихались-разошлись.

Не скоро, но все успокоилось, блондинка получила отдельную квартиру, кому-то пришлось по душе разоренное жилье старухи свекрови, ее уговорили поменяться со страшного места куда-то рядом с племянницей, блондинка получила подальше и похуже, но свое, и тут наш муж, наш герой, должен был решить окончательно, да или нет, и приняться за ремонт, мебель, проводку, утепление окон и т. д. в новейшей квартире своей избранницы. Вместо этого он с удвоенной энергией стал устраиваться в собственном доме, поклеил со своими ребятами обои в большой комнате, опять принялся за зарядку, обливание и бег, стал усиленно заниматься детьми и муштровывать уже их, поскольку потомство незаметно подросло и стало мешать, вот в чем дело. С блондинкой он остался в роли советника и посетителя, она все устроила сама, это заняло ее, она советовалась, показывала какие-то чертежи, и уже был на стороне кто-то, кто возил ей на машине метлахскую плитку для ванной и кухонную мебель. Блондинка кое-что смекнула и не упускала из виду никого, имея перед собой перспективу одиночества.

Картинка по-прежнему висела над столом, уже установился тот день, когда муж посещал блондинку, — он, кстати, теперь перешел в другой институт, где дали большой оклад, да и отношения в предыдущем месте работы сильно осложнились, так как блондинку нужно было двигать вверх, и она получала повышение, но не получила из-за гнева масс. Он же в знак протеста ушел и обещал ее со временем перетащить к себе, а жена ничего не поняла и облегченно сияла, и в доме был праздник, и пеклись пироги, что наконец-то муж ушел от Той, но картинка все висела.

Он ушел и хорошо устроился на новом месте работы, детки росли, спортивные, подтянутые, вымуштрованные, как это бывает, когда в

семье прочно устоялся культ отца, усиливаемый обожанием и подчинением добровольно сдавшейся матери. Слово отца было закон, и они так и шли сомкнутым строем: папа впереди, дети плечом к плечу, а сзади незаметная клуша мать, руководящая семьей дистанционно. Радостно было смотреть на них, а фотография ножек тем не менее присутствовала.

Мать семейства дождалась, когда мальчик, младший, поступил в институт, и тут сдалась полностью, как и ее мать однажды. Стоя на кухне, она завалилась на глазах у всех вечером, завалилась, захрипела и хрипела трое суток, увезенная в больницу. Семья, дисциплинированная и трудовая, перегруппировалась, было установлено дежурство плюс подключились старые друзья и родня, бывшие и все еще преданные ученики, и из полной могилы, из смерти и забвения муж вытащил свою жену. Когда ее привезли домой, она уже была маленькой старушкой, шевелила только правой рукой немного, говорила что-то невнятное, и частенько ее глаза источали слезы. Она как будто извинялась всем своим видом за это положение, извинялась за всю прошлую жизнь, что не могла создать своему божеству ничего и в конце вляпалась в эту историю с параличом и втянула его. С течением времени домашние привыкли к этой тяжелой лямке, хотя иногда раздражались и покрикивали друг на друга: всё же все эти подкладные судна, ежедневные обтирания, пролежни и невольные мысли о том, сколько же лет это может протянуться, такое животное или растительное существование, — эти мысли мучили. А отец как бы успокоился вдруг, его душа словно бы устоялась, все движения его вокруг жены были плавными, терпеливыми, голос мягкий. Дети еще покрикивали друг на друга и на мать, у них была своя неопределенность, они лишились матери, то есть фундамента и опорки, и стали неоперившимися, еще слабыми родителями для своей мамы, они чувствовали, что здесь что-то не то, нет перспективы, вернее, она есть, но ужасная. Дети обвиняли друг друга, выводили на чистую воду, о горе, при матери! Но рвение их не угасало, больная у них лежала чистая, свежая, ей под ушко клали радиоприемник и иногда читали ей вслух, но все-таки она часто плакала, совершенно невпопад, и что-то пыталась сказать одними гласными, без языка.

В ночь, когда она умерла и ее увезли, муж свалился и заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя», и он спал дальше счастливым сном и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд и на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала «я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда, — а картинки уже не было. Картинка исчезла из его жизни, все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент, и он неожиданно, тут же за столом, стал показывать всем маленькие, бледные семейные фотографии жены и детей — все эти походы, в которых

он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя, проклятая картинка из журнала, — но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать — без слов, уже мертвая, но успела.

## Осталась там

Ну и возникает законный вопрос: что это за информация, и информация ли это, когда умерший являет нам себя внезапно в обычных обстоятельствах — то ли одной щекой в толпе, то ли как вышедший из автобуса навстречу, и человек не знает, что и подумать, теряется, замирает, бежит следом, чтобы удостовериться, что нет, не то, видение растаяло.

Что это за информация, когда буквально час в час умерший (умершая) обнаруживается на картине в музее, когда мимо идет равнодушный поток посетителей, и из них лишь один (одна) останавливается, как пронзившись током, и смотрит во все глаза на то лицо, которое, освещенное нездешним сиянием, навеки запечатлено в картине — написанной, кстати сказать, за полтора века до того? И мысль пронизывает, не случилось ли чего с ней, с этой девушкой на картине, с тем существом? Господи, да что же это? Неужели да?

Да, в тот ровно момент в другом городе, в другом даже государстве, при всей разнице часовых поясов, она ушла. Это выяснилось позже.

Еще не зная ничего, посетитель разматывает перед своим внутренним взором — в один миг, кстати — всю жизнь той, что светится молодостью и красотой на полотне Репина: девушка в лодке. В том отсеке мозга посетителя, где гнездится ее реальная история, вся целиком, (а эта информация хранится в объеме мгновения, полностью и сразу от начала до конца) — там возникает тянущая печаль, стон больной советки, как всегда после смерти безвинного, несчастного создания.

Невольно разматывается та жизнь.

Сознание еще борется с предчувствием, не может быть. Но встает, выходит из тьмы, перешагивает границу живой человек, и, как обычно, при внутреннем взгляде на эту фигуру мигом высвечивается весь клубок вокруг нее, вихрь линий и событий, мгновенные картинки, звук голоса, истории, пятна, подробности, слова, свет солнца, походка, густые кудри, опущенные на лоб, красивые глаза, широкие кисти рук и широкие ступни в босоножках, вечное сомнение в себе, подозрение, что не нужна никому.

Притом — смешные рассказы о жизни в родной редакции, о персонажах, начальстве и друзьях. Такая сага из года в год (когда летом они все, в том числе и человек, стоящий перед картиной в Русском музее, когда они все встречаются у моря, у них отпуск, то наступает счастье общения, бесконечные беседы, что да как), а у Рены белая старинная шаль, по плечам рассыпаны темные кудри, из босоножек рвется наружу широкая стопа всеми пальцами, широкие кисти рук придерживают шаль на плечах, красавица: но строгая, муж на своей ответственной работе в родном городе, Рена с сыном на пляже, сыну шесть лет, он уже интересуется девочками, прячется с ними под мостиком, Рена, спохватившись, бежит туда, спустя две минуты выводит парочку, трусики, оппана, напялены шиворот навыворот. Дела...

Рена притом стесняется своих крестьянских рук и ног, своего обширного, как у Моны Лизы, лба, на который специально спускает поэтому лавину кудрей. Доказать ей, что она красива, невозможно.

Мужа она презирает, хотя дорожит своим супружеством, такое противоречие.

Ждет ножа в спину. Все время ждет ножа в спину. Уже он был, такой случай.

Муж старше ее на десять лет, порядочный до щепетильности, сын учительницы из Питера. А она знает, что муж ей изменяет, пока она тут.

В общем, катастрофа началась, когда однажды полночи, как опытный сыщик, осенью, под проливным дождем на машине она расследовала, куда уехал муж и с кем.

Там, куда он должен был поехать, о чем и предупредил жену, его не было вообще, в том маленьком городишке с единственной гостиницей.

Она вернулась к нему на службу, прошла сквозь дежурного, как нож сквозь масло, перерыла все.

И нашла: выброшенная бумажка лежала в корзине под его письменным столом, бумажка с телефоном, а телефон-то оказался гостиничный, а гостиница располагалась за сто км от города в природоохранной зоне, на озерах.

Как Рена проникла к нему на работу — да очень просто, дежурному на входе сказала, что муж позвонил и попросил найти забытый блокнот и продиктовать ему адрес, что он не знает куда едет — дежурный даже не был в курсе, что начальник в ближайшей командировке.

Но его женку вахтер знал. И какое ему было дело до того, что именно ищет жена в кабинете мужа. Косвенным, кривым взглядом, в котором промелькнула как бы вспышка, этот понимающий человек проводил жену начальника, но сильно насторожился. Было видно, что подумал, а не проверяют ли его самого!

В каморке на рабочем месте у него кто-то явно находился. Распутство, разврат повсеместны!

Итак, нашла бумажку под столом, позвонила с мужнина телефона, будьте так добры, я попала это гостиница? А, дом рыбака. Так! Можно ваш адресок?

Обнаружила (пользуясь своим редакционным удостоверением и попросив книгу записей в этом доме рыбака у сонной дежурной, якобы ищет автора, чтобы отдать ему гонорар) — итак, обнаружила фамилию мужа и свою фамилию. «Они там с супругой», зевнув, объяснила администраторша.

— Ой, как хорошо, — воскликнула Рена и пошла бить морду жене своего мужа.

Муж, порядочный человек, бывший офицер, заслонял свою испуганную любовницу, держал Рену за ее широкие крестьянские запястья.

— Человек в гости, в гости пришел, ты что! Сумасшедшая! Сотрудник музея тут!

— Гольй в гости? В халате в гости? Без трусов!

Она порывалась распахнуть этот преступный халат. Но как-то все утряслось, муж ее отвез домой и остался с ней, не вернулся к сотруднику музея.

Через год снова здорово, еще похлеще случай, который все и пресек, все семейное существование.

Затем это был уже отброс, отщепенка, волочащая свое жалкое существование где-то там, куда никто не звонит — но она сама звонит в Москву: мне надо приехать к врачам на консультацию, ложусь в клинику, можно я у вас остановлюсь?

Хорошо, ей отвечают, да, давай, конечно. А у нее уже полнейшая несовместимость с людьми, вид странный, речь заторможенная, вес такой, что страшно смотреть. Приблизительно скелет.

Приезжай.

Встретили на вокзале. Все вроде бы как полагается, одета аккуратно, сапоги на каблуках, джинсы, курточка. Жалкий, несчастный облик. Едет в такси и уже заранее стесняется, ужимается до горошины, до зернышка.

Разумеется, хозяйка откликаются тем же.

Давно замечено, что окружающие отражают, зеркально повторяют все чувства того, кто стоит напротив. На тревогу отвечают беспокойством, на стесненность сами ужимаются с досадой, как первобытные питекантропы, на чрезмерную деликатность реагируют какой-то неловкостью, резкими движениями, преувеличенными хлопотами.

Так и тут. В доме, куда прибыло нежеланное существо, отвергнутое, жалкое, воцаряется неудобство, дискомфорт.

Наконец побегали, помогли, устроили ее в сумасшедший дом, за этим она и приехала.

Надо навещать, она звонит и просит то и то, расческу и зубную пасту. Везут.

Хорошо бы было вообще ее взять в дом, окружить заботой, отогреть, но она же сидит на антидепрессантах. Так сказал лечащий врач, до которого дозвонились. Сказал с досадой: она уже принимает их горстями, бессистемно. Она от этого заторможена. Она не может без таблеток. И в этом все дело. Она наркоманка.

Да, отвечают ему, ни одной ночи не спала, мы ей кололи снотворное и глюкозу, а она после того дожидается, когда все лягут, выходит на кухню, варит себе кофе. После снотворного! Мы и боялись, не прыгнет ли в окно.

Всё так, объясняет врач.

Получается, что данный приезд — не попытка получить какую-то помощь, а просьба выписать более сильные наркотики, эти уже не действуют.

Если отнять у нее эти таблетки, посадить на цепь, кормить, поить, но не давать наркотики, будет бешеная боль, дикая ломка, страдания неизмеримой силы, вой.

Так сказала знакомая знакомых, еще одна психиатр, теперь уже со стороны, ей звонили.

И сами при том подумали, ну хорошо, она очнется, поглядит вокруг, все вспомнит, вззоет теперь уже от этого. Вспомнит, что ей изменил муж с ее подругой (сколько лет теплых отношений, младший подкидыш, все праздники вместе, а она работает с мужем, его подчиненная) — и вдруг жена случайно встречает их двоих, мужа и свою подругу, они идут обнявшись с работы, не могли расстаться перед прощанием на всю ночь, они целуются неудержимо, как голуби — она их встретила и проводила до метро тайно, а через два дня ужасных страданий, бессонницы и бескормицы позвонила той младшей подруге и спросила, что происходит, «я вас видела, вы шли обнявшись».

Та ответила: «Рена, очнись, мы много лет живем с твоим мужем». Засмеялась, подождала и аккуратно положила трубку, потому что собеседница не ответила, окаменела.

Баба преувеличила, разумеется. Муж раньше ее еле терпел, жаловался, что она спит подряд со всеми, что жены приходят жаловаться и с просьбой убрать. Это только после той, прошлогодней истории, он сошел с круга. Обнаружил, видимо, что она податлива и готова на все, от чего и подружилась с женой своего начальства, о, тонкая система!

Рена завывла.

И начались эти психиатры, дурдома, антидепрессанты, слезы, бессонница. Глупое положение, смешная ситуация кричащей брошенной, потом возникла внешность скелета и возня теперь уже самой с собой, неловкая возня с болями в спине, с неповоротливым туловищем, с не закрывающимися глазами, с постоянными синяками на лице (упала, приложилась об асфальт) и т. д.

То есть уже муж, ушедший в результате к совсем другой, третьей женщине (оказывается, была и третья кандидатка, довольно безразличная к объекту, но с хорошей квартирой и дачей, то есть ноль проблем и ничего в прошлом), так вот, этот живущий с третьей кандидатурой муж вынужден был приехать к первой жене в больницу по приглашению следователей, после того как ее привезли из-под окна, она все-таки бросилась с четвертого этажа. И, проклиная все на свете, этот муж даже сидел с ней какое-то время.

Та, предыдущая конкурентка, осталась в тумане неизвестно где и неизвестно что делающая, да и бог с ней — она тоже, может быть, воеет, и ладно, хотя при своей легкой натуре она небось уже утешилась на сексуальной почве — чего не могло произойти тут.

Какие там утешения, какие связи, вы что! Кому оно нужно, чистое, живое отчаяние и почерневшее лицо!

Далее — все прошло и былзем поросло, таблетки горстями, никто уже и не вспоминает о первопричине, надо справиться с собой, со сном, а не выходит.

Вот и прыгнула из окна. Хорошо не в том доме, где жили ее мама и сын. Нашла себе какой-то открытый подъезд.

Но потом, обезноживши, она еще какое-то время провела на больничной койке и дома, пока не подкопила себе таблеток. Тогда и смогла наконец заснуть, и сердце остановилось.

В день, когда она ушла, именно в тот самый момент она и явилась посетителю Русского музея, который рассеянно брел среди роскошных полотен и вдруг, как ударенный, взглянул на картину — а там, в лодке, молодая и прекрасная, в светлом платье, с распущенными темными волосами, с огромными очами сидела живая Рена.

Так там и осталась.

## Пляска смерти

Речь пойдет о бедной еврейской девушке, которая теперь бродит как тень абсолютно одна, дитя великого переселения народов, дитя краха и разгрома великой страшной родины, ибо одно дело сокрушить и разгромить советское чудовище, что и было сделано, а другое дело, что под обломками обязательно умрут невинные существа.

Нежная, не совсем юная, уже тридцатилетняя женщина по имени Эсфирь, или Лия, или Ревекка, родители звали ее Заяц, к описываемому времени покинула свою родину, волшебный городок Урхану, чудо света, и была кандидат биологических наук в Москве.

От родителей из Урханы шли панические письма, местный народ стронулся с разума, их не оставляют в покое, урханских евреев гонят.

Многие свои уже уехали, кто заранее все почувствовал, и старики говорили, цадики, что свет кончается.

Пока толковали аборигенам, что любим свою родину, что мы здесь коренные, мы здесь пятьсот лет, свои могилы невозможно оставить, многие тут издавна врачи, учителя, вас же лечили и воспитывали с детских садов начиная, не убивайте!

Побивали.

Они и друг друга-то стали казнить, не то что чужих. Надо уезжать, но куда, теперь уже продать квартиру невозможно, продать имущество невозможно, только за копейки, а нужен контейнер для вещей, деньги на билеты на поезд, самолет нам не осилить, пришли денежный перевод! Придется всё бросать. Тут многие всё бросили и уехали, едем и мы. Трупы на улицах!

Заяц же сидела в лаборатории и работала, получала немного, такие времена, и нашла себе друзей в Москве, вместе ходили по выставкам, в театр, Зайца опекали, это было милое, нежное существо с большими глазками, тихое, скромное, не без юмористического отношения к жизни.

Есть люди, которых все любят, и Заяц была такая.

Но гром грянул и тут, сюда тоже пришли новые времена, в институте перестали платить, рухнувшее государство не желало верить в разум, воцарились недальновидные воры, а вор с подозрением относится к тому, чего не понимает.

Поэтому науки обнищали и тронулись на заработки за рубеж, туда, где с радостью купят ум и используют его в своих целях, выкачают, высосут все ваши ноу-хау, возьмут самое ценное, а дальше уже как пожелаешь. Потому что спустя три года могут сказать: контракт закончен, всё. А как же дети — уже в школу тут ходят, а жена нашла здесь работу? Всё, всё, рассылайте свои резюме по другим институтам...

Но кто-то слал победные письма, прочно обосновавшись, и весь институт, где работала Заяц, начал лихорадочно собираться.

Первые уехавшие собрали скорый урожай, купили машины, получили те самые трехгодичные контракты, смотрели московское телевидение и ужасались нищете населения, военным дуростям и терактам — и в письмах сквозила жалость, больше похожая на чувство превосходства.

С другой стороны, родители писали из Урханы о зверствах, о насилии, о найденных трупах, об увольнении и о том, как пустеют кварталы.

Родители хотели приехать, мама и отчим, которого Заяц терпеть не могла — крикливый, нетерпеливый, бестактный обвинитель, зубной техник, ниже мамы на уровень, зачем она за него вышла? Отчим был маленький и жирный, он каждое сказанное Зайцем слово хитро преувеличивал и преподносил жене в виде оскорбления.

Заяц осторожно и аккуратно писала, что снимает сама комнату в коммуналке и почти не получает денег, но отчим отвечал по телефону «да, она согласна жить и в голоде и в общей комнате, твоя мать, если ты не хочешь ее смерти».

Заяц тогда, обливаясь слезами, стала искать выход из положения, как его будет искать каждый придавленный обстоятельствами человек.

Она рассказывала своим близким подругам, в том числе и одной Зосе, об ужасном положении мамы, о том, что в институте совсем перестали давать даже ту нищую зарплату какая полагается, директор прокручивает их деньги в банке, это было модное слово, «прокручивать», то есть класть сумму в банки под бешеные проценты на короткий срок. Руководство это практиковало, и все увеличивался срок прокрутки денег.

Подруга Зося, испуганная, предложила Зайцу жить у нее.

Пожилая Зося похоронила мать, дядю и тетку, это была вереница гробов, повымерло все предыдущее поколение, ее квартира опустела.

Заяц переселилась к Зосе, но отчим выудил у нее телефон нового местопребывания, и они с матерью звони ли ночами, мать плакала, деньги капали, Зося не спала: террор. Отчим требовал денежной помощи, ссылаясь на смерти вокруг.

Заяц очень быстро начала буквально сходить с ума и решила на отъезд в Америку, с помощью прежних уехавших друзей разослала свои данные по университетам, и к тому времени, когда подошла ее очередь у американского посольства, она уже получила адреса и быстро уехала, нашла работу и начала помаленьку пересылать деньги в Урхану через Зою и каких-то знакомых, которые ехали в Москву.

Урханские мать и отчим, однако, тоже со своей стороны действовали и проторили телефонную дорожку к Зосе, звонили ей ночами и передавали в Америку для дочери, что кругом взрывы, голод и трупы.

Зося с первого же звонка предложила страдальцам приехать к ней и тут оформлять документы на отъезд.

Они приехали.

Надо сказать, что добрая Зося была к тому времени давно уже на пенсии, жила на маленькие деньги и серьезно болела. Но беды Зайцевой семьи (и еще нескольких семей) ее глубоко потрясали, она вечно всех кормила, ездила навещала, возила продукты и так далее, как настоящий добрый самаритянин.

У нее жили подруги с семьями перед отъездом в эмиграцию, у нее вечно паслись и московские друзья, был открытый хлебосольный дом, хотя часто кроме именно хлеба и соли бывали только гречневая каша и любовно почищенная картошечка с селедкой.

И вот они нагрянули, мать Зайца с отчимом, отчаявшиеся, грозные обвинители, измученные в долгих странствиях, потерявшие всё, как жертвы землетрясения.

Действительно, все было так, как Заяц сдержанно описывала — болтливый глупый отчим и скорбная мать, оба маленькие и толстенькие, оба моложе Зоси.

Вещей с ними прибыло немереное количество, контейнер.

Нераспакованные ящики, тюки и картонные чемоданы заполнили квартиру, эти нищие потроха, узлы, в которых проглядывали сковородки и миски: то, что бездомные городские собиратели ночами роют по помойкам.

Отчим орал на свою жену, это первое.

Второе, он тут же выжал из Зоси телефон Зайца и стал ночами звонить в Америку за счет хозяйки квартиры, страстно и изобретательно обвиняя свою приемную дочь.

Третье, семья страдальцев ела три раза в день и ложилась отдыхать днем, даже не моя за собой посуду — но это добрая Зося установила такой санаторный режим для несчастных беженцев.

Она всей душой приняла и поняла их, ее долго умиравший дядя был именно такой, привередливый, язвительный, нищий.

Мать-то Зайца оказалась крупным специалистом по фольклору, ее знали в научных кругах Москвы, она собирала тот материал, какой никто не мог бы собрать, она знала языки местного населения.

В чемоданах, обвязанных веревками, она везла бесценные архивы, а муж ее ругался, бумаги вывозим, кому это нужно, всё выкину на сметник, кричал он в истерике, у нас в самолете будет перевес, платить нечем!

Жена привычно возражала ему, но, поскольку это был не научный симпозиум, то ее возражения были также на бытовом кухонном уровне, типа «а что ты будешь там жрать» и «сидишь на моей шее».

Возможно, они любили и жалели друг друга, но вечная рознь мужа и жены, кто в семье первый, разъедала этот союз.

Он был простой техник в зубоорачебном отделении больницы, а она защитила докторскую диссертацию, так что наблюдалась описанная шведским классиком Стриндбергом так называемая «пляска смерти», борьба супругов, не то что бы смертельная схватка, но окопная война до гробовой доски.

Объединила их на данный момент общая претензия к дочери, к несчастному Зайцу, почему она их бросила в такое страшное время. Бросила, предала, оставила на гибель родную мать!

Зося пугалась этих криков, готовила, таскалась по магазинам, мыла посуду, стирала белье беженцев и слушала, слушала, вынужденно слушала день и ночь.

Заяц больше уже не звонила, боялась, зато родители ее что ни ночь маниакально появлялись у телефона, просили Зося набрать им номер, и, как страстные влюбленные, накидывались на дочь с плачем.

Очень быстро, однако, там, за океаном, у Зайца стал отвечать ее механический голос, причем по-американски, одной и той же фразой с длинным писком в конце.

— Але? — вопил отчим ночами и передавал трубку жене. Дело происходило в коридоре.

— Алло? — расстроено вопрошала мать. Никто не отвечал.

Заяц, видимо, поняла, в какую финансовую яму повергли родители ее подругу, и обзавелась автоответчиком.

Насчет этого механизма Зосю просветили друзья, побывавшие за границей, и она объяснила оробевшим поселенцам, что надо «наговаривать» после сигнала.

Они и стали «наговаривать» с прежней страстью все те же свои жалобы: сидим на шее у Зоси, она заболела, денег нет, очередь в посольстве не двигается, эти звонки стоят больших денег, Зося на грани больницы (что было святой правдой), она сбилась с ног, кормит нас, ничего не дает нам делать, даже подмести, сделай что-то.

Родители Зайца всегда оперировали четкими, ясными фактами, не врали, не преувеличивали и терзали дочь своей правдой как железными крючьями.

Итак, эти люди ночь за ночью посылали Зайцу сигналы бедствия, данный обвинительный процесс шел почти два месяца, почти до самого отъезда беженцев в Америку, и дал тот результат, что Заяц откликнулась, сама позвонила Зосе и сказала, что приедет встречать своих родителей в Нью-Йорк, хотя живет на расстоянии 800 километров отсюда.

Уже сквозила в ее голосе сомнительная нотка обвинения, самооправдания и предъявления счета этим надоедливым пришельцам — чего раньше не было.

Ну что же, теперь это были американские правила, порядки и обычаи, рассчитывай на себя!

Видимо, так, решила расстроенная Зося.

Эти 800 километров туда и столько же обратно — это, оказывалось, есть очень большая жертва, которую Заяц согласна была принести родителям в долларах.

Кроме того, Заяц пожаловалась, что в ее лаборатории одни вьетнамцы, которые даже здороваются с трудом, а уж слова сказать лишнего не раскошелятся, работают как конкуренты, ни секунды не теряют. Не обедают даже. Не с кем поговорить в радиусе 1000 километров, сказала Заяц.

— Ну вот приедут твои, — сказала своим радостным голосом Зося.

— Вот именно, — ответила, помолчав Заяц, — они там тебя съели, я чувствую. Голос у тебя совсем слабый. Уж я твою природу знаю. Будешь помирать, но готовить на всех.

— Я то что, — беззаботно откликнулась Зося, — им тяжелее.

Наконец беженцы уехали. Затем (тоже ночами), из Америки пошли звонки, посыпались жалобы на бездушную тварь дочь.

Поселились вместе, ужас, кричали беженцы, она до ночи на работе. Приходит орет на нас, — вопили они.

Заяц тоже звонила и буквально рыдала, что сидят на шее, в магазин даже съездить не могут, в магазин надо ехать на машине и всё на мне. И едят поедом.

Кончилось это тем, чем обычно не кончается.

Как правило, все как-то утрясается, семейная пляска смерти плавно идет сама собой, срastaются судьбы, и родители с детьми не могут ни вместе жить, ни расстаться, и супруги тоже, шестеренки цепляются, куклы совершают вращательные движения, повертываются вокруг своей оси, вздергивают головы, бросают ручки ножики в стороны, жизнь движется, пляски продолжаются до самой смерти — и как пустеет дом без деспота!

Как тоскуют по умершим, лишившись их! Как тяжело без отъехавших детей!

Как вспоминают старушек, теток, дедушек!

Тут оказался не тот коленкор, тут произошло то, что хуже смерти. Заяц сошла с ума как-то вдруг, ее поместили в клинику, она потеряла работу.

И телефон на этом умолк, никто не отзывается, автоответчик говорит нежно, глуховатым голоском бедного Зайца, на американском наречии, тишь и глушь.

Где-то вкальвают ставшие знакомыми вьетнамцы, где-то зубо-врачебный обвинитель сыплет страшными фактами, выхваченными из той груды, которую ежедневно наваливает жизнь, где-то тихо бродит помешанная Офелия, нежный Заяц, а ее мать профессор, наверно, не способна до сих пор разобрать свои сокровища, картонные чемоданы с никому не интересными еврейскими песнями в их среднеазиатском варианте.

Правда, иногда доходит письмо через приезжанцев: американского языка мы так и не выучили, в магазин таскаемся пешком за три километра, несем вдвоем сумки (веселая картина, двое осиротевших стариков тащатся по пеклу, он ругается, она плачет).

А где-то лежит волшебный край, лунная Урхана, дворцы, пески, кладбища, бассейны и мечети, базар, груды дынь, газовые трубы по всем домам, бирюза, золото, виноград, родной язык, могилы предков, пустыня, еврейские песни на местном языке.

И надо всем этим поникла добрая Зося, а тут ее кошка, родное дитя, произвела на свет дивного пушистого, робкого котенка, девочку, и Зося назвала ее Заяц.

Новый Заяц редкого цвета, она коричневая. Это маленькая красавица, каких свет не видывал, глазки тарачит, носик пуговкой, тихая, крошечная, лохматая.

Всех бы обняла и защитила Зося, всех, но она бессильна перед чужим племенем, как бессильна и перед пляской смерти.

Пляской смерти огромной страны.

### Нагайна

Дело происходило, как оно происходит всегда, вышли вместе из ду-хоты зала, отыграла музыка, кончен бал.

Девушка явилась на этот бал как-то по-своему, она была здесь явно посторонняя и не объяснила факт своего появления ничем. Да ее никто и не спрашивал. Тот, с кем она вышла наружу, совершенно точно не собирался ни о чем спрашивать: девушка увязалась за ним, буквально привязалась. До того она прыгала в толпе как все, то есть изгибаясь, при этом ломала якобы руки, свешивала волосы как плакучая ива, все как у всех, только лицо было какое-то сияющее. Он обратил внимание на это сверкающее лицо в толпе остальных девушек, которые вели себя более-менее одинаково, как пьяные весталки на древней оргии, на какой-нибудь вакханалии, где под покровом тьмы единственной одеждой остается веноч.

Правила на таких праздниках всегда одни и те же во все времена, се-рые самцы и яркие самочки, и эта особенная девушка тоже не была исключением, она приделась в некое подобие переливающейся змеиной шкурки.

Но лица у всех оставались искаженными той или иной степенью страсти, а у этой сияло непосредственной радостью. Такое было впечатление, что остальные были равнодушными хозяйками на празднике, а эта пробралась с большими трудами, ей удалось, и она была счастлива.

Тот, кто вышел впереди нее, был спокоен, угрюм. Он и на этот осен-ний бал явился непонятно зачем, его тоска не требовала ни музыки, ни плясок. Он презрительно стоял у стены, пил. Не шевелился. Он тут был как бы мерило власти. Осуществлял эталон скучающего хозяина.

Девушка в змеиной шкурке остановилась рядом с ним, плечом к плечу, и тоже замерла, как будто обретя покой. И так и осталась стоять.

Хозяин своей судьбы на нее даже не поглядел. Она тоже на него не взглянула, только тихо сияла.

Зачем она ему была нужна, вот вопрос. Эта радость, бессмысленный свет, покорность, готовность.

Таких не берем! Он постарался всем своим видом выразить немед-ленно возникшее в ответ чувство протеста, высокомерно, как каждый преследуемый, повернулся и пошел вон.

Как только он стронулся с места, она, разумеется, потащилась сле-дом. Он надел свое пальто, она — шубку.

Вышли в туман.

Серые ночные просторы открылись, массы холодного воздуха окружили, надавили, хлынули в лицо. Даже моросило.

Она шла рядом, попевала, он двигался сам по себе, она при нем.

Он опять-таки всем своим видом выражал, что идет с целью вернуться домой, причем один. Ускорил шаг.

Она семенила за ним, буквально как собачка на прогулке, явно боясь потерять хозяина.

Вот кому такие нужны? Он мельком взглянул на нее. Мордочка хорошенькая, фигурка прекрасная, ножки длинные, все как надо. Но лицо! Сияет счастьем буквально. Как будто ее похвалили, причем она этого не ожидала и обрадовалась. И прилипла!

Он нехотя сказал:

— Ко мне нельзя.

Она молча бежала рядом, не меняя выражения лица. Восторженно-го причем!

— Ты поняла?

Она в припадке обожания молча кивнула.

— Так куда же ты потащилась?

Она схватила его за локоть и теперь шла как бы под ручку с ним. Здрате!

Он специально пристально посмотрел на нее. Убрал локоть.

— Ты что?

Она со счастливым лицом бежала рядом.

— Я говорю, что ко мне нельзя!

Она наконец сказала:

— Ко мне тем более.

Голос низкий, грудной. Умный.

Никому не нужная поспешает неизвестно куда. В общаге дежурный ее не пропустит. А к тебе я и не собирался!

Он знал эту породу прилипчивых, любящих существ, этих маленьких осьминогов, готовых оплести и задушить. Они обвивали, не отставали, обнаруживали его в любом месте, преследовали, готовы были на все. Что-то они все находили в бедном студенте. Звонили на пост к дежурным, устраивали засады в библиотеке, в столовой.

— Ну все, мне сюда,— сказал он и махнул рукой в сторону бокового проспекта.

Огромные серые ночные просторы, пронизанные сыплющимся повсюду туманом, кое-где освещенные блеклым сиянием фонарей, открывались по сторонам. Пустынные окраинные места! Окаянный холод, предвестник зимы. Редкие огоньки горели вдали в темных жилых массивах.

Разумеется, она повернула следом за ним.

Там, в тех сторонах, были новые общежития, городские выселки, вообще тьма. Там стояли еще не очень освоенные городские кварталы, там почти никто не жил, в той отдаленной глуши.

Он как бы пожал плечами, снимая с себя всякую ответственность (как она поплетется домой, когда ее завернут от дверей, в наших краях и такси не найдешь).

Он скривил свой мужественный рот.

Прилипала бежала рядом сияя. Лицо ее буквально сверкало во тьме.

— Зовут тебя как? — вдруг спросила она низким голосом.

— Анатолий, — пошутил он. На самом деле его звали иначе, но приходилось таиться. Мало ли бывало случаев, когда прилипали находили его по имени.

— Ты учишься?

— Да.

— На каком?

— На географическом.

Он тут же придумывал себе легенду.

— На каком курсе?

— На пятом.

— Тогда непонятно, — вдруг сказала она.

— Что тебе непонятно?

— Все непонятно.

Его сердце забилося: вот оно, начинается преследование!

Она продолжала допрос, он продолжал придумывать.

Почему-то ему не приходило в голову просто промолчать.

Дело доехало до того, что он рассказал о своем дипломе (Индия, заперщенные к въезду штаты), о своем плане получить грант и поехать туда, в Нагаленд.

Это была не его жизнь, а отдаленные мечты. Когда-то у него была любовь с индуской Ирой, взрослой девушкой-нагайной из штата Нагаленд. У нее как раз был грант на изучение русского языка. Потом он закончился, и Ира уехала.

Голос его выдавал все новые и новые подробности жизни запретного штата — как там охотятся за черепами и выставляют их на частокоче вокруг хижины, как змеи ползут к коровам на вечернюю дойку и просят у женщин свою порцию, как свои змеи охраняют детей от чужих гадюк и охотников за черепами из соседних деревень.

Ира вообще-то уже была совершенно другой, цивилизованной студенткой, христианского вероисповедания, она жила в Дели в домике на плоской крыше четырехэтажного древнего дома, в мусульманском районе. Спокойно спала в пять утра под оглушительные призывы мурдзина с соседского минарета. Готовить не умела, разве что «дал» (фасоль), и то извинялась, что недоварила. Питалась в студенческих забе-

галовках или просто на улице. Уехала с родной реки, полной водяных змей, в пятнадцать лет, с горстью бабушкиных драгоценностей. Училась уже во втором университете, знала множество языков. Но ее квартиру на крыше постоянно обворовывали, поскольку жители дома днем на раскаленную верхотуру не поднимались, прятались в недрах у подземного колодца, и сторожить было некому. Так что все деньги и бабушкины драгоценности украли, а приехавшие полицейские за осмотр взяли последние триста рупий. И Ира со смехом рассказывала, что привезла туда из родных мест змею. Которая любила покрасоваться на видном месте, на подоконнике, и была совершенно безобидна для людей, питалась мелкими птичками. Ира крошила для них хлеб на крыльцо и могла уходить хоть на целый день, оставляя дверь незапертой и воду для нагайны в тазике. Но однажды она нашла свою подругу искромсанной, а домик ограбленным дочиста: злодеи, видимо, принесли с собой мангуст.

Вспоминая ее смешные рассказы, он торопливо шел сквозь туман все вперед и вперед. И вдруг неожиданно для себя сказал:

— Знаешь таких мангуст? Охотники за змеями.

Прилипала в ответ почему-то засмеялась.

Христианка Ира один раз, когда ее друг заболел пневмонией, спросила, где можно купить живого петуха, удивленного ответа не приняла и ушла на целый день. Затем сказала, что ездила в лес. Об этом говорить было нельзя, это была почти что практика вуду. Чудом он тогда выздоровел.

Незнакомка шла все время рядом, как собака, буквально у ноги, и вся переливалась, светилась. Видно было, что ее несет на крыльях неожиданной любви, что все совпадает с ее надеждами и тайными мечтами о принце.

Дурочка.

После Иры он никого не мог любить. Она была большая мастерица по этой части. Это она в самый первый день положила ему под дверь цветы, а потом села к нему за столик в столовой и засмеялась. Ей было уже тридцать лет.

Мнимый Анатолий говорил глухо, невыразительно, но подробно. Она задавала вопросы.

Сам он ничем никогда не интересовался у девушек. Прилипалки обычно о себе не сообщали, зато буквально цепенели, жадно поглощая любую информацию с его стороны. При этом и спрашивать стеснялись.

Эта, новая, не тормозила абсолютно, была свободна и счастлива — как Ира в тот первый день.

Но прилипали нам не нужны!

Они обычно, уже во второй раз, караулили на его путях, стояли как надгробия, вынужденно улыбаясь, даже рук не протягивали, чтобы

коснуться. Иногда касались. Его била дрожь омерзения. Почему-то их притягивала именно шея, они дотрагивались до него своими ледяными пальцами, когда он сидел в библиотеке, например. Они казались ему конвоем, какими-то незримыми, но вездесущими вампирами, которые крадут его сущность, сосут из него информацию, хотят жить его жизнью.

— У меня потребность,— жалобно сказала одна,— потребность тебя коснуться.

Она как раз караулила его именно с этой ужасной целью. Он вдруг чувствовал на шее как бы ледяной укус. Мазок чужой руки.

Эта, новенькая из его армии, летела рядом как на крыльях, невесомая и блестящая. Она уже не надеялась на его рукав, видимо, успела напитаться чужой энергией, расстояние держала сантиметров сорок. Разрыв, как ни странно, увеличивался.

Ира явно была колдунья, она надолго привязала к себе душу мрачно-го псевдо-Анатолия, чтобы он спустя годы так рассказывал о ее жизни. Теперь он плел байки о том, что его одного товарища из Индии сразу по приезде в университет обокрали, и все полгода этот товарищ голодал, но высидел весь срок, изучая русский язык довольно весело.

Он еще тогда подозревал, что Ира ходит подрабатывать в студенческий бордель. Многие девушки с их курса хорошо одевались, ездили на такси и не ночевали в общежитии. Ира кормила своего друга довольно часто.

— Мой животик зарабатывает,— говорила она.

А ее подруги тут же сказали, что Ира списывала со стены у телефона номера трех борделей. Так оно и шло.

— Как тебя зовут? — снова спросила новая прилипала.

— Сергей, я говорил уже,— ответил он, давая понять, что врет.

Девушка реагировала на это радостным смехом, не переставая светиться и переливаться во тьме. И она опять не сообщила в ответ, как зовут ее. Обычно те, предыдущие, сразу называли себя, как будто их кто спрашивал.

— А как теперь живет твой друг индус?

— Как живет, не знаю,— быстро произнес этот новоявленный Сергей.— Он или уехал заканчивать университет в Дели к себе на крышу, или вернулся к змеям в Нагаленд. Там повсюду змеи. Их кормят, поят. Если есть домашняя змея, она отпугивает всех остальных змей. Дело доходит до драк,— вдруг засмеялся он.

Она ответила низким грудным смехом. Какой красивый, однако, у нее голос!

— До драк?

— Да! Змеи сражаются! Домашняя должна победить. Если хозяева видят, что побеждает чужая, они ее убивают. Или новая нападает незаметно, ночью, и потом становится домашней. Ее должны принять, даже если она ядовитая. Иначе боги не простят.

— А! — засмеялась она.— Мне рассказывали историю, как змея любила солдата. Она приползала к нему каждый раз, когда он стоял на карауле. Он ее кормил крошками хлеба. Когда он погиб, его отправили домой в цинковом гробу. Родные вскрыли гроб, чтобы попрощаться. И там лежала рядом с ним мертвая змея.

— Это сказки,— отвечал немногословный Сергей-Анатолий.— Это все байки, страшилки. На самом деле все проще.

— Как тебя зовут? — опять спросила она.

Он посмотрел на свою прилипалу. Она вся переливалась, шла, как в ореоле, в свете ближайшего фонаря. У нее были счастливые, очень блестящие и слегка даже раскосые черные глаза, и сейчас она казалась намного смуглее, чем там, в зале. Но там ведь вертелись особые фонари, там все белое казалось намного белее.

— А зачем тебе это знать, как меня зовут? Сейчас ведь мы расстанемся навсегда, зачем? — в свою очередь спросил Сергей-Анатолий.

— Это просто так! Просто так! Ты очень похож на одного человека, очень! — как дурочка ответила она.

Так вот оно что! Дело оказалось еще проще. То есть она пошла не за ним, а за каким-то своим призракoм. Не ему были адресованы все эти знаки счастья.

Мнимому Сергею стало одиноко, холодно и противно. Игра кончилась. Он не имел абсолютно никакого отношения к этой истории. Все было обыденно, скучно, невыносимо тоскливо. Чужая любовь.

Он решил молчать.

Девушка летела рядом с ним, и от нее буквально исходили лучи счастья. Вот ей повезло! Она встретила свою любовь, идиотка.

Наконец можно было по полной справедливости закончить все одним махом.

— Всё. Хорошо. Иди отсюда. Иди домой. Я сыт, понимаешь? Ты мне не нужна. У меня есть женщина. Она меня ждет.

— Ты женился? — померкнув, спросила она.

— Почти.

— А кто твоя жена?

— Моя жена, она очень хороший человек. И я сыт, ты можешь это понять?

— Она живет с тобой? — превозмогая себя, спросила девушка.— Расскажи мне о ней.

Неожиданно он начал говорить. Они стояли под фонарем, сыпался и сыпался туман.

— Она красивая и умная. Она взрослая. Она знает одиннадцать языков. И она очень искусна в любви, она жрица.— Какой-то странный текст выходил из его онемевшего от холода рта.— Она танцует в борделях танец живота, и никто не смеет ее там коснуться. Она ходит туда по

субботам и воскресеньям. Ее ай кью двести десять, выше, чем у Альберта Эйнштейна.

— Двести десять? — изумленно повторила она. — Такого ведь не бывает.

— Бывает. Ей уже тридцать лет.

— А какие у нее глаза? — спросила рыбка-прилипала, при этом широко раскрыв свои, раскосые, абсолютно черные и сверкающие. — У нее темные или светлые?

— У нее светлые, но карие, — ляпнул бывший Анатолий.

— А где она сейчас?

— Сейчас она меня ждет, — уклончиво отвечал Сергей.

— Где, где она тебя ждет?

— А вот этого я тебе не скажу.

— Почему? Почему не скажешь? — с неожиданным акцентом произнесла она.

— Не хочу, и всё.

— Ты не знаешь? Ты ведь не знаешь, где она тебя сейчас ждет? — настойчиво продолжала девушка-прилипала.

— Ты что, думаешь, я вру?

— Нет! Нет! Ты не врешь, я знаю. Ты говоришь правду! Первый раз за все время. Ты говоришь правду, что она тебя ждет. Но ты не знаешь, где она тебя ожидает?

Сергей молча повернулся и пошел. Он не слышал, идет ли она следом. Он не хотел больше на нее смотреть. Какое-то неизвестное чувство возникло у него в районе желудка. Как будто он падал, как во сне, с большой высоты. Это было похоже на тревогу, на испуг, когда бывает, что вдруг кто-то поймает на вранье.

— Как тебя зовут? — настойчиво и с сильным акцентом произнесла девушка издали.

Оказывается, она осталась стоять на месте. Он, оглянувшись, пошел прочь еще быстрее.

Потом он опять остановился и обернулся.

Она была уже довольно далеко, светясь под фонарем как дорожный столбик с флюоресцентным покрытием. Сверкала вся, с головы до ног, как будто в довершение всего на нее падал свет приближающихся фар.

— Пока! — крикнул он, внезапно смягчившись. Угроза миновала.

Он ездит в универ на маршрутке и другим путем. Здесь он не ходит никогда. Она его больше не поймает.

Холодные темные массы воздуха били его по лицу, как сырые полотнища, так что трудно было бежать. Но он был закаленный спортсмен и не сбавлял темпа. Мчался, как в былые времена, чем-то сильно обрадованный (получил свободу?).

Когда-то, на первых курсах, он еще выступал на велосипедных гонках, машину ему дали казенную. Он из последних сил ездил, поскольку боялся, что отчислят (его взяли в университет по ходатайству спор-

тивной кафедры, за первый разряд). Всегдашний страх поражения глодал его все эти годы. Вдруг все поймут, что он самозванец? Первое место у себя дома на городских соревнованиях он взял, потому что у финиша образовалась каша, завал, все слиплись колесами. Он шел за лидирующей группой, воспользовался и рванул, обманно всех объехал. Ему дали разряд, но за спиной хмыкали. Слава богу, тут же ему надо было уезжать поступать в университет.

Он опять остановился, запыхавшись. Форма уже не та.

Светящаяся черточка оставалась на прежнем месте. Она неподвижно сверкала. Как далеко он отбежал!

Прощай.

Он добрался до своего блока, принял душ, плюхнулся в постель. Как хорошо.

В дверь постучали: сосед.

— Не спишь? Тебе звонили из Дели. Плохо было слышно. Там кто-то умер. Вира? Пира? Агайна какая-то.

— Ира? — быстро спросил он. — Нагайна?

— Может быть. Было плохо слышно, извини.

Сосед ушел.

— Вот тебе и на. Вот и на,— так он начал повторять и заплакал.

Тут же он стал одеваться, закопошился, ища сухое, и наконец выбежал.

Она его искала везде и наконец нашла!

Он бросился вперед по шоссе, как тогда, на финише гонок.

Она засияла вдалеке, еле видная черточка.

— Андрей! Меня зовут Андрей! — кричал он в слезах.

Как же так, он ее не узнал.

Он добежал до светящегося столбика ограждения.

Только что проехала мимо машина, и столбик померк.

Он постоял, тяжело дыша, погладил ледяную шершавую поверхность, как будто это был надгробный камень, и поплелся назад.

Уезжая, она ему сказала так: «Я не вернусь. Или я вернусь после смерти. Денег мне больше не дадут. Преподавать не отпустят, слишком много желающих мужчин (она засмеялась). Это единственный способ. И я постараюсь тебя узнать».

Почти узнала.

## Измененное время

Странная, какая-то дикая история произошла со мной.

Начиная с того, что это были похороны. Мы, большая группа когда-тошних однокурсников, хоронили нашего вундеркинда, мальчика, который пришел рано и ушел раньше всех, загадка.

Он теперь лежал в гробу молодым, худеньким как подросток, только что усы и бородка отличали его от привычного облика, усы и бородка, называемые «мефистофельскими».

Он при жизни всегда имел манеру хихикать, он как бы тайно, жалея и снисходя, но все-таки саркастически относился к нам, взрослому и идиотскому племени устаревших, застрявших во времени людей, он знал что-то (или нам это казалось с перепугу), чего уже нам было не узнать, он пришел к нам с большим опережением в возрасте, хоть это и парадоксально звучит, это ведь мы раньше родились. Но он, юнец, знал больше. Вроде бы и знал свою судьбу. Хихикал и торопился.

Точнее сказать: ему была дана фора! (Еще и вопрос, кем она была дана, но об этом тихо.) Не то чтобы он был гостем из будущего — как известно, великие умы не есть порождение прогресса, они всегда возникали помимо времен.

Но все время это слово возникает в связи с ним: время.

Как он рос — да явно там, у себя в школе, среди сверстников и дворовых детей, особенно среди детей из своей среды (т. е. из дружественных и параллельных семей), он был некстати.

Он уже кончил школу, а они паслись в каком-то глубоком детстве жизни. Во втором, что ли, классе, страшно сказать.

О чем ему было с ними говорить, в какие игры играть — но и с нами, откровенно сказать, ему было тоже скучно.

Он заблудился в годах, короче говоря.

Его работы были настолько странными и непривычными для всех, что народ слегка чумел и не знал, с какой стороны к ним подойти, с какими, в частности, мерками (мерилами, говоря пышно, сообразно событию). К реальности все это не относилось никак!

Он открыл нечто не поддающееся использованию или даже вредное для человечества, во всяком случае сейчас, то есть ныне (пышно выражаясь). Ныне были все еще приняты иные мерилы.

Он сам относился к этому хихикая.

Какие-то пересечения времен он соотнес между собой.

Он носил с собой свои выкладки, лично являлся с ними на заседания кафедры.

Как-то любил бывать на людях. Находил в этом кайф. Хихикал в обществе и заносил записи в походную VC (ву-цет).

Его, правда, сторонились. Люди справедливо опасались, что он смеется над ними.

Наш Леон трудолюбиво и лично распространял работы своего ученика повсеместно, распределял между светилами нашего института, которые светила валялись дома у себя на диване и печатали полторы

страницы раз в шесть месяцев, такая существовала периодичность, не реже (и каждый раз это было событие в ранге полумирового).

Леон закидывал мифистовские труды в мировую сеть, сам признавая, что мало понимает в данных выкладках, однако ожидал, что всё в мире, как всегда, рифмуется, идеи рождаются попарно в разных местах, и часто на явно безумную мысль находится другая такая же: недаром третья с конца проблема Вулворта была решена одновременно в Канберре и в академгородке Апатиты. С разницей в тридцать секунд. Наш апатитовский м. н. с. был первым, но поленился выйти в сеть и свалил на радостях купить бутылку по такому случаю.

Все равно он опубликовался раньше на эти секунды. Так сказать, оказался чемпионом мира (полмиллиона долларов). Хорошо еще, что в его VC автоматически проставлялись даты. У некоторых наших и того не было.

Правда, чаще всего на такое открытие находится оппонент с четкими аргументами.

Однако Леон зря метался. Таковых конгениальных не нашлось. Все кривились и пожимали плечами. По всему миру.

Идеи нашего младенца невозможно было применить и в военных целях, несмотря на то что это ведомство серьезно относится даже к ведьмам. Пыхтя пытается употребить.

Мефисто, однако, продолжал жизнерадостно хихикать, потирал худые детские ручки и напрашивался на любую пьянку на любом этаже, в том числе его видели справлявшим день рождения уборщицы у нее в подсобке, и дело кончилось свальным грехом, как всегда у него. Ребенку нравилось это дело, и возраст и количество партнеров (и их пол) не играли роли. Радостно пристраивался.

А так все пусто, пусто было вокруг него. Человечество молчало, чаще всего стараясь не замечать, инстинктивно игнорируя неведомое, т. е. почитая его за бред.

Мефисто как бы писал ноты, как маленький ребенок иногда балуется — и ни один виртуоз а) не в силах этого сыграть, и б) что незачем. То есть наши выражались в том смысле, что технические трудности тут преодолимы, но неохота участвовать. Белиберда.

Объяснение простое, однако его работы нас мучили.

Затем все покатило довольно быстро, Мефистофель начал употреблять, и не только спиртное. Якобы возникли проблемы со сном: а у кого их нет! Леон был в этом смысле образцом, все в его органоне протекало естественно, как у животного, он иногда восклицал после заседания кафедры, оказавшись в компании редко бывающего, раз в полгода вставшего с дивана коллеги: «Ты знаешь, как я сру? Раз — всё!»

Правда, Леон мучительно долго умирал, это у него шло параллельно с угасанием Мефисто.

Мальш специально, что ли, догонял своего учителя, как раньше Лермонтов все нарывался на дуэльный пистолет.

Крупные, все увеличивающиеся дозы превозмогли хрупкую натуру Мефисто, отец сволок его на реабилитацию в клинику, дальше он уже сам пошел по больницам, сдвинулся, стал лунатиком, впадал в летаргию, однажды лежал два года с широко раскрытым ртом, остекленевший протез организма:

Наконец ему во второй срок (он продержался пять годков) отключили жизнеобеспечение.

Он, правда, сам и заранее написал, определил время, в течение которого его можно держать при жизни в бессознательном состоянии с помощью аппаратуры. Зачем-то ему это было нужно.

К тому моменту армия как бы уже подобралась с разных сторон, на манер наводнения, к его одной идее, и они как раз не дали ему уйти в первом приступе летаргии.

Второй срок, правда, они проворонили, в ординаторской у врачей все были в отпуску, жаркое лето, и одним прекрасным днем дежурная сестра получила по телефону указание вырубить СЖО. Она потом оправдывалась, что узнала голос главврача. Но главврач сказала, что была в тот день в Гааге как раз на конференции. И не стала бы оттуда заниматься такими делами. (Таковыми мелочами типа.)

Повторяю, его отключили в июне, но он дожил до сентября, вот фокус. Таял, таял.

Мы собрались все, могучий интеллектуальный потенциал нации, кто с гриппом, кто с трудом вставши с дивана. Бодрых и лихих, энергичных, обвешанных сотовыми микрофончиками, на могучих броневиках с пушками среди нас не было, да и не тот это был зал прощания. Так, зал в больничке на улице Хользунова.

Теперь он лежал, наш юный Мефисто, жалкий, восковой, ледяной, ростом с десятилетнего ребенка. С ним неловко прощались, почему неловко: стоило только тронуть его плечо, как человек понимал, что там, под шерстяной тканью, остались одни тонкие кости. Все сразу отдергивали руки. Тайна склепа не должна быть явной, вот что!

Он лежал и расставался со светом в полутьме траурного зала, а какков теперь результат его профессиональной деятельности, еще только предстояло узнать. В перерыве между двумя летаргиями вояки держали его на реабилитации в санатории. Он ни с кем не поддерживал связи. Леон умер в его первое отсутствие.

Как и раньше (думали мы), как и раньше, никому все это не пригодится, хотя одновременно несколькими (в пламенных и скорбных речах) была выражена мысль, что надо запустить в сеть память с его персональной ву-цет (VC). И надо просить у наследников разрешение на это, низко им поклонившись.

Жена покойного, толстая, простая баба, базедова болезнь и слабоумие в анамнезе, просто орудие наслаждения (как, хихикая, однажды обронил Мефистофель), русская негр, белая раба, испуганно кивала. Сын стоял, явно отсталый, открывши ротик. Двое людей с военной выправкой, склонив друг к другу простоволосые головенки, обронили по неслышной фразе. Вот это и были его наследники.

Поговаривали, что простуха жена ежедневно покупала ему литр водки. А ребенка попросили вон из хорошей школы.

Отчаяние, полнейшее отчаяние зияло вокруг этих двоих сирот.

А мы друг за другом говорили покаянные речи, я тоже сказала несколько фраз и отошла, имея впереди только спины стоящих, отошла, чтобы дать место другим.

На самом деле мы все чего-то ждали. Какого-то апофеоза, триумфа, как люди вокруг виселицы и особенно сам осужденный, стоящий в мешке на табуретке, — все, наострив уши, ждут топота копыт и прилетевшего с помилованием посланца высшей воли.

Он не мог уйти просто так. Каждый из нас в это верил.

Атмосфера была накаленная в этом мрачном, сыром зале прощания. Как-то все медлили.

Однако распорядительница, тоже простая баба, имела в виду мертвую очередь скопившихся в коридоре гробов, и она навела окончательный порядок, велев прощаться с покойным.

Люди стали подходить к гробу, кланяться, креститься, жена с рыданием поцеловала Мефисто в губы, я тоже подошла, ведомая общим направлением движения.

Он меня любил. Между своими летаргиями он мне, хихикая, звонил. И до того. И уже скончавшись, сегодня утром пригласил на свои похороны, чтобы ему там пусто было.

Покойник вдруг оказался просто завален цветами, причем самыми роскошными. Дивной красоты эндемики, мелкие дикие орхидеи из амазонских джунглей, сноп голубых лотосов (астраханские, по-моему)... Выстроились венки с надписями на хинди и на иврите. Даже на хеттском было какое-то пожелание вечной жизни (я как-то расшифровывала эпитафию для племянника подруги).

Однако на одной из лент содержалась явная ошибка, золотом по черному было выткано «Любимой», вот какие шутки выделявает жизнь.

Я стояла в ногах Мефисто, мне был виден только его нос, обычный восковой нос с ямами ноздрей.

Неясное ощущение личной моей вины все росло.

Я вспоминала его отчаянные звонки, его письма, которые он, не скрываясь, посылал мне прямо на институтский почтовый ящик, который можно было вскрыть на любом экране VC, на первом попавшемся рабочем месте, даже в канцелярии.

Счастье еще, что только одна я их понимала. Он знал, что я могу расшифровать практически все. Меня тут и держали как простую дешифровщицу. Вояки присылали за мной и каждую мою работу оплачивали институту немаленькими деньгами.

Но я не всегда принимала их заявки, установив определенный график, сутки через трое меня не было нигде.

Я посещала некоторые заветные места, и Мефисто об этом догадался. В частности, тяжелую таблицу для племянника подруги (в просторечии «скрижаль») я приволокла на время после четырех суток отсутствия. Мефисто позвонил и прямо спросил насчет третьего пункта, верно ли переведено.

Несколько десятков писем Мефисто были посвящены проблемам изменений времени. То, что у многих день путается с ночью, это мучительно, но обыкновенно. «У меня могут наступить другие часы жизни,— жаловался он,— однако! Как говорится, все нам доступно, но не все полезно. Я не могу покинуть своего сына».

Я ни разу ему не ответила.

Он к этому был приспособлен: Он работал только из себя и не принимал ничего, никаких встречных сигналов, они были ему не нужны.

Даже когда Мефисто писал, что больше некому, после ухода Леона, посылать сообщения.

Подумаешь!

Я не ответила ему, что мне и при Леоне некому было слова сказать.

Разве что задать вопрос нескольким людям в свое отсутствие, но это особь статья. Лысому курносому в ожидании его сарказмов.

О, тамошнюю меня никто бы не узнал здесь. Мальчик-женщина с голыми коленками, платье мини (оно там иначе называется). Камни, жара как из хлебной печи.

Кстати, другим нашим сотрудникам Мефисто посылал ровно такие же тексты.

Мы все обменивались фразами, короткими, как одиночные выстрелы, мы, подпольные кроты, каждый со своими проблемами (миллион долларов решение).

И мы пришли к общему выводу, что наш младшенький неадекватен времени по определению, но только сейчас его это стало мучить, с появлением сына.

А ведь таковым посторонним он пребывал всегда, вечно, и никто в мире не способен сейчас заставить его вернуться, допустим, с небес на землю и попытаться жить сообразно своему земному возрасту.

И, что основное и трудноосуществимое, нельзя заставить его не создавать всё новые неразрешимые проблемы! Взять хотя бы его ребенка. Мефисто пытался родить обычное чадо, взял женщину из народа, из буквально посудомоек, но, видите ли, дитя не влезает в рамки ни

единого учебного заведения нашего времени! Не понимает деления и умножения, никаких правил, они ему не нужны изначально. Из первого класса крошку ликвидировали, направив его в школу олигофренов. Он и там не отвечает на вопросы. Он давно уже занят тем, что ему безрассудный папаша втемяшил в мозги, создавши из него некоторый ходячий полигон для решения теперь уже третьей проблемы Золтанаи (полмиллиона долларов). В одном из писем Мефисто ужасался своей недалечностью. Не мог, дескать, предугадать, что так будет убиваться насчет сына.

Ребенок, можно это видеть, даже у гроба размышляет интенсивно и бесшумно, пуская слюнку изо рта.

«Я должен уйти, но не могу их покинуть, Фаина выдающийся человек, однако она беспомощна без меня, а Дима вообще еще не может оформить решения как следует. Не владеет аппаратом вывода на мою VC! Как я их оставляю!» Мысленно я нашла для него выход из положения — умереть на время.

Он как-то умудрился отсканировать мою мысль из ноосферы (используем слова великого В.), т. е. вне связи. Или эта идея, согласно закону мировых рифм, пришла к нему тоже.

Летаргия номер один позволила его семье жить безбедно (армия терпеливо ждала), мальчик работал над второй частью проблемы Золтанаи еще два года (еще 500 тысяч долларов).

«Спасибо тебе, моя любимая, я замедлю еще раз уход, пока не решу свою задачу с временем. У вундеркиндов слабый животный потенциал, к сожалению», — написал он мне на общеинститутский почтовый ящик, причем графически изобразил это в виде примерно такой абракадабры, каковую любой младенец может извлечь из VC, если начнет барабанить по клавише двумя кулаками.

Я убедилась, что он читает мои мысли, те, быстрые, из первого ряда.

Больше я не думала о нем.

Он, правда, вынуждал меня это делать иногда — к примеру, как сегодня.

Я торчу перед венком с надписью почему-то «Любимой!»

Явная ошибка.

Всюду этот юмор жизни.

Итак, повторяю, мы всем коллективом не смогли заставить его не создавать проблем, до которых еще не доросло наше бедное человечество, и заняться рядовыми десятью постулатами, каждый из которых представлял собой непреодолимое препятствие, неразрешимый вопрос (как заповедь «не убий» для солдата-католика).

А вояки, платившие ему, те не в счет, они в основном терзались над вопросами попроще, типа насчет НЛО, желая управлять этими мульт-

типикационными процессами (сnth-анимация разряда DI) для транс-континентального устрашения врагов.

Вернемся к обстоятельствам.

Я стояла за горой цветов, недалеко от изножия гроба. И нахальная ошибка с венком, на котором было написано «Любимой», маячила передо мной отчетливо, как всякое золото на черном, как наряд восточной женщины.

Перепутали буквы! Надо «Любимому»!

Вдруг посреди этих невеселых мыслей я поняла, что в музыку, обычную погребальную органную музыку, вторгся вульгарный шум.

Кто-то хрипло визжал, орал, кого-то поднимали с пола там, впереди, у изголовья.

Происходила невероятная для этих обстоятельств истерика!

Вдруг я услышала грубый, громкий голос. Некий мужчина встал в центре зала со словами:

— Она всех вас приглашает на поминки. Милости просим помянуть ее!

У этого неизвестного мужика было лицо алкоголика с ярко выраженными признаками.

— Усопшая бы вас сама пригласила, если бы встала!

Очевидно, это была шутка.

Она — это кто? Усопшая — это кто тут?

— При жизни, — давась от слез, выкрикивал мужчина, — вы не все ее посетили, так спасибо, что посетили после смерти, и вас так же будут навещать! Вас всех!

Поднялся недовольный шум.

— И милости просим на поминки, места у нас хватит, заказана столовая при заводе. Скоро помянете! — надрывался человек, обливаясь слезами.

Люди как-то стали двигаться к огромным дверям.

Слова мужчины содержали явный упрек всем собравшимся. Кроме того, он пригрозил нам одним на всех скорым наказанием — «вас так же будут навещать».

Я заглянула поверх груды цветов, ничего не разглядела.

Виднелся только нос Мефистофеля, странно раздувшийся, как от насморка.

Остальное было прикрыто полосой ткани. Какой-то сумасшедший проник в зал, это явно, и кричал. Отсюда суматоха, странная свалка на полу, какая-то борьба.

Надпись «Любимой», однако, содержала еще какие-то слова, не видные из-за скрутившейся ленты.

Я подвинулась поближе к венку, дотянулась рукой и расправила надпись.

«Любимой жене Алевтине!» — таков был веночек.

Рядом я прочла опять-таки «Дорогой Алевтине» и какое-то сложное, свернувшееся в трубочку отчество, пропавшее среди цветов, и «Любимой маме от Ольги и внуков». Что за бред?

Мефистофель стал женщиной и умер в старости?

Вот это новость так новость, вот это перескок, смена времен!

Но ведь он писал мне, что скоро найдет способ оставаться прежним в изменившемся будущем.

— Дорогая Валя, — послышался новый плачущий, теперь женский, голос. — Алевтина! Прости меня!

Я подобралась поближе. Ни усов, ни бороды у покойника! Старушка явно!

Все понятно. Я попала не туда.

Но как же так, всего две минуты назад я явственно видела нос Мефисто!

У меня что, произошло выпадение из времени? Я тоже перескочила, пропустила все, на ходу потеряла сознание и очнулась позже? Позже на сколько?

Час или десять минут я была без памяти? Тут, ровно на этом месте, простояла как истукан?

Мефисто ведь работал над проблемой пересечения времен. Перетащил меня в другой момент?

Кстати, я уже вчера отметила некоторые несообразности в своей собственной жизни: утром, оставив на зажженной конфорке сковороду с омлетом (уже не успевала поесть), я, вернувшись домой вечером, обнаружила ее, совершенно черную, обгоревшую, в раковине, а плита была выключена.

Притом я точно знала, что именно забыла сковородку на плите, и за весь день ни разу о ней не вспомнила! И когда это я возвращалась к себе домой, когда выключала огонь, когда ставила обгоревшую сковороду в раковину? Этого же не было точно! А живу я абсолютно одна, и дверь отпирала своими ключами, которых нет ни у кого! И не могли воры войти в квартиру, кинуться к дымящейся сковороде, привести все в порядок и уйти с миром!

Явно поработал добрый дух, явно.

И вот теперь я стою как полнейшая идиотка среди посторонних людей и хороню постороннюю бабушку! Какую-то «Любимую»! Причем уже давно я пялюсь на этот веночек, почти с самого начала, когда встала в изножье гроба...

— Простите, сколько у вас на часах? — спросила я женщину впереди себя.

Она ответила, полуобернувшись (я увидела незнакомый профиль и красный нос):

— Тринадцать тридцать.

Вот это да! Похороны Мефисто были назначены как раз на тринадцать тридцать! И я еще опоздала минут на десять, и нас долго не пускали, предыдущие никак не выходили... Где-то около двух часов мы вошли в этот зал.

Я посмотрела на свои часы. Три ровно.

— Извините, а какой сегодня день?

Она даже не обернулась, только покачала головой:

— Понедельник.

Так. Понедельник это и был. Я прекрасно помню.

— А год, год какой? Понедельник какого года? Она покосилась на меня через плечо и промолчала.

Может быть, подумала, что я не в своем уме или просто захотела поговорить, посторонняя всем на этом семейном сборище.

Я и одета была совершенно не как они, без черного платка на голове. Вообще без шапки.

Я потихоньку вышла из морга в чистое снежное поле, по которому шла наезженная дорога, усеянная еловыми веточками и пестрыми лепестками.

Дорога вилась в полях до горизонта. Автобусы стояли рядами у здания с трубой (это был, видимо, крематорий).

А я же ведь в два часа приехала на улицу Хользунова, такси ползло через все городские пробки, водитель долго блуждал по переулкам, ища возможность проникнуть на улицу с односторонним движением. Вокруг простирался шумный, грязный, забитый транспортом город, солнышко показывалось из-за туч, тротуары были мокрые... Конец сентября был!

Белое безмолвие окружало меня. Я повернула к автобусам.

Что самое неприятное, всем здесь я была посторонняя, и теперь надо пристраиваться к чужим автобусам, к чужим людям...

Я вернулась в зал крематория, инстинктивно пробралась к той тушке, у которой я спрашивала время. Это был единственный знакомый мне человек в данном времени.

Тут уже лилась траурная музыка, гроб уходил за занавеску, люди рыдали, кто-то очень громко выл, буквально во весь голос, отпустивши поводья. Плакальщица явно профессиональная, заводная.

Вдоль стен стояли те самые венки с надписями «Любимой», «Дорогой», «Незабвенной».

Женщина, та, моя единственная родная душа, полуобернувшись, сказала:

— А Николай так ее и не увидел.

— Да,— ответила я тихо.

Она меня явно за кого-то приняла!

Играя свою роль подавленной горем родственницы Николая (как меня зовут-то?), я немного скуксилась, понурилась и побрела наружу теперь уже в толпе, имея в поле зрения свою знакомую, вернее ее спину. Вслед за этой черной спиной я забралась в автобус, надеясь куда-нибудь приехать.

Одета я была, конечно, несоответственно — легкая куртка, брюки, все темное, очень приличное. Черные очки! Я их быстро стащила. Любопытствующие уже оборачивались (я села на заднее сиденье справа).

По рядам пошла гулять бутылка водки, мне тоже налили в пластмассовый стаканчик.

— За нашу дорогую, — провозгласил кто-то впереди, и все согласно кивнули и выпили. Я сделала вид, что пью, переждала немного и вылила водку себе под ноги. Хорошо, что рядом сидящий мужик в это время дул из горла своей, отдельной бутылки.

— Как тебя? — спросил он.

— Лена, знакомая Николая. Спасибо тетке.

— Ты откуда?

— А вы откуда?

— Я-то с Талдома, — с большим упреком ответил мужик.

— А как вас зовут?

— Николай.

— Тоже? — глупо сказала я. — Николай... Надо же... А как отчество?

— Так Петрович. Ну... а ты откуда? — как-то уже не сдержался он.

— А я из Америки, — вдруг вырвалось из моего рта.

— А, — развязно отвечал мой Николай. — Слышали мы, слышали о вас.

Бог ты мой!

— Ну и как ты теперь? После этого убийства? — спросил он с некоторой оттяжкой.

— Я?

— Да. Вот ты. Не будем вообще вспоминать, она о тебе говорила всю свою жизнь. Она верила, что найдет тебя...

(И прикончит, подумала я.)

И, опережая события, лягнула:

— Меня осудили.

— Сколько дали?

— Двадцать лет.

— Дела, — кивнул мой Николай своей дурной головой. Видимо, в знак того, что двадцать лет — это справедливо.

После чего он выдул бутылку до дна.

Затем он заснул, успокоенно положив на мое хилое плечо эту свою голову, набитую теперь полной информацией.

Слева от меня сидела еще одна тетка. Она все, оказывается, слышала.

— Валя о тебе говорила всю свою жизнь, — подчеркнула уже сказанное тетка. — Она верила, что найдет тебя. Это Николая, — объяснила тебя вперед мужику и старушке.

Те обернулись.

— Как она мечтала тебя убить! — сказала старушка.

— Она же закончила свою жизнь на балконе, думала тебя встретить сверху, — продолжала тетка слева.

— А я не успела, — ответил мой рот. Тяжелая голова Николая-2 подпрыгивала на моем плече, дорога была неровной.

— Вот так да, — сказал старичок и обернулся ко мне. — Николая собственной персоной, Николая Степановича. Где же был ты, Николай?

Я заметалась. Что это, я стала Николаем? Потрогала лицо. Нет, все мое со мной. Курточка, под курточкой свитерок, белье, грудь.

— Где он был, там его нет, — продолжала я этот дикий разговор. — Он пасет ослов на Апалачах.

Они покивали.

— Ослов, козлов на даче, — пронеслось вперед по рядам. Кто-то не расслышал и переврал.

Не важно, что они там мелют, главное, чтобы они не оставили меня в этой заснеженной пустыне. А довели бы куда-нибудь.

— Тебя теперь отпускать нельзя, — сказал старичок. — Она так ждала этой встречи.

— Так ждала, так ждала, — понеслось по рядам. Внезапно я ответила так:

— Какой знакомый крематорий! Я хоронила здесь Риту. Был ба-  
тюшка.

— Да-да, — заговорили в автобусе. — Сколько мы сюда перетаскали!

Минуты две они наперебой выкрикивали имена и фамилии, стали спорить, выпили еще, затем запели.

За окнами темнело.

Какой хотя бы год?

— Ни у кого газеты нет? Ноги промокли, — фамильярно обратилась я к автобусу.

— Я хоронил тут Элизбара, — обернувшись, ответил спереди щербатый старичок, — начальник цеха был! Винзавод уже закрыли. Новое оборудование купили, всех уволили... А Любу еще раньше. Ее прямо вынесли. Говорила: «Пила до вас и после вас буду!» А техник-технолог. Мы привозим ее, она свекрови кричит: «Ну ты, деловая! Мой халат снимай!»

— А что такое время? — спросила я.

— Время? — услышала женщина слева. — Пора спать. Время ночь.

Николай поднял голову с моего плеча и ответил:

— Пять часов?

— А Шуру тут хоронили,— сказала ему я.— Такой Шура Мефисто.  
— Это сколько раз было! — Николай даже отпрянул от меня.— Я с ним вместе учился!

Здрасьте. Приехали.

— В каком классе?

— В десятом.

— Но он был моложе вас?

— Да, было ему восемь лет. Моложе! Это не то слово. Он пришел к нам в сентябре из второго класса, видали? Мы уже усы брили! Закончил сразу за месяц школу и в октябре поступил в университет и тут же, когда ему исполнилось десять, его закончил!

— Подумать только...

— У таких людей,— назидательно продолжал Николай,— есть привычка возвращаться и перескакивать туда-обратно через некоторое время! Это и есть бессмертие,— сказал он.— Меня таскал. И всех с собой гоняет. Возвращаюсь как огурец, а моя жена бабушка.

— Вот у нас какой год? — придирчиво спросила я.

— Не это важно! — воскликнул нетрезвый Николай.— Он вообще сейчас в клинике живет на сохранении.

— И как себя чувствует?

— Да чувствует,— отвечал Николай.— Скучает. У него целый этаж. Да это не здесь. Сын профессор. Миллионер. Жена то там, то там. И Шура этот Мефисто мне все время звонит. Когда явишься. (Неожиданно он выверился.) Ра-бо-та у меня, ясно?

— А вы кем работаете?

— Я? Я оператором. Ты что, маленький ребенок? Иди в люльку! — вдруг сказал в пространство Николай.— Я же оператор! Уборочный комбайн! Сутки через двое!

— А мы сутки через трое, и мне сейчас заступать,— перебила я его и спуска некоторое время уже шла среди мраморных колонн.

Сияло вечное небо. У меня были голые колени, на кудрявой голове ловко свернутая ветка плюща.

## Лабиринт

В тот момент, когда земля задышала, месяц выступил как бледная чешуйка на еще светлом небе, а трава уже была тут как тут, то есть апрельским вечером, девушка Д. наконец пришла на садовые участки садоводческого товарищества «Лабиринт», раскинувшего свои домики среди плодовых деревьев, уже тоже окутанных зеленым туманом.

Дом только что похороненной тетки, престарелой и нищей, выглядел почерневшим от дождей, но был вполне крепкий.

Внутри оказалось пыльно, пахло яблочной гнильцой (на просторном чердаке лежали в газетах морщинистые коричневые прошлогодние яблочки, тетка не успела их вывезти, вывезли в больницу ее самое). Две комнаты и терраса, однако, были вполне пригодны для жизни, разве что замусорены до ужаса, просто разграблены посмертными посетителями, все было высыпано как из рога изобилия.

Правда, шкаф и кое-какую мебелишку не вынесли вон, было на чем есть и спать. Хорошо также, что имелись газовое отопление и плита, тетка прекрасно подготовилась к длинной старости. Тетка жила тут безвылазно, одиноко, никого собой не обременяя, идеальный случай, хотя слегка и тронулась, видимо, потому что соседки рассказали, что ранней весной, приехав на посадки редиса по снегу (такой способ), застали ее на участке (в последний год жизни) и спросили, каково-то было тут обитать одной, а она ответила, что я не одна, со мной Александр Блок, вон он, навещает, и она кивнула на дом. Вид у нее уже был плохой, но какой-то даже счастливый.

Д. после этих рассказов (она узнавала у соседки как раз насчет газового отопления, как включать) — Д. после такого предисловия решительно взялась за полы, вскоре развела костер из бумажных отходов, сортировать не было сил, а там мелькали письма, стихи, счета, заполненные тетради, какие-то списки, важные следы чужой жизни, гори оно огнем! Стихи она взяла в руки поинтересоваться — оказалось, действительно строчки Блока. «Мне снится берег очарованный», выцветшими чернилами с буквой «ять», какое-то странное послание.

Позже она вспоминала о тех тетрадах, жалко, что сожгла, может быть, тетка что-то бы ей оттуда, из-за гроба, как-то сообщила, ведь тексты — это опыт чужих ошибок, лазейка в лабиринте, наука дуракам и т. д.

Но что сделано, то сделано, тогда еще Д. не любила свою тетку, как полюбила позже.

Короче, до самой ночи Д. устраивалась на ночлег, надо было спешить освободить хотя бы одну комнату, но, поддавшись наркотику труда, Д. не успокоилась, пока не убрала, не вылизала весь домик. Костер чужого ума горел ясным пламенем на участке, валил сладкий дым, мокрые тряпки после мытья пола и окон висели на нижних сучьях, а Д. нашла банку довольно пригодных белил и заодно, пропадая от усталости, побелила изнутри и рамы окон (снаружи завтра).

Это был такой трудовой запой, видимо, инстинкт рабочих пчел, который ведет по жизни многих и многих женщин, сладко наводить порядок на новом месте весной!

Домик сиял.

Д. была счастлива как никогда.

Дом тетя Леля завещала именно ей, и никаких пап-мам Д. не хотела звать ни в гости, ни тем более на постой, ее семья жила шумно, откровенно

но, даже цинично, и Д. стремилась вон из этого вонючего людского тепла — туда, где никто не вынудит незамужнюю девушку плакать, накрывшись подушкой, особенно после откровенно-заботливых возгласов отца, что ничего, что дочь у нас не девица, заклеим бумажкой и выдадим замуж! Мать в ответ кричала: «Идиот поганый». Возникал обычный семейный круговорот, теплый, густой, как суп, ежедневный, обязательный, обезоруживающий, потому что отец страдал, уязвленный тем, что некто Миша не женился на дочери, прожил просто так два месяца в квартире, проужинал шестьдесят раз, поварился в семейном котле среди циничных, откровенных слов заранее огорченного отца («А кто он нам? Пусть идет, куда шел») и громких, не менее циничных возражений матери; за отчетный период Миша перебрал свой пуховой спальный мешок, с которым приехал к невесте, каждый вечер терпеливо разворачивал и перебирал комок за комком, затем выстирал все по отдельности в мыльной стружке, сам все приготовил: таз, тазик и ведро — опять разложил высохшее по полу, простегал крупными стежками, ни слова ни говоря, потом скатал, собрал вещи и вышел вон к ночному поезду, турист, походник, мужчина, немногословный, как полагается.

Ребенка у Д. не завязалось, Д. вообще все эти два месяца до ужаса стеснялась отца и мать, пребывающих за тонкой стенкой, они ни разу не ушли из дому, ни в кино, ни в гости, ни просто погулять, вроде бы сидели и сторожили.

Несостоявшийся зять, который все это время ночевал на полу в одиночестве, уезжал как бы временно, завязал свой рюкзак, водрузил на него спальный мешок выше головы и, наскоро простившись с плачущей Д., она лежала как в горячке на своей кровати, канул в вечность, не поняв и не приняв ничего, эту семейную атмосферу полной правды в выражениях, убрался домой куда-то за Уральскую гряду, где у него была своя, в свою очередь, еще не старая мать, тоже откровенная до ужаса, которая в ответ на телефонный звонок Д. прямо сказала: «Нечего сюда звонить, поняла? У него хорошая невеста тут».

Д. решила ночевать на полу, на своих одеялах, а тахту и ребристый диван пока только протереть, насчет же выбивания пыли подумать завтра, как это выволочь во двор.

Потом она села пить чай и все думала о тетке. Почему она завещала дом именно ей, причем тайно, вызвав ее на свой вокзал, отдала бумагу, говорила кратко, глядя на Д. круглыми, очень светлыми карими глазами (цвета чая) со своего румяного, коричневатого, как печеное яблочко, худого лица. Она вроде бы опаздывала (куда?) и спешила на поезд, хотя эти поезда ходили туда-сюда каждый час.

Причем, что чудом можно было бы назвать, на среднем пальце правой руки, когда тетка заботливо сняла самовязаную коричневую шерстяную варежку, у нее обнаружилось кольцо с круглым, выпуклым

ясно-коричневым камнем точно под цвет глаз. Зачем тетка его надела на вокзал? Что за шегольство?

Позже-то это кольцо нашлось, Д. его обнаружила, вернее, изумилась, увидев, но именно позже.

Отношения между теткой и ее младшей сестрой, мамой Д., были давно, с детства, плохими, мама Д. родилась, когда тетке было уже восемь лет, и ревность поселилась в ее сердце, ревность и зависть, особенно когда мама Д. выскочила замуж, тетке нравился мамин жених, это явно. Такую семейную легенду мама повторяла не раз, а отец, смеясь, не отрицал. Сама тетка так и осталась при родителях старой девушкой, проводила инвалидов на погост вкупе с их болезнями и неподвижностями, несчастная, все звонила, приглашала попрощаться с еще живыми, чего прощаться заранее, не каркай, яичница, шутил отец. Он называл свояченицу «яичница» и часто говорил: «Яичница, напиши на меня завешание, ты же одна, хоронить тебя буду я».

Д. пила чай на свободе на теткинском завещанном раздолье, за чистыми стеклами сиял негаснущий майский закат.

В детстве Д. провела здесь как-то летний месяцок, уже после смерти деда и бабушки, по очень важному поводу: мама Д. легла в больницу, а отец мигом уехал в командировку, и тетя вынуждена была взять маленькую Д. на дачу. Девочка Д. заболела вскоре, плакала перед сном каждый вечер, тосковала по маме с папой, а тетка приходила к ней, брала на руки, завернувши в одеяло, как младенца, даже сшила ей специальную куклу-мальчика, Пирамидона, чтобы Д. принимала пирамидон. Тетка читала ей какие-то непонятные стихи, при этом она зажигалась чуть ли не страстью и произносила стихи с силой, а Д. капризничала и не хотела слушать. Потом все душевные раны у маленькой Д. зажили, ребенок, как кошка, должен привыкать к одиночеству, если его бросили, что делать, она и привыкла к тете, неотлучно ходила при ней в магазин, на станцию, даже поехали однажды в электричке и на автобусе на почту в райцентр звонить. Тетя заказала разговор, взяла трубку, услышала чей-то голос, но говорить не стала, сразу вышла из кабины и со скандалом взяла обратно деньги за неиспользованный разговор. Они к тому моменту уже прожили вдвоем месяц, а тут вдруг, вернувшись в «Лабиринт», тетя собрала вещички Д. и повезла ее на электричке в Москву и там молча отдала в дверь отцу, мать тоже была дома, оказалось, мама провела в больнице только три дня, и отец сразу же вернулся, командировка была короткая, но они так, хитростью, решили заставить тетку взять маленькую Д. к себе на дачу! Свежий воздух нужен ребенку! Они проклинали тетку на все корки, они рассчитывали уехать в отпуск в военный санаторий, куда детей не брали. Уже были на руках путевки. Что же, пришлось сдавать одну путевку, и мать, ругаясь, поехала с Д. тоже в Судак, там сняла за дорого комнатку на

двоих, и так и прожили недовольные двадцать четыре дня, а очень хотелось отдохнуть одним на воле без детей в военной санатории. Отец вечно опаздывал в свою палату, уходил от матери в санаторий нехотя, лазил туда в окно на первом этаже после отбоя, утром встречался с семьей недовольный, и они с мамой ругали и ругали тетю Лелю.

Так что воспоминания о тетке были самые недобрые, и почему она вдруг решила оставить Д. свою дачу, непонятно.

Но факт остается фактом, раздался звонок, далекий голос закричал: «Москва, говорите с Рузой», — и теткин еле слышный голос назначил Д. свидание на вокзале, на шестой платформе у ступенек, завтра в три.

Тетка, как уже было сказано, сияла нездоровым румянцем после двух часов пути, глаза ее были прозрачные, как полированное красное дерево, и тетка сунула Д. согнутую пополам новую бумагу со словами:

— Ты у меня одна. Я тебя вспоминала, моя голубушка, как ты часто плакала, а я тебя баюкала. Я написала в твою пользу завещание на свой дом в «Лабиринте», тебе позвонят. Под дождевой бочкой в саду на глубине лопаты будет закопана стеклянная банка с подарком. Мой поезд скоро, беги, ты опаздываешь, ты стала такая взрослая, красавица...

Д., идя домой, поразились, никто ей не говорил никогда, что она стала красавицей, мать, наоборот, критически смотрела на Д. и была всегда недовольна ее ростом, дородностью, румянцем, кричала, что меньше есть надо булочек в институте, что сейчас не модно быть толстой, не нажираться хоть на ночь, опять все конфеты уничтожила!

И взрослой она стала даже слишком, работала в институте уже восьмой год, в справочном кабинете, заполняла формуляры вдали, в пыли, расписывала газеты и журналы по тематике, раскладывала по папкам, ходила с женщинами из библиотеки в бассейн, сеанс по воскресеньям в восемь утра. Сутулилась. Мать кричала в бессильной муке: выпрямись, кулема!

Д. прочла в метро составленное теткой завещание, причем вспомнила, что после смерти деда мама долго настаивала на том, чтобы Леля прописала к себе Д. или хотя бы съехала с ними, с оставшимися в живых родными, но тетка Леля даже разговаривать не хотела, бросала телефонную трубку.

Д. не стала спрашивать старуху, что с квартирой.

Теперь, сидя на дачном участке в домике тети Лели спустя столько лет, Д. снова задалась вопросом, что же случилось с квартирой, это ведь было бы большое богатство для нее, стареющей библиотечной крысы, жить с отцом-матерью становилось невыносимо, они все трое сидели как в общей камере, в заколдованном тесном кругу своих двух комнат, причем старики имели обыкновение ругаться друг с другом, а Д. лежала на своем диване и грызла что-нибудь, глядя в телевизор.

Но квартира, видимо, пропала, мать с отцом куда-то вместе ездили после извещения о Леле, мрачные возвращались, Д. ни словечка. Что-

то случилось с квартирой, если тетя Леля круглый год так и жила в этом почти картонном имении, в фанерных стенах, и не показывалась в Москве. Что-то случилось. Если бы отцу с матерью удалось что-либо получить, Д. сразу же узнала бы новость по их радости, по пению отца в кухне. Мать бы оказалась единственной наследницей тети Лелиной квартиры, и Д. была почти уверена, что немедленно все было бы продано и положено на сберкнижку «на старость».

Кстати, сама Д., приехав с вокзала тогда, сразу сказала старикам, что получила от тетки Лели завещание в виде дачного домика, они ворохнулись, захотели участвовать, закипели, всполошились, но Д. твердо сказала, что тетя-то жива еще.

Когда же Леля померла в райбольнице и им позвонили, то одна Д. поехала в ту больницу, повезла деньги, которые заняла у подруги, но там, в глуши, все оказалось много дешевле, чем в городе, она заказала гроб, грузовик, яму, всё.

Когда она вернулась после того первого раза, родители куксались, роптали, скучали, как малые дети, но наконец не вытерпели и произнесли свой приговор: не поедем! Вообще не поедем! И летом туда не поедем! Хотя это не одной тебе, я тоже наследница, заявила мама, обижаясь заранее.

Отец заорал, что будет приезжать на дачу, когда захочется, это общая дача семьи, ничего ты не сделаешь, родного отца не выгонишь, на что Д. робко ответила: «Родного ли?» Мать вскрикнула, отец грубо выругался, обычная вещь, заурядный разговор.

Всё. Д. справилась одна, вернулась с кладбища автобусом до станции, проехала на электричке две остановки и отмахала лесом до «Лабиринта» три километра со своим рюкзакищем, открыла наспех приколоченную доской дверь (замок сорвали вору), вдохнула запах яблочной гнильцы, сырости, едкой пыли...

В рюкзаке Д. всю эту нелегкую дорогу волокла старые одеяла, подушку, бельишко, пару банок консервов и полбатона, какие-то опять же старые одежки для работы на участке — на похороны приехала с этим добром и у могилы стояла держа рюкзак в ногах... Грузовик ушел сразу же, как только вытянули из него гроб, обратно пришлось шагать, ждать автобуса, опять мерить резиновыми сапожищами километры...

И вот теперь такая награда, чистый, теплый дом, батареи налиты горячей водой, горячая вода в чайнике, а выйдешь наружу — еще ледок на почве, холодный, свежайший воздух буквально щиплет горло не хуже газировки, захватывает дух от неба, тишины, месяца... Батон и консервы Д. умяла как мясорубка, на завтра оставались еще консервы, и что?

А было вот что: Д. обнаружила у тетки стеклянные банки с крупами, все они стояли в подполе, каждая такая банка (трехлитровая) была накрыта пустой консервной жестяной крышкой, от крыс, и сверху придавлена бу-

лыжничком. Воры не нашли этот подпол, а там было много чего, варенья, соленья, они обнаружили другой, дверца в который была нещадно сорвана ломом, а в тот вел вход из-под шкафа, тетя Леля в свое время показала Д. эту тайну, тайничок.

Там же тетка хранила фарфоровую посуду, стопку тарелок, какие-то старозаветные молочник-сахарницу, затем новые половики, швейную машину, хорошо смазанную маслом, инструменты и какие-то ящики, надо будет посмотреть с гвоздодером.

Но это все Д. предусмотрительно опять задвинула шкафом, примерилась, походила и вдруг постелила себе на теткиной кровати.

Однако тут же она вспомнила про слова тети Лели о том, что под бочкой в саду закопана стеклянная банка с подарком, взяла лопату и вышла на воздух. Деньги за ту тетину квартиру?

Д. стала быстро представлять себе, как купит на эти деньги себе квартиру, не век же коротать жизнь в этой хибаре. Купит квартиру, мебель... Напишет Мише... Приезжай срочно связи изменениями жизни.

В бочке было уже до половины воды со льдом, пришлось вычерпать все ведром, завалить бочку, откатить ее и только потом взяться за раскопки. Сразу же звякнула лопата, и Д. вытащила из земли грязную баночку, пустую на вид, только на доньшке что-то перекатывалось.

Открыв тут же, на воздухе, пластиковую крышку, Д. опрокинула баночку себе на ладонь и увидела то самое серебряное колечко со светло-коричневым камушком: было бы что прятать!

Тем не менее Д. сняла варежку и надела кольцо на безымянный палец правой руки.

И с этим орехово-коричневым кольцом она вышла на уже темнеющем закате в сад, подернутый первой зеленью, и открыла калитку.

Она остановилась под небом и стала радоваться, душа ее буквально расцвела, и долгие годы свободы и покоя встали перед Д., переливаясь как радуга.

И тут же Д. испугалась, услышав твердые шаги.

К ней приближался странный прохожий.

Он был в высоких кожаных сапогах, в странном полупальто и в барашковой шапке, а в руке у него была тонкая палочка. Как трость слепого.

Прохожий остановился и спросил у Д., не видела ли она тут другого такого же желтого дома. Там обитала такая красивая девушка одна, без родителей. Зовут Ольга.

Затем он помолчал и сказал Д., что вышел вслед за Ольгой, когда она вдруг куда-то исчезла, он бросился ее искать — и потерял даже дом. То есть что он пошел следом и плутает уже больше месяца.

«Больше месяца! — подумала Д. — Врет как!..»

— Я никого здесь не знаю, — чистосердечно ответила Д. и ушла, запев калитку, и он удалился, а затем, убирая следы от своих раскопок и

каты на место бочку, она опять увидела незнакомца, который двигался обратно, и вышла теперь к нему сама, и они стали обсуждать, что незнакомцу делать. То есть больше говорила сама Д., что можно идти на станцию три километра, два часа — и Москва. Надо посмотреть расписание. Должен быть еще один поезд.

Он же отвечал, что не из Москвы сюда приехал, в Москве и нет никого, уже нет.

Тут она лучше рассмотрела его: темное лицо, светлые, какие-то неземные глаза, которые все порывались смотреть вверх, как бы ища в светлых тоже небесах тот желтый дом, а может, ему было неудобно смотреть на толстую Д., румяную, здоровую, с растрепанной косой, с красными от ледяной воды руками, причем в старой куртке и замурзанных походных штанах.

Лицо у него было продолговатое, худощавое, со следами как бы неровного загара. Он был старше Д., то есть сорока с гаком лет, почти старик.

Он сказал, что ему показалось, что именно этот желтый дом ему нужен, а опять дорога вывела не туда. Лабиринт какой-то.

— А это товарищество и называется так — «Лабиринт», — весело сказала Д. и пошла вместе с новым знакомым обходить дома и искать другое желтое строение.

Дачные поселки тут перетекали один в другой, шли десятками километров вдоль железной дороги, а новый знакомый не знал ничего, кроме «Ольга» и «М.».

Ночь все не наступала, Д. сама заблудилась в этой череде тихих песчаных улиц. Месяц сиял над садоводством, пели соловьи. Д. с трудом нашла даже свой дом, в окне которого мелькнул свет. «Родители приехали!» — с ужасом подумала Д. и неуклюже сказала бедному страннику:

— А теперь позвольте откланяться!

И побежала, мотая косой, к себе за калитку.

Он остался стоять за забором, постукивая стеком по голенищу, легкомысленное постукивание для потерявшегося в лабиринте, а Д. с тяжело бьющимся сердцем взойшла на крыльцо и толкнула дверь — она была не заперта, но домик оказался пустым.

В комнате горела лампочка, совершенно не нужная при стойком свете заката, бившего в окна. Д. вспомнила, что действительно оставила свет на всякий случай, чтобы не заблудиться.

Палочка уже не постукивала нигде.

Д. разделась, натянула огромную тетину полотняную рубашу, легла. Вовсю свистел один соловей. Где-то, в мокрых сапогах, голодный и бездомный, бродил неприкаянный человек. Сердце Д. уже не билось так гневно, утихло, опасность налета на дом со стороны родителей миновала, по крайней мере на сегодня, и Д. буквально начало пощипывать чувство какой-то потери, утраты, щемящей жалости. Да, умерла тетя

Лея. Но главное, что рядом, в ловушках улиц, ходит человек. Искать его уже бесполезно, тут ведь лабиринт! Здесь можно ходить параллельно месяцами.

И вдруг, лежа в тетиной кровати и глядя в рассеянном свете ночи на металлические шары, Д. услышала топот, как будто кто-то тяжело бежал к дому по проулку. Тяжело, но размеренно, вроде бегуна на длинные дистанции, топ, топ, топ, топ. Пробежав мимо, остановился и стоял. Затем стукнула калитка, неуверенные шаги приблизились.

— Простите, — воскликнул глухой голос, — это не М. здесь обитает?

— Нет опять! — закричала Д. — Сейчас! Не туда! — Она быстро напялила на себя брюки, свитер и куртку, все это поверх ночной рубахи, и выскочила наружу.

Никого не было.

Д. выглянула за калитку.

Слева вдаль угадывался на перекрестке тот темный силуэт в барашковой шапке.

Д. стояла и не двигалась. Что делать? На дворе уже одиннадцатый час, несчастный человек бродит и бродит.

— Идите! — крикнула Д.

И увидела, что он как-то задвигается за угол, исчезает, как резная фигурка в тире.

— Минуту! Месье! — почему-то лягнула Д. и смутилась. Какой месье?

Он уже стоял рядом с ней, глядя в небо, где светил полным светом месяц.

— Месье, вы можете зайти ко мне хотя бы на чашку чая, — сказала Д., рассматривая его худое темное лицо.

Она пошла, он двинулся за ней, вошел в дом, вытер сапоги о мокрую тряпку, снял куртку, шапку, вымыл руки, вытер льняным тетиным полотенцем и сел за стол.

На нем был глухой черный сюртук, волосы лежали овечьей шерстью.

На безымянном пальце правой руки сиял прозрачный темный камень, точь-в-точь как у тети Лели, а теперь у Д.

Д. налила незнакомцу чаю, за вареньем пришлось бы лезть в тайник, отодвигать шкаф, и поэтому Д. сказала:

— Я только приехала, не обессудьте, ничего нет, никакой провизии.

— Я уже привык, — как-то с трудом ответил «месье» и стал жадно пить еле теплый чай.

Д. вдруг спохватилась и открыла банку консервов, это были какие-то дешевые частички в томате. «Месье» подождал, пока Д. выложила кучку рыбешек ржавого вида на блюдечко, и не спеша сгал есть.

Д. пока что поставила чайник на плиту.

— А где Ольга? — спросил незнакомец.

— Вы не знаете? Я ее сегодня схоронила,— ответила Д.

— Боже! — откликнулся он и перекрестился.

— Вы ее знали?

— Я бывал тут. Я вам говорил: желтый дом, девушка Ольга М.

М.! Как раз у тети Лели была фамилия на «м»! Ольга!

Он ел медленно, с трудом шевеля челюстями, очень благородно. Худая рука держала алюминиевую вилку с неуловимой грацией. Он опирался запястьями на край столешницы. Из-под рукавов виднелись безукоризненно белые обшлага рубашки.

Д. вдруг застеснялась, удалилась в комнату, хотела переодеться, но было не во что, вместо этого она сняла с себя брюки и свитер и осталась в тетиной рубаше, большой, полотняной, с кружевцами у воротника.

И в таком виде, перекинув косу на грудь, она вошла в носках и села за стол.

А прохожий уже лежал на старом диване, ровно дышал, сложив руки на груди, крупные веки его были сомкнуты, но не плотно.

Д. вернулась в тетину комнату и принесла свое одеяло накрыть ему ноги.

Чайник вовсю кипел на плите.

Д. снова села за стол и стала смотреть на пришельца, все больше узнавая его.

— Александр Александрович,— сказала она,— я постелю вам в комнате, пока отдыхайте, а потом перейдете туда.

Она пошла, накрыла тахту чистым бельем, хорошо, что взяла с собой две смены, положила сверху свою подушку и последнее одеяло, больше было нечего.

«Сама укурюсь курткой, мало ли»,— подумала Д.

У тети в тайнике имелось много всего по ящикам, завтра надо будет проветрить, подсушить, постирать. Может, обнаружатся еще белье и одеяло.

Затем Д. выключила чайник, погасила свет, заперла дверь, пошла к себе и на сон грядущий взяла с тетиного столика старую, отсыревшую книжку: Александр Блок. «Стихотворения».

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

Глаза Д. были полны слез. Это ее несостоявшаяся судьба открылась, засияла вечерними огнями, повеяло тонким запахом духов, на голове плотно сидела легкая большая шляпа, платье лилового шелка шуршало в коленях, затянутое у пояса. Перчатки охватывали руки Д., зеркало отражало ее нежное, румяное лицо с большими ореховыми глазами, выщипанные густые волосы под шляпой, блестящие коричневые брови, тонкие губы.

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука...

Напрасно сожгла все бумажки, думала Д., может, там были какие-то объяснения. Хотя какие должны быть объяснения? После того как Лелю увезли в больницу, Александр Александрович испугался, пропал, заблудился, но тетинo кольцо сделало свое дело, он все-таки вышел спустя месяц к желтому дому, к тому дому, где лежала на ночном столике читаная-перчитаная книжка его стихов, к своему дому на Земле...

## Дом с фонтаном

Одну девушку убили, а потом оживили. Дело было так, что родным сказали, что девушка убита, но не отдали ее (все вместе ехали в автобусе, но во время взрыва она стояла впереди, а родители сидели сзади). Девушка была молоденькая, пятнадцати лет, и ее отбросило этим взрывом.

Пока вызывали «скорые», пока развозили раненых и погибших, отец держал девочку на руках, хотя ясно было, что она умерла, и врач констатировал смерть. Потом девушку все-таки надо было увезти, но отец и мать сели в ту же «скорую» и доехали со своим ребенком до морга.

Она лежала на носилках как живая, но не было ни пульса, ни дыхания. Родителей отправили домой, они не хотели уходить, но еще не время было отдавать им тело, предстояли всякие необходимые в нашем правосудии и судебной медицине вещи, а именно вскрытие и установление причин.

Однако отец, человек, обезумевший от горя, да еще и глубоко верующий христианин, решил свою девочку украсть. Он отвез домой жену, она была уже почти без сознания, выдержал разговор с тещей, разбудил соседку-медичку и попросил у нее белый халат, а затем, взяв все деньги, какие были в доме, поехал к ближайшей больнице, нанял там пустую «скорую» (было два часа ночи) и с носилками и парнишкой-медбратом, одетый в белый халат, проник в ту больницу, где держали

его девочку, спустился от охранника по лестнице в подвальный коридор, спокойно вошел в морг, там никого не было, нашел своего ребенка, положил ее с медбратом на носилки и затем, вызвав грузовой лифт, поднял свою ношу на третий этаж, в хирургическую реанимацию. Он все изучил тут, пока они ждали решения вечером, в приемном покое.

Там он отпустил медбрата и после недолгого разговора с дежурным реаниматором, после вручения ему денежной пачки, передал свою дочь в руки врача, в отделение интенсивной терапии.

Поскольку медицинского заключения при ней не было, доктор, видимо, решил, что родитель вызвал «скорую» и частным порядком привез больную (скорей умершую) в ближайшую больницу. Врач-реаниматор прекрасно видел, что девочка неживая, но ему очень нужны были деньги, жена только что родила (тоже девочку), и все нервы этого реаниматора были на пределе. Его мама не любила его жену, и обе они плакали по очереди, ребенок тоже плакал, а тут еще ночные дежурства. Надо было искать деньги и снимать квартиру. Того, что предложил ему сумасшедший (явно) отец этой мертвой царевны, было достаточно на полгода жизни в снятой квартире.

Не говоря ни слова, врач взялся за дело, как будто перед ним действительно был живой человек, только велел отцу переодеться во все больничное и положил его рядом на койку в той же интенсивной терапии, поскольку этот больной был полон решимости не покидать свою дочь.

Девушка лежала белая как мрамор, лицо немислимой красоты, а отец смотрел на нее, сидя на своей кровати, каким-то странным взглядом. Один зрачок у него все время уезжал в сторону, а когда этот сумасшедший моргал, веки его разлипались с большим трудом.

Врач, понаблюдав за ним, попросил сестру сделать ему кардиограмму, а затем быстро вкатил этому новому больному укол. Отец быстро вырубился. Девушка лежала как спящая красавица, подключенная к аппаратуре. Врач хлопотал над ней, делая все возможное, хотя никто уже теперь его не контролировал этим уезжающим взором. Собственно говоря, этот молодой доктор был фанатиком, для него не существовало в мире ничего более важного, чем тяжелый, интересный случай, чем больной, неважно кто, без имени и личности, на пороге смерти.

Отец спал, и во сне он встретился со своей дочерью. То есть он поехал ее навещать, как ездил к ней за город в детский санаторий. Он собрал какую-то еду, почему-то всего один бутерброд с котлетой посредине, только это. Он сел в автобус (опять в автобус) летним прекрасным вечером, где-то в районе метро «Сокол», и поехал в какие-то райские места. В полях, среди мягких зеленых холмов, стоял огромный серый дом с арками высотой до неба, а когда он миновал эти гигантские ворота и вошел во двор, то там, на изумрудной лужайке, прямо из травы бил такой же высоченный, как дом, фонтан, одной слитной

струей, которая распалась вверху сверкающим султаном. Стоял долгий летний закат, и отец с удовольствием прошелся к подъезду направо от арки и поднялся на высокий этаж. Дочь встретила его немного смущенно, как будто он ей помешал. Она стояла, поглядывая в сторону. Как будто здесь протекала ее личная, собственная жизнь, которая уже его не касалась. Какое-то ее дело.

Квартира была огромной, с высокими потолками и очень широкими окнами, и выходила на юг, в тень, к фонтану, который был сбоку освещен заходящим солнцем. Фонтан бил еще выше окон.

— Я привез тебе бутерброд с котлетой, как ты любишь, — сказал отец.

Он подошел к столику под окном, положил на него свой сверток, подумал и развернул его. Там лежал странный бутерброд, два кусочка дешевого черного хлеба. Чтобы показать дочери, что внутри котлета, он разъединил кусочки. Внутри лежало (он сразу это понял) сырое человеческое сердце. Отец забеспокоился, что сердце невареное, что бутерброд нельзя есть, завернул его обратно в бумагу и неловко произнес:

— Я перепутал бутерброд, я привезу тебе другой.

Но дочь подошла поближе и посмотрела на бутерброд с каким-то странным выражением на лице. Тогда отец спрятал сверточек в карман и прижал ладонью, чтобы дочь не отобрала.

Она стояла рядом, опустив голову, с протянутой рукой:

— Дай мне, папа, я голодная, я очень голодная.

— Ты не будешь есть эту гадость.

— Нет дай, — тяжело сказала она.

Она тянула к его карману свою гибкую, очень гибкую руку, но отец понимал, что если дочка отберет и съест этот бутерброд, она погибнет.

И тогда, отвернувшись, он вытащил сверток, открыл его и стал быстро есть это сырое сердце сам. Тут же его рот наполнился кровью. Он ел этот черный хлеб с кровью.

— Вот я и умираю, — подумал он, — как хорошо, что я раньше чем она.

— Слышите меня, откройте глаза! — сказал кто-то.

Он с трудом разлепил веки и увидел, как в тумане, разъехавшееся вширь лицо молодого доктора.

— Я вас слышу, — ответил отец.

— Какая у вас группа крови?

— Такая же как у дочки.

— Вы уверены?

— Да, это точно.

Тут же его подвезли куда-то, перевязали жгутом левую руку, ввели в вену шприц.

— Как она? — спросил отец.

— То есть, — занятый делом, тоже спросил врач.

— Жива?

— А как вы думали, — мельком ответил врач.

— Жива?!

— Лежите, лежите, — воскликнул милый доктор.

Отец лежал, слыша, как рядом кто-то хрипит, и плакал.

Потом уже хлопотали над ним, и он опять уехал куда-то, опять было зелено кругом, но тут его разбудил шум: дочь, лежа на соседней койке, громко хрипела, как будто ей не хватало воздуха. Отец смотрел на нее сбоку. Ее лицо было белым, рот приоткрылся. Из руки отца в руку дочери шла живая кровь. Он сам чувствовал себя легко, он торопил ход крови, хотел, чтобы она вся излилась в его ребенка. Хотел умереть, чтобы она осталась жива. Затем он оказался все в той же квартире, в огромном сером доме. Дочери не было. Он тихо пошел ее искать, осмотрел все углы этой роскошной квартиры со многими окнами, но никого живого не нашел. Тогда он присел на тахту, а потом прилег. Ему было спокойно, хорошо, как будто дочь уже устроилась где-то, живет в радости, а ему можно и отдохнуть. Он (во сне) стал засыпать, и тут появилась дочь, вихрем вступила в комнату, сразу оказалась рядом как вертящийся столб ветра, завывала, затрясла все вокруг, впилась ногтями в сгиб его правой руки, так что вошла под кожу, сильно закололо, и отец закричал от ужаса и открыл глаза. Врач только что вколол ему в вену правой руки укол.

Девочка лежала рядом, дышала тяжело, но уже не так скрипела. Отец привстал, опершись на локоть, увидел, что его левая рука уже свободна от жгута и перебинтована, и обратился к врачу:

— Доктор, мне надо срочно позвонить.

— Что звонить, — откликнулся доктор, — пока звонить нечего. Ложитесь, а то и вы у меня... поплывете...

Но перед уходом он дал все-таки свой радиотелефон, и отец позвонил домой жене, однако никого не было. Жена и теща, видимо, рано утром одни поехали в морг и теперь метались, ничего не понимая, где труп ребенка.

Девочке было уже лучше, но она еще не пришла в сознание. Отец старался остаться рядом с ней в реанимации, делая вид что умирает. Ночной доктор уже ушел, денег у несчастного больше не было, однако ему сделали кардиограмму и пока оставили, видимо, ночной доктор о чем-то все-таки договорился, или же кардиограмма была плохая.

Отец размышлял о том, что предпринять, — спуститься вниз он не мог, звонить не разрешали, все были чужие, занятые. Он думал, что же сейчас должны чувствовать его две женщины, его «девочки», как он их называл всех скопом — жена и теща. Сердце его сильно болело. Ему поставили капельницу, как и девочке.

Затем он заснул, а когда проснулся, дочка рядом не было.

— Сестра, а где девочка, здесь лежала?

- А что вы интересуетесь?
- Я ее отец, вот что. Где она?
- Ее повезли на операцию, не волнуйтесь и не вставайте. Вам нельзя.
- А что с ней?
- Не знаю.
- Милая девушка, позовите доктора!
- Все заняты.

Рядом стонал старик, за стеной кто-то, похоже что молодой врач, видимо, проделывал какие-то манипуляции со старухой и переговаривался с ней как с деревенской дурочкой, громко и шутливо:

- Ну... Бабуля, супу хочешь? (Пауза.) Какого супу хочешь?
- Мм,— мычала старуха каким-то нечеловеческим, жестяным голосом.
- Хочешь грибного супу? (Пауза.) С грибами хочешь? Ела с грибами суп?

Вдруг старуха ответила своим жестяным басом:

- Грибы... с рогами.
- Ну молодец,— крикнул врач.

Отец лежал и беспокоился, где-то делают операцию его девочке, где-то сидит ополоумевшая от горя жена, рядом дергается теща... Его посмотрел молодой врач, опять сделали укол, наступил сон.

Вечером он тихо встал и, как был, босой, в одной рубашке, пошел вон. Добрался до лестницы незамеченным и пошел вниз по холодным ступеням, как привидение. Спустился до подвального коридора, пошел по стрелке, на которой было написано «Отделение патанатомии».

Тут его окликнул какой-то тип в белом халате:

- Больной, вы что тут?
- Я из морга,— вдруг ответил отец,— я заблудился.
- Как это из морга?
- Я вышел, но там остались мои документы. Я вернулся, но где это?
- Ничего не понимаю,— сказал этот белый халат, взял его под руку и повел по коридору. А потом все-таки спросил:
- Вы что, встали?
- Я оживел, никого не было, пошел, а потом решил все же вернуться, чтобы зафиксировали.
- Чудно,— ответил провожатый.

Они пришли в отделение, но там их встретил матом фельдшер. Отец выслушал все его возражения и спросил:

- И дочь моя здесь, она должна была поступить после операции. Он назвал фамилию.
- Да нету, нету ее! Все мозги проели! Утром искали! Нет ее! Всех тут раком поставили! Этот еще психбольной! Из дурдома сбежал, что ли? Откуда он?

— Там в переходе между корпусами пасса, — ответил белый халат.  
— Да вызывай ты охрану, — опять заматерился фельдшер.  
— Дайте мне позвонить домой, — попросил отец. — Я вспомнил, я в реанимации лежал на третьем этаже. Память отшибло, я после взрыва на Варшавке сюда попал.

Тут белые халаты замолчали. Взрыв на Варшавке произошел сутки назад. Его, дрожащего, босого, отвели к столу, где стоял телефон.

Жена взяла трубку и тут же стала рыдать:

— Ты! Ты! Где ты бродишь! Ее труп увезли, мы не знаем куда! А ты шляешься! И ни копейки в доме! Даже на такси не могли найти! Ты забрал, да?

— Я, я был без сознания, попал в больницу в реанимацию...

— Где, в какую?

— В ту же, где была она...

— А где она? Где? — выла жена.

— Я не знаю, я сам не знаю. Я совсем раздетый, привези мне все. Стою тут в морге босиком. Это какой номер больницы?

— А что тебя туда понесло, ничего не понимаю, — продолжала рыдать жена.

Он дал трубку белому халату. Тот спокойно, как ни в чем не бывало, сообщил адрес и повесил трубку.

Фельдшер принес ему халат и какие-то стоптанные, корявые тапки, пожалел, видимо, живого человека, и отправил к посту охраны.

Туда приехали жена и теща с распухшими, похожими старыми лицами, одели его, обули, обняли, наконец выслушали, счастливо плача, и все вместе стали ждать на диванчике, потому что им сказали, что их девочке сделали операцию и она в реанимации и что положение средней тяжести.

Через две недели она уже начала ходить, отец водил ее гулять по коридорам и все время повторял, что она была жива после взрыва, это просто шок, шок. Никто не заметил, а ему сразу стало ясно.

Правда, он молчал насчет того сырого человеческого сердца, которое ему пришлось съесть, чтобы его не съела она. Но ведь то же было во сне, а во сне не считается...

## Где я была

Как забыть это ощущение удара, когда от тебя уходит жизнь, счастье, любовь, думала женщина Юля, наблюдая в гостях, как ее муж сел и присох около почти ребенка, все взрослые, а эта почти ребенок. А потом он поднял ее и пошел с ней танцевать, а по дороге сказал своей сидящей Юле, показав глазами на девушку: «Гляди, какое чудо вымахало, я ее

видел в шестом классе», — и радостно засмеялся. Дочка хозяев, действительно. Живет здесь. Как забыть, думала Юля на обратном пути в вагоне метро, когда пьяноватый муж (слуховой аппарат под видом очков) важно начал читать скомканную газету и вдруг смежил усталые глазенки под ярким светом. Ехали, приехали. Он сел с той же газетой в туалете и, видимо, заснул, пришлось его будить стуком, все было мелко, постыдно, а что в быту не постыдно, думала Юля. Муж храпел в кровати, как всегда когда выпьет. «Господи, — думала Юля, — ведь ушла жизнь, я старуха никому не нужная, за сорок с гаком, пропала моя судьба».

Утром Юля в одиночестве приготовила семейный завтрак и вдруг сообразила, что надо пойти куда-нибудь. Куда — в кино, на выставку, даже рискнуть в театр. Главное, с кем, одной идти как-то неловко. Юля обзвонила своих подруг, одна сидела, обмотавшись теплым платком, болезнь называлась «праздник, который всегда с тобой», почки. Недолго поговорили. У другой никто не брал трубку, видимо, отключила телефон, третья собиралась уходить, стояла на пороге, заболела какая-то очередная престарелая родня. Эта подруга была одинокая, но всегда веселая, бодрая, святая. Мы не такие.

Можно было начать убираться, начальница на работе говорила: «Когда мне было плохо, вот когда диагноз поставили как у сестры, сразу после ее смерти, я пришла домой и взяла и стала мыть пол». Далее следовала история чудесной ошибки в диагнозе. А идея была такая: не сдаваться! Чистые полы!

Стирка, посуда, все раскидано после вчерашних сборов на этот противный день рождения у институтской подруги мужа. Убраться и потом думать, что никто ничего не делает, все одна только она. Муж встанет распахившийся после вчерашнего, будет смотреть на домашних неохотно, брюзжать, орать, вспоминать волшебное видение, дочь хозяев, а как же. Уйдет до ночи. Надо скрыться, скрыться куда-нибудь. Пусть сами раз в жизни. Больше нет сил.

И тут Юля вспомнила, а не поехать ли в то единственное место, где никогда не удивятся, примут и напоят чаем и выслушают, и даже постелят переночевать — то есть не поехать ли к старой дачной хозяйке, у которой жили много лет подряд, еще когда Настя была маленькая, а они с мужем Сережей надеялись на лучшее будущее. Эта дачная хозяйка была для Юли очень дорогим воспоминанием, при всех сложных отношениях с собственной матерью Юля привязалась к совершенно посторонней старушке, трогательному и мудрому существу. Она казалась Юле даже красивой, доброй и по-детски хитрой. Хотя эта баба Аня с собственной дочерью, в свою очередь, жила много лет в разводе, если можно так выразиться, — та не ездила к матери, гуляла на полную катушку, зато оставила бабке в наследство малолетнюю Маринку, забитое черноволосое существо, боящееся чужих людей.

Вот! Когда ты всеми заброшен, позаботься о других, посторонних, и тепло ляжет тебе на сердце, чужая благодарность даст смысл жизни. Главное, что будет тихая пристань! Вот оно! Вот что мы ищем у друзей!

Юля, вдохновленная, усмехнулась сама себе, быстро все прибрала, стараясь не разбудить домашних, и пошла рыться, искать мешок со старыми Настинными вещичками, которые специально собирала для бабы Ани, помня, что у старушки внушка растет безо всякой внешней помощи.

Юля нашла даже и кое-что для самой бабы Ани, теплую кофту, и через два часа уже бежала по привокзальной площади, едва не попав под машину (вот было бы происшествие, лежать мертвой, хотя и решение всех проблем, уход никому не нужного человека, все бы освободились, подумала Юля и даже на секунду оторопела, задержалась над этой мыслью), — и тут же, как по волшебству, она уже сходила с электрички на знакомой загородной станции и, таща на себе походный рюкзак, продвигалась знакомой улочкой от станции на окраину поселка, в сторону речки.

Воскресным октябрьским днем тут было пусто, светло, ветви уже оголились, воздух пахивал дымком, баней, несло молодым вином от палого листа, печальным уютом чужой жизни за заборами и немного почему-то кладбищем, в окнах уже теплились огни, хотя еще не стемнело. Тоска, простор, белые небеса, счастье прошлых лет, когда они с Сережей были молодые, когда являлись друзья сюда на дачу, все веселились, пили, жарили шашлыки над оврагом и т. д. Помогали бабе Ане, поскольку в ее большом доме вечно что-то текло, проваливалось, требовало молотка. В те годы можно было оставить бабе Ане на вечерок маленькую Настю, они подружились с молчаливой Маринкой. Баба Аня их укладывала спать, а Юля с Сережей ехали в город на чай-то день рождения, пили и пели до утра и могли вернуться только назавтра к вечеру, дочка была под присмотром, а баба Аня говорила — и в отпуск езжайте, я разве не пригляжу. И в отпуск поехали на две недели, на юг одни с Сережей. А бабе Ане тоже было хорошо, ей оставили деньги и продукты. Правда, когда вернулись, дочка Настя в тот же вечер от счастья тяжело заболела и лежала те же самые две недели. Весь отдых был забыт, и загар смылся, Юля не спала десять ночей, Настя чуть не помирала. Все на свете пребывает в равновесии, говорила себе Юля, идя с рюкзаком, говорила чуть ли не вслух.

Тропинка пружинила, тут почва сырая глина, так, теперь улица разветвляется, нам надо левой, мимо забора врачей. Так прозывались их соседи, действительно муж работал в санэпиднадзоре, и они по субботам выкачивали выгребную яму и поливали накопившимся добром свой сад, якобы преследуя экологически чистые цели (на самом деле чтобы не нанимать машину), и по окрестностям плыл смрад, какой

всегда несется от натуральных органических удобрений. Такой же гнилой ветерок веял и сейчас (вот откуда запах кладбища).

Баба Аня в свое время смеялась над такой агрономией, она-то была специалист по зерну, работала в каком-то НИИ, даже ездила в командировки, и только выйдя на пенсию, тут, на природе, окрестянилась, вернулась к языку нижегородских предков, клубнику упорно называла «глупнига» (второй вариант «виктория»), носила платок на голове и резиновые опорки на ногах, мочилась под кусты (вот это и удобрение!), и все у нее произрастало как от волшебного слова, само по себе. В сельской местности она поселилась давно, оставив городскую квартиру дочери, якобы чтобы ей не мешать (на самом деле это была гражданская война с разрухой для обеих сторон, чем всегда кончается гражданская война).

Юля успешно продвигалась по заросшей тропе, среди поредевшего черного бурьяна, тут вроде бы уже давно не ходили? Затем она сняла с калитки поржавевшее кольцо, употребляемое вместо щеколды, отогнала от забора отсыревшую калитку и радостно замахала в сторону дома, увидев, что занавеска на окне дрогнула.

Баба Аня дома! Она увидела Юлю и, наверно, обрадовалась, старушка всегда любила их семью.

Постучав в незапирающуюся дверь, Юля миновала холодные сени и бабахнула кулаком по холстине, которой баба Аня обшила вход в свои покои.

— Иду-иду, — отвечал глухой голосок бабы Ани.

Юля вошла в тепло, в запахи чужого дома, и сразу повеселела от этого милого духа.

— Ну здравствуйте, Бабаня! — воскликнула она чуть ли не со слезами. Приют, ночлег, тихая пристань встречала ее. Бабаня стала еще меньше ростом, ссохлась, глаза, однако, сияли в темноте.

— Я вам не помешала? — довольно спросила Юля. — Я вашей Мариночке привезла Настенькины вещи, колготки, рейтузики, пальтишко.

— Мариночки нет уже, — живо откликнулась Бабаня, — всё, нету больше у меня.

Юля, продолжая улыбаться, ужаснулась. Холод прошел по спине.

— Иди, иди, — сказала Бабаня довольно ясно, — иди отсюда, Юля, уходи. Не нужно мне.

— Я вам тут привезла всего, накупила, колбасы, молока, сырку.

— Ну и забирай все. Не нужно. Забирай и уходи, Юля.

Бабаня говорила как всегда, тонким, приятным голоском, была в своем уме, но слова у нее были немислимые.

— Что-то случилось, Бабаня?

— Да все нормально. Все нормально происходит. Иди отсюда.

Бабаня не могла так говорить! Юля стояла испуганная и оскорбленная и не верила своим ушам.

— Я чем-то обидела вас, Бабаня? Я не приезжала долго, да. Я-то вас все время помню, но жизнь...

— Жизнь и есть жизнь,— туманно сказала Бабаня.— Смерть смерть.

— Времени все нет...

— А у меня времени вагон, так что иди своей дорогой, Юля.

— Но я вам все оставлю тогда... Выложу.. Чтобы обратно не тащить, Бабаня.

(Господи, что же стряслось?)

— И зачем, и зачем,— ясным, скандальным голосом спросила как бы себя Бабаня.— Мне ничего уже не надо. Всё. Я похоронена. Всё. Что мне надо? Крест на могилу.

— Что случилось, вы можете мне сказать? — надрывалась Юля.

Дом был теплый, и в коридоре, где разговаривали Юля и Бабаня, на полу лежали, как всегда, распластанные картонные ящики для чистоты. Дверь в комнатку Бабани стояла настежь, там позванивало, как комарик, радио, там были видны через оконные стекла деревья. Все осталось таким, как было всегда. А Бабаня сошла, видать, с ума. Случилось самое страшное, что может быть с живым человеком.

— Ну я и говорю тебе, я умерла.

— Давно? — машинально спросила Юля.

— Ну уж две недели как. Ужас, ужас. Бедная Бабаня.

— Бабаня, а где девочка? Мариночка?

— Ну я не знаю, ее на похороны не водили, Света не забрала ее к себе, я надеюсь. Света была плохая, совсем нехорошая, то ли она продала уже квартиру, короче, оборвалась вся. На ногах болячки, трофические язвы, что ли, газетами обмотаны. Меня хоронил Дима. Она так болталась, рядом. Он ее шугал, Дима.

— Дима?

— Ну вот которого она бросила с Мариночкой годовалой, а сама ушла. Год Мариночке был. Дима, Дима. Он тогда Мариночку сдал в дом ребенка. Я забирала-то, не помнишь. Али я не рассказывала?

— Что-то помню.

— Или не рассказывала... Много вас тут ходит. Живут, уезжают, ни письма ни весточки. Умирала одна. Упала тут. Марина была в школе.

— Вот я приехала же!

— Дима меня хоронил, но просто сжег, а вазу эту еще оттуда не взял. Меня не похоронили. Я приехала сюда. Пока что я тут временно. Света совсем плохая, бомж, бомж. Она даже не соображает, что может жить тут, Дима ее пугнул из зала крематория, когда она начала свои ноги заново в газеты обертывать. В больницу в морг ко мне она как-то дорожку нашла. А из автобуса ступила, сукровица потекла, вид нехороший. Нашла газеты в урне. Света, я же знаю, надеялась, думала выпить на поминках. Дима ее как-то разыскал, но не знал, что она уже такая.

Но я здесь недолго пробуду, до сорокового дня. Потом уже-то все, прощайте с Богом. Ну все, Юля, уходи.

— Бабаня! Это все у вас усталость. Вы отдохните! Ну хотите, я с вами поживу? Мариночку найду. Она когда пропала?

— Марина пропала? Нет, ты что. Когда я брякнулась, я сначала ничего не помнила, а потом уже, когда меня стали увозить, я видела только Диму. А где Марина была? И из морга он меня забирал.

— Дима, а как его фамилия?

— Мне неизвестно,— пробормотала себе под нос Бабаня.— Что ли Федосьев. Как у Мариночки фамилия. Она Федосьева. Дай Бог ему здоровья, батюшку привел на похороны. Никого больше не было, их двое, никому не сообщили, а кому сообщать, он не ведает. Свете сообщил и прогнал навеки. Вот все жду она придет. Небось помирает.

— Мне не сообщили,— внезапно сказала Юля.

— А кто ты? Юля, ты дачница много времени назад. Ты уже сколь лет как пропала, пять лет. Марине-то уже двенадцать! Только бы она не пришла, только бы не пришла!

Пять лет, вот это да! Уже Насте пятнадцать. Подросток. Уже пять лет они не снимают дачу! У той Настинной бабушки дом в городе Славянске на Кубани. Ледяная река. Девочка возвращается оттуда совершенно чужая, дикая, курящая. Уже очевидно женщина.

— Простите меня, Бабаня!

— Бог простит, он всех прощает. Иди отсюда, не задерживайся. И тряпье забирай. Сюда уже ходят нехорошие люди. Я всем открываю. Я уже никто.

— Это не тряпье, это хорошие вещи на ребенка. Шерстяные колготки, пальто, майки.

Юля говорила, убеждая Бабаню, что все нормально, что это просто каприз больной души, брошенной всеми души, как и в Юлином случае.

— Бабаня, а я-то к вам ехала как к последнему приюту на земле.

— Такого приюта на земле нету ни у кого. Каждый сам себе последний приют.

— Думала, что вы-то меня не погоните, примете. Думала переночевать у вас.

— Нельзя, ты что, Юля, я тебе говорю. Нельзя, меня нету.

— Еду привезла, поешьте.

— Потом съешь. Иди отсюда.

— Там холодно... Небо такое здесь, воздух... Бабаня! Я так к вам ехала!

Бабаня твердо ответила:

— Я беспокоюсь о Марине. Очень беспокоюсь, где она.

— Я поняла уже, поняла. Я разыщу ее.

— Света сюда идет, погибла, но еще жива. Если бы она умерла, то была бы здесь. Но я никого не хочу видеть, поняли? Оставьте меня в покое! Где Марина? Я не хочу ее видеть! Не желаю, ясно?

Бабаня явно заговаривалась. Хочу — не хочу. Стояла твердо, загоразживая узким тельцем коридор.

Юля представила себе обратный путь с тяжелым рюкзаком, с этим хлебом, свертками, литром молока...

— Бабаня, можно я сяду у вас? Ноги болят. Что-то так ноги мои болят.

— Я еще раз говорю, иди с Богом! Уноси свои ноги покуда целы!

Юля пошла мимо нее как мимо пустого места в комнату и села на стул.

От соседей в открытую форточку еще сильнее понесло смрадом.

Комната выглядела брошенной. На кровати лежал завернутый тюфяк. Этого никогда не случалось у аккуратной Бабани. Кровать она всегда стелила тщательно, водружала подушку уголком под кружевной накидкой. И этот проклятый запах!

— Поставьте чайник, Бабаня, пожалуйста.

— Да нет чайника, люди пришли унесли все! — все тем же хрустальным голоском отвечала из коридора Бабаня.

— А вода-то, вода-то есть?

— И, давно уже нету, вода только в колодце, а я не выхожу-то, — прозвучало в коридоре.

— Я сбегая за водой? — предложила из комнаты Юля. — Вы давно чаю не пили?

— Я две недели с лишним как умерла.

— Ведро есть?

— И ведро унесли.

Юля собралась с духом, встала и потопала на кухню, и нашла там полнейшее запустение. Шкафчик был раскрыт настежь, на полу лежали битые стекла, валялась на боку мятая алюминиевая кастрюлька (в ней Бабаня варила кашу). Посреди стояла пустая жестяная банка, трехлитровая, из-под консервированной фасоли. Ее когда-то привез для какого-то праздника Сережа, не открыли, обошлись печеной картошкой, банку отдали Бабане на прокорм, уезжая осенью.

Юля взяла в руки банку.

— И забирай все свое!

— Куда я это поволоку за водой.

— Бери, бери! Сумочку возьми!

Юля послушно повесила через плечо сумку и пошла с банкой вон, на улицу к колодцу. Бабаня волокла следом за ней рюкзак, но наружу, в сени, почему-то не вышла, осталась за дверью.

Юлю встретил на пороге холод, свежий ветер повеял, везде был черный бурьян, качающий сухими семенами, полное запустение покинутого участка. Она поплелась к оврагу, где был ближний колодец. Всем давно провели водопровод, только сюда, к Бабане, его не дотянули, у такой хозяйюшки не бывает средств.

Кругом в овраге лежал старый мусор, почти свалка, а на борове у колодца не оказалось ведра, была только намотана ржавая капроновая веревочка. Ведро скоммуниздили, как выражалась Бабаня.

Тут закружилась голова, и кругом все стало отчетливо, ослепительно белым — но только на мгновение. Так и не потеряв сознания, Юля нашла здоровенный кривой гвоздь, вытащила из земли обломок кирпича. Пробила в борту банки дыру, причем ранила указательный палец левой руки, высосала кровушку из ранки, нашла на склоне оврага свежий листик подорожника, приложила его к ссадине, потом кое-как привязала веревочку к банке, запустила ворот. Зачерпнула, подняла свое импровизированное ведрышко, развязала веревку на ледяной банке и потащила двумя руками подальше от себя, чтобы не замочиться, причем несла полную, помня только о Бабане, у которой в доме не было ни капли воды. Пошла наверх, вон из оврага. Путь был глинистый, тяжелый, с непривычки болели ноги, скорей даже онемели. Наверху Юля поставила банку на тропу и огляделась.

Забор у Бабани был реденький, из досточек, и дом отсюда, сверху, просматривался прекрасно. Занавесок на окнах уже не было! Юля почувствовала леденящий страх, темный страх здорового человека перед сумасшествием, которое может сорвать занавески с четырех окон за семь-восемь минут.

Несмотря на это, Бабаню надо было накормить и хотя бы напоить. Вызвать врачей. Запереть дом. Найти как-нибудь Марину, Свету или Диму Федосьева. Кому тут жить, Свете беспризорной, наследнице, которая прогудит дом во мгновение ока, или тоже бездомной Мариночке, это не нам решать. Мариночку надо взять! Вот так. Такой теперь план жизни, раз уж ввязалась. Тебе хотелось уйти, вот и ушла от своей жизни и попала в чужую. Нигде не пусто, всюду эти одинокие. Сережа и Настя будут против. Сережа промолчит, Настя скажет, еще новости, ты, мама, вообще куку. Юлина мать поднимет по телефону большую волну.

Юля стояла, тяжело размышляя, понимая, что надо идти, но ноги как налились чугуном и не хотели слушаться, не хотели нести на себе три литра ледяной воды в разграбленный дом к сумасшедшей старухе, к новым тяготам жизни. Резкий ветер подул на горку, где стояла, окаменев, домашняя женщина Юля, стояла как бездомная, нищая, с единственным имуществом у ног, трехлитровой жестяной банкой воды. Резкий ветер подул, загремели черные скелеты деревьев, нарастал далекий шум, и явился арбузный запах зимы. Было холодно, зябко, явно темно, тут же захотелось перенестись домой, к теплоте, пьяноватому Сереже, к живой Насте, которая уже проснулась, лежит в халате и ночной рубашке смотрит телевизор, ест чипсы, пьет кока-колу и названивает друзьям. Сережа сейчас уйдет к школьному другу.

Там они выпьют. Воскресная программа, пускай. В чистом, теплом обыкновенном доме. Без проблем.

Юля взяла банку обеими руками и понесла ее вниз, к Бабане, но не удержалась и поехала по глине, расплескав половину воды на себя. О господи! Ноги болели уже довольно сильно.

Но дверь у Бабани оказалась запертой, и никто не открыл Юле, хотя она била даже большими ногами и кричала как оглашенная.

Кто-то над ней явственно, очень быстро пробормотал: «Кричит».

Однако Юля знала другой путь, по приставной лестнице на чердак, и оттуда через проем, по вырубкам в стене, можно спуститься на терраску, так они не раз влезали ночью в дом, если не могли найти ключей, они с Сережей.

Банку Юля оставила у дверей.

Там, в доме, сидела обезумевшая Бабаня, без воды, да и еду она бы не смогла добыть из застегнутого рюкзака с такими-то умственными данными. Что же происходит с человеком, как он теряет все — умное, доброе, прекрасное существо становится опасливой глупой зверушкой...

Юля с трудом достала тяжеленную лестницу из-под дома, установила ее, полезла по трухлявым перекладинам, рухнула с третьей, совсем разбила ноги (сломала?). Со стоном поднялась, все-таки влезла на крышу, ведь умудрилась и руки повредить, и бока болели, голова, на один момент даже открылось опять какое-то далекое белое пространство (бред, но он быстро прошел) — затем она еле проволоклась по пыльному чердаку и спустилась на веранду, тяжелейший путь. Дверь с веранды в дом оказалась закрытой тоже. Видимо, с той стороны предусмотрительная Бабаня наладила крючок, боясь воров.

Хорошо.

Юля заплакала и забарабанила кулаком в дверь, крича:

— Анна Сергеевна! Але! Это я, Юля! Юля! Пустите меня!

Постояв и послушав в мертвой тишине (только где-то как бы посыпалось что-то, как земля, струйкой), Юля сказала:

— Хорошо, я ухожу, вода у вас под дверью в банке. Хлеб и сыр в большом клапане рюкзака впереди. И колбаса там же.

Обратный путь по зарубкам вверх был еще тяжелей, руки не слушались, цепляясь за зарубки, а спускалась Юля уже в полубреду, неизвестно как миновав сгнившую перекладину... Белый свет сверкал сквозь сумерки, белые пространства обморока.

Добравшись до станции, она села на ледяную скамью. Было дико холодно, ноги закаменели и болели как раздавленные. Поезд долго не приходил. Юля легла скрючившись. Все электрички проскакивали мимо, на платформе не было ни единого человека. Уже капитально стемнело.

И тут Юля проснулась на каком-то ложе. Опять открылось (вот оно!) бескрайнее белое пространство, как снега кругом. Юля застонала

и перевела взгляд к горизонту. Там оказалось окно, наполовину заслоненное голубой шторой. В окне стояла ночь и сияли далекие фонари. Юля лежала в огромной темной комнате с белыми стенами под одеялом как под грудой развалин. Правая рука не поднималась, придавленная каким-то грузом. Юля подняла левую руку и стала разглядывать ее. Рука была бледная до прозрачности. На указательном пальце темнела большая ссадина. Это онахватила по пальцу кирпичом, когда пробивала банку гвоздем там, у дома Бабани. Но ссадина уже почти что зажила.

— Где я была? — произнесла Юля громко. — Эй! Але! Бабаня! А-аа!

Она попыталась приподняться. Но эффект был нулевой. Страшно болели ноги, вот это уж действительно. И резало в низу живота.

Никого не было.

Все-таки она приподнялась, опершись на правую руку, и осмотрелась.

Это была кровать, и от нее вниз отходила полупрозрачная трубочка.

Катетер! Ей вставили катетер! Как умиравшей бабушке когда-то в больнице. Это и есть больница. Рядом стояла еще кровать с какой-то неподвижной грудой белого.

— Але! Ой! Ура! Спасите! — закричала Юля. — Бабаню спасите! Марину Федосьеву!

Груда белого на соседней кровати зашевелилась.

Вошла заспанная медсестра в белом халате.

— Вы что орете, тише, — приговаривала она на ходу. — Тише. Перебудите всех.

— Где это? — плакала Юля. — Дайте встать! Марина Федосьева, ищите ее. Мне надо встать!

— Встанете, встанете, больная. Раз вы... раз вы пришли в сознание, тогда...

Она ушла и вернулась со шприцом. Пока делали укол, Юля мучительно вспоминала.

— Что со мной, сестра, прошу вас.

— Что с вами, переломы ног, руки, малого таза. Лежите уж. Завтра муж придет, дочь придет, мама, всё расскажут. Сотрясение мозга. Очнулась — уже хорошо. А то они всё ходят, всё сидят бестолку. Ноги чувствуют?

— Болят.

— И хорошо.

— А где, где? Что произошло?

— Под машину вы попали, не помните? Спите, спите, под машину попали.

Юля изумилась, охнула, и тут ее накрыло, и она опять пыталась достучаться до Бабани, все хотела напоить ее. Был сумрачный октябрь-

ский вечер, стеклышки на террасе дребезжали от ветра, болели усталые ноги и разбитая рука, но Бабаня не желала, видимо, ее принимать. А потом с той стороны стекла появились хмурые, жалкие, залитые слезами лица родных — мамы, Сережи и Насти. И Юля все им пыталась сообщить, чтобы поискали Марину Федосьеву Дмитриевну, Дмитриевну Бабаню, что-то так. Ищите, ищите, говорила она, не плачьте, я тут.

### В доме кто-то есть

Кто-то явно был в доме. Войти в маленькую комнату — в большой что-то упало. Посмотреть где кошка — она сидит на столике в прихожей, отражаясь в зеркале, ушки торчком, тоже что-то явно слышала. Пойти в большую комнату — там упал сам собой лист бумаги с пианино, листок с телефоном неизвестно чьим, неслышно слетел и отчетливо белеет на ковре.

Кто-то неосторожен — думает хозяйка квартиры — кто-то уже не скрывается.

Человек всегда боится присутствия неизвестных тварей, боится насекомых, мелких муравьев в ванной, боится, допустим, единичного пьяного таракана, прибежавшего, похоже, с места побоища от соседей в наркотическом состоянии, т. е. сидит на видном месте. Всего боится человек, оставшийся наедине с кошкой жить, все куда-то делись, вся предыдущая семья, оставив сидеть такого человеческого таракашку одного на видном месте.

Особенно что ни суббота-воскресенье, то падают вещи и кто-то тайно, неслышно перешмыгивает из комнаты в комнату, такое впечатление.

Женщина никому не говорит о своем полтергейсте, еще Тот прячет-ся и не стучит, не хулиганит, не поджигает, холодильник не скачет по квартире, не загоняет в угол, то есть нечего жаловаться.

Однако уже что-то поселилось, какая-то живая пустота, по росту маленькая, егозящая, подсмывающая по полу, такое впечатление. Кошка недаром таращит ушки.

— Что, ну что, — разговаривает женщина с кошкой, кошка тихая и странная, как все кошки. Не идет под руку, не любит, когда ее втаскивают на колени, а вдруг сама прыгнет и ляжет в неподходящее время. — Ну что ты боишься, Лялечка, ну успокойся.

Кошка уворачивается от руки и отходит. Хозяйка смотрит телевизор до упора и, погруженная в голубоватое излучение, уплывает в сладкие миры, пугается, заинтересована, скучает, то есть живет полной жизнью. Хозяйка положения тут, на диване. Бац! Опять рухнуло в маленькой комнате.

Рухнуло жутко, громыхнуло, отдалось эхом. Вбежав, женщина оцепенело стоит. Оборвалась полка с пластинками. Причем пластинки разлетелись повсюду, пыльными веерами лежат на неубранной диван-кровати, на полу. Если бы там кто-то (ясно кто) спал, пластинка углом бац в висок. Но не случилось. Теперь: в стене две рваные темные раны, выпали гвозди, которые когда-то вбивал Некто, не будем вспоминать. То есть это не гвозди, а как-то они иначе называются. Это был целый подвиг, большая история почти любви. Понадобилась дрель.

Но эти негвозди были вбиты в конце концов, и в конце концов все рухнуло.

Полка лежит на пианино, отсюда такой дикий гром с резонансом как в горах.

Пианино тоже была история, маленькая девочка училась играть на нем. Мама настаивала. Заставляла, сажала. Ничего не вышло. Упрямство победило. Упрямство, которым человек защищается от чужой воли. Отстаивает свою жизнь. Пусть эта жизнь получится хуже чем кто-то запланировал, беднее, но своя, какая ни есть, хоть без музыки, без талантов. Без семейных выступлений для родни. Однако и без ненужных страданий, что кто-то лучше. Мама очень страдала, якобы другие дети талантливей ее дочери. Дочь это часто слышала и отомстила матери, став совсем никудышной, с точки зрения обеих сторон.

Затем все растворилось, эти взаимоотношения отцов и детей, осталось пианино и старые пластинки. Мама скупала классическую музыку. Мама по телефону обсуждала жизнь своей дочери, раскрывая перед подругой (разбрасывая веером как ненужное) чужие тайны. Теперь ни мамы ни дочери, ни полки. Женщина стоит на пороге, пораженная картиной разрушения, ни мать ни дочь. На этой постели уже не спать, все порушено, пропитано пылью, грязно. Надо менять белье. Надо мыть, стирать, поставить все в ряд (где?).

Женщина отступает в большую комнату, закрывая дверь маленькой как бы навсегда.

Хоть бы поймать за мерзкий, полувидимый хвост Того, кто это все устроил. Зачем? Умереть от ужаса и омерзения. Ведь Его не убить, не раздавить каблуком. Значит, ловить не надо.

Тот, кто все рушит, он чего-то хочет, добивается. Как та мать добивалась от дочери. Если понять чего Он добивается, то можно (как уже было раньше) перебить Ему интерес, лишить Его перевеса. Есть такой прием, идти навстречу. Как пожар зажигают в лесу навстречу идущему пожару, если они встретятся, то оба погаснут!

Так, например, мать пуще своих глаз берегла немецкий кофейный сервиз, то ли на черный день, то ли в виде накопления на случай похорон, а когда дочь в припадке гнева бросила чашечку на пол (дзынь!), то мама хладнокровно стала бросать весь сервиз, предмет за предметом, с

размаху на пол (ддрянь!), и дочь чуть не сошла с ума, схватилась за голову, а мать сказала: «Если я умру, и у тебя ничего пускай не будет».

Но вот вопрос: хочет ли Тот полного разрушения или хочет просто выгнать на улицу?

Из дому уходить нельзя. Некуда. Может быть, даже кто-нибудь захочет вернуться (думает мать-дочь). Значит, остается остаться, но если Тот сеет разруху, надо превозмочь это своей силой. Ответить как Кутузов Наполеону, чтобы стало неуютно внутри своей позиции. Мудрое решение. Тот будет повержен.

Решиться на это было сначала трудно, потом легче.

Побила на кухне всю посуду, раскидала по квартире. Сняла с большим трудом и грохнула висячий шкафчик поверх черепков. Теперь: увидела, что этот самый шкафчик как раз и держался уже еле-еле на своих шурупах, когда она его снимала. То есть один шуруп так и вылез из стены вслед за шкафчиком, как рыбка из пруда. Легко-легко. Да и шкафчик уже почти расклеился, задняя стенка, оказалось, отстала в уголке, отошла. Стало быть, этот шкафчик и была первая кандидатура на срыв со стены и на погибель всей посуды! Причем возможно, что и на голову внизу стоящему!

Мать-дочь взбодрилась. Надо же, какое предвидение! Был сделан один шаг навстречу, и вскрылась такая подготовка! Воля поперек воли!

Ночевала на диване в большой комнате, потом день подождала.

Дождалась. Шурунуло в маленькой комнате, где пыль, пластинки веером, где со вчера гром стоит в воздухе. Вошла. Там готовилось, видно, нечто. Там стояла вечно разложенная тахта, постель обычно убиралась в нижний ящик под матрац. (С некоторых пор прекратились эти уборки постели, зачем?)

Теперь м-д (мать-дочь) взяла молоток с гвоздодером на конце и подняла пружинный матрац, свежая пластинки в кучу. И гвоздодером начала выдирает какие-то шурупы, придерживающие механизм подъема матраца. Трудно было это делать, согнувшись в три погибели! Пришлось буквально на коленях влезать в ящик и там орудовать во тьме и пыли. Но уже со второго шурупа стало ясно, что он держится буквально на соплях! Шурупы полувывезли сами! То есть еще день-два — и механизм бы отказал. Ни поднять ни опустить. Опять произошло предупреждение теракта! Опять Тот умылся!

Диван теперь нельзя было поднять и сложить. Так тому и быть. За-мусоренный, пыльный, с грудой пластинок в сердцевине, в скомканных простынях, он остался навеки таким, как памятное гиблое место, которое надо обходить за километр. Как место гибели в землетрясении.

Опять упреждение и Тому наперекор.

Но требовалось идти впереди событий, не хватать то что уже идет в руки, а искать нетронутое, целое.

Ударом молотка разбила телевизор. Слегка грохнуло. Это был старый телевизор, но показывал он еще исправно, хотя и в черно-белом варианте уже.

Нельзя было найти ничего лучше для придуманного плана борьбы. Если Тот хотел бы сделать совсем жуткий удар, он бы взорвал к такой матери именно телевизор. И только представить по последствиям: раны на лице (позиция всегда была сидя близко к экрану) и общий пожар квартиры. То есть все в углях. И вынос тела в полиэтиленовом пакете, что осталось. По тому же телевизору показывали такие ужасы.

И именно эта точка была наиболее больной. Телевизор служил для м-д всем. Содержанием, счастьем и основой домашнего очага, именно к телевизору она всегда спешила с улицы, из магазина. Для телевизора она брала бесплатное рекламное приложение, где печатались программы. И потом не выбрасывала эти программы, думала над ними, вспоминала.

Но кров над головой ценился по принятой (там) шкале еще выше, тут было над чем подумать.

Чтобы не заостряться теперь на этой страшной дилемме (жить или не жить), м-д выгребла из гардероба ВСЁ и сложила в мешок из-под картошки, вытащила его из-под рухляди в стенном шкафу. Эта рухлядь была давно на выброс (но не сейчас этим заниматься), старые жакеты-юбочки-калоши, все на тряпки и как вариант для поездки в село, на случай эвакуации и войны, к примеру. Голода, к примеру. Также там хранились старые занавески и одеяла, начиная с детских — спасение, если не будут топить зимой, как было в блокаду. В стенном шкафу копилась спрессованная нищета, а в гардеробе нынешняя жизнь. Итак, долой все из гардероба в мешок!

Уже опустилась тьма, и м-д, взгромоздивши этот мешок из-под картошки на специально открытое окно, вывалила свой груз в пустое пространство за окно. Там оказались кофты, платья, пиджак, пальто. Белье нижнее. Шарфы, перчатки, шапки, берет, одна шляпа, пояса, косыночки. Целые зимние толстые колготки. Брюки. Свитеров три шт. Юбки две широкие, одна прямая, конвертом. И затем — постельное белье, чистое, пахнущее свежестью и туалетным мылом. Полотенчики все. Наволочки и простыни, пододеяльники, один с вышивкой. О боже. Но не в пожаре спалены.

Вслед за тяжелым мешком в открытое окно отправилась картина со стены в золотой раме и три стула один за одним.

Внизу заорали, какая-то ругань, мат, глухой мужской крик.

Она поспешно закрыла окно. Всё.

Надеть теперь было нечего, только халат, под ним ночная рубашка и трусы.

Легла на диванчик, подстлав старые телевизионные программы. Одеяло и подушки остались в маленькой комнате как жертвы землетрясения. Укрылась новым рекламным приложением.

Утром, хорошо выспавшись, м-д подумала, что уже ничего не боится, совершенно ничего, и теперь даже не страшно было совсем бросить свою теперешнюю жизнь, быт, крышу над головой.

Начался постепенный отход из квартиры. Пооглядевшись вокруг, м-д ступила за порог, забыв ключи в сумочке на столе. Но не забыв выпустить кошку на лестницу.

Можно было оставить кошку запертой, но она не представляла собой большой ценности (якобы) и не стоила того, чтобы бросать ее в пасть Того. То есть принесение в жертву живого существа как бы не планировалось. М-д делала хуже себе. Вопрос был — кому будет хуже — кошечке или м-д, когда м-д начнет жить безо всего, но как бы слыша затихающее мяуканье почти мертвой запертой Ляльки. У м-д начались самоуговоры насчет кошки, что именно для кошки жертва будет больше. Кому она нужна ее морить голодом. Так, случайное животное, снятое с дерева.

Равнодушно и стараясь не думать, мать-дочь решила кошку выгнать. И тут произошел казус, смешная история. М-д была готова к жизни на воле, но кошка нет. Когда м-д взяла кошку рукой и перевесила через локоть, собираясь выйти вон, кошка задрожала мелкой дрожью, как кипящий чайник. Как электричка перед отходом. Как тяжело больной ребенок в ознобе. Она тряслась, видимо, испугавшись за свою жизнь.

— Чего,— плавно сказала м-д,— чего боимся? Ну всё, всё. Ты же всегда рвалась. Ну и иди! Живая иди!

Кошка, да, всегда рвалась на лестницу, караулила у дверей, надоедая своими хриплыми стопами. Орала ночами. Но выпускать ее было опасно, домой она могла и не вернуться. Все-таки м-д любила животное. Не сейчас, правда.

Веселая, оживленная, она спустила кошку с рук на лестничной площадке и захлопнула за собой дверь, все!

В халате и шлепанцах, она стояла на вершине своей судьбы, сама себе хозяйка, победившая Того. Здесь он может шуршать и перебегать сколько угодно, в этих огромных открывающихся пространствах.

Кошка сидела на хвосте как пришибленная. Она сгорбилась, ссутулилась и как-то призадумалась. Женщина, опустившись уже на поллестницы, обернулась и поглядела вверх. Кошка оцепенело смотрела перед собой, глаза у нее стали совсем как бельма, зрачки обратились в мелкие зернышки, утонувшие в зеленоватой массе, заполнявшей глазницы. Мордочка казалась облизанной. Черепушка вдруг вылезла и обрисовалась под черной шерстью. Смерть сидела на лестнице, одетая той же шкуркой.

Женщина чуть не заплакала. Кошка готовилась к своей гибели. Ее ожидала улица, отпущенные на волю собаки, голод. Кошка не могла

бороться за жизнь, она не знала как спастись. Сегодня же ее погонят из подъезда, саданут ботинком по ребрам после первой же налитой лужи.

М-д остановилась в своем торжествующем движении вниз. Она подумала, что кошка расползется на ключья, как все расплзлось — посуда, стулья, телевизор, одежда.

Тот мог торжествовать полную победу.

«Слишком уж,— подумала м-д,— такому ничтожному всё».

«Обойдется,— решила женщина,— что это я так сразу поддалась ему на испуг!»

— Нет,— сказала она,— Лялька ни в чем не виновата.

Лялька сидела как чучело кошки, вылупив стеклянные мутные глазки. Хвост ее, обычно энергичный, который тонко выражал все мысли организма, теперь лежал пыльной мертвой веревочкой. Вся шерсть уже была пыльной, тусклой, больной.

Женщина тут же взяла Ляльку в руку, прижала локтем ее окаменевшее тельце и позвонила соседям, а оттуда энергично позвонила диспетчеру и села на предложенный стул ждать плотника.

Затем, когда была вскрыта дверь, женщина вошла в свое разгромленное жилище, спустила Ляльку на пол и оглядела хозяйство новыми глазами. Как будто все тут было новое, чужеватое, интересное.

Обувь сохранилась в прихожей! Из посуды остались живы все кастрюли и миска с кружкой! Ложки-вилки! «Какая роскошь!» — подумала женщина, которая уже готова была пастись там, внизу, на улице, у мусорного контейнера, чтобы найти себе баночку для питья воды и заплесневелый кусок хлеба на пропитание.

— Нашла бы я себе такую роскошь на помойке? — лепетала женщина, открыв холодильник, в котором стояли две тарелки, мелкая и глубокая, с вареными (!) плодами земли. С картошкой и свеклой. И баночка с супом! И мисочка с рыбкой для Ляли!

В квартире было всё. Теплое, довольно чистое со стороны кухни жилище, краны работают, ванна, вода бежит, мыло, телефон! А постель! Простыня и пододеяльник есть, какая удача. Пластинки на диване и проигрыватель в углу, забытый, когда-то кто-то любил слушать музыку в этом доме... Мать или дочь.

Мать-дочь быстро убрала расколотую вдребезги посуду (да ладно, не первый случай в данном доме), совершила ряд путешествий к мусорному контейнеру, причем, когда она в третий раз вывалила туда мешок с осколками и мусором, двое мужчин в грязной, засаленной одежде и с сумами через плечо осторожно приблизились, подождали и тут же склонились над помойкой, едва только м-д отошла. Они вели себя как тени людей, стелющиеся, гнущиеся в разные стороны, незаметные, черные.

М-д наведалась и под окно. Разумеется, мешок давно прибрали. Кто-то будет ходить в ее свитерах, брюках, а она, свободная, бродит ничего не имея. Да!

Придя в свою чистую, выметенную, помытую квартиру, м-д прежде всего удивилась своей прежней нерешительности (не выбросила продукты, не разбила внутренность холодильника, оставила все лампочки в целости).

Женщина затем спохватилась, достала рыбку из холодильника и положила Ляльке в лакушку.

Лялька, однако, все еще сидела как столбик, закоченев посреди прихожей, и глаза ее все еще напоминали виноградины, очищенные, без кожицы, с еле видной косточкой внутри.

Дыхание смерти, видно, поморозило ее пугливую душу.

Женщина не стала утешать кошку, задача была одна — как можно скорее вернуть все в прежний вид, тогда кошка тоже придет в себя.

И, как часто бывает, если один член семьи нерешителен, трусит или пребывает в истерике, то второй член семьи взбодрится и буквально взлетает на крыльях, чтобы спасти положение. Женщина забегала еще быстрее, поставила полку на пианино, на ней умостила пластинки, понесла постельное белье в ванную, быстро простирнула и повесила. Полотенца, по счастью, нашлись в виде одного кухонного на крючке и двух на трубе в ванной.

— Ничего! — бормотала Ляльке хозяйка. — Прорвемся!

Мало того, м-д тут же нашла отвертку и укрепила шурупы (хорошо не выкинутые), и быстро сложила тахту в дневное положение, спинкой вверх.

Всё!

И как легко было разрушать, а как тяжело ремонтировать, восстанавливать, приводить в порядок. Как трудно стигаться, лезть в углы, собирать осколки, выносить, вкручивать, вытаскивать! Хуже всего было с телевизором. Пришлось дожидаться ночи и выбросить его из окна полным напряжением сил, а затем там, внизу, разбитый остов легче было взвалить на тележку и отвезти к мусорному контейнеру.

Как война прошла по мирной жизни м-д, как война.

Пусто выглядела большая комната без стульев и телевизора.

Однако же и безо всего может обойтись человек, если он выжил. Смотреть было нечего, но зато выступил из тьмы целый шкафчик книг. М-д поставила любимую когда-то пластинку, старинные танго!

Затем, под звуки музыки, она стала разбирать рюкзаки и чемоданы со старой одеждой. Вся жизнь прокрутилась перед ней, как кинохроника. Любимые тени ожили и окружили ее, хотя почти ничего из тряпья не налезло на м-д, уже располневшую от сидения перед ящиком (видимо). Хорошо. Имелось несколько кусков ткани, в уголке шкафа таи-

лась старая швейная машинка, и кое-какую юбку можно было сварганить к тем старым трикотажным кофтам, которые еще налезали.

Тем более что м-д давно уже носила только самое завалищенькое, а чистое и почти новое берегла для какого-то особого случая, для выхода в люди (который случай все не наступал).

Тут же, по пути, м-д собрала еще мешок старого рванья и негодной обуви, помня о тех черных тенях, которые получили от нее в подарок груды битых черепков.

Господи, какая новая жизнь открывалась теперь перед м-д, а вот кошка все сидела остолбенев, как много переживший человек, и все глядела в одну точку мутным, невидящим взором.

Вдруг кошка подняла уши. Скрипнул пол где-то там.

Женщина усмехнулась.

Ясно, что дом усаживается, ссыхается, половицы трескаются, это раз. Затем, во всех квартирах сверху, внизу и по бокам живут живые люди, у них кто-то бегает, что-то рушится, портится, чинится, движется, житуха такая, громко произнесла женщина, адресуясь, как всегда, к кошке.

Лялька же, подвигав ушками, легко поднялась с корточек и пошла на кухню, загибая передними лапами как тяжелая тигрица, что было странно при ее тщедушном сложении. Затем она деликатно присела перед своей лакушкой в угол носом, склонилась и взяла кусочек, тряхнув головой: решила продолжать жить.

## Тень жизни

Сейчас это вполне взрослая, высокая замужняя женщина, а была сирота при бабушке, бабушка взяла ее к себе, когда мать исчезла, бывают такие случаи: человек исчезает. Отец исчез еще раньше, когда девочке было пять лет, на похороны ее не взяли, она думала: пропал, и очень боялась за мать, буквально цеплялась за нее, если мать вечером уходила; не плакала — не была вправе плакать, мать ее не баловала; тихая, скромная росла и дождалась, что мать действительно исчезла, и в свои девять лет девочка переночевала одна, накрывшись маминым халатом, утром умылась и как была, в том же платье, пошла в школу. Соседи заметили неладное через два дня, девочка перестала ходить в школу, из комнаты раздавались странные звуки, как будто кто-то смеется, а на кухне ничего не варилось, никто не выходил, в том числе и мать этой маленькой Жени. Соседка добилась от девочки признания в том, что она не ела ничего два дня и что матери нет. Все забегали, отбили бабушке телеграмму, и бабушка среди зимы забрала из маленького города на реке Оке свою внучку и отвезла ее к себе в курортный городишко у моря.

Дорога была знакомая. Женя ездила к бабушке на все каникулы, но тут никаких каникул не предвиделось, а было долгое ожидание. От матери не нашли ничего, ни следа. Мать, говорила бабушка, всю жизнь боролась за правду и никогда не воровала, а кругом все воровали, она работала в детском саду. Мать, считала бабушка, поехала куда-то в Москву добиваться правды (перед исчезновением ее уволили), ее, наверно, держат в доме сумасшедших; так бывает, считала бабушка.

Женя выросла тихой, симпатичной девушкой, поступила даже в пединститут в другом городе, усиленно занималась и прославилась в своем общежитии тем, что каждую бабушкину посылку с овощами, салом и сухофруктами ставила на стол и всех кормила, а потом наступали голодные деньки, но сразу для всех. Женя как росла при матери и бабушке без претензий, так и сейчас жила в своем общежитии.

У нее появился молодой человек, строитель и даже бригадир на стройке, который весной возил ее на электричке в лес, читал ей свои самодельные стихи, но был, к сожалению, женат, как оказалось.

Жена его однажды обнаружила Женю, нашла ее в общежитии, увела на улицу и рассказала, что Саша женат, у него двое детей и она сама временно с ним не живет, потому что у него венерическая болезнь, он обязан лечиться, и она сама тоже лечится от него, а где он это подхватил, вот вопрос, сказала эта жена и с ненавистью посмотрела на Женю. Они сидели в скверике. «А тебя,— добавила супруга Саши,— свободно надо убить, как ты распространяешь заразу».

Нищей студентке не с кем было посоветоваться, она боялась идти в поликлинику (все сразу всё узнают), но, по счастью, блуждая в районе рынка, она увидела вывеску: «Венерические заболевания». Ее приняла старуха врач, нужны были деньги, без денег врача даже не согласилась ее выслушать. Женя вынула из ушей мамы сережки, единственную память, врач взяла сережки, увела девушку на осмотр и сказала, что надо подождать анализов. Анализы пришли хорошие. Женя, по счастью, не заразилась, либо Сашина супруга наврала. Но Саша больше не появлялся на горизонте, а Женя поняла, что не так все просто у людей и существует тайная, упорно процветающая, животная сторона жизни, и именно там сосредоточены отвратительные, безобразные вещи, и не убили ли вообще маму, думала взрослая (восемнадцать лет) Женя, ведь мама была еще молодой и могла попасть в эту тень жизни, где погибает так много людей.

Тем более, что тут же летом с Женей случилось несчастье, как раз у бабушки. Тем летом за городом на свалке были найдены два женских трупа, изрезанные, изувеченные, с руками, вывернутыми как выжатые тряпки, без голов. Городишко гудел. Видимо, убили двух каких-то отдыхающих или туристов, потому что свои были все на местах.

Не очень поздно вечером Женя возвращалась от подруги, и недалеко от дома ее с двух сторон схватили. Это были подростки лет по шестна-

дцать—семнадцать, трое, смуглые, то есть, по-местному, чурки, она их не знала, они не знали ее, за три года отсутствия они-то как раз и выросли. Они заткнули ей рот кляпом и вели, вывернув руки за спиной, точно по тому сценарию. Женя шла согнувшись, толчками, рывками, под лопатку ее кололи ножом. Они переговаривались по-своему, Женя кое-что понимала, они называли себя греками в городишке, но это были не греки. Женя поняла, что они на ходу спорят, кто первый, потому что один укорял другого, что он болен нехорошей болезнью. Они покрикивали в ночной тьме, ругались по-русски, волоча бегущую согнутую Женю, как вдруг все вокруг осветилось. Будто бы включили прожектор. Трое остановились, выпустив на мгновение Женю, и она, завидев освещенную стройку и старика и женщину среди наваленного камня, рванулась изо всех сил к ним, вытащила кляп изо рта и закричала: «Убейте меня! Убейте меня!» Она стояла около старика, протягивала к нему распухшие руки и кричала: «Убейте меня, но не отдавайте им!»

Трое возмущенно заорали, что это шлюха и она им должна, они платили! Они кричали по-русски.

Старик отправил парней вон одним жестом руки, сказал по-ихнему «идите», и трое повернулись как солдаты и канули в ночную тьму, услышав свою речь.

Старик сказал Жене, что проводит ее в дом, женщина осталась на стройке, и Женя только мельком рассмотрела ее склоненную голову и подумала, как она похожа на маму. Женя боялась уходить, но старик пошел, и пришлось идти. Старик привел ее к какому-то дому. Женя ничего не узнавала в ночной тьме, и, войдя в комнатку как чулан, она услышала, что старик запер за ней дверь и удалился. Женя села на пол, потом нащупала неровную, корявую стену, прислонилась к ней и заснула.

Утром она очнулась в каком-то месте, она сидела спиной к шершавому стволу тополя, вокруг был глухой, заросший пустырь.

Женя побежала, ничего не узнавая вокруг, наконец нашла дорогу домой и легла спать в сарайчике во дворе. Было раннее утро. Бабушке она сказала, что ночевала у подруги, так как боялась идти домой. Также Женя сказала, что постарается сегодня уехать. Бабушка, наверно, все поняла, руки у Жени были огромные и сплошь в синих пятнах, лицо разбухло и угол рта оказался надорван.

Бабушка сказала, что этой ночью она не спала, рылась в старых вещах и нашла в сундучке сережки своей дочки и иконку, еще от бабушки, и хочет отдать это Жене.

Женя надела материны сережки, точно такие, какие недавно сняла, взяла иконку, собрала свои бедные вещички и пошла на вокзал. Она нарочно решила пройти мимо той стройки, чтобы увидеть старика и женщину, похожую на маму, но ничего такого не обнаружила. Не было ни стройки, ни того пустыря, сиял белый день, кругом тянулись дома и сады.

Бабушка, провожавшая ее, ни слова не спросила у нее, почему Женя идет не на вокзал, а в другую сторону, к свалке, а Женя сказала вдруг, что, думает, где-то тут должна быть могила мамы, надо поискать у тополя на пустыре.

Бабушка возразила, что дочь ее исчезла совсем в другом городе, но Женя не слушала, а все искала тополь, и у первого же попавшегося села на землю, прислонилась к стволу и заплакала навзрыд.

Они так просидели некоторое время, плача, а потом Женя в своем зимнем платье с длинными рукавами уехала из городка насовсем и с тех пор больше не ждала свою мать и не разыскивала ее по психбольницам и тюрьмам. Серезжек, правда, она не снимала и не снимает.

## Два царства

Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительно синего пейзажа, над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все как один полуспали утомленные, и когда Лина пошла через весь самолет в хвостовое отделение, ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически. Она даже испугалась, как будто полк солдат переносили с места на место. Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные запекшиеся рты. Или это было целое посольство далекой южной страны.

Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала, она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды, вверху, по бокам и далеко внизу, где эти звезды прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одиноко мчащаяся в ночной мгле, среди обилия звезд, человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания, среди шевелящихся крупных, мохнатых светил в полной крошечной темноте. Одна среди звезд! Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной, у нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать, что было вначале, а что потом. Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и понес в машину... Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине — во всяком случае, все происшедшее она вспоминала как сон: глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой и она, серая, истощенная, вся в белом кружеве,

с запавшими глазами. Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция, и все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой, плач сына, который испугался музыки, цветов и лица Лины, очевидно; он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них, мать: громко, истошно визжал. Он был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.

Вася этот вообще был миф, он появлялся раз в год, мелькал где-то в толпе, целовал руку, держа своей прохладной большой рукой, обещал Лине золотые горы и будущее ее сыну — но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя. А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где-то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов, короче, ее ждало будущее Дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои тридцать семь лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, навещал после первой операции — пришел, так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала и лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку... Он прошел в своем белом одеянии как в медицинском халате (он вообще обожал носить все белое), единственно что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину оттуда, увидев, в каком она виде и как сделали ей шов. Однако тут прибежала заполошная медсестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна и они с ребенком будут взяты позже, им он оставит все необходимое, а Лину надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где теперь жил этот Вася, лечили Лину болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно, настолько она второй раз уже не сопротивлялась ни болезни, ни смерти. Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сереженьке, не так мучили ее.

«А если бы я умерла, — сказала себе Лина, — было бы лучше? А так и я поживу, и их возьму к себе потом».

Вася, таким образом, все оформил, хотя врачи настаивали на операции, говоря, что без операции больная не протянет и суток. Вася переждал операцию, все оформил и явился забирать Лину опять прямо из реанимации. Ее осторожно повезли, переделали, от чего она перестала видеть и слышать, а затем очнулась уже летящей в виду синего неба и бескрайнего, пустынного, пушистого поля облаков под самолетом. Лина очень удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей и тем более пьет

какое-то легкое, искрящееся вино из бокала. Потом она даже встала — Вася спал, утомленный хлопотами, — и пошла удивительно легкой походкой по самолету. У нее ничего не болело — видимо, ей уже что-то вкололи местное, болеутоляющее.

Самолет пронесся очень низко над прекрасным, разворачивающимся внизу как большой макет городом со сверкающей рекой, мостами и громадным игрушечным собором. Это было очень похоже на Париж! И тут же начался грохот торможения, и самолет своим тупым носом, широким, как окно в гостинице, буквально въехал, прогремев, как телега, и затрясшись, в тихий сад. Окно было с дверью и выходило на террасу, вдали блестела излучина реки с мостами и какая-то триумфальная арка.

— Плас Пигаль, — почему-то сказала Лина и указала Васе. — Смотри!

Вася пошел открывать дверь на террасу, и началась сказочная жизнь.

Однако Лине пока еще нельзя было ходить за реку, хотя лечение началось и продвигалось успешно. Вася уходил и целыми днями где-то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеко от нее. Пока же она стала потихоньку выходить из дома, бродить по одной-единственной улочке, поскольку сил еще было мало.

Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети-цветы, которых она видела в зарубежных кинофильмах. Длинные волосы, дивные тонкие руки, белые одежды, даже веночки. Правда, в магазинах имелось все, о чем можно было мечтать, но, во-первых, Вася не оставлял Лине денег — все, видимо, поглощало лечение, очень, наверно, дорогое. Во-вторых, отсюда было невозможно посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь не принято было писать! Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в нечто переходное.

Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины. Но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как новорожденная, как только научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды — всякой, в том числе и ношеной, мужской, женской, детской, причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает что это были за вещи и чьи! И куда их было девать, Лина не знала, потому что она сама очень скоро начала носить все Васино — что-то вроде белой сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового, сложение Васи, здорового чело-

века, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой одеждой, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме, и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а наутро вся одежда исчезла.

Вася, как выяснилось, именно и работал тут, за рекой, в этом режимном поселке, он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспособливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться — по своей прежней жизни, — в том числе и то, что моложавый, моложе ее Вася кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася, хотя он ее берег от всех трудов. Пицца являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната, в бреду Лины сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами, но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Сереженькой, матерью, подругами и другом по институту Левого, она понимала теперь, что ее болезнь неизлечима и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние — без болей, но и без сил, куда уж тут шумный Сереженька с его бурными слезами и красными от плача глазками! Куда уж тут ее мама особенно, ядовито-приветливая, тоже слезливая! Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна. Лина сколько могла наблюдала этих парящих людей в белом и их хороводы над рекой под однообразную музыку арф (глупейшее занятие, между прочим!) и их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь — первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и т. д. Что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет okazji, а почтовой связи между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадало под руку, и мысленно сочиняла письма домой.

С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы. Но мама без Сереженьки? Или он без бабушки? «Со временем, — говорил бородатый Вася, — со временем».

Лина хотела начать что-то покупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется.

Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень, видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно.

Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так

как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным.

Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг другая нога уже производила от толчка, и каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой, в богатом городе, как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала, без слез и страха, что теперь ее погонят из их летательного аппарата и пища не будет же вечно стоять в холодильнике! Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту, а Лина не ела ничего, только пила соки и была здорова.

И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.

Она понимала, что тут что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно — и с надеждой не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых.

## Черное пальто

Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте: мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.

Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.

На ногах находились кроссовки.

Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.

Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.

Вокруг был лес, становилось темно. Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно.

Она пошла по дороге.

Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.

— Тебе куда?

Девушка ответила первое, что пришло на ум:

— А вы куда?

— На станцию,— ответил, засмеявшись, шофер.

— И мне на станцию. (Она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию.)

— Поехали,— сказал шофер, все еще смеясь.— На станцию так на станцию.

— Я же не помещусь,— сказала девушка.

— Поместишься,— смеялся шофер.— Товарищ у меня одни кости.

Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.

Второй человек в кабине угрюмо потеснился. Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.

Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.

Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.

Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала.

Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.

Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.

Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти.

Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями.

Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом.

Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.

Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет.

Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, шел ремонт.

Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух.

Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной.

В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения: там тоже все было раскопано.

Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.

Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал:

— Садись, подвезу.

Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.

Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.

— Тут некуда,— сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.

Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.

— Поместишься,— засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.

И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.

И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.

Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика.

Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.

Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.

Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова.

Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить?

Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам.

— Тебе куда надо? — спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.

— Мне надо к себе домой,— ответила девушка.

— А это куда? — беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.

— Ну... До конца этой улицы и направо,— сказала девушка неуверенно.

— А потом? — спросил, не переставая щерить зубы, водитель.

— А потом все время прямо.

Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.

Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.

— Куда? — спросил веселый.

— Вот здесь, спасибо,— сказала девушка и открыла дверцу.

— А платить? — разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.

Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и ключ.

— А у меня нету денег,— призналась она.

— Если нет денег, нечего было и садиться,— захохотал шофер.— Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голодные, да? Точно, пустая башка? — спросил он со смехом товарища.— Мы питаемся такими вот как ты. Шутка, конечно.

Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду новые.

Во всяком случае, огней не было видно. Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна.

Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась.

Ее спутники остановились тоже.

— Это здесь? — спросил хохочущий шофер.

— Может быть,— шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот сейчас и обнаружится, что она все забыла.

Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице.

Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени.

На лестнице стояла полнейшая тишина. Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке.

В прихожей было пусто, они прошли дальше, в первой комнате тоже, а вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.

— Видите, у меня нет денег, берите вещи,— сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям.

При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.

— А что это такое? — спросил шофер.

— Это мои вещи, они мне больше не нужны,— ответила девушка.

— Ты так думаешь? — спросил шофер.

— Конечно,— сказала девушка.

— Тогда хорошо,— подал голос шофер, наклоняясь над кучей.

Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот.

А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.

— Я сейчас,— крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.

В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице.

Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле.

Совершенно нечем было дышать.

«Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом, — думала она. — Никто не заметил, что я ничего не помню».

Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице.

Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом.

И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь.

Было темно и тихо.

Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку.

Теперь можно было как-то обдумать свое положение.

В квартире не очень холодно, это уже хорошо. Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу.

У нее от усталости болела шея и спина. Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, комнаты были абсолютно пустые.

Однако когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало: в углу лежала куча каких-то вещей.

В том же углу, что и этажом выше.

Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.

— Ты что, обалдела? — закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.

Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба ее знаконца, живо ерзая, возились в тряпках и наконец выбрались наружу.

Девушка побежала на лестницу. Ноги у нее были словно ватные.

За ее спиной кто-то активно выползал в коридор.

И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью.

Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь.

Перед ней на пороге стояла женщина с горячей спичкой в руке.

— Спасите меня ради бога, — зашептала девушка.

На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз.

— Проходи, — сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.

Девушка подвинулась еще на шаг и прикрыла дверь.

На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.

— Ты что в двери по ночам ломишься, — грубовато спросила женщина со спичкой.

— Пойдемте туда, — шептала девушка, — туда куда-нибудь, я вам все объясню.

— Туда я не могу,— глухо сказала женщина.— Спичка по дороге погаснет. Нам дается только десять спичек.

— У меня есть спички,— обрадовалась девушка,— возьмите.— Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.

— Зажги сама,— потребовала женщина. Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.

— Сколько их у тебя? — спросила женщина, глядя на коробок.

Девушка погремела спичками.

— Мало,— сказала женщина.— Наверно, уже девять.

— Как освободиться? — прошептала девушка.

— Можно проснуться,— ответила женщина,— но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились, тью-тью.

И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала.

— Я хочу проснуться,— сказала девушка.— Давайте кончим этот страшный сон.

— Пока горит спичка, ты еще можешь спастись,— сказала женщина.— Мою последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь — все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!

И она опять засмеялась.

— С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.

Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.

— Где мы? — спросила девушка.

— На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.

— Кто я? — спросила девушка.

— Ты узнаешь.

— Когда?

— Когда кончится десятая спичка.

А спичка девушки уже догорала.

— Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю, как. Мне не удалось.

— Как тебя зовут? — спросила девушка.

— Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски и эта пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто! — сказала женщина. — Скоро я улечу и увижу себя сверху.

— Не улетай, я прошу тебя, — сказала девушка. — Хочешь мои спички?

Женщина подумала и сказала:

— Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны, ни их отцу, ни его новой жене.

Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку.

— Смотри, что тут написано! «Прошу никого не винить, мама, прости». А раньше она была пустая!

— А, ты так написала! А я написала «Больше так не хочу, дети, люблю вас». Она проявилась только недавно.

И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку.

Она стала читать ее и воскликнула:

— Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! Она уже попала в чьи-то руки... Нет буквы «б» и буквы «о»! И тает буква «л»!

Тут девушка спросила:

— Ты знаешь, почему мы здесь?

— Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.

Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:

— Бери все! Но скажи мне!

Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:

— Кому ты написала эту записку? Помнишь?

— Нет.

— Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше.

Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подошла. Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под трубой, как на столе лежала маленькая записка «Прошу никого не винить», как где-то там, за окном, лежал ночной город и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала: «А кто и по какому вопросу», — хотя прекрасно разбиралась — и по какому вопросу, и кто звонит...

Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате,

похрапывал и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком...

Кто там, в соседней комнате, спит — и кто не спит, а лежит глядит большими глазами в пустоту и плачет...

Кто?

Спичка уже почти догорела.

Еще немного — и девушка поняла все.

И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его!

И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить.

Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто любил ее — но бумажка быстро угасала в ее руках.

Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить.

И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами, как-то так получалось.

Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой.

И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, последним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи.

Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завывли в два голоса.

— Скорей снимай с себя свое пальто! — закричала она женщине, но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек...

Тогда девушка — которая была и тут, в темном коридоре перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые, добрые глаза — девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, и женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла.

И все вокруг тоже исчезло.

В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с натянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка, в глазах плавали огненные круги.

В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы: «Отец, давай попьем?»

Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шею, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом.

И как раз вовремя. Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:

— Господи, какой мне страшный сон приснился... Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни... И твоя рука... И она ко мне тянется, мол, помоги... Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя укурю, моя маленькая... Я плакала во сне...

— Ой, мама,— своим всегдашним тоном ответила ее дочь.— Ты веч-но с этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа утра, между прочим!

И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на десять минут раньше...

А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло.

А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, десяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла.

А потом опустила на колени и начала просить прощения.

## Дорога Д.

Раньше Д. был малоподвижен, вял, молчалив, не интересен никому.

Да и трудно ждать от не умеющего заработать человека какой-то прыти, хитроумных планов и расчетов, да, не приходится.

А без этого сиди в своей выгородке с компьютером, пышно называемым «рабочей станцией», сиди именно как рабочая сила, толки воду в ступе по восемь часов в день и марш на метро и в дом.

К тому же неожиданно подступает разрушительная болезнь, съедает кожу, тело под рубашкой и штанами, ночами чес до крови, а когда приходит сознание, дело сделано, кровавые проплешины, даже язвы.

Спал догадался в резиновых перчатках, от этого и кисти рук воспалились, так что приходилось натягивать рукава свитера до костяшек пальцев.

Но вот однажды, собираясь в ноябре в отпуск, этот одинокий труженик Д. (а одинокий потому, что ни перед кем он не мог снять даже рубашки) — Д. поневоле услышал из-за перегородки телефонный разговор одной общительной, громкоголосой коллеги, она очень живо и с большим восторгом рассказывала о волшебной стране, где все дешево, аборигены доверчивы и добры, еда растет прямо на берегу моря и т. д.

И хотя Д. ей, как и всем остальным женщинам в офисе, не доверял (подозревая их в желании посмеяться — «а ведь жарко, что вы, Д., в свитере?»), но информация его как-то вдохновила.

Готово!

Он еще больше затаился, дома обо всем узнал по интернету (а не на работе, там эти функции были отключены), собрал в блогах, то есть на всеобщей коммунальной кухне, все данные, — попутно погрузившись, как всегда, в сплетни, клевету, смешную борьбу самолюбий, пролистав трогательные фотографии детей и животных и жуткие кадры катастроф — и, опомнившись и тяжело вздохнув насчет потраченного времени, он скопировал сведения о маршрутах и стоимости билетов, выбрал вариант и начал действовать.

Назавтра он нашел приемлемое по ценам турбюро и уже через две недели поехал в ту самую волшебную страну, о которой шла речь, был потрясен, сидел на берегу моря среди утесов, величественных камней, плыл по полноводнейшим рекам — и его душевные раны стали затягиваться, получало и здоровье, и Д. вернулся домой, полный грандиозных планов.

Надо сказать, что он жил в двухкомнатной квартире вместе со своей матерью, которая исполняла все обязанности, то есть мыла, скребла, стирала, готовила, ходила на свою немудрящую работу, сына обихаживала по какой-то пчелиной обязанности, очень любила его, вероятно, но она оскорбляла его одним своим видом. Болела, вылезала в несвежем белье, в грязноватом халате, а пятки! Голые пятки людей его особенно сводили его с ума еще с детства. И чужие ногти на ногах!

Многие дети стесняются внешности и поведения своих родителей, даже брезгуют ими, и это очень важная составляющая семейной жизни.

Когда младшие наблюдают невымытых, нечесаных, опухших со сна, жрущих у телевизора, икающих и пердящих старших, они не видят себя, не видят, как выглядят сами — а с ненавистью наблюдают только безобразия семьи, того мира, в котором им приходится жить.

Многие судьбы детей бывают исковерканы этим неприглядным существованием в быту, многие души рвутся из этого затхлого, невымытого и нечесаного мира туда, где всё сверкает, блестит, где всё другое.

В то время как родители ищут это сверкающее и иное на экране телевизора, пытаясь его копировать при выходе из дома, приводя себя в порядок на пороге, но не следя за своим домашним видом, дети видят именно этот затхлый, обвисший, грязноватый бытовой образ.

И стремятся вон из жилища, летя навстречу другой жизни, где всё как в глянцевого журналах, новое, чистое, красивое — или грубое, модное, пятнистое, специально безобразное, но класс!

Дети хотят жить только там, в том идеальном мире, мире быстрых радостей, восторгов, модных одежек и гремющей музыки, в мире свободы, доступ в который требует иногда платы всей жизнью.

Наш мальчик Д. не смел, не мог, не давал себе право жить в том, другом, блестящем мирке, который был доступен многим его нормальным (с точки зрения поверхности кожи) сверстникам.

Так, к примеру, Д., еще будучи старшеклассником, когда услышал однажды про фейс-контроль в ночном клубе, то замер и больше уже не надеялся ни на что.

Он знал, что его никуда не пустят, что он пария, хотя лицо у него было абсолютно чистое, а на кисти рук можно было надвинуть манжеты рубашки.

Но, как известно, внешность человека гнездится внутри него, и с этим ничего не поделать.

Он не жалел свою мать, особенно когда она болела, он просто выполнял ее просьбы, холодно, брезгливо. Он почему-то думал, что его болезнь — это наследство именно от матери, от ее образа жизни, от ее нездорового тела, такого некрасивого, даже безобразного, от этих домашних затхлых тряпок.

И вот он побывал в другом мире, в волшебной стране. Там люди мылись дважды в день, носили аккуратные одинакового вида одежды, ходили в шлепках, но с чистыми ногами, и хоть хижины у них были неказистые, а быт нищий и грязный, но сами-то жители ухитрялись при этом сохранять в любое время жизни свою немудрящую традиционную аккуратность! Не говоря уже о том, насколько живописно все это выглядело, даже пыльные улицы и ветхие древние стены с облупившейся штукатуркой! Эти озера, города, могучие пыльные деревья, белые рубашки!

Приехав после отпуска домой, он настойчиво и хладнокровно стал добиваться от мамы разезда.

Потому что там, в раю, он узнал людей, которые жили как пенсионеры рантье, то есть сдавали свои квартиры на родине и на эти денежки-то и существовали в чужой стране, хоть и ужимаясь, но в пределах нормы. Не хуже чем дома, но воздух! Пейзажи! Путешествия! Правда, змеи, скорпионы и поносы, грязь и комарье, но на войне не без урона.

Тут надо сказать, как все это восприняла его мать.

Вообще любые попытки младшего поколения нарушить жизнь семьи, уклад, способ питания или местоположение квартиры — такие попытки воспринимаются старшим поколением очень тяжело. Приходят разные мысли о том, что молодые хотят заграбастать себе все будущее, при этом не оставивши места для предыдущего поколения в этой своей новой жизни.

И в результате у старших, как правило, создается четкое впечатление, что их грабят, унижают, ими пренебрегают, и, наконец, что их бросят, то есть никто не придет ухаживать за больными, никто не подаст

стакана воды умирающему. И тогда наступит самое страшное, придется сдохнуть в одиночестве и лежать, напрасно ожидая погребения.

И можно себе представить, какие мысли о будущем начинают роиться в бедных головах еще молодых стариков, им представляется одинокое голодное существование, без права получить стакан воды в момент ухода, да что там, без права на могилку!

Трагедия.

Но наш одинокий труженик Д. взялся за дело с упорством отчаяния, он не единым словом не обмолвился о своих планах, он придумал такую версию, что хочет жениться, но что жить вместе и молодой семье и старой мамаше будет очень трудно. В доказательство он даже привел домой одну женщину с работы, старше себя лет на пятнадцать, она трудилась у них в офисе уборщицей, и ничего лучше нельзя было придумать.

Женщина эта была жительница дальнего Подмосковья, пассажирка ранних электричек, слегка пьющая, не особенно умная, и она не поняла, зачем ее зовут познакомиться с мамашей, всполошилась и нарядилась со всей возможной щедростью.

Явление этой слегка смущенной и нетрезвой Раисы Ивановны произвело на мать сокрушительное впечатление, она просто рехнулась, перестала спать, рыдала и все время консультировалась с родней. Взяла бюллетень по давлению, сидела сторожила дом!

Сын как бы вынужден был объяснить свою логику, он в конце концов, после длительных материнских монологов, якобы признался ей, что со своей болезнью он не может рассчитывать ни на что другое, спасибо, что Раиса Ивановна живет с ним, он даже намекнул, что Раиса Ивановна беременна.

Мать еще поплакала, попринимала лекарства, опять обзвонила всех родственников, и в результате произошел неожиданный каскад визитов из глубинки, понаехали знакомые дальних родственников, да не одни, а с дочерьми и племянниками, с хорошенькими девушками, живущими где-то в тьмутаракани, каждая из которых готова была жить с таким инвалидом, потому что внешне Д. был очень симпатичный парень, хотя и носил всегда водолазки до ушей и рукава до начала пальцев.

И это как бы происходило наяву и в наше время сказочный сюжет о принце чудовище и сватовстве к нему всего наличного состава знакомых красавиц.

Всем им, а перебивало их в Москве уйма, казалось весьма романтичным приключением выйти замуж за такого замечательного человека, страдающего тяжелой болезнью, и переехать в результате в столицу. Сказка!

А поскольку в народе бытовало мнение, что все кожные заболевания суть не что иное, как неудовлетворенность, вылезающая наружу в виде

прыщей, то родня Д. посчитала, что только любовь (т. е. семейные регулярные половые сношения) излечат это Чудовище.

В конце концов обозленный Д. сказал матери, что если они скоро не разведутся, то через месяц он женится на Раисе Ивановне и приведет ее к себе в комнату.

Мать ответила, что никогда в жизни не пропишет эту женщину, а что без прописки она может находиться у него только до 23 часов, и потом будет вызвана милиция. Мама ходила к адвокату по жилищным вопросам.

Д., который тоже консультировался со своим юристом на работе, ответил на это, что у Раисы Ивановны будет ребенок, и вот его-то, этого ребенка, Д. по закону имеет право прописать, а затем прописать и других детей Раисы Ивановны, которых он усыновит, а их у нее двое, допризывники пятнадцати и семнадцати лет прямиком из деревни.

Мать не отвечала ничего. Она была потрясена.

Через некоторое время Д. привел риелтера Кариночку. Кариночка славилась своим умением слушать.

Мать ей долго твердила, что сын сошел с ума и его надо класть в дурдом.

Она повторяла как заведенная, что эта женщина, эта Раиса Ивановна, проживающая в дальней деревне, очень быстро выпрет Д. из квартиры, приведет своего постоянного хахала, который у нее точно есть (имелась в виду та мысль, что от кого это поголовье детей?), и тогда матери придется обратно жить с выгнанным Д., но уже не в двухкомнатной квартире, а в однушке.

Мудрая Карина, которая много повидала на своем веку, молчала и ничего не говорила, пока не наступила пауза.

Тогда она объяснила матери, что размен в случае несогласия сторон может быть осуществлен и через суд, и тогда вам придется получить не однокомнатную квартиру, а, возможно, и комнату в коммуналке. Все зависит от решения суда.

Мать кивнула, как будто давно это знала. Глаза ее были сощурены, они как бы глядели в будущее. Голова кивала. Ум временно покинул свое обиталище, так сказать. Во всяком случае, слов не было, раздавалось только сиплое дыхание.

Возможно, мать готовилась кого-то стукнуть. Может быть, даже себя и по лбу.

Тогда Карина немедленно перешла к цели своего выступления и сообщила, что у нее есть варианты вместо той двухкомнатной квартиры, которую старая мать считала настоящим сокровищем своей жизни и которая действительно была не маленькая и находилась в хорошем месте, почти что в тихом центре.

Карина сообщила, что у нее в картотеке уже есть на примете две однокомнатные квартиры, одна из них ближе к Преображенке, у нее

только имеется один маленький недостаток, она в блочном доме на пятом этаже без лифта и рядом дымят два завода, один из которых выпускает резиновые сапоги и шины для велосипедов, а во втором кругло-суточно работает литейный цех.

Но у этой квартиры есть свое преимущество, потому что имеется небольшой балкон, который выходит на речку Яузу, в которую названные предприятия спускают свои сточные воды. Это тоже недостаток, запахи.

Но квартира выходит на солнечную сторону, то есть летом там очень жарко и светло.

Но если открыть окна, то опять-таки под ними Яуза. Правда, есть надежда, что дом признают непригодным для жилья, там сгнили все коммуникации, и может так случиться, что лет через десять его снесут и жильцам тогда дадут хорошие квартиры в Подмоскowie, в новых районах, где много зелени. Как раз для пенсионеров, которым не надо никуда выезжать.

Мать горько и язвительно засмеялась в ответ, еще крепче сжавши кулаки и не глядя ни на кого. И это была вполне справедливая реакция, каждый ущемляемый в своих правах так бы реагировал!

Вторая квартира, продолжала невозмутимая Кариночка, гораздо ближе к центру, она побольше и находится примерно в таком же месте, что и теперешняя квартира. То есть в тихом центре.

— Хотите, я вам покажу оба варианта,— закончила свою речь Карина.

Мама не хотела, но Карина провела с ней работу, и в следующие же выходные она на своей машине отвезла мамашу сначала в ту квартиру рядом с двумя предприятиями (воздух понятно какой, а затем подъезд пятиэтажки, заплесанный, усеянный жвачкой и окурками, а дальше еще хлеще, квартирка на чердаке, черные потолки в санузле и на кухне, хлам повсюду и величественный алкоголик хозяин).

После чего совершенно подавленная мама была доставлена в ту квартиру, которая якобы находится в тихом центре, на самом деле это был район Автозаводской, но квартира оказалась с евроремонтом и кухонной мебелью, и мать с восторгом разглядывала эту чужеродную, какую-то иностранную обстановку, как из мексиканского сериала, ей понравилась буквально все, она замечала о новой жизни без тряпья, хлама и гнутых кастрюль (блестящая посуда прилагалась к кухне, удар в цель).

Карина как бы между делом заметила, что квартира уже вывешена в интернете и может уйти быстро.

Мамаша поняла, испугалась и на все тут же согласилась.

Сыну она охотно и не без назидания уступила ту квартирнку на задворках галошного завода с видом на поганую речку, сам набивался!

— И ко мне со своей Раиской не ездь! — в заключение сказала мама.— Дураком был, дураком и остался.

Все было оформлено довольно быстро.

Д. хорошо знал что делал, и дальше действовал опять-таки с помощью той же риелтерши Карины, которая оказалась замечательно умным и трезвым человеком, в прошлом она была кандидат физико-математических наук в Тбилиси, но жизнь выдавила ее в Москву и вынудила заняться этой довольно тяжелой работкой — где она и применила свой выдающийся ум и решала все проблемы честно, однако остроумно.

И эта добрая Карина помогла Д. и еще в одном деле, то есть с помощью своих коллег по оружию, боевых бандиток Светы и Светы, она нашла двух квартиросъемщиц на квартиру Д., двух иностранок-предпринимательниц, которым плевать было на галошный запах и жуткую экологию, им нужно было залудить офис.

Они пришли, посмотрели, кивнули и заплатили за полгода, и Д. уехал в обетованную страну.

Забегая вперед, надо сказать, что в следующее свое посещение родины Д. наведаясь в эту квартиру — и вместо тесной кухни, прихожей и комнаты в восемнадцать метров он увидел огромный кабинет, увидел замечательный евроремонт, офисные столы с вычислительной техникой и жалюзи на раскаленных окнах!

В этот приезд бабы опять отдали ему деньги за полгода вперед, причем все коммунальные услуги сами оплатили за эти же полгода, за свет, воду, газ и телефон — и счастливый богач, бездомный бомж Д. поселился на даче у своей общительной сослуживицы, которая на этот месяц уехала отдыхать и была рада аккуратному и непривередливому постояльцу, ему было поручено поливать газон, ухаживать за цветами и кормить котопса Якова, существо полосатое, дикое и свирепое, блестящего мышелова. Гладить его можно было только веником, голую руку, даже с едой, он способен был цапнуть. Д. быстро завоевал уважение кота Яши, и тот по собачьей привычке даже шлялся с ним гулять.

Выяснилось, к слову сказать, что бывшие коллеги уважали Д. за его педантизм, аккуратность и верность слову. И затем Д., передаваемый из рук в руки, провел еще два месяца по другим адресам, ухаживая вместо хозяев за оставленными собаками, котами, птичками, бабушками и кактусами.

Сезон дождей на его новой родине закончился, можно было ехать.

К матери он не навещался и даже ей не звонил.

А она не знала номера его мобильного, так что все было прекрасно.

Надо отметить, что за зиму и весну круг общения у Д. весьма расширился, он и на родине теперь ездил в гости, ужинал в кафе с новыми знакомыми — это были друзья, приобретенные за те полгода, которые Д. провел в раю, временные посетители Эдема.

Д. там вел себя как гостеприимный хозяин этих мест, водил людей по храмам и архитектурным памятникам, возил в далекие места.

Образно говоря (да и фактически), он за это время частично сменил кожу, но не это было главное: таясь ото всех, Д. гордился своей новой жизнью, он воспринимал ее как огромное духовное событие, ни много ни мало.

Д. жил в бедной хижине почти на пляже, в кокосовой роще, он начал изучать быт и язык местных мужчин — контакт с женщинами (кроме проституток) тут был запрещен.

Он даже начал вести дневники, и наконец, после многих посещений храмов, в особенности тамошних лекарей и знахарей, он был допущен в другие сферы общения.

Попутно он стал питаться только сыром.

И то ли под магическим воздействием бесед с учителями, то ли в результате такой радикальной перемены места и способа существования (и смены образа мышления) больной начал менять кожу, счастье.

Его постоянная замкнутость, его серьезность и неторопливость, неумение зарабатывать здесь пришлось как раз к месту. Учителя его, правда, отличались еще и мягкостью, доброжелательством по отношению к любым посетителям.

Этого он тоже постепенно должен был набраться, терпения.

Поскольку Д. довольно часто принимал и гостей из России, то приходилось неохотно, через пень колоду, рассказывать о своей вере — не всем, а тем, к кому он чувствовал доверие, особо избранным.

Он не скрывал, что стал теперь ашвимитом. По обычаю храмовых прислужников он бесплатно раздавал приезжанцам тощие брошюрки, ничего не гнушался, то напрямую просил, а то намеками увещевал, что при посещении святынь надо вносить свою лепту на поддержание их.

Водил группы во внешние дворы, не пускал любопытных внутрь. Много заплатившим туристам он ночью все же давал возможность недолго постоять во внутреннем дворе.

Упоминал за чашкой чая, правда, скупое, о своих пеших странствиях по джунглям и горам Кампучии или Восточного Китая. Мог предложить — не всем — нефритовые и аметистовые скульптуры, копии детородного органа бога Ашвимы, символа всего зарождающегося в мире. Их надо было всегда носить при себе.

Платить предполагалось не Д., а храму, но он принимал деньги, если у людей уже не было времени, и скрупулезно их относил учителю.

Еще он рассказывал, в частности, о том, как протекает жизнь религиозных центров, о том, что когда туда идет поток молящихся, то это означает, что в храме вырос, появился, обосновался учитель, впоследствии святой, и если к нему тянутся пилигримы, паломники и последователи со всех концов мира, то тогда его называют «дуду», что означает старец и мудрец. И его жизнь, а особенно его кончина становятся для такого храма основой существования.

После ухода дуду остаются его мысли, собранные в брошюрки, которые охотно раскупают новые верующие, и чуть ли не спят на них, чуть ли не носят с собой везде, причем под одеждой. А уж изображение его и маленькие статуи распродают очень хорошо.

Д. как раз был свидетелем жизни такого дуду и старался не пропустить ни единого дня — так что в конце концов был замечен и приближен. В частной беседе старец велел Д. вставать с рассветом, идти в лес и слушать птиц, это было главное условие. Слушать птиц и начать понимать их язык!

Старец настаивал на том, что именно птицы скажут самое важное, выдвинут главную мысль. Это будет мысль, за которой нет никаких вещественных образов, это будет пустая, наполненная вечностью мысль, и если ее удержать хоть ненадолго, к верующему может прийти главное, по сравнению с которым все остальное — просто пыль. Д. начал вставать затемно, шел в ближайšie заросли и, опустившись на колени в лесную труху, выслушивал сообщения ворон и непонятных тихих свистушек, а какая-то птица периодически орала человеческим голосом со сварливыми интонациями — «а, а, ааа!». Д. слушал все это с замиранием сердца, затем он шел к своему дуду и там безмолвно в самом углу храма си дел до ухода старца.

Каждый раз оставляя свою лепту.

Так проехало время, мощно тронулось, замелькали рассветы, птичьи проповеди, затем старец призвал его и велел голодать двадцать один день!

С огромной радостью уже порядком полегчавший Д. перестал есть вообще, и это оказалось важнейшим делом. Ничто другое кроме голода так не возвышает человека над самим собой, не делает из него бесплотное мыслящее «я».

Нечего и говорить, что Д. с честью выдержал это испытание, истощал, посветлел лицом, волосы его облетели, глаза ввалились в орбиты, огромные веки прикрывали зрачки, и губы облепили выступившие челюсти, и на лице поселилась вечная улыбка.

Правда, бывали разные случаи — когда, например, его настигала очередная группа соотечественников.

Эта толпа могла бы почувствовать себя сонмом избранных, удостоившись доверительной беседы с Д.

На самом же деле после вступительных слов (призванных внушить богатым мысль, что все здесь живут бедно, в нищете) и после того как он рассказал, что местные религии не изуверствуют, что всех новоприбывших осеняет целый пантеон богов, и каждый пришедший может найти себе веру по душе, но это еще не всё; нет церковной иерархии, нет центра, куда надо сдавать выручку, но все храмики живут своей жизнью, и уж сколько притечет паломников на поклонение, столько и

пойдет на поддержание служителей веры — после всего этого следовало как бы косвенное указание на то, что каждый визит в храм необходимо завершать подношением, только тогда и будет некоторый результат. Монах не стесняется протягивать пустую плошку!

Он сидел на веранде тихо, в углу, пришедшие развалились вокруг, кое-кто залег в гамаки. Д. улыбался всем помаленьку, разлил чай по разномастным сосудам, закурил самокруточку, мягко и доброжелательно отвечал на вопросы, подарил одному из посетителей, которого он знал по прошлым годам, маленькую книжечку на английском о своем боге, об Ашвине.

Да, теперь в сезон дождей он не возвращается в Россию, а ездит по монастырям, иногда ночует в лесах.

Пища — что будет. Всегда ведь жаль тратить время на жизнеобеспечение.

Что подделывает? Ничего не подделывает. Иногда возникает какое-то желание, но потом уходит.

Дневников? Нет, не ведет уже.

Главное (произнес Д. тихо и с улыбкой) — это мыслить без образов.

Тут Москва (он так называл про себя всех сразу и каждого по отдельности) немедленно и живо возразила, что человек ведь всегда мыслит образами, это обыденный строй движения сознания.

Москва жаждала внимания! Д. внимательно слушал.

Она говорила: человек ведь представляет себе будущее в картинках и соображает насчет этой картинки, как этого достичь или избежать. А также мысль, проворачивая в воображении сцены из прошлого, близкого или далекого, может зацепиться за одну деталь, что опять-таки вызовет поток ассоциаций, тревог и вопросов, которые приведут ко все новым картинкам из жизни (могут быть и воображаемые, не пережитые кадры — представления о чем-нибудь, почерпнутые из литературы, из телевидения, кино, рассказов, или продиктованные собственными темными желаниями).

— Вот что такое мышление! — торжественно воскликнула Москва.

И оно не дает спать, заключила Москва.

Все эти воспоминания или представления (продолжала она), в бышем и будущем эмоционально окрашены. Будущее чаще всего ставит проблемы, и человек их заблаговременно решает, пытается упорядочить, организовать, спланировать путь спасения. Поэтому будущее в основе своей имеет эмоционально стрессовую окраску, то есть отрицательный тон. Там, в будущем, хлопоты, заботы, попытка выйти из опасной ситуации, если все кругом рушится. На это часто уходит вся ночь.

Д. в ответ на такие речи мягко улыбался, всем своим видом говоря, что не стоит, не надо так говорить и думать. Не это главное!

Москва же не унималась.

Воспоминание о ближайшем и прошедшем — это либо положительные эмоции (покой, довольство, радость), либо отрицательные (обиды, усталость, неустроенность, страх, бедность, непризнанность, тревога и т. д.).

Москва далее сказала, что отрицательные эмоции не заканчиваются в прошлом, в этом их отличие от положительных — они вынужденно проецируются в будущее.

Так вещала Москва.

Д. уже привык, что люди часто приходят не для того чтобы слушать, а затем чтобы самовыразиться. Самое интересное для них — это они сами, и с таким положением дел надо считаться.

Поэтому Д. ни единым словом или жестом не стал возражать, он доброжелательно молчал.

Москва толковала:

— Боязнь повторения обид, попытка придумать выход из положения — все это не ограничивается концом дня, переходит на завтра. Поэтому ночь опасное время. Отрицательные эмоции имеют свойство заполнять собою все мысли человека, в том числе и представляемое им будущее. Бессонница, бессонница, шурум бурум, шурум бурум.

Бормочут одно и то же, одно и то же. Д. же думал все время о другом. Он заметил:

— Вам бы, конечно, стоило бы встретиться с дуду. Он может помочь разорвать дурной круг мыслей. Он дает ряд упражнений, питание. Дает перстень, не всем, кому очень нужно. Проблема сна — это то, с чем его ученики, даже новые, не сталкиваются уже.

Группа насторожилась. Д. знал что говорил.

— О, давайте! Да!

— Понимаете, я сказал «стоило бы встретиться». На самом деле у дуду сегодня очень много страждущих в очереди. Вы же уезжаете завтра? Сейчас группа из Израиля, потом паломники, занятия с учениками. Я не знаю, удастся ли как то попасть к дуду.

Ну поговорите там с кем-то, сказала Москва. Д. тихо сидел, покуривая самокрутку.

В день он разрешал себе четыре сигареты.

Москва нюхала дым с пониманием. Некоторые закурили то же самое, если можно, то можно. Расслабились, пили чаек.

— Очень было бы неплохо встретиться нам с дуду. Вот если прямо сейчас? У нас до ужина сколько? Час есть?

Все закивали и выжидательно посмотрели на Д. Он улыбнулся:

— Не уверен, не уверен. Простите. Об этом надо заранее договариваться.

— За сколько заранее?

— За две недели. Там, по-моему, запись. Я не посвящен в эти дела.

— С кем можно поговорить?

Пауза. Д. тихо улыбается.

— Ну, вы со мной уже говорите.

— И что?

— Ну, я вам уже ответил.

— Ну ведь храм нуждается ведь, нуждается в поддержании, мы можем это понять.

Москва загалдела, что долго готовилась к этой поездке. Кто-то даже запальчиво заявил, что никто из непосвященных не способен отличить обычного курильщика гашиша от свиддхи.

— Вы ведь он? Вы свиддхи? Нам сказали уже.

Д. отвечал с улыбкой, что половина мира знает о маджиентре и дерехонадхах, и что из того?

Раздался голос:

— Вот вы, вы ведь можете убить человека?

Д. отвечал тихо и неуверенно, что рано или поздно определенные способности приходят, если правильно и под руководством дуду проходить практики, но нет смысла говорить о них, если их нет...

— А если есть? Мы знаем историю про одного дандрика, который поклонялся баламутхе и как раз владел способностью убивать.

Д. слышал эту историю раз десять.

— Он убил восемь человек, все погибли от внутреннего кровотечения, одинаковый диагноз у всей группы! И тогда к нему пришел учитель, и дандрик умер от белой проказы!

Д. не отвечал. Москва продолжала:

— Мы читали, что одного ученика один дуду посадил вместе с другими на шманджане на двадцать один день с заданием повторять мшандру. И он сидел в последние дни там, куда бедные люди пришли сжигать своего покойника. Сдвинуться во время чтения было нельзя, а костер уже горел. В последний день по недосмотру организаторов костер погас, и половина туловища бедняка не успела сгореть. И на последнем круге мшандры покойник встал из костра и пошел на этого ученика. Тот перестал читать мшандру, оторопел. Тот шел половиной туловища. Тот вспомнил, что говорил учитель, и продолжил читать последний круг. И бедняк вернулся в костер, упал, и тело его догорело синим пламенем, так?

— Вы пейте, пейте чай. Это не простой чай,— угощал Д. Москва пила и бормотала:

— В десятой сквейе есть такая практика, это начало входа в самбакхи, кадрила суждака. Человек может перестать дышать.

Д. продолжал:

— Чай, дикорастущий очень редкий мелкий чай, он собран монахами в предгорьях Тибета, это были святые люди, они вкладывали в процесс сбора большую веру в то, что человек может найти путь к исцелению.

Он встал и начал доливать отвар в чашечки присутствующих.

— Перестать дышать? — спросила Москва. — Да, вы знаете об этом, Д.? Как это?

— Вне практики, — отвечал Д., — нельзя понять, каким образом можно задержать дыхание, совершить кадрила суждака. То есть не дышать продолжительное время. Это приходит с годами.

— Люди могут не дыша находиться под водой?

— И под водой тоже. И под землей.

Дальше их заинтересовала левитация.

— Правда, что возможно приподняться над землей?

Д. не отвечал, разнося чай.

Москва сама же и загудела в ответ:

— Ну вы что, это же описано в шмива самшикте. Механизм-то прост! Если вы слышали про биохимию... Слышали. То это обычная замена молекул. Тело состоит на семьдесят процентов из воды... Убираем молекулу кисло рода из формулы воды и получаем водород. А он легче воздуха.

— Водород?

— Ну да! И тогда взлетаешь как воздушный шар!

— А вот сколько же на самом деле у человека шмакр? И у всех ли они есть?

Кто-то из группы сам же и отвечал, что по некоторым источникам девять, по другим семь, а иногда говорится о трех.

Д. на сей раз сказал, что иногда не стоит повторять за другими. Только весьма продвинутые швами обладают шмакрами в том виде, в котором они описываются в интернете.

И, добавил он безобидным тоном, это темы не для начинающих.

Москва разговаривала сама с собой, чай привел со граждан в состоянии возбуждения, они разбились на группы по месту сидения.

— Горхуджи, шматха бидьи восходят к Каби Наджу. Культ наджу сейчас на самом пике. Кто является хранителем знаний? Они ведь не практикуют барганаим и шматха бьохи. Это удел единиц! Они не ищут контактов с другими, с обществом. Вы не найдете их на улице, существует двенадцать шматха самбранай, и в этих линиях осталась реальная передача.

Д. ушел в себя, он так обычно делал, когда ему было тяжело общаться с приезжими. Он потерял нить разговора.

Как часто бывает на пати, гости стали обходиться без хозяина.

Вдруг начали звучать какие-то странные слова, как монотонная молитва:

— Мамажи ведде... мамажи ведде  
неведд омадде унеенедд  
ома

Мамажи ведде  
мамажи ведденедо  
ома  
умама неддо  
Мамамажи венадв  
орежевде  
рере...  
внема  
мапри  
жлакраи саджхаива  
ннама мажи ведде  
васараи ураи...  
саджхаи  
вн  
на...

Хор как будто бы повторял эти странные слова, хотя по лицам было видно, что они просто беседуют между собой.

Потом они исчезли, их автобус уехал.

Д. повторял и повторял ту молитву, которую услышал в беспамятстве.

Нельзя было этого делать, она разрушала всю его жизнь, могла уничтожить все чему он научился, это был голос той, прежней судьбы, голос разъеденной кожи, грязных тряпок, тухлых запахов, плаксивый голос несчастья.

Все, что ушло в прошлое, чего он не желал вспоминать в своей новой счастливой жизни, снова плясало перед ним, заставляло войти в тот круг бесполезных, ненужных дел, которыми он раньше занимался.

Мама живет в сарае у Раисы Ивановны, вот что. На дворе ноябрь.

Мама... пришла... к Раиса (джха) Иванна... Мама живет дде? — в сарае... у Раисы (джх) Ивановны (пели голоса).

Д. опомнился и сделал то, чего ни разу не делал — он позвонил в Москву матери. На ее новую квартиру.

Ответил мужской голос. Какую Дину Сергеевну? Вы куда звоните? Да. Адрес этот. Но никакой такой... тут нет. Я? Что я тут делаю. Какой вопрос. Я тут живу. А какая разница, как меня зовут? Вы не сюда попали.

Карина откликнулась сразу, обещала выяснить. Перезвонила, сказала, что на квартире никто не берет трубку.

Дуду принял его, выслушал, кивнул, велел поститься еще три недели, ночь провести в лесу. Потом можно поехать в один монастырь на месяц, там ученик дуду проводит практики.

На прежней работе ответила та самая коллега, обещала завтра прийти пораньше и встретиться с Раисой. Раиса убирает офис с полседьмого, уезжает до прихода начальства.

Д. просил узнать подробный адрес, как добираться до ее деревни.

Он кое-как просидел ночь в лесу. Ему было не до пения птиц.

Он собирал силы для борьбы.

Он вспоминал все способы, о которых знал.

Тем не менее свистушки что-то ему говорили, вороны гаркали как силачи перед взятием веса.

На рассвете заорала та птичища, злобно и сильно, как раз под настроение.

Он собрал силы и приподнялся над почвой, немного, на полметра.

Через день, в воскресенье, чартерным рейсом он прилетел на родину, сел в электричку, потом в автобус. Долго блуждал по разъезженной грязи, на ледяном ветру, среди обшарпанных зарослей.

Потом запахло дымом, взору явилась обширная помойка у дороги. Это уже была деревня.

Раиса Ивановна приняла гостя растерянно.

Они всей семьей, Раиса, мужик и ребята, сидели у стола, с утра уже были пьяненькие.

Раиса всполошилась. Предложила мутный стакан, завлекая, поболтала над ним банкой самогонки. Услышав отказ, пододвинула сковородку с жареной картошкой. Он сказал «я не ем». Тогда она вывела приезжего обратно в сени. Виновато распахнула дощатую дверку. Там были ступеньки вниз, довольно темное пространство открывалось глазам. Пахло сеном и навозом.

— На дворе она.

Да! Мама, закутанная в ватное одеяло, сидела в крытом дворе. На печурке варилась картошка. Лицо у мамы было темное, обтянутое, глаза ввалились, огромные веки прикрывали их.

Она смотрела куда-то, ничего не видя.

В закутке хрюкал поросенок. На чистом сене лежали овцы, там же валялся тюфяк.

Увидев сына, она заплакала от счастья. Протянула к нему свои грязные, худые руки, встала. Тут же села.

## Черная бабочка

Летом в окно одной женщины, Ники, влетела черная бабочка. Был поздний вечер, сын ушел с другом. Бабочка, привлеченная светом, долго кружилась у абажура, а потом куда-то делась.

Женщина подумала: «Как это, в городе такая красивая деревенская бабочка». И вдруг вспомнила: недавно она была у подруги Елены Прекрасной, и там находился гость, молодой человек, сын цивилизованной шаманки.

Эта шаманка, судя по его рассказу, давно уже не жила в чуме или как там называется, в яранге, у них был нормальный дом в поселке, она почти забросила свои камлания, как можно было полагать, да и сам молодой человек, тоже с детства предназначенный пожизненно быть шаманом, после школы уехал с Севера, закончил институт, женился, а теперь он сидел в гостях как раз у своей научной руководительницы Елены, так же как и женщина по имени Ника.

Он охотно, хотя и сдержанно, рассказывал о своей матери, что она не камлает, потому что для этого многое нужно, например, человек, который бы вел шамана на вожжах, чтобы удержать его от падения на землю: в транс многое случается, иногда камлающий ничего не помнит. Потом, для камлания нужно очень много сил, а мать собирается умирать.

Так простодушно и откровенно рассказывал о своей матери этот молодой человек, это и был его рассказ о черной бабочке, самое его начало — в том числе о том, что сам он силой оторвался от собственного предназначения, его с детства отметили старики и уже готовили к пути шамана: у них в роду в каждом поколении были знаменитости на весь Север.

Женщина по имени Ника перебила его и спросила, а что в нем сейчас есть такого особенного и может ли он предсказывать — и он так же ласково и искренне сказал, что не хочет знать будущего, запрещает себе, а будущего какого, своего или чужого, спросила женщина, ей было интересно.

Каждого будущего, ответил он.

Дальше женщина так же простодушно призналась, что совсем не хочет знать своего будущего, в будущем у каждого смерть, и знать свой срок равно смертной казни, не так ли?

Он ласково кивнул, и женщине захотелось встать перед ним на колени. Она была слегка пьяна, хозяйка угостила их собственным шампанским из зеленого крыжовника.

Он, этот молодой человек, Эрик по имени, был действительно каким-то святым по своему влиянию на окружающих. Около него хотелось все время находиться, он навевал на людей покой своим простодушием и добротой.

Женщина подумала, что уже сейчас, при нем, начинает о нем скучать, как бы одномоментно находясь в том времени, когда его не будет рядом.

И расскажите побольше о вашей маме, попросила она. Мать его начала камлать тоже почти с детства (стал рассказывать как на духу этот Эрик), у нее был редкий дар, вылечивать людей, а именно способность исцелять и есть главное чудо, которого ждут от шамана. Ну еще она могла насладиться сон на всех присутствующих.

Хозяйка дома, профессор Елена Прекрасная (это было ее прозвание среди подруг), тихо засмеялась и подтвердила, что такое видела только что на семинаре, туда были привезены отовсюду многие известные северные (она выразилась «мои») шаманы, они заседали в разных аудиториях, а одна, Танечка, вернулась в зал и сказала, что у нее все спят. Пошли, взглянули, а они, действительно, головы положили на столы, храпят. Танечка, оказывается, вышла выступать с темой «введение в сон», так ее тема была заявлена и в повестке дня.

Молодой Эрик радостно кивнул и добавил, что теперь многие в соседних племенах на Севере объявляют себя шаманами, но это только для туристов и это скорее истерия. Даже есть двухмесячные курсы. Или гриба сушеного пожуют.

Елена Прекрасная опять засмеялась:

— У моих такая практика, они теперь перенимают старую манеру, предпочитают накормить кого-то из семьи сушеным грибом, а потом выпить их утреннюю мочу. Даже детей пичкают, совсем нет никакого понимания. Потому что эти галлюциногены они получают вместе с мочой уже в очищенном, перегнанном как бы виде. Ребятам на каникулах дают поесть мухомор и подставляют им баночки, когда в поселок не завозят водку.

Эрик озабоченно кивнул. Видно было, что он не может отвлекаться, к нему подступила какая-то важная тема — а он говорил о своей матери. Его же как бы специально перебила Е. П.

— О маме, прошу вас, — сказала гостья, та самая женщина Ника. Она чувствовала, что это сейчас ему гораздо важнее, чем простой разговор о странностях соседнего дикого народа.

Так вот, самое главное, чем может быть прославлен шаман, это чудеса исцеления, рассказал он. Мать его именно этим была известна.

Еще она беседовала с духами ушедших — на тему всяких важных начинаний, стоит ли ехать или надо обождать, придет ли эпидемия и так далее, и когда привезут спирт, к примеру, и еще она давала людям песни на разные случаи жизни — песня рыбной ловли, песня потери, когда человек что-то ищет, песня прощания. Но они не общие, не для всех, в их местности каждый имеет свои песни и бормочет их про себя в нужный момент.

Е. П. опять со смехом кивнула, словно бы желая еще что-то добавить, и Эрик вежливо остановился.

— Ну вот вы про маму, прошу, прошу, — вмешалась наша женщина, стараясь помочь Эрику. Ей было его почему-то жалко, как давно не было жалко даже собственного сына.

Гости сидели за низеньким журнальным столиком, на котором было собрано угощение к чаю — вафельный торт, конфеты в вазочке и знаменитое яблочное варенье Елены (каждая долька яблока твердая,

прозрачная и напоминает мармелад). И стояла бутылка крыжовенного шампанского в бутылке из-под французского «Вейв Клико».

Елена Прекрасная была мастерица на все руки. Как уж она все успевала: и вести аспирантов, и читать лекции, и принимать экзамены, и редактировать множество книг, и на даче управляться с семейством своего мужа, которое наезжало в полном составе, с детьми мужа от первой жены, с внуками и даже с той первой женой, без которой невозможно было обойтись, а кто же будет смотреть за младшими?

Отношения между ними, женами, были очень добрые, кстати.

У Елены Прекрасной других отношений с людьми не бывало. Она работала на всех и всегда как вол.

Ника очень любила Елену П., но навещала ее редко, потому что боялась быть лишней.

Да и собственная жизнь, работа, сын, транспорт, полулежачая мама в своей квартирке в часе езды от Никиного дома, собаки — кобель и старенькая девочка Ляля.

Никому бы и в голову не пришло взять кобеля к своей уже имеющейся девочке, но ниже этажом убили старушку соседку, остался карликовый мальчик, пожилой терьер с одним гнилым зубом в пасти. Его, конечно, соседки принесли к Нике.

Безвинная псина Ляля вообще устроила по этому по воду внеплановую течку, а новый жилец почувствовал себя супругом на законных основаниях — но этот кобелек Дон Корлеоне был мал ростом и не мог даже стоя добраться до нужного пункта, в честь чего он метил все во круг, совершенно тронувшись разумом.

Ника после прихода из института устраивала ежевечернюю генеральную уборку, а сын, недовольный этим бардаком и новой собакой, от которой первое время воняло, пока не был удален зуб, — сын вдруг повел себя как главный кобелек, у которого заняли его территорию, и на основании этого пещерного чувства вдруг стал требовать, чтобы ему дали уехать в бабину квартиру, а саму бабу мать пусть забирает на его место напрочь, в его комнату, так? Все равно типа ты к ней ездешь каждые три дня. Тебе же будет легче. И в армию оттуда хрен кто догадается меня взять.

На вопрос же «А на что ты будешь существовать?» сын отвечал, что найдет сам, не волнуйся.

У матери вертелось в уме «будешь драгдилером как твой драгоценный Зубарь?» Поссорились. Пока что удалось отстоять прежнюю ситуацию.

При этом положении дел как-то отдохнуть, отвести душу оказывалось некогда, даже дойти до такого святого и радостного человека как Елена.

Ника откладывала эти визиты до совсем уже безнадежных моментов, когда только и хотелось, что покончить со своей жизнью. Особенно

после всяких выяснений у сына насчет того, не занимается ли он со своими друзьями чем-то нехорошим, не тянут ли они его в наркотики.

После того, очнувшись, Ника шла к Елене и именно запасалась для такого случая предлогом, чаще всего когдатошной книжкой, взятой у Елены почитать с возвратом.

Теперь Ника принесла назад том Шекспира, а именно «Гамлета» в чьем-то переводе.

В прошлый раз, когда Ника заходила к Елене, у гостей разговор шел, в частности, о разнице между этим переводом и пастернаковским. Кто-то упомянул вскользь, что лучший из текстов был одного великого князя, который слово в слово и прозой перекатал «Гамлета» со старопольского, а некоторые возразили, что уж лучше взять то, с чего сам Шекспир списывал, из датских хроник.

Ника слупала наострив ушки эти шуточные беседы образованных (и скрывающих данный факт) людей. Скорее, правда, шекспировские переводы были ответвлением от главной темы, все с удовольствием сплетничали об одной широко известной даме. «И крупной солью светской злости», — завершил тему один из гостей.

Ника тогда и попросила почитать шестой том Шекспира.

В нынешний раз гость был только этот самый Эрик, молодой человек с раскосыми синими глазами, финн по национальности.

— Вы можете предсказывать? — настойчиво спрашивала его Ника, которой ударило в голову крыжовенное шампанское. — Будущее можете?

Из дальнейших приветливых, но уклончивых ответов Эрика можно было понять, что он этого никогда не практикует.

— А мама ваша? — тогда спросила смущенная Ника. — Она предсказывала?

Выяснилось из невнятной фразы, что вот как раз мама этим занималась.

— А как, что она предсказывала? Можно узнать?

Он как-то несвязно что-то пробормотал, слышны были только последние слова:

— ...по телефону.

— Предсказывала, да, — улыбаясь, добавила Елена. — Было такое.

— А теперь не предсказывает? — пошутила Ника. — Я понимаю, всем тяжело это слушать. Как камень на шею. Такое происходит... Хотя нам, матерям, надо прямо сказать: не мешай. Мне так сын говорит иногда, не лезь, мать. Не сходи с ума, мамашо. Называет меня мамашо. Ну а ваша мамашо? Как она?

Он промолчал, как-то слабо улыгнувшись. Ника вдруг испугалась. Повисла тяжелая пауза.

— Она умерла, — ответила Елена Прекрасная. — Эрик ездил, только что вернулся.

— О, простите меня, простите.

Эрик очень просто и по-доброму реагировал на этот допрос Ники, и она поняла (как-то помимо его слов, сама по себе), что мама терзала своего Эрика, предсказывая ни много ни мало собственную скорую смерть и звоня ему со своими прогнозами будущего, жалобами на здоровье и просьбами вернуться.

Но тут не надо быть большой шаманкой, трезво глядя на себя как бы изнутри, попутно думала Ника, все мы, матери, одного полета птицы, все предсказываем детям на всякий случай свой уход, действуя как бы намеками, т. е. жалуясь на здоровье и не говоря конкретно, к чему такие болезни ведут. Как полные идиотки пугаем их фразами типа «А мое кольцо отдашь своей жене». Хотя у Кима даже и девушки постоянной еще нет.

Бедный Ким. Бедный мой Ким, что с ним будет. Молодой человек вдруг посмотрел, немного стеснясь, на часы и заторопился уходить. Извинился, попросался и исчез.

Ника же сидела, хотя звери давно ждали прогулки, и спрашивала Елену о ее жизни и нахваливала яблочное варенье.

Елена Прекрасная еще рассказала, что вот для малышей она делает еще другое одно свое яблочное варенье, совсем без сахара, чистые пектины, варим очень густое пюре, намазываем его на смоченное водой стекло, сушим до корочки, называется пастила. Потом эти тонкие пласты отделяем и скатываем рулонами, пересыпав сахарной пудрой.

Ника, в свою очередь, вспомнила, как она в молодости, когда жили еще вместе с мамой, сделала на зиму тоже заготовку, трехлитровую банку тертой черной смородины, привезла ее домой, поставила на пол в кухне, а мама сделала свое обычное замечание, зачем ты варенье на пол, подыми, подыми, и маленький Ким тут же с готовностью приподнял эту банку двумя своими слабыми ручками, банка выскользнула и раскололась.

— Удалой мой сынуля. И до сих пор такой же, всё воюем. Но он очень хороший человек растет. Очень! Его так любят друзья! — сказала, находясь в преддверии слез, Ника.

— Да, — продолжала профессор Елена, — Эрик вот хороший человек, мой незаменимый помощник. Я ему немного приплачиваю, он иногда мне приводит компьютер в чувство. Хотя с диссертацией подзадержался. Ты знаешь, сколько ему лет?

— Двадцать сколько то, может, двадцать три?

— Ему тридцать девять. Дочери уже пятнадцать.

— Боже, какой юный!

— Это все проделки его матери, — смеясь, отвечала Елена. — Ее были шутики. И она его и сейчас не оставит.

И вот теперь, летним вечером, когда в окно влетела черная бабочка, Ника вдруг сильно затревожилась и позвонила по мобильному своему сыну.

Он уже давным-давно ушел провожать друга (так называемого друга, и зачем тот все приезжает?).

На дворе стояла ночь, густая как чернила. Телефон тренькал, но сын не отвечал. Странно.

А все дело было в том, что профессор Елена Прекрасная в нескольких словах передала Нике, вдобавок ко всему, предварительную историю с матерью-шаманкой, о чем Эрик не стал специально для Ники докладывать, потому что рассказы о ней составляли, как бы сказать, непрекращаемую сагу для Елены Прекрасной в каждый его приезд. А повторять это всем желающим ему, видимо, было тяжело.

И, продолжала Елена, в одно из своих посещений несчастный Эрик в ответ на постоянный вопрос, как себя чувствует мама, сообщил, что она активно готовится к уходу, как положено шаманке. Она вернулась к беседам с предками и очень донимает этим Эрика, как бы передавая ему эти видения.

Он не может ей сказать, что хватит, не надо.

И мать все время держит сына в курсе событий насчет того, что происходит там, в тех мирах.

Он, правда, не сообщал о подробностях профессору Елене, ему это было по настоящему трудно, во-первых, а во-вторых, это же были те дела, которые не-шаманы не понимают.

Но один раз он все-таки рассказал о том, что мать перед самой больницей, куда ее вскоре увезли в последний раз, поговорила с новым соседом по имени Гусиная Ножка. То ли он был навеселе, короче, этот Ножка на словах начал задирать ее и сомневаться в том, что его соседка шаманка... точно неизвестно. Ну докажи, в чем ты шаманка, вроде бы сказал он. Этот Гусиная Ножка все время улыбался, и казалось, что он надо всеми потешается. И она ему посулила, что они встретятся после ее смерти. «А как же я тебя узнаю, ты же будешь невидимый дух?» — явно посмеиваясь, спросил Гусиная Ножка. Он был современным человеком, работал в конторе на лесоскладе, в том числе у компьютера, и знать не хотел никакой мистики.

— Как ты мне явишься, как привидение? Или как птичка? А как я тебя узнаю, что это не просто птичка, а Большая Листвень? (Листвень, оказывается, было имя матери).

А она ответила:

— Нет, не птичка и не дух, а бабочка.

А дело было еще когда снег лежал, в мае. Стало быть, свою смерть она откладывала до июля.

И после такого разговора они оба немного посмеялись, потому что в их племени плачут только грудные дети и потерявшие разум. Остальные же безмолвствуют и улыбаются, когда нечего сказать по делу.

Но шаманы-то могут плакать, они и визжат, орут, скулят, режут не своими голосами (чужими, конечно), и воют, рыдают. Им можно, хотя тоже в определенных обстоятельствах, при камлании.

Профессор Елена еще добавила, что после этих рассказов, когда Эрик ушел, у нее пропала связь с интернетом, невозможно было отправить нужные письма, какая-то кутерьма началась, а Эрик исчез, мобильный его был вне линии связи, домашним же номером его телефона Елена не запаслась.

И вообще начались мистические совпадения, утром, когда она пила кофе при включенном телевизоре, в сериале почему то ни к селу ни к городу сказали фразу «Его мама умерла».

Елена Прекрасная вообще встревожилась, подумала, что с Эриком происходит что-то ужасное. Она верила в такие случайные рифмы судьбы.

Но через сутки на один звонок он все-таки ответил тихим и странным голосом, что находится сейчас на родине и позвонит потом.

Профессор Елена по такому звуку его голоса сразу поняла, что мама Эрика либо умирает, либо уже умерла.

Эрик появился только спустя неделю, уже без звонка и по собственной воле (а Елене, делать нечего, пришлось вызвать нового мастера из университета).

Приехав, Эрик сел пить чай с вареньем и рассказал, что маму похоронили. На отпевании присутствовал и Гусиная Ножка, тот сосед. Он сидел рядом с семьей Большой Листвени в их протестантской церкви. И вот туда под звуки органа (играли на синтезаторе) влетела черная бабочка. А это еще не время было для бабочек, еще стоял июнь. Все прихожане как замороженные следили за ее полетом. Все уже знали предсказание Листвени. Бабочка долго болталась в воздухе и наконец, выбрав место, села на плечо Магнуса Гусиная Ножка. Магнус даже засмеялся от неожиданности. А все за ними следили. Все остальное время Магнус сидел как одеревенелый, не смея шелохнуться. И люди вокруг тоже боялись дышать. Некоторые еле удерживались, чтобы не вскочить с места, слегка привставали, чтобы лучше рассмотреть черную бабочку. Она здесь! Большая Листвень здесь!

Но черная бабочка недолго просидела на плече у Гусиной Ножки. Ее звали более важные дела, эту бабочку, маленькую черную душу. Она раскрыла свои тонкие крылья и взлетела, и сразу же пропала.

Так рассказал эту историю Эрик, а потом он еще добавил, что прежде чем им позвонили с родины, такая же черная бабочка влетела в их квартиру в Зеленограде, пометалась и потом села на зеркало в ванной.

И дочь Эрика Кира (Кирстен) ее увидела, позвала отца и показала на нее.

Эрик тогда сказал, что это не бабочка, а это бабушка Катрин умерла и теперь сидит в виде бабочке на зеркале.

Кирстен пожала плечами и даже хмыкнула, наверно, подумала, что он с ума сошел. Но тут же затрезвонил телефон с дурными вестями.

Они оба вышли из ванной, а когда разговор был закончен, дочка заглянула туда еще раз. Бабочка не улетела.

И все время, пока Эрик и девочка собирались в дорогу, ездили за билетами, возвращались, бабочка сидела на зеркале и смотрела на свое отражение. Она была как бы двойная на вид, удвоенная, отраженная, крупная.

Бабочка сидела там целые сутки, пока Эрик и дочка не уехали.

Тогда и бабочка пропала, по словам жены. (Жена вылетела позже.)

И вот теперь, мигом вспомнив про эту историю, женщина Ника металась по квартире (обе собаки бегали за ней и лаяли) и наконец нашла свою черную бабочку. Да. Она сидела на зеркале в ванной.

Ника тогда хлопнулась тут же на колени и стала молиться, в слезах глядя на удвоенную бабочку. При этом она держала телефон в руке. Там раздавались мерные гудки, Ким не брал трубку. Собаки отошли и обе сели в коридоре.

Тогда она позвонила матери. Мать, слава богу, откликнулась сразу, но отвечала рассеянно и быстро закончила разговор (смотрела телевизор).

Ника опять начала названивать сыну, и опять безрезультатно. Что-то стряслось. Обычно он или отзывался, или вообще отключал мобильник.

Ника смотрела на бабочку как на единственное, что еще осталось от ее сына, временами страшно стонала, а то читала молитву и кланялась, стоя на коленях.

Потом она вскочила, выбежала на лестницу, втолкнула своих обратно в квартиру (они собрались гулять) и отправилась в милицию, запинаясь по дороге не хуже insultницы. Ноги не шли.

Дежурный выслушал ее сурово, как ангел истребления на Страшном суде. Потом он спросил:

— Номер какой.

— Номер какой? — переспросила, дрожа, Ника.

— Какой номер, номер какой у него?

— Не отвечает, не отвечает у него номер! Телефон звонит, но он трубку не берет! — плакала Ника, но потом, встретив раздосадованный взгляд мента, она заново ткнула в кнопку набора.

Звонок. Звонок.

Дежурный толстыми пальцами взял у нее телефон и вдруг сказал:

— Алло? Алло? Дежурный Прбрдров у телефона. Передаю трубку! — и сунул мобильник Нике.

— Алло! — завизжала Ника.

— Ма! Ну ты че! — откликнулся сын.

— Алло! Ты где? Где ты? — рыдала она.

— Опять начинается, МАА!

— Я в милиции, я тебя разыскиваю! А ты, ты... Почему ты не отвечаешь?

— Да мы заглянули в клуб, там шумно, я вырубил звук. А сейчас вышли, я смотрю, девятнадцать неотвеченных твоих звонков! Вообще башня у тебя свернулась? Зачем милиция мне? Ты заяву им написала?.. МАА!

Вернувшись домой, Ника вымыла полы за обиженными, за Доном Корлеоне и Лялей, погасила во всей квартире свет, открыла настежь окна и стала ждать в ванной, когда улетит бабочка.

Ляля и Дон Корлеоне топтались у ее ног, прижались, видимо, были тоже под впечатлением.

Ника нашла фонарик и светила из коридора, надеясь, что бабочка вылетит. Но она, скорее всего, уснула на своем зеркале.

Тогда Ника очень осторожно, положив светящийся фонарик на пол в ванной, подгрела бабочку салфеткой, прикрыла ладонью и, выйдя на балкон, отпустила эту заблудшую душу на волю.

И не зажигала свет очень долго, пока сын не пришел. Все делала, чтобы бабочка не вернулась.

Сидели в темноте на тахе втроем, как всегда, и ждали своего семнадцатилетнего мальчика.

Кто-то умер вдали и заблудился, полетев не на тот свет.

### Случай в Сокольниках

В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила, но жили они неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой, и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома и завтра будут похороны.

Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. Вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек очень странной наружности — худой, бледный, изможденный. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам, по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек, он сказал: «Лида, неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж». Оказалось, что его вовсе не похоронили, похоронили землю, а его воздушной волной бросило на деревья, и он решил больше не возвращаться на фронт. Как он жил эти два с лишним месяца, Лида не стала расспрашивать, он ей сказал, что все с себя оставил в лесу и добыл гражданскую одежду в брошенном доме.

Так они стали жить. Лида очень боялась, чтобы не узнали соседи, но всё сходило с рук, почти все в те месяцы эвакуировались из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима, надо съездить закопать то обмундирование, которое он оставил в кустах, а то кто-нибудь найдет.

Лида взяла у дворничихи короткий заступ, и они поехали. Ехать надо было на трамвае в район Сокольников, потом долго идти лесом, по какому-то ручью. Их никто не остановил, и наконец к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой оказалась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что он вспомнил, что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и действительно увидела внизу что-то вроде летчицкого комбинезона. Она начала бросать сверху землю, и муж ее очень торопил, потому что становилось совсем темно. Она закапывала воронку три часа, а потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бегать, чуть не упала в воронку и тут увидела, что на дне воронки шевелится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было

совсем темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, поехала домой и легла спать.

И во сне ей явился муж и сказал: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила».

## Рука

Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет, не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске, как раз перед этим он получил орден, и его отпустили на три дня. Он прилетел на самолете, но за час до его прилета жена умерла. Он поплакал, похоронил жену и поехал на поезде назад, как вдруг обнаружил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся на тот вокзал, откуда уехал, всё с большими трудностями, но ничего не нашел и наконец возвратился домой. Там он заснул, и ночью ему явилась жена, которая сказала, что партбилет лежит у нее в гробу с левой стороны, он выпал, когда полковник целовал жену. Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица покрыва.

Полковник так и сделал, как говорила ему жена: откопал гроб, открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но не удержался и поднял с лица жены платок. Жена лежала как живая, только на левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка рукой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали.

Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на аэродром. Нужного самолета не оказалось, но вдруг его отозвал в сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросит его. Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой.

— Что с вами? — спросил полковник.

— Да я маленько разбился, — ответил летчик. — Как раз на обратной дороге. Но ничего. Я вас подброшу, я знаю, куда вам надо, мне это по пути.

Они летели ночью, полковник сидел на железной лавке, идущей вдоль самолета, и удивлялся, как это самолет вообще летит. Внутри самолет был сильно покорежен, везде висели клочья, под ногами катался какой-то обгорелый чурбан, сильно пахло горелым мясом. Они прилетели очень быстро, полковник еще переспросил, туда ли они прилетели, а летчик сказал, что точно туда. «Что это у вас самолет в каком виде?» — сделал замечание полковник, а летчик ответил, что всегда убирал штурман, а он только что сторел. И он стал выгаскивать из самолета обгорелый чурбан со словами «вот мой штурман».

Самолет стоял на поляне, а вокруг бродили раненые. Со всех сторон был лес, вдали горел костер, среди разбитых машин и пушек лежали и сидели люди, кто стоял, а кто ходил среди других.

— Ты куда меня привез, сволочь? — закричал полковник. — Разве это мой аэродром?

— Это теперь ваша часть, — ответил летчик. — Откуда я вас взял, туда и доставил.

Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит наголову, и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, который все возился с чурбаном, которого он называл штурманом и упрасивал встать и пойти.

— Ну что же, начнем эвакуацию, — сказал полковник, — сначала штабные бумаги, полковое знамя и особо тяжелораненых.

— Самолет больше никуда не полетит, — заметил летчик.

Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на месте летчика за невыполнение приказа. Но летчик насвистывал и все ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами «ну давай, пойдём».

Полковник выстрелил, но, как видно, не попал, потому что летчик все продолжал бормотать свое «пошли, пошли», а тем временем раздался гул машин, и на поляну выехала колонна немецких грузовиков с солдатами.

Полковник спрятался в траву за какой-то холмик, машины шли и шли, но никаких ни выстрелов, ни команд, ни остановки моторов не последовало. Через десять минут машины прошли, полковник поднял голову — летчик все так же возился с обгорелым чурбаном, вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковник встал и пошел к костру. Он никого не узнавал вокруг, это был совсем не его полк, здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и бог знает еще кто, все в порванном обмундировании, с открытыми ранениями рук, ног, живота, только лица у всех были чистые. Люди негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к полковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на голове.

— Кто здесь старший по званию, доложите обстановку, — сказал полковник.

Никто не пошевелился, никто не обратил внимания на то, что полковник начал стрелять, зато когда летчик прикатил к костру горелый чурбан, все помогли взвалить этого «штурмана», как его называл летчик, на костер и тем самым сбили пламя. Стало совсем темно.

Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь совсем не согреешься, от такого чурбана огонь не разгорится.

И тут женщина, не поворачиваясь, сказала:

— Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало, теперь у тебя отсохнет рука.

Это был голос жены.

Полковник потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище, у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреждена и теперь, возможно, отсохнет.

## Материнский привет

Один молодой человек Олег остался без отца и матери, когда умерла мать. У него осталась только сестра, а отец хотя и был жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был какой-то человек, с которым мать встречалась, уже будучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал перебирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше. Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неизвестный человек писал, что у него семья и он не вправе бросать двоих детей ради одного будущего неизвестно чьего ребенка. В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов бросить своего мужа и выйти за другого человека, и значит, действительно все обстояло так, как намекнула однажды старшая сестра Олега в беседе с ним, намекнула мстительно и зло. Молодой человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бумаги и нашел черный пакет с фотографиями, на которых его мать была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой. Все это было снято как театр, мать даже в голом виде держала над собой длинный шарф, и все это было большим ударом для молодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодости славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже женщина лет тридцати пяти, стройная, но не особенно красивая, просто хорошо сохранившаяся.

После этого удара молодой человек — а ему было шестнадцать лет — бросил школу, бросил все и два года вплоть до армии ничего не делал, никого не слушал, ел что было в доме в холодильнике, уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экспертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении, но в последний момент, перед самой комиссией, отец скончался ночью у себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квартиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в армию.

Там у него случилось событие: его вместе с другими солдатами поставили на горной тропе, на перевале, через который должен был идти из колонии сбежавший заключенный. Этот заключенный гулял на свободе уже около месяца, успел убить на своем пути пятерых, среди кото-

рых была и девушка, и приближался к единственному горному перевалу, через который шел путь на Большую землю, то есть в европейскую часть. По всем сведениям, эск должен был показаться не скоро, но засаду засадили на тропе заранее, за три дня, мало ли каким транспортом мог воспользоваться беглец. Засада состояла из Олега, сержанта и еще троих солдат, они сидели за большим камнем, положив на него автоматы. Они поочередно сменялись, и как раз в дежурство Олега на тропе показался мужик, фотографию которого им заранее показали. И Олег не выдержал и расстрелял его, а потом оказалось, что это был другой человек, вольнопоселенец, уже отсидевший срок и пробиравшийся, тоже, правда, нелегально, домой в Россию. Настоящий же преступник был схвачен на соседнем перевале. С Олегом поступили хорошо, его признали временно невменяемым, положили в больницу, а потом вообще уволили из армии как не годного к прохождению военной службы, и он еще дешево отделался, потому что жена вольнопоселенца, говорят, все разыскивала того ненормального солдата, который убил ее мужа, только-только нарушившего на несколько шагов границу своего поселения — по перевалу проходила административная граница области.

Олег возвратился домой. Он был уже почти совершенно лысый, зубы у него выпадали один за другим, есть было нечего, делать было нечего, кроме как идти работать безо всякого образования. Однако старшая сестра вдруг появилась в его жизни, взяла все дела в свои руки, устроила Олега в техникум, убрала в комнате, привозила продукты и деньги, хотя была ему не полностью родная сестра и никогда раньше его не любила. Однажды вечером, когда она собралась уходить, она как бы между прочим сказала:

— Ты мне не верь, что я тебе тогда наговорила насчет матери, это ее наш отец подозревал, он был тяжелым человеком и мог свести с ума кого угодно.

И она ушла.

После ухода сестры Олег открыл чемодан, стал рыться в бумагах, в которых лежало письмо, но нашел только конверт, в котором оказалась фотография материнских похорон. В том самом черном пакете, где Олег ожидал увидеть фотографии раздевающейся матери, лежала только черная бумажка, очень старая и ветхая, и когда Олег стал ее вытаскивать, она тут же рассыпалась в прах.

Олег стал просматривать бумаги и везде читал письма матери к отцу, в которых говорилось о любви, о верности, об Олеге и как он похож на отца. Олег проплакал весь вечер, слезы лились у него из глаз непроизвольно, а на следующее утро он стал ждать сестру, чтобы рассказать ей, как он сошел с ума в шестнадцать лет и видел то, чего не было, и из-за этого даже убил человека, совершенно не похожего на ту фотографию, по которой его надо было опознать.

Но он так и не дождался сестру, она, видимо, забыла о нем, да и он вскоре забыл о ней, занятый своей жизнью. Он окончил техникум, потом институт, женился, обзавелся детьми.

Причем он был черноглазым и жена его была черноглазая брюнетка, а оба сына получились белокурые и с голубыми глазками — точь-в-точь умершая мать, их бабушка.

Однажды жена вдруг предложила съездить на могилу к его матери. Они нашли могилу с трудом, на старом кладбище надгробия стояли в страшной тесноте, и на материнской могиле вдруг оказалось второе надгробие, поменьше.

— Наверное, отец,— сказал Олег, который отца не хоронил.

— Нет, прочти, это твоя родная сестра,— ответила жена.

Олег ужаснулся, что так мог забыть о своей сестре, он нагнулся к плите и прочел надпись. Это действительно была сестра.

— Только дата смерти что-то перепутана,— сказал он,— сестра приезжала ко мне гораздо позже этой даты смерти, когда я пришел из армии. Я ведь тебе рассказывал, она меня поставила на ноги, она буквально вернула мне жизнь. Я был молодой и по пустякам сходил с ума.

— Так не бывает, они не путают дат,— ответила жена.— Это ты перепутал. Ты в каком году пришел из армии?

И они заспорили, стоя у края могилы, заброшенной и заросшей, и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен, пока они не начали ее полоть.

## Новый район

Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, сотрудника министерства, были очень плохие отношения с женой. У них имелась двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры, сервизы, цветной телевизор, и все это при разводе жена требовала себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы, пришел к жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенческой скамьи. Они вместе учились, сошлись, у них должен был родиться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения из института. У него же была девушка курсом старше, они собирались пожениться и уехать подалее, но дело сложилось так, что этой девушке в случае его отказа жениться на беременной однокурснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременной побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться, причем не просто так, а как следует, не просто пришли расписались посидели у родителей и разошлись, а как следует. То есть он был вынужден ради диплома своей любимой девушки (и она этому не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить

в окно, когда он прощался перед уходом из общежития в загс и за ним приехал отец беременной однокурсницы на машине, на собственной «Волге»), — он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненавистный дом и как бы состоять под надзором все время, пока учился в институте, то есть два года. А за это время его любимая девушка уехала, ее распределили куда-то на Кавказ, где она вышла замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку, а у девочки оказались какие-то приступы чуть ли не эпилепсии, она регулярно синела и задыхалась, так что врачи не рекомендовали матери бросать кормить грудью, и она кормила ребенка чуть ли не до шестилетнего возраста — покормит девочку кашей, а та показывает: а теперь вот это. Все обстоятельства Василий узнал, когда однажды, уже после окончания института, встретил в пивбаре товарища, он работал как раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в Дагестан, а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей, все выяснил, что у ее дочери, оказывается, припадки были от скрытого аппендицита, вырезали, наконец, аппендицит и общие мучения кончились. Василий к тому времени уже забыл свою прежнюю любовь, а про детей и вообще слышать не хотел, потому что после его женитьбы жена выкинула шестимесячный плод, лежала в больнице, и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, думаешь, что в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога, — он умер, его даже не отдали похоронить, у него и имени не было, его оставили в институте. Целый месяц были эти мытарства, у жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком не обязательно кормили именно их пачку творога, были и другие, блатные дети, которые выжили, один был даже выживший пяти с половиной месяцев. Жена не могла проконтролировать всего, ее вообще не пускали к инкубатору, даже не дали взглянуть на малыша, даже когда он умер, она стонала после этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмотреть, они делали подарки медсестрам, но трупику им не выдали. Не знал тогда тесть, кого надо было подкупать, истопницу-пропитушку, она была бы рада за пол-литра и самой не делать грязное дело, за которое ей даже не доплачивали, — почему она в пьяном виде и скандалила, орала в канцелярии института. В общем, Василий жил в этой семье чужой и одинокий, жена страшно раздражала его слезами, но и себя ему тоже было жалко, ребеночек был бы ему очень кстати, хоть одна была бы родная душа в этом мире. Но он был такого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто из кожи вон лезла, чтобы занять опять ребенка, но Василий очень берегся, берег свою сперму как зеницу ока, делал все, чтобы жена не могла забеременеть.

Родители жены тут же после свадьбы стали строить кооператив для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не мог бы ни

копейки забрать у нее, это был официально заверенный у нотариуса долг жены ее родителям, и как общее нажитое имущество квартира считаться не могла. Везде подстелили соломки родители жены, одного только не учли, что они не вечно будут скручивать пружину, однажды она развернется с тем большей силой.

Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она хотела ребеночка, загладить память о пачке творога, а в таких случаях как с неба каплет, хоть оберегайся, хоть нет, подпойт, снотворного подсыплет, с чужим мужиком трахнется, а своего добьется. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них дочка (а тот, первый, был сын), назвали ее Аленушка, Аленушка-солнышко, росла на глазах у отца, чернявенькая, вся в него, потому что мать, Тамара, была как белая моль. Василий любил дочку, даже в ночь убийства, на Новый год, когда он уже почти убил жену, а тут как раз дочка заплакала — он подошел к дочке, убаюкал ее, а потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раздробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У него уже был, кстати, приготовлен большой двухметровый пластиковый мешок, в каких хранят шубы, но как он справился с кровью, никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но как-то он управился, крови не было нигде, он завернул ее сначала в клеенку, так он рассказывал потом, уложил в мешок, мешок сбросил с балкона в снег (была вьюжная ночь) и так, чтобы пронесло мимо окон, а дом их выходил на стройку, где из-за праздника в ту ночь никто не работал. Василий положил в пальто пальцы Тамары, как-то так он умудрился их отделить без стука, видимо, просто отрезал. Еще он взял с собой саночки дочери, аккуратно спустился, уложил труп на саночки и отвез на стройку, где и положил куда-то под плиту, а пальцы положил в трубу, а сам стал ждать весны, откроется дело или нет.

Он заявил в милицию о пропаже жены, ему, конечно, не поверили, тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще, а на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой, которая держала его на крючке и требовала от него денег, но замуж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим тридцати двум годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от жены. Даже машина, которую ему устроил тесть, была по договоренности записана опять-таки на долги жены перед родителями, они опутали его со всех сторон, ему в этом мире ничего не принадлежало.

Но теперь-то, после смерти жены, он по крайней мере четыре месяца, до апреля, мог жить спокойно, до таяния снегов, да могло и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке. Он как-то вскоре после убийства наведалься на стройплощадку, но своей захоронки найти не мог, все было завалено горами материалов, все следы занесены снегом.

Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно беседовала женщина-следователь. Он все время повторял, что жили плохо, поссорились с женой на Новый год, она оделась и ушла к родителям, а дочку будить он ей не дал.

Наконец оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале мая, Василий собственной персоной пришел с повинной к следовательнице и показал, что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он доказал свою виновность, тогда он повел ее и всю команду к строительной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Труп не обнаружили, доказательств не оказалось, в ту людную новогоднюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Василия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не дала ему спокойно спать, потому что он не выдержал и признался, да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то есть, короче говоря, переменялся.

Но он-то, Василий, позвонил тестю с тещей и сказал, что из крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он так говорит, что он положил пальцы отдельно в трубу и это оказалась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в новом доме, палец должен был просто разложиться, распухнуть, а тем более он не мог пройти через водозаборный насос, и вообще что общего имеет соседняя водопроводная система с уже давно построенным домом? Так он говорил ему и успокаивал, а Василий совсем ополоумел. Конечно, приехав, родители жены ничего не нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, наверное, палец ушел в слив.

И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака, найденную им на полу, но эта чешуйка опять-таки никого не устроила, мало ли, была тут какая-то баба с маникюром, так что Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных местах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных доказательств.

## Жена

Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и старухой матерью. Жена его долго болела, он сам сидел с ней в больнице, сам таскал горшки, кормил и умывал ее. Когда она умерла, он долго не находил себе места, но потом стал забегать на соседнюю улицу в гости к одной женщине, которая как раз собиралась покупать себе машину. Однажды вечером он пошел к ней по какому-то делу — взять или отдать книжку — и увидел прямо посреди улицы сидящую кошку. Мела метель, кошку заносило снегом. Этот человек пробежал мимо, пришел

к той женщине, посидел у нее, выпил чаю и отправился домой. На обратном пути он увидел уже вместо кошки холмик снега. Тогда он разгреб снег и взял кошку на руки. Он хотел сунуть ее под пальто, но кошка настолько была в снегу, что все бы у него промокло. И неизвестно еще, больная это была кошка или здоровая, мало ли что можно было подхватить.

Старуха мать его не любила животных, но возражать не стала, они вместе выкупали кошку в помойном ведре и завернули в чистый половик. Кошка была настолько благодарна своему новому хозяину, что ни разу не мяукнула, ни разу не оцарапала его, хотя кошки не выносят купания. Даже когда он только принес кошку домой, она по дороге, еще на улице, уже прижималась к нему и мурлыкала.

Но наутро выяснилось, что кошка больная. Она ночью встала и нагадила под шкафом и под детской кроваткой, налила и навоняла. Мать-старуха потыкала кошку во все лужи и хорошенько шлепнула ее по спине, все-таки кошка была взрослая и должна была понять, что нельзя гадить. Ей специально был поставлен в уборной подносик с газетой, но кошка продолжала гадить везде по семь-восемь раз в день. Кошка все время лежала на старом девочкином пальтишке в прихожей, почти не шевелясь, только вставала гадить. Старуха мать не спала, не ела, все ловила кошку, когда та собиралась идти гадить, и носила ее в уборную на подносик, приучала. Но кошка как будто только родилась, она ничего не понимала, а в уборной пряталась под трубу, на подносик даже не ступала. В конце концов кошка перестала выходить из-под трубы в уборной и стала там жить, а гадила на пол у двери, но никогда на подносик.

Девочка очень полюбила кошку и тоже все время торчала в уборной, гладила кошку, целовала, кормила ее. А старуха мать и ее взрослый сын прямо не знали, что делать с кошкой. На дикую она была не похожа, слишком была слабая и ласковая, дикие коты очень свирепые, а домашняя кошка давно бы поняла, куда надо гадить.

Так они жили, мучились, пока однажды старуха, потерявшая сон и покой, не решила отнести кошку в лечебницу, узнать, что с ней. Старуха посадила кошку в глубокую сумку и понесла. Кошка страшно испугалась и старалась выпрыгнуть, а у старухи глаза были на мокром месте, потому что она думала, что кошку там, в лечебнице, отберут как заразную больную и усыпят. Но врач посмотрел кошку и сказал, что она не старая, скорее молодая, два с половиной года, и что у кошки больной желудок, гастрит, ей надо давать таблетки и все только вареное и молочное, и все пройдет.

Так они и сделали. Кошка не хотела глотать таблетки, горлышко у нее было очень узкое, она царапалась и очень стала бояться старуху и хозяина, буквально пригибалась к полу, когда они проходили мимо. А девочку она не боялась, бывало, найдет на полу ее брошенную тапочку,

потрется и давай мурлыкать. Девочка говорила, что это ее кошечка и чтобы кошку отдали ей, она все будет делать, убирать и подтирать, но ей не разрешили, какой спрос с ребенка.

Тем временем старуха совсем перестала спать по ночам — все караулила, когда кошка пойдет гадить, настолько уже устала подтирать и мыть. И однажды ночью старуха решила выпустить кошку на ночь в подъезд на лестницу — кошек ведь выпускают на ночь.

Кошка очень не хотела идти на лестницу, но хозяйка ее выставила. С тех пор кошка каждую ночь ночевала на лестнице, видимо, там нашла себе в мусорном ведре какое-то нужное вещество, мало ли, может, просто картофельные очистки, и поправилась — а таблетки ей так и не помогли.

Старуха очень обрадовалась, что нашла такой выход из положения, и утром всегда искала кошку на лестнице, звала ее в дом, или хозяин ходил за кошкой — она всегда почему-то сидела на третьем этаже, там, видимо, нашлись добрые люди, там уже стояла кошачья мисочка и бумажка с едой. Теперь кошка не лила зловонные лужи, а ходила очень аккуратно, кучкой, и когда старуха находила на лестнице кучку, то всегда убирала за кошкой.

Так это и установилось. Кошка на ночь сама просилась выйти, и все было бы хорошо. Но однажды хозяин возвращался как-то поздно вечером и прошел мимо Мурки, которая уже сидела на своем новом месте возле добрых людей с третьего этажа, у мисочки. Мурка увидела хозяйина и побежала домой за ним в первый и последний раз в жизни. Хозяин услышал, как она мяучит на бегу. Но он ускорил шаги, буквально побежал вверх по лестнице, и Мурка отстала.

Рано утром хозяин пошел искать Мурку, обегал всю лестницу, весь двор, соседние дворы, но Мурки он не нашел больше никогда. То ли ее бросили в мусоропровод, как это делают злые люди, то ли просто выгнали из подъезда и Мурка замерзла где-нибудь во дворе, но следов ее он не нашел. Целый месяц после пропажи Мурки девочка плакала, плакала и старуха мать, да и сам хозяин все не мог найти себе места, потому что знал теперь уже точно, что это приходила его жена.

## В маленьком доме

Дело было на новый, 1947 год. В маленьком двухэтажном доме за Елоховской церковью жила девушка двадцати пяти лет по имени Вера. Она ничем особенным не отличалась, разве что все время рассказывала соседям по квартире, которые все сменились за время войны, что ее жених Витя погиб. Но со слов других жильцов дома ее новые соседи знали, что это был не жених, а просто тоже сосед по квартире. Витя был ей

не жених, он вселился в свою комнату незадолго до войны, потом сразу ушел на фронт и погиб очень быстро, в 1941 году под Москвой. И только после того как Витя погиб, за Верой стали замечать, что она плачет по Вите, говорит о нем как о своем женихе и пытается взять из его комнаты, где теперь поселилась истопница Стеша, то одну, то другую вещь на подержание, то репродуктор, то патефон. Но Стеша не давала, возражала, что вещи не ее и что, может, хозяин вернется. Теперь Витин патефон заводили по воскресеньям Стешины мужики, приезжавшие на колхозный рынок из деревни, а репродуктор не выключался никогда и молчал только от ночного гимна до утренних сигналов точного времени, то есть от двенадцати часов до утра. Но и ночью, жаловалась Вера, репродуктор работает, или у Стеша завелся мужик, который ночью бормочет и не дает спать. «Скоро чертей гонять будешь», — отвечала ей на это Стеша, которая была страшной матерщинницей.

Как раз на Новый год Стеша собиралась на дежурство и все ходила мимо распахнутой двери Веры, а Вера в это время, на самый Новый год, без музыки, без ничего, под Гимн Советского Союза, доносившийся из Стешиного репродуктора, танцевала со стулом, нежно прижимая его к себе.

— О, чертей увидишь, — заметила на это Стеша и ушла.

Утром, когда в первом часу дня Стеша возвращалась с дежурства, она увидела у своего дома огромную толпу и конную милицию. С трудом Стеша пробилась по лестнице к себе на второй этаж, вошла в свою квартиру и увидела, что дверь в Верину комнату распахнута. Вера со стулом стоит посреди комнаты, а вокруг хлопочет милиция и мужик с пилой. Оказывается, еще ночью соседи заметили, что Вера со стулом превратилась в окаменелый столб, она продержала стул на вытянутых руках всю ночь при свете лампочки, и стул, как ни пытались, не могли у нее взять, и сдвинуть с места ее не смогли. Стеша упала на колени, стала плакать и креститься, ее прогнали, и мужик начал врубаться топором в пол. Но тут же стук затих, и мужик выскочил из комнаты с топором, с которого капала кровь. «Из пола идет кровь», — сказал мужик Стеше, и тут же вся толпа в коридоре, на лестнице и во дворе зашумела и завывала, многие плакали и кричали: «Не трожь ее!»

Короче говоря, милиция вышла из комнаты, захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Стали ждать неизвестно чего, на первый случай «скорую помощь». Толпа увеличивалась. Конная милиция оцепила дом. Когда приехала «скорая помощь» и молодая врачиха с двумя санитарями, несшими свернутые носилки, подошли к дверям Веринной комнаты, милиция не смогла открыть дверь. Стоило вставить ключ в замочную скважину, как из скважины начинала литься горячая кровь. Врачиха с чемоданчиком в руке постояла перед закрытой дверью, но ни на что так и не решилась и уехала. Была вызвана пожарная команда,

которая через окно проникла в комнату, но дверь, запертую снаружи, открыть не удалось, и Веру взять тоже не удалось. К ночи толпа увеличилась, все окна светились, пожарники стояли под лестницей, а Стеша сидела в своей комнате. Пробило двенадцать часов, спели гимн, репродуктор замолчал. Стеша стала разбирать постель и вдруг услышала явственные стоны. Она выбежала в коридор, но там стоял постовой под дверью и ничего не было слышно. Она вернулась в комнату — стоны и бормотание послышались опять. Голос шел из репродуктора. «Стой, не бей ногами в стену», — шептал репродуктор и стонал.

Стеша схватила полушубок, вскочила в валенки и выбежала на улицу. Она увидела, что мальчишки забавляются, пиная ногами дом — им слышались какие-то отзвуки при этом. «Стой, заразы!» — заорала Стеша и побежала к ребятам, но те, испуганные и довольные, помчались от нее вокруг дома, по дороге стуча ладонями по стенам. Кончилось дело тем, что Стеша вернулась к себе, попросила постового вызвать старшину и долго с ним о чем-то говорила. Наутро к дому подъехала «скорая помощь», из парадного вынесли завернутую в простыню Веру и погрузили в машину, а Стеша вскоре тоже вышла, неся завернутую в тряпицу как бы большую тарелку. Она поехала на кладбище и попросила сторожа закопать свою ношу где-нибудь. «Ты что?» — сказал сторож, а Стеша ответила, что это мертвый голос солдата, и дала сторожу триста рублей. Сторож взял деньги. Стешу отправил, а репродуктор вынул из тряпки и хоронить не стал, мало ли свихнувшихся баб, просто бросил в кучу хлама, и снег прикрыл репродуктор.

Вера осталась жива, Стеша отдала ей патефон, а про репродуктор сказала, что он сломался. Он и сломался действительно в тот самый момент, когда пожарники поднесли его к неподвижно стоящей Вере и стул выпал из ее рук.

## Месть

Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребенком. По мере того как ребенок вырастал и начинал все больше ползать, та женщина стала словно бы невзначай оставлять на полу то бидончик с кипятком, то банку с раствором каустической соды, а то роняла коробку с иглками прямо в коридоре. Бедная мать ни о чем не догадывалась, потому что девочка еще очень плохо ходила, а ползать по коридору мать ее не выпускала, так как была зима. Но должно было настать то время, когда ребенок мог выйти из комнаты на простор коридора. Мать делала соседке замечания, что это на самом ходу стоит банка или: «Рачка, вы снова упустили иглки», — на что соседка спохватывалась и жаловалась на свою страшную память. Когда-то они были подружка-

ми, еще бы, две одинокие женщины в двухкомнатной квартире, у них было много общего и даже гости бывали общие, в дни рождения они ходили друг к другу с подарками. Кроме того, они все друг другу рассказывали, но тогда, когда Зина стала ходить с уже большим животом, Рая ее возненавидела до потери сознания. Она просто заболела от ненависти, начала являться домой поздно, не могла спать по ночам, ей все время чудился мужской голос за стеной у Зины, ей казалось, что она слышит слова и стуки, в то время как Зина жила совершенно одна. Зина же, наоборот, еще больше привязалась к Рае и даже ей однажды сказала, что это большое счастье, что у нее такая соседка, как старшая сестра, которая никогда не бросит в тяжелую минуту. Рая действительно помогала Зине шить детское приданое и отвезла ее, когда пришло время, в родильный дом, только приехать за ней и новорожденным ребенком не смогла, так что Зина лишний день просидела в роддоме без приданого и наконец унесла оттуда ребенка в казенном драном одеяльце с обещанием вернуть. Рая отговорила болезнью и так и отговаривалась все время болезнью и ни в магазин ни разу не сходила для Зины, ни купать ей не помогала, а только сидела с какими-то примочками на плечах. И на ребенка она даже и не смотрела, хотя Зина все время проносила его на руках то в ванную, то в кухню, то гулять, да и дверь в ее комнату была всегда открыта — заходи и смотри.

Зина заблаговременно перешла на надомную работу, освоила вязальную машину, поскольку родни у нее не было, а про хорошую соседку это было только красное словцо, на самом деле она не могла ни на кого положиться, сама взялась, самой и нужно было нести груз. Когда дочка была маленькая, Зина отвозила работу и ездила за получкой одна, оставляя ребенка спящим, а когда девочка стала спать мало и выросла, начались хлопоты. Зине приходилось брать ее с собой. А Рая упрямо возилась со своими плечевыми суставами, даже сидела из-за них на больничном, но просить ее посидеть с ребенком Зина не решалась. А Рая начала подготовку к убийству ребенка, и все чаще Зина, ведя топающую девочку за обе руки по коридору, видела в кухне на полу стакан как бы с водой, или видела на табуретке горячий чайник с висящей набок ручкой, но подозрений у Зины никаких не было. По крайней мере она все так же весело щebetала со своей девочкой, говоря ей: «Скажи мама». Но, уходя в магазин или на работу, Зина стала запирать ребенка, и это не прошло даром. Рая страшно разозлилась. Зина как-то ушла, девочка за дверью проснулась, видимо, выпала из кровати и приползла плакать под дверь. Рая знала, что девочка ходит плохо, что она выпала из кровати и, наверное, сильно расшиблась, поскольку страшно кричит, и что она лежит при этом под самой дверью. Рая не могла больше слышать эти крики, надела резиновые перчатки, взяла из ванной хранившуюся там пачку каустической соды, развела ее в ведре

и стала мыть полы в коридоре, причем плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. Крик перешел в вопль. Рая вытерла полы в коридоре, все вымыла — ведро, щетку и перчатки, — оделась и ушла в поликлинику.

После врача она сходила в кино, походила по магазинам и вернулась домой вечером. В комнате Зины было темно и тихо. Рая посмотрела телевизор и легла спать, но не могла уснуть. Зины не было всю ночь и весь последующий день. Рая взяла топор, вскрыла дверь и увидела, что в комнате пыльно, что на полу у кровати застывшее пятно крови и широкий след к дверям. От потека каустической соды не осталось никакого следа. Рая вымыла соседке пол, прибралась у нее и стала жить в лихорадочном ожидании. Наконец через неделю пришла Зина, сказала, что девочку схоронила, что устроилась на работу по суткам, и больше ничего она говорить не стала. Ввалившиеся глаза и желтая, обвисшая кожа говорили сами за себя. Рая не стала утешать Зину, жизнь в квартире теперь замерла, Рая одиноко смотрела телевизор, а Зина то работала сутками, то отсыпалась. Она словно сошла с ума, везде развесила фотографии дочери. Боли у Раи усилились, она не могла поднимать руки и ходить, не помогали даже уколы в суставы. Врачи определили отложение солей. Дело дошло до того, что Рая не в состоянии была сварить себе обед и даже поставить чайник на огонь. Когда Зина бывала дома, она кормила Раю с рук, но Зина все реже приходила домой, отговариваясь тем, что ей тяжело. От боли в плечах Рая перестала спать. Узнав, что Зина работает санитаркой где-то чуть ли не в больнице, Рая попросила у нее достать сильное болеутоляющее типа морфия. Зина сказала, что не может: «Я на такие дела не хожу».

- Тогда надо принять побольше этих. Отсчитай мне тридцать штук.
- Нет, не буду, — сказала Зина, — от моих рук ты не умрешь.
- Но мои руки не поднимаются, — возразила Рая.
- Так дешево ты не отделаешься, — сказала Зина.

Тогда больная нечеловеческим усилием дотянулась до флакончика ртом, зубами вынула пробку и высыпала все таблетки в рот. Зина сидела у постели. Рая умирала очень долго. Когда наступило утро, Зина сказала:

— А теперь слушай. Я тебя обманула. Леночка моя жива, хорошо бежит. Она живет в Доме ребенка, а я там санитаркой. А под дверь ты плеснула не каустиком, а обыкновенной питьевой содой, я подменила каустик. А кровь на полу — это Леночка ушибла нос, когда выпала из кровати. Так что ты не виновата, ты ни в чем не виновата, никто бы этого не доказал. Но и я не виновата. Мы в расчете.

И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает улыбка счастья.

## Черный пудель

Один человек жил со своей женой в маленькой квартире, и у них был черный пудель, за которым они оба ухаживали по всем правилам, стригли его, купали, и кто первым приходил с работы, тот сразу шел выгуливать собаку.

Однако этот муж стал замечать, что жена все норовит пораньше прийти с работы и на подольше пойти гулять с собакой. Прогулки эти принимали затяжной характер, и муж начал беспокоиться, не произошло ли чего с женой, не гуляет ли она с кем-нибудь еще, а не только с собакой.

Однажды он решил положить этому конец и сам пришел с работы пораньше, взял собаку и отправился ее выгуливать. Они шли по маршруту, хорошо знакомому собаке, вдоль дома, во двор, к скверу, по скверу и затем к телефонам-автоматам, которые стояли в ряд на другом конце сквера.

Черный пудель подошел к одному из телефонов-автоматов и замер у двери, оглядываясь на хозяина и как бы приглашая его позвонить.

«Значит, она с кем-то разговаривает по автомату, — решил хозяин, — мало ей телефона в доме, еще бы, ведь я вечерами сижу рядом, и при мне не поговоришь. А с кем бы ей хотелось так говорить в мое отсутствие? Не с подругами же».

И на следующий вечер он пораньше пришел с работы, стал приводить все на кухне в порядок и наконец наточил ножи, о чем жена его просила давно. Затем, прихватив один из остро заточенных ножики, он в преддверии прихода жены отправился вон и пошел на скверик, где принялся разгуливать по дальней аллейке, причем поглядывал на телефоны-автоматы.

И вдруг он увидел, что у двери автомата, привязанный к дверной ручке, уже сидит черный пудель, а в автомате стоит и разговаривает по телефону как ни в чем не бывало его собственная жена, причем спиной к скверу.

«Почему здесь? — раздумывал муж, приближаясь к автомату. — Ведь меня нет дома, почему же она не говорит там по телефону? Потому что ждет меня с минуты на минуту, привыкла, что я все время сижу при ней дома. А с тем ей надо поговорить подольше, и чтобы никто не мешал».

Так он размышлял, приближаясь к автомату, а затем зашел в соседнюю кабинку и, для вида набравши номер, стал слушать, что говорила его жена. Она говорила как раз о своей любви, о том, что тоскует, о том, что ждет не дождется и тому подобное.

Все это как громом прозвучало в ушах у бедного человека, в один момент была разрушена вся его жизнь, и разрушена той, которая не

вызывала никаких подозрений никогда и ни у кого, и единственно в чем отклонилась от нормы — это в своих продолжительных, безудержных прогулках с собакой, что и было показателем какой-то трещины в их жизни и тем следом, который навел мужа на открытие.

Муж послушал-послушал, кровь в нем кипела, а потом он вошел в автомат, где жена стояла спиной к нему, выхватил нож, рывком отогнул голову жены назад, причем ладонью зажал ей рот, и полоснул ножом по ее открытому горлу.

Затем он выпустил женщину из рук, вытер нож о ее спину, отрезал тем же ножом поводок от ручки двери и повел пуделя домой.

И каково же было его удивление, когда, войдя в квартиру, он увидел там свою жену и черного пуделя! Обе собаки принялись страшно лаять, и супруги заперли чужого пуделя в ванной.

Муж спросил, почему жена не погуляла с собакой, на что жена ответила, что погуляла, недавно только вернулись. Муж рассказал ей, что увидел на улице черного пуделя с оборванным поводком, принял его за собственного и поймал.

Муж вымыл на кухне нож, потом пошел выносить мусорное ведро и выкинул нож в мусоропровод.

На следующий день жена пошла гулять с обоими пуделями и опять долго отсутствовала, а когда пришла, то сказала:

— Я что-то плохо себя чувствую, по-моему, у меня начинает болеть горло. Посмотри, не красное ли.

И она, повернувшись к нему, широко открыла рот, и тут, на глазах у мужа, изо рта у нее выпал отрезанный язык.

— Ой, что же теперь будет, — сказала жена и засмеялась.

Когда через неделю соседи с милицией вскрыли квартиру, потому что там непрерывно выла собака, они обнаружили сидящего на полу совершенно седого человека. Жены его не было дома.

В запертой ванной, кстати, обнаружили уже мертвого пуделя.

Бедного сумасшедшего препроводили в психиатрическую лечебницу.

Он ведет себя там очень хорошо, смирно, у него только одна странность — он кричит, когда кто-то широко открывает при нем рот.

Жена его не навещает никогда, она вроде бы куда-то исчезла.

## 2. СКАЗКИ

# СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

## Кошкин городок

Жил-был черно-белый кот Миша, такой красавец, что он даже жалел, что его никто не видит, кроме хозяев. Грудь у него была как лебяжий пух, глаза как желтые виноградины с одной косточкой, сам Миша ходил в шубе из черного лиса, имея на лапках белые пушистые перчатки и носки, вот так!

Хозяева и их гости все время хвалили Мишу, гладили и целовали, но ему этого было мало. Он хотел, чтобы его оценили свои, то есть кошки и коты. Однако его не пускали гулять на улицу — мало ли, машины, собаки, масса опасностей.

И вот как-то однажды, когда все готовились к Новому году (и елка уже стояла на балконе, увязанная веревками, как пленница), Миша особенно тосковал и все время проводил на диване в позе «ложись рядом» (лапы врозь, брюхо в потолок, глаза зажмурены), а телевизор-то работал!

«Это ваш праздник, а не мой», — думал Миша.

Телевизор гнал какую-то пургу с выстрелами и мордобоем, дети смотрели не дыша, а потом пошла реклама, и они ускакали на кухню покусочничать. А Миша в очередной раз повернулся и вдруг увидел по телевизору вот что: белая кошечка рассказывала что-то о ночном клубе под названием «Кат'с таун», т. е. «Кошкин городок», где ждут всех, кто разговаривает на языке племени «мяу», и приводился контактный телефон: царап-царап-царап!

Весь следующий день кот Миша провел у телефона, набирая когтем разнообразные цифры. То ему отвечала баня, то прием грязной посуды, то магазин валенок, то дешевая распродажа чайников — но Кошкин городок не отзывался ни разу.

Тем временем елку принесли с балкона, распутали, поставили. Мишу никто не замечал, все носились с пыльными коробками игрушек, с ватным чучелом Деда Мороза и так далее.

Девочки перестали драть Мишу на две части перед сном и ссориться, с кем ему спать. Они укладывались поздно, ошалевшие от мыслей о подарках, которые обе втайне готовили папе, маме, бабушке, дедушке и второй бабушке.

Коту они, ясное дело, что могли подарить? Коробочку склеенную? «Вискас» рыбный? Бант на шею? Уже пробовали навешивать ему эту гадость.

Там, только там, как пела одна тетка по телевизору, только там, ду- мал кот, собираются неслыханные красотки, большеглазые, длинноно- гие, они обещают неземные радости бедному пленнику..

Тетя, которая пела хорошо (примякуивая), сама-то выглядела при этом жутко: вся облысевшая, ни усов ни упругих бровей, нос голый как сосиска, брр... Красотка должна иметь нос пушистый, уши стояком, хвост к небу, походку приземистую, когти розочкой и так далее.

Миша перестал спать и все возился с телефоном. И вдруг к утру ему повезло, мурлыкающий голосок ответил:

— Мяу! Кат'с таун! Кошкин городок слушает!

— Как к вам добраться? — спросил Миша.

— Не кладите трубочку, — промурлыкал голосок. — Вам ответят.

И тут же другой голос, тихий и шипящий, сказал:

— Вам есть чем заплатить?

— Да! — твердо ответил Миша на всякий случай.

— Мы берем только золото, — прошелестел голос.

— Да-да, — на всякий случай подтвердил Миша, — я вас понял.

— Следующей ночью позвоните сюда же, — прошипели в трубке, и на этом разговор закончился.

Миша затем весь день бродил по полкам и столам, ища золото. Он ведь не знал, что это такое. Вечером дети хозяев, две маленькие девоч- ки, поссорились из-за шоколадной обертки.

— Это мое золотко, — сказала одна. — Я из него сделаю звездочку на коробочку!

— А я? — закричала другая, — а мне?

Тут они, разумеется, подрались.

Старшая вырвала у младшей сверкающую бумажку и убежала.

«Так вот что такое золото!» — подумал умный Миша и, как только дети уснули, порвав бумажку напополам, помяв ее и бросив под стол, кот добыл золотко, положил его за щеку и стал царапать лапой теле- фон.

Тут же откуда-то из-под потолка раздалось кошачье:

— Привет, иди сюда.

Кот увидел там вентиляционную дыру. Обычно она была закрыта решеткой, но на сей раз решетка была распахнута, как дверь, и Миша одним прыжком взвился на холодильник, а вторым — в распахнутый ход. Там оказался тесный и темный лаз наверх. Но чем темнее и теснее, тем лучше для кошек, и через несколько минут Миша уже выбрался на крышу.

Там была ночь, светила полная луна, и в ее лимонных лучах сиял ог- нями Кошкин городок. Стояла елка из съеденной селедки, высился Дед Мороз, у которого брови и усы торчали фонтаном, а хвост обвивал все четыре ноги, обутые в валенки.

Всюду ходили, сидели и пели коты и их подружки, весь переливался цветными лампочками ресторан «Кити Кат», горели окна маленьких домов, на крылечках которых сидели пожилые кошачьи пары в окружении играющих котят.

Наш Миша так и бросился в гущу жизни, подбежал к кошкам, которые пели песню «Луна», потом к котам, которые тянули боевую песню «Дрожит собачий хвост», но на него никто не обратил внимания. Тогда Миша пошел в ресторан и заказал там бутылочку валерьянки. Тут же к нему приблизились местные красавицы, все в мехах, и попросили угостить.

— Ваши киски купили бы виски! — сказала самая передовая, решительная как бригадир. — Рекламная пауза!

И она тут же изобразила позу «ложись рядом». Кот совсем потерял от этого голову, дико обрадовался милой компании и заказал еще пару флаконов. Правда, красавицы оказались не совсем такими, какими их вообразил в своих мечтах Миша, брови и усы у них были каких-то кислотных оттенков, лиловые, зеленые и ярко-розовые.

Когда эти кошки угостились, подвалили другие, все обнимали нашего Мишу, хвалили его внешность, его черно-белую шерсть: некоторые даже просили клочок на память, и Миша радостно разрешил, но его чуть не растерзали его новые подружки, и пришлось пустить в ход когти, а подружки стали вопить и т. д.

Тут же подскокил нятный кот в камуфляже и стал говорить непонятные слова:

— Мы таких довесков сливаем отсюда, а ну, гони фанеру и рассейкай, ты!

Миша, чтобы задобрить пятнистого кота, достал из-за щеки сохраненную там шоколадную обертку, которая превратилась в комочек.

— Больше не выступайте тут, — сказал кот.

И он спрятал все Мишино золото себе в карман.

Когда Миша выбрался из ресторана наружу, кошки разошлись по квартирам, и, сколько он ни терся щеками об углы (стало холодно), его не пустили. А одна довольно драная кошка высунулась в свое окно и сказала:

— А золото у тебя есть? Нет? Ну и вали отсюда.

И Миша стал с болью вспоминать своих хозяев, которые искренне им восхищались, все время ласкали его и чесали ему за ушком, уж не говоря о совершенно бесплатных котлетах и рыбе. И даже две маленькие девочки, которые обычно на ночь, пыхтя, тянули Мишу каждая в свою кровать, представлялись ему ангелами доброты: девочки ничего не требовали от него, ни шерсти, ни золота, а если они иногда и пытались его разорвать напополам, так ведь это от любви! И Миша горестно завыл.

Хозяева нашли Мишу только через два дня, они облазили сначала все подвалы и только потом добрались до чердака, где скрывался Миша, тощий, ободранный и весь в пыли. Это произошло как раз в день Нового года.

Миша, принесенный домой, долго отсиживался в углу под диваном, брезгливо вылизывался, тряся лапками, и вышел из укрытия только когда сильно запахло мясом из плиты. На тот момент все заорали и стали звенеть стеклом под удары часов, и все увидели Мишу и заорали еще радостней, схватили на руки и начали угощать нелюбимой черной икрой.

Миша вывернулся, ушел под стол и только там стал принимать подарки: куриную грудку, заливного судака и, наконец, тушеное мясо из горшочка. В результате девочки сели к нему под стол, и из-под стола смотрели праздничную программу по телевизору, и там же и уснули все трое. Миша потом еще дополнительно спал целый день в отдельном кресле, укрытый теплым платком.

Но с Нового года у него появилась привычка: только завидит где-нибудь клочок шоколадной обертки, сразу бежит и гоняет его лапами, запихивает под шкаф и возвращается как ни в чем не бывало. Может быть, он думает, что когда-нибудь накопит много золота и отправится опять в Кошкин городок праздновать Новый год. Все-таки ему там понравилось. Все плохое ушло на задний план. Девочки-то клевые, музыка играет, валерьянки залейся. Вопрос упирается только в бабки. Но Миша не знает, сколько точно надо накопить, и поэтому не торопится.

«От добра добра не ищут», — иногда думает Миша после обеда, лежа на ковре брюхом в потолок.

## Сказка о часах

Жила-была одна бедная женщина. Муж у нее давно умер, и она еле сводила концы с концами. А дочка у нее росла красивая и умная и все вокруг себя замечала: кто во что одет да кто что носит.

Вот приходит дочка из школы домой и давай наряжаться в материны наряды, а мать бедная: одно хорошее платье, да и то заштопано, одна шляпка с цветочками, да и то старая.

Вот дочка наденет платье и шляпу — и ну вертеться, да все не то получается, не так одета, как подружки. Начала дочка искать в шкафу и нашла коробочку, а в той коробочке часики.

Обрадовалась девочка, надела часики на руку и пошла гулять. Гуляет, на часики смотрит. Тут подошла какая-то старушка и спрашивает: — Девочка, сколько времени?

А девочка отвечает:

- Без пяти минут пять.
- Спасибо,— говорит старушка.

Девочка опять гуляет, на часы поглядывает. Опять подходит старушка.

- Сколько времени, девочка? Она и отвечает:
- Без пяти пять, бабушка.
- Твои часы стоят,— говорит старушка.— Из-за тебя я чуть не пропустила время!

Тут старушка убежала, и сразу стемнело. Девочка захотела завести часы, но она не знала, как это делается. Вечером она спросила у матери:

- Скажи, а как часы заводятся?
- А что, у тебя появились часики? — спросила мама.
- Нет, просто у моей подруги есть часы, и она хочет дать их мне поносить.

— Никогда не заводи часы, которые ты найдешь случайно,— сказала мать.— Может произойти большое несчастье, запомни это.

Ночью мать нашла в шкафу коробочку с часами и спрятала их в большой кастрюле, куда девочка никогда не заглядывала.

А девочка не спала и все видела.

На следующий день она снова надела часики и вышла на улицу.

- Ну, сколько времени? — спросила, появившись опять, старушка.
- Без пяти пять,— ответила девочка.
- Опять без пяти пять? — засмеялась старушка.— Покажи мне свои часы.

Девочка спрятала руку за спину.

— Я и так вижу, что это тонкая работа,— заметила старушка.— Но если они не ходят, это ненастоящие часы.

- Настоящие! — сказала девочка и побежала домой.

Вечером она спросила у матери:

- Мамочка, у нас есть часы?
- У нас? — рассеянно отвечала мать.— У нас настоящих часов нет.

Если бы были, я бы их давно продала и купила бы тебе платье да туфельки.

- А ненастоящие часы у нас есть?
- Таких часов у нас тоже нет,— сказала мать.
- И никаких-никаких нет?
- Когда-то были часы у моей мамы,— ответила мать.— Но они оставались, когда она умерла, без пяти пять. Больше я их не видела.
- О, как бы мне их хотелось иметь! — воскликнула девочка.
- На них слишком печально смотреть,— ответила мать.
- Мне нисколько! — воскликнула девочка.

И они легли спать. Ночью мать перепрятала коробочку с часами в чемодан, а дочь опять не спала и все видела.

На следующий день девочка вышла гулять и все смотрела на часы.

— Скажи, пожалуйста, сколько времени? — откуда ни возьмись, спросила старушка.

— Они не ходят, а как завести их, я не понимаю, — пожаловалась девочка. — Это часы моей бабушки.

— Да, я знаю, — ответила старушка. — Она умерла без пяти минут пять. Ну, мне пора, а то я опять опоздаю.

Тут она удалилась, и на дворе стемнело. А девочка не успела спрятать часы в чемодан и просто положила их под подушку.

На следующий день, проснувшись, девочка увидела часы у матери на руке.

— Вот, — закричала девочка, — ты обманывала меня, у нас есть часы, дай их сейчас же мне!

— Не дам! — сказала мать.

Тогда девочка горько заплакала. Она сказала матери, что скоро уйдет от нее, что у всех есть туфли, платья, велосипеды, а у нее нет ничего. И девочка начала собирать свои вещи и закричала, что уйдет жить к одной старушке, та ее приглашала.

Не говоря ни слова, мать сняла часы с руки и отдала их дочери.

Девочка выбежала на улицу с часами на руке и, очень довольная, стала прохаживаться взад-вперед.

— Здравствуй! — сказала, появившись, старушка. — Ну, сколько времени?

— Сейчас половина шестого, — ответила девочка.

Тут старушка вся как-то передернулась и закричала:

— Кто завел часы?!

— Не знаю, — удивилась девочка, а сама держала руку в кармане.

— Может быть, их завела ты?

— Нет, часы лежали у меня дома под подушкой.

— Ой, ой, ой, кто же завел часы?! — завопила старушка. — Ой, ой, что же делать?! Может быть, они пошли сами собой?

— Может быть, — ответила девочка и побежала, испуганная, домой.

— Стой! — закричала еще громче старушка. — Не разбей их, не урони. Это ведь не простые часы. Их надо заводить каждый час! Иначе случится большое несчастье! Лучше отдай их сразу мне!

— Не отдам, — сказала девочка и хотела убежать, но старушка ее задержала:

— погоди. Тот, кто завел эти часы, тот завел время своей жизни. Поняла? Допустим, если их завела твоя мать, то они будут отмерять время ее жизни, и ей придется каждый час заводить эти часы, а то они остановятся и твоя мать умрет. Но это еще полбеды. Потому что если они пошли сами собой, то они начали считать время моей жизни.

— А мне какое дело? — сказала девочка. — Это не ваши часы, а мои.

— Если я умру, то умрет день, ты что! — воскликнула старушка. — Это ведь я каждый вечер выпускаю ночь и даю отдохнуть белому свету! Если мое время остановится, то всему конец!

И старушка заплакала, не выпуская девочку.

— Я дам тебе все, что пожелаешь, — говорила она. — Счастье, богатого мужа, все! Но только узнай, кто завел часы.

— Мне нужен принц, — заметила девочка.

— Беги, беги скорей к матери и узнай, кто завел часы! Будет тебе принц! — закричала старушка и подтолкнула девочку к двери.

Девочка нехотя поплелась домой. Ее мама лежала на кровати, закрыв глаза и крепко вцепившись в одеяло.

— Мамуля! — спросила девочка. — Дорогая, миленькая, ну скажи мне, кто завел часы?

Мама ответила:

— Это я завела часы.

Девочка высунулась в окно и закричала старушке:

— Это мама сама завела часы, успокойтесь!

Старушка кивнула и исчезла. Стало темнеть. Мать сказала девочке:

— Дай мне часики, я заведу их. А то ведь я умру через несколько минут, я чувствую.

Девочка протянула ей руку, мать завела часы.

Девочка возмутилась:

— Что же теперь, ты каждый час будешь у меня просить мои часы?

— Что же делать, дочка. Эти часы должен заводить тот, кто их пустил.

Девочка чуть не заплакала:

— Значит, я не смогу пойти с этими часиками в школу?

— Сможешь, но тогда я умру, — отвечала мать.

— Вот ты вечно так, дашь мне что-нибудь, а потом отбираешь! — воскликнула дочь. — А как же я буду теперь спать? Ты начнешь каждый час меня будить?

— Что делать, дочка, иначе я умру. И кто же тогда будет тебя кормить? Кто будет за тобой ухаживать?

Девочка сказала:

— Лучше бы я сама завела эти часы. Мои часы, я бы с ними всюду ходила и сама бы их заводила. А то теперь придется тебе всюду ходить за мной.

Мать ответила:

— Если бы ты сама завела эти часы, ты бы не смогла просыпаться ночью каждый час. Ты бы наверняка проспала и умерла. А я бы не смогла тебя добудиться, ты всегда так не любишь просыпаться. Поэтому я и прятала от тебя эти часы. Но я заметила, что ты их находишь, и

мне пришлось самой завести эти часы. Иначе бы ты меня опередила. А я уж постараюсь теперь не проспать. Да и ничего страшного, если я когда-нибудь просплю. Лишь бы ты была жива. Я живу только для тебя. А пока ты маленькая, я должна точно заводить часы. Поэтому отдай-ка их мне.

И она отобрала часы у девочки. Девочка долго плакала, злилась, но делать было нечего.

С тех пор прошло много лет. Девочка выросла, вышла замуж за принца. У нее теперь было все, что она хотела: много платьев, шляпок и красивые часы. А мама ее жила, как прежде.

Однажды мать вызвала дочь по телефону и, когда та приехала, сказала ей:

— Время моей жизни кончается. Часы идут все быстрее, и наступит момент, когда они остановятся сразу после того, как я их заведу. Когда-то вот так же умерла моя мама. Я ничего про них не знала, но пришла одна старушка и рассказала мне про них. Старушка умоляла меня не выкидывать часы, а то произойдет ужасное несчастье. Продать часы я тоже не имела права. Но я сумела спасти тебя, и за это спасибо. Теперь я умираю. Похорони эти часы вместе со мной, и пусть больше никто, в том числе и твоя доченька, никогда не узнает про них.

— Хорошо, — ответила дочь. — А ты не пробовала их завести?

— Я это делаю каждые пять минут, теперь уже каждые четыре минуты.

— Дай я попробую, — попросила дочь.

— Что ты, не прикасайся к ним! — закричала мать. — Иначе они начнут отмерять время твоей жизни. А у тебя маленькая девочка, подумай о ней!

Прошло три минуты, и мать стала умирать. Она крепко сжимала одной рукой пальцы своей дочери, а другую руку, с часами, спрятала за голову. И вот дочь почувствовала, что рука матери ослабла. Тогда дочь нашла часы, сняла их с руки матери и быстро завела.

Мать глубоко вздохнула и открыла глаза. Она увидела свою дочь, увидела часы на ее руке и заплакала.

— Зачем? Зачем ты снова завела эти часы? Что будет теперь с твоей дочерью?

— Ничего, мама, я научилась теперь не спать. Ребенок плачет по ночам, я привыкла просыпаться. Я не просплю свою жизнь. Ты жива, и это главное.

Они долго сидели вместе, за окном промелькнула старушка. Она выпустила на землю ночь, помахала рукой и, довольная, удалилась. И никто не слышал, как она сказала:

— Ну что же, пока что мир остался жив.

## Девушка Нос

В одном городе жила очень красивая девушка по имени Нина. У нее были золотистые кудрявые волосы, большие синие, как море, глаза, огромный нос и прекрасные белые зубы. Когда она смеялась, казалось, что светит солнце. Когда она плакала, казалось, что падает жемчуг. Одно ее портило — большой нос. Однажды Нина собрала все деньги, какие у нее были, и пошла к врачу. Она сказала:

— В этом городе у меня никого нет, я сама зарабатываю себе на жизнь, а мои папа и мама живут далеко, и я не могу у них просить денег, они и сами небогатые. Вот все мои деньги. Сделайте мне маленький нос! Когда я родилась, мои родители совершили ошибку и не позвали на праздник старого колдуна, который жил в лесу. Как только он узнал, что его не позвали, он страшно обиделся и сказал, что сделает мне очень важный и ценный подарок. И с этих пор у меня стал расти нос. Когда мои родители пошли упрасивать колдуна, он сказал, что, если у меня будет маленький нос и я стану красавицей, меня полюбит любой подлец, а так меня полюбит единственный человек в мире. И потом он сказал моим родителям: «Посмотрите на себя! Ведь вы нормальные некрасивые люди и никогда не заботились о своих носах!» Мои родители ответили: «Но она ведь у нас растет красавицей, ее жалко!» Но волшебник ничего не сделал для меня. Теперь я выросла, я работаю парикмахершей, я хороший мастер, ко мне стоит очередь. Но счастья у меня нет. Врач сказал ей:

— Я тут бессилён. Поедете в другой город, там живет волшебник, может быть, он вам поможет.

Девушка поехала в другой город. В одном купе с ней ехал бедно одетый молодой человек, который читал толстую книгу. Он не обратил на Нину никакого внимания. Однако ночью поезд сильно трянуло, и во сне Нина упала с верхней полки. Она потеряла сознание и очнулась на руках у молодого человека. Он сказал ей:

— Хорошо, что я не спал и успел вас поймать.

— Спасибо вам, молодой человек,— сказала Нина вставая.— Если хотите, приходите ко мне в парикмахерскую, я работаю на главной площади, я вас постригу и побрею.

— Нет, я сам стригусь раз в полгода большими овечьими ножницами и подравниваю бороду. Спасибо.

— Ну тогда,— сказала Нина,— приходите ко мне просто выпить чаю.

— Спасибо, чай я люблю пить в одиночестве,— ответил молодой человек и стал читать свою книгу.

— Ну тогда просто так приходите,— сказала Нина.

— Просто так я не приду,— ответил молодой человек,— мне некогда.

Тем временем поезд уже прибыл в другой город, и Нина отправилась к волшебнику. Это оказался симпатичный молодой человек с черной бородкой и в очень красивых темных очках. Он сказал, что может помочь Нине, но за это потребовал большой палец ее правой руки. Нина согласилась, стала невероятной красавицей, но без одного пальца. Когда она вышла на улицу, прохожие начали останавливаться, машины загудели, а молодые люди пустились провожать Нину до самого вокзала. В поезде ей уступили нижнее место, принесли несколько букетов роз, лимонад и много коробок шоколада. Когда она приехала в свой город, повторилась та же картина, и за Ниной поехала машина графа, который, опустив стекло, умолял Нину из окна выйти за него замуж. Но Нина не села к нему в машину. Целыми днями она теперь бродила по городу, надеясь разыскать того молодого человека из поезда. Работать парикмахером она больше уже не могла, поскольку на правой руке не хватало главного рабочего пальца, но немного денег у нее было, так что она целыми днями ходила по городу, а за ней всюду следовала машина графа. Каждый день Нину приглашали на балы, она была объявлена королевой красоты города, а некоторые думали, что и мира. Но никто не знал, что у нее не осталось денег и она ест один раз в день — вечером, на балу, кофе с мороженым. Наконец она не выдержала и устроилась работать уборщицей, скопила денег и поехала опять в другой город к волшебнику.

Она сказала ему:

— Возьмите все мои деньги, но скажите мне, где найти моего милого, того человека из поезда.

— Хорошо, — сказал волшебник, — возвратите мой нос и возьмите прежний, тогда скажу.

— Нет, — ответила Нина, — просите что хотите, только не это.

— Ладно, — сказал волшебник, — придется взять у вас еще один палец на правой руке, теперь указательный.

— Хорошо, — ответила девушка не задумываясь.

— Адрес его такой: он живет в вашем городе, улица Правой руки, дом два, на чердаке. Поторопитесь!

Нина помчалась на вокзал, приехала в свой город и разыскала тот дом. Она вошла к своему милому на чердак и спросила:

— Вы меня узнаете?

— Нет, — сказал он.

— Помните, вы еще меня подхватили на руки, когда я упала с верхней полки.

— Нет, это были не вы, — ответил ее милый. — У той девушки было совершенно другое лицо. Она была такая смешная!

Нина не знала, что ей еще сказать, и ушла. Но каждый день она приходила на улицу Правой руки, чтобы взглянуть на окошко молодого

человека. Нина теперь постоянно носила перчатки, снимая их только ночью при мытье лестниц. Ее по-прежнему приглашали на балы, дни рождения и городские праздники, машина графа все так же ездила за ней, и граф два раза в месяц делал ей предложение выйти за него замуж. Но Нина не соглашалась и отвечала так:

— Мало ли какой вы окажетесь человек. Сейчас вы готовы сделать для меня все, а потом вы окажетесь ревнивым или скупым, будете меня попрекать куском хлеба. Мало ли...

Но вот однажды ночью, убрав лестницы, Нина пришла взглянуть на окно молодого человека и увидела, что занавески задвигает какая-то старушка вся в черном. Не помня себя от страха, Нина взбежала на четвертый этаж и позвонила в чердачную дверь.

Ей открыла та самая старушка в черном.

— Что вам надо? — спросила она.

— Что с ним случилось? — спросила Нина.

— С кем?

— Ну, с молодым человеком, не знаю, как его зовут. Он здесь живет.

— А вы кто ему будете? — спросила старушка.

— Он меня однажды спас в поезде, — ответила Нина.

— Ну, тогда проходите. Он очень болен.

Нина вошла в комнату на чердаке и увидела своего милого, который лежал под одеялом и тяжело дышал.

— Кто вы? Я вас не знаю, — сказал он. — Вы не та, за кого себя выдаете.

— Что с вами? — спросила Нина.

— Я заболел после тех занятий в подвале библиотеки. Я, видно, слишком много узнал. Но вас это не касается. Я скоро умру.

Старушка кивнула.

Нина выбежала вон, села в ночной поезд и приехала в другой город к своему волшебнику.

— Я ничем не могу вам помочь, — сказал волшебник.

— Я вас прошу, — заплакала Нина, — спасите моего милого! Возьмите что хотите, возьмите правую руку, я могу мыть полы левой.

— Я возьму обратно мой нос, — сказал волшебник.

— Берите и спасите моего милого, — ответила Нина.

И в тот же момент она стала такой, как была. Выйдя на улицу, она не встретила ни одного восхищенного взгляда. Никто не остановился при виде ее, никто не увязался провожать, ей не подарили ни одной розы. В поезде она не получила ни одной коробки конфет. Когда она приехала в свой город, она увидела автомобиль графа, но граф не заметил ее, хотя она была одета, как всегда, в серое платье, и на ней были мягкие серые туфли и серая шляпа.

Нина побежала на улицу Правой руки, взлетела на четвертый этаж и вошла в комнату своего любимого. Он сидел на кровати и пил пиво.

— А, это вы! — воскликнул он. — Приятно снова вас увидеть. А то тут приходила какая-то девица и выдавала себя за вас. Но меня не обманешь. Смешней вашего лица я не видел нигде. Вас так легко не забудешь.

Нина засмеялась и заплакала сразу. И в комнате как будто вспыхнуло солнце и засияли жемчуга.

— Что вы плачете? — поинтересовался молодой человек. — Не хотите ли выйти за меня замуж?

Нина ответила:

— Я ведь не та, что была.

И она стащила серую перчатку с правой руки.

— Это? Это ерунда, — сказал молодой человек. — Меня зовут Анисим, и я врач. В той библиотеке я прочел все, включая самую последнюю книжонку на сыром полу подвала. Я не хотел бы прочесть ее снова, — добавил Анисим и потянулся к полке, на которой стояли микстуры, капли и бутылки с таблетками. — Вот, примите.

Нина приняла маленькую ложку лекарства, и ее правая рука стала такой же, как прежде.

— Я только возвращаю то, что было, — сказал Анисим громко, — и ничего больше.

И Нина вскоре вышла замуж за своего милого Анисима и родила ему множество смешных детей

## Принцесса Белоножка

Жила-была младшая принцесса, и все ее любили. У нее были ручки как из лепестков роз, а ножки белые, словно лепестки лилии. С одной стороны, это было красиво, но, с другой стороны, уж очень младшая принцесса была нежная и чувствительная, чуть что — она плакала. За это ее не ругали, но такого поведения в семье не одобряли. «Нельзя так распускаться, — говорили мама, папа, бабушка и дедушка-король. — Надо держать себя в руках. Ты уже большая».

Но от этих слов младшая принцесса обижалась еще больше и опять принималась плакать.

Однако пришло время, и к младшей принцессе, как это и полагается, приехал принц.

Принц был высокий, красивый и ласковый.

«Прекрасная пара!» — восклицали все вокруг.

Принц и принцесса много гуляли, даже танцевали, и принцесса — чего с ней никогда не случалось — плела на лужайке венки для принца и для себя, венки из васильков, которые были такие же синие, как глаза принца.

Принца и принцессу, как и полагается, обручили, то есть объявили женихом и невестой. На этом принц уехал в свое королевство.

А младшая принцесса осталась и принялась плакать. Все ее осуждали за такое поведение, даже вызвали врача. Врач побеседовал с принцессой и неожиданно назначил ей не успокоительные капли, как полагается в таких случаях, а таблетки от боли, потому что оказалось, что младшая принцесса надорвалась на этих танцах и прогулках и стерла свои нежные ручки и ножки до крови.

Время шло, приближалась свадьба, а невеста все плакала и баюкала свои забинтованные руки и ноги, сидя в кровати. Она не могла ни ходить, ни держать в руках чашку с чаем, ее кормила и поила старая нянька.

Однако врач бодро говорил, что все до свадьбы заживет, что просто младшая принцесса слишком нежная и чувствительная, плаксивая и несдержанная, а это, в свою очередь, является плодом неправильного воспитания в семье, а вот когда придет принц — она вскочит и будет так же танцевать и шевелить руками, как и раньше.

«Все это психологическое», — говорил врач и кормил принцессу таблетками от боли.

Но старая нянька взяла фотографии младшей принцессы и отправилась к колдуну. Оттуда она привезла загадочную фразу: «Кто любит, носит на руках».

Фраза эта скоро стала известна всем, кто так любил принцессу с ее младенческого возраста, когда она радостно улыбалась, показывая свои первые четыре зубика и две ямочки на щеках, а кудряшки у нее были как золотой шелк, а глазки как незабудки.

Кто же не любил принцессу! Все ее любили: и папа, и мама, и дед с бабушкой, король с королевой. И они все время вспоминали, какая она была чудесная малышка, какая приветливая, хорошенькая, с четырьмя зубиками. Когда пошли остальные зубы, картина немного попортилась, начался плач и капризы, и доехало до того, что теперь на вопрос: «Ну, мы уже перестали дуться на весь мир?» — принцесса вообще не отвечала, что было по меньшей мере невежливо, особенно если спрашивали король с королевой, да еще по внутреннему телефону. По телефону надо отвечать!

Тем не менее, руководимые старухой нянькой, к принцессе стали приходиться и брать ее на руки все по очереди. Что, конечно, было просто подвигом, особенно если учесть, что, например, бабушка-королева была дамой неопытной и ничего никогда не поднимала тяжелей бокала с вином. А мама-принцесса вообще не знала, с какого боку подойти к своей уже довольно тяжелой дочери — хрупкая-то хрупкая, но все-таки принцесса уже вышла из младенческого возраста, пятнадцать лет, шутка ли!

Но все, поднатужившись, приподнимали младшую принцессу, которая ничего не понимала сначала и даже капризничала, не хотела, чтобы ее трогали, пока ей все не объяснила старуха няня. Но и тогда младшая принцесса продолжала лить слезы и совершенно не оценила рекорда папы-принца, который поднял ее на двадцать два сантиметра от постели! «Сюда бы слетелись все газетчики мира, — заявил папа-принц, — если бы мы не держали в тайне, что у нас дочь плакса-вакса-гуталин, на носу горячий блин». После чего старая няня носила младшую принцессу на руках по спальне целых десять минут, как в детстве, чтобы утихомирить ее, но при этом няня вспоминала и о своих обидах: что повар на кухне оставил ей не куриную ножку, а какой-то волосатый куриный локоть и что внуки одни бегают в деревне без присмотра, а тут живешь, выкладываешься, как потный индюк, безо всякой благодарности.

— Но ты меня ведь любишь? — спросила младшая принцесса, когда няня, набегавшись со своей ношей, положила свою принцессу обратно на кровать.

— А как же тебя мне не любить? — ворчливо отвечала няня. — Если бы я тебя не любила, я бы за такое жалованье давно бы здесь не жила!

Стало быть, все носили младшую принцессу на руках, но она так и не вылечилась.

Тогда стали говорить, что колдун оказался плохим пророком и что, может быть, няня неправильно пересказала фразу. «И что это такое? — возмущался доктор. — Кто любит, носит на руках! Не будем говорить об отдельных случаях, но меня, например, никто не носит на руках! Даже королеву не носят!»

И все были согласны с таким мнением и начали говорить, что эту фразу надо понимать в том смысле, что сама младшая принцесса никого не любит, и намек был на это.

А принцесса сидела в своей спальне, и няня все время подбивала ее позвонить принцу, но принцесса не соглашалась, а только плакала, почему принц сам не звонит. Наконец принц позвонил, и трубку держала сердитая няня, а сердилась она потому, что разговор продолжался два часа и няня проворонила обед, и еще она сердилась потому, что младшая принцесса в течение всего разговора умудрилась ни разу не заплакать и даже много смеялась.

— Значит, ты придуряешься, — сказала, положив трубку через два часа, няня, — ты можешь же не плакать!

И няня отправилась пить чай и сообщила всему дворцу, что у младшей принцессы не все так плохо, что она уже смеется. Все поздравляли доктора, ему немедленно увеличили жалованье, и у младшей принцессы без передышки звонил телефон, няня брала трубку и подносила ее к уху своей капризницы, но та в ответ на все вопросы типа: «Ну что,

мы уже улыбаемся?» — только лила слезы, не отвечая ни «спасибо», ни «начхать», как выразилась потом няня на кухне.

Разумеется, когда была назначена свадьба и приехал жених, все бинты были сняты, ни слова не было сказано ни принцу, ни младшей принцессе, и на вечер, как и полагается, был назначен бал.

Только для принцессы приготовили особо плотные перчатки и сапожки. И когда принцессу одели, она, разумеется, тут же перестала плакать и позволила себя причесать и вплести в косу белые розы.

— Ну, что я говорила? — вопрошала няня по всем коридорам дворца, и повар отвалил ей большой кусок торта на радостях.

Все улыбались, и только врач срочно уволился с работы и уехал со своими новыми семьдесятю чемоданами.

— Уехал и уехал, — говорила няня после трех досрочных рюмочек, — теперь он нам ни на что не нужен, тьфу! Это был врач? Любой санитар даст таблетку после еды три раза в день, и я не хуже могла бы за такие деньги.

Принц, тем не менее, пригласил принцессу на прогулку. Все понимали, что после гулянья младшей принцессе уже не удастся выстоять целую свадебную церемонию, и поэтому принцу сообщили, что принцесса предпочитает конную экскурсию. Принц понял это буквально и прислал младшей принцессе свою арабскую кобылку, удалось только сменить поводья на шелковые. Выйдя во двор, принцесса попросила принца взять ее на руки и посадить в седло.

— Для этого есть слуги, — улыбаясь, сказал принц.

— Я прошу только вас, — сказала младшая принцесса.

— Что за капризы? — спросил, улыбаясь, принц и позвал слуг, которые вознесли младшую принцессу в седло, как пушинку, и дали ей в ручку шелковые поводья.

И они поехали.

Принц был мужественный спортивный юноша, презиравший всякие слюни, вздохи и сантименты. Кроме того, он уже отдаленно был наслышан, что младшая принцесса слишком избалована и вообще неженка, и он решил начать ее воспитывать с нуля, еще до свадьбы.

Младшая принцесса по дороге в лес рассказала ему как самому близкому другу всю свою историю болезни вплоть до слов колдуна. Что это не капризы, а просто способ лечения — взять на руки.

Принц не поверил ни единому слову.

— Все это бабские глупости! — сказал он.

Тогда принцесса остановила кобылку и с большим трудом стянула со своей маленькой ручки перчатку. Принц увидел, отшатнулся и громко спросил:

— А почему? Почему меня не предупредили, что ты больная? У тебя, возможно, и дети будут больные! Больные наследники — это невозможно! Судьба государства, судьба королевства, нации, наконец!

И он, испуганный и взволнованный, так дернул поводья, что его конь взвился, сбросил с себя принца, а сам ускакал.

Принц лежал на лесной дороге без сознания, белый как мел, и изо рта его вытекала струйка крови.

Младшая принцесса слезла с лошади, уговорами и лаской заставила ее прилечь на дорогу, а затем как могла приподняла принца и взвалила его на спину умной кобылки. После этого лошадь встала, неся на спине безжизненного принца, а принцесса взяла в руки поводья и повела лошадь обратно в замок.

У ворот замка часовые унесли принца и унесли младшую принцессу, а служанки сбегали подмели лесную дорогу, на которой принцесса оставила кровавые следы своих сапожек.

Принц вскоре выздоровел и собрался уже в обратную дорогу вон из замка, где его обманули, подсунув негодную невесту.

Выводя своего буйного коня из конюшни, он встретил знакомого священника, который шел к воротам с чемоданчиком в руке. Священник поздравил принца с выздоровлением и сказал:

— А вы не остаетесь на похороны?

— Кто-то умер? — спросил принц.

— Наша младшая принцесса, — отвечал священник. — Я уже причастил ее, там остаются какие-то минуты.

— Она была совершенно больная, — со вздохом произнес принц, — даже врач от них, как говорят, отказался. Уехал.

— Вы тоже тяжело болели сейчас, — сказал священник. — Если бы она вас не подняла на руки и не взвалила бы на лошадь, сегодня отпели бы вас.

— Да, каково мне было узнать, что я могу остаться калекой! Принцесса, конечно, спасла мне жизнь. Но она меня обманывала. Когда мы говорили с ней по телефону, она должна была плакать от боли, а она смеялась! Как вспомню эти ее руки, так вздрогну.

— Да, возможно, она бы уже давно умерла, если бы не любила вас. Только из-за вас она оставалась на свете.

— Да, надо бы проститься, — смущенно пробормотал принц, отвел коня в конюшню и поднялся в покои младшей принцессы.

Он вошел в спальню своей бывшей невесты, увидел ее, и сердце его дрогнуло от жалости. Принцесса лежала совсем маленькая, как спящий ребенок, и рядом с ней сидела багровая от слез нянька.

Принц сделал вид, что ничего не знает, решительно подошел к ложу принцессы и сказал:

— Привет! Вот я и выздоровел! А ты что валяешься-притворяешься? А ну вставай, тебя тут держат как больную... А надо на солнце, на воздух, нужен спорт, движение!

Он отодвинул вскочившую злую няньку, схватил принцессу на руки, она оказалась легкая и тоненькая, и он понес ее как можно быстрее к окну, а сзади бежала и дергала его за куртку нянька:

— Она умерла, ты что, глухой?

Держа принцессу на одной руке, принц отодвинул тяжелую портьеру, быстро распахнул окно и тут увидел, что младшая принцесса смотрит на него, широко открыв глаза.

— Что ты ее трясешь, ей уже глаза закрыли, — шипела нянька, добиваясь до принцессы, но принц загородил спиной свою ношу и быстро поцеловал принцессу в губы — он где-то читал, что так можно оживлять принцесс.

— Поздно, поздно, — причитала нянька, — раньше надо было, дурак, упустил свое счастье, девочка была ласковая, послушная.

А принцесса внимательно смотрела на принца, все еще широко открыв глаза, а потом моргнула и засмеялась. А нянька за спиной принца ахнула и зашептала:

— Кто любит, носит на руках, кто любит, носит на руках.

Разумеется, вечером сыграли свадьбу, на балу принцесса танцевала, а за столом ела сама, как полагается, ножом и вилкой, и безо всяких перчаток.

А колдуну послали огромный торт, бочку вина и цветную фотографию принцессы, как она надевает принцу на палец обручальное кольцо.

## Волшебные очки

Жила-была девочка, которая пошла и купила себе очень дешевые черные очки, вместо того чтобы купить тетради.

Что же, и так бывает, но очки оказались волшебные, как вторая пара глаз, которые видят то, что обычным взглядом не ухватишь.

Например, девочка прекрасно стала видеть вдаль и видела, как на далекой планете взад-вперед ходит поезд.

Мало того, она наблюдала те звезды, которые еще были не открыты учеными, а она разглядела эти звездные туманности отлично и даже как бы поплавала среди них.

Но, с другой стороны, девочка вдруг стала различать микробов.

Мама говорит ей: иди мой руки — а девочка видит, что в воде, текущей из крана, плавают и несутся миллионы бактерий, а на ручке крана сидят миллионы мохнатеньких микробов, кривых как огурцы и прямых как гвозди.

И на куске мыла их видимо-невидимо.

Чтобы не огорчать маму, девочка мыла руки и вытирала их полотенцем, на котором успевала рассмотреть целые города микробов!

Что уж говорить о мясной котлете, зажаренной вчера, а еще того более о колбасе, купленной в магазине!

Но девочка старалась слушать маму, особенно после того случая, когда пришлось покупать тетради еще раз (девочка соврала, что потеряла деньги или их украли и что очки она нашла на улице).

Хотя мама была все время недовольна, что дочка носит и носит эти черные очки, даже дома и даже вечером.

Короче говоря, жизнь девочки стала довольно трудной, и с течением времени девочка наконец прекратила носить очки днем, пустая трата зрения и одно расстройство, но зато она предпочитала носить их ночью, поскольку там, на далеких планетах и среди звезд, она не видела этих чудовищных скоплений микробов и бактерий, а видела дивную жизнь светил и как бы путешествовала там с помощью своих очков.

Все стали находить поведение девочки странным, и мама даже попыталась выбросить очки в мусорное ведро, однако девочка очень быстро нашла свои черные очки, потому что они начали громко звенеть в мусорном ведре, оказавшись среди невероятного количества микробов и бактерий.

Девочка смыла эти микроорганизмы с очков водой из-под крана, в которой их было поменьше миллионов на сто, но что делать!

Чтобы лучше видеть свои миры, девочка нашла путь на чердак и поднималась туда по ночам.

Днем она, разумеется, спала на ходу, на уроках отвечала невпопад, зато ночами она составляла расписание поездов далекой планеты ФУ-350 и наблюдала за таянием снегов на полюсах планеты МЕ-1500.

Там она была на своем месте.

Но в школе, если она на уроке математики пыталась рассказать о жизни на других планетах, учительница краснела, высказывала из класса и возвращалась с директором, говоря об издевательствах.

Один раз, правда, девочка получила четверку по биологии, блестяще рассказав о десяти видах бактерий, живущих в пресной воде.

Тут учительница растаяла и сказала: «Ну вот, Катя, когда ты хочешь, ты можешь».

А четверку ей она поставила за лишний вид бактерий, появившийся в последнее время и еще не открытый учеными, и за спор с учителем по этому поводу.

Дома тоже был полный тарарам: мама жалела дочку и потому поднимала ее утром ласково, уговаривала иногда по полчаса, а папа ругал маму, что она распустила и балует девчонку, а младший брат предлагал каждое утро выливать сестре на голову чайник воды.

И в конце концов однажды утром девочка оказалась на крыше своего шестиэтажного дома, вместо того чтобы идти на занятия, потому что накануне ребята сообщили, что в школу придут проверять всех пси-

хиатры, и кто окажется ненормальным, того переведут в школу для дураков.

А кто в этот день не придет в школу, за тем приедут домой на машине «скорой помощи».

Девочка не раз слышала, от учителей в особенности, что ее место в дурдоме, и брат тоже говорил ей, что она больная: такие шутки были приняты в те времена, неизвестно, как сейчас.

Мало того, в школе говорили, что там, в психбольнице, у больных отбирают всё: часы, ключи, деньги, пояса и в особенности очки, тем более черные, потому что очками сумасшедшие могут поранить себя и других, а черные очки вообще никому на хрен не нужны нормальным, не на пляже нашлись сидеть и так далее.

Там, на других планетах, люди ходили и в трех очках сразу, и в шляпах до потолка, но здесь кому это объяснишь.

Девочка решила прыгнуть с шестого этажа раз и навсегда, чтобы все поняли, кого они потеряли, в особенности папа и брат, которые были, в сущности, добрые люди и жалели других, брат вообще подбирал кошек и собак, кормил их у подъезда, домой этих помойных ему брать не разрешалось.

«Папа и брат,— думала девочка, стоя на крыше своего дома днем, в черных очках,— папа и брат поймут, кого они потеряли, только будет поздно».

Потом девочка подумала о маме, и ей стало жалко маму, даже выступили слезы, и девочка их вытерла, не снимая черных очков.

В классе никто не заплачет, а если придут на похороны, вообще будут смеяться. Их нельзя пускать. И потом, что от меня останется, думала девочка; соберут в мешок, что ли?

Она последний раз в жизни стояла в своих волшебных очках и смотрела вверх, но ничего, кроме крупных микробов, живущих на стеклах, она не видела: днем небеса были светлые и пустые.

Потом она посмотрела вдаль и увидела на балконе микрорайона Подушкино длинноносого мальчика с биноклем, в одних трусах: он смотрел не отрываясь куда-то в чужое окно, из полуоткрытого рта ползли слюни, он их втягивал и снова смотрел...

«Возможно,— подумала девочка рассеянно,— кто-то там, куда он смотрит, ест торт».

Жить было неинтересно, страшно и тоскливо.

Чтобы не видеть слюнявого и прыщавого мальчика в трусах, девочка посмотрела вниз, на то место, где ей предстояло лежать.

Там был асфальт.

Но там стояла кучка людей, и в самой гуще кричала и рвала на себе волосы женщина, потом она упала и стала кататься по асфальту.

Чтобы упасть, пришлось бы падать на нее.

Что же такое она кричала?

В очки все было хорошо видно, руки женщины, которые колотили по асфальту, ее красное мелькающее лицо с широко открытым ртом, грязное от дорожной пыли.

Но ничего не было слышно.

Встревоженная, девочка спустилась с крыши (без очков), съехала на лифте и присоединилась к толпе сочувствующих.

Оказалось, женщина оставила коляску с ребенком у подъезда и поднялась к знакомой на третий этаж, а когда вернулась, коляску украли.

Женщина обегала все соседние улицы, вернулась к подъезду и стала спрашивать случайных прохожих, не видел ли кто ее ребенка: красная коляска, ребенок в белой кофточке, в чепчике и накрыт голубым одеяльцем в клеточку.

Бедная мать, видимо, буквально кидалась на людей и громко рыдала, потому что вокруг нее собралась небольшая толпа, и к приходу девочки в очках (без очков в данный момент) люди стали говорить, что надо вызвать «скорую помощь», потому что наверняка эта женщина сошла с ума: она заболталась с подругой, как видно, и упустила коляску.

Эта девочка без очков просто задохнулась от злости на этих злых людей, которые готовы запереть в дурдом всех, даже глубоко несчастных, как эта мамаша, или некоторые люди, любящие ходить в черных очках.

Тогда девочка снова взобралась к себе на крышу и надела волшебные очки.

И тут же она увидела на расстоянии трех улиц одну слепую бабушниченку, которая всегда просила у метро, опираясь на палку.

Бабка, зорко поглядывая по сторонам, перебежала улицу среди машин, толкая перед собой красную коляску, а палку держа под мышкой.

И девочка в очках заорала вниз:

— Эй! Але! Я вижу! Коляску утащила бабушка и бежит к универмагу! Мимо «Орленка»! Улицу перебегает! Тетя, я их вижу!

Толпа не сдвинулась с места.

Отсюда было не так близко до «Орленка», во всяком случае рассмотреть бабку, тем более коляску и даже сам кинотеатр «Орленок» представлялось делом невозможным.

Зато бедная мамаша сразу замолчала, вскочила, отряхнулась и со всех ног кинулась бежать в указанном направлении, не глядя по сторонам.

А девочка в очках очень быстро спустилась на улицу и бросилась за мамашей, придерживая черные очки.

Через пять минут они домчались до кинотеатра, но там уже никого не было, только стояла поперек улицы машина, которая, видно, затормозила при виде опасной бабки.

И уже милиционер записывал в блокнот данные, а шофер показывал рукой в переулок, демонстрируя жестами, как везла бабка коляску и т. д.

— Бежим туда! — крикнула девочка в очках, и они кинулись в переулок.

Но там тоже уже никого не было.

— Минуточку! — сказала девочка. — Ждите меня здесь.

Она вошла в подъезд двенадцатиэтажного дома и на последнем этаже, не найдя входа на чердак, просто высунулась в окно, и очки показали следующее: слепая старушка, бормоча неласковые (видимо) слова, затаскивала коляску в подъезд.

Старушка волокла тяжелую коляску позади себя на манер трактора-тягача, а потом она харкнула себе под ноги, взяла коляску под мышку и тяжело пошла своим ходом, и за ней закрылась дверь.

— Але, тетя, — крикнула девочка из окна, — вон тот дом, третий подъезд!

Мамаша тут же взяла старт, девочка еле ее догнала на углу, и они вместе вбежали в подъезд.

Бедная женщина опять приготовилась кричать свое «помогите», но девочка в черных очках приказала:

— Тихо! Будем слушать.

И они стали тихо-тихо подниматься по лестнице и прикладываться ушами ко всем дверям.

Но в одном месте прикладываться не пришлось — там кричал ребенок, а чей-то голос задрезбезжал:

— А вот сейчас будем молочка пить! У, проклятая! Разорается! А ну, кто молочка хочет! У-лю-лю-лю-лю! Работать сейчас пойдем.

Женщина хотела застучать кулаком в дверь, но девочка в очках шепотом крикнула:

— Тихо! А то она ребенка в окошко выкинет!

Они стояли, тяжело дыша, и тут девочка стала якобы звонить в соседние квартиры и громко предлагать:

— В домовом комитете дают талоны на бесплатную водку, только детям до шестнадцати и пенсионерам по две бутылки. Мы пишем списки.

Разумеется, слепая старушка подслушала под своей дверью и не удержалась, высунулась:

— Мне четыре, пиши.

— Почему четыре? — спросила девочка.

— Мне и внуку.

Находчивая девочка сказала:

— По нашим данным, у вас нет внуков.

— Как нет, — заорала слепая, — как это нет! Вон он, выступает.

Действительно, слышался плач ребенка.

— Не верю, — сказала девочка, — нет у вас внуков.

— Не было, а есть, привезли, а он орет. Все его бросили на меня, а у самой инвалидность да сын инвалид с детства под себя ходит. А мне с ним трудно, не прожить.

— Где внук? — строго спросила девочка.

— Вон мычит, — ответила старушка, тоже в черных очках.

Но тут ребенок замолчал, и девочке стало страшно.

Но она не подала виду и сказала:

— Так, имя, фамилия и отчество ребенка.

А ребенок все молчал, и у мамыши лицо перекошилось, вот-вот зарыдает.

Что-то с ним там происходило.

Бабуля после некоторого размышления сказала:

— Как я по фамилии, так и он. А зовут его... Сейчас, дай сообразить.

Николай.

— А отчество? — не отставала девочка, крепко хватая за руку обезумевшую мамашу.

— Ну и отчество... тоже Николаевич, — сказала, ничего не придумав, старушонка.

— Так. Николай Николаевич. Одну минутку, бабуля, мне надо позвонить и внести уточнения в списки. Где у вас тут телефон?

— Вон на стенке висит, — ответила слепая, утирая пересохший рот. — А водка всем нужна. Сын без водки не засыпает, гоняет меня. Уж вы запишите меня и внука.

Девочка, взяв слепую старуху за локоть, со словами «давайте помогу» повела ее в комнату, где, разумеется, находилась красная коляска и где уже стоял во весь рост ребенок, держась за откидной верх, и смотрел во все глаза.

— Ну все, спасибо, бабушка, — сказала девочка, — мамаша, забирай своего ребеночка и больше никогда не оставляй его, а тебе, бабуля, мы советуем не воровать чужих детей, а то посадят тебя в тюрьму!

— Опять новости, — произнесла старушка, — это был подкидыш, тут спасаешь-спасаешь дитя, и тебя же снова в тюрьму!

Но мамаша, хватая ребенка и укладывая его обратно в коляску, ответила:

— Конечно! Подкидыш! Как же!

И на обратном пути мамаша рассказала девочке, что ей одна пьянюшка должна долг и не отдает, и приходится к ней ходить, а ребенка не с кем оставить, а к этой пьянюшке его брать нельзя, а денег нет и т. д.

Так они разговаривали на обратном пути, и девочка, познакомившись с тяжелой жизнью взрослых людей, решила больше не прыгать с крыши, а остаться жить, чтобы помогать людям.

И она даже не пикнула, когда увидела, что мамаша достала из сумки бутылочку с молоком и на рожке сидит три миллиона микробов.

«Ничего,— подумала девочка,— мы так и живем, приходится жить с микробами».

И она сняла свои очки и положила их в карман.

«Некоторые вещи лучше не замечать, не все в этом мире совершенно»,— подумала девочка и радостно отправилась домой.

## Сказка шкафа

В одном городе жила взрослая девочка, которой очень хотелось попасть на бал. Кстати, во время танцев принц должен был выбрать себе невесту. Это все знали.

На улицах города висели объявления насчет бала, по телевидению шла роскошная реклама с портретом довольно молодого принца, и все дамы и барышни примеряли в магазинах платья, очень красивые и дорогие.

Девочка, как и все остальные, давно уже любила этого принца, он все время ходил в военной форме со шнурами, весь в золоте, стройный как полагается спортсмену, а на голове он носил не снимая синюю фуражку с гербом.

Но у девочки не было нового наряда! Честно говоря, и старых нарядов у нее было немного.

Тогда она решила, что сошьет себе платье из бумаги. И недорого, и сразу все обратят внимание. И она села мастерить себе платье из газет, чтобы успеть к вечеру!

И она сделала как хотела — быстро сшила себе новый наряд и собралась выйти в нем на улицу, однако папа все понял и не разрешил ей идти на бал, сказал, что все будут смеяться. Но она все-таки выбежала из дома в своем газетном платье, на всякий случай прихватив с собой иголку с ниткой (мало ли, вдруг где порвется), а родной папа высунулся в окно и крикнул, что она может домой не возвращаться!

Он даже добавил:

— Не будь посмешищем! Позор и всё!

При этом прохожие дамы, и особенно школьницы, действительно смеялись...

Тогда девочка решила уйти из города. Она в своем платье из газет специально побежала в лес, где было много веток и колючек.

И вдруг, оборванная и заплаканная, она увидела в лесу небольшой дом, на котором тут же загорелось световое табло, а на нем появились слова: «Входите и живите, дом волшебный!»

Девочка оказалась в этом доме, где стоял очень красивый шкаф и рядом с ним старый сундучок.

И в этом шкафу висел красивый костюм с клетчатой юбкой и передником!

Обрадованная девочка надела этот наряд, а свои потрепанные газеты она спрятала в старый сундучок, заколов их иголкой.

Девочка радовалась, воображая себе, что приходит на бал в этом костюме, — все-таки лучше, чем в газетах!

Она немного потанцевала перед зеркалом сама с собой под звуки оркестра, которые доносились из дворца, и уже было собралась выйти из волшебного дома, но увидела, что над полураскрытыми дверями опять-таки светится надпись: «Наши платья, как только вы выйдете из дома, станут невидимками».

Делать было нечего, девочка вернулась, села и загрустила.

Но потом она решила переодеться снова в свои рваные газеты, что делать!

Однако же сначала девочка открыла шкаф. Она не собиралась рыть-ся в чужих сокровищах, просто надо же было повесить обратно костюм с передником!

А в шкафу засияло так, что глазам стало больно. Оказалось, что там теперь висит платье цвета утреннего неба — голубое и прозрачное.

И девочка его надела сразу же. Она стала прекрасной как фея! И зеркало ей улыбнулось.

Но в шкафу опять все засветилось. Девочка открыла его снова.

Там висело платье цвета солнечного дня — все золотое!

Девочка переделалась и оказалась в этом платье. В нем она выглядела как принцесса!

И тут вдруг шкаф загорелся вечерними огнями — следующее платье было синее и все в лампочках!

Она померила и его. Теперь она явно стала бы королевой бала, если бы находилась во дворце.

А в неугомонном шкафу опять раздалась музыка. Там висело теперь платье царицы ночи — черное и все в звездах.

Девочка надела его, все на свете забыла и повернулась к дверям, чтобы выбежать, но снова увидела там надпись: «Наши платья, как только вы выйдете из дома, станут невидимками!»

И девочка никуда не ушла.

Она сидела у стола и грустила в своем платье царицы ночи. Даже в зеркало больше не смотрелась, чтобы еще больше не расстраиваться.

А в этот момент мимо проезжал сам принц, который направлялся на бал. Он заглянул в окошко и увидел прекрасную юную девушку в платье со звездами. Принц постучал в дверь.

Девочка быстро навела порядок в доме, засунула все платья в шкаф, поправила крышку сундучка. И только тогда в своем роскошном наряде царицы ночи девочка села на прежнее место.

И она приветливо крикнула:

— Да-да, войдите!

Принц вошел и сказал:

— А почему вы не во дворце? Почему вы не на балу? Давайте я вас отвезу. У меня как раз есть для вас кресло в карете. Она двухместная! А в домик уже заглядывала, улыбаясь, лошадь принца.

Но над дверью, над головой принца, сразу зажглось, помигало и погасло световое табло со знакомой надписью.

И девочка покачала головой:

— Я не могу поехать на бал. Сами видите, мне не в чем.

— У вас ведь прекрасное платье! — удивился принц.

А девочка чуть не заплакала. Не могла же она сказать, что если выйти из этого дома в таком платье, то оно станет невидимым, и человек может оказаться на улице просто в трусах и майке.

Но девочка удержалась от слез, отвернулась и сказала:

— Но мне оно не нравится! И вообще я не хочу на бал!

А принц ответил:

— Наверно, вам не нравлюсь я!

И его лошадь, которая заглядывала в дверь, заплакала от горя.

Дело было сделано!

Принц ушел.

Девочка постучала себя кулаком по голове и тоже заплакала, сидя в своем платье царицы ночи.

А в сундучке заиграла музыка, и он приоткрылся. Там лежали старые газеты — бывшее платье девочки. А сверху была воткнута девочкина иголка!

Девочка взяла иголку с ниткой и кое-как скрепила, сшила эти лоскуты.

И она надела свое бумажное платье, а потом навела в домике порядок, собрала все обрывки газет с полу, а совершенно бесполезное платье царицы ночи и остальные наряды повесила обратно в шкаф.

Тут же на дверях зажглась надпись: «Доброго пути!»

И девочка, воткнувши в рукав иголку с ниткой, печально вышла из волшебного домика в своих рваных газетах.

Но тут же вздрогнула: у дверей ее поджидала лошадь с каретой. Девочка осторожно взгляделась, нет ли принца. Она была готова прыгнуть обратно в домик.

А лошадь сказала ей:

— Да нет, не бойся, принц уже на балу. Садись скорее. Я, как только освободилась, сразу решила за тобой заехать. Тут недалеко. Кстати, в карете много конфет.

Действительно, за дверцей кареты виднелись красивые коробки с кружевами.

Девочка села в карету и не стала есть конфеты, а отрывала от них бумажные кружева и быстро пришивала к платью.

Но когда они приехали во дворец и надо было выходить из кареты, все оказалось напрасно: у девочки с треском порвалась юбка. А за ней и спинка платья!

А в это время к карете, как назло, подошел принц в своей морской фуражке и сказал:

— А, это вы! Как приятно! Наконец-то! Слава тебе господи, вы решились! А я уж думал, что вы плохо ко мне относитесь!

— Я не могу пойти с вами на бал,— ответила девочка и попыталась закрыть дверцу кареты. Но рваные газеты ей помешали.

А принц, глядя на девочку в полуоткрытую дверцу, сообщил:

— Ну что же! Я-то давно это понял! Я бедный принц, которого никто не любит, а если что и говорят мне, то всегда врут! Любят мою корону, если честно! Вы хоть ничего не скрываете, и я вас уважаю еще больше!

В дверях дворца столпились дамы и слуги, и все смотрели на девочку, которая сидела как бродяга, завернувшись в старые рваные газеты.

Оркестр играл невыносимо громко, во дворце все танцевали как заведенные, а принц резко повернулся, опустил голову и ушел, и стражники закрыли за ним двери.

Наступила тишина. Девочка крепилась и не плакала, только все подбирала бумажные кружева с полу и зачем-то складывала их в кучку. Но тут лошадь обернулась и спросила девочку:

— Я могу тебе чем-то помочь?

Девочка через приоткрытую дверцу ответила:

— Мне нужны новые газеты.

Они помчались так, что из кареты полетели обрывки рваной бумаги.

Лошадь остановилась перед газетным киоском и попросила дать ей все последние издания, а заплатить она обещала потом.

Продавец тут же решил разбогатеть, воскликнул: «Только это вам обойдется дороговатенько!» — и стал подавать девочке в окошко кареты старые газеты, которые давно собирал, чтобы выкинуть.

Он был так рад! И поэтому не заметил, что девочка быстро-быстро что-то шьет из этой пожелтевшей бумаги. А уж лошадь и подавно ничего не заметила, она ведь стояла хвостом к карете!

Девочка даже пришила к новым газетам те самые кружева от конфет!

Наконец девочка высунулась в окошко и сказала как космонавт:

— Поехали!!!

И лошадь поняла, что все в порядке, засмеялась и помчалась.

Они быстро прискакали во дворец, и тут же топтавшийся у дверей принц подошел к своей карете и спросил лошадь:

— Кого конкретно ты привезла?

А лошадь ответила:

— Сами откройте дверцу и увидите!

И принц вывел из кареты девочку в новом газетном платье с роскошными кружевами.

Девочка спрыгнула, а газеты захрустели и закачались! И принц воскликнул:

— Какое на вас чудесное платьице! Вы как балерина! Я приглашаю вас танцевать со мной!

Они танцевали, а дамы смотрели на них во все глаза, стараясь понять, из чего же сшито такое платье.

А в дверях толпились фотографы и кинооператоры с камерами.

У девочки все время падали с платья обрывки, и дамы их подбирали, читали вслух, но ничего не могли понять и шушукались.

И в конце концов девочку провозгласили королевой бала!

Правда, к тому времени на ней мало что осталось. Трусы с майкой да обрывки кружев вокруг пояса.

Однако все посчитали, что это новая мода!

И сам принц опустился перед ней на одно колено и поцеловал ей руку.

И сказал:

— Я прошу вас быть моей принцессой!!

И на все это из дверей смотрела поверх фотографов лошадь и буквально ржала от счастья.

## СНЫ ДЕВОЧКИ

Один человек позвонил принцессе и сказал:

— Я слуга колдуна. Мой хозяин хочет жениться на тебе.

Принцесса ответила, что не знает никаких колдунов и замуж выходить не хочет.

— А если ты не выйдешь за него, твой отец с матерью умрут. Отец сегодня, а мать завтра.

Но принцесса как воспитанная девочка сказала:

— Нам не о чем говорить, извините.

И положила трубку.

Тем же вечером ее отец умер.

В доме все забежали, закричали, а принцесса подошла к матери с такими словами:

— Мама, сегодня я выхожу замуж.

Ее мать, которая и без того плакала, всплеснула руками:

— Как ты можешь в такой момент об этом думать?

Тут же зазвонил телефон.

Принцесса схватила трубку. Звонил слуга колдуна:

— Ну что? Ты согласна?

— Если он оживит отца, то да.

— Приходи в гостиницу в десять вечера, она называется «Сикста», номер люкс, но хозяин рано ложится спать. Если не придешь, твой отец умрет снова. Смотри, ждем тебя.

Принцесса положила трубку и сообщила матери:

— Мой отец умер, потому что я не вышла замуж за колдуна.

Но в этот момент все во дворце снова забегали, закричали:

— Король жив! Да здравствует король!

Была большая радость, придворные ликовали.

Однако принцесса все повторяла, что должна выйти замуж именно сегодня, а то все умрут.

Мать сказала принцессе:

— Никто не умер. Видишь, отец жив. Не придумывай лишнего. И вообще, сегодня принцессы замуж не выходят, поняла? Это только кошки и собаки женятся сию минуту, когда им приспичило. Раз — и свадьба. А у людей так не принято. Тем более что тебе еще рано думать о замужестве. Кто этот колдун? Мы его знаем?

— Но я должна сегодня вечером в десять часов явиться к нему в гостиницу, иначе случай с отцом повторится. А завтра умрешь и ты, он так сказал.

Но мать, не слушая, ответила:

— В гостиницу на ночь глядя не ходит ни одна порядочная девочка. Пусть я умру (тут королева явно поставила мысленный восклицательный знак), но не пущу тебя. Иначе я умру. Представь себе, тебя кто-нибудь сфотографирует ночью в гостинице! И принц Генрих увидит!

(Принц Генрих этот был восьмиклассником в соседнем королевстве, и принцесса его ненавидела после одной драки.)

Однако, поскольку принцесса все еще плакала и просилась к колдуну, так что к ней приставили доктора с валерьянкой.

И ровно в десять часов вечера опять повторилась суматоха, в коридоре закричали:

— Король умер! Да здравствует король!

Доктор извинился и выбежал, заперев дверь, а принцесса начала выламывать замок, кричать, плакать, сбила руки до крови, но ничего не вышло, а потом она сообразила и просто вылезла в окно, дотянувшись до пожарной лестницы и глубокой ночью спустилась на улицу.

В гостинице у номера люкс ее встретил слуга колдуна и сказал:

— Ну все, теперь тебя не возьмут замуж, колдун уже заснул, будить его я не буду.

— Тогда я подожду под дверью, пока он не проснется.

— Да кому ты нужна? — скривился слуга. — У тебя волосы дыбом, руки в крови, глаза красные, нос распух, ты что? Ты охрипла, и щеки у тебя полосатые, редела, что ли? Мой хозяин видел тебя по телевизору, там ты была не такая. Мы любим аккуратных.

Принцесса, которая собиралась опять зарыдать, мгновенно высохла и спокойно произнесла:

— Проводите меня в ванную, мне необходимо привести себя в порядок.

Слуга пожал плечами и отвел ее в ванную комнату.

Принцесса умылась, причесалась пятерней и села под дверь колдуну ждать его пробуждения.

Утром колдун вышел и лениво заметил:

— Ты пришла? Я ничего не знаю. Ты опоздала.

— Оживите моего отца, — попросила принцесса, — и не трогайте мою маму, тогда я буду вашей женой.

— Мне это не надо, я на таких не женюсь, — зевая, ответил колдун. — Я ошибся.

И он поднес ко рту правую руку с драгоценным перстнем и подышал на камень.

— Я таких принцесс, — сказал он, — могу вызвать два вагона. Потру камешек — и готово. Видала?

Перстень сверкнул золотым огнем.

— Ну хорошо, не женитесь на мне, — ответила принцесса, — но тогда оживите моего отца. Я не виновата, я так рвалась к вам, меня заперли, я сбила себе все руки.

И она предъявила свои ссадины и царапины.

— Некачественный товар, — промямлил колдун и опять зевнул.

Принцесса собрала все свое достоинство, присела с глубоким поклоном и посмотрела на колдуна по-королевски, то есть очень приветливо.

Колдун как-то засомневался.

— Принцесса, едрен батон. Ну хорошо, — решил он. — Я уезжаю на корабле через два часа. Если ты уж так настаиваешь, то можешь меня сопровождать. Ты будешь тридцать пятой девушкой, которая захотела ехать со мной по собственному желанию.

— Я еду, — сказала принцесса. — Разрешите мне только позвонить маме, чтобы прислали мои вещи и драгоценности.

— Звони, — разрешил колдун. — Но не опаздывай! Корабль отходит ровно в двенадцать.

И он ушел завтракать в ресторан.

Принцесса тут же позвонила домой:

— Мапочка, это я. Как папа?

— Он очнулся, он совершенно здоров. Это была ошибка доктора, как всегда. Но вот где шляешься ТЫ? Мы с отцом умрем от позора! Поли-

ция уже поднята на ноги. Оцеплены вокзалы и аэропорты. Возвращайся домой! — закричала мать-королева.

Но принцесса уже положила трубку.

Она действовала быстро и решительно, продала гостиничной уборщице свое кольцо с пальца, получила немножко денег, купила в ларьке расческу, мыло, полотенце, зубные принадлежности и шампунь для волос, а также одну булочку с маком.

Больше денег у нее не осталось.

Через два часа в полной готовности она с пакетом в руке пришла на пристань.

Колдун, толстый и маленький, сидел на капитанском мостике в пышном парике, а рядом с ним стояли девушки, все как одна испуганные, бледные, со слезами на глазах.

Принцесса поднялась на мостик, подошла к колдуну и сделала полный королевский реверанс:

— Как поживаете, ваше высочество?

Колдун сначала даже подавился, а потом ответил:

— Ах да, если я на тебе женюсь, я же буду принц! — Он визгливо засмеялся. — Но пока еще я не высочество. Мне чужого не надо. А вот ты будешь у меня спать под нарами в трюме, мыть полы и есть объедки. Ты к этому готова, ваше высочество? Отвечай: всегда готова.

Она ответила:

— Всегда готова! А куда мы плывем?

— Мы плывем в страну мрака, ко мне на родину. О ней вы никто не знаете, она только вам иногда снится. У тебя ведь бывают страшные сны? Ну так вот, там мы и живем.

— А, я помню, — сказала принцесса. — Там еще небо было черное.

— Да-да, — захотел колдун.

— А земля горячая, серая.

— Милая родина! — воскликнул колдун.

— И я еще проснулась и спросила у родных, как мне спастись от страшных снов.

— Ну и как?

— Они погладили меня по голове и поцеловали. Они не знают.

— Никто не знает! — радостно взвизгнул колдун. — Никто у вас не знает, как прекратить страшный сон.

— Да его и невозможно прекратить, — согласилась принцесса. — Мне это все говорили.

— О, вы же земля идиотов, — мирно ответил колдун. — Я забыл. У нас каждый дурак умеет. Как ему приснится страшный сон — ну, про ваши вишневые сады, про пшеничные поля, про ручьи в лесу или про морские волны тут, у вас, на земле — надо сразу спросить у первого попавшегося прохожего: «Ты кто?» И сон кончится.

Тут Принцесса подошла к колдуну близко-близко и спросила его:

— Ты кто?

И она тут же проснулась в своей кровати.

Была ночь.

Принцесса как была, в ночной рубашке, помчалась в королевскую спальню и увидела папу с мамой — они оба храпели у телевизора.

— Папа-мама, пора ложиться спать! — гаркнула принцесса.

Мало того, она принялась танцевать вокруг папиного-маминоного трона.

Отец с матерью вздрогнули, вытерли набежавшие слюни и поплелись в ванную чистить зубы в сопровождении сонной стражи.

А по дороге папа заметил:

— Доченька, ты чего радуешься? Скажи мне, я порадуюсь тоже.

— Пусть сначала исправит тройку по алгебре, а потом радуется, — пробормотала мама-королева. — У принца Генриха одни пятерки.

В другой раз принцесса бы выложила все, что она думает об этом прыщавом восьмикласснике, но сейчас она только сказала:

— Спокойной вам ночи, папа и мама! Добрых снов.

И ее старенькие папа и мама закивали в ответ:

— Добрых тебе снов, доченька.

## Котенок Господа Бога

Одна бабушка в деревне заболела, заскучала и собралась на тот свет.

Сын ее все не приезжал, на письмо не ответил, вот бабушка и приготовилась помирать, отпустила скотину в стадо, поставила бидончик чистой воды у кровати, положила кусок хлеба под подушку, поместила поганое ведро поближе и легла читать молитвы, и ангел-хранитель встал у нее в головах.

А в эту деревню приехал мальчик с мамой.

У них все было неплохо, их собственная бабушка функционировала, держала сад-огород, коз и кур, но эта бабушка не особенно приветствовала, когда внук рвал в огороде ягоды и огурцы: все это зрело и поспевало для запасов на зиму, на варенье и соленье тому же внуку, а если надо, бабушка сама даст.

Гулял этот выгнанный внук по деревне и заметил котенка, маленького, головастого и пузатого, серого и пушистого.

Котенок приبلудился к ребенку, стал тереться о его сандалики, навевая на мальчика сладкие мечты: как можно будет кормить котеночка, спать с ним, играть.

И мальчиков ангел-хранитель радовался, стоя за его правым плечом, потому что всем известно, что котенка снарядил на белый свет сам Господь, как он всех нас снаряжает, своих детей.

И если белый свет принимает очередное посланное Богом существо, то этот белый свет продолжает жить.

И каждое живое творение — это испытание для уже заселившихся: примут они новенького или нет.

Так вот, мальчик схватил котенка на руки и стал его гладить и осторожно прижимать к себе.

А за левым локтем его стоял бес, которого тоже очень заинтересовал котенок и масса возможностей, связанных с этим именно котенком.

Ангел-хранитель забеспокоился и стал рисовать волшебные картины: вот котик спит на подушке мальчика, вот играет бумажкой, вот идет гулять, как собачка, у ноги...

А бес толкнул мальчика под левый локоть и предложил: хорошо бы привязать котенку на хвост консервную банку! Хорошо бы бросить его в пруд и смотреть, умирая со смеху, как он будет стараться выплыть! Эти выпученные глаза!

И много других разных предложений внес бес в горячую голову выгнанного мальчика, пока тот шел с котенком на руках домой.

А дома бабка тут же его выругала, зачем он несет блохастого в кухню, тут в избе свой кот сидит, а мальчик возразил, что он увезет его с собой в город, но тут мать вступила в разговор, и все было кончено, котенка велено было унести откуда взял и бросить там за забор.

Мальчик шел с котенком и бросал его за все заборы, а котенок весело выпрыгивал навстречу ему через несколько шагов и опять скакал и играл с ним.

Так мальчик дошел до заборчика той бабушки, которая собралась умирать с запасом воды, и опять котенок был брошен, но тут он сразу же исчез.

И опять бес толкнул мальчика под локоть и указал ему на чужой хороший сад, где висела спелая малина и черная смородина, где золотился крыжовник.

Бес напомнил мальчику, что бабка здешняя болеет, о том знала вся деревня, бабка уже плохая, и бес сказал мальчику, что никто не помещает ему наестся малины и огурцов.

Ангел же хранитель стал уговаривать мальчишку не делать этого, но малина так адела в лучах заходящего солнца!

Ангел-хранитель плакал, что воровство не доведет до добра, что воров по всей земле презирают и сажают в клетки как свиней и что человеку-то стыдно брать чужое — но все было напрасно!

Тогда ангел-хранитель стал напоследок нагонять на мальчишку страх, что бабка увидит из окна.

Но бес уже открывал калитку сада со словами «увидит, да не выйдет» и смеялся над ангелом.

А бабушка, лежа в кровати, вдруг заметила котенка, который влез к ней в форточку, прыгнул на кровать и включил свой моторчик, умащиваясь в бабушкиных замерзших ногах.

Бабушка была ему рада, ее собственная кошка отравилась, видимо, крысиным ядом у соседней по помойке.

Котенок помурчал, потерся головой о ноги бабушки, получил от нее кусочек черного хлеба, съел и тут же заснул.

А мы уже говорили о том, что котенок был не простой, а был он котенком Господа Бога, и волшебство произошло в тот же момент, тут же постучались в окно, и в избу вошел старухин сын с женой и ребенком, увешанный рюкзаками и сумками: получив материнское письмо, которое пришло с большим опозданием, он не стал отвечать, не надеясь больше на почту, а потребовал отпуск, прихватил семью и двинул в путешествие по маршруту автобус — вокзал — поезд — автобус — автобус — час пешком через две речки, лесом да полем, и наконец прибыл.

Жена его, засучив рукава, стала разбирать сумки с припасами, готовить ужин, сам он, взявши молоток, двинулся ремонтировать калитку, сын их поцеловал бабушку в носик, взял на руки котенка и пошел в сад по малину, где и встретился с посторонним пацаном, и вот тут ангел-хранитель вора схватился за голову, а бес отступил, болтая языком и нагло улыбаясь, так же вел себя и несчастный воришка.

Мальчик-хозяин заботливо посадил котенка на опрокинутое ведро, а сам дал похитителю по шее, и тот помчался быстрее ветра к калитке, которую как раз начал ремонтировать бабкин сын, заслонив все пространство спиной.

Бес ушмыгнул сквозь плетень, ангел закрылся рукавом и заплакал, а вот котенок горячо вступился за ребенка, да и ангел помог сочинить, что-де вот полез мальчик не в малину, а за своим котенком, который-де сбежал. Или это бес сочинил, стоя за плетнем и болтая языком, мальчик не понял.

Короче, мальчика отпустили, а котенка ему взрослый не дал, велел приходиться с родителями.

Что касается бабушки, то ее еще оставила судьба пожить: уже вечером она встала встретить скотину, а наутро сварила варенье, беспокоясь, что всё съедят и нечего будет сыночку дать в город, а в полдень постригла овцу да барана, чтобы успеть связать всей семье варежки и носочки.

Вот наша жизнь нужна — вот мы и живем.

А мальчик, оставшись без котенка и без малины, ходил мрачный, но тем же вечером получил от своей бабушки миску клубники с молочком неизвестно за что, и мама почитала ему на ночь сказку, и ангел-хранитель был безмерно рад и устроился у спящего в головах, как у всех шестилетних детей.

## Сказка зеркал

В витрине магазина было много зеркал — одно огромное, в резной дубовой раме невиданной красоты, затем десять средних овальных, каждое из которых могло служить прекрасным портретом для прохожих (вообще-то, какова морда, таково и изображение; могли бы возникнуть трагедии, думали зеркала, — однако все без исключения граждане приостанавливались и любовались на себя, никто не отворачивался и не плевался при виде собственного отражения).

И наконец, в витрине помещались девятнадцать штук зеркал разнокалиберных, в том числе и самое маленькое, квадратное, которое пристроилось в глубине, и, собственно говоря, его никто из проходящих не видел. Зачем его туда сунули, вообще было непонятно. То есть под вопросом оказывался сам смысл существования такого предмета на витрине!

Ведь оно было простое, темноватое, и даже слухи ходили, что изнанка у него оловянная!

Остальные-то зеркала просто красовались перед прохожими — плоские и слегка вогнутые по краям, выпуклые и впалые, как для комнаты смеха, затем шикарные венецианские, с узорчатой стеклянной рамой.

Самое главное вообще называлось Псише!

И они не продавались.

Трудно сказать, то ли хозяин магазина особенно любил эти отражающие поверхности, то ли попросту хотел привлечь внимание к магазину в целях рекламы, — но они стояли на витрине только для вида.

А может быть, дело было в другом.

Поговаривали, что старый владелец — просто обедневший брат короля, и, перед тем как покинуть свой проданный родовой замок, он собрал все что в нем было и открыл свою лавочку здесь, в городе, мало ли, а вдруг кто-нибудь соберется что-нибудь купить!

А зеркала он вывесил снаружи, чтобы в них не смотреться. Может быть, ему не хотелось себя видеть.

Во всяком случае, все наличные зеркала располагались именно снаружи.

На вопрос, почему они там стоят, хозяин отвечал строго и преувеличенно любезно:

— Оформление витрины.

Как будто хранил некоторую тайну.

Единственная сотрудница хозяина, дальняя тетка, солидная дама по прозвищу Кувшиня, раз в неделю посещала сообщество зеркал. У тетушки Кувшини имелись в хозяйстве щетки, тряпки и бутылочка со специальной жидкостью (как шептались в магазине, это был эликсир для протирки бриллиантов!).

Итак, прохожие тормозили на бегу и засматривались в зеркала. Главное показывало зрителя целиком, средние по частям, то есть бюст до макушки или центральную часть туловища, а маленькие вообще вразнобой, кто что ухватит — пуговицу, карман, большой палец. Ухо кошки. Растопыренную воронью лапу, промелькнувшую перед приземлением. Дребедень, короче.

В целом это было похоже на картину художника-авангардиста. Пикассо бы позавидовал такому хрустально-чистому, подробному, лучезарному и раздробленному на грани изображению. Бриллиант, а не витрина!

Всякое зеркало в ней имело свое точное место — от ничтожнейшего, того самого, маленького и квадратного, которое пристроилось в глубине неизвестно зачем, до центрального, завитого как парик, в амурах и венках, стоящего слегка слева.

Хозяин строго следил насчет еженедельных протирок, а по поводу самого маленького предупреждал об осторожности, чтобы с места не двигать!

Но в витрине царили свои порядки, свои мерки и законы.

Все равно что в семье.

Дело в том, что когда нас оценивают наши близкие и родные, одноклассники и соседи, то вблизи никто никогда и не заподозрит, что имеет дело с выдающейся личностью! А то такую личность и локтем толкнут. Или дадут смешную кличку!

Только иногда и издали доносится весточка о том, что, оказывается, ваш дальний троюродный дед известен всему миру как автор книги о супах или создатель теории брюк! А в семье его презирали, держали на старом диванчике и попрекали за дневной храп.

Так и в нашем случае — тусклое маленькое зеркало почему-то очень заботило хозяина, а сотоварищи по витрине дружно считали этот стеклянный квадратик ничтожеством, мелким и упрямым.

Что бы тебе немного не подвинуться, тогда Второе Слева трюмо разместится не под углом, а прямо!

Но Маленькое упорно стояло на своем месте.

Ну и стой. Не обращайтесь на него внимания.

В витрине господствовало, кстати, такое мнение: ничего не принимать близко к сердцу, все провожать лишь беглым взглядом, проводить — встречай следующее, но ни на чем не останавливайся! Это вредно для нашей отражающей поверхности. Слишком много попадает туда информации!

И то сказать — мелькали велосипеды, собаки, машины, коты и голуби, дальние облака, дождевые потоки, вихри снега, воцарялись туманы. Мимо шмыгали школьники, неторопливо проходили люди в форме, долго громыхали мимо уборочные комбайны. Ползли, обращая на вит-

рину робкое внимание, старушки. Тормозила молодежь, взбивая или затягивая то, что у них было в данный момент на голове. Дамы задерживались, вертелись, якобы интересуясь выставленными антикварными объектами.

Проходили ночи, каждая в своем блеске фонарей, рекламных огней и еле заметных звезд, наступали прекрасные рассветы, особенно глубоким летом, и это были настоящие спектакли — от черного бархата к сиве, к лиловой мгле и затем к сияющим розам.

Что говорить, мир, отражаемый зеркалами, был прекрасен!

Но эти пустые стекла — они ничего не запоминали, еще новости.

Маленькое зеркало в углу тоже получало свою долю света и тьмы, в нем мелькали клочки, блески и детали нижней части жизни — сверкающий обод велосипедного колеса, качающееся, надутое днище сумки, порхнувшая из рук газета, быстрые каблучки, тяжело прыгающий резиновый колпачок костыля...

И то хорошо.

Мало, видимо, ему было надо.

Тем не менее какая-то тайна заключалась в том, что хозяин берег это ничтожество и каждый раз предостерегал Кувшину, чтобы она аккуратно обращалась именно с данным объектом. Ни в коем случае чтобы ничего не стряслось с тем в углу, с тем Маленьким!

И он даже несколько раз лично протирал его, как глазик ребенка, поджавши губы от усердия и заботливо скрючив руку. А Кувшиня покачивала головой: не беритесь за эту работу, ой не надо. Не для принцев это занятие (сама-то она была рангом пониже, простая графиня, отсюда и прозвище).

Ясное дело, что толстая Кувшиня не очень любила данный мелкий предмет. Пишикет жидкостью из флакончика, а протрет кое-как, и зеркальце иногда слепо на неделю, особенно если хозяин уезжал по делам.

Но он возвращался и первым делом останавливался перед витриной, проверял, как протерто и блестит ли содержимое его витрины — особенно то, дальнее, то зеркальце заднего вида. И Кувшиня получала выговор и лезла протирать новоявленное сокровище, при этом она шептала что-то, пыхтя. Ей, понятное дело, было тяжело — аристократке и просвещенному человеку да заниматься уборкой! (Прежним королям она вроде бы приходилась десятиюродной кузиной.)

Конечно, среди обитателей витрины ходили всякие предположения.

Народ поговаривал, что Маленькое з.— это явно осколок какого-то большого и очень ценного зеркала. Может быть, царского? И что хозяин явно хочет его продать за большие денежки. То есть мало ли что в нем отражалось. Царицы, царевны! Убийства, заговоры, покойники, тайные младенцы!

Иначе что было беречь такую мелочь.

Спрашивали Маленькое з., в чем его суть. Оно не отвечало, на обидные вопросы не возражало, но и не говорило ничего конкретного. Напугало туману. Гордое слишком!

И у многих рождалось сомнение в том, что тут налицо какие-то свойства. Некоторые не соглашались с тем, что оно якобы древнее и, грубо говоря, волшебное. Магическое? Да глупости все это.

И не раз все население витрины приступало к нему с вопросом: да или нет. Однажды получился ответ «Да».

— Да??!

А в чем заключается, осторожно стали спрашивать дальше. В чем? Ответа все не было.

Малому гордецу присвоили прозвище Гений, в шутливой форме, конечно.

— Эй, ты, Гений! Опять ни шута не видишь? Не помыли тебя?

— Ах, оставьте его, он Гений! Как он отразил резиновый сапог!

— Он у нас по подробностям. О, о, прославь собачий хвост! Смотри, пакет с мусором понесли! Это твое, важная тематика, ха!

И так далее.

Но однажды из угла витрины донеслось что-то.

— Але, мы не слышим! Повтори, Гений! Он проговорил что-то типа: «Я могу остановить».

— Можешь остановить — что? — последовал законный вопрос.

— То что надвигается, — прошелестело из угла.

— Ну и что?

— И тогда я погибну, — тихо сказал этот Гений.

Гибели боялись они все, и каждый знал, что зеркала умирают. Пятнышко, второе, темная полоска — и дело пропало.

Все они при этом предчувствовали чужую кончину (и ревниво следили за приметами) — однако совершенно не верили в свою.

Поэтому они развеселились и дружно сказали то, что обычно говорят в ответ на такие заявления:

— Ты еще всех нас переживешь!

— Маленькое живучей большого, — вздохнуло Среднее зеркало, которое претендовало на первенство, потому что было без единого изъяна и считало, что рама еще не значит ничего.

— Да ну! Гений, не бойся, тебе сделают новую амальгаму! И вперед по кочкам! — сказала одно Среднее з. с пятнышком, которое верило в оживление с помощью операции.

Большое з. трагически молчало. У него имелась уже темная полоска. Но оно надеялось на свою прекрасную раму и на то, что мы достойны реставрации в первую очередь.

— Да нам всем тут без исключения должны сделать новую амальгаму! — сказала оно наконец. — И главное в чем! Не жалеть серебра.

— Да, и тогда нас наконец купят! — вырвалось у Среднего з. с пятнышком.

(Витрина подозревала, что никто и никогда не интересовался ценой на зеркала, потому что они все были старые. Старое никому не нужно! Сейчас мода на новое!)

— Да некоторым и новое покрытие не поможет, — проскрежетало одно кривоватое зеркало по прозвищу Дядя Свист.

Все довольно посмеялись, имея в виду самого Дядю Свиста, и замолчали, отражая мокрую ночную мостовую, сверкающие лужи, мелкие снежинки и темные дома.

Зеркала, разумеется, чувствовали, что, если бы не хозяин, никто бы и не поглядел в их сторону. Это только он обожал старые вещи, свою коллекцию древностей. И он ценил именно знаки времени, муть, пятна, царапины.

Еще бы, это ведь были следы жизни его предков-королей!

Но он один был таковский, подслеповатый чудак.

И у него не было денег на реставрацию. Видимо, поэтому он не раз говорил, что в старой вещи все должно быть подлинно.

Поскольку некоторые покупатели отдавали вещи в реставрацию — купленные темные картины, фарфоровых кукол с сомнительно поцарапанным цветом лица и со слегка побитыми носами, потертую мебель.

Такая была мода, улучшать. Чтобы было старое, но новое. А хозяева города вообще не церемонились с древними домами и сносили всё подряд.

Все выходило из рук ремонтников в возмутительно новеньком виде, якобы старые здания с пластиковыми скульптурами, блестящие, как облитые клеем, картины, куклы с абсолютно розовыми лицами в цветущем состоянии, чисто как витринные манекены.

Это была трагедия, которую могло исправить только время в виде трехсот последующих лет. Или немедленное землетрясение (или приезд на дачу на летние каникулы пятерых внуков с их малолетними друзьями).

\* \* \*

Но мы еще не сказали о главной любви зеркал.

Рыжая Крошка была внучкой хозяина. Ее еще звали Маленькая Принцесса. Родители ее, врачи, трудились в дебрях Африки, а девочка жила с дедом. Она бегала в школу, трудолюбиво ходила в музыкалку со скрипочкой и огромной папкой — и каждый раз мимо витрины. Зеркала любовно повторяли золотой шлем ее волос, машущие веера розовых пальчиков, блеск синих глаз.

— У нас, когда я жил у старых хозяев, у королей, был огромный сад,— говаривал Дядя Свист, любовно провожая всей своей поверхностью вихрь по имени Рыжая Крошка,— и этот сад было видно в окно. Там зрела малина.

— Ну и что ты этим хочешь сказать? Где логика? — вопрошало придирчивое Кривоватое зеркало.

— У нее рот как ягода, вы обратили внимание? Как три ягоды малины.

— Ну ты поэт, Свист! — хихикало Кривоватое з.— Влюбился?

— У меня нет души,— серьезно отвечал Дядя Свист.— А то бы да.

Вообще зеркала все любили Рыжую Крошку, но страсти достигли накала в особенности в тот момент, когда она выпросила у деда одно старое венецианское зеркало, и его долго снимали с крюка, переположили всю витрину, и старенькое зеркало заплакало от счастья, запотело. Его провожали общими криками зависти, которые звучали как «Ну, старик, поздравляю!» и «Нет слов», и даже зловещее напоминание в виде шелеста вслед: «Мы тебя ждем всегда, имей в виду!» Последнее напутствие было такое: «Когда разобьешься, все равно возвращайся, склеим!»

Венецианца унесли наверх, в прекрасную домашнюю жизнь, отражать принцессу, Рыжую Крошку, все закаты и рассветы ее шестнадцати лет.

А у зеркал появилась робкая мечта когда-нибудь тоже пригодиться девочке. Они иногда видели сны о втором этаже, о маленькой спальне с фортепьяно.

— Ну и вот, и снится мне второй этаж,— как обычно, начинал Дядя Свист, а его перебивали:

— Где его там повесили, ты не рассмотрел? Они спрашивали его якобы заботливо, а на самом деле завистливо:

— Наверное, в прихожей? Там же темно!

Рыжая Крошка была всю свою жизнь (начиная от колясочного периода, когда они видели разве что ее крутой лобик и золотую кудрявую макушку, и то эту честь имели только маленькие зеркала понизу) — итак, она была любимейшим объектом изображения тридцати стеклянных живописцев и их общим сокровищем, даже тогда, когда она начала взрослеть и предпочла им всем мутноватого венецианского аристократа.

\* \* \*

Стало быть, однажды вечером толпа зеркал молчала, провожая позднее такси.

Шестьдесят стоп-сигналов было трудолюбиво отражено и исчезло.

Вдруг витрина вздрогнула.

Ничего не отразилось в ней, только какой-то сгусток непрозрачной тьмы смазал сверкающие поверхности, убрал в этом месте ночной блеск, мокрую мостовую, свет фонарей...

Одно мгновение — и все вернулось.

Что это было?

Большое зеркало по прозвищу Псише, ощущая боль в старом затемнении и зуд на том месте, где возникало еще одно, новое, сказало:

— Никто ничего не заметил.

— Я, — ответил из угла Гений, хотя его никто не спрашивал.

— Ему видно все, — откликнулся Дядя Свист. — Но частями.

— Ты тоже ничего не видел, — повторило Псише. — Понятно?

Все помолчали.

— А что, что-то произошло? Случилось? — вмешалось Кривоватое з.

Средние заверили, что ничего. Гений сказал:

— Это прошло Одиночество. Я его знаю триста лет.

— Да, — поддакнул Дядя Свист. — Прошла гибель.

Гений тихо продолжал:

— Оно вышло на охоту.

— Я боюсь, — сказало Среднее з. с пятнышком.

— Оно охотится за живым существом, не бойся, — отметил Дядя Свист. — Мы неживые.

— Мы не мертвые, — откликнулось Псише, — но нас это не касается никак. Мы ничего не принимаем во внимание.

Дядя Свист помолчал и вдруг заволновался, чего с ним раньше не было:

— Сто лет назад оно выбрало ребенка. Знаменитое исчезновение девочки. Судили невинного прохожего и казнили. Мои хозяева оставили газету на столе. Я прочло об этом. И я ведь висело против окна и все отражало. Я могло бы быть свидетелем исчезновения, но мы не храним отпечатки...

— Не надо, не надо об этом, — залепетали зеркала.

Дядя Свист продолжал:

— Девочка шла по улице с няней, одиночество пролетело... Ребенок исчез навсегда. Няню тоже судили и отправили на каторгу. Прислуга потом говорила, что няня там умерла.

— А что ему надо? — спросило Среднее с пятнышком.

— Ему нужно самое лучшее. Оно то, что берет навеки и никогда уже не отдает.

— У него много имен, — откликнулся Гений.

— Зависть к живому, — пояснил Дядя Свист.

— Смерть? — бесстрастно спросило Кривое з. с пятнышком.

— У него много имен, тебе сказано, — повторил Дядя Свист.

— Мы не должны ничего запоминать,— громко произнесло Псише.— Нас ничего не касается.— И добавило ядовито: — Дядя Свист, мало тебе одного пятна?

Но Дядю Свиста было уже не остановить:

— Ты, Гений, я что-то слышал о тебе.

— Да,— откликнулись из угла.

— Я слышал о тебе примерно в то же время. Что только ты один мог... В тот самый момент...

— Да,— прозвучало снова.

— А где ты был?

— Меня отдали в ремонт и положили лицом вниз.

— Понятно,— задумчиво сказал Дядя Свист.— Погоди. Ты был на «Титанике»? Когда Одиночество налетело на корабль?

— Нет, я был далеко.

— Хотя да, если бы ты там был... Тебе что-то вообще удавалось?

— Не думаю. Не уверен.

— Ты не хочешь говорить. Да? — Молчание было ответом.

— Конечно, если тебе удавалось кого-то спасти, то спасенные так и не узнали, что им угрожало. Погоди, но ведь ты тоже должен был бы погибнуть?

— Примерно так,— еле слышно откликнулся Гений.

— Но ты здесь. Значит, ты никого не спас.

Что-то неразборчивое прошелестело в углу.

— Что ты сказал? Меньше? — переспросил Дядя Свист.— Ты становился меньше?

Гений не отвечал.

— Мы зеркала,— произнесло Псише как заклинание.— Мы отражаем, и мы ничего не пропускаем внутрь. Мы ни на что не реагируем.

Прошел бездомный старик с большими сумками. Он еле волок свои истощенные ноги. Зеркала подробно его проводили к ближайшей помойке и отпустили с миром.

— Маленькое трусливенькое,— сказал Дядя Свист неизвестно кому.

Вскоре началось представление под названием «Восход солнца», и вся сияющая компания за стеклом витрины дружно отпраздновала это событие, чтобы затем провести сеанс под названием «Утро городской улицы».

— О, если бы мы могли записывать все что видим,— мечтательно произнесло Кривоватое зеркало,— а затем воспроизводить запись... Как это было бы полезно!

— Конечно! — встрял Дядя Свист.— У тебя все башни пизанские! Все люди косые инвалиды! Мастер кривых полурож!

— Это юмор или ты не соображаешь? — возразило Кривоватое,— это мой тип отношения к жизни. Я все вижу слегка не так. А вот Большое зеркало — оно очерняет действительность. У него темные пятна! А Гений вообще ничтожество, у него и собственного взгляда нет.

И потекло обычное заседание Отражателей Реальности, перекрестные обвинения, слово для защиты, попытка примирить стороны... Но внешне все выглядело очень достойно — зеркальный блеск, движение улицы, повторенное до тридцати раз, никому нет отказа, каждый прохожий имеет право видеть себя, а для цветowych эффектов мимо проезжают разнообразно окрашенные машины.

И вдруг все прекратилось. Зеркала временно ослепли, изображения на них смазались, стерлись, превратились в ничто. Никто этого не заметил, кроме самих зеркал.

Псише сказало:

— Оно ищет.

Кривоватое з., оскорбленное всем предыдущим разговором, лягнуло:

— Оно ищет, наверно, Рыжую Крошку.

— Ты! — прикрикнул на него Дядя Свист, но было уже поздно. Невидимое придвинулось. Снова как вазелином мазнули по стеклу. Потом все восстановилось. То невидимое, что уничтожало изображение в зеркалах, оно не могло, как видно, долго стоять на месте.

\* \* \*

Стало быть, начались новые времена.

В округе шныряло голодное Одиночество, и нельзя было вслух произносить имени Рыжей.

Все обрушились на Кривоватое зеркало, которое от обиды хихикало и притворялось дураком.

— А пчу? А пчему нельзя ее называть? А если я хочу? У нас свобода слова! Террористы вы!

Пока наконец Дядя Свист не сказал:

— Оставьте его в покое. Кривое не такое дурное, как кажется.

— Прямо, — на последнем взлете гордости возразило Кривое, однако замолкло наглухо.

— Оно караулит, оно караулит, — все равно шелестели ему зеркала. — Не надо, не надо было произносить...

Кривое наконец запотело и потекло слезами.

И тут, в самый разгар трагедии, из дверей магазина выскочила Рыжая Крошка, трясая своими темными кудрями.

На ней была клетчатая школьная юбка, короткий пиджачок и новые огромные ботинки, которые делали ее похожей на длинноногую муху.

Псише с удовольствием повторило этот незабываемый образ в полный рост (Рыжая Крошка всегда охотно ему позировала), а остальной зеркальный хор подхватил сюжет, и его участники воспели кто что мог — кто подошвы, кто пиджак, кто скрипку, разложив ее на десять граней.

Гению обычно доставалось откликнуться на нижнюю часть нот — но на сей раз только край кубочки трепыхнулся в нем и исчез.

Крошка помахала деду сквозь витрину (целые россыпи розовых верев отразились в зеркалах) и помчалась со своей скрипкой в школу.

От волнения зеркала немного дрожали (или это прогрохотал мимо очередной мусороуборочный танк).

И тут опять наступила слепота, которая длилась мгновение.

Это Одиночество просквозило мимо в своих жадных поисках.

Оно имело возможность найти жертву в любом месте, в том числе и здесь — и витрина ничего не смогла бы с этим поделаться, однако зеркала трепетали. Кривое з. плакало уже откровенно (жалело себя).

И в этот момент прозвучало:

— Рыжая Крошка прекрасней всего, что есть на свете!

Они все едва не раскололись от ужаса.

— Кто? Что? Зачем? — зазвенели стекла.

— Дурак! Гений идиот! — рявкнул Дядя Свист.

— Ни Венеция, ни Венера, ни Нефертити, ни все красавицы мира, ничто не сравнится с Рыжей Крошкой!

Это вещал Гений. Это говорил он, тихоня, вечный молчальник.

— Зачем,— тоскливо забормотали зеркала.— Не надо, не надо произносить!

— Она скоро появится здесь, потому что, по-моему, она забыла ноты! — Продолжал Гений своим громким глуховатым басом.

— О, о — зачем — предатель — молчи дурак убьем — что ты делаешь — вот вам и Гений — а вы валили на меня — а я всегда знал что он такой — он сошел с ума! — звенело в витрине.

— Она скоро вернется! — трубил Гений.

Дважды промелькнуло взбудораженное Одиночество, дважды все погружалось в мгновенный сон.

— Вот она идет, я сейчас ее отражу! — из последних сил крикнул Гений. Он весь дрожал. Стекло витрины звенело.

— Гений, это злодейство,— перебил его Дядя Свист.— Это предательство!

— Вот она! Смотрите! Вот! Тут! — хрипел Гений.

В этот момент Одиночество всей своей безымянной массой встало в зеркалах витрины, и даже как бы нагнулось всмотреться, откуда идет этот голос,— и жизнь ушла, как бы выпитая со стеклянных поверхностей. Не было ничего.

\* \* \*

Однако настало время, и зеркала стали оживать. В них снова заиграл свет, снова отразились машины, люди, облака.

Крошки не было. Она исчезла.

Зеркала всё поняли.

Они запотели, по их стеклам, драгоценным, старинным, поплыли дорожки слез. Жизнь затуманилась, перестала двигаться и сверкать. Порча надвигалась на хрусталь, на деревянные резные рамы. Старые зеркала источали влагу.

В витрину изнутри заглянула встревоженная Кувшиня, позвала хозяина, они вдвоем стали выносить зеркала в дом, потом пытались заделывать какие-то подозрительные щели в оконном стекле.

Зеркала неудержимо плакали. Кувшиня протирала их, выжимала тряпочку и снова протирала — и все без толку.

Пока вдруг у витрины на улице не остановился хрупкий силуэт, осененный кучей темно-красных кудрей, и пять длинных пальцев не выбили на стекле легкую дробь!

— Деда! Привет! Че случилось? Кувшиня, что с тобой?

— Не Кувшиня, а Графиня, — привычно поправил ее дед.

Зеркала тут же быстро просохли, опомнились, у них закружились от счастья отражения — вот потолок магазина, вот стены, битком забитые шкафчиками и полками со всякой ерундой, вот дорогая Графиня, вот любимый хозяин, который радостно машет в сторону двери, вот принцесса Рыжая Крошка, которая ворвалась в магазин со своей скрипкой и завопила:

— А я ноты дома забыла! Играла по памяти!

Графиня ахнула:

— На экзамен без нот??? Сумасшедшая!

— Три с плюсом! Вот! Закончила, всё! Ура!

— Жива, жива, — пели зеркала. Все, кроме одного.

Гений остался лежать в своем углу кучкой пепла с крошечным кристалликом внутри.

Вскоре переселенцев протерли насухо и повесили по местам.

Там-то все и обнаружилось.

Большое Псише сказало, как отрубило:

— Гений не выдержал своего предательства.

— Да, да, — откликнулись, сверкая от счастья, остальные.

Ведь произошло чудо — о них позаботились, их приглашали в гости в дом, целое приключение!

А Дядя Свист после долгого молчания вдруг сказал:

— Ну нет. Ну уж нет.

— Что — нет? Да и да! — решительно ответило Псише.

— Я говорю нет, не предательство.

— Докажи! — вякнуло Кривое з. У него снова появилось право голоса. Рыжая Крошка спаслась!

— Гений остановил его. И погиб. Уменьшился до точки.

— Остановил — кого? — спросило Кривое з. недоверчиво. — Мы, зеркала, вообще можем останавливать всех прохожих.

— Он остановил того, у кого много имен, — отвечал Свист. — Поймал его на приманку. Заставил стоять и смотреть. Заставил отразиться в себе.

— Подумаешь! Все останавливаются и смотрят. Я тоже могу заставить любого! — не унималось Кривое з.

— Тот, у кого много имен, должен быть все время в движении. Таков закон. Он налетает как вихрь и не останавливается.

— Гений был такой маленький, он бы не смог поймать Одиночество — возразило Псише. — Даже я не в силах был бы его отразить полностью. Есть, конечно, очень большие зеркала... В Зимнем дворце... Да и то сомневаюсь.

Все уважительно закивали. Царские дела!

— Гений знал свою силу. Он уже не раз использовал ее, и потому стал таким маленьким. А тут он отразил того, у кого много имен, и совсем погиб, — продолжал Дядя Свист. — Помните, он сказал: «Я могу остановить»?

— Мало ли кто что говорит! — ядовито ответило Кривое з. — Я тоже много чего говорю, но это ведь ничего не значит! У меня, ребята, не было никакого желания предавать Рыжую Крошку! Так просто, на язык попало! Я и лягнуло! А вот Гений — это да... Он специально!

— Он неоднократно спасал, я теперь понял. И теперь исчез, — настырно твердил Дядя Свист.

Все на всякий случай закивали, но они быстро должны были обо всем забыть. Зеркала, они такие!

А Гений, обратившийся в тусклый холмик стеклянной пыли, лежал в витрине.

Дядя Свист потом молчал целую неделю.

Что может зеркало? Поплакать, и всё.

Семь закатов, шесть рассветов встретили и проводили бедные зеркала, и несчетное число машин и прохожих отразили.

Кучка пыли и есть кучка пыли.

Так все и оставалось до первой уборки, и Кувшиня вымела непрошенный мусор веником на совок, удивившись при этом, как этот пепел попал в витрину, если здесь убирают каждую неделю.

Про Гения она не вспомнила.

Затем путь его был таков: Кувшиня понесла пыль прямо в совке в бак для мусора в подворотню, но тут закрутилась маленькая буря, и с совка все смело подчистую.

Крошечный кристаллик взметнулся вместе со стеклянной пылью и улетел.

Кувшиня пожала плечами и удалилась в магазин.

Облачко пыли полетело над улицей и было втянуто вентилятором в некоторое помещение, где работал стеклодув.

Там мастер как раз собирался варить стекло.

Облачко пыли остановилось около мастера, и тут мастер громко, из глубины души, чихнул — и пыль, бешено закрутившись, осела в емкость, где уже было все приготовлено. Последним, упав, тонко звякнул некий кристаллик — а мастер зажмурился, никуда не глядя и ничего не видя, и тут же загрузил емкость в печь.

И в результате три часа спустя он неожиданно для себя сварил ровную, как зеркало, плитку хрустального стекла.

Ему редко выпадала такая удача. Почти никогда.

Оставалось нанести на поверхность серебра, так называемую амальгаму — чтобы зеркало могло отражать мир.

Мастер покачал бородой и ударил себя кулаком по колену, так он был доволен!

Стекло и серебро — вот и засияло новое зеркало.

Это было новое зеркало, разумеется. Но оно было какое-то странное. Темное и глубокое, как старинное.

Квадратное и немаленькое. Тяжелое.

Его непонятно почему купил один суровый старик, по профессии главный врач, и повесил в раздевалке своей детской поликлиники.

Там оно отражает бегающих детей и солидных подростков, а также младенцев, их курточки, шапки, щеки, носы; в зеркало также озабоченно заглядывают мамы.

И когда-нибудь туда обязательно придет одна рыжая молоденькая дама с младенчиком...

Зеркало знало, что эта встреча произойдет зимой, на Рождество, и в вестибюле будет стоять нарядная елка, и всем будет некогда — но детей надо же приносить к врачу, когда им исполняется ровно месяц. Так полагается! Хотя бы просто чтобы показать, что у нас растет за чудо.

И Рыжая Крошка остановится перед отражающим стеклом, стараясь одной рукой поправить кудри (другой рукой она будет крепко держать совсем маленького человека).

И зеркало радостно засияет.

## Маленькое и еще меньше

Маленький человек гулял за городом и размышлял, что ему незачем жить. Все его обижают, все считают его уродом. У него нет друзей! Никто не любит его (мама не считается).

Он думал, что наступит вечер, и надо будет незаметно броситься в пруд. Покончить с этим страданием. Он уже нашел подходящий водоем и расположился неподалеку, ожидая темноты.

И вдруг маленький человек увидел Дюймовочку.

Только такой маленький человек мог заметить эту крошку. И спасибо, что он лежал лицом вниз и готовился к самому худшему в своей недолгой жизни, то есть не смотрел по сторонам.

Да и он едва смог ее разглядеть, она сидела на какой-то травке как на бревне, закрыв ручками лицо. Видимо, она плакала. Но маленький человек не мог точно рассмотреть, плачет ли она.

Маленький человек встал на колени, осторожно вынул из кармана платок, расстелил его перед Дюймовочкой и пригласил ее сесть на это огромное белое поле.

Его голос прогрехотал как гром.

Дюймовочка отказалась, замахала крохотной ручкой. И снова закрыла лицо.

Маленький человек тогда подумал угостить Дюймовочку ягодой и сорвал для нее землянику — Дюймовочка до нее бы не допрыгнула. Ягодка росла на стебельке, а для Дюймовочки это было целое дерево!

И ягода была тоже велика для нее, как арбуз для маленького человека.

А уж рука маленького человека и вообще каждый его палец могли показаться ей чуть ли не с бревна.

Маленький человек осторожно положил огромную ягоду на белый платок.

Она красовалась как арбуз на скатерти.

Дюймовочка не притронулась к землянике, она плакала, закрыв лицо руками. Теперь это было понятно.

— Что я могу для вас сделать? — прогремел как гром голос маленького человека.

Дюймовочка долго не отвечала. Маленький человек тоже осторожно молчал, не хотел ей мешать думать.

Наконец она закричала тонким голоском:

— Мне надо в теплые края!

Маленький человек прогрехотал:

— А как?

Дюймовочка ответила как можно громче:

— Я заблудилась! Меня ждет ласточка, а я не могу ее найти. Она там, наверху, летает.

Маленький человек задрал голову и увидел множество ласточек в небе, они носились далеко в вышине, еле видимые.

Вечернее небо было розовое, и черные крошечные ласточки с большой скоростью рассекали это огромное пространство на невероятной высоте.

Как Дюймовочка собирается сесть на ласточку?

Это же невозможно! Они ее просто не видят!

И потом, ласточки никогда не садятся на землю. Они же не куры и не вороны и даже не воробьи! Они птицы воздуха!

Но маленькому человеку очень хотелось помочь несчастной крошке Дюймовочке.

Маленький человек хотел сказать: «Давай я подниму тебя в небо», но потом раздумал: мало ли, поднимешь ее на ладони, налетит ворона и склюет.

Ласточки-то высоко, пока нужная ласточка заметит Дюймовочку, должно пройти время, а вороны вот они, пешком ходят и вообще сидят близко. Насторожились.

Нет, так не годится.

— Мне нужны крылышки! — завопила еле слышно Дюймовочка. — Вы понимаете? Крылья!

Маленький человек стал оглядываться и заметил белую бабочку как раз с подходящими крылышками. Она финдиляла с цветка на цветок.

Но что теперь, хватать бабочку своими огромными пальцами? Отрывать у нее крылышки? Убивать бедную? Да Дюймовочке эти вырванные с мясом крылышки не пригодятся! Она — даже если возьмет их в руки и начнет ими махать — она никогда не взлетит. Это же глупость!

— Давай пойдем ко мне домой, — захохотал голос маленького человека, — я тебе там устрою домик с кроваткой. У меня мама очень добрая.

И он чуть не заплакал, вспомнив о том, что собирался ее покинуть навеки. И не подумал о том, как маме будет без него плохо. «Болван, просто болван ты», — сказал себе маленький человек.

— А моя ласточка? Как меня найдет ласточка? Она ведь меня ищет! — прокричала Дюймовочка и, по всей видимости, опять заплакала. Во всяком случае, она закрыла лицо ручками.

Что же было делать?

— И потом, — вдруг завопила Дюймовочка, — там меня ждет мой принц! Мне надо лететь! Надо успеть!

Действительно, маленький человек вспомнил ту детскую сказку. Дюймовочка должна прилететь в страну эльфов!

Солнце уже склонялось, оставлять эту малютку на ночь тут, на опасном месте, не хотелось. Просто нельзя было!

— Идем ко мне домой, а завтра опять я тебя сюда принесу, — тихо, как можно тише сказал маленький человек, но голос его прогремел опять как гром.

— Не надо! Не надо! — заплакала Дюймовочка. — Меня не найдет ласточка! Мне надо вылетать сегодня!

— Что же, как же, каким образом тебе помочь? — как можно тише пробормотал маленький человек.

— Ты крикни: «Ласточки! Ласточки! Найдите ласточку Дюймовочки! Дюймовочка ищет ее рядом с этим великаном!» Так крикни! Будь добр!

Маленький человек гаркнул изо всей силы:

— Ласточки!

Ласточки носились, посвистывая, высоко в вечернем небе.

— Еще раз, — пискнула снизу Дюймовочка.

Маленький человек, напрягаясь, заорал еще раз:

— Ласточки! Найдите ласточку Дюймовочки!

Ребята, которые гоняли мяч у пруда, прислушались и заинтересовались.

Маленький человек боялся их. Они его дразнили и иногда швыряли в него камнями. Некоторые дети, думал маленький человек, не понимают страданий других людей, хромых, безруких, слепых и неходячих, им смешно при виде чужих болезней, они чувствуют себя гораздо сильнее при виде слабых и обездоленных, и им хочется проверить границы своей силы. То есть иногда бывает, что им хочется уничтожить все непохожее, все беззащитное. Во всяком случае, хотя бы поглазеть, показать пальцем и посмеяться.

Маленький человек испытал это на себе, он был совсем небольшой, непохожий на других, ростом с ребенка, и некоторые дети — да и взрослые — когда никто не видел, хотели его поймать, поиграть им и попробовать сломать, как чужую брошенную игрушку. Они не понимали, что он тоже человек.

Но сейчас ему было страшно не за себя.

Ребята кричали уже поблизости. Они подхватили свой мяч и двинулись по полю целой стаей.

Вот-вот они могли подойти.

Маленький человек присел около Дюймовочки и прошептал:

— Ласточки меня не понимают. Твои ласточки не снижаются!

Тогда Дюймовочка крикнула:

— А ты посвисти.

И она что-то там выдула из своего крохотного ротика.

— Повтори, — сказал маленький человек и лег ухом поближе к Дюймовочке.

Она посвистела что-то похожее на песенку «баю-баюшки-баю».

Дети орали друг другу какие-то пакости, заранее смеясь, и шли убыстренными шагами. Они приближались.

— Ну повтори, я не слышу, как ты свистишь, — тихо произнес маленький человек.

И тут он услышал треск!

И немедленно кто-то вцепился ему в ухо, но не как хватаются ребята, а как своими мелкими острыми лапками корябает жук.

Маленький человек испугался и хотел было схватиться за ухо и стряхнуть жука, но Дюймовочка закричала:

— Моя ласточка! Ой! Сейчас! Сейчас!

И она вскочила на ножки, протянула ручки и полезла сначала по толстым пальцам маленького человека, а потом по его огромной руке, она бежала как могла быстро, домчалась до рукава и поползла по рукаву маленького человека наверх, к сидящей на его макушке ласточке.

Ласточка цеплялась одной лапкой за его ухо, второй закрепилась в его волосах. Она покачивалась, вот-вот готовая слететь при первой же опасности.

Потому что уже слышался топот мальчишек, их возбужденные крики и ругань.

Маленький человек хотел вскочить и убежать с Дюймовочкой на рукаве (она уже карабкалась близко к воротнику), но не мог — во-первых, они бы его догнали сразу и повалили бы, а во-вторых, ласточка бы улетела. А так она терпеливо сидела и пока что ждала, взмахивая крылышками и уцепившись одной лапкой за волосы маленького человека, а другой за его ухо.

— Это этот! Лилипут! — кричали мальчишки довольно близко. — Че, он сбежал из цирка? Че он сбежал, надо его поймать! Ща поймаем! По шее ему! Чтобы не бегал!

Голоса их слышались явственно.

— Вон он, тут, я вижу, лови его!

Дюймовочка не успевала добраться до ласточки, а маленький человек не мог пошевелиться, чтобы не спугнуть ласточку.

— Гля, на нем на башке сидит воробей! Смотри! — завопил кто-то рядом.

Они засмеялись, громко и возбужденно.

И тут маленький человек посвистел то, что просвистела ему Дюймовочка. Он запомнил этот короткий мотив, эту маленькую песенку Дюймовочки. Фью-фью-фиии!

То есть: ласточка, ко мне!

Ласточка встрепенулась, быстро-быстро опустила коготками по шее маленького человека, стараясь приблизиться к Дюймовочке, но подбежали мальчишки — и она вылетела прямо из их протянутых рук.

Маленький человек упал ничком, свернувшись, и лежал тихо на своем платке. Руками он защищал голову. Так он делал обычно, когда на него нападали. Перед его глазами темнела раздавленная ягода земляники, как большая капля крови на носовом платке.

Ласточка улетела, усвистела вверх.

Но Дюймовочка должна была еще ползти по рубашке. Она не успела добраться до ласточки.

— Он лежит, — крикнул другим подбежавший мальчик. — Че ты лежишь?

— Я сломал ногу, — прогрохотал маленький человек.

— Че? Че он сказал? Пищит что-то...

— Я сломал ногу, — закричал маленький человек.

— Поймал что?

— Ногу! Он поймал ногу! — засмеялся еще один мальчишка.

— Позовите мне доктора! — громко-громко сказал маленький человек.

— А че? Кого ему позвать? По морде ему дать, во!

— Видите, у меня сломана нога. Помогите мне. Воды, воды! Мне нужен врач. Помогите мне срочно!

Маленький человек знал, что дети не будут ему помогать и тем более не станут искать доктора в чистом поле. Им это скучно и неинтересно.

Мальчики постояли, один из них дернул маленького человека за ножку.

— Эта нога?

Потом он наступил ему на другую:

— Или эта? — Все заржали.

Кто-то пнул его в бок. Маленький человек не шевелился. Он закрыл глаза и лежал как мертвый.

Тут закричали с пруда:

— Это ваш мяч? Его взяли!

Ребята в ответ засвистели и помчались с криками и руганью. Но кое-кто еще остался.

Маленький человек затаился, окаменел.

Дюймовочка тоже затаилась, видимо. Ее не было видно мальчишкам. Иначе бы они ее растоптали.

Дюймовочка, наверно, спряталась за его воротником.

От пруда доносились какие-то крики и споры.

Те двое, которые еще стояли около маленького человека, заорали, наскоро пнули лежащего еще по одному разу и побежали.

Подождав несколько минут, маленький человек осторожно спросил:

— Дюймовочка, ты где?

— Я тут, — ответила она близко у его уха.

— Топни по мне ножкой! — велел маленький человек.

И тут же он почувствовал, как что-то шевельнулось в его воротнике.

— Сиди там. Я сейчас встану.

Он осторожно, держа ладонь у воротника, сел.

— Держись? — прошептал он как можно тише в сторону своего воротника.

— Не дуй так сильно, меня унесет, — ответила Дюймовочка.

— Садись ко мне на ладонь.

— А где это?

— Вот, посмотри. Я поднесу свою руку к тебе, к воротнику, и шевельну пальцем.

— Осторожно! — запищала Дюймовочка. — Ты сейчас меня задавишь этим бревном.

Наконец он почувствовал, что Дюймовочка забралась к нему на ладонь.

Он на нее не смотрел, не поворачивал к ней своего огромного глаза, чтобы не испугать ее.

Он вытянул перед собой руку.

Дюймовочка, в розовом платьице, в розовых башмачках и сама вся розовая, с блестящей короной на голове, сидела в его огромной ладони. На короне у нее горели мелкие розовые бриллианты.

Или это ее так освещало красное заходящее солнце.

— Свисти! — приказал ей маленький человек.

Дюймовочка как-то поднатужилась, сунула в рот пальчики и тихо-тихо свистнула.

Тут же ласточка присела рядом с Дюймовочкой, и та стала карабкаться вверх, цепляясь за ее огромные перья.

А мальчишки с гиканьем, очень озабоченные, уже бежали к маленькому человеку. Они гнали перед собой отвоеванный мяч.

Видимо, они издали следили за своей жертвой.

— Ты че? Ты че? Че он? Почему воробей-птица сел? А ну дай! — вопили они, протягивая руки и подбегая.

Маленький человек не мог пошевелиться.

Дюймовочка была ужасно медлительной, еле-еле ползла по блестящим перьям ласточки.

— Цап! — заорал подбежавший парень, но маленький человек крикнул:

— Ложись! Бомба!

Малый оглянулся, и в этот момент ласточка взлетела. Неуклюжая Дюймовочка опять не успела забраться и упала на ладонь маленького человека. Он быстро-быстро сунул ее в нагрудный карман своей рубашки.

— Где бомба? — угрожающе спросил парень. Ты че?

— Какая бомба? — удивился маленький человек.

— А вот сейчас я тебе дам, — заорал парень, — че ты тут выставляешь? Бомба еще.

— Я из цирка, ты знаешь цирк? — громко сказал маленький человек (это было его мечтой, выступать в цирке). — Приходи вечером на представление. Ты, вот ты. Как твоя фамилия?

Парни смотрели на него, медленно соображая, что к чему.

— Я дрессировщик ласточек,— продолжал врать маленький человек.— Приходите вечером в цирк, я оставлю ваши фамилии на входе, вы пройдете без билетов на верхние места.

— Че? — спросил самый страшный из ребят.— Че он триндит? Ты че, по шее захотел? В глаз?

— Как фамилия твоя? — не унимался маленький человек.

— Ну... Бябякин. Быбыкин! — Все заржали.

— Так. Бябякин. А твоя?

— Пискин!

Они хохотали, окружив маленького человека.

— Вы что, не хотите вечером в цирк? Там выступают слоны, клоуны... Тигры. Бябякин, хочешь? На слонов посмотреть?

— А че? Какие? Ты кто?

— Билет в цирк хочешь?

— А че?

— Ну вот,— сказал маленький человек,— если вы хотите попасть в цирк, отойдите и садитесь. И тихо смотрите. А то мои ласточки, они хоть и дрессированные, но они боятся людей. Сейчас будет репетиция.

— Че? — спросили подошедшие новые парни.— Кто? Че он шепчет?

Маленький человек строго сказал:

— Сидеть!

Главный, Бябякин или Быбыкин, оглянулся и что-то, усмехаясь, сказал парням. Это были огромные дети, лет по двенадцать—четырнадцать. Они послушались его и сели один за другим. Они тихо пересмеивались.

Маленький человек сунул руку в нагрудный карман, тихим шепотом велел Дюймовочке забраться на ладонь. Почувствовал легкое щекотание и вытянул полузакрытый кулак с Дюймовочкой внутри из кармана. Потом он поднял руку и приоткрыл ладонь.

— Свисти! — велел он тихо.

Это был смертельный номер. Парни напряглись, как собаки на охоте. Они могли раздавить Дюймовочку в одну секунду.

Но они не различали Дюймовочки. Она же была в розоватом платье и сама розовая, такая же как ладонь маленького человека.

Опять зашекетало в ладони. Дюймовочка, видно, точно так же как раньше, сунула два пальца в рот и засвистела что есть мочи.

— Гля! — крикнул один из ребят.— Птица летит!

— Тише,— сказал им маленький человек,— сидите, смотрите и не шевелитесь. Сейчас будет фокус.

Тут же ласточка села на руку маленькому человеку. Он стоял неподвижно, строго, как учитель, глядя во все глаза на парней. Те сидели

молча и выгаращившись, только один парень рылся в кармане штанов. Он доставал, как понял маленький человек, рогатку.

— Это все убрать,— сказал маленький человек железным тоном.— Рогатку убрать.

Парни шевельнулись и покосились на своего товарища. Тот уже держал рогатку обеими руками. Доставал теперь из кармана что-то, возможно, камень.

Парни шарили вокруг себя. Один нашел довольно большой голыш.

Дюймовочка, растяпа, опять никак не могла забраться на ласточку. Маленькое, слабое существо с крошечными ножками.

— Если он не уберет рогатку, я не оставлю вам билетов. А сегодня вечером будет выступать самый большой силач мира Али Хан. Он поднимет две машины.

Парень, однако, натянул рогатку.

Никто не слушал маленького человека. Здесь, на поляне, они сами были силачи и самые сильные в мире. Они сами могли растоптать маленького человека и его птицу. Зачем им нужен был Али, поднимающий две машины! Тут было интереснее!

Все смотрели то на парня с рогаткой, то на маленького человека и старались не хохотать слишком откровенно, им было дико интересно и смешно, как от щекотки. Они буквально давились от смеха. Они, однако, понимали, что так поступать нельзя! И тем более это им втайне нравилось. Они, опустив головы, оглядывались по сторонам, не видят ли кто из взрослых их преступную затею.

Но никого не было.

Парень приладил камень к рогатке, натянул резинку.

Дюймовочка все щекотала ладонь маленького человека, все забиралась на ласточку. Та терпеливо ждала, присев как верховая лошадь.

Парень выстрелил и попал прямо маленькому человеку в лоб, немного погодя тот почувствовал, что полилась кровь.

Все заржали, завозились.

Многие шарили вокруг себя в поисках нового камня.

Но маленький человек даже не вскрикнул, боясь спугнуть птицу.

Тем временем другие ребята тоже полезли в карманы, доставая рогатки. Раз это можно, то почему и не пухнуть?

Они, опустив головы, ржали до слез. Один прямо упал и стал дрыгать ногами, показывая рукой на истекающего кровью маленького человека.

Стон стоял всеобщий.

— Целься в него, в него,— говорили они друг другу.— В воробья. И в глаз ему, в глаз! Лилипуту!

Следующий камень угодил маленькому человеку в шею.

— Слушай мою команду! — сказал маленький человек, не пошевелившись от нового удара. Камень вспорол ему кожу, но не слишком больно. — Стрелять надо всем вместе, залпом. Так... Приготовились... Нет. Ты, вот ты! — закричал маленький человек. — Ты почему не готов! Натяни свою рогатку! А ты? Пискин!

Все опять повалились на траву, дрыгая ногами. Они кричали:

— Ты Пискин, Пупискин!

Потом они стали подниматься на ноги и образовали круг.

Маленький человек громко и очень ясно сказал:

— Он целится в тебя сзади, смотри! Сейчас он разнесет тебе голову! Он сейчас пульнет в тебя, тот, сзади. Смотри!

Бябьякин обернулся, увидел стоящего позади Пискина и дал ему в лоб кулаком. Тот ответил ногой. За Бябьякина вступились двое, остальные начали колотить тех, кто им был ненавистнее (так это выглядело).

Слышалось пыхтение, топот и крики.

Пока они выясняли кулаками, кто прав, неуклюжая Дюймовочка забралась на ласточку.

Видимо, та поняла, что дело сделано, и встала в полный рост, выпрямив лапки (маленький человек не видел ничего, он стоял с поднятой рукой, тем более что кровь теперь заливала ему глаза), а потом ласточка с силой оттолкнулась от ладони маленького человека и, царапнув его коготками, подскочила и унеслась.

Маленький человек с трудом встал на ноги, поднял с земли платок, вытер им кровь с лица и с шеи, отряхнулся, глядя на дерущихся, и неторопливо пошел прочь.

Солнышко почти садилось, где-то в вышине улетала на ласточке Дюймовочка, парни же не на шутку разодрались, но это уже было их дело.

А на завтра маленький человек решил пойти в цирк и попроситься там на работу.

Он уже давно хотел быть уборщиком у слонов, но его не взяли из-за малого роста, посмеялись над ним. В цирке люди простые и прямо называют вещи своими именами. Они сказали ему, чтобы он валил домой, у них не лилипутский цирк!

Но теперь маленький человек запомнил Дюймовочкин свист, которым она подзывала ласточек. Он мог бы показывать этот номер — как ласточки садятся к нему на ладонь.

Правда, для этого надо бы было ловить ласточек и держать их в клетках — но на это маленький человек, это сразу было понятно, никогда бы не согласился. Он слишком полюбил ту ласточку, которая доверчиво сидела у него на голове. Хотя он ее так и не увидел вблизи.

Он теперь собирался предложить цирку номер на вольном воздухе — как он, маленький человек, стоит один среди толпы в центре пло-

щадки высоко над городом, как он свистит еле слышно, и к нему на ладонь садится птичка, которая никогда ни к кому не сядет!

Но рогатки! У людей могли быть рогатки!

Тогда надо было бы просить, чтобы зрители, выйдя из цирка на ту поляну, крепко взялись бы за руки. Тогда ни один не полез бы в карман за рогаткой.

Погодите, а если дождь? В дождь ласточки не летают и люди не стоят на улице, взявшись по-глупому за руки!

Маленький человек, идя по огромной поляне, освещенной низким вечерним солнцем, хотел уже сейчас свистнуть тем особенным свистом, которому он научился от Дюймовочки, и посмотреть, что из этого выйдет,— но потом он передумал, сообразив, что а вдруг та улетевшая ласточка услышит (у них очень хороший слух) и вернется с полдороги и опять сядет ему на голову со своей недотепой Дюймовочкой!

Он решил подождать до завтра.

Завтра ласточка с Дюймовочкой уже будет очень далеко, на пути в теплые края.

Какое счастье, что они спасены, думал маленький человек.

Вот я молодец, думал маленький человек впервые в жизни.

Мама часто говорила ему, что он молодец, но он не верил. Потому что мама его любила как никого в своей жизни и поэтому считала, что он добрый, умный и красивый и молодец.

Все мамы такие.

Поэтому маленький человек не верил в мамины слова.

А вот теперь поверил.

Он маленький, но мало ли маленьких в мире! И кошки, и собаки, и младенцы, и птицы еще меньше его. А бабочки? И все они живут и хотят добра. И им можно помогать и их защищать.

А кто помогает другим, становится больше и сильнее. Это проверено.

Надо стать птичьим доктором, решил маленький человек. Вот закончу школу, думал маленький человек, и буду врачом. Буду лечить орлов и сов, и даже ворон, не говоря о попугаях и соловьях, а уж ласточек особенно! И маленьких колибри, колибри!

И он, высоко подняв голову, пошел домой к маме.

Она же, открыв ему дверь, удивленно воскликнула:

— Господи! Как же ты вырос! Что такое творится!

И заплакала.

# НАСТОЯЩИЕ СКАЗКИ

## Новые приключения Елены Прекрасной

Как известно, раз в тысячелетие рождается Прекрасная Елена, и в ту ночь, когда она должна была выйти из морской пены на берег, в данной приморской местности на одном из прилавок появилось зеркальце с некоторым свойством: кто отразится в нем, того перестанут замечать.

Зеркальце приготовил местный волшебник, пьяница и хвастун, который много думал ночами о судьбах мира, читал старые газеты и книги, паял, точил, клеил, смотрел на звезды и точно рассчитал время появления Елены Прекрасной.

Сам волшебник женщин не любил (так же как и мужчин), он уважал только слабых стариков, старушек и больных детей, несмотря на их капризы и скверные характеры, и вот о них-то он и заботился, соорудив волшебное зеркальце для Елены Прекрасной: как известно, если идет война, то прежде всего гибнут именно старики и дети.

А с появлением Елены Прекрасной, это тоже широко известно, каждый раз начинались долгие и жестокие войны, не говоря уже о неприятностях типа исчезновения целых народов.

И волшебник, потратив целый год, выточил из хрусталя сверкающее зеркальце, покрыл его с одной стороны жидким серебром — и не посмотрелся в него сам ни разу, а отразил (без спросу) в этом зеркале один памятник в центре города, и о памятнике забыли в тот же момент.

Он исчез, никуда не исчезнув. Его просто перестали замечать.

Правда, утром, на трезвую голову, волшебник кое-что еще подклеил, подпил и напоследок капнул из черной бутылочки на зеркальную поверхность.

Это было дополнительное свойство — если зеркальце разбить, то предмет снова становится заметным.

В глубине души волшебник был добрым, но его так раздражало человечество, что он иногда на всю улицу орал, топал ногами и махал руками — последний раз это произошло, когда у бедной дурочки сгорел домик.

Прибжавшие на пожар соседи вытащили дурочку из пламени, поскольку она твердо решила не расставаться со своим диваном.

А пока одни соседи воевали с огнем, другие втихаря на огорожке собирали урожай с яблонь и слив (все равно испечется в пламени) и попелетаскали корзинки к себе в клети, клуни, хламовницы и чуланчики.

Причем волшебник никак не помог бедной дурочке.

Волшебник — не благотворительная организация и не Красный Крест, чтобы немедленно приходить на помощь.

Он не занимается мелочами.

Пусть эти люди сами себя отпевают, считал он.

Дурочка тоже была не слабого десятка и неоднократно колотила свою старую тетку, живущую напротив, и никто не вмешивался.

И вот погорелая дурочка весь день, голодная, просидела на траве около своего обугленного домишки, а к вечеру одна добрая женщина опомнилась и позвала ее поесть, а на ночь дурочка постучалась в дом своей старой тетушки, которая не забыла, что ее неоднократно колотили и ругали в прежние дни, так что тетушка боялась племянницу как огня в свои восемьдесят пять лет и старалась держать дверь на запоре.

Но тут тетушка открыла дверь и впустила к себе глуповатую племянницу со словами «иди в баню», баня у тетки была просторная и с печкой.

Правда и то, что и сама тетушка в молодости поворовывала кур, а та добрая женщина, которая покормила дурочку в ночь после пожара, весьма жестоко обращалась со своей старшей сестрой и рассказывала о ней по соседям всякие жуткие истории: и не моет посуду, и барыня, и грязнуха, и т. д.

Но это мы вам открываем тайны, никому не ведомые, а вот о краже в день пожара стало известно всем, и именно благодаря тому, что волшебник бушевал в пивной насчет преступления и наказания, что яблоки и сливы кое-кому встанут поперек горла!

И ему в ответ кивали головами две его постоянные подруги, пожилые и накрашенные, у которых тоже много чего накопилось на душе против народонаселения (а у народонаселения, особенно у женщин, против них).

Но волшебник уважал своих подруг, как и большинство мужиков.

Кого человек уважает, с тем он и проводит время, справедливо считали две пожилые подруги волшебника.

Результат крика в пивной был такой, что уже с утра в дом тетушки пошел гуськом народ со старыми кофтами, шелковыми бабушкиными платьями и зимними пальто без меховых воротников, все это были щедрые дары для погорелицы от добрых соседей.

И это то, что касается нравов данного приморского городишки.

А теперь вернемся к Елене Прекрасной. Итак, волшебник нашел противоядие от ее красоты, а вот как эта великолепная, но до мозга костей глупая новорожденная женщина набредет на зеркальце — был вопрос профессиональной техники колдуна.

Прекрасная Елена должна была купить зеркальце на базаре, а уж чтобы женщину не потянуло бы на базар — такого быть не может.

Тут волшебник все рассчитал правильно.

\* \* \*

И вот настала ночь рождения из пены. Начало было самое обыкновенное, то есть Елена Прекрасная вышла из морской волны в чем мать родила, но мало ли ночных купальщиц в приморском городе, которые любят плавать при свете звезд без ничего!

Волшебник даже не вышел ее встречать, он опасался влияния чудовишной красоты Елены, боялся потерять способность колдовать и не хотел бросать насиженное место и бежать за красавицей куда глаза глядят — а именно такая судьба была уготована всем лицам мужского пола, причем войны начинались оттого, что задние ряды напирали на передние, эти передние ряды оглядывались, чтобы дать кому-то по зубам, задние отвечали не задумываясь и т. д.

Елена Прекрасная, таким образом, родилась незамеченной из морской пены, затем набрела на кучку оставленных кем-то вещей, медленно вытерлась чужим полотенцем, надела чужой халат и тапочки, взяла чужую сумку и отправилась в город, нимало не заботясь о судьбе той дамы, которая выскочила из морской же пены пять минут спустя и не нашла на берегу ничего, кроме мокрого полотенца.

Заметим, что такова уж судьба и линия поведения прекрасных женщин — не думать о последствиях.

И к тому же — что спрашивать с существа, которому исполняется пять минут!

Единственное, что было у пенорожденной (таково второе имя Елены П.) в избытке, так это любопытство и стремление учиться у других женщин, отбирая себе самое лучшее, по ее мнению.

Но других женщин в том темном переулке, по которому шла Елена вверх от моря, ей попалося немного, одна пожилая бабушка, видимо кошачья пастушка (она сидела у дома на стуле в окружении своего стада), и одна немолодая дама под единственным в округе фонарем.

Кошачья пастушка окинула Елену Прекрасную проницательным взором и сказала: «О, смерть идет», а кошки, все как одна елены прекрасные своего племени, спокойно вылизывались, сидели или лежали, кошки бы были образцом поведения для Елены П., но она не обратила на них внимания, а пошла к фонарю, под которым обреталась Женщина, только что доставшая из сумочки зеркальце и жирный черный карандаш.

Елена Прекрасная впервые увидела перед собой Женщину (кошачья бабка не в счет).

Женщина на глазах у Елены стала тщательно рисовать себе черным карандашом брови в виде больших запятых хвостами врозь.

У Елены замерло от восторга сердце. Но это было еще не все.

Покончив с бровями, Женщина стала рисовать себе черным карандашом глаза, теперь уже в виде рыбок, тоже хвостами врозь.

Затем, положив карандаш в сумочку, Женщина (черные брови изменили ее внешность в сторону большей свирепости) — итак, Женщина достала помаду и испещрила свои выпяченные губы густыми мазками красного цвета туда-сюда, а потом сделала ртом «ум», и помада хорошо распределилась по всему рту.

Покончив с этим, неизвестная красотка еще навела поверх покраски лукообразные красные линии — сверху и понизу ротового отверстия, и у нее губ стало впятеро больше, как ловко отметил один писатель в одном романе.

Сделав так, Женщина посмотрела на себя в зеркальце и удовлетворенно сказала:

— Восстановление лица по черепу!

После чего нарисовала на щеках два красных яблока, посмотрела на себя снова и спрятала инструмент в сумочку.

Надо ли говорить, что Елена Прекрасная, полураскрыв свой алый ротик, с восторгом наблюдала за незнакомкой, которая показалась ей чудом красоты: черные брови, низко лежащие над черными глазами, плюс красные огромнейшие губы и в них один золотой зуб (остальные тоже были желтые, но не сверкали).

И когда Елена Пр. увидела, как Незнакомка закуривает папиросу, вставив ее с левой стороны золотого зуба, тут дело было сделано.

Пенорожденная поняла, какой ей надо быть.

\* \* \*

Она подошла к неизвестной красавице, стоящей под фонарем, и услышала ее отчетливые слова:

— Шарь отсюда, пока по ведру не стукнули.

— Алле? — переспросила Прекрасная Елена.

— Але, гараж, — ответила красавица.

Елена Прекрасная смутилась и замолчала. Женщина под фонарем горько сказала:

— Тебя кто сюда вторил, такую жвачку? Твоя мать меня моложе.

Елена Прекрасная смотрела на Женщину в изумлении. Та усмехнулась:

— Че, глаз выпал? Иди, не белейся тут.

И она добавила еще несколько длинных непонятных фраз, закончив их так:

— Это я здесь дежурю.

Елена Прекрасная пошла дальше, немного сбита с толку, но избегая фонарей, под каждым из которых кто-то «белелся», по выражению Незнакомки.

Но, тем не менее, она на ощупь проверила содержание своей сумочки и нашла там карандаш, губную помаду и кошелек с небольшим

количеством денег (все это взяла с собой та купальщица ночью на пляж, только зеркальца не прихватила, ночью все равно ничего не видеть).

И Елена Прекрасная, хоть и была глупа как пробка, но поняла, что тут не хватает еще одной вещи, в которую надо смотреться.

Она вертела в руках помаду и карандаш, и желание стать красавицей, такой же как та неизвестная под фонарем, кружило ей голову.

Еще она страстно хотела вставить себе золотой зуб.

Надо сказать, что немногочисленные прохожие не особенно обращали внимание на Елену Прекрасную благодаря ее банному наряду, лишь некий миллиардер, приехавший на отдых в эту морскую местность в полном одиночестве, т. е. без подруг, только с охраной, — вот он-то как раз и обратил внимание на девчонку в халате и домашних тапочках, которая, сидя на рассвете под деревом, рылась в сумочке и считала на ладони две бумажки.

Она один раз подняла голову, рассеянно посмотрела наверх, и тут же вся округа осветилась ослепительным золотым блеском, но это чудо длилось недолго, девчонка опустила голову, видимо сосчитав, сколько будет один да один.

Миллиардер, молодой человек спортивной наружности, кинулся вниз один, без охраны, но свои же ребята его затормозили, связались по радио с шофером и т. д., и, когда он вышел на улицу в сопровождении свиты, девчонка исчезла.

Только в воздухе что-то сверкало и искрило. И пахло как после грозы.

А Елена П. шла по улице, ища что-нибудь, во что можно посмотреться.

Луж не было, а какие были, отливали нефтью. Перед витриной или чужим окном краситься не будешь, неудобно.

Но, будучи женщиной до мозга костей, Прекрасная вскоре сделала некоторое наблюдение: все дамы города шли в одном направлении.

Поток этот густел, в него вливались ручейки из боковых проулков, Елена спешила вместе со всеми, и наконец перед ней открылась громадная торговая площадь.

О чудо!

Елена начала присматриваться, как себя ведут другие женщины, они шли, останавливались, спрашивали: «А почему это», рылись в кошельках, потели, нервничали, считали, отдавали деньги и получали свертки, пакеты, коробки, кастрюли, сумки, мерили тут же обувь и т. д.

Елена Прекрасная почувствовала себя прекрасно.

Зажав в руке кошелечек, она продвигалась в плотной толпе и наконец увидела зеркальце на прилавке и спросила каким-то необычным голосом:

— Алле! Почему это?

Продавец, смуглый человек, посмотрел рассеянно на Елену Прекрасную и вдруг покраснел, закашлялся, глаза у него остановились, и он сказал:

— Бери все что хочешь бесплатно, дорогая! Меня бери!

Тут же оглянулась продавщица, увидела Елену Прекрасную и багровый затылок продавца, и началась одна из тех мелких, но долгих семейных войн, которых так опасался местный волшебник.

Елена Пр. тут же убежала от этого прилавка, но дело было сделано: за ней мчался продавец, за продавцом его жена и теща, и все торгующие мужского пола покидали свои рабочие места и пристраивались к процессии.

Однако Елена Прекрасная не была бы подлинной женщиной, если бы не сжимала в руке зеркальце,— она воспользовалась первым же предложением продавца (бери все что хочешь бесплатно, дорогая) и схватила сокровище с прилавка.

Она бежала впереди толпы, но тут всю обширную манифестацию задержал милиционер.

— Что происходит? — гаркнул он, хватаясь за оружие.

— Слушай, кобура! — запыхавшись, вопила жена продавца.— Воровка она, зеркало украла!

— Подарил ей, а не украла! — кричал в отчаянии продавец.— Подарил той, которая похитила мое сердце! Пусть ее глаза будут моим единственным сокровищем!

Но женщина уже вцепилась одной рукой в прекрасные волосы Елены Прекрасной, а другой рукой в зеркальце.

Мужчины кинулись на защиту невинности и красоты с воплем «наших баб бьют», но Елена Прекрасная сама времени не теряла, тут же взвизгнула и, как истинная женщина, укусила ту руку, которая вцепилась в зеркальце, а сумочкой шарахнула продавщицу по голове, и их связь распалась, но милиционер, разглядев Елену Прекрасную, побурел, как свекла в супе, и резко засвистел, причем его дубинка машинально начала прыгать по головам собравшихся.

Народ слегка потеснился, образовавши круг, и остолбенело глядел на Елену Прекрасную.

И тут она, стоящая в золотом сиянии посреди рынка, румяная и кудрявая, сверкая глазами от обиды, подняла к глазам зеркальце, чтобы посмотреть, что с ней наделала продавщица,— и мгновенно свет погас, и все перестали обращать на Елену внимание.

Волшебное зеркальце сработало!

Елена оглянулась и увидела удаляющиеся спины.

Война была предотвращена.

И Прекрасная Елена смогла свободно уйти с места событий, и в скверике, на просторе, вооружившись черным карандашом и красной

помадой, она приступила к «восстановлению лица по черепу», как это дело назвала ее первая из знакомых на Земле.

Елена накрутила брови двумя запятыми, затем глаза рыбками, затем рот сердечком, потом щеки яблочками.

Потом она поискала и нашла на земле золотую бумажку от шоколада.

Оторвав от нее кусочек, Елена Прекрасная обернула фольгой передний зуб и посмотрелась в зеркало.

Она все смотрелась в него, не в силах оторвать взгляда от своего прекрасного облика, и цыкала зубом, и делала губами «ум», и шептала: «Рой отсюда, жвачка, че белеешься».

Потом она нашла на земле окурок и, прищипнув его своими красными губами, стала смотреться в зеркальце.

Наконец она встала и пошла по городу той взвинченной походкой, которой прохаживалась ее первая знакомая под фонарем туда-сюда.

Но никто не замечал Елену Прекрасную!

То есть если бы не зеркальце, Елена Прекрасная вызвала бы в таком виде просто войну с осадой, налетами бомбардировщиков и шпионажем.

Ее бы самое держал в дальнем бункере главнокомандующий как свою радистку, и Елена Прекрасная прекрасно бы выглядела в защитного цвета юбочке, гимнастерочке, в пилотке и коротеньких сапожках!

И с этими черными бровями и румяными щеками!

Но зеркальце волшебника оставило данный регион на мирном положении, поскольку Елену так никто и не заметил.

Мало того, никто не обратил на нее внимания и тогда, когда она вошла в первый попавшийся магазин самообслуживания и взяла с полки булочку и бутылку воды.

Она вышла, спокойно жуя булочку, а потом разохотилась (все-таки Елена от рождения ничего не ела), зашла в ресторан, села за столик, и официант, не замечая ее, машинально накрыл на стол (может, для кого-то еще), принес еду, и Прекрасная Елена прекрасно пообедала, а потом встала и пошла, и ее никто не остановил.

Елена Прекрасная была немного разочарована этим открытием.

Конечно, быть причиной бесконечных скандалов, драк и шестивий неприятно.

Не хочется, чтобы мужчины столбенели и кидались в бой с собственными женами за право подарить красотке какой-нибудь пустячок.

Невыносимо, когда эти жены вцепляются в волосы и царапаются ногтями.

Как правило, у таких невозможно прелестных красавиц один путь спасения — побыстрее спиться и потерять всю свою красоту или пойти в артистки с тем же результатом.

\* \* \*

Быть красавицей трудно.

Но и когда вообще не замечают — тоже противно.

И, задумавшись впервые в жизни, Елена Прекрасная, как все женщины, стала искать причину.

Первая причина была, что все мужчины дураки.

Не замечать такие брови, такие щеки! Золотой зуб!

Но потом, будучи наблюдательной, Елена Прекрасная стала именно наблюдать за женщинами.

И если по улице шла парочка, Елена Прекрасная смотрела не на мужчину, а как раз на даму.

В ресторане она не только во все глаза тарасилась на девушек, но и подходила к ним вплотную и даже щупала материю на их платье (они этого не замечали, кстати).

В больших магазинах она буквально преследовала красивых женщин, забиралась к ним в примерочные и, сидя там в уголке, наблюдала процесс переодевания.

И через час сделала замечательный вывод: не все дамы так красятся, как та незнакомка от фонаря.

Почти все они так ходят и так курят, но покрашены и одеты они по-другому.

Не такие глубокие декольте, в которых аж живот видать, и юбки не такие короткие, чтобы руки не поднять (когда поднимается рука человека, автоматически поднимается и юбка человека, но некоторые именно этого и добиваются, думала пенорожденная, только чтобы обратили внимание).

И каблуки у женщины под фонарем были, видимо, слишком высокие, незнакомка на одной ноге держалась, а другая все время у нее подкашивалась. И золотые зубы Елена Прекрасная встретила только один раз, затесавшись в толпу цыганок, — и сразу после этого она вынула изо рта кусочек фольги.

Самообразование Елены П. шло полным ходом, и она уже пятижды посетила разные магазины и, никем не замеченная, оделась с головы до ног, а в парикмахерской она стерла с лица сажу и помаду и намазалась лучшими кремами без спросу.

Карандаш и помаду она выкинула, а вот зеркальце оставила, оно лежало в ее сумочке из белого крокодила.

Время от времени она смотрелась в него, видела свое симпатичное, чисто умытое личико — но ее не замечал никто.

Парочки гуляли, бегали, сидели за столиками, одинокие мужчины и женщины загадочно проходили мимо, никого не ища (все-таки курорт, духи, туманы, шляпы с перьями, упругие шелка, очарованные дали, траля-ля!).

Кто никого не ищет, того все ищут, и наоборот: таково правило курортных городков.

А Елена Прекрасная, ничего этого не зная, к вечеру устала и пришла к тому дереву, под которым утром рано она, в тапочках и халатике, считала чужие деньги.

Ноги гудели, и Елена села под деревом в своем синем шелковом платье и в белой шляпке.

А на балкон напротив как раз вышел тот самый одинокий миллиардер и с тоской стал смотреть на Прекрасную Елену, то есть на то пустое место под деревом, где утром имело место ее божественное присутствие.

А она вдруг подумала, что он ее заметил, и страшно смутилась, покраснела, покрылась золотом с головы до ног, глаза ее нестерпимо сияли и посылали синие лучи на балкон.

Если бы миллиардер был одним из миллионов, которые желали бы положить свое сердце к ногам Прекрасной, она бы на него не обратила внимания.

Но он сейчас был единственным, кто заметил ее.

Поэтому (на безрыбье рак рыба) Елена Прекрасная села даже немного боком и в упор стала смотреть на первую слабенькую звезду над горами, чуть выше и левее незнакомца, а потом перевела взор на собственные босоножки (быстро) и так же мгновенно взглянула на сам объект, который в ответ на это зевнул, потер руками лицо и ушел вон.

Е. П. ничего не могла понять.

«Дурак», — с тоской подумала она. Ее золотой свет погас.

«Вот пойти и поселиться в его дворце, — подумала она. — Надо же где-то жить».

Это, конечно, была у нее отговорка, она просто полюбила этого молодого человека, единственного, кто зевнул, глядя на нее в упор (другие краснели).

Сказано — сделано, и незаметная Елена прошла сквозь все преграды на пути к своему любимому — как теплый нож проходит сквозь масло: она миновала охрану, которая смотрела телевизор, поигрывая автоматами, миновала секретаря, который сидел за двадцатью телефонами и тоже смотрел телевизор, и затем вслед за лакеем, который привел с ужина собак, вошла через закодированную дверь в комнаты миллиардера — он тоже лежал и смотрел телевизор.

Елена легла рядом с ним на кровать, широкую, как теннисный корт, и тоже принялась смотреть телевизор — в первый раз в жизни она видела мексиканский сериал и к концу даже заплакала, так ей понравилось.

Миллиардер должен был ехать на ужин в казино, согласно курортному контракту, заключенному еще год назад (в жизни миллиардеров

все расписано на несколько лет вперед), он был обязан проиграть там сто тысяч, получить в подарок утешительный приз, часы с компьютером, и подарить эти часы красотке из кабаре, а далее следовал танец с красоткой, ужин, который снимался телевизионной командой CNN International, и затем следовала ночь в клубе, и все это ему оплатили: само присутствие миллиардера было рекламным трюком, тоска зеленая.

Он уже не мог просто пойти куда-нибудь, просто подарить барышне цветок, просто искупаться в море.

Все немедленно снималось на пленку и попадало в газеты и на TV.

Миллиардер собрался, и Елена Прекрасная побежала следом, села с ним в лимузин, где тоже работал телевизор, прибыла в казино, но тут все было нарушено, потому что, болея за миллиардера, Елена Прекрасная задержала рулетку именно там, где стояли его фишки.

Никто не заметил подлога, Елена Прекрасная оказалась умной девочкой и замедляла ход рулетки постепенно.

Далее, получив огромный выигрыш в сто тысяч, миллиардер не получил утешительного приза и ничего не подарил ожидавшей его солистке кабаре, сам растерялся и даже не пригласил ее на танец, однако заказанная музыка заиграла, и Елена Прекрасная очутилась в объятиях миллиардера, и он, как во сне, начал кружиться совершенно один, причем так мастерски изображал, что нежно прижимает к себе партнершу, что режиссер CNN был в восторге, и эта запись была потом показана по всем программам как образец пантомимы: миллиардер даже целовал руку воображаемой партнерше!

Все заработали на этом кучу денег.

Никто не ожидал от него таких актерских способностей!

Все, разумеется, в мире считали его издавна круглым идиотом, которому повезло найти какой-то способ быстро зарабатывать деньги.

Окружающие бешено аплодировали, миллиардер смущенно кланялся, думая, что сошел с ума: он только что прижимал к себе девушку, такую нежную, прекрасную, неуловимую, пахнущую лучшими в мире духами...

(Разумеется, Елена Прекрасная взяла себе в магазине флакончик этих духов, ей понравился запах, только и всего, она же не знала, что это дело, один флакончик, стоит как дом на набережной...)

Миллиардер оглядывался с улыбкой на лице — кто-то подшутил над ним, наверно.

Все кругом тоже улыбались, а дальше миллиардер должен был вдвоем с артисткой кабаре ехать в ночной клуб, за это миллиардеру было заплачено агентами артистки, как и за съемки TV, и эта артистка, немолодая, после тридцати двух косметических операций, звезда кабаре, уже тронулась за миллиардером, но кто-то наступил на шлейф ее

платья, и подол оторвался, артистка оглянулась на треск, увидела собственные трусики и зашла за занавеску ближайшего окна, как луна заходит за облако: только что была, и всё, нету.

Миллиардер в полном одиночестве сошел в лимузин, но, когда дверца захлопнулась, у него опять закружилась голова — рядом с ним сидела Прекрасная (он уловил духи), и она тихо смеялась...

— Поехали домой, — сказала она. Миллиардер не услышал ни голоса, ни смеха, он никого не нашел рядом с собой, сколько ни махал в воздухе руками, но внезапно лимузин развернулся и вместо ночного клуба отвез своего хозяина на квартиру, к одинокому телевизору и трем собакам, которые уже спали на его широкой, как теннисный корт, кровати, только на противоположном поле, в ауте.

\* \* \*

Всю ночь миллиардеру снился дивный сон, Прекрасная сидела под деревом на берегу моря, а он стоял на коленях рядом с ней, они то ли плели венки, то ли играли в шашки, на ней был халатик и тапочки, ее спутанные кудри затеняли розовое лицо, и золотой свет струился вдоль ее нежных рук...

У миллиардера наступила странная депрессия, похожая на состояние тихого восторга, он забросил все свои дела, не являлся на пресс-конференции, не ездил на лошадах, не посещал гольф-клуб, его видели только в казино, где каждый вечер он выигрывал свои сто тысяч и отчаливал домой.

Елена Прекрасная ела с ним с одной тарелки, спала с ним в одной постели — только в другом углу, метрах в пяти от хозяина, вместе с собаками, которые, кстати, ее ужасно полюбили, и она выбегала с ними погулять, когда лакеи их выводили, и собаки прыгали и скакали от радости, а хозяин встречал их всех как после долгой разлуки.

Но долго так продолжаться не могло.

Елене Прекрасной такая жизнь нравилась — тепло, сытно, весело (каждый вечер мексиканский сериал), рядом любимый человек, но при этом никто не хватает руками, не краснеет как свекла, не пыхтит от страсти, не крадет, нет драк и побоищ, не начинаются войны.

А вот миллиардер сходил с ума, видел сны, в которых ему являлась все та же простенькая девушка в халатике и тапочках с двумя бумажками на ладони.

Он все мечтал ее найти, чтобы осыпать золотом, одеть в платье с жемчугами, водить всюду с собой, гордиться ею, и чтобы она родила ему детей, и они бы жили на острове и т. д.

Он плакал и томился.

А волшебник потирал руки в своей берлоге, еще немного — и миллиардер напишет завещание в пользу бедняков города и прыгнет с балкона к подножию того самого дерева, на которое он так любит смотреть вечерами.

\* \* \*

Но нет такой женщины, которая, полюбив, не нашла бы выход из положения.

И однажды Е. П. дождалась ночи и отправилась к единственной знакомой женщине в этом городе, то есть посетила тот приморский проулок, в котором у фонаря ей впервые встретилась Женщина.

Она подошла к Женщине, которая топталась под фонарем туда-сюда, а ночной ветерок посвистывал, начиналась осенняя пора.

Женщина была одета в меховой драный жакет, и с перекрестка на нее злобно посматривала кошачья бабушка, которая подозревала в жакете несчастную судьбу десятка кошек.

Когда Елена Прекрасная встала под фонарем, озябшая Женщина сказала:

— Кто тут?

И сама себе ответила:

— Кто-кто, конь в пальто.

Потом помолчала и, зевнув, добавила:

— Раздался голос из помойки, когда в нее влетел кирпич.

Елена Прекрасная сказала:

— Алле! Здравствуйте!

Женщина вздрогнула и пробормотала:

— Эх, жись, только держись.

Из потемок вышла другая Женщина, тучная как гора, тоже в драном меховом жакетике, в короткой красной юбке и в высоких алых сапогах на босу ногу.

— Ты с кем тут?

Кошачья старушка внизу, на перекрестке, сердито колыхнулась на своем стуле и подобрала несколько кошек с тротуара себе на колени.

— А, сама с собой. Пойти, что ли, к колдуну, пусть он даст мне лекарства от старости. Или зеркальце, чтобы уйти из жизни. Жить, все видеть, но чтобы тебя никто не замечал. Он же орал, что сделал такое. Он хвастал, что вроде спас мир от войны. Только это зеркальце сейчас не у него, а у какой-то Лены, а ее не видно. Сам же сделал, сам ее найти не может! Кто в это зеркальце посмотрит, тот исчезает!

— И че хорошего? — сказала толстуха. — Это как умереть!

— Колдун с пьяных глаз говорил в пивной, что если разбить зеркальце, то можно вернуться в этот мир. Потому что Анюта его спросила,

а как же так, навеки стать незаметной, кто на это пойдет! Это же трагедия! Он и ответил: не навеки.

Тут же раздался звон разбитого стекла, и во тьме под деревом возникла новая фигурка, закутанная в роскошный мужской банный халат.

Дико оглянувшись, две женщины завизжали.

— Кто тут? Пугаешь людей, мартышка, — успокоившись, сказала худая.

— Вот оно, это зеркало, — сказала Елена Прекрасная.

Тут же толстая подобрала с земли самый большой осколок, машинально поднесла его к лицу и исчезла.

Худая тогда кинулась к разбитому зеркальцу, сверкающему в свете фонаря, и быстро сказала:

— И я, и я!

И она посмотрелась в маленький огрызок стекла и растаяла.

Елена Прекрасная подумала, подобрала с земли последний осколок и спрятала его в карман.

Утром миллиардер, как всегда, вышел из спальни на балкон, посмотрел под дерево и увидел там шумную толпу.

Трое свирепо дрались, остальные кричали, а в центре стояла та самая девочка с розовым лицом и золотыми кудрями и смотрела на него. Милиционер держал ее за руку.

Миллиардер свирепо сплюнул и убежал с балкона.

Только через пять минут ему удалось продрасться сквозь кольцо своей охраны, но толпа уже лениво расходилась. «Скорая помощь» хлопотала над двумя ранеными.

Стоящие у края тротуара старушки говорили что-то о том, что «наши этих били».

— А где девушка тут стояла? — спросил миллиардер.

Старушки подозрительно на него посмотрели и отодвинулись.

Никакие поиски по тюрьмам и милициям ничего не дали.

Свидетели говорили, что была какая-то девчонка, но потом то ли сбежала, то ли что.

Тогда миллиардер обзавелся веревочной лестницей, которую укрепил на своем балконе втайне от охраны.

Он ждал, что девушка появится еще раз.

Но осень плавно перетекла в дождливую, грязную зиму, а под деревом никто не появлялся.

Даже команда TV уехала вон с курорта.

— Ну что мне, повеситься, что ли? — отчаявшись, спросил однажды вслух миллиардер. — Я же не могу уехать, она где-то здесь, я чувствую! Слышишь? Я готов умереть, только бы тебя увидеть!

И вдруг он заметил, что кто-то пускает ему в лицо зайчик света.

Миллиардер понял, что некто невидимый подает ему сигнал с земли, из-под дерева.

Он сразу же бросил вниз лестницу и спустился с балкона без охраны. В воздухе плавал узкий осколок зеркала. Миллиардер взял его в руку и машинально посмотрелся в это кривое зеркальце.

Тут же он неслышно закричал, заметив свою девочку, — она стояла рядом и улыбалась ему.

И больше никто не видел миллиардера.

Он исчез, не оставив завещания, а поскольку миллиардера не нашли ни живого ни мертвого, его капитал не достался никому, лежит себе в банке.

Следствие выяснило, что вся охрана была подкуплена телевизионщиками и не выпускала своего подопечного, не предупредив их, и телевидение зарабатывало огромные деньги на этих съемках.

Следствие обнаружило также спущенную с балкона веревочную лестницу — и шесть отпечатков домашних тапочек миллиардера, а далее след терялся.

И ничего подозрительного в городе больше не было.

Колдун, правда, как донесли полицейские осведомители, пил всю ночь в кафе один, никого не допуская за свой столик, хотя было два свободных стула — но, видно, с пьяных глаз он разговаривал с этими стульями и делал вид, что с кем-то чокается, и кого-то хвалил за платье от Шанель и сапоги от Версаче, за свежий вид и чудесные шляпки.

Так что миллиардер исчез, и, возможно, зеркальце лежит сейчас в кармане у Елены Прекрасной, чтобы в один прекрасный момент они с миллиардером могли бы вернуться в этот мир, однако что-то до сих пор никто не слышал ничего о них.

Возможно, они живут вдвоем где-нибудь в императорском дворце на острове, не видимые никому, путешествуют на самолетах, плавают на кораблях, счастливые, веселые, и никто не зарабатывает на них денег, не подкарауливает с камерой, никто их не похищает, не стреляет по ним, не устраивает из-за них войн...

И когда они тихо состарятся, то, может быть, разобьют зеркальце вдвоем и выйдут в мир — никому не известные, мирные старички, и поселятся в маленьком городке...

Но до этого еще далеко.

## Королева Лир

Было дело в одном государстве, что старушка королева, которую все звали Лир, слегка рехнулась, сняла с себя корону, отдала ее своему сыну Корделю, а сама решила наконец отдохнуть, причем где-нибудь в глухих местах и безо всяких удобств.

Это ведь только простые и рожденные в тяжелых условиях богачи строят себе роскошные дворцы, а аристократы любят все натуральное, хотя обязанности не позволяют им переезжать из своих замков в избы, бани и сараи.

Но наша королева-бабушка, как женщина сильная и свободная, решила, что выполнит свои мечты тут же. Она построила себе недалеко от королевского дворца дом, на который пошло восемьдесят штук новеньких картонных ящиков из-под макарон.

Строила старушка сама, с помощью липкой ленты, и добилась удивительных результатов: к ночи дом был готов.

Также старушка остановила готовый к выезду из королевских ворот огромный мусоровоз и заставила водителя вытряхнуть на дорогу все, что содержалось в машине.

Покопавшись в образовавшейся куче, королева распотрошила пластиковые пакеты, нашла много газет и застелила ими пол своего дома — не на земле же валяться!

Одновременно она нашла пару сломанных ложек и семь свечных огарков (хотя откуда во дворце огарки, подумала королева с подозрением, — но потом сказала себе: это уже не мое дело! Извиняюсь, меня нет).

Во дворце, однако, зашумело, потому что всех имеющихся в штате садовников по радиотелефонам пригласили загружать обратно в мусоровоз то, что не пригодилось Лир, и поднялась возня, сбор с асфальта банановых шкурок, мелкой яичной скорлупы и других сокровищ.

Попутно выяснилось, что королева-бабушка не желает пользоваться ничем дареным и ей ранее принадлежавшим, а будет сама добывать себе пищу и все что надо! (В поте лица своего.) К старушке спустился сын, король Кордель, дал ей какую-то карточку и сказал при этом:

— Матушка, эта карточка волшебная, если вы ее опустите в щель ящика, расположенного около банка, то вам выскочат денежки, и вы сами, по своей воле и своими руками, сможете купить себе что вам надо!

Но бабушка со словами «Ничего я от вас брать не намерена» отвергла волшебную карточку и сказала, что больше не желает жить на деньги своих подданных, а будет добывать средства к существованию хотя бы на помойках — так честнее!

Кордель покраснел и исчез, и вскоре во дворце все забегали и снарядили новый мусоровоз, — в который побросали матрац, две подушки, простыни, верблюжье одеяло (подарок от монгольского цирика сто лет назад, вот и пригодилось), затем пару новеньких ведер (взяли в долг у уборщиц), кастрюлю, потом стали горестно думать, а что будет, если в этой кастрюле Лир начнет готовить суп, не выходя из своего макаронного вигвама, то есть не сготовится ли она сама вместе с супом, — и ка-

стрюлю изъяли из мусоровоза, а вместо этого покидали туда разных упакованных булочек, арбузов, яиц, джемов, колбас и сыров, все это перемешали для подлинности с порванными в клочья газетами и задраили люк.

И мусоровоз тут же забибикал у картонного дома старушки королевы, а когда она выскочила на порог, то шофер щедро вывалил всю эту гигантскую помойную посылку прямо на дорогу.

Тут же бабушка начала весело добывать себе пропитание из-под матраца и подушек (продукты накрыло постельными принадлежностями, придворные не рассчитали порядок вываливания мусоровоза, сперва из него лезет все положенное сначала, а после все положенное в конце, знайте на будущее!).

Короче, бабушка с натугой залезла под матрац и стала выковыривать оттуда маленькие колбаски, сырки, булочки и джемы, и ликования ее не было предела, причем на помощь примчалась любимая правнучка, принцесса Алиса, и они вдвоем повеселились, возясь под матрацем и удивляясь, как много полезных и вкусных вещей выбрасывается во дворец!

— Но меня это уже не касается,— подмигнув внучке, заявила королева, буквально глотая слюни. Никогда еще у нее не было такого аппетита.

Алиса даже нашла маленький бочонок черной икры, которую она вообще-то терпеть не могла, но тут, на свежем воздухе, в диких условиях лужайки, и икра вполне сошла.

Короче, все содержимое мусоровоза к ночи перекочевало в картонную хибару старой королевы: пол был устлан поверх газет найденными в мусоре коврами, в углу хозяйка держала припасы, бумажные тарелки и пластмассовые ложки, а на самом возвышенном месте дома, на подушке, лежал и светил мощный фонарик, который тоже кто-то выбросил, вот безголовые-то! (Говорила бабушка внучке.)

Короче, когда взошла первая звезда, Лир с Алисой решили поужинать всем тем, что выудилось на помойке.

А дело было в том, что ни та ни другая никогда сами ничего не готовили: в жизни не открыли ни одного пакета или банки и ни разу не вскипятили себе воды!

Они сидели над кучей продуктов и соображали, как ко всему этому подступиться.

— Я знаю,— сказала умная бабушка,— что яйца должны быть теплые!

С этими словами она поднесла яйцо к фонарику и минут пять нагрела его.

— Вот так и готовят еду, учись, Алиса, дружок,— сказала бабушка королева.

Они выпили одно теплое сырое яйцо на двоих (остальные яйца разбились при выгрузке мусора), немножечко у них пролилось на платья и на ковер, ну да ладно.

Затем обе долго мозговали, как открыть запечатанный в целлофан хлеб, и наконец эта упаковка была прокушена внучкой, у бабушки зубы оказались туповатые, фарфоровые.

После чего внучка, насобачившись, перекусила также упаковку апельсинового сока и весело захохотала, потому что брызнул целый фонтан и залил картонный потолок, бабушкино платье целиком, опять ковер, бабушкину прическу, не говоря уже об Алисе, которая немного захлебнулась в этом фонтане. Они долго высасывали остатки сока из пакета и веселились при этом как никогда в жизни.

Затем внучка, науськанная бабушкой, притащила в ведре немножко воды для умывания, воду она взяла у садовников, которые дежурили в отдалении, как оказалось, вперемешку с гвардейцами, таились в кустах.

Другое ведро, пустое, бабушка поставила в уголок на всякий случай и прикрыла его газетой — все надо предусмотреть!

Потом раздался сигнал королевской трубы, и за внучкой явилась рота конного караула, капитан позвал Алису якобы для переговоров да и похитил ее обратно во дворец. Там с ней неизвестно что происходило, возможно, ее пытались накормить ужином и т. д., бедную девочку, а старушка бабушка решила постелить себе сама первый раз в жизни постель.

Она примерилась и положила на пол одеяло, сверху бросила простынку, потом повалила на это дело матрац, на матрац шваркнула подушку, потом подумала и аккуратно застелила все это дело газетами и со стоном изнеможения улеглась.

Сверху она укрылась запасной газетой, стало мягко и тепло, и королева уснула.

Утром бабушка сделала зарядку — она решила начать совершенно новую жизнь — и захотела также облиться из ведра водой (кстати, и платье помоеется, подумала практичная Лир), но впопыхах перепутала и облилась не из того ведра, после чего взяла правильное ведро и облилась еще раз, а ковер вытерла подушкой.

Но королеве не понравилось жить в таком загаженном домике, везде были крошки, объедки, обрывки и мокрые места, и она выбралась наружу.

И здесь Лир увидела на газоне то, что она, возможно, не заметила накануне, — то есть во вчерашнем мусоровозе, вероятно, находился еще и поднос с горячим серебряным кофейником, булочки с джемом и кастрюлька овсянки, а также тарелка, чашка и серебряные ложки. Может, шофер заметил это уже позже, вернулся и оставил на газоне — честные люди эти мусорщики! (Вздохнула королева, набрасываясь на еду.)

А затем она обнаружила совершенно рядом с кофейником волшебную карточку — видимо, сын Кордель выбросил ее в раздражении, и теперь она была ничья (можно сказать, помойная).

Королева спрятала карточку в карман на всякий случай, а грязную серебряную посуду она, будучи аккуратной женщиной, собственноручно отнесла в ближайшую урну — вот она, новая жизнь: королева решила, что всегда теперь будет выбрасывать использованную посуду сама.

Затем Лир тут же вышла вон из ворот королевского дворца, и гвардейская охрана окаменела, не зная, что предпринять: у них было задание никого не впускать, а насчет никого не выпускать им было ничего не сказано, нельзя было ничего выносить, это да.

А так — выходи кто может.

Королеву, разумеется, они не узнали в таком-то виде (мокрое платье все в пятнах, шляпки нет, королеве пришлось ее выбросить, о чем скажем дальше).

И в первый раз в жизни Лир помчалась пешком по улице одна.

То есть за ней сразу ринулся отряд вооруженной охраны, таившийся до той поры за кустами, однако их-то привратники задержали, опомнившись, и потребовали какие-то пропуска на вынос оружия!

Еще бабульку без вещей они могли выпустить, но вооруженный отряд охраны нес при себе имущество дворца: мундиры, знамена, кальсоны, сапоги, сабли, портянки, шашки наголо, носовые платки, пики за плечами и т. д.

Таким образом, королева-бабушка пилила вдоль по улице одна и без шляпы, при этом светило солнце, а волосы-то были нечесанные! (В витринах все отражалось как в зеркалах.) Королева оказалась без головного убора по следующей причине: мокрой шляпкой пришлось подмести пол, а затем бросить ее в поганое ведро. Почему шляпой пришлось подметать — просто королева-бабушка утром вспомнила, как гвардейцы с поклоном снимали свои шляпы и легко — раз-раз — подметали перьями королевский паркет. И она тоже попробовала подмести крошки и огрызки в одну кучу, но шляпка тут же поделилась на две части, на поля и донышко, не вынеся объема работ, так что место ей было в ведре!

Ведь — заметим — уборка в королевских покоях всегда ведется в отсутствие хозяев, поэтому у Лир не было опыта: она просто в глаза не видела ни веника, ни совка! Видимо, так и представляла себе, что уборщицы работают шляпами, бедная Лир.

Кстати, многие мужчины и дети этого же добиваются и в своих семьях, чтобы ничего подобного не знать: дескать, я хочу лишь видеть результат, требуют они. Но поневоле наблюдают весь процесс, всю стирку, глажку, подметание, чистку картошки, пар от макарон, а иногда и вынужденно принимают во всем этом участие — что ж, не короли ведь.

Однако вернемся к Лир.

Обычно ее причесывали дважды в день, утром и перед балом, но к описываемому времени прошли уже сутки без парикмахера, причем королева, даже если бы и купила себе расческу, не сумела бы понять как ею пользоваться, не смогла бы воткнуть ее поперек шевелюры и с силой протянуть по направлению к ботинкам, безжалостно выдирая по дороге все, что мешало движению. Это ведь целое искусство!

Итак, нечесаная королева рысью мчалась, отражаясь в витринах, лохматая как новый веник, и вдруг видит: за окном мужчина в белом халате трудится над кудрями дамы. Причем дама сидит вся в пене, как морская волна.

Лир затормозила, вошла в парикмахерскую и села в кресло со словами:

— Лапочка, я готова.

Парикмахер живо вызвал другого мастера, и тот встал за креслом королевы с вопросом:

— Желаете постричься?

— Желая,— отвечала Лир.

Она была очень покладистой и никогда не спорила со слугами.

— А как? — спросил назойливый дядя.

— Вот как,— ответила королева и ткнула пальцем в картинку на стене.

На этой фотографии (это оказалась реклама краски для волос) был изображен молодой человек, бритый наголо, но с полосой щетины вдоль черепа, примерно как у коня. Полоса эта была зеленая.

Возможно, Лир хотела стать неузнаваемой, чтобы никто в нее не тыкал пальцем и не дразнил «Королева, выдь из хлева!» или еще как-нибудь.

А может, она хотела теперь прожить совершенно иную жизнь, которая ранее ей была недоступна.

Хотя вполне вероятно, что она просто не рассмотрела фотографию, очки-то остались во дворце!

— Так?! — спросил на всякий случай парикмахер.

— Да,— подтвердила Лир. Она не выносила долго разговаривать с лакеями. Всякий слуга знай свое место!

Короче, мастер выполнил прическу не моргнув глазом, и в таком виде Лир выкатилась на улицу, розовая, чистенькая, лысая, с зеленой щетиной повыше лба.

Парикмахер, увидев дело рук своих, окаменел и даже забыл про деньги, велосипедист на улице тут же, засмотревшись, налетел на столб, таксисты загудели, школьники приветственно засвистели, старушки-прохожие преувеличенно заплодировали, такой был эффект.

Что касается самой королевы, то она тоже не вспомнила про деньги, ведь она никогда в жизни ни за что не платила, даже и не думала ни о

чем подобном. А суматоха на улице была ей хорошо известна, Лир всегда так встречали, гудели, свистели, хлопали, толпились и т. д.

Но ее обычно быстро увозили с этих мест скопления, а на сей раз надо было уехать самой.

Лир тут же села на первый попавшийся мотоцикл, это был гоночный «харви» красного цвета, и уехала вон.

(У королевы была одна ошибка юности, офицер по особым поручениям на мотоциклетке, он разрешал ей покататься, когда занималась утренняя зарядка, о, жизнь! О, надежды! О, противные фрейлины...)

Ключ зажигания торчал на месте, поскольку хозяин мотоцикла был самый известный в городе вор (Фердинанд по имени), и он не следил за своим имуществом, будучи уверен в том, что он один тут такой нехороший, а остальные все честные люди. Эту мысль ему ошибочно внушили в первом классе, после чего бедный Фердинанд бросил школу, не желая быть самым плохим. Кому охота! Среди воров он был, кстати, лучшим.

Короче, Лир неслась на чужом мотоцикле по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения (она их и не знала).

Чему только учат королей, спрашивается? Конец наступил очень быстро: крутая наездница (зеленый кок, синее заляпанное платье, мокрые туфли) заметила вдали полицейского и резко затормозила. К счастью, она его заметила издали, — у пожилых людей дальнее зрение как у ястреба!

Так что когда полицейский подошел, Лир уже исчезла в первом попавшемся магазине, а полицейский потому приближался, что заметил красный мотоцикл вора Фердинанда в чужом для Фердинанда микрорайоне: что бы это могло значить? (У воров и полицейских все строго поделено на зоны влияния.)

Однако, когда он заметил постороннюю фигуру (зеленые волосы, синее платье) на мотоцикле Фердинанда, удивление его возросло: вор этот никогда никому ничего не давал, тем более мотоцикл. Уж не кража ли здесь?

С того и началась подпольная жизнь и полицейские преследования королевы Лир, а она тем временем нырнула в магазин и тут же нашла себе интересную одежду: кожаную курточку всю в заклепках, бархатные сапоги выше колен (как у прадеда на охоте) и белые джинсы, почему-то они ей пришлись по душе!

Она быстро переделалась перед зеркалом и тронулась восвояси, бросив платье и туфли на пол, а на выходе прихватила еще и седой парик с черными очками.

После чего Лир беспрепятственно удалилась, ничего не заплатив по все той же указанной выше причине. А продавец в глубине магазина раскладывал товар и даже и не подозревал, что кто-то его обманывает. Так они и разминулись.

Старушка королева в новом наряде шла вдаль по улице, наслаждаясь свободой (полицейский ждал у мотоцикла указаний начальства и не узнал Лир совершенно) — все было великолепно, однако наступало время второго завтрака, и в животе у королевы заурчало, как будто там работал забуксовавший грузовик. Королева не могла понять, что это у нее за звуки, она никогда в жизни так не урчала. Но при виде первого попавшегося уличного буфета ее поволокло, как на веревке, к булочкам и сосискам.

— Мадам? — спросил продавец, и через минуту Лир, держа в руке бутерброд длиной в полметра, впилась в него своими фарфоровыми зубами с яростью уличной кошки. Для удобства Лир стащила с себя черные очки и парик, так что продавец, увидев лысый череп старушки с зеленой грядкой волос (как будто это вырос укроп), окаменел и замер с протянутой рукой (известно зачем протянутой).

Тут же, из деликатности не глядя в сторону Лир, к киоску набежал народ, а поскольку толпиться без повода в этом королевстве было не принято, то все начали активно покупать булки (тараша глаза в сторону Лир), и продавец вынужден был отвлечься.

А королева, съев половину бутерброда, вернула продавцу недоеденное со словами «Благодарю, лапочка, можете убрать это». Она всегда так говорила слугам.

Продавец почему-то низко поклонился, но сделал вид, что это у него развязался шнурок. Ему было неудобно, но, с другой стороны, и приятно. Какое-то чувство восторга разлилось в его груди, а деньги ерунда!

Королева же, сытая и свободная, стала думать о принцессе Алисе: малышка томилась во дворце под конвоем, а тут шло такое удивительное житье! Надо бы ее вызвать по телефону, подумала королева, однако она никогда в жизни не звонила сама себе во дворец, вообще никогда не набирала номер, это за нее делали другие.

Так что она остановилась в задумчивости, постояла среди жующей с выпученными глазами толпы, затем вздохнула, надела очки и парик и нырнула в первый попавшийся магазин — ей понравилось в магазинах!

Это была лавка новейшей техники. Тут, как позже выяснилось, продавалось все от компьютеров до телефонов — а Лир как раз нуждалась в телефоне.

Продавца опять не было видно нигде.

Лир погуляла среди полок, повертела какие-то штучки, пощелкала тумблерами, и вдруг раздался немислимый вой. Откуда-то появился жующий продавец, он выключил то, что включила королева, и в наступившей тишине королева произнесла:

— Будьте добры, лапочка... Телефон...

— Вам какой телефон? — спросил, утираясь салфеткой, продавец.

— По которому можно позвонить,— ласково сказала королева.

Продавец понял, что перед ним редкостная идиотка (кому бы в голову пришло спрашивать телефон, по которому НЕЛЬЗЯ позвонить). Но малый не растерялся. Такую клиентку можно было и нужно было надуть.

— По которому можно позвонить?

— Да, в королевский дворец.

— Момент, мадам, у нас как раз такой один имеется.

И он исчез. Лир еще долго торчала перед дверью, за которой он скрылся. Правила, в которых королева выросла, не позволяли ей выходить из себя, и поэтому она простояла ближайšie полчаса вроде солдата на посту, милостиво улыбаясь, прямая, как на параде. Она так ежедневно выстаивала, ожидая, когда кончится марш кавалерии и пойдет оркестр или когда все скажут свои речи и можно будет разрезать серебряными ножницами ленточку.

А продавец тем временем искал номер телефона дворца. Если бы он его нашел, то можно было бы продать глупой бабушке какой угодно аппарат за бешеную цену — как тот телефон, который именно один и звонит во дворец.

В этом королевстве среди продавцов иногда встречались нечестные люди, стремящиеся за дешевый товар взять большие деньги.

Наконец через двоюродную сестру, которая была замужем за сыном грузчика буфета парламента (и очень этим гордилась), продавец нашел телефон дворца (он обещал сестре за это продать ее старый компьютер по цене нового).

Вспотевший от переговоров, он наконец выскочил:

— Мадам! Это тот телефон, по которому можно позвонить во дворец. Пожалуйста!

И он торжественно набрал номер.

— Алло! — скромно произнесла королева Лир. — Это вы, Вильгельм? Лапочка, дайте мне кабинет принцессы Алисы. Спасибо. Алло, это кто? Брунгильда? Дай мне мою девочку. Неважно. Это нестрашно, уроки у нее каждый день. Вы слышите или нет, БРУНГИЛЬДА, алло. Это ты? Алиса, это я! Тут на улице замечательно. Приезжай ко мне. Сообщите ваш адрес, — сказала Лир продавцу. — Так. Улица Булочек, дом десять. Но никому не говори. Выходи из дворца, потом направо, налево, и я тут.

Десять минут Лир провела в магазине, вежливо слушая продавца, который, как ему казалось, уже уговорил ее купить педальный телефон, прибор для ужения рыб на мелком месте, бамбукокосилку, устройство ночного видения в условиях театра, стимулятор аппетита с дистанционным управлением и домашний преобразователь навоза...

На одиннадцатой минуте улицу Булочек огласил вой сирен, и рота мотопехоты ворвалась в магазин. Однако умная старушка Лир еще при

отдаленном вое успела смыться на противоположную сторону улицы, причем сняла парик и очки. В таком виде она схоронилась в магазине напротив и через витрину наблюдала нашествие полиции, журналистов и операторов. Алису привезли в черном лимузине размером с волейбольную площадку, принцессу сопровождали две молодые фрейлины, появившиеся во дворце всего сорок пять лет назад (Брунгильда и Кунигунда). Они тут же ринулись в магазин, кто скорее схватит королеву, а Алиса слегка приотсталала. Этим и воспользовалась Лир, которая дико заорала с другой стороны улицы:

— Алиса, куку!

Алиса обернулась (куку — это был их боевой клич при игре в прятки на королевской постели) и вскоре уже спокойно переходила улицу среди мотоциклов, бронетранспортеров и полицейских автобусов.

И бабка увлекла девочку в свой магазин, где не было ни единой души. Королева уже имела опыт и знала, что продавцы — самый редкий и ленивый зверь в городских джунглях. Покупатель должен завлечь этого зверя криком, выманить его к прилавку и заставить взять деньги! Так что никого в магазинчике не было, и одинокие королева и Алиса с интересом наблюдали толчею на улице, прибытие группы вертолетов и полка собак-ищеек, а телевизионщики быстро заняли все остальные свободные места, в том числе и тот магазинчик, где пряталась Лир со внучкой. Оператор нахально попросил Алису подержать кабель, а бабушке дал в руки ящик с чем-

то, тяжелый и грязный, и, когда в магазин заглянули полицейские, они приняли Лир и Алису за мелкий обслуживающий персонал, потому что на них обеих в этот момент орал администратор, упрекая Лир в том, что она разбила оборудования на миллион (дело в том, что Алисе надоело держать кабель и она бросила его на пол, а бабушка через него переступила, но не полностью, и немного зацепилась каблуком и т. д. На полу лежал ящик, почти неразбитый, а когда оператор взял его в руки, внутри раздалось мелодичное дребезжание, как у старых часов во дворце).

— А штырь где, девочки? — орал оператор. — Где теперь штырь? Отдайте штырь, дуры!

Полицейские, слыша такую ругань, деликатно удалились.

Что касается Лир, то она никогда не слышала такого слова как «дуры» и нимало не обиделась, а сказала Алисе:

— Детка, они, как мне кажется, потеряли какой-то штырь дуры, если я не ошибаюсь.

— Но, бабушка, у меня, как мне кажется, его нет! Если я не ошибаюсь!

— Куда ты его заныкала? — вопил оператор.

— Если мне не изменяет память, ты его не заныкала? — спросила Лир свою внучку, и, когда та отрицательно затрясла головой, бабка ласково сказала оператору:

— Если я не заблуждаюсь, мой друг, она не заныкала ваш штырь дуры. Поищите его в другом месте, дорогой.

На крик оператора откуда-то вылезла утомленная продавщица.

— Лапочка, — сказала королева, — нам нужен какой-то выход. Тут все оцеплено полицией.

Продавщица молча повернулась и пошла, а царственные бабка с внучкой последовали за ней и в результате выбрались на соседнюю улицу Коровий Брод черным ходом.

Продавщице очень, видимо, хотелось уйти из магазина вместе с ними, но она пересилила себя и вернулась на место работы.

А принцесса и Лир пошли куда глаза глядят по улице Коровий Брод, они осматривали прохожих, витрины, трижды заходили в магазины и переодевались там во все новое, и их там никто не останавливал: повторяю, в этом королевстве было ограниченное количество воров, Фердинанд и пять штук других, да и то Фердинанд в данное время находился в полицейском участке, куда принес заявление об угоне мотоцикла.

Так Лир и внучка гуляли до вечера — что может быть приятней неторопливой ходьбы по магазинам!

Причем бабка, как более опытная, при каждом переодевании прятала в новый карман волшебную карточку сына, заметьте!

К шести вечера внучка оказалась одетой в тельняшку и кожаные штаны, при этом она выступала на высоких каблуках, а в руках она держала хохочущую куклу: при каждом нажатии на живот эта кукла заливалась бешеным смехом, в котором ясно слышался испуг и даже ужас. Алисе очень нравился этот жуткий хохот, она никогда ничего такого не слышала во дворце, и поэтому принцесса почти все время нажимала на живот кукле.

Что касается Лир, то она переделась в миленький красный костюм, который она бы никогда раньше не осмелилась надеть: он был весь в золоте, а декольте такое глубокое, а юбка такая короткая! Старушка Лир почувствовала себя молоденькой глупышкой, особенно когда напялила на себя кудрявый соломенного цвета парик, черные очки и сверху ковбойскую шляпу с дырочками!

Кудри совершенно заслоняли лицо и шею, и это было волшебное ощущение, и королева в своих бархатных сапогах шла как юная балерина, а рядом ковыляла на высоких каблуках Алиса Четырнадцатая с дико хохочущей куклой: парочка была просто загляденье!

Правда, на выходе в дверях очередного универсама раздался заунывный вой: это включилась сирена. То есть это был сигнал, что из

магазина выносят неоплаченные вещи (а Лир всегда так и поступала). Однако охранник даже не стронулся с места: покинешь пост, станешь ловить вора, поймаешь, поведешь к директору, а тем временем другие воры выгребут из магазина вообще всё!

Это был ловкий, известный всем прием, и охранник с мудрой улыбкой проводил взглядом двух дам, одна из которых, вся завешанная золотыми кудряшками, буквально верещала от смеха, при этом делая вид, что спокойно идет! А другая терзала двумя руками куклу, как будто хотела ее придушить.

Правда, охранник погрозил двум воровкам своей дубинкой, подняв ее вверх, и вот тут Лир по-настоящему испугалась:

— Алиса, бежим, он нас узнал и воздаст нам королевские почести, приветствует жезлом!

Тут же они выскочили на улицу и помчались по Коровьему Броду, толкая прохожих с криком «извините, дорогая» и «о, простите, лапочка».

Километра через два они пошли медленно. Тем временем наступал вечер.

У Лир в животе опять завелся мотор, как будто его прогревали с мороза, а у Алисы позванивало и пищало, и, разумеется, они остановились около торговца пирожками.

Это был бедный и неумелый продавец, он первый раз вышел на улицу с корзиной — его жена напекла пирожков со всякой дрянью и выгнала мужа торговать, приговаривая «без тысячи домой не являйся!».

Хозяйка, кстати, начинила свои изделия вареной яблочной кожурой и полусырыми зелеными листьями капусты, которые обычно люди выкидывают.

Продавец искренне считал поэтому себя нечестным человеком, а если кто плохо относится к самому себе, то он так же плохо обращается с другими, известный эффект. Короче, продавец видел во всех покупателях воров и громко и злобно кричал: «А вот кому пирожки с экологически чистой начинкой! Ни грамма сахару (что было чистой правдой), ни капли жира (тоже не соврал), мука грубого помола (т. е. отходы для скота), ура!»

Он орал, а покупатели, спеша с работы, хватали горячие пирожки, но стеснялись их есть на улице, уносили домой. В этом королевстве не принято было есть в постороннем окружении, а вдруг рядом находится голодный прохожий, у которого могут возникнуть неприятные чувства от чужого чавканья! В таком состоянии и убить можно.

Короче, обманутые покупатели разбегались кто куда, а вот обе королевы взяли из рук продавца последние пирожки якобы с капустой и тут же начали их пожирать.

— Але! — сказал, скосоротившись, продавец. — А деньги? Девочки!

— Алиса,— заметила Лир,— ты не находишь, что эти пирожки чем-то напоминают такой материал для горшков, я не помню, кажется, называется сырая глина?

— Горячо сыро не бывает,— обозлился продавец.— Гони монету, бабуля.

— Я опасюсь, что вы правы, бабушка,— отвечала внучка, вытаскивая изо рта размокший кусок бумажного шпагата, сваренный по ошибке вместе с капустой.

— Я боюсь, что нам придется вернуть вам ЭТО, дорогуша,— сказала бабушка, с трудом отлепляя от своего роскошного фарфора кусок сырого теста.— Держите, держите. Съешьте ЭТО в любое свободное время.

Алиса же просто плюнула на газон кусок пирожка с веревкой.

Что касается продавца, то он оскорбился и закричал перекошенным ртом:

— Вызываю полицию!

— Да-да, вы правы,— сказала Лир, освобождая челюсти от кусочков теста с помощью мизинца (а что делать, мы не во дворце же!).— Этим должна заняться полиция.

Продавец помчался к телефону-автомату, но он не учел одного момента: обе дамы не знали обычаев данной страны — что если вызвана полиция, то ты обязан стоять не шелохнувшись возле места твоего преступления!

Короче, наши путешественницы, заметив, что продавец закрылся в автомате, тут же очень быстро пошли вон и вскоре скрылись в туманных даях улицы Коровий Брод.

Полиция приехала к продавцу через час (вспомним, что все машины и сотрудники этого учреждения толпились около улицы Булочек, дом 10, ища Лир).

К этому моменту продавец был уже побит собственной женой, которая пришла его проверять и недосчиталась денег за две штуки пирожков. Он стоял злой и обиженный с синяком под глазом и тут же заявил полицейским, что его избили и ограбили две шлюхи, одна из них молоденькая кудрявая в красном платье, лица не разглядел, а другая лилипутка в матросском наряде и на каблуках, которая все время хохочет как ненормальная.

— А-га! — сказал полицейский.— Только что звонили из магазина «Меха», что пара грабителей оставила на полу красный костюм и кожаные штаны с тельняшкой. А есть какие-нибудь следы?

— Вон следы,— обрадовался продавец.— Они плюнулись моими пирожками!

Полицейские тут же собрали вещественные доказательства с газона, прихватили продавца как свидетеля и бросились в магазин мехов.

А Лир с Алисой давно уже оттуда смылись и, посетив по дороге одно мужское кабаре, решили прерваться и теперь сидели в пивной, то есть завернули в первые попавшиеся двери отдохнуть от приключений.

Там они сказали, что очень хотят пить. Но надо знать, куда ты заходишь! Официант принес им по кружке пива, чего же еще ждать от официанта пивной.

А надо сказать, что во дворце пиво дамам не подавали никогда!

И из-за этого все в дальнейшем сильно осложнилось.

Бабушка с внучкой накинулись на пиво, дружно сморщились, но боялись оскорбить официанта и не сделали ему замечания, что ваш ли монад слегка горчит, не кажется ли вам!

Кроме того, младшая дама заказала «вон ту штуку», а старшая сказала: «Да, пожалуй, и мне, дорогой мой».

Официант принес парочку сосисок.

Дамы отважно хлебали из своих кружек, съели сосиски и дружно сказали:

— Еще раз вон ту штуку.

Официант шел на кухню оборачиваясь. Еще бы! По виду это были совершенные японки в кимоно, с черными как бы лакированными прическами. А вот глаза у обеих были круглые и голубые. Как странно!

— Еще сосисок! — сказал официант на кухне. — Эти японки вообще не знают, как называются сосиски и что такое пиво! Но выучили наш язык в совершенстве! И так вежливо разговаривают! Меня называют «дорогой».

— Японки! — многозначительно ответил повар.

— А глаза у них голубые, видал что творится? — воскликнул официант.

— Так они линзы вставили, — догадался повар. — В Японии всё могут.

— А круглые глаза-то, — сказал официант, принимая горячие сосиски.

— Пластическую операцию сделали? — изумился повар. — Они на все способны, японцы.

— Вот ты умный, — сказал официант, — а я не понял.

Правда, когда он принес своим клиенткам «вон те штуки», они уже сидели опустив головы, при этом глаза у них были совершенно японские, узенькие.

«Во дают, — подумал официант. — Теперь они косые!»

Бабушка с внучкой действительно сидели как настоящие японки, в кимоно и в черных париках, только как японки засыпающие. Они с трудом, промахиваясь мимо рта, стали есть по второй сосиске, но не доели. Практичная Лир спрятала свою сосиску в карман на всякий случай.

Это был самый конец их приключений, а перед этим, как мы уже сказали, наших дам занесло в магазин «Меха для новобрачных», где они переоделись в роскошные шубки, а затем они свернули в кабаре, где выступали мужчины с программой «Танцы девушек мира», но королева Лир и принцесса Алиса вошли туда по ошибке со служебного входа и попали прямо в коридор за кулисами, где на вешалке висели приготовленные для артистов костюмы. И путешественницам так понравились первые с краю халатики и парички, что обе мгновенно переоделись, оставив на полу два меховых пальтишка — одно из серебряных горных лис, другое из пуха розового фламинго.

Костюмеры сразу прибрали оба манто подальше, а насчет пропажи дешевых кимоно и париков даже и не стали заявлять в полицию, мало ли что бывает! Ну. не будут японские девушки сегодня танцевать, да и какие это девушки, если честно говорить, — перед выступлением бреют мало того что лицо, но и горловину вынуждены почти до пояса, и руки и ноги, а спины им бреют костюмеры, одну японку зовут Герберт, другую Владимир, обе японки эти женаты, просто артист должен же зарабатывать хоть как-то, хоть в виде тетки.

Так что меха исчезли навеки, кимоно и парики тоже.

Таким образом, полицейские появились в телевизионных новостях с ошибочным сообщением, что в районе улицы Коровий Брод разгуливает парочка грабительниц в дорогих манто (из лис и фламинго), причем на их счету многое, чувствуется, действуют опытные зарубежные группировки, колумбийские женщины-боевики или, о ужас, русская мафия.

За этой мафией числится: угон мотоцикла, кража кожаной куртки, белых джинсов, парика, сапог и очков, затем кража тельняшки, кожаных штанов, красного костюма и белого парика, шляпы, а также двух пирожков с начинкой из вареных веревок (эксперты изучили вещественные доказательства) плюс похищение двух меховых пальто и одной куклы.

— Неслыханное преступление, — заявила полиция, — за это ворам полагается в общей сложности пожизненное заключение плюс еще срок пять лет ссылки, а также лишение водительских прав и лишение права, сидя в тюрьме, смотреть по телевизору на королевскую семью!

Официант, который ухитрился и обслуживать столики, и смотреть на экран, ахнул и сказал обеим японкам (с очень уже косыми глазами):

— У вас в Японии воруют?

— Простите? — откликнулась Лир, находящаяся под большим впечатлением от бокала пива и ошеломленная передачей по телевизору. Неужели это их с Алисой ищут?

— У нас вот воруют по-черному, — сказал официант. — У нас в королевстве.

— Сомневаюсь, что я вас поняла, — отбрила Лир официанта. — Еще, пожалуйста, две штуки вон того. Аудиенция окончена, ступайте, детка.

— О японская мать! — воскликнул официант, кланяясь. — Ну все для вас сделаю.

Это обещание он вскоре выполнил, поскольку обе японочки заснули головой на стол, и пришлось их вести к такси и сопровождать в гостиницу «Две звезды», где обычно ночевали самые нестойкие посетители пивной.

Утром этим посетителям, как правило, подавали счет (пиво, такси, гостиничный номер, разбитое зеркало, врач, перевязочный материал, перевязочный материал доктору, перевязочный материал ночному портье, сиделка у постели до утра, вооруженная пистолетом, в мундире и при фуражке и т. д.).

Официант был уверен в том, что японки не подведут в смысле денег: из кармана кимоно у старушки выглядывал уголок королевской кредитной карточки, так что официант сам сопровождал своих клиенток в гостиницу и добился для них самого лучшего номера.

На следующий день Лир проснулась в каком-то странном месте: не было золотых зеркал, постели оказались без балдахин, вместо ковра лежала какая-то лысая тряпка... Ни одной спящей фрейлины, нет служанок и оркестра за ширмой, голову что-то стягивает, но явно не корона, во рту вкус невымытой железной вилки (королева один раз ела такой вилок во время визита в хижину бедняка на острове Туруроа, этот бедняк был местный царь).

На соседней кровати в парике, кимоно и башмаках спала бедная Алиса.

«Боже мой, — подумала Лир, — мы в тюрьме!» Она все тут же вспомнила и поняла, что их с Алисой осудили на пожизненное заключение!

— Алиса, вставай! — железным и острым, как вилка бедняка, голосом завопила Лир. — Ты арестована!

В дверь грубо постучали.

— Не кажется ли тебе, Алиса, что нас идут казнить? — продолжала гордая королева. — Встань! Встретим их как подобает! Казнь всегда бывает на рассвете! Сейчас как раз одиннадцатый час утра!

Алиса сказала:

— Ой, бабушка, мне неохота вставать в такую рань... Пусть казнят меня лежа...

В комнату вошла тетенька с пылесосом:

— Алле! Разрешите?

— Мне о вас не докладывали, — сказала Лир.

— Я хочу убраться.

— Убирайтесь, моя милая, и немедленно, — заявила Лир.

Тетенька кивнула, включила пылесос и стала носиться по тюремной камере с ревом и грохотом.

Когда она скрылась в ванной и начала там лить воду и стучать щеткой, Лир воскликнула:

— Надо срочно бежать! Она забыла запереть камеру!

Они тут же выскочили в гостиничный коридор и помчались куда-то, нашли лестницу и вихрем скатились вниз, прямо к стеклянным дверям.

— Стойте! — закричал портье. — Стойте!

Он кричал не просто так, клиентки не заплатили ни за ночлег, ни за побитые зеркала (портье как раз фантазировал, вписывая количество покаленной мебели и порванных полотенец в счет, уши его горели).

Однако Лир и Алиса выпрыгнули из гостиницы и тут же вскочили в отходящий автобус.

Шофер увидел в зеркальце двух румяных японок и стал ждать, когда они подойдут купить билеты (в этой стране было принято стоять в очереди к водителю с целью отдать ему деньги за проезд).

Японки, тяжело дыша, подошли к шоферу, и старшая на прекрасном местном наречии (хотя и несколько старомодным языком) сказала:

— Здравствуйте, дорогой мой! Доложите мне, лапочка, где тут находится дворец?

— Дворец? — задумался паренек, ведя свою тяжелую машину. — Вам Дворец спорта?

— Если я не ошибаюсь, нет, — сказала Лир вежливо.

— Или Дворец бракосочетаний?

— О, не думаю, — улыбаясь, ответила Лир.

— Или Дворец культуры имени Пьера Великого?

— Не уверена, дорогой, — торжественно произнесла Лир. — Боюсь, мне нужен королевский дворец.

— Западный монастырский, что ли?

— Опасаюсь, что именно так.

— А что вам там надо? — весело спросил шофер.

— О, ничего особенного, — улыбаясь, возразила Лир. — Вы нас туда не отвезли бы, котенок? К четырнадцатому подъезду. Вы не пожалеете, мой милый.

— Четырнадцатый подъезд — это не мой маршрут, — от души смеясь, сказал шофер.

— Я повелеваю вам, — беспомощно, но с угрозой в голосе произнесла Лир.

— Исключено, мадам, — весело ответил водитель.

— Вы пожалеете об этом, — провозгласила королева Лир. Она имела в виду, что не наградит его орденом Синего Носка, как намеревалась.

Тут старушка вспомнила про волшебную карточку, с которой никогда не расставалась. Может, показать ее шоферу?

И Лир полезла в карман кимоно, где, как оказалось, у нее лежала почему-то вчерашняя недоеденная, совершенно окоченевшая сосиска.

Лир смутилась и стала выуживать карточку, минуя сосиску.

И сквозь карман кимоно явственно проступили грозные очертания продолговатого округлого предмета, похожего на дуло.

Шофер был зоркий паренек. Краем глаза уловив решительные движения японской бабушки и выступающее сквозь шелк дуло, он сказал:

— Куда едем?

— Четырнадцатый подъезд, если можно. Сразу за конной статуей моего дедушки!!!

Королева уже говорила с шофером голосом этого самого дедушки, воинственного генерала: в минуту опасности он срывался на визг, который разносился по всему полю боя (мегафонов-то раньше не было!).

Лир дико была испугана. Дело заключалось в том, что Алиса давно толкала ее в бок, приглашая оглянуться: за автобусом ехала полицейская машина со включенной мигалкой, и там из окошка махал рукой гостиничный дежурный!

— Хорошо, мадам, не волнуйтесь так, мадам.

Бабушка кивнула и рявкнула голосом своего прославленного деда:

— Быстрее! Как можно быстрее!

И она с еще большей нервностью затрясла карманом кимоно, ища проклятую карточку.

— О, не надо волноваться! Это недалеко! — завопил встревоженный водитель, кося глазом на пляшущее под шелком кимоно здоровенное дуло.— Сейчас!

Полицейская машина тем временем вырулила среди потока транспорта и помчалась на обгон автобуса.

— Еще быстрее! Вперед, мой мальчик! — гаркнула королева.

Алиса, слыша, что полицейская машина включила сирену, вцепилась в живот своей куклы, и жуткий хохот перекрыл все окружающие звуки.

Бедный шофер втянул голову в плечи, вторая японка за его спиной была к тому же и сумасшедшая, так дико смеяться! Это надо подумать! У нее прямо истерика! Застрелят как зайца!

И водитель поступил так, как поступают все люди, стремящиеся уйти от опасности: он помчался на своем автобусе вперед как ошалевший мамонт. Он загудел, затрубил, и все машины впереди свернули с дороги.

Пассажиры автобуса вцепились в свои кресла, а некоторые даже легли на пол.

— О, браво, лапочка! — перекрывая бешеный куклин хохот, вой сирены и клаксон автобуса, воскликнула Лир.

Время как таратайка, автобус поехал на красный свет, пересек площадь и нацелился в открытые ворота дворца.

У ворот мирно стояли гвардейцы в медных касках с перьями.

При виде автобуса они заметались, но королева и Алиса нагнулись и приветственно помахали руками.

Гвардейцы оцепенели.

— Так, теперь направо... Нам сюда, дорогуша,— милостиво сказала Лир.

Шофер затормозил своего мамонта у подъезда и открыл дверь.

Королева спросила Алису:

— Тебе понравилось, детка?

— Боюсь что да,— ответила Алиса.

— Когда-нибудь еще погуляем, а? — произнесла шепотом Лир, и Алиса сдержанно кивнула.

Шофер автобуса, бледный, наблюдал за тем, как к японкам со всех сторон бегут люди в мундирах, камзолах, халатах, ливреях, как вываливаются из этого четырнадцатого подъезда дамы в декольте и со шлейфами, как они приседают, как трубят музыканты, бьют в барабаны, как ведут японскую девочку две пожилые тети и как они падают в обморок при звуках бешеного механического хохота, который вырывается у этой юной японки из груди, к которой прижата кукла...

— Ах да,— сказала, возвращаясь к автобусу, старая Лир (при этом она стащила с головы ненужный японский парик и обнажила свою лысину с грядкой зелени, и шофер побагровел и крепче уселся на сиденье, вцепившись в рычаг),— ах да, этому милому человеку надо дать орден «Львиная грива за спасение королевы» и орден «Кошачьи усики за спасение принцессы». Запишите, Вильгельм!

И при этом она зорко, как ястреб, посмотрела за ворота, где остановилась полицейская машина...

## Крапива и Малина

В одной семье родились девочки-близнецы, и все решили, что они похожи как две капли воды, только соседка-колдунья сказала, что не будет более разных сестер и одна вырастет злой как крапива, а другая доброй как малина.

Кроме того, сообщила через забор соседка (а ее, между прочим, никто не спрашивал), мало того: обе они, и крапива и малина, должны полюбить одного и того же человека. И им будет дан один дар волшебства на всю жизнь, одно исполнение желаний на каждую — причем сестра пойдет против сестры, вот как!

Так выступила соседка-колдунья и тут же переехала в другой город, больше мы про нее ничего не узнаем, а девочки стали расти и развиваться, черненькая и беленькая, обе милые и добрые, и на этом мы их покинем, потому что прошло шестнадцать лет, и в этом городе появился

странный молодой человек: каждый вечер он одним и тем же путем ехал на велосипеде к морю, а через час обратно — зимой и летом, в любую погоду.

Люди стали его предупреждать, что в шторм опасно купаться, тем более вредно так далеко заплывать, тем более зимой и тем более вечером.

Но пловец был человек приезжий, работал учителем и в ответ на все добрые советы только улыбался.

Мало ли, может, он хотел поправить таким диким способом свое пошатнувшееся здоровье!

Короче, никто ему был не советчик, и каждый день в пять часов он пролетал на своем велосипеде вниз к морю, а в шесть ноль-ноль поднимался в гору на том же велосипеде обратно, так оно и шло.

А ездил он как раз мимо домика сестер, каждый вечер туда и обратно, и в один прекрасный момент молодой велосипедист обратил внимание на яркий, как искра, красный цветок в окошке маленького дома.

Ездок даже слегка замедлил ход своего железного коня и подумал, что хотел бы выращивать точно такой цветок у себя в саду.

Неплохо было бы узнать (думал наш вечерний пловец), кто живет в этом домике за белой занавеской!

И он снял на момент свою кепку, приветствуя алое создание.

И так каждый вечер день за днем он стал здороваться (приподнимая кепочку) с этим цветком и прощался с ним, проезжая обратно, а за белой занавеской тем временем кипела жизнь, как раз в данном доме обитали две сестры-близняшки, черная и белая, причем обе были красивые и добрые, Крапивка и Малинка, черненькая и беленькая, — но учитель-то этого не знал.

А в доме у девочек вечно паслось множество друзей и подруг, все они весело учились и проводили время, и предсказание злой соседки (а кто, собственно, сказал, что она была колдунья? Сплетни и всё.) — предсказания эти не сбылись.

Единственно, что было плохо в жизни сестер, — это то, что они никогда не любили. То есть они любили папу-маму, брата, дедушку и бабушек и своих друзей, но что это такое для шестнадцатилетних девушек! Далеко не всё, скажем прямо.

Короче, когда в городке появился молодой учитель математики, велосипедист и пловец, что-то случилось.

Наши сестры, не сговариваясь, ровно в пять и ровно в шесть часов вечера прилипали к своим окошкам (разумеется, оставаясь за занавесками), и в результате Малина неизвестно где выкопала красный цветок и поставила его на окно. Сестре она уже потом скромно сказала, что нашла у дороги битый горшок с увядшим ростком, пожалела и подобрала, всё.

Кстати, Крапива сначала и не подозревала насчет цветка Малины — а когда узнала, было уже поздно: учитель, сняв кепочку, дважды, в пять и в шесть часов, здоровался и прощался с окошком Малины, на котором сиял роскошный красный, цвета спелой малины, цветок.

На этом мы временно покинем огорченную Крапиву и счастливую Малину, потому что ветреным ноябрьским вечером, в пять тридцать, учитель повернул к берегу, борясь с морскими волнами.

Пловца несло совершенно не туда, куда он хотел, его волокло в открытое море, мало того, внезапно потемнело, как будто наступила ночь, и хлынул страшный ливень.

Берег скрылся за стеной дождя, учитель потерял направление и греб теперь без толку, явно уносясь все дальше от земли.

Но, видимо, не все было потеряно для бедного молодого человека: вдали вдруг зажглась как бы красная искра, вроде сигнала ракетницы. Искра, однако, не поднималась и не падала, а стойко сияла на одном месте.

Учитель бешено обрадовался и заработал руками-ногами не хуже пропеллера, это был бешеный стиль баттерфляй, — но, когда он выбрался на берег точно у своего обливаемого дождем велосипеда, никакого фонарика или костра он не обнаружил.

Только под колесом валялся какой-то ярко-красный даже во тьме мокрый лоскутик.

Учитель зачем-то подобрал этот лоскутик, живой на ощупь, и спрятал его в карман своей непромокаемой куртки.

Возвращаясь мимо известного нам дома с цветком, учитель поднял мокрую кепочку и попрощался с малиновым красавцем в горшке. Это чудо природы неизвестного вида и названия сияло в темном окне словно под прожектором, топорща свои лепестки. Правда, снизу у него не хватало одного зубчика, как у шестилетней первоклассницы.

Учитель помчался дальше, поливаемый жутким дождем, а в доме у Крапивы и Малины две молоденькие девушки радостно вздохнули и вытерли слезы каждая у своего окна, затем зажгли как по команде настольные лампы (целый час перед тем проведя в темноте неизвестно почему и глядя в щель между занавесками) — и продолжали делать уроки.

Утром они должны были идти в школу, где преподавал молодой математик, строгий и любезный, а Крапива и Малина учились обе хорошо, и хотя у них и случались тройки — но не по алгебре!

Надо сказать, что к описываемому моменту разница между сестрами все-таки проявилась.

Крапивка росла решительной и слегка лукавой, а Малинка, наоборот, покладистой и тихой: все как полагается.

Однако жизнь продолжалась, и городок перезимовал у своего грозного моря, удивляясь тому, что учитель регулярно — даже в холодные и ветреные январские ночи (которые начинались в четыре часа дня) — с жутким упорством стремится в море и ездит туда на велосипеде по снегу.

Возник и утвердился слух, что молодой математик скоро уедет из города и что он на самом-то деле готовится к соревнованию по такому виду спорта, как ночной велосипедный пробег в условиях шторма по маршруту Африка — Америка с переплывом океана на ту сторону! И что документы уже готовы, тем более виза.

А учитель, не подозревая об этом, вел подготовку к выпускным экзаменам, причем как раз в классе, где учились Крапива и Малина.

Но выпускные страдания, как известно, кончаются общим праздником, и по этому поводу назревал последний школьный бал.

Крапива в большом секрете шила себе платье из белого прозрачно-го шелка (успокойтесь, в три слоя ничего не будет прозрачно), а вот Малина не шила ничего, она и шить-то не умела, тихая была девочка без особых, видимо, способностей и на уроках математики все краснела и ошибалась, причем это проявилось совсем недавно.

Молодой учитель, однако, ее старался хвалить и за тройки, как хватят отстающих, если они очень стараются.

Он даже провозгласил, что нет непонимающих учеников, никто тут не debil, и сказал потише: «Малина, для вас и для таких усердных школьников, как вы, которым просто надо подогнать материал, я и начинаю дополнительные занятия».

И вот тут некоторые мальчики, которые носили за Малиной ее портфель по маршруту дом — школа — музыкальная школа — теннис — дом, причем строго по очереди и без драк, — эти мальчики тоже внезапно перестали что-либо понимать в математике и дружно нахватили двоек, и они искренне обрадовались, когда, бледно улыбаясь и пожимая плечами, учитель их тоже пригласил заниматься сверх программы.

Таким образом, Малина ходила к учителю, а Крапива держалась молодцом, по алгебре отвечала находчиво и остроумно, а сама вечерами шила платье, причем сердилась, шипела, рвала нитки и мечтала о моменте, когда музыка заиграет и можно будет пригласить молодого учителя на дамское танго, и все поразятся!

Крапива для этого даже начала посещать по воскресеньям школу бальных танцев, где произвела настоящий переполох своими способностями.

А потом эти две девочки без больших приключений сдали экзамены, и состоялся бал, на котором Крапивка выглядела как тоненькая девочка-невеста в своем белом струящемся наряде, она блистала посреди толпы взволнованных мальчиков, а Малина не танцевала, она тихо си-

дела за столиком в компании своих трех пажей и блестящими глазами смотрела, как пляшут молодой учитель и Крапивка, — оказалось, что математик тоже умеет откалывать танго со всякими наворотами, и этот дамский танец вызвал горячие аплодисменты.

Малина сама была виновата, что к выпускному балу оказалась с опухшей ногой: накануне вечером она помогала Крапиве, подшивала ей подол, но ровно в пять часов бросила все и кинулась в свою комнату к окошку как по тревоге, — и, к сожалению, от этого резкого движения Крапивка рухнула прямо на пол, в ноги сестре, а Малинка споткнулась о Крапиву и так далее; и к вечеру ступня у Малинки распухла, хорошо еще, что Крапива не ободралась и новое платье осталось в целости, большое счастье, — а не бегай как сумасшедшая к окошку в пять часов, сказала Крапивка с особенным блеском в глазах, зайдя вечером к сестре с грелкой.

Так что к утру выпускного бала Малина, хромая, отправилась домой, а все другие во главе с учителем математики пошли в горы встречать рассвет.

У молодого учителя, видимо, от танцев кружилась голова (и от виноградного вина тоже) — и в глазах стояла милая маленькая Малина, тихо глядящая на него издали, неотрывно, тревожно, а сердце его замирало от какого-то непонятного счастья, когда он шел впереди всех над пропастью по крутой тропе; в самом опасном месте педагог встал на краю, пропуская своих бывших учеников, чтобы никто не свалился — мало ли, все устали, все слегка выпили, а девушки вообще на каблуках (он не принимал во внимание, что эти дети выросли в горах и знают их не хуже пастухов) — так вот, он стоял, а Крапива вдруг затанцевала на камушке над обрывом, привлекая к себе всеобщее внимание, а камушек-то качнулся!

И тут учитель рванул к Крапиве, чтобы ее подхватить.

В этот самый момент что-то произошло: то ли Крапива отступила в сторону, то ли маленький учитель не рассчитал силы своего прыжка — короче, он внезапно оказался на вольном просторе над пропастью, в долгом полете, он все еще быстро перебирал ногами, но уже напрасно, это был, видимо, его последний танец, бесполезная пляска смерти, ветер свистел и хлопал вокруг, сердце остановилось, а ученики, остолбенев, смотрели, как переворачивается внизу маленькая нелепая фигурка, пытаясь схватиться за ничто, за воздух, и дико завывала какая-то девочка, это была, наверно, Крапива.

Учитель падал в страшной обиде, все вокруг него просвистывало мимо, вверх, не даваясь в руки, — и вдруг глубоко внизу сверкнула какая-то яркая красная точка, она подлетела и сунулась ему прямо в руки, и учитель вцепился в эту точку, ему чуть не вынесло руки из суставов, но дело было сделано: он висел, держась то ли за корень, то ли за

ветку над уже не глубокой пропастью — внизу, метрах в десяти, виднелись острые скалы.

Он повис, болтая ногами, вроде бы безо всякой надежды, но недаром этот математик вертел колеса велосипеда и плавал, могучие руки не подвели его. Через пять минут он уже сидел в ближайшей каменной зазубрине, держась за корявый ствол, спасший его.

На маленьком дереве, кстати, болтался, вилял на ветру, как флажок, какой-то ярко-красный лепесток — видимо, остаток цветка, которым это корявое деревянное существо еще минуту назад праздновало весну...

Учитель почему-то потянулся над пропастью и с опасностью для жизни снял лепесток, а потом положил его в карман, просто так; делать ему было нечего, и он продолжал сидеть буквально ни на чем, на запятой в каменной книге горы, вцепившись ногтями в скалу, а ногами упираясь в убогий ствол, дрожащий под налетевшим внезапно ветром: ветер означал, что далеко над горами, видимо, взошло солнце (учитель же сидел во мгле).

Вверх идти было некуда, там имелся так называемый «отрицательный угол», то есть гора слегка нависала над бедным учителем. Альпинисты знают такие сюрпризы и на отрицательные углы ходят только со страховкой и в полном обмундировании. Наш педагог при своих новых кожаных ботинках не годился для таких подъемов.

Вниз — это альпинисты тоже знают — идти еще более опасно, чем вверх. На спуске ты не видишь, куда ставить ногу!

Кроме того, внизу, как стадо акул с раззявленными пастьями, ожидало молодого учителя скопище острых скал.

Учитель постепенно каменел от холода, не смея шелохнуться.

Время тянулось медленно.

Наступил приблизительный рассвет, вокруг посерело. Ущелье теперь хорошо просматривалось, хотя не до дна: вокруг скал кипел густой волокнистый туман, укрывая, видимо, речку. Там шумело, как будто постоянно работал душ, причем очень холодный.

Прилетели какие-то милые, довольно крупные птицы типа орлов.

Они сели неподалеку и, словно чего-то ожидая, чистили перышки и временами гаркали в полную силу.

Так вопят в кино нетерпеливые подростки, когда им долго не показывают любимого фильма.

Три часа спустя в школе уже знали, что молодой математик разбил-ся; слишком хорош он был для этой жизни, постановил женский педагогический коллектив, а кто-то и всплакнул.

Все говорили, что надо вызывать спасателей и вертолет, но в ущелье не спуститься на вертолете, слишком узко и опасно. Так что лучше по-

звонить альпинистам в горный лагерь, но там, как выяснилось, пока что не работает телефонная линия.

Что касается Крапивы, то она, потолкавшись в школе, вдруг сама себе кивнула и, ничего не говоря, помчалась вон, ворвалась в свой спящий дом и там на цыпочках прокралась к себе в комнату, попутно увидев, что из-под двери Малины сочится свет настольной лампы почему-то...

Добравшись до кровати, Крапива накрылась с головой одеялом и стала звонить по некоторому номеру.

Это был телефон одного безнадежно влюбленного лесного пожарника, вертолетчика из соседнего района, который не раз приглашал ее прокатиться на своем воздушном агрегате.

Короче, через пятнадцать минут вертолет приземлился на задворках их дома, а затем хмурая, вся в красных пятнах, Крапива села в кабину счастливого пожарника и попросила прокатить ее в Ущелье Смерти.

Где полчаса спустя, снизившись насколько возможно от пешеходной тропы, они и обнаружили летучего педагога, который, балансируя, сидел на почти вертикальной стене, цепляясь ногтями за камень, а ногами уперевшись в некий корешок. Он даже не взмахнул рукой в виде приветствия, а только осторожно кивнул головой, да-да, я здесь. Кстати, его чуть не сдуло ветром от вертолетного пропеллера, но умный пожарник взлетел повыше и выкинул трап.

Через полчаса хлопот, тарактения и подскоков вертолет занял удобную позицию, и веревочная лестница наконец, видимо, болтнулась в нужном месте, поскольку трап натянулся как леска, уловившая рыбку.

И действительно — над полом кабины показалась сиреневая от холода физиономия математика.

Взгромоздившись на палубу воздушного корабля и увидев Крапиву, учитель сделал строгое педагогическое лицо, готовясь сказать все, что было им передумано за последние часы, но Крапива так искренне и охотно (даже радостно) зарыдала у спасенного на плече, что он сделал только одно: достал из кармана своего праздничного изодранного костюма платок и, с трудом оторвав ученицу от себя, вытер ей глаза и распухший нос.

При этом из кармана у преподавателя вылетел ярко-красный лепесток.

Крапива увидела этот сигнал тревоги и хотела было поднять лепесток с полу, но учитель крепко держал ее за нос и вытирал его довольно-таки усердно, крутя туда и сюда, так что у бедной девочки временно полились совершенно иные слезы.

И математик смог довольно спокойно нагнуться и бережно спрятать потерю в карман, а Крапива все трясла головой, держась за нос.

Вертолет сел на тех же задворках, учитель пожал руку пожарнику, который улыбался, глядя на Крапиву, и все толковал насчет дискотеки сегодня вечером у них в клубе — увезу и привезу, объяснял он, керосин есть!

— И ты приходи, друг, не знаю как звать,— бормотал он, глядя опять-таки на Крапиву.

Но потом вертолетчику пришлось упорхнуть, у него кончалось ночное дежурство, он летел и улыбался, остальные же участники полета разошлись по домам хмурые и усталые, причем математик, войдя в свою квартиру, сразу же опустил лепесток в чашу с водой, где у него уже плавал тот, первый,— и не завял с зимы!

Учитель постоял над чашей, отдыхая: ему нужно было отойти после долгих часов, проведенных рядом со смертью, и он, вместо того чтобы лечь в горячую ванну, осматривал свою новую добычу и все гадал, что же это с ним происходит.

Педагог думал: уже два раза ему полагалось погибнуть, однако оба раза он мало того что спасался, но и тут же, на месте спасения, чудесным образом находил красный лепесток неведомого цветка.

На этом мы оставим нашего молодого учителя, который все-таки побрел в ванную, и сообщим, что он был странный человек,— например, он считал, что все у него, возможно, впереди и что профессию он еще не выбрал окончательно.

То есть математик еще не решил кем быть.

И пока он медленно снимает с себя порванный в трех местах (под мышками и на сиденье) костюм, мы вам скажем, что молодой педагог иногда (после некоторых уроков) думал, а не сделать ли своей профессией разведение цветов! Цветы не орут, не кидаются книгами, не дерутся и т. д.

С цветами можно разговаривать, им можно что-то объяснить, их можно переделать.

Вывести, например, новый сорт.

С учениками такого не получалось.

Сменить, сменить профессию, она становится смертельной, как у укротителя зверей!

И как пригодились ежедневные купания в ледяной воде-то! Без этого жуткого тренинга учитель свободно мог бы сейчас представлять собой шведский стол (холодные закуски) для десятка птичек...

Так в шутку думал педагог, только недавно свалившийся в пропасть из-за слишком бойкой ученицы.

Тем более что он и начал, в сущности, уже разводить цветы — с одного лепестка. Некоторые лепестки ведь (он читал) способны пускать корни, так что каждое утро молодой математик с надеждой осматривал свой ботанический трофей насчет новых ростков — тот держался в

полной свежести и сохранности, плавал в воде, не завядая, но никаких корешков себе не отпустил.

Теперь к нему добавился второй точно такой же. Он так же сиял в хрустальной чаше, и красные огоньки дробились на острых гранях стекла.

А девушка Крапива вернулась домой и сразу пошла к сестре — тем более что свет у нее так и горел.

Сестра сидела в кресле поникнув головой.

— Что с тобой? — спросила Крапива весело. — Ножка болит?

Малина ничего не ответила.

— Пойди прими таблетку, — безжалостно сказала Крапива. Она была в хорошем, смелом настроении после спасения учителя, и ее раздражали чужие страдания. Надо быть бодрой! — Пойдешь? Или тебе принести?

Малина опять промолчала.

— Ты все знаешь? — безжалостно спросила Крапива — Что я виновата?

Малина посмотрела на нее сухими, ввалившимися глазами.

— Но математик спасен! — воскликнула Крапива.

Малина вдруг густо покраснела, как полагается этой ягоде, и заплакала. Слезы текли у нее сквозь пальцы, которыми Малина закрыла лицо.

— Я его спасла на вертолете. За мной залетел Андрей из пожарки. Он за мной бегаёт ещё с зимы. Помнишь, мы были там на экскурсии? — трещала возбужденная Крапива. — Вот я ему и позвонила. Мы сняли учителя, он сидел внизу, в Ущелье Смерти. Андрей здорово водит вертолет! Мы чуть с ним не разбились, там такое узкое место! Винт даже не помещается! Он обещал меня тоже научить водить, хочешь?

Малина все рыдала, не в силах остановиться.

— Кончай! — сурово сказала Крапива. — Все?

— Все, — прошептала Малина и судорожно вздохнула.

— И обними меня! — потребовала Крапива.

Сестры обнялись. Малина все еще вздыхала.

— Слушай, Малиночка, — заговорила Крапива, глядя сестру по голове. — Слушай! Помнишь, у нас была соседка? Ну, про которую говорили, что она колдунья и что она напорочила нам... Помнишь? Мама-то рассказывала в детстве.

— Помню, — еле слышно откликнулась Малина.

— Ну помнишь, она пообещала, что у нас будет у каждой свое колдовство?

— Да.

— Ты уже нашла свое колдовство? А?

— Не знаю, — растерянно ответила Малина.

— А как ты наколдowała?

— Я не колдовала, — прошептала Малина — Я все придумала... Придумала — и все.

— А вот что ты придумала? Отвечай! — требовательно сказала Крапива.

— Я ничего не могу, — помолчав, отозвалась Малина. — Ничего сказать не могу.

— Нет, ты ответишь! Ты ответишь! Скажешь мне! Мне нужно мое колдовство!

Малина как онемела. Ей было стыдно, но она не могла помочь сестре.

— Хорошо, я тебе скажу так, — продолжала Крапива. — Мое желание уже противоположно твоему? Да? Я подозревала это. Но нам это и предсказали, Малиночка! Что я захочу того, чего не хочешь ты! Но это не значит, что твое желание главнее! И я добьюсь своего. Имей в виду! Я спасла ему жизнь и теперь имею право. Я все сделаю! И для этого не надо никакого колдовства! Я и сама смогу! И кругом люди, они мне во всем помогут, у меня много мальчиков, да! Они готовы на все! Но важно другое — чтобы и он меня полюбил.

Малина вдруг ответила:

— А разве можно заставить человека любить?

Крапива удивленно спросила:

— А если он сам не понимает своего счастья? Если он еще молодой? Когда мы с ним танцевали, мне показалось, что он все понял. Но он тут же пригласил на танец Калину, ты помнишь? А не меня! Он не понимает своего же счастья! Ты видела это безобразие? Калина танцевать не умеет!

— Я не помню.

— Ах да, ты ведь сидела с большой ногой. Ну и в чем тогда заключается твое колдовство, если он даже тебя ни разу не пригласил? Ты небось истратила все на какую-нибудь ерунду? Да? Да? На что?

— Я не знаю... Мне что-то снится... И все.

— Что тебе снится, дурочка?

— Я не помню...

— Ну скажи мне, что тебе снится, — настаивала Крапива. — Море? Горы? Лес?

— Не знаю.

— Но ведь у тебя это получилось? И хватит с тебя. Теперь давай это мне.

— Я ничего не помню, — в который раз тихо произнесла Малина.

Крапива подумала и повела атаку с другой позиции:

— А о чем ты все время думаешь, скажи! Ну скажи! Ну ведь у тебя никогда не было секретов от меня! Мы же самые близкие люди на свете!

— Нельзя,— тихо ответила Малина.

— А то что будет? — не унималась Крапива.

— Нельзя.

— Какая ты стала злая! — завопила Крапива.— Правильно колдунья сказала, что я буду добрая, а ты злобная!

— Ну все,— решительно произнесла Малина и надулась, как бы обиженная. Так у них всегда бывало в детстве. Крапива долго могла дразнить тихую Малину, но когда та обижалась, то ее никакими силами было не уговорить. Малина молчала неделями.

Крапива весело воскликнула:

— Ну смотри! Когда я пойму, что это такое, а я это пойму — то я тебя не пожалею! Смотри у меня! Колдунья нам обеим предсказала, и со мной это тоже случится! Так что я буду безжалостна!

Малина горестно молчала и только покачивала головой. Крапива тоже стала горестно качать головой, как бы стыдя сестру. И в зеркале отражались два одинаково расстроенных личика, которые вертели носами как маятники, из стороны в сторону, только одна голова была белокурая, а другая черная как ночь.

Что же касается молодого учителя, то он, возвратившись из душа, опять встал столбом над хрустальной чашей с лепестками, а потом подумал и бросил туда дополнительную крошку сахара и полтаблетки аспирина, так научила его делать старушка, преподаватель биологии.

Каждому лепестку — дополнительное питание, подумал он.

И только после этого учитель, морщась, начал обрабатывать свои садины.

А Крапива тем временем не дремала: она написала математику письмом, что приглашает его на свой день рождения. И подписалась: «Калина». И бросила это письмо в почтовый ящик, внутренне хохоча. Письмо это было целиком написано на компьютере, так что учитель не смог бы разобрать, что почерк тут совершенно другой.

Кстати, день рождения Калины должен был состояться через два дня, и Крапива бросила все силы на то, чтобы подготовиться к нему.

У нее родился хитроумный план! Волшебство могло и подождать, у Крапивы хватало ума, чтобы все сделать и без помощи чудес, только одной силой разума.

Для начала Крапива очень простым путем решила покончить с одной вещью.

Дело в том, что Малина тоже была приглашена на день рождения к девочке Калине и собиралась туда пойти, несмотря на больную ногу.

Она уже приготовила свой красный костюмчик и решила надеть мины мягкие туфли, чтобы не слишком прихрамывать.

Она даже немного раздумянулась и тихо напевала с утра.

А вот нетерпеливая Крапива, зайдя к сестре, сказала так:

— Вот ты на меня дуешься, а я тебе же еще и пригожусь. Я тут встретила нашего бывшего учителя математики. Он передал тебе привет и сказал, что, если ты не против, он сегодня вечером зайдет поговорить с тобой! Все будут на дне рождения, а его, бедного, не пригласили! И он придет к нам. Как ты на это смотришь?

— А зачем? — спросила Малина, покраснев.

— А, заговорила со мной, злая колдунья! — торжествующе воскликнула Крапива. — Зачем — я не знаю. Может, он что-то хочет тебе предложить?

Малина в ответ еще больше покраснела.

— Нет, скорее всего, он просто жалеет тебя с твоей больной ногой. Он ведь не знает, что ты решила идти на день рождения.

— Нет, я не пойду, — откликнулась Малина мгновенно.

— А, не пойдешь? Ну тогда ты дашь мне свой красненький костюмчик на один вечер?

— Пожалуйста, — сказала Малина, слегка нахмурившись. Может быть, она как раз хотела сидеть дома в этом наряде и ждать учителя, кто знает.

Крапива так и подумала. Победно улыбаясь, она полезла в шкаф, взяла оттуда красный костюм и скрылась с ним за дверью со словами:

— Жди, авось дождешься!

Дверь захлопнулась, и Малина стала рыться в шкафу и искать что-нибудь другое, юбку с кофтой, например.

А дверь открылась, и хитренькое личико Крапивы просунулось в комнату:

— Ты не торопись! Он сказал, что придет между семью и девятью, но не позже шести! Кстати, дай уж мне заодно и свою черную шляпку! И черные туфельки, ладно? И красную сумочку!

С этими словами Крапива, как буря, ворвалась к Малине, все перевернула вверх дном, подхватила и черные колготки, и светлую пудру, и жемчужную нитку, и жемчужное колечко: словом, все богатства сестры.

Малина осталась прибирать в комнате, она, прихрамывая, поднимала с полу вещи, рассыпанные бусинки, булавки, колечки, носки, а также засушенные цветки из блокнота и т. д. — все, что выпотрошила кипучая Крапива.

А Крапива тем временем, как вихрь, помчалась куда-то в город, видно, в магазин, так как в ее комнате осталась разбитая свинка-копилка и точно такой же беспорядок, что и у Малины.

Очень скоро она вернулась с пакетом, закрылась в своей комнате и затихла там, а около пяти часов вечера тише мыши выскользнула из окна прямо на улицу и помчалась пригнувшись, чтобы Малина из своего окна ничего не заметила.

На Крапиве был красный костюмчик и черные туфельки, волосы она спрятала под черную шляпку, щеки ее адели как малина, и она слегка прихрамывающей походкой прошлась туда и сюда, пока не оказался знакомый велосипедист, мчащийся под гору.

Велосипедист приподнял кепочку при виде красного цветка в окне (занавеска шевельнулась), а затем удивленно приподнял кепочку еще раз, увидев слегка хромящую знакомую фигурку в красном, и девушка чинно склонила румяное личико под черной шляпкой.

— Приветствую вас! — пролетел над улицей голос учителя.

Он исчез, исчезла и довольная неизвестно чем Крапива, а вот Малина напрасно просидела у окошка — в шесть часов учитель, как всегда, промелькнул в обратном направлении, приподнявши кепочку, и исчез.

Он не пришел к Малине ни в семь, ни в восемь, ни в девять, зато в девять тридцать домой явилась довольная, вся разлохмаченная Крапива, она вернула бледной Малине ее помятый костюм и все остальное, а сама села перед телевизором вместе с бабушкой и братом.

Дело в том, что Крапива, встретивши учителя в пять вечера на улице, через полтора часа появилась на дне рождения у девушки Калины в совершенно новом виде — с золотыми волосами и румяными щеками, а шляпку она держала в руке. Глаза ее сияли, щечки пылали, а рот напоминал собой три ягоды малины (две снизу и одна сверху).

При этом Крапива артистически прихрамывала.

Тут же все закричали:

— Малинка! Тебе уже лучше! А где Крапивка?

— У Крапивки болит сердечко, бедняжка переволновалась и лежит, — отвечала хитренькая Крапива собственной персоной. — Она ведь спасла на вертолете нашего учителя! Вы не знали? Он разве не рассказал? Крапивка заставила пожарника Андрея полететь с ней на вертолете в самое Ущелье Смерти! Пожарник влюблен в Крапиву! Учитель не рассказал ничего? А кстати, где он?

— Да вот он, — засмеялись все, потому что учитель в своем велосипедном наряде сидел за столом в окружении бывших учеников. — Он так неожиданно ввалился, мы все так обрадовались!

— Он, оказывается, помнит, когда у меня день рождения! — горделиво сказала толстая девушка Калина.

Крапива ядовито улыбнулась и сказала голоском Малины:

— Он что, пришел без приглашения?

Учитель с любопытством посмотрел на очень румяную Малину и с трудом узнал ее: у беленькой Малины были какие-то необычно черные, видимо, покрашенные неизвестно зачем брови и необычно резкие движения. Ее как будто подменили. Мало того что Малина тут же потребовала большой бокал шампанского, она начала бурно хохотать, танцевать, несмотря на большую ногу, и, наконец, громко завопила:

— Внимание! Слушайте все о моей любви! Я люблю тебя, учитель математики, до гроба! И хоть тебя спасла Крапивка, но ты должен любить меня! Приходи ко мне сегодня ночью! Я открою тебе свое окошечко с красным цветком. У него уже опадают лепестки, скоро ему придет конец! И я умру вместе с ним, ха-ха-ха! Так что торопись, учитель!

Тут Крапива вообще, взгромоздясь на стол, прямо среди посуды запела громкую песню «Я вас люблю, люблю безмерно!» и даже стала танцевать танец живота.

Все были буквально потрясены.

У многих от ужаса на лицах застыли жалкие улыбки, Калина заплакала, мальчики избегали смотреть на стол.

Учитель же совершенно спокойно дождался окончания арии, подал Крапиве (Малине) руку и сказал:

— Вызвать вам такси?

— Ты что меня гонишь, любимый,— театрально воскликнула Крапива.— Меня, Малину, которая любит тебя больше своей жизни! Ну хорошо же!

И с этими словами Крапива, румяная как малина, притворно зарыдала, выскочила вон и растворилась, исчезла — причем даже забыла о своей хромоте.

И никто из мальчиков не побежал ее проводить.

Тут же на улице Крапива сдернула с себя белокурый парик, спрятала его в сумочку, а затем вернулась домой уже обычным путем, через дверь, после чего наша хитрая путешественница переделалась и с вещами Малины постучалась в ее комнату.

Она положила на кровать сестры сильно помятый и забрызганный чем-то красный костюмчик и заботливо спросила:

— Он что, приходил? Учитель этот дурацкий?

Малина сидела на своем месте в белой кофточке и черной юбке и молчала. Вид у нее был бледный и больной.

— Ах да, правильно! — воскликнула Крапива.— Он же целый вечер был у Калины, явился без приглашения, как конь весь потный, в велосипедном костюме. Представляешь, танцевал с Калиной. Ухаживал за ней. И танцевал со всеми, со мной ни разу! Он так весело развлекался! Может, он забыл о своем обещании?

Малина неподвижно смотрела в стену своими синими глазками.

— А! — вдруг завопила Крапива.— Я должна тебе признаться, что он и не собирался тебя навещать, это я встретила его в городе, честно тебе признаюсь, и попросила его навестить тебя. Говорю: она вас так любит, хоть бы вы к ней зашли. Говорю: она прямо ночей не спит, так влюблена в вас, а он: да я не знаю, да мне некогда... Как бы занят... Я говорю: ведь она подышает по вам! И стала настаивать, чтобы он зашел к тебе.

Говорю: если вы согласитесь, я вам открою один секрет! И он, представляешь, согласился! Дурак-то! Тогда я ему открыла секрет, что у Калины сегодня день рождения и мы все туда идем. Только ты не идешь. Я сказала, что тебя не позвали. Ну, что тебя не очень-то любят в классе. Никто с тобой не дружит, с бедной, ты никуда не ходишь и так далее. Ну, я хотела, чтобы он тебя пожалел. И я твердо сказала: я ей передам, что вы будете после семи! А вот слушай, он в ответ сказал, я бы пришел, но почему у вас такой некрасивый цветок на окне, зачем, говорит, вы держите такое грубое красное растение! Не советую, говорит, это у Малины отсутствие вкуса! Давай мы выкинем цветок, а?

С этими словами она испытующе посмотрела на сестру. Малина все так же смотрела в стену, но взгляд у нее стал какой-то очень блестящий, как у ребенка с высокой температурой.

И она вдруг закричала:

— Нет! Нет! Нет!

Крапива в ответ тоже заорала:

— Ма! Ма! Малинка заболела!

Мама пришла с градусником, а через десять минут вся семья, сильно переполошившись, уложила Малину в кровать и вызвала врача. У Малины началась тяжелая горячка.

Она не пришла в себя даже вечером следующего дня, когда ровно в пять часов молодой учитель браво проехал мимо домика сестер, значительно приподнял кепочку в виде приветствия красному цветку, но у цветка был какой-то жалкий вид, его лепестки, числом три, как-то потемнели и больше не сияли.

А вот когда учитель ехал с моря обратно, то он увидел, что цветок вообще выпал из раскрытого окна. Горшок раскололся, стебелек надломился, а лепестки атели на тротуаре как темные лужицы крови.

Учитель остановился, поднял горшок и аккуратно положил его в полураскрытое окно, причем один лепесток отвалился и упал.

Учитель снял его с асфальта и задумчиво положил себе в карман, а затем этот лепесток присоединился к тем двум, что плавали в огромном бокале в воде, причем учитель добавил еще крупинку сахара и полтаблетки аспирина, по порции питания на брата.

На следующий день по городу поползли слухи, что девушка Малина тяжело больна. Крапива как метеор пробежала по аптекам, ездила на такси за доктором, тащила из магазина сумку лимонов и т. д., и раза два видела учителя, который возился в своем палисаднике, вскапывая кусок земли размером с полотенце. Крапива, затормозив, оба раза вступала с учителем в продолжительные беседы о здоровье своей сестры, а в пять часов вечера Крапива просто торчала в своем окне и встретила и проводила учителя взмахом руки.

Горшка с остатками цветка учитель больше не увидел — в соседнем окошке было пусто.

Днем позже учитель и Крапива опять столкнулись — Крапива тащила из аптеки кислородную подушку и, в другой руке, пакет клюквы и попросила учителя помочь донести этот тяжелый груз до места.

Он увидел наконец их дом изнутри, там стояла напряженная тишина, не как обычно в жилье — журчит телевизор, звонит телефон, бабушка угощает внука кашей и воспитательной беседой — нет, здесь было пусто и мертво, только из-за одной полузакрытой двери слышалось тяжелое дыхание и чей-то шепот, видимо, родителей.

— А где цветок-то? — не удержавшись, тоже шепотом спросил учитель (когда они подошли к дому, горшка на окне не было).

— Тихо, тихо! — испугавшись, зашипела Крапивка. — Потом!

Учитель тут же ушел, едва попрощавшись, а Крапива подумала: «Заметил, надо же!»

С этим цветком тоже вышла какая-то глупая история: как-то вечером Крапива просто выкинула его за окно, так ей захотелось вдруг. Она сделала это довольно быстро и грубо, даже не стараясь заглушить стук горшка об асфальт. Потом, правда, Крапивка оглянулась на сестру — поняла ли она, что произошло, и не потащится ли больная искать свой погибший цветочек, на который она чуть ли не молилась. Однако Малина даже не вздрогнула, тихо лежала, и всё.

«Потом, — решила Крапива, — я его подберу на улице и вынесу, авось она не заметит».

Но вскоре Малине стало совсем плохо, и Крапива просидела у ее кровати почти всю ночь, меняя на лбу у сестренки холодные платки. К утру Крапиву сменила бабушка, и только потом, днем, очнувшись от тяжелого сна, Крапива пошла в комнату Малины проверить окно — и увидела, что на подоконнике снова, как ни в чем не бывало, находится цветок, в расколоте горшке, правда, но все еще живой, хотя и с переломанным стеблем и последними двумя лепестками.

«Вспрыгнул, что ли? — ошарашенно подумала Крапива. — Волшебный, что ли?» — и она оглянулась на сестру. Та явно лежала без сознания. Крапиве пришло в голову, что надо вынести вон это сверхживучее растение, причем ничего не пряча, и так она и поступила.

И цветок оказался в мусорном контейнере и вступил на ту дорогу, по которой уходит все в этом мире — далеко-далеко, в страну забвения, в сердце земли.

Попутно, вместе с цветком, Крапива выбросила и еще кое-что, что надо было удалить из дому, пока никто не обнаружил.

А Крапиву опять послали в аптеку, и по дороге ее останавливали многие люди, весь город знал, что дела у Малины плохи. С учителем

она тоже поговорила, а на обратном пути даже специально сделала крюк и прошла мимо его двери — но она выглядела теперь наглухо запертой.

Хозяин, видимо, уже двинулся к морю на свою ежевечернюю прогулку, правда, немного раньше времени, и Крапива разочарованно отправилась домой, и в груди у нее бушевала сильная печаль.

А учитель, действительно, покинул город на своем новом велосипеде, он отправился в головокружительный поход по горам и окрестным долинам, предварительно опросив местное население. Он что-то упорно искал.

Кстати, последний разговор с Крапивой у него был такой:

— Как самочувствие больной?

— О,— просяя при виде учителя, сказала Крапива,— у нас состояние вообще-то средней тяжести.— Глаза ее блеснули слезой.— Я просто не могу на нее смотреть. Ночью я сижу с ней, а днем бегаю по врачам и аптекам, отвлекаюсь от этого ужаса.

— Я прошлый раз интересовался у вас, куда делся цветок,— как бы между прочим сказал умный педагог.— Дело в том, что я хотел попросить у вас отросток.

— Ой, да вы что,— покачала головой Крапива.— Видимо, был сильный ветер... Его свалило с окна... Я не стала го-

ворить бедной Малинке, она бы тут же умерла от горя... Я сбегала, подняла цветок, горшок уже был расколот... Я поставила его на окно... Думала купить новый горшок... Но забегалась, все забыла, так и не купила. А цветок завял совсем. Я его вынесла в мусор... Хорошо что Малина все равно не видит этот цветок, она же не встает... Нога у нее все хуже и хуже... С тех пор, с выпускного бала, ну вы не помните, наверно... Она даже не танцевала, бедняга...

— Я не помню...

— Ну вот. Уж я ее тянула к врачу... Но она упрямая как баран, сидела сиднем в кресле...

— Так с тех пор и не выходила? — спросил учитель осторожно.

— Так с тех пор.

— А что врачи говорят?

— Кто говорит, что надо ампутировать ногу... Кто говорит, что уже поздно, лишние страдания...

Тут Крапива заплакала и прижалась к плечу учителя.

— Как жалко цветок,— внезапно сказал учитель очень резким тоном.

— Да, жалко. Лежит теперь где-нибудь на городской свалке,— извиняющимся тоном сказала Крапива.— Если бы я знала, я бы принесла его вам.

— А я же ее видел где-то... В каких-то гостях,— произнес педагог.

— Да, кстати, я ведь совсем забыла! Да! Я вспоминаю, Малинка куда-то выходила один раз в красном костюмчике, я забыла. И напрасно, кстати, выходила. Она уже заболела. «Я должна все сказать», — твердила, причем как сумасшедшая. Так что вот. Только хуже себе сделала. Я ее отговаривала, а она сказала, что это для нее важнее жизни. Дурочка, конечно, что может быть важнее жизни! Правда?

Такая у них получилась беседа.

Стало быть, теперь учитель ехал по горной дороге на своем велосипеде, ехал-ехал и уже к вечеру нашел то, что искал, — а именно грандиозную городскую свалку, которая дымила и воняла на километры вокруг и потому была сослана подальше от людей.

Уже смеркалось, учитель ехал, подпрыгивая на неровностях среди куч чего-то невыразимо пестрого. Стали попадаться битые стекла и железные обломки, наш путешественник спешил и повел велосипед очень аккуратно.

Однако довольно скоро с другой стороны свалки послышался далекий рев мотора — и учитель снова вскочил в седло и помчался, не разбирая дороги и не жалея шин.

Было очевидно, что там, вдали, среди холмов, гребет к городской помойке следующий дежурный мусоровоз. Он уже был виден внизу, гудящий как навозный жук, он ехал с новой порцией хлама, которая должна была скоро хлынуть и завалить предыдущее — а именно утренний привоз.

Учитель теперь видел, где у этих кораблей свалки находится пристань, т. е. куда они сваливают свежатинку.

До той границы было недалеко.

Однако мусоровоз уже подъехал, стал приподнимать спину — и в наступающей тьме учитель стал быстро расшвыривать какие-то днища, рваные книги и ломаные стулья. Он надеялся успеть и не видел, что над ним нависли тонны строительного мусора...

Но тут он внезапно увидел в глубине короткий красный блеск, вроде слабого сигнала или искры.

Могучий педагог отшвырнул в сторону какой-то тяжелый ящик с битым кафелем, затем рваный чемодан — и увидел свой цветок.

Он лежал, как поломанная стрела, зигзагом, на кусках кирпича, тлея последними двумя лепестками, и корень его уходил в пластиковый мешок для мусора.

Осторожно высвобождая корень, учитель вдруг увидел в глубине мешка чью-то светлую кудрявую голову — и сердце его почти остановилось от ужаса. Похоже было, что это волосы Малины.

Учитель поднял мешок — однако тут же понял, что в этом пластиковом мешке лежит: кто-то, выбрасывая цветок, одновременно выкинул и какой-то светлый парик...

И тут одинокий лепесток сорвался с облысевшего цветка и полетел куда-то в сторону.

Не выпуская из рук мешка, учитель, как вратарь, сделал бросок в сторону, ловя лепесток, — и вдруг ужасный грохот потряс все окрестные горы. Буквально в десятке сантиметров от педагога на свалку обрушился град камней и осколков кирпича. Окрестности заволокло белой пылью.

Затем все затихло, только эхо ныряло в горах.

На том месте, где он только что стоял со своим велосипедом, высилось огромное каменное надгробие.

Там, под камнями, был погребен новенький железный друг, совсем недавно купленный на средства, собранные за год тяжелого труда. Тридцать скоростей было в этом чуде техники, нелопающиеся шины и легкий ход вверх по горам.

Но там же, под камнями, мог лежать и сам бедовый педагог, и никто бы никогда не обнаружил его безымянную могилу.

Прощай, велосипед, тихо сказал себе учитель и побрел в сторону города по широкой мусоровозной дороге, а пойманный лепесток он положил в свою кепку для сохранности.

Что же касается цветка, то он явно умер — почернел, съежился как тряпочка. Учитель нес его и всю оставшуюся долгую дорогу тосковал безмерно.

И, придя домой, бедняга вынул его из пакета, где все еще зачем-то лежал белый парик, и похоронил все, что осталось от цветка, в только что вскопанной грядке при свете крупных южных звезд, а потом щедро полил это дело из леечки.

Лепесток же он бережно опустил в свой круглый аквариум, где бодро плавали предыдущие ярко-красные лоскутки.

Что касается парика, то ему было место только в помойном ведре!

Тем же темным вечером Крапива внезапно навестила учителя в его педагогической берлоге.

— Вот как вы живете, — сказала она с оживлением, глядя блестящими глазами вокруг. Внезапно она побледнела.

Перед ней стояла хрустальная чаша с яркими, как искры, лепестками.

— Ой, как красиво, это что? — забормотала она. — Ой. Что это со мной? Ой. Мне плохо! Мне воды...

Учитель пошел на кухню и услышал вдруг за своей спиной грохот, звон разбившегося стекла и крик.

Крапива лежала на полу среди осколков и виноватыми глазами смотрела на педагога.

— Мне стало дурно, простите,— забормотала она,— но я все уберу...

Вскочив, Крапива метнулась мимо учителя в кухню, безошибочно нашла веник и совок и, не давши математику опомниться, сгребла все в кучу, в том числе и три красных лепестка — и выбросила в ведро...

— Я куплю вам новый аквариум, завтра же,— пробормотала Крапива, исчезая.

После ухода девушки учитель высыпал на газету все осколки из ведра.

Лепестков среди них как не бывало. Не было и парика.

Математик сжал кулаки, но было поздно, поздно, поздно...

Ближайшие два дня он провел дома при запертых дверях, просто лежал, пытался читать и даже не поехал на своем старом велосипеде купаться...

А когда поехал, его остановила старенькая учительница биологии и среди прочих новостей преподнесла ему и такую, что девушка Малина лежит при смерти, надежды нет. Даже Крапива, ее сестра, которая все время бегала по аптекам, перестала появляться.

Учитель отправился по привычному маршруту к морю, но как только доехал до знакомого беленького дома, то быстро слез с велосипеда, подошел к знакомому окну, на котором уже не было цветка, подумал, прислушался и перемахнул через подоконник как вор.

Малина в полной тишине лежала под одеялом очень светлая, как из белого мрамора, исхудавшая, с широко открытыми глазами, и у нее было такое прекрасное лицо, что хотелось плакать или молиться.

Учитель склонился и прижался лбом к руке умирающей.

Вдруг послышались быстрые шаги. Он тут же вскочил и вымахнул в окно, и остался по ту сторону. Занавеска скрыла от него все, что происходило в комнате. Он только слышал, что кто-то вошел очень аккуратно, прикрыл за собой дверь, потом как будто рухнул на колени, такое было впечатление...

Затем раздался тонкий дрожащий звук девичьего голоса:

— Господи, прости меня! Господи, помилуй ее! Господи, прошу, верни ей жизнь! Я знаю, что была грешна и пыталась колдовать, но мне не надо ничего! Господи, возьми мою жизнь, я так больше никогда не буду делать! Мне не надо колдовства, спаси мою сестру! Она ни в чем не виновата! Ну убей меня! Прости и помилуй! И пусть теперь мое колдовство исполнится, она не хочет жить, но я... (торжественно) Я ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ОНА ОЖИЛА!

Учитель, ничего не понимая, слушал этот бред. А потом вошли какие-то люди, заговорили «пойдем, пойдем» и увели ту, которая бормотала как в горячке.

Настала полная тишина.

Учитель стоял на улице, прижавшись лбом к стене. Прохожие смотрели на него, видимо, но ему было все равно.

В комнате, однако, нечто произошло. В той полной тишине, которая царила там, за занавеской, прозвучало что-то, чего раньше не было, — кто-то вздохнул, тяжело и хрипло. Потом опять... И еще раз...

Учитель не удержался, он полез головой за занавеску и увидел Малину — глаза у нее были закрыты, но она дышала!

И наш математик вскочил побыстрее на свой велосипед и помчался, но не к морю, а домой.

Он зашел за низкий забор, отделявший палисадник от улицы, и там, на черной как смола земле, которую он поливал два раза в день с остревением безнадежности, сиял ярко-зеленой искрой только что проклюнувшийся росток! Проклевыш, правда, был небольшой, размером с конец иголки.

Учитель суеверно зажмурился и не позволил себе обрадоваться, это мог быть вполне стебелек лопуха или полыни, мало ли. Той же крапивы, будь она неладна.

Затем молодой педагог выпрямился и почувствовал себя очень взрослым: он понял, что до сих пор ничего не боялся, поскольку его кто-то охранял (и тот случай на море, и чудесное спасение в Ущелье Смерти, когда он зацепился за веточку, и тот момент на свалке, когда его чуть не задавило вместе с велосипедом). Теперь же Малина была больна, и охранять надо было ее — и ныне, и в будущем.

Кроме того, он почему-то точно знал, что Малина поправится, и открывались некоторые перспективы, от которых замирало сердце, но прибавлялось забот. Учитель должен был думать о будущем, потому что у них с Малиной родится четверо детей (две девочки сразу и потом два мальчика по очереди), и дом должен быть двухэтажный, чтобы наш кот свободно бегал за нашим щенком. И какие вырастут красные цветы — они будут видны даже ночью, их будет много, и они спасут и сохранят всех, цветы ведь — это живая любовь, и никакого колдовства здесь нет.

И учитель, переодевшись и купив пять пачек сока и букет пионов, отправился с первым официальным визитом к своей невесте, но сначала на всякий случай накрыл росток баночкой из-под варенья.

## Остров летчиков

Один молодой летчик слышал, что где-то в океане есть волшебный остров и на нем сад и дворец, и если пролетаешь над этой территорией, то сад пахнет на десять километров вверх, так что у экипажа кружится голова, и забыть это ощущение невозможно.

Каждый летчик стремится вернуться туда и пролететь еще раз над тайным садом, но остров лежит в стороне от всех маршрутов, его еще

надо отыскать, кроме того, он не всегда является (разумеется, его нет ни на одной карте мира, не ищите), и надо потратить часы летного времени, а каждый час — это сотни километров, большой расход керосина.

А у нашего молодого летчика был свой небольшой сад, доставшийся ему от матери, — обыкновенный дом, газон, пять кустов жасмина, две старые груши и одна слива.

Но летчик разводил там еще и розы, тюльпаны, пионы, ромашки, васильки и настурции, хотя в итоге никакого особенного аромата в саду не наблюдалось — пахло китайским чаем и свежестью, а после дождя пахло землей.

Услышав от одного товарища об острове, молодой летчик решил во что бы то ни стало добраться туда на самолете, и ему это однажды удалось — он сделал небольшой крюк во время исполнения ночного рейса, пассажиры ничего не заметили, они сладко спали над океаном, экипаж тоже вздремнул, и вот тут наш молодой летчик рванул с большой скоростью в сторону, отклонился на тысячу километров от курса.

Что-то его притягивало, какой-то слабый знак или звук, он даже закрыл глаза (товарищ его говорил именно об этом странном ощущении) — и вдруг все вокруг переменялось.

Внизу во тьме светился маленьким огоньком дворец (видимо, окно под крышей), а сам летчик оказался в облаке запахов, которых он никогда раньше и не нюхал, — ночь пахла не лавром и лимоном, не медом и чаем, не жасмином и белой сиренью, и не так, как новая лайковая перчатка, как рыжик во мху, как земляника в полдень на поляне, как теплая ванильная булочка зимним утром, и не как мамина ладонь у тебя на лбу, и не как фиалка ночная красавица среди папоротников — это было что-то еще, нежное, сильное, но неуловимое.

Летчик вскочил, хотел разбудить всех, но передумал, тем более что аэродром, куда он должен был приземлиться уже через полчаса, настойчиво доискивался, куда смылся целый лайнер с пассажирами.

Конечно, потом были большие неприятности, самолет, само собой, опоздал, встречающие волновались, информация сбилась с ног: короче, начальник уволил нашего летчика, да еще и приговорил его к штрафу, к такому огромному, что летчик вынужден был продать дом и сад, матушкино благословение, да еще и занять очень большую ссуду в банке — хотя все товарищи дружно защищали его, ссылаясь на то, что это был временный провал в памяти, мало ли.

Себе летчик оставил только маленький клочок земли размером с автобус (междугородний). Однако жить было надо, и наш бывший летчик попросился назад на аэродром в так называемую наземную службу — подвозить к самолету запакованные обеды.

Его взяли, так как известна была его честность и порядочность, и за сохранность обедов можно было не беспокоиться.

А историю с исчезновением ему простили, так как, во-первых, никто не догадался, что он специально исчезал в поисках острова, а во-вторых, он полностью уже расплатился как за истраченный керосин, так и за все пропавшие железнодорожные билеты пассажиров, и он даже заплатил за авиабилет и такси одному особенно взволнованному человеку, который кричал, что ему теперь не нужны никакие деньги, так как из-за задержки рейса он упустил свой поезд, а его должна была прийти встречать одна собака, и именно к последнему вагону, она всегда приходила почему-то встречать именно его и именно к последнему вагону, и в этот раз он решил эту собаку усыновить за ее верность — и нате, самолет опоздал! Он так кричал и бесновался, повторяя, что не знает адреса собаки, а она не знает его адреса и все потеряно, что летчик дал ему деньги на авиабилет и на такси от аэропорта к последнему вагону поезда, вот так!

Короче, наш летчик все-таки вернулся к нормальной жизни и даже стал снова выращивать на своем клочке земли цветы — другие летчики жалели своего товарища и привозили ему семена откуда могли: трудно, что ли, проходя по чужому парку где-нибудь вдали от родины, сорвать стручок, засохший цветочек или кисточку ягод!

А ведь там, внутри, как раз и лежат нужные семена.

Наш поставщик запакованных обедов все свое свободное время трудолюбиво выращивал эти семена, и даже построил в окружении своих новых цветов дворец в полметра высотой из мелких камней, и даже провел туда электричество и ввинтил лампочку от карманного фонарика, чтобы ночами в его довольно маленьком саду горело одно окошко под крышей двorca.

Себе он поставил там же будку в три этажа, трудно, что ли, натаскал камней из оврага и построил, — на верхнем этаже у него была даже оранжерея под стеклянной крышей, на среднем этаже помещалась раскладушка и книги, а на нижнем он хранил лопату, лейку и удобрения, и имелся также большой подвал для семян, клубней и луковиц (уж под землей-то места было достаточно, рой вглубь хоть на десять метров!).

Со своего этажа ночами он прекрасно видел маленький дворец со светящимся окном, и иногда летчику казалось, что он снова летит над волшебным островом и вдыхает тот запах, который пока еще не встречался ему на земле, разве что когда мама целовала его перед сном в новогоднюю ночь, а он лежал в своей кроватке среди ее бедных подарков и был счастлив, укрыт и любим.

А у них в летном отряде был еще один пилот, тот самый, который и проговорился как-то за стаканом рома об острове своему младшему другу — знаете, как это бывает с пьяными: возьмет и расскажет о самом дорогом.

Так вот, не один наш разносчик запечатанных обедов знал про остров — ром можно купить на любом углу, и таким образом о тайне пронюхал начальник.

Этот начальник никогда в жизни не сидел за штурвалом самолета, а начальством он стал по знакомству, так бывает: его двоюродный брат женился на дочери замминистра, и пошло-поехало, вся родня вскоре была пристроена.

Сам начальник был из почтенной семьи перекупщиков краденого, а поскольку все они жили недалеко от аэродрома, то и постепенно специализировались именно на краденном авиабагаже, то есть опыт работы с пассажирами в семье уже имелся.

Поэтому, став начальником, этот сын перекупщиков краденого сделался очень строг к нарушителям дисциплины, боясь, как бы кто чего не подумал о нем.

Самые строгие начальники как раз и водятся в мире бандитов, это общеизвестно: там они не увольняют, не тратят время, а чуть что, расстреливают свой трудовой коллектив, а затем набирают новый.

Короче, как только этот начальник прослышал о таинственном острове, из-за которого нарушается дисциплина, он стал настаивать на том, чтобы его немедленно отвезли туда по делу.

Старый пилот, проговорившийся начальнику, как-то плакал за стаканом рома, а бывший летчик (ныне развозящий запечатанные обеды) сидел с ним и думал, что делать.

Положение осложнялось тем, что начальник требовал для своей командировки старинный бомбардировщик, и уже одно это было подозрительно.

В конце концов молодой бывший летчик уговорил старого (на это пошла лишняя бутылка рома) взять его с собой в этот полет на бомбардировщике, и в назначенный вечер хмурый толстый начальник в полной летной форме и при орденах (все-таки замминистры — большая сила) с каким-то чемоданчиком взошел на борт бомбардировщика, не подозревая о том, что его сопровождает еще и грузчик готовых обедов, готовый на все.

Начальник потребовал у пилота открыть бомбовый люк (этот люк открывался прямо из салона самолета, такая устаревшая была конструкция) и положил туда, очень бережно, свой чемодан, после чего прошел в кабину и сел на почетное, как ему показалось, место у окна.

Что касается бывшего летчика, который спрятался под брезентом, то он, со своей стороны, быстро вытащил чемоданчик обратно, бесстрашно открыл его и вынул оттуда одну маленькую штучку, а затем захлопнул чемоданчик, положил его на место, закрыл бомбовый люк и снова лег под брезент рядом — на всякий случай.

Самолет разбежался и тяжело повис в воздухе, гудя своими старыми моторами, и вот ближе к полуночи наш транспортировщик запечатанных обедов услышал нежный, ласковый запах острова и одновременно дикий крик в кабине пилота: это орал начальник.

— Как не открывается? — вопил он. — Как это бомбовый люк может не открываться? Ты мне ваньку не валяй тут, понимаешь! Только что открывалось! Стрелять буду!

— Так вручную открывалось. Этому катафалку сто лет, механика не работает!

— Стрелять буду! — визжал начальник.

— Да заело крышку! — хрипло кричал в ответ старый летчик.

— Так кувалдой! Разводной ключ имеешь? А ну иди! Иди открывай вручную!

— Я пойду, я пойду, а кто этот гроб поведет, ты, что ли, начальник? — хрипел летчик у штурвала. — Я не хочу поцеловать носом этот островок!

— Я тебя... за это знаешь куда отдам? Да я тебя... я тебя премии лишу!

А волшебный запах заполнил весь самолет, и внизу, видимо, уже проплывал огонек замка, но молодой бывший летчик не смотрел в окно, а лежал под своим брезентом.

В кабине тем временем продолжался крик.

— Обратно, скотобойня! — кричал начальник. — Поворачивай оглобли!

— Домой? — кричал пилот.

— Не домой, хроник! Вот вернемся, я тебя уволю! Заходи над объектом, ты, независимый! Видишь, внизу лампочка светит? Вот делай круги туда-сюда, понял? А я пойду сам соображу.

И спустя мгновение бывший летчик из-под своего брезента увидел, как начальник подбегает и, пыхтя, открывает крышку люка.

Дикий, одуряющий запах сада чуть не сшиб его с ног.

Начальник даже зашатался.

У летчика под брезентом тоже закружилась голова.

Но, тем не менее, он выскочил из-под брезента и столкнул своего толстого бывшего начальника в бомбовый отсек, а затем захлопнул крышку и задраил ее как следует, до упора.

После чего он побежал в кабину.

Старый пилот плакал.

Бомбардировщик делал круги над островом, в кабине стоял запах чего-то настолько прекрасного, что хотелось выпрыгнуть из самолета и полететь по-глупому, маша руками.

Внизу моргал огонек под крышей дворца. Фляжку с ромом старый пилот держал неотлучно при губе, отчего самолет бултыхался как жидкость в его посудине — или наоборот. Грузчик запечатанных обедов

сменил своего старого товарища за штурвалом и, зорко глядя вниз, повел самолет на снижение.

— Я взорвал остров, слышишь? — хрипел старый пилот. — Ты что делаешь, щенок?

— Я иду к берегу. Слушай, там есть какой-нибудь пруд на побережье?

— Навалом! Тут же пляжи, тут и бассейны. А что тебе?

— Увидишь.

Через час полета бомбардировщик нарушил границы соседнего государства и с редкой точностью сбросил в бассейн отеля «Пента» бомбовый груз, который приземлился с большущим шумом в виде толстого мужчины и тут же был выловлен двумя пьяными охранниками отеля, которые отдыхали в шезлонгах у бассейна и были теперь мокрые с головы до ног (взрывная волна).

«Что, однако, за идиоты работают в соседней стране, — думали тамошние разведчики, получив в свои руки такой подарок судьбы (где пойманный шпион, там премии и награды), — диверсанта сбрасывают в полном обмундировании, с документами и орденами, однако без парашюта, это раз. И тут же, буквально на голову ему же, сбрасывают чемодан с бомбочкой, полный бред. Но без взрывателя, что тоже необъяснимо».

Во всяком случае, пьяные охранники из отеля «Пента» прославились на всю страну, их снимали в мокром виде вместе с обалдевшим, тоже мокрым, шпионом, а также отдельно от него, назавтра их совместные портреты были опубликованы на первых страницах газет и т. д.

Происходил большой переполох. Пограничники гордились своим шпионом, как грибки белым грибом.

А старый бомбардировщик тем временем тихо-мирно вернулся на аэродром без начальника.

Вскоре из соседнего государства последовал запрос о шпионе, майоре Н., а в его доме при обыске нашли множество бомб и ножей, причем на чердаке были свалены пустые чемоданы, ранее украденные из багажного отделения аэропорта. Мама шпиона и вся его семья тут же поклялись, что все это принадлежит только ему: такое у мужчины было хобби, воровать.

Они здраво рассуждали: если уж он сидит в тюрьме, пусть сидит.

А молодой бывший пилот, вернувшись к себе в свою трехэтажную будку, сладко заснул, потому что, когда все удастся, люди очень устают и хорошо спят.

Во сне ему снился сад, и он летал среди цветов острова на маленьком самолете типа «стрекоза», и запахи сада баюкали его всю ночь.

Утром же, проснувшись, он обнаружил у себя в саду новые диковинные цветы — видимо, за эту ночь проросли все семена, зерна и бобы, подаренные ему товарищами.

Из-за ограды выглядывали удивленные соседи, все бабочки округи порхали над крошечным садом летчика, и вообще обстановка сильно напоминала сон, потому что этот клочок земли нестерпимо благоухал.

Мало того, молоденькая дочка соседей, существо, похожее то ли на подснежник, то ли на цветок земляники,— эта девушка помахала ему из-за ограды рукой, покраснела и спросила, не хочет ли сосед выпить с ними чашку чая, а то папа с мамой интересуются насчет семян, отводков и корней.

Разумеется, он тут же откликнулся на это приглашение прекрасной соседки.

Надо ли говорить, что там, где обычно кончается сказка, начинается счастливая жизнь...

## Матушка-капуста

У одной женщины была девочка, очень маленькая, звали ее Капля, Капочка. Девочка была очень маленькая и никак не росла. Мать ходила с ней по врачам, но покажет им девочку, а они не берутся лечить: нет — и всё! Даже ничего не спрашивали.

Тогда мама решила для начала Капельку не показывать, уселась у одного врача в кабинете и спрашивает:

— Как быть, если ребенок плохо растет?

А врач отвечает, как полагается врачу:

— А что с ребенком? Какова история болезни? Как этот ребенок родился? Как ел?

И так далее.

— Ребенок этот не родился,— отвечала несчастная мать,— я нашла его в капусте, в ранней капусте. Я сняла верхний лист, а там лежит девочка-капусточка, капочка, капля. Я ее взяла и воспитываю, а она совсем не растет, уже два года.

— Покажите ребенка,— говорит врач.

Мама Капочки достала из нагрудного кармана коробочку, из коробочки половинку фасолинки (выдолбленную), а в этой половинке уже сидела, терла глаза кулачками малюсенькая девочка.

Мама также достала из сумки лупу, и в эту лупу доктор стал разглядывать Капочку.

— Чудесная девочка...— бормотал доктор.— Хорошо упитана, молодец, мамаша... Встань, девочка. Так. Молодец.

Капочка вылезла из половинки фасолины и прошлась взад-вперед.

— Ну что же,— сказал доктор.— Я вам скажу: девочка чудесная, но ей не здесь надо жить. Не знаю где. Здесь ей никто не компания. Не то место.

Мать отвечала:

— Да она и сама рассказывает, что видит сны, как будто бы она жила на далекой звезде. Она говорит, там все были с крылышками, летали по лугам, она тоже, она пила росу и ела пыльцу, и у них был кто-то, какой-то старшой, который готовил их, что некоторым придется уйти, и они все со страхом ждали, когда начнут таять крылышки,— тогда старшой вел их на высокую гору пешком, там открывался вход в пещеру и ступени вниз, и все провожали того, у кого растаяли крылья, и он уходил вниз и становился все меньше и меньше, пока не превращался чуть ли не в каплю...

Девочка на столе кивнула.

— И моя красавица тоже однажды должна была уйти вниз, она плакала, спустилась по лестнице, и тут ее сон кончился, она проснулась у меня на кухонном столе в капустном листке...

— Так,— сказал доктор.— А у вас, что было в жизни у вас? Какова ваша история болезни?

— У меня,— сказала женщина,— что у меня! Я люблю ее больше своей жизни, страшно думать, что она снова уйдет туда... А история такая, что меня покинул муж, а должен был быть ребенок, но я не родила его... Мне было тяжело... Я пошла к врачу, меня направили в больницу, и там моего ребеночка убили у меня в животе. Теперь я молюсь о нем... Может быть, он там, в стране снов?

— Хорошо,— сказал врач,— я все понял. Вот вам записка, отнесете ее к одному человеку... Он монах, живет в лесу, он очень странный человек, и не всегда его можно найти. Вдруг он поможет, кто знает.

Женщина опять уложила свою Капельку в колыбельку из фасоли, потом в коробочку, потом в кармашек, забрала лупу и ушла — прямо сразу к отшельнику в лес.

Она нашла его сидящим на камне у шоссе. Она показала ему записочку и потом на нагрудный карман — без слов.

— Надо отдать ее обратно, где взяли,— сказал монах.— И не смотреть больше.

— Обратно куда? В магазин?

— Дура! Где ее взяли-то?

— В капустном поле. Я и не знаю, где оно.

— Дура! — сказал монах.— Умела грешить, умей и спастись.

— Где оно?

— Всё,— сказал монах.— И не смотреть.

Женщина заплакала, поклонилась, перекрестилась, поцеловала у монаха край его грязной, вонючей и рваной телогрейки и пошла. Когда она через минуту обернулась, она не увидела ни монаха, ни камня, на котором он сидел,— только клочок тумана.

Женщина испугалась и побежала. Наступал вечер, а она все бежала через поля, и вдруг она увидела капустное поле — совсем еще маленькие капустные бутончики сидели рядами на земле...

Моросил дождь, надвигалась тьма, и женщина стояла, держась за нагрудный кармашек, и думала, что не сможет оставить свою девочку здесь одну, в холоде и тумане. Девочка ведь испугается и будет плакать!

Женщина тогда вырыла руками огромный ком земли вместе с капустным ростком, завернула его в свою нижнюю рубашку и потащила эту тяжесть в город, к себе домой.

Еле дойдя до дому, шатаясь от усталости, она уместила принесенный ком земли в самую большую кастрюлю и поставила эту кастрюлю с капустной рассадой на окно. Чтобы не видеть росток, она задернула занавеску; но потом подумала, что поливать-то рассаду необходимо! А чтобы поливать, придется видеть капусту!

И женщина перенесла капусту на балкон, в нормальные полевые условия: дождь — так дождь, ветер — так ветер, птицы — так птицы... Если бы ребеночек жил и рос внутри ее тела, как все дети, он был бы защищен от холода и всего остального — но нет, маленькой Капочке невозможно было спрятаться в ее теле, ей оставался для защиты только капустный листок.

Раздвинув молоденькие, крепкие лепестки капустного цветка, мать положила туда свою девочку — Капелька даже не проснулась, она вообще очень любила спать и была на редкость послушным, веселым и неприхотливым ребенком.

Капустные листки были твердые, голые и холодные, они тут же сокнулись над Капочкой...

Мать тихо отступила с балкона, закрыла туда дверь и стала одиноко жить, как и раньше: уходила на работу, приходила с работы, варила себе еду — и ни разу не посмотрела в окно, что там с капустой.

Проходило лето, женщина плакала и молилась. Чтобы хотя бы слышать, как там на балконе, она спала под самой дверью на полу. Если не было дождя, она боялась, что капуста завянет, если шел дождь, она боялась, что капуста сопреет, но мать все время даже запрещала себе думать, что и как там Капочка ест и как она плачет, сидя в зеленой западне, без единого маминого слова, без тепла...

Иногда, особенно по ночам, когда шел проливной дождь и гремела молния, женщина просто рвалась пойти на балкон и срезать капустный кочан, схватить свою Капочку, напоить ее капелькой горячего молока и уложить в теплую постель... Но вместо этого мамаша, как сумасшедшая, бежала под дождь и стояла там, чтобы показать Капочке, что ничего страшного в дожде и молнии нет. И она все думала, что недаром ей повстречался грязный отшельник и недаром велел вернуть Капельку туда, откуда ее взяли...

Так прошло лето, наступила осень. В магазинах уже появилась хорошая, крепкая капуста, а женщина все не решалась выйти на балкон. Она боялась ничего там не найти. Или найти увядший капустный росток и в нем только красный шелковый лоскутик, платье несчастной Капочки, которую она убила своими руками, как когда-то убила новорожденного ребенка...

Однажды утром выпал первый снег. Он выпал очень рано для осеннего времени. Бедная женщина посмотрела на свое окно, испугалась и стала открывать балконную дверь.

И когда дверь тяжело начала скрипеть, женщина услышала с балкона испуганное мяуканье, скрипучее и назойливое.

— Кошка! Кошка на балконе! — заметалась бедная женщина, подумав, что кошки забралась от кого-то от соседей. Ведь всем известна страсть кошек ко всему маленькому и бегущему.

Наконец балконная дверь подалась, и женщина выскочила на снег прямо в тапочках.

В кастрюле сидела роскошная, огромная капуста, кудрявая, как роза, а сверху, на многочисленных лепестках, лежал некрасивый худой младенец, красный, с шелушащейся кожицей. Младенец, зажмурив глаза-щелки, мяукал, захлебывался, дрожал стиснутыми кулачками, дрыгал ярко-красными пятками величиной со смородину... Мало того, на лысой голове ребенка лежал, прилипнув, шелковый красный лоскуток.

«А где Капочка? — подумала женщина и внесла кочан с ребенком в комнату. — Где моя девочка?»

Она отложила плачущего ребенка на подоконник и стала рыться в капусте, перебрала ее по листочку, но Капельки нигде не было. «И кто мне подложил сюда этого младенца? — думала она. — Посмеяться захотели... Откуда ребенок здесь? Куда я его дену? Огромный какой-то... Подкинули мне... Капочку взяли, а эту подкинули...»

Ребенку явно было холодно, кожа его посинела, он плакал все писклявей.

Женщина подумала, что эта девочка-великанша ни в чем не виновата, и взяла ее на руки, осторожно, не прижимая к себе, отнесла в ванную под теплую воду, обмыла, вытерла и завернула в сухое полотенце.

Новую девочку она отнесла на свою кровать и укрыла там одеялом потеплее, а сама взяла из старинной коробочки половину фасоли и стала целовать, плакать над ней, вспоминая свою маленькую исчезнувшую Капочку.

Уже было ясно, что Капочки нет, что вместо нее появилось это огромное, некрасивое, несуразное существо с большой головой и тоненькими руками, настоящий младенец, совершенно чужой...

Женщина плакала-плакала и вдруг остановилась: ей почудилось, что тот маленький ребенок не дышит. Неужели эта девочка тоже погибла? Господи, неужели она простудилась на подоконнике, пока шли поиски в капусте?

Но младенец крепко спал, зажмурившись, никому не нужный, действительно некрасивый, жалкий, беспомощный. Женщина подумала, что и покормить-то его некому, и взяла ребенка на руки.

И вдруг что-то как будто стукнуло ее изнутри в грудь.

И, как делают все матери на свете, она расстегнула кофту и приложила ребенка к груди.

Покормив свою девочку, мать уложила ее спать, а сама налила воды в кувшин и полила капусту и оставила ее расти на окне.

Со временем кочан разросся, дал длинные побеги и мелкие бледные цветы, и маленькая девочка, когда в свою пору встала на слабые ножки и пошла, — первым делом отправилась, качаясь, к окну и засмеялась, указывая пальцем на длинные ветки матери-капусты.

## Завещание старого монаха

Как-то старый монах пробирался с коробкой собранных мелких денег домой, в горный монастырь.

В монастыре, удаленном от всех дорог, дела шли плохо. Воду приходилось брать в речке глубоко в ущелье, пища состояла из огрызков хлеба и сухих лепешек, собранных в виде подавания в окрестных скупых и безбожных деревушках, и поэтому монахи запасали в лесах дикие плоды и орехи, ягоды и травы, а также искали мед и грибы.

В этой местности для монахов напрасным трудом было бы возделывать огород, обязательно находился кто-либо, кто приходил ночью с лопатой и тележкой на уже созревший урожай, — такие были нравы.

Крестьяне поэтому свирепо относились к чужакам и прохожим попрошайкам (к соседям тоже), охраняли свои грядки под ружьем, сторожили семьями, да и потом старались прикопать овощи в подвалах.

Бедняцкий монастырь, стоявший без охраны в глухом лесу, то и дело навещали, окрестным парням нужны были деньги на выпивку, и в конце концов монахи стали обходиться совсем небольшим — жестяные консервные банки для кипятка, кучка соломы на чем спать, рогожи чем прикрываться, а мед и ягоды и прочую лесную добычу они прятали там же, в лесу, в дуплах, на манер белок.

Топили они хворостом, поскольку даже топор и пилу у них отобрали.

Собственно, у монахов и устав был такой — трудиться только на ниве Божией, только для Него, и обходиться тем же, чем обходятся мелкие нехищные существа.

Ни рыбу, ни мясо они поэтому не ели и прославляли каждый день такой жизни.

Но им нужны были мелкие деньги на свечи, на масло для самодельных жестяных лампад, на ремонт крыши, скажем, или иногда надо было помочь совсем уже несчастным беднякам купить, к примеру, лекарство.

Чтобы иконы не крали, монахи расписали свой храм по мокрой штукатурке, расписали столь дивно, что были попытки вырубить эти росписи, но напрасен оказался такой зверский труд — для него нужны были музейные навыки, любовь к труду, осторожность: а когда же бандит бывает трудолюбив?

Зимой начиналась стужа, хворосту не хватало, а ломать живые ветки обитатели монастыря не хотели. Но голод и холод для монаха не беда, а благо, и маленький монастырь в зимние месяцы к тому же отдыхал от воров.

Кто же потащится сквозь снега в гору, в обледеневший храм — хотя каждое утро монахи звонили, не в колокол, его у них сволокли и продали как цветной металлолом, а в железную балку.

Она была старинная, на ней и висел раньше колокол, и местные труги-ворюги как ни махали киркой, так и не добыли балку.

Монахи же били по балке секретным железным ломом, который с предосторожностями прятали, он у них был единственным орудием для защиты, скажем, от диких зверей, для обкалывания льда в замерзающем ручье, для прорубания тропы в скалах.

Да и не больно охотились за этим ломом местные, его волочь по горам мало было охотников, а продажа принесла бы гроши.

Так что каждое утро из монастыря по окрестным деревням разносился заунывный звон лома о балку, но никто в той местности был не дурак тащиться на молитву.

Кто же зовет врача здоровому, кто чинит неломаное, к чему хлопотать перед Богом, если всё в ажуре?

Отпевать — да, крестить, в праздничек возжечь свечу — это святое, а просто так бить лбом и махать рукой никто тут не собирался, за небольшим исключением в виде десятка глухих старух и парочки богомольных теток, которым, видно, нечего было делать. Еще таскались к монахам те, кто предавался горю, но горе вещь преходящая, глядишь — и оклемался человек.

В храме зато молились сами монахи, молились за все население, отмаливали чужие грехи.

Монастырь жил спокойно, дружно и в молчании, а настоятель монастыря, старик Трифон, больше всего печалился о том, что дни его приходят к концу, и некому будет вести монахов дальше — остальные жители монастыря не желали быть главными, почитали себя недостойными, даже и осуждали всякую мысль о власти над другими.

Старый Трифон говорил с Богом все время, непрерывно, его никто не отвлекал от этого занятия, разве что в праздники.

Праздники местный народ обожал, все сбредались, даже тащили вино и закуски, и располагались табором по лесу, и монахи долго потом приводили местность в порядок.

Кроме того, свадьбы и похороны, а также крестины полагалось отмечать тоже у монахов.

Хотя таскаться в такую даль народ не обожал — уже давно и упорно поговаривали о том, чтобы заделать в центральном селе филиал, там ставить покойников, там крестить и венчать — а больше храм ни на что и не нужен.

Сварганить часовню, и дело с концом.

По несчастью, для этого нужно было бы потратиться, а тратиться, да еще коллективно, местный житель не любил, вокруг такого сбора денег всегда начиналось повальное воровство.

Так что иногда даже звали Трифона, и он шел, отпевал, хоронил, а затем обходил дома и собирал милостыню на монастырь.

Людишки подавали святому старцу неохотно, подозревая его в том, в чем подозревали сами себя: то есть в стремлении обогатиться за чужой счет.

Нельзя сказать, что народ на равнине бедствовал, дела шли неплохо, давно не было войн, пожаров, наводнений, засухи, всеобщего мора, скот плодился, огороды давали обильный урожай, и винные цистерны не пустовали.

Можно сказать, что благоденствие снизошло на этот край.

Хотя в том, что касается обычаев и порядков, тут не все было благополучно: к примеру, в данной местности не любили больных, просто не терпели их, считая дармоедами.

Особенно если больной был чужой, не свой — допустим, сосед или дальний родственник.

Своих как-то еще терпели, хотя и не слишком. Как кто заболел, тут же его и начинали обвинять, сам виноват. Лекарства дороговатеньки, врачу надо платить, так что лечили народными методами, отворяли кровь, а потом в баню, крепко попарить, а то и просто уводили в лес и оставляли там. Считалось, что если кто умрет в лесу, то прямиком попадет в рай.

Таких оставленных навещали монахи, кого было можно — переносили к себе, но что они могли дать умирающим — кипяток с сухой ягодой, ложку меда...

Люди внизу, в селениях, этого не одобряли, крепкий и простой человечишка как будто не предвидел, что когда-нибудь и ему придется лечь в лесу на мох и ждать там смерти.

Старый монах бродил без усталости по дорогам, заходил в села, в городки, стоял на солнцепеке или на морозе, маленький и иссохший, и шептал молитву, и в его коробку скудно капала мелочь.

Кстати, нищих в тех краях просто не выносили и вместо подавания донимали издевательскими вопросами и поучениями.

Но на все вопросы (действительно ли он монах, и крепко ли приклеена его борода, и не цыган ли он переодетый, и не понесет ли он чужой, заработанный кровью и потом пятак тут же в кабачок на пропитие) Трифон отвечал как-то издалека, молитвой, обиняками, шутками.

Его даже специально ходили слушать местные весельчаки, они довольно хохотали, услышав слова молитвы, как будто это был просто удачный способ вернуться и оправдаться.

Монах и спал там же, где просил, в ямке, как собачонка, не уходя с одного места по нескольку суток, — и уже к вечеру первого дня сердобольные бабы (в семье не без урода) приносили ему в передниках, чтобы никто не видел, куски хлеба, огородные плоды, а то и чашку горячей каши.

Некоторые на ночь глядя укрывали его, спящего, мешковиной, особенно если шел дождь.

Некоторые оставались около него посидеть, пожаловаться на жизнь, помолиться.

Однажды такой поход вниз, в городок, завершился плачевно — Трифон почти не собрал денег, да еще и как-то ночью двое прохожих отобрали у него коробку с мелочью — притиснули к земле, зашарили грубыми руками за пазухой, а когда он сказал «Господь с вами», они просто стукнули его по голове, вытащили копилку и унесли.

Трифону жаль было коробку, ее много лет назад сделал перед смертью прежний настоятель монастыря, святой старец Антоний.

Лежа побитый на земле, он слышал, как воры за углом подрались, кому открывать ларчик, уронили его, мелочь рассыпалась, они стали светить зажигалкой, увидели свой ничтожный улов, обозлились и вернулись, чтобы вытрясти из старика его богатства. Они стащили с него ряску, стали ее ощупывать, ничего опять не обнаружили и тут начали бить старика ногами, всерьез.

Они оставили его в живых, но к утру, когда Трифон очнулся, он увидел, что ряска его порвана в клочья, а шкатулка растоптана.

Старик поднялся, собрал в горсть те мелкие монеты, которыми побрезговали бандюги, завязал их в клочок рясы, куском побольше подпоясался и в таком виде, окровавленный и грязный, потащился к реке омыть свои раны.

Там его узнали ранние прачки, они ужаснулись, отвели его к одной доброй старухе, и та стала его лечить, сшила ему новую ряску из мешковины и велела уходить из городка — защиты тут ему было не найти.

Двое ночных разбойников были известны всему городу, они давно гуляли как хотели по улицам, грабя и убивая, и их никто не трогал, так как папаша одного из них работал судьей.

Судья выпер родного сыночка из дому за домашнее воровство, и тогда блудный пашенок решил опозорить отца и сесть в тюрьму — после чего судью бы тоже выгнали с его почетной должности.

Однако папаня не желал расставаться с хлебным местом, и потому было дано указание не обращать никакого внимания на баловство судьенка. Решили не поддаваться на провокации и не арестовывать такого фокусника.

Где нет судьи, там ходит смерть — и смерть поселилась в городке. Избитые умирали без суда и следствия, на улице или в знаменитом Райском лесу. Все боялись искать правды, никто не жаловался на разбой и грабежи, потому что самих жалобщиков как раз арестовывали и увозили из городка куда-то.

Монах много разного узнал, лежа на соломенном тюфяке в доме доброй старухи, ему даже рассказали, что рядом живет безутешная женщина, мужа которой убили, когда он поздним вечером нес ребенка к врачу в другой город. Сама мать лежала дома тоже в горячке. И, видимо, его встретила на дороге та страшная парочка, их звали Белый и Рыжий.

До утра кричал больной малыш у трупа отца, а затем их нашла мать, которая, не дождавшись мужа с ребенком, кое-как встала и пошла по той же дороге, а именно в соседний город в больницу.

Теперь эта женщина, похоронив убитого мужа, осталась без кормильца, да и ребенок так и не поправился, и она теперь сидела нарочно у городского суда и просила милостыню на глазах у всех, а люди боялись подавать ей деньги.

Монах, как только начал подниматься, тут же пошел к зданию суда и отдал свой нищий узелок с монетами той женщине, и сказал при этом:

— Завтра утром трогайтесь в путь вдвоем по направлению к горному монастырю по той дороге, которая идет над рекой. У большого камня мы встретимся, я там буду лежать на спине, около молодой елки. Сначала со мной будут двое молодых ребят, Белый и Рыжий, и я буду лежать с ножом, когда придешь ты. Ты должна быть там около меня в течение тридцати дней. Через месяц твой ребеночек поправится.

Молодая нищенка прижала к груди узелок с монетками и поцеловала край рясы монаха.

А он пошел бродить по городку и в конце концов нашел что искал — кабак на окраине.

Там сидели два молодых негодяя в крикливых ковбойских костюмах, блондин и рыжий, с золотыми цепями всюду где возможно, а вокруг них носились тени убитых — этого не видел никто, кроме монаха.

Тени убитых носились печально и тихо — маленькие тени детей, тени девушек в погребальных платьях, с веночками на голове, согбенные тени стариков, их было множество.

Не зная покоя, пролетали тени двух окровавленных мужчин — этих, видимо, еще не похоронили.

Воры были недовольны, лица их налились тоской и злобой: давно уже никто после захода солнца не выходил на улицу, а если и выходили, то с провожатыми, чуть ли не толпой, да с ружьями. Народ тут был не дурак.

Последний раз удалось убить только двоих — молодой мужик бежал с доктором к рожающей жене, об этом потом шепталась вся округа — и ребенок, пришедший на свет утром, родился уже безотцовщиной.

Но беда заключалась в том, что ни врач, ни его провожатый не имели при себе денег, и сегодня двое шутников с большой дороги оказались без копейки.

Они сидели и пили, им принесли пока что полный графин вина.

Но они знали, что при свете солнца народ не допустит бесплатного ухода из кабака, поднимут крик, сбегутся толпой, чего доброго, побьют, снимут у них все золото с шей и пальцев.

И пока приползут стражи порядка, все будет уже кончено.

Напряжение росло.

Уже вокруг бармена сбилась кучка людей — огромный повар, грубый официант почему-то с топориком в руке и местный дурачок, щетинистый детина с маленькими глазками, большими кулаками и широкой улыбкой.

Тутошний народ не любил сына судьи. Монах приблизился к двум мрачным посетителям и сел прямо перед ними, буквально за соседний столик.

Он заказал себе стакан вина и громко сказал официанту:

— У тебя будет сдача с золотой монеты? Я иду в монастырь, несу хорошую весть: один грешник завещал нам котелок с золотом!

Официант был не дурак и знал, что монахи все как один жулики, вроде они бедны, вроде они нищие — а живут! А на что, встает вопрос?

Официант криво улыбнулся и сказал:

— Сдачи пока что не будет. Посетители не платят.

— Подожду, спаси тебя Господь, — мирно ответил старик.

И за соседним столиком прекрасно расслышали весь разговор, четыре уха растопырились, десять пальцев сжались.

Когда монах встал, не тронувши своего стакана, и похромал к дверям, официант не пошел вслед за ним, потому что это сделали двое, только что бесплатно выпившие графин вина.

Они на ходу бросили официанту:

— Отдадим вдвое, но завтра.

Тот пожал плечами:

— Я пока не сошел с ума. Оставьте залог, тогда пойдете.

Пока было светло, на дороге попадались прохожие, повозки и автомобили, да и монах был слишком заметной личностью в тех местах, с ним здоровались, он благословлял спины прошедших мимо, ни у кого не было времени болтать о божественном с Трифоном.

Весь город видел, как уходил монах, и весь город знал, что монах несет золото, причем незаработанное, чужое. И что монах пил, выпил бесплатно целый графин, тоже все знали.

И никто не дрогнул, видя, как те двое внаглую, открыто сопровождают монаха десять шагов спустя.

Те двое шли в понятном озлоблении — у них только что в кабаке официант, поигрывая топориком для разделки мяса, отобрал золотую цепь и часы.

Весь город также знал, что те двое вернутся в кабак очень скоро, как только стемнеет.

А монах возвратится в монастырь как был нищий, да еще и с позором и побитый, и так ему и надо.

Но все получилось по-другому.

Рано утром из города вышла женщина, неся на плечах своего неподвижного ребенка.

Она шла твердой походкой и не посторонилась, когда навстречу ей из лесу шагнули две попачканные кровью фигуры в ковбойских костюмчиках.

Но почему-то женщина с ребенком осталась жива, а вот в пункт охраны порядка заявился сын судьи с жалобой, что он только что убил монаха, а друг тут ни при чем.

Как всегда, его не стали слушать, заскучали, отвернулись и ушли по кабинетам.

Однако же никто не знал, что между женщиной и двумя убийцами там, на дороге, состоялся разговор.

Заступив ей путь, один сказал:

— Куда идет такая молодая?

— Меня ждет монах Трифон, — ответила побледневшая женщина.

— Монах? — переспросили двое и переглянулись.

— Монах Трифон, который просил милостыню.

— Он тебя не ждет, — насмешливо возразил первый и своей рукой с запекшейся под ногтями кровью тронул грудь женщины.

— Он меня ждет, — отстраняясь, возразила она и сняла с плеч ребенка. — Он ждет меня над рекой на верхней дороге под молодой елкой, он лежит на спине с ножом — там, где большой камень.

— Откуда ты знаешь? — спросил первый глухо.

— Он сказал, что вы двое, Белый и Рыжий, там его встретите... У камня. И он будет там лежать с ножом.— Тут она внезапно догадалась, что произошло, и твердо закончила: — Вы его там убьете, сказал Трифон, и оставите нож в груди!

— Он так и сказал? — беспокойно смеясь, переспросил рыжий.

— Да! И он велел мне сидеть около него, тридцать дней. Молиться. И потом мой ребенок пойдет.

И она поставила сыночка на дорогу, и ножки его подкосились. Он не мог стоять.

— Прощайте,— сказала женщина, подняла ребенка на плечи и зашагала.

Двое, не глядя друг на друга, пошли в город. И показания их были настолько упорными и настойчивыми, что через два дня стражи поехали на верхнюю дорогу собирать материал,— однако ничего там они не нашли.

У большого камня под молодой елочкой была просто куча сухой земли, на которой горела копеечная свечка.

Там трое монахов читали молитвы, там бледная как смерть женщина сидела, прижав к себе ребенка, а рядом, на костре, варились грибы в жестяной банке.

Тем не менее двое парней упорствовали, требуя себе смертной казни, они называли место и время убийства и предъявляли свои бурые от крови ногти.

Мало того, они назвали еще сто двадцать три преступления и даже отвели полицию к скупщику краденого, однако этот человек заявил, что он их не знает, хотя охотно вынесет всем бутылку собственного вина из подвала только что построенного дома.

Разбойников выгнали в шею, и они исчезли из города.

Убийства и грабежи прекратились.

Через месяц в город вошли двое — среди бела дня по улице двигалась молодая вдова, она вела за ручку ребенка. Тот шел медленно, но все-таки шел сам!

Мать с ребенком проходили по городу, и встречные женщины, как подсолнухи, поворачивали головы им вслед и застывали так надолго.

— Парень ходит,— шептали рты.

Тут же матери, жены и дочери больных (а таких в городе оказалось немало) узнали о происшедшем чуде, и все они стучались в домик вдовы, и всем она говорила одно и то же — что прожила месяц с ребенком у могилы святого монаха Трифона, что случайно повесила на елку кофточку своего сына, и он тут же поднялся на ножки.

А месяц тому назад она пришла по верхней дороге к большому камню и увидела там лежащего на спине с ножом в груди (он держал нож рукой) умирающего монаха, который очнулся и благословил их, а по-

том попросил вызвать своих товарищей из монастыря, со всеми простился и велел похоронить его тут же у камня.

А самой женщине он ничего не сказал, но она помнила его завещание, прожить месяц около него. Было страшно, что придут двое разбойников, и она все ночи жгла костер, ровно месяц, а потом наступило лето, было совсем жарко, и она повесила кофточку ребенка на ель — и мальчик встал на ножки.

Весь город точно обезумел — ребенка носили из дома в дом, буквально не давая ему ходить, целые процессии тронулись по верхней дороге, везли больных, шли попросить у святого Трифона кто жениха, кто богатства, кто освобождения из тюрьмы, а кто и Божьего наказания обнаглевшему соседу.

Монахи из горного монастыря поставили часовню у святой могилы, к ним стал стекаться народ, тут же мэр города построил гостиницу для приезжих из других мест, наладилась продажа воды из ручья, елку оградил, за вход брали плату, но все это не коснулось монастыря. Монахи его жили все той же жизнью, ничего не ели, а все добро раздавали бедным.

Очень скоро выяснилось, что старец помогает не всем, а только честным, чистым, обездоленным, преимущественно вдовам с детьми. Но шли все кому было нужно, разве остановишь поток — и потом, кто это, скажите, не честный, не чистый и не обездоленный в наше время? И какая древняя старушка не вдова с детьми, спрашивается?

Кстати, число монахов выросло — было пятнадцать, стало семнадцать, и двое новых никогда не показываются людям, они днем и ночью молятся в верхнем храме, не решаясь спуститься вниз по горной дороге к могиле старика, которого они убили и который их спас своей смертью.

## Спасенный

Только в лунные ночи случаются такие происшествия, и в маленьком приморском поселке стали происходить в самую глухую пору странные вещи — вроде бы вырастал сам собой дом из дикого камня, почти крепость, зияющий черными провалами вместо окон и дверей, но высотой в три этажа и под крепкой крышей — он стоял, освещенный луной, и исчезал как призрак с первыми волнами рассвета.

Шальные ночные туристы забредали в эти места, ища острых ощущений, они карабкались по осыпающейся дорожке среди бедных строений, жители спали, и только недостроенный замок торчал, сияя белым камнем, как давно разрушенная крепость, и взирал на полную луну черными дырами, за которыми там, внутри, клубился как бы туман.

Но ночные туристы когда-нибудь да ложились спать, на подстилке под кустом, полные страшных впечатлений, но со временем наступало утро и пора было возвращаться на берег моря, и все выглядело беднее, глупее и проще, и никакой зловещей крепости не громоздилось над бедными выселками.

Однако еще кое-кто знал про исчезающий дом — это был мальчик-старшеклассник, который вставал затемно и шел с сетью к морю.

Каждую ночь он видел недостроенную крепость, но днем, когда он возвращался к себе в холмы с уловом, никакой крепости не было; парень, однако, никого ни о чем не спрашивал, в этих краях лучше было ничем не интересоваться, еще и убьют.

Крепость вполне могла оказаться ночным пристанищем таких сил, которые способны были свободно убраться ее на дневное время.

Его мать, владелица трех коз и клочка сухой земли, работала медсестрой в санатории, собирала травы и знала много чего, но тоже никого в эти дела не посвящала.

Они оба с сыном были не из этих мест, когда-то молоденькая мать выцарапалась из развалин со своим трехлетним ребенком, спасла его во время землетрясения, а муж ее так и остался лежать там, в глубине, в случайной могиле под бетонной горой — в момент подземного толчка он возился с машиной в гараже.

Там он, вместе с грудой железа, и остался вопрошать судьбу, уйдя глубоко в бездонную щель; а его жена как только ни мыкалась, где только ни надрывалась, бывшая студентка без профессии, однако к зрелым годам все-таки какой-то домишко у нее образовался, сын рос тихим и работающим, видно, его детство осталось там, под камнями, где они с матерью просидели больше суток согнувшись в три погибели, и мать все утешала его, пела песенки, а сама скреблась ногтями, разбирая куски бетона, а земля все вздрагивала. Мать осторожно, стараясь не разбудить нависшую над ними плиту, откладывала камушек за камушком и открыла крошечный лаз наверх, и протиснула туда своего сыночка, а он никуда не ушел от выпустившей его дыры, лежал и плакал, шаря ручкой в узкой норе — мама да мама. Там его по надрывному крику и обнаружили спасатели, хотели унести, но он заверещал, потому что именно в этот момент поймал руку мамы там, внизу.

Один спасатель догадался посмотреть, чем же это зашемило ручку младенца, и увидел в глубине, во тьме, несколько окровавленных пальцев. На всякий случай крикнули туда, в щель, и услышали осмысленный ответ, что разбирать нужно осторожно, сию под нависшей плитой.

Так что мальчик, родившийся в хорошем доме за тысячи километров отсюда, рос под крылом своей молчаливой матери совсем не таким, каким он мог бы вырасти в той, прежней, жизни — он бы там ездил на

машине в университет, играл на рояле, жил среди отцовской и дедовой библиотеки — а тут он лазил по скалам, рубил аметистовые жилы на продажу, нырял за раковинами, ловил рыбу, плавал как дельфин и мог на одних руках вскарабкаться на дерево.

Так решила воспитывать его мать, она постановила, что вырастит его человеком, который способен все вынести, любую тяжелую работу, все преодолеть.

Сама она тоже все преодолела, начав строить свой домишко на выселках, в холмах, на улице Палисандр, в том месте, где запрещалось селиться, — местные несколько раз поджигали ее сарайчик, старухи предупреждали Лизавету, что место проклятое, но Лизавета так хорошо лечила их детей, что в конце концов ее оставили в покое. Пусть ей будет хуже, решили местные и отступились.

Нигде в другом месте, кстати, ей было бы не построиться — земля тут, на теплом побережье, шла по бешеным ценам.

Поэтому Кита местные сторонились, как прокаженного.

Он ловил рыбу, брал книги в пустовавшей поселковой библиотеке, и мать купила ему в городе дешевую деревянную флейту, пачку нот, кое-что они вместе разобрали в самоучителе, а дальше мальчишка и сам полюбил, сидя в лодке на рассвете далеко от берега, насвистывать Моцарта.

Только товарищей ему не было, поскольку местные ребята и девушки, веселые дети, знали от своих веселых родителей все что надо и сторонились Лизаветиного сына Кита — и правильно делали.

К Лизавете ходили за травами, за козиным молоком, поскольку ее козы были какие-то не такие, кудрявые, и считалось, что их молоко буквально лечит от кашля.

А свитера, которые Лизавета вязала из пуха своих коз, славились тем, что прогоняли лому в костях.

Но у Лизаветы и ее сына было прозвище «спасенные», и в школе Кита так и называли: «Ну ты, спасенный, дай списать».

Их так прозвали, потому что местные туманно помнили историю юной Лизаветы, прибывшей в поселок с сыном, — из вещей у них имелся только пакет со справкой, что они спасены при землетрясении.

Но, с другой стороны, это была такая шутка местных — в поселке ходила старая сказка, что, когда придет время убийств, против них выйдет один спасенный с крестом в руке.

А убийства начались уже давно: однажды в некотором большом доме на улице Палисандр один брат-колдун извел ребенка другого брата-колдуна, из-за обыкновенной семейной зависти. И хотя вся эта семейка друг друга перебила, а упомянутый дом вскоре сгорел и превратился в развалины, и даже место это было проклято, — но циркулировал упорный слух, что, когда вернется кто-нибудь умерший из семейства

Палисандр, дом встанет опять, и каждому из поселковых будет дано право на три убийства.

Что же касается Лизаветы, то она получила, как бы в насмешку, участок именно там, в холмах (другая земля нужна была своим).

Однако Кит почему-то знал, что здесь не кончится их жизнь, что она продлится где-то там, вдали, в больших путешествиях, среди иных людей, и поэтому спокойно ловил рыбу на чужой лодке, спокойно отдавал хозяйке этой старой посуды половину своего улова, а другую половину нес домой коптить для продажи: он всему был научен. И его мать умела все.

У нее только не было сил возвращаться в прежнюю жизнь, где она была дочерью врача и сама уже почти врач...

Все ее родные погибли в ту ночь, на их костях возник новый город, понаехало строителей, и Лиза, сбежав оттуда, теперь боялась этого города и его новых жителей.

После больницы ее устроили медсестрой подальше от катастрофы, в детский лагерь на берегу моря, и она так там и осталась...

Таким образом, молодой рыбак Кит каждую ночь видел исчезающий дом, прямо через дорогу от собственной ржавой калитки, — но всякий раз, выходя на дорогу, он торопился к морю, тем более что ночи стояли здесь темные, и Кит не мог рассмотреть подробно, что это за дом — и не белеет ли это туча над обрывом. А затем в соседний залив вошла огромная стая местной рыбы-собаки, и Кит выходил на лов уже с вечера.

Но настала первая ясная ночь, и дом явственно возник под неверным, обманчивым лунным светом.

Кит собрался, как обычно, промчаться мимо, спеша вниз по дороге к морю, но вдруг он заметил наверху, в черном проеме пустого окна, что-то удлинненное и блестящее, похожее на рыбку в воде.

Он остановился, держа сеть на плече.

На подоконнике лежала ослепительно-белая рука, видная по локоть.

Кит, как на магните, приближался к дому.

Рука выступала из тьмы и сияла в лунном луче там, высоко, под самой крышей, в окне третьего этажа. Она выглядела сверкающей, как будто была сделана из отполированного мрамора. Как экспонат в музее, где Кит бывал с матерью на каникулах.

Кит, добытчик в семье, не мог пройти мимо такого сокровища.

Никакая отдельно лежащая рука его не пугала.

Он начал искать путь вверх по стене.

Кит вообще не боялся ничего. Он тренировал себя, блуждая по горам в поисках хороших камней, устремлялся по опасным карнизам, которые могли сойти на нет над пропастью. Он спокойно ходил среди дикой приморской шпаны, как олень ходит среди львов: это была для

него привычная среда обитания. Он учился, кстати, у своего кота Мура, который при виде собак садился неподвижно как тумбочка, никогда от них не убегал и дожил до почтенного уже возраста невредимым.

Кстати, Мур, следовавший за своим господином куда угодно, не выносил берега моря. Там приходилось то и дело сидеть тумбочкой — у прибрежных ресторанов ходили в поисках милостыни вредные собаки.

Итак, Кит немедленно повесил сеть с внутренней стороны своего забора и кошачьим шагом бесшумно пересек каменистую дорогу.

Затем он сунул голову в дверной проем и обнаружил там полную пустоту до самой крыши — собственно, ничего другого ожидать было нельзя, только свет месяца заполнял тьму, туманными пучками лился внутрь, слегка клубясь...

Кит нашел, пошарив глазами, то окно наверху — и внезапно в этом косом прямоугольнике возникла темная тень: как бы приподнялась рука и помахала. Маленькая, узкая рука с длинными пальцами... И опять бессильно легла.

Кит выскочил к своей калитке — сияющая длинная рыбка все так же лежала в оконном проеме.

«Мало спал», — решил юнец и кинулся снова в дом. За ним, отчаянно мяукая, выскочил из дырки в заборе кот Мур.

Мур, кстати сказать, очень любил своего хозяина и не выносил разлуки с ним — особенно когда Кит закрывал за собой дверь, готовя уроки. Или уходил из дому, Мур преследовал Кита даже в горах, объявлялся в самом неподходящем месте, например, на скале, куда Кит лез, и отчаянно орал сверху, взывая о спасении.

Приходилось фукать на Мура. После такого фуканья Мур обижался (видимо, на кошачьем языке это страшное оскорбление) и исчезал на полдня.

Итак, Кит фукнул на кота, уцепился своими сильными пальцами за нижний подоконник, подтянулся и пополз по вертикальной стене вверх. Для опытного скалолаза в каменной кладке всегда найдется трещина и выступ, а в своей погоне за аметистами в горах, среди потухших вулканов, вдруг заметив далеко вверху слом каменной жилы и стеклянный фиолетовый блеск, он добирался до нужного места иногда только на руках, болтая ногами вне опоры и находя ее где-то сбоку и выше.

У Кита, кстати, была лучшая коллекция местных камней, о которой никто не подозревал, — дребедень он сбывал местным ювелирам.

Короче, голова Кита появилась на уровне того самого подоконника, но он был пуст — рука теперь висела в пустом и темном пространстве, она указывала куда-то пальцем.

Кит присел на парапет окна и, само собой разумеется, посмотрел туда, куда направлен был палец.

Как раз там, в туманной темной дали, в горах, плавилась яркая белая точка, как фокус в стеклянной лупе под солнцем.

Мальчик присмотрелся к точке, подрассчитал расстояние и понял, что светится что-то на скале, известной в местных кругах как Вражье Копыто.

Рука сама собой растаяла, и Кит немедленно спустился и рысью понесся вон из поселка по горной тропе.

Через час пути он сидел на вершине Копыта, однако никакого сияния здесь не наблюдалось.

Все еще стояла светлая лунная ночь, на горизонте виднелась белая вертикальная полоса — это была лунная дорожка на невидимом море.

Надо было спускаться. Вот примерещилось-то!

Однако он вдруг расслышал чей-то возглас, похожий на стон, склонился над пропастью и увидел там, в густом мраке, маленькую белую руку, вцепившуюся в камень под ногами Кита, на расстоянии двух метров.

Кит потянулся вниз и поймал эту скрюченную руку как раз в тот момент, когда загремела мелкая осыпь из-под ног прилипшего к стене существа...

Кит спустился вместе с этим существом, повисшим у него на плече, и ему пришлось нести бесчувственное тельце назад, и уже на тропе по ту сторону ущелья он рассмотрел раскаленную точку на покинутой им скале — она сияла точно на том месте, откуда недавно отвалился последний камешек, за который держалась бедная девочка, — а это была девочка у него на плече, худенькая, с каким-то туманным лицом в свете луны.

Тем временем точка заелозила на далеком камне, сорвалась и стала зигзагами шарить по скалам.

Кит даже опустил свою ношу на тропу, так его заинтересовала пляска этого лунного зайчика.

Точка тем временем подобралась ближе и вдруг прыгнула на девочку, заметалась, кинулась ей в глаза и скакнула к морю.

Девочка встрепенулась, вскочила и помчалась за мелкой огненной искрой, не открывая глаз.

Кит, разумеется, ринулся следом.

Но девочка неслась как вихрь, долетела до ближайшей дороги, там стоял темный, без фар, автомобиль.

Хлопнула дверца, машина взревела, все исчезло.

Кит пошел домой, забрал свой невод и двинулся вниз к лодке, однако драгоценное время было упущено, близился рассвет, и удачливый в обычные дни Кит зря закидывал сеть и насвистывал Моцарта, рыба ушла.

Следующую ночь Кит встретил у своей калитки — и медленно, как вздымающееся над горой облако, возник дом, и на третьем этаже в проеме окна, не таясь, появилась рука — она указывала перстом в море.

Кит быстро оказался в своей лодке и стал грести со скоростью заводной игрушки, со скоростью биения ходиков на кухне, но сердце его колотилось еще быстрее.

В том месте, где плавило в волнах белое сияние световой точки, Кит остановил лодку и стал смотреть вокруг — но волны были пустынные.

Тогда Кит сообразил и нырнул, поскольку заметил, что точка дымит на глубине. Кит нырял зверски, ловил рапанов как японская девушка ама, он прочесал все пространство вокруг лодки — и все безрезультатно.

И только когда Кит нырнул вертикально ко дну, он увидел громадный белый сверток, который, кружась, уходил, несомый течением в самую бездну.

Кит устремился за этим страшным коконом, ухватил развевающий край ткани и подтянулся к телу (а это было тело, завернутое с головой).

Но что-то мешало ему поднять свою ношу наверх — это был луч от пляшущего вверху светового пятна. На нем, как на острие, была наколота белая фигура, и луч вел ее в глубины.

Кит извернулся, выскочил наружу, вдохнул и опять бросился — но теперь уже наперерез лучу, стараясь спускаться, держа его на собственной спине.

Связь светового копья и тела, таким образом, прервалась — тело болталось в воде, уже как бы обмякнув, и Кит умудрился обхватить утопленника и, держа его под собой, выплыть наверх к лодке.

Много времени ушло на разматывание белого кокона, Кит долго разворачивал плотные влажные пелены, пока наконец не показалось лицо с широко открытыми глазами.

Это была все та же девушка, вчерашняя малютка, но теперь уже совсем без признаков жизни.

Кит, приморский обитатель, знал, как делается искусственное дыхание, и очень скоро девушка задрожала, извергла из уст массу воды, закашлялась и закрыла глаза.

Лодка мчалась к берегу, а фокус света остался бессмысленно покоиться в волнах, как поплавок при неудачной рыбалке.

Кит греб спиной к берегу и все время видел пятнышко в море, видел и как оно резко засияло, вырвавшись из воды, как заматалось и во мгновение ока, не успев гребец и моргнуть, очутилось на голове у полусидящей в лодке девушки.

Источник света был все там же, где-то на высоком берегу.

Дева вздрогнула, напряглась, выпрыгнула из лодки и помчалась по мелким волнам к земле.

Но уж тут у Кита не было равных, в гонке по мелководью.

Он только должен был затащить лодку на берег, чужую лодку, которая стоила слишком дорого для бедной матери Кита.

В несколько прыжков Кит перегнал бегунью и грудью пересек путь луча.

Девушка остановилась, хрипло дыша.

Кит взял ее за руку и повел за собой, луч прыгал и метался, ища свою жертву и не находя ее, и Кит тоже прыгал, как кот, играющий с мышью.

Они шли все выше, все дальше от моря, и наконец Кит выбрался на дорогу, которая вела к его дому.

На этом шоссе стояла все та же машина, изнутри которой, из-за темного стекла, пылал узкий, как лезвие, луч, ровный по всей длине (странно, и вдали он тоже не расплывается, подумал Кит).

Кит вилял, прятался в кусты, поскольку луч ощутимо прожигал, как крапивой, его грудь, но луч находил его. При последнем подъеме пришлось даже бежать, чтобы скорее понять что делать.

Девушка за спиной у Кита начала, видимо, просыпаться, стала выдергивать свою руку из ладони Кита.

Луч тоже заметался, заплясал в воздухе, как бы выписывая крупные буквы.

Но у Кита была довольно мощная грудная клетка, а девушка была маленькая. Луч вилял напрасно.

Азарт защитника проснулся в до сей поры спокойном Ките.

Однако он все-таки сделал ошибку, решив открыть дверь машины и хорошо замазать невидимому убийце.

Луч тут же уперся в открывшуюся на момент девушку, она шарахнулась с безумной силой, вырвалась из железной руки Кита, прыгнула с другой стороны к машине — раздался щелчок открываемой дверцы, стук, рев, и автомобиль исчез.

Единственное, что все-таки рассмотрел Кит, бросившись вслед за девушкой к открываемой дверце, — что внутри машины никого не было.

Там не было ни руля, ни сидений.

Там клубилась тьма.

Она на мгновение вырвалась из дверцы и отбросила Кита как бы мощным ударом.

Он очнулся уже при свете утра в придорожном рву и с пустыми руками поплелся к своему дому.

На следующий день, перед рассветом, он ушел в море при плохой погоде, но ведь улова не было уже несколько дней, — и внезапно ему

посчастливилось: он увидел какое-то легкое свечение на волнах, стал грести туда, и стая странной, невиданной рыбы пошла плясать вокруг его лодки. Вода просто вскипала.

Однако наловил он немного, всего штуки четыре — рыба ушла так же внезапно, как и появилась.

Да еще и на берегу его поджидала неприятность.

Когда он нес свой улов, его застукали три всем известных друга — это был страшный рассветный час, когда сон от них ушел, хмель выветривался, вызывая дрожь во всех конечностях, включая голову, когда вся их загубленная, пропадающая жизнь требовала ответа на главный вопрос: где найти выпить.

Они попросили у Кита немного денег или часы.

Такого еще не бывало в поселке.

Кит ответил им как надо, незаметно сняв с руки часы за спиной.

Кит давно не нравился трем приятелям, и они обрадовались поводу слегка его поучить, как надо вести себя со старшими.

Готовясь к обороне, Кит незаметно нагнулся и спрятал часы за большим камнем, где обычно привязывал свою лодку.

Потом он посмотрел наверх, в холмы, на улицу Палисандр, где жила его мать. Не то чтобы он ждал оттуда спасения, нет. Он посмотрел туда, ища глазами мать. И вдруг он увидел, что в холмах стоит новый высокий белый дом, абсолютно явственный.

Трое друзей тоже оглянулись и тоже увидели дом.

— Ну все, каждому разрешено по три убийства, — сказал самый старший друг, а остальные двое засмеялись.

Они окружили его, и Кит получил первый удар, под дых.

Когда его кровь уже начала уходить в песок, а денег и часов не нашлось, парни засомневались, следует ли оставлять Кита в таком виде снаружи, на поверхности земли. Пока что они столкнули лодку в море, озабоченно перекириваясь: пусть думают, что малый ушел и не вернулся. Улов они вытащили, все-таки приморские были ребята, знали толк в рыбе, а эта оказалась крупная и нездешняя.

Кита надо было бы так же столкнуть в волны.

Однако на берегу уже появились какие-то люди, и трое приятелей заботливо, с криком «Ох, говорили ему» поволокли Кита (как мертвецки пьяного) с собой и, оглянувшись, отнесли его и закрыли в подвале спасательной станции.

Они как раз подрабатывали спасателями раз в трое суток.

Затем, все еще посмеиваясь, они позвонили дружку трактористу на счет выпивки и в ожидании пустили красивую, крупную рыбу на жарену, а спустя небольшое время приехал на тракторе этот друг с рыбозавода — и не без бутылки.

Все обрадовались.

Тракторист увидел улов.

— Че, привезли откуда? — спросил он.

— Наловил один чудак, — ответили ему.

— Не, у нас такой тут нету, — возразил тракторист.

— У вас нету, а у нас вот имеется, — сказал самый старший шутник, так и завершился этот разговор.

Компания из четырех приятелей выпила спирт и закусила жареной рыбкой (тракторист отказался), после чего данный тракторист вынужден был свезти этих друзей в лазарет, где они быстро отправились в лучший мир.

В поселке зашумели: три смерти в один вечер!

Многие смотрели в сторону улицы Палисандр, где возвышался белый, плотный как грозовая туча новый дом.

Многие стали точить ножи и варить травку, опасную травку цикуту.

В полдень того же дня мать Кита встревожилась и сбегала к хозяйке лодки. Они вместе спустились к морю. Лодки не было. Хозяйка сразу заподозрила, что Кит не вернулся.

Но мать тут же увидела, что на обычном месте, где Кит швартовался, лежит, полузарывшись в песок, его шлепка — старенькая, резиновая вьетнамка, он ходил летом в этой обуви.

Она стала перерывать все вокруг и увидела часы — аккуратно снятые, ремешок целый, лежат свернутые. Сын специально их сюда положил. Он очень ценил эти водонепроницаемые часы, он сам их купил.

Под набережной валялась вторая шлепка.

Поэтому Лиза поняла, что Кит не в море.

Она стала искать следы на пляже, ничего не нашла, все было истоптано загорающими, — а к вечеру сообразила, сама себе кивнула и принесла на берег старого кота.

Мур дико испугался шумного моря, вздыбил шерсть на бегущую мимо собачку, но хозяйка взяла его на руки и до ночи ходила с ним вдоль пляжа и у домов, успокаивая серенького.

Вблизи лодочной станции кот стал вырываться, прыгнул наземь и начал орать у какой-то железной дверки.

Мало того, он лег и лапой стал поддевать дверку — он делал так обычно, просясь к Киту.

Дверь открыли новые спасатели, проникли в подвал, вызвали «скорую», вытащили умирающего, мать сидела в больнице у сына неделю, причем Кит в бреду упоминал какой-то луч в море и рыб, приплывших на этот луч.

— Зачем, зачем я, — говорил он.

Спустя неделю она перевезла его домой, и там, в дальней комнатухе, она стала выпаивать Кита отварами трав и молоком, а напротив их калитки уже всюю ворочался подъемный кран — там строили еще и

гараж в добавление к трехэтажному дому из дикого камня, который возник буквально за одну ночь.

Однажды на рассвете, когда Кит стал выздоравливать и открыл глаза, он встал, вышел на крылечко и увидел этот дом, огромный, как грозовая туча, — уже с окнами и дверями, даже с занавесками. И на третьем этаже, в крайнем окне, светилась лампа.

Притянутый непонятной силой, Кит подошел поближе и стал глядеть наверх.

Там, за приоткрытым окном, на стене, был виден портрет молодой женщины.

Это лицо Кит уже видел дважды в своей жизни — в те ночи, когда луч играл свою непонятную игру с горами и волнами, пытаясь погубить девушку.

На стене висел именно ее портрет.

Но это было не совсем то же лицо — как будто бы лет на пять постарше.

На портрете молодая женщина сидела в окне, положив свою белую руку на подоконник.

Кит вернулся к себе, а мать уже знала, что он выздоровел, и молилась перед иконой.

Потом она зашла к нему и рассказала, что ей удалось устроиться в построенный напротив дом убирать, платить будут хорошо. Хозяйка оказалась женщиной порядочной, даже интересовалась здоровьем Кита, откуда-то узнав его имя. Даже дала ей коробку витаминов для него.

(Лиза сходила и закопала эти витамины на местном кладбище, неизвестно почему. То есть она думала, что в любом другом месте вдруг да кто-то лет сто спустя начнет копать колодец или что-то сажать — а на кладбище и так уже все умершие, и яд им не повредит. Со времен землетрясения Лиза хорошо предчувствовала последствия тех или иных человеческих действий. Кроме того, Лиза просто была очень умная, она уже убирала в доме и видела на третьем этаже больную девочку — эти же витамины стояли на ее столике.)

В следующий раз, придя убирать к больной, она заварила ей своего чаю и заставила выпить две кружки:

— Так будет вам лучше, — сказала Лиза.

Уже с первого дня было видно, что хозяйка пичкает лекарствами свою молодую дочь с безбрежной щедростью.

Как бы в ответ на такую заботу больная хирела просто на глазах.

Или это была не ее дочь, уж больно они были непохожи; кроме того, судя по разнице в возрасте, такая мамаша должна была родить такую дочь лет в одиннадцать: больной на вид шестнадцать, а матери в лучшем случае двадцать семь.

Лиза также пыталась поить девочку козьим молоком, но это было сурово запрещено, раз и навсегда. Молоко было выплеснуто в раковину в бешенстве.

Молодая хозяйка все время жаловалась: на то, что все уползает из рук, что разбита жизнь, что как-то так происходит, но сил хватает только на три раза (Лиза сообразила, о чем идет речь, но кивнула с сочувствием).

— Только на три раза! — с силой, но горестно восклицала женщина. — И вторая попытка не удалась, вы подумайте! А те три парня, это уже пришла власть убийц. Это не считается. Это знаменитая рыба, ее надо знать. Рыба фугу.

А Кит вечером смотрел из своего сада, с раскладушки, на еле светящееся окно под крышей дома напротив.

Лампа озаряла портрет на стене и узкую белую руку нарисованной дамы.

В обязанности Лизы входило после ежедневной уборки кормить обесиленную больную (в основном лекарствами), сама Палисандрия к девочке не прикасалась, в кухню не заходила и никогда ничего не ела. («У меня такая диета», — со смехом говорила эта слишком молодая мать.)

Однажды днем, латая сети в тени своего грецкого ореха, Кит увидел, что от дома отъезжает знакомая черная машина. Лиза, которая варила варенье, встрепенулась, сняла кастрюлю с плиты, нащупала в кармане ключи, взяла с полки бутылочку с настоем и сказала Киту:

— Что-то случилось. Я схожу.

— Я с тобой, — откликнулся Кит.

Они пошли к большому дому, но ни один ключ не открыл двери.

Лиза стучалась напрасно.

Тогда Кит посмотрел вверх, где окно третьего этажа было, как всегда, открыто, и увидел, что на подоконник опустилась ворона, а две другие сели на карниз крыши.

Кит ослабел за последнее время, но если кто научился взбираться на отвесную стену, то это остается у него навсегда (как остается умение плавать). Так, по крайней мере, думал сам Кит.

Он уже как будто не раз лазил на эту именно стену.

Не очень скоро Кит оказался на третьем этаже, влез в окно, затем быстро выглянул и сказал:

— По-моему, все.

— Попробуй открыть дверь, — ответила Лиза, забежала к себе,хватила икону и встала у подъезда большого дома.

Кит возился с замком по ту сторону и наконец нашел какие-то тайные зашелки. Дверь открылась.

Они поднялись по лестнице в ту комнату, где лежала умершая девушка. Наверху Лиза вдруг решила:

— Нет, здесь не годится.

Вдвоем они подняли тощее, бездыханное тельце и понесли к себе в дом.

Лиза велела Киту вскипятить воды и стала делать искусственное дыхание, прижавшись ртом ко рту девушки.

Кит сидел, читая медицинский справочник, главу «Реанимирование».

Он не умел плакать, но во рту у него было горько и сухо, а сердце билось где-то в районе желудка и горело огнем.

Это была та самая девушка, которую он дважды спасал.

Тут мать коротко крикнула:

— Дай воды!

Он отнес чайник и увидел, что девушка дышит, а мать растворяет какой-то истолченный травяной порошок в мисочке с кипятком и осторожно, ложечкой, поит больную.

Так пролетело время.

И тут Кит заметил на своем окне, занавешенном плотной портьерой, пляску какого-то как бы луча карманного фонарика.

Он сказал матери:

— Беги и спрячься подальше.

Лиза знала своего сына и мгновенно исчезла.

Лучик пробивался сквозь портьеру, упорно стремясь к телу девушки.

Кит двинулся навстречу этому лучу.

Он открыл окно, перешагнул подоконник и, пошатываясь, как перед сильным ветром, пошел, нанизанный на световое острие, плавающий конец которого уже начал прожигать ему грудь, а другой конец, вернее, исток Кит теперь уже это знал — исходил из недр черной машины, той самой машины, битком набитой клубящейся пустотой.

Луч упирался ему в грудь, прямо в нательный крестик, и плясал, стараясь увильнуть.

Кит шел напрямую через заросли и холмы, шел по лучу, иногда проваливался в ямы, но луч оставался все так же туго натянутым, не плясал, не искал никого, стойко упираясь в известную цель, — и мальчик мгновенно выскакивал из любой ловушки, чтобы нанизаться на лезвие света и заслонить девушку.

Сколько длилось это путешествие, он не помнил, но вдруг очнулся и увидел, что луча больше нет.

На груди у Кита дымилась глубокая ранка, поверх нее блестел нательный крестик.

Кит стоял уже на верхнем шоссе, у черной машины, а внутри ее, за темными стеклами, клубилась, переворачиваясь, какая-то дымная масса с проблесками как бы искр.

Кит подошел ближе, заглянул в лобовое стекло.

Последний раз блеснуло изнутри, как выстрел, и парень ощутил смертную боль в груди.

Он упал на капот, звякнул его крестик, и Кит, защищая, прикрыл его ладонью, и вдруг стало как-то необыкновенно легко.

Через мгновение Кит стоял у вполне обычной машины и с любопытством заглядывал внутрь — а там было пусто. Ни стекол, ни руля, ни сидений.

Видимо, машина стояла давно, и любители запчастей ее уже всю разобрали по домам, как трудовые муравьи, которые ведь тоже воры, если вдуматься.

Когда он с легкой душой, целый и невредимый (грудь только слегка ломило), спустился к себе, напротив их дома лежала груда камней, приготовленных для стройки. Дворец исчез.

И у дороги валялась засыпанная цементной крошкой картинка в раме.

Кит поднял эту запыленную картину, протер ее и явственно увидел портрет молодой женщины. Ее рука, белая и прекрасная, лежала на подоконнике какого-то неизвестного окна.

Дома было тихо, мать напевала в кухне, постукивала ложечка о кастрюльку.

Он оставил портрет пока что в сенях.

В дальней комнате слышался негромкий голос:

— Ну и что ты пришла, глупая? Зачем ты это делаешь? Выплюнь сейчас же!

Кит осторожно заглянул в полуотворенную дверь.

На кровати лежала девушка и вела разговор с кем-то невидимым.

Кит сдвинулся влево и увидел младшую козу Зорьку, которая беззвучно жевала скатерть.

Что касается Мура, то он находился на столе, что ему было категорически запрещено, спина коромыслом, и стоячими от возмущения глазами смотрел на козу, которая выедала из-под него скатерть.

Кот даже тихо сказал ругательное «фук», коза не расслышала.

Тут явилась мама Лиза с очередным чаем, кот спрыгнул и изобразил тумбочку, обмотавшись хвостом, козу увели, и жизнь пошла своим ходом.

Никто ни о чем не спрашивал девушку, пока она однажды сама, извиняясь, не спросила:

— Вы не знаете, у меня ничего не пропало?

— Успокойся, ничего, — ответила Лиза.

— У меня была мачеха...

— Куда-то делась, — сказал Кит. — Как бы испарилась.

— Отец умер, я знаю... Потом ко мне приехала жить мачеха... Предъявила завещание... Моя мама погибла при землетрясении пятнадцать лет назад...

Лиза невольно кашлянула.

— Мачеха показала все — свидетельство о браке, даже свадебные фотографии... Я тоже там была снята, держала букет... Какой-то ужас... Письма папы... Он писал, что должен подготовить свою упрямую дочку к мысли о новой маме... Дочь растет неуправляемой, писал он... Только ты сможешь ее обуздать...

— Не верь, — сказала Лиза.

— Он ей писал «лапа моя». У него и слов таких не было. «И цыпленочку».

— Бред, — откликнулась Лиза.

— У нее имелось отцово завещание. Какое завещание? Он был, правда, уже немолодой, сорок с лишним лет... Но он был крепкий старик! Его так и не нашли в море... Он погиб случайно! «Все движимое и недвижимое завещаю моей жене Палисандрии...» Правда, папина далекая тетя пошла в суд и заявила, что все равно я имею право на сколько-то процентов. Но в завещании было написано — непременно условие на эти мои деньги построить дом именно почему-то здесь... Улица Палисандр... Бывший дом семь...

— Это тут, напротив, — сказала Лиза. — Она называлась Палисандр. Там, говорят, стоял дом, и там один брат убил ребенка другого брата... Дом сгорел в результате. И никому не разрешали селиться на улице Палисандр. И тут построились совсем новые люди, вроде нас, потому что поселковые избегают этого места... Кто-то проклял его, сказал, что, если дом вернется на прежнее место, начнется власть убийц. И у каждого будет право на три убийства. Но не своей рукой. Как-то так. С помощью чего-то постороннего. Кто что придумает, кто яд, кто умную клевету. Кто тайное облучение... И один спасенный должен был встать против них, держа в руке крест. Такая легенда.

— Мне очень хотелось убить себя, — сказала девушка. — Я не соглашалась жить с ней, но она поселилась у нас. Мне прописали лекарства. Она привезла меня сюда, к морю. Мы жили на улице Палисандр... Но я убегала и то пыталась сброситься со скалы, то утонуть в море... Меня звал свет, и я чувствовала, что летаю, как бабочка. Последний мой бред, как она мне говорила, был умереть в своей кровати под портретом мамы. И Палисандрия сказала «хорошо», быстро построила дом и дала мне комнату. И повесила там портрет мамы. Чтобы мое желание исполнилось. Этот портрет — единственное что осталось после землетрясения. Мне снилось, что мама протягивает мне руку и спасает меня.

— Так оно и было, — сказал Кит и принес ту самую картину.

Девушка прижала портрет к груди, обвела глазами комнатушку, в которой лежала — по белым стенам здесь висели акварели, в углу горела лампадка под иконой.

— Это теперь твоя комната,— сказала Лизавета.

— Моя комната? — спросила девушка.— Я тут умру?

— Ну как раз,— быстро возразила Лизавета, вешая портрет на гвоздик, как бы специально ждавший этого в центре стены.

Женщина с портрета смотрела туманно и нежно, и ее ослепительно-белая рука лежала на подоконнике того окна, которое давно уже истлело где-то в развалинах землетрясения...

# НЫНЕШНИЕ СКАЗКИ

## Мальчик Новый год

Ариша, клоун и ее товарищ, мим Сеня, в канун Нового года стояли, разумеется, в пробке. Старый Сенин драндулет, «мерседес» девяностых годов прошлого столетия, дрожал как припадочный в тесной компании таких же трясущихся и жужжащих средств транспорта. Сверху на все это стадо сеялся мелкий новогодний дождик с гвоздями. Вдобавок поле зрения Сене загораживал могучий троллейбус, и было непонятно, есть ли надежда стронуться с места.

— Я давно предлагала,— хрипло сказала Арина,— сделать такой перископ на машинах, как у подводной лодки: высунул его поверх всех, повертел и все увидел.

Молчаливый мим Сеня только пожал плечами, и от этого его голова, украшенная шапкой Деда Мороза с пришитыми кудрями, утонула в белом синтетическом воротнике.

Из машины слева на него тарачился небольшой ребенок, поэтому Сеня, пожав плечами, специально надолго погрузился в шубу. Он уже минут десять играл для данного зрителя (родители этой его публики явно ругались на переднем сиденье, причем жена смотрела при том на мужа, а он на нее нет).

У самого Сени детей не было, как и жены, их с успехом ему заменяла почти неходячая мама.

Еще вчера к ней приехала так называемая Сенина невеста (так он называл пожилых маминых подруг). С утра же Сеня обтер маму водкой, переодел, несмотря на протесты, в праздничное кримпленовое платье (купленное тридцать лет назад и до сих пор ненадеванное), причем мама шептала, чтобы подруга не слышала: «Это я берегу до лучших времен, ты в своем ли разуме». А Сеня приговаривал: «Уже, уже».

«Лучшие времена» в ее тракторке (глаза в потолок, готовность к слезам) явно намекали на близкое погребение. Сеня упорно пресекал такое кокетство.

На прощание мама пустила пробный шар:

— Я все знаю! Гуляй, гуляй хоть всю ночь с ней (глаза в потолок, губы слегка дрожат).

Мама, причем, как в воду глядела.

Клоун Ариша, когда Дед Мороз Сеня толкнул ее локтем и кивнул на юного зрителя в соседней машине, тоже натянула со вздохом свою

голубую шапку с пришитыми синтетическими косами и стала улыбаться налево.

Так-то она была совершенно лысая, как новобранец, потому что натягивать парики на свои естественные буйные кудри ей всегда было лень. Побрившись много лет назад, она плюнула на внешность, была свой парень в коллективе «Цирк приехал», сплетнями не интересовалась, всем улыбалась, все ее обожали, даже администраторша. В молодости у Ариши погиб любимый человек, гимнаст, и Ариша не смогла доносить беременность, всё.

Сейчас вот оба они с Сеней подрабатывали чем могли — Сеня даже загодя, в ноябре, основал свое агентство «Дед Мороз и Сн. недорого. Песни, хороводы, фокусы» и разместил по столбам объявления. Мимы в нашей стране, он это понял давно, никому не были понятны, даже лучшие из мира пантомимы вынуждены были использовать человеческую речь (Асисяй тот же). А сам Сеня, будучи убежденным узким специалистом, не пошел по этой легкой дорожке, а, наоборот, замолчал уже принципиально, но при том выучился фокусам у старого коллеги и теперь показывал по квартирам номер мирового масштаба — как Дед Мороз видит на своей шубе дыру и как он ее чинит невидимой иглой (предварительно с трудом вдев в нее несуществующую ниточку). Затем, закончивши ремонт (дыра исчезала, это уже был фокус), Сеня якобы вкалывал в свою ватную грудь иголку, вынимал из нее нитку, вытягивал ее вверх и — и тут смотрел в потолок: там оказывался надутый красный шарик! А Сеня доставал из воздуха еще и синий, и желтый, и фиолетовый шарики и все их раздавал присутствующим. Напрасно, что ли, он таскал с собой подарочный мешок, пузатый и легкий как воздух...

Кроме того, Сеня брал на постой котов, чьи хозяева уезжали в отпуск. В данный момент у него проживало четверо хвостатых, кроме собственного Миньки. Мама обожала кошек, и они сразу, безоговорочно, располагались у нее на постели, причем соревновались за место в головах. Дело доходило до шипения и растопыренных хвостов. Минька главенствовал.

Что касается Ариши, то она вела кружок «Маленький клоун» и иногда участвовала в озвучании сериалов. У нее был низкий хрипчатый голос, и ей доставались роли зловещих свекровей, нянь и мальчиков в пубертатном периоде. Три копейки в базарный день.

И она была благодарна старому другу за роль Снегурочки.

Тронулись, застряли, потеряли зрителя, нашли трех новых. Звонил мобильник от клиентов. Ввиду жары сняли с себя шапки.

Сеня посматривал на клоуна Аришу. Ее лысая, круглая головка с огромными прижмуренными глазами и носом-пуговкой напоминала голову какого-то новорожденного зверька.

— А! — сообразил Сеня. — Ты похожа на котенка! Я передерживал тут одного белого персика. Дуней звали, три недели ей было. Хозяева срочно выехали на свадьбу в Берлин!

Приползли наконец к серому блочному дому, долго искали парковку — люди уже (или еще) сидели по квартирам. Наконец, переодевшись по всей программе, наши актеры вылезли на дождик, Сеня в борде и с мешком шариков, а клоун Ариша выступала в косах, голубом кафтанчике и белых сапогах — и под зонтиком. Потому что на плече ее висел футляр с баяном.

Случайные прохожие смеялись и махали им руками, снимали пачку на свои мобильники. Праздник, что называется, шагал по планете в виде этих двух немолодых артистов.

Дверь в подъезд стояла нараспашку. Доползли до верхнего этажа, вышли, поняли, что ошиблись. Лифт уже угнали. Надо было спуститься на два пролета вниз.

На лестничной площадке между этажами прямо на кафельном полу сидел малый в шапке и куртке. Рядом с ним стояла полупустая бутылка с чем-то ядовито-оранжевым и на бумажке лежало угощение — нетронутый бутерброд с колбасой, печенье и две конфеты. «Прямо как для бездомной кошки ему вынесли», — первое, что подумал Сеня.

— Эй, — сказала Ариша, — с Новым годом! Приветики!

Малый поднял на них безучастные глаза. Чистенький домашний пацан лет семи. Чистые руки. То есть если и бездомный, то недавно. Под сапогами, правда, натекло. Стало быть, пришел с улицы. Но давно, лицо уже высохло.

Ариша была наблюдательной по профессии. Их этому учили, что актер должен уметь видеть все.

Она и увидела сразу все, даже то, чего не знала. Сердце ее сжалось. Вот кто был похож на брошенного в воду котенка.

— Ну... и что мы тут делаем? — бестолково спросил Сеня.

Парень смотрел в пол.

— Ты чего не дома? — наконец сформулировал Сеня.

Малый не ответил. Он явно был ошарашен появлением настоящего Деда Мороза.

Ариша сказала:

— Хочешь, пошли с нами?

Тот опять не ответил, даже вжал голову в плечи.

— Давай-давай, вставай, пойдем, — захлопотала Ариша. — На лестнице не надо сидеть, ты что. Угостим тебя!

— Мама не разрешила ни к кому ходить и ничего есть. Сказала, только в милицию, — пискляво ответил мальчишка.

Сеня кивнул. Воля матери для него была главным мотором в жизни человечества.

- Ну а мама-то где твоя? — спокойно спросил Сеня.
- Она умерла, наверно, — без выражения отвечал пацан.
- То есть как это «наверно»?
- Я еще не знаю, — жутко сказал мальчик.

Какой-то сюр, содрогнулась Ариша. Что он такое говорит?

— Так. — Сеня, нормальный человек, не верил ни в какую мистику. —  
Говори, что произошло, Мне, Дедушке Морозу, ты можешь сказать.

Малый поднял на него свои сухие глазки и ответил:

- Она сказала, иди в милицию, я умираю.
- А какой телефон у вас?
- Нету, — произнес мальчик.
- А где, где вы живете? — вмешалась Ариша.

Он не ответил.

Сеня предупредительно поднял руку в красной варежке и сказал:

— Мне он скажет, отойди.

Ариша отодвинулась, даже повернулась спиной.

— Мы живем вон там, — после паузы ответил ребенок и махнул рукой в сторону окна. — Там, на первом этаже.

Опять зазвонил мобильник. Сеня ответил:

— Мы уже здесь, и с нами Новый год! Открывайте дверь! Новый год спешит!

И взял за плечо пацана:

— Всё, пошли. Я про тебя уже предупредил. Ты у нас теперь Новый год, понял? Видишь, нас уже встречают. Смотри, как много людей!

Внизу распахнулась дверь, и на площадку высыпали первые зрители — бабушка и двое малышей.

— Ты умеешь «В лесу родилась елочка»? — строго, как учительница, спросила уже снизу клоун Ариша. Она спускалась первая.

С этим парнем надо было разговаривать официально, иначе он не пойдет.

Мальчик ответил, упорно стоя наверху лестницы:

— Ну.

— В лесу она росла, понял? Зимой и летом стройная, — продолжала она. — Ну?

Сеня подождал и воскликнул:

— Зеленая! А?

Ответом было молчание.

Сеня сзади зашептал Снегурочке в косу:

— Слушай, ты смотри, он же не может... Он же не в себе.

— Музыка! — решительно отвечала она и тут же приостановилась, достала баян из футляра, отдала тару Деду Морозу и завела, стоя на середине лестницы, знаменитый «Марш энтузиастов».

Под музыку парень пошел. Видимо, это напомнило ему нормальный детский сад: Дед Мороз, Снегурочка и баян.

В квартире пахло хвоей, пирогами с капустой и старыми газетами: видимо, только что распаковывали и вешали игрушки.

— Что вы поздно как! — заявила бабушка.

— Ну вы же звонили! — возразил Сеня под музыку. — Мы в пробке стояли.

— Надо с утра было трогаться! — назидательно сказала бабушка.

— Через год учтем, милая вы моя дама! — галантно пропел Сеня, и бабушка буквально расцвела, провела рукой по завивке и вздернула подбородок.

А Сеня теперь обратился к детям:

— Здравствуйте, дорогие ребята! Ну? Что надо сказать?

Мальши растерялись, во все глаза глядя на Дедушку Мороза. Малыш на всякий случай тихо сказал «шпащибо». Маленькая девочка даже приготовилась заплакать от страха.

Бабушка живо взяла внучку на руки, незаметно вынула из ее рта большой пальчик, ответила за всех и позвала:

— Игорь, Алла!

Вышла мать семейства в халатике, сзади немного позже замаячил дородный папа в майке с бретельками и в длинных семейных трусах. Жара в квартире стояла нешуточная.

Жена, как водится, шикнула на мужа, тот исчез. Из распахнутой двери супружеской спальни доносился гомерический хохот телевизионной публики.

Затем хозяин явился миру в той же майке, но в спортивных штанах «Адидас» китайского производства.

У Деда Мороза и Снегурки шла работа, они продвинулись в большую комнату, где маячила сверкающая огнями елка, дальше Сеня начал показывать свои самые простые фокусы — соответственно аудитории.

Они не оглядывались на прихожую, где столбом стоял приведенный ими мальчишка. Не надо, чтобы он чувствовал себя под охраной! Здесь у них обоих срабатывал древний актерский инстинкт — не удерживать, не хлопотать о зрителе, а забыться так, чтобы заставить и его забыть обо всем.

Уже пора было водить хоровод и раздавать подарки. Сеня протянул одну руку девочке, другую бабушке, клоун Ариша пригласила в круг папу с мамой, а сама заиграла «В лесу родилась елочка».

Сеня поймал момент и произнес как тост:

— А теперь, дети и взрослые, кого мы привели: это явился маленький Новый год! Он пришел к вам первым, у него на земле никого нет (Ариша сильно толкнула Сеню в бок, баян ёкнул), поэтому давайте примем его как дорогого гостя, угостим всем вкусеньким! Чтобы будущий год у нас был хорошим и веселым! Иди сюда, Новый год!

Сеня вышел в прихожую, взял мальчишку в оборот, стащил с него шапку и куртку, поставил его рядом, протянул ему руку, потом сам ухватил его неподатливые пальцы в горсть, и все медленно пошло по кругу, распевая «В лесу родилась елочка».

Но взрослые — бабушка, мама и папа — почему-то все смотрели на пацана, автоматически передвигаясь. Он, оказывается, плакал, идя в хороводе.

— Что-то Новый год у нас пока что скучает, никого еще не знает, не познакомился ни с кем, — закричал Сеня. — Как тебя зовут, малыш?

Тот молча, сжавши рот, плакал.

— А, тебя зовут Новый год? — отчаянно и весело провозгласила Ариша.

Кое-как они закончили выступление, усадили детей за стол, мать стала накладывать угощение, отец открыл шампанское, а на кухне тем временем бабушка отдала артистам деньги, пакет с теплыми пирожками и поднесла по рюмочке — и по тарелочке с салатом оливье, винегретом и холодцом. Сыр, колбаса и хлеб прилагались. За сегодняшний день это был пятый совершенно идентичный продуктовый набор.

Вошла мамаша, кивнула на прихожую, где мальчишка опять стоял столбиком спиной ко всем и, видимо, сдерживался изо всех сил, задирая голову, чтобы не плакать. Мало того, он уже успел надеть свою куртку и шапку.

— Че это он? — спросила мамаша. — Не ел вообще.

— Да у него мать умерла только что, — отвечала Ариша и сняла шапку с косами.

— Где? — изумилась хозяйка, глядя на ее лысую голову.

— Мы не знаем. Здесь где-то в соседнем доме они живут. Она его послала в милицию, сказала, что умирает и чтобы он ни к кому домой не ходил. Мы его на лестнице нашли. Ему там уже угощение на бумажке вынесли.

— Иго-орь! — заорала хозяйка, как сирена «скорой помощи».

Он явился довольно быстро, утирая рот. Тоже выпучился на Аришу.

— Одевайся, пошли. Там его мать умирает (это она сказала тихо-тихо).

Когда он выкатился, хозяйка объяснила:

— Он-то вообще ветеринар, но он хирург был. Раньше, до суда. У него больная умерла на столе, эти подали на суд. Мы всё продали, дачу, «жигули». Присудили ему больше не практиковать. Он теперь лечит собак и кошек.

— Кошек? — живо заинтересовался Сеня. — Вот как раз у меня у Миньки...

Ариша его сильно толкнула в бок.

Выбрались из подъезда, ветеринар нес чемоданчик. Остановились на первом этаже дома напротив, у обшарпанной двери. Ключей у ре-

бенка не оказалось. Звонили к соседям, раздобыли стамеску, на площадке собралась уже маленькая толпа, шелестела:

— Хозяйка сдала комнату этим вот, деньги взяла и неделю уже где-то гуляет. А у самой телефон за неуплату отрезали, к нам ходила.

Остальные кивали, подтверждая.

— А запивает, может у жильцов что и вынести. Говорит, я и так с вас мало беру, пусть будет в счет оплаты.

Ветеринар вставил стамеску, аккуратно открыл дверь.

В маленькой комнате женщина лежала на диване. Игорь тут же оказался со стетоскопом на груди, открыл ей один глаз, прижал пальцы к сонной артерии. Поднял с пола упаковку таблеток, покачал головой. Порылся в чемодане, достал ампулу, сделал укол. Послушал больную, вздохнул:

— Надо «скорую». Жаропонижающее при интоксикации дает быстрое падение давления и иногда коллапс.

Сеня набрал номер на мобильнике.

Подождали. Тихий хрип вдруг донесся с дивана.

— Ну хоть так,— сказал ветеринар.

— Ты врач! — подтвердила Алла.

Сеня после долгого ожидания сообщил:

— Говорят, в ближайшие два часа «скорую» ждать не приходится.

Парнишка сидел в углу на корточках, издала глядя на неподвижную мать.

— У нас же есть машина! — воскликнула Ариша.— Сенечка!

— Так без направления ее в больницу не возьмут,— покачал головой ветеринар Игорь.— Ладно, я сейчас выпишу, у меня пустые есть. Беру ответственность на себя.

Опять порылся в чемодане, достал бланк с печатью.

— Как мамы фамилия, имя и отчество?

Мальчик ответил.

— А тебя как зовут? — обратилась Алла к малому.

Он из угла пискнул:

— Никита.

Потом они завернули больную в одеяло и понесли в машину под крики Игоря:

— Голову, голову ниже!

Когда женщины вернулись в квартиру, Алла спросила:

— Слушай, Никита, а твоя мама где работала?

— На оптовке.

— О! О-о-о! Знаем.

— Он сказал, уйдешь, уволю.

— Вот! Я там тоже вкальвала, когда сам был под судом. При температуре минус двадцать. До сих пор мизинец скрюченный. Ну скажи,

Никитка, что ты будешь здесь один сидеть, правда? Мы с твоей мамой, знаешь, подруги. Так сказать, по несчастью. Собирайся, идем к нам. Маму вылечат, ты не думай. Мой Игорь очень хороший доктор, он и к собакам относится как к людям. А там лечить умеют, в его бывшей больнице.

Ариша сняла руку с плеча Никиты.

— Да! И вы тоже пойдете к нам, все же Новый год скоро,— спохватившись, предложила ей эта Алла.

Дамско-детской компанией они встретили Новый год, наелись, выпили, попереключали программы, потом бабушка уложила детей спать.

Ближе к двум часам ночи вернулись мужички с рассказом. Их больную сразу же, минуя приемный покой и все церемонии, положили в реанимацию. Дежурный врач оказался Александром Анатоличем, корешем Игоря. Обещали лично проследить.

У Игоря блестели глаза. Он выглядел как боевой генерал, выигравший сражение.

Алла сказала со вздохом:

— Да, были мы хирург и педагог. А теперь ветеринар и няня у богатого школьника...

— А я был артист,— вдруг заявил Сеня.

И он показал свой знаменитый номер с зашиванием дырки и поклонился горячим аплодисментам.

— Слушай,— вдруг сказал Игорь.— Что-то у меня сердце не на месте. Свези-ка ты меня еще разок в больницу.

— Ты много-то там не пей с Анатоличем,— напутствовала его прозорливая жена.

Потом вошла бабушка и сказала:

— Простите, как вас величают?.. Ариадна Александровна, вы не беспокойтесь, если что, где двое, там трое. Я вон росла со своей двоюродной сестрой, когда у меня мать с отцом увели органы. Меня они удочерили. И лучше, чем покойная сестра, у меня никого не было.

Она даже заплакала.

— Да я Никитку не брошу, вы что,— возразила Ариадна, взволновавшись.— У меня тоже ребенок должен был быть.

А мальчик Новый год тем временем лежал на раскладушке и глядел в окно. Спать было нельзя. Все время шли взрывы, испуганно лаяли собаки, грохотали петарды, с воем взлетали ракеты, сверкало и переливалось небо.

...К середине ночи мама Нового года очнулась в реанимации, заплакала, забеспокоилась и решила встать. Спустила ноги с высокой кровати. Раздался вой, вошла медсестра.

— Больная! Вы что! — закричала сестра.— У вас же датчики, капельница!

— У меня сынок на улице, — заплакала эта больная. — Один, маленький, на улице... Надо найти...

Сестра с криком «обождите, бол-л-льная!» побежала в ординаторскую, сразу же двое врачей очень прямо встали у изголовья мамы Нового года, и, пока медсестра готовила укол, Игорь все говорил, что ваш Никитка у меня, он уже спит, у меня своих двое, парня покормили, за ним смотрят моя жена и теща, адрес я оставляю... Сколько здесь будете лежать, столько он у нас будет жить, не беспокойтесь. А вот этого не надо!

Потому что она приподнялась и поцеловала ему руку.

...Двое людей той ночью с надеждой смотрели в окна, где сверкало и грохотал фейерверк, — мальчик Новый год и его мама.

## Семь часов

Жила-была одна маленькая небогатая художница. Не удивляйтесь, почти все художники небогаты. Такая профессия!

Наша маленькая художница поэтому иногда делала декорации в театре, иногда разрисовывала книжки. А то плела браслеты или бусы. В общем, время от времени она зарабатывала себе на жизнь.

Но наш рассказ не об этом.

Когда-то, в ранней юности, эта художница вместе с родителями попала на отдых в крошечный приморский городок, который ютился на берегу моря, прилипнув к скале как завиток, как ракушка. Улочки поэтому у него закручивались по спирали и вели вверх, к вершине. Они были вымощены каменными плитами, которые за века стали гладкими и иногда сверкали как стеклянные.

Миллионы подошв оставили на них свои следы, а это даром не бывает!

Это знак того, что там, наверху, есть что-то очень важное.

И действительно, все улочки вели к огромному храму.

Данный храм был особенный: там хранилась древняя гробница юной девочки, христианки, которая не отказалась от своей веры и была замучена. В народе говорили, что потерявшиеся невесты, которые прикасались к этой гробнице, находили свою судьбу.

Так что за множество веков ладони бедных девушек загладили все уголки огромного каменного саркофага.

Потому что город Н. был городом единственной любви, так было сказано в старинных хрониках. Той любви, которая оставалась на всю жизнь у несчастных мальчиков и девочек.

Но об этом мало кто знал из приезжих. То была местная сказочка, для своих.

Наша художница, домашние звали ее Ая, тоже прикасалась впоследствии к этой священной гробнице, но толку было мало, любимый все ее не находил.

Они потеряли друг друга еще давно.

История началась в тот год, когда родители впервые привезли ее в эти места.

На второй день Ая шла поздно вечером по улице вверх, взбиралась домой, потому что ходила одна в кино: папа с мамой разрешали ей делать все что вздумается. Да она бы и не позволила никому распоряжаться своей судьбой.

Никому, кроме одного человека.

Она встретила его той ранней ночью на улице. Он тоже шел совершенно один, он как будто бы потерялся и как будто бы кого-то искал, растерянный прохожий: так он выглядел.

На этом молодом человеке был белый легкий костюм.

Молодой человек шел, заложив руки за спину, отчаянно одинокий странник.

Ая вдруг до слез пожалела этого ночного незнакомца, настолько непохожего на всех окружающих парней, которые лениво ходили по городку в майках, шортах и шлепанцах или с треском, в дыму, протрясались мимо на мотороллерах.

Ая остановилась за уголком, чтобы тот странный прохожий не подумал, что за ним подсматривают, и ждала с бьющимся сердцем, когда затихнут его шаги.

Потом она тронулась в свой путь наверх, и вот тут, в одном из завитков-закоулков, на уходящей в сторону моря лестнице, она опять увидела человека в белом летнем костюме. Он стоял, прислонившись головой к стене, и снизу в упор смотрел на Аю.

От неожиданности она поздоровалась. Он тоже поздоровался. Потом он спросил, который час. Она сказала.

А затем уже она спросила его, почему он не посмотрит на собственные часы на своей собственной руке.

Он ответил, что эти часы давно стоят.

Так начался их разговор.

Они в это время уже шли вместе, взбираясь по выглаженным, светящимся под фонарями плитам. Они добрались до храма, потом стали спускаться серпантинном улочек вниз, вниз, вниз.

У Аи кружилась голова от счастья. Всего-то ей было шестнадцать лет.

И теперь каждую ночь они гуляли вместе, и всего этих ночей было четыре.

На пятую Аю уже увезли.

Но увезли ее не одну. Весной у Аи родилась девочка, тихая и печальная, с огромными глазками, очень похожая на своего отца, того человека в белом.

А все дело в том, что Ая не успела сказать ему своего адреса, она не знала, что родители, всполошенные ее отсутствием каждую ночь, поменяли билеты на самолет с большими затратами, чтобы спасти свою девочку от этой бешеной любви.

Спасли, увезли, плакали, говорили, что дед умирает и просит приехать, он кричит, не сторожить же мне ее с ружьем! Он что-то заподозрил и звонил чуть ли не каждые полчаса.

Увозя Аю, родители твердили, что потом мы вернемся, скоро, очень скоро. Только успокоим деда, он же старенький, волнуется.

Правда и то, что дед кричал эти слова про ружье уже много лет — сначала по поводу своей жены, потом по поводу дочери и вот теперь по поводу внучки. Поскольку все они были, по его мнению, несравненные красавицы и их надо было охранять именно с оружием в руках.

Но дед действительно плохо себя чувствовал (вот уже десять лет) и не любил оставаться дома один.

Конечно, они больше не вернулись в тот городок у моря.

Как будто бы у семьи не нашлось больше денег снова туда ехать, да и снять жилье уже было невозможно — ту квартиру они заказали заранее, за полгода.

Так они объясняли — и рассчитывали, что девочка утешится, найдет себе мужа, и все пойдет как полагается.

Самое главное, что она даже не знала полного имени своего мужа — Ая так его называла, мой муж. Как будто бы его величали Микки, Мик.

Той зимой она удрала из дома, специально приезжала одна в этот городок, заняла денег у двоюродной тетки и по секрету поехала.

И ходила, ходила по скользким, залитым дождем камням, особенно в семь вечера и в семь утра. И прикасалась к гробу святой девочки Эуфимии, своей ровесницы, которой было столько же лет, когда она погибла.

Ая тоже подумывала, а не умереть ли — тут это произошло бы очень быстро, высокий берег, ночь, скалы, море.

Но потом она все-таки вернулась домой к своим почерневшим от горя родителям и взбалмошному дедушке, которые плакали целую неделю, ничего не зная о судьбе своей девочки.

Дед, кстати, перестал разговаривать с внучкой — на целых два часа.

А ведь она даже не нарисовала бы лица своего любимого, забыла его напрочь!

Все дело в том, что Ая стеснялась тогда смотреть на него, а точнее сказать, даже боялась, как будто ее могла ударить молния от одного взгляда на его лицо.

Единственное, что Ая запомнила, это были часы Микки. Они отличались строгой красотой, стрелки их были четкие, старинные, золотые, и что-то странное в них было. Что-то магическое, притягивающее взгляд. Может быть, то, что они стояли — раз и навсегда застыли на цифре семь.

Ая однажды спросила, почему он их не заводит, и Микки ответил, что на семь часов ему была предсказана одна очень важная встреча, одна на всю жизнь. И с тех пор он ждет.

Это была точно не их встреча, они-то столкнулись в одиннадцать вечера. Поэтому-то Микки и не придавал их свиданиям слишком большого значения, он ждал всегда своего часа, семи утра, и не ложился спать до этого времени. А Ая убегала от него еще в темноте, не дожидаясь семи утра и надеясь, что родители уже спят.

Но все это было и прошло, и то, что для семьи Аи было трагедией, для нее самой оказалось счастьем.

Она все-таки закончила школу, потом художественное училище, стала художницей, дочка ее росла на редкость спокойным ребенком, единственно что — она всегда как будто чего-то ждала, ее огромные светлые глаза, глаза отца, светились надеждой, хотя ей было-то всего десять лет.

Имеется в виду, что ей исполнилось десять лет той весной, время прошло быстро, как ему и свойственно.

И мать решила и повезла ее в городок у моря, в тот городок, что прилепился к скале и завершался храмом, где спала вечным сном святая Эуфимия, покровительница всех потерянных невест мира.

Ая заранее сняла маленькую квартиру в тесном переулке, в старинном доме на первом этаже, там негде было развернуться, но она работала прямо на тротуаре, на плетеной табуреточке, и затем приставляла свои произведения к каменной стене противоположного дома, в двух метрах от своей двери.

Это была как бы ее постоянная витрина на улице.

Ая ничего не ждала, никаких приквелей, она приветливо улыбалась всем проходящим людям, как будто это были посетители ее собственной персональной выставки, и она спокойно оставляла свои художества без присмотра, когда уходила с дочкой в ближайшую пиццерию или погулять перед сном.

Единственно что — она ни разу не повела свою десятилетнюю девочку наверх, к святой Эуфимии.

Возможно, став взрослой, она теперь боялась для дочери такой же судьбы вечно ожидающей невесты — хотя судьба эта была не такая уж и плохая, ведь никто никого не покинул, не обманул, не предал.

Ая как-то доверяла жизни. И потому она так спокойно оставляла свои работы на улице, тем более что их никогда и никто не покупал.

Приехав в свой любимый городок, Ая забросила краски и кисти, вместо того она собирала по побережью выкинутые морем деревяшки, обрывки сетей, пузырьки и тряпки и все это приклеивала, а что и приколачивала гвоздями близко друг к другу, чтобы получилась какая-то общая пестрая картина, память о море.

Особенность ее жизни была в том, что Ая выходила на пляж ровно в семь утра, когда городишко еще спал после бурной курортной ночи.

Каждый день в семь утра она уже стояла на берегу и радовалась небу и волнам, а потом ходила, приседала, искала в камнях, собирала ночные подарки моря.

И вдруг однажды она краем глаза заметила среди камней какой-то яркий блеск.

Стеклышко?

Но морские стеклышки не блестят, они затерты волнами до шероховатости, они как бы уже обточены, и они безопасны. А тут блестящее стекло! Кто-нибудь может порезаться!

Ая подошла и наклонилась над ним.

Стеклышко лежало, полузасытое в мелкий ракушечный сор, и отчаянно сияло.

Ая осторожно извлекла его. Стекло было идеально круглым и выпуклым. Краешки его оказались гладко обработанными.

Ая подумала, что стеклышко ей что-то напоминает, что-то очень давнишнее... И что из него получится неплохая картинка...

Может быть, портрет часов?

Надо еще поискать, а вдруг (такая мысль вдруг ударила ей в голову) найдутся стрелки?

Они нашлись, эти золотые стрелки, обе, те самые, большая и маленькая (лежали как раз под стеклышком, утонув в песке). Ая стала рыться в мелких камнях, ища остальное, поранилась, но больше ничего не обнаружила. Солнце уже пекло всюю, дочка наверняка проснулась. Надо было возвращаться.

Но Ая пробыла на море до вечера.

Она искала хоть какой-нибудь след — там же был циферблат, там должны ведь быть пружинки и звездочки...

Она перекопала пляж как бульдозер, и все оказалось зря.

Море вернуло ей память о Микки, он был где-то там, в волнах, совсем недавно, волны не успели затереть стекло часов, и стрелки не потускнели. Может быть, он утонул этой ночью...

Она не плакала, только очень похудела за этот день.

Однако, вернувшись домой к сердитой дочке (и не покормив ее), Ая тут же сделала свою лучшую работу — как обычно, она приклеила к деревянной дощечке несколько простых камешков, прядку сухих водорослей — и накрепко, мелким гвоздиком, прибила между ними две

стрелки, указывающие на недостающем циферблате семь часов, а сверху, тоже с помощью крепчайшего клея, уместила стеклышко, сверкающее, как огромная слеза...

Ну что же, она оставила эту работу вместе с другими, у противоположной стены на улице, и отправилась ужинать со своей дочкой (за чем, непонятно, девочка весь день питалась чипсами, мороженым и кока-колой, а самой Ае есть не хотелось).

Когда они вернулись, последней работы не было. Кому-то она понравилась. Вместо нее под камушком лежал листок с телефоном.

Ая не стала звонить. Честный человек, взявший ее работу, видимо, хотел ей заплатить за тот пустяк лично.

Действительно, не оставлять же деньги на камнях в переулке! Кругом дети бегают.

(В этом городке воровали только дети, и только велосипеды. Покатавшись, они скидывали их в море. Один рыбак, как-то зацепившись крючком о что-то неподъемное, взволновался, сбегал за маской, нырнул с набережной и наконец увидел на дне чудовище с рогами и с двумя колесами! И он стал специализироваться на ловле велосипедов и за годы собрал их порядочную коллекцию, двадцать штук.)

Но вернемся к Ае.

Когда на следующее утро, ровно в семь часов, она пришла к морю, Микки там уже стоял.

При этом она его совершенно не узнала.

Но он смотрел на нее своими огромными светлыми глазами, какими обычно смотрела ее дочь.

Так вот какое у него, оказывается, лицо!

Она зажмурилась. Как будто яркий свет ударил ей прямо в зрачки. Сердце упало в пятки.

Как ни в чем не бывало, он обнял Аю, уткнулся носом в ее растрепавшуюся косу и сказал ей на ухо:

— Скажи, сейчас семь утра?

Она пришла в себя, засмеялась и ответила:

— Да. У тебя опять нет часов? На которых всегда семь?

— Ну вот же, оно и пришло, это время. Как мне и предсказывали. Не напрасно я оставил тут свои часы.

А она ему сказала:

— Я всегда считала, что ты призрак, что ты бог моря. Что на твое лицо невозможно смотреть.

При этом, разумеется, она глядела из-за его плеча в море.

— Ну, все не так просто,— отвечал он.— Мне же нагадали, что я встречу тебя в семь часов, а мы ведь тогда встретились в одиннадцать! И я не поверил.

— На твоих часах-то было всегда семь,— заметила Ая.

— А я и не подумал! — радостно ответил он. — Молодой дурак был. Ну все равно. Теперь вот предсказание сбылось!

— А тебе не предсказали, что нашей дочери исполнилось уже десять лет?

И тут он как окаменел, взрослый мужчина. Хорошо не заплакал. Ая знала, что многие холостяки боятся детей.

Он даже отстранился.

— Ты нас познакомишь? — наконец спросил он.

— Возможно, — с достоинством ответила Ая. — Но сейчас я буду занята. У меня работа.

И он сидел на камнях, ожидая, пока она соберет свои палочки, дощечки и шероховатые морские стекла.

— Я уже несколько дней за тобой слежу, — вдруг сказал он. — И я думал, что как жалко, что твоя дочка это не моя дочка. Я боялся встретить твоего мужа. Я разобрал свои старые часы и подложил стекло и стрелки на твое постоянное место на пляже. И я в первый раз за одиннадцать лет пришел на море в семь утра. Я ведь давно уже ни во что не верю — с молодости, с тех пор как ты пропала. Твой муж — ...

— Мой муж! — величаво произнесла маленькая Ая. — Мой муж сидит на камне, пока я работаю тут. А мог бы мне помочь. Вон ту корягу возьми?

Тем же вечером она отвела дочку наверх, к святой Эуфимии. Девочка шла между матерью и отцом, крепко держа их за руки. Она шла между мамой и папой впервые в жизни и почти не спотыкалась.

Вверху, в храме, она сразу же подошла к саркофагу и внезапно сделала то, что делали до нее вереницы невест многие столетия — она погладила огромный камень своей маленькой рукой. Откуда-то ей было все известно.

— Не рано ли? — спросил Микки. Он теперь панически боялся за дочь.

— Папа, — отвечала она, — папа, ты не знаешь, мама знает, папа, еще с первого класса за мной, папа, бегают один мальчик.

— Еще чего, — сказал Микки. — Что мне теперь, с ружьем вокруг нашего дома ходить?

И мама с дочкой от неожиданности засмеялись.

## Подарок принцессе

Жила-была одна принцесса. По-местному ее как-то иначе называли, но сути дела это не меняет.

Причем принцесса была очень хорошенькая, а данное качество есть большая редкость в королевских семействах, где у наследников если

что и идет в рост, так это челюсти и носы, а остальное — лобик, глазенки там, бровки — остается аристократически маленького размера.

И эти параметры передаются мало того что из рода в род, но и из страны в страну, поскольку все короли так или иначе становятся родственниками, а на ком же еще им жениться? Узок круг этих аристократов, страшно далеки они от народа.

И слава богу, а то такое начнется, что мало не покажется.

Об этом в нашей сказке и пойдет речь.

Короче: жила-была принцесса, повторяем, очень хорошенькая, длинноногая как высоковольтная мачта, тихая как цветочек, скромная как белый гриб. Все понятно?

Для непосвященных объясняем, что именно такие идеальные девушки, сдержанно, но очень дорого одетые, волосок к волоску причесанные и обутые как первоклассницы — именно они остаются в одиночестве.

Женихи их стесняются и даже опасаются. Существа мужского пола, те, обычные, то есть грубые, неотесанные и выпивающие, с животами и стрижками под ноль, которые отличаются тем, что утром не могут найти второй чистый носок, они никогда даже и не надеются заинтересовать такую идеальную девушку. И ухаживать за ней не будут они.

Эти самцы — они вроде лягушек, высовывают язык на все, что само в глаза кидается. На все так называемое «крутое», то есть яркое и блестящее.

А те существа мужского пола, которые хороши собой, правильно одеты и посещают фитнес-клубы, они ведь сами, если говорить прямо, похожи на цветы, или на голых хохлатых собачек, или на котов-экзотов (в крайнем случае на рыбок-пираний), и они сами нуждаются, чтобы за ними правильно ухаживали.

Разве что, как говорят в народе, им придет край. То есть они полюбят.

Стало быть, на тридцатом году жизни, закончив две аспирантуры (по классу композиции и теории музыки, это раз, и по искусствоведению, два) и поступив на факультет этнографии, наша принцесса тяжело задумалась над своей женской судьбою.

В наличии, если говорить о неженатых кандидатурах, было несколько принцев в Европе, сто пятьдесят примерно семь сыновей шейхов и три сына разных русских миллионеров со знанием английского в объеме средней школы, а также имелся ближайший сосед, сынок одного мусульманина, чье состояние было несметным, так как исчислялось в гривнах.

С этим парнишкой принцесса часто встречалась на скверике, закрытом для посторонних, где выгуливала своего королевского шпица, но пока что познакомились только их собаки. Что не мешало парню бол-

тать с принцессой, хотя она ограничивалась в ответ лишь легким движением бровей. Трепался он по-русски, не обращая внимания на то, что девушка местная и языка может не знать.

Существовали также другие кандидатуры, например, несколько молодых балканских и закавказских царей, пока что не взошедших на престол.

Но: европейские принцы были неприлично избалованы еще с детства, их воспитали папарацци, поскольку каждый шаг такого принца сопровождался щелканьем камер, и это не могло не повлиять на данного среднестатистического принца, на выражение его лица, а также на его поведение. Ну и на душу тоже, что бы ни подразумевалось под этим словом.

Наследники же султанов и шейхов были женаты примерно с тринадцати лет (а что ребенку терпеть, если у него уже борода?) и в дальнейшем могли выбирать. С этой целью они повсюду шуровали как советские менты в поисках призывников, ища пополнения для своих гаремов.

Их автомобили из чистого золота, покрытые для маскировки черной эмалью, ездили в сопровождении эскорта мотоциклов и вереницы микроавтобусов с тонированными стеклами, в которых этих экипажах, по некоторым сведениям, перевозились кандидатуры в гаремы.

Русские дети миллионеров (или миллиардеров?) тоже аристократами не интересовались (потомки большевиков, младших научных сотрудников, спекулянтов и цеховиков, простонародье, короче говоря. Что с них взять?).

Их вкусы ограничивались заслуженными девушками из поп-музыки и пип-бизнеса, а также топ-моделями любого возраста.

Так что наша принцесса (дедушка, эрцгерцог Луи-Филипп, назвал ее в честь библейской царевны именем Яэль, что значит «решительная», «твердая») — наша Яэль пребывала в приблизительном одиночестве. Приблизительном потому, что у нее, как у каждой принцессы, был свой двор — визажисты, врачи, тренеры, модельеры, неизвестные кинозвезды и интернет-поэты, пара гуру, один из которых повсеместно показывал цирковые фокусы с доставанием из воздуха бижутерии, — и несколько фронтменов пока еще не продвинутых групп. И, разумеется, отряд (или табун, или отара) папарацци.

Мама звала ее Ляля.

К описываемому моменту принцесса Ляля пребывала в печали. Ее отец в конце концов самоопределился со своими нетрадиционными склонностями и ушел от Лялиной мамы.

Причем (гром с ясного неба!) папа ушел к своей бывшей школьной учительнице, которую он любил, как внезапно стало ему понятно, с девятого класса. Типа ему на глаза попался школьный дневник, и нахлынули воспоминания. И возник вопрос: свою ли жизнь мы проживаем?

Эта старушка, его любовь, была отъявленная хиппи, помнила времена Вудстока, отрастила в честь этого локальную бородку как у академика Курчатова, отца русской атомной бомбы, и выступала за свободу в отношениях учителей и учеников (филопедия или педогамия, даже педо-полигамия: такое ответвление геронтофилии).

Опозоренная Ляля перестала ходить на презентации и премьеры, хотя именно в этот период ее приглашали на расхват, и толпы чужих папарацци осаждали резиденцию принцессы, так что собственные папарацци, вообще не выносящие наездов, кидались защищать свою твердыню и оплот, и по утрам приходилось вызывать мусороуборочный комбайн, чтобы после сечи вывозить осколки объективов и лобовых стекол, погнутые видеоискатели, порванные шапки, одиночные перчатки, непарные кроссовки и покореженные мотоциклы.

И надо же такому случиться, что именно перед Рождеством, в это святое для всех время, девушку посетила с визитом сестра отца, которую мама Ляли всегда называла «злая золовка».

Золовка, принцесса Готская-и-Панамская, приехала в двенадцатидверном лимузине. Не то чтобы она была очень богата, просто бойфренд ее сына владел свадебным гаражом и время от времени позволял старушке пользоваться эксклюзивными экипажами. Предыдущий раз она приезжала на четверне цугом в розовой карете (для лесбийских брачующихся). Кони выступали в белых наколенниках и черных плюмажах, кучер женского пола в цилиндре, а старушка грум в зеленой ливрее!

Тетка Панамская прибыла, и безработные папарацци выскочили из машин, где грелись, и тут же воспряли духом, обрадовались, вытащили аппаратуру и буквально исшелкались, поскольку принцесса Ляля давно не выезжала наружу, заработка не было.

Оставшись с Лялей с глазу на глаз (обе свиты принцесс деликатно удалились в гостиную к бару), тетя сделала заявление.

— Яэль! — сказала она, даже без обычного в светских кругах слова «dear» и не произнеся ни одного из имен племянницы (Анна-Эрих-Мария-Аруэ).

— Да, dear тетя, — вежливо, но с прохладцей откликнулась бедная Ляля.

— Во-первых, я тебе как бы не тетя, — заявила тетя.

— Как это, dear тетя?

— Как это? Так это! Мой бедный больной брат, ментально больной, подчеркиваю, и давно уже, то есть полностью ушибленный на голову, что и подтвердилось только что, — он тебе не отец!

— Уау, — с легкой улыбкой, но довольно холодно сказала Ляля. — Это неплохо.

Ее голос, поставленный в швейцарском пансионе, не дрогнул. Девушку там натаскали говорить со всеми как со слугами: приветливо, но с оттенком долготерпения.

Бывшая тетя величаво продолжала, не обращая внимания на все эти ухищрения престолярства, пытающегося быть наравне:

— Наша бедная мама, принцесса Панамская-и-Мыса Горн, сразу, увидев тебя, сказала: «Все правильно, все верно, ребеночек не наш!» Вот из роддома привезли тебя, вернее вас двоих, мы посмотрели — ни нашего носа, ни подбородка, ни-че-го! Мы же Габсбурги по двоюродной линии! У нас у всех глаза-то нормальные! А не то что у тебя, расращенные.

И бывшая тетка посмотрела на Лялю своими слезящимися, как у бультерьера, глазами.

— И ты вообще,— заявила далее бывшая тетя,— не имеешь отношения к наследству дедушки Луи-Филиппа Первого! И это теперь не твоя резиденция! Уезжай отсюда, сроку тебе двадцать четыре часа! С собой брать разрешено только один чемодан, ясно? А ну лизни! Давай, давай!

И она сунула Ляле прямо в зубы кусок бумажки.

Вежливая Яэль приоткрыла свой розовый рот, просунула язык между безупречными жемчужными зубами и неуклюже лизнула противную бумажку.

— Ну хоть это,— кивнула себе бывшая тетка, сунула бумажку в пробирку, встала и пошла вон со словами:

— Генетическое тестирование!

И что же? Через три дня в желтых газетах появилось сообщение: дочь принца Луи Второго его дочьерю не является. И он начинает бракоразводный процесс.

Прилагались фотографии всех членов семьи и фото принцессы, категорически не похожей ни на кого из них.

Под окнами Яэль снова произошла бойня между своими папарацци и понаехавшими посторонними фотовидеоварягами.

Ляля, которая к тому времени приготовила рюкзак (чужой чемодан она брать не хотела, а этот рюкзак давно еще приобрела на собственные деньги, когда удалось преодолеть сопротивление семьи и устроиться официанткой на Багамах),— итак, бедная Ляля в последний раз повела выгуливать своего королевского шпица, который тоже уже не являлся ее собственностью.

В частном сквере Лялю приветствовал сын гривенного мультимиллиардера, который сказал по-доброму:

— А хошь, принцесса, переезжай до нас, до хаты? У мени у Оксанки та Одарки кончились визы, воны уйихалы взад у Полтаву, так шо внизу е комната с душем. С дивчинами з усими моими будешь тамо. Олл инклюд, питание включено. Телевизор. Ххорилка нон стоп. Ну шо?

— Ну ты, отстой, блин,— ответила Ляля ему впервые.— Иди на хутор лесом да покосом, врубаешься? Уррод.

Ошарашенный Грицько остался стоять с открытым ртом.

И прогуливающийся неподалеку посторонний гарем, высокорослая толпа одетых в черное моделей, заржал.

Откуда-то они знали русский!

Из прорезей их паранджей (или чадр) вылезали, как иголки из упакованных елок, ядовито прищуренные накладные ресницы.

Бедная Ляля вернулась к себе и увидела, что подъезжает кабриолет мамы.

Папарацци, жуя, выскакивали из машин.

Девушка сразу вспомнила, что мама недавно предлагала ей тоже наклеить ресницы у своего визажиста, который насобачивает их сразу на три месяца! И в доказательство мама похлопала своей черной бахромой.

Но Ляля тогда только вежливо улыбнулась.

Во-первых, ни одна девушка не хочет быть похожей на свою мамашу, это может привидеться ей только в страшном сне!

Во-вторых, хороша бы она была сейчас, бомж в макияже.

Мама Ляли приехала озабоченная и сразу пошла в атаку — как всегда, когда чувствовала себя виноватой:

— Ну ты че? Вообще не звонишь, блин. Я тут болела, лежала, хоть бы дочечка родная поинтересовалась, где там мама поддыхает. Ты прям как эта... Ну ладно, привет, чмоки-чмоки.

И они прикоснулись щеками друг к дружке.

— Кстати, мама, а кто мой отец? Ну, я имею в виду, мой настоящий отец?

— А, ты об этом, — рассеянно отвечала ей мама. — Да не бери в голову. Липа это у них, какая-то бумажка. Дали уборщице лизнуть. Ни один суд это не примет. Я приехала тебе сказать, чтобы ты не волновалась и жила бы тут спокойно. Мои адвокаты уже отправили новый твой мазок на анализ.

— Че-го? — изумилась принцесса.

— Да я взяла у Давки, когда он пьяный валялся в Сольманоре. У Да-вида. Удался весь в дедушку Вову-алкаша. Живи здесь. Никто тебя не гонит. Еще чего! Муж на развод подает!

Тут надо пояснить, что Давид Луи-Филипп Третий был младшим братом принцессы Ляли и обладателем всего что полагается, носа, подбородка и габсбургских глаз. И наследственности со всех сторон.

— Луи мне теперь хорошенечко заплатит за этот развод, — провозгласила мама с порога. — Давид-то его сын! Только посмотреть на этого папаню! Уму непостижимо! У нас под Барнаулом на стенде «Их раз-ыскивает милиция» и то таких нету. Лицо по седьмую пуговицу!

— А кто мой отец-то? — снова спросила бедная бывшая принцесса.

Мама ответила загадочно:

— Не одна я в поле кувыркалася, не одной мне ветер типа в спину дул... Не обращай на них.

— Но все-таки? На кого-то я похожа?

Мама горестно усмехнулась:

— Спасибо и нашим и вашим, и мордве и чувашам.

Ляля, помолчав, сменила тему:

— Тетя заявление тут сделала...

— А какой с нее спрос? Клок волос. И то неохота с ней вступать. Греботно даже разговаривать. Перетопчешься с каким знаком пишется?

Мама на чужбине сильно тосковала по родному языку и только в беседах с дочкой отводила душу.

— И отца тебе, Лялечка, нечего теперь искать. Эта пропажа у дедушки в штанах.

— Ну, спасибо на добром слове...

— И тебе на здоровье, носи да не стаптывай. Слушай, я на Рождество уезжаю со своим новым тренером, ты его не знаешь, еду знакомиться с его мамочкой... В Рио-де-Жанейро. У Мануэля, оказывается, брат бандит. Ты представляешь? У меня ведь тоже двоюродный братан Славка. Ну ты помнишь, мы ему посылки в зону собирали, сухую колбасу и тушенку. Ты еще конфеты свои положила, которые тебе подарили. Он опять тут сел. Его подставили, поняла?

Ляля не поняла, но из вежливости кивнула. Мать продолжала:

— А белые кожаные шорты я все же, думала-думала, купила. Потом покажу видео. На Новый год, представляешь, там в Рио все выходят на пляж, Копакабана называется, три миллиона людей, свечи жгут, пьют, обнимаются, не знаю, танцуют... (Тут у нее в голове, видимо, перешелкнуло.) И что же? Хоть Славкина жена меня не принимала, обзывалась, я ей сейчас послала денег. Пусть выпьет за мое здоровье в Новый год под этого... как его... Кто у нас там президент... (Она немного подумала, но потом махнула рукой.) На Богом обиженных, знаешь, не обижаются. Что она в своей жизни видела? Я тебе говорила, что купила белые шортики Дольче Габбаны? Знаешь, да, забыла, Славкиного отца дядю Диму недавно в дровах нашли. Замерз. А что, выпил с горя... Сына сажают, че не выпить? Я его понимаю. Мы Славке в тюрьму не написали. И так человек переживает. Но, представляешь, три миллиона на пляже? Толкотня какая. А ты куда на Рождество?

— Да зовут одни друзья в Альпы.

— Ну, тогда с наступающим!

Они приложились друг к дружке щеками, и мать поцокала к выходу позировать папарацци — длинноногая, 100—65—100, златокудрая, загорелая, подтянутая (в области шеи и подбородка), оформленная везде где надо. Мэрилин Монро! А не эта жилистая грузчица Мадонна.

И всего на шестнадцать лет старше своей дочери...

Принцесса проводила ее в раздумье.

Тут пришла пора набросать краткий очерк предыдущей жизни ее мамы, принцессы Татьяны Луи-Филипп.

\* \* \*

Бедная мама Таня прожила много лет буквально в неволе. Перед тем она была объявлена королевой красоты в одном из Домов культуры в городке под Барнаулом, а туда же, в эту местность, под Рождество записался с какой-то миссией мира посол ЮНЕСКО принц Луи-Филипп Второй, и всех победительниц местных конкурсов (хоть танцевальных, хоть песенных, хоть шахматных) согнали встречать его в аэропорт. Татьяну, как самую высокую, нарядили в кокошник, фату и сарафан почему-то до пупа (одежда была изъята впопыхах не у ансамбля народного танца, в котором занималась Татьяна, а из реквизита другого коллектива, находящегося на том же складе Дома культуры, то есть из ящиков ансамбля эстрадного танца «Мулен Руж»). А на длину сарафана не посмотрели. Тане пришлось мчаться домой и поддевать под это дело свои блестящие шортики. И привязную косу она добавила тоже от себя.

Пятнадцатилетняя Татьяна в этом диком наряде произвела на принца душераздирающее впечатление. Он не желал прерывать их первого рукопожатия и вообще вел себя с ней как козел в капустном поле.

Он подарил Тане сотовый телефон с уже записанным для начала своим номером. Он также спяну подарил ей шестисотый «мерседес», на котором их возило местное начальство, причем чужеземец деликатно испросил согласия властей и получил его. Правда, после отъезда принца «мерседес» из Таниного двора угнали. Отец Тани долго ругался, но в милицию не пошел, запил.

Через полтора месяца Таня послала принцу по его мобильнику sms по-английски со словами «я беременна». Она долго учила это выражение, выисканное на компьютере в Интернет-кафе. Ни дома, ни в школе ничего не должны были знать. А то одноклассники порежут на дискотеке с криком «ты больше красивая отсюда не выйдешь». Ай эм вери сорри, Луи-Филипп, ай эм и так далее.

Принц, все это время мечтавший о районном центре под Барнаулом как о потерянном рае и не находивший себе места на проклятой отчизне, вылетел как мог быстро. Свадьбу играли в том же Доме культуры. То есть во дворце с колоннами, в привычной для принца архитектурной обстановке, только мужской сортир быстро обложили кафелем и заменили порывевшую сантехнику. «Мерседес» был предварительно возвращен в Танин двор, молодых провожали в аэропорт всем начальством. И перед отлетом у руководства города с Таней был в сторонке

серьезный разговор насчет поддержки местного бизнеса. Плачущую мать вежливо оттеснили, пьяного отца вообще увезли домой от греха подальше, он все норовил вывести руководство на чистую воду (за угон «мерседеса» из-под окон, за взятки и прочие хорошие дела).

А следующие десять лет Таня провела в замке Сольманор, в ста километрах от ближайшего городка, в компании садовников, горничных и шоферов. Муж приезжал на уик-энд и то не всегда. Слуги были снобами (как известно, сноб этот тот слуга, кто умеет выражать презрение в адрес хозяев, ничего не выражая).

Имелся четкий режим дня: утром холодрыга, горничная раздвигает шторы, кофе в постель, душ, прогулка верхом в любую погоду, гонг, ланч, учительница языков, три часа в спортивном зале, гонг, ужин, все свободное время с приносимым из детской ребенком. Отбой в десять.

Таня ночами трепалась с родными и друзьями по телефону и, плача, смотрела в Интернете барнаульские новости.

Через пару лет проживания в замке строгого режима Таня упростила мужа выписать ей из-под Барнаула родителей.

Отец по приезде никак не мог привыкнуть к отсутствию водки и родного портвешка, а потом случайно, бродя по замку, узнал о погребках. Через год, выйдя из очередного запоя, он потребовал обратный билет, чтобы не умереть на чужбине в одиночестве, да еще и в подвале. Он кричал: «В стране пять миллионов алкоголиков. А выпить не с кем!» Дома его с распростертыми объятиями ждали друзья и подружки — и во дворе, и в родимом НИИ, где он вкалывал старшим научным сотрудником.

Мама Нина выдержала дольше: во-первых, здесь дочка и любимая внучка, во-вторых, она учила язык хинди. Поскольку тут у нее, у сибирской красавицы, вдруг завязалась сердечная дружба с землекопом-индусом, который на поверку оказался бродячим философом, йогом и вообще гуру. Он не пил, не курил, был молчалив, ел только рис, одну горсть в день. Он был борцом за права тибетцев и иногда летал, но пока что недалеко.

Мама Нина все мрачнела и мрачнела. Земляные работы должны были вот-вот закончиться. Индус увольнялся и уезжал домой.

Наконец она сказала дочери:

— Мы с Лалом решили в Непал пока что. Денег мне не нужно, он заработал.

— А у меня и нету, — заплакав, отвечала дочь. — Луи не дает.

— Лал монах. Сказал, будем ходить по дорогам, просить.

Дочь посмотрела в Интернете насчет погоды в тамошних горах и отдала маме золотую цепочку от крестика, кольцо с бриллиантом («Луи скажу, что потеряла»). А также она купила якобы себе для занятий спортом теплый, с начесом, шерстяной спортивный костюм на четыре размера больше, а также кроссовки.

Мама уезжала, таким образом, с приданым.

Перед отъездом мама Нина подарила внучке Ляле какой-то старый, обшарпанный мобильник и сказала: «Это телефон Лала. Понадобится — звони по нему».

Внучка с вежливостью приняла этот странный сувенир.

Татьяна с дочкой старались не плакать.

Бабушка Нина уехала.

Сначала девочка звонила, бабушка отвечала каким-то чужим, гулким голосом, говорила коротко. А потом как-то стало не до того.

И телефончик перекочевал в кладовку, в специальный ящик для благотворительности.

Едва Яэль исполнилось десять лет, ее отправили в закрытую школу при швейцарском монастыре.

Но вот когда девушка вернулась, маму Таню было не узнать. Она переехала в столицу, оставив малолетнего сына на няnek и горничных, и жила как в родном городке — пила, курила, ходила по ночным клубам в подозрительной компании, превратилась в гламурную персону и постоянного персонажа желтой прессы, дралась с папарацци и закончила тем, чем заканчивают все безграмотные красавицы, — стала модным дизайнером.

Местный народ почему-то полюбил Таню — может быть, за эту горестную Золушкину судьбу и за то, что она сумела обрести свободу. Во всяком случае, репортажи о ночных приключениях Татьяны Луи-Филипп обожали читать ее ровесницы, задавленные цивилизацией.

Муж терпел и не выступал, поскольку она его не трогала и денег у него не брала. Развод бы стоил ему дороже! Тем более что он втайне надеялся на трон (а вдруг все вернется?).

Что же касается его жены, то кормить, одевать и катать на самолетах и яхтах такую экзотическую красотку желал каждый нефтяной король. Она же в них как в мусоре рылась, отбирала с презрением.

Такова история вопроса и краткая генеалогия нашей принцессы.

\* \* \*

Не то чтобы дочь Тани стояла теперь с рюкзаком в ногах и скрупулезно вспоминала предыдущую жизнь матери. Эта жизнь, прошлое нищей барнаульской девчонки, сидела в ней как заноза, постоянно.

Отсюда, позволим себе предположить, и проистекал тот холодный аристократизм, которым бедная принцесса заслонялась от светских снобов и кое-как ведущих себя носатых родственников.

И что же? Куда теперь девать этот аристократизм?

Ныне она была как нищий Иов, как подлинно библейская героиня девушка Яэль, против которой ополчился весь мир, начав генетическое расследование...

И все это прямо накануне Рождества!

Раньше она хоть могла поехать в родной замок, в свою ледяную комнату в боковой башне, спуститься к гостям, получить подарки. Вспомнить деда, бабуку... Любящих, родных людей, которые устраивали ей настоящий Новый год и нетрезвого деда наряжали Дедом Морозом, а бабушка пекла пироги с капустой.

Бабушка Ниночка!

Ляля кинулась в кладовку и, раскидав все, нашла старый ящик для благотворительности, но там ничего не оказалось.

И тут раздался громкий треск, как будто тряслась железная коробка.

Телефон лежал и трезвонил под свалкой книг. Яэль его не сразу обнаружила.

— Алло!

— Лялюша!

Бабушкин голос — далекий, гулкий, слабый.

— Баба? Ты где?..

— Я в горах, — отвечал нечеловеческий, равномерно звучащий среди какого-то эха голос.

— А где, где? Я хочу приехать! На Рождество хочу к тебе!

— А я, доча, я между Индией и Непалом, на дороге. Снег идет. Ветер. Горы внизу. Я нища теперь, нища, снег, ветер...

— Я к тебе, я с тобой, бабуля! Я тебя люблю! — заплакала Ляля.

— Ну приезжай. Оденься получше, я вот замерзла... Птицы, птицы тут.

— Я привезу тебе всё!

Тут связь прервалась.

Ляля вышла на улицу. Папарацци растворились в холодном воздухе, как призраки прошлого. Видимо, они уехали вслед за кабриолетом мамы Тани.

\* \* \*

Через четверо суток замерзшая Яэль (напоминаем, что в переводе с библейского это имя означает «решительная») плелась вслед за проводником по ледяной горной тропинке наверх, в конец тибетской деревни. Уже стемнело. Бабушка больше не отвечала, может быть, у нее кончились деньги на телефоне.

Проводник втащил рюкзак Яэль в дверь почерневшего от старости каменного дома, втянул саму Яэль, получил от нее плату и сгинул. Оставалось подойти к хозяину, взять ключ и лечь спать. Четверо суток почти без сна. Самолет на Франкфурт, шесть часов до Дубай, пять до Мумбай, железная дорога, автобус, холодный джип.

Бабушку в Индии ей найти не удалось.

Теперешний отель стоял как раз на границе Индии и Непала, дальше дорога шла все выше и выше, к пятитысячникам.

Хозяин отвел бывшую принцессу на второй этаж в ее низенькую, беленную известью клетушку, показал удобства в коридоре (бетон, дыра внизу и душ над дырой), а затем исчез.

После всех вокзалов и придорожных монастырей комнатка была просто раем.

Яэль села на кушетку и заснула.

Проснулась она от жуткого грохота. За окном пустили ракету. Было очень холодно.

Рождество, стало быть! Ничего себе праздничек.

Надо было спуститься вниз, хоть выпить горячего кофе.

Яэль, тяжело топая в своих навороченных, шипованных горных ботинках, вышла в холл.

Это была довольно большая низкая комната с барной стойкой и открытым очагом. Повсюду на полу сидели люди, велись неспешные разговоры. Все были одеты, как Яэль, и, наверно, она тоже выглядела как они. Во всяком случае, ничем не выделялась — и никто не обратил на нее внимания.

Слава богу.

Мало ли, гостиница, все друг другу чужие, и она как все, а то, что сейчас праздник, — вот люди и спустились вниз. И она спустилась.

Яэль заказала кофе, хозяйка кивнула, достала жестяную мерку на длинной ручке, погрузила ее в жестяную кастрюлю с черной бурдой и налила это пойло в пластиковый стакан.

С кофе в руке Яэль стала искать себе место. У огня все было занято. Пришлось сесть под стеной, в углу, там на возвышении нашлось свободное место, небольшая приступочка. Ноги девать было некуда, они болтались. Принцесса подтянула коленки к подбородку, кое-как угнездилась. Но хорошо хоть удалось вообще где-то сесть в этом последнем месте на земле.

Яэль оказалась как бы над людьми, сидящими на полу, на пенках и подушках. Там по рукам ходили бутылки, там раздавался тихий смех, народ перешучивался.

Тихо-тихо Яэль стала пить то, что называлось кофе, опустив голову, чтобы ни на кого не смотреть. Взгляд — это тоже как просьба, в нем многое читается. Вечное одиночество в толпе, всегдашняя судьба принцессы. Нет, какой там принцессы, немолодой русской девушки на чужбине. Конец мира, конец жизни.

Как стыдно быть одной, никому не нужной в праздник, и еще позорней пытаться с кем-нибудь заговорить. Тем более что немые руки... И наверняка грязное лицо. Нечесанные волосы. Заспанные глаза.

Нища, нища. Бабушке-то лучше, она знает свою дорогу, за ней монастырь, люди, которые ее ждут.

Найти бы бабушку, ходить с ней, собирать милостыню. Все же не одна.

Бурда была горячая, даже сладкая, и все-таки отдавала кофе. Жар и запах горящих поленьев от очага, пламя свечей по стенам, тихие разговоры, сладковатый табачный дым, стелющийся под потолком...

«Ну вот я и пришла, хоть сюда. И хоть такое, но Рождество. И я не одна. Кругом люди», — подумала растроганная Яэль. У нее возникло даже какое-то чувство братства, первый раз в жизни.

Неожиданно кто-то из сидящих у огня обернулся, посмотрел на нее и со смехом воскликнул: «Она одна! Сделать, что ли, ей массаж ног?»

Кто-то сказал «О!». Все захихикали и замолчали в ожидании.

Что тут за народ? Яэль на всякий случай сосредоточилась на своем кофе. Вдруг похолодело в груди, стало страшно торчать у всех на виду. Над ней что, смеются?

Но тут произошло что-то непонятное — в дверях стоял некто посторонний, кого здесь не было. Он, метнув недобрый взгляд на шутника, быстро прошел среди сидящих людей и возник перед Яэль. Замерзший, замотанный по брови мужчина. Видны были одни светлые глаза. Он поздоровался, неторопливо размотал на себе пеструю шаль, высвободил свои длинные пушистые волосы, опустил к ногам Яэль и начал расшнуровывать ее мокрые ботинки, потом снял их, дальше больше, стащил носки и стал растирать замерзшие ступни Яэль своими горячими, необыкновенно сильными руками.

Она сидела окаменев. Это и есть массаж ног?

Народ теперь жужжал, занимался своими делишками, никто не смотрел в их сторону.

Но, наверное, здесь так полагается. Такая услуга.

Он буквально разбирал по косточкам ее пальцы и, согрев, собирал их обратно.

Рождество, взрывы ракет за окном, морозная ночь в горах, горячий кофе и первый в жизни человек, который так решительно коснулся ее ступней.

Она жутко стеснялась и думала, как ему заплатить, а он вдруг встал и поцеловал ее, поздравив с наступившим Рождеством...

— Привет! — наконец сказал он. — Меня зовут Кевин.

— Меня Яэль.

Гораздо позже Яэль узнала, что массаж ступней — это как бы предложение. Признание в любви, так сказать. Не для посторонних взоров.

Ее, грязную, усталую, чужую, люди в фенечках и шальях подвергли насмешке. Какому-то своему испытанию.

Кевину ничего не оставалось, как защитить ее.

Он больше так и не отпустил Яэль. Они вместе обходили монастыри в поисках Нины, а когда принцесса сломала ногу, он пронес ее через горы на закорках, он сидел с ней в местной больнице, когда ей накла-

дывали гипс, и сидел с ней в Дели, когда ей этот гипс снимали и ругали предыдущих врачей за неграмотность, он учил ее многим вещам, бедный йог, американец из Флориды, ее гуру, как и она, человек без пристанища, Кевин.

Что такое поиск себя? Это иногда поиск другого человека.

И это Кевин ей в конце концов сказал: есть сведения, что русская женщина Нина К. умерла в дальнем монастыре пять лет назад. Ее там все почитали за кротость и доброту.

А кладбищ в горах не бывает... Монахов, видимо, оставляют птицам.

Через год удалось найти этот монастырь.

Все было как говорила бабушка, снег, ветер, горы внизу, кричащие птицы. Яэль стояла замерзшая, вся в слезах, нищая. Однако ее охранял Кевин, которого ей подарила бабушка.

Затем прошло время, как оно всегда проходит.

У них теперь, у Кевина и Яэль, своя школа йоги и массажная студия, он научил принцессу всему, и в разное время в разных местах по земному шару они теперь вывешивают при дороге свой кусок красного ситца, на котором крупно написано рукой Яэль «Yoga».

Это Флорида. Это Гоа. Это Шри-Ланка.

А телефон так и остался с Яэль. Может быть, когда-нибудь бабушка опять позвонит...

## С Новым годом, преступник!

Новогоднюю ночь (то есть, по традиции, семейный праздник) полагаются проводить дома и весело. Насчет последнего («весело»): людям это не всегда удается, так как хозяйка к вечеру сбивается с ног, поскольку происходит нон-стоп что: готовка — уборка — мытье кухни как после ремонта — заставить детей нарядить елку — кричать, чтобы не подпускали кота к мишуре — запереть кота в ванной и нарядить елку самой — вымыть и переодеть детей — и только затем выпустить ошалелого кота, принять душ и переодеться уже перед боем курантов (у интеллигентных девушек такое наведение порядка называется «врубить Потемкина», по аналогии с потемкинскими деревнями), вот так.

Наконец, время подступает, и всё готово (или почти всё).

И тут звонки в дверь, приходят родственники с обеих сторон, которые пока что церемонны и свежи (но потом, к середине ночи, окажется, что они еще не всё друг другу высказали); затем вваливаются кое-какие близкие друзья с детьми и — вот сюрприз — несовершеннолетние кореша старшего ребенка (потом они уйдут все вместе до утра, хотя кто им разрешал?).

И тут проблема — в первую половину новогоднего торжества народ умудряется выполнить всю праздничную программу: наесться — напиться — вручить и получить подарки — спеть «В лесу родилась елочка» — как-то погасить назревающее между бабушками выяснение кто есть кто — загнать младших по койкам, и что остается?

Сидеть всем скопом и скептически переключать каналы, по ходу дела ядовито комментируя передачи в их невольном клиповом (клочковатом) виде, а затем преувеличенно радостно встречать гвоздь вечера, долгоиграющее «горячее», которое некуда уже втолкнуть...

Так протекает хваленая семейная новогодняя ночь.

Ежели же молодая семья сама идет к старшим с пакетами, сумками и детьми, то тут сценарий другой — молодым можно, отдавши дань традициям строго до полуночи, выпив шампанского и оставив детей бабушкам, идти развлекаться. По гостям, с друзьями погулять, пустить десяток-другой ракет во дворе, потом в клуб потанцевать и т. д. Тогда утро наступит не так рано, дети не будут прыгать по родительской постели, топча спящие тела, младших привезут ближе к вечеру, бледных, перекормленных и с утомленными глазками (мультияня неон-стоп с утра. Просмотр мультв с полугодичного возраста).

Обычная, обыденная семейная жизнь первого января, что о ней говорить. Опять уборка, посуда, дожевывание вчерашнего (а то испортится) и трусливые мысли о том, на сколько килограммов увеличится вес к концу каникул...

Однако, как было сказано в классической литературе, эта одинаковая обыденность свойственна только счастливым семьям.

А мы приступаем к рассказу о семье не такой, как у всех. Первое «не так»: хотя там есть дети, причем их трое, но мужа нет и неизвестно, или, как говорят в народе про ушедшего, муж говнюш (раньше бы сказали «объелся груш», но сейчас выражаются смелее).

Имелся некоторый гражданский брак, так сказать. Родились Полина и Маруся, потом Санёк. Семь лет, пять с половиной лет и три года, изволите видеть. Затем гражданский муж и отец семьи, тихий беленький музыкант, полюбил другую. И там родился еще один ребенок.

Со временем в описываемой нами семье все устаканилось: пустота, возникшая после ухода папы, постепенно затянулась, как всякая не смертельная рана, дети ведь смиряются с обстоятельствами, а что делать, и мама продолжает работать, готовить, стирать, убирать, мыть, водить девок в садик и на дни рождения (младший за плечами как в скворечне), а также принимать друзей в своем частично опустевшем гнезде.

Родной отец не бросает потомства, иногда, раз в месяц, он их берет на выходные, и мама везет детей к нему и сдает с рук на руки и оказывается свободна на сутки. Свободна долго спать, ничего не готовить,

свободна пойти в гости или в клуб потанцевать. Но, как правило, сил на это нет, и вообще много работы. Мать детей остается за компьютером. Вечером набегают друзья и подруги.

Но вот в этой неполноценной семье наступает канун Нового года, 31 декабря.

Дети с утра, скандаля между собой и отваживая младшего, чтобы не побил игрушки и вообще не лез, наряжают елку (кот Пряник воет в ванной), сегодня семья остается дома, потому что бабушки-дедушки разъехались, — бабушка детей Оля с пятым мужем и тремя младшими ребятами уехала к себе в имение под Тверь (ночь в поезде, час на автобусе, далее пешком сквозь зимний лес, красота, 4 км). Дедушка детей Коля со второй женой и сыном уже пятый день в Голландии у друзей, прабабушки тоже при делах — одна на Гоа, другая в Турции, прадед с новой подругой уехал в пансионат под Владимир, подальше от недавно пришедшего из армии сына подруги, у которого свои планы на новогоднюю ночь и квартиру.

Так что, мама, готовь, убирай, следи за детьми и пирогом, тушеной капустой в горшке и гречневой кашей с грибами, что совместно дозревают в духовке.

Маму зовут попросту, как всех, Варвара.

Она попутно натирает вареную морковь, свеклу и картошку, и ей нужно еще майонезу (селетка под шубой, а как же).

У Варвары уже все запасено, она с самого детства была для своей интеллигентной и забывчивой мамы опорой и надеждой — поскольку именно под руководством Варвары в доме произрастало младшее поколение, она воспитывала всех троих поочередно.

Старшие дочери в многодетных семьях вообще в дальнейшей жизни становятся какими-то хватистыми, бесстрашными и способными выносить все тяготы жизни довольно спокойно. Они, самое главное, не обидчивы и добродушны, что притягивает к ним большое количество друзей. В доме у Варвариной мамы поэтому всегда паслись, наряду с собственными детьми, еще и мелкие знакомые Варвары, начиная с детсадика.

В школьные времена мальчики из класса, практически все семеро, кучковались вокруг Варвары и после окончания школы так и сопровождали ее по жизни (и все остолбенели, когда она в девятнадцать лет вдруг оказалась с огромным пузом и как бы вышла замуж, но гражданским браком, как сейчас поступают почти все).

С этим замужеством все было тоже непросто, никакого жениха около беременной Варвары не наблюдалось, мама ее тихо плакала, а вот Варвара сдавала сессию и носилась в институт и по гостям со своим брюхом вполне веселая, а когда она родила, то неожиданно в доме появился некто отец ребенка, нестандартно молчаливый, мамаша Варва-

ры сразу стала его бояться, но тут же, раз он объявился, вполне хладнокровно начала посылать его с передачами в роддом и по друзьям за коляской, кроватью и одежкой.

И жених так и не ушел.

У Варвары к тому времени образовалась даже квартира от умершей прабабушки. Так что вроде бы в молодой семье (с помощью старших, разумеется) все оказалось уготовано для нормальной жизни.

Гражданские супруги прожили вместе семь лет, а потом Варвара осталась одна. Ее муж влюбился, как оказалось. Ну и ладно. Варвара сохранила с ним неплохие отношения.

По прошествии времени Варвара опомнилась и, можно сказать, даже вздохнула с облегчением — она слегка боялась своего молчаливого мужа. Вообще-то он был длиннобудый (по словам пятого мужа мамы, который любил выражаться по-ростовски), белесый и в какой-то степени красавец, да еще и музыкант, что есть убийственное сочетание для девушек (Варвара числилась одной из них).

Детки удались в него — худые и высокие, с загадочными взорами и льняными кудрями. Правда, болтливые, как все их женские предки.

Теперь сделаем маленькое отступление — из передач про зверей известно ведь, что прекрасная половина всего животного мира выбирает себе в партнеры и производители самых красивых особей мужского пола — так поступают оленихи, попугайхи и львицы, а также глухие тетери. Про кошек, собак-самок и кур речь не идет, это или распутные гетеры, матери семибратского потомства, или секс-рабыни.

Так что будем считать, что Варвара выбрала себе красавца Олега в мужья именно для того (как оказалось), чтобы родить двух таких невероятных принцесс и маленького принца.

Но с красивыми самцами всюду в животном мире проблемы — взять тех же оленей или глухарей. Или, далеко ходить не надо, котов. Какой от них прок, когда рождается потомство? Бабы-животные всё одни да одни. А пернатые и четвероногие мужья, продлив жизнь рода и увеличив популяцию, скипают (данное слово лучше всего объясняет ситуацию, «скипеть» на молодежном языке означает «слинять»).

И надо сказать, что вообще-то разговоров у Варвары и Олега почти не завязывалось — так, всё по делу, кому в магазин и что купить и кто с детьми сегодня гуляет.

(А много ли говорят с женами рогатые лоси?)

И когда этот влюбленный в постороннюю даму Олег откочевал к своим родителям, друзья Варвары проявили максимум такта и почти не оставляли ее одну. Тут и появился Иван, приведенный одноклассником Варвары в ее дом на день рождения хозяйки.

Стеснительный Иван после того ходил редко и сживал недолго. Но постепенно все почему-то стали относиться к нему как к значительному

лицу: слушали его внимательно (а он слегка заикался) и накладывали ему на тарелку побольше. Вообще заботились о нем.

Все, но не Варвара. Ей было некогда.

Девушки всегда знают, как реагировать на тех, кто по ним сходит с ума. Так, про себя, девушки испытывают что-то вроде щекотания души, когда на них смотрят определенным взором. Но показывать этого нельзя! Равнодушье и еще раз равнодушье, завещала нам прабабка Ева, выгнанная за свою неосмотрительность из очень престижного садового товарищества.

Теперь, после разъяснения предшествующих обстоятельств, вернемся к нашей дате — 31 декабря.

Варвара помчалась за майонезом вниз, в подвальный магазинчик.

И вдруг прямо на улице ее настиг звонок.

— Это я, Иван.

— Ой, перезвони мне попозже, — отвечала бегущая Варвара.

Тут Иван быстро пробормотал, что его арестовали и он находится в таком-то отделении милиции.

— П-п-позвони моей маме.

И он, заикаясь, продиктовал телефон, а записать-то его было нечем!

— Телефон повтори! А что, за что тебя арестовали? — закричала Варвара, растеряв все свое хладнокровие.

— Сегодня же три-три-тридцать первое, — заикаясь, отвечал Иван, и тут разговор прервался.

Варвара сразу вернулась, полезла в Интернет и посмотрела адрес отделения, где сидел Иван. Потом она обзвонила всех, выяснила, что такое для нас тридцать первое число вообще, раздобыла телефон мамы Ивана, поставила ее на уши, а потом, покинув селедку без полагающейся шубы, собрала детей и в девять часов вечера вошла в отделение милиции. Там уже стояли какие-то люди, Варвара поздоровалась с ними, спросила: «Не вам я звонила начет Ивана?» — и женщина закивала, с неподдельным интересом рассматривая Варвару и ее выводок. Это были, видимо, Ивановы родители, а также какая-то их голосистая девчонка, которая препиралась с дежурным на повышенных тонах. Мама же с папой, замев и вытаращившись, ошеломленно смотрели на детей.

Варвара всегда знала, что все вокруг любятя ими. Но тут уже произошел какой-то апофеоз!

Затем взрослые очнулись и представились, правда, их имена тут же вылетели из Варвариной головы. Она только запомнила, что девочку звать Вероника.

Девчонка, ей было лет четырнадцать, зычно провозглашала перед дежурным:

— Какое имеете — вы — право — арестовывать — людей — тридцать первого числа? Потому что право на митинги и собрания записаны в тридцать первой статье нашей Конституции? Только поэтому? Несанкционированный митинг — тут какой-то бред! Как можно не разрешать встречу! Митинг — это по-английски просто встреча! Друзей на улице! На улице каждый может встретиться и говорить!

Дежурный в мундире и при фуражке, стоя за барьером в профиль, смотрел прямо перед собой, в стенку, и хранил молчание.

— В Конституции записано, что мы как бы свободные люди в свободной стране!

На десятый крик дежурный отхаркался и монотонно ответил, что типа того, обращайтесь в Конституционный суд. В Гаагу. Ничего не знаю.

— Свободу узникам совести! — провозгласила Вероника и оглянулась. — Ой, привет! Ой ти какой холёсий! Кто присёл!

Она тут же засмеялась, взяла на руки Саню и замолкла.

Вероника была довольно крупная девочка в очках и, когда она так приветливо улыбалась, то неумовимо напоминала Валерию Новодворскую. Как говорится, сквозь мягкие черты юности проглядывало ее твердое будущее.

Варвара сняла с детей шапки, шарфы и варежки, расстегнула на них куртки и усадила за стол. Вероника пристроила Саню, подложив под него свою шубу.

— Ну передачу-то примите, — мягко говорила дежурному мама Ивана, протягивая через барьер большой, туго набитый пакет. — Тут вода и пирожки, самое необходимое. Они же пить хотят! Голодные! Новый год же!

Мент, мельком взглядывая, как петух, боковым зрением на происходящее, отвечал, что не положено.

Дети долго не усидели, они начали бегать по помещению и прятаться под столом. Потом они что-то заметили, скопились у барьера, где каменно стоящий дежурный в фуражке охранял проход, и воззрились на его кобуру, перешептываясь. Мелкий Санёк даже потянулся потрогать.

— Макаев, — сказал Санёк. Он почти уже коснулся пальчиком кобуры, но мент придержал ее повыше, сделав движение своим полным бедром, а потом, как луна за тучу, частично зашел за барьер.

— Не, не «макаров», — отвечала Полинка.

Тут хлопнула входная дверь, и мент воскликнул:

— Уберите детей! Быстро!

Варвара подскочила и отвела потомство снова за стол.

Группа милиционеров ввела в отделение людей — двух мужчин и женщину, по виду продавцов с рынка.

Их пропустили за барьер, и они исчезли за поворотом.

Юная Вероника опять завопила:

— Почему тех пустили, а нас нет? Нарушение Конституции!

— Да! — воскликнул папа. — Мы тоже имеем все права пройти и узнать, что с нашим сыном! Где он и что с ним творят тут, понимаешь! Почему не пускаете? А? Молчите?

Этот отец семейства в момент произнесения речи стал удивительно похож на свою дочь, особенно низким голосом, большим выразительным ртом, очками и какой-то многозначительной полуулыбкой. Ему не хватало только прически «каре» с челкой.

На что дежурный, убравшийся полностью за барьер (дети снова подошли близко к кобуре), обозленно отвечал:

— Та че, та то не люди были, а преступники! Вы че вообще, не понимаете, где тут находитесь?

Пораженные посетители вытаращились, и, видимо, каждый стал вспоминать, какие они были внешне, те преступники.

Воодушевленный мент продолжал:

— И вы че тут распускаете здесь по отделению детей! Не положено! Вообще тут нельзя, сказано?

Варвара оттянула ребят и опять усадила их за стол:

— Будете рисовать?

Потомство молчало.

Варвара порылась в сумке и вдруг увидела на барьере кипу листочков.

Она подошла и взяла оттуда сколько взялось со словами:

— Можно я напишу заявление?

Потому что если лежит кипа бумаги, то она лежит для того, чтобы на ней писали, верно же?

— А ручку можно?

Дежурный без слов, но со страдальческим выражением лица, не глядя, протянул ей казенную ручку. Видимо, тут существовал непреложный закон, право посетителей требовать письменные принадлежности.

— А еще ручку можно?

Дежурный покопался у себя на столе и выдал карандаш.

Варвара разложила перед детьми добытое. Они нехотя начали чиркать по бумаге.

— А мне? — завопил Санёк. Он уже готов был заплакать.

Сестра Ивана нашла ему в своей сумке толстый черный фломастер.

Младшая обиделась, что ей достался простой карандаш, и она стала бормотать:

— Я этим франым карандафом не буду рифовать, бы-линн.

(Дети посещали садик и частенько приносили оттуда новые слова.)

Тем временем мама Ивана спросила охранника, как его зовут.

— Семен,— неожиданно для себя пискнул он и затем от души отхаркался.

— Сеня, вот поешьте. Я напекла пирожков. И есть шоколад. Вы, наверное, стоите тут до утра? Как же не повезло вам! В новогоднюю ночь!

— А,— махнул рукой мент, который, видимо, уже давно перебирал в уме все несправедливости, учиненные над ним начальством.

— Поешьте, а то мы хотим передать тут кое-какую еду сыну, он тоже с утра не ел.

— Да не положено,— отвечал хмурый Семен.

— Вам пирожка же можно? — не отставала мамаша арестанта.

— Не,— и мент даже отвернулся, чтобы не видеть пухлый прозрачный пакет, который Ванина мама поднесла повыше и приоткрыла.

По казенному помещению поплыл сдобный запах.

— Ну нельзя так нельзя,— согласилась Ванина мама и во мгновение ока накрыла на стол. Горка пирожков на пакете, литровая банка салата оливье, нарезанная сырокопченая колбаса, ломтики сыра, свежий батон... А также вафельный торт и кулек шоколадных конфет. Потом она выложила пластиковую посуду.

Семья Варвары и Ванина родня приступили к делу. Полинка, Маруся и Вероника налегли на конфеты, Санёк же сидел давился пирожком, который мать сунула ему в приоткрытый рот, пока он рисовал домик и елку.

— Ешьте, ешьте, ребята,— сказала мама Вани.— Празднуем Новый год.

Правда, в ее глазах, как непролитая слеза, стоял вопрос, чьи это дети (Ванины?) и куда влип Иван, если они не его.

Она не отрываясь смотрела на пирующих. Иван-то тоже у нее был белесый.

— Пить хочу,— с полными щеками произнес Саня.

Он сидел, кудрявый ангел, и смотрел своими глазами умоляюще (ресницы до бровей).

— Ффё, мы ефть не хотим, блин,— произнесла младшая своим перепачканным ртом. Перед ней лежало три фантика.

Мама Ивана обратилась к менту:

— Сеня, дорогой, где у вас тут вода? Я забыла бутылку. Дети вон пить просят, бедные, измучились уже.

Она почти плакала.

Вопрос с отцовством был почти решен, судя по ее растроганному виду.

— Да! — угрожающе, с пирожком за щекой, прорычала Ванина юная сестра.— Нарушение прав человека! Мучить маленьких детей, блин, вообще! Страсбургский суд!

Тут выступила Варвара:

— Да я в ларек сбегая, принесу. Нечего у них просить. Видать же птицу по полету.

В ней тоже пробудилось гражданское самосознание.

Мамаша Ивана, прирожденный миротворец, подняла руку, призывая к спокойствию.

— Вам принести что-нибудь, Сенечка?

Неожиданно мирно дежурный ответил:

— А че ходить, че приносить, вон он автомат у нас, кофе, какао, шоколад...

И он показал в угол за собой.

— А можно за барьер?

— А че, можно.

Мама Вани посмотрела на мужа, тот демонстративно свободно прошел за барьер и стал там, язвительно улыбаясь, рыться в бумажнике (вылитая Новодворская).

— А вам чего-нибудь мы можем налить? — не отставала мамаша.

И Семен вдруг встрепенулся, кивнул и сказал:

— Мне сладкого чаю с лимоном.

И пошел заключительный акт новогоднего пира, после чего Варвара убрала со стола, а дети стали бегать повсюду, временами тыкаясь в барьер и сквозь балясины разглядывая кобуру. Семен не реагировал.

Тут произошло неожиданное: за барьером, в глубине, открылась дверь, и давешние преступники, двое мужчин и женщина (может быть, только что зарезавшие человека), свободно проследовали через предбанник и вышли на волю.

— Эт-то что же выходит,— сказала, улыбаясь, сестра Ивана и поправила очки,— преступников выпустили, а честных людей держат в тюрьме? Борцов за права человека? Без права на передачи? Без воды? Там же больные люди!

— Да,— подхватил ее отец,— я должен переговорить с руководством. Мы имеем право! Где начальник отделения?

— Вон дверь, на второй этаж,— неожиданно ответил Семен и отодвинулся.

Ванин отец тронулся за барьер и исчез.

Все молча ждали.

Минут через пять из внутренней двери вышел полный немолодой мент в фуражке — по виду начальник.

Увидев народ за барьером, он вскипел:

— Это что такое! Немедленно покинуть помещение! Кто пустил детей? Запрещено! Сейчас же!

— Как вас зовут, здравствуйте,— вдруг сказала мама Ивана.

— Семен,— сбился с тона начальник.

Тут все засмеялись, глядя на нового Семена, даже маленькие девки специально ядовито начали хихикать.

Дети улавливают общую атмосферу очень быстро.

— Сеня, с Новым годом,— воскликнула дерзкая акселератка, сверкнув очками.— С новым счастьем!

Тот вытащил из кармана брюк мобильник, посмотрел в него и вдруг исчез.

Через небольшое время от начальства вернулся отец семейства и с порога провозгласил:

— Фамилия начальника там Акулов! А заместитель Глотов!

Женский пол заржал.

Дежурный переступил с ноги на ногу и поправил кобуру.

Отец продолжал:

— У него сидел еще один, весь затянутый в черную кожу. И говорит мне: «За каким же, блин, хреном ваш сын лезет на митинги?» А я ему: «А за каким, блин, хреном вы служите в милиции?» Он так: «По призыванию!» А я ему: «Ну!»

— И скоро их выпустят? — спросила мамаша.

— Сказал, по мере оформления протокола. Не справляются они с задержанными. Много им привезли с площади. И чего было столько к нам напихивать, сказал он. На голову буквально. Те привезли и уехали. А нам всю ночь отдуваться.

— Бред какой-то,— уныло сказала Варвара.

Тем временем в предбанник стал набиваться народ — родственники арестованных и те участники митинга, кого не взяли. Некоторые имели на лицах следы рукоприкладства с кровоподтеками. Время от времени народ обращался к понурому Семену с требованием взять воду для заключенных, оттуда звонят, что хочется пить. Тот бубнил свое «не положено».

Варвара одела детей, взяла на плечи засыпающего Саню, и они пошли прогуляться. Их встретила холодная, с редкими снежинками, ночь. Варвара чувствовала, что сил уже не остается. Дети ныли. Но уйти почему-то было нельзя.

Вскоре ребята запросились в туалет, так и так пришлось вернуться, и Семен пропустил их за барьер.

Народу в отделение набилось много. Судя по тихим разговорам, там стояли уже опытные бойцы, многие прошли через аресты и мордобитие.

— Скоро их должны выпускать,— сказал один парнишка с троцкистской бородкой.— Причем протоколы все вообще какое-то фуфло. Зачем тут их заполняют, непонятно. Причем безграмотно, судя по всему. Судьям бумажки приходят, суды не принимают, отправляют обратно,

чтобы оформили правильно. Отделения милиции просто завалены бутылками. Кто этим будет заниматься, у них что, своей работы нет? Тут убивают на улицах просто так, грабят, насилюют, квартиры обворовывают, а менты сидят, в протоколах путаются, потому что ОМОН хватает честных людей на улицах.

И вдруг в глубине открылась дверь, и вышла радостная женщина. Она подошла к барьеру, оперлась о него одной рукой, а другую подняла:

– Не слышу аплодисментов!

Ей радостно захлопали, а потом окружили с расспросами.

– Ой, да там одна девка в фуражке пришла, сидит, заполняет протоколы. Уже, видимо, отпраздновала, еле можаху. А нас в камере семнадцать. Не знаю, сколько в другой. Это надолго.

Тут Ванин отец, посоветовавшись с женой и прихватив дочь, исчез.

И в полночь под крик Семена «не положено» по низкому потолку милицейского предбанника застучали пробки от шампанского. Верника с отцом принесли бутылок, что называется, квантум сатис. Сколько смогли. И в пластиковые стаканчики полилась пенная жидкость неизвестного происхождения... То есть известного, из киоска.

Иван появился на свет божий, другими словами, вышел на волю, вторым.

Он явно чувствовал себя неловко, что его так быстро выпустили (и отец тоже понимал свою вину, он, видимо, ввернул там, наверху, про трех малолетних малышек). Варвара подхватила детишек и вышла на воздух. За ней выбрались остальные. Все перецеловались с Варварой (кроме Ивана), распрощались. Мама Ивана зорко на это дело смотрела. А он взял у Варвары спящего Саню и посадил себе на плечи. Тут Иванова мамаша кивнула, глубоко вздохнула и уволокла семью в переулок.

Варваре и Ивану пришлось долго тащиться пешком до метро, они пробирались через грохочущую взрывами Москву (петарды и ракеты возносились по дворам, огнепоклонники и пироманы явно избегали орудовать на улице). И в конце концов семейка вышла на ярко освещенную Пушкинскую площадь,

Шел мокрый снежок.

Вверх по Тверской от Манежа валила присмирившая пьяная толпа довольно-таки замерзших людей (поднятые плечи, опущенные подбородки, руки под мышками и в карманах). Причем шли они как-то порознь, не компаниями — создавалось такое впечатление, что в этом потоке брели преимущественно одиночки и что они справили Новый год где хотели — не сами по себе, по норам, а на людях, там они братались, наливали из припасенных бутылок соседям, все вместе и всласть кричали свое «ура», причем стоя в самом центре Москвы, в сердце России, у кремлевских стен, под звон курантов, плечом к плечу, в восторге.

— Смотри, у них ведь тоже был несанкционированный митинг тридцать первого числа,— вдруг сказала Варя,— что же их-то не арестовали?  
— Некоторых арестовали, они уже нас знают,— отвечал Иван.

Люди брели мимо них. Теперь каждому пришла пора возвращаться домой, а это уже одинокая дорожка. И вела она далеко, потому что метро в центре стояло по традиции на замке.

Варвара и Ваня шли со спящими детьми на плечах, старшую вели за обе руки, она все время стремилась подпрыгнуть и повисеть на ходу (как раньше, когда ее тащили, бывало, отец и мать).

Ввалились домой, мамаша быстро помыла и уложила ребят, и тут набегали друзья, на кухне начался пир, Варя со смехом рассказывала о ментах и о преступниках, которые свободно ходят туда-сюда, их арестовывают, приводят и через час отпускают почему-то.

— Выпьем за Ивана, его ведь тоже отпустили,— закричали друзья.

Преступник Ваня, напившийся и наевшийся до отвала, хлопал глазами в углу кухни.

А Варя, вспомнив кое-что, ушла, полезла к себе в шкаф, потом прокралась в детскую и поставила у изголовья каждой кровати пакеты с подарками. Поцеловала детей и вернулась на кухню.

Ивана там не было.

Варвара быстро закончила делать селедку под шубой. Выставила ее на стол. Призадумалась. Гости на нее не смотрели.

Потом пошла в прихожую.

Куртка Ивана лежала там на стуле.

Варвара аккуратно приоткрыла дверь в санузел.

Пусто.

Оказалось, что Иван спит в ее комнате на полу, прямо на коврик под тахтой. И кот Пряник лежит на нем сверху, в районе шеи, и свободно топчет лапами его руку.

— Ну че, с Новым годом, преступник,— сказала Варя, сбегала за курткой, накрыла ею своего будущего мужа и вернулась к гостям.

## Вольфганговна и Сергей Иванович

Собственно говоря, надежд на брак у Татьяны Вольфганговны не имелось никаких. Шел уже тысяча девятьсот шестьдесят пятый год. Ей должно было исполниться тридцать лет!

Начать с внешности (Татьяна была похожа на Гёте, в честь которого, кстати, ее бабушка неосторожно назвала своего единственного сына).

Татьяна Вольфганговна получилась — в результате скрещения немецкой линии с русской — девушка высоченная, верующая, носатая, с небольшими честными глазками, работала она на фабрике игрушек в

сугубо женском коллективе и из имущества имела только диванчик в бабушкиной комнате, часть шкафа, книжные полки и небольшой письменный стол, утыканный шляпками гвоздей (поработал в семилетнем возрасте братик, это была семейная легенда, как его оставили одного с только что купленной мебелью. Мама очень плакала об испорченном столе).

В другой комнате жили родители и маленький, но тоже уже носатый племянник, то есть полный боекомплект.

У старшего брата с женой имелась тахта на кухне, и на этом перечень житейских обстоятельств можно прикрыть.

Все у данной семейки было в прошлом, свои пароходы на Волге, ткацкие фабрики, министры-кузены, усадьбы и собственные издательства.

Сохранилась, однако, эмигрантская родня в Париже, которую тщательнее скрывали и писем от которой боялись как огня.

Дед-то остался в вечной мерзлоте в ста пятидесяти километрах от Ванинского порта, перевал «Подумай», русский штат Колыма.

Семейство упорно отрицало свои корни, на фотографиях были грубо стертые, в частности, портреты Николая Второго, невинно висевшие за спинами, допустим, выпускников гимназии.

Была одна легенда, согласно которой прадедушка Митя под Новый, 1919-й, год возвращался в лютый мороз домой. Ему встретился пьяный солдат. Солдат велел прадедушке снять шубу и шапку, потом попросил подержать винтовку и, качаясь, напялил прадедову доху, а шинель, так и быть, оставил ограбленному. Когда прадедушка Митя явился домой к новогодней елке в обличье красноармейца, кухарка чуть не выперла его с порога. Набежала семья, с Мити быстро сволокли шинель и шишак, подозревая нехороших насекомых. Шинель хотели выкинуть. Однако больно тяжеленька она показалась старушке кухарке. И из карманов выгребли две кучи разномастных драгоценностей («бижу», как их определила старая барыня).

Потом кухарка, легендарная Катерина, ходила меняла их на жиры и мешочки муки, не доверяя субтильным хозяйкам.

Татьяна знала обо всех этих сказках и молчала, так уж была воспитана. В семье имелась одна драгоценность, бабушкины сережки, золотые, с ростовской финифтью, т. е. фарфоровые подвесочки с рисунком. Серьги бабушка держала в комодке в запертой шкатулке.

Далеко Татьяна Вольфганговна не продвинулась, в институт не прошла, хотя французскому и немецкому бабушка Вава ее обучала. Таня закончила простые курсы и стала разрисовывать кукол.

Единственный талант был у нее к гимнастике. Но и тут она не выделялась ничем, второй разряд был ее потолком: больно высокая вымала.

В описываемое время Татьяна Вольфганговна по субботам и воскресеньям вела в клубе фабрики занятия по так называемой «пластике».

Бабушка Вава в детстве ходила в какую-то студию «Маяк», в результате чего унаследовала принципы Айседоры Дункан и сохранила выправку, методику и ноты и сама долго преподавала это дело, пока не слегла. Тане оно досталось по наследству.

Девочки, босые, в белых туниках, изображали какие-то вакхические танцы, и Татьяна носилась вместе с ними, воздевая к потолку свои гибкие руки.

Дети не могли выговорить ее отчества никаким образом, у них получалось что-то вроде лая и не совсем прилично. Она звалась просто тетя Таня.

Теперь второй персонаж этой истории, маленький крепыш, похожий на безрогого телка, Сергей Иванович.

А он, в свою очередь, преподавал в данном клубе рисование.

Он был фронтовик и художник без места, закончил училище, картины писал под кровать, а зарабатывал свои гроши именно по клубам.

Дети его любили и боялись. Буквально трепетали. Он был бесспорно талантливым педагогом.

Единственно, что Сергей Иванович почти не имел времени рисовать для искусства и потому вечно таскал при себе альбом.

В любую свободную минуту он присаживался и делал наброски.

У него была идея написать большое полотно на выставку.

Но тема была совершенно неподходящая (по его собственному выражению) для тех времен: он обожал Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, объединение «Голубая роза» и вообще другую эпоху. У него был любимый учитель, который окончил ВХУТЕМАС и втайне внушал своим ученикам дореволюционные идеи.

Правда, Сергей Иванович скрывал такие свои вкусы, живо бы погнались вон изо всех клубов.

Его картина должна была изображать пруд и нежных девушек в венках на берегу. И старую усадьбу вдаль на горке: колонны, сирень, бирюзовые закатные небеса, розовый отблеск вечерней зари, эх.

Сам Сергей Иванович, даром что небольшого роста, был из старого дворянского рода, разве что папаша его явился из голодной Николаевской области в двадцатые годы учиться и женился на мамаше, которая была дочь лишенцев, ее семью к тому времени сильно уплотнили, выселив из квартиры в так называемом «бельэтаже» в комнату там же, в собственном шестизэтажном доходном доме, но на верхотуре, под чердаком.

Жили они на Пречистенке.

В ту же квартиру, в уголок в прихожей, явился подселенец на уплотнение, как тогда выражались. Он отделил себе треугольное простран-

ство тряпкой на протянутой веревке. С ним тут же стал судиться другой жилец, чью дверь стало неудобно открывать. Он был комсомольский писатель и инвалид. Участились скандалы.

Этот приехавший будущий папаша Сергея Ивановича, Иван, утверждал повсеместно, что он из сельской бедноты, т. е. что чист в смысле происхождения, что было неправдой. Затем он также обманом женился (до того был женат) и въехал к будущей матери Сергея Ивановича в комнату, где проживали в страхе остальные недобитые члены ее семьи. Родился ребенок.

Дальнейшее показало, что после развода с мамашей папаша быстро покатился вверх по служебной лестнице, получил собственную комнату и съехал вон, стал профессором марксизма-ленинизма, партторгом и т. д., то есть или оказался самородком, или все-таки был иного происхождения.

Мамаша однажды сказала Сереже, что Иван Фомич (она называла мужа по отчеству) не тот, за кого себя выдавал. Там были какие-то темные дела, чуть ли не сбежавший на юг белый офицер с беременной женой. Офицера этого красные шлепнули на дороге, жену взяли в обоз, где она вскоре родила. Вот так на самом деле и появился Иван, по отчеству Фомич, поскольку отрядом командовал некто Фома, позднейший муж подобранной. По легенде, Фома воспитывал Ивана революционной рукой.

А Сережа, сын столь разных, хоть на поверку и благородных родителей, так и вырос в комнатке 12 метров в коммуналке на двадцать пять персон, где его соседом после войны оказался скрипач из консерваторской школы, находчивый еврейский юноша: он оборудовал свою койку железными мисками с водой. В них он засунул ножки кровати, чтобы клопы не лезли к нему наверх и тонули бы все как один в мисках. Свое изобретение он охотно демонстрировал. Клопы же в дальнейшем, как оказалось, обнаружив блюдца с водой, пошли на таран, полезли по потолку и сваливались на умного маленького скрипача сверху, с высоты четырех с половиной метров, и затем дневали и ночевали в матрасе.

Додя впоследствии стал звездой берлинской филармонии, солистом и дирижером, но это произошло не скоро.

Сережа, таким образом, жил под звуки скрипочки из-за стены.

Из года в год звук становился все качественней. Но Сережа никогда так и не сказал маленькому Додику, что он играет лучше, чем Ойстрах по радио.

Сережа был молчаливым пришедшим с войны парнишкой.

Мать его тоже говорила мало — то ли по природе, то ли их ко всему приучила советская власть, в частности, в лице майора КГБ Калиновского, который, вселившись в комнату по соседству (перед войной

оттуда взяли мужа и жену), всегда чистил сапоги, задирая ногу на столик у их с Сережей двери.

Мама Сережи горбатилась машинисткой, родных не осталось.

Сережа перед войной, лет в тринадцать, пошел в районный дом пионеров в кружок рисования, где и встретил титана Серебряного века, своего учителя.

Для будущей картины Сергей Иванович все собирал и собирал материал, пока однажды, в декабре, его не вызвал Савва, директор клуба:

— Поможешь там девочкам из кружка пластики, они требуют какую-то декорацию к своему концерту на Новый год. Достали мы им бязи двадцать метров. Так уже прямо нету моей мочи! — вдруг воскликнул этот темпераментный толстяк. — Сделал доброе дело — седлай коня! Как говорится. Провертели башку! Ковер им другой сразу амором подавай! Пианино настройщика! Всё под Новый год! Вобла сущеная!

— Вобла?

— Татьяна Вольфганговна, — запнувшись, пролаял Савва. — Эта, длинная.

— А, — ответил Сергей Иванович и пошел в зальчик, где занимались пластикой.

Уже издали, сквозь музыку, был слышен легкий топот множества ног. Настолько легкий и невесомый, что как будто бы это были вереницы танцующих кошек.

Пианист играл что-то знакомое, из детства — «В лесу родилась елочка».

У Сережи защемило сердце. Додик уехал в апреле. Мама умерла полгода назад. Новый год будет без них...

Мама так любила испечь пирог с капустой, он у нее получался легкий-легкий. Додик обожал мамины пироги.

Сергей Иванович на этом вошел в репетиционную. Навстречу ему по полуистертому красному ковру, приплясывая на цыпочках и при этом обернувшись к пианино, летела с поднятыми вверх худыми руками девушка в белом.

— Вы к кому? — вдруг увидев его и остановившись, сказала девушка. — Вам кого? Сюда нельзя!

У пианино толпились тошенькие, как цыплята, девочки, все до единой в белом и тоже босые.

Да. И пруд с отражением кустов, и лиловая сирень, и розовеющие колонны на закате, и зеленое вечернее небо...

— Будьте добры, покиньте нас, — говорила тем временем чудесная девушка, подходя. У нее были бледные щеки и слегка растрепанная кудрявая головка. Босые ноги идеальной формы выделялись на темно-красном ковре, сияя как мраморные слепки.

Она стояла перед ним, возвышаясь, словно бы богиня.

- Савва,— после паузы вымолвил Сергей Иванович.
- Это дирекция, вам на первый этаж.
- Савва декорации,— произнес Сергей Иванович с трудом.
- Что Савва декорации?
- Велел.

Она оглянулась на пианиста.

Молодой человек с шапкой кудрявых волос (вылитый Додик) махнул рукой:

— Ну мы же Савве говорили, что нужен настройщик, ковер и художник. Так, вы кто?

— Это,— сказал Сережа.

— А,— выдохнула, вдруг неизвестно почему заволновавшись, девушка.— Вы декорации?

Сережа кивнул.

Ему велели снять сапоги.

С войны Сергей Иванович ходил только в сапогах.

Хорошо, что носки были целые и чистые.

Ему объяснили, что нужно.

Ему показали двадцать метров солдатской бязи, сшитые по размерам задника сцены.

Всю ночь он ворочался на своем топчане.

Затем директор Савва вынужден был выписать Сергею Ивановичу краску. На складе была желтая, грубо-зеленая и ярко-синяя, в которую красили обычно кухни, с добавлением белил. Вот белил-то как раз и не было. Не было и краплака.

Сергей Иванович на свои последние купил недостающее.

Пять ночей, вплоть до субботы, Сергей Иванович малевал декорацию.

Еще одну ночь она сохла.

К утру он ее повесил в виде задника на клубную сцену и никуда не пошел — все равно сегодня занятия по рисунку и вечером должен быть их концерт.

ОНА пришла в три часа дня. Открылась дверь, и вместе с боем часов на Спасской башне (так ему показалось, а на самом деле это забило его сердце) появился тонкий силуэт, бледное лицо.

Серые глаза вдруг вспыхнули:

— Боже! Какое чудо! Усадьба! Пруд! Сирень!

И ни слова о том, что нет Деда Мороза и леса.

Она снимала варежки, пальто, а сама все смотрела на декорацию Сережи, не в силах оторвать от нее своих небольших сияющих глаз.

Она была похожа теперь на какой-то из портретов Тёрнера — нежное продолговатое лицо, нос с небольшой горбинкой, туманный взгляд...

— Я вас буду писать,— вдруг произнес он те самые слова, которые приходят на ум каждому художнику, которому надо придумать за девушкой.

Она ему что-то радостно ответила.

Тем же вечером он привел на концерт свой выводок — десяток мальчиков с папками.

Найдя Татьяну за кулисами, он ей коряво объяснил, что его ученикам необходимо рисовать живую натуру в движении.

Потом спустился в зал, к мамам и бабушкам выступающих, и сел в первом ряду, держа на коленях заветный толстый альбом.

Сергей Иванович буквально следовал глазами за танцующей Татьяной Вольфганговной. Глаза у него бегали, как шарики пинг-понга, туда-сюда: в альбом — на сцену.

Он изрисовал почти всю бумагу.

Дома, ночью, Сергей Иванович наконец натянул холст на подрамник и начал писать портрет Татьяны Вольфганговны.

Стоит ли говорить, что перед тем он дождался, пока кончится концерт, все уйдут (пианист особенно долго копался) и Татьяна запрет зал, и затем проводил девушку до самого ее подъезда.

Они оба всю дорогу молчали. У дверей Сергей Иванович взял ее за варежку и прижал эту варежку к своей груди обеими руками.

Через недельку, на Новый год, дело было уже сделано, Сергей Иванович сидел у своей любимой в маленькой комнате и кургузо беседовал с ее бабушкой Верой Антоновной.

Вдруг выяснилось, что эта бабушка знавала семью его бабушки, нашлись даже какие-то (в пятом колене) общие родственнички Синцовы, ничего хорошего, кстати.

— Москва такой маленький город,— удовлетворенно говорила неходячая бабушка, сидя в кровати.— У нас была мануфактура и пароходы, эфто у дедовой родни в Нижнем, а у бабушки тверское поместье, таврические земли. Дача в Крыму сгорела. Дед был товарищ министра, адвокат... А у вас был генерал-губернатор со стороны прадеда... Черниговский, кажется... Вы скрывали, конечно, но мы-то знали! А с вашей бабушкиной стороны ее бабка из города Нассау какая-то мелкая баронесса... Да половина все немцы у вас в роду,— горделиво произнесла бабушка.— Я сама преподавала немецкий.

Неожиданно для себя Сергей Иванович произнес на этом языке некоторую фразу, которая вдруг всплыла в его памяти.

Май сорок пятого года, Потсдам. Сергею Ивановичу как раз исполнилось накануне девятнадцать лет...

Из соседней комнаты вдруг так чудесно запахло, что у Сергея Ивановича заболело под щеками и выступила слеза.

— Опять у них пирог с капустой перестоял! — покачала головой бабушка.

— Доннер веттер,— откликнулся Сергей Иванович.

— Я-я,— подтвердила бабушка и помолчала.— Вы знаете,— вдруг заговорила она.— У нас был такой смешной случай. Мой папа Митя, Дмитрий Николаевич, шел как-то из своей адвокатской конторы... Дело было как сейчас, под Новый год... Под девятнадцатый, кажется. При новом уже прижиме. Папа Митя потом умер в Бутыгичаге, царство ему небесное...

И бабушка рассказала Сергею Ивановичу всю историю про доху, но мы уже с вами ее знаем.

Затем бабушка велела ему достать из комода шкатулку, открыла ее ключиком, вынутым из недр халата, ключик же был привязан на грязноватом белом шнурке (явно из-под довоенных парусиновых туфель) к булавке, приколотой с изнанки кармана.

Сергею Ивановичу живо припомнилась старушка мама, которая все карманы закалывала булавками, свято хранила старые ключи и благоговейно относилась к картонным пакетам из-под молока, мыла их дочиста и использовала как хранилища...

Затем на свет божий явились две сероватые тускло-голубенькие сережки с золочеными дужками.

— Это вам с Таней на квартиру. Я берегла. Кто ей поможет в эфтом деле, кроме меня. Кооператив постройте. Я скоро уйду, комната освободится, эфти поживут хоть не на кухне.

Сергей Иванович отвел глаза. Сережки стоили ровно три копейки в базарный день. В училище им преподавали ювелирку.

Бабушка говорила:

— Я тороплюсь, не ровен час. Это тесто с масляной краской ты смешь керосином. Там внутри бриллианты. Понял? Только ты будешь знать этот секрет. Таня немедленно все раздаст. Ты уже сделал ей предложение?

— Да, вчера.

— Она мне призналась. Я же вижу, что с ней происходит. Не спит. Так что это ее приданое.

Глаза бабушки сияли. Она вдруг громко заорала:

— Кушать подано?! Сколько можно! Хочу шампанского и дьявольски хочу винегрета!

И она вложила в руки Сережи коробочку своими холодными лапками. И пожала.

Р. С. Недавно я надписывала книги сказок двум внукам Татьяны Вольфганговны и Сергея Ивановича. Внуки, Вава и Митя, носились как бешеные с новым оружием: из дома только что уехала шумная французская родня...

# 3. ПОВЕСТИ

## Свой круг

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходят как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество: как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в 70 процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда-сюда, на капичник, к академику Фраму, академику Ливановичу, Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, КПД тут же оказался снижен до 36 процентов, результат фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят завом, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своей жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он простой рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном детище с КПД 36 процентов отделе, уже набрали штат, взяли заведу-

ющим бездаря кандидата наук, все забито, они начали трудиться не спеша и вразвалочку, то в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнэса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось, те вошли в колею, дело ведь непростое, дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это пробивает один отдельчик в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Марчукайте, приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рождает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени, но Сержу эта воля и свобода обернулась гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итога не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда — привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький, а потому, что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборантов осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяйка дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Моя

родственница теперь также и Мариша, и сам Серж, хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей,— но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с женой Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили кто желтые, кто светло-карие, а я сказала еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный недруг, крикнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а рядом сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей»,— на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, какой-то она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее большую сумму и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала деньги Марише («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее любила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его 36-процентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тон-

кости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам, как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет — и не поехала, разошлась с Олегом, стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, откроет пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности, — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, державшую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую, и так они и развлекались. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить, и не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на

полную мощность, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь, ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретишь, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины, безо всяких припадков, и в связи с этим начала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анютиной прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле, Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей душой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку. Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покусение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андрюши, притворявшейся в

танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспамятстве, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но, кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим троем детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обя-зывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной — на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую оби-

тель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Нинке со второго курса факультета журналистики, так что Нинка проснулась вся в крови и потащила в панике отстирывать матрац на кухню, поскольку ванны в квартире не имелось. Левки же американца простыл и след, а Нина не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь, скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями, то ли он решил все-таки дожидаться Левку, то ли ему просто нужно было известить под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, — у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в Институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

- Ты что, ради прописки в милицию пошел?
- У меня прописка еще раньше, — ответил Валера.
- Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок, — ответил Валера, — я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или пернуть, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно пернуть по заказу. Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине, и при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливался под окном на тихой улице Стулиной и завязывал с нами через подоконник разговор и в конце концов влезал в комнату тем же путем и был затем вынужден отвечать на целый ряд вопросов, — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользящим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в уборную и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку проходим школьницам «девственницы», только я все спра-

шивала, как это самбисты научаются пердеть, усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не произнес слова «пернуть» и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, это слово, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес! И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за каковое жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки,— встревала я,— это в армии учат пердеть? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пернуть и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав,— продолжал Валера,— у них в руках техника, у них в руках всё, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнату. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полудеврей, но чистый еврей по виду, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: Георгий Александрович Перовошиков, русский!

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта, и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорта ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все сидели и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись, и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, так вот, Андрей сел со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его «точка», а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловевший перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее, — и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда его я укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, — Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из золотоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, такого будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине», — и все громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддавалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море дерьмо никак не отплывает. В остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слушала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить

пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недопустностью, позволяя столь долгое время держаться общей компании, посылку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны — не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все, а Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга, Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха у партнера! Это эрогенная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уже тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, во мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль

в неполюженном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае, то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограмм до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величинной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже лет пять назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешу в школу, а потом папу в больничный морг. Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить, — и там, в неотопляемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так

же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещения кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастет черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в Гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алешки были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша

мочится в постель и что Коля его ударил? Предо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость, и вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок, материна подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблине чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленных посетителей. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее, Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не

жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты, а когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обзлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются, — ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила, — ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя, — сказала я, — это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая, — сказала сияющая Таня бедной Наде, а тут вставил свое слово Андрей-стукач:

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже поддатые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку. — Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей пронизательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходя-

щее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита — когда подойдет очередь.

Все на мгновение приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения. Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать, — сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не склеился, Коля с Маришей тихо переговаривались я знаю о чем, о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире? — спросила я. — Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура, — сказал Андрей громко, — набитая дура! Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите! — сказала я. — Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Пряма, — сказал Коля, — еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать... — сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю его в детдом, вот анкета, — сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура, — сказал Андрей.

Я откинулась на стуле:

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно, — сказал Серж, и они стали снова пить, Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый

взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! Вот я уже и стала мерилком совести, бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орало, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил: а где Алеша?

— Не знаю, гуляет, — сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклой прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней — это был тот самый знаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешу, который спал, сидя на ступеньках.

Я выскочила, подняла его и с диким криком «Ты что, ты где!» ударила по лицу, так что у ребенка полилась кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади:

— Да я ее своими руками! Господи! Гадина!

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Всё! Я забираю! Всё! К едреней матери куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно, поверх полузатертой Маришиной блевотины. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша

хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешей и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружают вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького, гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж, человек в целом мало романтический, человек сухой, циничный и недоверчивый, — но этот кончит сожительством с единственным по-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет закавыка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеша, с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеша в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, приедет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

## Смотровая площадка

Он гладил своих подруг по голове, просил, чтобы и его погладили по голове, и снимал шапку. Дело обычно происходило на смотровой площадке у Ленинских гор, перед Московским университетом. Ниже, на том берегу реки, простиралась панорама Лужников, затем панорама Москвы с ее высотными зданиями. И происходило это у него с каждой, буквально с каждой: то ли наш герой не знал, куда еще приткнуться, кроме смотровой площадки, то ли действительно каждый раз, с каждой новой любовью в нем происходил душевный подъем и все просило простора, ветра, величественных панорам. Можно также думать, что это в нем еще не выветрилось провинциальное восхищение перед столицей, по-настоящему волнующее чувство, чувство победы над огромным городом, лежащим у ног и надежно стоящим на страже со стороны спины — в виде гигантской стены университета.

В это чувство победы над городом входило как составная часть чувство многочисленных маленьких побед над жителями и жительницами города — во всяком случае, должно было входить. Мы здесь заранее ничего не поймем, даже если добавим к вышесказанному, что эти победы были в какой-то степени нежеланными победами и победитель сам, видимо, в глубине души жаждал быть побежденным. Однако каждый раз побеждал именно он. Что происходило в этот каждый раз, что происходило с ним и с побеждаемыми им людьми — женщинами, старухами, стариками, сослуживцами, начальниками, попутчиками, почему они все столь охотно шли на то, чтобы их победили, почему не сопротивлялись и отдавались каждый раз с видимым чувством полной сдачи, поражения и испытывали ли они при этом ощущение того, что это временное, только на сей раз, поражение и надо только махнуть рукой, а дальше уже завергнется обыкновенная жизнь безо всех этих ужасов, — трудно сказать и трудно во все это проникнуть. Несомненно одно: он сам жаждал быть побежденным и сам готовил поле своего поражения, по всей видимости готовил, ибо поступал небрежно, грубо работал, спустя рукава все строил, все свои построения, все всё насквозь видели, он же шел на всё в открытую, словно бы для него не было препятствий, словно не это для него было главным — то дело, которому он на данном отдельно взятом этапе отдавал свои силы, — а главной была какая-то мысль, которую он на все лады обсасывал и вроде бы проверял: как будет, если так? И как будет, если такой вопрос задать и так-то позвонить кому нужно, и так-то говорить или иначе говорить (все думая не о деле, а словно бы о какой-то одному ему видимой задаче).

Отсюда, видимо, и исходил тот его вечный вид занятости не тем, чем он в данную минуту занимался, — как если бы он занимался не этим, а

чем-то другим и озабочен был тоже чем-то другим, главным, хотя — может даже показаться — ничего за всем этим не стояло такого, о чем можно бы было заботиться. Но озабоченность эта присутствовала, он словно бы торопил сиюминутные события, чтобы они поскорей прошли и дали бы место другому — но чему?

Так, от победы к победе, и шел он, от звонка к другому звонку — и все это наспех, второпях, все не забывая о своей главной какой-то задаче: а внешне все выглядело так, что можно было подумать, например, что он хваткий победитель, занимающий одну позицию за другой, и вот он повел очередную подругу к университету.

А действительно, если вдуматься, куда еще мог повести свою очередную избранницу этот Андрей, если душа его, по всей видимости, просила чего-то глубоко индивидуального и своего и находилась на подступах к высшему счастью? Не в ресторан же, в самом деле, который во многих случаях играет роль платы, взятки, барашка в бумажке за имеющее быть физическое наслаждение — так что некоторые девушки отказываются идти с малознакомыми людьми в ресторан, зная, что затраченные деньги так просто не затрачиваются и что это предполагает как само собой разумеющееся ответ и расплату, — а если не отвечать и не расплачиваться, то это будет расценено как мелкое жульничество: попила, поела, музыкой насладились, поглазела, на нее поглазели, опять ела и пила без протеста, безропотно и с видимым удовольствием, а потом смылась, не заплатив? Сама же девушка чувствует тонкую создавшуюся атмосферу, при которой все мелкие уступки в виде поцелуев в такси выглядят еще большим обманом, еще большим свинством — все равно как если бы она еще больше напилась и наела, еще на большую сумму, — вот как об этом думают взрослые, умудренные опытом люди, а Андрей был взрослым человеком, и такая точка зрения могла быть ему знакома, но, видимо, она была им оставлена на какой-то более ранней стадии развития.

Ибо этот вариант с ресторанным завлечением предполагал как само собой разумеющееся то, что без ресторана может ничего и не получиться, а Андрей, как уже было сказано, во всех случаях шел напролом. И если он и водил своих подруг на смотровую площадку, то только ради себя, ради нежности, ради высокого парения души, или у него выработалась уже некая традиция, дорогая сердцу, закрепилось однажды полученное счастье. Ведь, если вдуматься, действительно на смотровой площадке тишина, тонко дует ветер, снежок летит над черным льдом, и огоньки внизу, в городе, горят так приветливо, помаргивая. И тишина, никого нет, вряд ли найдутся другие любители именно такого вечернего городского пейзажа, некоторые могли бы сказать, что там берет свое подавляющая, колоссальная архитектурная идея, нечеловеческий взлет желаний, рядом с которым даже пирамида Хеопса,

как ее представляют обычно люди, не выдавшие ее, выглядит домашней и нестрашной, просто уходящей вверх соразмерной горкой.

Так что на смотровой площадке никого нет, город лежит у ног, мирно помаргивая, весь в распоряжении, везде ждут в гости, все открыто заводателю, а он, уже не мародерствуя, может производить погрузку города полными вагонами — и всё в себя, всё в себя, так это внешне выглядит. Смотрите, постепенно не то чтобы город уходит в него, нет, это Андрей надвигает все дальше себя на город, поглощение идет само собой, а разум свободен, а стремление к счастью уже не удовлетворяется простым актом пожирания все новых улиц и переулочков, лакомых кусочков вокруг Кропоткинской. Стремление к счастью становится выше на ступень, оно требует не только просто жить тут и побеждать одно за другим, побеждать противников, соперников, вякающих, ошибающихся, высоко стоящих и ниже стоящих, и братьев, и друзей, и девушек, и зрелых женщин, грудь которых превышает, например, все возможные пределы и волнуется, и в тебе все волнуется при мысли, что эта зрелая матрона, мать детей и жена большого человека, она, правящая своей машиной, она, которая ездит на приемы в болгарское посольство и окружена целым миром удобств и все хлопочет над этими удобствами, — она покорно идет, куда ее даже и не просили идти, и внезапно расстегивает шубу — и, о бог ты мой! Но опять-таки все это чисто внешнее, все, что было выше приписано Андрею в виде якобы его собственного косвенно звучащего монолога, ибо сам он такого монолога произнести никогда и не подумал бы, сам он думал совсем иначе, памятуя о какой-то своей главной идее, а просто так выходило, что он поступал таким-то и таким-то образом, что и приводило всех к мысли о том, что именно так Андрей должен мыслить, если уж он поступает так-то и так-то. Раз так — то так, думали за Андрея окружающие, а что он сам думал, нам неизвестно.

Возвращаясь к косвенному, произносимому за Андрея монологу, продолжим мысль: да, стремление к счастью этим не ограничивается, и матрона с ее непередаваемо крупной грудью, с ее страхом и жаждой, с наивным сознанием ценности своей груди, которую она этим обесценивает вконец, — эта матрона отплывает вовнутрь, поглощенная Андреем вместе с ее пятикомнатной квартирой, мужем, заядлым автомобилистом, членом клуба автолюбителей, детьми, из которых особенно младшая девочка, чуть не Лолита пяти лет, полюбила гостя Андрея и сразу идет к нему на руки, на колени, под общий смех: «Андрей, покоритель женщин!» — а девочка плотно сидит и рассеянно смотрит по сторонам. И она, эта удивительная девочка, тоже проглочена и отплывает вовнутрь, этот дом мерцает там где-то внутри уже, оттуда слабо горят его приветные окна, там широкие кресла, тепло и уют, вкусная еда, разве что хозяйка слишком прямо сидит и с прямой спиной ходит и перегибается слишком, опять-таки держа в поле зрения бюст, свой

оплот, непреходящую ценность. А матрона уже не матрона, ее зовут Соня, она уже проявилась как нелюбимая жена, как жена, с которой муж спокойно не живет вот уже много лет, этот спокойный автомобилист как-то иначе устраивается, и есть подозрения, что он как-то нехорошо устраивается, какие-то там у него младшие научные сотрудники, его ученики, его последователи, последователи этого примитивно-веселого, спокойного в быту, дурачки полного своей машиной и кооперативным гаражом хмыря. О господи, зачем этот мир так устроен, что ничего в нем нет от литературы, от одного прочтения, одной точки зрения — а все может быть прочтено еще глубже, и еще большие могут разверзнуться пучины, и, погружаясь в эти пучины, ища самое дно, самую истину, человек много чего теряет по пути, оставляет без внимания истины не хуже той, которая ждет его на дне, но именно до конца хочет все знать человек, а потом хохочет и говорит (как в нашем случае Андрей), что мир населен педерастами и онанистами, а женщины все либо проститутки, онанистки и лесбиянки, либо старые девы. «А как же Соня?» — спросили у Андрея машинистки, перед которыми он держал свою речь, а Соня и была матрона, напомним, но Андрей лукаво ничего не ответил машинисткам.

Кстати говоря, сколько истинной желчи звучало в голосе Андрея, когда он произносил свою эту циничную поговорку, начинающуюся со слов «мир населен», — и, стало быть, еще не совсем только о себе думал Андрей, не совсем и исключительно только о своей внутренней теме пекся и заботился он, — если он предъявлял миру горькие претензии по поводу грязи мира, в котором все запуталось и нет чести, но, с другой стороны, и нет естественности, все подавлено, запугано и прячется, и проявления мужественности и женственности редки и вызывают общее любопытство, граничащее с негодованием, и куда деться бедному человеку? Действительно, либо кастрат, духовный человек, либо что-нибудь из того набора определений, который приведен выше и который звучал так оскорбительно для ушей машинисток (отметим, что бедные машинистки, на головы которых была обрушена речь Андрея, своим намеком на Соню пытались дать понять Андрею, что существует, существует что-то еще другое, но Андрей ведь лукаво промолчал).

Стало быть, все в мире подавлено, и сам Андрей, нормальнейший человек, без отклонений (иначе откуда обвинительные речи в адрес всяческих отклонений, откуда это стремление бичевать и поносить и вся эта гамма чувств — от смеха и презрения до ошеломленности обманутой души и грусти и печали), — стало быть, Андрей, мужчина, каких мало, вечно ходит как бы отравленный своей репутацией, когда молва опережает его появление и девушки млеют, не в силах сопротивляться уготованной им на ближайшую неделю судьбе, ибо больше недели Андрей всего этого не выносит и с нетерпением рвет. И от всего этого

даже самое начало, весь ритуал со смотровой площадкой и стоянием над городом, теряет в своей торжественности и нежности.

А все же сначала Андрей ничего не может с собой поделаться, новая привязанность делает его мягче и добрей, вселяет в него надежду бог знает на что, но этому верить нельзя, этому светлому периоду, ибо очень быстро он сменяется периодом скуки и затем загнанности и тоски. Однако наш Андрей, снимая шапку и серьезно говоря: «Погладь меня по голове», отважно не принимал во внимание того, что неизбежно должно было обрушиться на него следом за глаженьем головы, следом за одной только неделей, — а чаще всего бывало, что и недели не проходило, а неприятности начинались сразу же. Сразу же, имеется в виду, за первым визитом к нему дамы; сразу же после того, как Андрей, сделав движение всем телом и осторожно отъединившись от пребывающей в положении лежа партнерши, спрашивал: «Вы поедете домой или останетесь?»

Эти неприятности включали в себя и неизбежное замечание, что он слишком делово выполняет свои мужские обязанности, а что значит делово? Бог его знает, тут возможны всякие толкования, вплоть до того толкования, что Андрей мог воспринимать свои действия как чистую трату времени, трату энергии, возмутительную благотворительность, как трату себя на кого-то — в то время как (вообразим себе и такой вариант) главная задача стоит и не движется, не развивается, вообще все замерло, ничего не происходит, как бы жизнь насильственно остановлена, — а у своей партнерши Андрей мог подозревать единственно жадность и желание проехаться за чужой счет, использовать чужую энергию в личных корыстных целях. Отсюда, видимо, и проистекала та экономичность и отсутствие душевных движений, та сдержанность, которая стала общеизвестным фактом и является документальной опорой данного повествования, — а дамы принимали эту экономичность за спешку и деловой подход.

Да он и сам горевал (это уже установленный факт), что не удастся ухватить птицу-счастье за хвост, не удастся забыться, нечем бывает крыть, как говорится. Он сам признавал каждый раз свое поражение и говаривал в таких случаях: «Можешь считать меня подонком, но мы больше встречаться не будем».

А ведь все каждый раз предполагало быть сделанным самым наилучшим образом. К примеру, Таня («Вы поедете домой или останетесь?» — вот та самая Таня, которая должна была выслушать этот жесткий вопрос) — Таня так была недосыгаемо прелестна и мила, чудачка, обожаемая мальчиками, детски безгрешная, никак не подлежащая еще никакой классификации (подлежащая ей, разумеется, но пока туманно, полусознательно). Таня, не идущая в руки, вдруг сама пошла в руки, позвонила и сказала, что раз он заболел, то она приедет сейчас с

курицей. Разумеется, разночтений тут быть не могло. Курица бежала петуху навстречу, такая вот создалась противоестественная ситуация! Андрей открыл дверь Тане, Таня была панибратски неловка, с повадками старого дружка, но трясущегося от холода, поэтому сразу накинувшегося на чай и дрожащего над стаканом и под пледом, — а эта дрожь так была понятна и не нова, и она не прошла и тогда, когда Таня была устроена с ногами на диване и слушала в уюте музыку, модную поп-оперу, дорогое изделие, укрытая его пледом, в его доме, под звуки его музыки, грызущая его орехи, которые он сам себе принес, — и еще ждала, замирая, удовольствий — за какие-то такие свои заслуги ждала оплаты! И он начал проделывать все необходимые действия, все проделал, а его колотил озноб, температура колотила, и было совсем не до того, в то время как Тане как раз было до того, и так все и шло. И было вот что несоответственно: Андрей, в самый характер которого входило резкое отрицание долга перед кем бы то ни было, вместе с тем не уклонился от исполнения этого долга на первый раз, — так и быть.

И так все и шло, повторяем: с одной стороны Таня с ее растущим жаром, с другой стороны Андрей с его растущим жаром совсем другого порядка, так что он чуть ли не пульс себе спохватился мерить в один из торжественных моментов и даже одну руку освободил и взялся ею за запястье другой, а Таня это восприняла как новый нюанс и чуть ли не извращение и силой оторвала его вторую руку от первой, сказав: «Ну зачем?»

Чего они от него все хотели, чем он должен был услужить им и миру, чего недоставало этому миру, если мир так нуждался в нем, — вот вопрос, который неизменно должен был возникать всякий раз, когда Андрей в очередной раз отказывался вкладывать в несение своей миссии что-либо, кроме деловитости, — он явно отказывался вкладывать в дело всего себя, отказывался тратить, расходовать себя — ведь что-то еще предстояло ему впереди, что-то важное, решение чего-то, — и отсюда вывод, что он проделывал требуемое просто и экономно, сознавая, что никто вместо него этого не проделает и что он нужен. Только единственного он не мог, как мы догадываемся, поставить жаждущему миру — эмоций. Ибо те эмоции, которые его, как можно было подумать, согревали по-настоящему — больше подумать не на что, — были эмоции, испытываемые им при тонком свисте ветра на смотровой площадке, в виду освещенного, лежащего внизу города, с громадой университета, возвышающейся надо всем, — и если говорить, соразмеряя масштабы, то только тут для Андрея овладение женщиной имело бы какой-то смысл и освященность, при том условии, однако (добавим от себя), что Андрей вырос бы до гигантских размеров, чтобы не мельтешить где-то под балюстрадой смотровой площадки, а возвышаться и все заполнять собой, — и уж тут не женщина была бы кстати, а все тело города, весь его гигантский организм, неподвластная его в целом душа

и сокровенные переулочки Кропоткинской с барскими усадьбами, особняками посольств, с девочками, прогуливающими собак, с магазинами и невообразимыми, ласковыми и великими старухами, которые в кружевах цвета чайной розочки, в обвислых юбках и в слегка перекрученных чулках идут и несут эфемерные авоськи с булочкой и сырком к чаю, а что дома у этих старух, какие тарелочки Гарднера на столе, какое полотно в салфеточных кольцах, какие серебряные щипцы и сахарнички — и какая жизнь!

Какая там жизнь, размеренная, тощая жизнь, полсырка к обеду, полсырка к следующему завтраку, а раз в месяц приходит племянница с мужем и некая никому не известная Александра, в том числе не известная и нам, а на стене портрет хозяйки работы Серова... Что еще: коллекция кукол покойного брата, акварели Нестерова, мебель — обивку мама меняла в девятьсот четвертом году.

О! Все это можно было присвоить, старуху можно было присвоить и поглотить, так что она и дня не прожила бы без нашего телефонного звонка, племянницу и неизвестную Александру поглотить не представило бы особого труда, наконец, мебель бы можно было поглотить и присвоить, однако же что-то удерживало от этого, отводило руку, ибо, присвоенная, старуха стала бы единичной, отдельно взятой старухой, требующей того и сего, лекарств и бесед, и серебряная сахарница, перекочевавшая на наш стол, значила бы неизмеримо меньше, чем не присвоенная, не потерявшая гордости, на столе у старухи при ежемесячных чаепитиях, когда сидит неведомая Александра, когда племянница, не красивая полная особа с серебряной брошью и слезой в глазу, сидит и ест свое же, с собой принесенное печенье. Эта племянница имеет массу удивительнейших свойств, в числе которых можно назвать непостижимую, пунктуальную верность старухе в деле ежемесячных посещений ее, в деле безропотного, без любви, порядочного и честного высиживания за столом и в деле таких же нудных дел с многочисленными другими тетками и дядьками, и апофеоз всего этого — день рождения самой племянницы, когда вся гурьба собирается раз в год и пересчитывает свои ряды и преподносит драгоценнейшие подарки в виде гемм, камней, серег (сапфир в бантике, платина, инкрустированная бриллиантами). Самое главное, что племянница таковые же делает подарки своим племянницам и крестникам на дни рождения и на свадьбы и что она не корысти ради ходит к старухе, и не из любви, и не из соображений получить всю антикварную рухлядь и Серова, — у племянницы самой такая же рухлядь, некуда девать, и отсюда и удивляются сведущие, хитрые люди, натываясь в дешевой комиссионке на Н-ском рынке на кресла бидермейер и павловский ампир и тому подобные ценности, безо всякого ума сюда привезенные, как на помойку или на свалку, — а ведь другие люди за этим именно охотятся, ведь такую мебель пасут,

пасут годами, ожидая продажи, смерти или черной минуты владельца, пасут, замирая от предвкушения привезти предмет домой, ошкурить, реставрировать, покрыть пастой «Эдельвакс» — и что дальше? Дальше опять получается закавыка с обладанием, поскольку отдельно взятый благородный предмет вкупе с другими благороднейшими предметами образуют в лучшем случае коллекцию мебели, но кто ее в наше время коллекционирует? Кто ее соберется коллекционировать напоказ, с экскурсиями, указкой? А без экскурсии и без указки мало кого соберешь, во всяком случае, никакая мебель не повлечет за собой регулярных нудных чаепитий, не повлечет за собой верности и преданности, обеспеченной с обеих сторон соблюдением традиций.

В лучшем случае вы обеспечите разовое посещение и разовое восхищение. Известны, впрочем, случаи, когда полностью обставленные, оборудованные и подготовленные квартиры только отпугивали гостя, и уже, конечно, никаких традиций не завязывалось вокруг мебели, а оставались старые, домобельные традиции: старые свары с родней, нежелание принимать иногородних гостей, необходимая традиция с хождением в прачечную и приготовлением варенья на зиму — и надо сказать, что Андрей сам по себе, оставаясь приветливым и покорным наблюдателем воскресных чаепитий, сам по себе был болезненно лишен традиций, чурался традиций, белье отдавал в прачечную не в определенный день, а спал на нем до победы, и визитов родни не терпел, о матери не заикался, мать его жила в деревне, и вся родня была оставлена, покинута и заброшена им в деревне, и вообразить то, что именно с этой родней могут быть устроены традиционные чаепития с салфетками и со щипчиками в пузатой, с медальонами, сахарнице! — это вообразить было невозможно. Такая родня нуждалась скорей в бочке соленых огурцов и в раскладушках.

Правда, у Андрея были привязанности — и уже упомянутая величественная смотровая площадка, и другая привязанность, к одной семье, где была у него так называемая мама: как говорил Андрей, «мама моего друга и моя названная мама и мой названный отец», и Андрей иногда им звонил, по междугородней — видно, там была такая же жизнь с традициями, как у старухи с улицы Щукина, и можно предполагать, какой там был порядок, тепло и уют, даже можно предположить театральные билеты, стоящие для напоминания на виду, за стеклом книжного шкафа, и можно предположить также многочисленных гостей, вплоть до гостей из деревни, которых никто не чурается и для которых всегда есть в запасе раскладушки, — а зато как весел может быть общий стол с холодцом, с вареньем, грибочками, салом, окороком! И как никому не мешает хозяин дома, который по вторникам, предположим, гладит свои белые сорочки на обеденном столе, не доверяя это мужское дело своей жене! Да что говорить, каждому был бы мил такой дом, и описанный выше дом был когда-то мил автору, отсюда и знание именно такой

обстановки, в которой потрясают прежде всего эти заготовленные впрок театральные билеты, пачечкой стоящие за стеклом. Но этого дома уже не существует, хозяин варит себе отдельно, хозяйка ведет свое хозяйство для себя и для сына и лечит бесконечные экземы, а дочь вообще сбежала в кооперативную квартиру и, видимо, устроила себе походную одинокую жизнь без намека даже на театральные билеты, ибо театральные билеты требуют большой работы, слишком большого внимания к себе и любви, а душа ищет покоя прежде всего.

Мы несколько отвлеклись от нашей основной темы, но это отступление будет нам полезно впрок, для той части нашего повествования, где речь пойдет о длинной, прекрасной, юной Артемиде, дочери профессора-матери и отчима-доцента, дочери, возрастающей в одиночестве и заброшенности в трехкомнатной квартире, где (вообразим себе) мать запрется в одной комнате, отчим читает гранки в другой, а Артемиде собственноручно шьет себе платье (скроенное матерью, мать понимает в этом деле, она профессор во всем), — Артемиде, стало быть, шьет его в третьей комнате, и в этой комнате ей неудобно, потому что эта комната общая, гостиная, там телевизор и все туда пхаются, заразы, — тоже милая, нежная, смешная картина чужого дома, в которую как составная часть входит словечко «заразы» — точно так же, как в картину ранее описанного милого дома входило, как аттракцион, то, что там дочь тоже любила разные словечки. Известно, чем это дело кончилось, — и посмотрим далее, как же развернутся у нас события с этим, вторым милым Андрюше домом, а они развернутся довольно странно и обидно. Но это дальше, а пока заметим в связи с тем, что нам еще предстоит услышать об Артемиде и ее доме: тут речь также пойдет о патриархальных устремлениях Андрея, о его тяге к традициям, о тоске по порядочности, именно по порядочности и верности долгу; о тяге ко всему, что не создается нарочно, не возникает сию минуту, а как бы просто живет, набирая с годами прочности, длится, не умирая, живет само собой, как внешний вид города, который мы застали готовым и верим ему тем больше, чем раньше он был создан, только бы он создавался не на наших глазах, — и вот его-то мы и будем впивать, вдыхать всю эту как бы и не рукотворную красоту, а совершенно не будем впивать и вдыхать ничего только что, нарочно, организованного. Вот в юной Артемиде и чувствовалась добрая кровь, замешанная на долгой, стойкой родительской любви, то есть вообще чувствовалась некая стойкость, которая всегда была предметом вожделения Андрюши, и здесь, видимо, вступала в свои права его внутренняя Тема, жаждавшая общения (и борьбы) с чужой внутренней Темой — так можно предположить.

И тогда, когда речь пойдет о юной Артемиде, об одном из крахов Андрея, мы и поговорим о его тяге к чужой патриархальности, а пока что речь у нас пойдет о Лидке — проворной, легкой, нежной, некрасивой,

стройной, с жидкими волосами, о Лидке, всегда летящей, как парусник, то есть желудком вперед, о Лидке, пламенной и участливой, кроткой и незлобивой... О Лидке, у которой столько было обожателей и был краснолицый муж, которому она была верна, хоть и ругалась с ним своим беззлобным голосом, когда он в очередной раз заявлял ей, что должен жениться где-то там, потому что там будет ребенок, — а у Лидки своих детей было двое.

Лишение кого-то его гордости, то, чего не хотел допускать Андрей по отношению к привязчивой старухе с улицы Щукина, то, что могло бы быть выполнено легко, однако не давало ничего, кроме лишних хлопот, — этого ведь именно и не хотел допускать, по всей видимости, Андрей и во всех своих взаимоотношениях с женщинами, девушками и юной Артемидой, которая была как бы особенной, охотно ругалась нехорошими словами, одевалась непередаваемо изящно и только в то, что шила сама, — а не шила она разве только что сапог, — и состояла в связи с художником-миллионером, чтобы не зависеть от своей безалаберной профессорши, у которой деньги текли как вода и в основном уходили на других двух замужних дочерей. А что касается юной Артемиды, то ей не много было нужно, и ее художник дарил ей вещи только большой ценности, а также любил ее и звонил ей на службу и заезжал за ней после работы на своем синем «мерседесе».

Андрей, стало быть, не терпел предметов, лишенных самооценности, — предметы же, снабженные этим качеством, он старался освоить. Но в освоении, видимо, он не мог удержаться на определенной грани, и предметы сламывались. Так, к примеру, повредил он всю мебель (ставя на нее чайник) в квартире сослуживца, уезжавшего на два года в Африку и оставившего прежде всего цветы, альпийские фиалки, на попечение Андрея. Цветы, как зависимые и слабые создания, были покинуты Андреем в первую же командировку, и только алоэ, столетнее растение, способно оказалось перенести все бури сожительства с Андреем, все эти наводнения при его наездах и засуху, длящуюся по полтора месяца. В этот период алоэ словно бы подбирало когти, сокращалось, скрючивало листья и начинало мягчать, что означало у него признак гибели. Однако Андрей возвращался и выливал в алоэ чайник воды из-под крана, которая (вода) давно, несмотря на свою ядовитость, стала природным условием существования алоэ, его естественной средой, так что это стало хлорированное алоэ и антикоррозийное алоэ, никогда не могущее уже подвергнуться ржавению, вроде водопроводной трубы. А то, что хозяйка дома когда-то давала воде из-под крана отстаиваться сутками, — это уже было забыто горемычным алоэ, которое росло теперь только в длину и торчало в горшке на манер осинового кола. Алоэ в какой-то степени показало, во что может превратиться существо, зависящее от Андрея, но жизнестойкое само по себе, то есть

вынужденное долго, в нашем случае хоть сто лет, терпеть. Алоэ, можно сказать, жило вроде бы и стоя, но на коленях, и расходовало воду со старческой скупостью, как расходовала, видимо, свою пенсию мать Андрея в деревне, живущая на картошке, капусте и грибах.

Заканчивая затянувшееся вступление к рассказу о Лидке, мы не можем еще не добавить, что у людей такой породы, как Андрей, ничего не могло держаться в руках, ни кот, ни собака, ни родительская могила, ни тем более альпийские фиалки, за которыми нужен глаз да глаз и притом регулярно. Посему хозяин квартиры, приехав в отпуск через год, пришел в горестное изумление при виде обоев, сухих горшков, мебели, алоэ, похожего на фаллический символ, и пола в прихожей. Посему Андрей, пожав плечами, нашел себе другое жилье, а хозяин квартиры три дня возил грязь и то должен был дать отчет приехавшей супруге, почему ободрана полировка на мебели и все так кругами, кругами.

Андрей, надо сказать, был человек без квартиры, прописанный в общежитии, жизни в котором органически не принимал. Он десятки раз мог жениться и получить жилье готовым или построить кооператив, но не делал этого, не женился, поскольку — можно догадываться — считал жертву со своей стороны гораздо более значительной, не мог потерять своей свободы, не мог взять без того, чтобы тут же все не испакостить и не нарушить, а человек он был комфортный и любил удобства, любил, как мы уже говорили, выспаться как следует и поставить чайник куда придется. И вспомним алоэ, из стройного кустика превратившееся в узловатый фаллический символ, с легкими только намеками на листья, и представим себе, как это нелегко человеку — все время чувствовать свое разрушающее, гибельное влияние. Кому охота быть деспотом, кому хочется выслушивать справедливые упреки в аморальности — ну и не лезьте же ко мне и не напарывайтесь на мою аморальность, я один проживу и пойду дальше, там меня ждет все-таки кое-что, — это или примерно это мог думать Андрей при взгляде на ту палку с утолщениями, которая у него выросла в горшке, и снова и снова он слепо верил в счастье, как в тот первый и единственный раз, когда он женился, однако же наутро ушел от жены и больше ее не видел, хотя доходили вести, что она все еще его любит и верно ждет, как мать.

Но мы отвлеклись от темы, которую довольно неуклюже обозначили как «лишение кого-то его гордости», хотя, как выяснилось, мы ее только развили, но на других примерах, а начинали мы с Лидки, существа мягкого и легкого на подъем и по весу, так что сослуживцы любил взять да и схватить Лидку на руки, а она сердилась и говорила «кобель несътый», поскольку была женщиной серьезной.

Когда-то она бегала на коньках: спорт оставляет отпечаток прежде всего на способе передвижения, гимнастки все ходят четко и пружинисто, на манер шелкающего маятника, а Лидка, стайер, передвигалась

как указка по карте, неуловимо покрывая расстояния и касаясь земли как бы только в отдельных точках. В связи с Лидкой даже не годится и сравнение с балериной, ибо как раз балерина-то ходит не воздушно, а что может сравниться с легкостью, с порханием кончика указки?

Так Лидка и парила, все делала страшно быстро и ловко, дома у нее все сверкало, и соседи по квартире отдавали под Лидкиных гостей свою комнату, чтобы ее дети могли спокойно спать у себя, так что в торжественных случаях гости сидели на головах у соседей, Лидку просто обожающих, несмотря на разницу в возрасте. Муж Лидки, правда, был в вечной претензии по поводу популярности своей жены и отвечал ей бесконечными романами, причем не стеснялся приводить своих дам сердца прямо домой, по поводу чего Лидка переживала, конечно, но как-то легко. «А! — махала она рукой, порядочно, кстати, натруженной, рукой хозяйки и матери. — А! Пусть идет к чертовой матери!»

Но приезжали родители мужа из Литвы, и он становился в моральном смысле на колени, и вот в один из таких приездов Лидка взяла и поехала в отпуск, на две недели, — и как-то скоро, тайно и поспешно уехала, только все говорила: «Андрей странный человек». Тут, видимо, вступило в силу уже упомянутое обстоятельство — невозможность определить, чем заняты мысли Андрея при тех или иных его действиях, которые он производил поспешно, однако как бы мимоходом, словно бы имея в виду какие-то другие, более важные свои дела, нечто в будущем, что еще должно было наступить. Отсюда и определение, данное Лидкой: «странный человек». От себя могу добавить, что ведь и поведение кота и собаки может выглядеть странным, и непонятно, что имеет в виду бегущая по улице собака, для чего она мимоходом забегает во двор и так же поспешно выбегает вон, или на какую тему она сидит посреди улицы, — а что тема у нее есть, это точно, поскольку вид у нее именно такой, — что она присела на минутку, а впереди важное дело, никому не ведомо какое, странное дело.

Существовал еще один Эдик, сотрудник того же отдела, который все переживал за Лидку и за других баб в отделе, отравленных Андреем. Это был Эдик, сам почти баба, из тех мужиков, которые замечают, у кого выглядывает комбинация или поехал чулок, — и этот Эдик, любивший Лидку как родная подруга и все кричавший: «Лидка, когда ты мне отдашься?» — он-то как раз ревниво ждал, что Андрей положит на Лидку лапу. И, к несчастью, именно Эдику Лидка, как родной подруге, твердила, в спешке приводя в порядок свои рабочие дела перед отпуском: «Андрей странный человек, Андрей странный человек».

А Андрей — вот такое совпадение — ехал в этот же момент в командировку в ту же сторону, и Лидка, вот что странно, даже билета не покупала, уезжая в свой заповедник. «Билет купила?» — спрашивала подруга Эдик. «Я не купила, мне купили», — таинственно отвечала Лидка, чело-

век вообще с тайной и недоговоренностью. «Лидка, — заклинал Эдик, — кто билет тебе купил?» — «Один странный человек», — задумчиво отвечала Лидка, быстренько складывая бумажки и скрепляя их скрепкой.

Теперь начинается та часть нашего повествования, которая не будет похожа на предыдущую, ибо дальше последует перечень фактических, реальных действий Андрея, его послужной список, если можно так выразиться. И если в первой части нашего произведения много места было отдано различным домыслам, догадкам и попыткам сделать выводы, то теперь настала пора заглянуть правде в глаза, увидеть, как реально протекала жизнь Андрея и какой ее со стороны видели сослуживцы. Поэтому во второй части возникнут разнообразные эпизодические персонажи, к которым надо будет присмотреться внимательней, ибо, как известно, человек — продукт среды, и все, что произойдет с Андреем под конец, все это будет результатом как раз воздействия среды.

Ну так вот, стало быть, они уехали — имеются в виду Лидка и Андрей, — и Эдик первым решил не обращать внимания на то, какими они приехали, — загорелые, попухлевшие, оба просто красавцы, близнецы с одинаковой печатью на устах. Лидка, всеми любимая, выглядела еще более таинственно, чем всегда; ее грозный муж раза два встречал ее после работы и видимо тосковал, поскольку опять объявил о своем решении жениться, теперь уже объявил в присутствии родителей. Его избранница даже ходила домой к Лидке и тарасила перед родителями и Лидкой свой едва двухнедельный живот (если считать с начала Лидкиного отпуска). Трудно сказать, что там было дальше, Лидка скромно молчала, а Эдик бесился и лез на рожон, что вот опять Андрей нагадил. «Где ты был, Андрюша, — спрашивал Эдик, — так загорел». — «А среди сосен, среди сосен в большом заповедном лесу», — непонятно зачем открывал карты Андрюша. (Вспомним в этой связи упомянутое в первой части стремление Андрея переть на рожон во всем, как бы испытывая судьбу.)

Дальше было так, что в ответ на требование Андрюши, как начальника (хоть и небольшого), срочно написать справку Эдик истерически сказал, что он устал, вкалывая за всех. «Я тоже устал и вкалывал и отпуска в этом году не имел», — ответил Андрюша, загораясь жаждой борьбы, и получил эту борьбу, а в борьбе он был несравненный противник, мощный логический аппарат, разве что только запускаящийся без особой охоты, как бы по принуждению входя в азарт, как бы нехотя, медля.

Интересна в этой связи история (сделаем небольшое отступление) о том, каким путем он получил свое маленькое повышение, а было это непросто.

Прежний начальник, Боря, запросился в отпуск за свой счет, и всем было известно, что он едет сниматься как аквалангист в фильме и получит уйму денег. Шеф, В. Д., по своей расхлябанности был готов пойти на подписание заявления, но тайно и гневно забастовал Андрюша, который

должен был этот месяц работать за своего аквалангиста. Андрюша точно рассчитал соблазн, туманивший голову Бори (съемки должны были вестись в Болгарии), и то, что Борю без характеристики с места работы никуда не возьмут. Андрюша имел влияние на В. Д., который к тому же не любил всякого барства и аквалангизма, и почва была подогрета до вулканического тепла, поскольку за Борей водились всякие не к месту отъезды на соревнования, слеты, сборы и съемки аквалангистов. В. Д. кратко сказал Боре: пиши заявление о переводе на старшего инженера. Боря, припертый к стенке, написал и уехал. Андрюша сам стал начальником и получил в виде подарка неврастеника Эдика, большими глазами следящего за всеми проявлениями воли и власти своего прежнего коллеги. Кстати, при всем том в Андрюше опять-таки было заметно безоглядное стремление куда-то в даль, в иную сторону, при котором любой эпизод, даже эпизод с получением власти, выглядел случайным, ненужным, а нужным и неслучайным было что-то, еще имеющее быть впереди.

Следующим ходом в событиях должно было быть увольнение Эдика, и посмотрим, как оно произошло. Итак:

«Я тоже устал и отпуска в этом году не имел», — провокационно, хотя и без особого азарта, сказал Андрюша.

«Не имел», — сказал Эдик, цепenea.

«Нет», — подначил Эдика Андрюша.

«А кто был в заповедничке сейчас? — спросил, потеряв голову от бешенства, Эдик. — Кто с кем загорал?» — забыв о Лидке, о бедной Лидке, муж которой в это время только и сторожил, чтобы опереться на факты в своем поединке с родителями.

«За клевету — ответишь», — сказал Андрюша, и назавтра вся группа собралась, собранная В. Д., и обсуждала ЧП в узком семейном кругу, обсуждала случай клеветы и морального падения, а также опозданий Эдика. Особенно сатанел В. Д., поскольку он не любил Эдика за опоздания, за дружбу с вахтершей, которая не записывала Эдика как опоздавшего, но предупреждала его, чтобы он не попался в другую смену, где вахтерша была не то чтобы злая, но обиженная на Эдика за его дружбу с той сменой.

В таких сложных обстоятельствах Эдик извинился перед Андрюшей при всех (перед Лидкой не надо было извиняться, Лидкино имя тут дружно не упоминалось, речь шла об Андрюше, у которого командировочные документы были в идеальном порядке), причем видно было, что В. Д. рассвирепел, и больше всего, видимо, от непонятных себе чувств, от ощущения, что его заставили, вынудили быть пешкой в игре, — и неожиданным финалом было то, что у Эдика попросили заявление об уходе. «Или я, или он, но я подам за клевету в суд», — будто бы сказал Андрюша, прекрасно знавший, что суматошный Эдик святое

имя Лидки не произнесет никогда. «Уходите к черту, Эдик», — сказал В. Д., и всю оставшуюся часть дня Эдик писал заявление и боялся посмотреть на Лидку, а та напустила на себя загадочный вид и стучала одним пальцем на машинке.

И Эдик исчез, растворился в дымке, а у Эдика была жена и сын и мама, и Эдика выгоняли уже со второй работы.

А Лидка, непостижимая женщина, никак не давалась в руки Андрею, о счастье! И все напускала на себя тайну, хотя всем было известно, что муж к ней вернулся, поскольку сведения о ребенке оказались там преждевременными, а родители проявили по отношению к пикирующей невесте жесткость и уехали, помирив супругов.

На первый взгляд может показаться, что история с Лидкой представляла из себя образец того, давно вымечтанного, союза с независимой, не теряющей гордости женщиной. Однако дело кончилось ничем, поскольку Лидка не собиралась уходить от мужа, а Андрюша не собирался ее брать с двумя детьми неизвестно куда, это было ясно. Дорога Андрюшина, видимо, все-таки проходила не здесь, и что-то тут не сработало, если все закончилось именно так, не позором, мукой и смертью, а просто так. Абсурдность их союза не усилила, не разожгла обоюдным огнем их чувства — они не метались и не плакали, что у них нет будущего, и даже были странным образом довольны, обманщики краснолицего мужа. Короче говоря, все сошло на тормозах, если не считать Эдика, который один пал жертвой и все звонил Лидке, и все ругал, чернил и поливал грязью Андрюшу, и все, бедный, неосведомленный, делал даром, поскольку это было уже неактуально. Тоже была смешная ситуация.

Однако Лидка, непобежденная, несломившаяся, быстрая, нежная и горячая, понимающая толк в жизни, осталась еще про запас и появится в самом конце нашего повествования — и с Эдиком мы тоже попросимся до финала, он ушел и хорошо сделал, поскольку у него была не только Лидка в подругах, у него были две обожаемые подруги в лаборатории — Лидка и Артемида, юная профессоршина дочка, настолько юное, гибкое и свежее существо, настолько лоза прибрежная и в то же время хулиганка, каких мало, и в то же время мастерица и мужественная девочка, которая в сапоге с гвоздем как-то проходила почти целый день и ходила в результате в крови, поскольку переобуться было не во что, а гвоздь не забивался; ну так вот, Артемида, которая вечно опаздывала и прибегала на работу с заспанной розовой мордашкой, а в обед ела только один бутерброд, — Артемида эта работала в лаборатории машинисткой, но все знали, что просто она не поступила в университет после своей английской школы и что ей зарплата ее идет только на булавки, а мама и миллионер-художник стоят широкой стеной вокруг своей Артемиды, не давая пылинке на нее упасть. Мама сама ей все кроила, миллионер возил на машине, а ела она мало: так решите простую задачу, сколько

она тратила на тряпки? Артемиду все любили как родную дочь, одна только ее сверстница, также работавшая в отделе, не выносила ее, ибо лучше других знала ее место в новой генерации, новом поколении, и всегда фыркала, когда Андрюша затевал разговор и с интересом слушал то, что отвечала ему Артемиде. А сверстница ее, славная трудовая девушка из семьи простых интеллигентов, дружила с Андрюшей серьезно и без задних мыслей. Надо думать, что и у него их не было, поскольку очень уж часто он, в обход всех других дам, стал задевать Артемиду. «Пхх! — усмеялась ее сверстница. — Ну с кем ты разговариваешь? Ну возьми вот шкаф дубовый, пустой, ну вот с ним и разговаривай».

А в лаборатории уже стало тесно и душно от этих двоих, Артемиды и Андрея, особенно когда он подходил к ее машинке диктовать — голос его срывался, это документальный факт. Она же печатала и так нешибко, а теперь, в присутствии Андрея, вообще то и дело слышалось ее тихое, свистящее: «У, зараза», — и ластик шаркал о бумагу.

И вдруг она перестала говорить со своим художником по телефону. И шмыгала после работы мимо его «мерседеса». А ему, толстенькому, бежать от раскрытой машины было не с руки, — он пока запирал, Артемиде была уже в метро...

И наконец наступил такой момент, когда художник позвонил и попросил к телефону Андрюшу. Андрюша долго и нудно, почему-то в нос, толковал с разгоряченным художником, что здесь только желают добра Артемиде, поскольку она молода и вся жизнь ее впереди и не хочется, чтобы ее затапывали в грязь («Уйди», — сказал Андрюша, и Артемиде вышла), — это не вам, сказал Андрей в трубку и гнусаво, как дьявол, продолжал плести свою демагогическую сеть, хотя и без видимой охоты, а в заключение сказал, думая, что он один, ну хорошо, я человек посторонний, я только со стороны смотрю, ну берите ее, только берегите ее, она того стоит, — и поровний горячку художник лопотал, что он женится, женится, хотя как ему было жениться от живой жены и детей и еще от одной Оли? Но он женится, женится, и на этом договорились, а Андрей опустил трубку на рычаг. А за шкафами сидела, не таилась, а просто сидела на своем рабочем месте Аля, та самая сверстница, искренний друг Андрюши и без задних мыслей, и она вышла и яростно сказала: «Какая грязь, как пачкают тебя. Ты хорошо все ему говорил» — и вышла, а там, в коридоре, стояла прислонившись к стене, почти как девочка перед учительской, где идет педсовет, юная Артемиде. Аля прошла мимо, не сказав ни слова. И спустя сколько-то минут вышел Андрюша с портфелем, ибо был конец рабочего дня и институт запирали, и они вдвоем с Артемидой пошли куда-то прочь, и завертелась эта их свистопляска; несколько раз на горизонте маячил толстый художник в окружении своих учеников — у него была мастерская, он брал заказы, а рисовала эта шарашка, которую он кормил и поил и да-

вал на расходы. Ученики издали неопределенно пригрозили Андрюше, но поскольку это были в основном люди без прописки и выгнанные с работы, то на большее они не пошли и истаяли, как дым, оставаясь на своих местах. «Артемидка», — сказал один из них, из темноты.

Тут вполне уместно, кстати, проводить несколькими теплыми словами художника-миллионера, который на самом-то деле был не художником, а просто великим мастером организации, а также великим мастером угощения и любителем собрать народ и выпить и который охотно делал дело и кормил не только пятерых учеников, но и жену с двумя детьми, затем Артемиду, а затем еще свою незабываемую любовь, одну аспирантку, и еще кое-кого временами, — и все это без спешки, с задумчивостью, бесцветно глядя из-за золотых очков, никогда не выходя из пределов, разве что выведенный из этих пределов Андрюшей, который отнять-то у него Артемиду отнял, а вот позаботиться о ней соответствующим образом не смог или не захотел, — короче говоря, Артемидка по-прежнему ела на обед один бутерброд, тихо ругалась за машинкой, но ни балов, ни «мерседеса», ни итальянских костюмов она больше в глаза не видала. Артемидка, скрытная особа, жила молчаливо, никогда не жаловалась, кровь в ее сапоге видела только Лидка, и то в туалете, где Артемидка рассматривала свои потери в виде залитого кровью чулка (подарок миллионера). Кровь была потому, что хромать Артемидка себе не разрешала и только ходила какая-то скучная, а железное острие тем временем сидело в живом мясе, пока Лидка не сбежала за куском картона, — но такие ли еще муки бывают!

Бывают еще и не такие муки, и позже мы узнаем, какие гвозди впились в нежное, податливое тело Артемиды, кроме всем видных гвоздей.

А всем видные гвозди выявились сразу же после майских праздников — в тот год благословенная погода стояла на дворе, и люди праздновали сначала сколько-то дней на май, а потом три дня на День Победы, а в середине оставалось всего несколько буден, и комфортные люди на эти одиннадцать дней устраивали себе каникулы и устремлялись к морю, на юг или на запад, и вокруг аэрофлотских касс все кипело.

Отбыл восвояси и Андрей, у него были отгулы, у него всегда было полно отгулов, поскольку он, как человек холостой и одинокий, отправляем был то на овощебазу в субботу, то на картошку осенью, то на сено в июле...

(Люди по-разному устраиваются со своим отдыхом — сделаем отступление от сюжета еще раз: одна женщина двенадцатидесяти в год, то есть каждый божий месяц, ходит сдавать кровь — бесплатно, но за отгул, и, к бессильной злобе своего начальника, уезжает каждую весну в Домбай кататься на горных лыжах, сиречь на своей крови, и сам черт ее не берет ни там, ни здесь, а кто-то должен за нее эти двенадцать дней вкалывать — ведь работа не стоит!)

Но Артемиды, хитрая какой-то детской слепой хитростью, словчила так, что просто не явилась на работу те серединные несколько дней, и, приехав и явившись на работу в один день с Андреем, равно с ним загорелая и свежая, она начала тихо врать, что была в Киеве и билет на самолет четвертого, пятого и шестого достать было невозможно. Так она и стояла на этой своей бесхитростной версии все время, пока ее таскали по отделам кадров и месткомам, а Андрей был в стороне, и все опять дружно молчали, не желая влетать в Артемидин позорный венец еще и Андрюшу. Наконец В. Д., втайне симпатизировавший Артемиде, плюнул и объявил ей выговор за опоздание на работу, и Андрей, надо с точностью это знать, не приложил к этому добросердечному и благотворительному акту ни малейшего своего труда. Он отстраненно и как-то даже устало следил за развитием событий. Он и сначала не очень-то приветствовал поездку Артемиды совместно с ним и смирился с этим, как с тем обстоятельством, что непорядочно будет ссаживать ее со своего самолета, некрасиво и невежливо. (Вспомним ту характерную особенность Андрюши, что на первый раз — так и быть — он позволял садиться себе на шею, но только на первый раз, словно бы для того, чтобы посмотреть, что будет.)

Затем Андрей не очень поддерживал уверенность Артемиды в том, что ей спокойно простят четыре дня прогула. Тонкость заключалась еще и в том, что Андрюша был непосредственным начальником Артемиды, и что это он писал проект приказа о выговоре с занесением, и именно он визировал сфабрикованное задним числом заявление Артемиды об отпуске за свой счет на четыре дня. Можно было видеть, как ему это все представлялось противным и недостойным делом, вся эта фальсификация и всеобщее сознание того, что именно он обязан все это почему-то делать. Но он, как всегда, совершил все полагающиеся манипуляции, и Артемиды продолжала свое тихое, сдержанное существование за машинкой у окна, существование, прерываемое только кошачьим шипением, негромким: «У, зараза» — и уже упоминавшимся шорохом ластика о бумагу.

Кстати сказать, те прогулянные Артемидой четыре дня за ее машинкой вынуждена была сидеть Аля, ненавидевшая всякое неравенство, а тем более неравенство в том плане, в котором она сама была не равна Артемиде с ее только что, в границах одного поколения, вылупившейся профессорской наследственностью, — сама Аля была интеллигенткой в пятом, не меньше, поколении. И не было в мире более аккуратно сработанных машинописных страниц, и не было в мире такого океана, который бы сравнился емкостью с океаном спокойного презрения, стоявшим в глазах Али.

Теперь мы уже близки к финалу, к тому моменту, когда спокойное и торжествующее презрение, переполнявшее все существо Али, вдруг за-

менилось резкой и безоговорочной, какой-то даже испуганной брезгливостью, отшатыванием и ужасом перед Артемидой, которая продолжала сидеть за машинкой у окна, спиной к свету и лицом к лаборатории, и только холмик «Рейнметалла», железный, серый холмик пишущей машинки, мог заслонить хоть какую-то часть существа Артемиды. Артемиде нельзя сказать чтобы выглядела убитой, она только сидела скучная, и в этой связи вспомним гвоздь в сапоге, кровь и то, как в те поры Артемиде ходила именно скучная, — но не хромая, нет!

Дело-то с Артемидой выяснилось неожиданно просто: Аля познакомилась — она была недурна собой — с неким парнишкой, который тоже был из их с Артемидой генерации, а проще говоря, был с ними с одного года и был, оказывается, в свое время одноклассником Артемиды, — так этот парнишка очень просто сообщил, что Артемиде никакая не профессорская дочь, а дочь машинистки, и что кончали они не английскую школу с машинописью и стенографией, а обычную, заурядную, и что квартиру-то да, дали им в свое время, но не трехкомнатную, а двух, и живет там, во второй запроходной комнате, замужня сестра с семейством, — вот так.

Вот так, так постыдно все оказалось, так нелепо, и Андрюша иногда даже закидывал голову и тряс ею, как бы не понимая, в каком мире он живет, а Артемиде все сидела за своим оборонным валом, валиком, за крошечным бруствером, почти не закрытая, открытая всем гвоздям и пулям, — но что с ней можно было поделаться, с этой врушкой! Как это говорится о мертвом убийце: «Теперь что хочешь, наружи не оставишь». Так и с Артемидой, что теперь было с ней поделаться? Сама она себя наказала, сама себя раба бьет, — и посмотрите, как долго она все это врала, сочиняла, как ела свой жалкий бутербродик, якобы оттого такой маленький, что желудок у нее еще в детстве уменьшался, уменьшался и уменьшился, и знаменитая мать не знала, что и поделаться со своей тощей дочерью, — а на самом деле весь этот бутерброд исходил из соображений экономии!

И так на самом деле была нелепа и глупа эта ситуация, в которую она попала, что даже и места для жалости не могло остаться ни у кого в душе: чего здесь было жалеть, спрашивается? Здесь мог быть один только смех и недоумение, и всё, и потрясение головой, как это имело место у Андрюши.

Однако жалость ходит своими неисповедимыми путями, как и любовь, и пожалеть кого-то, всей душой и отчаянно пожалеть, — это, оказывается, дело случайное и нелогичное.

И неожиданно Андрюша был вынужден уйти с работы от этой истории подальше — не именно от этой истории Артемиды, которой его строгая душа не смогла вынести, а просто от той странной истории, которая у него заварились с В. Д. Что-то произошло с В. Д., ранее всегда

считавшим Андрея единственной надеждой науки и относившимся к нему как строптивый, но бессильный перед своей любовью отец. И что бы могло заставить Андрея уйти с работы? Ведь не присутствие же грешной Артемиды тут же, под боком? Да, что-то случилось, и, видимо, в отделе вдруг создалась такая ситуация, при которой все перспективы для Андрея разом закрылись, поскольку В. Д. все старался смотреть поверх Андрюшиной головы, а Эдик все тревожно звонил Лидке, и она односложно ему отвечала, и было видно, что Эдик в курсе и ранен еще глубже, и что именно Лидка осветила ему всю гамму событий, так что Эдик задымился.

А В. Д., движимый неизвестно чем, вдруг стал на собрании орать на Артемиду, что она не чешется поступать в институт, тратит время черт знает на что, на тряпки.

Артемиды, ничуть не обрадовавшись, пошла в отпуск для поступления в институт, на который ей указал В. Д. как на институт, где его помят и где он что-то может. Но только Лидка знала, что Артемиды никаких экзаменов не сдавала, а ходила лежать в больницу и вернулась через три дня скучная и осторожная, сказав всем, что получила двойку.

Андрюша же был в это время где-то за горизонтом, в новом с иголочки институте, и начинал новую жизнь с надеждой на повышение, квартиру и так далее, и все так и вышло.

Так что наше повествование кончается полной победой героя.

Некоторые скажут, что победитель-то победителем, но кого тут было побеждать — стариков, женщин и невротиков, что ли? Другое дело, что таковыми мы все являемся.

Опять же другое дело: что такое суть победы над нами? И не поддерживать ли ту мысль, которая уже высказывалась в начале нашего повествования, — что любые победы суть явления временные, что жизнь такова, что она все изворачивается, все поднимается после ударов, все растет и пучится.

В частности, в один прекрасный рабочий день испуганная Лидка, вернемся к ней, позвонила Эдику и сообщила ему, что видела в городе Андрюшу и что Андрюша вроде бы сказал, что скоро обнаружит ее, Лидку, — то есть, сказала Лидка, расскажет, наверное, все мужу, только зачем? В ответ на что далекий уже Эдик машинально ахнул, но уже без прежнего энтузиазма, как будто что-то соображал про себя, как будто в этот момент что-то отвлекало его, какие-то горькие мысли.

Но еще через неделю Лидка опять сама позвонила Эдику и сказала теперь, что все в порядке, она выяснила, что просто Андрюша решил стать писателем и описать ее, Лидку.

И вот тут Эдик стал долго и радостно хохотать, как в прежние времена, как если бы к нему вернулись все силы и он стал опять молод и здоров.

Однако шуткой-смехом, шуткой-смехом, как говорит одна незамужняя библиотечка, шуткой-смехом, а все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело.

## Маленькая девочка из «Метрополя»

### НАЧАЛО

Когда я думаю о человеческом роде, то представляю его себе не в виде генеалогического древа с ветками.

Род выглядит как лес, он просматривается далеко — и в виде цепочки людей-деревьев, которые держатся за руки. Почему-то так. Там, в тумане времен и веков, стоят они, предыдущие поколения, многорукие деревья, и каждый предок соединен ветвями с одной своей стороны с родителями, а с другой стороны с детьми. И каждый — и отец и одновременно сын, и сам по себе единственный в мире. И каждая из них — дитя своей матери и мать своей дочери или сына и в то же время отдельное, непохожее ни на кого создание. И каждый един в трех лицах — дитя, родитель и личность.

Пока тот, в центре, силен, он поддерживает обе стороны, и тех, кто стоит перед ним, и тех, кто встал потом. И этот центр перемещается со столетиями. Человек слабеет, его сила переходит к следующему поколению. Его ум, его знания уходят с ним, их не передашь, а качества могут перейти к потомкам — упорство, даже зверское упрямство во вред себе; сила духа; убеждение, что еда должна быть спартанской, а вода для обливания холодной; обжорство в праздники; несогласие с властями; верность своей позиции во вред себе и ближним; сентиментальность, любовь к музыке и поэзии и вздорность по пустякам; свирепая честность и полная невозможность прийти куда-нибудь вовремя; чистота помыслов, стремление всем помочь и ненависть к соседям; любовь к тишине и громкость повседневного крика; умение жить без денег и безумные траты на подарки; полный тарарам в доме и жесткие требования к домашним убирать за собой — и безграничная любовь к малышам, особенно когда они спят во всей своей красе.

Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса в тридцать семь лет, оставив шестерых детей. Ее муж, мой прадед Илья Сергеевич, врач, пошел к реке. Он считал себя виновным в смерти жены. Все пятеро побежали за ним, догнали на берегу и повисли на отце, остановили. Маленькую несла старшая, Вера. Когда маму Асю хоронили, дочь Валечка восьми лет шла за отцом как тень, ступая в его следы и бормоча про себя: «Я всю жизнь буду идти по твоим стопам». Они почти все стали подпольщиками, дед

был большевик, борец за права угнетенных. Работал он обычно доктором при фабричном управлении, а к нему стекалась хворая беднота из поселка и деревень. И он вообще никогда не брал денег за лечение. Только жалованье. Принципиально принимал всех угнетенных, а должен был обслуживать только персонал. Поэтому, как правило, его увольняли быстро, и работу он находил преимущественно на эпидемиях, на холере и чуме — туда принимали всех врачей, даже ссыльных.

Я, как только начала говорить, назвала его Дедя.

## ВЕГЕРА

Я родилась в гостинице «Метрополь», это был второй Дом Советов, гостиничные номера там занимали старые большевики, в том числе мой прадед, Дедя, Илья Сергеевич Вегер, член РСДРП с 1898 года. Там же жила, после развода с мужем Н. Ф. Яковлевым, дочь И. С. Вегера, моя бабушка, Яковлева Валентина Ильинична, тоже член партии с 1912 года, с дочерьми Верой Николаевной и Валентиной Николаевной, моей будущей мамой. Все три, как полагается в сказках, были удивительные красавицы. За бабушкой Валею бегал юный Маяковский, но она предпочла студента Колю Яковлева. Их дочь Вава (Вера) выросла и стала самой красивой девушкой (белоснежная улыбка, косы, синие глаза) Бронетанковой академии, а моя мама с четырнадцати лет, будучи очень высокой девочкой, выходя на улицу, подвергалась постоянным провожаниям кавалеров, в особенности солдат, причем она им простодушно отвечала на вопросы как зовут и где живешь, но не говорила, сколько лет, и это огорчало ее мать и сестру. В семье мою маму звали Люлей, она была младшей, и ее всегда считали неопытным ребенком. Хотя она упорно училась, читала горы книг и в школе, и на своем литературном факультете. На ее письменном столе стояли пирамиды томов (по одному только Средневековью было три огромных хрестоматии). Она настолько серьезно занималась литературой, что воспринимала обычное чтение как профанацию. Про племянницу третьей жены своего деда (Деди), которая племянница в самую голодуху частенько приходила в «Метрополь» к Деду за книгами, Люля говорила: «Ну конечно, тургеневская девушка на скамейке у пруда с романом в руках». На самом деле племянница оставалась ужинать.

Литература для молоденькой Люли была объектом изучения! Втайне же она любила раннего Горького.

Но так вышло, что Люля, наивная, серьезная и совершенно невинная девушка, забеременела в день своего рождения, 23 августа 1937 года, на даче в Серебряном Бору.

Я в детстве слышала своими ушами, что она сказала нашей пузатой, на восьмом месяце, дворничихе Гране, которая пожаловалась, что дол-

го не могла забеременеть. Мы стояли в воротах, и мама засмеялась, показывая на меня: «А я вот с первого раза...»

В то лето они жили в Серебряном Бору.

Это была государственная дача старшего бабушкиного брата, Владимира Ильича Вегера, старого большевика, руководителя партийной ячейки РСДРП на Красной Пресне и одного из организаторов знаменитого краснопресненского восстания с баррикадами 1905 года. Его партийная кличка была Поволжец.

(Я сейчас работаю между станциями метро «Баррикадная» и «Улица 1905 года». И никто не знает, что все это дела моего двоюродного деда Владимира Ильича, все названия, эти вывороченные камни мостовой и баррикады, все эти будущие скульптуры типа «Бульжник — орудие пролетариата». До сих пор московский транспорт тарыхтит по специально оставленному историческому бульжнику между площадью Восстания и метро «Баррикадная».)

Поволжец, кстати, принял в партию пятнадцатилетнего подростка Маяковского, после чего тот загремел в Бутырскую тюрьму и впоследствии вышел из партии.

Маяковский ходил в дом к Владимиру Ильичу-Поволжцу и там познакомился с его младшими сестрами, Верой и Валей Вегер. В Валечку он влюбился немедленно.

Бытовала наша семейная легенда, что Маяковский с Бурлюком из этого дома вышли в блузах, Маяковский в знаменитой желтой, Бурлюк в лиловой. Мама мне рассказывала, что блузы мальчики взяли у сестер — но девушки были маленькие, а Маяковский огромный. Сомневаюсь. Может быть, ребята просто для смеха примерили? Правда и то, что блузы тогда курсистки носили пышные, на сборках.

Моя мама также говорила, что в тридцатом году она со своей матерью ехала в трамвае, и они столкнулись там с Маяковским. Бабушка сказала Маяковскому: «Это моя дочь». Вид у поэта был какой-то изнуренный, усталый. Шел последний год его жизни.

\* \* \*

В 1937 году Владимир Ильич Вегер-Поволжец выстроил себе загородный дом на Сорок Втором километре по Казанской дороге в кооперативе научных работников, а государственную дачу в Серебряном Бору на лето отдал сестре Валентине (моей будущей бабушке) и ее дочкам.

Весной этого проклятого года произошли страшные события. В мае был арестован и подвергался допросам бабушкин брат Женя Вегер, член Политбюро Украины и секретарь Одесского обкома партии, была арестована и шла к расстрелу его сестра Леночка Вегер (она долгие годы руководила секретариатом у Калинина). Был арестован и казнен

муж Аси, бабушкиной сестры, а саму Асю увели почти год спустя, она много лет просидела в ГУЛАГе. Расстрельный приговор тогда мягко называли «десять лет без права переписки».

Остальным приходилось ждать внезапных гостей. Это была пытка.

Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала шум, как будто машина останавливается где-то вдали, открывается калитка, и очень явственно слышатся шаги по гравиию...

В те годы именно ночью приходили за людьми, опечатывали квартиры, и больше никто и никогда не видел этих людей.

Каждую ночь кто-то явственно шел от их калитки к дому. Скрипел гравий. Но в дом не заходили. Надо было ждать. Спать стало невозможно. Выйти посмотреть она боялась.

Она пошла к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у нас, здесь вы будете в безопасности».

Она осталась. Видимо, это ее и спасло. Ее так и не арестовали.

Моя бабушка была исключительно умная и прозорливая женщина. Она знала, что забирают всех — кроме психов со справкой. Молодая жена Жени Вегера, Соланж Корпачевская, пианистка и красавица, наполовину француженка, после ареста мужа была также схвачена — но в камере от ночных допросов она сошла с ума, и ее освободили. Когда Дедя к ней пришел, она беспрерывно рыдала, сидела на кровати седая в свои молодые годы, черная, истощенная, и бессвязно кричала. Дед был врач. Но он не остался у ее изголовья, а развернулся и без слова ушел. Не знаю почему. Может быть, он сам внутри себя также хотел кричать все это время, но сдерживался. А она, безумная, была свободна в своих воплях. Женя был его надеждой, его гордостью (со старшим, Володей, он не общался со времен революции), Леночка — младшей любимейшей дочерью. Возможно, что человеческих сил вынести этот крик не было.

Дальнейшая судьба невестки была ужасной — мать Соланж забрала ее и ее маленького сына, увезла на Украину. Началась война, пришли немцы. Соланж с сыном и матерью вместе с колонной евреев из гетто были заживо закопаны в землю.

Но это произошло позже.

В описываемое время, летом 1937 года, Соланж еще, видимо, сидела, от Леночки, Жени и мужа Аси не поступало никаких сведений (та самая формулировка, «без права переписки»). Женю и Леночку арестовали 23 и 24 мая 1937 года.

Леночку расстреляли 3 сентября. Женю 21 ноября.

Позже мне сказали, что, кто держался дольше, не признавался в шпионаже, не подписывал бумаг, тех мучили больше и казнили позже.

А моя будущая семья в это страшное лето скрылась в Серебряном Бору. Иногда люди просто уезжали из своего дома, и посланные из НКВД их не находили.

Моя мама рассказывала, что Стефан (мой предстоящий отец, тоже, как и она, студент ИФЛИ, но не литфака, а философского факультета) приезжал к ней в то лето на дачу в Серебряный Бор... Она не уточняла, в какое время это происходило и где они виделись. Судя по всему, вечером и не в доме.

Позже я узнала, что мой отец был родом из Николаевской губернии, село Верхние Рогачики, и в его большой семье (это мне сказали уже другие люди) многие страдали туберкулезом. Он приехал в Москву больной, без ничего, как Ломоносов, поступил на рабфак на правах сельского бедняка с выдающимися способностями, а затем в ИФЛИ. Своего угла не было. К врачам он, скорее всего, не обращался. Может быть, боялся, что положат в больницу, придется потерять год. Жил и жил, покашливал. Он был высокий, кудрявый, симпатичный. Моя мама, усердная студентка литературного факультета, была красивая, сдержанная, серьезная, в жизни не понимала ровно ничего и вечно сидела над книгами. Кроме того, семья этой милой особы жила в самом лучшем доме Москвы, в «Метрополе». А ее мать раньше работала в Кремле, а потом в комитете по науке. А сестра училась в Бронетанковой академии. Поэтому мой будущий отец их, вероятно, сильно боялся.

Так что не исключено, что ночами, таясь от мамы и сестры своей любимой девушки, Стефан, видимо, как тать ночной, шел от последнего троллейбуса к калитке, потом по гравию пробирался к ее окну и вызывал на свидание. Так я думаю. Эти шаги, которые никогда не заканчивались стуком в дверь!

Бабушка была совершенно здорова психически.

Такова моя версия тех событий.

Во всяком случае, шаги были, но моих родных не забрали на Лубянку.

Короче, я родилась 26 мая 1938 года, примерно через девять месяцев после маминого дня рождения.

Но меня не опечатали в квартире, как это случалось с младенцами арестованных, и я росла у бабушки под боком под звучание великих текстов русской литературы, но об этом ниже.

\* \* \*

А примерно два года спустя после описываемых событий мои родные вернулись домой и увидели, что дверь, ведущая в их комнаты, все-таки опечатана. То есть бабушка шла впереди, стала открывать дверь, не открыла, повернулась и навсегда покинула эту квартиру, не говоря ни слова...

А шедшая сзади Вава, в свою очередь, подошла к двери и увидела, что там на ручках намотана проволока, а на проволоке висит пломба.

Может быть, если бы они вернулись домой раньше, их бы уже увезли. Но они опоздали как всегда. Наша семья опаздывает вечно, из поколения в поколение.

Из их дома, из «Метрополя», исчезло уже много народу.

Так Вава простилась с соседкой через стенку, фамилию которой она не помнит точно, вроде Калыгина. Она была секретарь обкома и часто приезжала в Москву в свою комнату в «Метрополе», всегда с командой из нескольких мужчин-помощников.

В тот раз Вава вошла в квартиру и увидела соседку в сопровождении двоих: один в форме шел впереди, другой, в штатском, сзади нее.

Вава радостно с ней поздоровалась. Калыгина отвернулась и сжала рот.

Вава сказала матери:

— Анну Степановну провели между двоих. Моя бабушка даже не кивнула.

\* \* \*

Без одежды, вещей, книг, потеряв мебель, одеяла и посуду, не говоря о картинах, они пришли к Деде, к Илье Сергеевичу Вегеру, в соседний подъезд «Метрополя», и поселились у него.

А я запомнила ту нашу, предыдущую квартиру в «Метрополе», две смежные комнаты с дверью посередине, над дверью картина: на изумрудном фоне женская головка в профиль с изогнутой шеей и ярко-рыжими волосами в виде шлема.

## ЯКОВЛЕВЫ

Мама подтвердила потом, что слева от двери наверху висел портрет моей прабабки со стороны деда, как я теперь знаю, Александры Константиновны Яковлевой, урожденной Андреевич-Андреевской, помещицы хутора Булгарин Области Войска Донского. У нее в имении, по семейной легенде, висел в рамке документ о том, что ее предок, Андреевич, при дворе польского короля Жигмунта Августа получил дворянство. Вроде дата стояла, шестнадцатый век. По семейным преданиям, братья Андреевичи, запорожские казаки, служили у короля Жигмунта конюшими. И один из них остановил на скаку понесшего королевского коня, после чего ему и было даровано шляхетство, т. е. дворянство. Его потомок, Яков Максимович Андреевич, известен тем, что был декабристом, состоял членом тайного общества. Яков на каторге проявил себя как художник-любитель, и сохранился его портрет работы Н. А. Бестужева, сделанный в Петровском заводе (позднейшая копия поступила в

московский Музей частных коллекций). Яков Максимович Андреевич изображен с кистями в руке. Он содержался в Читинском остроге, затем в Петровском заводе. Его перевели на поселение в Верхнеудинск, когда он уже был безнадежно болен психически. Умер Яков Андреевич 39 лет от роду, просидев 14 лет.

Второй Андреевич, Гордей, был арестован по подозрению в участии в тайном обществе, содержался в Петропавловской крепости, но был освобожден.

\* \* \*

Портрет Александры Константиновны над дверью нашей квартиры принадлежал кисти Валентина Александровича Яковлева, художника из группы «Московский Салон» — он приходился двоюродным братом моему дедушке, Николаю Феофановичу Яковлеву.

Валентин умер молодым в 1919 году. Сейчас работы В. А. Яковлева хранятся в Воронежском и Омском музеях. Недавно была выставка в галерее «Элизиум», куда собрали немногие уцелевшие живописные вещи Валентина Яковлева. У нас сохранилась только картина «Амур и Психея», живопись маслом на картоне. Я под ней выросла, это единственное, не считая полки книг, что осталось у нас от дедушки Коли. Став профессором, он собирал редкие экземпляры, первоиздания Пушкина, Библии, раритеты. Все это исчезло.

Моя бабушка вышла замуж за моего дедушку юной, да и дед был совсем молодой, он закончил университет, когда у него уже родились две дочери.

Баба Шура, свекровь, жила на Остоженке, в Лопухинском переулке, в особняке с садом. Когда ее сын Коля привел молодую жену Валю в свой дом, где по барскому обычаю на сундуке в сенях спала прислуга, то не привыкшая к таким нравам юная большевичка Валентина вообще несколько дней безвылазно сидела на своей половине от неловкости — поскольку первое, с чем она столкнулась на новом месте, это был казачок, слуга, который, в темной прихожей соскочив с сундука как нечистая сила, стремглав бросился ей в ноги: как потом выяснилось, стаскивать ботинки.

Баба Шура, помещица, ночь-заполночь играла с гостями в карты, не было гостей — играла с прислугой. С мужем, Феофаном Васильевичем, она разъехалась, у него была собственная клиника (уха-горла-носа), где он и жил со своей помощницей-медиком как главный врач, отдав больницу советской власти. Сын четы Яковлевых, мой дед Коля, сначала учился в Первой гимназии на Волхонке, 16, где инспектором и преподавателем литературы был В. Ф. Луговской, любимый учитель дедушки. Затем дед поступил в Московский университет и ездил (по

семейной легенде) на своем авто и играл на скрипке. Его сестра Мария, разумеется, росла красавицей, она собиралась в артистки. Брат Павел стал офицером (в гражданскую он ушел с Белой гвардией в Турцию и кончил свои дни в преклонном уже возрасте, таксистом в Париже, Маруся его там навещала).

Опять-таки, по семейной легенде, дед мой, поехав перед революцией по ученым делам в Германию, привез жене оттуда переданный русскими чемодан, не поинтересовавшись, что в нем. А там содержался миллион партийных денег. Вот так! А не какой-то там пломбированный вагон.

Обе девочки Яковлевых, Вера и Валя, родились там же, в доме на Остоженке. Они научились вылезать в садик прямо через окно.

Когда молодые супруги переселялись на верхний этаж дома на Народной улице, что на Таганке, то мать завела обоих малышей в пустую квартиру, а сама встала в дверях, чтобы ожидать грузчиков, тащивших мебель по лестнице. Окна по летнему времени были открыты.

Старшая, Вава, которой было три годика, подбежала к двери и настойчиво стала тянуть мать за подол. Та не могла уйти с лестницы, надо было указывать грузчикам, куда что нести. Но Вава не уступала, тянула за юбку и кричала. Мама Валя наконец сдалась и пошла за ней. И что же она увидела? Малышка Люля стояла на подоконнике и собиралась вылезти из окна на улицу (с пятого-то этажа), как привыкла в старом доме.

Так Вава спасла Люле (и мне) жизнь.

Чудом сохранились дневники того времени друга дедушки, поэта и этнографа, востоковеда, исследователя Дагестана Евгения Шиллинга. Как поэт он печатался в знаменитом журнале «Маковец», участвовал в сборниках стихов вместе с Велимиром Хлебниковым.

Он был глубоко религиозным человеком, посвятил одну из своих пьес-фантазмагорий Павлу Флоренскому, вступил с ним в переписку и впоследствии навещал его в Сергиевом Посаде вплоть до его ареста. Сам Е. Шиллинг был арестован в 1932 году как собиратель Музея народов СССР, начиналось «дело музейщиков». Но оно как-то заглохло, НКВД переключилось на более эффектное разбирательство, дело Промпартии. Евгения Шиллинга отпустили.

Эти дневники он писал раз в год, в ноябре, в форме писем Другу. По его формулировке, дальнему Другу — может быть, ангелу-хранителю. Ни разу он не назвал его по имени. Но обращался к нему как-то по-свойски, например, «друзе».

Данная дневниковая запись относится к 26 ноября 1917 года, как раз когда Яковлевы с маленькими дочерьми переехали на Народную улицу. Стоял ноябрь. Женя Шиллинг навестил Колю и Валю Яковлевых. Вот запись:

«Был у обеденьки. Служил архиерей Кирилл Тамбовский.

Среди дня сумерки. Дома прилег... Пришлось рано или поздно выходить на дальнюю дорогу и, рано ли поздно ли, прибыть к некоей чете с чадами. У нех протек весь вечер. Приняли хорошо, поздоровались, отрезали кусок пирога и для забавы инсценировали начало Антонидиной арии из „Жизни за царя“ — „Налетели злые коршуны“... Причем меня заставили играть роль того, на кого „налетели“, а сами исполняли „коршунов“. Вышло очень мило благодаря простодушию инициаторов картины и их музыкальности. И дальше все пошло своим чередом: все прибрано, сновала прислуга, горела лампа и освещала поющую женщину. Маленькие девочки слушают мать. Сразу видно, что поет словесница — и напев, и текст будто бы подлинны. Пора спать, а девочка просит: „Мама, расскажи про детей земли!“ Сразу видно, что это была „литературная“ сказка или, вернее, „новейшая“ сказка. И на том и на другом отпечаток модерна с художественным уровнем (говорю лишь для данного случая) пуговиц модного дамского пальто. А как уютно: лампа, женщина, девочки... Совсем детство. Чувствую, ресницу гнетет серая нежная паутинка: надо кончать. Где-то поет розовая молочная пенка; в сердце вспыхивают глазки. Как уютно: если окинуть все тихим взглядом, но не всматриваться, не вслушиваться. Дети земли, какой ужас! Модерные соринки и штришки! Как коротко и тесно. Нельзя побыть, войти и остаться. Нарисованные декорации комнаты с изображением стола, стульев, лампы. Какими они будут непонятными, эти девочки. У них будут лбы и, может быть, это будут лбы Медуз. Что таится за их глазами? М. б., представление какого-то „общего блага“ в связи с забавной формой маминой муфты. Хорошо бы миру сему немножечко „сердечного тепла“, а то ведь за последнее время измаялся, в комнату не могу к людям войти — все кажется, у них ключья изо рта лезут. Все говорят, занимайтесь делом, что, мол, делаешь? Уроки даешь? Много энергии отнимает? Времени нет? Или: а ты был там-то и там-то? С кем? Дружок мой, не знаешь ли еще, между прочим, почему победители (здесь это так называемые „большевики“) кажутся людьми, пообедавшими два раза? Прости за ерунду, дальнего не было. Впрочем, было: ночью начал „Эликсир сатаны“ нашего общего друга Э.-Т.-А. Гофмана. Да, когда возвращался домой, лобызал в душе сандалии апостола Павла».

Он написал: «Какими они будут непонятными, эти девочки». Ему было двадцать пять лет. Моей бабушке, этой «поющей женщине», было двадцать три.

Евгению было неловко в этой семье. Его друг вступил в партию большевиков и участвовал в уличных боях с юнкерами... Со своими!

«Дважды пообедавшие» большевики. Так и напрашивается слово «победившие». Игра слов. Победа. Обед. Беда.

---

Мне как будто показали отрывок из фильма. Мои тетя и мама, трех и полутора лет от роду, малышка Вава и крошечная Люля, стоят у стола под лампой и смотрят во все свои глазищи на красивого дядю из-под своих выпуклых лобиков...

Этот отрывок из дневника продиктовала мне замечательная художница Катя Григорьева-Шиллинг.

Однажды в гостях мы сидели рядом, нас представили друг другу. Я ей сказала, что у меня в детстве был друг дядя Миша с такой фамилией Шиллинг. И вдруг она ответила, что это, наверно, ее дядя! Потом выяснилось, что вообще мы жили с ней в одном подъезде! Потому что ее отец, Евгений Шиллинг, и мой дед были друзьями, и Шиллинг в 20-х годах, когда мой дед ушел из семьи, пригласил его жить у них в квартире! А моя мама потом тоже там поселилась, после Куйбышева. Языковед Яковлев и этнограф Шиллинг вместе ездили в экспедиции по Дагестану, мой дед Коля в шинели и с пистолетом, а Женя без ничего, с блокнотом (оба одинаково не от мира сего деятели).

Квартира № 37 принадлежала трем братьям Евгения — Константину, Николаю (оба они рано умерли) и Мише. Николай был женат на Натуге Реформатской, сестре А. А. Реформатского, известного филолога (тоже хорошего друга деда Коли).

В 20-х годах, когда квартиру Шиллингов на Малой Дмитровке, 29, «уплотняли», т. е. решили вселить в нее посторонних, Евгений Шиллинг пригласил к себе жить моего уже разведенного деда Николая Феофановича с его новой семьей, а сам переехал к матери этажом выше. Собственно, в одной из комнат квартиры братьев Шиллингов, в самой маленькой, в бывшей библиотеке, и протекала впоследствии наша с мамой жизнь (под столом).

Мой любимый детский друг был как раз дядя Миша Шиллинг, наш сосед, брат Евгения, врач-рентгенолог в поликлинике НКВД, в молодости мечтавший быть артистом. Перед нами с мамой он под хорошее настроение и под тра-ля-ля исполнял свой знаменитый танец с тросточкой и в котелке — абсолютно как Чарли Чаплин. К нему я заходила как в рай — в его чистую комнату с портьерами и напольными часами, со старинным абажуром над скатертью, а за ширмой стояла тумбочка с мраморным верхом и солдатская койка, заправленная по всем правилам. А в пустом шкафу висела военная форма. Дядя Миша иногда ходил по квартире в голубом теплом офицерском нижнем белье вместо пижамы и был очень элегантен.

Я мечтала, что когда вырасту, у меня будет такой же квадратный стол со скатертью, напольные часы и абажур. И я буду есть ножом и вилкой и пользоваться салфеткой, как дядя Миша (а не из кастрюльки ложкой и не с газетки руками, и вытираться не рукавом и не пригоршню).

Свой второй в жизни рассказ я написала о дяде Мише, но никогда не публиковала. Он женился на тете Вале, рабочей сцены из Детского театра, доброй и приветливой, низкорослой, плечистой, с узким тазом и очень развитыми икрами, а лицом похожей на Марка Бернеса. Перед этим она много лет ходила к нему невидимкой, ее скрывала завеса тайны, и в эти вечера комната дяди Миши стояла запертой. Иногда ночью, выйдя в уборную, я включала там свет, и чья-то голая рука в панике, наобум высунувшись из двери туалета, гасила его. Потом дядя Миша предъявил всем свою новую жену! Тетя Валя и дядя Миша всегда были довольны друг другом, веселы, неразлучны как близнецы и курили не переставая. Когда впоследствии у дяди Миши ампутировали обе ноги, жена выносила его во двор погулять на скамейку...

Одна из фамилий в моей пьесе «Три девушки в голубом» — Шиллинг. В его честь. Он единственный в доме был добр к нам с мамой.

Возвращаясь к жизни семьи Яковлевых, хочу добавить, что дед Коля укладывал дочерей спать своеобразно: садился между их кроватками и пел им старые казацкие песни («Течет реченька д по песо-очику д бережка-а разно-ос-ит»). Казак он был с Дона. Я эту песню тоже по наследству пела детям.

Когда после революции начались голод и нищета, его мать, баба Шура, поехала за продуктами и вещами (по легенде, за драгоценностями) в свое имение на Дон и была на дороге расстреляна красноармейцами. Говорят, у нее хитростью стали выяснять, как она относится к белым и красным. Она не разобралась, растерялась и сказала правду. Там, на обочине, ее и закопали. Кто-то был с ней рядом, кто ее хоронил и кто передал нам эту историю.

А вот отрывок из статьи, написанной о ее сыне, моем деду профессоре Яковлеве, его учениками, профессорами Ф. Ашниним и В. Алпатовым:

«Дворянин, выпускник Московского университета, основатель Московского лингвистического кружка, в котором начал свой путь в науку Роман Яковсон, Яковлев в 1917 году ушел в революцию. А потом вернулся в науку, что можно было сделать только сдав партбилет. В 20-е годы он выступал в трех ролях: один из создателей структурной фонологии (Яковсон потом говорил, что Яковлев эти идеи, теорию фонем, выдвинул раньше, чем они с Николаем Трубецким); видный исследователь чеченского, ингушского, кабардинского и других языков; и лидер языкового строительства. В 1928 году ради научного конструирования новых алфавитов он предложил математическую формулу построения алфавита. Он начал переводить кавказские языки на латиницу, так как кириллица считалась языком колонизаторов. Им было составлено около 70 алфавитов».

Должна добавить, что латиницу в кавказских письменностях упразднил Сталин. Мировая революция, ради которой вводилась латиница,

временно откладывалась. Надо было сначала расстрелять кое-кого у себя дома.

В статье упоминается академик Марр. Я в детстве довольно часто слышала дома это имя. Дед всю жизнь боролся с Марром. Как говорится в статье, Н. Ф. Яковлев отстаивал «конструирование алфавитов от некомпетентного вмешательства марристов», делая это «в обстоятельствах господства ненаучного „нового учения о языке“ Марра...»

Но, сказано далее: «Яковлев в ряде случаев поддался марризму».

Короче говоря, когда Сталин опубликовал свою очередную эпохалку, антимарровскую брошюру «О марксизме в языкознании», дед Николай Феофанович, вечный и одинокий борец с Марром, «попытался хотя бы по некоторым пунктам спорить с вождем», как пишут исследователи.

Спорить с вождем...

Когда все были за Марра, дед воевал с ним. Когда против Марра выступил Сталин, Яковлев возразил «по некоторым пунктам».

Ну был в истории такой один Джордано Бруно. Боролся за правду, не предавал своих принципов.

Мой великий дед много лет просидел в психушке. Его забрала оттуда Вера Николаевна Яковлева, моя тетушка.

Когда в Москву в послесталинскую эпоху приехал знаменитый американский профессор Роман Яковсон, он пытался встретиться со своим старым другом. Ему деликатно возразили. Не стали показывать деда, пощадили обоих.

Возвращаясь ко временам молодости моих Яковлевых: я ничего не знала о том, что дед был коммунистом и потом вышел из партии. В семье об этом не говорилось.

Но я прекрасно понимаю, под чьим влиянием он вступил в партию.

Сохранилась фотография, на которой летним днем, на лугу, в идиллической обстановке стоят Деда (Илья Сергеевич) и мой грядущий дед Коля Яковлев. Впереди моя будущая бабушка Валя. Рядом с нею с одной стороны старшая Вера, а с другой — подросток Леночка и, чуть постарше, Женя.

У девушек в волосах розы, в руках посохи — видимо, это загородная прогулка.

Деда стоит как-то воинственно. Как мне сказали, он не любил, когда его дочери выходили замуж. А тут явно к этому дело шло, учитывая несчастный вид Коли и лукавую улыбку молоденькой Валентины.

Это фотография, видимо, 1912 года. Как не хотелось бы знать их будущее...

\* \* \*

Удивительно, что я запомнила профиль с портрета расстрелянной бабы Шуры, исчезнувшего в дубяньских хранилищах (скорее всего, из распределителя попавшего не в музей, а на стенку к кому-нибудь из «своих»). Портрета нет, а с него началась моя жизнь, т. е. началась моя память. Человек — это его память.

Помню, например, такое событие, что я учусь ходить вдоль дивана. Руками держусь за сиденье и не очень умело перебираю ногами. Дело происходит на дачной веранде, залитой вечерним солнцем. Я жмурюсь, мне весело. Я научилась ходить поздно, в годик, после длительного воспаления легких. Мне хорошо, я рада, и мама рада, что я хожу. Счастье связано с теплом, светом, зеленью и мамой. 1939 год.

\* \* \*

И вот этот вид в «Метрополе» — я стою в огромной комнате, передо мной распахнутые двери в другую комнату, на стене портрет бабы Шуры с лебединой шеей и темно-красными волосами, а передо мной тазик. Мне кричат, чтобы я не наступила в него, осторожней! (Может быть, меня только что подержали над этим тазиком?)

\* \* \*

...А вот я рухнула с сундука. Тесная, темноватая комната, заставленная вещами. Я разбила себе голову. Огромные озабоченные люди, их тени. Мы уже не дома. Это не наши две комнаты в «Метрополе». Мы у чужих. Нашу квартиру опечатали. Мы «скитаемся». Это слово из моей детской жизни.

Шрам у меня на виске у левой брови.

## НАЧАЛО ВОЙНЫ

А начало бесперебойной череды событий, отложившихся в памяти, следует отнести к 1941 году, к началу войны. Мама меня несла в бомбоубежище, вниз в метро «Площадь Свердлова» ночью, и было очень весело, над головами творилось что-то праздничное, как при салюте: лучи прожекторов, белые столбы света, сходясь шатром, двигались и перекрещивались в темном небе (на самом деле шарили в поисках самолетов).

Я не хотела спускаться под землю, все задирала голову (я помню, как тянула шею), радовалась и требовала стоять. Но пришлось уйти вниз. Мы ночевали на станции метро, там в туннелях были уложены

щиты. Мама несла с собой постоянную сумку с подстилкой. Мы располагались на твердых досках. Виднелась черная арка туннеля. Это было приключение!

В октябре 1941 года мы на товарняке уехали с Дедей, с моей мамой Люлей, с бабой Валею и моей тетей Вавой в эвакуацию в город Куйбышев (теперь это Самара).

По словам моей тетушки Веры Николаевны Яковлевой (ей сейчас, в 2005 году, 91 год), всех отправляли из Москвы в эвакуацию очень настойчиво, особенно стариков и детей. Моя тетя поехала на вокзал, где уже находился приготовленный эшелон. Вышла на перрон, посмотрела. Там на сцепленных открытых платформах стояли новенькие троллейбусы. И сзади один грязный товарный вагон с раздвижной дверью. В нем на полу толстым слоем лежал какой-то порошок, может быть, мел. Тетушка Вава поняла, что в новенький троллейбус нас, членов семьи врагов народа, не посадят, и начала убирать в вагоне, сгребать порошок. На следующий день они пришли вместе с моей мамой Валентиной, уже вооруженные фанерками. Много часов сгребали мел. И когда все было чисто, привезли нас — Дедю, меня и мою бабушку Валю плюс скарб, главное в котором были одеяла. Стояли холода, был конец октября, начало морозов 1941 года. Наша семья постелила одеяло, закуталась в другие и просидела несколько суток на вокзале в таком состоянии. Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком шести лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку (хотя она тоже была ледяная).

Но нам повезло с ним — на первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для паровоза. И добился печурки. На остановках взрослые прыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно, к тому же на печке, рядом с трубой, кипели два чайника.

Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты вдруг чиркает спичка, зажигается огонек, вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для спанья, пальто чтобы укрыться — это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышей — и жизнь начинается! Начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни, свой дом.

Моя родина мала  
Света свечки круг  
В этом круге край стола  
Вереница рук

Крошки хлебушка для птиц  
Чай для стариков  
Вереница детских лиц  
Во веки веков

Я помню, что все время сидела у Деди на руках, внутри его волчьей шубы-дохи с шелковой подкладкой (узор на шелке был восточный, полосчатый) и смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь глядеть часами. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Дедя же из-за меня существовал на манер беременного кенгуру и выпускал меня только побегать.

Ночами поезд останавливался в степи. Пропускали военные эшелоны, идущие к Москве. Это ехали на фронт могучие сибирские полки в тулупах и с оружием, подкрепление. Свои, московские ополчения, не имели ни винтовок, ни теплой одежды, шинельки им выдали, на том конец, и интеллигенты, работяги, школьники, мелкие служащие массово гибли на бывших дачных рубежах. Начальству было не до них. В ноябре уже все замерзло, шел снег. Лютая зима приблизилась.

Меня иногда спускали из вагона далеко вниз, в сугробы, погулять на воздух и по естественным надобностям. Я помню, как мама, пользуясь новой обстановкой, дает мне из руки «пирожино» — какой-то кусочек булки. Видимо, я плохо ела. Но тут, глядя в белые пространства под черным небом, я забеспокоилась, как бы предчувствуя будущее, и подобрала все «пирожино» с маминой руки. Всех заботило, что у меня начался туберкулез. Недавно у Деди от чахотки умер сын Люсик (меня в честь него назвали Люсик, так-то мое имя было Долорес, присвоено у очень популярной тогда Долорес Ибаррури, испанской революционерки, бежавшей в СССР. Нашли как назвать, «Долорес» означает «страдание»).

## СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

У моего отца-студента с юности была открытая форма туберкулеза. Я уже упоминала, что многие из его семьи в селе Верхние Рогачики тоже болели, кто-то уже умер. Он, поселившись у мамы в «Метрополе», может быть, и не стал проверяться у врачей. А когда мама, уже беременная мною, стала кашлять кровью, всю семью обследовали. Далеко

зашедший туберкулез нашли у Стефана. Моего бедного будущего отца положили в больницу, в доме все облили дезинфекцией и запретили вытирать лужи. Бабушка хлопотала, чтобы ему сделали операцию, так называемый пневмоторакс. Операцию произвели успешно, Стефан Антонович прожил долгую плодотворную жизнь. Но тогда мой будущий отец обиделся, что его заподозрили в обмане, в сокрытии болезни, причем обиделся, видимо, на всю жизнь.

Ну что же, вся Москва перед войной болела ТБЦ. Заразиться можно было везде. Из лекарств был стрептоцид. Я почему-то помню, что он был белый и красный. Красным стрептоцитом (так произносилось) женщины красили волосы. За Вавой ухаживал тоже туберкулезный мальчик, и у Люли нашелся преданный друг Володя, находящийся в последней стадии ТБЦ. На собрании в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, где обсуждали мою беременную маму, «че эс», члена семьи врагов народа (и меня вместе с ней, мы всюду были неразлучны, в том числе и на допросе на Лубянке) — и где Стефан сделал публичное заявление, что он отказывается от связи с «че эс», этот Володя вдруг выступил и сказал, что тогда он готов жениться на Яковлевой. После собрания, однако, мой будущий папа быстро на нас с мамой женился. Как заметила мама, «его забрало за живое насчет Володи».

Однако мои родители вскоре расстались.

О, эти семейные тайны, о, непращенные обиды! Эти письма, заявления! Замужества и женитьбы, разводы, разъезды, о, это молчание длинной в жизнь! О, нищие деньги, о, переполненные, перегороженные на клетушки квартиры, все эти эвакуации и проблемы возвращения, эти прописки, углы, квадратные метры! Эти в каждой семье возникающие беременности девочек-школьниц... О, еще большие тайны — рожденные и не взятые матерью, оставленные где-то дети... Брошенные семьей сироты, покинутые старики... ~

Эти сплетенные ветвями деревья должны были страшно страдать, когда ломались сучья — не говоря о горестях новых побегов, отрубленных от родительского ствола, лишенных подпорки. Маленькие деревца, оставленные на произвол судьбы... Засохшие старые пни.

Ни слова больше.

## КУЙБЫШЕВ

На одной станции Деда вынул меня из своей дохи, передал женщинам, сошел на перрон и исчез — а это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице (он в гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в

Туркестане, работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором «Чапаева»). Так что мы приехали к уже получившему жилье Деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гарнизона идут квартирьеры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати одна за другой и маленький столик. Я спала у Деда под мышкой, а Баба с дочерьми ютились втроем на койке и приставных стульях.

Деда, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой (миска воды и кусок полотна), а также делал гимнастику по системе Мюллера. Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывалась контузия после взрыва в Московском комитете партии.

В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство.туда вывезли также Большой театр и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама, сколачивать ящики в тарном цехе, а Ваву зачислили туда же как инженера с незаконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшная, надо сказать, была вещь! Я ее почему-то прекрасно помню, видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось скитаться. Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести. Скорее ужас. Мама написала об этой картине целый очерк.

Деде затем дали две смежно-изолированные комнаты в гарнизонном доме около Окружного дома офицеров, угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то что его дети были расстреляны, деда в партии почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее нормально, я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у Деда, он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу «хлеб с хлебом не едят», когда я к вермишели попросила еще и хлебушка. Но когда Деда уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС, Институт театрального искусства, она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в ИФЛИ, находясь в так называемом декрете, т. е. в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена, во всяком случае, неизвестно на что надеясь, мама послала в ГИТИС свои документы, сообщив, что закончила четыре курса литфака. Она скрыла тогда правду о родственниках — врагах народа (она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до XX съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегала слова «репрессии». Когда она уже лежала последний год, я сказала: «Давай что-

нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как бы отбрасывая что-то).

Но все-таки хорошее было, вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не знаю, как относились к ее планам Баба и Вава, спрашивать сейчас об этом у старенькой тетки неудобно.

Я знаю, что мама тогда часто плакала.

Она уехала случайно, в одном сарафане, машинисты ее взяли на паровоз, т. к. билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, которое она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата, ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так: по дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть (как всегда) на московский поезд под парами, подошла к паровозу, как обычно попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да, я думаю, она и боялась возвращаться.

И я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю... Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве на заводе в тарном цехе? На всю жизнь остаться без диплома?

А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву даже с нашей соседкой по куйбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге.

\* \* \*

Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре и нашла свою квартиру, а в ней древнюю, ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я рассказала ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы, бабушка получила орден, квартиру в Москве и кремлевский паек, мою маму мы схоронили, а вот Вава как персональный пенсионер живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что, по моим сведениям, мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль (в присутствии соседей) торжественно возразила, что вообще во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты, уносить с кухни от нас. «Конечно, ведь мы

голодали, а мне было пять лет, кормить было нечем», — подтвердила я и вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседок глаза на лоб вылезли — как это так, не покормить голодающего ребенка! Рахиль как могла быстро убралась к себе, бедная, немощная старуха.

\* \* \*

Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, уговаривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы и сестры, сестра работает, девочка в детском саду. Ничего, проживут. Надо получать образование и потом забирать ребенка.

Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел! В Москву, в Москву! Ей было 27 лет.

Приехав к своему отцу Николаю Феофановичу Яковлеву в его двенадцатиметровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкапами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в Куйбышев письмо и денежный перевод, добилась алиментов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем, она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель.

Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без большой радости. Ее имя не упоминалось больше. Однако столько уже было в их жизни потерь... Тогда ведь обычно как бывало — люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда.

Но я маму ждала упорно и непрерывно.

\* \* \*

Я встретила с ней только через четыре года. Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. Она всю жизнь оправдывалась передо мной, бедная.

## КУЙБЫШЕВ. СПОСОБЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Так вот, мы остались в Куйбышеве вдвоем, я бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. Ваву как «че эс» уволили с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах.

Жили мы на то, что присылала мама, — на алименты от моего отца Стефана Антоновича, молодого философа.

---

В войну все было по карточкам. Карточки у нас с Бабой и Вавой были одна детская и две иждивенческие. На них мы покупали черный хлеб, при этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказывался «выбран»...

Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах, очередь в хлебную лавку, к тяжелой, замороженной двери.

Наконец мы оказывались внутри, в тепле, в тесной толпе, каждый прижавшись к впереди стоящему, чтобы его не потерять. Формула «кто последний, я за вами» — это было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой, и ни в коем случае не отлипая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, ты получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого! Тогда из очереди отходить не полагалось.

В магазинчике крепко, до головокружения, пахло вкуснейшим черным хлебом, от этого запаха ломило в челюстях и сосало под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая продвигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетапывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась.

Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы: имитируя шаг и оставаясь на месте.

Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного, и продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный «довесок», так что железная чашка, на которой стояла буханка, под ударом резко опускалась — и тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же.

Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отщипывая из-под подушки. Потом тетя и Баба скармливали мне свои порции...

Когда я спрашиваю Ваву, как же мы выжили, она пожимает плечами и улыбается довольно растерянно: «Не знаю».

В садик я ходила какое-то время, там детский народ жил своей жизнью, мы тайно ели клей, прошел слух, что он «вишневым», мы запускали в баночку пальцы и их облизывали, когда мастерили бумажные самоделки в отсутствие воспитательниц. А также мы дружно считали, что в коридоре живет Баба-яга, поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол (так сказала нам нянечка). Было и еще одно правило: глядя на пролетающие самолеты, мои товарищи малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте и якобы летел в этот момент над нами. И гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала, мужчин на фронте у нас не было (Женя, ее любимый дядя, был посажен, муж ее тетки тоже, мой ушедший из семьи

отец как туберкулезник в счет не шел). Но все-таки Вава наскребла два имени. Я стала тоже как все говорить гордо и звонко: «Вон летят мои Сережа и Володя». Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки, а зато Сережа был мой собственный сводный дедушка! Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось.

(Спустя почти шестьдесят лет я с ним познакомилась, когда мы все, потомки, праздновали в гостинице «Метрополь» 140-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа — последний сыночек Деди, рожденный в пятьдесят с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком.)

Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую Бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бежали по коридору как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума! В коридоре было черным-черно, только вдаль еле светилось (видимо, за счет снежной ночи) высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная как бы обезьяна, она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то вбок совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была Баба-яга! Я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор.

(Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте, этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник.)

И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный, о встрече с ним скажу позже.

Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые...

Потом уже нечем было платить и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика.

Обувь для северных бедняков самое главное. А лапти в городах не плетут.

С апреля по октябрь было хорошо — я босиком бегала на воле. От снега до снега.

О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало.

## КАК МЕНЯ СПАСЛИ

Нас был целый табун детей, мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать, да это и не нужно было, плещись сколько хочешь на мелком берегу, он полого уходил под воду.

Но когда однажды пришла весна и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось, я чуть не утонула.

В мае Волга разлилась до размеров моря, наш низкий берег затопило, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить, пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли, берег как берег, но не пологий вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку и опустила ноги с этой ступени, но не достала до воды. А хотелось по ней побродить, как я делала это на своем берегу.

Спрыгнула туда и мгновенно ушла в глубину, как ослепла и оглохла, утонула.

Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости, замечала бурные, кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхали перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая. Достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день, воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вдохнуть — и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху как скрюченного человечка, опускающегося лицом вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающий эмбрион, если бы знала тогда это слово. Опять оттолкнулась от дна. Снова пошла наверх, но уже не решилась поднять голову, болталась спиной вверх, бессильно глядя вниз, в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть — проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз. Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воздуха. Сердце колотилось, в голове громко стучало. Уши наполнились шумящей водой. И вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень, что-то маячило наверху там, где было светло, что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли... Я мигом вытянула руку, схватилась за это — и как пробка вылетела наружу!

Оказалось, что молодая женщина вышла по воду к реке с ведрами и коромыслом, и она заметила, что там внизу барахтается, она подумала, собачонка. Она захотела подцепить ее коромыслом — и тут высунулась детская рука! Тетя даже испугалась и отшатнулась. Но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой!

А моя подруга, как только увидела, что я утонула и не показываюсь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара под кровать.

Потом я, трясясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана, огольцы, ходила вокруг домика и гнусно хихикала по моему поводу — гля, голая. Мокрый сарафан прилип к телу... Что там мне было, семь

или восемь лет, но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора — это почти шариат!

Имелось и еще одно обстоятельство — как у каждого голодающего ребенка, при полном истощении, ножки и ручки спички, у меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем: «Смотри, девка беременная». Я поверила сразу! Я не знала, отчего это бывает, сколько времени длится и чем заканчивается, но я знала, что это позор и моя тайна, и только молилась своему Богу, Боженька, помилуй. Боженька, помилуй. Спаси. Молитв я не знала.

Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает, ужас. Или змея, или ребенок!

Некоторые американские ужастики типа «Чужого» наверняка сочинены были еще в детстве.

Мы сели на обратный паром, наступал вечер, и я еще долго пыталась высохнуть, стуча зубами, в парке — домой в мокром идти было нельзя, догадываются. (Это при том, что родные меня никогда не наказывали! Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось.)

## ЦИРК ДУРОВА

Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось Струковский сад. Вечерами и днем в воскресенье на эстраде играл оркестр.

Парк был огромный, заросший как лес, он спускался к Волге аллеями и склонами. Мы искали в траве и ели «баранчики» — такие шишечки, зеленые мелкие лепешки. Возможно, это была единственная пища детей за день. Ели также цветы акации, кислицу и щавель. Ягоды там не водились.

Когда раскинул свой шатер цирк-шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала! Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах, через широкие двери шапито. Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь. Но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себе под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках. Важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих, это тоже мне удалось, необходимо было сесть подальше рядом со взрослыми и вступить с ними в беседу. Как будто я их родная лохматая дочь.

Я увидела знаменитый номер Дурова со слонем! На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек,

садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил! Слон ставил его на тумбочку. Потом он ложился боком. Играла медленная музыка. Но слоновья туша тут же начинала бугриться, взмахивали передние толстые копыта, слон медленно вставал (Дуров, правда, подбадривал его палочкой). Дальше в дело шел хобот, слон поднимал и откладывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник! Клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался! Стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку.

Еще были обезьянки. Одна, в костюмчике, читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорей листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась и почесывалась. Всеми своими хаотическими движениями она напоминала голодного вшивого мальчишку.

Или голодную девчонку.

## В ПОИСКАХ ЕДЫ

Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячие щенята. Однажды я забралась в кабину фырчащего грузовика и отогнула полочку, висящую над передним стеклом. И там неожиданно нашлись три рубля! Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала: «Там, над стеклом!»

Все тут же полезли смотреть, ничего не нашли. Я стояла как победитель!

Конечно, деньги у меня отобрали известным способом: «А ну покажь!» — «Да не буду!!!» — «Ля! Ничего у тебя нету! Покажь!» — «Не покажу!» — «А в морду?» — «Оставьте меня в покое вообще, дураки!» — «Огольцы, у ней нету ниче у падлы бляцкой!» — «Нету, да? Нету? А на! Вот, смотри!» (Деньги на раскрытой ладони.) Хлоп снизу по руке! (Деньги падают, исчезают.)

Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, «на зимние квартиры» к бабушке и тетке. В холода босиком не побегаешь. Валенки не было, одежды не было никакой. Еды тоже.

В школу я не ходила.

Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями — по Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось!

(Когда моему сыну Кирюше исполнилось два годика, мне удалось купить ему и его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми пуговицами! Тогда трудно было что-нибудь достать, это были простенькие байковые с начесом одежды, но я была почему-то так счастлива, когда их купила!)

Вава приносила от столовой Дома офицеров картофельные очистки — их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку, без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи... Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас на пускали.

Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате Деди поселился майор, у которого имелся патефон и одна пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена «Заздравную» («Выпьем, ей-богу, еще») и арию из оперетты «Сильва» («Красотки, красотки, красотки кабаре»). В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то Баба звала красивым именем Фурия. У нее были две дочки постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже железнодорожное начальство.

Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было. Там же лежал топор. Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали, она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей невадно было ходить туда. Слава Богу, что удар прошел по касательной. Вава вызвала «скорую», врач забинтовал бабушкину седую голову (единственное, что на ней было белое за все пятнадцать лет, которые мои родные провели в Куйбышеве). Они, разумеется, никуда не пожаловались. Имя того начальника было Кретин, так я его и запомнила. А вся семья называлась «врачи».

Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, зеленые капустные листья. Горелых хлебных корок почти не имелось.

Но это надо было тоже добыть, избежавши позора и ругани! Т. е. когда соседи спали.

Если удавалось достать керосин, Баба варила суп!

## КУКЛЫ

Однажды наступил обычный момент, когда квартира угомонилась, дело шло к ночи. Голод уже полностью сожрал наши кишки, и, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром.

Помня о топоре, я прокралась на кухню.

У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные тряпичные куклы без платьев.

Их явно выкинули дети нашей соседки, Фурии Яковлевны.

Куклы были с головами из папье-маше, без волос, с облупленными носами, туловища, руки и ноги тряпичные.

У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлулоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом: нарисовала ему глаз. Конь показался мне ненастоящим. И я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолще.

А тут две такие огромные красавицы! Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки: они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость, и если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать все! Их всюду носят с собой, крепко до зверства прижимая к груди, их насильно кормят, приговаривая «ам!», и могут оставить навсегда с замурзанным, засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови и краску с губ. Срезать волосы. И потом способны жалеть и любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле (только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке). С куклой можно делать все! Играть с ней даже во врача, чтобы, глотая слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки мальчишкам! Они ее разорррвут!

Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом.

Но тут я как замерла. Я ничего не могла с собой поделатъ. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платья и где найти лоскутики, я не смела даже думать, куда их положу и какую жизнь мы могли бы прожить вместе!

Эти две огромные куклы стали первыми моими божествами. Я сразу начала по ним тосковать. Нам предстояло разлучиться. Я встала на колени, усадила их, положила их набитые ватой бедные грязные руки как следует. Эти гигантши постепенно занимали свое место в моей душе, уплотняли ее, наполняли (так ребенок наполняет душу, грудь и брюхо матери, если прижать его). Я попеременно обнимала их. Потом я взяла их на руки, прильнула к ним и замерла. Они были огромные, прекрасные и покорные.

Не помню, сколько это все длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. Перед школой в кухню заглянула Рахиль, деловая женщина, и вскоре вышли обе девочки, мстительно взяли своих кукол и уплыли.

## ПОБЕДА

Теперь про счастье, про Ночь Победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения, и потом все радостно повторяли эту непонятную формулу — «безогово-

рочная капитуляция». В четыре часа утра меня разбудил шум на улице, как будто бежала и бормотала, что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Было еще темно (часов у нас не имелось, но почему я думаю, что это было в четыре — в пятом часу уже начинался рассвет).

Я вскочила и как была, в сарафанчике и босая, убежала на улицу, где и носилась целый день. Качали военных, остервенело подбрасывали даже наших бездельников из Окружного дома офицеров, осторожно качали раненых из госпиталей, везде играли патефоны, гармошки и балалайки, в Струковском саду были танцы, у входа продавали подснежники.

Начиналась новая жизнь, и наступал великий голод послевоенных лет.

## ОДО

Я все больше отбивалась от дома.

В первый раз я убежала летом уже в более-менее сознательном возрасте, лет в семь. Видимо, после Дня Победы.

В начале июня я провела несколько дней на свободе. Ночевала не на улице, не в Струковском саду под эстрадой, где видела пролом в досках и черную, заплесневелую землю, от которой несло сыростью и застарелым людским навозом, там уже все было изгажено (днем я кружила, искала себе пристанище на ночь). А нашла я место ночевки в кабинете начальника ОДО (Окружного дома офицеров).

Я давно вместе со всеми ребятами с нашего двора научилась пробираться туда на киносеансы, прячась за дверями, научилась собирать хлебные крошки из фанерного фургона, в котором привозили буханки в столовую ОДО (когда кучер и приемщик уходили вместе в дверь черного хода с последним поддоном хлеба и с бумажками, фургон оставался пустым, открытым. Кляча стояла, поставив заднее копыто на ногу, а мы, голодные дети, забиралась внутрь, где невыразимо вкусно пахло сухарями, и собирали с полу в щепоть крошки).

ОДО был родным местом, его черный ход маячил у нас на задворках. А сам двор и здание были огорожены сараями и гаражами. Солдаты ОДО гоняли голубей, швыряли им хлебные корки, которые, попав на железные крыши сараев, засыхали, голуби не могли их склевать, и мы, дети, залезали со стороны двора на эти раскаленные крыши, бежали на пяточках и искали там корки.

На крышу можно было взобраться только одним способом — уцепившись пальцами ног за острый край огромной бочки с варом.

Кто уж ее поставил у сараев, неизвестно, но по сути это была настоящая ловушка для голодных ребят. Взрослые ведь знали, что дети все равно полезут, но бочку не убирали!

В жару вар расплавлялся, вытекал наружу, и все понимали, что можно упасть в бочку и насмерть утонуть в варе. Никто бы не смог вытащить, вар не отпустит. Но дети лезли. На крыше, возможно, валялись корки! Для меня голод был сильнее опасности. Стало быть, мне надо было улучшить момент, когда мальчишки не крутились около бочки.

Под бочкой всегда огромной бутристой лепешкой лежала лужа расплавленного вара, вытекшего наружу. В нее меня однажды все-таки толкнули. Я сидела в этом страшном вязком месиве и старалась не плакать. Вокруг стоял безудержный хохот. Я не могла выдраться и только водила, как во сне, черными огромными руками, превращенными в рукавицы, пыталась расклеить пальцы, а с них тянулись сосульки и нити вара. Ладони стекленели, но я боялась опустить руки обратно в толщу клейкого вара, чтобы опереться, а это была единственная возможность встать. Какой-то взрослый человек с рутанью отлепил и поднял меня. Под дикий смех дворовых ребят я поплелась домой, стараясь не касаться головы. Меня кое-как отскребли. Трусики пришлось выкинуть. А других не имелось... Я приспособилась завязывать майку внизу узлом.

В этом мире было не до размышлений. Только бежать, или прятаться, или, если уж настигнут, кричать и драться.

Во всем остальном у меня было нормальное по тем временам детство. Подружки, прятки, бешеные «казаки-разбойники». Играли в «чижа», в «замри». В спокойные моменты мы делали в земле «секретники» — клали в ямку цветные стеклышки и накрывали одним большим стеклом, а потом засыпали сверху грязным дворовым песком. И ходили, искали чужие «секретники», не выдавая свои. Хотя, разумеется, дети смеялись над моей московской речью, передразнивали эти «видишь ли» и «дело в том, что».

Но самой близкой и любимой была у меня собака Дамка. Иногда мы с ней валялись вместе где-нибудь, я ее обнимала за худенькую шею, а то мы бегали и прыгали, она приносила брошенную палку, я хохотала. Но как-то раз она мчалась, улепетывая в том числе и от меня, с ужасной скоростью, она с трудом тащила в зубах как бы окровавленную гребенку — видимо, кухонные солдаты выкинули обчищенные бараньи ребра. Я побежала за ней, а она предупредительно зарычала на ходу, первый раз за все время. Я отстала. Дамке было не до шуток!

Я все упрашивала тетю и бабу родить мне «хоть котеночка, да хоть щеночечка».

Однажды зимой моя мечта исполнилась, я привела в комнату голодную кошку, это был как раз вечер Нового года. Она дежурила на лестнице и мяукала, я ей открыла дверь. У нас по случаю праздника горела керосиновая лампа! Было невероятно светло и прекрасно. Я обнималась на диване с моей новоявленной Мурочкой, она робко урчала. Мы ждали полночи, а потом вместе пировали тем, что выкинули

соседи. Она ела все, даже картофельные очистки и селедочную голову! Потом, поевши, мы с этой серенькой Муркой водили хоровод вокруг еловой веточки, воткнутой в консервную банку. Кошка вынужденно перебирала тощими задними лапками, заплетающимися неровными шажками таскаясь по кругу, я держала ее за передние ручки и пела «Красотки, красотки, красотки кабаре», совместно с соседским патефоном. У нас был праздник!

Потом она попросилась наружу и убежала.

Вся жизнь проистекала у меня летом. Иногда мне все-таки удавалось забраться на крышу и найти кусочек черной корки. Обратного пути не было (как раз угодишь в бочку с варом), и приходилось тайно спрыгивать с той стороны сараев во двор ОДО. Затем я проникала в Дом офицеров мимо дежурных, не помню как. Для нас для всех в ОДО была одна главнейшая приманка — там вечерами крутили кино. Трофейные фильмы «Королевские пираты», «Остров страдания» с Эрролом Флинном. Фильмы с Диной Дурбин. «Большой вальс». «Серенаду Солнечной долины» (любимейший мой фильм, кроме глупого финала).

Так что летом было много счастья.

Мы смотрели подряд все, прячась за дверьми и особенно за портьерами в промежутках между сеансами, как наши шпионы в позднейших военных кинофильмах («Секретная миссия», «Подвиг разведчика», к примеру), и так же я однажды спряталась уже после кино. Потом, как во сне, я промчалась по совершенно пустым коридорам и нашла себе для ночевки кабинет начальника, там стоял диван грубошерстной обивки, которая всю ночь колола мне щеку. Подложив под голову локоть, я было собралась спать, а ночь стояла светлая, июньская, и тут моим взволнованным глазам предстала в полном и грубом блеске картина, на которой Сталин и Ворошилов в шинелях принимают парад, а мимо катит кавалерия (тачанки?). В первый раз в жизни я увидела перед собой произведение живописи и испугалась.

В дальнейшем я еще расскажу об ужасе моей жизни, о «Портрете» Гоголя.

## ЯЗЫК ПРИДВОРНЫХ

Днем я, как полагается беспризорному ребенку, побиралась. Т. е. просила милостыню. Голод я переносила легко, мы голодали уже давно, бабушка лежала огромная, раздутая водянкой, хотя моя тетя и говорит, что она иногда ходила на разгрузку в порт, за что Бабе давали бутылку денатурата, которую можно было обменять на хлеб. Вава один раз откуда-то принесла в ладони кучку виногрета, а другой раз — чашку сливового

повидла. Я как присела перед повидлом, так его сразу и съела, как звереныш, понимая, что другого такого случая в жизни не будет. Десятки лет потом я не могла выносить даже запаха сливового джема!

У нас отрубили за неуплату электричество, но временами удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там долгие часы. С тех пор запах керосина вызывает у меня предчувствие света и радость. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу, и торжественный, ярчайший, золотой свет заливал нашу комнату с высоты диванной спинки.

Вот вам вопрос о радости жизни — особенно острое счастье ведь зарабатывается лишениями, как ни крути. И только разлука дает возможность немислимой встречи.

Я переносила легко голод, но не могла вынести несвободы. Боясь за меня (все-таки тут маленькая девочка из порядочной семьи, а город дикий, полно бандитов, во дворе жизнь вольная), бабушка и тетя Вава объяснили мне, что в городе цыгане украли ребенка, и под этим лозунгом они не велили мне гулять. Я тут же сбежала, явилась домой через несколько дней и, простодушно воспользовавшись их же легендой, сказала, что меня крали цыгане, а освободила милиция.

Они тревожно переговаривались над моей бесшабашной головой, употребляя так называемый «язык придворных», код подпольщиков.

Они не знали, что я научилась его понимать, я тоже это скрывала. Я помню, что они ругались словом «чешпо». Деда цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука (я его воспринимала как детский: «Отчего же, почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает?» — И тут Деда торжественно завершал: «Потому что хона есть!»). Слово «хона» я быстро поняла, на улице «огольцы», то есть шпана, ругалась приблизительно так же.

Вава, моя тетка, недавно открыла мне секрет этого кода. Он назывался у большевиков «язык придворных». Список согласных там делился пополам, и первая буква менялась на последнюю и т. д., «ж» на «х» и обратно, «г» на «ч», «н» на «п». Известное ругательство звучало бы как «жуй». То есть «И-ци-па-жуй», нечто китайское.

Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала, все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было нипочем, я в эти дела не вникала, им не верила, моя задача была уйти на улицу.

Так я все летние месяцы войны и прожила — носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку: «Нет ни мамы ни папы, помогите».

## БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Однажды я даже проникла на балкон (видимо, осветительский) оперного театра, вход туда был снаружи по железной лестнице. Я кружила под стенами Оперы, поскольку войти в театр не удалось, а огни сияли, публика валила, сладкая музыка слышалась... И тепло было внутри.

И вдруг я заметила вдали от входа, за углом, крутую металлическую лестницу. Она уходила под небеса, на высоту примерно пяти этажей. Уже темнело, висели низкие тучи, накрапывало. Я полезла вверх руками и босыми ногами по мокрым железным ступенькам, жутко боясь смотреть вниз. Вскарабкалась, поскреблась, изобразила сиротку, страх возвращаться по этой крутой лестнице вниз, в пропасть, придал моему голосу, видимо, настоящее отчаяние. Я исполнила весь текст детей-нищих про то что «папи нету, маме нету... Разрешии-ить войти!?! Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну умоляю вас, смилуйтесь, будьте любезны, мне так хо-олодно!!! Так хочется музыку послушать, ну пустите хоть на пять минуточек!» Ветер, действительно, свистал. Ноги заледенели на железе. И вдруг дверь открылась в тепло, тьму, загремели праздничные звуки оркестра, добрая тетя пустила.

Я оказалась на балкончике у осветительницы, около раскаленных, воняющих горелой краской софитов, а внизу, рукой подать, было что-то волшебное, цветное, яркое, какой-то дворец в искусственном саду среди нарисованных деревьев — и на нем тоже имелся балкон, чуть пониже моего! И буквально в нескольких метрах от меня стояла розовая дама и нежным голосом пела «Милый друг мой, я слушаю вас». В тот вечер я прослушала «Севильского цирюльника» Россини в исполнении эвакуированного Большого театра. На следующий вечер я полезла вверх снова. Скреблась. Замерзла в своем сарафанчике. Выла. Но мне уже не открыли.

Как побитая собака, я поплелась домой. Там хоть было тепло.

На всю жизнь я запомнила этот кусочек из дуэта Розины и Альмавивы...

В дальнейшем, когда я возвращалась, тетя и бабушка делали вид, что все в порядке, они уже не расспрашивали меня, но я продолжала им рассказывать свои байки (как меня украли).

Видимо, Баба и Вава были счастливы, что я вообще есть на свете, и не рисковали выводить меня на чистую воду. Иногда они меня кормили супом из капустных листьев, которые Вава подбирала на рынке на земле. («Для козы? Это ты для козы?» — спрашивали торговые бабы, чтобы не расстраиваться, видимо. Моя тетка Вава, недавняя студентка Академии бронетанковых войск, я это видела, тайно заплакала, нагнув-

шись над втоптаннами в землю капустными листьями, от таких вопросов). Поздно вечером я, как всегда, была посылаема на промысел за соседским помойным ведром.

## ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ

А однажды я, вернувшись, видимо, наплела такого, что бабушка с тетей посуروهли и, посовещавшись на своем языке, пошептавшись, вынесли решение.

И Вава пошла и заперла дверь на ключ!

В общем, все было не напрасно: каждая маленькая девочка, вырастая, должна была занять свою позицию во дворе. И как правило, должна была пройти через многие руки.

Там, за сараями.

Девчонки постарше между собой об этом не говорили, но намекали, показывая подбородками в ту страшную сторону.

Я не понимала ровно ничего. Не чувствовала опасности. Я была худая как скелет. Меня били, но пока что не использовали в своих целях.

Однако это будущее — так или иначе — меня бы не миновало. Хотя бы в качестве наказания, чтобы знала свое место.

А тут из Москвы приехала тетя Маруся Яковлева, сестра моего деда Николая Феофановича. Она была педагог, по линии театрального общества инспектировала провинциальные театры и с посылочкой от моей мамы также навестила и нас. Она привезла мне подарки — коробку трехслойного мармелада и коробку с детской алюминиевой посудкой — там были кастрюлечки с крышками и даже половничек, все приделанное к картону резинками.

Совершенно неслыханная и невиданная роскошь!

Тетка Маруся дисциплинированно поговорила с нами, порасспрашивала и уехала.

Она, как актриса и педагог, а также как сестра мужа бабушки (злая золовка) и бровью не повела, увидев, как мы живем.

Но в Москве она высказала моей маме напрямую все, что ей пришлось увидеть и пережить! Так я думаю.

Мама в тот момент заканчивала ГИТИС и устраивалась на работу.

Мои бабушка и тетка из гордости ведь никому ничего не писали.

Итак, встревоженные родные меня заперли. И однажды, танцуя под собственное громкое пение, показывая лежащей бабушке и Ваве свое искусство, я подплясала к двери с торчащим ключом и успела повернуть его в замке, но меня настигли любящие руки. Больше ключ уже в двери не торчал. Сердце у меня бешено билось. Меня держали под стражей.

И тогда я, охваченная жадной свободой, вышла на балкон. Мы жили на третьем этаже, спрыгнуть было страшно. Подумав, я, дико волнуясь, перелезла на соседский балкон, оттуда с трудом дотянулась до пожарной лестницы. Она качалась, была деревянная, трухлявая, пролеты между перекладинами казались мне огромными. Повисая каждый раз на руках, я на ощупь ловила ногой ступеньку и спускалась шаг за шагом на волю. Внизу, метра за полтора до земли, лестница кончилась. Что было делать, я ухнула вниз. Хлопнулась задом. Вскочила. Ура. Долетела. Был солнечный зеленый день. Я заранее все предусмотрела, оделась во все свои одежды — в майку, сарафан и суконную салатового цвета жилеточку, которую подарила мне добрая соседка из другого подъезда. Она мне и хлеба иногда выносила.

Потом я с бурно бьющимся сердцем, дрожа от счастья и свободы, все-таки погуляла под балконом, дождалась, пока не появилась над перилами седая голова моей тридцатидвухлетней тети. Я смотрела вверх на нее, она смотрела своими огромными темносиними глазами вниз на меня. «Как ты спустилась?» — громко крикнула тетя, чтобы выиграть время и подольше подержать меня на месте (может быть, она надеялась, что бабушка все поняла и уже кинулась по лестнице за мной, хотя куда ей было, ноги опухшие не ходили). «Спрыгнула», — ответила я на всякий случай, чтобы они не догадались, и быстрее вихря умчалась вон, пока меня не поймали. Я сбежала, как выяснилось, навсегда. В следующий раз я их увидела только через девять лет, и они меня не узнали. Мне уже было восемнадцать. «Это кто?» — спросила моя крошечная бабушка, поднимаясь по лестнице еле-еле своими раздутыми ногами. Я все еще чувствовала себя виноватой...

Как я теперь понимаю, пройдя путь воспитания своих трех детей, троих бывших подростков, — они тоже, дети, воспитывают взрослых. Вынуждают их принимать меры.

Какой следующий шаг в борьбе за свободу был у меня?

Не возвращаться домой вообще.

А у них, у бабушки Вали и у Вавы?

Поймав меня, запереть и балконную дверь. Потому что только в теплое время ребенок на улице останется жив. Как только станет холодно, он погибнет. Потому-то бездомные дети вертятся вокруг теплых вокзалов. Но все равно они умирают.

Однако совсем не давать им воли — убегут. О воспитание, борьба неразрешимых противоречий.

Впрочем, когда меня спросили, о чем пишутся пьесы, я ответила наскоро — о неразрешимых проблемах.

Они все, по сути, неразрешимые. Об этом дальше.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕЖАНИЯ

Теперь, после этого педагогического отступления, вернусь к «Портрету» Гоголя.

Так вот, бабушка меня воспитывала в замкнутом пространстве, удерживая дома тем, что великолепно пересказывала классическую художественную литературу. Тетка мне впоследствии говорила, что ее мать легко продолжала любую радиопередачу, если читали Гоголя или «Войну и мир». Она многое помнила наизусть. Бабушка Валя, бывшая «курсиха» Бестужевских курсов, отличалась фантастической памятью. Мой дедушка Николай Феофанович, ее муж, был профессором-лингвистом и знал одиннадцать языков. А я, их потомок, даже в школе не училась, потому что обуви не было. С апреля по октябрь я бегала босая, а зимой сидела дома. Но все-таки я начала читать лет в пять по газетам, которые выкидывали соседи. Мои взрослые принципиально не хотели меня учить. Деда запретил почему-то (и правильно сделал, ребенок оч-чень интересуется запретным!). Я даже наизусть шпарила отрывки из «Краткого курса истории ВКП(б)», бабушкиной прикроватной книжки — в которой она подчеркивала откровенную ложь. Вся книга была в подчеркиваниях.

Имелись еще два печатных издания — «Комната на чердаке» Ванды Василевской, которую я не запомнила, и моя первая прочитанная книга «Жизнь Сервантеса», кажется, Франка. Там было описание графина с вином, стоящего на столе вроде бы в тюремной камере. Красные блики ложились на белую скатерть. Я до сих пор вижу эту картину ясно, как будто жила там. Красный свет на белом! Ничего подобного в моем мире не было. Ни белого ни красного. Но оно существовало в моей детской жизни, вот в чем дело. Я помню эти отсветы! Эту белую как плотный слежавшийся снег, эту тяжелую скатерть с толстыми раструбами, спускающимися по углам. Эту комнату с деревянным потолком. Маленькие низкие окна, за которыми горит вечернее солнце. А на воле зеленые поля! Испанская тюрьма мне представлялась почему-то такой.

Еще у Бабы было собрание сочинений Маяковского в одном томе. Видимо, в память о том, что Маяковский был в юности влюблен в Бабу и называл ее пышно Голубая Герцогиня, в духе Серебряного века. Молоденькая бабушка Валя стеснялась его громких признаний. Маяковского привел в Московский лингвистический кружок друг дедушки Роман Якобсон, сказав: «Я открыл гениального поэта». Там они с моей юной бабушкой встретились еще раз — до того Маяковский, что называется, «бегал» за ней, будучи малолетним членом партии. Об этом я уже упоминала. Тогда им было по пятнадцати лет.

По семейным легендам, Маяковский, встретив бабушку при содействии Романа Яacobсона, сделал Голубой Герцогине предложение, а она отказала ему.

А в 1914 году у Вали и Коли Яковлевых уже родилась дочь Вера, моя тетушка Вава.

Когда баба Валя возвратилась после реабилитации в Москву в 1956 году, ее сестра Ася, вернувшаяся из лагерей и ссылки, воскликнула: «Ну вот, не хотела за поэта, вышла за профессора, и что получилось!»

\* \* \*

Наше с Бабой лежание бывало, конечно, зимой.

Обычно бабушка Валя возвышалась на кровати вздутая как гора (та самая голодная водянка), а я умащивалась рядом, тощая как скелет, мы укрывались чем могли, и она целыми днями как бы читала мне, прикрыв глаза, почему-то в основном Гоголя, «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». У нее была одна слабость: она много внимания уделяла описанию обедов. И невинно вставляла в гоголевские меню шкварки и борщ. Я спрашивала, что это такое. Бабушка отвечала. У меня, как у собачки Павлова, текли слюнки.

Она прочла мне наизусть и «Портрет» Гоголя. Возможно, что и «Вия», его я боюсь до сих пор.

Так вот, повесть Гоголя «Портрет» произвела на меня незабываемое впечатление (до сих пор я считаю, что сюжет о продаже своего дара — самый актуальный. Кто служит деньгам, служит известно кому).

Наши литературные лежания были по той причине, что мы ослабели от голода.

## МОИ КОНЦЕРТЫ. ЗЕЛЕНАЯ КОФТА

А летом я просила милостыню.

Я побиралась не протягивая руку, а ходила по незнакомым дворам, становилась где-нибудь у сарая (там обычно бегали дети и сновали старухи) и начинала петь. Это были песни типа «На полянке возле школы», «По росистой луговой», «По берлинской мостовой». Танго я не пела, а «Утомленное солнце» искренне ненавидела. Это был заезженный шлягер, каждый вечер эту пластинку заводили в Струковском саду. Под нее раненые из госпиталей тянулись на танцы, поселковые бабы у парка продавали букеты, в небесах догорали продолжительные закаты, утомленное солнце действительно опускалось за Волгу, и нам потом попадались на мостовой отдельные головки георгинов, насаженные на проволоку. Я долго билась над вопросом — зачем на проволоку? А это они так придельывали отвалившиеся цветы.

Так что «Утомленное солнце» мне надоело до такой степени, что я его вставила в сценарий фильма о нашем с Юрой Норштейном общем послевоенном детстве, фильма «Сказка сказок», который уже стал чем-то вроде постоянного репертуара ТВ на День Победы 9 мая.

Затем я исполняла, как попугайчик, пластинку соседа-майора «Выпьем, ей-богу, еще, Бетси, нам грогу стакан! Последний в дорогу-у! Дурак тот, кто с нами не пьет!» и, выходя на коду, завершала выступление заливчатским попури из оперетты «Сильва» — «Красотки, красотки, красотки кабаре! Вы созданы лишь для развлечения! Не знают сомнений красотки из кафе! И им недосто-йны... любви... му...че...нья-аа! Красот-тки, красотки» и т. д.

Там, правда, было «недоступны», но я с этим словом не справлялась.

Стало быть, я пела свои песенки вроде малолетней Эдит Пиаф, а затем, когда репертуар кончался, а дети уже меня окружили, я, чтобы не терять слушателей, тут же с ходу начинала рассказывать «Портрет» Гоголя. Детей эта история просто потрясала. Я помню, что один раз мне принесли кусочек черного хлеба. А другой случай был такой, что какой-то мальчик подошел и, стесняясь, сказал мне, что его мама меня зовет. Я сначала испугалась, инстинкт говорил мне, что нельзя идти за незнакомыми в чужое парадное. Но все дети стали меня уговаривать, их это тоже заинтересовало, и мы пошли. Там, наверху, на темной лестнице, открылась дверь, и женщина, утирая лицо, протянула мне зеленую трикотажную кофту без пуговиц, вроде свитера (и я ее тут же надела). Все были рады и осматривали меня на темной лестнице, в свете открытой двери, как собственное удачное произведение.

Больше, разумеется, я никогда в этот двор не заглядывала.

\* \* \*

Спиноза вроде бы говорил, что мы избегаем тех мест, где нам было плохо.

Но иногда невозможно вынести и непомерное добро, сделанное тебе. Туда нет возврата.

Кто-то сказал, что отплатить за великое благодеяние можно только неблагодарностью... Может быть, ты подозреваешь, что ничто не повторится, все будет хуже, и уйдет главное счастье жизни — воспоминание о добре. И те лица тебя уже не встретят, и зеленой кофты больше не будет.

А так — они с тобой. Эта толпа голодных детей, эта открытая дверь, протянутая рука и невидимая чужая мама, которая плачет, стоя спиной к свету.

Джойс называл такие вспышки памяти «эпифании».

Эти эпифании здесь, тут, сейчас.

## ПОРТРЕТ

И вот так, порассказавши по дворам «Портрет» Гоголя, я в полном одиночестве поздним вечером, в Доме офицеров, в пустом кабинете начальника, устроившись на диване, подложив под щеку руку, увидела в свете негаснущего заката произведение живописи, на котором Сталин вполне мог обернуться и своими черными глазами жутко посмотреть прямо на меня. В диком страхе я легла на другой бок и так застыла, накрывшись ладонью.

Чудовищная угроза исходила от этой фигуры. В дальнейшем я уже ночевала в других кабинетах.

Такова сила воздействия живописи! Мало ли что чувствовал художник, когда писал это произведение. Может быть, оно у него родилось от страха, в надежде на помилование.

А что чувствует автор в момент созидания, то и передается особенно чувствительной публике.

Кстати, после получения зеленого свитера я почему-то стала стесняться выступать по дворам, а пошла просить милостыню в магазин.

Похоже, я вообще прекратила деятельность артистки, вплоть до детского дома.

## ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО МАТРОСИКА

Но собирать милостыню в магазине гораздо труднее! Поцарапаешь в чью-то спину, попросишь копеечку, а дядя сплеча и отвесит тебе копеечку! Начнешь выступать на тему «дя-аденька, подайте еще побольше», а тебе резонно возразят, что ты ведь столько и просила...

А ведь самая маленькая порция мороженого стоила три рубля!

Формулировка «подайте копеечку», скорее всего, осталась в репертуаре нищих еще с дореволюционных времен, когда копейка что-то стоила. Так сказать, «при старом прижиме», как говорили бабушки-контрреволюционерки.

Мой дебют состоялся в большом продуктовом магазине.

Там нищие стояли у кассы как бы почетным караулом, тихо шепчущим свои мольбы коридором. Покупатели проходили сквозь строй побирушек, идя платить, а на обратном пути шеренги почти смыкались, и попрошайки, голодающие, несчастные, сырые и больные, безногие, слепенькие, протянув робкие руки за мелочью, образовывали тесный живой туннель.

Сейчас я вспоминаю, что покупали в этом магазине мало, очереди в кассу не было.

Высокие потолки, пустота.

Тогда товары не лежали на полках, их иногда привозили и «выкидывали», а покупатели бежали, вставали в хвост «за крайним» и в результате «доставали».

Я заняла место в самом конце очереди нищих, далеко от окошечка. Надежды не было.

Однако ситуация вдруг поменялась. Весь этот почетный караул по бокам кассы надоел кассирше. Она стала кричать из своего окошечка, и нищие покорно, как побитые собаки, отошли и встали к дальней стене. Я одна осталась на месте. Мало того, я прибилась к самой кассе. У окошечка кассирши был такой карниз, лоток, чтобы, видимо, сдача, которую сгребали, не падала на пол.

Вот в этой нише, под карнизом, я и спряталась от глаз кассирши. Но я не помещалась там целиком и склонила набок голову и так стояла.

И тут началось! Люди стали подавать мне как заведенные. Кармашек моего сарафана под свитером быстро раздулся. Я ничего не могла понять. Это был дождь мелочи!

Я струсила. Что-то непонятное происходило. Почему они все мне подают?

И тут я все поняла: моя склоненная набок, неудобно вывернутая голова под карнизом кассы. Они все думают, что я больная! Калека!

Как я предполагаю сейчас, на моем довольно подвижном лице застыло выражение нечеловеческого страдания, поскольку стоять в одной, да еще и искривленной позиции является самой страшной карой для ребенка. Я совершенно честно мучилась. Но и уйти, когда всех выгнали, а ты спряталась, да так удачно, нельзя. Я терпела и страдала. Возможно, что у меня было несчастное красное личико и брови трагическим домиком. Такая святая мученица-ребенок с вывернутой кривой шеей. Сердца людей разрывались от жалости.

Все нищие, наверное, примелькались уже, их воспринимали как людей без трагедии — ну, такое у них место работы. Ходят как на службу. Делать им нечего.

И тут появилась новая девочка, да еще калека, неприкрытое горе!

Окончательно меня добило то, что от стены отделился мальчик-нищий, его послал одноногий отец-нищий. Мальчик-нищий, глядя на меня во все глаза, подал мне копеечку и торжественно, свершив доброе дело, вернулся к своему плохому месту под стеной.

Как только я поняла все, мне стало стыдно до настоящего ужаса. Сердце ушло в пятки. Это был бы позор, если бы они узнали, что я на самом деле не больная! Меня как кипятком обварили. Я, видимо, еще больше покраснела. Люди стали нагибаться ко мне, подавая, что-то спрашивали. Надо было бежать. Держа голову к плечу, еще больше крелясь, я отлепилась от кассы и проделала путь к выходу из магазина (мимо своих собратьев-нищих), но и некоторое время на улице все со-

храняла свою кривую позу. Только зайдя в какой-то двор, я спряталась в кусты, села к стене и посчитала свое богатство. Мне подали четырнадцать рублей!

Можно было купить мороженое. Оно стоило три рубля самое маленькое, девять порция побольше и двенадцать самая большая. Но у меня была мечта о кукле! Я воображала себе эту огромную куклу! И я помчалась в маленький магазин, в лавочку, торгующую бумажным товаром и игрушками, куда я навевывалась обычно просто так и протискивалась столбом над стеклянным прилавком. Меня там уже знали и регулярно выгоняли — но теперь было другое дело, я сказала, что у меня есть деньги. Ко мне отнеслись настороженно.

И я, терзаясь, выгребла всю мелочь на прилавок. Продавщица сурово посчитала. Я, замирая, показала на куклу за ее спиной. Но оказалось, что моих денег хватило бы только на самое дешевое в этом магазине. Под стеклом в витрине лежал мальчик в матроске, матерчатый, с целлулоидной головой. На более дорогую девочку я не поднялась. Я с невыплаканными слезами, потеряв все свои надежды, взяла моего мальчика и спрятала его за пазуху, за воротник подаренного мне зеленого свитера. Я подумала и прижала его к себе. Он был мой! Моя собственная куколка! И тут я помчалась по улице, высоко подпрыгивая от счастья. У меня был маленький мальчик!

Когда я вбежала в свой двор, куклы у меня за пазухой не оказалось, я ее уронила.

На этом удача кончилась. Я поняла, что все было справедливо. Я обманула всех, и Бог меня наказал. Мой маленький матросик лежал у меня на груди недолго.

Удивительно, но так происходит в жизни, наказание следует за преступлением. Только очень большие злодеи уходят от кары, но их оберегают (куруют) совершенно иные силы, как мне кажется.

## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Скоро после этого горя у меня началась другая жизнь, совершилось чудо.

К тому времени, к началу июня 1947 года, я, спустившись с балкона, давно жила на улице, то есть во дворе, и меня уже успели удочерить, это была женщина с соседнего двора, которая потеряла своего ребенка. Она жила в одноэтажном домике под деревом, в густой тени. В комнате этой женщины царил полумрак, над кроватью висела увеличенная фотография умершей девочки с прикрепленным черным бантом. Тетя меня мыла в корыте, и это было жутко противно. Чужие руки трогали меня, фу. Я не помню, но, возможно, она помазала мою голову керосином. Я поспала под портретом недолго, одну ночь, и

убежала к себе во двор. Портрет, портрет, всегда портрет с устремленными на тебя глазами! И женщина, вечно темная, маленькая, озабоченная, которая почти не смотрела на меня. Она в полутьме доставала из шкафа драгоценные дочкины одежки и, сомневаясь, поглядывала в мою сторону. Она явно хотела привыкнуть ко мне и пока не торопилась раскрывать все свои богатства, но я ушла гулять во двор и не вернулась. Я почему-то ждала свою собственную маму, которая уехала четыре года назад в Москву учиться и пока что не приехала, только посылала небольшие деньги, на что мы и покупали по карточкам хлеб и, изредка, керосин.

Я, вольная как птица, лохматая, вся в расчесах от клопов и вшей, видимо уже пыльная после помывки (зеркал в те времена не было, я не видела себя, как все бродяги), бегала по двору, не зная своего будущего, но прискакали довольно взрослые дети соседей сверху из нашего подъезда, дети врагов и сами мои враги, они меня всегда гоняли и били, парень и девка, брат с сестрой, я их боялась и спряталась за угол, но они вдруг весело, как друзья, закричали издали, чтобы я шла к ним домой, меня ждет мама!

Вот как получается в жизни! Твои недруги, мучители вдруг поворачиваются к тебе совсем другими лицами, светлыми, добрыми. (Потом я наблюдала это не раз.)

Я заартачилась и не поверила. Домой к врагам? Какая еще мама? Та черная тетенька с портретом на стене? Но они кричали: «Мама, мама твоя приехала! С Москвы!»

Нечто невероятное! У меня закружилась голова.

Но уличные дети никому не должны доверять.

И не хотят ли они меня обманом вернуть домой? Под ключ? Или сдать в детский дом? За мной охотились две тетеньки из какого-то отдела, чтобы отправить в детдом, я их боялась как огня. Однажды я уже напоролась — поскребла ногтем по чьей-то спине со словами «подайте копеечку», и вдруг передо мной, повернувшись, возникла та самая тетя как из страшного сна и сказала: «А вот ты где!»

Как я от нее тогда бежала!

Но я пошла с моими врагами. Мы поднялись, прошагали мимо двери нашей квартиры, за которой меня напрасно ждали бедные бабушка и Вава, покинутые мной. Мы поднялись этажом выше, и меня ввели в комнату, где за столом сидела моя собственная мама!

Я поперхнулась и зарыдала от счастья, меня как взорвало. Я не видела мою дорогую четыре года. Родное лицо улыбалось мне, но появились и ямочки под глазами (они возникали, когда мама хотела плакать от умиления, например, когда она видела меня после разлуки; и точно такие же ямочки теперь у моей дочери). Моя мама усадила меня и стала как маленькую кормить с ложечки манной кашей, которую она спе-

циально в ожидании сварила — с молоком, маслом и сахаром. Меня вырвало. Потом я помню, что мама меня обмыла и на руках понесла в баню, я ужасно стеснялась, что меня тащат у всех на глазах, здоровую дылду, но мама оставила меня пятилетней и привыкла, что дочку можно носить. В бане меня постригли наголо, оставив только чубчик, а уже ночь мы провели на деревянных брезентовых раскладушках под названием «кóзлы», ударение на «о», на чистейших белых простынях, в огромном зале в аэропорту, среди десятков таких же спящих. Я спать не могла. Запах свежего белья, высушенного на солнце во дворе! Мама рядышком и спит, держа меня за руку!

Это было девятое июня. Я всю жизнь помню эту дату. На исходе ночи нас подняли, посадили в самолет, в котором железные скамейки тянулись вдоль бортов, как теперь в метро. Мы летели очень долго, самолет швыряло, он проваливался в воздушные ямы, душа уходила в пятки.

Мы прибыли на место утром. Я была в новых коричневых сандаликах, надетых на носки, на мне были трусы, майка и ярко-красное платье! Еще у меня было большое коричневое клетчатое пальто. Я чувствовала себя как Золушка на балу, совершенно не в своей тарелке. Начиналась новая жизнь.

Забегая вперед, скажу, что мне там не оказалось места.

### «МЕТРОПОЛЬ»

В Москве, куда мы приехали на автобусе, стояла пасмурная раннеутренняя погодка, озноб прохватывал. Легкий туман скрывал противоположную площадь Свердлова, когда мы стояли под светофором у Малого театра напротив «Метрополя». Или солнце еще не взошло. Я не выпалась, было холодно, мама так и держала меня за руку, с первого взгляда, как будто боялась потерять.

Никому другому я не разрешила бы водить себя за руку.

Помню, что передо мной простерся пустынный Охотный ряд, который мы должны были перейти, чтобы попасть в гостиницу «Метрополь», где нас ждал мой прадедушка Илья Сергеевич, Дедя, — и меня потрясло, что очень мало машин стояло у перекрестка. Я-то была воспитана на трофейных американских фильмах типа «Сестра его дворецкого» в родном ОДО и ожидала, что мы с мамой прилетим по меньшей мере в Нью-Йорк с его потоками машин!

Но мы прилетели в Москву.

Мы вошли в дедушкину квартиру в гостинице «Метрополь». Сюда меня принесли из роддома, здесь я жила первые годы своей жизни. Это был вроде бы мой родной дом.

Но я уже была совершенно неуправляемым, диким ребенком после войны, после разлуки, почти Маугли. Как бы сейчас сказали, я была

асоциальна. Жизнь, которую мы вели в Куйбышеве, была жизнью отщепенцев, париев, юродивых.

Враги народа — это не пустая фраза, мы были враги соседей, милиции, начальства, дворников, прохожих, обитателей двора всех возрастов. Нас в ванную не допускали, стирать не разрешалось, да и мыла не было. В свои девять лет я не ведала, что такое туфли, расческа, носовой платок, школа, что такое дисциплина, например. Я не знала, как усидеть неподвижно, читала я чаще всего на четвереньках, проглатывая книги с бешеной скоростью. Ела тоже мгновенно, преимущественно руками, запихивая в рот огромные куски, и вылизывала за собой дочиста. Круглый год я ходила босая. Я не знала простынь. Вши и клопы развели мои руки от плеча до локтя, и так, что от расчесов не оставалось живого места. Ступни и кисти рук были серые, в кровавых цыпках, в гное, трещинах и ссадинах, а ногти черные как у обезьянки.

Только волосы и глаза были, наверное, прежние, детские. Но волосы мне остригли.

Вот какую девочку получила моя мама. Разумеется, я мешала своему прадедушке в гостинице «Метрополь», у него там была только одна комната, и мало кому нравилось присутствие вышеописанной буйной натуры девяти лет в таком чинном партийном гнезде, как «Метрополь».

Мама пошла на работу, Дедя по делам. Мне стало скучно, требовалось действовать.

Посидевши в одиночестве, я стала рыться в письменном столе и обнаружил в ящике у Деди банку с серебряными полтинниками. Они были такие красивые!

Я села на подоконник.

Внизу, во дворе, бегали и орали как резаные мальчишки.

Я с высоты своего положения стала по-царски кидать им монеты и страшно забавлялась, глядя, как они переполошились, бегают за монетами и дерутся!

Каждая новая монета вызывала у них взрыв бешеной активности и мордобой.

Они уже с надеждой смотрели вверх, а я, довольная, пряталась.

На следующий день я выволокла в коридор прадедушкиного деревянного игрушечного коня. Вернее, это был конь отлетевшего Сережилетчика, моего юного деда. В дополнение к чему я нахлобучила на себя тяжелую непомерную Дедину буденновку (целый прибор, суконный шлем с длинными кусачими ушами и шишаком!). Уголок козырька доходил мне почти до подбородка, и пришлось задирать голову, чтобы видеть пол. Кроме того, я стянула тяжеленную саблю, мирно висевшую у деда на ковре, взяла ее в руки и в таком виде начала бороздить на коне длинные коридоры «Метрополя», отталкиваясь ногами от паркета и крича на скаку «Ура, товарищи! В бой!».

Что там было между взрослыми после моей кавалерийской вылазки, я не знаю. Сабля оказалась неподъемной, она в конце концов повисла у меня через плечо на какой-то тряпке и волочилась с лязганьем по полу, и представьте себе этот вид — в чинном коридоре «Метрополя», подпрыгивая, грохоча и царапая наборный, навощенный паркет, загребая ножками, движется огромная буденновка на игрушечном коне, а за ней тянется, звякая, еще и сабля. Я была очень маленькая и худая, в детском доме впоследствии у меня было прозвище Москвичка-спичка.

## ЛЕНОЧКА ВЕГЕР

Поэтому, наверно, мама срочно вывезла меня из «Метрополя». Нас, короче, дедушкина родня попросила вон. На первый случай мама переправила меня в Серебряный Бор, на дачу к нашей почти родственнице, старенькой Мамаше (это было ее прозвище). Я приходилась ей двоюродной племянницей внебрачного сына одного человека, Сережи Судьина, которому Сереже Судьину Мамаша, в свою очередь, когда-то сдала койку в Казани, его привезли из маленького города поступать в первый класс гимназии, это называлось тогда «нахлебник», то есть койка была с питанием. Там, под присмотром Мамаши, он и вырос.

У этой Мамаши Сережа Судьин при наличии ее собственных детей числился самым любимым ребенком. Он стал революционером. И женился он на шестнадцатилетней Леночке Вегер (которая позже, уже посмертно, оказалась моей двоюродной бабушкой). Леночка, хорошенькая как ангел, пришла селиться в комнату к мужу одна, так как он был занят на работе. Она в то время тоже уже ходила на службу, заведовала детским очагом (так назывались ясли). Леночка вошла, опустила голову и увидела, что на ее блузке не хватает пуговиц, остались только тряпочки (тогда пуговицы обшивались материей и шли от ворота до юбки часто, в два ряда). Леночка сказала: «У меня пуговицы оборвались». А Мамаша уже ее полюбила и ответила: «Ничего, я пришью».

(Недавно я услышала следующую историю, относящуюся приблизительно к 1925 году. Дело произошло в «Метрополе», в семье моей бабушки Вали. Как-то в воскресенье утром маленькая Люля заболела, предположительно scarlatinной, и второго ребенка надо было изолировать. И мою будущую тетюшку Ваву (ей стукнуло одиннадцать лет) мать отвела к этой своей сестре Леночке в гостиницу «Националь». В «Национале» Леночка Вегер, заведующая секретариатом Калинина, занимала номер на втором этаже, первая дверь в тупичке справа от парадной лестницы. Это было воскресное утро. Никакой еды у Леночки в комнате не имелось, даже хлеба. Все сотрудники Кремля обедали в кремлевской столовой, и им с собой еще давали сухой паек, сверток с провиантом на ужин. (Впоследствии все, что выдавали «контингенту»

в течение многих десятилетий в так называемых кремлевских столовых — а по сути в закрытых городских магазинах, — так и называлось, «сухой паек». Куры, фрукты и овощи, икра и балыки, даже нежнейший хлеб и какое-то специальное молоко.)

Маленькая Вава стояла там, где ее оставила мать, и тут в номер к Леночке безо всякого предупреждения и без стука, видимо со своим ключом, вошел Михаил Иванович Калинин. И тут же, не глядя по сторонам, последовал налево, туда, где находился альков и в нем кровать. Леночка громко сказала ему, что у нее в гостях племянница — которая, кстати, стояла столбом и во все глаза смотрела на обувь Калинина, поскольку он имел на ногах коты́, деревенские боты без шнуровки, но с ушками и боковыми резинками. Так-то на Калинине был серый городской костюм с пиджаком, а вот обут он был странно. В котáх ходили приезжавшие на базар крестьяне. Правда, у Калинина коты́ были лакированные, что тоже дико заинтересовало ребенка. Она буквально не могла отвести глаз от котóв всесоюзного старосты. Калинин же из алькова спросил, как понравилась девочке Москва. У него, как потом объяснила Леночка, было много детей в деревне, и они всегда приезжали именно оттуда. Леночка тут же взяла стул, повернула его сиденьем вперед, встала за его спинкой и буквально стала наезжать на бородатого дедушку, вываживая его из алькова и не позволяя ему подойти к себе. Во время этой процедуры она сообщила, что девочка живет в Москве, в «Метрополе», а вовсе не приехала из деревни.

Как-то удалось выпроводить Калинина, а потом Леночка сказала своей сестре в присутствии ее детей: «Если бы вы знали, как это трудно». Калинин был ее старше на двадцать пять лет. Судя по всему, кремлевские титаны не ограничивали себя ни в чем по отношению к своим сотрудницам. Каганович, о фамилии которого речь пойдет немного позже, тоже являлся к красавице Леночке при Ваве, но был удален. Робкий Билл Клинтон, подвергшийся нападению, т. е. сексуал харрасменту, со стороны толстой практикантки, по сравнению с советским руководством курит в углу, как говорят теперешние люди, когда хотят подчеркнуть чье-то превосходство.

## МАМАША

Но вернемся к Мамаше. Всю жизнь, начиная с первого класса его гимназии, она не покидала Сережу Судьина — до самого его расстрела, а потом Мамаша жила при второй жене Судьина, Фире. Леночку расстреляли примерно в ту же пору, что и ее первого мужа Сережу, в тридцать седьмом году.

И все эти годы Мамаша зарабатывала на жизнь, обшивая всю дамскую округу. Она мастерила что душе угодно. Но особенно «шли»

бюстгалтеры, скроенные по французскому фасону — кто-то из клиенток съездил в командировку в Париж, и мамаша тут же сняла выкройку.

В свое время Мамаша сильно огорчалась, что маленькая шестнадцатилетняя жена Сережи Леночка дома ничего не ест и «ногами болтат». Откуда такое выражение: Леночка в родной вегеровской семье была младшая и любименькая сиротка, после смерти матери оставшаяся едва двух лет от роду. У евреев маленькая сиротка — объект всеобщего поклонения. И чуть что, Леночка впадала в истерику, кидалась на пол и стучала ногами. «Болтала», по выражению Мамаша. Как результат, в шестнадцать лет в Казани Леночка уже была член партии и заведующая.

Существовало у меня с Мамашей и еще одно родство — с другой стороны, со стороны Яковлевых. У Сережи Судьбина, великолепного военачальника, позже был роман с красавицей актрисой Марией Яковлевой, сестрой моего дедушки Николая Феофановича. Маруся Яковлева выросла как все Яковлевы, под метр восемьдесят. Поэтому партнеры в любой труппе были бы для нее низковаты, и она стала театральным педагогом. От ее романа с Судьбиным и родился Сергей Сергеевич Яковлев, киноактер, народный артист, сыгравший в фильме «Тени исчезают в полдень». Сережа у моего дедушки Коли был вроде сына, он его выучил в институте, во ВГИКе. Вот какая я была Мамаше родня! Со всех сторон. Внучатая племянница первой жены Судьбина и двоюродная племянница побочного сына Судьбина.

Тем не менее добрая Мамаша меня приняла. Крошечная, старенькая, совершенно кособокая, сторбленная Мамаша взяла меня, постороннего ребенка, без единого слова. В доме было полно народу, в том числе и бегали какие-то ее внуки-правнуки, но я ни с кем не познакомилась. Мне это было не нужно. Мне было некогда. Я хотела подслушать, о чем мама говорит с Мамашей, но они ушли в дом.

Затем мама, судя по всему, договорилась с Мамашей, поцеловалась со мной (под глазами появились ямочки, предвестники плача) и уехала. Я заранее тщательно запоминала, откуда мы шли, сначала от метро к троллейбусу, а затем сойдя с троллейбуса (только что не отмечала путь белыми камешками, как Мальчик-с-пальчик), и немного погодя выбралась за дачную калитку, добежала до остановки и уехала на этом троллейбусе обратно к маме. Я рассчитала, что доеду до метро, а там уже все знают станцию имени Кагановича. Но не тут-то было! Я помню сердобольные лица людей, которые маленькой толпой отвечали, склонившись ко мне, что все метро называется «имени Кагановича»!

Начиналось пыльное московское лето, дело шло к вечеру, солнце висело низко, лучи его били мне в лицо, ослепляли.

— Нет,— убеждала я их,— там было, на доме, написано «имени Кагановича»!

— Все, все метро имени Кагановича! — в один голос отвечала мне толпа.

Меня даже подвели к станции метро «Сокол» для подтверждения. Действительно, я прочла на совершенно неизвестном здании точно такие же слова «имени Кагановича».

То есть все было как в сказке про Аладдина, когда он пометил все ворота одним знаком! Будь он неладен, этот Каганович! Люди спрашивали меня, где я живу. Знаю ли я свой адрес. По-моему, они уже были готовы сдать меня в милицию и детский дом!

И тут я нашла выход и выгребла из памяти слова — гостиница «Метрополь». Слава тебе господи! Все облегченно засмеялись и повели меня в метро, и кто-то даже убедил билетеров пустить бедную потерявшуюся девочку бесплатно! (Видимо, я уже наговорила чего-то, наврала этим легковерным москвичам про себя, круглую сиротку, не ела шесть дней.) И через некоторое время я туда, в «Метрополь», заявила! Как потерявшийся Мальчик-с-пальчик, с победой! Мама ахнула, узнав, что я опять у прадедушки. Бабушкина мачеха, бывшая жена Деди, но проживавшая по соседству, — эта мачеха тоже, видимо, ахнула. И меня забрали от Деди и затем быстро отправили в пионерский лагерь.

## ЛАГЕРЬ

Оттуда мне было не сбежать, нас везли на пароходе, потом высадили и долго вели вечером по сырой траве, по огромному лугу, при уже закатившемся солнце, на вечерней заре. Запах мятой травы, звон комаров, орава людей с чемоданами и мешками, многие старше меня, темноет, страшно. Могут побить. Дорогу запоминать бесполезно!

В первый раз в жизни я оказалась в огороженном пространстве без возможности обрести свободу.

Там, в лагере, в коллективе, были свои законы, как оказалось, и я их не знала. Это не были законы дикого двора (беги, ищи, хватай, глотай сразу, прячься, отвечай ударом на удар, никому не верь, зовут — не ходи ни за что).

В лагере меня поразило прежде всего четырехразовое питание (а я все запасала хлеб, держа его в тумбочке), чистые простыни, личное полотенце, общая баня раз в неделю, стыд какой, а также туалет на ряд очков вместо забежать за угол, еще и длинный железный лоток для ежевечернего мытья ног и ходьба строем всюду! В столовую четыре раза в день, в спальню дважды, на линейку два раза по будням и по праздникам еще разок дополнительно. И в лес строем.

Сразу обнаружилось, что я не пионерка, девятилетняя беспартийная, и меня приняли. Повязали галстук. Правда, довольно скоро так же торжественно исключили, под барабанный бой на линейке, не помню за что. За постоянные драки, может быть, а скорее всего, за полную дикость. Я еще молчала о том, что не учусь ни в каком классе никакой школы!

Я тут же растеряла все свои вещи. Осталась только юбка на помочах и белая рубашка (белый верх, темный низ, праздничная униформа пионера). Видимо, они лежали про запас в моем чемодане и так сохранились. Правда, пуговицу от одного помоча я тут же потеряла, и пришлось его заправлять в юбку. Оттуда, из-под подола, он вилял в виде длинного (часто мокрого) хвоста, так как в то лето нередко шли дожди. Разумеется, надо мной смеялись.

Помню, что от таких всепоглощающих трудностей я завела себе в кустах идола, такую веточку, которую воткнула в землю под сосной. Я кланялась ей, я вставала перед ней на колени, складывала руки домиком и горячо ей молилась. В Бога я уверовала еще в Кубышеве, я сама поняла, что Бог есть. Моя вера выражалась в том, что я тайно крестила себе рот после зевка (подсмотрела в трамвае у одной старушки). Своего деревянного бога, неструганую палочку, я украсила каким-то цветочком, завила вокруг нее венок, который быстро высох.

Моя предыдущая жизнь научила меня жуткой бережливости насчет продуктов питания, и я хранила за спинкой кровати окаменелые мамины пряники, которые она мне дала с собой, я их берегла на черный день и как святыню, как память о маме, и один раз пришедшая в спальню комиссия с позором вытряхнула их из мешка. Мама сварганила этот мешок из моих бежевых байковых шаровар, зашив штанины. Этому тоже брезгливо удивились.

Господи, как мне было там плохо!

Лагерь воспитал во мне ненависть к проверкам, контролю, коллективизму и, одновременно, восторг до слез перед идущим под военный марш строем. А также личную скромность, нелюбовь и подозрение ко всякой похвале, желание спрятаться подальше, но и наоборот — стремление участвовать во всех кружках: рисовать, петь, танцевать, играть в спектаклях, выступать со стихами, делать себе костюмы и парики из бинтов и, скажем, пакли (пакля добывалась в стенах деревянных барачков). Я так придумала: обматываем голову бинтом и, тыкая иголкой наугад, без зеркала, прямо на голове пришиваем к нему паклю. Затем стаскиваем образовавшуюся шапочку и заканчиваем пришивать в лысых местах.

Таким образом я на одном лагерном карнавале сделала себе костюм клоуна — патлатый парик, красный нос, намазанный свеклой, и половник, украденный на кухне, якобы зонтик. Я гуляла и приплясывала под этим половником, как под зонтиком, надеясь получить приз, — сказали, что дадут выпить морсу сколько хочешь! Но меня просто не заметили. Тогда я самостоятельно тронулась на поиски (должен же где-то быть этот морс) и в темноте под стеной кухни набрела на целую бочку морса! Половник пригодился, я зачерпнула красноватого цвета жидкость и хлебнула от всей души, радуясь, что я над бочкой одна и никто меня не гонит, не выталкивает и не говорит, что ты ведь не получила приз, чего пьешь?

В этой бочке оказалась вода, в которой мыли свеклу и морковь, а может, и картошку. Поганый вкус грязной ботвы. Уроки коллективизма на всю жизнь — не ищи халявы индивидуально! И потом: если никто вокруг не толпится — стало быть, это непригодно. Где нет толпы — там искать нечего.

Кроме того, лагерь развил во мне болезненную тягу к справедливости, забастовкам, упрямству в отстаивании своей позиции, склонность к протесту и к мелким обманам типа украсть общественный огурец. А также детские законы запрещали высовываться, жадничать, ябедничать и воровать личное (общее можно, поскольку все только это и делали).

Меня вернули к маме с пустым чемоданом, в юбке с двумя хвостами, все пуговицы потерялись к концу лета, мама меня устроила на три сме- ны, как оказалось.

### УЛИЦА ЧЕХОВА. ДЕДУШКА КОЛЯ

Следующее наше пристанище было у маминого отца Николая Феофановича Яковлева, дедушки Коли, на улице Чехова, 29, квартира 37. Там тоже фигурировала разведенная мачеха, теперь уже жена деда Коли, с дочерью. И они все свои силы положили на то, чтобы выгнать нас с мамой. Маленькая, сухая старушка сорока пяти лет, мамина мачеха, была настоящим кошмаром для нас. Каждый месяц маму вызывали на заседание суда по иску мачехи о выселении нас из квартиры.

У деда, как и у прадеда, имелась собственная комната, но в два раза меньше, двенадцать квадратных метров, однако с очень высокими потолками, в четыре с лишним метра. И его библиотека (пять тысяч книг) располагалась в шкафах, которые громоздились один поверх другого до потолка. Был отдельный шкаф Библий. Самая большая была неподъемная, в светлой свиной коже с серебряными застежками. Были первоиздания «Бориса Годунова». «Евгений Онегин» стоял в лакированном картонном футляре, тонкие книжицы в обложках из зеленой бумаги, каждая глава отдельно. Как потом предположили оценщи- ки в букинистическом, экземпляр когда-то принадлежал генералу Ермолову. Почему мама тайно продала эту книгу — я долго болела ангиной, гайморитом и фронтитом, и она решила повезти меня в Прибалтику, на море. Была у деда одна моя единственная читаемая книга восемнадцатого века «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, у нее был особенный запах старой бумаги, кислый. Прочсть остальные четыре тысячи девятьсот девяносто семь книг не представлялось возможным, так как они все были на иностранных языках, в том числе и немецкое полное собрание сочинений Гете с кошмарными гравюрами Доре (какие-то рогатые люди). Дед был профессором, я уже упоминала, что он к знанию одиннадцати языков приплюсовал еще и знание

приблизительно семидесяти языков народов Кавказа, поскольку для них он составлял азбуки, а некоторым отсталым аулам вообще создавал заново письменность. Кавказские языки, которые ее имели в виде арабской вязи, все переводились сначала на латинский алфавит.

А также дед считается создателем теории фонем (1923 г.) и математического метода в лингвистике. Дед есть в энциклопедиях. Недавно я прочла в «Независимой газете» другой его титул: «отец алфавитов». Он еще в двадцатых годах был готов перевести кириллицу на латиницу. Слависты, русские лингвисты и востоковеды его знают.

Деда Коля был огромный человек под метр девяносто ростом, с калошами сорок шестого размера (две мои ноги влезали туда). Он был великий молчальник. Его бывшая жена иногда, чтобы ему внушить свою очередную вредную мысль, стучала костью среднего пальца деду в лопатку:

«Коля, к тебе можно?»

Его любимое занятие стало разглядывать старые географические атласы Европы. Это уже происходило после, когда его отовсюду уволили, а он был заместитель директора Института востоковедения. Он сидел без копейки денег, дни свои проводил в кресле в прихожей и дымил «Беломором». Ученики и сподвижники его оставили. Он писал крупным, идеально каллиграфическим почерком какие-то тексты на рулонах серой бумаги или листал свои любимые атласы на иностранных языках — там были обозначены даже деревни, и он, видимо, мысленно ходил по старым дорогам.

Деда уволили, потому что он не сразу одобрил статью Сталина «О марксизме в языкознании». Об этом я уже сказала.

Потеряв работу, он перестал спать и ночами, лежа на своей панцирной кровати, с силой бил себя по колену и ругался матом, крича: «Берияшка! Винограшка! Чикобашка!»

В. В. Виноградов и А. С. Чикобава были его научными противниками, и это они, судя по всему, сыграли роль в его увольнении. А по поводу Берии скажу, что позже, когда того арестовали, соседи признали в моем дедушке провидца и стали его суеверно уважать.

В те годы изгнания из института он за ночь выкуривал две пачки «Беломора», шепча и изредка выкрикивая свои бессильные проклятия. Дым в нашей комнатухе стоял стеной. Я научилась спать, положив локоть на ухо.

Дед утратил всё.

Он уже был выдвинут на звание члена-корреспондента Академии наук. Он жил как нормальный профессор, кормил свою бывшую жену и младшую, большую базедовой болезнью дочь и содержал еще одну семейку, рыжую толстую тетю Фаню с дочерью в нашем дворе. Он ходил

к ним обедать по воскресеньям и спал там после обеда. Я тоже за компанию увязывалась с ним обедать (там было первое, второе и компот!) и потом укрывала его одеяльцем на диване. Однажды я съела, в первый раз увидев такое сокровище, целую банку вишневого компота. Любезная Фаина не сказала ни словечка, я ела и ела. Я никогда не знала вкуса таких вещей и глотала прохладные сладкие ягоды ложками и не жуя, прямо вместе с косточками. Той же ночью с высокой температурой и с диагнозом «острый аппендицит» меня сволокли в детскую больницу, уложили на операционный стол, стали заговаривать мне зубы, тем временем привязали руки-ноги к столу и надвинули на нос и рот колпак, откуда вместо сладкого воздуха полез ядовитый, раздражающий легкие газ эфир. Как казнимый человек, я начала рваться и мычать, просила вздохнуть разок. Дали. Потом опять безжалостно насунули эту маску с эфиром, и на этот раз казнь была доведена до конца. Меня душили. Я опять задохнулась, билась, стонала, вопила, плакала, но была уже крепко привязана и должна была смириться, обессилеть, безвольно размякнуть и умереть, и довольно быстро очутилась летя в большом туннеле, через который косо и часто сек свет как дождь, ядовитый и жгучий, резало нос и гортань от запаха этих острых, бьющих насквозь лучей, я летела сквозь косые яркие струны разьедающего света, в ушах стоял противный свист или звон, как теперешняя частотка, а в конце туннеля было ослепительно светло, и я туда неуклонно приближалась, а в меня неподвижно били, звеня, отравленные, тончайшие, заостренные, пронзающие насквозь длинные иглы. То есть полная картина клинической смерти, как ее описывают...

Кроме книг, дед имел в этой комнатке полуторную кровать с панцирной сеткой и никелированными шарами на спинках, огромный письменный стол красного дерева, кресло, шкаф для рукописей с выдвигающимися папками, каждая с тесемками, и большой квадратный обеденный стол.

## ПОПЫТКА УМЕСТИТЬСЯ

Под этим столом и спала с сорок третьего года, поступив в ГИТИС, моя мама. Стол имел огромный недостаток: в пятнадцати сантиметрах над полом там проходила по периметру толстая деревянная планка, и спать можно было либо ногами поверх планки, что было ужасно неудобно и больно, либо с трудом засунув ноги под нее. Поэтому мама соорудила для меня в уголке за дверью, в общем коридоре, ложе на сундуке. Я с интересом спала там, совершенно одна (такое со мной случалось редко), и слушала журчание разных счетчиков (у каждой комнаты свой). Но это продолжалось только двое суток. Соседи под

водительством маминой мачехи забрали дедушкин сундук из коридора и на его место поставили свой огромный шкаф. Я пошла спать на пол под стол, под бочок к маме, и была счастлива. Это у нас был свой домик. Дети обожают жить под столом. Сверху, на столешнице, у мамы стояли кастрюльки, сковорода, крупы, книги, миска для винегрета, тарелки: наше все. По бокам матраса лежали вещи.

Но мамина мачеха не оставила нас в покое. Ей пришла в голову новая идея, как обустроить нам жизнь. Вскоре пришли грузчики и стали вытаскивать стол из комнаты (он срочно понадобился мачехе для дачи). Мама плакала и ловила сыплющиеся вещи. Я вцепилась в ножку стола, как боевой ребенок, и долго ее не отпускала. Рушилась наша вселенная. Мамина мачеха резко отдавала команды, стоя в дверях. Довольные соседи невинно ходили мимо по коридору. Наконец стол унесли. Мы остались в пустоте. Все наше добро лежало на полу как после бомбежки.

Мама, стойкий оловянный солдатик, не согнулась под этим ударом судьбы. Отплакав и вытерев слезы себе и мне, она вдруг остановившись глазами окинула новый простор, стала что-то мерить веревочкой, писать на бумажке, и в результате вскоре купила маленький письменный столик и кровать! И все это поместилось! Правда, кровать была с хитростью: днем она укорачивалась (промышленность знала что выпустить для тесных помещений), а на ночь ее опущенный участок поднимался. То есть днем я могла сидеть за столом на краю нашей кровати, есть и готовить уроки, а ночью мы как люди ложились спать. Правда, было тесновато, восемьдесят сантиметров на двоих в ширину, я была уже не маленькая, к тому же беспокойная. На ночь, от счастья что я наконец легла, мне обязательно надо было покрутиться туда-сюда, покачаться на кровати, поколошматиться головой о подушку, размахивая руками и испуская радостные вопли. Это называлось «бешение». Прекрати бешение, говорила мама. Ночью, видимо, я тоже вертелась, мама жаловалась на мои острые локти. Мы проспали с ней на одной кровати еще лет семь, пока я окончательно не выросла. Тогда мама приобрела мне раскладушку, и она как-то тоже уместилась! Радости моей не было предела, у меня отдельная кровать!

Из подвигов маминой мачехи упомяну только один. Как-то я заболела и легла на дедушкиной кровати в жару. Никого не было в квартире, только эта мачеха. В один прекрасный миг мне почудилось, что потолок и стены съезжаются и лезут на меня. Я выскочила из страшной комнаты, в жару и в поту, и помчалась по коридору искать кого-нибудь, и наткнулась на мамину мачеху. Я ей пожаловалась на потолок и стены. Она взяла меня костлявой рукой за плечо, привела в комнату, заботливо заставила лечь, вышла и повернула ключ с той стороны! Заперла! Я не помню, что делала, билась об дверь, наверно. Плакала, орала? И сколько часов это продолжалось и кто меня открыл?

По ужасу это было сравнимо только с впечатлением от детского спектакля в Куйбышевском театре. Я была, видимо, совсем маленькая. Там фигурировал Кошей Бессмертный. Он до поры до времени содержался позади сцены за какой-то дверью, потом дверца эта открылась — и в зеленом, жутком свете он явился целиком, старик-скелет, обросший лохмотьями мха, брэнчащий цепями. Он поднимался из подземелья, рос... Я закричала отчаянно, на весь театр. Он приходил ко мне во сне несколько раз. Однажды (сон) я шла по тротуару пустынной улицы, небо как на рассвете, дома были желтые, невысокие, и в окошечке над дверью одного из домов я увидела знакомый зловещий зеленоватый огонек. Дверь должна была вот-вот открыться. Я догнала какого-то прохожего и находчиво сказала ему:

«Дяденька, давайте прекратим этот страшный сон». И проснулась.

(Когда я увидела фильм Бунюэля «Скромное очарование буржуазии», там был точно такой же эпизод, сон солдата — как он идет по пустынной улице с низкими домами, а это мертвый город, и зияет дверь подъезда, а там с потолка сыплется земля. Позже я написала сказку о городе мертвых, «Черное пальто», там девушка бежала по улице, и она одна была там живая.)

## ДЕТСКИЙ ДОМ

Меня куда-то надо было девать, отдавать учиться по крайней мере.

И вот настал момент, и мама, нажарив мне на дорогу белых гренок, отправила свою дочку с какой-то попутчицей-теткой в Башкирию, в детский дом для ослабленных.

Была осень. Мы ехали несколько суток, по дороге я всех настойчиво угощала размякшими мамиными гренками. Потом пришлось добираться от вокзала за город пешком. Помню золотой лес, по которому мы шли к детскому дому, парк, запах забродившего палого листа, дыма и, с берега, дух свежести и речной тины. Детский дом, двухэтажный дачный дворец, стоял на высоком берегу речки Уфимки под Уфой.

(Тогда под детдома и дома пионеров отводились действительно дворцы. Правда, под психбольницы, колонии и тюрьмы шли монастыри.) Там меня посадили сразу во второй класс, выяснив, что я умею читать и писать. Мне выдали тетрадку. Я в первый раз в жизни зажала в пальцах ручку, обмакнула ее в чернила и торжественно стала выводить буквы.

Подошла учительница и сказала:

— Ты почему начала писать с середины страницы? Надо писать с начала.

Я тогда беззаботно вырвала лист и на следующем вывела дату и слова «Классная работа» снова ровно в центре страницы. Как заголовок на титульном листе книги. А надо было на первой строке...

Учительница подошла, посмотрела, велела написать снова. Я опять начала с середины. Терпение у нее лопнуло — и меня отвели в первый класс...

Там я живо стала отличницей. Что не мешало мне вести себя точно так же, как летом в лагере. И, поскольку я уже была пионеркой, меня опять выгнали из пионеров!

Я помню, как заболела ангиной, и меня положили в лазарет. Он назывался еще «изолятор». Я лежала в бреду на чистой белой койке, по моему, запертая, совершенно одна. Было очень страшно. И я обрадовалась, когда увидела маленькую мышь под соседней кроватью. Я тут же отдала ей припасенный под подушкой хлеб. Она взяла его передними лапками, села на хвост как белка и стала есть!

Там, в детском доме, мы готовились к Новому году. Наши воспитательницы все поголовно были ленинградками, которых вывезли с детьми в блокаду. И они с нами устроили настоящий новогодний концерт — это был театр! Меня нарядили цыганкой, я пела, сидя на полу, в хоре «ляй-ляй-ляй» в цветастых юбках и в платке, а на моей тощей груди висело ожерелье из стеклянных елочных бус! А потом я плясала, размахивая юбками!

Уж что-что, а жизнь цыганского табора мы видели ежегодно, как только спадала вода в Волге. Они ставили шатры на нашем берегу, варили похлебку, это нас и приманивало. Трещали костры, сидел на цепи медведь с кольцом в носу, бегали как угорелые чумазы детишки в комбинезонах с разрезом (детеныш присел, прореха разошлась, сделал свои делишки, вскочил и побежал). Не помню, как они плясали, но я плясала в детском доме точно так же.

После этого за мной стал преданно ходить мой первый в жизни кавалер, воспитанный сын учительницы, беленький второклассник. Я его держала в строгости, как полагается барышне из хорошей семьи, и мы даже с ним ни разу не подрались.

К сожалению, мне не в чем было ходить гулять, я замерзала. И я написала маме письмо с просьбой прислать мне пальто и валенки. И надо же такому чуду произойти, что мама мне прислала огромную посылку с бархатным теплым пальто и валенками! (Наследство от моей троюродной сестры Маришки Вегер, американское пальто на искусственном меху с большой чернильной кляксой справа). Я надела эту замечательную теплую и удобную (в ней можно было валяться на снегу) одежду, а потом в экстазе стала бегать и кружиться по льду пруда. Валенки меня сводили с ума! Как было хорошо и приятно ногам! И тут же я угодила ногой в незаметную маленькую полынью. Нога в валенке провалилась безнадежно. Я вынужденно сидела на льду, протянув свободный валенок, и кричала почему-то «ура, товарищи!». Поэтому меня стали тащить не сразу. Не заметили, что я стала одноногая. А когда вытащили, то валенок ушел на дно...

К весне детей поубавилось, их возвращали на место, в мае вывезли последних. Детский дом для ослабленных уходил на каникулы, может быть, его и расформировали вообще. В послевоенные годы был неурожай и голод. Разъехались воспитательницы. Увезли моего друга. Увезли Маню, четырнадцатилетнюю девочку, слабенькую настолько, что она ручку с пером еле удерживала в пальцах, поэтому мы сидели с ней в одном первом классе. Она была высокая, худенькая, плохо ходила. У нее были огромные черные глаза.

Опустел наш большой дом над речкой Уфимкой, на крутом берегу, его закрыли. Осталась только сторожиха с каким-то мужиком. Я жила у них в домике. Они говорили по-башкирски. (От того времени у меня в памяти застрял счет по-башкирски: бир ике иш дурт биш олте жиге сигес цугес ун. Ун бир, ун ике и т. д. Простите меня, господа башкиры, если что не так. Раньше я знала ваш язык.)

Сторожиха и ее мужик собирали в лесах подснежники на продажу. Я ходила с ними, помогала. Старалась как-то принимать участие в этой непонятной теперь жизни.

Мы собирали цветы на огромных росистых полянах, окруженных высокими деревьями, в утренней тени, когда солнце сидело еще низко. Мы собирали цветы на рассвете, целыми корзинами. Там была какая-то густо-синяя даже трава, в которой сидели крупные белые звездочки подснежников. Надо было рвать нераскрывшиеся бутоны.

Я уже понимала, о чем башкиры говорят (все-таки восемь месяцев среди местного населения! Дети обожают узнавать чужие языки и легко их осваивают, чтобы все понимать, разведывать, узнавать. Они не могут без информации. Дети прирожденные разведчики).

Башкирская пара говорила о том, что меня, наверно, переведут в другой детский дом, но куда, еще не известно. Не пришло распоряжение. Потому что моя мать меня не забирает. Бросила.

Я этому не поверила. Потом я узнала, что просто мы все такие, мы вечно опаздываем всюду. Даже когда семья Вегеров, моего прадеда Ильи Сергеевича, должна была креститься в лютеранской церкви (вслед за тем молодые Илья Сергеевич и Ася, у которых уже был выводок внебрачных детей, в том числе и моя маленькая бабушка Валя, собирались обвенчаться, узаконить потомков и отдать их в школу) — так вот, и на это важнейшее событие Вегеры опоздали катастрофически. Однако дисциплинированный немец-пастор их дождался, только вежливо спросил: «Варум зо шпет», почему так поздно.

Днем я одна гуляла в лесах. Там была некая заманчивая вещь — пещера Пугачева. Вход в нее, узкая кривая щель, виднелась высоко в крутом обрыве. Говорили, что там огромные пространства. Я долго примеривалась туда залезть и втиснуться, но что-то меня не пустило. Какой-то инстинкт не ходить туда где тесно. Зато в лесу я набрела на

домик, небольшую вроде бы дачу. В окне сидела женщина и курила. Я попросила папиросу. Она дала мне папиросу и огонька. Я вполне профессионально изобразила курильщицу, не кашляла. Женщина с интересом на меня взирала. Откуда появилась в лесу эта красивая дама?

Я думаю, если бы я осталась в этих лесах, она бы меня точно удочерила. Я ей наплела, что у меня никого на свете, я сиротка.

## Я ХОЧУ ЖИТЬ

Потом все-таки какая-то тетка за мной приехала, забрала меня, уже имевшую образование в объеме первого класса (это в десять-то лет!), но при этом круглую отличницу. И меня повезли с Урала домой. По дороге попутчицы менялись. Какое-то время я прожила у чужой тети, спала на полу. Вот она, по-моему, жалела меня, так как выразила желание тоже удочерить такую выдающуюся сироту, которая плетет бог знает что. Действительно, что я рассказывала о себе незнакомым людям, это не влезало ни в какие ворота (видимо).

Но я не дала себя удочерять. Я ее сразу невзлюбила как человека, покушающегося на собственность моей мамы. Я своей маме принадлежала полностью. Я ее боготворила. Ее чудесный образ меня, поэтически говоря, не покидал ни на минуту. Согревал меня, сироту детдомовскую (при наличии живых папы, бабушки, дедушки, тети и целого коллектива двоюродных бабушек, дядь и тетя). У меня была одна цель жизни — жить вместе с мамой!

Меня привезли в Москву, и тут же я поехала на три месяца в пионерский лагерь. Это был опять труднейший процесс перевоспитания. В детском доме меня уже уважали как отличницу и артистку. А тут опять исключили — сначала сняли с должности председателя совета отряда, куда выбрали сразу же за невероятную активность и образцовое поведение в первые дни (я думаю), а затем и выкинули из пионеров на линейке. Ясно, за что, за драки, недисциплинированность и т. д. Своих носков, сандалий, носовых платков, расчесок и ленточек я вообще не видела в глаза с первых дней в лагере. Вскоре меня перевели в наказание в отряд помладше. Там я в первый же момент в восторге приняла участие в общей драке, мне сильно наkostenяли, и я продолжала существование уже в том виде, к которому привыкла.

Единственное утешение было в искусстве. Я записалась в хор, в театральный кружок, в рисовальный кружок, в кружок танца. Я надеялась своими талантами пробиться к признанию в этом лагерном сообществе, в коллективе детей войны, воспитанных в условиях тотального голода и школьной дисциплины.

Но я не припомню, чтобы дети уважали кого бы то ни было за пение или рисование. К актерам и певцам они относились презрительно, как

в древности к скоморохам. Дети ценили то, что вообще ценится в людях всякого времени — силу, презрение, молчаливость, собранность, волю к чему бы то ни было, то есть характер. Самоуважение также котировалось, но выше всего стояла простая и грубая физическая сила.

Моя репутация держалась за счет одного — на ночь, когда уже гасили свет, я рассказывала в спальне страшные случаи!

Я помню, как в том своем любимом детском доме в девять лет дорассказывалась до того, что все уже спали, а я не могла заснуть и вдруг впала в страшную панику, в первый раз в жизни поняла, что когда-нибудь умру, и начала кататься по кровати и кричать благим матом: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать! Не хочу умираа-ать!!! Хочу жи-ить! Ааа-а!» Все проснулись, включили свет, сбежались взрослые, держали меня за руки, я рвалась куда-то и кричала страшно.

Один раз я уже видела смерть — с балкона в Куйбышеве. Прямо под ним стоял грузовик, и в кузове, почему-то на голубых подушках, лежала мертвая девочка, одетая как кукла. Я редела потом всю ночь.

В следующий раз я безутешно, почему-то не очень громко, скрываюсь, плакала осенью 1949 года по возвращении из лагеря. Мама только что мне сказала, что Дедя умер год назад.

Дедя погиб в 1948 году, когда исполнилось десять лет с момента смертного приговора над его детьми Леночкой и Женей (те самые десять лет без права переписки). Он несколько раз сходил на Лубянку, седой, со снежно-белой бородой (малыши всегда принимали его за Деда Мороза и окружали, смеясь). Он писал заявления, где упирал на то, что десять лет прошло, где мои дети. Перед каждым посещением Лубянки прощался. Написал ряд писем Сталину, где порицал начальника НКВД Аввакумова за «барство». Потом он пошел с бидончиком на улицу Горького за молоком, стоял в толпе у светофора на углу напротив «Националя», пока шли машины, и его сильно толкнули прямо под колеса хлебного фургона (водитель, шоферша, на суде говорила, что этот дедушка из толпы просто сам бросился под колеса согнутый). В бумагах написали, что он был нетрезвый. Придумали энкавэдэшники убогие. Дедя не пил никогда.

Я провожала Дедю как могла, тихо скуля, почти без слез. Как исполняя какой-то важный обряд. Стояла в темном коридоре и плакала для него. Я тебя больше никогда не увижу. Как же так, я тебя больше не увижу. Дедя мой Дедя.

Мне казалось, что он слышит.

## 4. POMAH

*Мне позвонили, и женский голос сказал:*

*— Извините за беспокойство, но тут после мамы, — она помолчала, — после мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она была поэт. Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну тогда извините.*

*Через две недели пришла в конверте рукопись, пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм. Подзаголовок «Записки на краю стола». Ни обратного адреса, ни фамилии.*

Он не ведаёт, что в гостях нельзя жадно кидаться к подзеркальнику и цапать всё, вазочки, статуэтки, флакончики и особенно коробочки с бижутерией. Нельзя за столом просить дать ещё. Он, придя в чужой дом, шарит всюду, дитя голода, находит где-то на полу заехавший под кровать автомобильчик и считает, что это его находка, счастливы, прижимает к груди, сияет и сообщает хозяйке, что вот он что себе нашёл, а где — заехал под кровать! А моя хозяйка Маша, это её внук закатил под кровать её же подарок, американскую машинку, и забыл, она, Маша, по тревоге выкатывается из кухни, у её внука Дениски и моего Тимочки дикий конфликт. Хорошая послевоенная квартира, мы пришли подзанять до пенсии, они все уже выплывали из кухни с маслеными ртами, облизываясь, и Маше пришлось вернуться ради нас на ту же кухню и раздумывать, что без ущерба нам дать. Значит так, Денис вырывает автомобильчик, но этот вцепился пальчиками в несчастную игрушку, а у Дениса этих автомобилей просто выставка, вереницы, ему девять лет, здоровая каланча. Я отрываю Тиму от Дениса с его машинкой, Тимочка озлоблен, но ведь нас сюда больше не пустят, Маша и так размышляла, увидев меня в дверной глазок! В результате веду его в ванную умываться ослабшего от слез, истерика в чужом доме! Нас не любят поэтому, из-за Тимочки. Я-то веду себя как английская королева, ото всего отказываюсь, от чего ото всего: чай с сухариками и с сахаром! Я пью их чай только со своим принесённым хлебом, отщипываю из пакета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы, Тима же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем (на столе забыта масленка). «А тебе?» — спрашивает Маша, но мне важно

накормить Тимофея: нет, спасибо, помажь потолок Тимочке, хочешь, Тима, еще? Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит (а сама прекрасно выглядит), говорит:

— А что, тетя Аня (это я), ходит к вам Алена? Тимочка, твоя мама тебя навещает?

— Что ты, Дунечка (это у нее детское прозвище), Дуняша, разве я тебе не говорила. Алена болеет, у нее постоянно грудница.

— Грудница??? — (И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее грудница, от чьего такого молока?)

И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро «Спокойной ночи», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.

Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно.

— На какую работу, что ты, Оксаночка, она же сидит с грудным ребенком!

Наконец-то она спрашивает, это, что ли, от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не знала, что так бывает и что так не бывает, и она плачет, проснется и плачет от счастья? От того? Когда Алена просила займы на кооператив, но у нас не было, мы меняли машину и ремонт на даче? От этого? Да? Я отвечаю, что не в курсе.

Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь они дружили, Дуня и Алена, в детстве, мы отдыхали рядом в Прибалтике, я, молодая, загорелая, с мужем и детьми, и Маша с Дуней, причем Маша оправлялась после жестокой беготни за одним человеком, сделала от него аборт, а он остался с семьей, не отказавшись ни от чего, ни от манекенщицы Томика, ни от ленинградской Туся, они все были известны Маше, а я подлила масла в огонь: поскольку была знакома и с еще одной женщиной из ВГИКа, которая славна была широкими бедрами и тем, что потом вышла замуж, но ей на дом пришла повестка из кожно-венерологического диспансера, что она пропустила очередное вливание по поводу гонореи, и вот с этой-то женщиной он порывал из окна своей «Волги», а она, тогда еще студентка, бежала следом за машиной и плакала, тогда он из окна ей кинул конверт, а в конверте (она остановилась поднять) были доллары, но немного. Он был профессор по ленинской теме. А Маша осталась при Дуне, и мы с моим мужем ее развлекали, она томно ходила с нами в кабак, увешанный сетями, на станции Майори, и мы за нее платили, одна живем, несмотря на ее

серьги с сапфирами. А она на мой пластмассовый браслетик простой современной формы 1 рубль 20 копеек чешский сказала: «Это кольцо для салфетки?» — «Да», — сказала я и надвинула его на руку.

А время прошло, я тут не говорю о том, как меня уволили, а говорю о том, что мы на разных уровнях были и будем с этой Машей, и вот ее зять Владимир сидит и смотрит телевизор, вот почему они так агрессивны каждый вечер, потому что сейчас у Дениски будет с отцом борьба за то, чтобы переключить на «Спокойной ночи». Мой же Тимочка видит эту передачу раз в год и говорит Владимиру: «Ну пожалуйста! Ну я вас умоляю!» — и складывает ручки и чуть ли не на колени становится, это он копирует меня, увы. Увы.

Владимир имеет нечто против Тимы, а Денис ему вообще надоел как собака, зять, скажу я вам по секрету, явно на исходе, уже гает, отсюда Оксанина ядовитость. Зять тоже аспирант по ленинской теме, эта тема липнет к данной семье, хотя сама Маша издает все что угодно, редактор редакции календарей, где и мне давала подзаработать томно и высокомерно, хотя это я ее выручила, быстро намарав статью о двухсотлети Минского тракторного завода, но она мне выписала гонорар даже неожиданно маленький, видимо, я незаметно для себя выступила с кем-нибудь в соавторстве, с главным технологом завода, так у них полагается, потому что нужна компетентность. Ну а потом было так тяжело, что она мне сказала ближайшие пять лет там не появляться, была какая-то реплика, что какое же может быть двухсотлетие тракторного, в тысяча семьсот каком же году был выпущен (сошел с конвейера) первый русский трактор?

Что касается зятя Владимира, то в описываемый момент Владимир смотрит телевизор с красными ушами, на этот раз какой-то важный матч. Типичный анекдот! Денис плачет, разинул рот, сел на пол. Тимка лезет его выручать к телевизору и, неумелый, куда-то вслепую тычет пальцем, телевизор гаснет, зять вскакивает с воплем, но я тут как тут на все готовая, Владимир претса на кухню за женой и тещей, сам не пресека, слава богу, спасибо, опомнился, не тронул брошенного ребенка. Но уже Денис отогнал всполошенного Тиму, включил что где надо, и уже они сидят, мирно смотрят мультфильм, причем Тима хохочет с особенным желанием.

Но не все так просто в этом мире, и Владимир настучал женщинам основательно, требуя крови и угрожая уходом (я так думаю!), и Маша входит с печалью на лице как человек, сделавший доброе дело и совершенно напрасно. За ней идет Владимир с физиономией гориллы. Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное.

Дальше можно не смотреть этот кинофильм, они орут на Дениса, две бабы, а Тимочка что, он этих криков наслушался... Только начинает

кривить рот. Нервный тик такой. Крича на Дениса, кричат, конечно, на нас. Сирота ты, сирота, вот такое лирическое отступление. Еще лучше было в одном доме, куда мы зашли с Тимой к очень далекому знакомому, нет телефона. Пришли, вошли, они сидят за столом. Тима: «Мама, я хочу тоже есть!» Ох, ох, долго гуляли, ребенок проголодался, идем домой, Тимочка, я только ведь спросить, нет ли весточки от Алены (семья ее бывшей сослуживицы, с которой они как будто перезваниваются). Бывшая сослуживица встает от стола как во сне, наливает нам по тарелке жирного мясного борща, ах, ох. Мы такого не ожидали. От Алены нет ничего. «Жива ли?» — «Не заходила, телефона дома нет, а на работу она не звонит. Да и на работе человек то туда, то сюда... То взносы собираю. То что». — «Ах что вы, хлеба... Спасибо. Нет, второго мы не будем, я вижу, вы устали, с работы. Ну разве только Тимофейке. Тима, будешь мясо?» Только ему, только ему (неожиданно я плачу, это моя слабость). Неожиданно же из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму за локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом. Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами, конечно, делает вид, что в адрес собаки. Всё, больше нам сюда дороги нет, этот дом я держала про большой запас, на совсем уже крайний случай. Теперь всё, теперь в крайнем случае надо искать будет другие каналы.

Ау, Алена, моя далекая дочь. Я считаю, что самое главное в жизни — это любовь. Но за что мне все это, я же безумно ее любила! Безумно любила Андрюшу! Бесконечно.

А сейчас всё, жизнь моя кончена, хотя мне мой возраст никто не дает, один даже ошибся со спины: девушка, ой, говорит, простите, женщина, как нам найти тут такой-то заулочек? Сам грязный, потный, денег, видимо, много, и смотрит ласково, а то, говорит, гостиницы все заняты. Мы вас знаем! Мы вас знаем! Да! Бесплатно хочет переночевать за полкило гранатов. И еще какие-то там мелкие услуги, а чайник ставь, простыни расходуй, крючок на дверь накидывай, чтобы не клянчил, — у меня все просчитано в уме при первом же взгляде. Как у шахматистки. Я поэт. Некоторые любят слово «позтесса», но смотрите, что нам говорит Марина или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки, несколько букв разницы: она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, я прошу объявить так: поэт Анна — и фамилия мужа. Они меня слушают, эти дети, и как слушают! Я знаю детские сердца. И он всюду со мной, Тимофей, я на сцену, и он садится за тот же столик, ни в коем случае не в зрительном зале. Сидит и причем кривит рот, горе мое, нервный тик. Я шучу, глажу Тиму по головке: «Мы с Тamarой ходим парой», — и некоторые идиоты организаторы начинают: «Пусть Тамарочка посидит в зале», не знают, что это цитата из известного стихотворения Агнии Барто.

Конечно, Тима в ответ — я не Тamarочка, и замыкается в себе, даже не говорит спасибо за конфету, упрямо лезет на сцену и садится со мной за столик, скоро вообще меня никто не будет приглашать выступать из-за тебя, ты понимаешь? Замкнутый ребенок до слез, тяжелое выпало детство. Молчаливый, тихий ребенок временами, моя звезда, моя ясочка. Ясненький мальчик, от него пахнет цветами. Когда я его крошечного выносила горшочек, всегда говорила себе, что его моча пахнет ромашковым лугом. Голова его, когда долго не мытая, его кудри пахнут флоксами. Когда мытый, весь ребенок пахнет невыразимо, свежим ребенком. Шелковые ножки, шелковые волосы. Не знаю ничего прекрасней ребенка! Одна дура Галина у нас на бывшей работе сказала: вот бы сумку (дура) из детских щек, восторженная идиотка, мечтавшая, правда, о кожаной сумке, а ведь безумно тоже любит своего сына и говорила в свое время, давно тому назад, что у него попка так устроена, глаз не оторвать. Теперь эта попка исправно служит в армии, дело уже кончено.

Как быстро всё отцветает, как беспомощно смотреть на себя в зеркало! Ты-то ведь та же, а уже всё, Тима: баба, пошли, говорит мне сразу же по приходе на выступление, не выносит и ревнует к моему успеху. Чтобы все знали, кто я: его бабушка. Но что делать, маленький, твоя Анна должна денежку зарабатывать (я себя ему называю Анна). Для тебя же, сволочь неотвязная, и еще для бабы Симы, слава богу, Алена пользуется алиментами, но Андрею-то надо подкинуть ради его пяты (потом расскажу), ради его искалеченной в тюрьме жизни. Да. Выступление одиннадцать рублей. Когда и семь. Хотя бы два раза в месяц, спасибо Надечке опять, низкий поклон этому дивному существу. Как-то Андрей по моему поручению съездил к ней, отвез путевки и, подлец, занял-таки у бедной десять рублей! При ее больной безногой матери! Как я потом била хвостом и извивалась в муках! Я сама, шептала я ей при полной комнате сотрудников и таких же бессрочных поэтов, как я, я сама знаю... У самой матушка в больнице, уже какой год...

Какой год? Семь лет. Раз в неделю мука навещать, всё, что приношу, съедает тут же жадно при мне, плачет и жалуется на соседок, что у нее всё съедают. Ее соседки, однако же, не встают, как мне сообщила старшая сестра, откуда такие жалобы? Лучше вы не ходите, не баламутьте тут воду нам больных. Так она точно выразилась. Недавно опять сказала, я пришла с перерывом в месяц по болезни Тимы: твердо не ходите. Твердо.

И Андрей ко мне приходит, требует свое. Он у жены, так и живи, спрашивается. Требует на что? На что, спрашиваю, ты тянешь у матери, отрывает от бабушки Симы и малышки? На что, на что, отвечает,

давай я сдам мою комнату и буду иметь без тебя столько-то рублей. Какую твою комнату, изумляюсь я в который раз, какую твою, мы прописаны: баба Сима, я, Алена с двумя детьми и только лишь потом ты, плюс ты живешь у жены. Тебе тут полагается пять метров. Он точно считает вслух: раз комната пятнадцать метров стоит столько-то рублей, откуда-то он настаивает именно на этой сумасшедшей цифре, поделить на три, будет такая-то сумма тридцать три копейки. Ну хорошо, соглашается он, за квартиру ты платишь, подели на шесть и отними. Итого ты мне должна ровно миллион рублей в месяц. Теперь так, Андрюша, в таком случае, говорю я ему, я на тебя подам на алименты, годится? В таком случае, говорит он, я сообщу, что ты уже получаешь алименты с Тимкиного папаша. Бедный! Он не знает, что я ничего не получаю, а ежели бы узнал, ежели бы узнал... Мгновенно пошел бы на Алenuшкину работу орать и подавать заявку на не знаю на что. Алена знает этот мой аргумент и держится подальше, подальше, подальше от греха, а я молчу. Живет где-то, снимает с ребенком. На что? Я могу подсчитать: алименты это столько-то рублей. Как матери-одиночке это столько-то рублей. Как кормящей матери до года от предприятия еще сколько-то рублей. Как она живет, не приложу разума. Может быть, отец ее малыша платит за квартиру? Она сама, кстати, скрывает факт, с кем живет и живет ли, только плачет, приходя ровным счетом два раза со времен родов. Вот это было свидание Анны Карениной с сыном, а это я была в роли Каренина. Это было свидание, происшедшее по той причине, что я поговорила с девочками на почте (одна девочка моего возраста), чтобы они поговорили с такой-то, пусть оставит в покое эти Тимочкины деньги, и дочь в день алиментов возникла на пороге разъяренная, впереди толкает коляску красного цвета (значит, у нас девочка, мельком подумала я), сама опять пятнистая, как в былые времена, когда кормила Тимку, грудастая крикливая тетка, и вопит: «Собирай Тимку, я его забираю к ...ней матери». Тимочка завыл тонким голосом, как кутенок, я стала очень спокойно говорить, что ее следует лишить права на материнство, как же можно так бросить ребенка на старуху и так далее. Эт сестера. Она: «Тимка, едем, совсем у этой стал больной», — Тимка перешел на визг, я только усмеяюсь, потом говорю, что она ради полсотни ребенка сдаст в психбольницу, она: это ты мать сдала в психбольницу, а я: «Ради тебя и сдала, по твоей причине», — кивок в сторону Тимки, а Тимка визжит как поросенок, глаза полны слез и не идет ни ко мне, ни к своей «...ней матери», а стоит, качается. Никогда не забуду, как он стоял, еле держась на ногах, малый ребенок, шатаясь от горя. И эта в коляске, ее прибудная, тоже проснулась и зашлась в крике, а моя грудастая, плечистая дочь тоже кричит: ты даже на внучку родную не хочешь посмотреть, а это ей, это ей! И, крича, выложила все суммы, на которые живет. Вы здесь типа того проживаете, а ей негде, ей негде! А я

спокойно, улыбаясь, ответила и по существу, что пусть ей тот платит, тот уй, который это ей заделал и смылся, как видно, уже второй раз никто тебя не выдерживает. Она, моя дочь-мамаша, хватъ со стола скатерть и бросила на два метра вперед в меня, но скатерть не такая вещь, чтобы ею можно было убить кого-либо, я отвела скатерть от лица — и всё. А на скатерти у нас ничего не лежит, полиэтиленовая скатерть, ни тебе крошки, хорошо, ни стекла, ни тебе утюга.

Это было время пик, время перед моей пенсией, я получаю двумя днями позже ее алиментов. А дочь усмехнулась и сказала, что мне нельзя давать эти алименты, ибо они пойдут не на Тиму, а на других — на каких других, возопила я, поднявши руки к небу, посмотри, что у нас в доме, полбуханки черняшки и суп из минтая! Погляди, вопила я, соображая, не пронюхала ли чего моя дочь о том, что я на свои деньги покупала таблетки для одного человека, кодовое название Друг, подходит ко мне вечером у порога Центральной аптеки скорбный, красивый, немолодой, только лицо какое-то одутловатое и темное во тьме: «Помоги, сестра, умирает конь». Конь. Какой такой конь? Выяснилось, что из жокеев, у него любимый конь умирает. При этих словах он заскрипел зубами и тяжело ухватился за мое плечо, и тяжесть его руки пригвоздила меня к месту. Тяжесть мужской длани. Согнет, или посадит, или положит — как ему будет угодно. Но в аптеке по лошадиному рецепту лошадиную дозу не дают, посылают в ветеринарную аптеку, а она вообще закрыта. А конь умирает. Надо хотя бы пирамидон, в аптеке он есть, но дают мизерную дозу. Нужно помочь. И я как идиотка, как под гипнозом, вознеслась обратно на второй этаж и там убедила молоденькую продавщицу дать мне тридцать таблеток (трое деточек, внуки, лежат дома, вечер, врач только завтра, завтра амидопирин может и не быть и т. д.) и купила на свои. Пустяк, деньги небольшие, но и их мне Друг не отдал, а записал мой адрес, я жду его со дня на день. Что было в его глазах, какие слезы стояли, не проливаясь, когда он нагнулся поцеловать мне мою пахнущую постным маслом руку: я потом специально ее поцеловала, действительно, постное масло — но что делать, иначе цыпки, шершавая кожа!

Ужас, наступает момент, когда надо хорошо выглядеть, а тут постное масло, полуфабрикат исчезнувших и недоступных кремов! Тут и будь красавицей!

Итак, прочь коня, тем более что когда я отдала в жадную, цепкую, разбухшую больную руку три листочка с таблетками, откуда-то выдвинулся упырь с большими ушами, тихий, скорбный, повесивший заранее голову, он неверным шагом подошел и замаячил сзади, мешая нашему разговору и записи адреса на спичечном коробке моей же ручкой. Друг только отмахнулся от упыря, тщательно записывая адрес, а упырь подплясывал сзади, и, после еще одного поцелуя в постное масло, Друг

вынужден был удалиться в пользу далекого коня, но одну-то упаковку, десяток, они тут же поделили и, нагнувшись, начали выкусывать таблетки из бумажки. Странные люди, можно ли употреблять такие лошадиные дозы даже при наличии лихорадки! А что оба были больны, в этом у меня не осталось сомнений! И коню ли предназначались эти жалкие таблетки, выуженные у меня? Не обман ли сие? Но это выяснится, когда Друг позвонит у моей двери.

Итак, я возопила: погляди, на кого мне расхотеть, — а она внезапно отвечает залившись слезами, что на Андрея, как всегда. Ревниво плачет по-настоящему, как в детстве, ну что? Поешь с нами? Поем. Я ее посадила, Тимка сел, мы пообедали последним, после чего моя дочь раскошелилась и выдала нам малую толику денег. Ура. Причем Тимка не подошел к коляске ни разу, а дочь ушла с девочкой в мою комнату и там, среди рукописей и книг, видимо, развернула приبلудную и покормила. Я смотрела в щелку, совершенно некрасивый ребенок, не наш, лысенькая, глазки заплывшие, жирненькая и плачет по-иному, неприлично. Тима стоял за мной и дергал меня за руку уйти.

Девочка, видимо, типичный их замдиректора, с которым и была прижита, как я узнала из отрывков ее дневника. Нашла причем, куда его прятать, на шкаф под коробку! Я же все равно протираю от пыли, но она так ловко спрятала, что только поиски моих старых тетрадей заставили меня кардинально перелопатить все. Сколько лет оно пролежало! Она сама-то в каждый свой приход все беспокоилась и лазила по книжным полкам, и я волновалась, не унесет ли она для продажи и мои книги, но нет. Десяток листочков самых плохих для меня новостей!

*Прошу вас, никто не читайте этот дневник даже после моей смерти.*

*О господи, какая грязь, в какую грязь я окунулась, Господи, прости меня. Я низко пала. Вчера я пала так страшно, я плакала все утро. Как страшно, когда наступает утро, как тяжело вставать в первый раз в жизни с чужой постели, одеваться во вчерашнее белье, трусы я свернула в комочек, просто натянула колготки и пошла в ванную. Он даже сказал «чего ты стесняешься». Чего я стесняюсь. То, что вчера казалось родным, его резкий запах, его шелковая кожа, его мышцы, его вздувшиеся жилы, его шерсть, покрытая капельками росы, его тело зверя, павиана, коня, — все это утром стало чужим и отталкивающим после того как он сказал, что извиняется, но в десять утра он будет занят, встречает поезд (видимо, жену), надо уезжать. Я тоже сказала, что мне надо быть в одиннадцать в одном месте, о позор, позор, я заплакала и убежала в ванную и там плакала. Плакала под струей душа, стирая трусики, обмывая свое тело, которое стало чужим, как будто я его наблюдала на порнографической картинке, мое чужое тело, внутри которого шли какие-то химические реакции, бурлила какая-то слизь, все разбухло, болело и горело,*

*что-то происходило такое, что нужно было пресечь, закончить, задавить, иначе я бы умерла.*

(Мое примечание: что происходило, мы увидим девять месяцев спустя.)

*Я стояла под душем с совершенно пустой головой и думала: всё! Я ему больше не нужна. Куда деваться? Вся моя прошлая жизнь была перечеркнута. Я больше не смогу жить без него, но я ему не нужна. Оставалось только бросить себя куда-нибудь под поезд. (Нашла из-за чего.— А. А.) Зачем я здесь? Он уже уходит. Хорошо, что еще вчера вечером, как только я к нему пришла, я позвонила от него м. (Это я.— А. А.) и сказала, что буду у Ленки и останусь у нее ночевать, а мама прокричала мне что-то ободряющее типа «знаю, у какого Ленки, и можешь вообще домой не приходить» (что я сказала, так это вот что: «ты что, девочка моя, ребенок же болен, ты же мать, как можно» и т. д., но она уже повесила трубку в спешке, сказав: «ну хорошо, пока» и не услышав «что тут хорошего».— А. А.). Я положила трубку, сделав любезное лицо, чтобы он ни о чем не догадался, а он разливал вино и весь как-то застыл над столиком, стал о чем-то думать, а потом, видимо, решил нечто, но я все это заметила. Может быть, я слишком прямо сказала, что останусь у него на ночь, может быть, этого нельзя было говорить, но я именно это сказала с каким-то самоотверженным чувством, что отдаю ему всю себя, дура! (Именно.— А. А.) Он мрачно стоял с бутылкой в руке, а мне уже было совершенно все равно. Я не то что потеряла контроль над собой, я с самого начала знала, что пойду за этим человеком и сделаю для него всё. Я знала, что он замдиректора по науке, видела его на собраниях, и всё. Мне в голову не могло ничего такого прийти, тем более я была потрясена, когда в буфете он сел за столик рядом со мной не глядя, но поздоровавшись, большой человек и старше меня намного, с ним сел его друг, баюн и краснобай, говорун с очень хорошей шевелюрой и редкой растительностью на лице, слабенькой и светлой, растил-выращивал усы и в них был похож на какого-то киноартиста типа милиционера, но сам был почти женщина, про которого лаборантки говорили, что он чудной и посреди событий вдруг может отбежать в угол и крикнуть «не смотри сюда». А что это значит, они не объясняли, сами не знали. Этот говорун сразу же стал со мной заговаривать, а тот, кто сидел рядом со мной, он молчал и вдруг наступил мне на ногу... (Примечание: господи, кого я вырастила! Голова седеет на глазах! В тот вечер, я помню, Тимочка стал как-то странно кашлять, я проснулась, а он просто лял: хав! хав! и не мог вдохнуть воздух, это было страшно, он все выдыхал, выдыхал, съезживался в комок, становился сереньким, воздух выходил из него с этим лаем, он посинел и не мог вдохнуть, а все только лял и лял и от испуга начал плакать. Мы это знаем, мы это проходили, ничего, это отек гортани и ложный круп, острый фарингит, я это пережила*

с детьми, и первое: надо усадить и успокоить, ноги в горячую воду с горчицей и вызвать «скорую помощь», но все сразу не сделаешь, в «скорую» не дозвонишься, нужен второй человек, а второй человек в это время смотрите что пишет.) *Тот, кто сидел рядом со мной, вдруг наступил мне на ногу. Он наступил еще раз не глядя, а уткнувшись в чашку кофе, но с улыбкой. Вся кровь бросилась мне в голову, стало душно. Со времени развода с Сашкой прошло два года, не так много, но ведь никто не знает, что Сашка со мной не жил! Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал!* (Мои комментарии: это все чушь, а вот я справилась с ситуацией, усадила малыша, стала гладить его ручки, уговаривать дышать носиком, ну, помаленечку, ну-ну носиком вот так, не плачь, эх, если бы был рядом второй человек нагреть воды! Я понесла его в ванную, пустила там буквально кипяток, стали дышать, мы с ним взмокли в этих парах, и он помаленьку начал успокаиваться. Солнышко! Всегда и всюду я была с тобой одна и останусь! Женщина слаба и нерешительна, когда дело касается ее лично, но она зверь, когда речь идет о детях! А что тут пишет твоя мать? — А. А.) *Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал! Я ничего тогда не знала.* (Комментарий: негодяй, негодяй, подлец! — А. А.) *Я ничего не знала, что и как, и была ему даже благодарна, что он меня не трогает, я страшно уставала с ребенком, болела вечно согнутая над Тимой спина, два месяца потоком шла кровь, никаких подруг я ни о чем не спрашивала, из них никто еще не рожал, я была первая и думала, что так полагается* (комментарий: глупая ты глупая, сказала бы маме, я бы сразу угадала, что подлец боится, что она еще раз забеременеет! — А. А.) *и думала, что это так и нужно, что мне нельзя и так далее. Он спал рядом со мной, ел* (комментарии излишни. — А. А.)

— *пил чай* (рыгал, мочился, ковырял в носу. — А. А.)

— *брился* (любимое занятие. — А. А.)

— *читал, писал свои курсовые и лабораторные, опять спал и тихо похрапывал, а я его любила нежно и преданно и была готова целовать ему ноги — что я знала? Что я знала?* (Пожалейте бедную. — А. А.) *Я знала только один-единственный случай, первый раз, когда он предложил мне вечером после ужина выйти погулять, стояли еще светлые ночи, мы ходили, ходили и зашли на сеновал, почему он выбрал меня? Днем мы работали в поле, подбирали картошку, и он сказал «ты вечером свободна?», а я сказала «не знаю», мы рылись у одной вывороченной гряды, он с вилами, а я ползла следом в брезентовых рукавицах. Было солнышко, и моя Ленка закричала: «Алена, осторожно!» Я оглянулась, около меня стоял кобель и жмурился, и у него под животом высунулось нечто жуткое. (Вот так, отдавай девочек на работу в колхоз! — А. А.) Я отскочила, а Сашка замахнулся вилами на кобеля. Вечером мы забрались на сеновал, он залез первый и подал мне руку, ох, эта рука. Я вознеслась как пух. И потом сидели как дураки, я отводила его эту руку, не надо и всё.*

*И вдруг кто-то зашуршал прямо рядом, он схватил меня и пригнул, мы замерли. Он меня накрыл как на фронте своим телом от опасности, чтобы меня никто не увидел. Защитил меня, как своего ребенка. Мне стало так хорошо, тепло и уютно, я прижалась к нему, вот это и есть любовь, уже было не оторвать. Кто там дальше шуршал, мне уже было все равно, он сказал, что мыши. Он меня уговаривал, что боль пройдет в следующий раз, не кричи, молчи, надо набраться сил, набирался сил, а я только прижималась к нему каждой клеточкой своего существа. Он лез в кровавое месиво, в лоскутья, как насосом качал мою кровь, солома подо мной была мокрая, я пиццала вроде резиновой игрушки с дырочкой в боку, я думала, что он все попробовал за одну ночь, о чем читал и слышал в общежитии от других, но это мне было все равно, я его любила и жалела как своего сыночка и боялась, что он уйдет, он устал.*

*(Если бы сыночка так! Нет слов.— А. А.)*

*Он мне в результате сказал, что ничего нет красивее женщины. А я не могла от него оторваться, гладила его плечи, руки, живот, он всхлипнул и тоже прижался ко мне, это было совершенно другое чувство, мы нашли друг друга после разлуки, мы не торопились, я научилась откликаться, я понимала, что веду его в нужном направлении, он чего-то добивался, искал и наконец нашел, и я замолчала, всё*

*(всё, стоп! Как писал японский поэт, одинокой учительнице привезли фисгармонию. О дети, дети, растишь-бережешь, живешь-терпёшь, слова одной халды-уборщицы в доме отдыха, палкой она расперудила ласточкино гнездо, чтобы не гадили на крыльцо, палкой сунула туда и била, и выпал птенец, довольно крупный)*

*сердце билось сильно-сильно, и точно он попал*

*(палкой, палкой)*

*наслаждение, вот как это называется*

*(и может ли быть человеком, сказал в нетрезвом виде сын поэта Добрынина по телефону, тяжело дыша как после драки, может ли быть человеком тот, кого дерут как мочалку, не знаю, кого он имел в виду)*

*— прошу никого не читать это*

*(Дети, не читайте! Когда вырастите, тогда.— А. А.)*

*И тут он сам забился, лег, прижался, застонав сквозь зубы, зашипел «ссс-ссс», заплакал, затряс головой... И он сказал «я тебя люблю». (Это и называется у человечества — разврат.— А. А.) Потом он валялся при бледном свете утра, а я поднялась, как пустая собственная оболочка, дрожа, и на слабых ватных ножках все собирала. Под меня попала моя майка, и она была вся в крови. Я закопала кровавое, мокрое сено, слезла и поплелась стирать майку на пруд, а он тронулся вслед за мной, голый и окровавленный, мы помыли друг дружку и плюхнулись в пруд и долго с ним плавали и плескались в бурой прозрачной воде, теплой, как молоко. И тут нас увидела наша дисциплинированная Вероника, кото-*

*рая по утрам раньше всех выходила чистить зубы и мыться, она увидела на берегу пруда кровавую, еще не стиранную мою майку, от испуга пискнула, Сашка даже нырнул, оглядела нас безумными глазами и бросилась бежать, а я бросилась стирать, а Сашка быстренько натянул на себя все сухое и ушел. Я думаю, что он в тот момент испугался навеки. Всё. Больше он ко мне не прикасался. (Да, и от всего этого ужаса и разврата родился чистый, красивый, невинный Тимочка, а что же говорят, что красивые дети рождаются от настоящей любви? Тимочка красив как бог, несмотря на этот весь позор и стыд. Прятать эти листки от детей! Пусть прочтут, кто есть кто, но позже, что такое я и что есть она! Надо положить их обратно на шкаф, она все равно докопается, вспомнит, она все эти годы ищет и ищет свой дневник, как маньяк, она умрет, если узнает, но теперь она далеко. И я пишу это и для нее, чтобы она сама все поняла, чья жизнь какая! Да! Мне, например, ни один мужчина не сделал больно, да! Чего там, какие страдания, все иллюзия! Позволю себе также поразмышлять: вот тебе и на, от этих слез, стонов и от этой крови зарождается малая кровиночка, точка в икринке, головастик после этого взрыва и извержения, он первый доплыл по волнам и внедрился, и это каждый из нас! О обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять.— А. А.)*

*Я стояла под душем и плакала навзрыд в квартире у замдиректора по науке, серьезного человека в очках, а он вдруг пришел и полез ко мне в ванну, я только успела закинуть трусики наверх, на занавеску. Он вытер мне глаза, он смотрел на меня, присев, отодвинувшись, он тяжело задыхался — тебе же надо уезжать — нет, нет, сейчас — иди встречай поезд — молчание, льется горячая вода — если бы навеки так было, как я буду без тебя жить, оставь меня, что ты делаешь, ты опоздаешь.*

(Нет, надо действительно это оставить для потомков, да я по сравнению с ней просто не знаю что, младенец невинный, несмотря на то что у нее это всего второй человек: кобели чувствуют в ней ее женскую слабость и способность раз и хлопнуться на спину от счастья.— А. А.)

*Он меня одел, высушил мне голову феном, а я опять начала плакать в горячке, как будто бы я прощалась с отцом, как тогда, когда папа уходил от нас навсегда и я цеплялась за его колени, а мать меня в бешенстве отрывала, улыбаясь и говоря: «Что ты, девочка, перед кем ты, а ты уходи, чтобы духу твоего» и т. д. (Нашла кого с кем сравнивать, родного отца с этим... с отцом Кати прибудной...— А. А.)*

*Он говорил: «Не плачь, я на тебя выйду, пиши мне до востребования, я всегда там получаю, ты меня не теряй», — он бормотал, мотаясь по квартире, подбирая пылинки, соринки, сорвал белье с постели, постлал тщательно новую простыню и повалялся на ней, чтобы ими-*

тировать свой крепкий одинокий сон, а потом употребленное, в пятаках, белье сложил, аккуратно завернул в газету, сунул в пакет и отдал мне. «Что это?» — «Постирай». — «А потом?» Он подумал и сказал: «В рабочем порядке». (Нет бы сказать «дарю», а вот что она так упорно кипятила в баке, а потом прогладила и — что бы вы думали — вернула ему! Но правильно сделала, такие мужчины не выносят и малейшего материального урона! Да и потом это как-то неприлично, я думаю, он был прав, ничего не сказав насчет «дарю», делать такой подарок после первого свидания?! А мог бы выкинуть на улице в урну. Пожалел? — А. А.)

Когда мы уходили, он с тоской посмотрел на часы и на свою супружескую постель, и было видно, что ему хотелось бы использовать каждую минуту и он только ищет повода, чтобы опять все на мне растянуть. Но растягивать не понадобилось, он обошелся так, в почти одетом виде, и только говорил «потерпи, сейчас». Все кончилось просто, я натянула колготки обратно, он мне сказал: «Иди выше этажом, вызывай лифт, я побегу пешком». Когда я вышла из подъезда, он уже давно укатил на своей машине или поймал такси — во всяком случае, улетучился, на остановке стояло несколько человек в ожидании воскресного автобуса, но его не было. И только в метро я поняла, что свои выстиранные трусики я оставила в его ванной на занавеске! О ужас! (Знала, что делала, небось жена приехала и погнала, хлопнула чужими мокрыми трусами да по морде, по очкам! А он тоже хорош, жалко было отпускать бесплатную, выжал до конца в одетом виде! Что же не ценишь себя, не говоришь-то «нет»? — А. А.)

Волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса, когда я представила себе, что его жена полезет в ванну, потянет непромокаемую занавеску, и ей на голову в виде подарка шлепнутся мои мокрые трусики! Я ехала домой, вся замирая от стыда, и теперь сиюж ночью, просто проваливаясь сквозь землю! Сердце падает, уходит в пятки каждый раз как подумаю! Все, все предано, поругано! Как он тогда смотрел на меня в буфете, косвенно, ускользая взглядом, а сам ногой надавливал аккуратно на мою ногу, придавливал, да еще руку положил на колено и пальцем слегка царатнул повыше, но не успел куда собирался достать, я вся сжалась и сбросила его руку. Они с другом галантно проводили меня до самой моей двери, и вдруг он сказал своему компаньону: «Созвонимся, мне тут надо договориться», на что тот склонил в полупоклоне свою немужскую голову и, многозначительно усмехаясь, отчалил. И замдиректора быстро написал в своем блокноте адрес и время: 20 часов, и дату. И я к нему поехала в тот же вечер. И была счастлива! Когда я ехала, я была счастлива! И такой глупый, постыдный конец!

Конец дневника.

Но это было у них только начало. Вскоре после этого мы с Тимочкой почти перестали видеть нашу молодую маму (22 года), она сдавала в институте госэкзамены, закончилась ее преддипломная практика (в том НИИ с замдиректора она защищала диплом якобы, но все свободное время была только с этим пожилым человеком — 37 лет, шутка ли!), все мысли о нем, потом вот и был конец. Она пришла: мне надо с тобой поговорить — и мне тоже, кстати — я выхожу замуж — а он что, будет двоеженец, многоженец? Нельзя сразу на всех быть женатым, — ты не понимаешь, мама. — Он что, разошелся с женой? — Ма-ма, не в том дело. — Ах вот как, будешь любсвь женатого мужчины. — Ма-ма, как ты не понимаешь, у нас будет ребенок, и он снимает нам квартиру. — Вам — это тебе, а сам? — Ма-ма! Не приведу же я его сюда к тебе! И тебя туда я не возьму, — вдруг сказала она с застарелой ненавистью, — Тимочку приеду и заберу, но не тебя! Не тебя!

Она не взяла меня. Но алименты она взяла. Правда, не скоро. Видимо, когда поняла, что он скуп, скуп и не будет сорить деньгами. Любовь у таких людей всегда возвышенная и платоническая, то есть платить ни за что они не будут. Нематериальная любовь. Их деньги всегда им самим нужней. Вот что характерно: удушатся за копейку! Всё у них какие-то планы — то машина, то компьютер, то видеокамера, всю жизнь собирают на что-нибудь деньги и очень любят бесплатно «пожениться», видимо, считая свой взнос в женщину чем-то вроде валюты.

Вот кому мы платили, кого содержали. Моя бедная, нищая дочь, ау.

Ночь. Малыш уснул. Я держу оборону, хотя дочь время от времени наносит удары: перед прошлым Новым годом, никогда не забуду, мы собирались справлять его с Тимой дома, никуда не званы, как всегда, мы с ним пошли на елочный базар и из подобранных вполне пушистых, как веера, веток мы сделали букет, как елочку! Также мы с ним нарезали из цветной бумаги (старые журналы) флажков и зверюшек, и тут пришла Алена, выбралась якобы поздравить, принесла Тиме пластмассового синего кота, выдающегося по безобразию, но Тима с ним носился, укладывал его спать, и я не сказала бедному ребенку, что его родная мать, совершенно обнаглев, увезла из семейного дома две коробки елочных украшений, оставив нам только три. Я плакала. Но электрогирлянду она позабыла! И на Новый год мы обвесили наш еловый букет сверху донизу, в том числе я удачно заранее спрятала отдельно, как чувствовала, стеклянный домик: сверкающая крыша и два окошка по сторонам. Тима любит заглядывать в окошки, как Тильгиль и Митиль вместе взятые из «Синей птицы». И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод (плюс синее пластмассовое чудовище), и я тихо вытирала слезы.

На Новый год мы сделали друг другу подарки: Тима мне завернул в газетку и заклеил свой рисунок, а я ему сшила вполне приличную куколку из тряпок, надевается на руку, театр. У него теперь четыре таких куклы. Мне их очень трудно выделывать, не получается красивое лицо, какие-то проблемы с носом, просто ставлю запятую. Но я не могу бесконечно ему что-то клеить, вырезать, шить, он и сам хочет это делать, чтобы у него сразу получилось хорошо, но он так быстро устает! Через десять минут уже хнычет, мало лет, руки еще кривые, все делает не так и спустя мгновение уже запутал и злобно дергает. А я же занята, мне надо работать! Уже кривит рот. Нервный тик.

Андрею я тоже пыталась сделать свой подарок, приобрела ему книжку «Правила хорошего тона», брошюру, но он отверг и запросил свою обычную цену, грубо и по телефону. А я уже поработала над этим текстом и жирно подчеркнула некоторые положения, так называемое поведение в быту. Андрей, кстати, опять грозился, что выбросится из окна.

Правда, не мне сказал, а жене, что уж она там ему опять нагрубила, в прошлый раз он ничего не угрожал, а просто не вынес, выбросился действительно со второго этажа в сильной стадии опьянения, как определили в больнице. Перелом обеих ног, неудачно упал на асфальт. Лежал в больнице, и теперь у него болит пята.

Пята болит, как жена его сообщает, невыносимо, а по видимости нет ничего. Задет какой-то пяточный нерв. Он не способен оказался на сидячую и стоячую работу, только на сидячую. Где ему ее подберешь, чтобы и лежать иногда, только в пожарке или сторожевать. Трагедия, трагедия! Тому уже прошло пять лет. Две ноги пять лет назад со второго этажа.

Я их обоих боюсь, мужа и жену. Она говорит по телефону, что у них все в порядке, вчера рукав халата оборвал у нее, но так все в порядке. Она медсестра. Тяжелая работенка, но она лечит и колет ему болеутоляющее, массаж ноги, ванночки, а ведь он еще молодой! Да и Аленка моложе-то его всего на два года, я ей сказала в нашу последнюю свиданку Анны Карениной с сыном над супом из спины минтая: ты следи за собой, в кого ты превратилась. Она глаза в сторону и медленно налилась слезами, набухла. Налилась опять ненавистью ко мне. Встала, ни тебе спасибо, ни наплевать, Тиму ни в грош и укатила с коляской. Пешком волокла с четвертого этажа эту коляску с толстенькой девочкой, отсутствие лифта — наше проклятие.

Эта ревность у нее была в детстве, потом прошла, потом они вроде бы даже говорили ночами на кухне в юности, отвергнув меня, которая с радостью бы послушала их молодые разговоры и приоткрывала дверь

своей комнаты, но! Кухня была плотно запечатана, как их души. И когда Андрей сел в тюрьму, она даже ему писала, речь об этом впереди. Писала, пока не привела к нам в дом этого охламона, который не знал ни сесть ни встать как следует и ел, забыв себя, все что было в холодильнике. Город Тернополь. Бреется всегда в полном экстазе перед зеркалом каждое утро, сеанс полчаса — гладит себя электробритвой. Медитация по йоге. Глаза полузакрыты, заглянешь в ванную по спешному делу, мысли, видимо, бродят, Тимочка мокрый кричит, моя сидит на унитазае рожает каждое утро, Андрей, пришедший из тюрьмы, не попадет ни туда ни сюда, ни в ванную, ни в уборную, утром вставши, бешеный сидит в кухне, где ему стоит кресло-кровать, и меня гонит, чтобы выпить в одиночестве свою чашку кофе. Горькую чашу кофе. Через год он и прыгнул; но уже от жены и не в нашей перенаселенной квартире. Честно говоря, покончил со своим прошлым здорового бугая, который уже отсидел за драку в то время, в какие другие служат в армии. Любовь, любовь и еще раз любовь и жалость к нему руководили мною, когда он вышел из колонии. Я его встречала у одного входа Бутырской тюрьмы, а он вышел из другого и, как был, одежду я ему привезла вычищенную, но с другого входа, — как был, на троллейбусе и автобусах без билета через всю Москву, денег ведь нет, затем еще пешком. Я, обознавшись и запутавшись, прождала напрасно, прибегаю домой, а тут он сидит, двадцать лет, во всей их форме. И кепка-пидараска, так он назвал, указав на нее, лежащую на столе. Все каменноугольного цвета. И тут же весна, народу на улицах много, видно, все на него смотрели. Вид героя, исхудалый, я присела на пятки и стала снимать с него ботинки. Он тихо говорит в кухне: «А это кто же? И что это вообще?» (Тут выходит охламон тире обалдуй, спал днем, у них ни ночи ни дня, и Тима запищал). Вот куда ты вернулся, сын мой. Ночью Тима не спал со мной, я ночами не сплю, днем не спал с ними, если они сидели дома, а они оба спали. Я поэт, я всегда и во всем дома. Но тут меня не оказалось, и дверь Андрею открыл город Тернополь. Что за вопросы были, я не узнавала. Андрей тем не менее спрашивает: «А это кто же и что это?» — видя, что я прикарманила еще одного сыночка (город Т.). Я стала все объяснять, сказала, что мы не писали, чтобы не волновать.

Я вообще бы сюда не пришел, говорит Андрей, боюсь еще один срок типа того что намотать, и что он уже все, ему все равно, что с ним, поскольку я в первых же строках своего рассказа сообщила, кто это такой тип и чего стоило женить его на Алене. А тот мимо кухни, опухший со сна, так и шнырнул в уборную и там задвижкой застучал, она плохо запирает, да и от кого было всегда запирает, все свои. Все просто кричат «есть там кто», а задвижка-то не запирает. Заржавела, видно, не от кого было. Тот со страху застучал как заяц. Он ведь тоже не подозревал, в какую семью входит и чьим там порохом воняет, еле-еле женился и

еще не прописался. С помощью людей я его женила, с помощью подруг, которые были с ними в колхозе на картошке в поддержку по уборке урожая колхозникам, которые вообще. В июне родился Тима, Андрей явился спустя шестнадцать дней. Вот-то был содом. Я вижу, начинается. Я же не знаю, с чем пришел домой мой страдалец любимый и единственный. Мускулы опали, пропал молодой жирок, пухлые губы сжаты, красавец — не отвести глаз. Во всем готовом цвета асфальта.

Ситуация была такая: еле-еле этот город Т. на нас женился, ему резко намекнули в деканате, что будут сложности вплоть до ухода в армию, если не женится. Мы его увидели в семье, уже когда стукнуло восемь месяцев беременности, привела его моя страдалица, моя вечная боль, моя Алена. Он пришел с таким видом, что они недовольны. Они с большой буквы, вся Русь и Тернополя. Их усадили, они изволили по стонам не глядеть, Алена вся распухшая, юная, страшная, под глазами ямы, губы с голубизной, волосы висят. В общем, я никогда себя не теряла ни в одной ситуации, всегда волосы! Волосы самое главное, богатство мытых, причесанных волос! И если есть, свежесть кожи, но это уже от прогулок, я любила тогда когда-то прогулки, теперь скорее шныряю.

— Аленка, — говорю, — я, когда тобой ходила, я себя не теряла. Мужайся, поди помой голову. В чем дело? Что за траур тут? Ты что, первый раз беременна?

Она:

— Дорогой, я говорила уже тебе, что мама круглая дура?

Даже он струхнул. Но, видно, крепкий еще был паренек, еще верил в себя и в свои силы.

Они пошли в ту комнату, в бывшую детскую, и там засели, и она носила ему еду. Они там выкушали салат, по весеннему времени картошка с луком с майонезом, потом бадью супу, потом последние три котлеты, которые я вертела, слава богу, с половиной хлеба для величины. Я ждала из тюрьмы Андрея и сэкономила даже на Аленушке, не говоря о себе. Мне не надо ровным счетом ничего, я и так полнею от чашки чая, такие пришли времена. Он (Они) выжрала три котлеты, Алена, по-моему, осталась ни при чем. Я ей на кухне тихо даю свою порцию, говорю пока без него:

— У мальчишки аппетит? Ешь тогда все мое.

Она смотрит на меня спокойно-спокойно, вся взбеленившись, и вдруг начинает плакать:

— Не-на-вижу! Господи, не-на-вижу!

— А что такого? Изголодался этот, я поняла. Но тебе тоже надо маленького во чреве кормить. Он, кстати, будет вносить деньги на еду или будет пожирать твое? У меня заработки сама знаешь, поэт много не наработает.

— Графоманша, — ответила на это моя Алена.  
Обычный случай.

А она в это время носила своего маленького Тимофея, я же не знала, моего Тимку, в честь какого-то тернопольского предка. Я бы ее на руках таскала, а тогда как я могла прокормить Аленку и маленького плюс этот муж нависал над нами, черт его нанес с ветром, труса, убоявшегося идти в армию вон из института в случае отказа от женитьбы, убоявшегося, что его там за красоту сделают педерастом, а через что прошел мой Андрей в лагере в таком случае, спрашивается? Через что? Как над ним там измывались, спрашивается, и чем окупить это страдание, раз ты за него на мои деньги ешь и пьешь? Наш муж, таким образом, женился, скромно посидели в детской комнате плюс две свидетельницы, не те, что были на картошке, этих он, видимо, не схотел. Я выставила винегрет, мясо с макаронами и пирог с сухофруктами. Утром она, продравши глаза, помчалась раньше меня на кухню и зажарила из последних трех яиц яичницу, видимо, для одного этого мужа. Сама стояла над ним с салфеткой, наверное, как лакей. Я попозже говорю:

— Лакей, а лакей, тут было три яйца на нас двоих, я хотела сделать блинчики. Есть-то не фига. Пусть платит хоть что, так-то жениться, за пиццу, неблагородно. Утром вари манну на воде. Как ты будешь, чем ты будешь, какой грудью кормить малышку? Иссохшая!

Я хотела ее обнять и заплакать, но она отпрянула. Так у нас протекала жизнь. Она билась из последних сил, чтобы угодить своему, как она его называла, дорогому. Так она его называла. Я стала просто не выходить из своей комнаты. Холодильник выключила, во-первых, энергия впустую, во-вторых, я, оскорбляемая, одинокая, брошенная ею мать, как должна реагировать на то, что притащишь домой две полные сумки после дня очередей, а у них «жадный гость пришел и все съел»? (По ее меткому выражению.) Гости не давали просохнуть народной тропе в нашу квартиру, всех трогала их ситуация голодающей беременной пары, находящейся в медовом периоде, и Она, торжествуя, несла на кухню Их картошку, Их сто грамм масла и Их колбаску. Плыли аппетитные запахи вплоть до того, что даже уносили мой единственный чайник, и я, голодая перед приездом из колонии моего единственного любимого сына, экономя на всем, кипятила себе воду в кастрюле, пустую чистую воду, и ела чай с хлебом на ужин, завтрак и обед, тюремную еду. Раз он там так, я здесь тоже так.

— Мать рехнулась, — так она объясняла гостям мои проходы из кухни с кастрюлькой кипятка.

Я ведь ни с кем с ними не здоровалась. Но, оказывается, моя ненависть к всея Руси как-то хило, но все же сплотила их в крепкую

семью. Они потешались надо мной. Она исполняла соло, а он был фундамент, они, короче говоря, спелись за мой счет, поскольку я действительно о том только и мечтала, чтобы они оба катились вон и оставили бы детскую комнату Андрею, но куда бы они выкатились? Куда бы? Я сказала им, что не пропишу их мужа, так они быстрее получат в общежитии комнатку для семейных, в доме воцарилась буря со слезами Алены. Ах, он женился из-за прописки, сказала я. Пусть разженивается обратно. Алена думала-думала и приняла меры: с его подачи она мне сообщила, что тогда будет против прописки Андрея в нашей квартире после тюрьмы, имеет право. О! Удар. Все разошлись по углам, успокоились, как всегда после великого скандала. Потом она вышла и вошла ко мне, я дрожала, я сидела работала якобы.

— Ты что, желаешь мне смерти? — обливаясь слезами (все еще), спросила она.

— Чего тебе умирать, живи со своим пащенком будущим, но учти! Если ваша семья состоится только при условии его прописки, тогда я, честно говоря, не знаю, стоит ли такая семейка жертв со стороны Андрея, которому негде будет приткнуться, и со стороны мамы в психбольнице?

Она легко-легко плакала в те времена, слезы лились просто струями из открытых глаз, светлые мои глазки, что вы со мной наделали, что вы со мной все наделали!

Хочу ее обнять, она, как ни странно, не отстраняется. Держу ладонь на ее плече, хрупенькое такое, дрожит.

— Хорошо, — говорит она, — я знаю, что я тебе не нужна с моим ребенком, что тебе нужен этот преступник всегда. Так? Ты хочешь, чтобы я умерла? Или как-то рассосалась? Так вот, этого не будет. Смотри, что-нибудь случится с дорогим, Андрюша загремит уже на много больше лет. Так о своем брате, о страдальце, заслонившем грудью восемь друзей! О том, над кем она плакала ночами (я слышала), кому она писала письма со всякими смешными деталями и стеснялась мне их читать (но я читала и восхищалась, видя в ней будущую писательницу, и как-то однажды это ей сказала и в доказательство процитировала ее же фразу, шутку — и был дикий скандал о шмоне, который я устраиваю у нее, об обысках, дикий, дикий скандал). Правда, она плакала о нем первые два месяца тюрьмы, потом у нее остальные девять месяцев были основания плакать о себе.

И вот теперь все ждали амнистии к празднику 9 Мая!

— Ты, — тихо говорит она, — мало того что шпионишь за нами и нашими друзьями, ты мало того что вызывала к нам милицию, ты еще и украла у Сашки военный билет! Он искал! Он с ума сошел!

— Да? — говорю я, лишившись дара речи. — Я украла? На черта он мне нужен, твой Тернополь!

— И подложила два дня спустя!

Параноики и шизофреники, просто бред преследования! Я купила на последние и пригласила очень милого слесаря вставить замок в дверь моей комнаты. Слесарь взял с меня рубль и шутил со мной, что как раз ищет жену. Глупец, он не подозревал, что я уже взрослая и даже готовлюсь стать бабкой! Святая простота простых людей, которым просто нравится любой человек, а преграда не существует ни на уровне возраста, ни на каком другом. На следующий день он пришел с конфетами и был встречен моей дочерью (я стояла поодаль в халате с ромашками) вопросом, вам кого. Он протянул мне издали кулек и сказал, чтобы я угощалась. Сам он уже был крепко угостившись. Моя дочь демонстративно сказала: «Мама! Еще чего!» От каковых слов мой набравшийся для храбрости жених ступался и канул в вечность, вообще уволился из нашего дома.

Но когда за ним закрылась дверь, дочка моя рассмеялась:

— Мама, вот как раз он — типичный искатель московской прописки, будь осторожней, заразишься плохой болезнью или лобковыми вшами, я тебя вообще к ванной не подпущу, а тем более к тому, кто будет.

К моему родному Тимошке не подпустит!

— Пока не принесешь справку, что ты здорова венерическими болезнями.

Так она в суматохе своей победы выразилась.

— Нам в консультации всем на учебе говорили о бытовом сифилисе, не пить из стаканов на улице газировку, а тут это еще!

Конечно, она теперь порядочная, жена и будущая мать, торжественно ходит в консультацию на лекции, все в порядке.

Я ушла, заперлась у себя и долго плакала горячими слезами. Мне было тогда всего пятьдесят лет! Мои молодые, прежние годы, суставы только еще начинали болеть, давление не беспокоило, все было, все! Ночами, правда, я уже не спала, заснешь и проснешься, заснешь и проснешься. А потом — как лавина стала таять жизнь, но опустим над этим завесу тайны, тайна есть у всякого, в том числе и у могилы, не подлежит разглашению. Бедные старые люди, я плачу над вами. Но моя тогдашняя молодость, насколько же я ее не ценила и считала себя глубокой старухой! Нет, я не падала духом, я все еще мечтала сшить себе то юбочку, то платье, бегала по магазинам лоскутов в поисках дешевки и вся в мечтах. То хотела связать себе кофточку из дешевых бумажных ниток типа гипюра. Вот какая все-таки загадка эти мои мечты в разгар трагедий! Мне на пепелище вязать кружево, в преддверии прихода двух любимых существ, Тимки и Андрея!

Теперь из этих тогда приобретенных лоскутов я все намереваюсь что-то сшить Тиме, но рубашечку я не осилю, да и Машуня, добрая моя, отдает ихнего парня кое-что нам, не все, не богатое, не куртки и кроссовки, нет! Убогое. И есть уже школьная форма, да! Все коплю.

Машуня какая ни на есть, а все же последнее, что у меня осталось, о моей жизни прошлой я не найду тут места рассусоливать, о том, как мои бывшие подруги вдруг рассосались, ушли в семьи, когда меня выгнали с работы, а должны были выгнать не меня, и все дело теперь ограничивается моими якобы свободными к ним звонками и осторожными, раз в два месяца, приходами в гости на прокорм, но об этом уже речь была. О моей экономии речь уже тоже шла, но и тогда, в те поры, перед приходом этих двух любимых существ, я тоже сэкономила. Моим постояльцам перепала стипендия и даже материальная помощь профкома, не говоря уже о том, что осатаневшие гости за право провести вечерок в теплом доме приносили с собой иногда и жратву, а уж те, кто оставался ночевать и пытался жить у них на полу (а мои дураки очень бывали растроганы этим проявлением любви к ним и поощряли эти попытки проживания групповой семьей), — этим ночлежникам вообще приходилось кормить всю ораву! Они и попивали, бывало. Я держалась стойко и регулярно устраивала скандалы со звонками в милицию, протестуя против проживания у меня в квартире посторонних лиц после 23 часов! Один раз притопал наряд милиции, нагремели в прихожей, разбудили моих постояльцев и их ночных жителей, попросили предъявить документы. Это спугнуло желающих и вызвало прилив еще большей ненависти у дочери. Сам всея Руси даже и глядеть не изволили в мою сторону, так опасались, о простом «здравствуйте» не было и речи. Греческая трагедия! Андрей, ты должен будешь держаться, Андрей, в душе заклинала я, они тебя опять посадят!

Но я не желала им зла и, видя, как они бедствуют, варила и варила запасенный геркулес по утрам, якобы для себя, для больной печени, а потом обнаруживала пустую, но грязную кастрюлю. Слава богу, этот Сашка с детства ненавидел геркулес. Их от него рвало. А моя ела и ела, слава богу. Не удалось выяснить, чего он еще не переносит, пока что он косил все подчистую. Но не у меня. Если он отчаливал в библиотеку (шла весенняя сессия, и он долго каждый раз перед уходом раскачивался, брился, чесался), то я оставляла на кухне и супчик, и второе из рыбок и получала опять приказ долго мыть грязную посуду, но не впервой! Не впервой! Как я любила свою дочь, ее худенькую спину, ее розовые грязноватые пяточки в разношенных шлепках, ее спину, ибо лица своего она мне не показывала. Я бы ее всю вымыла, накормила, она бы у меня в чистых простынках, на пуховых бы подушечках под атласным одеялом (я его пока что убрала) лежала бы все последние дни

перед родами, но она бегала, сдавала сессию досрочно, умудрялась поймать преподавателей пораньше и жаловила их своим аккуратным животиком. Я-то знаю! Она все рассказывала по телефону, а я-то не без слуха! Телефон имел короткую привязь, нельзя было его унести как следует, он застревал в полузакрытых дверях. Все новости были мои. Она сдавала сессию, и от меня шли ободряющие письма в преддверии амнистии, лета, свободы в ту страшную человеческую преисподнюю, где мучился терзаемый Андрей. А моя дочь все старалась накормить своего Шуру. Я мысленно уже привыкла к нему и называла «наш подлец», видимо, в рифму к будущему слову «отец». Писать Андрею Алена перестала, а я в своих бодрых письмах ежедневно передавала от нее приветы и объясняла ее молчание сессией. Я писала, что меня беспокоит, что Алена слишком много занимается, и я боюсь, как бы она не загремела в больницу, — и накаркала.

Вечером я приползла домой из библиотеки, где собирала материал в газетной рубрике «Из зала суда» (есть надо), а дома, разумеется, я работать не могла по причине шума и агрессии в виде громкого смеха, хлопанья дверью, рассказов по телефону, где я была темой номер один, сбрендившая мамаша, особенно в ходу была история со слесарем-больным-триппером, ха, ха! — и застала дома полнейшую тишину. В десять вечера никого. Я поужинала (ура!) в пустой кухне, тихо помылась, с удобствами и в покое, и радостно и свободно легла в свою чистую постель, чтобы в двенадцать ночи проснуться, как обычно, но на этот раз от полной тишины. Я встала и начала бродить мимо их двери, потом толкнула ее в панике — темно. Пригляделась — пусто. Вошла — их тахта заслана, но на покрывале пятно засохшей крови. На синем ржавое. Первая мысль была, что он ее убил. Вторая, сразу же, — что начались роды.

Шурка пришел в два часа ночи в сильном подпитии, подлец, и молча качнулся мимо меня в уборную, где его, подлеца, вырвало.

— Что случилось? — спросила я его прямо через дверь. — Что случилось? Где Аленка?

Он спустил воду и вышел бледный, как замазка.

— Алена родила, — сказал он.

— Поздравляю. Кого?

— Сына.

— Где они?

— В двадцать пятом роддоме. — И он упал, как пьяная свинья.

Я оставила его лежать где лежит, не мать его таскать, затем долго убирала за ним в уборной, затем кинулась к ним в комнату, нашла там узел детского рванья и всю ночь стирала и кипятила ту ветошь, какую они набрали по знакомым. Мой малыш, однако, пришел из роддома весь в кружевах, ибо теперь уже я начала методически, радостным

голосом обзванивать всех кого знала баб, оповещать их о радостном событии и, минуя их недоумение, сразу спрашивала, обязательно чтобы у них лично, но, может, у родни осталось для новорожденных (в магазинах ничего, шаром покати, складно врала я, там кое-что было, но не про нашу честь). Даже я не стеснялась просить, если у кого рваные старые мягкие простыни, на подгузники. Подлец как нанятый бегал по результатам опроса, даже привез блок детского мыла, даже, бывало, долго, впадая в медитацию, гладил, но по вечерам он регулярно исчезал, после чего повторялась вся история с мытьем уборной мною. Домой я категорически запретила ему водить, сказала, что где ребенок, там этому сброду их не место, мигом занесут клопов. Так. Он слушал, слушал, днем носил Аленке куру в банке, бульон в термосе и соки, я раскрыла мощну, да и что у него было, у этого щенка! Отец, тот знаменитый Тимофей, погиб в море, так и не нашли, мать ездила, искала, мать всю жизнь потом, оказалось, по больницам, инвалид второй группы. Спросила, а чем больна эта мать, померещилось, а не туберкулезом ли, еще этого нам не занесли, но ответ был: шизофрения. Спасибо. После нашего мирного разговора на кухне подлец опять смылся на ночь. Тут же Алена слабым голосом звонила из больницы, начала со мной нормальным голосом говорить, что мальчик красивый, кудрявый (я видела потом эти кудри, четыре приклеенных к темени пружинки, остальное лысина, как у китайского председателя Мао, и таковые же глаза). На что я ей ответила, что у нас в роду все женщины и все мужчины красавцы и красавицы и что они с Андреем тоже родились лучше всех, и тут я заплакала. И она быстро со мной попрощалась, узнав, что подльца дома нет и неизвестно.

И с нетерпением мы поехали вдвоем с подлесцом отцом встречать нашего Ненаглядного. Его вынесли няньки и отдали подлесцу, я сунула няне трешку, все по чести, тут же я поймала немного загаженное такси, привезшее к роддому немолодую роженицу совершенно одну, с красным лицом. Ее бы надо было довести до дверей, бесформенную, скрюченную, она шла на полусогнутых, неся свой одиноческий чемодан с детским приданым, но человек силен задним умом, и я так обрадовалась, что машина освобождается, что чуть ли не кинулась быстро мимо этой одинокой матери, чуть ли ее не сшибла, безумная, и в виде подарочка получила все залитое водой сиденье. Я тут же объявила об этом шоферу, он молча вылез, стал тряпкой обтирать внутренности своей обшарпанной машины и сказал крепкое слово в адрес той скрюченной родильницы, которая явно уже несла в промежности головку ребенка, так беспамятно она шла, скрюченная, со старым бедным чемоданом. Я теперь все вспоминаю ее, все думаю о ней, все мечтаю ее встретить в добром здравии с ребенком. Но она тогда шла пятнистая, как черепаха,

еле ползла, теперь же, если ребеночек остался жив, это стала, видимо, справная бабенка, лет сорока, а ребенок тоже уже шестилетний, если остался жить. Матери, о матери. Святое слово, а сказать потом нечего ни вам ребенку, ни ребенку вам. Будешь любить — будут терзать. Не будешь любить — так и так покинут. Ах и ох. Так я и привела свою троючку на закаканное в переносном смысле сиденье такси. Что там было, воды и воды. Святые воды, несшие ребенка. Шофер был помятый и злобный, он, видимо, зарекался вообще связываться с этим делом и подозрительно оглядел мою святую: не обольют ли? Подлец вез ребенка на вытянутых руках, Она хлопотливо закрывала кружевцем лицо. В такси жужжала муха, притянута, видимо, мокрой тряпкой, кровавые дела, что говорить, муха была, видно, тоже на сносях по весеннему времени. Все это наши грязные, кровавые дела, грязь, пот, тут же и мухи, если не мыть, а Они ведь жили у меня как баре: нальют, накапают на стол, набросают в кухне и под раковину. Что говорить, много было пролито пота, но я видела Его, моего ненаглядного, видела во всем и всегда, даже в лице подлеца научилась видеть Его широкий лобик, Его рот — три вишенки. Говорить нечего, подлец откуда только вынырнул с этими данными, теперь он ловит большую рыбу, теперь он женился на иностранке, хотя и получает не очень чтобы очень, судя по алиментам. Моя была трамплин, не более того, но насчет этого не секла, как они выражаются, и плясала на коленях перед ним.

Шестнадцать дней пролетело как во сне, не было ни ночи, ни дня. То и дело что-то кипятилось, что-то гладилося, моя мокрая кура заболела запорами, у нее открылись трещины на сосках плюс загробления молочных желез. Высокая, значит, температура, крик Тимы, побелевший подлец, я молчу. Она, видите ли, потребовала, чтобы я не смела касаться их ребенка после одной простой констатации факта, что подлец опять съел с каким-то другом (я сидела в читалке) все из холодильника на ночь глядя, утром ах! пустой дом. Ах! Неожиданность. Мать не принесет, нечего так и будет кинуть в эту тернопольскую прорву, а я не нанималась его обслуживать, еще и его, говорила я ей, войдя в их конуру, где было тепло и пахло молочком и свежим бельем от принесенных с балкона мною же пеленок. Сладкий запах детской, где спало мое счастье с крутым лобиком и темным пухом на головушке. Моя радость. Но тогда я рвалась на части, Андрей придет, чем его кормить? И где он будет? И как вообще? Я не спала совершенно, заснешь-проснешься, заснешь-проснешься и лежишь вся в поту облившись. А тут этот лишний привесок везде присутствует, якобы сдает сессию. Пощади, девочка моя, гони его в три шеи, мы сами! Я тебе во всем пойду навстречу, зачем он нам? Зачем?? Жрать в три горла все твое? Чтобы ты перед ним танцевала на карачках, вымаливая очередное прощение? Но я сказала одно:

— Пусть подлец идет работать, едет куда-то в тайгу, я не знаю. В мире. Где его папа вкалывал. Все равно тебе сейчас спать с ним нельзя! Я его кормить больше не намерена.

Она без слез:

— Этого не будет. Он мой муж. Всё. А ты пиши свои графоманские стихи!

— Графоманские, да. Какие есть. Но этим я кормлю вас! — ответила я без обиды.

Разговор всегда сваливал на эту тему, на тему моих стихов, которых она стыдилась. А я, если не буду их писать, я умру, у меня разорвется сердце. Но я ответила вот что:

— Короче, пусть едет на заработки. На днях приходит Андрей. Объявлена амнистия.

Я же сама слышала по телефону, как подлец с кем-то договаривается насчет бетонных работ, якобы он имеет рабочие специальности, тоже, тихо кипятился по телефону.

— То, что объявлена, еще ничего не значит, не выступай раньше времени, а то сглазишь.

— А ты надеешься? Ты надеешься, что Андрея не будет? А он будет. Я ходила узнавала, была у адвоката. И я не хочу, чтобы Андрей с его нервной системой опять сорвался, теперь уже из-за подлеца. Ведь он его пришьет! — громко говорила я, рассчитывая на размер нашей квартиры, что подлец услышит.

Тимка заскрипел в кровати, она к нему бросилась, даже преувеличенно, а подлец, оказывается, стоял тут же, за моей спиной, и, как всегда, молчал. А что ему было говорить, кому кто здесь мог сказать что-либо новое? Все висело в воздухе, как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще сверху падало бревно, и в наступившей тишине все расползались, раздавленные, и только Тимка жалобно скрипел, жаловался на голодуху, на материнское истощение, на отцово подлецково равнодушное молчание, на мою нищету и на тюремные лагерные дни сына Андрея.

А тем не менее настал тот день, когда Андрей пришел. И подлец, как уже было сказано, заперся (или не сумел) в уборной, а я Андрею:

— Молю, молчи, выслушай. Я тебе не писала, что было толку писать, что Алена ходит с животом неизвестно от кого. Расстраивать.

— Алена?

— Да. Неизвестно от какого подлеца.

— Погоди. А этот?

— Все было не сразу. Слушай по порядку.

— Я есть хочу, и голова кружится. Мать, всё.

— Сейчас я наливаю суп. Ты не знаешь самого главного. Вот хлеб. Ты вымыл уже руки?

Как всегда, молчание. Проблема мытья рук. Смотрит на меня как обычно, со смешанным выражением во взоре. Взял хлеб неммытыми руками, разломил.

— Хорошо, ты уже большой с руками. Ешь так. Так вот, я приняла меры.

— Ты?

— Насчет Алены. Я. Как всегда, я.

— Насчет меня ты не очень принимала.

Ревнует, как всегда!

— Андрюша, ты там не знал многого.

— Я знал, что один сел за восьмерых.

— Молчи, слушай. Ты один сел, получалось, ты был один против пяти, да?

— Я это уже слышал. Это плешь.

— Не пори ерунды. Слушай. Поэтому ты получил два года. Если бы вас было восемь против одного, которого топтали, кстати, все тринадцать человек, слышишь? Все! Я в больницу к нему ездила.

— Получил, что причиталось.

— О, как ты неправ!

— О.

— Если бы вас оказалось на суде восемь, срок каждому был бы от пяти лет. Понял?

— Мо-олчать! Сука.

— Умоляю тебя,— говорю я.— Успокойся, деточка моя! Мое солнце вернулось! Солнце моей всей жизни! И ты меня защитишь от подлеца!

Отчаянно застучал задвижкой этот трус в уборной, теперь он не мог оттуда выдаться.

— Значит, так, по порядку. Ешь... Я, пусть ты знаешь это, я приняла меры, и девочки из ее группы выступили свидетелями на сеновале что произошло и как она отстирывала кровь от майки, в сентябре.

— Всё. Кружится голова.

— И он расписался с ней из-за свидетельниц. Ешь, вот картофель старый, вот селедочка... Маслице. Не все еще он съел. Подлец!

Я не могла плакать.

— Что мы пережили! А он, видишь ли, якобы сирота. Сам из гэ Тернополя, еле с трудом удалось поступить в этот институт, и грозила армия.

— Пошел бы. Я бы пошел в армию, чем это.

— Подлец не пошел.

— Приволокли себе молодого. Ну, мать, ты сволочь.

— Ешь, ешь, ешь домашнее.

Вошел тернопольский сирота, помывши руки, разомкнул рот и сказал странную вещь:

— Рад видеть.

Они пожали друг другу руки.

— Андрей.

— Саша.

Первым протянул руку подлец. Иногда в нем что-то проскакивает, какая-то искра разумного. Ворвалась Аленка, застегиваясь (все это время кормила), охотно зарыдала и кинулась Андрею на грудь.

— Дура, она всегда дура, — радушно сказал Андрей.

— Что делать, — согласился подлец. Глаза ему выцарапать.

Она и эти двое как-то очень хорошо смотрелись на фоне нашей убогой, загаженной кухни. Свет молодости, свет надежды бил из их глаз, о, если бы они знали, прозревали, что их, собственно, может ждать впереди, кроме тьмы и единственного, что способно греть в этой тьме, детского дыхания Ненаглядного.

Я плотски люблю его, страстно. Наслаждение держать в своей руке его тонкую, невесомую ручку, видеть его синие круглые глазки с такими ресницами, что тень от них, как писала моя любимая писательница, лежит на щеках — и где попало, добавлю я. Даже на стене, когда он сидит в кроватке под лампой. Грубые, загнутые, густые ресницы. О веера! Родители вообще, а бабки с дедами в частности, любят маленьких детей плотской любовью, заменяющей им все. Греховная любовь, доложу я вам, ребенок от нее только черствеет и распоясывается, как будто понимает, что дело нечисто. Но что делать? Так назначено природой, любить. Отпущено любить, и любовь простерла свои крылья и над теми, кому не положено, над стариками. Грейтесь!

Они стояли на этой кухне, мои двое любимых, а я была сбоку припека.

— Так, — сказала я.

Они не шелохнулись.

— Андрей, я возражала против прописки вот его. А она возражает против твоей тогда прописки обратно после колонии. Так она угрожала, что имеет право.

О сила слов!

— Как это? — сказал Андрей.

— А я тебе потом расскажу, — затуманилась Алена, — пошли посмотришь на нашего парня.

— Ты могла? — недоумевая, спросил Андрей.

— Да ну, что ты. Форма борьбы с ней. Ты же знаешь это наше вечное скотство.

— Ладно.

Они, как поникшие цветочки, ушли в свою комнату. Андрей стал есть. Я села напротив.

— Андрей.

— Мама!

— Две минуты, Андрей, действительно все очень плохо. Она хочет его прописать, не видя, куда это быдло смотрит. Она ему нужна как трамплин. Он же отсудит у нее комнату! Туда смотрит!

— Парень красивый. Очень. (Странный смех.)

— Да, он мог бы выбирать бы. Если бы не мои свидетельницы. Но, как говорится, он хочет урвать с нашей паршивой хоть клочок. Хоть прописку и уйти.

Я говорила все это громко и не стеснялась.

Я была права! Как оказалось, я была права в ста процентах, но доказать! Доказать эту правоту стоило многих усилий. Ибо подлец привязался к Тимочке. Он его полюбил плотской любовью, он его купал, он им гордился, сморчком, он с ним гулял и гордо показывал жадным гостям, пришедшим на дармовщину. Он его любил! Как это было непросто все...

Я оказалась лишней в жизни.

— Имей в виду,— сказала я Алене, как-то выйдя в коридор.— Твой муж с задатками педераста. Он любит мальчика.

Алена дико поглядела на меня.

— Он любит не тебя, а его,— объяснила я популярно.— Это противостоит естественно.

Алена разинула рот и заржала. Она, правда, только что плакала у себя в комнате, что было видно даже во тьме коридора. Подлец еще не пришел в двадцать три вечера.

— Дочка моя! — Я хотела ее обнять, но Алена, облегченно хохоча, пошла к телефону и взяла его к себе, полузакрыв дверь. Я — постоянная тема ее длинных, как зимняя ночь, бесед по телефону.

Однако сколько же мне тогда было? Каких-нибудь пятьдесят лет!

Алене девятнадцать, Андрею двадцать.

Это было давно, когда я их родила, сразу за два года двоих, это было сумасшествие одной археологической экспедиции и моя очередная грандиозная ошибка в людях, когда я, юная особа двадцати девяти лет, стрижка под мальчика, худоба, глаза и ноги, девчонка совсем (мы с одним ребенком еще вначале, никто никого не знал, рассматривали за камнем его находку, ржавый обломок, а он подошел, так смешно, и говорит: «Мальчики, вы что тут делаете?» Я на него подняла глаза, он рассмотрел и поперхнулся, так я была похожа на мальчика. С того все и началось, дни и ночи счастья, когда я — поэтесса после пединститута и выгнанная из газеты со стажем журналистской работы за роман с одним женатым художником, отцом троих детей, которых я всерьез соби-

ралась воспитать (дура!), а жена его тут как тут, мне: вам не стыдно? — и к главному редактору, и тут же им дают давно обещанную трехкомнатную квартиру — они жили в одной комнате все плюс мать его якобы жены, а у меня в комнате он мог работать, хотя моя в свою очередь мать очень бурно его попрекала, что он живет на моей шее, не женясь (какие еще старые, старые песни, однако!), — так вот, когда я, уволившись из газеты, поехала куда глаза глядят в археологическую экспедицию, и вот вам результат, Андрей и Аленушка, два солнышка, все в одной комнате опять-таки, мать в своей упорно и упорно! Пожили, посмотрели на реальность, у моего мужа грандиозный развод в городе Куйбышеве, жена его приезжала смотреть на меня пузатую, то есть как смотреть — он открывает дверь, а там жена с пятнадцатилетним сыном, надо поговорить. Входят, она мне по щеке, окно разбила, осколком себе вены полоснула, вся в крови, он ее держит, сын его бледный и кричит — не смей трогать мою маму! Моя мать всунулась, увидела такое дело, принесла бинтик (она жадная, принесла б/у, стиранный свой, видимо с ноги, любит перебинтовываться). Затем она увела их к себе, напоила чаем, мы сидели с ним как два голубя, клюв к клюву, запершись, и хорошо, что эта старая жена ворвалась, у нас уже было все плохо, он задумывался и тосковал о сыне, о доме, да где тут работа, в археологии ставки низкие, да мой живот, да алименты. Осунулся. Тут она ворвалась и все перевернула, умница, женщина с жаждой разрушения, они многое создают! Разрушится, глянть, новое зеленеет что-то разрушительное тоже, как-то по костям себя собирает и живет, это мой случай, это просто я, я тоже такова для других.

Так что были дела, и так недавно. Перебираешь жизнь — они, мужчины, как верстовые столбы. Работы и мужчины, а по детям хронологию, как у Чехова. Пошло выглядит всё, однако же что не выглядит пошло со стороны? Для Алены все мой слова и выражения, я чувствую, отвратительны. К примеру, вопрос типа «а он интересный?» — если она мне случайно выбалтывала по молодости в восьмом классе что-то о своей подруге Ленке и ее романах. Слова в вопросительной форме «а он интересный?» вызывали у нее столбняк и взрыв ненависти, хотя я имела в виду только одно, а именно, что ее Ленка кобыла, с которой шкуру еще не ворочали, а надо бы, и кому придет в голову обнять такую кувалду, от которой в четырнадцать лет разит солдатским потом, нога тридцать восьмого размера, волос надо лбом черный, как на сапожной щетке, видны уже молодые усы, а под толстым задом в виде подпорок две жерди. Моя Алена (а в том году все девочки рождались Елены, равно как теперь все девочки, а как же, Кати) обожала этого кузнеца с усами Ленку, Ленка была постоянно у ней на языке, и даже при тех отношениях, которые у нас сложились к ее четырнадцати го-

дам (отстань, отскеч, отвал и еще резкий ответ «ты с дуба, что ли, рухнула»), — даже при этих взаимоотношениях легенды о Ленке, в мало-мальски тихое мгновение, выкладывались мне с упоением вплоть до первого моего вопроса:

— А он интересный?

— При чем это?

— Я в том смысле спрашиваю, что уж он-то, наверное, интересный?

— Что это такое?

Я мнусь, мне надо сказать вообще-то только одно:

— Ну, в смысле, кто на такую слонику позарится. На Ленку.

— О-хо-хо! Это на меня никто...

Известно, что девочки, у которых ушел отец из семьи, на всю жизнь имеют комплекс брошенных жен со всеми вытекающими.

— Это на меня никто. А ей на каникулах еще в прошлом году в Гаграх проходу не давали грузины. Ей давали восемнадцать лет! А ей было тринадцать!

— Не тридцать давали, и то хорошо.

— Ма-ма! (Почти визжит.)

— Слушай историю. У них в Гаграх, конечно, все бывает, бабина подруга тетя Оля с сестрой там отдыхали, вышли на пляж в шестьдесят пять лет в халатах на босу ногу, сердечки мои, а женщины в теле, халатики брали, мне показывали еще в Москве, шестидесятого размера, бюсты тянут на восьмой номер, причем неразличимы, поскольку животы у бедных как на девятом месяце.

— Тьфу!

— Слушай. Вот, говорит, не поверите, Серафимочка (это они потом нашей бабе), каким мы пользовались в Гаграх на пляже успехом, дедушка посидел с нами наш, сестрин муж, плюнул и больше с нами никуда не выходил. А эти обступили, так сладко вслед чмокали, целовали даже воздух, проходу не было.

— Мама, ты... (шипит). Я просто не знаю... пошлость.

— Ну и что, он у Ленки интересный? Тоже из Гагр?

— Что ты ко мне пристала? (Чуть не плачет.)

А дело было в том, что я правильно видела, что та Ленка не стоит и мизинчика моей Аленушки. Моя младшая дочь, моя красавица Аленка, мое тихое гнездышко, которое согревало меня после бурь с Андреем в его подростковом периоде, моя Аленушка говорила в девять лет такие слова! Мудрые слова утешения, когда произошел у нас разрыв с их отцом, баба Сима нас доконала! Нашлась какая-то опять же летом в экспедиции, по тому же сценарию, причем с ним были и сын и дочь, а когда они вернулись, Аленка мне сказала:

— Мама, нас так любили, на прощальном костре, когда мы уезжали, одна тетя Лера так плакала! Так плакала!

Через месяц каких-то междугородних переговоров, покрывшись весь на нервной почве фурункулами по лицу, мой муж уехал теперь уже в город Краснодар, где и проживает сейчас с Лерой-плакальщицей, каким-то сыном и со слепой мамочкой, дети к нему ездили, снова в экспедицию, пока не выяснилось затем, что папе не до них. У Леры однокомнатная квартира и нет перспектив, туда моих детей не возьмут. А в экспедиции папочка стал ездить ни много ни мало как в Руанду или Бурунди. Международные связи крепчают, но в Африке СПИД, и есть повод думать об этом без оптимизма.

А баба Сима нашего папу считала дармоедом, ловкачом и тэ дэ. Как она скорбно ликовала, когда он приехал за вещами и увольняться! Как демонстрировала! Как была мила и ласкова со мной: кобра, которая теперь плачет на своей подушке и пищит, что все ее разворачивают... И жадно хлебает с ложки, жадно-жадно: диабет. Пошли алименты ноль-ноль копеек, сорок рублей, я подрабатывала, отвечала на письма в отделе поэзии, приютил некто Буркин, добрый человек, борода, усики, трясущиеся руки и такие раздутые щеки, что кажется все время, что болен флюсом. «Это у меня навеки!» — говорит Буркин в ответ на мои жалостливые слова, что я тоже терпеть не могу зубных врачей и бормашины, но если двусторонний флюс, то надо обратиться, а то все может быть. Рубль письмо, бывает и шестьдесят писем в месяц. Два моих стихотворения в год напечатано, оба на Восьмое марта, гонорар восемнадцать рублей вкупе.

И вот мудрые слова утешения, которые сказала мне моя девятилетняя Аленка, когда в последний раз закрылась дверь за их отцом, а я стояла усмехаясь, с горящими щеками и без слез, близкая к тому, чтобы выкинуться из окна и там, там встретить его бесформенной тушей на тротуаре. Наказать.

— Мам, — сказала Аленка, — я тебя люблю?

— Да, — ответила я.

Моя красавица, которой я любовалась в пеленках, каждый пальчик которой я перемыла, перецеловала. Я умилялась ее кудряшками (куда что девалось), ее огромными, ясными, светленькими, как незабудки, глазками, которые излучали добро, невинность, ласку — все для меня... О их детство! Мое блаженство, моя любовь к этим двум птенчикам, когда они спали, их головушки на подушках, тихое тепло в моей комнате... «Белое пламя волос / Светит на белой подушке, / Дышит, работает нос, / Спрятаны глазки и ушки». Всё потом было тьфу, всё отображено и брошено к первым попавшимся ногам этой Ленки. Все дни с нею, все ее думы — о ней, какие-то Ленкины капризы сводят нашу семью с ума. Андрей дрался с Аленкой из-за телефона, ему надо было звонить,

а она ждала звонка от этой мымыры, куда они пойдут, на день чьего рождения, да пригласят ли. Вообще мои дети дрались бешено. Алленка то и дело визжала и прибегала ко мне на кухню, неся разинутую пасть, полную слез, на вдохе: и ...аааа! Тоже милая подробность нашей жизни. Ночами, только ночами я испытывала счастье материнства. Укроешь, подоткнешь, встанешь на колени... Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом лично я им мешала. Парадоск! Как говорит Нюра, кости долбящая соседка.

Андрюша играл в футбол и хоккей, к девятому классу у него было шрамов на голове и на лице, как у боевого кота. Его приводили со двора ребята, бледные от страха, а он ковылял то окровавленный, то с пробитой ступней, то его поднимали от проволоки без сознания (наши активистки во дворе, взбодрившись на почве политических свобод, вскопали газоны, сволочи, посадили что-то и застолбили свои раскопки натянутой невидимой проволокой на высоте детского горла). Другой раз деточки играли в ножички отточенной ножкой от кровати, стальной, разумеется. Один толстый Вася промахнулся и воткнул Андрею в ногу. В это время (дело было в молодости, но после краснодарского случая) у меня в гостях был мой знакомый, интересный, но женатый мужчина, однако запойный, что не мешало ему быть очень интересным.

— Старик,— сказал он Андрею, когда того привели на одной ноге с кровавым следом на лестнице (я потом, плача, мыла),— старик, осколочное ранение?

— Ага,— ответил Андрюша.

Когда спустя шесть лет Андрей не пришел домой, а пришел в два ночи, и баба Сима встретила его в прихожей диким криком «иди откуда пришел» и табуреткой, у меня что-то случилось с сердцем. Утром я позвонила этому Аркадию Яковлевичу, и он бодрым голосом, какой у него всегда бывает после запоя, но задолго перед новым, сказал:

— Андриановна, на всякий случай надо вызвать «скорую», хотя у баб инфаркт бывает редко (из чего видно, что Аркадий Яковлевич лежал в мужской кардиологии, а в женскую не заглядывал).

И затем он спросил, в чем дело. Затем он спросил, сколько лет Андрею.

— И вы хотите, чтобы он встал от бабы с криком «меня в десять мама ждет»? У меня в пятнадцать лет должен был быть ребенок, а ему уже шестнадцать.

Он меня всегда успокаивал, А. Я. Мы познакомились на почве работы, я составляла для Машуни сборник стихов поэтов на темы труда, меня уже выперли из издательства и отовсюду, долгая история, я не могла там появляться, и сборник составляла как бы Машуня, гонорар она мне потом отдала двадцать пять процентов и еще два раза давала

по четвертной. Я и тому была счастлива. Короче, А. Я. был сыном поэта как раз трудовой тематики, я на этого поэта набрела во время работы в библиотеке, смотрю: раз стихи к Октябрю, два к Маю... О труде. Мне-то не все равно. Я позвонила, попросила Якова Добрынина. А мне сказал мужской голос, что его нет, и я спросила, когда он будет, а мужской голос ответил, что на этот вопрос ответа нет. Я поперхнулась, сердце ушло в пятки, но я объяснила, в чем дело, и мы познакомились с Аркашей, действительно очень добрым мужиком, жена которого восприняла мой визит однозначно, все жены меня всегда воспринимали однозначно, хотя и любезно, а одна жена поэта, по телефону согласившись в десять вечера вернуть мне рукопись моих стихов, которую я дала с просьбой прочесть и сказать, надо ли продолжать работу,— эта жена вышла в те же десять вечера на мой звонок в прихожую в чем мать родила, прикрыв только, присобрав в единое целое свой бюст. Типа того что «мы уже лежим». И дружба тяжкая их жен.

Ночь.

Но по порядку. Мое визгливое солнышко уже уснуло, разметавши ножки и ручки, сирота ты сирота, теперь бабе можно остаться наедине с бумагой и карандашом, поскольку на авторучку мне не заработать. Ни на что мне не заработать, Андрюша меня ограбил серьезно, это не то как раньше, когда он бушевал на лестнице и на прощание поджег спичками мой почтовый ящик, а требовал он от меня ни много ни мало как четвертную и называл при этом страшными словами и методически бил ногой в дверь, а мы с малышом, я зажимала ему ушки, сидели на кухне.

— Я... (кричал Андрей) да я всеюсь, и будешь знать (страшные слова), дай, такая-сякая, четвертную! Заняла мою комнату, страшно сказать, теперь плати, страшно сказать, мать!

Мать матом.

Моя звездочка не плакал, а только трясся. Но, по счастью, Андрей сам трус. Я только хваталась за Тиму, но потом не выдержала и закричала громко и грозно:

— Вызываю милицию! Всё! Звоню!

Андрей не способен никогда поверить, что я смогу вызвать милицию — к кому? К нему, к несчастному, который так и не оправился от колонии, не мог забыть, что с ним там творили, не мог возродиться как человек и все ходил по своим так называемым друзьям, за которых он сел, все укорял их и собирал трешки и пятерки путем шантажа — это я так думаю, потому что однажды Андрея разыскивала некая совершенно сумасшедшая мамаша его товарища по тому делу, подельника. Голос отвратный:

— Але! Але!

— Але,— говорю я.

— Але! (Кричит в тревоге.) Можно... Это квартира таких-то? Але!

— Нет,— отвечаю.

— Андрея такого-то нет? Але! (Так тревожно.)

— Он тут вообще не живет. А кто это?

— Неважно.

Неважно, значит, до свидания. Но не тут-то было.

— Але! Але! А где он?

— Я не знаю.

— Он больше не работает в пожарке? Я туда звонила.

Вот сука!

— Нет, он теперь в министерстве.

Пусть обзванивает все отделы кадров всех министерств.

— Да? Можно телефон? Але!

Так ее и видишь, паника на лице, уши горят.

— Это секретный телефон,— говорю я.

— ...

— Я его не знаю.

— Это говорит мама его товарища Ивана. Он унес у нас из дома кожаную куртку после его посещения без меня. Але! Вы слышите?

— Вы поищите у вашего сына, а его что, еще не посадили по делу Алеши К.? Начинается же пересмотр!

(Это ее сын до сих пор носит Андрюшин свитер, который я купила Андрею на день рождения из последних денег.)

— И кстати,— говорю я,— не может ли Иван вернуть мне стоимость украденных у меня вещей?

Трубка брошена.

Страшная темная сила, слепая безумная страсть — в ноги любимого сына вроде блудного сына упасть, стихи.

Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи, но желтый, грязный, смертельно усталый. Я молчала. Слова «иди в душ» не лезли вон, но стояли в горле как обида. С детства эта моя фраза вызывала у него рвоту отвращения (поскольку, понятно, эта фраза его унижала, напоминала о том, чего он стоит, потный и грязный, в сравнении со мной, вечно чистой, два раза в день душ и подолгу: чужое тепло! тепло ТЭЦ, за неимением лучшего).

— Дай мне денег.

— Каких денег? — вскричала я.— Ких еще денег? Я кормлю троих!

Да! И я четвертая! Здесь всё из моей крови и мозга!

Так я стала восклицать, сама имея пять рэ в сумочке и часть на сберкнижке, мамина страховка, а часть за плитусом, поскольку, всем всё знакомым и незнакомым рассказав, я получила пять переводов с подстрочников неизвестных мне языков, поскольку: сын-диссидент в тюрьме по ложному обвинению, дочь почти без мужа родила, два студента без стипендии на руках и родился внук, ах, ох, ботинки, пеленки!

— И знаешь что, не помыться ли тебе? Хочешь ванну?

Он медленно сморгнул, глядя на мои ключицы.

— Ты знаешь, я приобрела тебе джинсы отечественные, не смейся, туфли светлые, иди переоденься, предварительно в душ, и всё.

— Нет. Не буду переодеваться. Так пойду. Дай денег. Мне надо.

— Сколько это тебе надо?

— Пока что полста.

— Фью! Пять рублей на завтра на еду, и всё. Этот все выжирает, я буквально прячу еду в комнату. Дать тебе трешник?

— Мне надо полтинник. Пойду убью, в таком случае.

— Убей меня.

— Андрей.

В дверях стояла моя прекрасная дочь.

— Андрей, иди к нам, у нас вчера была стипендия у Сашки, мы тебе дадим, она ведь удавится не даст.

Андрей тяжело ушел с этими пятьюдесятью рублями и не возвращался два дня, а за это время приходил участковый, спрашивал, где А., и говорил, что прописывать его нельзя. Была большая паника, и мы с Аленой подали на прописку и Андрея, и Шуры. Махнулись, так сказать, обменялись, как страны шпионами. Я испугалась-то в первую голову, что Андрей натворил черт-те чего.

Но он явился через два дня во всем новеньком, в джинсовом костюме, с сумкой через плечо, побритый и с двумя девками такого вида, что у меня заклокотало в груди, как у орла. Вышла Алена и тоже стушевалась и отступила в свою теплую пеленочную обитель. С девками он прошел в мою комнату и там оставался ровно час, хотя я стучала ему аккуратно, ногтями, деликатно, что мне нужны мои вещи, но в глазах стоял плитус с деньгами, а Алена, проходя мимо, саданула пяткой в эту проклятую запертую немую дверь. Когда они отперли, я сказала, протянув руку:

— Пятьдесят рублей.

— ...

— Так вот, я вернула Алене эту твою сумму.

Девки задержались у двери, а он рылся в моем шкафу, перебирал вещи.

— Твое все собрано, ты что, вон чемодан наверху...

Кровью облитые сердца матери и сына, они бьются сильно и грозно. Где ты, беленький мальчик, запах флоксов и ромашковый луг.

— Тут приходил участковый, предупреждал...

— А хули он приходил...

— Чтобы тебя не прописывали...

Сердце, сердце!

— Ах так!

— Мы тебя прописываем, Андрей, не беспокойся, не волнуйся.

— А я не беспокоюсь. Я женюсь, и ваша прописка... Подотрись.

— На ком, на них?

— А что, плохие жены?

Девочки резко засмеялись, показавши зубы с недочетами.

— Кстати, где баба?

— Я не хотела писать... Баба наша сильно сдала.

— Померла, что ли?

— Хуже. Самое страшное, что может быть с человеком. Понял? Ты меня понял?

— И где она?

— В Кашенко, где же еще быть человеку.

— Упекли?

Он взял чемодан, и они все выкатились. Ночь. Тишина. Где-то долбит кости соседка Нюра. Завтра она сварит из них суп.

И вот что странно, что Деза Абрамовна, заведующая психбольницы, такой спокойный, такой уверенный человек, такой даже успокоительный, она в одной из бесед сказала правильную фразу, относящуюся и к вышеприведенному разговору, и вообще: что там, за пределами больницы, гораздо больше сумасшедших, чем тут, что тут нормальные в основном люди, которым чего-то не хватает, и не сказала чего. Мало ли, мне тоже всего не хватает, подумала я тогда и была полной дурой, как я понимаю сейчас, когда все кончилось: в первых наших беседах, когда я перед ней всегда плакала, жалуясь на то, что мама чуть ли не спалила квартиру, напустила газ и т. д., оставили ее одну на две недели летом, и мы вернулись, а у нас на балконе черви, птицы сидят рядами, и тяжелые жирные мухи прямо ползают, а это она купила и забыла на воздухе балкона мясо. И запах! Это вообще был страшный период, когда Андрея таскали по повесткам в милицию, я была там, следовательно накричал на меня, Андрей возвращался домой желтый и безжизненный, и ему все время звонили и что-то орали, а он кивал, не отвечая, и его вызывали родители этих проклятых друзей в кавычках на свиданки, таскали, уговаривали взять, видимо, вину на себя, а мама ничего не могла понять и тревожно говорила, что мальчик плохо чувствует и не питается, девочка вчера пришла домой поздно плащ светлый спина в

зеленой краске, где-то лежала спиной; и вдруг мать затихла у себя в комнате и почти перестала выходить, это совпало с тем, что Андрей однажды ушел утром на допрос и больше к нам не вернулся. Она даже не спросила, где Андрей. Проходили месяцы, она трудолюбиво складывала у себя на серванте свои свободно вынутые из десен зубы и однажды торжественно предъявила мне пакет кровавых ваток: вот сколько было кровотечений из горла! Зачем? Зачем, спрашивается? Кому, какой комиссии ты это все предъявишь, дай выкину! И в чем ты ходишь, мама? Во что ты превратилась? У тебя же полный шкаф одежды, это мне нечего носить, а у тебя? Я так поняла, что она сберегает до лучших времен, как бы представляя себе ясно, что в один прекрасный момент все расступятся и войдет она, вся в новом демисезонном пальто или в шерстяном платье, и потом (внимание!) — на ней кто-нибудь женится. Она как-то даже пошутила, что берегите-де ее для жениха, и я тут же ответила: «Для пенсионера? Хочешь за пенсионером ходить остаток жизни», не желая вдаваться, какого на самом деле жениха ей ждать. Она поглядела на меня своими маленькими серыми когда-то глазами, теперь у нее осталась только голубизна, все выцвело и сравнялось — младенчески-голубое, мутное, сияющее как луна. Сияя, она ответила, что терпеть не может пенсионеров и горшки таскать не намерена. Оставался вопрос, кого она ждала, и единственный вариант напрашивался сам собой, что она ждала возвращения молодости и свято верила в это. Где-то там, в глубине сознания, она ожидала лучших времен, то есть что она встрепенется, сбросит с себя эту внешность, расцветет, как расцвела некогда после отпусков. Она, короче, ждала в глубине души чего? Рая и небес? Вместо этого случилось то, что она однажды тихо позвала меня к себе и сказала, что за ней «приехали».

— Это с какой стати?

— Ти-ше.

— Кто, господи?

— Посмотри, — она отвернула голову от окна и по возможности от меня. — Там.

— Где, что ты мелешь?

— Там, внизу.

Там, внизу, я посмотрела, был дождливый день.

— И что, ничего. Ничего нет.

— Едут опять.

— Кто?!

— На букву «п». И на букву «с».

— Какая буква, ты что?

— Тише, не ори (шепотом). «Скорая помощь».

Я посмотрела. Сверху по улице действительно ехала «скорая».

— Ну и что?

— Я выходила вчера когда, они сразу за мной тронулись. И милиционер за мной шел, я специально повернулась и пошла ему навстречу. Иду и специально смеюсь ему в лицо. Я их не боюсь!

Так. Я оцепенело стояла на кухне, а потом вошла к Алене и сказала, что баба сошла с ума, на что она мне ответила, что это я сама сошла с ума. Я ей возразила, что это ничего страшного, это бывает, кстати, так тетка кончила, но жила долго. Наследственность. Алена резко вышла и пошла к бабушке, я слышала их тихий разговор, потом Алена плакала и говорила «какой ужас». А я ей отвечала, что она сама давно бы послушала меня и сходила бы к психиатру. Алена засмеялась, как всегда, не зная того, что я уже консультировалась с психиатром и поставила Алёну на учет в психдиспансере, и врач ее уже навещал под видом терапевта, хотя Алена как по заказу отвечала на вопросы грубо и резко и на фразу «почему ты не в институте, почему валяешься на неубранной постели?» она вскочила и демонстративно пошла в уборную, где спускала воду минут пять, пока врач не ушел.

— Ты тоже разве нормальная? — сказала я ей в дополнение. — Посмотри на себя. Ты опять на занятия не пошла, ночью читаешь, утром не встаешь. Это же типичный психоз. Наследственность — это такая вещь. Моя дорогая. — Я говорила все это лишь для того, чтобы взбодрить ее, шокировать, сердце мое обливалось кровью, мать в маразме, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, как писала гениальная. Я хотела вывести мою дочь из сна разума, в котором она пребывала по причине Андрюшиной тюрьмы, своих отметок, прыщей и какой-то ее первой любви, насчет чего она вела дневник, а я прочла.

*Никто не читайте этот дневник, а то я уйду совсем. Мама, баба или Андрей! Никто! Вчера был семинар у Татарской. С. пришел и сел передо мной и все время поворачивался ко мне и смотрел на меня так туманно, откинув голову, а сам смеялся. Ленка с ним шутила, анекдоты, а я сидела серьезно как ни в чем не бывало, только сердце падало в пятки. После лекций мы с Ленкой уходили, и вдруг она сказала в раздевалке: «С. хочет встречать с тобой Новый год! Он мне так сказал». А я только пожала плечами, и кто бы знал, какая буря ликования была в моей душе! Я почти не могла идти! С. и я будем вместе на Новый год!*

22 декабря. Ленка опять мне сказала, что С. меня, наверно, любит, так часто он обо мне спрашивает. Его спрашивают, пойдешь в кино, а он спрашивает, а Алена пойдет? И не идет. И при этих словах Ленка испытующе смотрит на меня. Хочет удостовериться. Я-то знаю, что она его любит, а про меня она не догадывается. Я совсем не могла сегодня спать от счастья. Утром мне приснился С. и что мы с ним едем в открытой машине с откидным верхом и я вся окружена каким-то его теплом. Сегодня С. не было нигде. Надо воспитывать силу воли! Надо по

утрам делать гимнастику. С. прошлый раз сказал, что он проснулся в двенадцать часов дня.

30 декабря. Завтра Новый год. Зачет еле сдала. Плакала в седьмой аудитории. Ленка молчит, ничего не говорит. С. первый сдал и ушел. А я, как всегда, опоздала. Я ее спрашиваю: «Ну, где вы будете с С. завтра?» Набралась смелости и с таким ехидством. Она отвечает как ни в чем не бывало: мы с С. идем в Дом культуры Института транспорта. Я тебе не говорила, С. сказал, что никуда и ни с кем не хочет идти на Новый год, а будет дома спать, терпеть не может праздники. И Ленка купила им двоим билеты на встречу Нового года в ДК транспорта, там будет шампанское, подарки, дискотека, американские кинофильмы и маскарад. Я ради интереса спросила, какие будут кинофильмы, она ответила, что американские и что билеты уже все проданы, она якобы ходила еще за деньгами купить мне, а было уже все. Билеты дороговатенькие. Хочешь, пойдём вместе с нами, сказала она, постреляем лишний билетик в десять вечера? Я ответила, что ну еще. Она ответила, что можно придумать мне тоже костюм, она будет колдунья и всем гадать по картам, а С. она наденет отцовскую шелковую рубашку, косынку углом набок и повязку на один глаз, пират. После этого я пошла домой как побитая собака. Баба с мамой ругались, что меня надо правильно воспитывать, ночами она читает, говорила баба, утром результат: не встает даже на экзамен. Воспитывайте вашего Андрея, он курит! Да!

1 января. Сенсация. Ленки и С. не было в транспортниках! Я пришла туда в 10 вечера как дура в бабушкином черном платье, с розой в волосах (Кармен с веером, баба дала, баба меня наряжала), совершенно спокойно купила билет в кассе и смотрела в полупустом холодном зале дикий концерт, один крик и вытьё и какие-то бальные танцы до почти двенадцати часов, потом купила себе бокал шампанского, постояв в небольшой очереди, там же можно было купить себе кулек с подарком. Вытила шампанского, когда стрелки на больших часах сдвинулись, на дискотеку я не стала оставаться, пошла домой спать. Мама и бабушка доругивались перед телевизором после ежегодного скандала с красными щеками. Тема, как всегда, был Андрей, которого нет уже три дня, он звонил, бабушка кинулась, но мама взяла трубку и как следует ему все сказала, что бабе вызывали из-за сердца «скорую» и тэ дэ. Он и вообще бросил трубку, и мама не дала бабушке поговорить с Любимым. 5 января. Ленка пришла на консультацию перед диаматом и сказала мне, что с маскарадом ничего не вышло, и она сама вечером 30 села и поехала в Питер к тетке и там смотрела телевизор в большой компании родственников и, что еще лучше, маленьких детей, которые плакали, так как их стали укладывать спать. Слезы и скандалы по всей земле на Новый год! На консультации С. не было.

8 января. Я сдала на удовлетворительно, буду пересдавать. Дома будет крик, т. к. могут не дать стипендии. С., как всегда, пришел, сдал на 5 и ушел. Ленка сказала, что звонил С. и что С. встречал Новый год с одноклассниками у школьного друга. Ленка сказала, что С., наверно, голубой. Мы с ней так смеялись.

12 января. С. пришел в библиотеку заниматься с Т. И. с третьего курса, всем известной проституткой. Они улыбались друг другу, потом С. встал, зашел к ней со спины и накинул на нее свой пиджак. Сам остался в черном свитере. Ленка сидела, напряженно улыбаясь, на щеках у нее были красные пятна. Потом в туалете мы курили и она плакала. А я не плакала, так пусто было внутри. Скучно жить на этом свете, господа. Я люблю тебя, С. Хоть ты меня не замечаешь. Хочу подарить ему свою фотографию с одним-единственным словом «Помни». Но как? Т. И. старая проститутка, ей уже 20 лет. А мне в декабре исполнилось 17. А С. будет 17 в феврале, он пошел в школу в шесть лет. Напрашивается сравнение. Ленке 19. Ленка хороший товарищ, но она слишком большая, ей придется туго на жизненном поприще. Она худеет. Кожа у нее на лбу в прыщах. У меня тоже бывает около крыльев носа. Она очень много курит! Она мне не говорит, но она уже жила с мальчиками. Она сказала, что понимает не меньше Т. И. и разные позы, и все. С. не мужчина, она в этом убеждена.

15 января. Лежу. От нечего делать якобы готовлюсь и пишу, запишу разговор матери с бабой.

— Ты? Ты всю посуду уже переколотила! (Это мать.)

— Какую, ты что, охилела совсем! — кричит баба. — Какую, где? Я от страха умру!

— Вон, вон у чашки ручка отбита! Где я куплю? Тарелку теперь где я куплю?

— Это не я! Это не я! Ой, спасите, помогите! Ой! Господи, да что же это! Господи! Люди! Что это! Спасите! Я на колени встану, что не я (долго становится на колени, судя по шуму). Вот! Клянусь!

— О-о-о, вставай, вставай, ну что ты, из-за чего ты, ну разбила, ну и разбила.

— (Долгий стон.) Люди, спасите! Да где же... где же (кряхтя, видимо, встает) я что разбила?! (Со слезами.) Когда ты разбила мою чашку синюю...

— Ага, ага, вспомни еще твое тяжелое детство...

— А когда я единственно что разбила, так это отбила носик у чайника... (Скрипит стул. Видимо, села допивать чай.) Это я, да, но это же можно приклеить... Я спрятала носик...

— Какой?!!

— Синего чайника носик, и всё. Приклеится, ничего.

— Какого... Что!!! Здрассте! Начинается! У сервиза носик отколотила! У лучшего чайника! Кто теперь из него что нальет?! Ой-ой-ой (прослезилась).

- Ты чашку, я носик.
  - Але-на! Иди сюда.
  - У меня экзамен, мам.
- Конец дневника.

Чтобы ее совсем сбить с толку, я возвращаюсь к прыщам.

— Прыщи, кстати, такая вещь,— продолжала я,— что если не мыться и даже не подмываться здесь и под мышками и не подстирывать трусов, то пахнет и прыщи. И ты могла бы стирать сама! Ну хорошо, я стираю за вами обеими, но ведь бабушка сошла с колес, а ты!

— Я тоже сошла,— отвечала эта прыщавая (слегка), бледная как тень юная девушка, героиня Тургенева. Все должны были лежать у ее ног, все! Но для этого надо мыться, по меньшей мере.

— Ты должна как минимум чаще мыться и мыть голову, это раз. И потом предохраняться, предохраняться, раз уж спишь с ними.

Она уже сидела у себя в комнате и плакала о себе, слава богу, о эгоизм молодости! Я очень боялась, что вид бабушки ее потрясет, она опять перестанет спать, но о, освежающая сила оскорблений! Тому прошло семь с лишним лет, жизнь.

Ночь.

Как раз сегодня в дверь позвонили. Я, как всегда, спрашиваю: кто там? Отвечают «по делу». Изумительно. По какому? (Все через дверь.) Тогда:

— Такой-то здесь живет?

И имя моего сыночка. Причем голос с акцентом.

Нет. Нет, нет и нет.

— А где его найти, женщина?

Я страшно испугалась. Я ответила, что он снимает где-то квартиру. «Адрес». Прямо. Откуда я знаю адрес. «Откройте». Нет, ответила я, я не обязана открывать свою дверь без санкции прокурора. Помолчали. Хорошо, мамаша, я бы советовал вашему сыну очень побояться. А вы что, из тюрьмы? Уголовные? «Нет, это он уголовный элемент, понимаешь. Мы его все одно найдем, поймает, тогда береги его». Ударили ногой в дверь и отошли, много ног. Штук шесть. Я в тот день не выходила, а сыночку я позвонила сразу же. Они были не в духе и говорили со мной односложно.

— Привет.

— ...

— Как пята?

— М.

— Ты на работу устраиваешься?

— Мм.

- А почему?
- Да ты же... твою мать.
- Не по адресу. Мою мать, а твою бабушку я при всем желании не могу то, что ты предложил. Ну улыбнись. Что ты такой какой-то?
- А... мм.
- Обязательно надо устраиваться на работу.
- ...
- Да, ты знаешь, за тобой опять кто-то охотится.
- Кой охотится, это меня друзья спрашивали?
- Друзья. Сказали, все равно тебя найдут. Поймают.
- Кто?
- Друзья, ты говоришь, твои. Я им говорю: уходите, уголовный вы элемент.
- Так? (Угрожающе.)
- Они говорят: еще неизвестно, кто уголовники. Андрей! Что ты наделал опять?
- Я? Ты что? Почему я? Судя по ответу, действительно что-то произошло.
- Короче, тебя ищут, там было шесть ног. По шуму судя.
- Трое?
- Тебе видней. Может, они одноногие. Короче, тебя ищут, не появляйся у меня.
- А. А я как раз хотел взять у тебя деньги.
- Ты — у меня?
- Ты, мама, все придумала, да?
- Вот чудак,— ответила я и положила трубку.

Ежемесячная дань, которую, он думает, я должна ему платить, ему уже два раза перепала! Два грабежа! Я теперь нищая! Первый раз он унес у меня мою драгоценную, еще детскую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой». Я все ждала, когда малыш сможет перешагнуть через ужас известия о том, что маленькому лорду ничего не достанется. Один раз я ему дочитала до этого места, один раз. Больше он не позволил, и я отложила книжку, а ее хапнул Андрей. Вообразить только эту мою панику! Малыш может все, но шкаф ему не отпереть.

Эти унижительные переговоры, мы с малышом подкараулили у больницы рано утром после дежурства его жену Нину. Нина была недовольна, мрачна, сказала, что больше не может жить с ним и пусть он уходит. Все выяснилось на том, что они уже полгода не платят за квартиру. Нина как-то умудрилась платить за телефон, однако свет у них отключили. Тут Андрей и пришел в отчаянии грабить меня.

Нина согласилась обменять «Лорда Фаунтлероя» на сорок рублей. Сорок рублей! Подозревала всегда, что Нина и была одна из тех двух девиц в черных очках и при полном маскараде, и никогда ей не доверяла.

Это был тот последний раз, когда Андрей посещал в мое отсутствие мое же материнское гнездо. Я пошла на многое и вставила дополнительный замок, хлопотала, бегала за слесарем, их пришло двое, осмотрели дверь, обои в прихожей, пол, что же делать. Дверь им не годилась, замок «не вставал», но я их умолила, сказав правду: ломится и грабит прописанный человек из тюрьмы. Его не берут на работу, есть нечего, а у меня у самой... Я не плакала, но дрожала. Они поскущтели, их игра, их вечная игра в невозможность исполнения работы без дополнительных оплат, их борьба за лишний рубль рассыпалась от чужого горя. Они ушли, я слегла за новым замком как за стенкой, но следующий раз не заставил себя долго ждать. Андрею понравилось доить меня, тлю. Хотя в этот месяц мы жили как в лихорадке, я выпросила у Буркина, заведомом, лишние сорок писем, сказав, что буквально задолжала, это в него влезло, он и сам бывал должен. Остальное он не воспринимал — роды, болезни, тюрьма, все это он ненавидел и на такие слова не реагировал. Выпить и деньги на выпить — этому он сочувствовал. Лихая правда моей жизни была ему неудобна, и о, как легко я приходила в редакцию! Я буквально порхала, улыбалась, рассыпалась в комплиментах, мои щеки цвели, лицо, я это чувствовала, худело, скулы обтягивались, руки, трудовые, как у черепахи, мои грабли, я загодя приводила в порядок, стригла ногти скобочкой, делала серьезный массаж. Малыш во время моих визитов в редакцию пасся на диванчике около вахтера: детям наверх нельзя! Там, наверху, на третьем этаже, я была непризнанной поэтессой, а мой алкоголик заведующий был суровым, но справедливым меценатом, который буквально по капле выдавливал из себя раба, то есть не сразу сдавался на мои льстивые замечания типа «что бы я без вас делала», «подайте на чашку водки» и «вы мой спаситель». Он рылся в столе, выходил, в столе у него с громом перекатывалась пустая бутылка, напрасный ко мне намек, в жизни не даю взятки и не с чего, он говорил по телефону, крался в портфеле, с ним беседовали его девушки, которые приходили поодиночке, но скапливались затем кучкой и никто не уходил, все словно кого-то ждали. Они садились к нему на стол и чуть ли не на колени, они были молоды и прекрасны, а меня внизу ждал Тима, изнывая и становясь кверху тормашками. Тут же заходили деловые мужики из соседних отделов, но все это было не то, они все ждали, кто бы их повел в кабак. А у меня было только одно: писем и писем!

Девушки, возможно, тоже хотели бы писем, возможно, это были как одна голодные поэтессы, но Буркин всех прокормить не мог, он еще давал письма одной вдове своего товарища, который утонул, но его так и не нашли, и какие-то трудности были с пенсией его двум малолетним детям и неработающей жене, которая ничего на свете не умела. Зав научил ее шпарить по трафарету пять видов ответов, она мне сама при-

зналась, а я каждый раз создавала произведение искусства розового употребления, это были безумные ночи, полные разговоров с невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, студентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заключенных. Она писала: «Ув. тов. ... К сожалению, ваш(и) стих(и), рассказ(ы), роман, повесть, поэма не представляет(ют) для редакции интереса. Тематика нашего журнала сугубо такая». Это вариант номер один. Если все-таки тематика совпадает, то «по языку и стилю ваши произведения оставляют желать лучшего. Всего вам хорошего».

А я что писала? Я писала поэмы. Я цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень сочувственно. Мой Буркин брал эти мои произведения, и его перекашивало, как от горя. Но ведь за каждой рукописью вставляли передо мной живые люди, может быть даже больные, прикованные к постели, как Николай Островский! Инвалиды и горбуны! Они иногда писали исключительно уже мне и мне лично присылали свои рукописи на рецензию, но их-то Буркин аккуратно отдавал на «ув. тов.» бедной вдове.

Он как огня боялся новых авторов.

А я тут написала неожиданно прозу, да еще от лица моей дочери, как бы ее воспоминания, ее точка зрения, надо же, что на меня навалилось среди ночи сидя без сна на кухне. Вот этот отрывок, но Буркину ни в коем случае:

*Лучше на улице, лучше так, как я сейчас, когда хозяин квартиры некто Шереметьев, сдавший мне ее как уехавший заколачивать большую денгу на Север, теперь он приехал навестить, нашел унитаза с трещиной на подпорке и сказал: «Я теперь приехал, я буду сюда водить, мне больше некуда, не к жене же, я мужчина физически крепкий, выходи на это время с ребенком, а можешь остаться, бывает любовь втроем».*

Прим. автора: страшные вещи лезут в голову, ужас, ужас, представить себе свою дочь беззащитной, но это почти то, что у нее вырвалось однажды со слезами, как она живет. Она рассказала о Шереметьеве всё. Дальше:

*Один раз я у мамы переночевала с дочкой, среди ночи поднялся шум и стук, зажгла она свет в квартире, демонстративно повела мальчика писать: писяй, писяй, маленький, раз ты уже описялся, — зажгла у нас в комнате свет искать в шкафу ему свежие трусики, шарила в шкафу. Катька проснулась в коляске, мальчик стоял босой и держался за ее локоть двумя худенькими ручками и дрожал от холода, стоя описянный, без трусов, в маечке. Худая попка, тоненькие ножки, грудка спутанных*

кудрей на голове и по плечам, ангел! На нас не смотрит, а тут ведь Катька лежит в коляске и уже побряхтывает, мне все равно вставать, но не хочется, я говорю:

— Мама, давай я помогу, найду.

— Что ты найдешь? — Крик, визг, слезы. — Где что ты тут знаешь еще, черт, собака! Сволочь! (Неизвестно кому.) Говорили, не пить на ночь! Говорили, живете на наши деньги, так хоть стыд бы знали, наедаться за его счет, чтобы он с голоду пил! (Она, высокая красавица еще, в драной рубахе, выдрала свой локоть из его клещиков, он вдруг горько зарыдал и закрыл лицо.) — На! — кричала она, как древнегреческая богиня ужаса. — На! Надевай!

— Иди ко мне, мальчик, я тебе надену, — сказала я, не в силах поднять зад от кровати.

— Сам, сам, пусть теперь сам все приучается, мне скоро уже уходить на погост, на кого я его оставлю! Пусть все теперь сам!

Он упал как подкошенный вдруг на пол, рыдая. Сцена! И моя Катя завела, завела и вдруг как заорет!

Вот какую я сценку написала с полным критицизмом в свой адрес и с полной объективностью, а почему, ах да.

Значит, дело в том, что вдруг раз в год мне позвонила моя дочь, живущая, как известно, на выселках со своей нагульной дочерью от воображаемого сожителя. Этот звонок произошел внезапно и кончился, не успела я развернуться и ответить. Значит, так (подумать только).

Звонок: бззз! бзз!

Малыш мчится, но я его опережаю, маленькая борьба.

— Але!

— Мама, это я.

— Привет! (Я.)

— Ладно.

— Хорошо, ладно так ладно.

— Мам. Послушай. У меня в моче белок.

— Я тебя сколько учила, что надо каждый день соблюдать гигиену.

Плохо подмылась, вот и весь белок.

В ответ сдавленный смех. Как, впрочем, всегда. Когда ей хочется умереть, она сдавленно смеется. Погоди, скоро буду смеяться я.

— Мама.

— Ну слушаю, слушаю.

— Скажи. Вот они хотят меня класть в больницу.

— Не пори ерунды. Какая больница, ты же с малым ребенком. Какая может быть больница. Во-первых, сходи подмойся наконец и сдай анализ как следует.

Она отвечает:

— Ладно, этот вопрос проехали. Но если действительно плохая кровь? Что в таких случаях? Ложиться помирать?

— Что значит плохая? Какая в наше время может быть плохая кровь? У кого ты видела хорошую? У малыша? Ты мать, ты хоть отдаленно представляешь, что у него гемоглобин такой-то при норме такой-то?

Сдавленный смех.

— У меня (ответ) вдвое меньше.

— При чем ты, при чем здесь ты? Дело идет о твоём сыне, о жизни твоего сына! Делай что-нибудь, плати ему хоть те деньги! Которые ты заграбастала! Да! Хоть деньги! Ему надо печень! Грецкий орех, да! Не давись от смеха, что смешного, сволочь, собака! Черт!

— Так. Мама, значит, ты считаешь, что не все так страшно?

— И что ты теперь рыдаешь? (Пауза.)

— Я не рыдаю (сдавленный смех).

— А кто?

— Слушай (дрожащий голос). Слушай, меня кладут в больницу на сохранение.

— Что? Что опять ты городишь! Псих. Что ты сказала?!

— Ну что, у меня роды-то через две недели срок, а они говорят, может случиться от высокого давления там, значит, гибель от комы, что ли. Во время родов. Судороги и все такое. Почки отказывают у меня, значит, так. Катька-то куда денется?

— Пф! Пф! Они меня тоже пугали, успокойся. Нашу семью не испугаешь. Когда я ходила тобой и был маленький Андрей. И что же? Не смотря что была мама и этот пресловутый твой отец, я ни в какую твою больницу не пошла, а пошла нормально, только когда начались схватки в полседьмого утра, его разбудила...

— Ладно.

— Твой этот знаменитый отец даже встать не хотел... Не ловись на их удочку, кстати, не ходи! Возьмут на стол для обследования, ковырнут ложкой якобы на анализ, родишь прежде времени, как я: пузырь-то проткнули! Тем более им выгодно, чтобы рожали раньше указанного срока, меньше платить по декрету, а какое дело врачам?

— Тогда я так и сделаю, как ты говоришь, мама, а то я договорилась с одной тут соседкой, но она именно только пять дней может сидеть с Катей, а две недели и пять дней уже не берется.

— Ну ладно, ты держись, что делать, надо держаться! Прячься от них, и насильно никто не положит. Ничего страшного.

— А, ну тогда пока.

— Пока. Целую.

— Ага (смех). Как парень-то?

— А тебе что? (Торжественно.)

И тут я бросила трубку.

И только потом я медленно, но грозно начала прозревать, и весь ужас моего положения возник передо мной.

Она снова рожает, это раз.

И попрощалась она и побрела куда-то беременная да и с коляской, желая — это два — подкинуть мне толстенькую. И неизвестно на какой период. Что делать, о господи, что делать? Что еще возникло в воспаленном мозгу этой самки? Зачем ей еще ребенок? Как она пропустила срок, как не сделала аборт? Ежу ясно. Опомнилась, когда уже плод начал толкаться ножками, я все восстановила, всю картину. Пока мать кормит, часты случаи отсутствия прихода Красной Армии, как моя дочь в разговорах со своей еще Ленкой: «Красная Армия пришла, на физкультуру не иду». И многие так обманываются. Кобель лезет, его какое дело. Кто этот кобель? Кто? Тот же самый бродячий замдиректора или слесарь по ремонту? Или, что хуже всего, этот ее хозяин с Колымы? И сколько это может продолжаться? Разумеется, ей отказали в позднем аборте. Тогда-то она и стала (восстанавливаю по обрывкам) толкаться к врачам со своим белком и давлением, что рожать противопоказано и сделайте поздний аборт, а они ее хоп — и поймали, вели-вели и теперь укладывают, чтобы проследить и не упустить, как будто бы их охватил азарт не упустить ни одного ребенка. Им, можно подумать, очень необходимы эти дети. Просто обыкновенный трудовой энтузиазм на рабочем месте, рабочий азарт, как в шахматах. Ни для чего, а так. Цоп ребенка! Еще один, а кому, зачем? Надо было найти человека! Сестру в белом халате, чтобы сделать укол, женщину в белом, бабы-то справляются, и на шестом месяце тоже. Жена Андрея Нина рассказывала про свою соседку, та вовремя не сделала аборт, укатила на курорт, протрепыхалась, а потом отправила детей куда-то на субботу-воскресенье, уже на дворе месяц октябрь, родила с помощью укола шестимесячного сына, тот мяукал всю ночь при открытом окне, пока она мыла полы в соседней комнате, ай-я-яй, потом к утру затих, на что она и рассчитывала. За всю ночь даже к нему не подошла. А врач не ассистировал, сбежал после укола. Вот ведь: нашла она доктора, даже мужчину, и расплатилась с ним. Даром ли пьешь нашу кровь? Почему не позаботилась? Мать обо всем нашлась мучиться?

Ведь наш разговор был не о белке и не о моче, наш разговор был такой: мама, помоги, взвали на себя еще одну ношу. Мама, ты всегда меня выручала, выручи. — Но, дочь, я не в силах любить еще одно существо, это измена малышу, он не перенесет, он и так зверенышем смотрел на новую сестру. — Мама, что делать? — Ничего, я тебе ничем помочь не могу, я тебе все отдала, всю денежку уже, солнце мое, любимая. — Я погибаю, мама, какой ужас. — Нет, дорогая, крепись. Я же креплюсь вот. Я твоя единственная, твоя мама, и я еще держусь. Недавно у меня

был случай. Один человек на улице пристал ко мне и принял за девушку, так: «Девушка!» Представляешь? Твоя мать еще женщина! И ты крепись. Ладно? Вселиться вам сюда нельзя, опять искаженные ненавистью лица, мелькающие в нашем зеркале в прихожей, мы ругаемся, мы ругаемся-то всегда в прихожей, плацдарм боевых действий. И рядом еще и Он, святой младенец, который не может сообразить, что рушится конец света для него, его мама (я) и его Алена (мать его) ругаются последними словами, его две богини! Я же для него живу! Ты же мне точно сказала, что лучше на улице, чем со мной! Крепись, дочь! — Ладно, мамочка, прости, я дура. Целую. (Это я воображаемо продолжила наш разговор.)

Пришел малыш со словами: «Баба, чего ты трясешься, отними руки от лица, не трясись, а. Не психуй». Хлынули наконец радостные слезы из моих глаз, сухих ущелий, хлынули, как солнце сквозь дождь в березовом лесу, мой дорогой, мое солнце незакатное.

Как мертвый подставлял свое лицо бесчисленным поцелуям. Кожа бледная и светится. Ресницы густые и слипшиеся, как лучи, глаза серые с синевой, в бабу Симу, у меня глаза золотистые, как мед. Красавец мой, ангел!

- Ты с кем говорила?
- Неважно, мой маленький. Мой красивый.
- Нет, с кем?
- Я тебе сказала. Это взрослые дела.
- С Аленой? Ты на нее кричала?

Мне стало неловко перед ангелом. Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают свои вопросы, потом перестают и становятся взрослыми. Заткнутся и живут. Понимают, что без сил. Ничего не могут поделать, и никто ничего не может. И я не могу подложить малышу эту свинью.

- А что ты кричала, что надо подмыться?
- Нет! Что ты! Я кричала, что надо наконец подмыть пол.
- Ты дура?
- О, я дура, мой ангел, я идиотка. Я тебя люблю.

Бесчисленные легкие поцелуи в щечки, в лобик, в носик, минуя рот. Детей нельзя целовать в рот. При мне в трамвае один вез, видимо, дочь из детсадика домой. И измучил ее поцелуями в рот. Я сделала ему резкое замечание через весь вагон. Он очнулся как от преступления весь малиновый и возбужденный, а дочь несчастная лет пяти уже совершенно скисла от смеха, от щекотки, потому что он еще ее и щекотал. Он очнулся и стал грязно меня ругать, глядя затравленными и обиженными глазами. Откуда ему было что знать? Он говорил то, что говорят: не лезь на хер не в свое дело.

— Посмотрите, до чего вы довели ребенка! Представляю, что вы с ней творите дома! Это же преступление!

Вагон весь ошетинился, но против меня.

— Какое вам дело, старая вы (...)! Уже давно старая женщина, а туда же!

— Я, я желаю вашему ребенку только добра. За такие дела ведь сажают. Развратные действия с несовершеннолетними! Изнасилование детей!

— Дура на хер! Дура!

— И потом еще вы удивитесь, что она внезапно родит в двенадцать лет. И причем не от вас.

Слава богу, он отвлекся на меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне кулаком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто! Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: «Господи, что же это! Господи, что же это такое!» Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высунулась в окно и как рявкну торжественно: «Эт-то что происходит?! Я звоню в милицию!»

(Кстати говоря, милиция охотно ездит на такие случаи, где преступник еще тут: сразу стопроцентная раскрываемость! Это я знаю по опыту своих исследований.)

Немедленно высунулись еще в одно окно, пониже, кто-то еще закричал, и буквально через две минуты я увидела, что издали бегут двое на помощь. Моя задача была его спугнуть, чтоб он ее бросил, ничего не успев.

— Да, да, товарищ, он здесь, сюда, вот в кустах! (Несмотря на то что им еще было бежать метров сто.)

И мгновенно он выскочил из кустов и умчался за угол. И тут женщина в кустах громко заплакала. Представляю себе ее ужас и омерзение, когда тебя душат зверски и бьют головой о стену.

Я сама с омерзением чувствовала на себе чужие руки, когда что-то затрепыхалось у моего бока в метро, как змея, настырно лезущая в кишки: грубо шарили у меня в сумке. Я обернулась и крикнула: «Это что же вы ко мне залезли в сумку!» И сразу три человека из моего окружения, смеющаяся женщина и два черных почти бритых мужика, стали быстро уходить, вместе с моим, тоже черным и бритым, и исчезли в толпе. Итак, мы побеждаем!

Нести просвещение, юридическое просвещение в эту темную гущу, в эту толпу! Воплощенная черная совесть народа говорит во мне, и я как бы не сама, я как пифия вещаю. Кто бы слышал мои мысли в шко-

лах, в лагерях, в красных уголках, дети сжимаются и дрожат, но они запомнят! И плюс мое горе сидит всегда рядом со мной, я о нем забываю, а дети смотрят то на него, то на меня, воспринимая нас обоих как неизбежное одно целое. Семь рублей с копейками потом получу я, но три-четыре выступления плюс письма...

Есть ли силы, способные остановить женщину, которая стремится накормить ребенка? Есть ли такие силы?

Вот я выступаю в зимнем лагере, в эту неделю, спасибо Надечке Б., она мне дала два выступления. Мы едем, сбор у бюро пропаганды, там, сказали, покормят!!! Беру, как всегда, Тимофея. Собираться надо долго, предстоит обычный скандал с одеванием.

И тут началось самое ужасное. Не самое ужасное вообще, а начало всего того, что последовало за этим. Звонок телефона, малыш кинулся первым и долго стоял, прижавши трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне, известная манера, всегда кидается.

Он: Але! Але! Что? Кого? Анну кого? Але! Кого?

— Дай, дай, маленький. Дай бабе трубочку.

— Да погоди ты! Ничего не слышу! Что, але! (Пауза.)

Положили трубку.

Я: Никогда! Слышишь? Никогда...

Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку, он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль... Я отбрасываю его рукой и вежливо разговариваю, а малыш сидит на полу, глаза сверкают, как граненый хрусталь, это он заходится, хватает воздух, три-два, один — пуск! А-а-а!!!

— Минуточку. Или ты замолчишь...

— Ааааа!!!

Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли, но ведь у малыша энцефалопатия, мать его, как видно, роняла со стола, я ее предупреждала, и у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы.

В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать Серафиму Георгиевну переводят из больницы в интернат для психохроников.

Всё. Это всё. Всё, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает заводделением, знает, что мне некуда брать мать и на что я живу.

— Простите, деточка, как вас звать?

— Никак. Ну, Валя.

— Валечка, девочка, а почему так? Что стряслось? Она плохо себя ведет? А где Деза Абрамовна?

— Деза Абрамовна в отпуску, а мы все с первого в отпуску... Начинается ремонт, всех больных кого куда, кого даже выписываем домой, если можно. Кого в интернат, одиночек или отказных. Кого в другую больницу. Но вашу... тетя она вам... или мама...

— Неважно, тетя или мама, она живой человек...

— Вашу бабулю не примут.

— Почему, Валюша? Что такое?

— А не будут держать.

— Можно, я заеду поговорю? А кто на месте? Малышик, погоди, не до тебя. (А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам.) Господи, за что? А, Валечка?

— В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь, вам приезжать не надо, мы все оформим. Завтра ее увозят.

— Так... Тише, маленький (он вывернулся из моего кулака, которым я держала его за рубашонку). Почему такая спешка? — А сама лихорадочно соображаю, что делать. Значит, так, ее переводят, пенсию у нее отбирает государство. Интернатным не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через два дня, я ее успею ли получить? Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравнивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе. Они там умирают как мухи, в этих интернатах для психоников.

— Какая спешка, никакой спешки, — неожиданно всплывает голос этой Вали, — вас же предупреждали загодя. Да вы не беспокойтесь!

— Никто, во-первых, не предупреждал. В какой интернат ее перевозят, это где?

— Не беспокойтесь. Это за городом. Да мы ее погрузим, ее там примут.

— Теперь за город ездить два часа в одну сторону, спасибо.

— Да нет, это дальше. Зачем вам ездить? — отвечает Валя. — Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила. Да, еще нужна ваша подпись, ну это потом.

— Кака така подпись?

— Ну, что вы согласны.

— Я не согласна, чего выдумали!

— А вы берете ее домой?

— Никаких подписей, — говорю я взбешенно, — никаких подписей вы не получите. Новое дело!

И я бросаю трубку.

Как всегда, следует скандал с одеванием, малыш не хочет надевать валенки с галошами, не хочет прекрасную ушанку еще Андрюшину: хочет вязаную, легкую.

Но ведь холодно! Что ты со мной делаешь, ты желаешь мне сидеть у твоей койки смотреть, как ты болеешь опять? Я умоляю и т. д. Поехал все-таки в легкой шапке, но в валенках, хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле, народное правило. Ладно, до метро семь минут ходь-

бы быстрым темпом, в метро тепло, а там опять-таки три остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине, оказалось, зеленый продуваемый «газик». Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваной на спине по шву рукава, и самодельной шапке из лисьего хвоста.

— У вас рукав продрался...

— О! О! Зашиваю, зашиваю...— Бьет на роскошь, но в дальнейшем тоже оформила выступление на три копейки, как и я. Низшая категория.

— Вы кто, я поэт,— говорю я, чтобы обозначить специализацию.

— Я,— говорит лисий хвост,— я сказительница, они меня так называют.

— Кто, простите?

— Сказительница, рассказываю сказки и показываю кукол.

— Кукол?

— О, это так просто! Я делаю необычных кукол, из картофеля, из мочалок, понимаете? Вот ваша девочка тоже посмотрит.

Ага, даже мальчика от девочки не может отличить, хотя Тимошины кудри всех вводят в заблуждение. Девочка моя стрижет припухшими глазками в окна, снявши шапку на морозе.

— А я поэт,— говорю я.— Надень, говорю, надень. Смешно, знаете, я ведь почти тезка великому поэту. А то не поедем, сейчас скажу шоферу остановить и вылезем, надень.

— Какому? — резонно спрашивает сказительница.

— Догадайтесь. Меня зовут Анна Андриановна. Это как высший знак.

— О, это всегда мистика! Мое имя тоже, знаете... Ксения.

— А это в чем заключается?

— Чужая. Чужая всем.

— Наградили родители, да...

— А.

Молчание. В животе у меня подвывает, в душе, которая не знаю, как у других, у меня находится вверху живота между ребер, в душе горит непрерывная лампочка опасности, сигнал тревоги. Не ела ничего в связи со звонком из больницы и не имела ни секунды, пыталась найти одного психиатра еще давних времен, сказали только (по домашнему телефону и очень горько): «Такие тут уже не живут». Стало быть, разошлись с мордобоем, и новый телефон спрашивать бессмысленно. Тимошку покормила, посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывший чай, он любит, весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка. Называется «пирожено» и сдобрено горькими слезами. Тимоша, вижу, тоже оголодал, но перед едой мы сначала должны трястись в «газике», холодно, и воняет керосиновыми какими-то мешками, горькая, холодная судьба.

Мать моя сегодня пока еще лежит (я дозвонилась еще раз в больницу, никакой такой Валечки мне не дали, такая не работает, тоже мистика), мама лежит хорошо, кушает, я это знаю, видела, как ест, жадно вытянув вялые как тряпочки губы, беззубо чавкает, глаза матовые, не блестят, зрачок туманный и как бы впечатан в глазное яблоко. Маленькая тусклая кругленькая печать. Как она в прошлый раз лежала, плечи один костяк, слеза из открытого глаза сбежала, едва смочила висок. Куда ее такую волоочь? Да дайте же, сволочи, хоть умереть на своем месте! Не дают. Мсть за все наши деяния настигает нас в конце, когда мы такие убогие, что кому тут мстить? Кому мстить? Но затаскают перед концом. Странно, кто такая Валя? Откуда был звонок? Или они там в больнице ленятся, не идут звать? Ведь я три раза звонила, дважды говорили «сейчас», и трубка лежала-лежала, пока я сама ее не клала безнадёжно.

— Дети — самые лучшие слушатели, — говорит эта Ксения.

— О да, — соглашаюсь я.

— Приходишь — крик, гвалт, но начинаешь выступление... — заводит она на полном крике, «газик» рыпается по ухабам, мотор ревет.

Может быть, меня разыграла жена Андрея? Наняла подругу? Нет. Все подтвердилось. Маму выписывают завтра, завтра.

— ...сказки народов, — заканчивает Ксения.

— Простите, а как вас по отчеству?

— Зовите просто Ксения.

— Ну как-то неудобно, вы давно на пенсии?

— Я? Я не на пенсии, — отвечает эта безотцовщина, а сама явно уже кандидат в бабушки.

— А я на пенсии, — говорю я, — вот выйдет книжка моих стихов, мне пенсию пересчитают, буду получать больше. Пока что мы с Тимой живем бог знает как, и маму вот из больницы выписывают, и дочь по ухodu за двумя детьми только алименты, а сын инвалид (перечисляю, как нищий в электричке).

— А я, — говорит не имеющая отчества, подскакивая на ухабах совместно с нами, — я выиграла машину. Водить учусь.

— Да, некоторые покупают лотерейные билеты, потом говорят, что выиграли, я знаю такие судебные процессы об отобрании прав.

— У нас сын! — говорит отца не помнящая, трясая щеками при скорой езде. — Его надо возить в музыкалку, так что пригодилось! Муж принципиально машину не водит, потому что лотерейный билет купила моя мама.

— Все понятно, поздно родили, — говорю я, — но ничего. Воспитать успеете к восьмидесяти-то годам.

— Мам, — говорит Тима, он меня то «мам», то «баб» зовёт. — Мама! Я есть хочу!

— Ваша дочка, это ваша дочка, хочешь конфетку? — забормотала эта всем чужая.

Он съел как собака, гам! И посмотрел еще.

— Спасибо скажи и надень шапку, тогда тетя даст тебе еще, — говорю я.

Тима сидит, как бы не веря в такое.

— Вот шапку снял, — говорю я, — если ты заболеешь, я ведь бабушку из больницы беру... Я завтра — оп! (подпрыгнули) — бабушку из больницы беру... (предупреждая его вопрос «каку таку бабушку?») помнишь бабу Симу? Баба Сима не разрешает без шапок ездить! У-у! Надень шапочку. Тетя еще конфетку даст.

Тетя бормочет:

— Да-да, я всегда про запас... У меня язва желудка... Мама снабжает импортным, насильно запихивает...

Так дай же ребенку!

— Ну (это я), раз-два, надеваем! — И накидываю шапочку на него. Смотрим друг на друга выразительно. Тима и я. Тетя молчит.

Есть же некоторые. И про мать ее все ясно. Лотерейный билет, машина, импортные конфеты... Тима осторожно тянет руку к шапке.

— Не снимай, Тима!

Неудобно как. Ксения без отца задумалась и поникла головой, трясясь, как холодец. Есть люди, которые легко-легко убивают, перед ними надо на четвереньках плясать, чтобы удостоиться одного взгляда, они же смотрят не выше подбородка, об улыбке нечего и говорить. Просто так задумчиво глядит мимо.

— А шоколадную ему можно? Я знаю, некоторым детям запрещено, моему сыну.

Я говорю:

— Нет, шоколадную ему нельзя.

Тима окаменел, насколько это возможно в прыгающей машине.

— А у меня остались только шоколадные, увы.

— Спасибо, а то потом, знаете... Сыпь и все такое. — Я держусь. Мы не нищие!

Тимины глаза переливаются, как чистой воды бриллианты, все выпуклее и выпуклее. Сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы. Он отвернулся. Он стыдится своих слез, молодец! Так просыпается гордость! Его ручка ищет мою руку и с силой щиплет.

Тетя деликатно отправляет в пасть конфету.

— Мне нельзя долго не есть.

— Ну ладно, — говорю я, — так и быть, я разрешаю. Ничего, одну в день можно, тем более что это не шоколад, а соевая смесь. У нас давно настоящего шоколада нет. Понижен процент содержания.

Тима чавкает, как его прабабка, неудержимо и захлебываясь. У меня в животе воеет пустота, словно в печной трубе.

Нас встречают в лагере.

— Вы знаете, вы сначала чаю попьете? Они только что чай отпили, дети.

Уже стемнело, желтые фонари, воздух опьяняющий, сыплется розовая пыль.

— Не знаю, — говорю я. — Надо подготовиться к выступлению.

Ксения, лишенная отца, возражает:

— Как же! Успеем! Обязательно горячего чаю, ведь говорить придется! Для голоса!

Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с карамелью и дважды покусила на большие куски хлеба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб. Капает из носа, у меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка, но как ее достать, деликатно сморкаюсь в бумажку, у них тут вместо салфеток нарезаны бумажки. Где-то вдали шумят дети, их заводят в зрительный зал, мы с Ксенией забежали в туалет, она там задрала юбку и стала снимать с себя шерстяные рейтузы и осталась в шерстяных колготках, мелькнуло обтянутое брюхо и жирное лоно. Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, то есть толстые, обвисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви, и наверняка от этой Ксении и ее матери ихний муж гуляет на стороне от ужаса, и что хорошего, спрашивается, в пожилом человеке? Все висит, трепыхается, все в клубочках, дольках, жилах и тягах, как на канатах. Это еще не старость, перегорелая сладость, вчерашняя сырковая масса, сусло нездешнего кваса, как написала я в молодости от испуга, увидев декольте своей знакомой. И правильно, что на Востоке такую Ксению (и меня) упаковали бы до предела в три слоя, до концов рук и подошв, и подошвы бы замазали хной!

Я отговорила свое, дети затихли, мы причем, как всегда, выступали вдвоем с Тимофеем, он сидел за моим столиком на сцене рядом со мной и наливал из графина воду в стакан, стучал, булькал, пил эту сырую воду, холодную и отравленную, а остаток сливал обратно — и ладно. Хотя воспитатели, стоящие сзади своих оглоедов лицом к нам, как лагерные капо, уже настороженно и злобно переглядывались. Но, как всегда, искусство победило, я сорвала аплодисман, и мы с Тимошей пошли за кулисы ждать ужина. Я пыталась отправить Тимочку в зал к детям, посмотреть на Ксению, но он ни в какую, не дал бабе посидеть одной справиться с мыслями. Да, так о чем я? Плотно забрался на колени в пыли, во тьме кулис, ревнивый, требовательный, и стал оттуда смотреть в спину сказительницы, которая действительно ковырнула два раза картофелину (глаза), насадила ее на вилку, распустила мочало и с поварешкой и

щипцами для белья показала очень симпатичную оригинальную сказочку, неожиданно для меня. Ах, друзья мои, и в старческом теле мерцает огонь ума! Брать хотя бы пример моей великой почти что тезки.

После сказочки мы пировали за отдельным столиком, дети подходили посмотреть на кукол сказительницы, а я под шумок взяла с собой, опуская незаметно в сумку с рукописями, три громадных бутерброда маслом друг к другу и конфет карамелей: будет пир горой, когда приедем домой. И льстиво выпросила эту огромную, видно с рынка, породистую шершавую картофелину с двумя выковырнутыми ямками, якобы чтобы Тиме устроить тоже повтор сказки, а на самом деле это же на второе! На второе блюдо!

Домой, домой. Безрадостное встанет утро после бессонной ночи с проворачиванием всех вариантов: пенсия-то пенсия, но запах! Как в зверинце. Мама давно «ходила на гумно», и как там смердело, у этих старушек в палате, и как они стеснялись посторонних, пытаюсь накрыться до подбородка, и до подбородка марались, при мне сестра с сердечной руганью от всей души отворила такую укромно затаившуюся в тепле Краснову, соседку мамы, и с криком причем, как это угораздило-то, бля, до шеи. В глазах мамы сверкнуло, в темной воде белков пробудилось скромное торжество. Ах, как я знала это торжество! Как часто я видела его сквозь якобы расстроенные чувства, особенно когда она меня якобы защищала от мужа, всякое бывает в тесной семье, но упаси Боже на глазах мамы или в пределах ее слуха! Торжество правоты. Торжество правоты под лозунгом «я ведь предупреждала», торжество ее разума на фоне моей глупости.

И я даже думаю, что те немногие добрые дела, которые она делала, она делала вопреки кому-то, к примеру мне! Много добрых дел делается при попытке к сопротивлению, и я думаю, что и Малыш станет добрым к своей распутной матери только из сопротивления моей правоте — увы или нет, вот вопрос.

Сытые, вермишель с мясом, три стакана сладкого чая, три кусища хлеба с маслом, хорошо живется детям в нашей стране, Тимоша тоже ходил в садик, вот было времечко! Ел там. Я отсыпалась, писала свои штучки, бегала по библиотекам, в редакцию, даже сшила себе юбку из неплохой штапельной тряпочки. Золотое время! Но Тимоша болел. За каждую неделю свободы (моей) он платил двумя месяцами кашля, жалкий, с водянистыми, прозрачными щеками, он сидел дома и мучил меня и мучился сам. Что они там их терзают, что дети приходят злые, агрессивные и болевают, или это дети детей терзают? Перестали мы ходить в садик и потеряли место, у нас в садик очередь.

И всю ночь я вертелась на своем диване, на своем продавленном ложе, «в норочке», как говорит Тимофей, всю ночь думала и не решалась,

не плакала, но мучилась как на раскаленной сковородке, а потом посмотрела в окно и испугалась: что-то белое прилипло к стеклу! Это белое это был уже мутный рассвет. Утро стрелецкой казни, утро начала зловещих перемен, утро расплаты. Если бы мама жила со мной, если бы я вытерпела этот ад, эти вечные крики и оскорбления, эту защиту детей от меня, а «скорые» и милиционеры — мы к их призракам выкли довольно быстро и даже пытались, о идиоты, выводить ее на чистую воду и спорить с ней, что мусор просто дежурит у гастронома (это доказывал с пеной у рта Андрей, придя в досаде от следователя, когда бабушка с кривой улыбкой, выглянув в окно, провозглашала «ну вот опять милиционер», — «нужна ты мусорам»), а я говорила, что не за тобой поехала «скорая», не за тобой, гляди, свернули, кому ты нужна, но потом «скорая» приехала за ней.

Дела были такие: Алена плакала по всем углам до бессилия, потом начала толстеть и жадно ела, доводя Андрея до бешенства. Он вообще с детства следил, кто сколько за столом съедает сладкого, заставлял на месте преступления Алену, а иногда и нас с бабкой. У него все должно было быть поделено по справедливости, и иногда он, как садист, клал на видное место свое несъеденное, чтобы изводить маленькую Алену, да! Это имело место! Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи, нищета тому виной, какие-то счеты, претензии, бабушка укоряла моего мужа в открытую, «все сжирает у детей» и т. д. А я так не делала никогда, разве что меня выводил из себя Шура, действительно дармоед и кровопиец у своего ребенка пищи, но это уже были последствия того шока, который я пережила, когда со стоном все узнала, поговорив по телефону с подругой Алены, чтобы она, я просила, поговорила с Аленой, что нельзя же так кидаться на мать и не ходить неделями в институт! И психиатры говорят, что такое поведение отходит от нормы, может, полежать в санаторном отделении, нарочно спрашивала я подругу Веронику по телефону, а Вероника сказала, что Алене это не поможет. Я нарочно выбрала именно эту Веронику, честную комсомолку, которую Алена называла «водка-кислярка» после именно колхоза, и эта ядовитая Вероника, помолчав, сказала, что месяцев через пять Алене станет лучше и она поймет, как в дальнейшем себя вести с мальчиками (если бы я тогда знала, в чем дело, см. дневник), потому что все уже готово к разбору персонального дела, но лично она в эту грязь вмешиваться не собирается, и какое еще счастье, что она лично не пошла с Шурой на сеновал, а Алена пошла, есть гордые люди, которые не будут бороться за свое счастье такими методами, как сеновал, а этот Шура кому только не предлагал, противно было смотреть, и она лично никогда не вешалась никому на шею, и для нее мужская красота состоит совершенно в другом, не в смазливом личике, а в другом!

Из чего я мгновенно сделала правильный вывод, и Вероника стала моим главным другом на ближайший месяц, когда Андрей приходил домой с допросов и ложился лицом к стенке, а бабушка неподвижно сидела в своей комнатке, плотно завесив окна, почти не ела, слабела, и один раз я ей принесла поесть, а она скосила на меня глаза, абсолютно алые по цвету, лопнули сосуды, и она ворочала глазами, как негр. Что она знала, что понимала, сказать трудно, все совершилось в тишине, вот уж когда мы шуршали как мыши, и Андрей исчез в пасти следовательской машины бесшумно, и я исчезала бесшумно, носясь от следователя к адвокату и на свидания к Веронике, и Алена, теперь одна в своей комнате, плакала тихо.

Дело шло, однако, к тому, что мы с Вероникой не допустили никакого персонального дела, она горячо ходила хлопотать за Шуру в деканат и к Шуре, чтобы он временно женился, хотя бы временно, на Алене, и меня это устраивало, на хрена мне был нужен этот человек, я об этом уже писала выше, да и Вероника за этот месяц сблизилась с Шурой, беседовала с ним, получила к нему доступ, к недоступному тайному идолу всех девочек курса, как я поняла, вечно молчашему, брови которого, я должна была объективно признать, были как у тюркской красавицы, ласточкины крылья, а рот вечно запекшийся, тьфу! О ненависть тещи, ты ревность и ничто другое, моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, то есть меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня, заменить собою все, и я видела такие женские семьи, мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья! Жуть и кошмар. Дочь зарабатывает, как мужик, содержит их, мать сидит дома, как жена, и укоряет дочь, если она не приходит домой вовремя, не уделяет внимания ребенку, плохо тратит деньги и т. д., но в то же время мать ревнует дочь ко всем ее подругам, не говоря уже о мужиках, в которых мать точно видит соперников, и получается в результате полная мешанина и каша, а что делать? Моя мама, пока не случилось все ужасное, именно так выжила из дому несчастного моего мужа и все говорила в хорошую минуту: кто тут глава семьи? (лукаво) ну кто тут глава семьи? (подразумевая себя).

Я двигала ошалевшей от безумных надежд Вероникой как пешкой, впереди уже замаячил призрак прихода в наш опустевший дом нового мужчины; и причем как раз тогда, когда возникла, повторяю, надежда, Алена раздалась и совершенно опустилась, не веря ни во что, и готовилась умереть, я поняла.

И вдруг однажды, придя домой, я обнаружила, что дверь бабушки приперта с той стороны, я с трудом приоткрыла щель, дверь была приперта письменным столом. Зачем она подвинула стол, зачем забаррикадировалась? Зачем тебе стол под лампочкой, ответь?! Я ввалилась в ее комнату, она сидела бессильно на своем диванчике (теперь он мой).

Вешаться собралась? Ты что?! Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой, вскинула голову и пошла, пошла навек. Вечером я устроила жуткий крик, просто кричала и всё, выла, не могла остановиться, Алена притащилась с таблетками и дала мне две, я выхватила у нее весь флакончик, я знала, зачем она бергла эти таблетки, и якобы для себя выдрала у нее их, попросила воды, и, пока она брела за водой, я спрятала таблетки под подушку внутрь наволочки, не переставая выть. «Брось истерику», — сказала мне дочь, а что я ей могла объяснить? Что я была в больнице, где окна закрыты решетками? Что конец нашей жизни? Что Андрей в такой же яме с решетками? Что я преступник? Кто, кто отдаст свою мать в психбольницу? Я, о Господи. Врачи меня утешили, что налицо большая опасность, что ее надо подлечить, очень старая шизофрения, сообщили дату, она сама рассказала, с каких пор за ней стали следить агенты КГБ, я сказала, что у нее лопнули сосуды на глазах, они сказали, что это бывает. Алые совсем глаза. Подлечат, сказали, ее жизнь в опасности.

Настало белое, мутное утро казни.

Я поняла, что не могу взять мать домой, не имею права перед Тимошей, за что ему эти дела, этот запах зверинца, эти крики и обвинения, эти моча и кал, и никакая пенсия ничего не возместит, тем более такая мизерная, она встанет поставить чай и подожжет дом. Нельзя, о Господи. Пришел ко мне Тимоша, я ему улыбнулась, как всегда (встречать Твой день улыбкой), и обещала хлеб с маслом, тот, вчерашний, и чай с конфетами (тебе понравилось вчера?) и склеить домик с окошечкам, только надо где-то раздобыть клей. Голова болела, я согрела чай и подумала, что вполне может быть, что я сейчас забуду выключить газ и сожгу дом, что это может со мной произойти в любую минуту, я и так последнее время еще удивлялась своим способностям находить дорогу, не теряя деньги и ключи и так ловко отвечать на письма, что никто ничего не подозревает! Никто ничего! Но если это случится прежде, чем я уйду навеки, кто спасет Тимошу? Кто его спасет? Всегда надо, чтобы в доме были люди, а где, где их взять?

Вот тут и раздался гром небесный, звонок в дверь. Явление Христа народу: звонок. Кто там, спрашивается? Опять какие-нибудь друзья в кавычках Андрея? Я заплатила, я уже все заплатила, сволочи, собаки! Хорошо, спрашиваю, кто там, стоя за дверью с бьющимся сердцем. Малыш несется открывать — он откроет всем! Всегда!

— Да я, я, — раздраженно.

— Кто это «я»?

— Я, Алена, — отвечает она и что-то еще там такое говорит.

Сегодня же не день ее полочки! Ошалела, что ли?

— А что такое? — спрашиваю я в своей полутьме.

— Мама! Мама пришла,— неизвестно чему радуется Тимоша.— Это ты?  
— Я, я,— устало и раздраженно говорит Алена тупо в закрытую дверь.— Открой, сынок.

Сынок!

Я открываю на цепочку, как бы удостовериться.

— Ты что, мама? — с деланным любопытством спрашивает меня эта низенькая бабенка.

Действительно, большие глаза, и действительно, ребенок на руках, второй (вторая, она же вторая по счету в ее многодетной семье) держится за подол юбки. Моя дочь принаряжена в какую-то чью-то куртку, куртка ей мала и явно с помойки.

— Открывай, открывай,— говорит она мне. Рядом я вижу коляску, все ту же самую, узел, чемодан. Как дотащила-то на наш этаж?

— У нас денег нет вас принимать тут! Нету!!!

Я хочу захлопнуть дверь.

Малыш борется со мной. Его мать с той стороны припасла ключ и вертит им в замке. Давно не тот ключ! И дверь на цепочке!

Алена через щель разговаривает с пыхтящим Тимошей:

— Тимочка, не надо, не старайся, прищемит она тебя!

— Тимочка, давай закроем дверь,— ласково говорю я.

— Нет! Нет! — кричит он,

— Тимочка,— говорит она,— не старайся тут с ней... Она же больная! Ты понимаешь? Она тебя прищемит, сынок, она сумасшедшая! Не надо, отойди.

— Отойди, да! (Это я.)

— Нет!!!

— Отойди, сынок!

Я плюнула и ушла к себе в комнату и закрылась на ключ, они там шуровали, бегал Тимоша, слышался писк и другой тонкий голосок, который внятно, как попугай, говорил: «Ал`я? Ал`я? Ул`я?» Ворковала их мать, все потом пошли мимо моей двери на кухню, потом в ванную, объединившись в одну секунду. Семья! Тима их спас, им открыл, он теперь счастлив и их, их член семьи! Мать с тремя детьми. Вот для чего я готовила почву, вот зачем не спала, голодала, лечила, учила: чтобы Тимоша меня в одну секунду бросил, возненавидел. Аля, аля, уля. В одну минуту жизнь потеряла смысл. Ах ты какой тонкий. Как хорошо сыграл. Всё на руку матери, чтобы ей доказать преданность! Малая борьба у дверей — и всё! Готово! Ах предатель, шелковые кудри, шелковые ножки! Так всегда, волк всегда в лес убежит, к матке! Сколько я видела таких матерей-кукушек, и как их любят брошенные дети, в одну секунду отказываясь от тех, кто их воспитал! Одна мимолетная знакомая еще с молодости, одна Ирина (помню), сказала, что наконец теперь-то знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения, а

ходит она теперь на могилу к своей настоящей матери Астаховой, ибо наемная мать, к счастью, сохранила ей могилу, та умерла родами и была рабочей, в общежитии живущей, одна, без мужа и семьи. На эту-то могилу Ирина и готова таскать цветы, а той, настоящей матери, что ее кормила и питала потом и кровью, — шиш, хотя и говорит, что Ксенофонтова (она ее так в благодарность называет) болеет, слегла и уходит со своего большого поста замминистра. И от мужа Ирина Астахова ушла, он тоже ксенофонтовский, из ее дачного окружения, сын папаши на ровном месте. Ирина посоветовалась с могилкой и выгнала мужа, выкормыша правительственных дач, живет теперь одна с маленькой дочкой, но в своей отдельной квартире. Как помнилась мне в молодости эта история, я так надеялась, что моя мать окажется тоже не моей матерью и все наконец встанет на свои места. Мне не жаль было эту колдунью Ксенофонтову, а жаль было могилу Астаховой, а Ксенофонтова в ее мужском пиджаке, со стрижкой чуб на лоб, я ее представляла трясущейся от волнения, когда она решила рассказать (чувствуя себя на склоне годов) своей дочери, кто она для нее есть на самом деле, и какой подвиг она совершила, и сколько ради этого было положено сил. Хотела Ксенофонтова лучше, оказалось, что хуже, и никакого оправдания она своей жизни не получила, шиш, шиш и шиш!

Это я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми глазами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с норочкой. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется и никакой надежды. Дочь моя займет большую комнату, Тимошу отправит с кроваткой ко мне, так. И на кухне будет праздновать одиночество, как всегда я ночами. Мне нет тут места! Я выхожу с абсолютно сухими глазами:

— Алена, можно поговорить? Ты способна меня выслушать?

Как ни в чем не бывало:

— Погоди, мама.

Мама! Кольнуло в сердце.

— Видишь, распаковываемся. Покорми старших, а?

— Так ты что, ввалилась жить? А?

— Тимоша, надо покормить Катю. Ты можешь? А баба, видишь, не дает вам есть.

— Могу! — выпаливает Тимоша, взял эту толстую Катю за руку и заботливо повел в кухню мимо меня, как мимо столба. Мимо меня протопала эта пара, не замечая меня, только Катя сказала: «Уля?»

— Куда, там пусто!!! Пусто!

— Мамуля, — сказал Тимоша, — у нас есть два куса хлеба с маслом и конфетки, я могу поставить чайник.

— Куда, обваришься и обваришь ребенка, — закричала я, — Алена, поспешу, я ухожу срочно.

— Уходишь, — тускло говорит Алена.

Явно сама хотела куда-то уйти, оставив на меня всю свору.

— Ухожу, ибо: сегодня,— говорю я торжественно,— я забираю мать из больницы. Твою бабуку.

— Бабушку? — бесцветно повторяет Алена с застывшим видом.— Зачем еще?

— Зачем? Вот вопрос так вопрос!

— Почему сегодня? Мама! — наконец говорит она.— Брось свои штуки! Тут трое детей!

— Да, да. Или ее сегодня через час отправляют в интернат для психохроников. Навеки.

— Ну и что,— говорит она.

— Что! Кто к ней туда будет ездить? Кто будет ее кормить? Ее там прибьют табуреткой, и всё.

— Ты будешь ездить, ты будешь кормить, как все эти годы кормила. Ты же ходила к ней? — язвительно намекает на что-то Алена.— Или нет, я что-то не понимаю. С чего вдруг такой переполох? Ты же получаешь ее пенсию? А? Ну и будешь к ней ходить.

— Это где-то три часа на электричке.

— Ничего. К своей матери поездишь. Или не поездишь. Пенсию-то ее ты аккуратно будешь получать?

— Не буду получать. У интернатных пенсию отбирают, ты что.

— Ах вот как, так бы и сказала, что тебе жалко денег, и мы будем из-за этого опять выносить ваши взаимные скандалы. Все детство прошло в криках, все самые лучшие времена. Кривая семья.

Я, с сухими глазами:

— Вот для того, чтобы у тебя была прямая семья, чтобы тебе не мешать, бабушка и оказалась там.

— Слышала эти басни много лет.

— Чтобы спасти твою семью, я ее убрала с твоего пути, а оказалось, для спокойствия Шуры, чтобы он тебя начал терпеть. Но не вытерпел!!! Никто!!!

Глаза ее наливаются слезами, все-таки что-то человеческое в ней еще осталось, со странным удовлетворением замечаю я, какое-то осталось у нее чувство стыда, неловкости за свой разврат.

— Мамуля, не плачь! — Тима откуда-то очутился рядом с ней.

— Сынок, ты где оставил Катю? Ее нельзя оставлять на кухне, живо вывернет на себя кастрюлю.

Я говорю:

— И еще Андрея-то нашего жена гонит.

— Так-к...

— Со всеми последствиями. Андрей-то пьет.

(Тут я прилгнула. Когда второй раз Андрей ворвался ко мне с криком, что его убивают, и я открыла дверь на эту провокацию, действи-

тельно за ним стояли те трое, держа по одной руке в карманах, а Тима плясал за моей спиной, стораая от любопытства. Выяснилось, что тут долг восемьсот рублей. Я извинилась, закрыла перед носом сопровождающих лиц дверь и сказала, что позвоню в милицию. Андрей был бледен, и ему удалось убедить меня, что они убьют не только его, но и Тимошу. Мы все вместе пошли в мою сберкассу, и под их взглядами я сняла с книжки все, что там было, оплаканных шестьсот восемнадцать рублей, еще мамина страховка. Взамен Андрей обещал больше никогда меня не беспокоить, устроиться на работу, прекратить пить, лечь в больницу с пятой и прописаться к своей жене. Он плакал на коленях.)

— Семья! — протяжно вздыхает Алена.

Я:

— Бабушка будет в этой маленькой комнате. Я переселюсь на кухню в кресло-кровать. Если придет Андрей, место ему будет с бабушкой. Он бабин внук.

— Ничей он уже не внук. Я к нему приехала в гости с детьми, он пьяный посреди ночи начал бушевать.

— Когда?

— Сегодня ночью.

Так.

— Зажгли свет они с Ниной, начали выяснять отношения, а это он так нас гнал. Бей своих, чтобы чужие боялись.

— Он же обещал больше не пить!

— Он пьет не просыхая уже неделю, откуда-то деньги достал, поит дружков. Полный дом. Ну ладно, хоть эта комната моя! Наша!

— Так. Ну хорошо. Андрей... — Я глотаю слезы. — Сын, вот тебе сын.

Решение мое пришло абсолютно неожиданно. Свобода, свобода и свобода! Как странно, свобода в таком пространстве! Алена тоже не очень будет переживать. Из каких подземелий она воротилась, если комната восемнадцать квадратных метров на четверых ей кажется убежищем!

— Прошу политического убежища, — бормочет она, подбирая с полу и ставя обувь в ряд. Она читает мои мысли. — Как я жила! Мама!

Одна минута между нами, одна минута за три последних года.

— Нечего было рожать, пошла и выскоблила.

— Выскоблила — Колю? Да ты что!!!

— Господи, все же делают аборт с большими даже сроками... За деньги, — говорю я. — Абортируют вплоть до не знаю. За деньги!

— Какие деньги? Ты что, какие деньги? — забормотала она.

— Деньги с них! Надо было думать, когда ложилась под них! А ты брала с нас! Плять, — с сердцем сказала я и пошла собираться в поход.

Собираться в поход. Если я не поеду, ее уже увезут. Их увозят рано, их увозят, так, ее уже одели в два больничных халата, резиновые сапо-

ги, полотенце на голову, такой холод, однажды ее так вели с рентгена, водили на рентген в другой корпус через двор, я пришла койка пустая, о как я перепугалась, ну зачем меня пустили смотреть на пустую койку, сестричка Марина пустила, отомкнула дверь в отделение, когда я поскреблась, а стучать нельзя, больные беспокоятся, и меня предупредили, Ревекка Самойловна еще тогда работала царствие ей небесное, а здравствуйте Мариночка это вам, что вы, что вы, это вам, а, пустяк ручка за 35 копеек, но мне и такую купить сложно, бегала по киоскам, везде за восемьдесят с гаком, ну проходите, и она ушла с ручкой, о как малыш плакал бедный плакал, дай порисовать этой ручечкой, его потрясло, что она красно-синяя, новенькая а теперь он плачет, теперь он не мой, да, моя мама уже стоит качается!

На нее надевают халат, второй халат, полотенце, а санитарка говорит санитару «скорой помощи», полотенце вернешь и два халата и рубашку до пупа, распишись, а моя мама стоит последняя в отделении, ее соседки Красновой уже нет, никого нет, постепенно отделение пустело, кого куда, отделение пустое гулкое одна мать лежала, водила глазами на шум шагов, к ней уже другое отношение, кормят как единственную, жадно ест замшевым ртом, замшевым с усами и бородой ртом, вялым пустым, и лицо сокращается вполовину, когда она жует деснами, шепчет «я не выживу», а выживешь выживешь бабуля, нет я не выживу материально, кой материально, бабуля, сейчас ты у нас поедешь новую больницу тчк ничего что не приехали за тобой, государство так тебя так дело не оставит, раньше смерти не похоронят, везде тебе будет порция каши, ну сейчас будем одеваться, бабуля, вставай страна огромная вставай на смертный бой, ну вот и хорошо, там тебя не бросят, мы к тебе привыкли бабулечка, последняя осталась у нас завтра в отпуск, кто в отпуск ходит в феврале, мы, мы, мы, эх кому мы будем нужны на старость, так вот в говне и лежит бабуля, эх пошли подмоем ее неси судно и квач, я кувшином полью, вся опять обмаралась эх, кости да кожа, а, а, а, ведь рожала бабуля, все висит, отстает, надьсь ту подмывала что-то под ней лежит, матка выпала, Марина сказала, эх, бывает, восемьдесят семь лет, она в пятую уехала, пятая хуже!

Бабуля, тебя в хороший интернат повезут, там почище, какунья, простыней на тебя пеленок не напасешься, чисто как ребенок, что, что ты говоришь, что она говорит, вот, убивать таких надо, вколоть укол и все, что ей мучиться, ну, вставай бабуля, эх как студень дрожит вставай тчк.

Но ведь надо повезти ей что-то надеть, так, так, так, она худая, все мое ей подойдет, ах, нестираное, что делать, это нестираное, то рваное, неудобное, ах, вот когда нужда выступила наружу, нищета и нищета, а нищета это прежде всего белье, заведомая рвань, как им это предьявить, ну хорошо, лифчик ей уже не нужен, хотя полагается, трусы

трико есть одни, слава тебе господи, почти новые, на дне, на самом дне, на случай врача, о счастье, о слезы, так, теперь!

комбинашку, все рваное, что делать сама ношу что попадет, чиню латаю, но редко, а никто не видит, так и сойдет, теперь все вылезло на белый свет, так, Господи, есть, есть, есть вскл есть белая майка бывшего зятя Шуры, спасибо, Шура спасибо птица, так и должно было пригодиться, но, но откуда эта майка здесь, именно здесь, так, слава тебе господи, чулки и пояс, этот пояс у меня один, ей не подойдет, однако есть спортивные трикотажные штаны, о, как, однако, все пригодилось, и если я найду носки целые, носков целых нет!

я точно знаю, я сносила, поскольку в валенках очень рвется все, так, так, зато есть еще целые бумажные чулки, ура, закатаю вниз, будет как носки, так теперь какие ей туфли!

тьфу, какие могут быть туфли, сейчас зима, стало быть валенки, о, о, мой запас валенок, господи какая здесь в чулане лавина вещей, никак не могла разобрать, сволочь ты, сволочь, живешь как паразитка, ни о чем не думаешь, только о стихах, плачь теперь, вой, в больницу не успеваю, не успеваю оооо!

— Господи! Что ты тут делаешь, мама! Все повыкидывала, не прой- дешь. Неужели же это надо делать день в день, как мы приехали (уда- ляясь) ты подумай, ну ты подумай, здесь малые дети, а она тут пыль, тьфу.

Не успеваю, не успеваю, ура, есть валенки с галошами, ура, слава те- бе господи, так, теперь надо найти платье, ее платья, слава тебе госпо- ди, что она меньше меня и я ничего не носила и не перешивала, а были мечты из разных платьев скомбинировать, но ничего не скомбинирова- ла с мыслью о старости Алены, вот наступит, дескать, время, и я предъ- явлю ей, доченька, а у меня целый запас для тебя, Алена, ты ростом удалась в бабушку и такой же характер Акула Глотовна Гитлер, я ее так один раз в мыслях назвала на прощание, когда она съела по два добав- ка первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была силь- но беременна, а есть ей там было-то нечего совершенно, так, так, так, есть чудное!

чудное платье, ура, мама ведь совсем худенькая, платье в талию тем- но-синее в красно-белый цветочек плюс шелковый красно-белый платочек в кармане пришитый, мама была изящная молодая дама на каблучках в злобном женском коллективе, любовники из высшего эшелона, из руководителей, покровители скоты, так, теперь ее пальто слава тебе господи, с каракулевым воротником, синий коверкот, кто те- перь знает эти материи, коверкот, ура, шляпа, нет, шляпа мягкая и твер- дая как валенок, в народе говорят «каляная», уши не закроет, это самое главное закрывать уши, это я твердила малышу, малыш, малыш, не ду-

мать, забыть, не плачь, не плачь, нет, вон он жив, он с матерью, сестрой и братиком, ты была ему подстилкой, он вытер об тебя свои шелковые ножки и кинулся к другой матери, мать его острижет теперь, острижет его кудри и отдаст в детский сад как в армию на пятidineвку, я прозреваю ход событий, она как мать-одиночка многодетная будет пользоваться благами детсада, тюрьмы для своих детей, их раздать и идти работать, всё

всё будет нормально!

всё!

всё!

но как он там будет спать один, а, а, а, как мать твоя спит одна, не будем думать, почти семь лет стоп так, на голову платок шерстяной, а платок в вещах Тимочки, ему нужен при ушных болезнях клетчатый довольно приличный, ага, но он весь в желтых пятнах, это камфарное масло и нельзя выносить на божий свет.

— Ничего я не беру ничего не роюсь Аленочка но ведь бабушке надо что-то на голову старая голова это же тебе не жиринки черепок и кожаца поняла, волос почти нет!

нигде!

нигде ничего нет, так, так, я придумала, у меня есть шарф старый полшерстяной, я ношу его на шею, но мне особенно не надо и потом это на один раз, так, я подниму воротник, так, теперь необходим чемодан, где, на шкафу, тьфу, какая пыль, обереть тряпкой, время, время, время, ффу, теперь надо постелить свежее белье и потом где взять клеенку, Аленочка, прости еще раз, у тебя нет лишней клееночки, нету, ах нету, так я и думала, так, разорву полиэтиленовый пакет, или вот что, я попрошу старую в больнице не откажут списанное, так, бегом бегом!

бегом с тяжелым чемоданом, вечный путь, пятьдесят два раза в год плюс на Новый год плюс Первое мая и Восьмое марта плюс день ее рождения, то ли девятого, то ли десятого, на всякий случай хожу девятого и седьмого еще ноября, поскольку покойница Ревекка, благородная женщина, деликатно намекнула, что именно в праздники бабульки чувствуют себя плохо, плачут, умирают, ничего не едят и хотят снотворного, кто тебя теперь вспоминает, Ревекка, я вспоминаю, ты была богом для нас, о господи, какая тяжесть, ее наверно увезли, куда я мчусь, уже час дня, уже машина, насквозь ледяная «скорая помощь», уже ее везут, уже увезли, приеду, тьфу, все давно заперто, персонал в отпуске, внутри ходят маляры, а хуже маляров, что интересно, никто никогда не одевается, сколько лет не делала ремонт, о, о, о, о чем тут думать, уступите мне место, молодой человек, сейчас упаду ох благодарю не ожидал, это цитата, о господи, сколько стоит на остановках, плетется, как я буду ее везти, если все-таки ее не увезли, а, надеешься на это,

пять, низкая душа, доплелись, теперь метро, гул, но без пересадок, не люблю метро, гул, так страшно, все смотрят, куда едет эта высокая женщина с чемоданом с таким измученным лицом, а что касается зубов, не разжимая губ живи и помни, не улыбаться, как на почте, приду, а они говорят, мы о вас говорили, что говорили, что никак не идет эта высокая с ребенком? да, мы говорили, что-то ту бабулю с внучком не видать, перевод лежит на два раза по семь рублей, ой, спасибо, это за мою литературную работу, я ведь поэт, спасибо, вы всегда меня выручаете, двадцать-то копеек оставьте себе, купите конфету ребенку от моего имени, когда выйдет книга, подарю, ой, ай, уступите мне это место, девушка, так трудно стоять, измучилась, падаю, спасибо, так, едем!

едем, едем, все-таки приданое получилось довольно сносное, а как же, старые люди всегда носят все старинное, они это любят, ах ее брошь, я забыла, костяная на груди, и не будет ей задувать, ладно, хорошо, сниму свою шерстяную кофту, так, очередь на маршрутку, разрешите мне без очереди, мне нельзя опаздывать, психбольницу закрывают, да, да, я именно что психбольная, это вы угадали, да, со справкой, ну, что же вы, толкните меня еще раз, товарищ, ай, ой, дайте руку, я не влезу с чемоданом, уфф маршрутное такси это такое благо, раньше тут только на трамвае, передайте, а, а, почему, ах да, за чемодан двойная плата, забыла, и чего мы ждем, все вакантные места заполнены, ямщик, подгони лошадей, поехали

так, бегом, волочи чемодан по лестнице, сердце стук, стук, стук, «скорой помощи» у порога уже нет, или еще, стук, бух, бух, бух извините, что так колочу, здравствуйте, я за мамой, я забираю ее домой, я не опоздала, нет, о счастье, извините я должна была позвонить, но просо-биралась, о, как я боялась, а что, машина едет

ах, извините, у меня дочь приехала с тремя внучатами, несчастная, одна, все ее бросили, все, я одна на всех, сына спасла от гибели, да, всё я одна, да, ему угрожали уголовники, кому-то он был должен, я расплатилась, теперь он мне предан, но он болен, он инвалид без одной пяты, теперь меня рвут на части, кашку вари, эту качай, этого одевай, тому сказку, знаете, я счастливая бабушка, дивные внучата Тимофей, Екатерина, Николай, дивные имена, и плюс маме вещи собирала, да, а зачем вы мне пишете выписку, что это, ДЗ вялотекущая шизо (далее росчерк), ах да, дадут по ней бесплатные лекарства, нет, вы мне дайте просто ту, которую вы оформляли в интернат, просто так, на память, вас как зовут, Сонечка, солнечное имечко, какое удивительное в наше время, имя героини Достоевского, будьте так любезны

минуточку, я хотела вам подарить на память мои стихи с надписью, я ведь поэт, но такая сутолока, забыла дома, но ничего, это от вас не уйдет, вы ведь тут еще после отпуска будете, всем подарю, у меня выходит книга стихов

со стихами, у, заживем, я ведь, знаете, поэт, а поэты нищий народ и не от мира сего, кончают жизнь в забвении, ах, если бы была такая возможность, если бы не нужда, о чем бы было говорить, но у вас нет ли чего списанного, ну там судно, ну клеенка, старые простынки, можно рвань, я сошью куски, ну буквально нечего подстелить бабушке, а вы ведь новенькая, а моя матушка здесь ветеран вскл О я вам благодарна! О, кувшин, о, это судно? Квач, так, я понимаю. И пеленки!!! И клеенки!!! Ничего, я отмою! А марганцовочки... Ничего, все валите, и вату, чемодан-то будет пустой. И хлорка! О радость. Ну, ее приведете или уже можно мне прямо в палату? Здравствуй, привет, как поживаешь? Сейчас я тебя одену, и мы поедем домой. Пипи сделаешь на дорожку? Я тебе подложу судно, пись-пись-пись. Ну. Давай. Молодцом! Писнула все-таки. Сонечка, она ведь все понимает: удивительно! Сонечка, а ее лекарства... Я понимаю, рецептов вы не даете... Но ее-то лекарства посмотрите в истории болезни записаны... Мама, одеваемся. Поднимайся. Голова голая! Ее побрили... лысая. Так, молодец. Ой какие ногти, надо будет остричь, отросли как у Вяя, а на руках тоже, как же за тобой тут смотрели, ничего, видишь, и трико тут целое, и майка беленькая, видишь, тебе прямо ниже колен, как комбинация, ну маленькая какая у нас мама, а валенки потом, держись за меня, чулочки сверху, штаны в них, валенки потом, теперь платье до пяток, тогда так носили, уфф, спина болит, не разогнуться, оо, спасибо, чудесная девочка Сонечка нам принесла лекарства про запас, я и просить-то боялась, видите, Сонечка, мою куколку, господи, какой запах от этого тела, больной зверь, голова кружится, нет ли у вас валерьяночки, Сонечка, так, мама, вставай в валенки, ногти-то не мешают ли —

Не колыхайся, колени не подгибай, как же я тебя поволоку-то, о, Сонечка, спасибо, глумглумглум, валерианка это чудо, ничего в жизни не пила страшной валерианки, а, ах, Сонечка, как же я ее поташу, она же не ходит, вы говорили, едет машина, а нельзя ли сказать шоферу, что нам надо не за город, а гораздо ближе, метро такое-то, семь минут ходьбы, умоляю вас, а у меня нет денег на такси, нету, нету совершенно, книга-то еще не вышла, а выйдет, я всем отдам кому обязана, а, Сонечка.

— Бабуля,— трезво отвечает Сонечка,— если вы ее забираете, то это не больница развозит.

— Ну в виде исключения, Сонечка, ну хотите, я встану на колени, ну не мучайте нас, отвезите, ну врачей нет, никого нет кого умолять...

— Это с шофером, это с ним.— И Сонечка, потерявши интерес, убивается от греха подальше.

Мы одеты, мама сидит, скрючившись как эмбрион, поникнув головой, еще немного — и она опишется, я уже чувствую, куда идет дело. Гром на лестнице, в коридор входит санитар.

— Больная Голубева!

— Здесь, здесь, я ее провожаю, все-все документы у меня. Голубчик, помогите ей одолеть лестницу.

Сонечка издали наблюдает эту драму, мы выходим на лестницу, она запирает дверь с той стороны особым ключом, всё.

Моя матушка в валенках, как кот в сапогах, передвигается дико и странно, санитар, средних лет мужчина в белом, ведет ее под локоть и под спину, лестница. Мама в большой шапке, свою шапку я вынуждена была надеть на мать, из шарфа она вообще ежеминутно выпадала, как кукушка из часов.

Мы в машине.

— Простите меня великодушно, как вы поедете?

— В пятую.

— Это далеко? В пятую, сказали ведь в другую...

— Это-то? Порядочно. Часа три в одну сторону...

— А потом?

— А потом обратно в город. Но на подстанцию, это не здесь.

— Вы знаете... Я предлагаю вам вот какой выход из положения. Как хотите, можете везти ее в этот интернат... Как хотите... А можете везти всего-навсего здесь двадцать минут езды.

— Это куда?

— Документы вот у меня. Я вам отдаю справку, что я ее забрала домой. И все. Неожиданно, понимаете? И пять часов вы свободны.

— Так. Бабуля, вы тут что... вы ее забираете так забираете, нечего нам тут... ваньку, понимаешь... Берите и везите на такси сами.

— Нет. Если вы ее не везете сюда, то мы с вами едем туда, в пятую, вместе, а уже оттуда вам главврач даст указание везти ее домой как передумавшую. Я так и так с ним договорюсь, я бы и здесь договорилась, Дезы не было, заведующей. Потому что таких возят, возят, я вам говорю, на «скорых помощах» именно. Просто здесь сейчас главврач и Деза в отпуске, иначе все было бы проще. Ну, поехали.

— Давайте бумаги.

— Бумаги я вам отдам у подъезда моего дома, ребята, ну что вы, в самом деле, вам же легче. Не ходит она, не ходит.

— Это вы не с нами тогда везите, у нас путевка туда, кто нам подпишет?

— Ну едем туда, там вам подпишут, но на обратном пути мы все равно поедem к нам домой. Я вам это гарантирую. Не ближний свет, шесть часов по морозу. А лучше всего скажите на подстанции, что больную забрали домой, и все, даром проездили.

— Мы сами знаем, что говорить...

— А я вам дам в подтверждение эту бумагу. И все. Ну подумайте, в такую погоду, не дай бог она умрет... Ребята...

— Выходи! Выходите все! Мы и так вернемся, без вас.

— Нет. Без нас вы никуда, а с нами вы поедете туда.

— Так... Много мы видели сумасшедших. Вас же саму надо, тебя надо в дурдом! Вы же старая женщина! Старая!

Я вся дрожала, но валерьянка, драгоценный корень жизни, делала свое дело. Собранная, энергичная, волевая, я действовала на эти тупые мозги так мощно, что они были готовы убить меня оба. Они ясно понимали, что что-то здесь происходит не то, и готовы были тронуться в пятую, однако перспектива провести шесть часов со мной в машине их тоже не радовала. С другой стороны (прослеживала я ход их мыслей), здесь спокойный наряд, а вернувшись раньше времени на подстанцию, они могут получить направление куда-нибудь почище, к белой горячке или к топору в запертой квартире. Да. Жизнь.

— Я вам очень-и очень сочувствую, искренне прямо, но положение безнадежное, я ее сопровождаю и буду сопровождать, куда бы она ни поехала, и вы меня не выкинете. Вы не имеете права везти ее без документов.

— Да к тебе надо врача со шприцом!

Странная ситуация, в психоперевозку понадобился врач со шприцем.

— Смотрите, сейчас она обоссется у вас тут, ее покормили. Я ее раздуну. Я не собираюсь стирать все это, и она сходит вам на пол (про судно в чемодане я молчала).

Моя старушка что-то забулькала, лежа на койке. Я сидела у ее изголовья.

Они мрачно на меня смотрели из кабины.

— Везите нас скорее. Здесь полчаса.

Мрачно, мрачно, с сердцем шофер тронулся. Я прокричала адрес. Они не шелохнулись и не прореагировали. Они нас повезли. Куда? Путь был сложен. Куда нас везли? Куда? Я лишена была возможности видеть, стекла ведь в таких машинах забелены специально, чтобы не волновать окружающих. Врачебные тайны, врачебные тайны, что происходит под вашим покровом! Роды, насилие, пытки, боль, преступления против нравственности, кровь, скрученные руки, крики, последнее отчаяние, смерть. Санитары это власть, это деспотия, не знающая неповиновения и милосердия, и дорого бы дал этот санитар, чтобы всадить мне укол и показать, кто здесь тля, а кто тиран и начальник.

Через буквально десяток минут шофер остановил и сказал, что приехали. Приехали. Но каким образом? Откуда они узнали, как подъезжать, — ах да, им дали историю болезни, ах и ох, но ведь к нам трудно разобраться, поворот во двор совершенно из другого переулка, те считанные разы, когда я брала такси, — куда, куда он привез, совсем не туда, а стекла замалеванные —

— Будьте добры, вы с той ли стороны заехали, а то мне трудно бабушку выводить, я понимаю, мне уже никто не поможет, я бы взяла

такси, но пенсия, вот в чем вопрос, только послезавтра, не могли бы вы сказать, где мы находимся, у меня топографический кретинизм, ха, ха, ха, вечно не понимаю, как добраться — какое место —

— Приехали, приехали, то, то.

Я выставила чемодан на снег, долго выводила мою старушку, она была хоть и невесомая, но какая-то каменная, неповоротливая. Два здоровых лба сидели и курили, и «скорая» вывернулась из-под наших ног буквально в ту же секунду, когда я захлопнула дверь. Как буквально живое существо, как таракан, вывернулась и укатила.

Где-то мы стояли, на каком-то мосту, серым днем, ближе к вечеру, у обочины. Справа дымили огромные трубы, под мостом проходили железнодорожные пути, открывались огромные производственные дали. Мимо проехал незнакомый трамвай приглушенно по снегу, стояли на той стороне какие-то кирпичные дома, шли небольшие осадки. Я все дрожала. Где мы находимся?

Но, но! Не война, не под танками. Санитары да, они все поняли, ну не в первый же раз. Ну они возят каждый день по сто человеческих отбросов. Сколько они видели-перевидели таких хитрых родственников, которые хотят забрать домой своих старичков и детей, не отдают их дальше на смерть и растерзание, сколько, ха, ха. Они поневоле научились.

Мы тряслись, расположившись на одном месте, у края тротуара. Я посадила бабу на чемодан, она сидела скрючившись, в той же позе эмбриона. Вдруг она вздрогнула всем телом и опять поникла, и я поняла, что в этот момент она помочилась в валенки. Сейчас ей тепло. Через пять минут она замерзнет. Я ее подняла под мышку, взяла чемодан и поволокла скрюченное, окаменевшее тельце по снегу ближе к трамваю, будь что будет, мне помогут. В трамвае тепло, и куда-нибудь поедем.

Сзади, фырча, надвинулась какая-то машина. Подождут. Хлопнула дверца.

— Ложите ее давайте, чего там,— сказал мужской голос, и бабулю у меня перехватили под мышки. Я повернулась и шла следом, волоча чемодан.

У обочины стояла «скорая помощь». В лицо секла метель. Кто-то вызвал, подумала я, спасибо добрым людям. Мы подошли к дверям, мужчина открыл дверцу. Я разглядела его сквозь обледеневшие ресницы! Это был все тот же он, санитар психоперевозки. Они вернулись. Санитар быстро, умело поднял тело моей мамы в машину, уложил ее. В машине, я чувствовала, было тепло, горела лампочка. Мама лежала на носилках, санитар укрыл ее сверх мокрого пальто каким-то их рубищем. Мама лежала на белой подушке в слишком большой шапке горш-

ком, с провалившимся ртом и малюсенькими щелочками глаз. Глаза были мокрые, как и все лицо.

— Ну подписывайте,— сказал мне санитар и подsunул мне бумажку.

Вот зачем они возвращались. Все должно было быть подписано.

Дома дети, Алена, я ей нужна, куда в этот детский очаг наше говно и пропахшие мочой одежды, наша старость. Вообразить рядом запахи мыльца, флоксов, глаженных пеленок, зачем я все эти сутки пугала мою бедную Алену, мне самой-то надо уйти.

Санитар влез с моей подписью в машину, поправил еще маму, оглядываясь на меня. Возможно, он ждал, что я с ней попрощаюсь. Потом он вылез, захлопнул с силой дверцу, залез к шоферу, хлопнул еще своей дверцей, и машина тяжело тронулась.

У ближайшего мусорного контейнера я разгрузила свой чемодан, выбросила пахнущие хлоркой пеленки, остро воняющую клеенку, квач и утку, свои сокровища периода надежд. Туда же пошли рваные простыни, я оставила только ком ваты.

Теперь Алена меня полностью загрузит детьми, думала я, бросит на меня троих, а как же так, мне надо съездить к маме туда. Почему я не обтерла ей лицо? Что было так каменеть, обычное дело, старца везут в богадельню, Божие дело этих санитаров. Что было так рыдать на скамейке в метро, люди смотрели, глупость. Закон. Закон природы. Старое уступает место молодым, деткам.

Я подошла к моей священной обители, не стала звонить, тихо так открыла, было темно и тепло, пахло маленьким ребенком и пригорелым молочком, на кухне урчал явно пустой холодильник, надо выключить, все можно хранить на балконе. Так я размышляла, прокрадываясь к себе, стащила с себя все мокрое, вымылась тихо, пропарилась, легла в свою кровать. Теперь я проснулась среди ночи, мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом, время разговора, все записываю.

В квартире полная тишина, холодильник выключен, издалека тупые, глухие удары: соседка Нюра дробит кости на суп детям, сколько раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденящие душу удары, как поступь судьбы. Почему такая полнейшая тишина, трое детей ведь! Никто не пикнул, молодцы, устали. И мать не шляется по квартире то молочка согреть, то пеленку сухую. Молодец. Все тихо и эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат?! Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят как мертвые. Полная тишина. Живы ли, вот вопрос. Живые дети так не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина. Что еще эта сумасшедшая натворила с собой и детьми? Живы ли? Полное молчание. Я и всю-то жизнь прокрадывалась к детским постелькам послушать, дышат ли. Иногда дыхание такое слабенькое, спят как умерли. Как сейчас. Не придумывай на свою голову. Какая

тишина! Далекие удары. Совсем Нюра с ума тронулась, все жалуются. Кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, холодец. Спят как убитые, молодцы. Не могу туда идти. Не могу знать. Не могу предугадывать насчет четырех гробов мал мала меньше, и как все это хоронить?! Как, скажите мне! Зима, цветы! Какие могут быть еще зимой цветы! Андрюша запыет. Подлец не явится от ужаса передо мной и этой погубленной маленькой жизнью. Ветер будет трепать на мертвой головенке легкие кудри. Ветер создаст впечатление живых волос. Как она это совершила, гадина!

Таблетки! У нее всегда были в запасе таблетки. За что детей? Тому последнему и вообще крошка понадобилась, растворила в молоке. У мертвых выражение лица облегчение как после слез. В ряд лежат. Сколько можно бить по костям, я спрашиваю? Удары судьбы. Нюра, хватит! Пойти постучать ей в дверь. Можно просто сойти с ума. Ответит матом, распаренная трудовая женщина, с визгом. Все давно привыкли и спят. Господи! Господи!!! Спаси и помилуй!

Я сделала две вещи. Первое, я не выдержала и пошла к Нюрке. Я ей сказала пару слов на ее языке, что заявлю, что ее Генка ворует телефоны, если она не понимает простых вещей. Мы с детьми видели. Срезал трубку. Она только разинула пасть для мата в разгар трудовой деятельности, как я захлопнула с треском ее дверь. Пусть подумает. Далее. Я решительно поднялась к себе и вошла в комнату своей дочери, и там при свете включенной лампочки никого не оказалось. На полу лежала сплюснутая пыльная соска. Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы

---

## 5. ПУСЬКИ БЯТЫЕ

## Пуськи Бятые

Сяпала Калуша с калушатами по напушке и увазила Бутявку, и волит:

— Калушата, калушаточки, Бутявка!

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились.

А Калуша волит:

— Оее, оее! Бутявка-то некузявая!

Калушата Бутявку вычучили.

Бутявка вздрезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.

А Калуша волит:

— Калушаточки, бутявок не трямкают, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.

А Бутявка за напушкой волит:

— Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

## 2

### Бурлак

#### Часть 1

Сяпали Калуша с Помиком по напушке и увазили Ляпупу. А Ляпупа трямкала бутявку.

А Калуша волит:

— Киси-миси, Ляпупа!

А Ляпупа не киси и не миси, а трямкает бутявку. Полбутявки у Ляпупы в клямсах, полбутявки по бурдысьям лепещется.

А Помик волит:

— Калуша, Ляпупы, трямкающие бутявок, не волят «киси-миси», а то бутявки из клямс вычучиваются.

А Калуша волит:

— А по клямсам? За некузявость?

И — бздым! — Ляпупу по клямсам.

Ляпупа разбызила клямсы и как заволит:

— Оее! Оее!

Бутявка из клямс Ляпупы вычучилась, вздрезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.

А Калуша волит:

— Киси-миси, Ляпупа!

А Ляпупа усяпала с напушки и за напушкой волит:

— Киси-миси, Помик! А калушаточки-то не помиковичи!

## Часть 2

А Помик волит:

— Калуша, а калушаточки помиковичи?

А Калуша разбызила клямсы и волит:

— Йоу?

Помик тырснул в бурдыся и волит зюмо-зюмо:

— Калуша, а калушаточки помиковичи?

А Калуша как заволит:

— Некузяво, ое, так волить!

А Помик в бурдысях как забурлыкает: бурлы, бурлы, бурлы.

А Калуша волит:

— Не бурлыкай, бурлак. Калушаточки не помиковичи, а помиковны!

## 3

### Кузявость

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку, и волит:

— О, бутявище некузявое.

И — тюк Бутявку за сяпалки.

И ну трямять Бутявку.

Полбутявки у Калуши в клямсах, полбутявки об напушку лепещется.

Но тут Бутявка как заволит:

— Ое, ое!

И подудонила Бутявка Калуше в клямсы: бздым!

Калуша обезвалдела, в клямсах у Калуши зюмо-зюмо некузяво, а тут Ляпупа по напушке шається, блуки бятые, пши натыром:

— О! Киси-миси, Калущечка! Как калушаточки? Как Помик?

Калуша же клямсы сопритюкнула, не волит ни киси и ни миси (Бутявка-то в клямсах и дудонится и дудонится).

Но тут из клямс у Калуши уже птум-птум, птум-птум (Бутявкино дудо).

— Эска! — волит Ляпупа. — О-по-по, вазьте, о индякие! Калуша подудонила! От Калуши аж дудом фурдяет!

Калуша Бутявку выучила, из клямс дудо отбьякала и волит:

— Не Калуша подудонила, а Бутявка! От Бутявки фурд!

А Бутявка, вычучившись из Калушиных клямс, вздрезнула, сопритюкнулась и усяпала с напушки в бурдыся, и волит из бурдысьев:

— Калуша подудонилаь, Калуша подудонилаь!  
 А Ляпупа пши аж растюкнула, блуки бятые вымзила и волит:  
 — И! И! Калушка зюмо некузявая! Фурдючая!  
 А Калуша бирит:  
 — С Ляпупой и Бутявкой бирить — дуда натрямкаться. Индякие, не туюьте дудо, не зафурдяет. Ляпупа с Бутявкой волят — у индяких пши сбьякиваются!  
 И усяпала с напушки кузявая-кузявая.

## 4

## Перебирюшка

Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу, и бирит:  
 — Оее! Оеее! Ляпупа! Калушаточки!  
 Калушата присяпали: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся. И вазят то на Калушу, то на Ляпупу.  
 А Калуша бирит:  
 — Калушаточки, к ляпупам не подсяпывайте ни на кыс! Ни кыса к ляпупам! Ляпупы дюбые и зюмо-зюмо некузявые!  
 А Ляпупа бирит:  
 — Йоу?  
 А Калуша волит:  
 — Вазьте, калушаточки, како ляпупы некузявые и нетюйные!  
 — Нетюйные? (Бирит Ляпупа.)  
 — Нетюйные!  
 — Биришь?  
 — Бирю! (Волит Ляпупа.)  
 — От нетюйной смычу! — бирит Ляпупа. — И от некузявой.  
 — Ляпупушка-перебирюшка, Ляпупушка-перебирюшка! — бирит Калуша. — Хахт! Хахт!  
 И калушата захахтали:  
 — Хахт! Хахт! Хахт!  
 А Ляпупа усяпала с напушки и волит:  
 — Хахтают, кайодлы! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

## 5

## МММКВЯ

Сяпала Калуша по напушке.  
 А по напушке — оее! — Ляпупа хвиндиляет.  
 Дохвиндиляла до Калуши, клямсы ако разбызила и волит:

– Киси-миси, Калушечка! Киси-миси, кузявенькая!

А Калуша:

– Йоу?

– Киси-миси, – бирит Ляпупа, вымзивши блуки на Калушу.

– Ну, киси, – бирит Калуша. – Ну, миси.

А Ляпупа волит:

– А у Ляпупы – мммквя! Потрямкай!

– Не. Мммквя – убня. (Бирит Калуша.)

– Не убня! Кузявая мммквя! Потрямкай!

И возобнулась Ляпупа и – бэдым! – вчучила Калуше мммквяю аж в клямсы! Инда клямсы у Калуши сопритюкнулись!

Сопритюкнулись – и ни втырь – ни оттырь! Сбьякнулись клямсы-то!

И Калуша бирит:

– Некузявая мммквя! Убня! (А бирит «Декузявая ббквя, убдя», клямсы-то сбьякнутые инда.)

А Ляпупа аж облампела и волит:

– О-е-е! Некузяво-то как биришь! Биришь «ды-ды-ды» да «бы-бы-бы»! С клямсами-то йоу?

А Калуша не отбирила никс и как некузявая посяпала с напушки (ммквяю с клямс отбьябквивать).

Ну и Ляпупа похвиндиляла – кузявая-кузявая. Клямсы разбызила и как зашмерендит:

– Змсяу! Йиу! Хфуф-оп-оп!

## 6

### Антибутявка

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку.

Бутявка же не вазит Калушу, а шмерендит:

– Куги-туги... буду-вуду... Ам-лям-лям!

Клямсы разбызила – шмерендит и шмерендит:

– Ам-лям-лям!

Калуша волит:

– Оее, бутявище некузявое! Да забызь клямсы-то! Не ам-лям-лям-кай! А ну, не шмерендеть!

А Бутявка – шмерендит, инда в пшах у Калуши свирикает:

– Муги-буги... Ам-тям-тям!

А Калуша сяпалками пши запритюкнула и как забирит:

– Оее! О, пши калушины! Оее, яко в пшах свирикает! А ну, не шмерендеть! А то как стрямкаю! А ну, бутявище некузявое, с напушки – тырьсь!

А Бутявка шмерендеть презяла и бирит:

– О-е-е! О индякие! Калуша – некузявая! Калуша бутявок трямкает! Калуша – антибутявка!

Индякие присяпали и вазят — то на Бутявку, то на Калушу. Некузяво вазят на Калушу.

А Калуша вазит на индяких и волит:

— Ни! (Волит Калуша.) Не антибутявка! Но антишме-рендя... Антишмерендявка.

## 7

## Не псни!

Сяпала Бутявка с Бутявчком по напушке и увазила Калушу.

И волит:

— Пфя! Вазь на Калушу, Бутявчонок! Калушка-то — зюмо некузявая. Пуська бятая.

Калуша волит:

— Йоу? Йоу Бутявка бирит?

А Бутявка волит:

— Не Бутявка, а Бутява. И бирю: Калушка — пуська бятая! Зюмо-зюмо некузявая.

А Калуша волит (блуки вымзивши на Бутявку):

— А по клямсам? За некузявость?

А Бутявка волит:

— Калушиха! Калушиха! Блуки-то вымзила! Калушатины мырдявая. Бутявчонок! А ну фьюро за Бутявкой!

И с напушки — счирк! В бурдысья.

А Бутявчонок сяпает и сяпает по напушке. Подзастремяжился.

Ну и Калуша Бутявчонка сцирила. А Бутявчонок как забурлыкает! (Бурлы-бурлы, бурлы-бурлы.)

А Бутявка из бурдысьев как заволит:

— Оее! Оее! Бутявчонок у Калушихи! Оее, инда Бутявчонка стрямкают!

А Калуша волит:

— Ну, и йоу Бутявка про Калушу бирила?

Бутявка волит:

— Бирила... Бирила, йоу Калушечка кузявенькая. И калушаточки кузявые. Не трямкай Бутявчонка! Ммм... Калуша не мырдявая, не пуська и не бятая! Отчуть Бутявчонка!

И забурлыкала Бутявка:

— Оее, оее! Бурлы-бурлы!

— Не бурлыкай! — волит Калуша. — На!

И Бутявчонка вытырснула.

Бутявчонок вздрезнулся, сопритюкнулся и усяпал с напушки.

А Калуша волит в бурдысья:

— И не псни, Бутявка-некузявка.

И прошаялось по-над напушкой Зюище, и пробамболило:

— Оее, некузяво-то инда...

А Калуша волит:

— О Буи-Зюи, Зюище! Егды Бутявки волят некузявости, то и Калуши волят некузявости! За некузявость — некузявость! Блук за блук! Не псни, и не псненный усяпаешь! Псня за псню!

## 8

### Абвука

Калуша бирит калушатам:

— Калушаточки! А калушаточки! Канна, Манна, Гуранна и Кукуся!

— И,— бирят калушата.

А Калуша:

— Инда, калушата, побирим об АБВ! Яете АБВ?

— АБВ? — волят калушата.— Не, не яем. АБВ трямкают?

— Ни.

— АБВ дюбые?

— Ни, ни! — бирит Калуша.— Яйте, калушата: АБВ — абвука!

Ну и калушата посяпали с напушки на оттырь, в бурдысья.

А Калуша за калушатами сяпает и волит:

— Яйте, калушаточки,— волит Калуша.— АБВ — кузявая абвука!

Без АБВ калушата не высыпают в калуши.

Калушата аж блуки вымзили:

— Абвука?

А Калуша волит:

— Ну! Без абвуки на напушке некузяво. Индякие — и напушане, и напушанки — абвуку яют. А! Б! В! Бирьге: Ааа...

А калушата бирят:

— Оу... Ня... Пся... Кгг...

— Ни! (Волит Калуша.) Ааа! Бэээ! Вэээ!

Но калушата как тырснут в бурдысья! (Не уявши абвуки.)

А Бутявка за напушкой волит:

— Калушата не яют АБВ! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

## 9

### И-пызява

У Калуши — калушата: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся.

У Бутявки — бутявчонок: Гага Прюшка.

И огды-егды бутявчонок Гага напызьявил и-пызьяву и отгырснул Кукусе:

Кукуся @ пуськи.гу

О Кукуся! Шошляю Кукусю зюмо-зюмо!

Кукуся+Бутявчонок = ; ^) (Кукуся и Бутявчонок — бдан-бдан!  
Шошляю Кукусю! С шошлю — Бутявчонок, кукусин на обагды!  
Чмяк! Кукусин Гага П.: ))

А Кукуся напызьявила Бутявчонку и-пызьяву:

Бутявчонок.гагап @ пуськи.гу

О Бутявчонок! Не бдан-бдан и не чмяк. Шошляешь Кукусю? Не яю.  
Огды... егды... Кукуся: ^+

И Калуша напызьявила и-пызьяву Бутявчонку:

Бутявчонок.гагап@пуськи.гу

Йоу, @, пызьявишь пызьявы Кукусе? Йоу за «чмяки»? Чмякаться некузяво. Калуши не шошляют бутявок, прюшек и гаг. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. И не пызьявь Кукусе ниогды! А то стрямкаю!

Ей-ей не v.гу

С некузявостью Калуша Помик. (; ^ (

А Бутявка (за Бутявчонка) отпызьявила Калуше:

Калуша @ пуськи.гу

От @ смычим. С мырдявостью — Бутява Бутявишна Йовович-Шер  
|: ^((

## 10

### Про Глокую Куздру и Бокренка

Калуша как забирит:

— Калушата! Калушаточки! Сяпайте на напушку!

Калушата вымзились из бурдысьев:

— Йоу?

— Сяпайте, сяпайте на напушку!

Калушата (Канна, Манна, Гуранна и Кукуся) присяпали.

— Ну, калушаточки (волит Калуша), распритюкивайтесь по напушке.

Калушата распритюкнулись: Канна, Манна, Гуранна — и наоттырь — Кукуся.

А Калуша волит:

— Инда побирим про Щербу.

- Йоу Щерба? – бирят калушата.
- А Щерба, – бирит Калуша, – огдысь-егдысь нацирикал: «Глокая куздра кудланула бокра и курдячит бокренка».
- Ну и йоу? – бирят калушата.
- Йоу: куздра кузявая? А, калушаточки?
- Ни, – бирят калушата. – Куздра некузявая.
- А йоу куздра некузявая?
- А куздра некузявая, ибо куздра кудланула бокра, – волят калушата.
- Ну! И курдячит бокренка! – бирит Калуша. – Ну и бирьге: кузяво ли, егды Канна, Манна и Гуранна курдячат Кукусю? А? Кудланули и курдячат? А?
- Некузяво, – бирит Кукуся. – Пуськи бятые, Канна, Манна и Гуранна.
- А Канна, Манна и Гуранна не бирят ни-ни. Блуки вымзили наотпень и не бирят ни йоу.
- Инда Канна волит Калуше:
- А Кукуся с Бутявчонком бирила, в бурдысьях-то.
- А Кукуся возобнулась и усяпала с напушки.
- К Бутявчонку посяпала, – бирят Манна и Гуранна.
- А ну! – волит Калуша. – А ну, сяпайте за Кукусей – и без курдяченья! И Бутявчонка кудланите из бурдысьев! Фьюро!
- Калушата усяпали с напушки. А Калуша волит:
- Щерба бятая.

## 11 Тресь

### 1

Сяпала Калуша с Помиком по напушке и волит то ли Помику, то ли в бурдысьях:

– Ин у Калуши с Помиком калушаточки: и Канна, и Манна, и Гуранна, и Кукуся!

А Ляпупа по напушке шається, пши натыром (ну Ляпупа и Ляпупа), и волит:

– Калушаточки-то некузявые. И Канна, и Манна, и Гуранна. А Кукуся аж тресь.

– Кукуся тресь?! – возобнулась Калуша. – Кукуся тресь, а, Помик? Обезвалдеваю.

А Ляпупа волит, блуки у Ляпупы бятые-бятые:

– Эска, Кукуся в бурдысьях с Бутявчонком! Шуньте, ин бурдысьях-то лепещутся!

А Калуша волит зюмо-зюмо:

— Кукуся в бурдысьях? Эска, Кукуся в бурдысьях Бутявчонка трямкает, бурдысья-то и лепещутся!

А Помик волит:

— Оое. Бутявок не трямкают. Бутявки зюмо-зюмо некузявые.

А Калуша волит:

— Сяпай за Кукусей в бурдысья и отвинь Бутявчонка у Кукуси.

И Помик посяпал.

— Сяпай, Помик,— бирит Ляпупа.— Сяпай в бурдысья. Отвинишь, как же! Помик-некузявик.

## 2

А бурдысья лепещутся, лепещутся, инда Ляпупа йокает: йок, йок, йок!

А Помик высяпал из бурдысьев и волит:

— Калушечка, Кукуся не трямкала Бутявчонка.

А Калуша волит:

— Кукуся не трямкала? Так стрямкай же! Стрямкай Бутявчонка, Помик!

А Ляпупа йокает:

— Йок, йок, йок! — (Так и лепещется).— Пуськи бятые. Канна, Манна, Гуранна и Кукуська.

Ин из бурдысьев высяпывает Бутявчонок, а с Бутявчонком сяпает Кукуся, клямсы в клямсы с Бутявчонком, сяпалка за сяпалку.

Оое.

Калуша клямсы разбызила ажник.

Помик набурбушился.

Ляпупа йокнула:

— О! Щуньте, щуньте! Кукуся с Бутявчонком сяпает! Кукуся тресь!

А Калуша вздрезнулась и волит:

— Никс!

— Тресь, тресь,— бирит Ляпупа.— Кукуся тресь!

Инда сопритюкивается.

А Кукуся с Бутявчонком усяпали с напушки.

— Посяпать разбамболить про Кукусю,— забирила Ляпупа.— Разбамболить про бурдысья, про Калушу с Помиком, ой кузяво! Ой кузяво! Кукуся с Бутявчонком в бурдысьях...

— Аи обезвалдела, Ляпупа? — волит Калуша.— Не Кукуся, а Кукуся Помиковна Бутявчонок-Прюшкина.

— Йоу? — бирит Ляпупа.— Йоу?

— Кукуся Прюшкина, йоу.

А Ляпупа как заволит:  
 – Кукуся-шмукуся! Бутявчонок-шмутявчонок!  
 И усяпала с напушки бятым-бятая.

## 12

Фыва Пролдж  
 Лингвистическая комедия

индякие:  
 Ляпупа  
 Бутявка  
 Полбутявки-А  
 Полбутявки-Б

*Напушка. По-за напушкой бурдысья. По напушке сяпает Ляпупа.  
 У Ляпупы разбызены клямсы.*

Ляпупа (*сяная и сяная*). Оее, оее, некузяво. Потрямкать бы. Нетрям-  
 кавши сяпать кузяво ли?

*По напушке шается Бутявка.*

Бутявка (*бирит, не вазя Ляпупы*). Фыва пролдж. Фыва пролдж.  
 Ляпупа (*вазит Бутявку*). О-по-по, смычь, бутявище некузявое! Ся-  
 пай к Ляпупе!

Бутявка (*увазивши Ляпупу, фьюро сяпает с напушки в бурдысья*).  
 Фыва пролдж. Фыва пролдж.

Ляпупа. И не фыва и не пролдж!

*Досяпывает до Бутявки и зачучивает Бутявку в клямсы.*

Бутявка. Оее, оее. Фы... ва! Про... пр... (*Лепещется у Ляпупы в клям-  
 сах.*)

Ляпупа (*трямкая Бутявку*). Нннн. Кщ, кщ. Прлдбрр...

*Полбутявки у Ляпупы в клямсах, полбутявки лепещется об на-  
 пушку. Лепещется, лепещется даи – бздым! – отчучилось Пол-  
 бутявки из Ляпутиных клямс и усяпало. / Бутявка =  
 = Полбутявки-А + Полбутявки-Б /*

Полбутявки-А (*сяная по напушке*). Фыва. (*Бирит зюмо-зюмо фью-  
 ро, вымзив блуки на отпень.*) Фыва-фывафыва.

*У Полбутявки-А сяпалок 6, тшей 18, 4 блука вымзенных.*

Полбутявки-Б (*бурлычет у Ляпуны в клямсах*). Пролдж! Пролдж!  
Бурлы-бурлы!

*У Полбутявки-Б сяпалок 8, тшей 20, 4 блука вымзенных.  
Бурлычет и бурлычет.*

Ляпуна. Нни! Нни! (*Трямкает Полбутявки-Б.*) Умбррд... кщр, кщр,  
слюмз.

Полбутявки-Б. О Ляпуна! О Ляпучка! Отчучь Б из клямс, а то А  
ушпандорит без Б, некузяво!

*Ляпуна не бирит никс, а трямкает Полбутявки-Б.*

Полбутявки-А. О! Фыва! Фыва!!! (*Ушпандоривает с напушки, вы-  
мзив блуки на Полбутявки-Б.*)

Полбутявки-Б. Разбызь клямсы-то, Ляпуна! Бурлы-бурлы! Полбу-  
тявки-А ушпандорит!

Ляпуна (*не разбызвая клямс*). Вксн, вксн. Умм, умм. Ннни, пжлст.

Полбутявки-Б. Полбутявочка-А! Смычь! Не ушпандоривай от Пол-  
бутявки-Б! Смычишь? «А и Б бдан-бдан!»

*Вымзивши блуки на Полбутявки-А, бурлыкает.*

Полбутявки-А (*не сятая*). Бдан-бдан?

Полбутявки-Б. «А и Б бдан-бдан!» Ляпуна! Разбызь клямсы! А то  
подудонюсь! Бззз... Шссс... Ну? Бссс... Птум! Птум!

Ляпуна (*разбызвив клямсы*). Некузяво дудониться в клямсы! Оее!  
Уубняая-а! (*Вычучивает Полбутявки-Б.*)

Полбутявки-Б (*вычучившись из Ляпутиных клямс, вздрезнуласть*).  
Полбутявочка-А! Опо-по! Сопритюкнемся?

Полбутявки-А (*разбызвив сяпалки, сяпает к Полбутявке-Б*) «А и Б  
бдан-бдан?»

Полбутявки-Б. Бдан-бдан! Ну? Со... при... тюк!

*Сопритюкиваются и усяпывают в бурдысья ако како Бутявка.*

Ляпуна (*отбьябкая из клямс дудо*). Бутявище некузявое. Блд-  
блдырь, пфы.

Бутявка (*за напушкой*). От некузявой смычу. Фыва пролдж. Фыва  
пролдж.

*Фьюро усяпывает.*

## 13

## Пуськинисты

Сяпали Калуша с Помиком по напушке и трямакали бутявок.

А натрямаквашись бутявок, К. и П. ну шаяться по напушке — то к бурдысьям, то от бурдысьев, то по-над бурдысьями счиркнут, то по-за бурдысьями проскробят.

То втырь, то оттырь.

То впах, то взбых.

Как облампелые — шаем шаются и бирят:

— Эе! Эвай! Пуськи бятые! Шайтесь, индякие!

И:

— Эфан-эфоз!

Ажник кукушню у Помика с гвинта чирит.

Ужо и бутявок никст на напушке, а К. и П., блуки вымзивши на отпень, хвиндиляют, и дохвиндилялись до некузавости.

Обезвалдели, сяпалки распиндюрили втырь по напушке, клямсы разбызили: ое.

А шаялись-то Калуша с Помиком от перетряма.

Трямкая бутявок, К. и П. не допрели: бутявки тож натрямакались некузавых бурдысьев, в коих зюмо-зюмо быра «А-CNS».

А от быра А-CNS — ое как чирит.

И в клямсах нетырно, и в блуках сыкает, и в пшах гандибобель.

И кукушню гвинтит.

И тут Калуша с Помиком клямсы разбызили и бутявок из клямс вычучили на напушку!

Т. е. Калушу с П. вытырснуло не по-индячки.

Бутявки ж, из клямс вычучившись, вздрезнулись, сопритюкнулись и усяпали с напушки.

А Калуша, отбябжавши бутявок с клямс, волит:

— О бутявки! Трямакающие бырные бурдысья — сгрохиваются с курчаток.

А уж перетрям — аки некузав аки мырдяв!

А бутявки за напушкой волят:

— Кана-ганда-бис, пайти-метамикс! Банчь, инчь. Поськи бетые, паськи бугые. Песьки бырые.

А Калуша волит:

— Чи облампели, бутявищи. Не зямут пробамболить «пуськи бятые», кайодлы. Пу-сь-ки бя-ты-е! Пуськи!

А бырные бутявки волят:

— Песьк бт. Бррл-блпл, вафшшэ пуськинисты.

## 14

## На шваньтоу

Огды-егды, а Бутявка спиндюрила у Калуши зилинь. И с зилинем усяпала с напушки быро-быро.

А зилинь у Бутявки в сяпалках так и тырыпырится: тыры-пыры, тыры-пыры.

А Калуша (пши натыром, блуки бятые) увазила: в бурдысьях — эвоэ — так и тырыпырится.

И Калуша как забирит:

— Оее, оее! Зилинь спиндюрили! У Калуши зилинь спиндюрили, ух некузявые, пуськи бятые! Эван! Индякие! Оее!

А индякие присяпали на напушку и волят:

— О-по-по, индякие! У Калушки зилинь спиндюрили! Ёфки! Ёфки!

А ёфки присяпали, пши разбызили, по бурдысьям посцирили, инда Бутявку-то с зилинем и упяли!

Упяли и в КТ запиндюрили.

И волят по напушке:

— Бутявка в КТ! Змсяю!

А Калуша волит:

— О индякие!

Индякие волят:

— Эвоэ?

— Индякие! — бирит Калуша. — Ёфки-то, а? Ёфки-то како тако кузявые! Фьюро-фьюро Бутявку упяли!

А ёфки волят, блуки вымзвивши:

— Змсяю! Змсяем!

И ну сяпать с напушки.

А Калуша волит:

— А зилинь-то калушин! Зилинь-тq йоу?

А ёфки с вымзненными блуками бирят:

— Йоу-йоу, на шваньтоу. Фу-фэ-я.

И усяпали с напушки в КТ.

— Како фуфэя, — бирит Калуша. — Како фуфэя! Зилинь-то калушин. Для калушаточек зилинь-то, не для ёфок, пуськи бятые. Калушаточки-то: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся с кукусеночком! И без зилиня!

И Канна, Манна, Гуранна и Кукуся (кукусенок в сяпалках) присяпали на напушку.

И индякие тоже на напушке, и Калуша с калушатами, но ёфок-то ни!

А ёфкино биренье по-над бурдысьями аж юздит:

— Змсяю! Йиу! Хфуф — оп-оп!

Змсяю! Тиу! Фук ёлм-ёлм.

Псяэ! Ушя!

Зюм-зюм-зюм!  
И (зюмо-зюмо):

Йоу-йоу, на шваньтоу!  
Фу-фэ-я!

Ажник в пшах некузяво у индяких от ёфкиной юзды.  
А Калуша волит:  
— А хай в клямсах у ёфок зилинь счучится! А хай ёфки зилинем поктыся! Фук ёлм-ёлм!

А Кукуся волит Калуше:  
— Не воль так фьюро. Калушечка. Блуки не вымзивай. Ни. В бурдысьях не без зилиня. Посяпаем в бурдысья и натрямаемся зилиня инда.  
И индякие отбирили:  
— Змямы.  
И тырснули в бурдысья за зилинем.

## 15

### Кши

Пъс, Психа и псята сяпали по напушке. Навстрызь хвиндиляла Бутявка.

Бутявка увазила Пъса и волит:  
— Сяпаете по напушке, а напушка-то индяцкая! Не Пъсова напушка! Не Пъсам шаяться бтысь.

Пъс обезвалдел и волит Психе:  
— Обезвалдеваю от бутявок. Бутявки, а волят с Пъсом яко тако некузяво! А ну, бутявщина, кши от Пъсов!

А Бутявка волит:  
— Опо-по, опопо, галивнок. От Пъса арсаждусь и обяюсь! Сяпай в геесу!

— За галивнока отволишь! — бирит Пъс. — И за геесу! Не Пъс галивнок, а Бутявка!

И пгум сяпалкой по напушке!  
Бутявка инда тырснула в бурдысья.

## 16

### Наогды

Сяпали Пъс с Психой и псятами по напушке, а навстрызь хвиндиляет Калуша и волит:

— Оее, како кузяво! Пъс! Кузявенький! Калуша в изъюбе от Пъса!  
Шошляю Пъса!

И сяпалкой Пъсу: воу, воу. И блуками: жум-жум.

— Калуша, тм,— волит Пъс.— Тм-тм. Эван эвоз: Психа. И эван эвоз: псята.

А Психа блуки вымзила на Калушу.

А Пъс волит:

— Психа! Эвоз Калуша, а на напушке — эвоз! — калушатник. В калушатнике Помик и калушата: Канна Помиковна, Манна Помиковна, Гуранна Помиковна и Кукуся Помиковна с кукусенком! Псята, а ну, шайтесь по напушке!

Псята усяпали и ну шаяться по напушке. Инда сяпалки свирикают.

Психа же, блуки вымзивши, не волит ни-ни. На Калушу блуки вымзила и ни-ни. А Пъс бирит:

— Псиша, эван эвоз: Калуша! Калуша, эван эвоз: Психа!

Психа как заволит:

— Бутявка-то кузяво бирила: галивнок исцешь, Пъс! Калушаточки-то не пъсовны ли? Заволить нешто Помика? Аоз! Помик! Пооомик!

А Калуша бирит:

— Оее, усяпываю! Ну пъсов с психами в геесу!

И усяпала с напушки.

И над напушкой встындилося небиренье...

Пъс бирит Психе:

— Исцем галивнок?

— Исцешь.

— А Психа? — волит Пъс.— Не галивнючка яко тако бирить? Про Пъса?

— Психа не галивнючка,— отбирила Психа.— Психи калуш не шошляют. Психи не шошлячки.

— И Пъс не шошляет! Не шошляк исцем!

А Психа как заволит:

— Псюга исцешь! Псята, вазьте: эван эвоз псюга!

А Пъс бирит:

— Оее, не псюга исцем! А ну, посяпали в псятник! А ну, индяцкую напушку в геесу. Побирим, псишечка!

И Пъс и Психа посяпали в псятник безо псят. И Психа волит:

— Шошлять кузяво Психу и Псят, дабы исцять како Пъс! Яко тако Пъс, а не яко како Пъсюга.

И забурлыкала:

— Усяпаю вот со псятами в занапущье! В геесу! Не исцаяшь для Психи и Псят!

Пъс же бирит:

— Ну не бурлыкай же, Псиша! Псише пъсова? Псишечка пъсова?

И забирил зюмо-зюмо:  
– Не галивнок исцем?  
– Ни,— отбирила Психа.— Не исцешь. Шошляешь Психу?  
Пъс поразбебекал и волит:  
– Шошляю. В изьюбе от Псишечки исцем.  
И — над псятником встындилося биренья:  
– Бирь: шошляешь ли Психу?  
– Шошляю.  
– Ах, шошляк! Не тырсь! Не...  
– Шошляем?  
– Шошляем.  
– Наогды?  
– Наогды.  
Ажник бурдысья взлепетнулися...

### Список ударений

Калúша  
Калушáта: Кáнна, Мánна, Гура́нна и Куку́сья  
Пóмиковны  
Пóмик  
Бутя́вка  
Ля́пупа  
Щéрба  
Индя́кие  
Ся́пать  
Напу́шка  
Во́лить  
Вы́чучить  
Разбы́зить  
Стря́мкать  
Обезва́лде́ть  
Дудóниться  
Бурды́сья  
Некузя́во  
Ха́хтать  
Би́рить  
Шмеренде́ть  
Свири́кать  
Зю́мо  
Ша́яться  
Бамбо́лить

Блўки  
Буи-Зюи Зюбище  
Абвука  
Зилїнь  
И-пызява  
Шошлять  
Облампётъ  
Галивнók  
Наотпéнь  
Бурдысья  
Перетрjам  
Кукушня  
Проскробїть  
Мырдjаво  
Огды-эгды  
Геéса  
Сjапалка  
Тjырснуть

---

## 6. ПЬЕСЫ

# ЧИНЗАНО

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Паша  
Валя  
Костя

Вечер. Пустая комната. Два стула, подобранных на свалке, садовая скамейка, ящик из-под конфет — большой и чистый. Входят Паша, Валя и Костя.

Паша. Как нашли, сносно?

Костя. Мы тебе, Паша, мебель привезли. В трамвае сняли сиденье.

Паша. Сенк'ю.

Валя. Костя вынес. *(Смеется.)*

Паша. Сюда, прошу садиться.

Валя. В общем, мы-то с Костей уже повстречались на выходе с работы, сюда не знаю зачем понадобилось ехать. Все можно было там устроить.

Костя. Ехал в такую даль. Сядь, посиди.

Паша. Старик! Сначала о деле. *(Косте.)* Деньги с тобой?

Костя. Со мной.

Валя. Ну, старики, мне надо. Быстро закончим, я поехал.

Паша. Погоди, не до тебя.

Валя. Деньги мне отдай. Как не до меня?

Паша. Да отдам, но не сейчас же.

Валя. Костя, передавай мне деньги, как условились. Надо было отдать раньше, я предвидел, что все так получится.

Костя. Не расстраивайся.

Паша. Старики, внизу дают чинзано. Лучшее из всего, литр. Хочу взять домой три бутылки, надо позарез. В таком случае, Валя, я так или иначе десять рублей потом тебе добавлю. Мне домой вино надо.

Валя. Другой разговор. А куда домой-то?

Паша. Туда домой, в первый городок.

Валя. Ты что, здесь не живешь?

П а ш а. Временно.

В а л я. Временно живешь или временно нет?

К о с т я. Сегодня здесь, и всё.

В а л я. А вообще где?

П а ш а. Сейчас еще нигде пока уже опять.

К о с т я. Старики, время. Ехали сюда с Валею (*достает деньги, отсчитывает две десятки*) долго.

П а ш а. Тут хватит на шесть. Я тогда с вашего разрешения пять возьму домой. Пять мне тогда на все хватит... Чинзано все окупит! Валя, буду должен, стало быть, двадцать рублей.

В а л я. Паша, чего ради я тогда ехал в такую даль? Спрашивается.

П а ш а. Я тебя сегодня не звал.

В а л я. Извини, старик, нехорошо.

П а ш а. Извини, старик. Но тебе мало, что я отдаю тебе тридцать? Ведь такое дело: чинзано.

В а л я. Хорошо, но одна на мою долю.

К о с т я. Договорились, чудесно.

В а л я. Скорей, мне пора. Где у тебя тут сортир?

П а ш а. Попудриться? Направо вторая дверь.

В а л я уходит. Костя достает деньги.

П а ш а. Чего уж, давай все.

П а ш а, не считая, сует деньги в карман и уходит. Возвращается В а л я.

В а л я. Давай деньги-то. Тридцать.

К о с т я. А я отдал всё Паше.

В а л я. Ну ты даешь. Ну, старик. Ты же должен был их передать мне.

К о с т я. Я тебе должен был их передать до праздников. А ты — старик, туда-сюда, после праздников, уезжаю, туда-сюда. Вот тебе и после праздников.

В а л я. Я тебя не понимаю, старик. Не понимаю. Кому отдал? Кому? Паше? Зачем?

К о с т я. Он мне их давал, я ему и отдал.

В а л я. Деньги-то мои!

К о с т я. Ну и будут твои. Сколько-то погода. Я тебе сказал еще на выходе с работы, так и так, Валя, на меня сегодня не рассчитывай, я еду Паше отдавать деньги. Ты что сказал? Что я, в пятницу буду как отщепенец, сказал ты. И поехал.

В а л я. Нет, старик, я тобой недоволен. Недоволен. С тобой происходит, я тебе не говорю, потому что ты и сам мне это неоднократно говорил, что ты падаешь все ниже и ниже.

Костя обнимает Валу.

Ну, не ожидал, нет.

Костя целует Валу.

Отвал!

К о с т я. Сейчас выпьем. Он принесет. Он принесет пять бутылок.

В а л я. Одну я возьму домой. Нет, две. В конце-то концов.

К о с т я. Кто говорит? Возьми две.

В а л я. Мои деньги.

К о с т я. Вот тут ты глубоко неправ. Пока они не твои, а просто тебе их хотели до праздников вернуть, а ты не взял.

В а л я. Нет, ты не прав. Я специально сюда приехал, чтобы Паша отдал мне долг. Деньги-то ты вез? За чем же дело стало?

К о с т я. Все точно. Но это не значит, что именно те деньги, которые я ему вез, он должен тебе отдать. Когда сможет, тогда отдаст. А как он отдаст то, чего у него уже (*смотрит на Валины часы*) в данную минуту нет? Чего нет, того не вернешь. Вот я не отдал ему пятьдесят рублей, потому что их у меня не было. Отдал сорок.

В а л я. Как не было?

К о с т я. Праздники же были.

В а л я. Не понимаю отношения к чужим деньгам.

К о с т я. Паша перед праздником буквально всучил мне эти пятьдесят рублей: отдай Вале. Я не хотел брать, отказывал, но Паша, памятуя свою слабость и не надеясь собрать больше такую сумму, просто приехал ко мне на квартиру, и, несмотря на то что Полина его не пустила, хлопнула дверью, он звонил десятки раз. Полина с Иваном высунулись, и Паша отдал им конверт — сказал, для Кости, здесь пятьдесят рублей. Иван расвирепел, как всегда, и крикнул, что у них такие не проживают. Но, как умный старик, он от пятидесяти рублей не отказался и при нем пересчитал даже. Раз, подумал, Паша с чего-то принес пятьдесят рублей, значит, было какое-то подсудное дело, иначе Паша бы, без суда то есть, не стал бы приносить. Я прихожу затемно, Полина спит, все спят, на столе лежит конверт с запиской, привет от Кольцова. Утром я не стал к завтраку вставать, думаю, пусть разойдутся. Они за столом мое имя не поминали, только Иван выступал все время, что Владиду надо купить шубу за полсотни, как раз полсотни, денег нет, вернее, деньги есть, но у такого человека, который не постесняется у родного ребенка на зиму шубу украсть. И на питание не дает. Владик спрашивать не стал, у кого его шуба, а Света спросила. Светка все время Ивана подначивает. Таким детским голоском: дедушка, а кто у нашего Владика шубу украл? За столом воцарилось напряженное молчание, а я сплю за загородкой, подушка на ухе. Владик сказал Светке, что папа украл, а

Светка не ожидала, ей надо было всегдашний спектакль разыграть. Но не тут-то было, Владик, молодец, прикрыл диспут. А то обычно Иван им задает загадку: нет, говорит, Светочка, тебе сегодня сливок и сухой колбасы для Владика, один человек твою черную икру вкупе с красной и белой на вино израсходовал. Света счастлива: кто это? Кто этот человек? А тот, отвечает дед Ванька, который вчера пришел пьяный к нам в дом. А кто к нам в дом вчера пьяный пришел, спрашивает далее Светка. Тут все молчат. Владик молчит, и торжествующая теща молчит. Полина мрачнее тучи молчит, да и дед Ванька не отвечает. Представляешь?

В а л я. Ты говоришь! А вот у меня еще того лучше...

Входит П а ш а с двумя портфелями.

П а ш а. Самое смешное, что никого народу. Они всё больше тут употребляют красненькое да мордастенкое. Говорю: «Мне чинзано». А один около меня стоял, спрашивает: «А че это?»

К о с т я. Сколько взял?

П а ш а. Сколько договорились, мужики.

К о с т я. А для Вали не забыл?

П а ш а. Две.

К о с т я. А неужели мне одну взял, не догадался?

П а ш а. Больше.

К о с т я. Слава богу.

П а ш а. Ведь закрывался магазин, в том-то и дело.

В а л я. Ну а теперь...

П а ш а. Айн минуто. *(Выходит в кухню.)*

К о с т я. Он молодец. Потому что среди ночи опомнишься, сунешься, а нигде ничего. Помнишь, как у Кондакова пришлось с двух часов ночи чай пить?

В а л я. Ну!

К о с т я. Чай такая вредная вещь. На почки действует, на сердце. Я утром домой пришел, пошел бриться перед работой, посмотрел на себя в зеркало. Ай! Лицо в зеркале не умещается.

В а л я. Ну!

Приходит П а ш а с тарелочкой.

К о с т я. Закусь?

Паша достает из портфеля кулек и высыпает на тарелочку конфеты.

В а л я. Дорогие купил слишком.

П а ш а. Для тебя мне ничего не жаль.

В а л я. Да?

К о с т я. Из горла будем?

П а ш а. Старики, анекдот: два вурдалака оторвали человеку голову, а один другого спрашивает: «Из горла будешь?» (*Приподнимает ящик, вынимает полбуханки хлеба.*)

К о с т я. Еда.

В а л я. Отрежьте кусочек. Я с работы.

Костя достает перочинный нож, аккуратно отрезает кусок.

П а ш а (*открывает бутылку*). Костя, достань там еще два сверточка: сыру, колбаски нарежь.

В а л я. С ума сошел.

П а ш а. Для тебя, Валя, купил.

К о с т я. Старик, тут в одном свертке какие-то тряпки.

П а ш а. Не то, все не то, дай-ка. (*Забирает.*) Вот, вот свертки.

К о с т я. А я смотрю: в одном тряпки, в другом туфли.

В а л я. Продавать, что ли, нес?

П а ш а. Ешь, дорогой.

В а л я. Пока человек ест, он не пьет.

П а ш а. И ешь. Ну, мужичье! С приездом! И за мою маму!

Пьют.

В а л я. Да, Костя, ты не досказал насчет десятки.

К о с т я (*с непонятной интонацией*). А!..

П а ш а. Какой десятки?

К о с т я (*с нажимом*). Какой десятки?

В а л я. Он из этих пяти одну истратил, оказывается.

П а ш а. А?.. Ну!.. (*Радостно смеется.*) А я ничего не могу понять. Считал-считал у кассы!

К о с т я. Какая десятка?..

В а л я. Ты мне сказал, что десятку растратил.

К о с т я. Какую десятку?

П а ш а. Старики, выпьем!

Пьют.

Валя, ты ешь. Ты чего себе зубы не вставишь, быстрее есть будешь.

В а л я. Да все некогда. То одно, то другое. У жены в квартире мебель строю.

П а ш а. У какой жены?

В а л я. У Ольги, у какой.

П а ш а. Откуда?

В а л я. Им дали квартиру. С матерью. А мать вышла замуж к мужу. Ольга говорит, хоть раз в жизни по-человечески пожить, не с твоими родичами, и уехала с Алешкой. Алешка уже в детский новый сад ходит. Я теперь там каждый вечер.

К о с т я. Как каждый? А вчера?

П а ш а. А в понедельник?

В а л я. У Ольги там нет телефона.

К о с т я. Понял. Родители считают, что ты у жены.

П а ш а. А Ольга звонить родителям не будет?

В а л я. Ольга не будет. Она вообще говорит, что ей все надоело, вся эта семейная жизнь. Но мебель я строю!

П а ш а. Говорит, пошел, значит, отсюда.

В а л я. Старик, не совсем. Не совсем. Она хочет, чтобы я с ними жил, и я не отказываю. Но мои родители как же? Они останутся одни на пятидесяти метрах на старость? Интересно, что же это, они на меня всю жизнь работали, а я теперь их брошу? Кто машину отцу водить будет?

П а ш а. Покупает?

В а л я. Почти купил.

П а ш а. Поездим. Поездим.

В а л я. Отца же, не моя.

К о с т я. Но, с другой стороны, тебе и разводиться нельзя.

П а ш а. Почему?

К о с т я. Валя оформляется за границу.

П а ш а. Куда?

В а л я. На кудыкину гору.

П а ш а. В капстраны, значит.

В а л я. В ЧССР я был, в Болгарии, Золотые Пески.

П а ш а. А я в Монголию оформлялся.

В а л я. Ну и как?

П а ш а. У них штаты не расширили. Хотели расширить и не расширили. Не стали.

В а л я. Не оформили, значит. На тугрики много не купишь. У нас один малый оттуда привез жене немецкое меховое пальто. Белый мех, но без вагина. Она в ателье носила на ватин ставить. Выше пятнадцати градусов мороза нельзя. Каждый день слушает погоду и ругается, лучше бы кожи привез.

П а ш а. Кстати, о женах: позвони, Константин, пойди.

В а л я. Кому?

К о с т я. Дружининой. Но ее нет сейчас дома.

В а л я. Дружининой?

П а ш а. Блондинка.

К о с т я. Она к подруге поехала на день рождения.

В а л я. К кому?

К о с т я. К нашей Смирновой из отдела.

В а л я. Надо туда поехать, мужики!

К о с т я. Туда Паше нет допуска.

В а л я. Без Паши поедем.

К о с т я. У меня тоже допуска нет.

В а л я. Ну что вы! Ну, так нельзя! У Смирновой так отлично. Баранью ногу подают.

К о с т я. И джин, да. Но мы там прошлый раз с Пашей заночевали, так пришлось.

Пьют.

Сидели так на кухне, а потом из холодильника папашину настойку от давления выпили. Чекушечку. Внешне такая же, как старка. Не отличишь. Утром ехали в метро, у нас давление сильно упало. Или ихний скандал подействовал: самовнушение началось.

П а ш а. Скорей всего. У меня точно от скандалов падает давление.

К о с т я. Поспали на кольцевом маршруте, сколько пришлось. Заехали в депо, так неудачно. Сигналы долго подавали.

В а л я. Чем?

П а ш а. Постукивали.

К о с т я. Папаша Смирновой на нас кричал, что мы самоубийцы, что такое выпили, что он три раза в день принимает по две капли. Прислали за золото с Дальнего Востока. Резко снижает тонус.

П а ш а. Шарлатанство все это. Моему папаше тоже привозили.

К о с т я. Значит, это мы так расстроились просто. На работу не ходили, лечились долго потом.

В а л я. Тогда я схожу позвоню. *(Ест.)*

П а ш а. Ешь, на твои деньги куплено.

В а л я. Ты мне ничего пока не отдавал. *(Ест.)*

К о с т я. Кому ты хочешь звонить?

В а л я. Кому дозвонюсь. Сейчас вот поем... *(Ест.)* В Монголии, кстати, шерсть отличная. Поехал бы ты, Пашка, то привез бы своей Тамаре шерстяную кофту. Но что делать, раз не оформили. А то Тамара была бы довольна.

П а ш а. Тамара? Да, с ней, старики, сурово. Я до двенадцати должен успевать домой, а то Тамара после двенадцати лишает меня супружеских ласк. Стало быть, я должен попасть на автобус двадцать три ноль две. Ну и до автобуса отсюда... полчаса как минимум.

К о с т я. Тридцать пять.

П а ш а. Если автобус двадцать три ноль две... То мне на жизнь остается здесь *(смотрит на Валины часы)* почти ничего. Валя, иди, звони.

В а л я. Но что интересно, ведь ты уже с ней разошелся.

П а ш а. Правильно. Для того чтобы прописаться к старушке-матери в ее квартиру.

В а л я. Понимаю, может пропасть квартира? Мать-то старая.

П а ш а. Откуда.

В а л я. Они все уже старые более-менее. К тому идет.

К о с т я. Она у него сейчас в больнице лежит, да?

П а ш а. Скоро забираю. Завтра.

В а л я. Завтра суббота, выписки нет.

П а ш а. А я заберу.

К о с т я. У нее малокровие?

П а ш а. Выпьем за упокой.

В а л я. Дурак. Бросаешься словами. *(Пьет.)*

П а ш а. Чем хорошо выпить: все уходит на задний план.

В а л я. Зачем уходить от реальности, если реальность такова, что мы просто любим пить, любим это дело, а не из каких-то высших соображений что-то забыть. Зачем все время прикрываться какими-то пышными фразами. Пьем, потому что это прекрасно само по себе — пить! Свой праздник мы оправдывать еще должны. Да кому какое дело, перед кем оправдываться?

Костя целует Валу.

Ну... А как твоя Тамара реагировала на развод? Что ты подал?

П а ш а. Она сама подала. Еще раньше, чем я ей сказал.

В а л я. Значит, она сама... Это много лучше.

П а ш а. Обьюдно. Стороны пришли к обьюдному решению.

В а л я. Так ты здесь живешь?

П а ш а. Когда где.

В а л я. Стало быть, тебе не нужно никуда ехать, чего же ты тут считывал время! И мне не нужно ехать. Костя, ты тоже, чего тебе, успешь еще за свою загородку «осторожно, двери закрываются». Пьем, мужики! Доставай еще одну бутылку! Сколько, стало быть... тебе... две, мне... три, нет, четыре, а остальное выпьем!

П а ш а. Иди, позвони-ка, времени уже в обрез.

В а л я. Какое в обрез!.. Ты же... Как это... Нигде не живешь. Никому не нужен ты.

П а ш а. Если я опоздаю, меня лишат супружеских ласк.

В а л я. Каких супружеских?

П а ш а. Ласк. Она просто дверь запирает в квартиру.

В а л я. Да какие у тебя супружеские! Это у меня супружеские да у Кости за загородкой... Кстати, Костя, ты у родителей по-прежнему ночуешь?

К о с т я. Поругался.

Валя. Нехорошо, старик! Глядишь, и переночевать негде будет!

Костя. Поругался. Полина все говорит: «На кой нам их куры!» Придут навещать внуков, несут куру. На восемь человек. И действительно, придут. Обед давно без этой куры готов, давно бы сели, нет, они ее варить желают. Все холодное. А они, дураки, не понимают, что их благотворительность у Полины и у Ваньки одно раздражение вызывает. Польша меня просит: скажи им, не надо. Я сказал, мать расстроилась, отец капли принимал. Мы твоим детям, раз у них всё пропивают. И вот тебе, всё свернули на меня. Мать говорит, если вы с Полиной такая дружная семейка, и не ходи сюда ночевать, не стоит. А подумаешь! Да застрелитесь!

Паша. После двенадцати ни одна машина в нашу сторону не ходит. Ни одна. Можно взять девочку, положить на шоссе и без помехи делать все что хочешь сколько хочешь раз. Так что надо спешить, надо торопиться. *(Пьет.)*

Валя. А ты от Тамары еще не выписался?

Паша. Выписался, осталось к матери прописаться, какие-то пустые формальности. Я тянул, но теперь всё.

Валя. Правильно, пропишись, не ровен час, останешься без квартиры.

Паша. Надо спешить! Торопиться! Я не успеваю на автобус!

Костя. На автобус ты еще двадцать раз успеешь. Уедешь. Подожди еще пять минут, Валя сходит позвонит.

Валя делает себе бутерброд и выходит.

Костя. Ну, как у мамыши?

Паша. Ей операцию по пересадке костного мозга надо делать. Срочно. Завтра же. Надо будет дать костный мозг, я дам. Я дам костный мозг завтра же, уже проверяли. Совпадает. У жены с мужем — нет. С ребенком еще может совпасть, а с женой — никогда. Не кровная, а тут кровная. Вот и все о'кей! Все будет о'кей. Выпьем.

Костя. Ты сегодня к ней ездил, как?

Паша. Ездил. Не спрашивай. Такие дела, что не спрашивай. Совсем белая.

Пьют.

Костя. У меня папаше все время плохо. Надо спросить у Смирновой, что мы тогда пили. Здорово снижает давление.

Паша. Да, мы тогда царапались долго из вагона.

Костя смеется.

А как они, не согласны выделить тебе площадь?

К о с т я. Мать говорит, что с Полиной все равно разойдешься и на нашу голову жить придется.

П а ш а. Наоборот! Если у тебя будет отдельная площадь, то ты разойдешься и будешь жить сам.

К о с т я. Они сказали, что, во-первых, хотят умереть на своем месте, где привыкли. И знаешь, их очень дед Ваня, оказывается, поддержал, я не знал. То всё они не контактировали, не контактировали, а тут папаша позвонил Ваньке, и нашли общий язык. Да, представьте себе, сказал Ванька, старому человеку нельзя менять динамический стереотип и место жизни. Он от этого умирает очень быстро. А дело в чем? Полька тоже просит у своих родителей, чтобы они разменялись и выделили ей хотя бы однокомнатную квартиру. Мой муж, мне с ним жить и так далее. Нет, сказал Ваня, нам нельзя из-за динамического стереотипа. И они с моим папашей это дело обсудили и постановили. Да как, да что, да кто будет с детьми, они к внукам привязались. Понимаешь, они к моим детям привязались! Ты, Полина, одна не сможешь, Кистянтин тебя продаст у первой же будки с пивом.

П а ш а. Да, ты уже говорил.

К о с т я. Я тоже так, пусть живут как знают. Я пальцем не пошевелю для себя. Никому не желаю мешать жить. Не хочу судиться, разговаривать, чтобы они с машиной вещей отъезжали. Да пропади оно все пропадом. А я проживу. Они, не в силах ничего сделать, молча смотрят на мое падение, а я не падаю, я живу. Дети сыты, одеты, телевизор работает, как говорит дед Ванька. Да, в понедельник деньги дают, надо будет Владу купит валенки. Дружинина принесет своей дочке валенки за четыре рубля.

П а ш а. Могла бы и за бесплатно. Так бы отдала.

К о с т я. Она бы отдала, да я бы взял.

П а ш а. Понятно.

К о с т я. За это дело мне будет четыре рубля. Принесу валенки, скажу Полине: купил, вычти из питания четыре рубля.

П а ш а. У меня тоже: Тамара привыкла, что я получаю рубль пять. Теперь тут мне повысили. Она меня спрашивает: Паша, ты рубль двадцать теперь получаешь? Я говорю, что ты... Да... Так и не узнала...

Возвращается В а л я.

В а л я. Бабушка сказала, что она через двадцать минут домой вернется. Звонила, что в дороге уже.

К о с т я. Кто?

П а ш а. Блондинка?

В а л я. Именно. Ирка Строганова.

Пауза. Костя и Паша с укором смотрят на Валу.

К о с т я. Она придет и все выпьет.

В а л я. Я ее видел на вечере встречи в этом году. Позвони, сказала, когда захочешь выпить.

К о с т я. Она тут к нам приезжала с дочкой, дед Ваня сколько на стол выставил рябинового вина, столько она и приняла. У нас день рождения был у Светы. Два дня родня гуляла. До чего ее дочка на Семёна похожа! *(Показывает рожу.)*

В а л я. Ей не в армию идти.

К о с т я. Ирка тут же за столом рассказала, что, откуда бы она ни приползла, как бы ни выпила, обязательно на ночь всю одежду своей девочки сложит, погладит для детского сада стопочкой. Родня была в восторге.

В а л я. Она кандидат.

К о с т я. А так смешно получилось, что Семён со своей новой женой тоже приехал на день рождения Светы. Но только Ирка Строганова перепутала и приехала днем позже. Или не перепутала, а рассчитала. Скорей всего. Но это было воскресенье, так что за столом сидела вторая очередь родственников. А то бы две жены повстречались.

П а ш а. Семён часы отдал?

В а л я. Какие часы?

К о с т я. Да, с часами. Семён повел меня в пивбар в день зарплаты. Говорит: «Я своей новейшей жене должен отдать отчет в деньгах, так что мы с тобой выпьем, а ты мне часы дашь в залог. Я скажу, что купил у мужика за пятерку». Я снял часы.

П а ш а. Это ты говорил.

К о с т я. Да, проходит неделя, я отдаю Семёну деньги и спрашиваю, где часы. Он отвечает, что ремешок оборвался и часы он потерял. Ладно. В следующий раз мы встретились, он говорит, пойдём ко мне домой, у меня дома никого нет, жена рожает. Приходим, я смотрю: на окошке лежат мои часы. И правда, с оборванным ремешком.

В а л я. Что у тебя общего с этим человеком?

К о с т я. Общего у нас то, что я его боготворю и им восхищаюсь. Пошли мы тут с ним в ресторан для иностранцев, открыто до трех утра. Там друг у Семёна стал метрдотелем. Пили до этого на какой-то посторонней свадьбе. Семён подружился там с музыкантами, мы сидели с джазом и пили наравне. Потом нас вывели, и тогда мы поднялись в бар для иностранцев и пили там до упора. Потом все ушли, мы с Семёной разделись и пошли купаться в бассейн с золотыми рыбками. А Виталик, метрдотель, по краю бегает и кричит: «Парни, вы мне тут крепитесь, а то рыбки подохнут. Терпите».

В а л я. Ирка красотка была.

К о с т я. Пьет много. Говорит, по обстоятельствам своим пьет. Семён ушел при тяжелых обстоятельствах, мать у нее умерла, дочь болела, а он взял и ушел.

В а л я. Что значит, пьет по обстоятельствам! Сама по себе хочет и пьет. Мы вот — хотим и пьем, а не из-за обстоятельств. Мне нравится пить, люблю я вас, товарищи мои.

К о с т я. Вот у меня тут был малый лоцманский загул. Прихожу через неделю домой, ложусь, врач дает бюллетень с диагнозом: дисфункция.

В а л я. Кишечника?

К о с т я. Нет. Всего... Дисфункция организма. Дал мне бюллетень, мы с Пашей пошли, встали в очередь. Давали шапки по тридцать рублей. Поставили и пошли: денег не было. Я позвонил двум-трем взять в долг. Паша позвонил разок, а потом мы от этой идеи отказались.

В а л я. А в чем выражалась дисфункция?

К о с т я. Давление сто восемьдесят на сто десять. Первый раз померил, кстати. Но ничего, до двухсот пятидесяти у людей доходит, и живут. Как у моего папаши...

В а л я. Вспомнил! Еще кому позвонить.

П а ш а. Блондинке?

К о с т я. Помнишь, Паша, ту блондинку, с которой мы в метро познакомились? Рядом сидели. Я ей говорю: позвольте представить вам моего друга, Пашу Кольцова, поэт такой был. Она засмеялась. Не поверите, говорит, я тоже по паспорту Кольцова. Я говорю: не верю, паспорт. Предъявляет. Точно, Кольцова. Всё посмотрели: адрес, возраст — сорок лет.

В а л я. Позвони.

К о с т я. Там в паспорте телефон не указан.

В а л я. Пойду позвоню по записной книжке. *(Уходит.)*

П а ш а. О чем-то мы с тобой хорошо так говорили.

К о с т я. Да, а потом не вспомнишь. О чем-то родном, а о чем? Помнишь, летом мы с тобой у нас на кухне трое суток пили — Ваня с тещей были на даче, благословенное время года. Говорили, говорили, а о чем? Потом вспоминал и не вспомнил.

П а ш а. Я опаздываю.

К о с т я. Хорошо как было. Нам всего-то нужно: суббота, воскресенье да часть пятницы и часть понедельника. А я теперь субботу и воскресенье сижу на диете. Хожу с детьми гулять.

П а ш а. Я опаздываю на автобус. Потом не добраться. А мне надо...

К о с т я. Всего в этой кухне нам надо было: на полу два старых пальто да стол с бутылкой. И никто больше не нужен.

П а ш а. Мне надо ехать. *(Встает.)*

К о с т я *(протягивает руку)*. Достань бутылку, раз встал.

П а ш а. Пора, еду, пора. *(Садится.)*

Костя сам наливает в оба стакана.

К о с т я. С работы хочу уходить. Уже всех предупредил.

П а ш а. Еду. Всё. Кончено. Что здесь? Ничего. Здесь такого нет ничего. Я могу выпить. Я должен выпить в этот день. Который один раз в жизни.

К о с т я. Пойду работать грузчиком, как Соболев. Он за рейс сшибает по пятерке, и так эн раз.

П а ш а. Сколько у меня денег?

К о с т я. Эн.

Паша начинает рыться в карманах.

П а ш а. Сколько у меня денег? *(Вынимает бумажки.)* Три рубля... Рубль... Три рубля... Это сколько? *(Рассматривает бумажку.)*

К о с т я. Дай.

П а ш а. Это сколько? *(Рассматривает бумажку.)*

К о с т я. Дай. Это у тебя карточка почтовая.

П а ш а *(продолжает рыться в карманах)*. Справка о смерти. Это я должен отдать Тамаре. А при чем Тамара? Моя мать к ней не имеет отношения. Справка МЮ 280574. *(Целует справку.)*

К о с т я. Это сколько?

П а ш а. МЮ 280574.

К о с т я *(заинтересовался)*. А сколько у меня? Мне нужно четыре рубля на валенки. Их я возьму у Полины. А валенки возьму у Дружининой. Сколько же у меня останется? Четыре рубля возьму у Полины, скажу: вычти их из питания, не вношу, так вот, эти четыре рубля, которые я у тебя беру на валенки, вычти из питания. А валенки принесу в другой раз. И еще. *(Достаёт десятку.)* Стало быть, десять рублей, да четыре возьму у Полины, да валенки загоню на Преображенке... за пятнадцать. Хорошие валенки.

П а ш а. У меня было ведь пять десятков, верно?

К о с т я. Десять да четыре... да шестнадцать.

П а ш а *(бьет кулаком себя по лбу)*. Где деньги, где деньги?

К о с т я. Успокойся. Дай я тебя поцелую. Узнаешь, как я целуюсь. *(Целует Пашу в ухо.)*

П а ш а. Выпьём.

Входит В а л я.

В а л я. Вот! Вот! Сколько тут?

П а ш а. Где мои деньги?

К о с т я. Валя! Дозвонился?

В а л я. Какие твои деньги? Мои!

П а ш а. Не путай.

К о с т я (*показывая почтовую карточку*). Это четыре рубля на валенки. И за валенки четыре рубля. Остальные пусть идут на питание.

П а ш а (*в отчаянии*). Справка есть... Все готово. Деньги — и поеду.

В а л я. Так он у тебя десятку взял.

К о с т я (*твердо*). На валенки... и на питание.

В а л я. Давай-ка мне.

К о с т я. Выпей. (*Пьет.*) В этот раз не отдам на питание. Каждый божий раз он не дает на питание.

П а ш а. Мне все надо купить. Больше никто не купит. Только не надо мне бумажных цветов на могилу. Так просила. Хоть какие, но живые. Вот только достать деньги, и всё.

К о с т я. И вот у меня тоже. (*Показывает десятку.*)

В а л я (*грубо*). Давай, тебе говорят! (*Берет деньги у Кости, тот покачивает головой и засыпает.*)

П а ш а. А ты, верно, давай мне. (*Протягивает руку.*)

В а л я. Это ты ошибся. (*Берет у Паши деньги, считает.*) Это ты мне давай. Пять... Три... Две рублевки... и десять. Двадцать рублей хоть. Когда отдашь остальные тридцать?

П а ш а. Отдай. Это не мне.

В а л я. Ясно, не тебе. Сам отдай сначала.

П а ш а. Кинь, кинь, а то уронишь.

В а л я. Мне надо, мне! А не тебе! Урод нравственный.

Паша угрожающе поднимается на Валю, но падает.

Пьют до упаду!

П а ш а. Мне цветы!

В а л я. С женой мириться? (*Прячет деньги.*)

П а ш а. Маме.

В а л я. Маме зачем цветы? Родителям мало надо, чтобы их дорогой сыночек хоть пришел, поел, посидел на глазах. Цветы твоей маме не нужны. Моей маме я не ношу цветов. Нет. Я сам прихожу, я ей дороже цветов. Пока они живы, я обязан к ним ходить, чтобы они на меня нагляделись. Маме цветы — смешно. Я бы сам своей купил, что мне ты. А не покупаю. (*Уходит.*)

П а ш а. Мне пора. (*Собирается.*) Костя! А? Костя! (*Трясет его.*) Я ухожу. Сколько времени?

К о с т я. Часы потерял... Ремешок разорвался...

П а ш а (*в панике*). Я не успею! Не успею! Сколько времени?

К о с т я (*протягивает ему руку без часов*). Гляди.

П а ш а (*в панике*). Я ничего не вижу. Последнее время я стал хуже и хуже видеть. Я слепну!

К о с т я (*не открывая глаз*). Я тоже ослеп. Дисфункция.

П а ш а. Мне уже пора.

К о с т я. Никуда тебе не пора. Ты забыл. Ты с Томой имеешь развод. Ты никому ничего не должен. Прошло то время. И я никому ничего не должен, кроме ста рублей. Давай бутылку. Пошарь.

П а ш а. Я ослеп, ни одной не вижу.

К о с т я. Это не то. Дай я. *(Достает из портфеля сверток.)* Закусь. Но это не то. *(Разворачивает свертки, там платье и туфли. Надевает платок.)*

П а ш а. Не так. *(Накрывает платком лицо.)*

К о с т я. Вот бутылка. Пей, Паша, тоже.

П а ш а. Я ничего не вижу.

К о с т я. Я тоже тебя не замечаю. Где твой рот? Я попою. *(Льет вино поверх платка.)* Слушай, у тебя лицо почернело.

П а ш а. У меня? *(Щупает платок.)* От горя. У меня мама умерла... завтра похороны. Только не опоздать, вот оно что!

К о с т я. Ты, главное, не думай. Никогда так не бывает, что окончательно опоздал. Глядишь, опоздал, а глядишь, ничего от этого не ухудшилось. Следи за временем. *(Подносит руку к лицу Паши.)*

П а ш а. Ничего не вижу.

К о с т я. Я тоже. И неважно. Какое дело. Поедешь завтра.

П а ш а. Правда! Все равно сегодня уже все закрыто. Чего я так спешил. Чего я поеду? Что, к Тамарке мне срочно?

К о с т я. Вот именно. Их надо тренировать постепенно, воспитывать, чтобы они не волновались и не брались на испуг, верно? Чтобы когда ни пришел, они рады! Не приходил, не приходил, а пришел!

П а ш а *(роется в портфеле)*. Яблоки откуда-то. Это я нес ведь на передачу маме, третьего дня.

К о с т я. Нес, а они опять тут. Как дар небес.

П а ш а. Тогда ешь.

К о с т я. Всё успеем, и попить, и поесть. Слушай! Да ведь завтра же суббота! Куда нам спешить, куда тебе спешить? Мы можем и завтра продолжить. Ведь завтра суббота, завтра вообще мы никому не обязаны.

П а ш а. Ты думаешь?

К о с т я. Но в воскресенье я как штык должен быть у Полины. Я с детьми в воскресенье на диете. Утром в воскресенье я просыпаюсь, а мои бурундуки сидят на мне. Говорят: мы, папа, будем тебя сейчас мучить, пока не закричишь. Ну, говорю. У них иголки. Пока не закричишь. Я молчу. Они глубже загоняют. Папа, почему ты не кричишь? А я говорю: партизаны всегда молчат.

П а ш а. Но до воскресенья ты здесь со мной. Ты слово дал.

*Занавес*

# ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СМИРНОВОЙ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Смирнова Эля  
Шестакова Полина  
Дружинина Рита  
Валя

За столом сидят Эля и Полина.

Эля. Это вам спасибо, что вспомнили про мой день рождения. Никто не вспомнил, а вы, незнакомый человек, пришли. Я ведь в этом году ничего не устраиваю, всех предупредила, чтобы не совались. Отца сегодня в больницу забрали, мать спит с сердечным приступом.

Полина. Я сама бы никогда не вспомнила про ваш день рождения, я так замоталась. Это позвонила одна женщина, сказала, что Костя сегодня должен быть у вас, и попросила пойти к вам. Этой женщине очень нужен Костя. Она сказала, что у вас день рождения.

Эля. Это она ошиблась. У меня-то день рождения был позавчера.

Полина. А сегодня что?

Эля. А сегодня пятница. Все в курсе, у меня дни рождения раз в год по пятницам. Знаете, раз в год народ надо подкармливать, а то озлобятся.

Полина. Но эта женщина сказала, что Костя у вас будет точно.

Эля. Надо же, какая настырная женщина. Кто это?

Полина. Ее зовут Тамара.

Эля. Какая это Тамара?

Полина. Она бывшая жена одного Костиного знакомого. Фамилию не знаю.

Эля. А как зовут знакомого?

Полина. Его зовут Паша.

Эля. Надо же, Пашу уже бросила жена. А что, она тоже сюда придет?

Полина. Она из загорода звонила. Вряд ли.

Эля. С этими бывшими женами никогда ничего не известно.

Полина. Знаете, Эля, у него еще ведь мать умерла. У Паши.

Э л я. Что за жизнь!

П о л и н а. Жизнь просто потрясающая. Паша поехал за справкой в морг и какой день не появляется.

Э л я. А что было у матери?

П о л и н а. Что-то с кровью. Белые тельца.

Э л я. Скорее всего, Паша запил.

П о л и н а. Вот. Тамара тоже придерживается. Причем Костя единственный, кто связан с Пашей.

Э л я. Ладно. Будем ждать.

Пауза.

А Костя домой не будет звонить?

П о л и н а. Он когда звонит, отец отвечает, что таких нет дома.

Э л я. Костя об этом рассказывал. Он любит рассказывать. Говорит, одеваюсь я долго на работу, выхожу, теща у книжной полки стоит, подметаает, и с суровым видом причем. Стало быть, там у нее, в книжках то есть, заначка есть. Они деньги в книжках хранят на текущие расходы. Дети еще неграмотные, а я, как известно, книжек не читаю. Опять-таки одного меня не оставляют, стараются. Но тут теще звонок. Теща в коридор. Звонит, как ясно из разговора, ее подруга, жена ее первого мужа, а это на час. Я взял книгу ихнюю, «Пятьдесят лет в строю», а там ничего.

П о л и н а. У нас мало денег. Папина пенсия, мамина совсем ничего, я младший научный да двое детей... Костя ведь не вносит денег.

Э л я. Нет, он говорит, нашел. В романе «Поджигатели» Николая Шпанова. А теща в коридоре как на иголках, кричит: «Извини, я сейчас разговаривать не могу». Не могу и так далее. Ее эта жена ее мужа первого глуховатая. Ну, говорит Костя, как я мечтаю: теща спросит — где деньги, а я скажу — возьмите на рояле. Там первые сто рублей.

П о л и н а. У нас нет рояля, чего он выдумал. И он денег никогда бы не взял.

Э л я. Да, он говорит, они так называемые порядочные люди. Я их денег не тронул.

П о л и н а. У нас только пианино.

Э л я. Полина, я вас давно хотела спросить, а как у вас с Костей?

П о л и н а. Что?

Э л я. Как складывается?

П о л и н а. Да как складывается, обыкновенно.

Э л я. Костя ведь мой друг. Я за него в книге расписываюсь, когда он опаздывает, потом, знаете, он уйдет, пиджак повесит, у него с Пашей свиданка у пивного ларька каждый день в одиннадцать утра, а шеф выйдет, я ему — быстренько: Шестаков в изотопном блоке. А туда телефона нет.

П о л и н а. Он на вас просто молится, вы ему производственную травму оформили, помните, он тогда перелом ребра получил?

Э л я. Конечно, помню, я его якобы с лестницы привела. А он что тогда?

П о л и н а. У них тогда с одним знакомым грузчиком рояль к стене прижали.

Э л я. Хорошо, что еще рабочий день у нас не кончился, Костя не опоздал. Он называет «опоздать на работу» — это прийти, когда кончатся рабочий день.

П о л и н а. Как у нас складывается? Костя настаивает, чтобы мы уехали и жили от родителей отдельно. А я их не могу бросить, они старые. Потом, кто будет с детьми. Потом, на какие шиши купить квартиру. Так что все упирается.

Э л я. Полина! Выход один: надо разводиться.

П о л и н а. А детей без семьи оставить?

Э л я. А вы еще найдете себе. Вы еще молодая.

П о л и н а. О чем вы говорите.

Э л я. А вы зря Костю любите. Вы его поменьше любите. Не бегайте так за ним. Найдите себе кого-нибудь.

П о л и н а. Я ни о ком не могу без дрожи думать.

Э л я. Уже нашли кого-то?

П о л и н а. Кого?

Э л я. О ком без дрожи не можете думать. Надо же, я Костин друг, а ничего не знаю. Надо будет у него спросить.

П о л и н а. Никого у меня нет! Никого!

Э л я. А надо, чтобы был. Надо уметь клин клином вышибать.

П о л и н а. Конечно. А потом опять клин клином.

Э л я. А вы думали. У меня так вся жизнь на клиньях.

П о л и н а. Когда я была совсем девчонка, у меня были вот такие ко-сы... И за мной ухаживал один лейтенант... А я училась в школе. И он получил назначение и уехал. Когда я выходила за Костю, я у того просила прощения, мысленно. Я думала, что Костя — это клин. А вышло, что на всю жизнь.

Э л я. Да ну, еще жизнь будет.

П о л и н а. Костя у меня только второй случай в жизни.

Э л я. Это не играет никакого веса. Тут один с нашей работки стал ко мне кадриться. Родители на даче, он шастает и шастает. Как-то раз засиделся, метро не ходит, в трамвай не содят. А денег у него на такси нет. А я принципиально в таких случаях не даю, отказываю. Я еще их снабжать должна. Перебьешься, говорю, с каким знаком пишется. Он тогда: «Я у тебя заночую». Ладно. А у меня белье в ванне какой день замочено, я плюнула, стала стирать глубокой ночью. Несу на балкон вешать, а он уже в трусах на тахте расположился и говорит: «Только не говори мне, пожалуйста, Смирнова, что я у тебя в жизни второй мужчина». Вот вам и второй в жизни случай, как вы говорите. Ну вот. Я тогда плюнула, в

родительской комнате на задвижку заперлась. Так он полчаса под дверь стоял, просил открыть, говорил, что мы взрослые люди, и что тебе стоит, и все такое. Что в таких случаях говорят. А потом лег как ни в чем не бывало и захрапел. Так храпел, я мимо пошла в ванную, он не слышал. Я не сплю, а он храпит. Все на свете прокляла. Потом еще с ним на работу пришлось ехать как одна семья. А вы говорите — второй случай в жизни.

П о л и н а. Вот вам и клин.

Э л я. Женщина вообще должна выходить замуж, когда она не любит, когда любят ее. Так что в следующий раз выходите без любви.

П о л и н а. Только под наркозом.

Звонят в дверь.

Если это Константин, не говорите ничего. Что я здесь.

Эля открывает, входит Д р у ж и н и н а.

Э л я. Дружинина, какое совпадение! Я только что о тебе подумала, хоть бы она не приходила.

Р и т а. Смирнова, поздравляю с днем рождения, желаю. Тебе подарок вермут италиано. Называется чинзано.

Э л я. А вон он уже стоит на столе, уже мне поднесли.

Р и т а. Завоз, что ли?

Э л я. Наверное, завоз. Знакомьтесь, это Рита, моя подруга, а это Полина Шестакова, жена Кости Шестакова, о котором ты много слышала.

Р и т а. Очень приятно. Это чинзано к нам в буфет завезли.

П о л и н а. А я у нас в винном купила.

Р и т а. Наверное, завоз. А я тете Машке переплатила.

Э л я. Видали? У Риты там спецбуфет. Знаете, где она вкалывает? На Новодевичьем.

Р и т а. Обыкновенный буфет, тетя Маша.

П о л и н а. На Новодевичьем? Ой, у вас там, наверное, свежий воздух.

Р и т а. Прямо свежий. Как в склепе сидим. Стены — во! Как в склепе. В пальто работаем.

П о л и н а. Вы знаете, какое совпадение? Мой папа спит и видит, как попасть на Новодевичье.

Р и т а. Как-нибудь заходите с отцом.

П о л и н а. Он у меня, вы знаете, пенсионер республиканского значения. Как они собираются все у одной там старушки, эта старушка тост поднимает и говорит: «Когда мы начинали, мы много мечтали. Теперь наши мечты сбылись. Все мы персональные пенсионеры». Видите как. А вы, оказывается, на кладбище работаете на таком. Просто совпадение.

Р и т а. Я, собственно, не на кладбище, а в музее. Там рядом музей статистики. Не имеет никакого отношения.

П о л и н а. А отец так мечтает о Новодевичьем!

Р и т а. Если ему интересно, пусть заходит. У нас, правда, утверждённый текст экскурсии, но для вас я расскажу пошире.

П о л и н а. Самое главное, у нас там бабушка моя лежит, мамина мама. Но больше четырех захоронений в одну могилу не дают. А там уже скопилось три. А мамина сестра еще жива, она уперлась: он, дескать, не прямая линия, а зять, боковая линия. А папа с мамой хочет лежать.

Р и т а. Вы давно без мамы? Я уже год.

П о л и н а. Что вы! Слава богу, живы. Все живы. У них режим дня. Они просто железные. Меня переживут. А я иногда думаю: вот бы мне первой умереть! Никого не хоронить.

Р и т а. Хитренькая.

Э л я. Тогда о чем речь? Девочки, еще выпьем, у меня все-таки день рождения.

Р и т а. Да, да, действительно. Ну, кто у тебя будет-то?

Э л я. Ты что, не могла мне позвонить? День рождения отменяется.

Р и т а. У меня девка болела, я с ней сижу, телефона в доме нет, сама знаешь. К тебе поехать, наняла тетеньку, шестьдесят копеек в час, с девкой сидеть. Уложила спать, тогда только поехала. А что, день рождения отменяется?

Э л я. Отец сказал, что больше такого безобразия в доме не потерпит, что его жизнь не к Петрову, а к Покрову... Сама знаешь. И за месяц заблаговременно начал больницу себе пробивать. Не можешь же ты при больном отце, которого в больницу заберут вот-вот, а все не дают направления. Сегодня наконец ему выделили. Отъехал, мать замучил, я на работу не ходила...

П о л и н а. А что с отцом?

Э л я. Что всегда. Диабет, гипертония, склероз.

П о л и н а. А у моего папы аденома простаты, облитерирующий эндартериит и склероз.

Р и т а. Вот и мы такие будем.

П о л и н а. В том-то и дело.

Э л я. Что вы, он в больнице отдыхает от нас. Говорит, чтобы больше у меня без дней рождения.

П о л и н а. А мы давно все отмечаем в узком семейном кругу, все знаменательные даты. Папа ходит с трудом, а от гостей мусор, тарелки, расходы.

Э л я. Вот именно. Два года подряд я им делала баранью ногу, салаты, помидорчики доставала. Пролетает сорок—пятьдесят рублей, а дарят одни бутылки. Сами выхлебают и рады. В прошлом году мне подарили стеклянный мундштук, книжку «Древние бурятские памятники» и что-то еще...

Полина. Нет, мне мама подарила серьги с изумрудами.

Эля. Ну ладно, будем думать, что у меня все же день рождения. Чокнемся. Первый тост за хозяйку, второй за прекрасных дам, третий...

Рита. Третий за детей. Шестьдесят копеек в час.

Эля (Полине). Я слышала, у вас много детей?

Полина. У меня двое, а у вас?

Эля. У меня вообще.

Рита. А у меня девка. Очень замечательное существо пяти лет, зовут Таня.

Полина. Нет, у меня Владуку семь, а Светочке четыре с половиной. Ради них надо кое-как жить. Я тут в экспедиции была, летом в Каракумах. Вышла в пески, легла на бархан и думаю: вот бы так от солнца удар получить, умереть. Но детей ведь не оставишь, их надо поднимать. Старики уже старые.

Эля. Да ну, все вырастут, у нас в стране все вырастают. Я вон без отца, без матери, у бабушки в Чулкове сколько жила? И получилась свободный человек. Отец с матерью были за границей, в горящей точке планеты. Туда с ребенком не разлетишься.

Полина. А у меня мамин отец при царе был генерал-губернатор. Мамина мама была гувернанткой.

Рита. А сколько же лет вашей маме?

Полина. Она поздний ребенок была у родителей. И я у них поздний ребенок.

Эля. А я боюсь поздних детей. Среди поздних детей тридцать процентов идиотов, американцы просчитали.

Рита. Да ладно, я вон сама пишу диссертацию, вторую главу третий год, тоже все обсчитываю, просчитываю, знаю. Но главное, Полина, как вы умудряетесь с двумя стариками и с двумя детьми! Я вон, пока у меня мама болела, девку на пятидневку сунула. Она там коростой покрылась, а тут мама помирает, а тут начальница просила подать заявление по собственному желанию, что у нее экскурсоводов нет. У меня, говорит, есть на ваше место молодой энергичный товарищ, он быстро освоит тему. Какой-то выпускник.

Эля. Чей-то сынок, наверное.

Рита. Я думаю, вам, наверно, муж помогает, иначе как с двумя детьми да со стариками на руках!

Полина. Он мне ни капельки не помогает.

Рита. Как вам тяжело, я вам сочувствую.

Эля. Это мне тяжело и тебе тяжело, а ей все прекрасно.

Полина. Да, мне прекрасно. Стираю дважды в неделю. Мы в прачечную не отдаем, не хотим вариться в общем котле. Детей купаю два раза в неделю. Магазины ежедневно. Готовит мама. Еще пишу диссертацию.

Рита. У вас еще диссертация?

П о л и н а. А как же. Не только у вас. Печатаю ее сама. У нас машинистки со схемами берут тридцать копеек страничка.

Э л я. У нас двадцать пять, хотите договорюсь?

П о л и н а. Пять копеек меня не устроят. Потом у мамы довольно хороший «Ундервуд» остался от ее еще мамы. Она работала машинисткой. Пишбарышня называлась. После революции. Что такое пять копеек, на них не пообедаешь. Я вон не обедаю, беру с собой бутерброд, на горелке готовлю чай. Летом, когда наши на даче, дома хуже, никто не готовит. Так я ем суп из пакетиков. На два дня идет один пакет. Один раз двое суток сидела голодная. Костя привел к нам друга Пашу, и они мой суп на два дня сразу съели. Я с работы пришла и прямо заплакала. Холодильник пустой. Я же рассчитывала на горячий суп. А супа нет. Села печатать, печатаю и плачу. Костя на меня кричит, что, людей, что ли, нет крутом, заняла бы рубль, сбегала бы в столовую. А я плачу. Так и проголодала два утра и два вечера. Хлеб-то и сыр для обеда у меня был с собой в сумке, тоже на два дня. Иначе бы я не протянула. Обед обедала.

Э л я. Да ну, я всегда живу в долг. Играю в черную кассу. Денег нет и не будет, зато есть что надеть. Родители пока кормят. Все остается мне на булавки.

Р и т а. Ну да, как мы пошли к одной бабе на банкет. Защита диссертации. В ресторан. Наугро меня девочки на работе спрашивают, кто как был одет. А ты, спрашивают. А я, говорю, была в чем всегда, в отрепьях.

П о л и н а. А я всегда аккуратно хожу, я перешиваю из старого. У нас швейная машинка марки «Зингер», я перешиваю из своих старых школьных платьев, тогда носили длинное такое и широкое.

Р и т а. О, я это дико люблю, когда из ничего, из старых тряпок...

Э л я. Старая тряпка и есть старая тряпка.

П о л и н а. Нет, я недавно нашла в сундуке бабушкины пододеяльники, спорола с них кружева, прошвы и сшила себе блузочку.

Э л я. Да ну! Ветошь одна.

П о л и н а. Что вы, алансонские кружева, я подштопала. А некоторые думали, что это тюль, который они покупают рубль километр.

Р и т а. А я тоже всегда в старом хожу. Ну и что?

Э л я. Все равно я вам завидую. У вас трое детей. А у меня никого нет, поезд ушел. Без мужа я как-то не решилась, ребенок будет, спросит, что да как, да отчего размножаются. А мужа завести не решилась. Был меня мо- ложе.

П о л и н а. Почему, случаев много, теперь многие выходят замуж за мо- ложе себя. Такая мода, берут себе мальчиков.

Э л я. А я не решилась.

П о л и н а. А какая была разница?

Э л я. Двенадцать лет.

Полина. А у нас на работе я знаю случай на восемнадцать лет разница. Он был только что из армии, а она такая огневая женщина из бухгалтерии, ей тридцать восемь, ему двадцать. Сначала они просто так жили. По буфетам в очередях друг другу очередь занимали. Пошли всякие разговоры. Было какое-то письмо. У нас же девушек подавляющее количество, восемьдесят процентов. Ну, ее вызвали куда надо. Она возмутилась, он тоже возмутился. Ну и это их подтолкнуло. Им хотели как лучше, а вышло еще хуже. Потому что она в результате паспорт на стол кладет, а в паспорте штамп о бракосочетании. Все зашумели, но она умная женщина. Она все сделала как надо, она пошла по общественной линии.

Эля. Обратилась в профком?

Полина. Нет, что вы, она вошла в кассу взаимопомощи. Работать там ни у кого нет охоты, она стала казначеем. Баба она огневая, работа закипела, со всех взносы содрала, с кассиршей договорилась в день зарплаты. К ней же потом и стали подъезжать, кто за сотней, кто за чем.

Эля. Ну и правильно, заткнулись. А сейчас как они живут?

Полина. Сейчас-то живут хорошо. Она на инвалидности, у него почки отбиты. Друг друга поддерживают, в походы ходят, каждую субботу в лес. Питаются по системе йогов, на обед репочка, изюм, грецкий орех.

Рита. Я пробовала по системе йогов, когда совсем дошла, вся опухла. Но по системе йогов питаться еще дороже. Йоги, во-первых, питаются с рынка. На рынке все качественное, но та же репка стоит как индейка. И потом, нельзя ведь перед ребенком отделываться репкой! Ему курицу нужно.

Эля. Куры и фрукты детям, как у нас соседка говорит. Давайте, девочки, выпьем того вина, которое стоит как две куры детям плюс шестьдесят копеек в час по таксе.

Рита. Не напоминай.

Эля. За мой день рождения. Ну а что было дальше, Полина?

Полина. Что она стала инвалид, это он ее два года назад все-таки утробил. На мотоцикле. Она ехала в коляске, ее потом по костям собирали. Она при этом хорошо держалась, мужественно, год пролежала в больнице, потом костыли отбросила, по стеночке ходила. А он говорит — теперь не мыслю жизни без нее, так что девочки наши опять умылись, фигу получили.

Эля. Полина!

Полина. Фигу! Он, правда, сначала вроде легко при катастрофе отделался, но теперь, видите, почки болят, отбил, значит, почки себе.

Эля. Нет, это у него на нервной почве.

Рита. У нас в музее тоже девяносто процентов баб. Девять баб и одна штатная единица свободная, на восемьдесят пять рублей. Начальница

мечтает какого-нибудь мальчика на это место взять. Все мечтает, домечтается, пока у нее единицу не сократят. А работать некому. А бабу она не берет.

Э л я. Я тоже баб не терплю.

П о л и н а. О присутствующих не говорят.

Э л я. А ты молчи, алансонское кружево. Нет, я бы так не смогла, за моложе себя выйти. Я слишком оглядываюсь, кто что скажет. Полина, а Костя ваш намного старше?

П о л и н а. Мы одногодки.

Э л я. Но он старше?

П о л и н а. Нет, он меня моложе на девять месяцев и три дня.

Э л я. А вот я не могу, когда я старше, а он моложе. Мне кажется, все будут смеяться надо мной, связался черт с младенцем.

Р и т а. Недавно начальница анекдот рассказала! Приходит ребенок из детского сада, пьет кисель, отхлебнет, подопрется рукой и говорит: мусикапи. Еще хлебнет, опять: мусикапи.

П о л и н а. А, знаю, у нас рассказывали.

Р и т а. Ну вот. А мать спрашивает, что это все ты мусикапи, мусикапи. Ребенок отвечает: это наша воспитательница с нянечкой пьют из стаканчиков и говорят: эх, мусикапи сейчас.

Э л я. Не поняла сути.

Р и т а. Эх, мужика бы сейчас.

Э л я (*Полине*). Давно хотела спросить: это у вас какое кольцо?

П о л и н а. Изумруд с бриллиантами и платина. Это гарнитур с серьгами.

Э л я. Надо же, как похоже на чешскую бижутерию! Никогда бы не сказала! Молодец, Полина! Молодцы чехи.

Р и т а. А у нас в семье все пропало. У них в эвакуации все пошло в обмен на хлеб, на картошку. Дураки были.

Э л я. Куда это все девалось, у нас в Чулкове ничего похожего нет. Хотя были беженцы. И усадьба рядом была.

П о л и н а. А у нас тоже все сначала пропало. Наследство перешло к старшему маминому брату, девочкам дали только приданое. А у этого брата была домраба, Нора. Она всю войну работала на заводе, кормила брата, ничего не продала. Когда война кончилась, он на Норе из чувства благодарности женился. И все наши от них отвернулись. Но когда он умер, моя мама стала принимать Нору у себя, а потом мы с ней объединились, съехались по обмену. Мамина сестра так до сих пор нам этого не простила. Зато все наследство у нас.

Э л я. Теперь все детям перейдет.

П о л и н а. Да, хорошо, что девочка есть, ей все ценности достанутся, а не чужой невестке.

Р и т а. Тяжело чужую старушку было кормить-то.

П о л и н а. Тяжело. В праздник тоже лапкой тянется с рюмкой, чокается. А умерла она ровно в тот день, когда родилась Светочка. Как почувствовала, что пора комнату освободить. Врачиха так и сказала — лечить вам ее только мучить.

Э л я. Ну и правильно сделали, сбагрили на тот свет... Хорошо, еще не отравили, может быть.

Р и т а. А у нас тоже все погибли да повымерли. Тоже ведь была большая такая семейка, профессорская. Дедушка до революции был блестящий студент, катал барышень на своем автомобиле, на скрипке играл... Где эта скрипка, хотела бы я знать... Хорошая, наверное, была скрипка, от мастера...

Э л я. А у нас в Чулкове тоже ни у кого ничего не сохранилось, хотя мы под немцем не были. Беженцы только у нас жили. Я там в книжном магазине подписалась на Достоевского и на «Всемирную библиотеку». Но это когда-то было так, теперь уже все в книжном магазине подмели. Сами разнюхали. Единственно, что у них осталось от темноты, — как чуть что, кого-нибудь посадят, они сразу к отцу... Он до сих пор у них котуруется как шишка на ровном месте. Он у них кому-то раз в жизни помог, теперь расплачивается за это.

Р и т а. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, это закон, Смирнова.

Э л я. Какое там доброе дело! Он помог одному дяде Юре Смирнову, а тот, оказывается, на свадьбе кого-то топором посек. Дядю Юру освободили, остальным обидно. Деревня Дуроплясова.

П о л и н а. У меня на Спасе на Песках тоже у папы целая улица Шараровых. Папа мой Шараров, и целая улица Шарарова Слободка. Мы туда один раз с Костей ездили, когда поженились. Лес. Волга. Мы из дома в дом ходили, целая неделя прошла на этом. Они из свеклы варят. Костя до сих пор вспоминает. Да. А они сразу после того наладились к нам ездить, а у отца режим строгий, он совсем не пьет, а водки вообще не употребляет, тем более самогонку.

Э л я. Конечно, они мешочники. Мать их моя раз и навсегда шуганула. Я еще маленькая была, но помню. Дядя Юра Смирнов приехал с дядей Петром. Сидят с отцом, в комнате накурено, нахаркано, отец расхрабрился, пьяненький, и кричит матери, а мы пришли с прогулки: «Давай, мамаша, ставь нам гаванский ром». А тогда еще дело при Батисте было. Мать взяла у них со стола пятилитровую банку грибов да как ахнет об пол!

Р и т а. Порезались?

Э л я. Обошлось.

Р и т а. Я тоже родственников раньше едва терпела, теперь-то почти никого не осталось, теперь я над ними трясусь. Все-то они друг на друга клепали, какие-то жилплощади вспоминали, заявления, письма, наркомовские пайки, кто деда обобрал, куда его шкаф с рукописями

делся, куда серебро, куда библиотека. А мне ничего не надо. У меня есть кооператив, мне с головой хватает имущества. То они грибки во дворе красят, по два рубля собирают, то в фонд библиотечки просят... А у меня же наследств никаких.

П о л и н а. Через сколько войн прошли.

Э л я. Сейчас начнутся скоро наследства. Уже мода бриллианты собирать, золото. Я и то в очереди постояла, взяла.

П о л и н а. Наследства, если на них опираться в повседневной жизни, быстро проматываются.

Р и т а. У нас один знакомый получил неожиданно из Швейцарии наследство. Взял «Жигули», что еще. Кооператив себе и матери, холодильник, пианино, ковры. Еще что-то. «Жигули» у него вечно замусоренные, сам как ходил, так и ходит в чем попало, на «Жигулях» возит из лесу какие-то пни и коренья. Возит собаку к ветеринару. У него у собаки легкая форма шизофрении. В квартире бедлам.

П о л и н а. Потому что нет культуры.

Р и т а. Нет, культура есть, он ведь из Рюриковичей, причем последний в роду. И рождает одних девок, скоро будет третий заход, все ждут. Он в панике, не будет, говорит, продолжения нашей фамилии. А жена у него дочь какого-то генерала, совсем простяга девка. А он из Рюриковичей. Холодильник у них уже течет, три раза мастера вызывали, дочка учиться музыке отказалась как одна. Он говорит: с вещами я промахнулся. Ковры требуют пылесоса и все такое. Дал маху.

П о л и н а. Конечно, надо было золотом брать.

Э л я. А жить на чем? На бутербродиках?

Р и т а. Он говорит, надо было книг по искусству закупить. Это было бы нетленное богатство, нетленка. И читать их опять же можно, двойное богатство.

П о л и н а. А золото можно носить.

Р и т а. И будешь, как старший продавец, вся в золоте ходить.

Э л я. А что ты знаешь про старших продавцов? Человек стоит столько, сколько он стоит.

Р и т а. Вообще-то верно. У меня моя парикмахерша, Зинка, вся ходит в золоте, как чучело, но добрый человек. Тут рассказывает: пошел ее сын выкидывать мусор, возвращается, говорит — там на помойке кто-то спит, хрипит, не бросай сюда, сынок. Ну, она быстренько с сыном пошла, там, действительно, старичок под стеной сидит, ночует. Он приехал в собес хлопотать себе пенсию, из подъезда его попросили, он приткнулся на помойке. Они этого старика привели к себе, ну, куда девать человека с помойки, они ему в ванной постелили, потом ванную вымыли, и все.

Э л я. Ну и зачем ты это рассказала?

Р и т а. Ну вот она в золоте ходит. Правда, как мастер она плохая.

Э л я. Оно и видно, ходишь вечно как лахудра, на голове сосульки одни.

Р и т а. Да у меня голова быстро пачкается. Через два дня опять мыть. Мотаешься — работа, детский сад, детский сад, работа. Чего там, Эля. И золото у твоей Зинки тридцать первой пробы, и мастер она такая же. Одно связано с другим, золото с мастером. Золото требует свое.

Р и т а. Ну да, как один мой знакомый говорил: она выходила замуж за сына больших родителей, а получила алкаша.

П о л и н а. Это кто вам так говорил?

Р и т а. Вы его не знаете, такого человека.

Э л я. Успокойтесь, это ей говорил этот, Рюрикович.

Р и т а. Нет, Рюрикович не сын больших родителей, у него старушка-мама искусствовед, я к ним раньше приходила, они чай наливают, а насчет сахара извиняются. И генеральская дочь шла за него замуж по огромному собственному желанию, у него невест человек десять было, на выбор.

Э л я. Десятая была ты.

Р и т а. Одиннадцатая.

Пауза.

Э л я. А кстати, Дружинина, на тебе ведь тоже золото, обручальное кольцо, забыла? Но я бы на твоём месте не носила его на левой руке, так носят только вдовы, но отнюдь не матери-одиночки.

П о л и н а. Насчет золота: мама все боится войны, говорит, в случае чего живи как Нора: ничего не продавай, все оставь детям.

Э л я. А дети — своим детям. А жить когда?

П о л и н а. Мы живем ради детей.

Э л я. Один раз я ради детей, то же самое, пошла на преступление. Пока суть да дело, у меня образовался пятимесячный плод, чистить нельзя по закону. Но я стала вытравлять, деваться некуда. Чуть сама не подохла, попала в больницу на ту же самую чистку, вся черная, лежу, помираю. Так врач такой молодой был, никогда его не забуду, все это дело шваркает в тазик и говорит: «Эх, какого парня загубили!» Я даже сознание потеряла.

П о л и н а. Бывает, пятимесячные плоды кричат.

Р и т а. А я себе говорю: сколько у меня будет, все мое.

П о л и н а. Всех будете рожать?

Р и т а. Всех.

П о л и н а. Ну, это еще вам везет, что вы только раз попались.

Э л я. Да у нее случая не было.

Р и т а. В общем, да.

Э л я. То-то мужики от тебя шарахаются. А ко мне липнут. Потому что я думаю головой. Человек прежде всего должен себя осмыслить,

что он есть в жизни. Может ли он рожать от моложе себя. А так получается — ты их плоды, они тоже наплодят, и никто даже не остановится, не подумает — имеет ли он право. Жить с моложе себя, губить парня, чтобы он потом с отбитыми почками ходил и репку жрал.

П о л и н а. Что вы расстраиваетесь, еще будет у вас на улице женское счастье, поверьте мне.

Э л я. А вот у тебя нет, не будет.

П о л и н а. А у вас и не было.

Э л я. А у тебя уже второй раз клин клином не вышел.

П о л и н а. Убивает еще детей.

Э л я. Клин! Клин!!!

Р и т а. Напились жутко. Голова кружится. Как я домой доеду... Тенька уже уходит, наверное... Что ей эти шестьдесят копеек... Ну что я здесь сижу, чего жду... Танька одна проснется, будет кричать в темноте...

Э л я. Отца в больницу провожала, намерзлась, настрадалась, спать уже ложилась, тут она является. Видите ли, охотится за мужем. А он бегаёт от нее за километр!

П о л и н а. Я? Я не за мужем. Его ждет женщина по имени Тамара, потому что у Паши умерла мама.

Э л я. Вот пускай его Тамарка и ищет. Тамарка Пашу, а ты под это дело ищешь Костю.

Р и т а. У Паши мама умерла!..

П о л и н а. И еще мне Тамара сказала, что тут, на этом дне рождения, будет Костина женщина, его самая дорогая, зовут Рита Дружинина.

Э л я. Правильно. Тамарка же с Пашей разошлась, теперь начала проваливать все явки. Рита, молчи! Пашу-то надо найти.

Р и т а. Полина, он давно меня бросил.

П о л и н а. Да ну, господи, я это знаю. У Тамары застарелые сведения. Теперь у Кости женщина по имени Ира.

Р и т а. Кто сказал?

П о л и н а. Рита, детей не сотрешь с лица земли. А больше никто от него не родит. Он алкоголик. У него слишком большие алименты.

Э л я. Эта дура бы родила.

П о л и н а. Вот вам ваш бывший муж сколько платит алименты?

Р и т а. Когда восемь, когда десять рублей.

П о л и н а. Умножить на четыре... Это что за заработок такой, не поняла. Рита. Я не знаю. Как будто бы он ушел на какие-то полставки, чтобы только не платить. Специально. Сам-то он зарабатывает на книжном рынке. Собирает еще картины.

Э л я. Вот тебе будет первое наследство Таньке.

Р и т а. Он ушел на полставки, потому что был против ребенка. Он настаивал на аборте. Был против Таньки. Ни разу ее не видел. Мы разошлись еще до родов.

Э л я. А я что говорю? И мой был против, и он меня бросил. Конечно, я стала страшная, меня рвало в каждой подворотне, ревела целые дни. Много себе позволяла. Один раз целую селедку съела. Он и сбежал от меня. Хорошо ли быть матерью-одиночкой, с отцом моложе матери на двенадцать лет, да еще и который не хочет ребенка знать, да еще безо всякой надежды? Хорошо ли это ребеночку... Маленький мой... Что я наделала, о, что я наделала...

Р и т а. Да ну, Полина, бросьте, в самом деле, какая Ира... Какая там Ира... Никакой Иры. Он погибает, а вы — «Ира».

П о л и н а. Ира и еще какая-то Кольцова в книжке у него появилась. И еще один ребенок на стороне, страдает диатезом экссудативным. Он просил меня достать кварцевую лампу для облучения ребенка, страдающего экссудативным диатезом.

Р и т а. Для Танюшки, это для нее. Для моей Танюшки. Давно просил?

П о л и н а. Да он еще до вас просил.

Р и т а. Когда?

П о л и н а. Когда мы еще не были женаты.

Э л я. Детей много, плюнешь и попал в детей.

П о л и н а. Отец должен быть с детьми. Баб много, а законных детей двое.

Э л я. А я что говорю? Мой поезд ушел.

Звонок в дверь.

Кто звонит, тот дурак!

Открывает, вводит В а л ю с портфелем.

В а л е н т и н. Поздравляю, смотри, что я тебе принес! *(Открывает портфель, показывает Эле.)* Редкая вещь, дорогая. Через отца в спецбуфете. Слышала? Чинзано.

Э л я. Мы вас звали выгоняли, а вы перлись не хотели.

В а л е н т и н. Итальянский вермут.

Э л я. Ты чего пришел?

В а л е н т и н. В Японию еду, зашел проститься.

Э л я. В Японию еще куда ни шло.

В а л е н т и н. Скоро взносики платить мне будешь. Я теперь заделался председателем совета молодых специалистов. *(Раздевается.)* Отец машину купил. *(Входит, видит Полину и Риту.)* О, холесенькие. Познакомимся, Валентин, срочно вылетаю в Японию. Что это с ними?

Э л я. У Паши, знаешь, мама умерла.

В а л е н т и н. Поминки?

Э л я. Нет, еще не похоронили. Паша куда-то пропал, без него не похоронят. Ты не знаешь, где он?

В а л е н т и н. Я? Откуда? Почему я?

Э л я. Мы вот ждем Костю, он вроде обещался прийти.

В а л е н т и н. Да-да, он, наверное, будет. Так что посидим, подождем. А ночь-то холодная, думал я, где я ночку коротать буду.. Набегался, намерзся. А здесь тепло. А там холодно. Можно я согреюсь из вашей бутылочки, пока мою достанешь... *(Наливает, пьет.)*

Э л я. Учти, на такси у меня как не было денег, так и нет.

В а л е н т и н. Все с тех пор так и не разбогатела?

Э л я. А мама болеет, так что тише вообще.

В а л е н т и н. А я все никак не разведусь. Все езжу по границам, а разведенному не поездишь.

Э л я. Это ваше дело.

В а л е н т и н. Надо же, Пашина мать умерла... Жалко.

Э л я. И некому похоронить. Вот, сидим как идиотки. Куда, что...

В а л е н т и н. Ничего, люди кругом хорошие найдутся, наружи не оставят ее. С завтрашнего дня я подключаюсь. На меня можно положиться. Я человек действия, у меня в руках все. Девочки, не плачьте, к вам пришел ваш мальчик.

Р и т а. Ну да, как мы с Танькой смотрим телевизор, она мне говорит: «Мама, вот видишь, кто поскакал?» Я: «Поскакали две лошади». Она: «Нет, мамочка, это кобыла и кобель».

П о л и н а. А я один раз на даче — Владик был еще маленький, Светочка вообще еще не родилась — вижу, Костя идет с двумя детьми: мальчик за руку, девочка на руках. И показалось мне, что это наши будущие дети... Так это Косте шло, двое детей. Оказалось, соседская девочка, с соседнего участка... Если бы у меня родился второй мальчик, я бы повесилась, но родилась девочка. А та, соседская, все время бежит через наш участок на улицу. Владик ее гоняет, приходит, говорит: «Она, мама, нашу малину объедает». А Костя ему отвечает: «Неужели, сынок, ты у меня жадным растешь. Ты же у меня не такой».

В а л е н т и н. Смирнова, как хорошо, что ты есть.

*Конец*

# ЛЮБОВЬ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Света

Толя

Евгения Ивановна, мать Светы

Комната, тесно обставленная мебелью; во всяком случае, повернуться буквально негде, и все действие идет вокруг большого стола. Входят Света и Толя. Света в простом белом платье, с небольшим букетом цветов. Толя в черном костюме. Некоторое время они молчат, Света снимает туфли и стоит в чулках, потом она садится на стул. Когда она надевает домашние тапочки — на усмотрение режиссера, во всяком случае это имеет значение — процесс надевания Светой домашних тапочек.

Толя. А где мама твоя?

Света. Она пошла в гости.

Толя. Ну что же...

Света. Поехала, вернее. К родным, в Подольск.

Толя. Давно?

Света. Сразу... после нашей записи.

Толя. Насколько я представляю, туда часа полтора в одну сторону.

Света. Меньше. Час пятнадцать с метро.

Толя. Устанет. Обратно ехать ей будет поздно. Все-таки Подольск, шпана.

Света. Она не любит нигде ночевать.

Толя. Ну что же...

Пауза, во время которой Толя немного ближе подходит к Свете.

Света. Ты... есть будешь?

Толя. Меня хорошо отравили в этом ресторане.

Света. Мне понравилось.

Толя. Меня отравили.

Света. Нет, мне понравилось.

Толя. С непривычки.

Света. Нет, мне просто понравилось, как там кормят.

Толя. Цыпленок табака?

Света. Почему цыпленок? Я ела бефстроганов.

Толя. Ты завтра на себе почувствуешь, что значит бефстроганов. Они на каком масле это готовят, знаешь?

Толя подходит к Свете, и вот тут она может отойти по другую сторону стола искать домашние тапочки под скатертью.

Света. Мне понравилось.

Толя. Цыпленок табака был хорош только для зубного врача.

Света. Я ела бефстроганов.

Толя. А цыпленок годился лишь только для зубного врача.

Света. В смысле?

Толя. После него срочно надо чинить зубы.

Света. У тебя плохие разве зубы?

Толя. У меня зубы отличные, ни разу не болят.

Света. Тогда что тебя волнует?

Толя. То, что, кроме костей, нечего было есть.

Света. Поменял бы, попросил официанта: «тку».

Толя. Не люблю подымать хай в ресторанах.

Света. Ты все равно поругался ведь с официанткой вначале.

Толя. Но это не от большой любви. Посадила за стол с крошками, обедками.

Света. Кто сажал? Ты сам скорей сел.

Толя. Кругом столько столов пустых, а они говорят — подождите.

Света. Подождали бы.

Толя. У тебя ведь нога стертая.

Фраза производит какое-то действие, которое вполне можно назвать как бы звуком лопнувшей струны.

Света. Я из-за этих туфель прокляла всё на свете. Бегала, бегала за ними почти весь этот месяц, в результате взяла на полноты меньше и только позавчера.

Толя. Это когда я тебе звонил?

Света. В этот день.

Толя. Трудно было достать?

Света. Да белых нигде не было. Лето.

Толя. Заранее надо было.

Света. Да так как-то.

Толя. В конце концов, написала бы мне. Адрес я тебе свой оставлял.

Света. Я тебе тоже адрес оставляла.

Толя. Я все бегал с дома продажей.

Света. Я работала.

То л я. Там у нас, в моем бывшем городе, можно неожиданно что-то достать. На толкучке по субботам с рук продают.

С в е т а. Я не люблю с рук, от покойника может быть.

Пауза. Толя стоит.

То л я. У нас после зимы там, в моем этом бывшем городке, немецкое кладбище начало оттаивать, рушилось. Представляешь? Зимой кое-как, знаешь, забросали, и вся любовь, а весной стало проседать. Мой приятель там отхватил два красных сапога — один сам из земли показался, а за вторым пришлось порыться, и в самом неожиданном месте, как бы ногу оторванную в головах положили, причем валетом. (Смеется.) А что, мясо с костями вытряхнул, на базаре выменял. Дорого взял. Вымыл, правда, в озере. Да в озере немцы весной дыбом вставали, льдина на льдину налезала. Там мыть то же самое.

С в е т а. Фу.

То л я. Это я в подтверждение тебе. Кто-то эти сапоги купил.

С в е т а. Фу как.

Толя долго смеется. Он все еще стоит.

То л я. Вообще-то надо умыться после этого посещения ресторана. Где-то тут был мой чемодан, там полотенце.

С в е т а. Да возьми там в ванной, наши красные висят.

То л я. Во-первых, если уж на то пошло, негигиенично, общее полотенце.

С в е т а. Я тебе другое наше дам, тоже красное.

То л я. Как различать будем?

С в е т а. Я тебе зайчика вышью.

То л я. Зачем? На самом деле у меня тут целое приданое. Простыни есть, пододеяльники даже.

С в е т а. На своих собираешься спать?

То л я. Жизнь подскажет.

С в е т а. Я с мамой лягу, а ты постелешь себе. Тогда твое приданое не пропадет.

То л я. Не пропадет мой скорбный труд. Я стирал и гладил все свободное время. Покупал, стирал и гладил.

С в е т а. Сам?

То л я. Я один, как ты знаешь. В моем родном городке тоже был один, хотя мама в свое время не согласилась меня женить на одной местной девочке. Сказала, что у нее родители до третьего колена ей известны и все воры. Так что я все стираю себе и глажу до сего времени сам.

С в е т а. Вас там в Нахимовском приучили вальс танцевать и стирать.

Т о л я. Ты со мной зря не пошла на вальс.

С в е т а. У меня нога стертая, ты бы мог пригласить Кузнецову.

Т о л я. У нее свой муж для этого есть и сидел.

С в е т а. Он бы не обиделся, если бы ты Кузнецову пригласил.

Т о л я. Да, он бы не обиделся.

С в е т а. Главное, два дела тебя приучили в Нахимовском: танцевать и простыни стирать. Одно другое дополняет, идеал настоящего мужчины.

Т о л я. Почему же? Мы в Нахимовском были на всем готовом, простыни стирать не приходилось. Это вообще дело не такое. Не умею. Даже когда я на буровой работал в степях Казахстана, и то у нас повариха стирала. И в Свердловске я ведь на квартире у хозяйки жил, по договоренности опять-таки с ее простынями.

С в е т а. Ты это все рассказывал.

Т о л я. Я про простыни впервые. Первый раз в жизни простыни стирал, когда к тебе собирался. Купил, выстирал в порошке и прогладил. На купленных сразу ведь спать не будешь, через сколько рук прошли: швей-мотористки, не говоря уже о ткачах, потом ОТК, потом на складе, дальше продавцы, покупатели.

С в е т а. Молодец. Гигиену соблюдаешь.

Т о л я. Да, я аккуратный парень, брезгливый.

С в е т а. Брезгуешь нашими-то полотенцами?

Т о л я. Я? Нет. Зачем.

С в е т а. А почему свои привез?

Т о л я. Ну так как же... Ведь я знаю. У вас на самом-то деле не густо.

С в е т а. Не густо, но я всегда к Новому году сама себе подарок делаю: две новые смены покупаю, и спим на чистом.

Т о л я. Первое дело. Мы тоже так будем делать, я тебе буду дарить. В нашей семье.

С в е т а. Где это ты видишь — в нашей семье? Может, ничего еще и не будет.

Т о л я. Поглядим, увидим. *(Подходит к Свете и неожиданно для самого себя кладет ей руку на грудь.)*

С в е т а *(отшатываясь)*. Уйди-ка.

Т о л я. Ну что ты. Что ты. Чего боишься. Ничего не будет.

С в е т а. Ты где, в порту находишься? Матрос дальних странствий.

Ее разбирает смех.

Т о л я. Ну зачем ты. Ты моя жена.

С в е т а. Фактически нет и не думай.

Т о л я. Это дело пустяка.

С в е т а. А будешь приставать, так поедешь к себе.

Толя. Куда? Куда я поеду?

Света. А куда знаешь. *(Все еще посмеивается.)* К своей маме.

Толя. Она ведь у моей сестры живет. Там некуда.

Света. Тогда к себе в Свердловск. К хозяйке.

Толя. Я оттуда уже выписался. Всё! Отовсюду выписался, дом материн в родном городке продал. Я нигде! Вот стою тут, у твоего стола, пока у твоей матери.

Света *(посмеиваясь)*. Стоишь — так садись.

Толя. Не надо. Обождем, постоим.

Пауза. Толя все воспринимает всерьез.

Света *(посмеиваясь)*. Пристает!

Толя. Как это получается, что муж к жене пристает? Этого не может быть на самом-то деле. Муж жену уважает, и всё.

Света. Оставим разговор.

Толя. Мама ведь уехала специально, ради чего страдала, к чужим людям ночевать собиралась?

Света. Я еще раз тебе повторяю, что она ночевать не любит. Она ничего про ночевку там не говорила, значит, не будет. Она что говорит, то и делает, и я такая.

Толя. Это хорошо. *(Задумывается.)*

Света. Я говорю только то, что думаю, я ни от кого не завишу, зачем мне придумывать что-то, врать, потом опять придумывать дальше. Говорю что думаю.

Толя. Но она еще не скоро, чего ты боишься.

Света. Мы сколько в ресторане просидели, во-первых. Во-вторых, откуда ты взял, что я боюсь? Я не боюсь. Я вообще не имею привычки говорить неправду. Что ты тогда обо мне знаешь? Я всегда говорю то, что есть, и я не боюсь. Ты меня не знаешь. Мне нечего бояться. Ты ничего обо мне не знаешь.

Толя. Я к тебе присмотрелся за пять лет учебы.

Света. Присмотрелся, но не знаешь.

Толя. Я всё знаю, но не хочу знать. Около тебя вертелись двое, но не решились.

Света. Не будем меня обсуждать, договорились? Если ты меня спросишь, я скажу тебе честно.

Толя. Мне нечего тебя спрашивать, я тебя узнал за пять лет учебы в университете.

Света. А я вот тебя вообще не знаю. Ты учился в другой группе, мы закончили, ты ко мне ни разу даже не подошел за те самые пять лет. Ни на вечерах, нигде.

То л я. Это значит, я наблюдал и сравнивал.

С в е т а. Потом вообще взял распределение в Свердловск, уехал. Нужна я тебе была, если ты уехал? Так не бывает. Уж если любит кто кого, зачем ума искать и ехать так далеко, так Грибоедов писал. Помнишь, Мамонов читал нам на тему этих слов целую лекцию о различии женского и мужского?

То л я. Я все эти годы подбирал, и отпадали одна за другой все кандидатуры.

С в е т а. Что есть назначение женщины в этом мире и что удел мужского начала.

То л я. Я и уехал в Свердловск, ничего не решив.

С в е т а. Все отпали?

То л я. Я уехал в Свердловск, ничего не решив.

С в е т а. Полюбил бы хоть раз одну, не отпала бы.

То л я. Я не могу любить. Что с меня возьмешь. Я не умею. Я моральный урод в этом смысле. Я не умею. Я тебе сказал. Я честно тебе все сказал: не люблю никого, но я хочу жениться на тебе. Хотел, вернее.

С в е т а. Теперь не хочешь?

То л я. Теперь женился с сегодняшнего дня.

С в е т а. Говорят, что это проверяется так: спросить мужчину, женился ли бы он на своей теперешней жене еще раз, что ты на это ответишь?

То л я. Ты мне подходишь, ты по всем наблюдениям как раз то, что мне надо. Я много смотрел, что ты думаешь? Я поступил в университет уже двадцати пяти лет.

С в е т а. Ты уже это рассказывал сегодня.

То л я. И опять могу повторить: кандидатур было много, и они одна за другой отпали. Кроме тебя. Кроме тебя.

С в е т а. Ты же меня не любишь, ну скажи.

То л я. А что теперь поделаешь. Я честно говорю, не скрываю, из всех одна ты мне подходила. Но что я мог тогда, когда было распределение? Ты меня вообще не знала, подойти и предложить? Разве ты бы за меня пошла тогда замуж, непосредственно перед распределением? Нет конечно.

С в е т а. Нет конечно.

То л я. А теперь вышла за меня. Вот и весь разговор на самом деле.

С в е т а. Ты приготовился к этому за два года? Выжидал, что ли?

То л я. Как сказать, что значит «выжидал». Не то чтобы и выжидал, и готовился, помнил, не это. Я тебя не любил. Но я тебя наметил еще в университете. А потом проходит два года, мать пишет мне в Свердловск, что продает дом в моем родном городке, свой родовой дом, мое имение, на которое я уже не рассчитывал, потому что мне в моем родном городке уже ничего не светило.

С в е т а. Почему? Поселился бы.

То л я. Мне там не было работы на самом деле. Ну, мать мне пишет, что продает дом и переселяется к Тамаре. И чтобы я поехал и продал, и треть от всего будет моя. А дом хороший и двухэтажный почти. Я ехал в мой родной городок через Москву, впереди светили деньги, и я решил зайти к тебе.

С в е т а. Ты мне это уже все совершенно так и рассказывал, и хватит об этом.

То л я. Но это действительно так, что же теперь сделаешь.

С в е т а. У тебя как будто не у всех людей. Все говорят одно, подразумевают другое, а догадываются, что все совсем еще по-другому, и при этом не подозревают, насколько они ошибаются.

То л я. Я говорю то, что на самом деле.

С в е т а. Ты высказываешь все, и больше тебе ничего не остается высказывать, дальше уже идут одни повторы.

То л я. Это действительно, ну что ж.

С в е т а. У тебя как будто существует только одна главная мысль, и больше, кроме этого, за душой ничего, одна эта твоя правда.

То л я. Так оно и есть.

С в е т а. А вот я думаю, что ты такой же, как все и как я. И когда ты так упорно начинаешь придерживаться своей версии, я начинаю подозревать, что за всем этим кроется все совершенно другое.

То л я. Ничего другого, что ты. Я не вру почти что никогда. То есть я могу говорить неправду, если я не знаю чего-то. Но то, что я знаю, я говорю точно.

С в е т а. А ведь ты знаешь, что дело обстоит совсем не так, как ты мне это тут изобразил. И ты это знаешь на самом деле, и я это знаю.

То л я (*монотонно*). На самом деле ничего подобного просто. Слушай, как было дело: я поступил в университет двадцати пяти лет, я был уже немолодой для себя и собирался жениться, но присматривался, поскольку был немолодой. Одна за другой кандидатуры отпадали, и уже к диплому осталась одна лишь ты. Я уже знал, что любить никого не способен, и мало того — через сколько-то времени наблюдения за кем-нибудь возникало острое чувство неприязни. Только по отношению к тебе этого не было. Только по отношению к тебе. Сначала просто у меня к тебе ничего не было, ровная, спокойная полоса, а потом, перебирая все в уме, я туманно стал догадываться, что эта спокойная, ровная полоса отношения что-то значит. То есть что это «ничего» и есть самое ценное и оно больше мне нужно, чем что-нибудь, чем любые другие отношения. Но мы получили распределение, ты осталась в Москве из-за болезни матери, а я не мог тебе ничего предложить и уехал в Свердловск. То есть я сам еще на самом-то деле только начинал обо всем догадываться, и это продолжалось в Свердловске. Там я работал два года, и опять тот же эффект, никто мне не понравился. Всегда при всем оставалась одна только

ты, при всем вычитании других ты была в остатке. И вот мама пишет мне, что продает дом и что треть, если я его продам за ту цену, которую мне удастся, будет моя. Я сразу же ушел с работы, выписался из Свердловска, мысль работала очень четко, и поехал продавать дом через Москву. Я не знал еще, за сколько можно продать в моем родном городке хороший двухэтажный дом, но сколько-то денег светило впереди, тем более что я в Свердловске откладывал. Я пришел к тебе в библиотеку и сделал предложение тебе. Просил ответить на следующий день, с тем чтобы подать заявление в загс. И ты согласилась. Вот всё.

С в е т а. А если бы я не согласилась?

Т о л я. Ты бы согласилась. Я на это шел.

С в е т а. Ты точно был уверен.

Т о л я. А как же.

С в е т а. Ни капли сомнения?

Т о л я. В том все и дело, я это знал с самого начала. Я шел на то, что ты такая.

С в е т а. Какая?

Т о л я. Вот такая, как ты есть.

С в е т а. Но ты же меня не любишь. Правда?

Т о л я. Я тебе уже объяснил и, если хочешь, могу еще раз повторить. Я не привык обманывать сам себя, я в течение пяти лет анализировал, и все кандидатуры отпадали одна за другой.

С в е т а. Оставь, я это уже слышала. Это не все и даже совсем не то.

Т о л я. Всё то.

С в е т а. На самом деле ты в университете любил.

Т о л я. Я? Кого?!

С в е т а. Ты знаешь кого.

Т о л я. Я?

С в е т а. Ты любил Кузнецову.

Т о л я. Нет.

С в е т а. А она вышла за Кольку Лобачева.

Т о л я. Да нет!

С в е т а. Она вышла за него.

Т о л я. Я говорю: нет, не любил. Я не могу любить никого. Совершенно не могу, это не в моих силах.

С в е т а. Как бы там ни было, Кузнецова мне говорила, что ты ей делал предложение. На лестнице. Вот так.

Т о л я. Нет!

С в е т а. Да говорила, говорила, успокойся.

Т о л я. Что я ей сказал, так это вот что: «Выходи замуж». И всё. Так ей сказал просто: «Выходи замуж».

С в е т а. Это оно и есть.

Т о л я. Это совет.

С в е т а. Ты мне тоже так сказал.

Т о л я. Не совсем. Это разница.

С в е т а. Я просто уже знала твою формулу предложения.

Т о л я. Не совсем, это дело интонации и обстановки. Я тебе сказал: «Выходи замуж», ты сказала: «За тебя?», я сказал: «Да». А Кузнецовой я совет дал: «Выходи замуж», она сказала: «Да кто меня возьмет», а я промолчал. Это формула — она двойная, из двух моих фраз. «Выходи замуж» и «Да» в случае моего предложения. А в случае простого совета я вторую фразу не говорю, я многим так советовал выходить замуж.

С в е т а. Многих же ты любил.

Т о л я. Опять-таки говорю — нет. Я и Кузнецову не любил, я не могу любить, что же с этим поделаешь. Я не могу никого любить и никогда не мог. Еще в Нахимовском все влюблялись, а я не мог.

С в е т а. Ты любил и эту азербайджанскую, Фариду.

Т о л я. Откуда!

С в е т а. Ты к ней ходил, правда?

Т о л я. Но я же мужчина, ты не понимаешь?

С в е т а. Да ты ее просто любил, а она тебя погнала.

Т о л я. Я ушел сам, самостоятельно, когда понял, что она мне по всем обстоятельствам не подходит. Чем больше я к ней приглядывался, тем больше меня от нее отталкивало. Я же тебе говорил о тех кандидатурах, которые у меня были. Одна за другой эти кандидатуры отпадали.

С в е т а. А какие еще были кандидатуры?

Т о л я. Да господи, как ты думаешь! Я взрослый мужик, сначала служил на подводной лодке, слава богу, из-за кровяного давления списали. Куда податься? Я на буровую, в степи Казахстана, а там из женщин всего одна была повариха, да и то у нее был муж и хахаль, а ей было пятьдесят три годочка! Как ты думаешь, после этих переживаний я поступил в Московский университет, у меня не разбежались глаза?

С в е т а. Ну какие, какие кандидатуры были у тебя, ну какие?

Т о л я. Все, весь курс! Буквально весь факультет и все общежитие, можешь считать, было у меня кандидатур.

С в е т а. Ты говоришь неправду.

Т о л я. Я никогда не вру, только по мелочам.

С в е т а. Ты говоришь неправду. На самом деле ты всех любил.

Т о л я. Я не могу любить, я на это совершенно не способен. У меня нет этой способности. О! Падает давление! Затылок словно сковало. Видимо, будет дождь. Сейчас я покраснею.

С в е т а. Маму застанет дождь.

Т о л я. По моему давлению можно предсказывать погоду за пять минут перед дождем. Я покраснел?

С в е т а. Мама вымокнет из-за меня.

То л я. Я покраснел?

С в е т а. Не очень.

То л я. Возможно, дождя не будет. Тут надо точно смотреть. Смотри.

С в е т а. Не знаю.

То л я. Смотри внимательней.

С в е т а. Ну я не знаю.

То л я. Ты покраснела.

С в е т а. Будет дождь со снегом, да?

То л я. Не знаю, что будет.

С в е т а. Мне просто хочется тебе сказать вот что: ты всех любил, кроме одной.

То л я. Кого это?

С в е т а. Да так.

То л я. Я повторяю, что вообще не любил ни одной.

С в е т а. Но тебе нравились.

То л я. Кто?

С в е т а. Кандидатуры.

То л я. С этим я спорить не буду. Кандидатуры, конечно, мне нравились, как дикому человеку из Нахимовского училища.

С в е т а. Ну так не все ли равно, как назвать — нравились или любил?

То л я. Любить и нравиться — разные понятия, просто разные.

С в е т а. Ты откуда знаешь? Ты ведь не любил никогда, ты не можешь сравнивать.

То л я. Да, я не любил никого и никогда, я не в состоянии просто любить. Я урод в этом отношении.

С в е т а. Будем называть любовью то, что тебе все нравились. Просто назовем так. Неважно, как называть. Ты всех любил, тогда ты и меня любил?

То л я. Я не могу любить.

С в е т а. Но тебе нравились твои кандидатуры?

То л я. Сначала да, а потом меня от них как бы отбрасывало.

С в е т а. Не тебя отбрасывало, а тебя отбрасывали.

То л я. Нет, именно меня как бы отбрасывало. Я часто в мыслях применял это выражение: снова меня отбросило. Как бы отбросило. Что поделать, я отметал одну кандидатуру за другой.

С в е т а. Но меня ты выделял одну из всех?

То л я. В какой-то степени да.

С в е т а. А все тебе нравились.

То л я. Я тебя выделил одну из всех, но на самом деле потом.

С в е т а. До выпускного вечера?

То л я. До? Нет, после. Гораздо после, и в Свердловске я по-настоящему о тебе стал думать. Ты меня как-то устраивала, успокаивала, ты мне часто вспоминалась как единственная.

Света. Но на выпускном вечере ты танцевал опять-таки с Фаридой.

Толя. Она ведь уезжала навсегда, прощальный вальс.

Света. А Кузнецова была уже с животом.

Толя. Я, представь себе, не помню. Ты всё помнишь.

Света. Тогда давай все это дело сведем к одному. Тебе все нравились, ты всех, скажем, любил.

Толя. Опять нет.

Света. А меня из всех ты выделял. Я была как бы обратный пример.

Толя. Ты — да, ты другое дело, я говорил.

Света тяжело замолкает.

Света! Свет! Светоч! А?

Света. Ты потому и думал обо мне как о последнем варианте, который остается, когда все другие отпадают. Последний запасной вариант, который не подведет уж при всех условиях. Так?

Толя (*идет к Свете*). Иди сюда.

Света (*идет от него вокруг стола*). Самый простой и легкий путь оставлен на потом. Где тебе не откажут, не мордой об стол. Ты меня одну никогда и не любил.

Толя. Я никого... (*Садится*.) А что такое любить? Что хорошего? Что это дает? Вон твоя же Кузнецова любила Колю страстной ответной любовью и вышла за него, а теперь они друг другу так показывают, (*Крутит пальцем у виска*.) она его называет «маньяк сексуальный», а ребенок сидит на горшке посреди комнаты и орет.

Света. Ты откуда это знаешь?

Толя. Я ночевал у них. Две ночи.

Света. Значит, ты у них скрывался.

Толя. Почему скрывался?

Света. А как называть? Позвонил только за два дня до свадьбы и снова исчез. Конечно, скрывался. Могли бы вместе походить, что-то сделать.

Толя. Я кольца купил, что еще надо было, месяц назад купил и тебе отдал на сохранение.

Света. Но что теперь говорить, что это был за месяц.

Толя. Был хороший месяц, я прожил хорошо и в ожидании много сделал, думал тебя увидеть.

Света. А тогда почему ты приехал в Москву и меня не захотел увидеть? Позвонил только: встретимся в одиннадцать, я приведу свидетелей.

Толя. Ужин заказал в ресторане.

Света. Мы так хорошо могли походить, погулять это время.

Толя. Но как-то оно прошло, и теперь самое главное есть, то есть мы без помех поженились и не передумали. Встретились бы до

свадьбы, пошли бы разговоры, кривотолки у нас, что да как да кто любит.

С в е т а. Сейчас-то все равно мы разговариваем.

Т о л я. А сейчас всё уже позади.

С в е т а. Какой хороший был месяц! Листья пахли.

Т о л я. Да?

С в е т а. Я много не спала.

Т о л я. Все прошло.

С в е т а. А ты приехал, сразу к Кузнецовой ночевать пошел. Пошел навещать свою старую любовь.

Т о л я. Мне надо было переночевать.

С в е т а. Не обязательно.

Т о л я. Как не обязательно, человеку же надо ночевать, спать.

С в е т а. У нас бы поночевал.

Т о л я. Неудобно.

С в е т а. Сегодня-то ты собрался здесь ночевать?

Т о л я. Да. Но сегодня мы уже поженились. Расписались.

С в е т а. Значит, сегодня тебе не будет неудобно?

Т о л я. Сегодня по закону.

С в е т а. По закону не стыдно. По бумажке. А только ведь бумажка появилась, все остальное то же самое.

Т о л я. Это многое меняет.

С в е т а. Ты получил право теперь надо мной?

Т о л я. Конечно.

С в е т а. А как ты можешь? Ты ведь меня не любишь. Как же ты сможешь ко мне прикоснуться?

Т о л я. Как муж прикасается к жене. *(Не двигается с места.)* Ты теперь моя жена.

С в е т а. И не подходи ко мне, ты меня не любишь.

Т о л я. Только теперь я тебя узнаю.

С в е т а. Конечно, ты думал, что если все тебя отбросили, то я не отброшу.

Т о л я. Только теперь я тебя узнаю, почему те двое не решились.

С в е т а. Тебя же все отбросили, сто пятьдесят человек.

Т о л я. А были серьезные причины у них, и один это почувствовал, и второй. Один за другим. Теперь я понимаю.

С в е т а. Кузнецова с удовольствием рассказывала, как ты стоял на лестнице и трясся и повторял: «Выходи замуж», а она в ответ: «Да кто меня возьмет, да не за кого, и кому я нужна». А сказать: «Мне нужна» побоялся, потому что знал, что ответят.

Т о л я. Я покраснел?

С в е т а. Ты покраснел.

Т о л я. Будет дождь.

Света. Мама промокнет, зонта не взяла. Теперь я понимаю, почему ты два дня в Москве проводил без меня. Ты боялся, что я тебя тоже раньше времени отброшу.

Толя. Нет. Я мамы твоей стеснялся.

Света. Ты же ведь знал это и шел на это, я сказала, что мама всегда будет жить с нами, что я всегда буду жить с матерью, даже когда мы построим твой кооператив.

Толя. Да живи, кто мешает.

Света. Я сегодня лягу с мамой, ты у нас переночуешь на своих стиранных-глаженных, а завтра пойдем подадим на аннулирование брака.

Толя. Я пойду ночевать к Коле.

Света. Зачем, только новости придется носить, рассказывать, что и как. Кому это важно. Переночуй здесь. Ты на моей кровати, будет удобно, как в поезде. Ни в чем тебе не идут навстречу, ни в одной женьтибе.

Толя. Неизвестно кому повезло.

Света. Вообще, знаешь? Действительно, собирай свой чемодан и иди и можешь сказать, что тебя опять отбросило.

Толя. А мне его не надо собирать, я его не разбирал.

Света. Вот и иди.

Толя. Аннулировать как будем?

Света. Не знаю, все равно. Ты иди подай заявление, я подам свое. Чего мы вместе пойдем, дружной семьей?

Толя. Тогда извини.

Входит Евгения Ивановна.

Евгения Ивановна. Добрый вечер.

Света. Ты, мам? Чего это ты так рано?

Евгения Ивановна. Добрый вечер.

Света. Еще вечер.

Евгения Ивановна. Добрый вечер.

Толя. Вечер добрый.

Евгения Ивановна. Вечер добрый, зять.

Света. Мам, что ты?

Евгения Ивановна. Что я рано приехала? Да я поехала было в Подольск, а потом раздумалась, что я без приглашения, заранее не предупредила, всё ведь у нас не как у людей, все неожиданно навалилось: тут и туфли, и платье, и ночевка. С бухты-барахты ночевать собралась у людей. Кто мне они? У меня есть своя, кстати, кровать, я никому на ней не помешаю, уши заложу. Я здесь живу и никуда не денусь, хоть лопните.

Толя. Да я уйду, не беспокойтесь.

Евгения Ивановна. А я вам не помеха, делайте что надо.

Толя. Я все равно ухожу, совсем.

Евгения Ивановна. А, уходишь, ну иди. Ты мне сразу не пошел, думаю, чего моя Светка страдает. А ему нужна московская прописка, только всего, фиктивный, оказывается, брак.

Толя. Почему фиктивный?

Евгения Ивановна. Да не пудри мозги, не пудри. Никто хуже моей Светы не нашелся на него позариться.

Толя. Зачем так говорить?

Евгения Ивановна. Нужен ты нам. Мы и вдвоем прекрасно проживем, хоть обе старые, обе больные, но проживем. Я без мужика, в холодной постели тридцать лет сплю, и она поспит. Лучше, чем с тобой. С тобой только трудности одни житейские будут. Иди без оглядки.

Света. Почему он должен уходить? Ему некуда уходить. Он здесь имеет все права.

Евгения Ивановна. Да он сам хочет уйти, ты не видишь?

Света. Что ты вмешиваешься?

Евгения Ивановна. Это моя комната, посторонним здесь нечего делать. Я же вижу, я не слепая. Постель-то немятая. Фиктивно за него замуж вышла, зачем тебе этот позор-то? Штамп захотела получить?

Толя. Она не фиктивно, мы не фиктивно.

Света. Может, нам вообще лучше уйти? Толь, пошли отсюда.

Евгения Ивановна. Да что ты-то собралась! Я его не пускаю, он все нахрапом действует, а увидишь, получит прописку, построит квартиру и нас погонит, вот увидишь. Я его не пускаю. Он только обрадуется уйти. Иди, иди. Один день побыл в Москве — предложение, а она приняла. Потом исчез, где неизвестно время проводил, а ты все ждала, все бегала к телефону за других. Уходи-ка, не стой на дороге.

Наступает на Толю. Он отступает к двери.

Света. Толя, подожди, я оденусь, подожди-ка. *(Надевает туфли, морщится.)*

Толя. Надень другие, эти режут.

Евгения Ивановна. Куда ты за ним побежала?

Света. Растоптанные?

Толя. Неизвестно, сколько ходить придется.

Евгения Ивановна. Иди, иди. Вот тебе чемодан, улепетьвай. *(Загораживает спиной Свету.)*

Света. Погоди, мне надо что-нибудь собрать.

Толя. Всё есть. Что надо, утром купим.  
Света. Деньги тратить теперь нельзя так.  
Толя. Плащ возьми, дождь будет.  
Света. Ты покраснел.  
Толя. Затылок ломит.  
Евгения Ивановна. Ну и иди.

Вытесняет его за дверь. Он приоткрывает дверь силой.

Раздавлю!

Света (*хватает его за протянутую в щель руку*). Толик! (*Уходит.*)  
Евгения Ивановна. Начинается житье!

*Конец*

1974

# АНДАНТЕ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М а й, мужчина

Ю л я

Б у л ь д и

А у

Тахта. Ау сидит, с интересом слушая Ю лю.

Ю л я. Вообще там скучно, тоска, тоска, тоска по родине. Всё в черных красках. Тогда идешь в Андстрем.

А у. Понимаю, знаю такое.

Ю л я. Идешь в Андстрем, берешь креслице в два мальро, чтобы только никто рядом не подсел, не хватанул. Там страшные вещи с этим.

А у. Понимаю, привязываются.

Ю л я. Просто шагу не дают пройти. Понимаешь?

А у. Еще бы.

Ю л я. Я сюда приезжаю, до чего отдыхает душа. Но тоже не могут не приставать. Девушка то, девушка се. Женщины привязываются: «Дама, где брали, — допустим, — сумку». Они думают, что если они бегают с языком за шмотками, то все бегают. Мне на вещи наплевать. У меня полные кофры. А в Андстреме сидишь, привязываются, подсаживаются со своими креслами, предлагают пулы, метвицы.

А у. Пулы такие вязаные.

Ю л я. Нет, пулы, метвицы, габрио. Вроде все так невинно, а если с ними начать иметь дело, пропадешь. Нас предупреждают: никаких пулов! Осторожней, особенно с метвицами.

А у. Метвицы какого цвета?

Ю л я. Они всегда прозрачные, их почти незаметно.

А у. Красивые, я видела, одна баба приносила. Гладить при сорока градусах только руками, не стирать.

Ю л я. Какой стирать! Это таблетки. Мет-ви-цы. Ты что, не слышала?

А у. Это наркотики?

Ю л я. Какой наркотики! Это не наркотики, а бескайты. Бес-кай-ты.

А у. Бескайты, погодите-погодите...

Ю л я. Бескайты бывают кви, это метвицы, пулы. А бывают цветовой, это габрио и другие там.

А у. Какие?

Ю л я. Да тебе все равно ни к чему.

А у. Да почему, у меня подруга на Козьих островах.

Ю л я. На Козьих еще не появились. На Гибралтаре есть.

А у. Да у меня полно подруг.

Ю л я. Ну так вот, проглотить, сначала ничего. А потом начинается...

А у. Хорошее состояние?

Ю л я. Это из другой оперы. При этом может быть какое угодно состояние. Но ни один мимо тебя не пройдет, поняла?

А у. Приворотное такое зелье?

Ю л я. Зачем зелье. Фармацевтические таблетки. Патент. Но всем не продают.

А у. А кому?

Ю л я. Отдельным.

А у. Разве не все равно кому продавать? Как говорится, были бы мальро.

Ю л я. При чем тут мальро? Мальро – это квадратный метр по-ихнему.

А у. Вы сказали креслице в два мальро, я помню.

Ю л я. Я сказала, креслице в два мальро площадью, то есть большое, никто со своим креслом не приблизится. Все равно как на скамейке сидишь одна. Твоя личная скамейка.

А у. Ну погодите, Юля. *(Сдаваясь окончательно.)* Так сразу много информации. Что такое бескайты все-таки?

Ю л я. Это сразу не понять. Это дает красоту. Причем не сразу, а неожиданно.

А у. А почему не всем продают?

Ю л я. А как по-твоему, если все вокруг женщины станут красивыми, это ведь тогда будут обращать внимание на кого? На некрасивых, правильно? По психологии. Поэтому эти бескайты распространяют из-под полы. Не всем. Если тебе предложат, соглашайся сразу, больше в другой раз не предложат. Они формируют постоянную клиентуру, потому что, если женщина хоть час была красивой, она хочет быть красивой весь день и даже год.

А у. Значит, они берут женщину на удочку и водят как хотят.

Ю л я. Как хотят и даже больше. Поэтому так предупреждают: осторожней с метвицами! Но Бульди всё нипочем. Она постоянная бескайтщица.

А у. Бульди?

Ю л я. Стерва редкая. Вся на бескайтах. Рано состарится.

А у. А вы бескайтами не пользуетесь?

Ю л я. Мне лично предлагали шесть раз.

А у. Вы не соглашались?

Ю л я. Они обращаются, по психологии, к тем женщинам, которые по внешнему виду уже на бескайтах, как они думают. Понимаешь? Понимаешь меня?

А у. Что-то слабо.

Ю л я. Ну, они подходят к женщинам, которые по внешнему виду как бы уже приняли. То есть понимаешь.

А у. Не совсем.

Ю л я (*понижив голос*). К уже красивым.

А у. Ну понятно. Ну понятно. А когда примешь, интересно стать красивой?

Ю л я. Бульди вся так и ходит ходуном. Сразу видно, ей в новинку, интересно.

А у. Бульди? Уже несколько раз упоминали вы. Это кто?

Ю л я. Это стервозина большая.

А у. Да что вы.

Ю л я. Ты ее увидишь, может быть, если она только сама зайдет за кофром.

А у. Она тут живет?

Ю л я. Они вместе со мной приехали, в одном купе даже.

А у. Они? А кто еще?

Ю л я. Да они все.

А у. Понятно. Да, господа, как интересно жить! Как вам интересно жить! Как я вам завидую, Юля! Повидать весь мир! В таком еще сравнительно молодом возрасте! И такие туалеты, и такая внешность! Вам все Бог дал, Юля. А я сию снимаю вашу квартиру. Ехать полтора часа до работы. Приедешь вечером, кофейку выпьешь — и спишь, и спишь. От кофе спишь! Хожу в отрепьях. Почему — потому что лень бегать искать.

Ю л я. Деточка, везде есть свое, слезами залит мир безбрежный. Ты вот думаешь — пышная красotka, всё высшего близа, клайкеры, бопсы, все твое, пока по улице идешь, глазами всю тебя оценят, не поймут, что к чему, но поймут, что им-то как до небес. А на самом деле всё всего стоит.

А у. Юля, у меня к вам будет громадная просьба. Не знаю, как начать. Просто неудобно.

Ю л я. Да?

А у. Не могу, язык не поворачивается спросить... Вы привезли что-то на продажу?

Ю л я (*успокаивающе*). На продажу — нет, детка, что ты. Если я еще буду торговать... Нет. Я привезла только подарки матери, сестре, брату, портнихе, подругам. Торговать-то нет.

А у. Ну буквально не в чем ходить. Смешно? А вы во мне такие комплексы развиваете: шампуни, лаки, всякие мазилки. Реветь хочется.

Ю л я. Единственно что, может, подруги что-то не возьмут... Хотя я сомневаюсь. Они всё подметают.

А у. Конечно, мы ведь с вами чужие, случайные люди, я у вас квартиру снимаю, и всё.

Ю л я. Надо вам поступать на курсы иномашинисток. Там, правда, принимают исключительно своих: жен, дочерей и тэ пэ. Три года учебы — и страна.

А у. Три года — долго.

Ю л я. А быстрее — это только выйти замуж. Но предупреждаю: это очень нелегкое житье, жена в посольстве. Маленький коллективчик.

А у. Спаянный, понимаю.

Ю л я. Не в этом дело. Требуется особая способность к уживчивости все-таки.

А у. Так и быть. Выхожу замуж. Хорошо, уговорили вы меня.

Ю л я. Я тебя не уговариваю, я не сваха. Ненавижу сводить. Было дело, свела сама однажды свою приятельницу с мужем, какой год теперь расплачиваюсь.

А у. С каким мужем?

Ю л я. Да с каким с каким, со своим. Поняла теперь — детка?

А у. И что теперь?

Ю л я. То же самое и теперь. Вот эта самая Бульди. Прицепилась к нам, как банный лист до хоны.

А у. Понятно.

Ю л я. А как же. Никто ничего не знает, внешне она моя самая лучшая подруга. Все общее.

А у. И вы это терпите?

Ю л я. Не то слово. Еле терплю. Мало того что она с нами в одной квартире поселилась. Это мало. Меня еще в проходную комнату засунули. Во как! Какие бывают парадоксы! Сплю прямо на ходу. А если куда ехать, то Бульди — лучшая подруга Юли, неразлучная троица.

А у. Она иностранка?

Ю л я. Да нет, она Бульдина по фамилии. Так ее муж прозвал, Бульди. Видно, потому, что она на бульдожку похожа. Кривоногая.

А у. Не знаю, может, вам лучше развестись с ним в такой ситуации? Я вот развелась со своим мужем, не утерпела.

Ю л я. Развестись и вернуться сюда? А кто я здесь буду, откровенно говоря? Младший продавец четвертой категории? С весов торговать? Я же уехала с восьмью классами. Трезво-то рассуждая.

А у. Зато вы теперь их язык знаете.

Ю л я. Трезво рассуждая, я на нем неграмотная. Могу только сказать что-нибудь в магазине и на улице, кишкильды манту. Особенно не распространяюсь. Так только. И не читаю. У меня активный запас слов. А кто читает на языке, у того пассивный. А у меня активный. Говорю без словаря. Смотрю в словарь и не читаю.

А у. Но ведь сколько приходится терпеть! Я вот по себе помню...

Ю л я. Там я терплю, а здесь что, не буду? Тоже потерплю. Эта квартира на мужа записана. Кто я без мужа буду? С полкомнатой, что ли?

Дальше, если у него будет развод, его сразу отзовут, и Бульди тоже. И они сюда приедут, и я. Значит, друг у друга на головах тоже придется сидеть. Сколькo-то времени. Только с той разницей, что сидели там, а придется сидеть здесь.

А у. Вот-вот, то же самое было и у меня. Образовалась такая же ситуация, они сразу крик: развод, развод!

Ю л я. Муж мне заикнуться о разводе не дает. Свирипеет. Он тяжелый человек, ему ничего не докажешь.

А у. Какой все-таки ужас эта жизнь!

Ю л я. Вот в отпуск приезжаем как будто вместе, а они едут к Бульдиной матери, а я сюда. Отдыхаем врассыпную.

А у. Вот и походите теперь по знакомым, по родственникам. Все будут рады, не с пустыми руками. Вот вам и слабое утешение.

Ю л я. Поверите? Единственное утешение. Только этим и живу круглый год. А Бульди с мужем моим там, у матери, у внебрачной тещи.

А у. Я понимаю.

Ю л я. Смешно, у нас это дико сказать, а в Агабаре по пять жен имеют. Ведь знаете, детка, каждой жене лучше быть пятой, чем никакой.

А у. Но там же у них равенство, равенство жен! Не то что у нас: раз новую жену завел, старую гони в три шеи.

Ю л я. Вот и сразу видно, детка, что вы нигде не были. Равенства нет вообще и нигде. Понятно? Одна жена старая, а четверо других всё моложе и моложе.

А у. А у вас кто старше — вы или Бульди?

Ю л я. Она выглядит как развалина. Она все время на бескайтах, почему я их и боюсь принимать. Год идет за два. Быстро стареют. Боюсь, что мужу скоро поновее надо будет жену. Вот смех-то, Бульди так никогда и не получит штамп в паспорте. Не все мне в Андстрем мотаться, и она посидит на креслице ночку. Как я сижу сплошь да рядом. Один раз я обиделась, ушла. Так им это понравилось. А теперь вот пусть сама посидит переживает.

А у. По-моему, кто-то дверь ключом открывает.

Ю л я. Точно, сейчас Бульди припрется за своими тряпками, не вынесла. Боится, что я в ее кофре шевыряться буду.

Входит Бульди.

Бульди. Бедзи эконайз, чурчхелла.

Ю л я. Чурчхелла, чурчхелла. Фамачурчхелла.

Бульди. Бедзи эконайз, пинди.

Ю л я. Фама ты пинди. («Фама ты пинди» произносится как «сама ты пинди».)

Бульди. Чурчхелла пинди.

Юля (*живо*). Фама чурчхелла пинди. Суперчурчхелла, суперпинди. Вот, познакомьтесь, это Аурелия, это девушка, которая снимает у нас квартиру. А это Бульдина, моя подруга.

Ау. А, вы Бульди, я о вас много слышала, очень приятно. Будем знакомы, меня зовут Аурелия, сокращенно Ау.

Бульди. Аурелия пинди.

Юля. Это она сказала — какая приятная девушка Аурелия.

Ау. Можно Ау.

Бульди. Ау чурчхелла пинди.

Юля. Она говорит, Ау приятное имя приятной девушки. Фама ты чурчхелла.

Ау. А я что скажу: Бульди пинди, Бульди пинди!

Бульди (*свирепя*). Как? Как произнесла?

Ау (*быстро*). Бульди пинди чурчхелла, суперпинди, суперчурчхелла. Я, знаете, очень способная к языкам, просто как попугайчик, сразу схватываю. Язык красивый, похож на валайский.

Бульди. Юля, шипши кофр?

Юля. А ты по-русски говори, тут люди.

Бульди. Где кофр, чурчхелла? Мой кофр?

Юля. Я за тебя его волокла, теперь сама ищи, он в прихожей подо всеми чемоданами.

Бульди выходит.

Ничего, сейчас она кофр заберет и смотается, мы с тобой, как люди, кофе попьем.

Бульди входит.

Ау. Давайте я вам помогу.

Бульди (*Юле*). Пойди вниз, встретить Мая. Он с вещами у такси стоит.

Юля. Почему это?

Бульди. Все ей надо. Почему-почему. У нас в квартире капитальный ремонт санузла. Мама даже у сестры живет. Как раз к нашему приезду все затопило. Везде кашпо плавает.

Юля. Вот так всегда. Все должна Юля делать. Без Юли никуда. Без Юли полное кашпо. (*Выходит.*)

Бульди. А вас, девушка, мы попросим. Придется попросить.

Ау. А куда, мне некуда пока.

Бульди. А куда прописана, туда.

Ау. Я? Я прописана у бывшего мужа. Там жена и ребенок.

Б у л ь д и. Девушка, не помню, как звать, Уа, что ли, мы ведь приехали на месяц. Ну сами поймите, это наша квартира, что же мы должны терпеть еще одну бабу?

А у. Можно я на кухне переночую? Я завтра же найду себе новую квартиру. Буду искать, короче говоря.

Б у л ь д и. Это не будет. Никакой кухни. А потом вы еще не найдете квартиру, опять сюда придете? Зачем нам это нужно, Уа какая-то.

А у. Что же вы будете, выкидывать меня, что ли? Ночью тем более. Я заплатила за этот месяц.

Б у л ь д и. Я посмотрела, какой пол в прихожей. Так девушки не по-ступают. Кофры стоят на кашпе. Весь пол загабуканный.

А у. Да вымою сейчас.

Б у л ь д и. Ты сколько здесь живешь? А сколько не моешь? В чужой квартире?

А у. Я в ванной переночую, можно?

Б у л ь д и. Ну что, с милицией тебя выводить? Честное слово.

А у. Ну что вы! Надо же было предупредить!

Б у л ь д и. Я своих не предупреждаю, а чужих буду. Свою маму не предупредила, а тебя телеграммой. Незнакомая Уа, кындырбыр. Вот сейчас придет мой муж, ты дождешься. *(Подстывает к Ау.)*

А у. А вы здесь не живете!

Б у л ь д и. Я? Я не живу? Вот придет муж, узнаешь, где я живу.

А у. Он вам не муж.

Б у л ь д и. Мне? Кому, мне? Мне не муж?

А у. Он Юлин муж, чего там. Я знаю.

Б у л ь д и. А я Юлина подруга родная, поняли? Я к подруге приехала, и всё.

А у. Еще наскакивает. Прямо на комод прет. *(Передразнивая.)* Это комод? Это комод? Мне некуда идти, понятно? Муж со мной разошелся, когда я в больнице лежала, ребенка потеряла. Выхожу, а он уже новую женку завел, у него к ней новое чувство.

Б у л ь д и. Да что мне, больше всех надо, что ли? *(Роется в сумке, глотает таблетку.)* Воды!

А у. Вода направо, вторая дверь.

Б у л ь д и уходит. Входит М а й.

М а й *(видит Ау)*. Какая прелесть! *(Ставит чемоданы.)* Какая прелесть! Кто вы?

А у. Добро пожаловать, пинди.

М а й. Какие слова!

А у. Я способная, кындырбыр. Как услышу, сразу запоминаю. Пинди, чурчхелла, кашпо.

М а й. Так и сказали? Прямо при вас? Нну... А вы как при том оказались?

А у. Я тут снимаю квартиру.

М а й. Все ясно. А кто разрешил?

А у. Юля сдала.

М а й. Юля у нас известная чурчхелла.

А у. Юля кашпо.

М а й. Какая даровитая девушка, сразу поняла всё. Как мы с вами жить будем?

А у. Уже решили — я в ванной.

М а й. В ванной такой девушке не годится.

А у. Я в кухне переночую, на полу.

М а й. В кухне газ, раковина, не годится. Такой девушке не подходит.

А у. Тогда где же остается, в прихожей?

М а й. В прихожей чемоданы, грязь. Мы будем об вас беспокоиться.

А у. Но с вами я спать не буду, это решено.

М а й. Согласен. С нами ты спать в комнате не будешь. Такое дело. Сама понимаешь.

А у. Ну вот, уж думайте, куда меня засунуть. У меня муж ведь меня бросил...

М а й. Мой совет хочешь? Езжай на вокзал.

А у. Мой муж меня бросил, когда я была в больнице и там потеряла ребенка, и женился на другой.

М а й. Нехорошо, развод — это больно.

А у. Что теперь поделаешь. Конечно, больно. Вот завтра пойду искать квартиру, чтобы вам не помешать, у вас своя семья. Так что уж поживу с вами немножко, если не возражаете.

М а й. Сколько же немножко?

А у. Ну немножко.

М а й. Час? *(Подступает к ней.)* Или час пятнадцать?

А у. Меня Бульди ваша знает! Ой, Бульди! Она все знает! Бульди!

Входит Бульди.

М а й. Ты узнаешь эту шиншиллу?

А у. Она узнаёт, она узнаёт. Ну говори, говори, меня же зовут Уа. Она так меня называет: Уа. Надо наоборот. А у. Мы с ней так друг друга называем.

Бульди. Я подруга Юли. И всё.

А у. Ну как же, как же, мы же с тобой говорили, ты вторая жена Мая вот твоего, у Мая две жены: Юля и Бульди.

М а й. Какая прелесть! Надо же! А ну-ка, шиш из моей квартиры!

А у. Бульди, ну скажи ему... Скажи хоть ты ему... Что же такое происходит!

Б у л ь д и (*восклицает*). Кто я, кто он, кто я ему, кто он мне?

А у. Ты ему любовница, он муж двух жен.

М а й. Ну-ну, ты с фонарем над койкой не стояла.

Б у л ь д и. А это Юлька ей наговорила, накидала фактов из жизни.

М а й. А это шантаж! Никому никакого ничего до этого нет! Ты хочешь ночевать? Переночуешь во всем казенном, я заявлю в милицию, случай шантажа.

А у. А вы ничего не докажете. Нет шантажа. Вам невыгодно эту грязную историю распространять.

М а й. Нет шантажа, будет попытка ограбления шмоток. Тебя поймали.

А у. Кто да кто?

М а й. А у нас есть безмолвный свидетель, подруга моей жены Бульдина М. К., случайно оказалась с нами вместе, сослуживцы из далекой страны.

А у. Нехорошие какие! Я от вас уйду! (*Собирает вещи.*)

М а й. Ну! Ты еще почище нас! Шантаж — уголовно наказуемое преступление!

А у. А ты один с двумя женами!

Б у л ь д и. Он с одной, с одной, со мной одной!

А у. Женат на одной, живет с иной!

М а й. Женат на одной и живет с одной.

А у. Но с разными!

М а й. Так сложились жизни пути. Но я одноженец! И однолюб!

А у. Вы двоелюб!

М а й. А это не считается! Я одноженец!

А у. Вы живете с одной, а любите другую! Это подлость!

Б у л ь д и. Он и живет со мной, и любит со мной!

М а й. С тобой одной! С тобой одной!

А у. Вот и проговорились! Согласились с моим мнением.

М а й (*после паузы*). Кишкильды?

Б у л ь д и. Ум.

А у. Обманули дурака на четыре кулака! Я сейчас уйду! Но, поверьте, вам от этого будет только хуже! Вы мне хуже, и я вам хуже! Я вам такое дело устрою, жалобную книгу будете просить!

М а й (*обращаясь к Бульди*). Рембо?

Б у л ь д и. Бурда.

М а й. Шантэ кранты!

Б у л ь д и. Фам шантэ!

М а й. Блю дура брамс, шантэ камю рублей.

Б у л ь д и. Би-би-ти ушанка полкило.

М а й. Ушанка дура рублей.

А у. Спасите! Спасите! Убивают! Пожар!

Входит Ю л я.

Юля! Спасите! Они меня договариваются убить, я поняла! Печень мою съесть! Торс выбросить, а ноги под трамвай, инсценировка!

М а й. Эленуум.

Ю л я. Нет, нет, он говорит, он тебе будет привозить все для тебя и для твоих друзей. Дублинку привезет. А что происходит?

М а й. Хурды-мурды.

Ю л я. Я? Я ничего ей абсолютно не говорила, Ау, правда? Да о нашей жизни все давно все знают, нашли тоже чего скрывать! Мало ли кто как живет? Вон Лев Иванович живет с мумией кошки, что его, тоже разводить? Вы чего испугались?

М а й. Хурды-мурды почтамп.

Ю л я. Ну можно же договориться! И ничего она не напишет! Зачем ей это, она у нас будет ходить как онассисы. Дублинка из крота! И еще я что дам! На, прими таблетку, ту таблеточку, которую ты просила!

А у. Так просто вы меня не отравите!

Ю л я. Тогда я приму!

М а й. И я.

Б у л ь д и. А я давно приняла, но из-за этой хоны все никак не проглочу.

А у. Вода направо вторая дверь.

М а й. Не знал этого о собственной квартире.

А у. Всё, я ухожу от вас.

Ю л я. Ну подожди, посмотри на меня! Воспользуешься случаем. Сейчас, сейчас! Не уходи, тебя я умоляю.

Б у л ь д и. Ффух, ффух. Глубокие выдохи.

Ю л я. Ну как?

М а й. Как пошла-а...

Б у л ь д и. Проглотила, но не пошла еще.

М а й. У меня пошла-а...

Б у л ь д и. Нет, у меня не пошла.

А у. Ладно, дублинку.. Бумажный трикотаж... Сапоги... Косметику... Белье, только не синтетику. Синтетику мне не давайте, не возьму.

М а й. До сердца доходи-ит...

Б у л ь д и. У меня еще нет.

Ю л я. Вот! Вот!

Б у л ь д и. До зубов! До корней волос!

А у. Спортивное всё... Куртка, брюки вельвет... Маечки... Комбинезон...

М а й. Май прекрасен, люблю грозу в начале мая! Май свеж, душист!

А у. Шарф длинный, кофта длинная, крупной вязки... Понятно? Перчатки лайковые, зеленые, сумка лайка, сапоги хром на каблуке. Я лучше давайте запишу. Шаль как у Абрамовой.

Ю л я. Думают, я хуже всех. Юля — бог! Юля не хуже никого! Пусть годы проходят в красоте! Юля юна! Всё. Я предупредила. Пеняйте на себя.

Б у л ь д и. Если уж так, то Бульди анданте!

М а й. Меня надо любить! Про Мая скажи. Май всегда говорит: Май самый лучший! И что же? Май оказался прав.

Б у л ь д и. Май пшено.

М а й. Нет! Нет! Не это! Ты не веришь бескайтам! Им нельзя не верить! Я неотразим!

Б у л ь д и. А я что, отразима, что ли? Я тоже на бескайтах! Денег стоит! И не наших рваных!

А у. Так, записываю. Духи: Франция, книги: Тулуз-Лотрек, все импрессионисты. Детективы: Америка. Аппаратура: хай-фай, квадрофония, как у Левина. Музыка! Графика Пикассо, альбом эротики, Шагал, репродукции.

М а й. Следующий этап! О! До сердца дошло! До буфов! Девочки мои!

Б у л ь д и. Май прекрасен! Май в зеленеющем Подмосковье!

Ю л я. Мои детки! Как вы красивы в этот осенний час! Вы анданте!

Б у л ь д и. Юля, ты ангел, как ты нас терпишь, в проходной комнате, одна среди криков!

М а й. Юля, ты наше взаимное счастье! Мои дорогие куры! *(Поет.)* А я один сижу на плитуре и вдруг смотрю, три курочки идут! Первая впереди, вторая за первую, а третья позади, качая головою!

А у. Сейчас, сейчас. Билеты на Таганку, Новый год в Доме кино! Абонемент в отдел редких книг... Всё о декабристах срочно! Русские церкви! Интересная высокооплачиваемая должность! Бах, Вивальди, пластинки! Маленькая ночная! Как у Лошади!

Ю л я. Все что-то бормочет наша жилища... Дурочка глупенькая, как я ее обожаю в это время! Ау!

В с е. Ау! Ау! Ну, Ау!

Ю л я. Я тебе постелю, ты устала... Мы втроем уместимся на полу, а тебе тахта! Подставь щеку! Подставь другую!

А у. У меня ничего в жизни нет. Нет ни угла, ни тряпок... Ни мужа... Ни ребенка...

В с е. Понимаем, наша детка бедная. Поспи, ляг, усни... Мы тебя, малюточку, так любим в этот час! Анданте, анданте, анданте!

А у. Сейчас, еще минутку, запишу. А то забуду. Фарфор «Кузнецов и сыновья»! Дом на набережной! Машина! Машина времени! Поездка на воды! Фрегат Паллада! Сына!

В с е. Бедная наша, набурмушилась... Пипетка наша... Иди к нам, будем распевать на четыре голоса!

Ходят хороводом.

# КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Коломбина

Пьеро

Арлекин

Коломбина и Пьеро за столом.

Коломбина. Вы извините, что у нас не убрано.

Пьеро. Что вы, что вы. Мы люди искусства...

Коломбина. Кровать как шарикова нора...

Пьеро. Я понимаю. Некогда.

Коломбина. Хоть убирай, хоть не убирай... Все равно кто-нибудь в гости заявится... Вот просто специально я вам могу показать, пойдете...

Пьеро (*кивает, но с места не двигается*). А где ваш муж?

Коломбина (*медленно*). Какой... муж?

Пьеро. Ваш.

Коломбина. Мой... муж?

Пьеро. Я человек в театре новый...

Коломбина. Я не замужем, вы что.

Пьеро. Давно?

Коломбина (*считает в уме*). Уже неделю.

Пьеро. А где он?

Коломбина. Он? Пошел в магазин.

Пьеро. За чем?

Коломбина. За капустой.

Пьеро. Ну, всего вам доброго. (*Встает.*)

Коломбина. Сядьте. Он пошел за капустой и за гречневой крупой.

Пьеро садится.

И за мандаринами.

Пьеро начинает есть. Сладко.

Как вы медленно едите.

Пьеро. Я с самого утра ничего не ел. (*Смотрит на часы.*) Ой, уже два часа! Мне в три на релетицию. Да еще внутренне собраться!

Коломбина. Да вы пейте, пейте! Репетиция раньше шести не начнется.

Пьеро (*пьет*). Я с утра ничего непил. А почему раньше шести не начнется?

Коломбина. А кто ведет?

Пьеро. Арлекин.

Коломбина. Ну. А он где?

Пьеро. Не знаю. Дома.

Коломбина. Ой, какой вы новый человек в театре! Он давно уже ушел из дома!

Пьеро (*вскакивает*). На репетицию?

Коломбина. Чудачок! Ко мне.

Пьеро (*выходит из-за стола*). Давно?

Коломбина. Да уже месяца два будет. Садитесь.

Пьеро (*садится, медленно встает*). У меня репетиция в три. Тут важен внутренний настрой. Я очень уважаю Арлекина. Его репетиции — это моя любовь. И я очень уважаю вас.

Коломбина (*с расстановкой*). Не на-до.

Пьеро. Нет, я вас очень уважаю, Коломбина Ивановна. Вы нам как мать.

Коломбина. Кто это уже вам наплел, интересно.

Пьеро. Увидите его, передавайте привет. Большой, горячий.

Коломбина. Увижу — передам. Но ведь он пошел за капустой и за гречневой крупой.

Пьеро (*садится*). Господи, какое же это все-таки волшебство — театр. (*Ест.*)

Или вот, например, возьмите балет. Или возьмите пантомиму.

Коломбина. Вот и я ему сказала: возьмите гречневой крупы! А он взял, закатился в кулинарию, взял гречневой каши, взял вареной капусты! И рад. Как будто мы на гастролях! И простоял два часа в очереди как дурак!

Пьеро. Что?

Коломбина. Ведь эти вареные тряпки в три раза дороже. То же самое можно прекрасно изготовить дома из природного сырья.

Пьеро. Вы — хорошая хозяйка.

Коломбина. Вот у меня прошлый раз муж был — что за мужик! Где ни сделает, там вылижет! А этот повадился в кулинарию. Быстро туда — через два часа быстро назад. Видите ли, захотелось ему домашенького, котлет. У меня соседи этими котлетами собаку кормили. По-кормили, ничего понять не могут. Вызвали ветеринара. Он собаке искусственное дыхание сделал, говорит: эти котлеты сами ешьте, а собаке это вредно.

Пьеро. Ну, спасибо вам на добром слове, уже два часа, я тронулся.

К о л о м б и н а. Как раз с двух до трех в кулинарии перерыв на обед. А товар привезут в полчетвертого. Из их ресторана отходы. Он освобождается не раньше шести.

П ь е р о (*садится*). Сколько вкусных вещей!

К о л о м б и н а (*вздыхая*). И вино хорошее. Пейте, пейте.

Пьеро ест и поет.

П ь е р о. Но вы все равно передайте ему мой большой и горячий привет, когда он придет.

К о л о м б и н а. Вы настаиваете?

П ь е р о. Очень!

К о л о м б и н а. Хорошо. Передам.

П ь е р о (*перестает есть, думает*). Или не надо.

К о л о м б и н а. Да нет, чего там. Передам. Он спросит, почему это я передаю привет от вас — ему. Большой и горячий — я верно запомнила?

П ь е р о. Хорошо, не надо.

К о л о м б и н а. А я ему должна буду признаться, что вы меня навестили с букетом цветов.

П ь е р о. Каких там цветов, я такой недогадливый. Вы мне — помните — сказали, что вы ответственная за работу с молодыми и чтобы к вам по творческим вопросам обращались на дому, потому что вы будете валяться с мигренью.

К о л о м б и н а. Я буду вынуждена сказать ему, что все-таки вы пришли с цветами. А он не любит цветов, приходит: «Опять цветы, да что же это такое! Опять кто-то был!»

П ь е р о. Вот я и без цветов. Нет цветов!

К о л о м б и н а. А я ему скажу: пришел этот мальчишка с цветами, а я эти цветы выбросила.

П ь е р о. Куда?

К о л о м б и н а. А за окно!

Пьеро кидается к окну, выглядывает, Коломбина тоже идет к окну и, обняв Пьеро, смотрит вниз. Стоят неподвижно.

П ь е р о. Там нет цветов!

К о л о м б и н а. Надо же, какой народ пошел вороватый! А ведь были розы.

П ь е р о. Какие розы?

К о л о м б и н а. Какие? Две красные, три розовые, четырнадцать белых.

Пьеро вырывается, поправляет рубашку.

Жалко было, но что делать? Мальчишка пылкий, еще возьмет чего в голову.

Пьеро. У меня зарплата семьдесят рублей, какие розы, вы что?

Коломбина. Надо же, всю зарплату угрохал на розы! Милый! Ну и могла ли я после этого его выгнать? Я накрыла стол, он сел и все сожрал. Все вино выпил. Колбасу съел. Сыр тоже. Яблок девять штук было.

Заглядывает в пустую тарелку. Пьеро тоже.

Как раз вчера мой-то по магазинам бегал, купил яблок, сыру, колбасы. Сегодня вечером после спектакля одна датчанка придет... А я еще его погнала за капустой, гречневой крупой... Говорю, угостим ее чисто русским ужином — щи, каша, мандарины... Закуска ведь уже куплена. (Смотрит в пустую тарелку.)

Пьеро. Ха-ха-ха! Была закуска да сплыла! Как смешно!

Коломбина. Привет ему передать? Ха-ха! Большой? Горячий?

Пьеро. Ну не могу! Ха-ха! Ах вы какая! Ну вы прелесть! Ну-у, вы сплошное очарованье!

Коломбина. Ха-ха-ха! Привет тебе от сыра и от колбасы!

Пьеро. Ну, вы красавица! (Смеется.) Ну, вы гармония, ну, диво!

Коломбина. И от французского коньяка привет!

Пьеро (перестал смеяться). Я пил «Ркацители», вы что?

Коломбина. И от коробочки конфет «Вечерний звон»! Да? (Смеется.)

Пьеро (бледно улыбается). Придумщица! Вы фантаст! Ха-ха! (Поникает.) Ну, ничего. Я молодой специалист. Меня не могут уволить по закону три года. Нам в училище говорили.

Пауза.

Коломбина. Что-то меня знобит! Я вся дрожу!

Пьеро. Так и так мне ролей не дают. Одну роль дали, котика с усами, играть по воскресеньям с десяти утра, для младшего дошкольного возраста. Голова трещит, глаза слипаются, дети по рядам бегают...

Коломбина. Послушайте, как у меня бьется сердце.

Пьеро. Я пошел. Скоро кулинария откроется, репетиция начнется.

Коломбина. Мандарины, мандарины же, вы забыли? Ему еще бежать за мандаринами. Какой вы смешной! Какая у вас рука большая! Давайте померяем, у кого ладошка больше, у вас или у меня?

Сравнивают ладони.

Пьеро (капризно). Я хочу сыграть Гамлета.

Коломбина. Гамлет — это возрастная роль. От пятидесяти.

Пьеро. А тогда я хочу сыграть Ромео.

Коломбина. Ишь какой! Я играю Джульетту, а он сразу Ромео! Да я, чтобы пробиться, семнадцать лет ждала эту роль! Нашелся какой Ромео. Ромео — возрастная роль.

Пьеро (*капризно*). А я хочу Ромео!

Коломбина. Ну давайте порепетируем. Ты здесь, я здесь. Ты кладешь руку на грудь. (*Прислоняется к плечу Пьеро.*) Раз-два, начали! Пошел!

Пьеро кладет руку себе на грудь.

Какой вы еще молодой член нашей труппы! Нельзя все время думать о себе! Это эгоизм! Общайтесь, общайтесь!

Пьеро (*отодвигаясь*). Лучше давайте я буду Гамлет!

Коломбина. Я чувствую, что я уже стара для вас.

Пьеро. Вам сколько?

Коломбина (*после паузы*). Мне уже двадцать шесть.

Пьеро (*поникая*). Да, вы уже пожили на свете...

Коломбина. Ладно. Только вам я открою тайну. На самом деле мне... Это я себе увеличила возраст, когда была в пятом классе. Мне было тринадцать, а я сказала восемнадцать. Чтобы меня приняли в театр. Я уже тогда выглядела старше своего возраста.

Пьеро. А паспорт не спросили?

Коломбина. А это был театр-то областной передвижной гастрольный в городе Талды-Курган. И потом, кажется, паспорта ввели позже.

Пьеро. А я всегда был моложе всех в классе. Мест в детском саду не было... Меня отдали в школу трех лет... И с тех пор все девочки не мои. Им со мной неинтересно. Сами посудите: мне три, ей семь... Я меньше всех... Борода еще не растет...

Коломбина. Зато у вас роскошные усы!

Пьеро. Это я наклеил.

Коломбина. Ничего, ничего. Хватит трепаться, репетируем! Вы здесь, я здесь. Вы Ромео, я Джульетта. (*Кладет голову на плечо Пьеро.*)

Пьеро. Мне усы мешают.

Коломбина. А вы их снимите пока.

Пьеро. А я их стеклопластиком приклеил. И смолой эпоксидной. Они на неделю привариваются. А то они во сне отпадают. А я живу в общежитии, за всем не углядишь. Усы хорошие, новые. А то, сказали, с меня за усы вычтут.

Коломбина. Ну хорошо, неугомонный! Играйте с усами.

Пьеро. Это будет сценическая ложь. Ромео ведь четырнадцать лет, у них в этом возрасте усы не такие пышные.

Коломбина (*теряет голову*). Ну хорошо, ну хорошо, давайте я буду Ромео, а вы Джульетта. Раз я вас старше, ладно.

Пьеро. Это опять будет сценическая ложь. В те времена девочки еще не носили брюк.

Коломбина. Вот вам мое платье.

Бжит, приносит платье, бюстгальтер довольно большого размера, пояс с чулками, трико. Вешает все на ширму. Пьеро заходит за ширму.

Пьеро (его голова видна над ширмой). А где дают мандарины?

Коломбина. Да успокойтесь, за городом, в ресторане «Зугдиди». Если хотите, я вернусь.

Пьеро переодевается. Вешает на ширму носки, брюки, трусы, рубашку. Берет с ширмы поочередно пояс с чулками, бюстгальтер, платье... Коломбина пудрится, глядя в довольно большое зеркало, спиной к ширме. Пьеро появляется над ширмой.

Пьеро. Нет... Я не могу. Джульетта не может быть с усами. Это будет сценическая ложь.

Коломбина. Тьфу ты, господи! Ну, вот у меня есть немного спирту, специально берегла для датчанки как национальный русский напиток. Я сейчас вам отмочу.

Заходит за ширму. Слышен стон Пьеро и его крик: «Ой, больно!» Входит Арлекин. У него в руке авоська.

Арлекин (*кричит*). Коля! Коля! Коломбина! Гречки нет, я купил манки! Сварим датчанке манку, тоже чисто русская каша! Капусты нет, я купил костного жира, у них там небось этого нет! Мандаринов нет, я купил свеклы! Кулинария закрыта на санитарный день, выводят тараканов! Где ты? (*Видит висящую на ширме мужскую одежду.*) Где вы? (*Заглядывает поверх ширмы.*) А!

Коломбина (*поверх ширмы*). Это зашла ко мне дочь подруги. Она так выросла!

Пьеро выныривает над ширмой. Он с усами, в парике. Коломбина закрывает Пьеро усы ладонью.

Арлекин. Дочь? А почему усы?

Коломбина. Это она баловалась. Понимаешь, приклеила усы стекловатой... Девочки, они всегда хотят стать мальчиками. Прибежала ко мне за помощью. И вот мы отмачиваем сидим.

Арлекин. Почему за ширмой?

Коломбина. Так сложилось. *(Убирает с ширмы брюки, трусы, рубашку.)* У вас, говорит, актеров, есть чем отмотить. Сидим как две дуры. *(Снимает с ширмы носки.)*

Арлекин. Да я просто так отклею!

Протягивает руку, Пьеро ныряет за ширму.

Да ты не бойся, дочка! Что? Что говоришь?

Коломбина. Она говорит, через неделю само пройдет. Стесня-ется.

Арлекин. Колюня, а как ее звать?

Коломбина. Как ее звать? Как тебя звать? *(Наклоняется, исчезает за ширмой.)*

Арлекин. Маня? Ваня?

Пьеро *(выныривая, прикрыв усы рукой)*. Не понял.

Арлекин. Значит, Ваня. Что-то лицо твое мне знакомо, Ванька.

Пьеро. Ах нет, что вы. Меня зовут Маня.

Коломбина выводит Пьеро из-за ширмы, он в ее платье, в туфлях.

Коломбина. Знакомьтесь. Это дядя Арлекин. Это Манюра.

Пьеро протягивает руку как для поцелуя.

Арлекин *(крепко пожимает руку Пьеро, тот в ответ жмет еще сильнее)*. Усы твои мне где-то в глаза бросились.

Пьеро. А я в театр всегда первая прихожу. Я все ваши спектакли видела.

Арлекин. Ты зритель, что ли?

Пьеро. У вас блестящая зрительная память. Поздравляю.

Арлекин. У меня вы все на счету, все пятнадцать человек.

Пьеро. Вчера было восемнадцать, я считала.

Арлекин. Вчера, махнула! Вчера был аншлаг! Пьеса молодого драматурга шла, запрещенная! Долго в списках ходила! «Горе от ума».

Пьеро. Да, там еще он ей как даст! Она: «А-а-а!» А он так: «Ой-ой-ой!» Дальше — благим таким матом.

Арлекин. А ты в театр тоже с усами ходишь? Мне твои усы запали.

Пьеро. Да я их приклеила неделю назад. Говорят, эпоксидка только через неделю отпускает. А если отмачивать — через семь дней. И самое интересное, что приходится мужской костюм носить. Чтобы не засмеяли. И вот только здесь я решила переодеться. Тетя Коля дала. И я переоделся. Видите, я себя уже в мужском роде назвал.

Арлекин. А что вы тут делали?

Коломбина. Видишь ли...

Пьеро. Мы репетировали. Я мечтаю о театре.

Арлекин. Кто кто?

Коломбина. Я Ромео, он Джульетта.

Арлекин. Сценическая ложь. Джульетта с усами? Не верю.

Коломбина. Вот мы их и отпаривали за ширмой.

Арлекин. А ты-то почему Ромео?

Коломбина. Да? А я, как Сара Бернар, раньше в молодости всегда мужские роли играла. Снежок, Димка-Невидимка, Том Сойер, Павлик Морозов. Меня школьницы всегда у служебного входа с цветами встречали. Записки писали: «Дорогой Маленький принц! Жду тебя у входа в белой шапке с ушами». А у меня уже дети взрослые были... Внуки. В армии. Смешно! Здесь перевяжешься. И всё.

Арлекин. Так. *(Кидает авоську.)* Репетируйте!

Коломбина. «Офелия, о нимфа, помяни меня в своих молитвах». Дальше, текст, текст! Что-то так: «Сударыня, я могу прилечь к вам на колени?»

Пьеро. А я что говорю?

Коломбина. Ты говоришь: «Да, мой принц». Все время так: «Да, мой принц». «Чего, мой принц?»

Пьеро. Ничего, мой принц.

Коломбина. И тут Гамлет целует Офелию! Играют гобои. *(«Г» она произносит как украинское.)*

Арлекин. Что?

Коломбина. Играют гобои.

Пьеро. Чё это, мой принц?

Коломбина тянется поцеловать Пьеро.

Арлекин. Так. Что-то всё не туда. В «Гамлете» не целуются. А вообще целуются вот так. Показываю!

Целует Пьеро. Отодвигается. У Пьеро отваливаются усы.

Пьеро *(пощупав под носом)*. Маня.

Арлекин *(вертит Пьеро)*. Ну, Коля, ты нашла талантливую артистку!

Коломбина *(в нос, тихо)*. Арик, ты не понял.

Пьеро. Ой, мне пора идти!

Арлекин. Куда, девочка! Мы еще и не начали репетицию.

Пьеро. Мне надо к себе в школу. Я школьница.

Коломбина *(тихо)*. Арик, приди в себя.

Арлекин. В школе уже все закончено. Я слышал последний звонок.

Коломбина. Арик, уймись.

Пьеро. Я веду в школе после уроков заседания интерклуба. Переписка с моряками Мозамбика.

Арлекин. Коля! Быстро обедать! Школьница проголодалась.

Коломбина. Я не понимаю, какое отношение...

Арлекин. Обед где? Вот так всегда.

Коломбина. Он съел. *(Показывает на Пьеро.)*

Арлекин. Кто-о?

Коломбина. Вот она.

Пьеро. Я после школы голодная... Родители в Панаме...

Арлекин. Всё! Отныне будешь есть у нас в театре! Дочь кулис!

Коломбина. Вот ты там и ешь тогда сам. У Шелудько язва! У Рудого язва! У Толечки язва! У Ольги язва!

Арлекин. Язва не от буфета! Язва от характера! У меня нет язвы!

Коломбина. Если бы язва была от характера, ты бы давно на инвалидности сидел, а ты просто не питаешься в буфете!

Арлекин. Я там не питаюсь, потому что мне некогда! Я бегаю по очередям для вас же! Девочка, девочка, я тебя давно искал! Где ты была?

Коломбина. Она такая же девочка, как я.

Арлекин. Сравнила.

Коломбина *(к Пьеро)*. Послушай, я считаю, в твоих же интересах всё открыть. Понятно? Все вспомнить, все понять. Арлекин! Это не девочка!

Пьеро. Я не девочка.

Арлекин. Ничего. Это со всеми бывает так школьницами сейчас почти.

Коломбина. Она не девочка. Ты что, слепой?

Арлекин. Потом она мне расскажет всё-всё-всё.

Коломбина. Расскажи ему сейчас.

Пьеро. Всё-всё-всё?

Коломбина. Арлекин, ты только послушай. Это жутко интересно, ха-ха-ха. Ведь мы... ведь я тебе только что чуть не изменила... Ну помнишь, за ширмой...

Арлекин. С ней? Интересно...

Коломбина. Расскажу сначала. Приходит это чудо, приносит розы. Три красных, три белых, остальные... белые. И давай меня соблазнять! Всеми доступными средствами. Я их сразу, конечно, выкинула за окно.

Арлекин. А какие были средства? *(Выглядывает за окно.)*

Пьеро. Не верьте, она лжет!

Арлекин. Это ново!..

Коломбина. Ну, всё. Я как председатель комиссии по борьбе... по работе с молодыми открываю заседание комиссии. Мы вызвали молодого специалиста Пьеро, который обратился в комиссию с заявлением, что он целый год вынужден играть котика с усами, а усы все время воруют. Мы также вызвали на заседание бюро комиссии режиссера Арлекина Ивановича с просьбой ответить на это заявление в присутствии всех присутствующих.

Арлекин. А никого нет! Нет кворума.

Коломбина (*показывая на зрителей*). Это у вас в театре нет, а у нас есть. Что вы можете ответить? Люди ждут!

Арлекин. Дальнейшее покажет будущее.

Коломбина. Вы можете идти, Пьеро. Всего вам наилучшего. Если будет еще что, заходите. (*Арлекину.*) Остальных гениальных просьба задержаться.

*Конец*

1981

# МОСКОВСКИЙ ХОР

Пьеса в двух действиях

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ли ка

Са ша, ее сын

Э ра, жена Саши

О ля, дочь Саши и Эры, 18 лет

Не та, сестра Лики

Лю ба, дочь Неты

Ка тя, младшая дочь Неты

Ло ра, дочь Кати, 17 лет

Га ля, подруга Лоры

Ми хал Ми хал ы ч, брат мужа Лики

Ста нислав Ге нна дие в и ч, руководитель Московского хора

Ли да, уборщица

До ра А бра мов на С ко ри ко ва, староста

Ле ня

Ми ли ци он ер

Ра я

Мо ск ов ский хор

Д ре зден ский хор

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

Репетиция Московского хора. Хор сидит. Станислав Геннадиевич сидит на стуле на возвышении.

Станислав Геннадиевич (*поет*). Ми бемоль, вот ваша нота... Первые альты. Мммм...

Альты. Мммм.

Станислав Геннадиевич. Со второго номера. И! (*Взмахивает рукой.*)

Альты. Несите, голуби, несите народам мира наш привет.

Станислав Геннадиевич. Все!

Московский хор. А-а-а...

Станислав Геннадиевич. Стоп-стоп-стоп. Дора Абрамовна, еще раз вступление. Вы думайте, что вы поете. Летите, голуби, летите! Для вас нигде преграды нет! Вот текст. А тысяча девятьсот пятьдесят шестой год уже! Вы будете петь на Московском фестивале! Если, конечно, вы будете петь как сейчас, этого не состоится.

Дора Абрамовна. Тенора все время понижают к концу.

Станислав Геннадиевич. Будет решаться вопрос с тенорами. Может, будем приглашать со стороны. Вообще, старики за жесткость подхода. Опоздания на занятия, невыученные тексты, разговоры, все это учитывается. На фестиваль оформляется шестьдесят человек, это: костюмы, талоны на питание, два автобуса. Нам шьют из синей шерсти! Белые крепдешиновые блузки. Учтите, тенора!

Дора Абрамовна. Им надо протранспонировать на два тона ниже, они «ля» не берут.

Общий хохот.

Станислав Геннадиевич. И если теноров у нас мало, они на вес золота, то с альтами дело хуже. Альтов у нас двадцать, а мест в первых альтых десять, во вторых пять.

Дора Абрамовна. Вторых альтов сажаем в тенора.

Общий хохот.

Станислав Геннадиевич. Старики ведут тетрадь учета. Скорикова!

Скорикова. Ребята, старики не идиоты. Все мы хор. *(Потрясает журналом.)* Вот тут у нас сплошные опоздания и неявки. Потом, к весне, люди нас будут брать на арапа. Учите! Никакие справки. Певец не болеет! Баранова Галя не являлась четыре занятия.

Галя. Воспаление легких. Мне даже сессию продлевают.

Скорикова. Ладно, Баранова сама старик, мы с ней разберемся. Новенькая, Сулимова Лариса, почему все время опоздания?

Лора. Я хворала.

Скорикова. Вот тебе раз!

Станислав Геннадиевич. Сулимова, кроме того, ты так дудишь, что хочешь передудеть весь хор. Мы же хор! Я тебе специально знаки показываю *(показывает ртом и рукой)*, что тише, а ты переорать всех хочешь.

Дора Абрамовна. Она солистка у нас.

Общий хохот.

Станислав Геннадиевич. Так. Все поют. *(Поет.)* До-ми-соль-до!

Дора Абрамовна. Моцарт, первый номер, пожалуйста. Сулимова, когда я так показываю, ты поешь втрое тише. Сулимовский специальный знак.

Московский хор *(мощно)*. Авеверум... Ве-рум корпус... Натум де Мария ви-иргинэ...

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Лики. В комнате Лика и Эра.

Лика. Эра, ты нашла время. *(Ковыряет ложкой в кастрюле.)*

Эра. Шли бы вы на кухню, ей-богу. Я тут разгребусь.

Лика. Я только что из кухни. *(Показывает кастрюлю.)* Я туда обратно не попрусь.

Эра. Там картошка отварена, еще горячая. Чем есть эту гадость.

Лика. Эра, ты не тем занимаешься.

Эра. Какой смысл есть холодное. Вечно у нас едят с бумажки, пальцами и из кастрюли.

Лика. Ты специально это затеяла? Между прочим, наша прислуга Дуня, когда к Неточке приходили кавалеры, начинала выносить помои у всех на глазах или ночные вазы.

Э р а. Как будто мы еще в эвакуации.

Л и к а. А что ты с этим собираешься делать?

Э р а. Я хочу привести диван в порядок. Машка изо всего выросла.

Л и к а. Собакам выкидать? Как говорил Вадим Михалыч.

Э р а. Я вчера была у Сони. Соня возьмет для Юрочки.

Л и к а. Ты все раздаешь по людям. Когда у Оли будет ребенок, пойдешь по миру побираться. Господи, не каша, а сплошные угли.

Э р а. Варили вы. Какой, к черту, ребенок.

Л и к а. Ну когда-нибудь будет же. Эта каша стоит с субботы. Никто не съел, не выкинул, никто не позаботился. *(Ест.)*

Э р а. Господи, как избавиться от барахла! Все забито тряпками.

Л и к а. Сколько времени, ты знаешь? Ты же нарочно устроила бедлам, чтобы встретить так мою сестру.

Э р а. Еще полчаса до прихода поезда, да им еще ехать... Успеется. Обед готов.

Л и к а. А мне вот не в чем выйти встречать родную сестру. Дай, дай мне эти тряпки. Я сварганю себе пальто.

Э р а. Я же вам сколько раз покупала пальто!

Л и к а. Где?

Э р а. А зеленое?

Л и к а. Оно мне было узко. Потом, такой маркий цвет, мне бы его тут же разорвали...

Э р а. Купишь вам пальто, а потом его опять продавать. Купить-то купишь, а продать-то не продашь!

Л и к а. Оно слишком узкое, это пальто. Все это поняли. И не купили.

Э р а. Хорошее пальто, там привезли, была давка. У меня на руках трое детей! И еще вы. И Саша, который флотский офицер и умри, не встанет в очередь. *(Демонстрирует кальсоны, вынутые из дивана.)* Флотский офицер умрет, но не наденет кальсон!

Л и к а. При чем кальсоны? Саша давно в командировке и не на ваших руках. Я тоже сама себе варю. *(Потрясает кастрюлей.)* И детей подкармливаю.

Э р а. Вы этим подкармливаете? Углями?

Л и к а. Дети у вас отданы государству. При живой безработной матери дети прозябают в садике.

Э р а. Кто, Оля?

Л и к а. А Оля вообще дома не ночует. Вчера пришла в двенадцать ночи.

Э р а. Она была у Маринки.

Л и к а. Вот именно, у Маринки.

Э р а. Они там занимались.

Л и к а. Чем они там занимались?

Э р а. Тем и занимались. Меня не было дома. Могу я в кои-то веки, уложив детей, сходить к Соне! К двоюродной сестре своей! К единственной родной душе в этом мире!

Л и к а. Ты да, ты была там. А я ждала, я ей звонила и в полдвенадцатого спустилась подышать. Идут двое стилияг. Здесь у них так (*показывает на лоб*), здесь так, здесь так. Один указывает на наш подъезд и говорит: «Ты знаешь, что в этом подъезде у тебя будет ребенок?» А он, тот, отвечает: «Пошарь во лбу, ты спишь, наверно». Вот. А ты раздаешь все детское Сонькам и Ванькам. Вполне целое.

Эра, плача, кидает все обратно в диван, опускает сиденье.

К сожалению, я всегда оказываюсь права, то есть лучше бы мне вырвали глаза. Мои старые глаза всё видят, и за это меня ненавидят.

Э р а. В чем вы выходили?

Л и к а. В Сашиной шинели.

Э р а. Так.

Л и к а. Было двенадцать ночи, успокойся. Я встретила Олю, и мы с ней поговорили. Мы с ней обо всем договорились. Я успокоила девочку, мы обнялись и поплакали. Она сказала, что будет поступать в институт, в университет. После этого ты, придя за полночь, тяжело избил Олечку по щекам.

Э р а. Я дала девке пощечину, чтобы она не таскалась к этой дряни.

Л и к а. После слез еще ударить ребенка! Уже я ей дала подзатыльник, и хватит! До-воль-но!

Э р а. Сидит, якобы занимается французским. Я говорю, ты что, не учила, так себе сидишь? Она говорит: «Почему?»

Л и к а. Я ее спрашиваю: «У тебя будет ребенок?» Она тоже: «Почему?» и «Кто это тебе сказал?»

Э р а. Да ерунда. Сидит, пишет стихи.

Л и к а. Да, она в ведро выбросила и порвала, а я вынула и прочла. Ну, ты знаешь: «От ликующих, праздно болтающих, обгагривших руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Точная цитата, хотя некоторых мест не хватило, испачканы томатной пастой.

Э р а. Это стихи Симонова.

Л и к а. Некрасов, но это неважно. Она влюблена. Сколько времени?

Э р а. Полчаса все еще до прихода поезда.

Л и к а. Только полчаса? (*Активно работает ложкой.*)

Э р а. Мама, я вас прошу, наденьте мой халат. Голубой.

Л и к а. Мне его тут же порвут. Все время вещи рвут вот здесь, под мышкой. Кто рвет, неизвестно.

Э р а. Я зашью.

Л и к а. В нашу квартиру все время проникают посторонние. Ночью я посыпала содой. Утром на ней были чьи-то следы.

Э р а. А я утром подметала, ничего не пойму, по всей кухне сода.

Л и к а. Я искала одну вещь на буфете, но там оказался пакет с содой.

Э р а. Начинается.

Л и к а. Это моя вещь и моя квартира.

Э р а. А вот мне некуда идти. Мама умерла. Всё.

Л и к а. Твоя мама умирала в роскоши, ты ее обслуживала не отходя. А я обслуживала твоих детей. Роскошь всегда бывает за чей-то счет. Сколько времени?

Э р а. Часы у меня стоят!

Л и к а. К такому моменту я ослепла.

Э р а. Кто-то пришел! У них же нет ключа. Это кто? *(Лихорадочно подбирает тряпки с пола.)*

Ли́ка прячет кастрюлю за диван.

О л я *(входя)*. Это я.

Э р а. Ты уходила?

О л я. Да, я отнесла учебники Маринке.

Э р а. Какие учебники, какой Маринке?

О л я. Она будет поступать, я ей дала на время.

Э р а. Что?

О л я. Мама, мои дела я буду решать сама, договорились?

Э р а. Какие учебники ты дала ей?

О л я. Неважно.

Э р а. Не заставляй меня рыться в твоём столе.

О л я. Тригонометрию и историю ВКП(б).

Э р а. Пока я тебя кормлю и даю тарелку супа, а ты палец о палец не ударяешь, ты еще сбаврила учебники этой мрази. Чтобы самой не заниматься.

Ли́ка достает кастрюлю из-за дивана.

О л я. Меня кормит мой папа.

Э р а. Конечно, твоя бабушка тебя хорошо научила, как отвечать матери. Но кормлю тебя я. А папа твой в командировке три раза по два месяца. И похоже, что ему плевать на тебя.

О л я. Это на тебя ему плевать, а не на меня.

Л и к а. Оля, что ты говоришь! Девочка моя! Мы же договорились! Ты же с ней так не должна!

О л я. А что она... варежку разинула...

Э р а. Короче говоря, тригонометрию ты вернешь, и ВКП(б) тоже. Эти учебники доставала я.

О л я. Тригонометрию мне, кстати, дала Маринка. Два года назад.

Э р а. Накануне сдачи своих экзаменов ты решила ее отблагодарить и вернула.

О л я. Впереди еще целый год.

Э р а. Какой год, какой год! Декабрь, январь, так, так, май, июнь, семь месяцев! Семь месяцев! За это время ребенка можно родить недоношенного!

О л я (с горящими щеками). Я более не буду брать у тебя ни крошки хлеба!

Э р а. У меня? В вашем доме у меня только подушка и одеяло, успокойся.

О л я. Ни крошки более и ни глотка.

Э р а. Скажи это своему отцу, когда он через месяц опять нам позвонит. Он через месяц скажет тебе: «Терпи, дочь моя старшая».

О л я. А, ему на меня наплевать...

Э р а. Ты что, ты его любимая девочка. Это я у вас у всех прислуга. Приготовить, подать, помыть посуду и постирать, убрать и купить.

О л я. Вот я и не буду больше этого есть.

Э р а. Снять с тебя штаны и выдрать.

О л я. Пошарь во лбу...

Л и к а. Что-о?

О л я. Ты спишь, наверно.

Эра бросается к Лике и обнимает ее. Они застыли. О л я уходит.

Л и к а. Идут! (*Отстраняет Эру, прячет кастрюлю за диван.*)

Входит С а ш а с чемоданом. Он в черной шинели, в белом кашне. Лика встает ему навстречу, накидывает на плечи точно такую же шинель, на которой до сих пор сидела и полами которой укрывала ноги. Целуются.

Эра ждет своей очереди рядом.

(*Не отпуская Сашу.*) Я совершенно ослепла! Со мной никто не хочет сходить к врачу! Саша, ты вернулся! (*Ищет глазами Эру.*)

С а ш а. Я с тобой схожу.

Л и к а. Вот я закрываю левый глаз и не вижу совершенно уже ничего.

С а ш а. Ну какой смысл закрывать.

Л и к а. У нас такая радость! Сегодня возвращаются из эвакуации Неточка и Любочка! Михал Михалыч поехал за ними и вернулся с ними из Уфы! Не знают, бедные, что через пятнадцать лет Лика без пальто и слепая. Они будут жить у нас пока что. Ты рад?

С а ш а. Это тетя Нета? А кто такая Люба?

Л и к а. Да Люба же, помнишь, ты за ней ухаживал? Ну, когда тебе было семь лет, вы за елкой с ней спрятались?

С а ш а. Любка, что ли?

Л и к а. Ты был в нее влюблен, признайся.

С а ш а. Ну вот еще.

Л и к а. Они вызваны в Москву, и им дали квартиру. (*Торжественно.*) Меня вызывали в связи с посмертной реабилитацией Ивана, Маруси,

Николая, Лялечки и Люсика и спросили, есть ли какие-нибудь нужды. Я сказала, что еще одна сестра все потеряла и они влачат жалкое существование в Уфе. Теперь им дали квартиру в Москве, комнату им и комнату Кате с Лорой. Двухкомнатную роскошную квартиру под Москвой, где-то в Новых Черемушках. Электрички даже не ходят. Трамваем полтора часа.

С а ш а (*Эре*). Мне надо с тобой поговорить.

Л и к а. Ты меня слушаешь?

Э р а. Мне тоже.

Л и к а. Ну вот, они наотрез отказались жить с Катей. Я их пригласила телеграммой, они пока поживут у нас. Ничего? Ты не против?

С а ш а. Да я, собственно, на один день.

Э р а. Чтобы ночью быть там.

С а ш а выходит.

Л и к а. Я понимаю, они не хотят комнату. Нет ведь была женой замнаркома. Тем более с Катей у них нет ничего общего, она им не писала и не помогала...

Э р а. А мы с мамой после ареста папы жили в Удельной в комнате семь метров на две семьи.

Л и к а. Но ты очень скоро по головам нашей семьи стала невесткой полковника, а они оказались на речке Уфимке в эвакуации и скитались.

Э р а. Вы меня приютили, за это я вам благодарна, и мне напоминают об этом ежедневно. Но моя мама тоже оказалась на разъезде Шубаркудук в бараке из сухого конского дерьма пополам с соломой.

С а ш а входит с чемоданом.

Л и к а (*перебивая*). Но они столь деликатные и тонкие люди, что сами ни о чем не напоминали, не просили ничего. Ни слова из ее груди, лишь бич свистел играя. Единственно, чего они не хотят, это жить с Катей. Катя им чуждый элемент, она боролась за жизнь и всюду скрывала насчет врагов народа родственников, чтобы прокормить маленькую дочь. Когда ее вызывали к тому же майору Дееву, она ляпнула, что они были неменяемые и не отвечали за себя. Не знала, что не требуется никаких оправданий. Хотела их опять выгородить, как в тридцать восьмом.

Звонок.

Эра, это они, возьми там кашу, я уже не успеваю.

Эра достает из-за дивана кастрюлю, уносит. Входят Катя и Лора.

(*Закрывает лицо.*) Кто это? Кто? Дорогие! Я ничего не вижу! (*Плачет.*) Слепла!

Катя (*плачет*). Лица, дорогая, здравствуй! Это я, Катя, с дочерью!

Лица (*мгновенно просыхая*). Ты меня напугала! Фу как напугала!

Катя. Это моя Лора! (*Почти кричит.*) Лора! Помнишь?

Лица. Я слепая, но не глухая. Можешь не кричать.

Катя. Я так рада! (*Целует Лику.*) Как ваша поживает Олечка? Она поступила в институт? Моя Лора поступила в стоматологический! Изучает череп и кости! А где Олечка? Оля! К тебе пришла сестра!

Лица. Она занята, она готовится к экзаменам.

Входит Оля. Обе девушки становятся по противоположным сторонам сцены.

Катя. Олечка, ты помнишь Лорочку? Твоя троюродная сестра.

Оля отрицательно качает головой.

А Лора тебя помнит.

Лора отрицательно качает головой.

Лица. Сижу здесь слепая совершенно, не говоря уже о том, если закрыть левый глаз (*закрывает ладонью*). Вот! Вот и результат! Ничего не вижу!

Катя. Надо обратиться к глазнаку.

Лица. Катя, ты знаешь нашу жизнь. Ем я одни объедки, потому что они оставляют кучу продуктов. Кто голодал, тот не оставляет.

Катя. Я ничего не оставляю. Лора тоже ест все под корень. Конфеты уничтожает. Я буквально прячу.

Лица. А свиней подбирать за ними нету. Они оставляют, все испортится, тогда в ход иду я. Ем одно прокисшее и подгорелое. Покупают, готовят, потом оставляют по полкастрюли. А сами варят заново. У нее как кастрюля пригорела, бац! Она покупает новую. А я вынуждена хлебать предыдущее.

Катя. Зажрались.

Лица. Нет, ни в коем случае нет, просто им всем некогда! Саша, когда дома, отсыпается на всю жизнь. У Эры тысяча всегда отговорок, никогда не ест. Она веселый кощей. Дети вообще ничего не едят, когда болеют, а когда здоровые — они едят в садике черт-те чего. А у Олечки, посмотрите, абсолютно нет фигуры, а ведь ей уже семнадцать лет, восемнадцатый.

К а т я. Да, у нее еще не прорезалась фигурка.

Л и к а. Нет, фигура-то у нее божественная, она сложена как танягрская статуэтка, Эра тоже была такая в ее годы. Но у Эры был зад, а у Олечки нету.

К а т я. Ну-ка, ну-ка. (*Смотрит.*) Есть, есть.

Л и к а. Его нет!

К а т я. А моя Лора мучается от своей фигуры вообще. Скажи, Лорочка. Она молчит. Она считает, что она квадратная.

Л и к а. Немного того.

К а т я. Смешные девочки. Они чем-то похожи. Олечка и Лорочка, ну-ка, кто выше? Ну-ка встаньте спиной друг к дружке.

Девушки не двигаются.

Л и к а. Они не могут быть похожи, так как Олечка похожа на красавца Сашу.

К а т я. Все-таки что-то родственное есть. В щеках что-то.

Л и к а. Это ложное впечатление.

К а т я. Они одно поколение.

Л и к а. Это не в счет, не в счет.

К а т я. Я была в молодости сложена как богиня, все меня находили интересной. Один скульптор мне сказал: «Всю жизнь ходите на каблучках. У вас фигура богини».

Л и к а. Нет, ты не в нашу родню, ты в папу своего удалась, в Василья. А наша Олечка — вылитый красавец Саша. Саша и Эра — пара красавцев.

К а т я. Когда Лора приходит к своему отцу, к Сулимову, на кафедру, все говорят, что она вылитый Сулимов. А вообще никто не знает, что она похожа на меня в юности. А я была как богиня, но никто этого не замечал, кроме скульптора Пискарева.

Л и к а. Напомни, что за Сулимов такой.

К а т я. Мой муж.

Л и к а. У тебя был разве муж?

К а т я. Сулимов.

Л и к а. А разве Сулимов на тебе женился?

К а т я. Потом-то да.

Л и к а. Помню, Нета жаловалась, что Катя ждет ребенка от неведомо кого. Мы к этому легко отнеслись, не осуждали.

К а т я. Я не хотела за него выходить, обиделась. А когда меня на собрании прорабатывали как члена семьи врага народа, Пискарев встал, посторонний человек, и сказал, что готов на мне жениться, и тогда Сулимов взял свои слова обратно, его забрало за живое. Он ведь на этом собрании отрекся от связи с врагом народа. А у меня уже пузо было! Сулимов

заревновал и после собрания со мной расписался. А я его презирала. Но ты знаешь, как глупые девчонки выскакивают замуж! У Олечки уже не-бось есть кто-нибудь. Олечка, пойдешь замуж?

Л и к а. Ох, не говори! Отбоя нет. Вчера стою, двое внизу у подъезда идут, и один говорит: «В этом подъезде я скоро женюсь». Ну вот.

К а т я. А у вас же и на первом этаже есть квартира?

Л и к а. Там живет доктор Клованский с женой, сыном и внуком. И Шиллера со старушкой дочерью. Игорь Алексеевич с Валей, Ната с Лёсиком, Борис Витальевич все разводится. А напротив нас Поделковы, у них две дочери. Одна в третьем классе, другая в кровати, в пеленках лежит. И у Сыроквашиной дочь ветеринар, с мужем в Германии. Ляпина с сыновьями, Лёва Калинин по кличке «донор», поскольку клопов разводит. Саша-пропитушка с дочерью. Но ей четырнадцать лет, я сомневаюсь. Ее и в сорок никто не возьмет.

К а т я. А я, наоборот, любила одного человека, Володю, но он болел туберкулезом и уже дживал свои дни. А Пискарев меня любил. Помню, приехала я к Владимиру в санаторий. Он умирает лежит... Он умирает, а я беременная...

Л и к а. Олечка, иди занимайся. Ей рано слушать такие вещи.

К а т я. Ну вот. Он умирает, а я беременная. А сестра Пискарева нашла меня в сорок третьем году, отдала мне портрет мой на бумаге карандашом. Пискарев рисовал в камере перед смертью. Все вещи отдала сестре, а среди них мой портрет карандашом.

Л и к а. А Саша подполковника получает.

К а т я. А разве не был?

Л и к а. Олечка университет закончит, а Саше, глядишь, полковника дадут.

О л я, кивнув, уходит, Л о р а тоже выходит.

К а т я. Вот. Так сказать, родная мать приезжает, но не ко мне.

Л и к а. Это все пустое. Сулимов, Пискарев, это все миф, они исчезают, иногда даже не оставив после себя детей, а теперь у тебя будет родная мать и родная сестра.

К а т я. Я им простила давно. Я им сама квартиру выхлопотала у майора Деева, реабилитации добилась. Я им деньги посылала.

Л и к а. Если бы они еще тебя простили.

К а т я. В чем меня прощать, не понимаю. Мама меня не любила с детства. Записала в дневнике, она вела дневник по Фроиду: когда Любочка ко мне прижимается, мне приятно, а когда Катечка, то противно. Мы были Люка и Кука. А когда Кукочка, то противно. Тетя Маруся мне рассказала, мать ей давала читать.

Л и к а. Я знаю эту ветхозаветную историю. Ты хочешь быть страдальницей. А вот зачем ты майору Дееву сказала, что они психически невменяемы и за себя не отвечают?

К а т я. Чтобы их реабилитировали!

Л и к а. А что они такого сделали?

К а т я. Они же были че эс, члены семьи врагов народа. Связь с врагами народа.

Л и к а. Но ведь уже всё! Уже ведь было всё!

К а т я. Кто знал, что всё? Когда меня вызвали, я вспомнила всё! Тридцать седьмой год. Ты сидела когда-нибудь на допросе, когда в тебя лампой светят?! Я беременная сидела.

Л и к а. Сидела.

К а т я. А сейчас вызвали, ознакомили с делом, и первое, что я сделала, я стала их же защищать! Ты чувствуешь, что такое защищать врагов народа было в таком месте? Сам следователь меня благодарил, пожимал руку, сказал, что вы их реабилитировали сами, до дверей проводил. А то, говорит, в этом деле днем с фонарем не разберешь, что они понаписали. А я рисковала, что Лора моя одна останется. Но подумала: мало для них сделала, Лорочка уже большая, сама прокормится. *(Всплакнула.)*

Л и к а. А то, что ты услышала про дневник, так это же Фрейд! Его давно разоблачили и запретили! Сейчас твоя мать старая и страшная старуха. Как я.

К а т я. Ты все еще интересная женщина. А про меня тоже в доме отдыха так сказали, представляешь?

Л и к а. Это одна видимость. Внешний обман. Я, во-первых, совсем ничего не вижу, а пойти к врачу отказываюсь, во-вторых, и не с кем. По Фрейду это что-то значит, что меня туда не ведут.

К а т я. Если хочешь, я с тобой схожу.

Л и к а. Нет, нет, это у них какое-то торможение по Фрейду. У меня, потом, нет пальто и ботинок.

К а т я. Надо с собой бороться. Я всю жизнь с собой боролась, была скромной и застенчивой. Всех стеснялась, особенно мужчин. И я преодолела это. Ты тоже должна. Хочешь, я с тобой схожу?

Л и к а. Да у меня что, некому сходить? Но в каких ботинках, вот в чем вопрос. Я хожу в ботинках после Саши еще в бытность его старшим лейтенантом. Им выдают каждый год, но не в этом дело. Теперь: неизвестно, какой у меня стал размер. Я привыкла к свободе. *(Вытягивает ноги в огромных ботинках, разглядывает их.)* У Саши сорок пятый размер. Эрка мне купила какие-то из клеенки, так в них ноги просто гудут! И они явно мужские. А ведь где-то были мои собственные, нянины, из сукона. Суконные, теперь таких не делают. Сукно! Но их, видимо, моль пожрала.

К а т я. Подошвы-то бы остались?

Л и к а. Не знаю, не знаю. Украла, видимо, подошвы-то. У нас всё тибрят. Сумку мне разрезали, вынимаю из сундука, разрезанная по шву.

К а т я. Всё. Я тебя веду к врачу, и начинаешь новую жизнь. Будешь все видеть.

Л и к а. На кой шут мне все это видеть. Я вообще охотней бы глаза закрыла и к стене отвернулась.

К а т я (*загоревшись*). А что, Сашка уже ее бросил? Так я и знала.

Л и к а. Не мели чушь! Это ты бросила мать! Воспользовавшись Фройдом. Прекрати изображать из себя жертву! Они придут, все забудь!

К а т я. А ты не бросила свою сестру?

Л и к а. Мы же потеряли связь! Вадим кормил две семьи, свою и предыдущую, там сын погиб под Брест-Литовском, осталась бабка. У меня на руках Оля, мама и няня, все умирали. Эра сбивала тару на военном заводе.

К а т я. А я без стипендии на одни алименты. Лорочку на лекции водила в кацавейке, сама в папиной шинели. Она тихо сидела, но потом меня все-таки в деканате предупредили. Жалко на ребенка, говорят, смотреть, как он на лекциях мучается. Это ваш мальчик? Говорю на Лорочку, «мой». Пришлось в детский дом отдать, там все-таки трехразовое питание.

Л и к а. Переступи, переступи через это. Они не виноваты. Мало ли какую мать ребенок раздражает. Это бывает. Меня Оля раздражает.

К а т я. Я ведь к ним ездила. Я-то переступила. Но кто другому сделал зло, тот того ненавидит.

Л и к а. Все люди делают друг другу зло. Так было задумано.

К а т я. Я к ним приехала, они испугались и не открывают. Я через дверь им говорю, а они как мыши молчат. Нам дали вместе двухкомнатную квартиру, Ли́ка похлопотала, в Москве. Молчат. Я была у следователя, за вас боролась, молчат. Следователь сказал, что ваша мать тут понаписала, что надо с фонарями разбирать, а я говорю, я ответила, что они были невменяемые. Молчат и, чувствую, вдвоем от дверей отскочили. Всё еще ненавидят меня.

Л и к а. Оставь, оставь, едут две дряхлые старухи.

К а т я. Молчали и бумагами шурушали. Рвали на части.

Л и к а. Это у нас семейное, мания преследования. Теперь все хорошо. Неточку восстановят в партии, Любочку в комсомоле.

К а т я. Куда! Любе сорок три года.

Л и к а. Были обе синеглазые, с золотыми кудрями...

Звонит междугородняя.

Алло! Ффу. (*Дует в трубку.*) Кто говорит? Кого? Коровина, да, сейчас, Саша! Са-ша!

Входит С а ш а.

А кто это? Березай. Одну секунду, вот он идет.

С а ш а (*берет трубку*). Алло.

Высвечивается кабинка межгорода, Рая у телефона.

Р а я. Это я. *(Плачет.)*

С а ш а. Привет.

Р а я. Когда ты приехал?

С а ш а. Только что.

Р а я. Как доехал?

С а ш а. Да нормально.

Р а я. Нормально?

С а ш а. Нормально.

Р а я. Ты еще меня не забыл?

С а ш а. Помню.

Р а я. Ноги у меня распухли, не тот размер, был тридцать пятый, теперь тридцать шестой. Тридцать шестой с половиной.

С а ш а. Какой?

Р а я. Тридцать шестой. На микропорке.

С а ш а. Хорошо. Мам, дай ручку записать. Так, записал, хорошо, взгляну. На микропорке.

Р а я. Купи еще одеяло.

С а ш а. Большое?

Р а я. Маленькое.

С а ш а. Маленькое. Есть.

Р а я. Ты требуй у них развод.

С а ш а. Ладно-ладно.

Р а я. Развод, слышишь?

С а ш а. Да ладно. Не будем спешить.

Р а я. Ты меня любишь?

С а ш а. А? А?

Р а я. Ты меня любишь?

С а ш а. Да. Я согласен.

Р а я. Целую тебя.

С а ш а. То же самое.

Р а я. Ты любишь меня или нет?

С а ш а. Нет, первое.

Р а я. Я тебя жду.

С а ш а. Да, так точно.

Входит Э р а.

Р а я. Ты не забудь, тридцать шесть с половиной.

С а ш а. А?

Р а я. Тридцать шестой с половиной.

С а ш а. Я проверю.

Ра я. Нет, ты, наверное, не вернешься.

Са ша. При чем здесь старые галоши.

Ра я. Ты говорил с ними о разводе?

Са ша. Нет еще, но буду.

Ра я. Я тебя люблю.

Са ша. Да, я тоже.

Ра я. Я умираю.

Са ша. Да? Не надо волноваться, это вредно.

Ра я. Когда едешь?

Са ша. Выезжаю сегодня.

Ра я. Я тебя жду.

Са ша. Хорошо. Так точно, товарищ капитан.

Ра я. Если ты не приедешь, я повешусь.

Са ша. Всё. А то деньги идут.

Ра я. Я тебя целую.

Са ша. И я. (*Кладет трубку, взволнованный.*) Документацию просили привезти, плюс секретарша Еремина просит туфли на микропорке для дочери, тридцать шестой размер. Где бы купить?

Эра. Это теперь у тебя дочь секретарши Еремина?

Звонок.

Ли ка. Эрка, это они.

Входят Нет а и Люба.

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Репетиция хора.

Станислав Геннадиевич. Так. Бах. С первого номера.

Дора Абрамовна. За такое пение хочу получать молоко.

Хор смеется. Поют.

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартира Ли ки, стол. За столом Ли ка, Эра, Са ша, Оля, Катя, Ло ра, Ми хал Ми хал ыч, Лю ба. Не ты не видно, она лежит на диване, ее закрывает стол, уставленный едой.

Ли ка (*торжественно*). Господи, наконец настал день и все старые долги выплачены. Наконец вы вернулись, теперь я могу умереть.

Нета (*подняв голову из-за стола*). Ты спасла мне жизнь.

Люба. Мама, лежи.

Михал Михалыч (*Кате*). Катя вас зовут?

Катя (*рассеянно*). А что такое?

Михал Михалыч. Есть разговор.

Катя. Не могу и не могу.

Михал Михалыч. Это у вас займет буквально ничего.

Люба бросает взгляд на Катю, не обещающий ничего хорошего.

Люба. Мама, лежи. Тебе плохо.

Михал Михалыч отходит в сторону. Катя, посмотрев в сторону Любы и в сторону Лоры, кивает, но с места не двигается.

Ли к а. Может быть, вызвать Клованского? Старичок под нами, он лечит, хороший старичок, профессор.

Э р а. Он по желудку, мама. Вы вечно вызываете при насморке и радикулите, а он по желудку. Это же разные части тела.

М и х а л М и х а л ы ч (*Кате, громко*). Кое-что надо узнать.

К а т я (*подходит*). Ну что вам.

М и х а л М и х а л ы ч. Какая сердитая. Красивая, сердитая.

К а т я (*оглянувшись, тихо*). Красивая кобыла сивая.

М и х а л М и х а л ы ч. Ищем сойтись с хорошей женщиной.

К а т я (*так же*). Жена, что ли, больная? У всех у вас жены больные.

Н е т а (*поднявшись*). Мы снова в Москве! (*Видит Катю, падает на подушки*.)

М и х а л М и х а л ы ч. Ты поближе нас узнаешь, тогда поймешь. Нашу семью.

К а т я. О, о, о! Я не способна на это.

М и х а л М и х а л ы ч. Хочется сойтись с простой, хорошей женщиной с изолированной комнатой.

К а т я. Любовь не вздохи на скамейке. (*Оглядывается на Любу и Лору*.)

М и х а л М и х а л ы ч (*вытаскивая записную книжку*). Чтобы блины пекла... Рубашку бы погладила.

К а т я. Блины! (*Усмехается, рассматривает носок туфли*.) Любовь с хорошей песней схожа.

М и х а л М и х а л ы ч (*смотрит в записную книжку, приготовил карандаш*). Как?

К а т я. Так. А песню (*с нажимом*) нелегко сложить.

Слегка кивает Лоре.

М и х а л М и х а л ы ч. Хорошо. (*Пауза*.) А подруга есть?

К а т я. Есть. *(Сбита с толку.)*

М и х а л М и х а л ы ч. Но нам чтобы изолированная комната и хозяйственная.

К а т я *(со слабой улыбкой)*. Вы дерзкий.

М и х а л М и х а л ы ч. Ладно, ладно.

К а т я. Есть. На радио. В отделе жизни СССР. Лет сорок... редактор. Жених погиб на фронте. Но не девушка.

М и х а л М и х а л ы ч. Хорошо! Дальше.

К а т я. Комната на Каляевской.

М и х а л М и х а л ы ч *(записывает)*. Далековато, но дальше.

К а т я. Поет в хоре.

М и х а л М и х а л ы ч. Снимем. Дальше.

К а т я. Тома Скорикова. *(Бросает взгляд на Любу, та отворачивается.)*

М и х а л М и х а л ы ч *(записывает)*. Хозяйственная?

К а т я. Просто жадная.

М и х а л М и х а л ы ч *(взволновавшись)*. Сильная женщина. Надо же! Толстая?

К а т я. Наоборот. Нога сороковой размер.

М и х а л М и х а л ы ч. Я тебе, Катя, отзвоню на днях. Завтра я так, *(пауза)* так... Погребение — тринадцать тридцать, завтра вечером к ней можно зайти?

К а т я. Ну... Не знаю. Я спрошу.

Э р а. Может быть, вызвать скорую?

Н е т а *(поднявшись)*. Любимые, родные! Мы снова вместе!

Катя отходит от Миши, делает шаг к дивану. Пауза. Лика наконец решила, что настал момент.

Л и к а. А теперь, мать и другая дочь, поцелуйтесь и простите друг другу!

К а т я *(осторожно начинает приближаться к дивану)*. Мама! Мама! Мама! *(Плачет.)*

Л ю б а *(предостерегающе)*. Мама! Мама!

Л о р а *(зовет)*. Мам! А мам!

Э р а *(укоризненно, Лике)*. Мама.

Л ю б а *(отчаянно вопит)*. Мама!!! *(Приникает ухом к ее груди.)*

Э р а *(тихо, Лике)*. Мама.

Л и к а. Катя, иди ко мне.

Н е т а *(садится)*. Она нас бросила, забросила и еще ждет чего-то. Семнадцать лет не писала.

К а т я. Ты тоже не писала.

Н е т а. Теперь под нашу марку ей дали квартиру.

Л ю б а. Мама, тебе плохо.

Катя и Лора идут к выходу.

М и х а л М и х а л ы ч (*поймав Катю*). Так вам сразу отзвонит Лёва, Майкин племянник, он стал холостой, мы ему везде ищем. Большие претензии, но я чувствую, что это то. Вы бы подошли тоже, но изолированная комната, вот в чем вопрос.

Катя, захлебнувшись слезами, кивает и уходит с Лорой.

М и х а л М и х а л ы ч (*Саше*). У них одно имущество — черная сумка. Одна черная сумка, обе за нее держатся. Хорошо, они разрешили купить себе по пальто, по ботинкам и по платку на голову. Они потеряли всё. В купе они спали вalemом на одной полке. С нами ехал человек, некто Железняк, герой Гражданской войны. Он семнадцать лет был там, гораздо дальше их и не так, как они. Он сказал, что не ждет ничего, только хочет увидеть дочь, которая родилась без него. Жена от него отказалась сразу же в первые дни ареста. Тот майор, который вел его дело по реабилитации, сказал, что вам вернут всё: партбилет, ту же квартиру, ту же работу. Он сказал, что ту же квартиру невозможно, там давно другие люди, а работал он директором на заводе, который производил серпы, косы и лобогрейки.

Н е т а. Саша, как хорошо, что в такой день ты с нами. Я помню тебя юным. Ты и Любка были детьми.

С а ш а. Как раз я собрался уходить, так что действительно.

Э р а. Совсем?

Л и к а. Нет, у моего Саши просто-напросто роман, как у каждого женатого мужчины.

С а ш а. Почему роман? Кто тебе сказал?

Э р а. Оля, торопись поговорить с отцом, пожалуйста ему. Как тебе тяжело дома, как тебя попрекают куском хлеба и тарелкой супа. Не дают гулять по ночам. Тычут в морду.

С а ш а. Терпи, дочь моя старшая.

Э р а. Я что говорила?

С а ш а. Терпи, дочь моя старшая.

О л я (*опустив голову, плачет*). Не могу. Возьми меня с собой.

Э р а. Правда, возьми нас с собой в Березай! Тебе сразу под нас сунут квартиру. Оля будет работать писарем в штабе, я в прачечной, старшиной, Машка и Сережа пойдут в юнги.

Лица встает.

Мама уже в форме, только фуражку осталось.

Лица садится.

Н е т а. В воздухе носится какая-то тревога. Над этим домом витает тревога.

Л и к а. Да брось! Что это, в каждой нормальной семье свои заскоки. Вы просто приехали, вам видней. А мы здесь как рыба в воде. Первый раз его после войны отправили в Североморск. Ха-ха-ха, слушай, Саша. Тоже им кто-то увлекся. Эра приняла меры, в результате родился Сережа. Ему семь лет, он родился в сорок девятом. Затем была Лиепая, командировка, это совсем близко, в пятидесятом году. Эра туда съездила, было примирение, Эра родила Машеньку. Теперь Машеньке уже пять лет. Надо только решиться и родить.

Н е т а. Нет, дело не в этом.

Л и к а. Да брось. Самое главное, человека никогда не исправишь злом. Ему как хочешь угрожай, издевайся, а он все равно на добровольных началах роет себе яму. Помнишь Фрейда?

Л ю б а. Мама! Шашто бупро и шасхо будит?

Н е т а. Шаса буша шабро буса шает буэ шару.

Л ю б а. Ну, так надо помочь! Шана будо шапи бусать.

Н е т а. А куда, ты же мане бузна шаешь?

Л ю б а. Ничего, шауз буна шаем. Ложись, тебе вредно.

М и х а л М и х а л ы ч. Видал? И так всю дорогу. Бебенят.

С а ш а. До сколько обувные?

Л и к а. Это у вас что за азбука? Сиди, Саша.

Н е т а. Это язык шабу. Шая бузык шаша бубу.

Л и к а. Шаша бубу. Оригинально.

С а ш а. Одну минутку, я забыл. *(Достает из чемодана большую бутылку с вином.)* Укрепляет нервную систему.

Эра приносит рюмки. Саша тем временем наливает себе полный стакан и выпивает весь, наливает сразу еще один полный стакан. Выпивает. Эра на ходу убирает от него бутылку, садится, ставит бутылку подальше. Саша с маниакальным упорством подходит, тянется к бутылке.

Э р а. Да что за черт, в самом деле! Сядь на место к чертовой матери!

С а ш а *(не сходя с места, швыряет стакан об пол)*. Эх!

Н е т а *(вотит)*. Ложись! *(Увлекает за собой Любу, они исчезают за краем стола.)*

Саша вскакивает и выбегает. Лика неуверенно встает и трогается за ним.

Л и к а. Саша! Он не поел! Надо заесть! Закусить, а то запьянеешь!

Э р а. Мама! Не ходите, там осколки, вы же слепая, вы напоретесь!

М и х а л М и х а л ы ч. Я за одну зиму вынес... три гроба. Мать жены Лёвы. Вы его не знаете, он мой племянник со стороны Майки. Отец жены Лёвы умер через месяц. На ее похоронах были все, на его никто.

Почему? Отвечаю. Отец жены Лёвы был главный инженер молокозавода, из уважения к нему на похороны его жены пришли все. А когда он повесился, уже не перед кем было. И у нас соседка пятидесяти двух лет, сын не сдал в консерваторию, отказался подходить к роялю, его стали водить к роялю под руки, дальше больше, потерял остатки соображения. Она очень быстро сгорела. Ее муж спустя месяц посватался к соседке тридцати лет. Но ему шестьдесят! Соседка теперь с ним не здоровается.

Эра тем временем посылает Олю за веником, та быстро подметает.

Эра. Скоро Сережа приведет Машку из садика. Дрянь паршивая, что натворил! Да я сейчас мордой кинусь в эти осколки. *(Порывается броситься на пол, Оля ловко кидается ей поперек.)*

Люба *(поднимаясь над столом)*. Пошли на почтаamt?

Нетя *(приподнимаясь)*. Шапо бушли.

ЛиКа. Ешьте, ешьте, сидите. Нюня, не нюнь. Помнишь, как мы в детстве пели? Нюня нюнится, Маня манит, Ваня ваньку валяет, Коля колется, Лена ленится...

Нетя. Лиза подлизывается.

ЛиКа. Лёня тоже ленится...

Нетя. Семеро детей... Иван, Мария, Николай, Елена, Лев, Елизавета, Анна...

ЛиКа. Ванечка, Маруся, Мика, Ляля, Люсик, Лика, Неточка.

Плачут.

## КАРТИНА ПЯТАЯ

Репетиция хора.

Станислав Геннадиевич. Значит, летом едем на праздник песни в Литву.

Московский хор *(музыка туш)*. Пам... Па-рарарара...

Станислав Геннадиевич. Вместе с хором Литвы, Латвии и Эстонии у нас сводный хор. Репертуар: «Стабат матер» Перголези, «Аве верум», ну, это мы знаем, «Скоро, увы» Мендельсона, а от нас: «Летите, голуби», Бах «Вокализы», Свиридов на слова Пушкина, «На десятой версте от столицы», короче говоря, будем петь фестивальныи репертуар. У меня всё. Дора Абрамовна, хотите сказать?

Дора Абрамовна. Очень устаю. При разучивании с альтами в кармане Сулимова болтала с Барановой. Хорошо бы они так знали партии, как знают болтать.

Станислав Геннадиевич. Да, кстати, к нам пришел первый тенор, еще один к нашим двум. Берет «до».

Дора Абрамовна стучит по верхнему «до».

Мы его переманили из хора медработников, Володя Гречанинов. Таким образом у нас есть солист на «Стабат матер» и на украинскую. Так. Теперь все свободны. Скорикова Тома, вам слово.

Скорикова. От совета старейшин, внимание. Собираем по пять рублей на переписку партий.

Баранова подходит к Лоре.

Гал я. Слушай, у тебя деньги-то есть? А то жить негде. *(Смеется.)*

Лора. Есть десятка.

Гал я. Сдашь за меня? А я опять на хлебе и водичке.

Лора. Опять?

Гал я. Ты видела, меня два месяца не было?

Лора. Да я сама болела.

Гал я. Что было! *(Смеется.)* Меня из университета отчислили. Только молчи, никому не говори.

Лора. А я анатомию не сдала зачет... Плакала по всем углам.

Гал я. Плакала! Я давно не плачу. Мне надо было сдавать математику, а меня на кафедре уборщицей устроили, стипендии-то нет. Вот мыла окна, простыла, воспаление легких. Ну, в общем, не сдала. Ну, в общем, меня отчислили. И из общежития выписали.

Скорикова *(подходит)*. Так. Кто еще не сдал? Сулимова, Баранова.

Лора отдает десять рублей, Скорикова ставит галочку в тетради.

Лора. Пойдем жить к нам! У нас пока еще бабушка с теткой не живут, они живут там у одних... У мамы комната, у меня комната. Но ненадолго.

Гал я. Спасибо, добрая душонка. Я не такая хорошая, чтобы меня жалеть. Я много чего в жизни пережила. Как ты думаешь, сколько мне лет?

Лора. Ну... двадцать?

Гал я. Двадцать два, вот! Ахнула? У меня совсем другая жизнь, девочка, чем ты думаешь. Я не такая как все. Я родилась за стакан пшена. На разъезде Шубаркудук.

Лора оглядывается, не слышит ли кто.

И я не могу теперь вернуться к матери и опять спать с ней на одной кровати! На разъезде Шубаркудук!

Л о р а. А мы, знаешь, сколько лет с мамой на одном матрасе спали? Пока мне не исполнилось семнадцать лет! На полу. До пятьдесят шестого года!

Г а л я. Мы спали на одной кровати — я, мама и братишка. Потом братишка заболел костным туберкулезом, мама купила у соседки железную кровать. Он так радовался кровати!

Л о р а. А теперь мы получили комнату, и здарсьте, мама хочет выйти замуж за одного старика. Ему пятьдесят три года!

Г а л я. Ничего! Мама пустила к себе на койку жильца, вольнопоселенца дядю Костю, за сто рублей. Я у стеночки, мама в середине, дядя Костя с краю. Потом этот дядя Костя начал приставать к матери. Я перешла спать на пол. Голова под братишкиной кроватью, ноги под ихней. На полу хорошо... Чурки всегда спят на полу. Потом он начал приставать ко мне. Так мне надоел!.. Надоедает, надоедает, клянчит... Все просил. Сам хилый был, только из лагеря. Ты, говорит, удивительно красивая, хотя тебе всего двенадцать. Я тебе ведь сказала, я не такая как все...

Л о р а (*оглянувшись*). А у нас в анатомичке Юровская стоит, на меня смотрит и говорит: быть девицей — позор! И они все курят. И она еще химию сделала, с одной стороны волосы как пух висят, я говорю: «Юровская, как твоя прическа называется?» А она говорит: «Лучше так, чем такой лахудрой как ты ходить». Они смеются и обзывают меня «мичуринская коза». Знаешь, такой анекдотик, дед с бабкой померли, дед идет в рай, а бабку не пускают. Он говорит: раздевайся, совсем (*оглядывается*), и становись на четвереньки (*оглядывается*). Вот он подходит в рай, а его спрашивают: а это кто с вами? Кого вы ведете на веревке?

Г а л я. А. Знаю.

Л о р а. Да. Это, говорит, мичуринская коза.

Г а л я. Не обращай. А вот я вообще... материна мать и отец были кулаки, их выслали, только никому не говори, я пошутила, они все по дороге умерли, мама осталась одна, оказалась она в Шубаркудуке. И я родилась в тридцать четвертом году, а маме было пятнадцать лет. А меня нечем было кормить, вот и Лёша родился за стакан пшена. На меня, наверно, не один стакан пшена пошел. Но я белая, а Лёша уже смуглый.

Л о р а (*оглянувшись*). Кошмарики.

Г а л я. Ну ладно, я пошла.

Л о р а. Ты у меня пока поживешь? У меня есть хлеб, колбаса.

Г а л я. Нет, я уже сегодня ела, и потом меня должен ждать один баннит...

Л о р а. Клевый? (*Горда произнесенным словом.*)

Г а л я (*так же гордо*). Я сама чувиха клевая.

## КАРТИНА ШЕСТАЯ

В доме у Лики. За столом Лика, Михал Михалыч, который задремывает, Нета и Люба.

Лика. Вашу дачу на Сорок втором километре занял доктор Еремченко.

Нета. А наша библиотека тоже (*махнет рукой*) сгорела.

Люба. Нам ничего не надо. Когда ничего нет — и не о чем жалеть, и нечего отбирать. Мы последние люди, у нас нет ничего.

Лика. Господи, а я вам не посылала... Тут тоже было, первый сын Вадима моего... Ну, от той незаконной жены... Ну, я говорила. Короче говоря, Руслан. Он учился, потом женился студентом, родил девочку, она болела, ей усиленное питание. Руслан погиб. Короче, трое их, шестеро нас после войны сидели у Вадима на шее. Вадим умер в пятьдесят пятом, годовщина уже прошла... Исполнилась. Что ты. Славная жизнь была, он уже не ходил, а дети, внуки Сереженька и Машенька, с ним в кровати сидели, он им читал, Машеньку на горшок, Сережу на горшок, вытрет, переоденет, они как котята переваливались по нему... У него уже пролежни были, а он все радовался, какой из него помощник. Птичек им делал из ваты, они у него и засыпали. А он умер, теперь Сереженька в садик, Машенька в садик... Скоро их Эра из сада приведет.

Нета. Кто был ничем, тот станет всем.

Люба. Ты нас спасла. Когда сосед майор Барков рассек маме топором голову, ее спас доктор. Маму перевязали бинтом, она лежала настающая красавица, как в короне. Белоснежный бинт. Мы белого на себе ничего не видели много лет. Доктор держал ее за руку и не отпускал. Барковы совершенно распоясавшиеся бандиты.

Лика. Это где?

Нета. Это в Уфе. Он кричал, что мы им в примус подливаем воду.

Лика. А ваша Катя хорошая, добрая, несчастная. Она скиталась здесь с девочкой, снимала койки, углы. Она попала в больницу, звонит нам, мы забрали к себе ее Лору, на время, так она украла у Олечки в десять лет цветную бумагу. Тоже ведь, знаете. Сорок восьмой год. Правда, небольшой кусок, но от шоколада, со звездами. А Лора как раз жила у нас и так и не создалась. Олечка плакала страшно, деда ее утешал. Тоже ведь бедные дети, все бедные. Всего лишены были.

Люба. Бумажку потом нашли?

Лика. Бумажку нашли всю какую-то изодранную. Дети, что с них взять. Катя вышла из больницы, а Лорочка от нас уже три дня как убежала, жила у себя на койке у хозяев. Ужасно. Мы так и не поддерживали с тех пор связи, смешно говорить. Я думала, Катя вам помогает.

Л ю б а. Лорочка не могла украсть. Со злости она могла изорвать. Не та семья, не та порода. У Лорочки в детстве был даже американский домик с кроваткой, из Америки привез Илья. А Лорочке было три месяца, она эту кроватку сосала.

Н е т а. Сын Ильи тебя любил, Илья на это рассчитывал и подарил кроватку.

Л ю б а. Володька?

Н е т а. Но у них у всех был туберкулез.

Л и к а. Счастью детей я никогда не препятствовала. Когда мы спрятали Эру после ареста ее матери, немецкой коммунистки, помните? Вы этого не знали. Мы ее выдали за домработницу и прописали.

Н е т а. А, это та история, что вы с Вадимом ахали и охали, что мальчик не виноват, мальчику рано, а тут родилась у них Оля.

Л ю б а. А я все думала, почему Володька не нравится маме. Она говорит, они все семья перерожденцев. А у них был туберкулез, оказывается. И тут их взяли.

Н е т а. Я же и сказала, конечно, перерожденцы. Я была права в ста процентах.

Входит Э р а, она неестественно улыбается.

Э р а. Саша только что сообщил, что уходит от нас. Он приезжал, оказывается, взять свои вещи.

Л и к а. К кому он уходит?

Э р а. Там врач.

Л и к а. Она интересная? За полгода, правда, и посторонний столб покажется интересным, но это пройдет. У него это проходит.

Э р а. Видимо. Она беременная.

Л и к а. Эра, она кошка! Она самка! Она никто!

Входит С а ш а с двумя чемоданами. Эра, прислонившись к стене лбом, глухо стонет.

Эра, дочка, я с тобой! Она гуляющая дрянь!

Входит О л я, беспомощно стоит рядом с отцом.

Саша, объясни мне! Объяснись.

С а ш а. Олечка, я тебя взять не могу. Там у нас комната... восемь метров в бараке. Стройка. Я ушел в отставку, меня ушли, вернее. Я разнорабочий. Рая медсестра. Я живу у нее. Меня пошлют на курсы сварщиков.

О л я. Мама, что ты слушаешь, не слушай. *(Обнимает Эру.)*

С а ш а. Надо колоть дрова, топить печку, носить воду из колодца. Ты не сможешь. Это север.

О л я (*плача*). Мамочка, только не плачь! Я буду все делать.  
 С а ш а. Вам я ничего не должен, я оставляю вам всю пенсию.  
 Э р а. Но твоя мать, она же твоя мать!  
 С а ш а. Ты всю жизнь ей угождала, угождай и дальше.  
 Л и к а. У меня есть дочь и внуки, это счастье! Только не бросай уж ты меня, моя доченька единственная. (*Рыдает.*)

С а ш а, мотнув головой, уходит вон с двумя чемоданами.

Э р а (*задыхаясь*). Придут эти двое никому не нужные из садика. Хорошо, что у них короткая память.

Л и к а. Они пережили смерть дедушки... Переживут, ничего, и это. Эра, пойдешь работать. Дедушка умер... вот беда... Вадим Михалыч умер.

М и х а л М и х а л ы ч (*просыпаясь*). Я был его брат. Самые лучшие слова, какие только можно выразить.

Л и к а. Михаил, устрой Эру на работу. Она инженер.

М и х а л М и х а л ы ч. Сейчас трудно, массовые увольнения из армии. В школу, преподавать труд. И то сложно. Но подумаем. Майкин дядя женат на директоре курсов стенографии.

Н е т а. Люба, шаска бужи шачто бумы шабу будем шапо булучать шапа буёк!

Л ю б а. Проживем, мы же будем прикреплены к столовой! Будем брать сухим пайком. Как и до войны.

Л и к а. Никакой паек не заменит детям отца, жене мужа. Эра, поезжай в Березай, вымоли, выклянчи у него прощения и роди ребенка! У тебя четверо будет, у нее один, да дрова, да колодец! Эра, валяйся у него в ногах! Никто не даст ему развода!

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Репетиция х о р а.

Станислав Геннадиевич. Повторяю: до фестиваля остается — до Всесоюзного три месяца, до Всемирного фестиваля молодежи и студентов пять. Старики, вам слово.

С к о р и к о в а. Станислав Геннадиевич, сначала вот. (*Медленно.*) Мы скорбим по поводу гибели в командировке в Канаде Володи Гречанинова. Просьба встать. Просьба садиться. Станислав Геннадиевич, остается открытым вопрос о первых тенорах. В оперной студии медроботников есть Туманский, но он не лирический, а драматический

тенор. Стоит вопрос этот обсудить. Туманский вроде бы ставит условия, он поступает в Гнесиных на вокальное, зная, что вы, Станислав Геннадиевич, являетесь доцентом Гнесиных...

Станислав Геннадиевич. В рабочем порядке! Итак, до фестиваля считанные месяцы и двенадцать занятий. На дворе март тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Костюмы не сшиты. Вопрос с делегатами на фестиваль международный остается открытым до победы на Всесоюзном фестивале. Подчеркиваю, до победы. Тем не менее альтов двадцать, первых альтов пятнадцать при норме десять. Альты, будьте старательны, боритесь за право. Это творческий конкурс. Сулимова, опять пошла опаздывать. Правда, уже бросили мы дудеть. Уже не солируем. Хорошо, мощно звучит Сулимова в форте, пиано надо подработать, учись у стариков. Перерыв. Баранова, подойдешь ко мне.

Баранова подходит.

Баранова, пропущено два месяца. Учти.

Г а л я. Станислав Геннадиевич, я два месяца пролежала в больнице, я упала с поезда. *(Поднимает со лба волосы, показывает.)* Зашивали.

Станислав Геннадиевич. Мы прошли новые вещи, возьми у Сулимовой партии, она выучила.

Л о р а. Я дам, Станислав Геннадиевич.

Лора и Галя отходят.

Слушай, ты где была?

Г а л я. Где была, там нету.

Л о р а. Слушай, мы столько новых вещей прошли, кошмар.

Г а л я. Скажи, у тебя хата еще свободна?

Л о р а. Да вообще-то их вот-вот выгонят к нам, они надоели там страшно. Все мечтают, чтобы их оттуда выгнать. Но пока еще не выгнали. Так что их комната еще есть. Я там живу одна. А что?

Г а л я. Меня позавчера из больницы выписали, я сидела ночь на междугородней. День спала в метро. Поехала к своей квартирной хозяйке, она сказала, твоя койка свободна, но деньги вперед за три месяца, как всегда. А у меня как раз денег-то сейчас нет.

Л о р а. Кошмарики. А этот дурак Поляков из вторых теноров ко мне подходит, говорит: хотите пойти на балет «Коппелия» в филиале Большого? Я говорю: почему же. Дал билетик. Я пошла. Место было стоячее, над сценой, второй ярус. Видно было только сверху. Прыгнет она, а к нам пыль летит, на зубах скрежешет.

Г а л я. Поляков урод. Я бы с ним не согласилась пойти на балет.

Л о р а. Так он не пришел! Я там одна простояла. В воскресенье я пришла на хор, отдала ему семь рублей. Видно, он купил себе билетик, а выкидывать жалко, он мне продал.

Г а л я. А как я в больницу-то попала, знаешь? Ну, в общем, я устроилась работать в передвижной такой состав, чинили пути, знаешь? В вагончиках жили. Ну вот. Ну и конечно, они там меня не приняли. Я из университета! Да вообще ужас. *(Откашливается.)* У нас в вагончике жило пять баб, а спали *(пауза)* девять человек.

Л о р а. Мест не хватало?

Г а л я. Не то. К ним ночевать четверо мужиков еще приходило. Я одна спала, остальные по двое.

Л о р а. Кошмар. Ленская в анатомичке стоит, плачет, ее девки окружили, она замуж выходит. Чтобы отдаться Рыжему, у нас такой Рыжий есть, но он женат. Он один раз подходит ко мне и говорит: «Три рубля нет?» Я растерялась и говорю: «Нет». А у самой было. Гордость заела.

Г а л я. Дальше больше. Ехали поздно на электричке, бригадой возвращались. Я курила в тамбуре, ну, они меня начали задирать, хотели, одним словом, что-то сделать. Слегка прижали. Из бригады мужики. Я раздвинула двери и выпрыгнула. И на столб налетела. Вся была синяя.

Л о р а. Если ты хочешь, едем ко мне сейчас. Маму я уговорю как-нибудь, только бы они не въехали. А так все нормально.

Г а л я. Я вообще-то должна получить по бюллетеню за два месяца, но там, конечно, одни слезы. Но все-таки. Но для хозяйки на три месяца вперед ей не хватит. Но все-таки деньги у меня будут. Самое важное — дотянуть до фестиваля. Попасть в делегаты. Я хочу увидеть мир, представляешь? Тут ехал какой-то пробный автобус, в нем негры. Я первый раз увидела. Коричневые такие, ей-богу. Я стою, а я была из больницы первый денек. Машу им рукой, сама плачу. Голова перевязана. Они остановились у светофора, смотрят на меня, пальцем показывают, один платок с себя снял, с шеи, и кинул мне. Вот. *(Демонстрирует.)* Подготовка к фестивалю идет всюю!

Л о р а. Пойдем, у нас дома есть хлеб, майонез, сварим картошки. А бабушка еще там поживет, я надеюсь. Они там всех кормят, так что их терпят. У них кремлевский паек.

## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Комната Лики. На диване на своем месте, в ногах у Неты, сидит Люба. Рядом в шинели внакидку и офицерских ботинках сидит Лика и ест со сковородки.

Люба. Лика, съешь курочку!

Лика. Люба, я не могу видеть, как пища уходит в мусорный бак.

Л ю б а. Мама, съешь ножку. Съешь, я говорю, ножку. Ты обессилена скандалом.

Входит С а ш а, везя детскую коляску.

Л и к а. Саша, разверни его и положи в кроватку.

С а ш а. Оля пошла в булочную, я ей дал денег.

Л ю б а (*Неме*). Пойми, это нужно. А то совсем не станет сил. Ешь.

Л и к а. Саша любит детей как сумасшедший.

Л ю б а. Пойми, у нее нервы как веревки. Она плач своего ребенка выслушивает хладнокровно и при этом стирает. Что ей твои немощные старческие слезы.

Н е т а. А ты ешь, ты себя забыла.

Л ю б а. Почему никто ничего не ест? Масло скопилось за два дня. Лица, ты детям утром мажь бутерброд с икрой.

Л и к а. Оставьте! Серезу рвет от икры, а Машка во всем ему подражает. Они придумали, что это лягушачья икра. И говорят: бе!

Л ю б а. Скажи, это Олечка придумала, чтобы отвадить детей, а сама ест ложками? В банке сто грамм, съедено три четверти за один день.

Л и к а. Оставьте! Оля измучена.

Л ю б а. Год я уже наблюдаю это перерождение. Мама, орденосец, большевик, вынуждена молчать, чтобы ее не выгнали! Оля вчера заняла ванную, когда маме было плохо, и стирала с открытой дверью, и к нам и к тебе, Лица, в комнату шел шум льющейся воды, пар и газ из колонки, а на вопрос она ответила, я не скрою, чтобы я шла к дьяволу. В семье бытовое разложение, у твоего родного сына две семьи!

Л и к а. Утешься, твоя мать неоднократно была замужем. А Саша держался с одной больше восемнадцати лет.

Л ю б а. Моя мама никогда не была замужем! Это ложь.

Н е т а. Шабы була. Была, короче.

Л ю б а. Но это они от тебя уходили, и потом не одновременно! А Сашка коммунист. Коммунист должен быть чист как стекло, внимательным к людям и не бабник прежде всего.

Л и к а. Это святой, святой такой должен быть, и то некоторые святые сначала пили и всем занимались. Не погресишь, не покаешься. Един Бог свят.

Л ю б а. Бога нет, ты что, ошалела? (*Оглядывается.*)

Н е т а. Люлю, прекрати.

Л ю б а. Не для того мама и ее соратники строили социализм.

Л и к а. Ай, оставь. Социализм — это еще не коммунизм, при социализме еще многое можно. Когда будет нельзя, нам скажут.

Л ю б а. Ты перерожденец и соглашателишка.

Н е т а. Люлю, нас выпрут отсюда.

Л ю б а. Погоди. У тебя, Лика, отсталое сознание. И что получается? Бытовое разложение перешло и на детей! От кого Оля родила ребенка? А? И у кого она набралась цинизма? Дети взяли пример и выросли хамы.

Л и к а. О детях не беспокойся, о детях не беспокойся. *(Начинает плакать.)* Дети уже научены горьким опытом.

Н е т а *(приподнимаясь на локте)*. Не плачь, мы отомстим. Ты большой человечище, Лика. Мы отомстим за тебя.

Л ю б а. Мы не оставим борьбы, ведущейся всю жизнь. Мы не опустим рук. Мы отомстим.

Л и к а. Кому? Кому? Типичная мания, у нас у всех в роду мания преследования. Саша уже вернулся, и вы видели, он поднял коляску на третий этаж. Вернулся! Оля раздражена, потому что кормит грудью и не спит. Эра раздражена, потому что Саше некуда воткнуться. Эра спит с детьми, Оля с Лялькой, и, если он вернется, им с Эрой некуда вдвоем деться. Я целыми днями на кухне.

Л ю б а. Это воспаленный бред, что мы занимаем чью-то площадь. Тогда и ты занимаешь их площадь. Мы же с тобой! Она нас гонит, Лика, ты слышишь? Убирайтесь отсюда, сволочи, в ответ на замечание о бесконечно льющейся в ванной воде и горячей колонке, она выживает нас! Но куда, куда обращаться, ведь нам некуда тоже податься, кроме почтамта! Ты же знаешь!

Л и к а. Несчастные, кто вас гонит?

Л ю б а. Придет время, за нас отомстят.

Л и к а. Да ну, кому мстить? Нашли тоже. Все поставлены жизнью в условия. Вы мстили когда-то, потом вам отомстили, дальше опять вы, сколько можно? Заколдованный круг.

Н е т а. Соглашатель, она типичный соглашатель, шаты бусо шагла буша шатель. И потом, я мстила за угнетенный народ.

Л и к а. Тебя не просили.

Н е т а. Да? Ты октябрист! Я мстила за народ, а уже мне никто не мстил, никакого заколдованного круга, это искривление линии партии, революционный загиб. Не без жертв.

Л и к а. Ну, какие там вы жертвы, бросьте. Вы не сидели.

Л ю б а *(Нете)*. Шапо бушли.

Л и к а. Что сразу шапо, что бушли? Что я такого сказала? Вы сидели? Вы не сидели, вы были в эвакуации. Я чего-то не знаю?

Н е т а. Люлю, какого цвета у меня губы?

Л ю б а. Ни фиги себе эвакуация пятнадцать лет подряд.

Н е т а. Мне дурно.

Л ю б а *(не слушая)*. Исключение из партии, лишение квартиры... Исключение из комсомола, исключение из института... Гибель всей семьи!

Н е т а. Не выпрашивай у них! Не перечисляй! Молю!

Люба. Голод пятнадцать лет подряд! Картофельные очистки из соседского помойного ведра! Капустные листья, на рынке подобранные, спрашивают: это вы для козы? Жизнь без электричества ввиду неуплаты. Невозможность постоянно устроиться на работу. Я работала грузчиком! От близких и любимых ни весточки, все нас боялись. Все! Мы прокаженные! И это неизлечимо! И ни рубля! Мы и не арестованные, но и не люди, ничто! Письма, которые мы писали, они пропадали! Письма Сталину исчезали!

Лика. Тогда все тяжело жили.

Нета. Шау буми шара бую.

Лика. Все прошло. Оля все понимает, но глубоко несчастна. А вы сейчас счастливы, вас восстановили, так простите вы ей и живите в пару и газу. Это пар и туман, но ведь всюду и везде люди стирают грязное белье, всюду же пыль, отбросы и горелые сковородки! Надо подчищать! Она и сама тем же дышит, кормящая мать.

Нета. Да умираю же, слышите?

Люба. Это не мелкая усталость, это великая ненависть к слабым и старым. Это месть прокаженным.

Лика. Успокойтесь, в этом доме больше я мстить не позволю.

Нета (*садясь прочно*). А будешь мстить, если кто убьет твоих малышей?

Лика. Пусть попробуют только.

Нета. Видишь? Ты, стало быть, будешь с убийцами бороться? Будешь защищать Машу, Сережу и Ляльку вашего?

Лика. До последней капли крови.

Нета. А если их унесут, ты поползешь по следам?

Лика. И я, и все, и все, будь спокойна. Что ты мелешь?

Нета. И увидев убийц с окровавленными руками и Ляльку со вспоротым животиком? Что ты будешь делать?

Лика. Что ты порешь такую чушь, прекрати. С ума сошла.

Нета. А-а. А я видела.

Лика. Во сне. Прекрати ерунду.

Нета. Нет, белобандиты и фашисты... Они это делали.

Люба. У мамы часты видения. Она не может спать, ей чудятся убийства в мире.

Нета. Оставь.

Лика. Какие боевики нашлись.

Входит Саша.

Саша. Мама, мне надо поговорить.

Лика. Я все знаю. Я все знаю. Ты вернулся!

Саша. Без посторонних.

Л и к а. Ты не мог ведь надолго оставить свою старую слепую мать. Ну, как тебе понравился твой первый внук? Правда, хорош? Ты его развернул? Он не плакал? Вот и хорошо. Говори, говори при посторонних, которые самые мои дорогие люди.

С а ш а. Хорошо, коли так.

Л и к а. Твои дети и внук регулярно получают твою пенсию, спасибо. Сколько было страданий, ты ведь ничего не знаешь. Но теперь я верю, что ты вернулся. Как тебе наш толстый? Наш Лялька?

С а ш а. Хороший пацан. Олю жалко. Не уличная ведь девочка, домашняя. Как недосмотрели за ней, не понимаю.

Л и к а. Да, в кого это она уродилась, странно.

Л ю б а *(не сдержавшись)*. Да!

Л и к а *(Любе)*. Я сама!

С а ш а. Мама, у моей Раи будет ребенок.

Л и к а. Все еще будет? Прошел ведь уже год. Ненормальная беременность, скажу я вам.

Л ю б а *(не сдержавшись)*. Да!

С а ш а. Нашему первому, Сан Санычу, девятый месяц пошел.

Л и к а. А, вы снова. Я скажу тебе, что она плодовита, как кошка. Она самка, Саша. Хищная самка. И что же, теперь ты отнимешь у детей свои деньги? Под предлогом. Ну. Эра ведь преподает электротехнику в школе, это пятьсот шестьдесят рублей в месяц. И учится на курсах стенографии, это минус пятьдесят рублей. А Оля-то не работает! И вот так мы все будем, да моя пенсия триста пятьдесят.

Л ю б а. Ну, с питанием мы снабжаем.

Л и к а. Вы гости.

С а ш а. Да, у вас полон дом гостей, я вижу, а мне негде жить, кстати.

Л и к а. Ну что же, это всегда у нас водилось, как ты помнишь. Эру мы взяли тоже в гости в тридцать восьмом году, пока ты ее не... Не родилась у нее Оля.

С а ш а. Мама, мы живем в восьми метрах. Я болел всю осень. У Раи осложнение на почки. Ей через полгода рожать, а мы ведь не молоденькие.

Л и к а. А, она у тебя пожилая оказалась.

С а ш а. Где нам жить, стройка кончится, Раю никуда не возьмут с двумя детьми, а мне дадут как одинокому только хорошо если койку, а то место в палатке. Мы же не расписаны.

Л и к а. Что я могу тебе сказать. Я твоих проблем не решу. Живите здесь.

С а ш а. Это невозможно.

Л ю б а *(страстно)*. Да!!!

С а ш а. Хотя живут же дальние родственники... Могут и родные дети хозяина пожить...

Л и к а. И вы живите... *(Сидит понурившись.)* Все. *(Вытирает слезы.)*

Люба. Бытовые разложенцы, перерожденцы и нездоровые элементы не должны заявлять о своих правах в таких условиях, когда старые партийки в пару, в газе и скандалах!!!

В середине этой захлебывающейся реплики Любу перебивает Нета.

Нета. Шамол бучи! Шаза буткнись! Шапо буго шанят! Да! Выгонят! Ли ка. Переезжай... Что делать... Больные почки... Это серьезно в пожилом возрасте, да еще перед родами. Я буду на кухне, вы тут. Все дети при тебе... и все жены. Дедушка женился семь раз, часть жен отсудила себе по комнате, все жили вместе... К умирающему никто не подошел. Скрюченного положили в гроб. Глаза не закрыли, фурии.

Са ша. Молоко у Раи пропало, теперь за молоком двенадцать верст...

Ли ка. А конечно, молоко у беременных синее, дети плюются.

Са ша. Короче, мне нужен развод.

Ли ка. Я тебе должна дать развод? Я? Мать с сыном не разведут!

Люба. Да!

Ли ка. Ты замолчишь когда-нибудь? А?

Входит Лёня.

Лёня. Извините, там было открыто...

Ли ка (*еще не остыла*). И что? И что, я спрашиваю?

Лёня (*сбит с толку*). Но там было распахнуто...

Ли ка. Так и что, что распахнуто? Надо входить?

Лёня. А Олю можно позвать?

Ли ка. Олю ему. Олю? Вам Олю, но ее нет сейчас... (*Начинает волноваться.*) О-ля!

Са ша. Я сбегая, позову.

Ли ка. Да, Александр. Да, Александр. Смотайся.

Са ша выходит. Нета садится и с любопытством смотрит на Лёню.

Оля со своим сыном гуляла, а теперь пошла в булочную. Она у нас везет на себе весь дом. Знаете, такая работящая. Я слепа совсем... У Оли прекрасный мальчик, знаете, Олег. А вас как зовут?

Лёня (*откашлявшись, слабо отвечает*). Лёня.

Ли ка. Не слышу! Повторите!

Лёня. Леонид.

Ли ка. Прекрасное имя. У нас Олег тоже Леонидович.

Нета что-то шепчет Любе на ухо.

Л и к а. Ты Виноградов, что ли?

Л ё н я *(так же слабо)*. Да.

Л и к а. Ну и что ты подделываешь?

Л ё н я *(тискнув)*. Учусь.

Л и к а. В каком классе?

Л ё н я *(откашлявшись)*. В МВТУ имени Баумана.

Л и к а. А вот Оля не поступила... Не могла. Родила.

Л ю б а. Это не ее вина!!!

Н е т а. Шамол буши. Шане буме шашай.

Л и к а *(с нажимом)*. У нас гости, Лёня. Они немного больные.

Л ю б а *(подходит, подает руку)*. Любовь Васильевна.

Н е т а *(протягивает с дивана, невидимая, руку)*. Анна Петровна.

Лёня пожимает им руки, предварительно вытерев ладонь о штаны.

Л и к а. Не обращайтесь внимания, они много вынесли. *(Прислушивается.)* Кажется, Лялька плачет. Ему же есть пора, что она думает?

Слышен плач ребенка.

Где же она? Я стара, я слепа... Я перевернуть не смогу..

Плачет дитя. Лёня окаменел. Медленно приподнимается голова Неты.

Н е т а. Лика, не ломай комедию. Ребенку там страшно и одиноко.

Л и к а *(Лёне)*. Они тоже не приспособлены к жизни, не смогут перепеленать.

Н е т а. Я не в силах, но я схожу. Когда-то у меня были две девочки. Я не могу слышать плач детей.

Л и к а *(с силой)*. Это было у тебя до Первой мировой войны. А сейчас ты аб-со-лютно не приспособлена.

Н е т а. Ты мегера. *(Шумно падает на подушки.)*

Л ё н я. Может быть...

Л и к а. Да, да. Да, да. Будь добр.

Л ё н я. Может, я приду в другой раз?

Л и к а *(разочарованно)*. Как сам знаешь.

Л ё н я устремляется к выходу, исчезает. Лика со вздохом поднимается, чтобы идти к младенцу. Успевает дойти до дверей, и в это время входят Оля и Саша.

Л и к а. Ребенок уже надорвался, где ты шлёндраешь?

О л я. Мы с папочкой беседовали.

Л и к а. Тут к тебе приходил некто Лёня.

О л я. А, из нашего класса. Винограшка, что ли? Делать ему нечего. *(Убегает к ребенку.)*

Л и к а *(обращаясь к Саше)*. У нее, имей в виду, большие актерские способности. Она будет гореть на костре и изображать, что ей скучно.

С а ш а. Я прошу выделить мне комнату.

Л и к а. Снова он несет свое. Слушай! Зачем тебе эти дрова? Зачем бараки? Зачем палатки и керосинки? Какие такие у тебя дети? У тебя Оля, Сережка и Маша, у тебя внук Ляля, того гляди, Оля приведет мужа. Я же вижу, я не слепая! Что это за Лёня? Ты понимаешь? *(В восторге.)* Ты соображаешь, какой это Лёня?

С а ш а. Это же мой дом, имею я право...

Л и к а *(перебивая)*. Имеешь полное право, Оле с мужем мы отдадим мою комнату, я переселюсь на кухню, поставим мой топчан, ты с Эрой, она многое поняла и живет тихо. Она тля, Саша! Эта тля слова не скажет больше.

Л ю б а. А нас куда? Куда нас? Нас погонят, что ли?

Л и к а. Молчи, несчастье проклятое!

С а ш а. Ты даже не спросила, есть ли у меня фотография твоего внука.

Л и к а. А ты спросил, как Сережа и Машенька? У нас тоже есть их фотографии, Сережа играл на Новый год в детсаду старшего зайчика, а Машка, мы ей сшили снежинку.

Оля, пятась, вывозит коляску.

Куда, куда! Ты покормила?

О л я, неопределенно махнув рукой, убегает с коляской.

С а ш а. Мама, там тоже ребенок, и это твой внук то же самое. Понимаешь?

Л и к а. То ли я ослепла окончательно, то ли она сменила шапку на берет, менингитку надела, что ли. А мой ли внук, я не знаю. И ты. И ты знаешь, что ничего не знаешь. Как сказал Сократ.

С а ш а. Мама, у меня нервы доведены до предела.

Л и к а. Я не знала, что из Оли выйдет такая самоотверженная мать. Стирает ночами.

Л ю б а. Специально. Чтобы доказать нам, кто хозяин.

Л и к а. Видишь, как я живу?

С а ш а. Все-таки надо решать.

Л и к а. По-моему, она повезла показывать Ляльку этому Лёне. Слава богу, хоть кто-нибудь кому-нибудь в этом доме улыбнется, кроме Ляльки. В доме всегда должен быть малыш! И он нам один и улыбает-

ся, а мы ему. А то все время то мы ножницы и бритвы прячем, то веревки массово выкидываем, то валерьяновку на всю квартиру варим. Эрка ночами все ходит под предлогом помощи ребенку.

Л ю б а. Да! Стучит ножищами.

Л и к а. Олечка плачет от любого замечания, ты слышишь, Саша?

Н е т а. Это ты от нее плачешь.

Л ю б а. Ты ослепла от слез.

Л и к а. А Машка, она хохочет. Олечка на нее шипит: «тише», а она истерически хохочет, Олечка ей подзатыльник, поскольку Ляля спит, так она исступленно смеется и падает на пол!

С а ш а. А мы все улыбаемся дома. Тихо-тихо, Саныч не плачет совсем. Рая ему не дает. Саныч два зуба имеет. *(Показывает пальцем на нижнюю челюсть.)* Стоит уже. Крепкий. Стелим на пол одеяло. Спит пока в ящике за стульями. Днем на стульях сидим, а ночью он там спит. Коляска есть, кроватьку уже некуда.

Л ю б а. Оля бьет детей.

Л и к а. Молчи!

Н е т а. Шамол бучи!

Л и к а. Это не бьет, это шлепает. Она же одна с ними три вечера в неделю! Мать же учится! А это хулиганье руки помыть, ужинать ходит только с шестого крика. Трое детей у нее на руках, а ведь ее время еще не пришло! Нет! Вся наша жизнь тяжелый труд. Слезами залит мир безбрежный.

Н е т а *(садится)*. Но день настанет неизбежный, неумолимый страшный суд!

Л и к а. О господи.

Н е т а *(с силой)*. Перед фестивалем молодежи и студентов будут высылать тунейдцев и плесень из Москвы. Москву очистят от всей и всяческой нечисти. *(С силой падает на подушку.)*

Л и к а. Вот и вот. Видали?

С а ш а. Думается мне, что я знаю, кого отсюда надо вычистить.

Л и к а. Саша, это безобидно. Они никому не делают зла.

Н е т а. Высылают за разложенчество.

Л и к а. Ты говоришь это нам.

Л ю б а. Как писал Маяковский: где «м» с хулиганом да сифилис.

Л и к а. Оля, например, всегда боялась их. Маленькая девочка, а как все понимала! Невинность похожа не неукрепленную крепость, писал Шодерло де Лакло.

Л ю б а *(Нете)*. Шашо будер шало буде шала букло.

Нета нетерпеливо машет рукой.

Л и к а. Да, укрепленная крепость — это приходит с годами.

Люба гордо кивает.

Вот Маринку — ту повыведают из Москвы за все ее дела. Обреют и вышлют в платке. За то, что она устраивала в своей квартире и что она сейчас там вытворяет, пока отец с матерью в Германии. Учиться не учится, время проводит на вечернем отделении, какой из нее педагог! А Оля сидит дома, стирает, готовит, едет с коляской в садик, свой в коляске, эти двое за коляску держатся. Прямо тебе картина Перова «Тройка»!

Входит милиционер.

М и л и ц и о н е р. Там было распахнуто, ключ в дверях (*кладет ключ на стол*).

Саша берет ключ, хочет положить в карман, но потом возвращает на стол.

Так. Коровина Ольга тридцать девятого года рождения здесь проживает?

Л и к а (*кричит*). Саша! Саша! Я слепа! Где ты?

С а ш а. А в чем дело?

М и л и ц и о н е р. Коровина Ольга Александровна.

С а ш а. Я ее отец, а ее в настоящее время нет.

Л ю б а. Она уехала, вам сказано. Пожилому человеку плохо, врача! Моя мама большевик, орденосец, партийная кличка Муся. Лика, так надо. Мама, лежи. Это чистят Москву. Так мы и думали. Наше дело правое. За Олей пришли. Ее жаль, но что поделать.

Л и к а (*пронзительно*). В чем дело? Я ни шута не вижу, кто пришел? Оля ушла к мужу.

Входят О л я и Л ё н я, ввозят коляску.

Они с мужем пришли!

О л я (*с порога*). Баба, кто-то на Лёньку письмо в ректорат написал. Моральное разложенчество. Что он бросил ребенка и материально не содержит.

Л и к а (*дипломатически улыбаясь*). Оля, у нас милиция. Видите? Они муж с женой, да.

С а ш а. Оля, старшая дочь моя, иди сюда.

М и л и ц и о н е р. Коровина Ольга Александровна, тысяча девятьсот тридцать девятого года? (*Садится к столу, вынимает бумаги.*)

О л я. Именно.

Л и к а. Оля!

М и л и ц и о н е р (*пишет*). Девица?

Слово «девица» милиционер произносит с ударением на «е».

О л я. То есть как это?

М и л и ц и о н е р. Ну, девица или замужняя. *(Слегка покраснел.)*

О л я. Нет, я не замужняя.

Л и к а. Морганатический брак. Ребенок же есть! Лёня, скажите!

М и л и ц и о н е р *(после паузы)*. Вы знакомы с Бухарцевой Мариной Ивановной?

О л я. Я? Знакома.

Л и к а. Эту сволочь мы прекрасно видели.

М и л и ц и о н е р. Когда вы последний раз у нее были?

С а ш а. В чем все-таки дело? Вы же должны сказать, в чем дело?

М и л и ц и о н е р. Маленькое ограбление в квартире Бухарцевых. Вернее, хулиганство. Написали на стенах, ножом порезали два пианино.

Л и к а. И никто ни на одном не играет ни бельмеса, заметьте. Эти пианино не для игры.

М и л и ц и о н е р. Ну и так далее. В люстру насыпали манки.

О л я. Когда же успели?

М и л и ц и о н е р. Когда в последний раз вы там были?

Л и к а. Мы запретили ей ходить в этот вертеп! Шесть, нет, восемь месяцев она уже сидит безвылазно дома или гуляет с ребенком по магазинам.

М и л и ц и о н е р. Когда вы были там в последний раз?

О л я. Когда? Позавчера. Позавчера днем.

Входит Э р а.

Л и к а. Как? Ты вместо гуляния? Ты же клялась! *(Плачет.)*

О л я. Я зашла на несколько минут, когда шла за молоком.

Э р а. Что происходит, товарищи? Я мать! Объясните!

М и л и ц и о н е р. Произошло ограбление, хулиганство на квартире у Бухарцевых. Бухарцева Марина Ивановна назвала тех, кто последнее время посещал квартиру, среди них ее.

Э р а. Докатилась, дура! *(Подбегает к Оле, та прячется за спиной отца.)* Подожди у меня! *(Отпустив голову.)* А это кто? Это кто? Пришел, не постеснялся? Стыд и срам, стыд и срам! Опозорил, бросил, обрек на муки!

Непонятно, о ком речь, ибо Лёня и Саша стоят рядом.

М и л и ц и о н е р. Минуту, товарищ. Во сколько точнее это было?

О л я *(из-за спины отца)*. В два часа.

М и л и ц и о н е р. Кого вы там видели конкретно?

Л и к а. И что тут плохого, что зашла? Она же не грабитель! Эта Маринка ее единственная подруга, какая бы она не была «м». Подруг не

выбирают. У человека же должны быть просветы в жизни! Посмотрите на нее, какая она слабенькая: были трудные роды, была грудница, она кормит и кормит, совсем истощена. Все ее бросили.

О л я (*перебивает*). Я там видела Бухарцеву.

М и л и ц и о н е р. Еще кого?

О л я. Всё.

М и л и ц и о н е р. Был еще один человек?

О л я. Нет.

М и л и ц и о н е р. Бухарцева показала, что был.

О л я. Никого там не было.

М и л и ц и о н е р. Вы напрасно так. Дача ложных показаний.

О л я. Да не было!

Л ё н я. Это я там был этот человек. Виноградов Леонид Витальевич. Тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Студент МВТУ имени Баумана. Всё?

М и л и ц и о н е р. Сколько вы там пробыли?

Л ё н я. Я пробыл там минуту.

М и л и ц и о н е р. Что вы там делали?

Л ё н я. Оля отказалась со мной говорить, ушла. Я ушел тоже.

М и л и ц и о н е р. Вы бывали там часто?

Л ё н я. Последний раз я там был... Не помню... Год, что ли... Когда мы переехали в Новые Черемушки.

Л ю б а. За девять месяцев до рождения Ляли!

Л и к а. Видите, как мы живем?

М и л и ц и о н е р. После этого вы там были?

Л ё н я. Нет. Я же работаю и учусь. Вечером работаю.

М и л и ц и о н е р. Больше никого у Бухарцевой не видели?

Л ё н я. Нет.

О л я. И я нет. И не была там с тех пор. И не буду!!!

Э р а. Молодец, девочка!

Л и к а. Он ее вызвал, она пришла, увидела его, кровь бросилась в голову... И выбежала. Побежала в молочную. Лялька проснулся и очень плакал. Помнишь, Нета?

Нета слабо машет рукой из-за стола. Люба сидит в величественной позе.

М и л и ц и о н е р. Читаю. Я, Коровина О. А., пришла на квартиру Бухарцевой М. И., чтобы встретиться со своим сожителем Виноградовым Л. В. Подпишите.

Оля, плача, подписывает.

М и л и ц и о н е р. Я, Виноградов Л. В., такого-то года, то-то-то, вот здесь. С сожительницей Коровиной О. А. Здесь подпишите.

Лёня подписывает, стиснув зубы. М и л и ц и о н е р, собрав бумаги, уходит.

Э р а. Ну что, все-таки явился, подлая душонка?

Поскольку она смотрит в пол, неизвестно, к кому из мужчин обращены ее слова.

Все-таки заныло сердце у пакостника? Совесть-то мучает! Сойтись решил. А где ты был раньше, когда мы с ума сходили и веревок боялись?

О л я. Мама, на Лёню какая-то дрянь написала анонимку в ректорат, что он бросил ребенка и моральное разложение.

Э р а. И тогда он прибежал? *(Усмехается.)*

С а ш а. Я примерно знаю, кто это написал.

Люба лезет к матери под одеяло.

О л я. Я тоже.

Люба и Нета камнем лежат, спрятавши головы.

Э р а. Еще чего!

Юный Лео н и д исчезает. О л я с коляской, помедлив, кидается вслед за ним.

Л ю б а *(приподнимается)*. Лика, готовится провокация! *(Прячется под одеяло.)*

Лика сидит понурившись.

Э р а *(становится на колени перед диваном)*. Умоляю вас, уйдите! Христом Богом молю, уйдите! *(Рыдает.)* Да что же это! Я в окно брошусь!

На диване каменно молчат, не шевелясь.

Нет же совсем жизни! Мужу жить негде! Всюду вы, всюду вы! Мама, скажите им!

Лика молчит.

Вы же люди, у вас есть свой дом! Мы вам дадим всё! Кровать, простыни! Стол дам Олькин! Поживите сами!

Полное молчание.

Л и к а. Эра, им ничего не нужно. Ни-че-го.

Э р а. Им ничего не нужно своего, только все чужое. *(Встает с колен, вытирает слезы.)* Ладно. *(Внезпно выхватывает из-под одеяла черную сумку.)* А вот вашу сумку я сейчас выброшу! *(Выбегает с сумкой.)*

Л ю б а. Там же партдокументы! Письма Сталину!

Нета и Люба вскакивают, путаясь в одеяле. Нета, оказывается, лежала в пальто и ботинках. Выскакивают вон. Быстро входит запыхавшаяся Эра.

Э р а. Надо звонить дяде Мише. Они там на лестнице. Я захлопнула дверь.

Слышен прерывистый звонок в дверь. Немая сцена, все — Лика, Саша, Эра — замерли.

## КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Репетиция Московского хора.

Дора Абрамовна *(поднимает телефонную трубку)*. Станислав Геннадиевич, вас из райкома по идеологии!

Станислав Геннадиевич *(идет к телефону)*. Баранова звонила, что больна, у нее тридцать девять и шесть.

Скорикова *(встает)*. Мы не требуем справок, надо требовать справки. Обстановка серьезная, шьются костюмы. С такой пропускательностью как у Барановой встает вопрос, как будет человек болеть во время фестиваля. Имейте в виду все остальные. Совет старейшин! С Сулимовой вопрос решается — будем выводить из резерва, мест нет.

Входит Катя, делает знаки Скориковой.

Минуту. Как раз вот хорошо, что вы пришли, это мать Сулимовой. *(Отходит с Катей.)* Ты чего?

Катя. Слушай, я тут рядом проходила. Ты капитану звонила? Что он сказал? Мое письмо получил?

Скорикова. Жена подошла, больше сюда не звоните, сказала, тварь.

Катя *(схватившись за нижнюю челюсть)*. Она же твой-то голос не знает!

Скорикова. Я нос зажимала.

Катя. Как быть? А тебе тот-то не звонил, Лёва?

Скорикова. Я к тебе зайду. Беги. Сейчас не поговорить.

Станислав Геннадиевич *(входя)*. Только что звонили из райкома комсомола... сегодня будем встречать мужской студенческий хор

города Дрездена. Нам поручена честь встречать их на Белорусском вокзале в двадцать два ноль-ноль. Кто не пойдет, внимание! Не пришел, значит, не член делегации. Звонят за час, что за подготовка, понимаешь. Ни цветов, ничего. Так. Поем. Перголези. Скорикова, раздать партии из финала. «Стабат матер». Партии сдать Скориковой обратно на вокзале! Так! Текст, как вам известно, исполняется по-латыни. Поем без шапок, я думаю. На вокзале же. Все поняли. Так. Текст! Стояла мать скорбящая перед крестом.

## КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Эра, Оля, Лика. Эра пишет, Оля диктует. Входит Михаил Михайлыч.

Михаил Михайлыч. Только прихожу, опять меня снимают с работы! Лика!

Беспрерывные звонки в дверь.

Соседи вынесли им стул и чай, работает «скорая немощ».

Эра. Ты диктуй с тихой скоростью. Я вся дрожу.

Оля. Невиданные урожаи в мире способна собирать Страна Советов. Я верю, что недалек тот час, когда сто цэ с гектара будет средним урожаем моей родины. Академик Вильямс.

Входит Саша, останавливается, мнется.

Саша. Оля, выйди на минутку.

Эра. Диктуй.

Оля. Советской стране нужна большая бдительность, чтобы охранять мирный труд советского народа. Нет ничего более волнующего, чем вид Красной площади в дни народных празднеств, когда сотни тысяч идут мимо древних кремлевских стен.

Звонки.

Михаил Михайлыч. Мое предложение. Дайте им тарелку супа. За тарелку горячего супа люди шли на многое. Я, кстати, тоже не обедал. Целый день пью чай по родственникам. Все горло пересохло.

Эра. Диктуй, я говорю!

Звонки.

Оля. Конституция Советского Союза гарантирует великое право на отдых. Саморазгружающаяся машина Фролова на многих работах способна заменить самосвал.

С а ш а. Оля, тебе говорят.

О л я. Человек должен подчинять себе природу, а не подчиняться ей.

С а ш а. Мне надо поговорить с мамой. Ты чего отца не слушаешь, дочь моя старшая?

Э р а. Диктуй, тебе сказали.

О л я. Но ни нужда, ни лишения не сломили его воли к овладению основами современной ему науки. Ломоносов успешно закончил учебу.

С а ш а. Нехорошо, нехорошо поступаешь с отцом.

Э р а. Ты будешь диктовать?

О л я (*зло*). Первая трудность, с которой пришлось столкнуться ученым, заключалась в выборе вещества, пригодного для изготовления прозрачного черепа. Такое вещество должно было обладать рядом особых свойств, быть устойчивым против бактерий, кислот и щелочей, пропускать рентгеновские лучи, вызывать минимальную реакцию со стороны организма и т. д. После многих проб и экспериментов было установлено, что наиболее подходящим материалом для искусственной крышки прозрачного черепа является созданная советскими химиками прозрачная пластмасса плексигласс. Два «с».

М и х а л М и х а л ы ч. Сейчас придет грузовое такси с грузчиками. Лика, я тяжести таскать не могу, у меня болезнь сердца.

Э р а (*с силой*). Когда моя мама умирала на разъезде Шубаркудук, я не могла ее взять сюда. Я это знала и не предлагала. Я поехала. Она против ожиданий встретила меня сама на станции босая, стояла в пыли, ноги жилистые такие. Пока я там жила, пока мама не умерла в своем бараке, Саша отъехал в Лиепая и сошелся там с учительницей физкультуры, в пятидесятом году. И мне ни письма и ни весточки. Мама умирает медленной смертью. В полном сознании. Я бегаю на почту за три километра. Мама умирает. Ни письма, ни-че-го. Похоронила и примчалась, нашла Лиепая, нашла гостиницу, спряталась под стол. Ду-ра! Он входит, а я из-под стола: у-у-у! Вижу, а в дверях стоят две пары ног и сумочка качается. Я вылезла со своим рюкзаком. Еле вылезла.

Звонки.

Пауза. Все замерли. Эра жалеет, что все это рассказала, Саша весь сморщился, как от кислого, Оля вообще слышит обо всем этом десятый раз и, подойдя тем временем к телефону, быстро набирает номер и так же быстро кладет трубку. Михал Михалыч, наоборот, кивает и жаждет вставить слово.

М и х а л М и х а л ы ч. Да-да. У меня вот тоже было буквально то же самое. Как известно, когда Майкин Сима, вы его не знаете, уходил от жены, он ушел в чем мать родила, в одной шинели. А потом, а именно сегодня, ему срочно понадобилось взять хотя бы узел с бельем, Майка сняла меня с работы, я поехал с ним и Лёвка, племянник Майки со

стороны первого мужа, мы ему ищем жену, кстати, с изолированной комнатой, чтобы пекла блины. Почему-то настаивает на блинах. Короче, мы пришли, как оказалось, правильно, Симиная жена даже не сошла с койки, Лёва у нее одну подушку из-под головы с извинениями вынул, она лежала сама на трех! Не у детей же было брать, они посреди дня все лежали, у детей по одной подушке.

Оля набирает номер и быстро бросает трубку.

С а ш а. Оля, выйди отсюда, кому сказано.

Он явно недоволен рассказом Михал Михалыча, Эра же демонстративно слушает.

М и х а л М и х а л ы ч. Симиная жена только рассмеялась, когда из-под нее подушку взяли.

Эра смеется.

А Симин младший, Изюм его зовут, подошел к Симе, к отцу, сейчас будете смеяться, и отдал ему паровозик. Изюму два года. Симиная жена тут говорит вся в слезах: «Собака!» А младший говорит на это: «Ав, ав!» Больше ничего не сказал, видимо, не умеет. Ну вот. Делать нечего, взяли мы подушку, четыре простыни, одеяло человеку чтобы спать, и все обошлось. Чистых не было, Сима сам брал грязные простыни из бака, она уже все бросила и не стирает. Нашли его бурки зимние, слава тебе господи, он за них больше всего дрожал. Только что я оттуда вернулся, пришел на работу, опять меня снимают, Лика звонит: ты поклялся меня выручать. Я опять вышел на улицу, сел в трамвай. Ехать до вас полтора часа от Калужской! Сам весь еще дрожу. У меня болезнь сердца, дай руку (*берет руку Эры, прикладывает к своему сердцу*), слышишь шумы?

Эра (*взглянув на Сашу*). Еще новости (*вырывает руку*).

М и х а л М и х а л ы ч. Никто не выдерживает, даже врачиха. Сам дрожу. Детки Симины потом тоже начали плакать, вскочили, Симу за ноги обнимают. Она сама тоже поднялась, давай детей отрывать. При нас силы ее удвоились. Она фронтовичка. Вместе с Симой воевали, привел он ее с фронта, медсестру, спасла ему жизнь. Привел. А жена его с дочерью дождалась его с фронта, он им построил в комнате перегородку как следует, доски, drankи, штукатурили. Дочери Симы уже двадцать лет, взрослая девушка, зачем ей слушать все эти дела. Этот Сима как тот ваш дедушка, будет семь раз женат, в результате было некому закрыть ему глаза. Но та, предыдущая жена Симы, ему развода так и не дала, теперь для новой жены дала. Через раз на второй.

Звонки.

Л и к а. Междугородняя. (*Ушла.*)

С а ш а (*подбегает к телефону*). Але! Але! Вас слушают.

Высвечивается Р а я в кабинке телефона, молча плачет.

С а ш а. Слушаю вас! Ничего не слышно!

Рая молчит.

С а ш а. Перезвоните! Але! Барышня! Что за черт! Але! (*Медленно кладет трубку.*) Оля, помоги мне! Ты сама мать! Ты уже выросла, дочь моя старшая, уже все понимаешь! Как тяжело детям без отца! У тебя маленький брат, ты понимаешь? Ему тоже нужен отец!

М и х а л М и х а л ы ч. Сима тоже не мог не жениться, она его студентка, она в интересном положении, дело дошло до ректората. В результате Сима со студенткой снимают койку в Столешниковом у мужского портного. Теперь у них есть подушка, одеяло, четыре простыни и вот бурки.

С а ш а. Оля, мне надо срочно поговорить с мамой.

Э р а. Ты будешь диктовать? Отойди от телефона, кретинка!

О л я. Социалистический реализм, социалистическая литература, литературоведение нанести сокрушительный удар, рецидив, буржуазный национализм, космополитизм, незывлемый, великая традиция, активные строители... (*Пауза.*)

Э р а. Написала. Давай!

О л я. Руководящая и направляющая сила, широкий простор. Широкий простор.

С а ш а. Ну ладно, раз так. Спасибо, Оля.

Звонки.

Л и к а (*наконец подняла голову*). Саша, придет машина, тебе надо будет поработать. Я даю им свой диван, Эра, это мой диван, свое барахло выгребь. Соньке отдай. Хотя это же теперь Лялино. И Вадима Михайловича ночную тумбочку, с чего-то им надо начинать! Это всё мои вещи, я предупреждаю. Простыни, какие чистые, шесть штук. Одеяло и подушки две. Они спят валетом. Две подушки обязательно! Моя сестра и ее несчастная дочь, мои единственные! Я их никогда не оставлю! Саша, ради тебя, ради твоей семьи они там стоят выгнанные! Тебя здесь заждались и любят. Посмотри на Эрку, на свою Ольку! Как они на тебя смотрят! Прости Эру за ее бессмысленные крики. Когда я слышала за стеной, как Эра обычно кричит на Сашу, когда он приезжает из командировок, я

молилась и думала: если Саша бросит Эрку, то я понимаю почему. Но эти крики, Саша! Это были крики любви и понимания, что происходит! Скоро, скоро все будет вам, Саша! Что надо той женщине? Через нашу разоренную жизнь дойти до московской прописки? Она, конечно, уже немолода, ей пора замуж. Но, Саша! Меня предупредили, что до тебя у нее был роман с подполковником Дубом. Приехала его жена Дуб и дала ей по щеке. Твой ли это ребенок? А?

С а ш а. Мама, мои нервы доведены до предела. *(Топает ногами.)*

Л и к а. Дуба отозвали, она перекинулась на тебя.

Саша с силой грохает стулом об пол, выходит к роялю.

С а ш а. Дуба отозвали за пьянку.

Л и к а. Видишь. Все совпадает. А ты нам нужен не для достижения каких-то целей, а сам. Ты здесь родился, и это твой дом. Оля, поди обними отца. Эра, иди сюда. Видишь, они не верят тебе, что вернулся отец и муж. Саша, дай мне свой паспорт.

С а ш а *(вставая)*. Мама, у меня его нет. Я буду разбирать диван. Отвезу их, тогда приду поговорим. *(Подходит к дивану.)* Совсем доказали меня. *(Ложится на диван.)* Оля, дай одеяло.

Э р а *(шепотом)*. Его детское, в шкафу.

Л и к а. И не надо больше ездить в Березай.

Оля накрывает отца. Эра заботливо поправляет одеяло. Саша натягивает одеяло на голову, открыв ноги в рваных носках. Эра, Лика, Оля стоят над лежащим Сашей.

М и х а л М и х а л ы ч *(входит с двумя грузчиками с веревками и крючьями, в ватниках и кирзовых сапогах)*. Сюда, пожалуйста. *(Подходит к дивану, на котором спит Саша.)* Вот это.

Пауза. Все смотрят на спящего Сашу. Грузчики разбирают веревки, крючья.

Деньги есть? А то у меня как всегда.

С а ш а *(прокашлявшись, приподнимается)*. Деньги есть. Найдем. *(Садится на диване, начинает надевать ботинки.)*

Все стоят, наблюдают, как Саша шнурует ботинки.

М и х а л М и х а л ы ч. Одни расходы эти разводы.

Грузчики согласно кивают, берутся за диван. Саша встает и выходит вместе с грузчиками. Эра, держа тряпье, как ребенка на весу, прячет в него голову, покачивается. Михал Михалыч провожает грузчиков, потом возвращается.

Но мы поддерживаем отношения с совсем первым браком Симы. Его старшую дочь я устроил на курсы завклубом киномехаников. Майкин дядя был замминистра, теперь полгода без работы и направили заведующим райкинофикации. Его жена-то и есть директор курсов стенографии, я говорил... Где Эра учится. *(Уходит.)*

## КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Комната Любы и Неты в новой квартире. Они сидят на диване.

Михал Михалыч *(входя)*. Вот вам ключи от входной двери, Катя вам дает свои. Просила передать. Так что новый замок вставлять не придется.

Люба. Их свидетельницу чтобы я здесь больше не видела.

Михал Михалыч. Это кого?

Люба. У Кати с Лорой в комнате сидит какая-то посторонняя.

Михал Михалыч. Минуточку! *(Выходит.)*

Нета. Как здесь сыро! Пар с кухни не выветривается!

Люба. Потолки низкие! Три метра всего!

Нета. Пар, парильня!

Люба. Лику они так и не пустили с нами проститься.

Нета. Не говори мне о ней. Она плакала. Они ее к телефону и не позовут теперь.

Люба. Вот тебе в Москву, в Москву. Вот тебе Москва.

Нета. Мы будем бороться!

Люба. Боже мой, почему одним все счастье, все тепло и все их любят.

Нета. Саша специально приехал из Березая, чтобы нас вытурить! Его, наверно, Эра вызвала.

Люба. Оля, Оля.

Нета. Моральные разложенцы, семья падших людей! Машка маленькая и то мне язык показывала. Им нет дела до их же матери! Не купят ничего, очки не закажут. Родную тетку выставили, тьфу!

Люба. Они нас преследуют за правду!

Нета. Правильно говорила Лика: мои старые глаза всё видят, и за это меня ненавидят.

Люба. За правду сжигали на кострах.

Михал Михалыч *(входя)*. Это, оказывается, подруга Лоры. Поют вместе в хоре, что ли. Она болеет у них. Она из больницы, ей негде жить. Температура тридцать девять и шесть. Правда, я не мерил.

Люба. Вот-вот, этого-то нам и не надо.

Михал Михалыч выходит.

Н е т а. Лица ведь все видела, что Эрка несется с нашим портфелем! Видела, что мы побежали за ней и она захлопнула дверь за нами! И не сказала ни слова! А мы по листку собирали на лестнице ползали.

Л ю б а. Она нас предала. Она соглашателишка. А ты чистой воды кристалл. Она предала тебя, свою сестру, ради своих отпрысков. Они никто.

Входит К а т я.

К а т я. Мама.

Л ю б а. Вашу свидетельницу хористку чтобы мы больше не видели. Начинается! И чайник! Он не должен кипеть.

К а т я. Что мы, звери?

Л ю б а. Маме от пара плохо.

К а т я. Ну да, конечно.

Л ю б а. Из мусоропровода несет.

К а т я. Ой, ужасно. Все жалуются.

Л ю б а. Надо заклеить.

К а т я. Хорошо. Мама, Лорочка сказала, что без своей подруги дома жить не будет. Она ушла из дому за этой Галей. Куда-то на вокзал жить. Мама...

Л ю б а. Святое имя мамы не упоминай.

К а т я уходит.

Н е т а. Люба, пиши. Первому секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза! Дорогой Никита Сергеевич! Прекратите трагический театр Гауптмана. Двух больных людей выгнали на улицу, где в квартире пар и зловоние. Тунеядцы распоряжаются судьбами людей, нигде не работающие и не учащиеся, вследствие морального разложения родившие ребенка, который может пойти по стопам отца и матери, которого и необходимо отобрать у матери. Тчк. Муж бросил жену с тремя детьми-уродами, показывающими язык, одна из которых тут же родила, встречаясь с сожителем в ограбленной квартире, потому что родители Германии, зпт, которая стирает по ночам, разнося по всей квартире пар и газ от замоченных пеленок, тчк. В квартире проживали посторонние, с температурой тридцать девять и шесть. Тчк, настоящая клоака тчк. Такси везло окольной дорогой через всю Москву, пиши М тире ву, так короче. Старайся короче, сказать надо много. Скорая помощь работала на лестнице якобы скорая, на самом деле психоперевозка зпт больницу отказались тчк. Кровать специально отлежали как качели зпт, как она там спала вскл, восклицательный. Ее угнетают, заставляют питаться углями и вычищать ложкой кстр. Кастрюли пиши со-кращенно. Просим предоставить другую квартиру с изол. комнатами.

Слово «углем» подчеркни. И слово «психоперевозка». Еще. У Лики растет под носом шишка, и никто не ведет ее к вр. Тчк.

Люба. Мама, мы еще увидим лучшее будущее! Москва растет и хорошеет, полным ходом идет реконструкция! Изобретут средство от клопов. Все переедут в отдельные квартиры. Люди будут относиться друг к другу лучше и лучше! В такси с откидным верхом! Представляешь? По зеленеющей красавице Москве! Снесут Арбат и все лишнее. Слушай, там кто-то плачет за стеной.

Нета. Ужасная слышимость. То есть всё слышно, все слова. Шабу будем шаго буво шарить, пока шатоль буко шаша бубу.

Люба. Провокаторы. Мы не можем здесь жить, когда плачут за стеной. Это невыносимо, в конце концов!

Нета. Надо вызвать милицию к распоясавшимся хулиганам. Плачет ребенок? Не убивают ли? Кто-то убивает ребенка?

Люба. Надо звонить в детскую комнату милиции. Слушай, нет, это она плачет. Катя плачет. Комедиантка.

## КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Белорусский вокзал. Стоит с чемоданом и авоськой Саша. Поодаль остановились Галя и Лора.

Галя (*подойдя к Саше*). Дяденька, у вас закурить не найдется? (*Прислоняется к стенке.*) Целый вокзал обошла, полный зал, мест нет, а то бы посидели.

Саша. Да сидеть еще холоднее.

Галя. Я еду в город Брест к мужу, а вы?

Саша. Станция Березай.

Галя. Меня зовут Светлана Малинина.

Саша. А я дядя Саша, муж своей жены.

Галя. А у меня сумку свистнули. (*Разводит руками.*) И чемоданы. Заснула, и всё. В милиции всё записали и освободили. Я из Шубаркудука, еду к мужу. И всё стырили.

Саша. Знаю Шубаркудук.

Галя. Знаешь? Никто не знает.

Саша. Там в ссылке теща проживала.

Галя. Как фамилия?

Саша. Эрика Тице. Немка.

Галя. Немцы жили за разъездом.

Саша. Ну вот.

Галя. Немцы аккуратно жили. Вернее, немки. Босые ходили, как все, но чисто подметали, даже двор у барака. Там пыль везде. У наших барачков грязно, мухи летают как пчелы. Мы этих немок звали «Гитлер капут».

С а ш а. Теща была антифашист.

Г а л я. Конечно, фашистов там не было. Еще бы. Все антифашисты. Мы тоже с матерью. (*Воспроизводит антифашистский жест — рука согнута в локте, кулак обращен к зрителям.*)

С а ш а. Вот-вот. Этой моей теще и вернуться было некуда, тесть из ссылки прибыл с новой женой и ребенком. И вскоре скончался. Мачеха эта мою жену и в дом не пригласила помянуть. А моя жена не такой человек, чтобы требовать наследство. И какое там наследство? Ничего вообще не требовала для себя, все для других. До сорока двух лет дожила, ничего не нажила. Ни профессии, ничего, даже денег. Трое детей. Две девочки и мальчик, восемнадцать, восемь и шесть маленькой.

Г а л я. По-нят-но. Есть хочется. (*Оглядывается на Лору.*)

С а ш а. Денег не дам.

Г а л я. Понятно.

С а ш а. Хлеб с колбасой есть.

Г а л я. Валяйте давайте. (*Едят стоя.*) Голова прямо как котел. Болит и болит. (*Отходит и делится с Лорой. Возвращается.*)

С а ш а. Пить надо меньше водку.

Г а л я (*оторвавшись от еды*). Вы так думаете?

С а ш а. И врать меньше.

Г а л я. Я не врала, ты что.

С а ш а. Вот. А моя жена мне никогда не врет, ни слова не наврала. Я ее избавил от одного там полковника, фамилия Дуб. А что она может, она сама молодая тридцать один год, медсестра. Ничего. Теперь у нас сыну восемь... девять месяцев. Никто не сунется.

Г а л я. У меня температура, дядя Саша. Голова болит. Дайте на билет.

С а ш а. Девочка, ой, смотри, себя потеряешь.

Г а л я. Я студентка.

С а ш а. Ведь ты будущая мать. У тебя будут дети.

Г а л я. Ты что, дяденька. Пугаешь.

С а ш а. Что ты расскажешь им о своем прошлом?

Г а л я. То же, что и ты.

С а ш а. Я воевал! Всю жизнь работал! У меня трое детей, одна как ты. Восемнадцать лет. Даже четверо! (*Пауза.*) Четверо... детей.

Г а л я. Я тоже работала, это-то я понараскажу много.

С а ш а. Ну и как же ты дошла, что ни копейки? Трудовой человек?

Г а л я. А судьба.

Входит уборщица Л и д а.

Л и д а (*весело*). Во у меня сторожа. Во как мне лохмотье мое охраняют и швабру. Парочка, свинья да ярочка. А я вас не знаю.

С а ш а. И куда же ты теперь? Эх-ох.

Г а л я. Оставь, отвяжись.

Л и д а. Он оставит. Покинул волк кобылу, оставил хвост да гриву.

Г а л я. Тетенька, на ночь непустишь?

Л и д а. На время или на час?

Г а л я. На ночь.

Л и д а. Да я вас не знаю. Одна или вдвоем?

Г а л я. Вдвоем.

Л и д а. И то. Я приберу в зале. Жди меня. Деньги... пять рублей.

Г а л я. А далеко живешь?

Л и д а. Жаворонки платформа. Вперед по кочкам.

Г а л я. Далек.

Л и д а. Так три рубля давай. Чего.

Г а л я. Ладно.

Л и д а. Деньги-то дашь?

Г а л я. А откуда я знаю, куда ты с ними пойдешь.

Л и д а. А я тебя не знаю.

Г а л я. Да я у твоей сменщицы ночевала, у тети Дуси на Лесной. У нее теперь грузины с Палашей живут.

Л и д а. Если бы я в Москве жила... то я бы тоже по червонцу брала за коечку. С Палашей с рынка, это богатые. С Тишинки тоже, но их Жаворонки не устраивают. Ну, жди тогда. Пока я грязь буду возить.

Входит Московский хор. Скорикова раздает партии, раздается отдаленный гул духового оркестра, входит Дрезденский хор. Ребята в брючках-дудочках, в куртках в разнообразную клетку, в одинаковых буршевских фуражках. Появляется Катя.

К а т я (*Лоре*). Пошли домой.

Л о р а. Не пойду.

К а т я. Пойдем, я тебя умоляю. Девушка, извините, как вас зовут, пусть она идет домой.

Г а л я. Она придет попозже.

К а т я. Что значит попозже? Она девочка еще, ей здесь нечего делать... Скорикова! Какой пассаж!

С к о р и к о в а. погоди. (*Оглядывает помещение.*) Сейчас некогда.

К а т я. Тебе позвонил?

С к о р и к о в а. Кто еще?

К а т я. Этот человек.

С к о р и к о в а. Позвонил. Говорил что-то про рубашку и про какие-то блины. Странный какой-то.

К а т я. Хочет сходитьсья.

С к о р и к о в а. С тобой?

К а т я. Ты что!

С к о р и к о в а. А меня откуда знает?

К а т я. Я посоветовала.

С к о р и к о в а. Ты видишь, сейчас некогда. Я зайду. Баранова, Сулимова, вам на двоих одна партия, вернуть.

Катя (*робко Саше, который все время отворачивается*). Здравствуй!  
 С а ш а. Уезжаю.  
 К а т я. До свидания.

Катя отходит, держа в поле зрения Лору, которая уже встала в хор. Скорикова там же, раздает партни.

Станислав Геннадиевич. Мы, Московский хор, рады приветствовать Дрезденский хор! Аплодисменты! (*Хоры хлопают, здороваются.*)

Входят Л и к а и держащая ее под руку Э р а. У Эры на руке зеленое пальто.  
 Лика в шинели.

Л и к а (*самозабвенно кидаясь к Саше*). Я, старая дура, все поняла! Я мчалась, чтобы тебе сказать... Саша, ты был прав. Я еду с тобой.

Саша испытывает неловкость.

Я решилась!

С а ш а (*с досадой*). Мама, я говорил тебе, там восемь метров.

Л и к а. Что мне восемь метров! Уж жены-то ехали декабристов, я не понимаю, что матери сидели как пни! Сибири! Что мне Сибири! Я и в Березай поеду! Умру хоть по-человечески, рядом с тобой...

Э р а (*уже не первый раз*). Мама, переоденьтесь, нате пальто, неудобно!

Л и к а. Я не могу здесь оставаться, мою сестру выгнали. Если я порядочный человек... Я должна уйти из дома!

С а ш а. Мама, у меня почти двое детей...

Л и к а. У тебя почти пятеро, но это неважно. Тебе это всегда было раз плюнуть, неважно. Я все решила! Едем. Естественно, без Эры я не могу. Она тебе не помешает. Эра, становись на колени! (*Бросается на колени.*)

Саша и Эра кидаются ее поднимать, Лика целует руки Саше и Эре.

Станислав Геннадиевич. Бетховен. Девятая симфония!  
 Финал! Обнимитесь, миллионы!

Галя Баранова поднимает руку в антифашистском приветствии. Руководитель Дрезденского хора подошел к ней, сам поднял кулак и пожал ей руку. Два хора поют. Саша и Эра стоят над Ликой, которая не желает вставать с колен и мотает головой.

Конец

# БИФЕМ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Б и, женщина 50 лет

Ф е м, женщина 27 лет

Г о л о с и з д и н а м и к а, который время от времени говорит неразборчиво

Появляется Б и ф е м. Это двухголовая женщина.

Ф е м. Ты зачем надела наш парик?

Б и. Какой это ваш парик. Ваш парик! Ваше величество женщина! Ах, ты же еще девушка! Ты не была замужем! Я же позабыла. Ты девушка. Несмотря на свои сорок любовников. Девушка, а это твой разве парик? Ты разве лысая девушка?

Ф е м. Ты зачем залезла в мою сумку? Как ворюга? Когда я сплю?

Б и. Моя вещь, я ее и взяла. Мой парик! И не спи, не спи!

Ф е м. Ты же мне его отдала! Ты мне сама его принесла в подвал и хотела на меня надеть! Но было нельзя! И ты мне его сама оставила, сказала, это для тебя, когда к тебе будут приходиться! И принесла мне сумку, это для тебя, и положила парик в мою сумку! И теперь ты, меня не спросив, берешь парик?

Б и. Кто ты такая, спрашивать тебя о моем парике?

Ф е м. Это была моя вещь.

Б и. Ты его даже не надела ни разу, когда тебя там повесили!

Ф е м. Отдай! *(Пытается сорвать с головы Би парик, но сталкивается с сопротивлением ее руки.)* Зачем ты надела парик? Что такое произошло, пока я спала? Я ничего не слышала! Ты можешь мне ответить? Корова!

Б и *(торжественно)*. А ты не спи! Я тебя будила, кстати. Ты ответила мне «му», как сама корова. Мычала как обычно. Тебя же не добудишься! Вот ты и все проспала царствие небесное в прямом смысле слова! Ты не способна утром встать! И не можешь вечером лечь! Ты читала полночи, не давала мне заснуть. Теперь ты видишь, к чему это все привело. Когда-нибудь за все приходится платить!

Ф е м. Тогда я хочу попросить у тебя одну вещь.

Б и. Нет, курить ты не будешь, травить меня.

Ф е м. Другое.

Б и. И умереть ты меня не проси. Всё. Всё! (*Танцует одним боком, поет.*)

Ф е м. Ну мамка, ну скажи!

Г о л о с. Ал-але! (*Хрип, хруст, скрежет.*) Аем наду храгранну.

Б и. Вот оно! Начинается! Начинается!

Ф е м. Что начинается, мамка? Зачем мы пришли сюда? Зачем ты меня разбудила? Никакой Колин нас не звал! Ты обманула меня!

Б и. Ну и живи, ни о чем не догадываясь. Ура! Да здравствует! (*Поет.*) Вся я горю, не пойму отчего!

Ф е м. Не пой! Заглохни!

Б и (*поет*). Не пой, красавица, при мне!

Ф е м (*старается перекричать*). Раз! Два! Два! Два!

Вопят обе.

Г о л о с. Алло! Пере шави риминдый крусай кххх! Алл-ло! Омибуха! Правый микрофон прощвертя.

Б и. Сюда идут журналисты, телевидение! Ящик! Будут освещать, сказали, подвиг матери по ящику! По ящику меня, мать, освещать! На, попудрись! Нос блестит!

Ф е м. Вот зачем ты парик надела!

Би протягивает Фем свою сумочку, та отталкивает.

Б и. А Миша, Михаил будет смотреть на тебя! А? Михаил снова влюбится? Твой мимолетный роман? Приведи себя в порядок, урод!

Ф е м. А пошла ты со своей пудрой! Не хочу!

Б и (*заботливо*). Ну не глупи! (*Протягивает ей сумку.*) У меня тут тени! Помада! Возьми расческу, взбей! Взбей волосы! Возьми мыльце, причеши брови с мылом! Бери помаду, крась веки, щеки, шею! До-стань мое зеркало! Доктор Колин собирает прессу! От этого все зависит. Нашли спонсора! Наша жизнь!

Ф е м. Погоди, что зависит?

Б и. Всё!

Ф е м. Скажи! А то не буду краситься!

Б и. Испугала. Не красься! Скажут: молодая красивая мама пожертвовала собой ради уродлика дочери. Не дам тебе пудру и мыло. Нос блестит у тебя пусть, губы пусть синие, хорошо. Брови как ерошка нечесанные. Прыщ!

Ф е м. Где?

Б и. На носу.

Ф е м. Конечно, ты вчера нажралась черного хлеба с сахаром, я тебя присила, не ешь!

Б и. Да нет, это у тебя сексуальный прыщ. Хотюнчик называется. Они всегда на подбородке и на носу. На лбу, кстати.

Ф е м. Вчера у меня не было сексуальности, сегодня, после черного хлеба с сахаром, появилась.

Б и. Не знаю, может быть, ночью у тебя были мечты... Книгу ты какую читала? Приснилось, может, что-то. *(Напевает.)* Вся я горю, не пойму отчего.

Ф е м *(кричит)*. Раз! Два! Два! Два!

Б и. Ну а если мне хочется сладкого? А все деньги мы истратили на того алкоголика? Я вынуждена есть сахар с хлебом.

Ф е м. Не все. Ты заначила часть.

Б и. А это на другого алкоголика, ты же сама знаешь, что Рекс может вернуться. Твою пенсию ты уже истратила, купила лак для волос. У меня волос хороший, а у тебя плохой, в твоего отца, царствие ему небесное.

Ф е м. Кому царствие небесное? Ты что! Что случилось?

Б и. Волосам Титова, твоего отца, какоч пришел. Лысый в свои сорок пять лет.

Ф е м. А!..

Б и. Ну ничего. Сделаем операцию по вживлению волос с одного места. У него еще много там лохмушек. Около хохолка-то. Кудри вьются. *(Поет.)* Кудри вьются, кудри вьются... Посмотрим, посмотрим.

Ф е м. Ненормальная ты, мамка. Отец ничего такого делать не будет. Перед тобой ему красоваться неохота, а остальным он и так хорош.

Б и. Да вот у тебя прыщ.

Ф е м. Да нет у меня ничего. Дай зеркало.

Б и. Держи сумку.

Фем держит сумку, Би достает зеркало, смотрится в него, отдает Фем, сама выуживает помаду и, боком заглядывая в зеркальце, быстро красит губы и щеки, затем растушевывает пальцем.

На! *(Протягивает помаду Фем.)*

Ф е м. Да не буду я. Нет никакого прыща.

Б и. Хотюнчик маленький-маленький. *(Прячет помаду, достает пудру.)* Открой мне пудру, я подержу?

Ф е м. Не буду.

Б и. То-то Михаил посмеется, увидев тебя в ящике.

Ф е м. А меня никто не узнает.

Б и. Фамилию скажут, Фем Титова.

Ф е м. Таких тысячи.

Б и. Скажут: красавица мать совершила подвиг для некрасивой дочери, тем больше она самоотверженности проявила. Материнская любовь не знает уродов и счастливых, даже некрасивых любят больше.

Ф е м. Кто красавица? Грязная, накрашенная старуха.

Б и. А вот это чушь! Мать не может быть некрасивой. Более того, мать с большой буквы и должна быть некрасивой, это ее подвиг прекрасен. Никто не забудт!

Ф е м. Какой это подвиг?

Б и. Этот! *(Бьет себя в грудь.)* Спасла. Своими руками! *(Демонстрирует руку, как силач в цирке.)*

Ф е м. Как это спасла?

Б и. Спасла жизнь.

Ф е м. Кому это?

Б и. Тебе!

Ф е м. Мне? Мне ты не спасла жизнь. Мне спас жизнь Сашка.

Б и. Никто не знает никакого Сашки, твоего любовника. Все знают, доктор Колин скажет, что это я. Статья в газете «Голос Тушина» о чем была? Мать выручила дочь, пожертвовав собой. Любовники приходят и уходят, а мать остается.

Ф е м. Сашка не мой любовник. Он просто мой очень хороший друг.

Б и. Много тебя навещал твой друг, когда тебя повесили?

Ф е м. Не разрешалось.

Б и. Я же тебе предлагала, кого ты хочешь видеть из своих любовников! Ты глазами хлоп-хлоп. Никого. А так наш телефон молчал. Все твои так называемые друзья не звонили. Ни один любовник.

Ф е м. Какие любовники, ты что!

Б и. Они все, кто на тебе лежал, были твои любовники.

Ф е м. Я тебе повторяю в какой раз, был обрыв троса. Все оказались на дне колодца. Я была внизу.

Б и. Мы все это знаем. Ты была под ними. А я тебя спасла!

Ф е м. Меня вытащил из колодца Саша.

Б и. Меня надо любить! Я тебя спасла, я! И в результате ты меня ненавидишь! Люди не выносят, если кто им посвятил всю свою жизнь. Я одобрение для тебя.

Ф е м. Все родители одобрение для своих детей.

Б и. О нет! Взял и сделал аборт! Или оставил в детдоме! Или бросил, как твой отец!

Ф е м. Ты делала аборт.

Б и. Это ты делала аборт! У тебя нет и не будет никогда детей! И не плачь!

Ф е м. Не буду. *(Плачет.)*

Б и. Кто плачет, жалеет сам себя. Не жалей себя, жалей меня. Я была женщина. А теперь меня только в цирке показывать. Двухголовая с прыщом на левом носу.

Ф е м. Я тебя ненавижу. Особенно когда ты грешь.

Б и. Хорошо, больше не буду..

Ф е м. Когда ты жрешь.

Б и. Клянусь, никогда не съем ни куска...

Ф е м. Когда ты пукаешь.

Б и. Не буду больше никогда...

Ф е м. Это раскаты грома!

Б и. Я сама стесняюсь. Все понимаю, но не могу удержаться, больные кишки. Норкин говорит, это болезнь метеоризм.

Ф е м. Жрать не надо так!

Б и. Это от бедности, от бедности! Бесплатно ведь! Муки голода невыносимы. *(Достает из сумки хлеб, начинает жевать.)* Бедность увеличивает аппетит!

Ф е м. Ну вот, ты же обещала!

Б и. Дети такие требовательные! Не любят смотреть, как родители едят. Я сама ненавидела, когда за столом моя мать ела. *(Жует.)*

Ф е м. Надо бороться с собой. Я вот не ем почти что ничего.

Б и. Ты куришь. Не кури! Травишь мой организм! Легкие это мои!

Ф е м. Представляешь, ты сожрала этот кусок, потом он идет у тебя в желудок камнем, ты его перевариваешь...

Б и. Да! *(Ест.)*

Ф е м. И он проваливается в твои больные кишки, пенится там, разлагается!

Б и. Да!

Ф е м. Живот пучит! А потом ты усаживаешься на унитаз, и у тебя ничего не выходит.

Б и. О, боли, боли! О, вечерняя земля! Бог ты мой, какие муки! *(Ест.)* Есть-то не больно! Чрево хватает все! Жадно! Воронка затягивает! *(Ест.)*

Ф е м. И эта вонь! За что я должна это выносить?

Б и. Когда я тебя рожала, думаешь, это было чисто? Хорошо пахло? А все вокруг меня собрались. Потому что была смертельная опасность, что ты не родишься. И это все уважали.

Ф е м. Сколько можно рассказывать одно и то же?

Б и. А кому мне это рассказывать-то, это же твои роды были! Ты рожалась! Ни с чем не сравнимая боль! И сейчас ни с чем не сравнимая боль!

Ф е м. Ни с чем не сравнимая боль, это когда тебя казнят. Отрубили голову, а потом повесили!

Б и. Ну я не знаю, меня не казнили. Как-то не пришлось. Но я думаю, что при казни больше муки скорей душевные, страх там, кошмар. А сама-то боль длится быстро.

Ф е м. Не быстро.

Б и. Ну вот. А я решила не кричать.

Ф е м. Я не кричала. Колин сказал: «Проверьте, есть ли сознание».

Б и. А я крикнула: «Сестра! Сестра!» А голос-то меццо-сопрано! Прозвучал, видно, они все вздрогнули.

Ф е м. Когда ты видишь свою отрубленную шею там, внизу... Когда ты возносишься над собой...

Б и. Сестра! Я рожаю!

Ф е м. Я все видела! Глаза мои были широко открыты.

Б и. И вдруг они все быстро ушли. Растворились вокруг. И тут ты у меня в животе как разбежалась, как бычок, и головой бум! Как об забор! И вышли воды.

Ф е м. Это самое страшное, висеть...

Б и. Не самое страшное. А вот когда тебя все покинули... И ты одна... И всем плевать... Спасение ушло... Ты знаешь, что они могут подойти, но никто не подходит! Во время смерти, наверное, самое главное — это обида.

Ф е м. Обида, да. За что такая судьба. Ни у кого такой судьбы. Несут голову, вешают в сосуде... Все чувствуешь... Оставляют одну без сна... Подопытный кролик... Как кролики, мыши все чувствуют!

Б и. Брось, ты была под наркозом.

Ф е м. Нет...

Б и. И тут я поднатужилась окончательно и выдавила тебя из себя! Ты родилась живая!

Ф е м. И зачем. Зачем?

Б и. Они мне тебя показывают и спрашивают: «Мамаша, это кто у вас, мальчик или девочка?» Я говорю: «Мальчик». Они: «Да это у нее просто пуповинка торчит, у вас девочка!»

Ф е м. Один вопрос.

Б и. Нет, не кури.

Ф е м. Не то. Другое.

Б и. Нет, я не хочу умирать. Спасибо.

Ф е м. Поменяемся, и всё.

Б и. Оставь глупости.

Ф е м. Ты же сказала, что можешь отдать за меня жизнь. Отдай.

Б и. Колин больше не будет повторять тот проект с висящей головой, он сказал. Проект окончен.

Ф е м. Уговори его!

Б и. Не берусь.

Ф е м. И тогда где же твоя самоотверженность? Всё! Кончился героизм!

Б и. Ты хочешь меня казнить для своего удобства?

Ф е м. Я еще не родила ребенка!

Б и. Так давай родим! Искусственное зачатие, и всё! Или хочешь, Норкин придет. Ты спрячешь голову под подушкой. Он будет опираться на руки.

Ф е м. Боже мой, свободы! Свободы!

Б и. Родим ребенка, тогда тебе не понадобится свобода. Будешь занята каждую секунду.

Ф е м. Это ты, ты родишь опять.

Б и. Не все ли равно?

Ф е м. Мне не все равно, я родила или нет.

Б и. Смирись. Такой уж у тебя рок судьбы. Смирись! Не надо быть такой гордой! Каждому свое.

Ф е м. Но если ты можешь меня оставить в покое? Спаси меня, освободи от себя!

Б и. И ты можешь быть свободной, когда у меня отрежут голову? Да я умру от одного горя, что ты меня предала! Каково тебе будет жить?

Ф е м. Пока что ты меня предаешь. Заедаешь мою жизнь. А могла бы не мешать. Уйди!

Б и. Оставь эти глупости. Мать всегда чему-то мешает и якобы стоит на пути счастья своих детей.

Ф е м. Ну мамочка, ну пожалуйста! Ну спаси меня, ты ведь такая добрая на самом деле!

Б и. Ну ладно, хорошо. Ты будешь мой палач. Договорились. Но сейчас мы с тобой накрасимся, причешемся.

Ф е м. Ты согласилась? Мамочка, любименькая!

Б и. Но ты понимаешь, что это не сейчас. Не сию минуту. А скажи, зачем ты хочешь свободы? Ты желаешь продолжить свою историю с Михаилом? А знаешь ли ты, что он голубой? У него мужчина. Они оба постриглись налысо, это у них обручальная стрижка, чтобы никто их не любил.

Фем (*с заткнутыми ушами, рука аркой над головой*). Ничего не слышу.

Б и. Никто не знает, никто не знает! Как я тут одна! Вообрази, я здесь одна! Никто меня не понимает! (*Поет.*) Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. (*Внезапно.*) Песнь всех людей Чайковского.

Ф е м. Заколебала. Певица.

Б и. Я им, прессе, учти, расскажу всё. Пусть. Пусть кому-то будет не по себе. Всё расскажу в газеты.

Ф е м. Заколебала. (*Передразнивает.*) Я жду тебя, я жду тебя.

Б и (*поет*). Я жду тебя, я жду тебя! Приди, приди! Але! Ты же не знаешь ничего. Не хочешь знать. Не слушаешь меня! Подушку на ухо или затыкаешь слуховой проход пальцем! Второй затыкаешь локтем!

Ф е м (*отворачивается*). Вот был бы хороший кляп, был бы кляп! (*Вертит кулаком перед лицом Би.*) Ох!

Б и (*ловит кулак Фем*). Не сочиняй драку! Ты дочь певицы!

Сцепляются руками.

Ф е м. Певцы в консерватории после духовиков на первом месте по глупости.

Г о л о с. Ну что, ну что, будем начинать. Пятиминутная готовность. Раз-два-три-четыре-пять. Але, але. Даю пробу.

Би (*кричит*). Да але! Але! Вас слышу! Ты видишь? Меня ждут. Меня все ждут. Газеты, журналы, телевидение. Я героически... Я спасла! Только один человек на свете, ради которого я умерла, можно сказать, погибла! Только один человек не желает меня видеть! Слышать! (*Бросает с силой руку Фем.*) Судьбу мою отныне я тебе вверяю!

Фем. Да. Голос не желаю слышать. Толстый нос. Храпит.

Би. А ты? Какой у тебя нос? Кому ты нужна, бестолочь! У тебя вообще ни слуху ни духу! Ты не храпишь? Со свистом вылетает! (*Показывает.*) Хрр-фью!

Фем. У меня шея перерезана. Как я еще могу. Я была казнена.

Би. Не говори таким голосом. «У меня шея перерезана»! Ах-ах! Заплачь еще! Жертва! Казнили ее! (*Фем плачет.*) Еще скажи, что пятеро на тебе лежали! (*Фем рыдает.*) Возьми платок, в таком виде сниматься. (*Фем отпалкивает платок. Рвут платок своими двумя руками.*) Господин Колин! Господин Колин! Я так больше не могу. Поставьте ей укол!

Фем. Мне сделают укол, а заснешь ты и будешь храпеть у меня над ухом.

Би. Лучше спать! Вечным сном!

Фем. О да, пожалуйста! Засни вечным сном! Прямо перед телекамерой! Sensация! Смерть Би! Великой певицы на творческой пенсии!

Би. Да, будет лучше. Тебе будет лучше, ты загуляешь на просторе.

Фем. Ты умрешь, и я умру, где это я загуляю! Ты хозяйка!

Би. Твои мечты сбудутся, мою голову отрежут, и ой, загуляешь, опять пятерых на себя взвалишь!

Фем. Тебе прекрасно известно, что оборвалась лестница! Я шла последние, выше меня пятеро! Дура!

Би. Дура! А почему это пятеро мужиков и ты одна их всех на себя поймала? Ты их обслуживала ночью на привале, да? Давно хотела спросить.

Фем. Как раз такое соотношение в спелеологии. (*Плачет.*) Женщин мало. Я бывала даже в пещерах одна девушка среди десяти—двадцати.

Би. Ты и двадцать обслуживала? Ну ты железная станина! Я не знала! Двадцать мужиков! Это даже для публичного дома норма повышенная! Ха-ха-ха!

Фем. У тебя на уме одна только ширинка. Ты не можешь себе даже вообразить, как это — мужчина рядом и не залезть к нему в штаны! Ты бы кинулась в пещеры, если бы не твой почтенный возраст!

Би. Ха! В моем возрасте рожают! И если бы не твоя эта голова, я бы давно вышла за Норкина!

Фем. У Норкина, как это широко известно, жена.

Би. Не жена, а хозяйка квартиры.

Фем. Сожительница. Вас у него две.

Би. А Мишка сошелся твой. Фем. Когда?

Би. Да уж год, почитай, прошел...

Фем. Год назад он меня провожал в горы! С Павелецкого вокзала! Ты что! Врешь! *(Плачет.)*

Би *(торжествуя)*. Я не хотела тебе говорить. Жалела... Михаил сошелся на следующий день утром. Ты уехала в ночь на субботу... Он утром уже уехал в медовое путешествие. С этим.

Фем. Да ты врешь. С кем?

Би. А ты задумывалась о том, почему он к тебе ни разу не пришел в подвал?

Фем. Я его не хотела видеть. Не звонила ему ни разу.

Би. Во-первых, ты ему звонила...

Фем. У меня же не было голоса, как?

Би. Ты заставляла лаборантов.

Фем. Как, как я им могла сообщить номер телефона? Дура!

Би. Уж это ты лучше знаешь, как ты у них просила водки или закурить!

Фем. И ни разу не подошел женский голос, они говорили.

Би. А ты думала! Откуда же там быть женскому голосу? Мне все известно, но я молчу. А он уже давно не один.

Фем. Я откладывала и откладывала его посещение. Думала, надеялась... Звонила редко.

Би. На что ты надеялась? Дура, на что ты надеялась?

Фем. На тело.

Би. Голова надеялась на тело. Тело тебе нужно! Ах, тебе нужно тело! Тебе мало того, что ты жива, видишь, слышишь, ешь! Двигаешься! В сад выводят! Мало. А ведь ты весила всего полтора кило, когда мне тебя хотел вернуть доктор Колин! Всё! Год прошел, эксперимент закончен! Берите голову назад! Вот даже вам коробка для нее! А я *(плачет)*: ай-лю-ли, ай-лю-ли, не гоните вы меня, добрый доктор! А он: эксперимент закончен. Не знала, что я из дур у тебя не буду выходить!

Фем. Ну и закончила бы. Всё. *(Закрывает уши.)*

Би. Но ты же плакала в этот день! Ты же мне пожаловалась, что тебя не кормили! Я чуть с ума не сошла! Нет, ты слушай! *(Отрывает ее руку от ушей.)* Я кинулась к Колину, так: «Док-тор Ко-лин! Вы что?» А он: «Идите, вам скажут». — «Кто?» — «Ламара». — «Но Ламара уехала на станцию переливания крови с бидоном, это надолго. Пока там надоят... из свежего мертвого... Скажите вы». Он: «Вы свободны». — «Кто? Я?» — «И вы в том числе». — «То есть как? И она... свободна? Что такое „свободна“? Вор сказал... вы свободны от рублей? Так, да?» Слушай! Он: «Я хотел бы, чтобы Ламарочка поговорила с вами как женщина с женщиной». — «Ага! Это все у вас отговорки, отвертки, доктор Колин! Я вас прошу как квалифицированного профессора». Я так сказала. «Почему вы объявили, что мы свободны? Вы имели в виду мою дочь? Мою дочь имели?» Он: «Ну какая это дочь. Дочь не бывает в полтора кило весом. Ей сколько лет? Двадцать семь? В таком возрасте не

может быть этот вес у живого человека». Поняла? «Она не живая, это все эксперимент, который все». Я: «Врачи не должны убивать! Тем более больных не убивают, вы доктор!» Он: «Какая она больная, вы поймите, температура нормальная, никаких болезней и т. д.» — «Но что, здоровых убивают?» Ты слушай. Он: «Ну какая же она здоровая. Она не существует. Висела голова, подключенная к питанию, и всё».

Ф е м. Он прав. Меня нет. Только мысли. Я вот думала, какой ужас, если есть бессмертие! Одни мысли!

Б и. Нет, я утверждаю, что у тебя есть личность, душа! Ты чувствуешь горе! Радость! Любовь, чтобы этого Мишку приподняло и прихлопнуло.

Ф е м. Какой ужас, если эта душа вечно думает! Да еще если к ней поступает информация!

Б и. Да, к тебе поступала информация! Когда ты видела по телевизору, как убили ребенка, закопала эта мачеха, ты плакала. Я плакала! Но как! Плача говорю: «Я с ней все время разговариваю. Она хочет жить! Спросишь, она согласна, один раз моргает. Вы не имеете права!» Он: «Да она давно наркоманка, мы даем ей большие дозы петалгина, чтобы не болело место ампутации». *(Показывает ребром ладони по шее.)* Ты наркоманка, ха! И говорит: «Поймите, ей это вредно, дозы все увеличиваем!» Тут я ему сказала: «Неужели он не знает, что ваша Галочка вообще... пропустила петалгина время укола, вообще не явилась. Торгует она, что ли, препаратами. Всю ночь у Фем голова болела, она вся измучилась. Я ее спросила: ты мучилась? Один раз хлопнула глазами, да! Почему? Она по буквам ответила, по азбуке, я всегда ношу с собой азбуку и карандашик. Ответила: н-е в-к-ололи п-е-талгин. Да я вам за это знаете что! У нее нет слез!»

Ф е м. Ага, как он говорил: «Обратите внимание на их общее легкое возбуждение».

Б и. Ночку бы не поспал, я бы посмотрела, какое легкое у него было бы возбуждение. А он опять: «Галочка ни при чем, это я отменил петалгин, чтобы она не стала петалгиноманкой». И это перед казнью! «Вы что,— говорю,— хотите, чтобы она вообще в страшных муках казнилась? С ума сбесились? Тут, вообще, мало того что вы ее казните, но и чтобы она все чувствовала?!»

Ф е м. Как доктор Колин твой говорит: «Обратите внимание, типичное поведение в состоянии аффекта. Полный двойной аутизм, как у близнецов. Внутренние монологи».

Б и. Ага, я говорю: «Понимаю, у вас, как в Иране, за такие штуки казнят. То есть вы хотите ее убить за наркоманию? Но ведь вы сами ее кололи! У нее нет рук себе колоть, нет голоса просить! Это вы, вы наркодилер!» Он: «Я действовал в гуманных целях». — «Все наркодилеры действуют в этих целях! Жалеют наркоманов, дают им шмаль, чтобы не

мучились! И тем убивают их! Вы убиваете мою дочь!» Он: «Никто не будет убивать, просто выключат, выключат свет, выключат свет, и всё».

Ф е м. Обратите внимание, господа студенты, состояние возбуждения диктует сумеречность сознания и, наоборот, синдром правдоискательства.

Б и. Что ты бормочешь у меня на плече, долдонка? Это его слова, Колина слова, как попугай выучила.

Ф е м. Мама, как мне плохо.

Б и. Спи-усни, моя радость. Мое солнце. Моя любя, кутя. Муся. Катя-матяти.

Ф е м. Но провались ты пропадом! Свободы, свободы! Люди ходят и не понимают, как они свободны!

Б и. У нас была в оперном театре балерина, Прохарь Нина. У ее ног валялись генералы! Но она осталась с мамой. Сейчас ее маме восемьдесят, а Ниночке шестьдесят почти что. Они вместе!

Ф е м. Имея две ноги, две руки и свою голову на плечах, человек свободно может выбрать степь, море или тюрьму. А я на плече, как попугай. А эта обезьяна бормочет.

Б и. У меня к тебе нет претензий, ты психически больна, это сказал Колин, но не хами же!

Ф е м. Ага, лаборанты мне пересказывали. *(Голосом Колина.)* «Обратите внимание на сумеречное состояние психики матери, раздувает каждый факт».

Б и. Пока никто не сидел на моей шее, я была здорова. Никаких сумерек, ясный день, по субботам во второй половине я отдыхала.

Ф е м. Да, отдыхала. Норкин приходил. Ты выходила красная как свекла и шла в ванную.

Б и *(поет)*. Куда, куда, куда вы удалились... весны моей... Грубая. Есть вещи, которые нельзя наблюдать со стороны.

Ф е м. Заткнись.

Б и. А кому мне сказать, мне некому! И неужели трудно не ругаться, просто послушать! Ты меня ненавидишь. *(Пауза.)* Да? Да? Когда ты была маленькая, ты была такая трещотка! Ты говорила без остановки! Мы пошли с тобой в детскую поликлинику, ты трещишь, я говорю: «Господи, когда же ты замолчишь!» А женщина постарше меня с двумя детьми сказала: «А потом вырастет, не допроситесь словечка!» Как в воду глядела! Если бы я не сделала тот аборт, у меня бы было вас двое детей... Если бы, подумай, вы двое полезли бы в пещеру и двое остались бы без туловищ, у меня был бы выбор! И каждая из вас умоляла бы меня: «Мамочка, спаси и сохрани!» А ты одна, и ты эгоистка, я тебе принадлежу по праву, ты все воспринимаешь как должное! Я тебе все обязана отдать! А ты ничего! У тебя, ты говорила, нет выбора, у меня тоже нет выбора, я люблю одну тебя, больше некого. Норкина я не

люблю, так просто. И он ходил ко мне по привычке. О, как тяжело без любви! Как хочется любить!

**Фем.** Давай бросимся в окно. *(Затыкает уши.)*

**Би.** Я, конечно, могла бы повесить по одной голове на каждое плечо... Если бы вас было двое... А если бы вас было трое? Как бы я выбрала? Трое младенцев, а спасти можно только двух? Ужас, ужас, нет, лучше пусть будешь только ты! Господи! И умереть раньше тебя!

**Фем.** Дура ты у меня. Интересно, в этом возрасте все дуры или есть которые поумней? И молчат?

**Би.** Не могу молчать. Что это ты мне рот затыкаешь?

**Фем.** Слишком близко говоришь.

**Би.** Семья всегда слишком близко. Рядом жрут, срут, икают, чешутся, пукают... Норкин так пукает! Кишки, метеоризм, говорит, поставили диагноз. Но человек перестает уважать того, кто рядом с ним, особенно когда в носу ковыряют или храпят. Норкин все делал предварительно сам с собой. Я не вмешиваюсь. Это мужчины должны индивидуально. Только брейся, ради всего святого! А то у меня воспаление по шее, как от ежа. Сначала понюхает, потом полижет.

**Фем.** Свободы! Свободы! Тьфу! Тьфу!

**Би** *(поет)*. О, дайте, дайте мне свободу! Я свой позор сумею испить! Но я Норкина не люблю. Посоветуй, как быть. Он придет, может быть, ты полотенцем накроешься? Скажи, для меня это очень важно!

**Фем.** Не пой.

**Би** *(поет)*. Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальных. Пара-ра-ра-ра мне оне... Когда я приезжала к своей маме, я с ней двух дней бы рядом не прожила. Давление меряет каждые полчаса, лекарства жует и хлебает, и главное — это сериалы. И рассказывает только про них. А все, что я ей говорю, это вызывает такие комментарии! Все у ней спят друг с другом. Как бы и я с тобой живу. И отец спит с тобой. Я, дескать, уехала, а он пришел и с тобой спит. Вот если бы мне предложили у нее на горбу пожить... Я бы лучше предпочла, знаешь... Она меня никогда не любила, только сестру. И взяла бы себе на шею ее, а не меня. Но я тебя люблю больше моей жизни!

**Фем.** О боже!

**Голос.** Алло. Даю пробу. Больная лежала год в отдельной палате, так. Нет, больная голова лежала в палате год, больная голова диктовала по буквам, чтобы ее вынесли в лес к одной матери. Стремление уйти, синдром Льва Толстого. Работает? Опять нет? После посещения матери давала эмоциональные срывы. Диктовала матом. Не слышно? Ну что ты будешь делать.

**Би.** Врет как. Больная голова не лежала, а висела в подвале на таком обруче, буквально на ушах...

**Голос.** Хрр-брю-гарара... Слышно? Алло! Так как два головных мозга должны управлять конечностями и как... хрря-фря-пря. Чего

хочет левая нога, того не будет выполнять правая... хррю-брр-тарара... Слышно? Трындырбыр. Донорская больная голова возражает против всего и командует от противного. Требуется удалить материнскую голову. *(Все это время конечности Бифем двигаются в разных направлениях.)* Часто вообще отказывается вставать с левой ноги, слышно? Трындындын брра тарара. Да что такое! Донорская голова утверждает, что не просила целиком оставлять материнский организм, а только туловище. *(Бифем манипулирует конечностями, танцует хаотически.)* Тымбырдым парара тарари, токо-токо фунеда. Слышно? Панды я конфликт поколений. *(Бифем затыкает уши, склоняясь друг к дружке головами.)* Де ал, чето-чето кунело, типичный психоз, чето-чето пренада, паплау, трын-дадор. Я понятно сказал? Или опять помехи? *(Бифем танцует.)* Внутренние органы управляются материнским спинным мозгом. Дочь просила себе правосторонние органы стирки, шитья, ходьбы и письма, но материнский организм возразил, что в таком возрасте не будет переучиваться на левшу, не имеет под собой основания, за что такие муки после героизма, что ложку пронесу мимо рта. Чето-чето кунело, трындадор. Понятно? Амбельмано крутинды зацеляпка. Хррю фью бубубубу. Налаил в трубу. Буруруру. Опять не слышно, да что же... Битюков! Мартинларю рюдарю авню рюмартир пляс. Пляс! Неси другой микрофон! Как нету?

Б и. И вот настал такой день, что профессор Колин решил завершить эксперимент, и моей дочери не принесли утренний завтрак.

Ф е м *(перебивает)*. Один! Два! Два! Два!

Б и. Я прихожу вечером, со мной лаборанты не поздоровались почти, у дочери моей глаза вытарашенные, рот сухой открыт, о господи! Лицо ужаса.

Ф е м. Кончай репетировать. Он тебе не даст это рассказать, микрофон возьмет, скажет: «Сумеречное сознание, обычный бред преследования».

Г о л о с *(ритмично)*. Бааква нгоно ип, между ассейж, позвольте вас познакомить с анамнезом, а ролоис ду хайлка, кааоко тен ордец дж карабайка, таи, азу лив зу баер, аткелан, дуду до хаер, жертва катастрофы в пещере, была доставлена в клинику. Диагноз арчпе чвидха днеша бусь, а лизауш щпамет ижусь. Ампутация головы и сохранение ее год в лабораторных условиях. Впервые в мире аппарат искорг, искусственный организм. Абмуиак. Понятно говорю? Берла аркак, дж ов дж убкавка кавнак. Затем, когда сообщили матери головы, что вынуждены отключить искорг на профилактику, ы рег-лар игня кама, еш сутра ебка тсахня! Тс, тс, ат-хатар! Битюкова ко мне. Это не микрфон, а бахареч ншикре ахен, аслука аеда хрен знает что. Ал-ло! То мать головы предложила принять в качестве подвоя дополнительно голову дочери, чхар заут.

Б и. А! Я тогда кинулась к Колину, он еще не ушел домой. Плачу на коленях. Он на меня не глядит. Потом ответил: «Все, годовой экспери-

мент закончен, я должен платить зарплату сотрудникам. На этот эксперимент больше не выделяется средств». А я: «Ну что, она много внимания берет? Много кислорода? Электричества много? Что, жалко утром три ложки манной каши дать? (*Яростно.*) Поч-чему ее сегодня не кормили? Поч-чему, я вас спрашиваю, доктор Колин?» А он: «Да ее никогда не кормили». Я: «Я сама кормила!» А он: «Ну какое это кормление, все вываливается». А я: «А у вас не вываливается с другого конца? Тоже вываливается! (*Угрожающе.*) Так что не будем! Доктор Колин! За что вы мою дочь убить хотите? Перед смертью у нее было бешенство матки, когда я с ней серьезно начала разговаривать. Она хотела повеситься, но мыло под ванну ускакало. Я ее спасла тогда! Она добрая девочка, когда у нее есть мужик. Уже год нет мужика. Диагноз бьет посуду. От горя у нее началась бронхиальная астма. Только здесь, у вас, астма прошла, доктор, бронхов нет, все в ажуре, спасибо. Доктор! Я только что у ней была, она плакала. Откуда-то слезы взялись». А доктор профессор Колин как закричит: «Откуда эти слезы, зачем оне?» Буквально. «Кто подключил слезные железы?» Так.

Г о л о с. Перед нами пройдет типичный разговор Бифем.

Б и. Он кричит: «Слез не должно быть!» А я говорю: «Были. У меня так заяц плакал. По мордочке так и катятся слезы. Шляпа, сосед, принес зайца продавать, шляпин брат поймал у линии электропередач как-то. Не знаю. У нас там рядом линия. Короче, плачет заяц, заливается. Я говорю: отрубишь ему голову. Я сама не могу. Шляпа говорит: да я хоть тебе отрублю за бутылку, мне не жалко. Заяц обрыдался весь, пока его не зарезали. И она тоже висит там, плачет. Спасите ее, кричу, Колин гений!»

Г о л о с. Так слышно? Далее пойдут просьбы: «В лес, в лес». Вот это другое дело. Кортплит йран лос. Хрррвивт.

Б и. Колин мне и говорит в ответ: «Мы благодарны вашей дочери и скажем ей это». Я говорю: «На прощанье скажете? Грамоту прочтете, прежде чем ток отключить?» Он: «Более того, следующая работа еще более важная. Впервые пришиваем обезьяне вторую голову. Бабуину голову бабуиненыша». Я тут возразила, что и с одной-то головой не знаешь, как от мыслей избавиться. Пока что мне самой та мысль в голову не пришла.

Ф е м. О-о-о, знала бы я, сама бы попросила все себе отключить.

Б и. А Галька рассказала что. Какой-то миллиардер неудачно сделал себе операцию носа, мне не все равно кто. От носа остались буквально две дырки. Ему тоже будут нос менять.

Ф е м. Убейте меня.

Б и. Ты! Ты же сама диктовала: «В лес, в лес!» Я держу азбуку, карандашом показываю, ты моргаешь, если да. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. А сама теперь даже в парк не хочешь, Рекса мы отдали за забор, теперь все. Си-дишь на мне как собака на сене. И сама не гуляешь, и людям не даешь.

Я бы без тебя сейчас прошвырнулась, погуляла, господи, в парк! Там танцы, концерты. Собака ты! Я все тебе, все для тебя, а ты?

Г о л о с. Далее пойдет вечная тема их разговора: «Отдай мне твою жизнь». Так хорошо? Другое дело.

Ф е м. А ты не отдала за меня жизнь, нет! А клялась! «Я отдам тебе все, что пожелаешь, моя жизнь вся для тебя!»

Б и. Тебе не нужна моя жизнь, тебе нужна моя смерть.

Ф е м. Ой, не говори громких слов. Ты бы пожила одна, и я бы пожила одна. Все можно устроить.

Б и. Как бы, как бы я пожила одна? А тебя бросить? Опять в подвал? Я на такое не способна! Бросить ребенка! Твоя голова с плеч, что ли? Секим башка? Я мать! Мать не может так поступить! Мать — это самое святое, что есть в этом мире! Никто так не самоотвержен и так не заботлив, как мама! Ни отец, ни Мишка твой, лупоглазый хрен. Хорошенький такой, лысый, тупельки замшеёвые, весь нахоленный, глаз живой, глаза прячет. Тыфу!

Ф е м (*нетерпеливо*). Нет, ты бы пожила как одна голова в подвале, и я бы пожила одна. Походила бы. С Мишей я сама разберусь. Миша красивый, но он в этом не виноват. На него вешаются все. Мужчины, женщины, подростки, старики, пьяные, начальство, собаки. Он ласков со всеми! Он нужен всем!

Б и. Ты! Ты ни на что не способна без меня! Ты! Не можешь отличить мужика от бабы! Ты опять понесешь мое туловище, в какую-нибудь дыру поганую засунешь! В пещеру, в грот, в проран! В пробой! В прореху! В прорву! Или в тебя пятеро опять засунут! Или потонешь! Я тебя знаю! И пойдет мое тело на корм уткам!

Ф е м. Какое тебе дело. Это мое будет туловище.

Б и. Как какое дело! Вручая тебе жизнь, родители вправе ожидать, что ты эту жизнь потратишь правильно! Тем более я столько вынесла! Живем только дважды! Третьего раза не дадут жить! Тем более если ты меня впаяешь в подвал висеть на ушах, ты же меня не навестишь ни разочка! Рта мне не оботрешь мокрой ваточкой пересохшего! Буду тебя ожидать напрасно, как все родители ожидают, хоть бы звоночка по телефону! Дети заглядывают к родителям как в холодильник, когда им что-то нужно взять! Так сказал один у нас алкоголик в хоре, второй тенор. И в результате ты потеряешь мою жизнь, и меня выкинут в коробочке!

Ф е м. Нет, я знаю, каково было мне, и никогда не брошу тебя.

Б и. Как мой первый мальчик говорил: «Никогда тебя не брошу, потому что отец бросил мать и я видел, как она тяжело переживала это, воспаление всех нервных окончаний, чуть чихнет — всё! Вызывают „скорую“, колют обезболивание. Голову повернет — „скорую!“» Так он мне говорил, ну и бросил меня тут же, когда я забеременела.

Ф е м. Ну чем тебе поклясться, что я буду к тебе ходить каждый день? Как ты ко мне.

Б и. Так ты действительно хочешь, чтобы я висела?

Ф е м. Я висела, ничего. И ты повисишь. А потом я тебя приму на плечо.

Б и. Когда, через сколько?

Г о л о с. Типичный ответ дочери мат...

Ф е м. Я как сука просидела год на цепи без права голоса.

Б и. Почему я и пожалела тебя, взвалила себе на горб. Второй раз родила.

Ф е м. Да, родила, но урода! Я не могу показаться на глаза людям! Старуха с двумя бошками! Во что я превратилась! Ну хорошо, приду за тобой через год!

Б и. А ты забыла, кем ты еще была? Ступком тлена, висящим во тьме, искрой жизни, блуждающей во мраке, позавидуешь моли и тле и сидящей на цепи собаке. Я сочинила о тебе! А я была кто без тебя: танцевала в парках, ходила на вечера «Кому за сорок», он пригласит и сразу: «Берем бутылку — и к тебе». Так они говорили, а я: «Не мы берем, а ты берешь, во-первых, и плюс твои закуска и конфеты, и не ко мне, а к тебе, и предохранение за счет приглашающей стороны». У них мысли проституттов! За койку я должна его у себя дома кормить, поить, убирать за ним. Стирать. Болеть после контакта хрен знает чем! Не унижайся перед мужчиной никогда! Пусть они платят, найди таких!

Ф е м (*затыкает уши*). О господи!

Б и. Ну, они в основном ходят на вечера кто: типа кадры с оптовки, из общежития или от жены гуляют. Я так и проверяла сразу, есть ли ж/п. Жилплощадь. Паспорт, пожалуйста. Или он с Молдавии, какой-то гагаут, жена гагаутка, дети гагаутята сидят в однокомнатной квартире, снимают жилье пятнадцать рыл с рынка. Туда он не пригласит, нет, все норовит в гости. Или он хохол-водица и ночует у грузовике, сам весь у масле, хрен у его у бензине. После него соляжкой ссать. Шутка. Боже мой, я была свободна! Из магазина иду, ко мне даже с полными сумками приставали.

Ф е м. Ничего не слышу. Раз, два, два, два!

Б и. Эх, деточки, зачем только вас рожают. На труд, заботу, горе, слезы. Я все потеряла ради тебя. Деньги, уважение, любовь, работу. Мне несли шоколад плитками, мне подносили розы и коньяк! Я ходила на каблуках! Я заказала из бус хрустальных брошь! Бусы Гусь-Хрустальный! Бусь-Хрустальный, знаешь, город такой есть? Из Гусь бус брошь! Во! Давай достанем в сумке! Я надену... Откроем, я одной-то рукой... не справляюсь. Отдала тебе все, руку на отсечение!

Ф е м. Не откроешь.

Б и. Ну и кто ты есть после этого? Я хочу надеть свою брошку! Я не богатая, бриллиантов нет! Но брошка есть! Давай! Я по ящику буду выступать! Вот клянусь, что не пойду тебе навстречу, не отрежу себе голову! Во! (*Показывает кукиш.*)

Г о л о с. Блин в ее интерпретации — матерное слово. Хатар ть аксбе Битюков! Ты радист или тсахатка неша утоми прадеши!

Ф е м. Ты, блин, ты чего ластом машешь? Кость убери!

Б и. Кто ты после этого, повторяю!

Выворачивают друг другу руки, это выглядит как один человек, в отчаянии ломающий руки.

Ф е м. Я толстая квашня с двумя черепами. Юбура из дур.

Г о л о с. Юбура ось зарашка наня кавта тариаш-ка. Битюков! Что ты принес, гоно лоис одмь делоис, окодми цедроа келан. Жвар анкор блю-лар да шендан, ан олкану днешли зауш. Тьфу! Опять дrrr тара-рах. (*Бифем танцует танго.*) Но бувод ноннордец женские инстинкты сохранны. Красится, мажется, причесывается, рабтли раодна лек. Радиста сюда! За год помаду извела, тюбик покупали, атар габт раис литмик.

Бифем остановилась, открыла сумочку своими двумя разными руками, достала зеркальце, пудреницу, пудрится, подмазывает губы.

Ф е м. С килограмм веса брошка, ну не позорься.

Б и. У крупных женщин все должно быть крупное, и душа, и ум, и одежда, и мысли. Ты теперь крупная женщина, думай выше, шире! Ради тебя, чтобы спасти человека, пусть дочь, допустим, но я посадила себе на шею дармоедку, кормлю тебя своим мозгом и кровью!

Ф е м. Твоего мозга я бы и в рот не взяла, тьфу.

Б и. А кровь? Моя родная кровь для тебя тоже тьфу? А ведь ты ее пьешь! Пьешь!

Ф е м. Кстати, единственное, что мне дал мой папа, это кровь, действительно. Это мое.

Б и. Нет, минуточку! У тебя зубы есть, так? Я тебе зубы-то дала и вырастила потом и второй комплект, это все тоже я тебя питала, когда зубы начали меняться. У меня-то и зубов почти нема. Дальше. Минуточку! У тебя шея, уши, лицо в полном ассортименте, на лице глаза, нос, рот, пользуйся, живи! Я разве тебе не все дала? И я еще тебе дополнительно отдала руку и ногу свою!

Ф е м. Что я могу рукой и этой ногой? Почесать левой рукой левую ногу? Ужас! Я беспомощна! А я еще и не жила!

Г о л о с. Алло! Так, все в порядке, далее. Следите за словарем. Слово «жила» больная употребляет в нецензурном смысле.

Ф е м. Я еще не жила! Дай мне жить!

Б и. А я жила! И прекрасно жила без тебя! Есть что вспомнить. И собираюсь еще пожить. Еще лет двадцать пять.

Фем. Я думаю. Если ты отдашь мне тело, и то мало времени остается, тебе пятьдесят... Да, лет двадцать пять жизни... При условии диеты, малого питания, гимнастики и пластических операций. Мало времени, ты поняла? Так что давай по-быстрому.

Би. Профессор доктор Колин сказал ведь, что эксперимент с отдельно взятой головой закрыт, тебе не понятно? Мне некуда голову приткнуть!

Фем. Ну мамочка, ну мамулечка, ну ты все можешь! Ну уговори его! Ну мне хотя бы годик жизни! Ну что я видела? *(Плачет.)* Мамочка, родненькая, я каждый день буду тебя навещать! Ротик тебе вытирать, дорогая моя, единственная, ну кто мне поможет? Ты же героиня. Ты все можешь, я тебя так люблю, я так благодарна тебе на самом деле, ты не слушай, что я тебе наговорила. Я люблю тебя больше всех почти. Ну Мишка — это ведь ангел, он явился на землю как любовь... К нему все тянутся... Мне бы годик только свободы... Я верну тебе тело в гораздо лучшем состоянии и потом сама тебе его отдам... Так будем меняться. Ждать своей очереди, хочешь? Хочешь? Свободы! На волю! Дайте воли мне! Я измучилась! Мало времени осталось! А-а-а-а! Я тебя не брошу!

Би *(поет)*. Любовь свободна, век кочуя, законов всех она сильнее! Я плачу над твоей судьбой! Моя ласточка, мое дитя, моя маленькая! Когда ты жила с этим Марком-художником, с твоими двумя Максимами, с Митей-дилером, как я опозорена была! И надо было лезть в дыру на старости лет! И идти в землю с шестью мальчиками! Это тебя Господь предупреждает! Терпи, неси свой крест. Бог терпел и нам велел. Смирись, поплачем вместе. Я рада, что ты меня любишь, я это знала. Ты любишь меня больше всех, я знаю, и лучшей награды мне нет на земле! Она меня любит! Пора браться за ум и жить как балерина Нина Прохарь, которая мамочку свою не оставила, нет, ни ради генералов, ни ради тренера по бейсболу, ни ради этой кутюрье Лены Потаповской, а как эта Лена за ней ухаживала, какие она ей платья шила! Но Прохарь Нина отказала всем. Что у тебя, дочка, есть, то есть, мама твоя, которая в трудный момент подставила свое плечо, а больше ничего и нет. Согласись!

Фем. Ты больная. Это же мои друзья! Это бред, пойми! Больное твое сексуальное воображение! У меня не может быть друзей-мужчин, что ли? Все обязаны жить со мной?

Би. Тут я мысленно пожимаю плечами.

Голос. Бввррпррр! Хрря! Шлине муазо берла крю, да буги ква, безобразиие. Теа рахта Битюков? Слово «хотела» они хра такбе употребляют в сексуальном смысле.

Фем. Это ты их хотела, а приписываешь мне. Ты хотела!

Голос. У меня должна оперироваться собака, я ушел. Битюков придет, ригни да камахер!

Б и. Фем, ты слышишь? Это он про нашего Рекса! Это он про него говорит, про Рекса!

Ф е м. Тише, мамочка, услышат! Тише!

Б и. Утром ты еще, как всегда, спала, у них переполох был, привезли собачку, ну как обычно у них. Она так лаяла, выла! Ужас! Гальке на пост позвонили, я чувствую, этот Валера из вивария, она громко выкрикнула так: «Такая же группа?» Я сразу же поняла: такая же группа крови, как у нашего Рекса!

Ф е м. Я не спала! Вот, думаю, привезли, собираются у Рекса голову отрубить! Но не отрубят, нет! Мы его вчера взяли на ночь погулять! *(Смеется.)*

Б и. Я недаром доктору профессору Колину говорила: моя фифа совсем не дает мне дышать воздухом, пойдет гулять только ради собаки. Разрешите нам брать собаку поздно вечером погулять, люблю!

Ф е м *(радостно)*. Да! Но мы брали только Рекса!

Б и *(радостно)*. Валерке говорю: дай нам Рекса! Мы его кормим все время, он нам машет хвостиком из клетки! И обратилась к доктору Колину: скажите Валерке из вивария, чтобы он разрешал нам кормить Рекса. У нас две порции, а прямая кишка одна! Мы с едой не справляемся!

Ф е м *(радостно)*. Да! Молодец, придумала!

Б и *(так же)*. Доктор Колин! Дайте мы с ним погуляем! Жалко же меня, я как собака живу в виварии, как Рекс живет в клеточке, так я без воздуха! Колин сказал что?

Ф е м *(смеется)*. Не привыкайте к этой собаке, у него будут брать голову. Он донор! Не привязывайтесь к нему!

Б и. Да!!!

Ф е м. Не возьмете теперь голову! *(Смеется.)* Донор далеко!

Б и. Тише! А то услышат!

Ф е м. А пускай слышат! Рексика увел простой прохожий! Только бы Рексик сам не вернулся. Он привык, что мы здесь. Может прибежать, бедный.

Б и. Мы же просили увести его на ту сторону реки.

Ф е м. Может быть, мало денег дали?

Б и. Нет, этот алкаш рад был и тому.

Ф е м. Ты пожадничала. Он его небось за первым углом бросил, отпустил. Я говорила тебе, не жалея денег для Рексика!

Б и. А если Рекс вернется? Надо же думать и об этом! Опять дяденьку нанимать какого-нибудь. А денег так мало! Надо глядеть вперед! Но как он на нас лупал глазами, хотя мы из кустов с ним говорили, прикрывшись ветками! Так ласково глядел! Проходяга тот! Когда я подошла и протянула ему Рекса, через прутья просунула и деньги, он чуть не упал! Разглядел меня, красавицу, да пришлось расстаться! Еще и денег ему дала! Он, как увидел деньги, так все и понял. «Спаси нашу собачку». Слава идет о

нашей клинике! Рексик его не испугался, видела? Спокойно пошел к нему за забор как миленький.

Фем. Рекс все понял.

Би. Сладенький мой! Ангел с хвостом! Прощался с нами, глядел так, что сердце надрывалось! И тут вопрос: или ты с нами и гибнешь, или мы тебя выгоняем, и ты жив. Ты слышала, у сторожа тут в клинике жил дог без ног! У дога ноги отняли и приставили к пинчеру, называлось «лающий осьминог». Третьи и четвертые задние ноги были от дога, длинные, пинчер таскался задом вверх, неудачная конструкция, помнишь?

Фем. А, да. Галька рассказывала. Это еще до нас было.

Би. А дога взял этот сторож... (Фем затыкает уши.) Ну, ты помнишь. Вернее, тушку дога. Может, он взял дога на пирожки с мясом на продажу? А потом привык, да и вложил его в тележку. Тележка едет, обрубок дога, инвалид, лает.

Фем (вынимает из уха затычку). Я бы все, что в сумке, тому дядьке бы отдала. Рекс меня так любил! Ласкался! Терся о мои ноги.

Би. Он терся о мои ноги.

Фем. О мою ногу.

Би. Это мои ноги. Он о мои ноги, ко мне шел.

Фем. Все твое, моего нет ничего на свете.

Би. Деточка! Все мое — это твое! Когда ты висела в подвале и плакала слезами, что вот-вот отключат все оборудование, уже практиканты в твою сторону не смотрели, кашу не принесли, как я кинулась на них с руганью! Вы, Юрка, Олька!

Фем. Это все были мои друзья... Единственные мои друзья... Давали и выпить, и покурить. В то утро они вернулись с конференции и мне ничего не сказали, но я почувствовала, потому что не принесли завтрак и не подходили вообще. Олька плакала. Я тоже стала плакать, а слез нет. Тогда Рустам Хамчик подошел и мне слезные железы подключил.

Би. Слезы у моей бедной девочки, я чуть в уме не повредила от горя, побежала к Колину. Доктор Колин, зач-чем вы убиваете человека? Он: голова — это не человек. (Ядовито.) Д-да?

Фем. Разумеется, не человек. Чего притворяться.

Би. Может, для вас всех ты и не была человек, а для меня ты была мой ребенок. (Угрожающе.) Доктор Коллин! У вас есть дочь. Я знаю, Я много знаю, мне сообщили люди ваш адрес. И что вы скажете на то, что вашу дочь убьют? Зарежут у подъезда, когда она будет возвращаться одна из школы?

Фем. Придумала. Ты это сейчас придумала?

Би. Я тебе этого не говорила, а ты не слышала. Это было между нами. Доктор Колин, обезумевшая мать может пойти знаете на что! Если убьют ее ребенка! Вот ваша жена, доктор Колин, когда убьют вашу

дочь-семиклассницу, разве ваша жена Тамара не пойдет на все? Не выколет мне глаза вилкой?

Фем. Все придумала, сейчас придумала! Я закурю?

Би. Он мне сует какую-то картонную коробочку и говорит: «Вам сейчас ее отдадут, тогда закопайте». Я: «Это вам отдадут вашу Соню!» Он: «Ваша больная — не человек». Я: «Больная — человек!» Он: «Не может быть человеком килограмм пятьсот грамм череп!» Я: «В духовном смысле может и есть! Вы гений, Колин! Вам грозит нобелевка! И вы знаете, что и без тела человек — это человек, без головы тело — это только туловище. В голове место души! И вы это блестяще доказали за год! Моя дочь — человек, и не надо совать мне коробочку в виде гробика! Надо думать, чтобы наши дочери остались живы! Моя Фем и ваша Соня, я ее видела, такой милый длинноногий ребенок, рыжий, как жеребенок! Я ей дала конфету, она взяла, вежливый человечек, чудо! Счастливый вы отец! А я несчастная мать! Готова на все. Вы готовы убить мою дочь, я вас спрашиваю?»

Фем. Ой, не ори. На спички, чиркни мне.

Би. Вы готовы. И я готова убить, вы меня правильно поняли. Дальше (*передразнивает*): «Ой, вы самашедшая, и вас надо изолировать». Изолируйте, но без моего согласия хер вы изолируете меня. Хер докажете. Тогда он: «Ну вы поймите, мамаша, что на этот эксперимент больше средства не выделяются. С завтрашнего дня у нас новый эксперимент, один японский бог, зная наши возможности... Фирма такая...»

Фем. «Мицубиси»?

Би. Что-то «Хонда»... «Субару»? «Нинтендо»? Забыла. А! (*Синтонацией рекламы*). «Пэнэсоник!» Короче, говорит, японский бог дает полмиллиона на новый эксперимент, всё.

Фем. У японцев деньги есть.

Би. Вот что значит ты меня не слушаешь! Ухо подушкой закрываешь! Да. (*Пауза*.) И что? Ну и что, доктор Колин, новый эксперимент, но зачем же бросать старый! «Нет, все будут стянуты под проекты японского заказа. Раз: кентавр — ходильная машина! Два: овца-осьминог! Три! Обезьяний бог Шива, шесть рук, шесть ног!» При чем здесь вы, доктор! Вы, который обеспечил жизнь хладному трупу! Ранней урне!

Фем. Спасибо. Чиркни мне спичкой.

Би. Нет, ну правда! А он: «Тут такие перспективы открываются! Двухголовый орел! Потом: двуглавый бабуин с бабуиненышем! С прицелом на президента».

Фем. Это точно.

Би. Имеется в виду президент компании. Мудрая голова на молодом теле, дуручка! Пересадка и вечная жизнь старой головы! Бес-смертие в полном виде для руководства! И здесь (*пауза*) я ему говорю в полную силу: «Доктор Колин! Не орел с орлом! Не бабуины эти! Перед

тобою слезы лью! И да: двухголовая женщина!» Он на меня глядит... Он себе не верит и начинает понимать... Он мне целует руку. Ту, твою. (*Берет руку.*) Сюда. «Вы мужественная женщина! Идите кормите ее! Я распоряжусь. Пусть обедает!» И действительно! Зачем опыт на обезьяне, когда можно на женщине? На матери? На доброволке?

Г о л о с. Але, але! Я вернулся, а первый микрофон не работает. Ломо шени что!

Ф е м. Я тебя слушала и думала: неужели она не понимает, что гуманней было бы все отключить сразу? Это секунда.

Б и. Смерть длится шесть минут. Иногда тридцать восемь минут.

Ф е м. А тут год длилась.

Б и. А знаешь, я поняла, следующий этап будет какой.

Ф е м. Какой, понятно. Отделение нового тела с прежней головой.

Б и. Да? Тебе стало уже весело? О дева роза! (*Поет.*) Спи, дитя, под окошком твоим.

Ф е м. Любой этап лучше, кроме теперешнего. Вообще было бы неплохо. Новое тело для меня.

Б и. А ты знаешь, что в новое тело пойду я? Кури!

Чиркают спичкой, Фем закуривает.

Ф е м. Пойдешь ты? Куда ты пойдешь! Ты! Тебе пятьдесят лет! Ты уже все! А мне только двадцать семь! Я еще не видела ничего в жизни!

Б и. Ты видела двадцать мужчин за ночь. Чего я не видела и не знала, что такое бывает.

Ф е м. А, теперь я понимаю, о чем ты мечтала!

Б и. Ты же! Ты же стала чистой! Ты один только разум и душа, и всё! Ты стала, кем я мечтала, чтобы ты была! Образцом девушки! Бестелесная ангел!

Ф е м. Ну уж.

Б и. Ты идеал дочери! Ты всегда со мной! Я тебя кормлю! Ты не можешь уйти на блядки! Ты не вернешься под утро! Нет такой опасности! Тебя не подстерегут нигде, ты под охраной меня! Счастье мое! Пусть ты и ленива, плаксива. Ты со мной, у, дай поцелую.

Ф е м. Ну.

Б и. Но тебе, твоей испорченной натуре, мало этого, мало быть свободной духом, тебе подавай еще мандинку! И ты ее получишь, успокойся, я тебе оставлю все свое, омниа меа! Доктор Колин дает мне донора.

Ф е м. Зачем? У тебя есть уже твое тело.

Б и. Свое тело я отдам тебе. Ты так ведь и хотела? А доктор Колин любит эксперимент, риск. Менять людям тела! Возраст! Вечная весна! Катастроф много. Людей все чаще обязывают иметь при себе генные

карты. Прямо с места аварии он едет на операционный стол! И это конечная цель «Мицубиси Субару Пэнэсоник»! Их руководящий состав будет менять тела на определенном этапе старости. Так что им нужна старая японская голова на новом, неважно каком, европейском теле! Мало того! Будут ноги прямые и белые!

Фем. А. Ты меня оставишь в этой тюрьме! В этом теле, которое все обвисло! Я не смогу родить ребенка!

Би. От кого, глупая? От Мишки? Ну так ты опять-таки глубоко заблуждаешься насчет него.

Фем. Это ты так думаешь. Мишка хочет ребенка. Конечно, если я останусь с твоим туловищем, я никому буду не нужна. *(Плачет.)*

Би. Это результат той огромной работы, которую я провела с Колиным. Если нет, то мы начнем ходить всюду и везде и ему придется спрятать рыженькую Сонечку! Если он мне не даст нового тела!

Фем. Он не даст. А как же ты сможешь убить Сонечку? Я же с тобой! И я тебе этого не позволю! Одной рукой ты хрен убьешь! Я буду кричать, звать на помощь, предупрежу Сонечку издали. Ах ты, тварь!

Би. Это же просто так, маленький шантаж, что ты. Я на такие вещи не способна! Это работа с доктором Колиным!

Фем. Ты просто свихнулась.

Би. И ты можешь подобное говорить мне? Которая тебя родила дважды?

Фем. Кто тебя просил.

Би. Первый раз Титов!

Фем. Титов. Новости! Он ни о чем таком даже и не помышлял, ему было восемнадцать, тебе двадцать три почти что. Его родители вас проклинали! Я представляю. Он же перетрухал, когда ты ему сообщила. Представляю: «Титов, ты будешь папой!» Или как ты ему сказала? «У нас будет маленький? У меня зреет плод?»

Би. Плод! Молчи! Плод, не выступай! А то я сейчас умру от гнева! И ты тогда тоже умрешь!

Фем. Напугала.

Би. Сердце у нас одно, мое, больное.

Фем. Поплачь.

Би. Было бы два сердца, но на твое легло пятеро.

Фем. Опять! Я уже много раз тебе говорила, у нас оборвался веревочный трап! В спелеологии и не так бывает.

Би. Полезли в подпол шестеро, пять парней и их девка. Как ты могла! Как ты могла, девочка! Доца моя!

Фем. От тебя все равно куда, хоть под землю, хоть в горы. Только бы подальше.

Би. Никто не может простить другому факт рождения. Дети проклинают родителей и обратно. Общий крик: «Зачем?!»

Ф е м. Нет, почему, ведь ты только и мечтаешь, чтобы у тебя в руках был кто-то мягкий, как пластилин, нежный и послушный, кем можно распоряжаться! Единственная доступная убогому человеку форма полной власти! Можно пеленать, купать, одевать-раздевать, водить за собой, оно будет смотреть вам в рот и повторять, что вы скажете! Будет есть, что дадите! Но когда оно вырвется из ваших рук, вот тут берегись! Вот тут вы выходите из берегов! Что было, когда ты папулю потеряла! Какой был послушный! Ах, певица! Ты!

Б и. Это была грязная история. Я должна была его погнать.

Ф е м. Ты лишила меня отца. Он бы мог ко мне приходить! Это мой отец!

Б и. Что есть отец? Биологически это для него ничего, полчаса пыхтения, какие-то секунды извержения, акт приятный и не более. Чтобы стать отцом, не нужно ничего, кроме того, что у него имеется от рождения. Козел может стать отцом, баран, осел. Червяк отец, клоп отец, таракан отец. А чтобы стать матерью (*Фем затыкает уши*), надо носить во чреве, кормить своими соками... вынашивать, знай это, рожать в муках, кормить, заботиться, купать, пеленать, согреть, защищать, учить... Учить ходить, говорить, одеваться и как с людьми жить... Как жертвовать собой ради любимого существа! Одна мать подняла спиной автомобиль весом в триста килограммов, когда ее ребенок попал под колеса! И вынула его оттуда! И мой подвиг матери тоже войдет в историю!

Ф е м. Свободы! Свободы!

Б и. А просто вот что: у твоего отца другая женщина.

Ф е м. Откуда ты знаешь?

Б и. Доца. Такие вещи сразу понятны любой жене.

Ф е м. Это шизофрения.

Б и. Да? А лекарства?

Ф е м. Шизо, шизо.

Б и. Лекарство от трихо чего-то, это шизофрения, у него в сумке? Почти конченная упаковка?

Ф е м. Шизо. У тебя у самой это трихо чего-то.

Б и. Нет! Я быстро пошла проверилась.

Ф е м. А как же он тебя не заразил?

Б и. Как можно заразить, если у нас ничего нет?

Ф е м. А как же он вообще заразился, чем? Рекламная пауза.

Пауза.

Б и. О чем я и говорю. У него другая женщина. Или мужчина? С другой стороны. Я размышляла.

Ф е м. Зачем ты роешься в наших вещах?

Б и. Да кой рылась! Кой рылась! Я споткнулась в темноте, вечно по всей прихожей валяются сумки. Шла ночью в туалет. Чуть не грохнулась. Зажгла свет. Из кармашка все высыпалось. Трихо-лекарства.

Ф е м. Хорошо. А мои фотографии тоже высыпались в прихожей? Которые ты мне принесла и показывала лаборантам? Где я загораю? Все перерыла? Где я голая снималась. Добилась?

Б и. Я была в большом шоке... Сексуальная жизнь человека тяжело воспринимается его близкими родственниками... Не надо раскидывать ваши сумки... Вы раскидывали ваши сумки... Та жизнь кончилась. Когда мы вернемся в наш дом, я пальцем не трону... мы пальцем не тронем... *(Плачет.)* Есть вещи, которые не должны быть известны родным...

Ф е м. Да! Да!

Б и. На всякий случай, если у меня... со мной вдруг будет что-то. Деньги я положила под половицу в твоей комнате, за тахтой. Прибила гвоздем. В пакете. И золотые кольца там.

Ф е м. Если с тобой что будет, то это и со мной будет... Рекламная пауза.

Пауза.

Б и. Да, мы исчезнем, не оставив никого.

Ф е м. Папу?

Б и. Да, папу это ты оставляешь, а я? Он мне не родственник... Свою маму и злую сестру в Кривом Роге я оставляю... Я уйду, уведу тебя за собой, бедная моя доца... Ничего ты в жизни не видела... Замуж не вышла, не рожала...

Ф е м. А ты видела, вышла и рожала, и хрен-то толку от того.

Б и. Это трагические обстоятельства, которые поломали нашу жизнь. Но надо их пересилить!

Ф е м. И без трагических обстоятельств все равно хрен. Я бы от тебя все равно ушла... Папа тоже... Ты сидела бы одна как перст.

Б и. У меня знаешь сколько счастливого было в жизни? Я пела в опере в хоре! Готовила партию соло няни! В «Евгении» этом! Мы называли «Евгений Орехин», просто «Орехин». Завтра поем в «Орехе». Мне есть что вспомнить!

Ф е м. Этого добра и у меня навалом. Фотографий одних ящик. Все спуски, все пещеры, подземные озера, спасательные работы, сталакти-ты, сталагмиты, наскальная живопись, стоянки человека.

Б и. Тебя эти пятеро твоих фотографировали?

Ф е м. Мы с подружкой отдельно загорали, за кустами... С Осиновой... там где голова за кустом и задняя часть в объектив, это Осинова... И где таз приподнят и лица не видно, тоже она...

Б и. Ты не могла так, конечно. Моя доца. Вот и все, что останется от нашей жизни... Куча фотографий. Выкинут на помойку.

Ф е м. Если честно, то у меня ближе тебя никого. *(Би разворачивается объять Фем, но та увертывается.)* К сожалению. Родня — это на случай как раз таких обстоятельств, типа больницы, оторванной головы. Во всех остальных моментах лучше бы этого не было.

Б и. Да, семья существует на случай бедствий. Друзья плечо не подставят.

Ф е м. Да подставят, только несовпадение крови, вот в чем вопрос.

Б и. Кто бы тебе плечо подставил, кроме матери?

Ф е м. Да нашлись бы, если временно.

Б и. А какому умнику пришло в голову ставить тебя на лестнице последней? Падлы!

Ф е м. Нет, замыкающим шел Сашка, он меня и поднял на поверхность раньше, чем других. Вызвал спасателей. Я ему обязана жизнью...

Б и. *(затыкая уши)*. Не хочу, не хочу слушать! *(Поет.)* Мечтам и годам нет возврата, ах нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата! Любовью брата! *(Замолкает.)*

Ф е м. *(спокойно)*. Спас меня. Любовью брата, а может быть, еще нежней. Но зачем меня привезли в эту клинику, вот вопрос.

Б и. У тебя ноги болели, да?

Ф е м. Жутко.

Б и. Значит, позвоночник работал. То есть ты бы ходила. Если бы попала в другую клинику... Но, понимаешь, попал к зубным — лечат зубы, к хирургам — режут. К терапевтам — будут беседовать и анализы брать. А вот попал в клинику пересадки органов — пересадят тебе все, как на огороде.

Ф е м. А почему я сюда попала?

Б и. Когда я приехала сюда, мне сообщили, что ты всё. Умираешь. И только по счастливой случайности тебя спасли, потому что им срочно нужна была молодая голова... И через год она им уже оказалась не нужна, и тогда я... *(Фем затыкает уши)* ...спасла тебя еще раз, то есть подставила свое плечо.

Ф е м. Год в подвале... среди этих... Коля Биба, Олька Кузя, Ленька Грех, Юрка Бух, Рустам Хамчик. Сунут в рот ложку каши. Запить дать забудут, вишу в пространстве с засохшим ртом. Но они шутили со мной все время. Я улыбалась. Смеяться нечем было, смеется человек мускулами горла и грудной клетки. Они говорили: эксперимент по чистому разуму. По свободному духу. Полное отсутствие половых инстинктов. Я хотела сказать: нет!!! Я люблю и надеюсь!!!

Б и. Я люблю тебя. Я приходила и обтирала тебе рот и глазки ваткой, чистила тебе зубы. Давала попить. Висит такое дитя, открыв пересохший ротик. *(Плачет.)* Ты хочешь пить? Мое родненькое дитя.

Фем. Как только ты приходила, они тут же сбегали. У них в моем подвале был такой клуб. Они выпивали, курили. Мне давали. Юра, Ленька и Биба были влюблены в Ольку. Олька вышла замуж за Павла. Павлик был влюблен в Наталью. Вот и все дела. Как Павлик гладил Наталью по голове! У Рустамчика была Лариска.

Би. И по всем местам гладил, наверно?

Фем. Господи боже, ну что у тебя за душа.

Би. Это не душа, это банальный опыт жизни. От головы они быстро переходят ниже.

Фем. Как Олька мучилась. Она любила Павлика, Павлик любил Наталью, у Натальи был какой-то роман с сыном ее одной подруги. Лариска жила с Онегиным, он давал деньги, которые она тратила на Рустамчика. Онегин Хаджиев, поэт-песенник. У них странные имена бывают.

Би. Ничего не понятно. Это не жизнь, так, забавы. А вот у дочери Рублевых отрезали ногу выше колена, двое маленьких детей у колена матери, у единственного колена. Тамара Михайловна скончалась от воспаления легких, а лечили ее от позвоночника, оставила сыночка беспомощного, пятидесяти трех лет. Подтирала его до самой кончины.

Фем. Я висела и слушала, висела и слушала. Так переживала за Ольку, больше делать было нечего.

Би. Я же тебе принесла маленький телевизор!

Фем. Да, они его включают, а сами разговаривают, а мне ничего не слышно. Они меня не стеснялись...

Би. Сказала бы, я бы им врезала...

Фем. Я же молчала год. Только «да» и «нет» глазами. И некому было меня спросить. Ты все сама без конца рассказывала.

Би. Ты меня прости, но у меня было впечатление, что мы с тобой так хорошо всегда разговариваем! Я шла к тебе, прямо летела, к моей дорожке.

Фем. Да, потому что я молчала. Ты мне даже пела. Я так мучилась! Мне было стыдно!

Би. Все домашние члены семьи певцов ненавидят, когда они занимаются вокалом. Все страдают от этого, обе стороны. Когда у члена семьи талант, другие его не признают. Да, враги человеку ближние его. А скрипачу как приходится? А трубачам? Флейтистам? Их гонят! Меня гонят.

Фем. Да, ты пела. Все смеялись и уходили. Они потом между собой говорили: «Корова».

Би. Ах вот оно что! Когда я тебя взяла на плечо и ты получила руку, ты тут же свернула себе затычки для ушей! Одной рукой и губами, а? Чтобы меня не слышать, да?! И я принципиально не стала тебе помогать!

Фем. А почему ты дала мне левую-то руку?

Б и. Я же главная, вообще скажи спасибо, что ты управляешь одной хоть рукой. Колин мог все управление дать мне.

Ф е м. Я не могу теперь писать.

Б и. Учись. Любое несчастье только повод для героизма! Как в моем случае! Случилось горе. Но я проявила выдержку и мужество! И спасла тебя! Граждане, господа! Мистеры! Я ни о чем не жалею. Если бы я могла, я бы и на другое плечо посадила какую-нибудь несчастную малявку, но важно другое: пусть моим примером воспользуются другие люди, у которых одна голова на плечах! Пусть они вспомнят про тех несчастных, которые погибают! И тогда это будет массовым порядком, и такие двуглавые люди смогут жить и жениться! Герои! Двуглавые орлы!

Ф е м.левой рукой я не могу ничего, а правой я бы могла хоть что-то делать, писать, рисовать, вести дневник.

Б и. Вот! Учись! Давай делать по утрам гимнастику? Разрабатывать шею, руку, ногу! Давай пойдем на курсы вязания! Будем вязать или вышивать, плести кружева! Две-то руки у нас есть! Давай будем заниматься английским, как жена Димы, у которого сгорел склад мебели! Его за долги ищут, а она преподает! Будем учить детей! Давай напишем книгу о нашей жизни! А то я утром собираюсь встать, а ты лежишь как колода. Говорю, давай обливаться холодной водой по утрам, а ты: «Давай бросимся из окна!» Гимнастику делай раз-два, а ты не хочешь даже стоять на левой ноге, подгибаешь, я вынуждена садиться, а ты тянешь дальше, ложимся. Каждая гимнастика кончается валянием на полу! Колин что сказал? Маниакально-депрессивное состояние у тебя!

Ф е м. Почему ты дала мне левую руку?

Б и. Не я, а Колин!

Ф е м. Я хочу побыть одна.

Б и. Почему я полна всегда планов? Полна энергии! Считается, что в молодости сил больше, а ты вон как спишь. А я жажду активности!

Ф е м. Я хочу побыть одна. Хочу видеть друзей.

Б и. Ну и позвони этому своему... который тебя якобы спас. Вытащил. Он тебя трахал? Вот ему и позвони. Подруге, которая тебя фотографировала голой. Вот интересно, как это я на фотографии не узнала твою задницу. Я-то ее должна была знать с детства... Хотя много воды утекло, от постоянных колебаний зад может деформироваться...

Ф е м. Заколебала (*затыкает уши*), больная.

Б и. Да! Сексуальная жизнь детей не должна касаться их родителей! Моя мама, которой семьдесят три года, до сих пор убеждена, что я работала проституткой. Она говорила про меня: «Эта умственно отстающая ни на что не способна, только под мужиками лежать». Она проработала корректором. Все знала якобы.

Ф е м. Да, это ты мне тоже не раз говорила. Все повторяется.

Б и. Куда ты годишься, говорила она.

Ф е м. И ты мне так говорила.

Б и. Когда я приехала к маме с твоим папой, Титовым, знаешь, она что ему сказала: «А вы знаете, что вы у нее не первый, учтите!» Титов потерял дар речи вообще на два дня, пока мы там гужевались. Вот что ей было надо? Зависть? Что я красавица, муж красавец, что голос, что в оперном театре, а она корректор? Ненавидела за что? Они с сестрой вдвоем так и остались две профурсетки в Кривом на сторону Роге.

Ф е м. Не знаю, меня она любила. Бабушка.

Б и. А кто швырнул в тебя ножом, когда ты сказала, что мама блины лучше печет?

Ф е м. Ну не попала же.

Г о л о с. Больные находятся на очень высокой стадии распада личностей... Так слышно? Але. И погружены в свои междоусобные отношения. С ними будет работать психиатр. Не слышно? Але-але. Распад семьи. И вечные подозрения в адрес врачей-убийц. Але! Да он не работает, я стучу по нему. Микрофон не работает! Включите! Хорошо. Читаю. На данном этапе возможны пересадки только родственных голов. У нас в распоряжении... Что опять? Ну я даю пробу! *(Громче.)* У нас в распоряжении оказался труп родственника... Отец одной из больных, ну что там такое? Опять?

Ф е м. Колин готовит решающую речь.

Б и. Ламара сказала, что съедутся все каналы и газеты. Моего отца давно нет в могиле. Это не мой отец.

Ф е м. Мы его материал.

Б и. Мы его гордость. Значит, так. Вот ты слышала, что он сказал?

Ф е м. Да.

Б и. Отец умер. Титов.

Ф е м. Ты что! О боже, господи, господи! *(Плачет, закрывает глаза одной рукой, Би другой рукой помогает ей.)*

Б и. Плачь, плачь. Больше всех плакать надо той бабе. Я уже пережила. Я скрывала от тебя все и плакала про себя. Я знаю это с утра. Доктору Колину сообщили, что есть труп, который совпадает по данным. Ты лежала головой набок, закрыв ухо подушкой. Он передал это мне, Галька приходила. Он не задал мне вопроса. Но я сразу поняла, что он спрашивает. Согласна ли я. Я попросила отсрочку до трех дня. До пресс-конференции. Я много думала. Я решила освободить тебя. Я стану твоим отцом и матерью, только чтобы освободить тебя, я пожертвую собой еще раз! Я уйду, стану женщиной. Мне все равно. Вторичные половые признаки женщины у меня уже иссякают. Больше не приходит красная армия, куда-то делся блеск глаз, пропадает мягкая кожа, гладкое тело. Скоро, как у моей мамы, у меня появятся борода и усики. Грудь и у мужчин в этом возрасте тоже растет. Это нормальная физио-

логия. Дети и старики не имеют пола. Я вас люблю любовью брата! Любовью брата! Я согласилась и уже обрила себе голову! (*Убирает руку с глаз Фем и стаскивает с себя парик.*) Галя побрила меня. Операция, видимо, сегодня ночью! Ради тебя, имей в виду! Я никогда не хотела стать мужчиной! Зачем мне эта грубость!

Фем. Ты дура, да? Ты не слышала, да? Что Колин может, что они могут только родственников соединять? Ну? Меня с тобой. А ты же не родственница отцу моему. А я родственница.

Би. Я не родственница?

Фем. Ты подумай.

Би. А!..

Фем. Вот.

Би. Ну тогда все. Мы остались с тобой. (*Плачет.*)

Фем. Нет.

Би. Не все? Не остались?

Фем. Я могу уйти и стать отцом.

Би. Погоди... А как же... Да.

Фем. Стану мужчиной сорока пяти лет.

Би. Пьющим, гулящим, с трихо этим... заболеванием... И еще неведомо с чем... Инженером без образования. Будешь лазить по пещерам опять. Спать с девушками.

Фем. Еще чего.

Би. Спать с Мишей.

Фем. Ага.

Би. Я тебе сказала, у него друг, они живут вместе. Жена от него ушла. У них с другом дача, машина. Одну квартиру они сдают. Оба не трудятся. Это мне его мать обрисовала, это я ей позавчера звонила.

Фем. Ой. Его эта мама...

Би. Не скажи. Мы с ней подружились. У нее такой сын, у меня такая дочь. Родители неградиционных детей.

Фем. И ты ей тоже, что ли... все рассказывала? Про меня? (*Би неподвижна.*) А кто тебя просил? (*Плачет.*) Если бы мы дождались другого тела... Я бы все сотворила... Я бы его отняла. Если бы другое тело! А теперь он все знает!

Би. Не-воз-мож-но. Другое тело невозможно! Только родственные связи позволяют переселять головы. А у нас родственные только еще с моей мамой и сестрой. Сестре уже сорок девять, но она жива и голову не потеряла... И я о них доктору Колину не расскажу.

Фем. Нет уж.

Би. Маме семьдесят три. Зачем тебе такое тело?

Фем. Нет! Пусть живут. Не говори о них Колину.

Би. Свекрови под семьдесят. Да хай живе. Да здравствует семья!

Фем. А как отец умер?

Б и. Упал под трамвай. Все было как специально, аккуратно отрезано под шею. Хорошо, что документы были.

Ф е м. Ужас.

Б и. По которым тут же сообщили доктору Колину. Он держит руку на пульсе всех свежих новостей. Куплены «скорые», пожарные команды, тут же едут, берут анализ. Он мне хвастался. Сразу же, голова еще под колесом, а кровь из вены раз! Не спасать, не домкратом поднимать колесо, а приехали, присели у того же колеса, экспресс-анализ. Так он погиб. Если только его не толкнули под трамвай. И так умело, что тело цело. А? Доктор Колин? Их разыскивает Интерпол! По ящику показывали! Дело об изъятии почки на пляже у брата стюардессы! Обернулся, а почки нет. Международная банда в белых халатах! Но их не посадили. Они сами все поперепогибали. Одного нашли в мясорубке на мясокомбинате, пошел на дно фарша. Другой бросился в печь работающей модели паровоза в музее железнодорожного транспорта. Один, вьетнамец, оказался под перевернутой джонкой почему-то на Язуе. Джонка с крышкой, не вылезти.

Г о л о с. Организм матери впервые в мире ирариг стерижар гмок! Олрваша сильная деструкция психидуртации иоск сро! Опять первый микрофон спадо ртад жндре. Битюков! Хроера не работазол! Только матом! Жалобы: невыносимая головная золлы срлль, отдает в ухо, стремление уйти, шизохрррпадус. Донорская голова устает сирионит, два головных мозга не могут одновременно руководить дияат. Трудно быть в виде отдельно взятой головыжвоа. Донорская голова готова была погибнуби ио ет, но имитирует одностороннюю парализацисы. Стиктсот! Ну не работает же! Где он, жет ныру? У Бифем типичное психопатическое поведение, мания преследования. Не доверяет медицине. Вот теперь хорошо слышно, работа немсдрок ерлеи хронкхх.

Ф е м. Так. Голова кружится. Ужас. Господи, что же это? Новая жизнь? Как это? Ценой смерти?

Б и. Может быть, тебе захочется опять сойтись.

Ф е м. Что?

Б и. Ну, с этой... С его сожительницей. Анна Исхаковна. Все же ей тридцать восемь лет. Работает на обувном базаре. Кормит семью. Я ездила туда, на Пражскую. Культурная женщина. Сказала мне, что жалеет его. И сыну нужен отец. А так, сказала, он ласковый. Подкопят денег, купят ему таблетки. Виагру. А это... трихо, я спросила. Он же болен? Венерическими. Она сказала, что это ей неизвестно. Когда, спросила, болен? Я сказала, что полтора годочка тому. Возбудилась, стала плакать. У них ничего не было уже два года. Живут так просто. Он ей изменяет! Берет у нее на проститутток под видом, что на обед. И еще злится, кричит: «Ты мне сколько дала?» Типа, на тебе рубль и ни в чем себе не отказывай, да?

Ф е м. О господи.

Б и. Но ты будешь другим человеком. Ты верная. Ты будешь верный, будешь бриться. Следи за собой. Она будет стирать на тебя, гладить. Ходи только в чистом. Чтобы козлом не пахло. У отца геморрой. Принимай вазелин натошак. Гадость жуткая. Что еще... Ну, печень у тебя нехорошая. К проституткам не ходи, нахватаешься. А то можешь вообще жить со мной. А меня ты знаешь. Я покричу, но накормлю и постираю, уберу. Все куплю. Я тебе не говорила, я последнее время пела в подземном переходе, псалмы выучила. Вся в черном и с коробкой на груди. Осеняла всех крестом. Вот и накопила. У кого есть голос и слух, тот может петь. Он же не может ничего. А ты будешь со мной ходить всюду, меня защищать одним своим мужским видом. При мужчине женщина угнетена, но защищена. Станут меня гнать из перехода, так ты только скажешь: «Отхлынь, таких, как ты, я через унитаз сливаю!» — и всё. Принесешь мне букет на Восьмое марта и на день рождения... И на Новый год. Если заболео, тоже купишь лекарства, скипятишь воду... Ну и за квартиру будешь платить. Нет, я денег на это тоже дам... Буду тебе ботиночки покупать... Заботиться... При женщине мужчина сыт, обут и одет. Долго живет... А для здоровья ко мне Норкин будет ходить... А ты к проституткам, они вас всех, кто не может, обслуживают, я тебе не скажу как, на всякий случай... Знай, но они тебя заразят... *(Плачет.)*

Ф е м *(тоже заплакала)*. Мамочка, пожалей свою доченьку... Господи. Да что же за жизнь...

Б и. Будет и на нашей улице праздник... Тихий ангел пролетит... Начнем в гости ходить... К кому только... *(Рыдая.)* Но не будет у нас доченьки, любимой моей девочки, красавицы, погибла она у нас... В пещере, была спелеологом... Научным сотрудником... Красавица, умница... Невеста... Не спасли... На могилку давно не ходили... Я же тебя похоронила, вместо головы подушечку... Любила без памяти одну тебя...

Ф е м. Мамочка, не бросай меня... Мамочка. Любимая. Дорогая мамочка.

Обнимаются.

1989, 2002

# ОН В АРГЕНТИНЕ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Н и н а, немолодая женщина.

Д и а н а, очень старая женщина.

Д и а н а сидит перед домиком у стола. На дереве прибит умывальник, под ним ведро. На столе чайник. Под стулом пустая литровая банка. Появляется Н и н а.

Н и н а. Ну как? Как вы тут? Я приплыла. Что ели? Еда есть? Я вот принесла.

Д и а н а. Ах! А! Здравствуйте. Неожиданно как. Вы теперь сюда приплыли? Не скучно там было?

Н и н а. Как вы, ладно, спрашиваю? Не скучно — это не то! У меня нет слов, одни буквы. Там — вообще.

Д и а н а. Вы приплыли, и уже хорошо. Тут все другое. Иной мир! Воздух! Поздравляю вас!

Н и н а. Я спрашиваю, как вы! Еда есть?

Д и а н а. О, спасибо, есть. Вы просто мать Тереза. Обо всех заботитесь.

Н и н а. И чего?

Д и а н а. Это была такая святая.

Н и н а. Нет, чего вы тут?

Д и а н а. Вот сижу.

Н и н а. Вижу, не стоите.

Д и а н а (*переспрашивает*). Что вы, простите?

Н и н а. Глухня. Говорю, вижу, что сидите. Сама вижу.

Д и а н а. Сижу, как вы уже видите.

Н и н а. Почему не варили? Вы не варили? Я принесла.

Д и а н а. Почему я не варила?

Н и н а (*с ударением*). Я — спрашиваю — почему не варили. Вы не варили.

Д и а н а. Кое-что осталось ведь уже.

Н и н а. От чего осталось?

Д и а н а. От вчера.

Н и н а. Сегодня вечер!

Д и а н а. Ах вот как!

Н и н а. А вчера было вчера.

Д и а н а. Вот как? В каком смысле, простите?

Н и н а. Вот в каком. Вчера это было вчера, а сегодня вон уже вечер, я приплыла.

Д и а н а. Не расслышала, в каком в каком? То есть смысле в каком.

Н и н а. В таком, тетеря! Что не ели вы.

Д и а н а. Ах, вот вы о чем. Не заботьтесь! Было-было, вы не беспокойтесь. Вы не всё знаете.

Н и н а. И вчера у вас ни хера уже не было. Вот осталось от обеда (*кладет полиэтиленовый пакетик на стол*). Винегрета привезла. Наде-лаешь, наделаешь, настрогаешь целый тазик — не жрут ни хера. Морды воротят, что эта, что те... А того нету третьи сутки вообще. Он у тех. Он им повезет *гесь* мой тазик винагрета, те слопают. А эти: «Ма, мы не буд-дем это и это».

Д и а н а. Да? Мм. Эти и те. А того нету. Непонятно, но здорово.

Н и н а. Вот и да! Вам привезла, вы у меня съедите. Я делала сама. Не собакам же выкидать.

Д и а н а. О, спасибо, я уже.

Н и н а. Нет, вы еще не уже. Еще со вчера не евши. Я вижу.

Д и а н а. Успокойте себя. Вы не обо всем в курсе.

Н и н а. Я? Че тут, в курсе, не в курсе, все видно. Вода в чайнике и то (*трогает*) холодная (*заглядывает в чайник*). И почти полный чайник. И не пила?

Д и а н а. Я?

Н и н а. А кто, я, что ли.

Д и а н а. И пила, и все такое (*делает жест у ножек стула*). Не вол-нуйтесь.

Н и н а. Че не волнуйтесь, мне потом расхлебывать ваше поведение.

Д и а н а. Не надо ничего расхлебывать!

Н и н а. Надо! Пейте! (*Ищет чашку, находит под столом литровую банку, выплескивает из нее содержимое, наливает туда воду из чайни-ка, сует Диане под нос*.)

Д и а н а (*отворачивается как может*). Нет, это не для этого банка! Нет! Что вы! Пре...прекра...прекратите! Ммм... Оо!

Н и н а. Ну вот, попила. Рот-то был как пещера! Сухая пустыня!

Диана вытирает лицо платком, почти плачет.

И нечего было морду воротить! Как те! Сейчас еще попьешь у меня! И съешь винагрет! Полная банка винагрета у меня, некуда девать! Специально везла, у меня еще есть.

Д и а н а. Боже мой, за что? Что я вам сделала? Зачем вы издеваетесь над старым, больным, беспомощным человеком! Я же брат твой! Вы постареете, захотите, чтобы вас так унижали? (*Тихо, опустив голову, объясняет.*) Это грязная специальная баночка!

Н и н а (*смеется*). А! Ну понятно. А ничего. Это же твое было! А люди вон специально, просто нарочно, мочу тоже пьют, я по телеку смотрела. Поссут утром и пьют утреннюю дойку! И ничего, потом идут и выступают по тэ вэ! А я козу дою, и мы пьем что у нее между ног течет! Здесь же природа, сельское хозяйство! Говно собираем тут по кустам и в бочку! По технологии! Ночное золото! Что же, оно созреет — и через срок в картошку, в моркошку, в лук, и всё едим потом! И руки не моем! И всё!

Д и а н а. Боже мой, уйдите.

Н и н а. Я?

Д и а н а. Да.

Н и н а. Это мое тут, что ты здесь указываешь. Раскомандовалась с лишним! Все тут мое! Половина почти что острова моя.

Д и а н а. Вы сестра-хозяйка, вы тут главная, но вы не имеете надо мной власти. Этого вам не дано.

Н и н а. Я тут директор. И все могу сделать!

Д и а н а. Что вы со мной можете сделать?

Н и н а. Я? Да всё. Отвезти на берег и там высадить. На пристани. Всё! Наша база отдыха закрыта, понятно? Вам тут нечего сидеть голодать!

Д и а н а. Я голодаю? Кто вам сказал?

Н и н а. Я все знаю и все поняла. Как только приехала и увидела вас.

Д и а н а. Не обо всем вы знаете, нет, о нет! Вы многого не знаете. Вы многого такого не знаете... Лучше вам не знать.

Н и н а. Че?

Д и а н а. Не надо вопросов.

Н и н а. Загадки какие-то. Чего это я, интересно, не знаю?

Д и а н а. Насчет моей еды.

Н и н а (*как бы обалдев*). О! (*Презрительно.*) А! (*Стонет.*) О-о. (*Кряхтит.*) Оий. Да знаю я.

Д и а н а. И о будущем вы не можете знать.

Н и н а. И вы меня не пугайте! Будущим этим! Меня-то!

Д и а н а. Помилуйте! Как можно! Каждый сам за себя, особенно тут. Да. Каждый сам себя пугает больше.

Н и н а. Вот-вот! Вы это бросьте! Да я такие... Такие думы думаю... Мама мамы в сто лет... Одна подыхала, прости господи, в деревне. Всем же некогда! Тут внучка очнулась, сорок пять лет ей, надо совесть иметь, ее ведь к бабке увозили с пеленок, она там жила каждое лето, ну, был семейный совет, совет в Филях (*ударение на «и»*), такая картинка была

в календаре, ну вот. Она, эта внучка, так головой махнула, ладно, я беру на себя, все согласны. Ну что, поехала, думала выгода будет, избушку ее продала, все пропила, а пришлось брать бабушку к себе, взяла ее эта внучка типа вот как эта ваша мать Тереза, считала, что ненадолго, сунула за шкаф. Все уехали, лето было, думали друг на друга, думали внучка с ней, у которой она жила, а внучка эта... моего старшего брата дочь шалавая... алкоголичка вообще. Ей надоело за бабкой смотреть. Запила, пропала где-то, приехала через две недели... Рука на перевязи. Типа сломатая. В больнице лежала. Да дуру лепила, что рука. Это как оправдание. А бабка высохла вся, сидела как фараон египетский... На полу у кровати... Муми-ци...муми...фикци...

Д и а н а. Мумифицировалась?

Н и н а. Ну. Пить-то не было что.

Д и а н а. Это фантастика. Да... Ве-ли-ко-лепно. Такой дар небес.

Н и н а. Дар, блин! В гроб-то как сидячую ложить? Как?

Д и а н а. Я об этом даже и думать не желаю. Всему свой найдется выход. Да!

Н и н а. За деньги и враскоряку положат. Только плати. Я заплатила, видели что! Я! А на хера мне это было нужно?

Д и а н а. А это уже, так сказать, мировой вопрос.

Н и н а. Какой?

Д и а н а. Выходит, что действительно мать Тереза — это вы! Благослови вас Господь!

Н и н а. Ну! *(Пауза.)* Я еду сюда, думаю, что увижу? Тоже сидеть будет скорюченная? Но! Слава тебе, Господи. Душенька моя, живая. Да я тебя сейчас живо в город перенесу на закорках до катера!

Д и а н а. Мама ваша переживала, что ее мама так закончила свои дни? Без воды?

Н и н а. А что моя мама? Она все о себе горькие думы думает. Сама сейчас еле живая у брата плачет, а ко мне не хочет сюда ехать. Говорит, ты меня на воздух возьмешь, а на зиму они меня обратно с воздуха в квартиру не примут. На выход всегда пожалуйста, а вот на вход обратно в свою конуру — извините. Валька, ее невестка, не возьмет ее обратно, обрадуется. И ты меня, мама моя говорит, не поселишь у себя в квартире, к тебе нельзя будет. Да! Права моя мама! А куда ко мне, это не ко мне! Там я не решаю. Там дочь с внучками и этот наш знаменитый зять. У меня есть только диван в проходной комнате, где все толкуются. А у брата, где моя мама живет на кухне, вон невестка поперек себя шире сидит жрет. Я вожу сумками, сумками им! Едят, едят. Я маме вожу поесть, а наша невестка все стрескат.

Д и а н а. Еда — это очень опасная вещь. Вот ваша мама мамы... Это благодаря этому. Только этому. Не есть! Вы в меня вдохнули надежду!

Н и н а. Че это? На что?

Д и а н а. На фантастический результат.

Н и н а. На какой?

Д и а н а. Не скажу.

Н и н а. Не скажет она. Нет, уже хватит с меня мумифи... Это, мумификации! А ну, ешь! Ешьте!

Д и а н а. Я же уже сказала, еда, как я опять убедилась из вашего рассказа, опасна и не нужна для результата.

Н и н а (*та же игра, что и прежде*). О! А! О-о. Оий. Опасная еда ей. (*Пауза.*) Из какого моего рассказа?

Д и а н а. О вашей маме мамы. О ее результате.

Н и н а. Кого?

Д и а н а. Мамы мамы вашей результат.

Н и н а. А. А что я сказала такого? Мамы мамы какой результат, что?

Д и а н а. Да! Не будем уточнять! Но вы вдохнули в меня надежду!

Н и н а. Ничего я не вдохивала! О господи. Вы, скажите, ели, я уплывала?

Д и а н а. О, разумеется!

Н и н а. Что?

Д и а н а. Ну кому это может быть интересно, еда.

Н и н а. Вчера вы не варили.

Д и а н а. Вчера? А что это было, вчера?

Н и н а. Вчера я, сказано, уплывала.

Д и а н а. Вот как! Вас не было! Я и не подозревала! Как странно!

Н и н а. Вы не могли варить.

Д и а н а. Я?

Н и н а. Я газ отключила, кухню закрыла на замок, уплыла.

Д и а н а. Ну разумеется! О чем вы говорите! Я же забыла, я варила перед тем! На три дня!

Н и н а. Че ты варила, че ты варила!

Д и а н а. Простите? Не расслышала.

Н и н а. Я была тут, на усадьбе. Подкапывала себе картошек. И я следила за кухней. Тот день вы не варили. Голову так подниму — нет, не пришла.

Д и а н а. Вы ведь отходили? Отходили. Я быстро успела. Туда и сразу сюда.

Н и н а. Куда, куда я отходила! Я сказала, картошек себе подкопала и все, куда отходила. Пошла варить.

Д и а н а. В туалет вы что, не отходили?

Н и н а. Я? Да я под яблони хожу, там прикапываю, ты что! Удобрение. Под сливы. И смотрю в сторону дома и кухни. Привычка.

Д и а н а. Вы руки мыть отходили.

Н и н а. Руки? Руки мыть? О! (*Показывает руки.*) Я всю жизнь в воде болтаюсь! Руки мочу. Еще мыть их буду. Они мытые!

Д и а н а. Ну вы в дом заходили, обедали.

Н и н а. Я на кухне из кастрюли стоя хлебаю. Время нет, время у меня нет! Так что скажите честно: нет, не варила.

Д и а н а. Наоборот, да!

Н и н а. Что это еще «да»!

Д и а н а. Да! Да, я не варила. Вы поели и пошли из кухни в дом, не знаю зачем, я забежала в кухню тоже похлебала. Ваше.

Н и н а. Да тьфу! Я как сварю, все выедаю доскребаю. Там нечего за мной хлебать. Сварю и сожру.

Д и а н а. Нет, я помню... Картошку съела. Вы отлучались, отлучались. Я быстро раз! И выловила картошку. Обжигаясь съела.

Н и н а. А с чем были щи?

Д и а н а. Я видела только картошку. И выловила! Щей не ела.

Н и н а. А не щи были! Не щи!

Д и а н а. Я и говорю, щей я не ела.

Н и н а. А что было?

Д и а н а. Не упомяну. Это же было когда... Позавчера. Память у меня, сами знаете.

Н и н а. Память у ней! Такк. Сегодня вы ели?

Д и а н а. Варила, да. И съела, кастрюлю помыла.

Н и н а. Я же газ отключала! Только сегодня включила!

Д и а н а. Вы приплыли когда?

Н и н а. В три. Да, в три.

Д и а н а. И газ включили, кухню открыли?

Н и н а. Ну да. Поросятам поставила картошек.

Д и а н а. Ну, вот я и вклинилась.

Н и н а. Что вклинилась, когда это?

Д и а н а. Вы отперли кухню, так? И отошли. Ушли в дом.

Н и н а. Ну.

Д и а н а. За это время я помчалась, успела подогреть.

Н и н а. Да вы помчались... что вы помчались! Ползаете тут как черепашка какая-то.

Д и а н а. Я боялась, что вы опять все запретите, и вклинилась. О как я ела! Как мясорубка. Все вылизала. Так-то.

Н и н а. Что это вы вылизали?

Д и а н а. Что у меня скипело.

Н и н а. А что это у вас скипело?

Д и а н а. Суп. Супчик.

Н и н а. Суп из чего?

Д и а н а. Ну, как вам сказать.

Н и н а. Че было?

Д и а н а. Не хочу даже говорить. Совру.

Н и н а. Та-ак. Своровала.

Д и а н а. В каком смысле?

Н и н а. Ну, взяла у меня?

Д и а н а. Где?

Н и н а. Отсыпала у меня? Картошку взяла?

Д и а н а. Да бог с вами, Ниночка. Бог с вами. Вот это нет.

Н и н а. А тогда что вы варили? Я часто отхожу, я отойду, я же не запираю каждый раз. Не записываю веса. Я честная и все честные. А вот крупа манка! Манка в банке моя уменьшается.

Д и а н а. Нет, нет. Манка? Я такие вещи не употребляю. Манка. Куда там. Ненужная, вредная вещь! Все витамины, всё там разрушено!

Н и н а. А докажите тогда, что вы варили?

Д и а н а. Ну ладно, так и быть. Та-ак... Что я варила. *(Пауза.)* Крапиву. Щи из крапивы.

Н и н а. И манки туда. Манки сыпануть. Крапиву она ест! Крапиву с кашей манкой. И с картошкой.

Д и а н а. Нет, боже упаси. Мне хватает. Манну я не ем. У меня под кроватью осталось от Даши, от Кати, они уезжали, мне нанесли всего. Ну что вы, говорят мне, Диана Евгеньевна, мы это потащим поволоком с собой обратно? Эти крупы замшелые с весны? Оставили мне. Вон войдите, под кроватью пакеты. Греча, геркулес. Соль. Но соль я не употребляю.

Н и н а. Почему это? Соль она не употребляет, ну надо же. Вредная она вам?

Д и а н а. Уже тридцать лет ни соли ни сахара.

Н и н а. А вам сколько?

Д и а н а. Вы знаете, сто пятьдесят.

Н и н а. По-нят-но. Паспорт покажите.

Д и а н а. Он у моих. У моих в городе.

Н и н а. Так не годится.

Д и а н а. Оставила на всякий случай там.

Н и н а. Это нельзя, вы понимаете? Паспорт. А что случится?

Д и а н а. А что может случиться?

Н и н а. А мало ли... Что со всеми, то и с вами.

Д и а н а. Со всеми, знаете, разное случается. Вот вы, вы росли. Разве вы знали, что будете всесильным директором? Сестрой тут и хозяйкой всего?

Н и н а. Ну и что? Че плохого?

Д и а н а. Наоборот! Вы что! А другие возьмем случаи? Кто окажется в Аргентине, кто вообще неожиданно в Кремле. По-разному происходит судьба.

Н и н а. Расквакалась. В Кремле! В Аргентине! Я тоже не хуже всех. Хоть и живу на острове тут здесь.

Д и а н а. Вы лучше, лучше! Другие вообще в земле, но как мумии! А вы директор на свежем воздухе. Река. Чистый песок. Такой был прекрасный японский фильм, «Женщина в песках».

Н и н а. Про мою жизнь можно снимать сериал, а не то что! Я еще вообще молчу! Что со мной было!

Д и а н а. Уважаю, уважаю.

Н и н а. А мне оно по семечку, ваше уважение. Мне надо, чтобы вашего духу тут не было.

Д и а н а. Это случится, случится.

Н и н а. Паспорт ваш в таком случае нужен. Только паспорт. Больше ничего от вас.

Д и а н а. Ну я вам верю, верю. Успокойтесь.

Н и н а. Верит она! Вообще безобразие. Как я с трупом тут буду? Паспорт предъявите. Документик попрошу.

Д и а н а. Вы знаете, у меня заболевание нервной системы.

Н и н а. Оно и видать.

Д и а н а. Я, знаете ли, с детства скрываю свой возраст. С восьми лет никому не говорю. Стыжусь. Всегда считала себя старухой. В восемь лет, представляете? Потому что у меня была двоюродная сестра младше. И я по сравнению с ней считала себя старой. Завидовала ей. Вот в чем дело! Почему-то никто своего возраста не скрывает, а я да. Я — да! Поэтому и паспорт свой я никому не показываю. Только отдел кадров театра знал, только она. Но она уже умерла, рано, кстати, в восемьдесят пять лет.

Н и н а. А если что случится?

Д и а н а. С кем?

Н и н а. С вами.

Д и а н а. Я вас поняла. Я вас поняла. Ну, если вы меня переживете, если! То пороетесь в моих вещах и обнаружите все что необходимо.

Н и н а. Че? Да оно мне надо. Если переживете, надо же... Скажешь тоже. Думаешь, нет? Будешь жить вечно? У меня мама мамы, я говорила, на свежем воздухе тоже жила чуть не сто лет. В деревне. Одна с овцой и котом в избе. Потом мы обдумали, чего нам наследства ждать и чужой смерти желать, все равно ведь все будет наше. И дом продали, половину внучке этой шалавой, потом брату на ремонт машины, и мы холодильник еще один купили. А внучка вообще все пропила. А ведь на воздухе бабке можно было и сто петьдесят лет прожить и всех пережить. В городе у меня суматоха: свет ночью, ванная, туалет, горячая вода, кино, гости, туда, сюда! Дети плачут, зять выступает. Дочь орет. А здесь у нас, как один тут пел на гитаре, ваше величество, в нашем лесничестве, кроме электричества, всё в большом количестве. Вода в цистерне, свет провели, спасибо... Да! Вот руки у меня как у лаптюшницы деревенской, черные... типа лопаты! Копаю, блин! Я специалист по образованию, техник-технолог пищевик! И вот с вами тут... Солю, мариную, запасую... От голода спасти всех. Как дура. Таскаю им банки полные, обратно пустые.

Д и а н а. Как пищевичке очень рекомендую вам крапивный супчик. Он содержит кремний. Кремний — элемент жизни. Знайте. Причем варить надо очень мало, чтобы витамины не разрушались. А вот крупами я почти не балуюсь. Там все разрушено крупорушкой. Нет оболочки! Берите мои крупы, отсыпайте. Все равно варить негде.

Нина застывает на месте.

Н и н а (как бы обалдев). О! (Презрительно.) А! (Стонет.) О-о. (Кряхтит.) Оий. Ну это надо же! Ее крупы! Дина Евгеньевна! (Громко.) Всю крупу всегда мне, мне оставляют. Всегда и все. Так завелось. Уезжают и мне несут. Моя крупа тут вся! Знают, что у нас поросенок, я ращу. Так что это мое, мое, ваше все под кроватью. Ваше наше и наше наше, твое мое и мое мое.

Д и а н а. И масло подсолнечное мне оставили.

Н и н а. Оставлять надо все мне! Сказано?

Д и а н а. Берите. Я его не употребляю. Никаких жиров. Дарю!

Н и н а. Она мне дарит. Раскомандовалась с лишним. Порядок здесь есть, что все уезжают и под ключ оставляют в домиках мне. Это и так мое. Уехали, белье сдали с ключом. Я все проверяю, изымаю, убираюсь в домиках, все должна вынести, масло, крупу, банки. Один раз кофе оставили...

Д и а н а. Кофе я не пью.

Н и н а. Кофе желудевое. Из желудей.

Д и а н а. А! Черт знает что туда суют под видом желудей. Желуди, их же надо еще найти, поехать в дубраву, собрать урожай там... Кто этим будет заниматься! Крестьяне все теперь пьют, им нагнуться лень. Так что на фабрике они под видом желудей суют химию, целлюлозу, поролон, полиэтилен. С запахом, с отдушкой, близкой к натуральной. Вы как пищевичка должны понимать.

Н и н а. Это было когда... Позапрошлым летом. Еще Горюновы оставили мне целую трехлитровую банку маринованных опят. Не могли утащить, в лодку не влезло. А то ли сомневались... Ложные ли опята. Я невестке отвезла. Она сама всё сожрала, маме не дала, на что и был мой расчет. Все живы по сю пору. Мама мне по-тихому говорит, она даже, невестка, ночью вставала на кухню пришла, где мама якобы спит на раскладушке, и дососала из-под стола доставши всю банку со свистом. Ночью! Уксус весь выдула.

Д и а н а. Я уксуса не употребляю.

Н и н а. А это почему еще? Я люблю маринованное, грибки, помидоры, огурчики. Сахар сыплю, уксус закладываю. Укроп, чеснок. Ммм!

Д и а н а. Не ем жирного, жареного, соленого, острого, уксуса, мяса и рыбы.

Н и н а. Зачем?

Д и а н а. Что значит зачем?

Н и н а. Ну зачем вам это?

Д и а н а. Что — это?

Н и н а. Ну все это. Не есть.

Д и а н а. Чтобы сохранить сосуды.

Н и н а. А зачем, к чему это ведет, сосуды? Никому ваши сосуды не интересны. Я понимаю я, я для дочери живу, для внучек. Они без меня не смогут. Живу для мамы, чтобы ее невестку кормить, чтобы она лопнула. А вам зачем сосуды? У вас ведь никого! Насколько я все знаю. Никакой там дочери!

Д и а н а. Ну, как сказать, это необходимо, чтобы память иметь.

Н и н а. А зачем это вам? Память?

Д и а н а. Ну... как шутит моя подруга... Как шутила моя подруга Ксения Романова по кличке Потомок. Она внебрачная была прапраправнучка великого князя от горничной. Поймал он эту новую горничную... По легенде, ей было четырнадцать лет. Потомок шутила: наш лозунг — до победы на своих ногах и в своем разуме.

Н и н а. До какой победы?

Д и а н а. Это просто так она выразилась. Пошутила.

Н и н а. Ну что такое победа на своих ногах, что такое в разуме? Что?

Д и а н а. Ну... победа человека. На своих ногах и в своем разуме. Это тогда человек.

Н и н а. Одна тут здесь жила у меня... Алла, оперная. Безрукая.

Д и а н а. Я ее помню. Она горела в кухне, упавши руками на горящие конфорки на газовую плиту. Трагедия. Потеря сознания. И сторе-ли руки...

Н и н а. Да че там, она алкоголик. Ее любовник пристроил так на газовую плиту. Взволк, газ поджег и убежал. Отомстил. Она ему денег не дала. Он всем жаловался: типа на вот тебе рубль и ни в чем себе не отказывай. Так с ним обращалась, солистка хора была.

Д и а н а. Да что вы говорите?

Н и н а. А то говорю! Руки ее положил в огонь и ушел. Она не очнулась. Дверь взломали, когда дым и чад от жареного пошел. Догадались, кто это сделал, но не доказали. И что? Жила тут у меня здесь, как инвалиду ей всегда путевку давали на наше усмотрение, понятно? Вот она ничего не готовила. Была на своих ногах и в своем разуме. Но без рук. Рот подставляла, налей (*показывает*). А-а-а-а. Ее кормили все. А она одно: налей. Аааа!

Д и а н а. Да, как птенец, открывала клюв, вы правы. Всюду где пили. Но она, вы должны быть в курсе, продолжала петь в хоре, ее в опере жалели, у нее опыт громадный, репертуар знает, а на пенсию было не прожить, тем более у нее дома всегда кабак, все собирались, весь хор и

мой бывший муж Сусанин-бас при них, так ведь никаких денег не хватает на водку. Приходили все под предлогом Аллочке помочь. Ее на спектаклях в хоре ставили в задний ряд, костюмеры набивали ей пустые рукава и перчатки поролоном. Я помню. Солистка хора. Это было горе.

Н и н а. Умерла на своих ногах. На сцене. Рухнула прямо, говорили.

Д и а н а. Вы не всё знаете. Когда она упала, хор ее заслонил, кто-то сзади ей присел пульс щупал в процессе пения, а это была «Травиата», сцена на балу. Бал-маскарад. Широкие юбки так расправили и скопом стояли не шевелясь. Пока занавес не пошел, так и не двигались с места, одна с ней там сидела сзади хора, она тут тоже потом отдыхала и рассказывала, что голову ей держала, шею щупала, рук-то на ней, на Алле, не было, пульс проверять, и так находчиво она пела на мотив «Травиаты»: «Пульса нету, пульса нету, умерла, не уходите». Они и стояли стеной, уже их сцена кончилась, они молчат как идиоты, но стоят, их там уже не должно было быть, помреж орала из-за кулис, они нет, так молча и выстояли. Еще было бы хуже, они уходят, тут сцена Виолетты, дуэт, а на полу труп лежит не дышит, и руки как веревочки тонкие скручены. Искусственные руки-то! Зрители бы вообще с мест повскакали, чтоб рассмотреть. Ох, что пережил хор!

Н и н а. Да, вот это судьба, не болела не болела — и раз! Окоचурилася.

Д и а н а. Уйти на сцене, мм! Да! Это счастье актера, доработать до победы. Умереть на малой сцене — позор. А на большой — это победа!

Н и н а. Какая это победа?

Д и а н а. Но к этому счастью, к нему надо многое присовокупить. Чтобы до победы со своими руками, разумеется. На своих ногах, в своем разуме. И память! Да, еще возможность себя обслуживать, ни на ком не висеть обузой.

Н и н а. Вот я и сомневаюсь. Себя вы обслуживаете?

Д и а н а. О да, прекрасное дитя, о да. Но главное — я на своих ногах и в своем разуме.

Н и н а. Зачем, зачем все это?

Д и а н а. Как зачем?

Н и н а. Вот вы. Вы в своем разуме?

Д и а н а. Надеюсь. Да, надеюсь что да.

Н и н а. Вы! В своем разуме?

Д и а н а. Надеюсь.

Н и н а. Так считаешь?

Д и а н а. Господи, да что с вами?

Н и н а. Дура, что ли? Дура совсем, да? В разуме она.

Д и а н а. Простите, но я вас не понимаю.

Н и н а. Прекрасно понимаешь!

Д и а н а. Я не отрицаю. Я все прекрасно понимаю.

Н и н а. Но меня вы не обдурите! Нет!

Д и а н а. Зачем мне это, вас обдуривать, бог с вами.

Н и н а. Ела она. Ела она крапиву. Не ели вы ниче!

Д и а н а. Моя дорогая Ниночка. Что вы шумите? Человек имеет право на все то, что не мешает остальным и их никак не касается.

Н и н а. Касается, меня касается и мешает. Очень даже касается! Я вот как сейчас возьму и запишаю вам в рот винегрета!

Д и а н а. Бог с вами, у меня зубов нет на винегрет. И потом, там же огурцы маринованные! Таких ужасов я не ем. Я сыта, благодарю вас.

Н и н а. Вот у меня мать мужа дочери. Моя дочь, ее мать мужа моей дочери, так? Понимаете?

Д и а н а. Повторите. Я поняла, но не полностью. Что-то выпало из смысла.

Н и н а. Моя дочь вышла за этого доходягу, а это доходягина мать! Ясно?

Д и а н а. Доходягина мать?

Н и н а (*как бы обалдев*). О! (*Презрительно.*) А! (*Стонет.*) О-о. (*Кряхтит.*) Оий. Ну эта, мать мужа моей дочери! Она этого мужа родила непонятно вообще как. В сорок пять лет. Я в сорок пять уже мыться перестала. А она родила этого мужа!

Д и а н а. Родила мужа?

Н и н а. Да! Родила мужа моей дочери! Поняли?

Д и а н а. Родила мужа. Помнится, вы в общих чертах уже мне это обрисовывали. Дня три тому назад. Я еще тогда тоже не совсем вас поняла.

Н и н а. Да? Ну так слушайте. Родила его в старости. После чего мать этого мужа живет, хворает, така больна, така больна, но и не помирает десять, двадцать, тридцать лет. Две дочери уже были у нее еще до и окромя сына.

Д и а н а. Что значит еще до и окромя?

Н и н а (*орет*). То! Она их родила до! Помимо него!

Д и а н а. Родила помимо него, понятно. До и помимо. Окромя. Это мы запоминаем. Один в уме.

Н и н а. Два! Две вообще! Дочери помимо его. Ну так вот. Теперь! Старшая дочь за матерью больной ходила, выросла старая, померла, теперь вторая дочь подключается ухаживать... И сын этой матери, муж моей дочери, туда же идет.

Д и а н а. Погодите. Сын этой матери... Какой сын?

Н и н а (*орет*). Зять! Зять мой! Ну?

Д и а н а. Ах вот оно что. Ваш зять.

Н и н а. Звонят, что ты обязан к нам идти, они ему дозваниваются, на него орут в два горла. Его мать и сестра, ей вообще за петьдесят... Поняла что?

Д и а н а. Я вас понимаю теперь очень хорошо. За пятьдесят ей. Кому?

Н и н а. Кому-кому, сестры! Ей пятьдесят. Зовут его туда переселяться к матери и к сестры. У матери и сестре жить. А я же его же кормлю! А он мне тоже должен же помочь, бочки там с соляжкой в лодку и из лодки! Я одна валяю эти бочки по сорок литров, у мене уже внутренние там органы опустились, не могу к врачу сходить проверить, что там, так? А сменить прокладку у крана, а то, а се?.. Орудую гаечными ключами! Вся в масле и пеньке! Соляжкой этой буквально ссу!

Д и а н а. Боже, боже! Что вы! Соляжкой съите, пардон? Какой, понимаете ли, кошмар!

Н и н а. Ну, это поют: полюбила комбайнера, комбайнеру я дала. Две недели сиськи мыла и соляжкой ссала.

Д и а н а. Жизненная песня. У нас в театре служил водитель, тоже был интересный мужчина. Рук не мыл, потому что чего мыть, вымоет и опять пачкать. А уж про ноги я не говорю...

Н и н а (с интересом). Да-а?

Д и а н а. Костюмерши девушки мне рассказывали, смеялись до упаду, знали предмет.

Н и н а. Вот такие дела на театре.

Д и а н а (переключаясь на другую тему). Но вы, вы же преступница!

Н и н а. Че?

Д и а н а. Вы себя не жалеете!

Н и н а. Да? А вот картошка, кому рассказать, ее надоть всю выкопать и чтобы высохла, потом в подвал сложить песком укрыть, а то без меня всё сделают и увезут, арапы тут вокруг на моторках орудуют плавают... Я же дочке всё! А он, муж ее, ребенок поздний, сбоку присосался и тоже мое жрет. Его же они ведь, жена и дочки. Хорошо, ешьте и живите. Нет! Его дергают к этой матери. Он и ей, сестры своей, возит мою картошку, моркошку. А с какого перепою? Самому уже за тридцать. Так. Слушайте дальше. Та дочь скончалась, эта заболела. Опять идет время.

Д и а н а. Какая, чья дочь скончалась? Ужас какой.

Н и н а. Ну, матери мужа дочь!

Д и а н а. Матери мужа чья дочь?

Н и н а. То есть сестра мужа дочки моей. Дочь этой свашни.

Д и а н а. Свашни?

Н и н а (теряя терпение). Свашни моей!

Д и а н а. А что с ними со всеми было?

Н и н а (орет). С кем?

Д и а н а. Вы сказали, дочь скончалась. Это трагедия, я понимаю. Что-то произошло? От чего?

Н и н а. Та, первая дочь этой моей свашни, я не знаю, хер знает, от чего она умерла! От старости! Вторая дочь кричит, я одна мать не

потяну, ты обязан. Мать у них больше центнера весит. У меня поросенка я выкармливаю, и то столько не тянет. А то, эта сестра кричит, я тоже умру таская мамашу, она останется на тебе.

Д и а н а. Сестра чья, я потеряла нить?

Н и н а. *(машет рукой)*. Эта. Живая.

Д и а н а. Живая, прекрасно. Но кто?

Н и н а. Сейчас поймешь. И все норовит эта, которая еще живая, сестра его, устроиться лечь в больницу, заболеть, чтобы он у матери поселился как следует. Она одна, сама незамужняя, и она не выдерживает и злится, что у ее брата семья. Легла в больницу, опять моего зятя тащут к этой матери.

Д и а н а. Да, я вас понимаю. Как тяжело с большим человеком! Вот у меня муж был, бас, Сусанина пел. Помните? Ты взойди, моя заря.

Н и н а. Не, не помню.

Д и а н а. Ну Петров, он тоже тут у вас отдыхал.

Н и н а. Из каких это Петров?

Д и а н а. Из оперных.

Н и н а. Был из оперных Петров Николай Гербертович, был Иван Иванович.

Д и а н а. Вот-вот. Он. Потомственный алкоголик. Иван по кличке Сусанин. Солист хора. Мечтал о роли.

Н и н а. Ну, басы, они все такие. А Петров был вам не муж. Я же помню. Да они все тут... Мужья-дружья.

Д и а н а. Да. Выбирать не приходилось. Он был да, мне гражданский муж.

Н и н а. Ну и вот. Она, эта зятя мать...

Д и а н а. Какая зятя мать?

Н и н а. Мать зятя, короче.

Д и а н а. Мать зятя? А, понятно. Но какого зятя? Я сбилась слегка.

Н и н а. Моего! Моего зятя!

Д и а н а. Так бы и сказали.

Н и н а. Ну. Моего зятя. И она тоже, это, переборчивая: то я не ем, вроде вас, воду в бутылках пьет только свежую, откупорит, глоток выплюнет, всё. Горькое для нее. А деньги-то! Все денег стоит.

Д и а н а. Не правда ли? Все, все денег стоит. А у меня пенсия копится там на сберкнижке.

Н и н а. *(смотрит на Диану как бы новым взглядом)*. Да? И ну?

Д и а н а. Продолжайте, вот мать этого мужа, и что?

Н и н а. Что! Ей надо каждый день варить новое, вчерашнего не выносит! Зять чуть что туда переселяется. Вот зачем это мне такой муж моей дочери? Сестра эта его оставшаяся пока что в живых, сидит в больнице злая как черт... Думаю, хоть бы ты пожила подольше... Врачу послала банку смородины трехлитровую.

Д и а н а. Сколько жить — это уже как судьба. Это рок.

Н и н а. Ну да, это рок судьбы. Всех эта мать переживет, что толку-то? Кто за ней будет ходить, вот как вы всех пережили. Что толку-то? В своем уме, не в своем, чего хорошего?

Д и а н а. А вот вам тоже пример. У моей знакомой зять разошедшийся. Разошлись давно. Они выгнали этого зятя, он такое устроил: у них маленький ребенок, а пеленка грязная высохла, то есть жена молодая вовремя не постирала. Он взял ножницы и с таким холодным бешенством выстриг, понимаете, это пятно на пеленке. Испугались этих ножниц родители жены. Стрижет, стрижет так ножницами, а сам смотрит бешено. Мало ли что, подумали, он потом еще что пострижет! А это была их квартира, родителей. Его и попросили вон. Проходит время. Много лет. У дочери уже давно другая семья. А он, бывший зять, через кого-то дальнего передает весточку, что умирает от рака, написали домой умирать. Ну и что? Никто из них к нему не пошел. И его родной сын в том числе. И этот бывший муж, он больше никого, видно, не звал. Открыли квартиру, он иссох весь. Воды не мог встать налить себе. Сам умер. Мумифицировался. Никого не затрудил.

Н и н а. Ну и что это за пример?

Д и а н а. Мужественно мумифицировался. Есть над чем поразмыслить.

Н и н а. Вот у вас дети есть?

Д и а н а. Да какая теперь разница, кому это интересно.

Н и н а. Нет, вы скажите.

Д и а н а. У вас ведь дочь?

Н и н а. Я вас! Вас спрашиваю.

Д и а н а. У вас дочь? Я ее видела, красивая. Рыженькая, кудрявая красавица.

Н и н а. Толку-то! Рыжая, а вся семья на ней. Ее этот муж то и дело покидает, при своей мамаше чуть что ошивается. Та старая его сестра, она то-другое лечит, то она в больнице, то в санатории. Больная — приворная с лишним.

Д и а н а. А сколько лет вашей дочери?

Н и н а. Да двадцать девять уже.

Д и а н а. По виду совсем юная.

Н и н а. Нет, старая. Уже двадцать девять. Две дочки у ней. Вот у вас внуки есть?

Д и а н а. Да! Я же видела маленьких девочек рыженьких, они летом жили у вас в гостях. Такие славные! Как их зовут?

Н и н а. Нет, вот вы скажите мне, у вас внуки есть?

Д и а н а. Это счастье, внуки. На вас смотрю и радуюсь.

Н и н а. Счастье. Счастье! А толку-то. Зять при своей той семье. Ничем мне не помогает, как разведенный. Там сестра его скандалит. Смотрит

на его детей и в уме они подсчитывают с той бабкой, что первая девочка не его! Почему типа обе рыжие?

Д и а н а. Да... Такие очаровательные мордочки, большие глазищи.

Н и н а. Вот эта сестра нашего мужа смотрит, зырит настырно так, усмешки строит и говорит: все правильно, все верно, ребеночек рыжий, не наш. Подначивают этого мужа уйти.

Д и а н а. О! За мужчин думает их мать.

Н и н а. Вот именно что, и сестра! Свой разум пропил. И кто он после того? На лодочной станции лодки выдает. Но это же только до сейчас, до осени! А зимой тоже детям жрать хочется! Вот я его и кормлю, зачем сама не знаю. На зиму хоть бы, как раньше, пожарником устроился на автобазу сутки через трое. Двое суток дома сериалы смотрит, одни сутки там пожарником спит. Но на автобазе к осени уже занято было все. Он лодки любит, ради того ушел на лето. Лодки полюбил я, водную гладь, там, где лодки плавают, там благодать, поэт сраный. Сам сочинил. Дочь мне показывала листок. Что он не такой как все.

Д и а н а. Вы добрячка, вы хотите всех накормить, благое дело. Вас вспомнят.

Н и н а. А! Зачем мне это будет! Я тут вообще, все время сейчас к ним плавала с ведрами помоев, пока последние артисты жили тут. Дочь на участке моего поросенка держит, я ей отдала. И кур. А то не уследишь, приплывут архаровцы и увезут всё. Опасно с лишним. А дома свинью держать не будешь даже в ванной, дети ее не дадут забить. Привыкнут. Поросенок — он же как человек. Придешь к нему, он на ножки так встанет, об загородку обопрется, смотрит, выражение прям человеческое... От зятя моего такого не дождешься (*показывает*).

Д и а н а. У них, у кошек, у собак, мордочки гораздо симпатичнее! И слушают внимательно всегда, что ты им говоришь!

Н и н а. Вот да. Все ему расскажешь, поплачешь... А потом и мясо в рот не лезет...

Д и а н а. Я мяса не ем принципиально. Братьев наших меньших!

Н и н а. А что делать. Сейчас мои помои кончились, всё. От вас отходов нету. Да...

Д и а н а. Да...

Н и н а. Как я его смерть перенесу, не знаю.

Д и а н а. Все мы под Богом ходим... Молитесь. (*Всполашившись*.) Чью смерть?

Н и н а. Борова кладеного этого.

Д и а н а. Вы меня испугали.

Н и н а. Зять не хочет поросенка резать, говорит, чего мараться. Это он завсегда ломается. Но придется его прирезать, а то похудеет с лишним.

Д и а н а (*осторожно*). Кто, пардон? Зять опять? Похудеет?

Н и н а (*орет*). Поросенок! Сентябрь! От вас отходов нету!

Д и а н а (*быстро*). Сентябрь уж наступил, уж роща отряхает... Последние листы с нагих своих ветвей...

Пауза.

Н и н а. Вот как я люблю, когда вы стихи читаете!

Д и а н а. У меня тоже два петуха жили дома. Дочке маленькой та бабка в деревне подарила цыплят. Дочка их кормила, тряслась над ними, кормила и выкормила на природе, два петуха здоровенных. Жале-ла. Петя и почему-то Игорек. Приехали с дачи с ними в город после ле-та. Ночь на дворе, а эти у нас на балконе глаза продрали и орут! Зарю встречают. Мы прямо на весь микрорайон сразу прославились. Делега-ции приходили, кулаками махали. Муж их в деревню отправил, к той обратно бабушке. Думал, мать хоть куриного супу поест от души, нет, она трехлитровую банку курятины закатала и обратно привезла. И жи-ла у нас под это дело всю зиму... Да.

Н и н а. А что в деревне, скучно!

Д и а н а. Я рада была, она с дочкой, и покормит, и уложит. Мы с му-жем в театре. Играли много. Мы были дружная пара. Он Отелло, я Эмилия...

Н и н а. Дездемону-то играть была ты старая с лишним... Ты старше была, чем Отелло.

Д и а н а. О! Откуда такие новости? Кто сказал?

Н и н а. Да... Это ваши тут баяли. Я слушаю, а че.

Д и а н а. Театр, серпентарий. Клубок змей то есть.

Н и н а. А тут, на острове и вокруг, не клубок? Что ни двор, то Гомор, что ни дом, то Содом.

Д и а н а. Люди! Человеческое, слишком человеческое.

Н и н а. Тут вообще вокруг на моторках ездют, смотрят, где что взять. Уеду на полдня, всё увезут. Стекла, рамы, умывальники. Трубы сдадут в металлолом, алкаши. Провода срежут. Картошки выкопают.

Д и а н а. Я послезу.

Н и н а. Последит она! Вы же не догоните. Вы же не ходите вообще!

Д и а н а. Сентябрь уж наступил...

Н и н а. Ну.

Д и а н а. Распалась связь времен...

Н и н а. Когда ваш концерт тут устраивали, потом на кухне мне ска-зали, что жаль, Нина Ивановна, вас не было. Я с помоями уплыла, по-тому что знала, что потом будет банкет и людям некуда будет выкидать отходы.

Д и а н а. Да, так трогательно, все собрались. Юбилей, так сказать.

Н и н а. И сколько вам, сколько исполнялось, вот скажите?

Д и а н а. Да я уже сказала, сто пятьдесят. Даже Григорий Петрович с супругой приплыл.

Н и н а. Он это ко внучке. Вот его внучка — это... *(Хекает.)* Не могу даже сказать при женщине.

Д и а н а. Вы можете быть со мной совершенно откровенной, Ниночка. Я никогда никому не скажу. Все говорят мне, а я молчу. О нашем председателе, Григории Петровиче, ни слова, ни звука! А рассказывали многое.

Н и н а. Григорий Петрович святой мужчина, так ему и передайте, если когда-нибудь его увидите. Как он об вас хлопотал!

Д и а н а. Вы считаете?

Н и н а. А вы что, не знали?

Д и а н а. Ну никаких совершенно сведений.

Н и н а. Перед своим последним уходом.

Д и а н а. Он что... тоже? *(Крестится.)*

Н и н а. Он уехал в отпуск, потом он ляжет в больницу, потом в санаторий на два срока... Как всегда в сентябре. Как он председатель наш.

Д и а н а. Ах вот оно что... Вон как... Слава богу.

Н и н а. Богу слава, а мне-то что? Теперь вот я одна с вами тут возжаюсь. На мне всё, даже с лишним. Зачем? Почему? Воду включаю, свет расходую, на лодке туда-сюда мотаюсь. Зачем? Картошку выкопаю, всё ведь! Уехала! А тут вы сидите как пень. Вы куда потом?

Д и а н а. Но я же не знала, что Григорий Петрович до весны ушел!

Н и н а. Теперь знайте. Он вообще собрался на пенсию. С декабря приходит новое руководство.

Д и а н а. Кто?

Н и н а. Кого-то присылают с Удмурдии.

Д и а н а. Я спокойна, я совершенно спокойна.

Н и н а. Надо мне всё, отключать воду и электричество. Придется уж.

Д и а н а. Воду я могу брать из реки... ведро есть.

Н и н а. Ведра нет, ваше это — мое.

Д и а н а. Но у меня есть пятилитровая канистра пластмассовая. А?

Н и н а. В ней не вскипятишь воду-то.

Д и а н а. О. Ничего! Принести воду — это главное. У меня есть консервы, банка фасоли. Полкило. Это то, что я сама сюда привезла.

Н и н а. Не докажете.

Д и а н а. И не надо, тут не суд и не следствие. Я фасоль употреблю в дело. А в этой баночке из-под нее буду кипятить чай! Спички есть. Три коробка мне оставили.

Н и н а. Мне оставили!

Д и а н а. Я вам отсыплю. Свечки даже есть. С именинного моего торта.

Н и н а. Это зачем?

Д и а н а. Ночью-то... Свечку зажжешь... Сухого хвороста собрать... Костер развести... Греться...

Н и н а. Зачем. Дожди пойдут. Обещались. Никакого костра вы мне тут не разводите. Да я ваш домик заколочу. Не беспокойтесь.

Д и а н а. Да! Отговорила роща золотая... Березовым веселым языком. И журавли, уныло пролетая... Так сказать...

Н и н а. Ну я прям не знаю, что бы для вас сделала. Вы так стихи читаете!

Д и а н а. Я народная артистка.

Н и н а. А Глебову вы знали?

Д и а н а. Она у меня училась.

Н и н а. А Ермолову?

Д и а н а. Смотря какую. Машу знала.

Н и н а. Она еще в сериале снималась... До вас тут жила со своим бойфрендом, у них гражданский брак. А у бойфренда этого оказалась тоже жена с сыном, приезжала, устроила мордобой. Я подошла на грохот, она стучит к ним в дверь, в руке ножик такой столовый, тупой. Берет камень, хочет разбить мне окно ихнее.

Д и а н а. Мне рассказывали.

Н и н а. Я ей говорю, что хотите, но портить имущество не дам. Громко говорю так, звоните кто-нибудь в милицию. Пусть плывут сюда, на хулиганство. Я не дам вам стекла бить и дверь выламывать. Это пустой домик. Отсюда вчера выехали. Она кричит, да откройте же. Они там, она кричит, я слышу, затаились. Она слышит, как они затаились, выдали? А я ей: ты тут никто распоряжаться! Я ей тихо так говорю, а она меня ударила ногой, почти что, так замахнулась. Я: я директор, все свидетели, она мне ногой угрожала. Она: ёханный ты директор. Говорю: все, кто слышал, будете свидетелями. Мордобой и оскорбления. Все по домикам попрытались. Заперлись.

Д и а н а. В тяжелые моменты никого не дозовешься, вы правы.

Н и н а. Стекла бить вам не дам, говорю ей тихо, мне потом как вставлять, с имуществом возиться. Мальчика своего постыдились бы. Ребенка зачем вы привезли позорить? Он вам не простит. Она ему кричит — кричи: «Папа, открой немедленно, маму бьют». Кто тебя ударил-то, зараза! Руки марать. Она опять — кричи: «Папа, открой, у мамы плохо с сердцем!» Артистка. Покричала, ей валидола принесли, воды, они сели на лавочку, вечером уплыли. А эти насиделись вдвоем в домике, пять часов ни в туалет, никуда. После этого они друг дружке опротивели, разошлись совсем. Но и домой он к той жене не вернулся, нашел третью бабу.

Д и а н а. Как это жизненно.

Н и н а. Жизненно не то слово! Скотство одно. Тут, господи помилуй, живешь, всего наглядисься. Внучка самого Григория Петровича.

Я ему так и не сказала. Бандитов каких-то привезла, два домика заняла. А люди за путевками давятся, с января подают заявления.

Д и а н а. Да, тут чудесно! Такой дивный остров... Белый песочек, чисто... Река... Закаты...

Н и н а. Вы вот заметили, какая чистота. Я весь мусор сжигаю, все по кустам собираю ихнее. И по новейшей технологии, в железную бочку и оставляю на две недели. И прикапываю! Ночное золото называется. И с огорода мы всю зиму живем! Я триста шестьдесят восемь банок закатываю! Имея в виду и сноху и этого зятяща с его сестрой и матерью. Но где это хранить! Сегодня весной десять последних банок того года украли из погреба.

Д и а н а. Пока что я присмотрю, пока я тут. Не волнуйтесь.

Н и н а. Да я скоро все перетаскаю к себе. Горе в чем: мои банки зять любит взять. Они там гостей зовут и всё буквально сметают! И банки выкидает в мусорку! Мои банки!

Д и а н а. Как говорил мой теперь уже давно покойный первый свекор, у меня он мудрейший был мужчина. Хотя потомственный алкоголик. Дети, он сказал, заглядывают к родителям как в холодильник, только когда нужно что-нибудь взять. С выражением говорил. Когда мы с мужем к ним приходили поесть. Студенты были.

Н и н а. Да! А зачем я живу? Я холодильник! Всё только для них, всё только ради них! Я тут и директор, и уборщица, и дворник, и сторож! И сестра-хозяйка! Хотя платят мне только как сестре-хозяйке, что я ответственная за имущество. Смена за сменой, домики трещат, артисты пьют, по кустам гадят, в уборную им тащиться далеко, а я знай убирай... Ментов вызывай...

Д и а н а. Я давно хотела́ вам что-то сказать. Не обидитесь — вот так, прямо в глаза. Нет?

Н и н а. Я? Да говорите. Меня не испугаешь. Я такое (*хекает*) выслушиваю...

Д и а н а. Вы редкий, редчайший человек, Нина Ивановна. Когда я смотрю на вас, я думаю: вот готовый директор театра!

Н и н а. Ни за что! (*Хекает.*)

Д и а н а. У нас в драме был директор. Редкостный человек, удивительная личность, невероятная по силе скотина, вор и доносчик. Всё знал обо всех. Бегал стучал в контору, не буду вам говорить, что скрывается под этим термином.

Н и н а. А то я не театральный человек!

Д и а н а. Поэтому он ничего не боялся. Провокатор был. В самые лихие времена политические анекдоты рассказывал всем и смотрел: как реагируют? И кто стукнет? Тогда за недоносительство тоже сажали. Каждый год у него ремонт театра, каждый год новая машина. При нем резко выросла посещаемость театра. Как-то он умел с военными

частями договариваться. Наш главный, Антон Зиновьевич, наш гений режиссер, упросил в управлении его заменить. И ему предложили этого Швандю.

Н и н а. У меня отдыхали Шванди. Три человека.

Д и а н а. Псевдоним это, я думаю. Из известной пьесы. Не его фамилия. Я этого человека знала. Он другой.

Н и н а. Нет, это были Шванди по паспортам. Два Шванди и она Гуревич. Из оперетты он администратор, жена его Гуревич из филармонии... И их сын.

Д и а н а. Да, да, я помню.

Н и н а. Нет, вас не было. Приехали. Откуда вы можете помнить?

Д и а н а. Я все помню, давно живу.

Н и н а. А сын у них вило... это, виолончелист, привез свою бандуру, репетировать ему надо. А у нас ничего не приспособлено для этого, люди отдыхают же, даже певицы молчат! Такое правило. Иногда случайно за картами заведет кто-нибудь «Благословляю вас, леса». Но сразу замолкает. Ну вот, этот сын Швандя вило... Ну это.

Д и а н а. Да, да. Я поняла. Виолончелист.

Н и н а. Он обещал, ничего не будет вам слышно, все его окружили сразу же, как он сошел с катера, с гулянки, со своей бандурой. Такие правила, извините... Играть вы тут не будете. Тут и скрипачи отдыхают молчат. Ну и вот, он стал уходить репетировать в кусты на тот конец острова, а там тоже люди сидят отдыхают, звук попадал к газовикам в пансионат, они на него с лопатой пошли, да и нам на территории все равно все слышно было. Это как поросенок визжит! Как ножом по стеклу. Новая, кричал, музыка. Стал брать лодку, уплывал. Рыба вообще вся ушла. Наши рыбаки вернулись пустые, пошли к нему в пять утра, но Шванди им домик не открыли.

Д и а н а. Ну вот, слушайте, откуда я этого Швандю знаю! Это же нашего театра директор бывший. Взял наш гений режиссуры Антон Зиновьевич этого нового, этого Швандю, присланного директора, и поехали они на гастроли. Там что оказалось? Посещаемость театра была семь человек за вечер! Ну ничего человек не мог этот Швандя. Не умел с военными частями найти контакт. Ну, его и попросили вон! Потом все ушли в отпуск. Возвращаются — опять наш старый директор на месте, тот, вор. Пришел на сбор труппы в иудин день, хлопочет чего-то, шныряет всюду. Оказалось, что покойный Антон Зиновьевич побежал в управление и упросил вернуть ему его вора и доносчика. Это же театр. Зал надо каждый день заполнять! Любыми способами!

Н и н а. Мне рассказали про этого Швандю. Он-то по паспорту был Гуревич, но сменил фамилию на Швандю, а жена его, русская женщина, не захотела быть Швандей.

Д и а н а. Я ее понимаю. Эльвира Швандя, это что?

Н и н а. Ну! И осталась Гуревич по мужу. Сыну было все равно, отец его перекантовал на Швандю. А потом, мне сказали, они обратно поменялись на Гуревичей и уехали в Канаду.

Д и а н а. Ах вот оно как!

Н и н а. Так что я сейчас вам дам винегреда.

Д и а н а. Я сыта, помилуйте.

Н и н а. И втолкну в глотку, если жрать не будешь.

Д и а н а. А вот тогда я действительно и вне всяких сомнений у вас тут очочурюсь. От удушья. Прекрасный конец! Ни больниц, ни консилиумов. Сразу как Дездемона. И вас обвинят как Отелло.

Н и н а. О. А я тебя в лодочку да и в реку.

Д и а н а. Вас снимут с работы.

Н и н а. Да никто не хватится!

Д и а н а. Все прекрасно хватятся. Они в театре знают всё. Когда меня поймают, то есть выловят ниже по течению, то выяснится, что я оказалась в реке уже мертвая. Следователи разрежут и поймут. А как мертвая может утонуть?

Н и н а. Легко!

Д и а н а. Как мертвая в реку кинется? Нет. Только если этот труп бросят в воду. Тогда встанет вопрос, кто это сделал. Все знают, что на острове были только вы и я. И подозрение падет на вас. А в театральном союзе есть уже кандидатура сюда.

Н и н а. Кто?

Д и а н а. Я сказать вам этого не смогу, я вас обману. Боюсь обмануть. Но молодая.

Н и н а. Да кто сюда пойдет!

Д и а н а. Есть план построить тут большое здание. Нужны будут другие люди другого плана. С образованием вроде бы.

Н и н а. Да за меня будет Никодимова! Я ей гуся отвезла! Пять банок маринованных огурчиков!

Д и а н а. Никодимова? Это кто?

Н и н а. Тебе не надо знать.

Д и а н а. В союзе театральном таких нет уже.

Н и н а. А! С тобой говорить. Я тебе к ногам привяжу камень. Никто не найдет.

Д и а н а. А куда я делась отсюда?

Н и н а. А я откуда знаю? Я тебя довезла до берега. Ты ушла, мне что.

Д и а н а. Все же знают, что мне идти некуда.

Н и н а. К семье.

Д и а н а. Нет никакой семьи.

Н и н а. Дочь.

Д и а н а. Уехали они. Квартиру продали.

Н и н а. Зачем это?

Д и а н а. Все знают зачем.

Н и н а. Стойте. Я же знаю, дочь у вас с ее сыном, он внук, они вас еще тогда... в прошлом году забирали. Внук такой представительный, рыжий. Я вашу семью-то прекрасно знаю, уж не первый год вы тут у меня обретаетесь.

Д и а н а. Мужа моего тоже помните?

Н и н а. Какого мужа еще? При чем это вы приплели? Какого мужа?

Д и а н а. Такого. У меня муж-то был, я с ним ездила сюда.

Н и н а. Вот не помню, извините.

Д и а н а. Красивый такой мужчина. В него все влюблялись. Георгий Иванович у меня был.

Н и н а. Я не влюблялась. Вы что! С ума совсем сошла бабка. Кому он нужен, старый хрен!

Д и а н а. Влюблялись все. Он знал подход. Как я в него влюбилась. Причем уже в немолодом возрасте. В сорок лет!

Н и н а. У вас же был муж небось.

Д и а н а. Муж не муж, но был. У актрисы всегда должен быть кто-то. Перед ним был из оперы, я говорила... Иван по кличке Сусанин.

Н и н а. О... Уж я насмотрелась. Каждый год у каждой кто-то новый. В основном актрисы привозили. Приезжают вдвоем в один домик, а путевка на одну ее, а я сразу: ваши паспорта, штамп о браке? И приходилось им уезжать. Ему или ей. Они надеялись, подмажем, то-се... Нет, не выйдет, я говорю. До слез доходило.

Д и а н а. Нет, вы добрая. Мы знаем. В первый год, когда мы с Георгием приехали неженатые, вы его у себя прописали. И Сусанина моего раньше тоже помещали, я помню, на терраске.

Н и н а. Ну, я что, я же человек. У меня ведь есть лишняя комната, три койки, и терраска еще, пятеро могут остановиться. А где они ночуют, это мое разве дело? Но ваш Сусанин выступал всегда с лишним.

Д и а н а. С этим Иваном Сусаниным я недолго маялась. Он, когда у меня в квартире поселился, имел обыкновение ночами выходить на балкон и петь там «Ты взойди, моя заря» полностью. Соседи были в экстазе. Вызывали что ни ночь наряд милиции.

Н и н а. Помню, здесь он за вами с вилами гнался, у меня их у сарая подобрал. Он за вами, я за ним, положь вилы где брал! Вы же в Волгу побежали, он бы тоже, но я вилы отняла. Ну, как с моими вилами потонет! Ох, такой народ эти театральные.

Д и а н а. А тут этот... В иудин день приходит на сбор трупы новый актер. Георгий Иванович. Не красавец показался поначалу, но такой талантливый, из Саратова к нам перешел. Жить негде, он там оставил семью, развелся, уже когда у нас дочь родилась. Одни драмы. У той его жены не было детей... Она его бешено ревновала. Ребенок первый у него родился от их тамошней костюмерши, еще мальчики-близнецы от

студентки одной... Она на практике у них была в театре. Причем очень смешно: все рыжие. Он сам был, вы помните, рыжий.

Н и н а. Откуда это я помню. Всех, что ли, помнить... Никакой памяти не хватит.

Д и а н а. Помните, прекрасно вы его помните. Сам он был такой темно-рыжий, кудри, ресницы длинные, загнутые как у девушки. Глаза синие. От одной улыбки сойти с ума. Ямочка на правой щеке. Играл у нас Ромео, Тригорина, Гамлета, по утрам Бабу-ягу, Чебурашку, Карлсона... Посещаемость выросла... У всех его детей эта примета, ямочка на правой щеке и рыжие кудряшки. У моей дочери... У внука. Помните?

Н и н а. Не помню. Я говорю, что, обязана всех помнить? Каждое лето тут отдыхающих полно. Я тут уже тридцать лет пашу.

Д и а н а. Дочери вашей сколько лет?

Н и н а. Моей дочери? А что?

Д и а н а. Ну так, для сравнения. Двадцать девять, я помню. Моей дочери Тане сорок пять. Когда ей было пятнадцать лет, они с отцом здесь жили без меня. Я лежала в больнице в Москве. Я упросила Георгия не ехать со мной туда, где я лежала, якобы за мной ухаживать, там же Москва, там полно у него друзей, все алкоголики по театрам были бы его, я послала его пожить с Таней здесь у вас, на острове, тут, где вы. Ну, вы помните это.

Н и н а. Откуда, говорю, я помню, вы же тут.

Д и а н а. Это да, было тридцать лет назад. Вы уже работали здесь. Вы были замужем?

Н и н а. У меня был мужчина, но мы не успели зарегистрировать брак, он утонул по пьянке. Поплыл и не вернулся. Он приехал ко мне на чужой моторке, уже выпивши. Его друзья высадили, отчалили, он ко мне пришел, а я рыбу чистила на берегу, не тут, я ухожу чистить рыбу подальше в ивняк, чтоб не мусорить. Купила у рыбаков лещей. Я же их копчу. Не как другие, я их потрошу сначала. Только потом копчу. Зять помирает по моим лещам. Ну и вот. Я вам рассказываю чего никому не говорила. Я нагнулась на берегу, была в купальнике, он накиннулся со спины, повалил прямо в воду лицом, добился своего, чуть я не утонула, а потом он, наверно, испугался, что я захлебнулась, сразу бросил меня, тут же с места поплыл и не вернулся, всё. Больше я его не видела. Пьяный был. Труп обнаружен был только через три дня, милиция всех опрашивала. Вот от него и родилась у меня дочь.

Д и а н а. А как он вас нашел в ивняке? Остров-то большой.

Н и н а. Я и говорю, как ты меня нашел, сволочь.

Д и а н а. Когда вы ему это говорили?

Н и н а. А что вам интересно?

Д и а н а. И как вы узнали, что это он именно? Он же напал со спины. Опрокинул вас в воду.

Н и н а. Да, лицом на бревно, там топляк был. Лежал в песке. Но я вывернула голову и могла дышать. Все лицо было искорябано.

Д и а н а. То есть вы его и не видели.

Н и н а. Когда он поплыл, то тогда и увидела. Обернулась. И тогда я ему и крикнула: как ты меня нашел, сволочь.

Д и а н а. Это было в августе. Какого числа?

Н и н а. Точно не помню уже.

Д и а н а. Мне же сразу актрисы рассказали. Это было двадцать седьмого. Они уезжали двадцать девятого. Вы были растерзаны, вы плакали, и ноги у вас были в синяках.

Н и н а. Ну и память у вас. Да, меня встретили в кустах...

Д и а н а. Моя дочка хорошо помнила это лето. Как прекрасно было! Приехала домой, плакала. Я вернулась из больницы, она ткнулась мне в руку, реснички мокрые.

Н и н а. Скучала она за нашим островом?

Д и а н а. Я не вдавалась в подробности. Я вернулась еле живая из Москвы после операции. Дочка моя приплакивает. Я ей говорю, всё в прошлом, всё хорошо. Не переживай за меня. Мы все вместе, все живы. Но она с отцом не разговаривает. Он пожимает плечами, вожжа ей под хвост попала. Вернулись с острова, где отдыхали, чудесное лето, и такой результат. Дочка наша его очень любила, своего сына не стала записывать на фамилию мужа, записала на свою, отцовскую, моего-то внука! Когда мужа не стало, я нашла в его чемодане письмо.

Н и н а. Он умер давно уже, да?

Д и а н а. Не умер. Такие не умирают.

Н и н а. Жив? Жив?

Д и а н а. Не умер. Его зарезали на гастролях в Архангельске. В парке.

Н и н а. Кто?

Д и а н а. Следствие закрыли. Никого не нашли.

Н и н а. Мне говорили, тут отдыхающие приехали в тот год в августе, что он вроде бы, по неизвестным данным, погиб на гастролях, нашли в городском парке утром. Пошел погулять после спектакля. И на тебе. А вроде и не он это был. Я все думала об нем. Как же так, думала.

Д и а н а. У него там была девочка, как мне сказали. Местная. И это у них было свидание. Я-то не ездила на те гастроли. Уже была выведена из состава труппы. Новый главный постарался. Потом-то меня опять взяли, потому что кто старух будет играть? Все возрастные актриски прооперировались, щеки подтянули, гладкие они у них стали, вроде, прошу прощения, ягодиц, посредине нос пупочкой торчит. Ни морщинки. А кто будет играть Островского? Он всегда в репертуаре, там без старух ни шагу.

Н и н а. Его там похоронили?

Д и а н а. Нет, здесь. Как же я его оставляю там. Тут он.

Н и н а. А где?

Д и а н а. Что где?

Н и н а. Где он лежит?

Д и а н а. Да у нас, рядом с моими папой и мамой. Где и я буду.

Н и н а. Будешь, как же. Кто тебя хоронить-то станет? Никого у тебя нету.

Д и а н а. По счастью, нету.

Н и н а. Сунут в общий ров тебя, и всё. Меня вон дочь и зять похоронят. Как это, все тебя бросили.

Д и а н а. В театре постараются. У нас есть один старый артист, он всегда добывается своего. Ходит, собирает деньги. Ставит плиты. Одинокий, обо всех могилках заботится. Мне он обещал. Его фамилия Зотов. Ардальон Зотов. Запомнили?

Н и н а. А мне зачем.

Д и а н а. В театре знают его. Зотов.

Н и н а. А мне по семечку, не запоминаю я фамилий.

Д и а н а. Ну и на том спасибо.

Н и н а. Я сейчас принесу суп и буду насильно вливать. Через воронку. Через которую солярку заливаю в мотор. Привяжу к стулу тебя и покормлю. Если сама не поешь. Я же знаю, к чему ты клонишь. Дешево отделаться хочешь. Семь дней не есть, и всё. Что я, не знаю?

Д и а н а. Почем же вам знать, глупенькая вы женщина.

Н и н а. Что я, сама не хотела покончить с собой? Когда забеременела в девятнадцать лет? Я же ничего не понимала, думала, что беременность была от того, кто на меня сзади напал... Не ела четыре дня, упала вот прямо тут, несла ведро с рыбой... В больницу увезли на гулянке. Десять дней провалялась.

Д и а н а. В больницу тебя увезли не помнишь когда?

Н и н а. Помню. Десятого августа.

Д и а н а. А какой срок беременности был?

Н и н а. Шесть недель. Я тогда только поняла, что это от Георгия ребенок будет. Мать моя, когда узнала, пришла в ужас и меня по щекам отлупила. Бьет и плачет. Ее еле увели. Врач объясняет, ее, говорят, изнасиловали, да еще и вы добавляете.

Д и а н а. Георгий знал? Наверно, просил об аборте.

Н и н а. Да, но я не хотела. Матери я сказала, что с этим человеком, который утонул в тот день, мы собирались пожениться, а то, что я в синяках, это потому, что я отказалась. А то, что на меня напали... Да у нас часто нападают. Когда ты одна на реке, а они пьяные мимо плывут на своей гулянке... Пристанут к берегу и встретят тебя... В милицию обращаться позора наешься...

Д и а н а. А аборт мать требовала сделать?

Н и н а. Еще чего, убивать! Мою доченьку-красавицу.

Диана. Она какая у вас?

Нина. Все их фотки у меня там, дома, в городе, в альбоме.

Диана. Красивая?

Нина. Да уж.

Диана. Расскажите мне о ней.

Нина. Мое золотко. Вышла за этого дурака. Маленькая была, влюбилась. Он студент, она на подкурсах училась.

Диана. Волосы длинные?

Нина. Курчавые, кольцами. Золото, а не кудри.

Диана. Ресницы?

Нина. Да на них спички можно класть. Хлопает ими. Длинные, загнутые. Когда она была маленькая, я прямо плакала от счастья над ее кроваткой. И такую красоту мама велела мне убить!

Диана. Веснушки?

Нина. Я говорю, она у меня вся золотая.

Диана. А на какой щеке ямочка?

Нина. На правой щеке ямочка. Как по заказу.

Диана. Так что ты забеременела в июле, а не в августе, не тогда, когда, ты говоришь, на тебя напали.

Нина. И че?

Диана. Отец ее любил?

Нина. Как бога.

Диана. Часто приходил?

Нина. Редко. Но всегда с игрушкой. Я их все храню. Ей не давала надолго, даже сломатые игрушки берегла.

Диана. Как ее зовут?

Нина. А зачем?

Диана. Не хотите, чтобы я знала?

Нина. А зачем это тебе, старая ты старушка.

Диана. А я знаю. Звать ее Ангелина Георгиевна.

Нина. Ну и что теперь?

Диана. Я же говорила, что нашла у него в его заветной папочке письмо с подписью «Люблю, Нина». И там было написано: нашу дочь я назвала Ангелина по отчеству Георгиевна. По отчеству, так и написано было.

Нина. Какое еще письмо?

Диана. Ваше.

Нина. А... Ты уже никому не скажешь, всё. Мертвые молчат.

Диана. Как правило.

Нина. Я на все его спектакли ходила. Летом вы приезжали, он уплывал в пять утра на лодке с удочкой, я его ждала в ивняке. За третьим островом. Там такая бухта с песком. Я всегда брала с собой презервативы.

Д и а н а. В театре у него такие, как ты, с презервативами, менялись каждый месяц. Один раз он сказал: «Не могу же я их всех». Задумчиво сказал другу на кухне. Сидели ближе к ночи пили пиво. Я стояла в ванной, собирала белье в стиралку.

Н и н а. Я была одна из них, но была. Вас он не любил.

Д и а н а. Что такое семейная жизнь? Там другие чувства.

Н и н а. Должна быть любовь прежде всего. Страсть друг к другу. Чтобы ее тянуло как на веревке к нему, а его к ней. Прикоснется к тебе — и дрожь по спине.

Д и а н а. Должна быть уверенность в человеке, что не предаст. Уважение. Верность ему — в каком смысле: всегда быть на его стороне. Поддержать в случае чего. Ну и дом — там же всё вместе. Общая постель, стол. Общий ребенок и старые родители, их всех надо кормить и лечить, одевать, воспитывать, утешать, веселить, заботиться о них.

Н и н а. Ну а что, как он вам изменял?

Д и а н а. И я ему изменяла. Сексуальная измена не предательство. Это физическое влечение, цель которого получить оргазм, это цель минутная, а то, что от этого получается потомство, это вечная цель природы, и всё. Сексуальная измена — это удовлетворение чисто физической потребности животного, в данном случае человека. Удержишь kota не лезть на кошку? Нет. Но кот живет в семье и любит свою человеческую семью. А ночью он должен гулять. Это его право. Главное — это достижение оргазма.

Н и н а. Для меня — нет.

Д и а н а. Значит, не было оргазма. Он, видимо, спешил и опасался. Не занимался тобой сколько надо.

Н и н а. Для меня главное — это любовь. Я на все была готова ради него. Быть с ним. Смотреть на него.

Д и а н а. Смотри, как ты заговорила.

Н и н а. А ты считаешь, я некультурная? Что я бибигон рабочего класса? И что мое гинекологическое древо ниже вашего? Тут поневоле наслушаешься. Я все годы работала с такими, как вы, и поневоле набралась. Алё! Создать образ на сцене — это самое пленительное из всего, это прожить жизнь за один вечер, чужую, блин, жизнь, не быть собой. Это счастье, блин, бывает только лишь на театре.

Д и а н а. Да, и я еще хочу сказать вам о сексе на стороне. Тут просто было важно не принести в общую постель какой-нибудь случайной заразы. Он очень за этим следил. После тебя у него детей уже не зарождалось. С тобой у Георгия это изнасилование произошло в последний раз.

Н и н а. Изнасилование?

Д и а н а. Ты же всегда ходишь по территории в трусах и лифчике.

Н и н а. Все тут так ходят.

Диана. Все — это отдыхающие. Свои бабы и девки, театральные. Их уговаривать не надо, сами лезут, лежат вон на пляже голые и враспыр. Они неинтересны. А ты чужая, посторонняя, ты, как бы это сказать, служанка. Тебя надо именно изнасиловать второпях и в свое удовольствие. Такая мужская потребность, поймать и победить.

Нина. Не служанка! Я кастелянша, сестра-хозяйка, ты че. Мадам, вы превышаете полномочия.

Диана. Служанки всегда у бар были объектом нападения. У Льва Толстого четверть кладбища его имения Ясная Поляна была занято его детьми.

Нина. Умирили рано?

Диана. Да нет, выростали, старели, умирали, их хоронили. Свои деревенские были в курсе, кто от него родился и кто из новых девченок растет и на кого он кинется в лесу. Мне рассказывала одна театроведка, она писала диссертацию о нем и жила в Ясной Поляне.

Нина. Ну хорошо. Я просто хочу вам сказать, уважаемая мадам, заслуженная артистка без публики, что завтра я вас отвезу на городскую пристань. Там вы сядете на трамвай и поедете домой. И никаких самоубийств здесь, на фоне природы и моей базы отдыха. Я вам не прислуга, присутствовать при последнем издыхании и сопровождать умершую в город, а потом отвечать в милиции. На хрена козе баян. А вы знаете, кстати, что моя дочь носит его фамилию? Он ее удочерил.

Диана. Да?

Нина. У-до-че-рил.

Диана. Ну, это тогда меняет дело. Я остаю на острове. И вы меня тихо похороните в случае чего.

Нина. С какого это подпрыгу? Здрассте.

Диана. Сядьте, а то вы упадете.

Нина. Ну, села.

Диана. Так. Вы ведь не знаете, что я подарила свою квартиру внуку, а он ее тут же продал.

Нина. Да знаю я, знаю. Все всё знают, вашу эту дурацкую историю. И родственники все кинули вас тут. Всё на мою шею. В расчете, что вы тут благородно помрете. Зачем только вы дарили квартиру внуку, встает вопрос. Вы же знали, что квартиры у вас не будет...

Диана. Да. Знала и сознательно на это пошла.

Нина. Ну и дура старая.

Диана. Вы ведь отдали свою квартиру дочери?

Нина. Но я там живу зимой.

Диана. Но вы понимаете, что вы им не нужны?

Нина. Я не нужна? А кто детей будет водить на музыку, на фигурное катание? Этот, что ли, безработный, он все к своей сестры ездит

мамашу нянчить? Кто им все готовит, кто стирает-моет? Геля ведь работает. Ангелина, моя дочка.

Д и а н а. Скажите, а вам не звонили насчет меня?

Н и н а. Еще чего.

Д и а н а. Так! Значит, у них плохо поставлена разведка, если они еще тут меня не нашли.

Н и н а. А зачем вас тут искать? Кому вы сдались во всем мире?

Д и а н а. Есть люди, которые считают, что мой внук должен им огромные деньги. Это его одноклассник, который теперь большой бандит. Он не может простить моему внуку что-то там еще с восьмого класса. Буквально наехал на него и все отобрал и еще на счетчик поставил. Что ему должны миллионы долларов. Почему ни моего внука, ни его матери здесь нет. Бандиты обещали им, если меня найдут, раскаленный утюг на спину и снять с меня скальп. И пригрозили, что любой родственник из семьи подвергнется пыткам, пока не отдаст всё. Так что меня ждет та же участь. Они будут снимать мои пытки постепенно на видео и отправлять внуку по электронной почте, чтобы он сам приехал. Отрезают так одно ухо и снимают это дело на видео, посылают по электронной почте и ждут. Понимаете?

Н и н а. Ну и что теперь? Я должна вас ради этого тут держать? При чем здесь я?

Д и а н а. Хороший вопрос. Действительно, вас это не должно беспокоить. Не должно. Как говорится, это не ваши проблемы, мадам. Но оставьте меня в покое на неделю. На одну только неделю. Ну, крайний срок на десять дней.

Н и н а. Я сказала, отвезу вас завтра. И всё.

Д и а н а. Уезжайте, хорошо? Картошку выкопайте и на волю. Все закройте. Будет открыта только моя хижина. Приедете, а все уже кончено.

Н и н а. Да, я приеду, а вас съели крысы.

Д и а н а. Какое это имеет значение?

Н и н а. Для меня имеет большое. Ужас ведь, ужас, кошмар, спать не буду. Буду виновата.

Д и а н а. А лучше, если они меня перехватят на пристани и увезут пытать, чтобы узнать, где мой внук?

Н и н а. Откуда они узнают вас?

Д и а н а. Я же заслуженная артистка, известный в городе человек.

Н и н а. Но ведь в театре все равно знают, где вы?

Д и а н а. Откуда. Все уверены, что меня определили в интернат. В нашей области в доме для престарелых актеров мест нет. Я повторяла при прощании всем, кто уезжал, что завтра меня увозят с острова, а куда, я позвоню по приезду на место. Что наш Григорий Петрович уже договорился, но не хочет меня заранее тревожить. То есть пугать, гру-

бо говоря. Потому что в нашем интернате люди уже по трое в комнатах обитают. И меня могут отвезти только куда-нибудь в тайгу.

Н и н а. То есть те люди, одноклассники, ждут от актеров сообщения, где вы. Но вы-то им зачем, ведь у вас нету ничего! Гречка ваша и постное масло их не устроят.

Д и а н а. А. Они же, я вам говорила, хотят снять на видео мои попытки и послать внуку по Интернету. Они знают его почту. Уже ему написали. Что найдут меня, где бы я ни находилась. И подвергнут.

Н и н а. Ниче себе! А зачем им это?

Д и а н а. Не знаю. Чтобы он вернулся? И зачем?

Н и н а. Да, зачем? Денег-то у него нет, я так понимаю.

Д и а н а. Да, он пока что развозит там пищу. Но этот одноклассник имеет какие-то изуверские планы. Убить... Не знаю, в рабство его продать? Я предполагаю. Сколько стоит человек? Раб.

Н и н а. Да кому это нужно? Взять хотя бы меня.

Д и а н а. Нет, вы не раба. Вы свободный человек в жутких обстоятельствах.

Н и н а. Не в том дело. Я! Стала бы я у себя раба держать, пусть и бесплатного. Да его кормить надо! Содержать там в цепях, что ли, чтобы не ушел. Где-то чтобы спал. Нет, не надо никому. К человеку быстро привыкаешь. Начинаешь как-то жалеть его...

Д и а н а. Может, на органы продавать? Нет, это технически слишком сложно, нужно сначала сдавать анализы. Бандиты этим заниматься не будут. У них голова не подходит для таких дел. Наехать, убить, бабла нарубить, выпить-закусить, героинчиком вмазаться, поехать на стрелку, поглядеть порнушку, вызвать девушек. Водить машину и расстрелять они могут. А в случае с пересадкой органов там же надо знать, кому этот организм нужен, какому больному подходит, и туда везти. Нет, они это не потянут.

Н и н а. На Кавказ его куда-нибудь в аул? В публичный дом? Для мужчин бывает? Не знаю.

Д и а н а. Кошмар какой. Для мужчин? Боже мой. Он уже немолодой, мой внук.

Н и н а. Еще их снимают во время пыток и продают эти фильмы, нет? Я слышала, тут актеры на кухне говорили, там целая индустрия. Кому-то предлагали, прислали по почте вызов, сняться в фильме пыток, изображать дикие страдания. Но платят средне. Актеры говорили, а вдруг они включают ток по-настоящему? Где гарантии? Ты же будешь весь в ремнях? Не успеешь оглянуться, а уже сыграешь такие страдания, что никакой голливудский Чак Норрис не сумеет. И выйдешь инвалидом, а страховки не будет. Если вообще живой останешься. Это же все подпольно.

Д и а н а. Так вот, я не могу уехать.

Н и н а. А я что, должна тут сидеть до морковкина заговенья и ждать, пока вы покончите с собой? Это за что мне такая пытка?

Д и а н а. А какой выход из положения? Я ведь никому не нужна. Никто, как вы видите, за меня не хлопочет, не устраивает меня никуда. Григорий Петрович, как вы мне тут сообщили, на три месяца ушел, потом вообще смывается на пенсию. Мне за себя хлопотать нельзя, узнают, сразу к вам сюда придут, вообще всё сожгут тут к одной матери.

Н и н а. Я в отчаянии, блин, это мне безвыходное положение, блин, поймите.

Д и а н а. Вы просто феноменально талантливы. Такую фразу так произнести — это только великая актриса сможет. И то, если ей напишут текст. Но вы же не в отчаянии. Вам все по семечку, как вы выразились тут. Вызовете милицию, «скорую», труповозку, и всё.

Н и н а. Сука, блин, ты зачем на мою голову свалилась, а?

Д и а н а. И еще более феноменально! Какие интонации, какое произношение! Скажите это же по-английски.

Н и н а (*говорит ей на ухо долго и, видимо, матом*). Поняла, сука, по-английски? Хау а ю, вот из ё нэйм, блин?

Д и а н а. Всё. Оставшиеся дни моей жизни я буду с вами работать, учить вас. Вы просто рождены для театра! У нас таких актрис нет.

Н и н а. Она еще стебется надо мной, блин.

Д и а н а. Скажите это же поточнее. Она — еще — стебется... Ну! Надо — мною... Слово «блин» надо почетче. Блин — это недостаточно, его надо заменить тем словом, которое оно заменяет. Ну, бллль... Ну?

Н и н а. Господи, ну че, блин, делать мне с тобой, старая ты, блин...

Д и а н а. Убейте меня, плииз. Самоубийство — это великий грех. Знаете, как меня убить? Просто уехать, закрыв дверь кухни на замок и выключивши водопровод.

Н и н а. Потом меня уволят на хер. Или вообще посадят. За неоказание помощи. Вызову вот сейчас гулянку, возьмем тебя с водителем, скажу, что ты сама не ходишь и слегка сдвинулась, не хочешь уезжать, все давно уехали. Мы отнесем тебя на стуле, стул я верну в домик, посадим тебя в кювет на одеяло, заплачу за переезд, и всё. Так будет правильно. (*Вынимает мобильник, набирает номер*.)

Д и а н а. А с меня кожу снимут? Не всю, а частично? Только с головы? И я буду перед камерой плакать кровью?

Н и н а. Ой-ой, напугала (*ищет номер в телефоне*). Ща. Ща, блин, я тебя пристрою.

Д и а н а. Ну хорошо. Теперь стой и не шевелись. Оставь телефон, сволочь. Я что сказала? Смотри. Хуже будет.

Н и н а. Ой, заговорила. Актриса. Новая роль.

Д и а н а. Твоя дочь — сестра моей дочери, поняла, сука? По паспорту с той же фамилией, с отчеством и как две капли воды рыжая, на него похожая. И ее дети — брат и сестра моего внука. Двоюродные.

Н и н а. И че?

Д и а н а. А то, что перед пыткой я скажу, что это его сестра родная, и он ее очень любит, и у нее машина, дача и квартира. И триста шестьдесят банок маринованных огурчиков и помидорчиков! И они начнут снимать кожу с нее и с ее маленьких детей и пошлют это видео моему внуку. Которому это будет тяжело, но он не пошевелится приехать.

Н и н а. Так. А-а-а-а... Помидорчиков? Вы это сделаете, вы, культурная женщина? Великая актриса? Ни в чем не повинных детей отдашь на пытки? Защищая себя?

Д и а н а. Сразу отдам, как только меня схватят. Я защищаю не себя, а своего любимого внука, который для меня вся жизнь! Он ведь идиот, он прилетит из своей Аргентины сразу же на мои пытки, и его убьют в мучениях! Они же изобретатели! Прилетит как дурак, которым он и является.

Н и н а. Он в Аргентине?

Д и а н а. Успокойся. Они это знают. Аргентина — туда лететь двадцать часов. И она по территории как Украина. Там хрен найдешь человека, это как ночью шарить насчет макового зернышка, причем на пляже. Да и в Аргентине ли он?

Н и н а. Что мне делать с тобой? Убить?

Д и а н а. Да.

Н и н а. Убить, убить... (*Берет табуретку в руки, замахивается.*) Не, не могу. На меня перекладываешь грех? Чтобы я всю жизнь убийцей себя чувствовала? Ночи бы не спала? Я же православная. Вот этого ты не дождешься. Ишь какая!

Д и а н а. Убей меня.

Н и н а. Иду разогревать суп. Несу воронку от солярки и веревку связать. Не будешь есть, поняла, что тебя ожидает?

Д и а н а. И что мы будем делать? Если я буду есть?

Н и н а. Ждать, блин. Пока ты не умрешь, блин. На всем моем питании. Зиму будем сидеть. Весну.

Д и а н а. То есть ты меня обрекаешь на жизнь? Вернее, на ожидание смерти. И не даешь мне права распорядиться этой своей жизнью? А ведь я живая опасна для твоей дочери с девочками!

Н и н а. Но как бы я мечтала, чтобы моя дочь с детишками пожили хоть в Аргентине...

Д и а н а. Ну, адреса ты от меня не дождешься.

Н и н а. Я дам тебе телефон, позвони ему.

Д и а н а. Нет.

Н и н а. А, ты боишься, что я его выдам...

Д и а н а. А ты боишься, что я тебя выдам... Но успокойся, я здесь уйду. Сама. Я сумею. Ты даже не поймешь как. Не беспокойся за меня. Он в Аргентине. Мне больше ничего не нужно. Это мое счастье, уйти.

Н и н а. Нет, давай не надо. Не надо. Я не хочу. Это же мне на всю жизнь. Спать не буду. Хрен его знает, безвыходное какое-то положение. Живи, летом все приедут... Найдется куда тебя сунуть. Не оставят так просто. Все же люди. Все свои, театральные.

Д и а н а. Мне нельзя доживать до лета. Это опасно для нас с тобой. Поняла? Поняла? Деньги на погребение тебе дадут в театре. Я сегодня напишу на бумажке, где меня схоронить. Там и он лежит. Давно я у него не была. Будете нас навещать. С его внуками. Больше у нас с ним тут никого не осталось. Спасибо тебе заранее, наружи меня не оставишь (склоняет голову).

Нина поднимает лицо, закрывает глаза.

# Содержание

## 1. РАССКАЗЫ

<i>Из цикла «БЕССМЕРТНАЯ ЛЮБОВЬ»</i> .....	4
Такая девочка, совесть мира .....	—
История Клариссы .....	15
Отец и мать .....	19
Бессмертная любовь .....	22
Скрипка .....	25
Сети и ловушки .....	28
Али-Баба .....	36
Мильгром .....	40
Случай Богородицы .....	43
Бедное сердце Пани .....	49
Милая дама .....	52
Темная судьба .....	54
По дороге бога Эроса .....	56
<i>Из цикла «ЖИЗНЬ ЭТО ТЕАТР»</i> .....	69
Мост Ватерлоо .....	—
В детстве .....	74
Музыка ада .....	87
Донна Анна, печной горшок .....	100
Два бога .....	104
Рай, рай .....	109
Колыбельная птичьей родины .....	115
Детский праздник .....	119
Йоко Оно .....	125
Шопен и Мендельсон .....	129
Жизнь это театр .....	131
Невинные глаза .....	135
Тайна дома .....	138
О, счастье .....	145
Нюра Прекрасная .....	148
Как цветок на заре .....	150
Найди меня, сон .....	159
Подснежник .....	167
Из учебника жизни .....	173
За медом .....	180
Богиня Парка .....	183
Порыв .....	194
Как много знают женщины .....	198
Сон и пробуждение .....	206
Я люблю тебя .....	209
Осталась там .....	214
Пляска смерти .....	218

<i>Из цикла «ГДЕ Я БЫЛА»</i> .....	224
Нагайна .....	—
Измененное время .....	231
Лабиринт .....	243
Дом с фонтаном .....	253
Где я была .....	258
В доме кто-то есть .....	268
Тень жизни .....	275
Два царства .....	278
Черное пальто .....	282
Дорога Д. ....	290
Черная бабочка .....	304

<i>Из цикла «ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН»</i> .....	314
Случай в Сокольниках .....	—
Рука .....	315
Материнский привет .....	317
Новый район .....	319
Жена .....	322
В маленьком доме .....	324
Мечь .....	326
Черный пудель .....	329

## 2. СКАЗКИ

<i>СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ</i> .....	332
Кошкин городок .....	—
Сказка о часах .....	335
Девушка Нос .....	340
Принцесса Белоножка .....	343
Волшебные очки .....	348
Сказка шкафа .....	354
Сны девочки .....	358
Котенок Господа Бога .....	362
Сказка зеркал .....	365
Маленькое и еще меньше .....	377

<i>НАСТОЯЩИЕ СКАЗКИ</i> .....	388
Новые приключения Елены Прекрасной .....	—
Королева Лир .....	401
Крапива и Малина .....	419
Остров летчиков .....	439
Матушка-капуста .....	445
Завещание старого монаха .....	449
Спасенный .....	457

<i>НЫНЕШНИЕ СКАЗКИ</i> .....	473
Мальчик Новый год .....	—
Семь часов .....	481
Подарок принцессе .....	487
С Новым годом, преступник! .....	500
Вольфганговна и Сергей Иванович .....	511

### 3. ПОВЕСТИ

Свой круг .....	520
Смотровая площадка .....	539
Маленькая девочка из «Метрополя» .....	559

### 4. РОМАН

ВРЕМЯ НОЧЬ .....	616
------------------	-----

### 5. ПУСЬКИ БЯТЫЕ

1. Пуськи Бятые .....	690
2. Бурлак .....	—
3. Кузявость .....	691
4. Перебирюшка .....	692
5. мммквя .....	—
6. Антибутявка .....	693
7. Не псни! .....	694
8. Абвука .....	695
9. И-пызява .....	—
10. Про Глокую Куздру и Бокренка .....	696
11. Тресь .....	697
12. Фыва Пролдж ( <i>Лингвистическая комедия</i> ) .....	699
13. Пуськинисты .....	701
14. На шваньгоу .....	702
15. Кши .....	703
16. Наогды .....	—
Список ударений .....	705

### 6. ПЬЕСЫ

Чинзано .....	708
День рождения Смирновой .....	723
Любовь .....	738
Анданте .....	753
Квартира Коломбины .....	764
Московский хор .....	774
Бифем .....	825
Он в Аргентине .....	857

*Литературно-художественное издание*

Людмила  
**ПЕТРУШЕВСКАЯ**  
—  
**КАК МНОГО  
ЗНАЮТ  
ЖЕНЩИНЫ**  
—  
повести, рассказы, сказки, пьесы

Редактор *Антонина Балакина*

Ведущий редактор *Екатерина Серебрякова*  
Художественный редактор *Юлия Межова*  
Технический редактор *Валентина Беляева*  
Верстка *Ольги Савельевой*  
Корректор *Валентина Леснова*

Подписано в печать 15.07.13.  
Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 56,0.  
Тираж 2000 экз. Заказ № 5574

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 1; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»  
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,  
д. 16, стр. 3, пом. 1, комн. 3

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ПРИБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

**МОСКВА:**

- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»

Приобретайте в Интернете на сайте:

[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

**РЕГИОНЫ:**

- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж,  
т. (343) 253-64-10
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57,  
т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж,  
т. (4912) 95-72-11
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»

Приобретайте в Интернете на сайте:  
[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

ISBN 978-5-17-079952-7



9 785170 799527

WWW.AST.RU